



Источник заимствования фото: [mediamax.am](http://mediamax.am)

**Бойцы Муса-Дага**



Источник заимствования фото: [RoyalLib.com](http://RoyalLib.com)

**Франц Верфель**



*Источник заимствования текста  
книги- электронная библиотека  
RoyalLib.com  
([https://royallib.com/book/verfel\\_frants/sorok\\_dney\\_musa\\_daga.html](https://royallib.com/book/verfel_frants/sorok_dney_musa_daga.html))*

**Франц Верфель**

## **СОРОК ДНЕЙ МУСА-ДАГА**

### **С ВЕРШИНЫ МУЖЕСТВА**

Путь художника всегда не прост.

И чем больше художник, тем сложнее и трагичнее этот путь, потому что художник, оперируя всем миром, отвечает за все, – это его обязанность перед совестью своего убеждения, его судьба, его сочувствие и помощь, его познание и предупреждение, подкрепленные опытом своих собственных синяков и шишек, опытом своей собственной трагедии.

Художник бьется в одиночку, но судьба его индивидуальности – глобальна.

Такой мне представляется и высокоодаренная индивидуальность Франца Верфеля во всех его прозрениях и терзаниях на пути к вершине творческого подвига своей беспокойной и мятущейся жизни в кровавых водоворотах нашего двадцатого века.

Франц Верфель родился в Праге в 1890 году в богатой купеческой еврейской семье. После окончания гимназии он учился в Лейпциге и Гамбурге.

Его друзьями в поисках истины были Кафка и Эгон Эрвин Киш.

Он очень рано заболел неизлечимым беспокойством «о перемене мира путем духовного обновления всех людей».

Он бросался от христианства к марксизму. Он так до последнего затухания своего творческого гения и не нашел твердой почвы для своих беспокойных поисков.

Он писал стихи и драмы: очерки и эссе, романы и памфлеты и во всех жанрах оставил свое слово, свою незаурядную индивидуальность, интересную

и сейчас не только историку литературы.

Он умер в Калифорнии в 1945 году, и сумрак разочарований изгнанника, подсвеченный салютом победы, замкнулся над его прахом на чужой земле.

Он был ищущей натурой, обладавшей редкостным локатором предчувствия и озаренности прозрения.

Он в числе лучших умов европейской культуры двадцатого столетия в одно и то же время с Роменом Ролланом и Томасом Манном, Лионом Фейхтвангером и Пером Лагерквистом первым начал свою личную войну с фашизмом. Это была жестокая борьба, борьба не на жизнь, а на смерть.

И как у каждого художника, пытавшегося судьбой своей понять свое время, связать своей творческой индивидуальностью прошлое с грядущим, у Франца Верфеля была своя трагедия и своя вершина.

И этой вершиной он заслужил бессмертие.

Я говорю о его эпическом романе «Сорок дней Муса-дага».

Эта книга была написана в 1933 году. Она была одним из первых выстрелов, одним из первых предупреждений и самой Германии, и всему человечеству о появлении реального фашизма во всей его омерзительной, кровавой сущности.

Она ясно и убедительно говорила о том, что у Гитлера и Муссолини были в двадцатом веке свои предшественники, она предупреждала Европу и весь мир о том, что эти ученики пойдут дальше своих учителей и в масштабности, и в изощренности своих кровавых дел.

Она учила людей бдительности. Она была не только памятником Геноциду, а прежде всего учебником сопротивления. Она разоблачала и самих палачей человечества, и их кровавую философию.

Франц Верфель знал, что палач, кроме всего прочего, отвратителен и опасен тем, что имеет свойство, когда у него нет дела, придумывать и выискивать его, что, однажды попробовав человеческой крови, он уже не может жить без нее.

Полвека книга Франца Верфеля боролась с палачами человечества и продолжает свою историческую благодарную миссию по сей день. Она была переведена почти на все европейские языки, она воспитывала умение человека в трудный час своей судьбы жертвовать собой ради своих братьев. Она учила этому высшему подвигу, и в разгроме фашизма, этого самого отвратительного и страшного зла двадцатого века, есть ее еще, быть может, не оцененная по достоинству заслуга.

Эта книга в строю. Она продолжает благородное дело души Франца Верфеля, и горизонты ее действия пока еще безграничны. И слова Фридриха Шиллера о том, что человек, который нужен был лучшим людям своего времени, – нужен для всех времен, целиком относятся и к судьбе самого Франца Верфеля и к его вершинной книге «Сорок дней Муса-дага».

Я уверен, что сегодняшний читатель поймет всю ее великую современность, ее боль, глубину постижения противоречивости нашего времени и будет обрадован ее пронизывающим душу сочувствием.

Мне кажется, что последние слова Юлиуса Фучика, сказанные им всему миру: «Люди, я любил вас! Будьте бдительны!» – звучат как самая точная рецензия на книгу его старшего соотечественника Франца Верфеля, потому что рукой того и другого водило одно и то же убеждение, одна и та же верность человеческому братству, одна и та же уверенность в том, что палачи побеждаемы, какими бы жестокими они ни были, тем более что жестокость есть не что иное, как обратная сторона трусости.

Есть в Ереване, на крутом берегу Раздана, печальный памятник жертвам Геноцида, памятник позору истории Турции. Памятник чудовищному преступлению разнузданного национализма, можно сказать, первого реального действия фашизма в двадцатом веке, уничтожившего в 1915 году половину армян, памятник жестокости. Памятник предупреждения всем народам всей нашей земли.

И когда я там бываю, я слышу плач Комитаса, пронзительный плач недоумения и тревоги, плач человеческой души и космоса, обращенный вечным своим звучанием ко всем человеческим душам будущих времен. Этот плач сливается в моей душе с плачем Майданека и Освенцима, Клооги и Бухенвальда, с криком детей Лидицы и Хатыни.

Но Франц Верфель обратился в своей книге не столько к жертвам, сколько к героям, не к пассивному подчинению жестокости, а к сопротивлению, к примеру, активного противостояния палачам.

Герой его книги Габриэл Багратян, армянин по происхождению, сын богатых родителей, получивший блестящее гуманитарное образование в Европе, офицер турецкой армии, имеющий награды за храбрость, полученные на Балканском театре военных действий, вместе с француженкой-женой и сыном возвращается из Парижа как наследник в имение своего умершего брата в Турцию, к подножию горы Муса, в страну своего детства, в мир своих сородичей-армян.

У него есть все. Деньги. Семья, прекрасный дом, своя земля и устойчивое положение в обществе.

Но весь этот мир мнимого благополучия, шатаясь, рушится под натиском непредвиденного события.

Один из руководителей тогдашнего турецкого правительства, Энвер-паша, обманом отнимает у армян оружие и, объявив их вне закона, обрушивает на них ненависть фанатиков, и огнем и мечом в этом разгуле национализма начинается планомерное и хорошо разработанное поголовное истребление армян.

И с блестящего офицера турецкой армии Габриэла Багратяна, отмеченного турецкой наградой за храбрость, слетает лоск европейского космополитизма, и он становится сыном своего народа. И сами события ставят его во главе сопротивления. Он знает военное дело. Он собирает армянское население окрестных деревень и ведет из долины на гору Муса.

Он находит единомышленников и оружие и организует оборону по строгим правилам фортификации.

Ему некогда было думать, как он превратился в Леонида\*, а его сородичи

стали похожи на греков в битве при Фермопилах.

---

\* Леонид – спартанский царь, живший в VI-V вв. до н. э. Сражался против персидского царя Ксеркса, погиб в знаменитом сражении у Фермопил, прикрывая с маленьким отрядом спартанцев отступление греческих войск. В древней литературе Леонид олицетворяет собой любовь к родине, бесстрашие и воинскую доблесть.

---

По всей Турции идет резня армян. Их грабят и насильно сгоняют с их родины, давным-давно обжитых мест и гонят по всем дорогам Турции в гиблые места, где они будут умирать от голода под беспощадным солнцем пустыни.

Так же через четверть века эсэсовцы по приказу Гитлера будут сгонять в Бухенвальд и Освенцим, в Равенсбрюк и Клоогу евреев и поляков, русских и цыган – всех неугодных – к газовым печам, к ямам и будут жечь, расстреливать в упор женщин и детей, стариков и старух и над всей Европой воздух будет пахнуть паленым человеческим волосом.

По всей Турции идет резня армян, но стоит Муса-даг, неприступная гора армянского мужества. Ее гарнизон отбивает атаки регулярных батальонов Талаата. Истекает кровью, но держится гора Муса – у ее гарнизона нет другого выхода. И он стоит на своих рубежах. Он отбивается и наступает. Один среди всей земли, охваченной огнем безумия, не сдает высоты мужества своего человеческого духа.

С таким же упорством будут стоять четверть века спустя защитники Бреста и Гангута, защитники Аджимушкия и Одессы, защитники Ленинграда и Москвы. Все братья по мужеству, все герои битвы за человеческое достоинство.

Стоит гора Муса сорок дней и ночей на голодном пайке – без хлеба и пороха. Стоит и будет стоять как пример стойкости для всех народов всей земли, для всего человеческого братства.

И нет смерти героям Муса-дага, их подвиг остается на века в душе самого времени.

Его, этот подвиг, для всех времен и всех народов оставил сочувствием сердца своего, мужеством души своей, мастерством таланта своего писатель Франц Верфель.

Он написал эту книгу в 1933 году. Написал, как предупреждение всей Европе и всему миру о том, что на земле появился Гитлер, что за ним идет беда, крупнее по масштабам и коварнее по изощренной жестокости.

И Франц Верфель не ошибся и самой судьбой своей поплатился за это

откровение. Гитлер выгнал Верфеля из Австрии. Он переехал в Париж. Гитлер выгнал его из Парижа, он вместе с Томасом Манном тайно перебрался в Испанию, потом через Португалию в Америку. Гитлер хотел превратить его в изгоя, а он стал сыном Земли, певцом людей, которым ничего не страшно, если они готовы умереть друг за друга каждую минуту.

Книга Франца Верфеля «Сорок дней Муса-дага» – это песня мужеству. Она написана абсолютно талантливо. У каждого героя этой книги свой характер и свой голос. Она умна и дальновидна.

У нее будет завидно долгий век, потому что от души идущее слово, слово, наполненное страстью, долговечнее даже мрамора, на котором оно высечено.

В этой книге живут и действуют мудрость познания, горечь опыта и беспощадность предвидения, причем написана она, как это и подобает большому художнику, не назойливо, а с той долей естественной правдивости, которая делает ее духовным явлением времени.

На берегу Раздана стоит печальный памятник Геноциду. Там внутри склоненных колонн как в каменных ладонях вечности, горит вечный огонь памяти и звучит пронзительная музыка, просвещающая человеческую душу.

Но кроме этого памятника, за городом, по дороге в Эчмиадзин, у деревни Мусалер, у той самой деревни, в которой живут потомки защитников горы Муса, есть другой памятник,- памятник героям Муса-дага. Он стоит как башня бесстрашия на взгорье, сооруженный из красного туфа, на лицевой стороне просматривается означенный рельефом орел – символ смелости и красоты человеческого духа.

Этот памятник построен самим народом. И каждый год здесь в день Победы на Муса-даге собираются наследники героев и молча клянутся нести эстафету мужества по дороге человеческого братства.

На красной кладке добротного обтесанного туфа еще пока не выбито ни одного имени героев Муса-дага. Они будут выбиты, эти имена. Все до одного. И среди этих имен мне хотелось бы увидеть имя Франца Верфеля. воссоздавшего этот подвиг для всех людей на все времена.

Он достоин этого.

**МИХАИЛ ДУДИН**

## **КНИГА ПЕРВАЯ**

### **ГРЯДУЩЕЕ**

Доколе, Владыка святой и истинный,  
не судишь и не мстишь живущим  
на земле за кровь нашу?

## ОТКРОВЕНИЕ СВЯТОГО

### ИОАННА БОГОСЛОВА. 6, 10

#### Глава первая

#### ТЕСКЕРЕ\*

– Как же я здесь очутился?

Эти слова Габриэл Багратян произносит вслух, сам того не сознавая. Да в них и не звучит вопрос, а что-то неясное, какое-то торжественное удивление, до краев его переполняющее. Навяла это, должно быть, пронизанная светом рань мартовского воскресенья и сирийская весна, что гонит вниз по склонам Муса-дага, вплоть до бугристой равнины Антиохии, полчища гигантских красных анемонов. Всюду на горных пастбищах брызжет из земли их дивный багрянец, тесня целомудренную белизну высоких нарциссов, которым тоже пришло время цвести. Муса-даг словно окутан незримым золотистым гудением. Роится ли то несчетное множество пчел, покинувших ульи Кебусие, или в этот чудесно доступный для уха и глаза час доносится издали приборь Средиземного моря, подтачивающий голый хребет горы?

---

\* Паспорт (турецк.). – Здесь и далее примечания переводчика.

---

Кочковатая дорога вьется вверх меж обвалившихся стен. Там, где руины сменяет хаотический обвал камней, дорога сужается, переходит в пастушью тропу. Предгорье пройдено.

Габриэл Багратян оглядывается. Высокий, в спортивном костюме из мягкой домотканой шерсти, он стоит, распрямившись, и вслушивается. Чуть сдвинута феска с влажного лба. Глаза у него широко расставленные, такие же большие, как у природного армянина, но посветлее.

Теперь Габриэлу видно, откуда он пришел: в просвете между эвкалиптами, растущими в парке, открылся дом с яркими стенами и плоской крышей. Озаренные утренним солнцем, сияют конюшни и хозяйственные пристройки. До усадьбы больше получаса ходьбы, но кажется, дом совсем близко, будто

следовал за хозяином по пятам.

А ведь церковь села Йогонолук, что стоит внизу, в долине, явно приветствует его, кивает большим своим куполом с островерхой боковой башенкой. Этот тяжеловесный хмурый храм и усадьба Багратянов неотделимы друг от друга. Их построил полвека назад дед Габриэла, легендарный благотворитель и попечитель здешних мест.

У армянских крестьян и ремесленников в обычае после скитаний в поисках заработка на чужбине возвращаться – хотя бы из самой Америки – домой в родное гнездо. Иначе поступают новоявленные богачи – буржуа. Они строят роскошные виллы на Лазурном берегу близ Канн, в садах Гелиополиса или, самое скромное, – на склонах Ливанских гор, в окрестностях Бейрута. Дед Габриэла, Аветис Багратян, разительно отличался от этих выскочек. Он, основатель всемирно известной фирмы в Стамбуле с филиалами в Париже, Лондоне и Нью-Йорке, из года в год, когда позволяли дела, жил в своей усадьбе близ Йогонолука, на склоне Муса-дага. Не только Йогонолук, остальные шесть армянских деревень округа тоже были облагодетельствованы им с царской щедростью. Помимо построенных дедом церквей и учрежденных им школ, с учителями, получившими образование у американских миссионеров, достаточно назвать один хотя бы дар, память о котором наперекор всем последующим событиям и по сей день сохранили местные жители: это пароход, зафрахтованный под зингеровские швейные машины, которые Аветис Багратян после особенно прибыльного года велел распределить между пятьюдесятью беднейшими семьями окрестных деревень.

Габриэл – его вслушивающийся взгляд еще устремлен на отчий дом – знал дедушку. Он ведь родился в этом доме и в детстве провел здесь немало времени. В двенадцать лет его увезли отсюда. Теперь эта прошлая жизнь, которая когда-то была его жизнью, трогает до невероятия, до боли. Это как воспоминание о предсуществовании, от него становится жутко и саднит душу. Помнил ли он на самом деле деда или только читал о нем в детских книжках, а может, видел его портреты?

Низенький старичок с седой эспаньолкой, в длинном шелковом халате с желтыми и черными полосами. Пенсне в золотой оправе, цепочка свисает на грудь. Он ступает красными туфлями по садовой траве. Все встречные низко ему кланяются. Холеные старческие пальцы касаются щеки мальчика. Было это или только примнилось? Дед пробуждает в нем такое же чувство, как и гора Муса.

Когда несколько недель назад Габриэл впервые по возвращении увидел гору своего детства, этот постепенно темнеющий на вечернем небе гребень, его захлестнуло неизъяснимое чувство – сладостное и пугающее. Он тотчас же подавил это чувство. Что это было, первое, еще смутное предчувствие или то говорили двадцать три года? Двадцать три года в Европе, в Париже! Двадцать три года полной ассимиляции! А пережито столько, что хватило бы на время вдвое или втрое большее... Эти годы погасили все прошедшее... После смерти дедушки, Аветиса Багратяна, семья, освободившись от навязываемого ей



главой дома местного патриотизма, покидает этот восточный уголок земли. Резиденцией фирмы попрежнему остается Стамбул. Но родители Габриэла живут теперь вместе с обоими сыновьями в Париже. Правда, брат Габриэла – он старше на пятнадцать лет и, как дед, носит имя Аветис – вскоре исчезает, став совладельцем импортной фирмы, он возвращается в Турцию. Имя деда брат носит по праву – его ничуть не тянет в Европу. Он чужак и нелюдим. После многолетнего запустения усадьба в Йогонолуке благодаря Аветису-младшему снова в чести. Единственная его страсть – охота, он то и дело устраивает охотничьи вылазки в горы Тавра и Гаурана. О брате Габриэл имеет смутное представление, сам он, кончив в Париже гимназию, слушает лекции в Сорбонне. Никто не понуждает его заниматься коммерцией – профессией, к которой он совершенно непригоден и представляет собой удивительное в их роду исключение.

Ему дана возможность вести жизнь ученого и эстета, заниматься археологией, историей искусства, философией, к тому же он получает ежегодную ренту, которая позволяет ему быть независимым, даже состоятельным человеком. На Жюльетте он женится очень рано. Этот брак знаменует собой глубокую перемену в его жизни. Француженка вовлекает его в свою среду. Теперь Габриэл почти совсем француз. Армянин он, так сказать, теоретически. Но не вовсе отрекся от себя, время от времени печатает в армянских журналах свои научные труды. А для своего десятилетнего сына Стефана приглашает домашнего учителя-армянина, чтобы научить мальчика языку предков. Жюльетта считает это совершенно излишней и даже вредной затеей. Но молодой Самвел Авакян ей симпатичен, так что после нескольких арьергардных боев она капитулирует.

В основе разногласий между супругами Багратянами лежит одно постоянное противоречие. Как ни старается Габриэл укорениться в чужой стране, он поневоле втягивается в политическую борьбу своего народа. Он носит почтенное имя, Габриэла Багратяна охотно навещают, бывая наездом в Париже, армянские политические деятели. Ему даже предлагают вступить в дашнакцутюн\* от чего он с ужасом отказывается. Правда, в 1907 году он участвует в известном конгрессе, на котором младотурки объединяются с армянской национальной партией. Идет речь о создании нового государства, где все народности будут жить мирно, бок о бок, без дискриминации. Такая программа вдохновит даже человека, оторванного от родины. В эти дни турки рассыпаются в цветистых комплиментах, заверяют армян в своей пламенной любви.

---

\* Дашнакцутюн (букв. союз, союзничество) – армянская буржуазно-националистическая партия, создана в 1890 году. На первых порах идейно близкий к русскому народничеству дашнакцутюн ставил перед собой

задачу путем вооруженного восстания и террористических акций добиться самоуправления Западной Армении в составе Османской империи. В 1907 г. вошел в состав II Интернационала, в годы первой мировой войны участвовал в организации армянских добровольческих отрядов в составе русской армии. В созданной в 1918 году Армянской буржуазной республике (1918-1920) правящей партией был дашнакцутюн. Однако дашнакам, членам этой партии, не удалось восстановить разрушенную последствиями войны и геноцида экономику Армении. Положение в стране еще более ухудшилось, когда Турция начала войну против буржуазной Армении. Дашнакское правительство отказалось от посредничества Советской России и 2 декабря 1920 г. заключило невыгодный для армянского народа Александропольский договор. Ныне за границей дашнакцутюн сотрудничает с реакционными силами в борьбе против СССР.

---

К клятве верности Габриэл Багратян относится серьезнее, чем другие, такова уж его натура. Вот почему Габриэл, едва разразилась Балканская война, добровольно вступает в ряды турецкой армии. В Стамбуле он проходит ускоренную подготовку в школе офицеров запаса, но по окончании ее успевает только принять участие в сражении под Булаиром – в качестве командира гаубичной батареи. Эта единственная долгая разлука с близкими длится более полугода, и он очень страдает. Быть может, боится потерять Жюльетту; он чувствует в ее отношении к нему какую-то перемену, впрочем, реального повода так думать у него нет. По возвращении в Париж он отстраняет от себя все, что не имеет прямого касательства к его внутреннему миру. Он мыслитель, человек, для которого духовность превыше всего, человек как таковой. Что ему за дело до турок, что ему, в конце концов, армяне? Он подумывает о том, чтобы принять французское подданство. Жюльетта была бы счастлива. Но его все время удерживает какое-то чувство внутреннего торможения. Он пошел добровольцем на фронт. Пусть он даже не живет в своем отечестве – не может же он от него отречься! Ведь это родина его отцов. Они перенесли там неслыханные страдания и все же ее не покинули. Самому Габриэлу не пришлось страдать. О массовых убийствах и погромах он знает только из книг и по рассказам. Не все ли равно, какой власти подведомствен человек, для которого превыше всего духовность? И Габриэл остается турецким подданным.

Два счастливых года в прелестной квартирке на Авеню-Клебер. Казалось бы, все проблемы решены и обретена, наконец, устойчивость. Габриэлу тридцать пять лет, Жюльетте – тридцать четыре. Стефану – тринадцать. Жизнь течет без забот, их не обременяет чрезмерное честолюбие, он занят интеллектуальным трудом, они дружны с приятными людьми. Что до выбора друзей, то здесь решает Жюльетта. Сказывается это прежде всего в том, что Габриэл почти не видится со старыми армянскими знакомыми. Родители

Габриэла давно умерли. Жюльетта неуклонно утверждает свое национальное начало, не делает никаких уступок. Вот только глаза сына не дано ей изменить. Габриэл словно ничего не замечает.

Крутой поворот судьбы предопределило спешное письмо от Аветиса Багратяна. Старший брат вызывал Габриэла в Стамбул. Он тяжело болен, не в силах больше возглавлять предприятие. Несколько недель назад он поэтому принял все необходимые меры, чтобы преобразовать фирму в акционерное общество. Габриэлу надо бы там появиться, чтобы обеспечить свои интересы. Жюльетта – она немало гордится своей житейской мудростью – немедленно изъявляет желание сопровождать Габриэла и присутствовать при деловых переговорах. Игра предстоит крупная, а Габриэл от природы бесхитростен, ему, полагает она, не под силу бороться с изворотливыми армянскими коммерсантами.

Июнь 1914. В мире злое предгрозые.

Габриэл решает взять с собой не только Жюльетту, но и Стефана с домашним учителем Авакяном. Учебный год все равно на исходе. Дела могут надолго задержать Габриэла, а каков будет ход мировых событий, предвидеть трудно.

К середине июля семья Багратянов приезжает в Константинополь. Но брат Габриэла их не дождался. Аветис Багратян отбыл в Бейрут на итальянском пароходе. За эти июльские дни его легочная болезнь прогрессировала с такой страшной быстротой, что он не в состоянии был переносить стамбульскую духоту. (Примечательно, что брат европейца Габриэла едет умирать не в Швейцарию, а в Сирию.)

Габриэлу приходится вести переговоры не с Аветисом, а с директорами, адвокатами, нотариусами. При этом ему открывается, как незаметно и с какой нежностью заботился о нем его почти незнакомый брат. И он впервые с полной ясностью осознает, что больной, стареющий Аветис работал на него, что это ему Габриэл обязан своим благополучием. Какая нелепость, что братья остались чужими! Габриэл ужасается, вспоминая, с каким высокомерием относился к «дельцу», к «этому восточному человеку» и как не всегда умел это скрыть. Теперь он полон желания искупить вину, пока не поздно. Его охватывает смутная тоска.

Жара в Стамбуле и впрямь непереносима. Возвращаться сейчас на Запад, по-видимому, неразумно. Надо переждать грозу. Даже от мысли совершить небольшую морскую прогулку сразу будто повеяло свежестью. Один из новейших пароходов «Кедивал-Мейл» по пути в Александрию заходит в Бейрут. На западных склонах Ливана можно снять вполне современную виллу, которая удовлетворит самого взыскательного нанимателя. Знатокам известно, что нет на земле-ландшафта прекраснее этого. Габриэлу, однако, незачем прибегать к красноречию – Жюльетта сразу же соглашается. Ее давно томит тайное нетерпение, манит всякая новизна.

Уже вдали от берега, в открытом море, точно грохот рвущихся снарядов, их настигают оглушительные известия: одна за другой державы вступают в

войну. Когда Багратяны вышли на пристань Бейрута, в Бельгии, на Балканах и в Галиции уже шли бои. О возвращении домой, во Францию, и думать было нечего. Увязли. Газеты сообщали, что Высокая Порты намерена вступить в союз с центральными державами. Отныне Париж – столица вражеской страны.

Главная цель поездки не достигнута. Братья снова разминутись. За несколько дней до приезда Габриэла в Бейрут старший брат отважился пуститься в обратный путь – через Алеппо и Антиохию\* в Йогонолук. Видно, для смерти Ливан ему не хорош. Умирать, так на Муса-Даге.

---

\* Антиохия (или по-турецки Антакье) – город в Сирии. Основан Селевком I Никатором в 301 году до н.э. Крупнейший центр эллинистической культуры, по величине и значению Антиохию сравнивали с Римом. Город особенно расцвел во времена римских императоров. Армянский царь Тигран II, покорив Ассирию, превратил Антиохию в I веке до н. э. в свой южный столичный город, где печатались монеты с его изображением. В Антиохии постоянно было многочисленное армянское население и армянское епископство, а в XI веке мэрами города были армяне. В дальнейшем город подвергался нападениям крестоносцев и в XIII веке был полностью разрушен египетским султаном Бейбарсом.

---

Письмо, в котором старший брат оповещал о своей близкой смерти, пришло осенью. Тем временем Багратяны поселились в красивом доме, расположенном в верхних кварталах города. Жюльетта находит жизнь в Бейруте приемлемой. Здесь много французов. У нее бывают консулы различных государств. Жюльетта и здесь сумела привлечь в свой дом людей, как, впрочем, и всюду. Габриэл счастлив, что она не слишком тяжело переносит изгнание. Ничего не поделаешь! В Бейруте, по сравнению с европейскими городами, хоть жить безопасней. И все же Габриэл не может не думать об усадьбе в Йогонолуке. В своем письме Аветис настоятельно просит его позаботиться об отчем доме. Через пять дней после получения письма приходит телеграмма от доктора Петроса Алтуни с сообщением о смерти Аветиса Багратяна.

Теперь Габриэл непрестанно говорит о доме своего детства. Однако, едва лишь Жюльетта пожелала поскорее ехать в Йогонолук, чтобы наследовать дом, о котором муж ей столько рассказывал, он пугается и идет на попятный. Он приводит множество доводов против поездки, но Жюльетта упорствует. Сельское уединение? Ничего другого она и не желает. Оторванность от мира, недостаток комфорта? Она сама добудет все необходимое. Это-то ей и

нравится. Когда-то у ее родителей был загородный дом, она там выросла. Если они с Габриэлом заведут свой собственный дом, если ей позволят обставить его по-своему и быть в нем полновластной хозяйкой, исполнится ее заветнейшая мечта, и не все ли равно, в каком климате это будет. Несмотря на ее радостную готовность, Габриэл пытается отговорить жену, пугает ее, что скоро начнутся дожди. Куда умнее было бы любым путем добиться разрешения отвезти семью в Швейцарию! Но Жюльетта стоит на своем. В ее словах звучит вызов. Габриэл, однако, не в силах подавить в себе странную тревогу и щемящее чувство тоски...

Стоял декабрь, когда маленькая семья отправилась в путь, на родину предков. Несмотря на то что составы были переполнены военными, путешествие по железной дороге до Алеппо сошло благополучно. В Алеппо Багратяны наняли два автомобиля, вид которых был поистине неопишум. Каким-то чудом они все же добрались по грязной проселочной дороге до антиохии. Там у моста через Оронт их уже ждал управляющий именем Кристофор с господской двуколкой и двумя повозками для клади, запряженными быками. Не прошло и двух часов – а пролетели они незаметно, – как показался Йогонолук. «В общем, не так все это страшно», – говорит Жюльетта...

– Как же я здесь очутился?

Чисто внешняя связь событий не может служить исчерпывающим ответом на этот вопрос. И все же торжественное удивление не покидает душу. Ему чуть слышно вторит внутренняя тревога. Изначальные впечатления, стертые двадцатитрехлетней жизнью в Париже, должны вновь обрести права гражданства. Габриэл отводит застылый взгляд от своего дома. Жюльетта и Стефан, конечно, еще спят. Да и колокола сельской церкви еще не прозвонили воскресного благовеста. Габриэл окидывает взглядом долину; там, несколько севернее, расположились армянские деревни Деревню шелководов Азир отсюда хорошо видно, а Кебусие, что подалее, уже не видать. Азир спит на темно-зеленом ложе из шелковичной листвы. На маленьком холмике, что прислонился к Муса-дагу, высятся развалины монастыря. Пустынь эту основал святой апостол Фома. Камни, которыми усеяна небольшая площадка перед разрушенной обителью, испещрены примечательными надписями. Многие из них восходят к эпохе Селевкидов\* и для археолога были бы редкостной находкой. Богатая некогда Антиохия, царица тогдашнего мира, простиралась до самого моря. Древности валяются здесь всюду на земле для всеобщего обозрения или открываются кладоискателю при первом же ударе заступом. На этой неделе Габриэл притащил в дом кучу ценных трофеев. Главное его занятие здесь – охота за редкостями. Однако какая-то робость мешает ему подняться на холм с развалинами Фоминой пустыни. (Ее ведь стерегут большие медно-красные змеи в коронах. А у богохульников, таскающих святые камни, чтобы выстроить себе из них дом, ноша намертво прирастает к спине, так что приходится им ее с собой уносить в могилу). Кто рассказывал ему эту сказку? Помнится, в маминой комнате, той, что сейчас Жюльеттина, сидели старухи с

какими-то чудно раскрашенными лицами. Иль это опять только мнимость? Возможно ль? Была ли йогонолукская мама и та, парижская мать, одной и той же женщиной?

---

\* Селевкиды – царская династия, правившая в Селевкии, крупнейшем эллинистическом государстве (IV в. до н.э.), т.е. ряде городов, основанных царем Селевком I Никатором. Города эти – Сеяевкия на Тигре и Селевкия в Пиерии – разрушены в результате персидских (VI в.) и арабских (VII в.) завоеваний.

---

Габриэл давно уже бродит в лесу. Горный склон рассекла крутая, широкая трещина, ведет она к вершине и называется Дубовым ущельем. Багратян бредет по пастушьей тропе, еле заметной среди густой поросли, и вдруг ему становится непреложно ясно: переходная пора кончилась. Грядет развязка.

Переходная пора? Багратян служил в турецкой армии, он офицер запаса, артиллерист. Турецкие войска сражаются не на жизнь, а на смерть на четырех фронтах. На Кавказе – против русских, в Месопотамской пустыне – против англичан и индийцев. Австралийские дивизии высадились на Галлипольском полуострове, чтобы вместе с союзным флотом протаранить ворота Босфора. Четвертая армия в Сирии и Палестине готовит новое наступление на Суэцкий канал. Чтобы выстоять на всех этих фронтах, требуется сверхчеловеческое напряжение. Во время отчаянно храброго похода Энвер-паша, боготворимый турками полководец, в морозную кавказскую зиму уложил два своих армейских корпуса. Всюду не хватает офицеров. Боеприпасов недостаточно.

Время надежд, годы 1908-1912 миновали. Иттихат\*, младотурецкий «Комитет единства и прогресса», просто-напросто использовал в своих целях армянский народ и при первой же возможности нарушил все клятвы. Габриэлу решительно незачем выслуживаться, чтобы доказать свою храбрость и преданность отечеству. Обстоятельства сейчас складываются иначе. Его жена – француженка. Быть может, ему придется сражаться против народа, который он любит, которому бесконечно обязан, с которым его связала женитьба на Жюльетте.

---

\* Иттихат (Ittihat ve terraki – единство и прогресс) – наименование турецкой буржуазно-помещичьей националистической партии. Младотурки –

члены этой партии. Организован Иттихат в 1889 г. Придя к власти в 1908 году, младотурки сохранили монархию – султана и продолжили политику отуречения народов Османской империи. В годы первой мировой войны воюя на стороне Германии, главари этой партии проводили злостную политику пантюркизма и панисламизма, которая наиболее ярко выразилась в геноциде армянского народа. Позже правящий триумвират этой партии – Энвер-паша, Талаат-паша, Джемаль-паша и прочие преступники под давлением общественного мнения были заочно (ибо они бежали) приговорены военным трибуналом к смертной казни. В числе прочих младотурецких деятелей Талаат и Джемаль были убиты армянскими мстителями.

---

Чувство долга берет верх. Габриэл явился в сборный пункт резервистов своего полка в Алеппо. В противном случае его сочли бы дезертиром. Но странное дело: полковник отдела кадров, по-видимому, не нуждается в офицерах. Тщательнейшим образом изучив бумаги Багратяна, он отправляет его домой. Пусть господин офицер сообщит свое место жительства и ждет там в состоянии полной готовности, пока его призовут.

Дело было в ноябре. Уже март на исходе, а приказа о зачислении в полк из Антиохии нет как нет. Скрывается ли за этим некий непроницаемый замысел или непроницаемый хаос оттоманских военных канцелярий?

Но в эту минуту у Габриэла возникает уверенность, что решение, приговор судьбы низойдет сегодня же. По воскресеньям приходит почта из Антиохии, в ней не только письма и газеты, но и административные указы каймакама\* в адрес общин и всех верноподданных.

---

**\* Каймакам – начальник округа (турецк.).**

---

Габриэла заботит только семья. Положение осложнилось. Что будет с Жюльеттой и Стефаном, если его отправят на фронт? В этом случае им, пожалуй, лучше оставаться в Йогонолуке. Жюльетта в восторге от дома, парка, угодий, фруктового сада, розария. Она, видно, вполне вошла в роль помещицы. Порядочные, достойные уважения люди есть и здесь. Старого доктора Петроса Алтуни и аптекаря Григора, на редкость ученого человека, Габриэл знает с

детства. К этим почтенным людям принадлежит и вардапет\* Тер-Айказун – настоятель церкви в Йогонолуке и глава григорианской церкви\*\* всей Суэдии; протестантский пастор Арутюн Нохудян из Битиаса, учителя и другие именитые люди. К женщинам, правда, надо быть снисходительнее.

---

\* Вардапет – архимандрит (армянск.).

\*\* Григорианская церковь, или армяно-григорианская церковь – название армянской церкви «григорианская» – условное, вошло в обиход лишь с 1836 года. После присоединения Восточной Армении к России царские власти, не удовлетворившись одним только этнографическим названием армянской церкви – Армянская, просили сообщить и второе название, которое отражало бы исповедуемые церковью принципы (как, например, Русская православная церковь, Римская латино-католическая и т. д.). Не совсем разобравшись в существе вопроса, Эчмиадзин представил Имперскому Совету по церковным делам название Просветительская церковь, по имени организатора армянской официальной церкви Григория Просветителя (см. Григорий Просветитель). В опубликованном «Положении» о церковных делах Армянская церковь была названа Григорианской по-русски и Просветительской по-армянски. Это название вводило в заблуждение, ибо создавало впечатление, что Армянская церковь берет начало с Григория Просветителя, жившего в IV веке. Между тем, Григорий Просветитель был не зачинателем Армянской церкви (ими были, по преданию, апостолы Фаддей и Варфоломей), а скорее ее реформатором, организатором. Название «армяно-григорианская церковь» в научном обиходе не бытует, на его искусственность указывал еще Н. Я. Марр, и постепенно выходит из употребления. Подлинное название Армянской церкви – Армянская Апостольская церковь.

---

После первого приема, устроенного в вилле Багратянов для этого избранного круга, Габриэл заметил Жюльетте, что и в провансальском городке едва ли можно найти лучшее общество, чем здесь, на сирийском побережье. Жюльетта выслушала его, не иронизируя против обыкновения над всем типично армянским и восточным, чем частенько изводила мужа. С тех пор такие вечерние приемы бывали не раз. Вот и сегодня готовится прием, в это мартовское воскресенье. Габриэл счастлив, что Жюльетта стала мягче. Но что все милости судьбы, если жена и сын будут отрезаны от мира, оставшись здесь одни, без него?

Дубовое ущелье давно позади, а Багратян так и не решил, как быть с семьей. Проторенная дорожка сворачивает на север и теряется между



зарослями медвежьих ягод и рододендрона на горном хребте. Эту часть Муса-дага жители горных селений называют Дамладжк. Габриэлу памятно все эти названия. Дамладжк не очень высок. Две южные его вершины расположены на высоте восьмисот метров над уровнем моря. Это две последние возвышенности горного массива, которые затем внезапно, будто надломившись, низвергаются хаосом гигантских камней на равнину Оронта. Здесь, на севере, где в эту минуту ищет дорогу путник, Дамладжк снижается, переходит в седловину. Это самое узкое место в прибрежном кряже Муса-дага, это талия Муса-дага. Плато сужается до нескольких сотен метров, а хаос камней на круче тянется дальше.

Габриэлу, кажется, знаком здесь каждый камень, каждый куст. Из картин детства это место особенно ярко запечатлелось в памяти. Те же пинии, раскрывшие свои зонтики-кроны, их здесь целая роща. Тот же ползучий хвойник, как щетина пробивающийся из-под каменистой почвы. Плющ и еще какие-то вьющиеся растения оплели ожерельями мудрые глыбы, что собрались в кружок, и, словно гигантские участники Совета старейшин природы, прерывают совещание, едва слышат шаги пришельца. Стая ласточек, готовых к отлету, расколола щебетом тишину. Суетливое кружение птиц в зеленоватой заводи лесного воздуха. Словно плещутся темные форели. Стремительные взмахи крыльев положи на взмахи ресниц.

Габриэл ложится, заложив руки за голову, в поросшую травой ложбинку. Дважды до нынешнего утра всходил он на Муса-даг, ища эти пинии и мудрые глыбы, но всякий раз сбивался с дороги. Стало быть, дороги сюда и нет, подумал он. И устало закрыл глаза. Стоит человеку вернуться на место своих былых размышлений, как на него яростно набрасываются духи, которых блудный сын сам же вызвал к жизни, а потом покинул. Вот и на Багратяна набросились духи его детства, словно двадцать три года преданно ждали его здесь, меж пиний и скал, в этой пленительной глуши. Весьма воинственные духи, грозные видения, знакомые каждому армянскому мальчику. (Могло ли быть иначе?) Своим указом кровавый султан Абдул Гамид начал гонения против христиан. Верные псы пророка – турки, курды, черкесы объединяются вокруг зеленого знамени, чтобы предать огню и мечу, чтобы грабить и резать армянский народ. Но враги не знают, что им придется иметь дело с Габриэлом Багратяном. Он собирает всех своих и уводит в горы. С неописуемым, героическим мужеством противостоит он натиску превосходящих сил неприятеля и заставляет его отступить.

Габриэл не гонит от себя этот ребяческий морок. Он, парижанин, муж Жюльетты, ученый, офицер, который знает, что такое современная война, и только на днях намеревался выполнить свой долг турецкого солдата, он одновременно и тот мальчик, что, движимый древней ненавистью к исконным врагам своего народа, бросается на них с оружием в руках. Мечты каждого армянского мальчика! Правда, быстротечные! И все же странно... Засыпая, он иронически улыбается.

Габриэл вздрагивает, испуганный. Покуда он спал, кто-то его пристально

разглядывал. И, должно быть, давно уже. Лучистые глаза сына, Стефана. Габриэла охватывает неприятное, хотя и не совсем ясное ощущение. Сын не должен исподтишка наблюдать за спящим отцом. Он нарушает некий сокровенный нравственный закон. И отец не без строгости спрашивает:

– Что ты здесь делаешь? Где мосье Авакян?

Теперь и Стефан, по-видимому, смущен, что застал отца врасплох – спящим. Не знает, куда девать руки. Пухлый рот полуоткрыт. Он в школьной форме с широким отложным воротничком, в чулках до колен. Отвечая, тербит курточку.

– Мама позволила мне пойти гулять одному. У мосье Авакяна сегодня свободный день. Мы ведь по воскресеньям не занимаемся.

– Мы, Стефан, не во Франции, а в Сирии, – многозначительно говорит отец. – Не смей больше без старших лазать по горам.

Стефан не сводит с отца напряженного взгляда, будто ждет после этого не очень строгого выговора другого, более важного предостережения.

Но Габриэл ничего больше сыну не сказал. Им овладело странное смущение, точно он впервые в жизни остался наедине со своим мальчиком. С тех пор как они в Йогонолуке, он уделяет сыну так мало внимания, встречается с ним больше за столом. В Париже и на каникулах в Швейцарии они иногда совершали вдвоем прогулки. Но разве в Париже и в Монтрё или в Шамони\* можно уединиться? А в прозрачном воздухе Муса-дага есть что-то расковывающее, что сближает отца с сыном. Габриэл идет впереди, точно проводник, знающий все достопримечательности. Стефан следует за ним так же безмолвно и выжидающе.

---

\* Монтрё и Шамони (точнее: Шамони-Монблан) – горные курорты в Швейцарии.

---

Отец и сын на Востоке! Их отношения едва ли можно сопоставить с поверхностной связью между родителями и детьми в Европе. Здесь кто видит своего отца, тот видит бога. Ибо отец – последнее звено в неразрывной цепи предков, связующей человека с Адамом, а тем самым с изначальными временами сотворения мира. Но и тот, кто видит сына, видит бога. Ибо сын есть последующее звено, связующее человека со Страшным судом, с концом всего сущего и с искуплением. Не должны ли сопутствовать этой священной связи робость и немногословие?

Отец все же решил завести для порядка серьезный разговор:

– Какие предметы ты сейчас проходишь с мосье Авакяном?

– Мы, папа, недавно начали читать по-гречески. А еще мы проходим физику, историю и географию.

Багратян вскидывает голову: Стефан говорит по-армянски. Разве отец обратился к нему по-армянски? Обычно они говорят между собой по-французски. Армянская речь сына необыкновенно трогает отца. И он сознает, что воспринимал Стефана гораздо чаще как французского, чем армянского мальчика.

– Географию, – повторяет он. – А какую часть света вы сейчас изучаете?

– Географию Малой Азии и Сирии, – с радостной готовностью рапортует Стефан.

Габриэл одобрительно кивает, словно ничего умнее и нельзя было придумать для урока географии. Затем, чувствуя, что теряет нить, пытается придать разговору педагогический оборот:

– А ты мог бы начертить карту Муса-дага? Стефан счастлив, что отец ему доверяет.

– О да, папа! В твоей комнате висит дядина карта Антиохии и побережья. Надо только увеличить масштаб и дорисовать все, что на карту не нанесено.

Совершенно верно. С минуту Габриэл радуется сообразительности Стефана, потом опять вспоминает приказ о мобилизации – он, верно, уже в пути, а может, валяется у турок на каком-нибудь канцелярском столе в Алеппо или, чего доброго, странствует по Стамбулу.

Они молча идут дальше. Стефан трепетно ждет, чтобы отец заговорил с ним снова. Это ведь папина родина. Стефан жаждет услышать рассказ об отцовом детстве, о тех таинственных вещах, о которых ему так редко рассказывали. Но отец, кажется, не случайно затеял эту прогулку, у него есть определенная цель. И вот перед ними открылась своеобразная терраса, сюда-то он и стремился. Выступая из тела горы, она нависает над бездной. Исполинская каменная рука, растопырив пальцы, держит ее, как чашу, на ладони. Это усыпанная камнями скалистая плита; она огромна – на ней уместились бы два дома. Морские бури, которым здесь есть где разгуляться, пощадили только несколько кустов да агаву с жесткими, будто кожаными листьями.

Эта повисшая в воздухе плита так далеко выступает вперед, что, если человек, влекущийся к смерти, бросится отсюда в морскую бездну, которая находится четырьмястами метрами ниже, он сразу канет на дно, не разбившись о скалы.

Стефан, как это сделал бы всякий мальчик, хочет подбежать к краю выступа, но отец порывисто оттаскивает его и долго не отпускает руку сына. Свободной рукой он показывает ему окрестности:

– Там, на севере, мы могли бы увидеть Александреттскую бухту, если бы не мыс Рас-эль-Ханзир, Свиной нос, а южнее – даже устье Оронта, но гора там неожиданно образует дугу...

Стефан внимательно следит за указательным пальцем отца, которым он обводит полукружие бушующего моря, и вдруг задает вопрос, не имеющий отношения к карте местности:

– Папа! Ты в самом деле пойдешь на войну?

Габриэл не замечает, что все еще судорожно сжимает руку сына.

– Да! Со дня на день жду приказа.

– А это обязательно?

– Иначе нельзя, Стефан. Все турецкие офицеры запаса обязаны явиться в свой полк.

– Мы же не турки. И почему они тебя сразу не призвали?

– Очевидно, в артиллерии пока нехватка орудий. Когда будут сформированы новые батареи, призовут всех офицеров запаса.

– А куда они тебя пошлют?

– Я нахожусь в распоряжении четвертой армии, она дислоцирована в Сирии и Палестине.

На Габриэла успокоительно действует мысль о том, что он на некоторое время будет командирован в Алеппо, Дамаск или Иерусалим. Может, удастся взять с собой Жюльетту и Стефана. Стефан отгадал, о чем думает отец:

– А мы, папа?

– Вот то-то и дело...

Не дав ему договорить, Стефан страстно просит:

– О папа, пожалуйста! Оставь нас здесь! Маме тоже очень нравится жить в нашем доме.

Стефану хочется успокоить отца, заверить его в добрых чувствах матери, ведь она здесь на чужбине. С редкой чуткостью улавливает он борьбу двух миров в жизни своих родителей.

Но Багратян задумчиво говорит:

– Самое лучшее было бы попытаться увезти вас через Стамбул в Швейцарию, но, к сожалению, Стамбул сейчас тоже стал театром военных действий...

Стефан прижимает сжатые кулаки к груди:

– Нет, не надо в Швейцарию! Оставь нас здесь, папа! Габриэл с изумлением смотрит в умоляющие глаза мальчика. Не странно ли? Ребенок, никогда не видевший отчизну праотцев, наперекор всему с нею связан! То, что живет в самом Габриэле, – привязанность к этой родовой горе Багратянов, Стефан, родившийся в Париже, впитал с кровью, унаследовал не имея собственного эмоционального опыта. Отец обнимает мальчика за плечи, но отвечает:

– Посмотрим.

Когда они снова всходят на поверхность Дамладжка, из Йогонолука доносится утренний благовест. Путь в долину отнимает около часа. Им надо поторопиться, чтобы услышать хотя бы вторую половину литургии.

В Азире немногие встречные приветствуют Багратянов:

– Доброе утро!

Жители Азира ходят в йогонолукскую церковь. Туда всего пятнадцать минут ходу. В Азире на улицах возле домов стоят столы, между ними переброшены большие доски. На досках белоснежная масса – коконы

шелковичного червя, они выводятся на солнце.

Габриэл рассказывает Стефану, что прадед мальчика Аветис Багратян был сыном шелководы и свой жизненный путь начал с того, что в ранней юности, в пятнадцать лет, ездил в Багдад закупать шелковичных червей.

На полпути к Йогонолуку Багратянам попадает старый жандарм Али Назиф. Почтенный заптий\* принадлежит к числу тех десяти турок, которые вот уже сколько лет живут в армянских деревнях в мире и дружбе с населением. Под его началом пять жандармских чинов, эти, впрочем, часто сменяются, тогда как сам Али Назиф по-прежнему на своем посту, незыблемый, как Муса-даг. Есть, помимо упомянутых, еще один представитель султана: горбун-почтальон с семейством. По средам и воскресеньям он разносит почту из Антиохии.

---

**\* Заптий – турецкий жандарм (турецк.).**

---

Али Назиф сегодня чем-то расстроен и озабочен. Этот лохматый представитель оттоманской власти, видимо, очень торопится по служебному делу. Рябое лицо, под надвинутой на брови облезлой папахой, лоснится от пота. Оружие воинственной кавалерии, шашка, болтается меж кривых ног. При встрече с эфенди Багратяном он обычно становится по стойке смирно, а нынче только отковырял, и вид у него был при этом несколько озадаченный. Габриэл так удивлен поведением жандарма, что долго смотрит ему вслед.

По церковной площади Йогонолука торопливо пробираются пришедшие издалека и потому опоздавшие прихожане. Женщины в ярких, вышитых гладью платках, в сборчатых юбках, мужчины в шароварах, поверх которых носят энтари – нечто вроде кафтана. Лица их суровы, сосредоточены.

Солнце сегодня греет по-летнему, заливая светом яркую белизну оштукатуренных домов. Дома эти большей частью одноэтажные и недавно побелены. Это дом священника Тер-Айказуна, дом врача, дом аптекаря и большой муниципальный дом, принадлежащий йогонолуцкому богатею мухтару\* Товмасу Кебусяну.

---

**\* Мухтар – староста (турецк.).**

---

Церковь Во умножение чинов ангельских покоится на широком цоколе. К portalу ее ведет просторная паперть. Храмоводитель Аветис Багратян приказал архитектору построить церковь по образцу, но в меньших размерах, знаменитой национальной святыни, которая находится на Кавказе. Из открытых дверей льется пение хора, сопровождающего литургию. Сквозь густую толпу виден во тьме, в мерцании свеч, алтарь. Сияет золотой крест на алой фелони Тер-Айказуна.

Габриэл и Стефан входят в портал. Их останавливает воспитатель Стефана, Самвел Авакян. Он ждет их с нетерпением.

– Пройдите вперед, Стефан, – велит он мальчику. – Ваша матушка ждет вас.

И когда Стефан исчезает в жужжащей толпе молящихся, Авакян порывисто обращается к Багратяну:

– Должен сообщить вам, что у вас отобрали паспорта. Иностраннный и местный, вид на жительство. Из Антиохии прибыли три чиновника.

Габриэл внимательно разглядывает лицо этого студента, который уже несколько лет живет общей жизнью с семьей Багратянов. Лицо армянского интеллигента. Высокий, немного покатый лоб. Настороженный, глубоко озабоченный взгляд за стеклами очков. Печать вечной покорности судьбе и в то же время ясно выраженная готовность к сопротивлению, готовность в любую секунду парировать удар противника. С минуту Габриэл изучает это лицо и лишь потом спрашивает:

– И что вы сделали?

– Мадам все отдала чиновникам.

– И обычный паспорт тоже?

– Да. Заграничный и тескере.

Габриэл Багратян сходит с паперти, зажигает сигарету и в задумчивости делает несколько затяжек. Тескере – вид на жительство, документ, дающий право свободно передвигаться по территории османского государства. Без этого клочка бумаги подданный султана теоретически из одной деревни в другую не имеет права поехать. Габриэл отбрасывает сигарету и расправляет плечи.

– А значит это только то, что сегодня или завтра я должен буду явиться в Алеппо, в свою часть.

Авакян переводит взгляд на глубокую колею, проложенную недавним дождем на церковной площади.

– Вряд ли это значит, что вас вызывают в Алеппо, господин Багратян.

– Ничего другого это не может значить.

Голос Авакяна звучит совсем тихо:

– От меня тоже потребовали паспорт. Багрatian сдерживает смех.

– Значит, вам нужно явиться в Антиохию на освидетельствование в воинское присутствие. На сей раз это не шутка. Но не тревожьтесь. Мы еще раз выручим вас, заплатим налог за освобождение от воинской повинности, вот и все. Вы нужны мне для Стефана.

Авакян не отводит глаз от колеи.

– Хорошо, я-то молод, но доктор Алтуни, аптекарь Грикор, пастор Нохудян наверняка не подлежат мобилизации. А тескере и у них отняли.

– Это точно? – набрасывается на него Габриэл. – Кто отнял? Что это за административные органы? Чем они это объясняют? И вообще, где эти господа находятся? Мне очень хочется с ними потолковать.

Авакян отвечает, что чиновники вместе с отрядом конной жандармерии часа полтора назад отбыли по направлению к Суэдии. А распоряжение о паспортах распространяется только на высший слой общества, ведь простой крестьянин или ремесленник никакого тескере и не имеет, в лучшем случае ему выдают разрешение торговать на базаре в Антиохии.

Габриэл большими шагами ходит взад-вперед, забыв об учителе. Затем останавливается и говорит повелительно:

– Ступайте в церковь, Авакян. Я тоже потом приду.

Но он не собирается слушать литургию, хотя скорбный хор звучит сейчас особенно стройно и мощно. Медленно, опустив в раздумье голову, пересекает он площадь, сворачивает на поперечную улицу и выходит к тому месту, где дорога в имение образует развилку. Не заходя в дом, он останавливается у конюшен и велит оседлать резвую лошадь – былую гордость брата Аветиса.

«Жаль, Кристофора нет на месте, взял бы его с собой». Габриэл берет в провожатые конюха.

Ясного представления о том, что он будет делать, у него нет. Однако, если пустить коня рысью, к полудню можно поспеть в Антиохию.

## Глава вторая

### КОНАК ХАМАМ СЕЛАМЛИК\*

Антиохийский хюкюмет, как называют здесь конак – резиденцию начальника округа, каймакама, – расположен в нижней части нагорной крепости. Это грязное, но поместительное здание, ибо Антакье – одна из самых многолюдных провинций Сирии.

Габриэл Багрatian оставил конюха с лошадьми у Оронтского моста и давно уже ждет в большой конакской канцелярии. Он вручил письмоводителю свою визитную карточку в надежде, что попадет на прием к самому каймакаму.

Присутственное место на турецкий манер; Габриэл знает все это

досконально. На сырой стене с осыпающейся штукатуркой – аляповатая олеография, изображающая султана, два-три изречения из корана, в рамочках. Оконные стекла почти всюду разбиты и заколочены фанерой. Пол заплыван, усеян окурками, в коросте грязи.

За пустым канцелярским столом сидит чиновник и, уставившись в пространство, время от времени щелкает языком. Никто не мешает туче жирных мясных мух устраивать здесь свой омерзительный концерт. По стенам тянутся низкие скамьи. Несколько ожидающих посетителей. Турецкие и арабские крестьяне. Один из них не побрезгал сесть на замызганный пол, расстелив под собою свой длинный бурнус, словно намеревался собрать весь мусор. Кисловатый, отдающий юфтью запах пота, курева, кости и нищеты. Габриэл знал, что в каждой стране канцелярии правительственных учреждений пахнут по-своему. Но всем канцеляриям присуще одно: воздух, насыщенный миазмами страха и покорности, с которыми маленькие люди приемлют, как неотвратимое стихийное бедствие, произвол государственной власти.

Наконец пестро одетый привратник с покровительственным видом провел его в комнату поменьше и почище, отличающуюся от других еще и тем, что окна в ней были целы, стены оклеены обоями, на письменном столе разложены папки.

---

\* Резиденция начальника округа. Бани. На мужской половине (турецк.).

---

Вместо портрета султана на стене висела большая фотография Энвера-паши на коне. Габриэл увидел сидящего за столом молодого еще человека, рыжеватого, в веснушках и коротких, на английский манер, усиках. Принимал Габриэла не каймакам, а мюдир\*, в чьем ведении находилось побережье – Суэдия. Самым примечательным в его наружности были неимоверно длинные, тщательно ухоженные ногти. Слишком плотно облегающий его маленькую, тощую фигурку серый костюм в сочетании с красным галстуком и канареечно-желтыми ботинками на шнурках довершал его облик.

---

**\* Мюдир – управляющий (турецк.)**



---

Габриэл догадался сразу: «Он из Салоник!»

Никаких данных для этого он не имел, судил только по внешности молодого чиновника. Салоники были колыбелью младотурецкого национального движения, ярых сторонников западной ориентации, которые слепо преклонялись перед всеми формами европейского прогресса. Мюдир, несомненно, принадлежал к сторонникам, а возможно, и к членам Игтихата – таинственного «Комитета единства и прогресса», который сейчас пользовался неограниченной властью в империи калифа.

Мюдир принял посетителя чрезвычайно учтиво и даже пододвинул ему стул поближе к письменному столу. Его воспаленные глаза с редкими, как у всех рыжих людей, ресницами все время смотрели мимо, избегая взгляда Багратьяна. Габриэл снова, несколько подчеркнуто, назвал себя. Мюдир слегка наклонил голову:

– Знатный род Багратьянов нам известен. Нельзя не признать, что слова и вся повадка мюдира произвели на Габриэла приятное впечатление. Голос его звучал увереннее.

– Сегодня у некоторых моих земляков, да и у меня тоже, отобрали паспорта. Это сделано по распоряжению местных властей. Вы об этом знаете?

Мюдир долго раздумывал, листал папки, давая понять, что, будучи крайне перегружен делами по вверенному ему ведомству, не может держать в памяти всякие мелочи. Наконец соизволил вспомнить:

– Ах да, конечно! Паспорта. Мероприятие проведено не по распоряжению местных властей, а согласно предписанию его превосходительства господина министра внутренних дел.

Он извлек отпечатанный на машинке листок и положил перед собой. Видимо, он собирался, буде посетитель пожелает, прочитать указ министра внутренних дел Таалата-бея полностью.

Габриэл осведомился, распространяется ли предписание на всех. Ответ звучал несколько уклончиво: широких народных масс это едва ли коснется, ведь паспорта чаще всего имеются только у богатых купцов, торговцев и других подобных лиц.

Габриэл не мог оторвать глаз от длинных ногтей мюдира.

– Я провел всю жизнь за границей, в Париже. Чиновник снова наклонил голову:

– Нам это известно, эфенди.

– Поэтому я не привык к противозаконному лишению свободы... Мюдир снисходительно усмехнулся.

– Вы переоцениваете значение этого мероприятия, эфенди. Мы ведь воюем. Впрочем, нынче немецкие, английские и французские подданные тоже вынуждены мириться со многим, к чему раньше не были привычны. Во всей

Европе происходит совершенно то же самое. Прошу также учесть, что мы находимся непосредственно в тылу Четвертой армии, а значит, в военной зоне. Поэтому необходим контроль над передвижением людей, над транспортом.

Объяснение звучало убедительно, и на душе у Багратьяна стало легче. То, что произошло сегодня утром и из-за чего он во весь опор мчался в Антиохию, сразу утратило остроту. Государство вынуждено себя защитить. Слухи о шпионах, изменниках, дезертирах не прекращаются. Нельзя судить об административных мерах из йогонолукского захолустья.

Дальнейшие доводы мюдира тоже вели к тому, чтобы рассеять тревогу и недоверие армянина. Действительно, министр отнял паспорта, но это не значит, что при особых, уважительных обстоятельствах не могут быть выданы новые документы. Для этого провинция имеет компетентные органы в Алеппо. Эфенди Багратьяну, разумеется, известно, что его превосходительство вали\* Джелал-бей самый добрый и справедливый губернатор во всей империи. Прощение по данному поводу можно будет с положительной резолюцией переправить отсюда в Алеппо. Тут мюдир вдруг переменял тему:

– Если не ошибаюсь, эфенди, вы военнообязанный... Багратьян коротко изложил положение дел. Еще вчера, быть может, он попросил бы этого чиновника навести справки, почему он до сих пор не призван в армию. Но эти несколько часов все изменили. Мысли о войне, Жюльетте и Стефане удручали неимоверно. У Багратьяна иссякло чувство долга, долга турецкого офицера. Теперь он надеялся, что в Алеппо отдел кадров о нем забыл. Уж лучше не привлекать к себе внимание. Но тут ему открылось, как хорошо осведомлены антиохийские власти обо всем, что касалось Габриэла Багратьяна. Воспаленные глаза мюдира взирали на него благосклонно.

---

\* Вали – губернатор, начальник вилайета, т.е. провинции (турецк.).

---

– Видите, вы военный и как бы в отпуске, так что тескере вам ни к чему.

– Но моя жена и сын...

Он не договорил, его вдруг осенила зловещая догадка: «Мы в западне».

В ту же минуту распахнулась двустворчатая дверь из смежной комнаты. В канцелярию вошли двое: пожилой офицер и – Габриэл сразу понял – каймакам. Начальник округа был высокий надменный человек в сером помятом сюртуке. Тяжелые, изжелта-черные мешки под глазами нависали над бескровными одутловатыми щеками – у каймакама явно была больная печень. Багратьян и мюдир встали. Каймакам не удостоил армянина вниманием. Тихим голосом он отдал своему подчиненному какое-то распоряжение, небрежно приложил

пальцы к феске в знак приветствия и вместе со своим спутником покинул канцелярию, полагая, очевидно, что его трудовой день окончен. Габриэл уставился на захлопнувшуюся за ним дверь:

– Это что же, офицер офицеру рознь?

Мюдир наводил порядок на своем столе.

– Не понимаю, что вы хотите этим сказать, эфенди.

– Я хочу сказать, что есть, должно быть, два вида обращения: один для турок, другой – для армян, не так ли?

Мюдира это замечание чрезвычайно возмутило.

– Перед законом все подданные Оттоманской империи равны! Это важнейшее достижение революции 1908 года. Если кое-где еще сохранились пережитки прошлого, в том числе и предпочтение, оказываемое коренному османскому населению на государственной и военной службе, то это относится к тем явлениям, которые административным путем уничтожить нельзя. Народы меняются не так быстро, как конституции, и реформы проводятся на бумаге скорее, чем в жизни.

Изложив свои идеи о государственной политике Турции, он в заключение сказал:

– Война принесет перемены во всех областях.

Габриэл воспринял эти слова как доброе пророчество. Но мюдир вдруг откинулся назад – и Габриэл увидел искаженное беспричинной, казалось бы, злобой конопатое лицо.

– Надо надеяться, не произойдет никаких таких событий, которые заставили бы правительство дать почувствовать известной части населения, что власть может быть и беспощадно строгой.

Когда Багратян свернул на улицу, выводящую к городскому базару, он принял два решения. Первое: если его призовут, пойти на любые жертвы и откупиться от военной службы. Второе: незаметно и спокойно дожидаться конца войны в мирной тиши йогонолуцкого дома. Так как сейчас весна 1915 года, то всеобщее перемирие будет заключено через несколько месяцев: в сентябре или октябре. Ни одна из воюющих сторон не решится на новую зимнюю кампанию. А покамест нужно по возможности удобно устроиться и затем поскорее вернуться домой, в Париж.

Базар увлек его за собой. Тот поток, что, в отличие от европейских улиц, не знает ни спешки, ни приливов и отливов, а неуклонно и мерно катится неведь куда, как время – к вечности. Казалось, находишься не в богом забытом провинциальном городишке Антиохии, а в Алеппо или Дамаске, так нескончаемы и многолюдны были оба рукава базарного потока, струившиеся в противоположных направлениях. Турки в европейской одежде, с тросточками, в крахмальных воротничках и фесках, купцы и чиновники. Армяне, греки, сирийцы – тоже в европейском платье, распознать их можно по своеобразным головным уборам. Между ними то и дело попадаются курды и черкесы в национальных костюмах. Большинство их открыто носит оружие. Правительство, которое подозрительно косится на каждый перочинный ножик

у христианина, позволяет буйным горным племенам иметь современные винтовки и даже само одаривает их оружием. Вот местные крестьяне-арабы. И кое-где – бедуины с юга, в длинных, ниспадающих складками плащах цвета пустыни, в великолепных тарбушах\*, заканчивающихся длинной, до плеч, шелковой кистью. Женщины в чаршафе\*\* – национальном уборе мусульманок. Попадают, правда, и эмансипированные женщины, не прячущие лица, в платьях, из-под которых видны ноги в шелковых чулках. Порой в людском потоке просеменит, низко опустив голову, тяжело нагруженный ослик, этот безнадежный работяга животного мира.

---

\* Тарбуш – род фески (турецк.).

\*\* Чаршаф – головное покрывало (турецк.).

---

Габриэлу казалось порой, что это один и тот же ослик, который то и дело возникает перед глазами, непрестанно мотая головой, и, должно быть, один и тот же оборванец, который вел его в поводу. Но все здесь, весь этот мир – мужчины, женщины, турки, арабы, армяне, курды, солдаты в зеленовато-коричневой форме, ослики и козы, – все они, повинувшись единому ритму, слились в некое неопишное целое: медленный, широкий шаг вразвалку, неудержимое влечение к некоей цели, познать которую не дано. Габриэл узнавал запахи детства. Запах кипящего кунжутного масла, который разносится по всему переулку из котлов с варевом. Запах обильно приправленных чесноком бараньих фрикаделек, клокочущих в подливке на сковородках, поставленных прямо на уголья. Запах гниющих овощей. И все перекрывающий человеческий запах, запах людей, спящих ночью в той же одежде, которую они носят днем.

Узнавал он и пыльные напевы уличных торговцев: «Ja rezzak, ja kerum, ja fellah, ja alim», по-прежнему самозабвенно выпекает мальчик с корзинкой, торгующий круглыми белыми хлебами: «О Бог-питатель, о многомилостивый, о вседержитель, о всеведущий!» По-прежнему звучало древнее зазывание, славившее свежие финики: «О смуглянка моя, о смуглянка пустыни, о дева!» И как прежде, гортанно выкликает торговец салатом:

– Ed doim Allah, Allah ed doim!

А то, что один лишь бог вечен, должно было, как видно, утешить покупателя при взгляде на товар.

Габриэл купил беразик – булочку, намазанную виноградной патокой. Этот «ласточкин клевок» тоже памятен с детства. Но, едва надкусив, он почувствовал отвращение и тут же отдал сдобу мальчишке, который, как

зачарованный, глядел ему в рот. На несколько секунд Габриэл закрыл глаза – до того вдруг стало тошно.

Что же случилось и почему так изменился мир? Здесь, в этой стране, он родился. Здесь он должен бы чувствовать себя своим. Но возможно ли? Этот неудержимо и мерно струившийся базарный поток заставил Габриэла усомниться: да здесь ли его родина? Он это чувствовал, хотя мелькающие замкнутые лица на него не глядели. А молодой мюдир? Он принял Габриэла в высшей степени обязательно и учтиво. «Знатный род Багратянов». Но теперь Габриэл понял, что этот любезный прием вкупе со «знатным родом Багратянов» были просто издевательством. Более того: ненавистью под маской вежливости. Та же ненависть захлестнула его в этом базарном потоке. Обжигала ему кожу, гвоздила спину. А по спине, и правда, от страха вдруг мурашки забегали, будто это преследовали, хотя никому здесь до него не было дела. В Йогонолуке, в большом и родном доме, он ни о чем знать не знал! А раньше, в Париже? Там, несмотря на все благополучие, он жил прозябая, как всем чужой иммигрант, чьи корни берут начало где-то в иной стране. Неужто же здесь его корни? Только сейчас, на этом жалком базаре его родины ему стало беспощадно ясно, как чужд он всем на Земле. Армянин! Он – древней крови, в нем живет древний народ... Отчего же мысли его чаще всего облекаются во французские, а не в армянские слова? Как, например, сейчас. (И все же сегодня утром он так явственно ощутил радость, когда сын отвечал ему на армянском языке!) Кровь и народ! Надо быть честным! А может, все-таки это пустые понятия? В каждом веке люди стараются приправить новыми идеями, новыми пряностями это горькое хлёбово – жизнь, а оно только становится еще несъедобнее.

Перед взором Габриэла открылся какой-то проход в базаре. Здесь, перед лавками и выставленным на продажу товаром, стояли большей частью армяне: менялы, торговцы коврами, ювелиры. Так это и есть его братья? Эти плутоватые лица, эти лукавые глаза, подкарауливающие покупателя? Ну нет, спасибо за этакую родню, все в ней его отвращало. Но разве дедушка Аветис Багратян был в свое время другим, был лучше, чем такой базарный торгаш? Он просто оказался дальновиднее, одареннее, энергичнее, и разве не благодаря своему деду стал Габриэл тем, что есть, не таким, как эти люди на рынке?

Содрогаясь от отвращения, он пошел дальше. Правда, он сознавал: очень большая трудность в его жизни возникала потому, что он на многое смотрит глазами Жюльетты. Стало быть, он не только другим чужой, но и себе, в своем внутреннем мире. Господи Иисусе! Неужели нельзя быть просто человеком, каким был он сегодня утром на Муса-даге, независимым от этой грязной, неприязненной толпы?

Ничто так не изматывает, как такая самопроверка, проверка своей истинной сущности! И Габриэл бежал с «Длинного рынка» – Узун-Чарчи, как называется по-турецки этот базар. Он не мог больше выносить этот враждебный ритм.

Он вышел на маленькую площадь между несколькими, более

современными домами. В глаза ему бросилось красивое здание, хамам – баня, построенная, как это водится в Турции, не без роскоши.

Идти с визитом к старому аге Рифаату Берекету было рано. К тому же Габриэла не привлекало времяпрепровождение в здешних сомнительных харчевнях, поэтому он зашел в баню.

Двадцать минут он провел в общей зале, в парной, в медленно поднимающихся клубках пара, сквозь которые не только далекими призраками казались тела купальщиков, но и собственное тело словно уносилось вдаль. Это было похоже на малую смерть. До его сознания дошел вдруг скрытый смысл этого дня. По телу, как бы отделившемуся от него, стекали капли, а с ними испарялась и та выстрадавшая вера, которой он прежде стойко придерживался.

Он лег на пустой топчан в прохладном предбаннике, предоставив себя, как заведено, в распоряжение банщика. Его тело казалось ему более голым, если можно так выразиться, чем в парной. Банщик набросился на него и начал по всем правилам искусства – а это поистине было искусство – месить его. Хлопки по спине были подобны трелям на цимбале, под этот аккомпанемент банщик что-то хрипло напевал. На соседних топчанах тем же манером обрабатывали каких-то турецких беев. Они молча покорялись яростному усердию банщика и лишь блаженно постанывали. Время от времени, перебиваемые этими сладостными стенаниями, доносились обрывки беседы, которую вели какие-то голоса. Габриэл сначала и не думал прислушиваться. Но голоса назойливо лезли в ухо, проникая сквозь жужжание его демона-мучителя. Они были так необыкновенно характерны и различны меж собой, что Габриэлу стало казаться, будто он видит эти голоса.

Первый – жирный бас. Характер, несомненно, самоуверенный, чрезвычайно дорожит информацией обо всем происходящем, получает ее, возможно, даже раньше доверенных чиновников. У этого высокоосведомленного человека – тайные источники информации:

– Англичане доставили его на побережье миноносцем с Кипра... Было это у Ошлаки... Субъект этот имел с собой деньги и оружие и неделю занимался подстрекательством к бунту в этой деревне... Заптии, разумеется, ничего не знали... Мне известно даже его имя... Эту сволочь зовут Кешкерян...

Второй голос-высокий и опасливый. Наверное – мирный старичок, которому очень не хочется слушать про неприятное. Голос этот рангом пониже других и смотрит на них снизу вверх. Свои сладострастные вздохи он облакает в возвышенные слова корана – так подбирают слова к музыке:

– Ла ила ила'лла\*... Велик господь... Это никуда не годится... Но, может, это неправда... Ла ила ила'лла... Болтают всякое... Должно быть, и это болтовня...

---

\* Нет бога, кроме бога (турецк.).

---

Жирный бас исполнен презрения:

– Я располагаю весьма важными письмами от одного высокопоставленного лица... верного друга...

Третий голос. Гнусавый голос-подстрекатель, политикан-пустомеля, у которого сердце радуется, когда все на свете идет кувырком:

– Нельзя же такое допускать... Надо положить этому конец... Куда смотрит правительство? Куда смотрит Иттихат?.. Военная повинность – вот в чем несчастье... Мы сами вооружили этот сброд... Попробуйте-ка теперь с ними справиться... Война... Вот уж несколько недель, как я воплю об этом до хрипоты...

Четвертый голос, озабоченно:

– А Зейтун? Мирный старичок:

– Зейтун? Как же? Боже всемогущий! Что же стряслось в Зейтуне?

Подстрекатель, многозначительно:

– В Зейтуне? Сообщение об этом вывешено в читальном зале хюкюмета...

Каждый может убедиться...

Информированный бас:

– В этих читальнях, которые всюду пооткрывали немецкие консулы...

С самого отдаленного топчана его перебивает пятый голос:

– Читальни открывали мы сами.

Темный морок непонятных намеков: «Кешкерян... Зейтун... Надо положить этому конец».

И все-таки Габриэл все понял, не расслышал он только некоторых подробностей. И пока банщик сверлил кулаками его плечи, турецкие голоса назойливо журчали, вливались в уши, как вода.

До боли стыдно! Он, еще недавно брезгливо сторонившийся армянских рыночных торговцев, чувствовал себя сейчас ответственным за них, крепко спаянным с ними общей судьбой народа.

Между тем господин, лежавший на самом дальнем топчане, кряхтя, встал. Он подобрал свой бурнус, служивший также купальным халатом, и, пошатываясь, сделал несколько неверных шагов по предбаннику.

Теперь Габриэл его разглядел: очень высокий и толстый. Его складная речь и то, как беспрекословно слушатели ему внимали, все это наводило на мысль, что это лицо, облеченное властью.

– О правительстве судят несправедливо. В политике на одном нетерпении далеко не уедешь. Обстоятельства складываются совсем иначе, чем представляют себе невежественные люди в народе. Договоры, капитуляции, соблюдение принятых обязательств, заграница! Могу, однако, доверительно сообщить уважаемым господам, что из военного министерства, от его превосходительства самого Энвера-паши поступил приказ военным властям

разоружить *melum ermeni millet* (изменническую армянскую нацию), а это значит, удалить из армии военнослужащих-армян и использовать их только на черной работе, на строительстве дорог. Это и есть истинная правда! Но об этом говорить пока нельзя.

«Этого нельзя допускать, я не могу этого вытерпеть», – думал Габриэл Багратян. А внутренний голос увещевал: «Но ты ведь тоже преследуемый».

Но темная сила, которая подняла его с топчана, решила исход внутренней борьбы. Он оттолкнул банщика и спрыгнул на каменные плиты пола. Затем обвернул вокруг бедер простыню. Пылающее от гнева лицо, взъерошенные после бани волосы, могучие плечи и грудь – кто бы узнал в нем сейчас господина в английском спортивном костюме? Он стремительно шагнул и оказался лицом к лицу с Облеченным властью. По изжелта-черным мешкам под глазами и цвету кожи, какой бывает при болезни печени, он узнал давешнего каймакама. Но, узнав, снова почувствовал прилив ярости:

– Его превосходительство Энвера-пашу вместе с его штабом спасла на Кавказе армянская военная часть. Он был фактически почти захвачен в плен русскими. Вам это так же хорошо известно, как и мне, эфенди. Далее. Вы знаете также, что после этого его превосходительство Энвер-паша в посланиях к католику Сиса\* или к епископу Конии\*\* с благодарностью и похвалой отзывался о храбрости *sadika ermeni millet* (верной армянской нации). Это послание было, по приказу правительства, опубликовано для всеобщего сведения. Вот это и есть истинная правда! Кто отравляет эту правду, распространяет лживые слухи, тот ослабляет обороноспособность страны, подрывает ее единство, тот – враг османской империй и государственный изменник! Это говорю вам я, Габриэл Багратян, офицер турецкой армии.

---

\* Католикос Сиса, или католикос Малой Армении. Католикосат Киликии, или Сиса – вторичный по духовной роли и церковно-административно'му охвату по сравнению с католикосатом. всех армян в Эчмиадзине. Основан католикосат в 1446 г. в гор. Сие Киликийской Армении, бывшей резиденции католикоса всех армян. Основал его Карапет I Евдокаци, который первоначально претендовал на роль католикоса всех армян и боролся против Эчмиадзина. Однако борьба эта постепенно слабела и при его преемниках и вовсе прекратилась. В XVI в. султан Сулейман I захватил Киликию со столицей Сис и превратил ее в провинцию Османской империи. После большого погрома в Адане в 1909 г. (См.) и Геноцида 1915 г. резиденция католикоса Киликии перенесена в село Антилиас близ Бейрута (Ливан).

\*\* Кония – город на юге Турции, административный центр одноименного вилайета.



---

Он замолчал, ожидая ответа. Но беи, ошеломленные этой яростной вспышкой, не проронили ни звука, и даже каймакам промолчал, он только плотнее завернулся в бурнус, прикрывая свою наготу. Так что Габриэл уходил из купальни победителем, хоть и дрожа от волнения. А когда одевался, понял, что, уступив порыву гнева, совершил величайшую, быть может, глупость в своей жизни. Путь в Антиохию теперь для него заказан. А это был единственный путь к возвращению в мир. Прежде чем обрушиваться на каймакама, надо было подумать о Жюльетте и Стефане. И все же он был не так уж недоволен собой.

Сердцебиение у Габриэла еще не унялось, когда слуга аги Рифаата Берекета ввел его в гостиную, в селамлик прохладного турецкого дома. Здесь был полумрак. Габриэл ходил взад и вперед по огромному, упруго и мягко пружинившему ковру. Часы его, которые он по недомыслию все еще ставил по европейскому времени, показывали второй час пополудни. Священный час домашнего досуга, неприкосновенный час послеобеденной неги, являться с визитом в это время – значит грубо нарушать обычай. Он пришел слишком рано. И ага, неподкупный хранитель старотурецких правил поведения, конечно же, заставил себя ждать. Багратян продолжал мерить шагами пустую комнату, в которой, кроме двух длинных, низких диванов, стояли еще жаровня и маленький кофейный столик. Он старался оправдать перед самим собою свою неучтивость: «Что-то происходит, я точно не знаю что, и я должен, не теряя ни минуты, все выяснить».

Рифаат Берекет был другом семьи Багратянов с самых давних пор, в славные дни старого Аветиса. С ним было связано одно из самых светлых и благоговейных воспоминаний Габриэла, и по приезде в Йогонолук он навестил его уже дважды. Ага не только оказывал ему услуги при покупке необходимых вещей, время от времени он посылал к Габриэлу людей, которые за смехотворно низкую цену предлагали ему для его собрания древностей найденные при раскопках редкости.

Хозяин дома вошел неслышно в своих тонких козловых туфлях, застав Габриэла врасплох. Тот все еще вел разговор с самим собой. Аге Рифаату Берекету было за семьдесят; смугловатая бледность лица, седая борода клинышком, опущенные веки и маленькие, белые, словно светящиеся руки, а на голове феска, повязанная палевым шелковым платком. То была примета правоверного мусульманина, соблюдающего религиозные обряды более ревностно и постоянно, чем широкие массы верующих.

Старик поднял свою маленькую руку и медленно, торжественно приложил в знак приветствия к сердцу, губам и лбу. Габриэл ответил тем же, так же торжественно, словно нервы его не были предельно напряжены от нетерпения. Затем ага подошел ближе, протянул правую руку к сердцу Габриэла, слегка коснувшись кончиками пальцев его груди. Это был символ «сердечного контакта», самого сокровенного слияния душ, мистический обряд,

заимствованный набожными людьми у одного дервишского ордена. При этом крошечная рука засияла еще ярче в ласковом полумраке селамлика. Габриэлу подумалось, что эта рука тоже лицо, быть может, даже более тонкое и чувствительное, чем само лицо.

– Друг мой и сын моего друга, – ага начинал речь издалека, и этот зачин был тоже частью церемониала. – Только что ты подарил меня нечаянной радостью – своей визитной карточкой. А сейчас ты украсил своим присутствием мой сегодняшний день.

Габриэл знал этикет и нашел для ответа правильную форму в духе антифона\*:

– Покойные мои родители покинули меня очень рано, но ты для меня живое напоминание, воссоздающее их образы и любовь. Как я счастлив, что обрел в тебе второго отца!

---

\* Церковное песнопение, при котором один голос (или хор) отвечает другому.

---

– Я у тебя в долгу. – Старик подвел гостя к дивану. – Сегодня ты в третий раз удостоиваешь меня своим посещением. Я давно бы должен был нанести тебе ответный визит в твоём доме. Но ты видишь – я стар и немощен. Путь до Йогонолука далек и труден. И без того мне предстоит безотлагательная и долгая поездка, для которой я должен побережь свое слабое тело. Так что прости меня!

На этом ритуал приема гостя окончился. Они сели. Мальчик принес кофе и сигареты. Хозяин дома прихлебывал свой кофе и молча курил. Обычай предписывал, чтобы младший годами посетитель выждал, пока старший придаст беседе такой оборот, который позволит гостю изложить свою просьбу. Но ага, видимо, не был расположен, отрешившись от своего затененного мира, погрузиться в суету злободневности. Он подал слуге знак, и тот вручил своему господину кожаную шкатулочку, которую держал наготове. Рифаат Берекет нажал кнопку, крышка откинулась, и он погладил своими одухотворенными старческими пальцами бархат, на котором лежали две старинные монеты – серебряная и золотая.

– Ты очень ученый человек, ты (учился в парижском университете, умеешь читать письма, умеешь и толковать их. Я же только непросвещенный любитель старины, мне ли с тобой равняться? И все же я несколько дней назад приготовил к встрече с тобою эти вот две безделки. Одну монету – серебряную – тысячу лет назад велел вычеканить армянский царь, имя его звучит сходно с

твоим: Ашот Багратуни. Нашли ее в окрестностях Ванского озера, это большая редкость. Другая же – золотая монета – эллинского происхождения. Ты и без лупы прочтешь надпись на ней:

«Непостижимому в нас и над нами».

Габриэл принял подарок стоя.

– Ты устыдил меня, отец! Не знаю, право, как выразить благодарность. Мы всегда гордились созвучием нашего имени с тем, древним. До чего же пластична эта голова! И черты лица – насколько армянские. А греческую монету надо бы носить на шее как амулет, заповедный дар. «Непостижимому в нас и над нами»! И как, должно быть, философски мыслили люди, которые платили этими монетами. До чего же низко мы пали!

Ага кивнул, ему по душе был такой консерватизм.

– Ты прав. До чего же низко мы пали! Габриэл положил монеты обратно на бархат. Но было бы неучтиво слишком быстро перейти от подарков к другой теме.

– От всего сердца хотелось бы просить тебя принять ответный дар из моей коллекции древностей. Но я знаю, что твоя вера воспрещает тебе ставить у себя изваяния, ибо они отбрасывают тень.

На этом пункте старик остановился с явным удовольствием:

– Да, именно из-за этого мудрого закона вы, европейцы, не уважаете наш священный коран. Но разве в запрете, наложенном на те произведения искусства, что отбрасывают тень, не кроется высокий смысл? С подражания творцу и его творению и начинается то неистовое высокомерие человека, которое ведет его к бездне.

– Кажется, время и эта война подтверждают правоту пророка и твою правоту, ага.

Теперь мостик беседы перекинулся к старику. И он вступил на него:

– Истинно так! Человек, став дерзостным подражателем бога, овладев техникой, подпадает под власть атеизма. Такова подлинная причина войны, в которую вовлекли нас люди Запада. Нам на беду. Ибо что мы от этого выигрываем?

Багратян сделал еще один пробный ход:

– И они заразили Турцию своей опасной болезнью – ненавистью к народам другой крови.

Рифаат Берекет чуть-чуть откинул голову. Тонкие пальцы устало перебирали бусины янтарных четок. Казалось, от рук старика исходит слабое сияние.

– Нет гибельнее того учения, что учит приписывать соседям собственные грехи.

– Благослови тебя бог! Приписывать соседям собственные грехи – вот учение, которое владеет умами в Европе. Но сегодня я, к сожалению, узнал, что приверженцы его есть и среди мусульман и турок.

– Каких турок ты разумеешь? – Пальцы аги замерли на четках. – Ты имеешь в виду эту свору смешных подражателей в Стамбуле? И подражателей

этих подражателей? Обезьян во фраках и смокингах? Этих изменников, этих атеистов, что разрушают божий мир ради власти и денег? Это не турки и не мусульмане, это – жалкие нечестивцы и алчные до денег вымогатели!

Габриэл взял крохотную чашечку, в которой было больше гуши, чем кофе. Смущенно повел плечом, сказал:

– Признаюсь, много лет назад я сидел за одним столом с этими людьми, потому что ждал от них добра. Я считал их идеалистами и, возможно, они такими тогда и были. Молодости свойственно верить всему новому. Но сегодня я, к сожалению, вынужден смотреть правде в лицо, видеть ее такой, какой видишь ее ты. Нынче в хамаме я случайно присутствовал при беседе, которая меня глубоко встревожила. Она-то и побудила меня явиться к тебе в такой неподобающий для посетителя час.

Ага схватывал на лету, дальнейшие разъяснения не понадобились.

– Уж не шла ли речь о секретном приказе по армии, который унижает армян, низводит их на положение грузчиков и мостильщиков дорог?

Габриэл Багратян всматривался в цветочный узор на ковре, пытаюсь разгадать его смысл.

– Еще до сегодняшнего дня я ждал вызова в полк... Но в хамаме рассказывали о Зейтуне... Помогите мне! Что, собственно, происходит? Что случилось?

Янтарные бусины четок бесстрастно заскользили меж пальцев аги.

– Что до Зейтуна, то я хорошо знаю, что там произошло. То, что в горах происходит ежедневно. Какая-то история с разбойничьей шайкой, дезертирами и заптиями. Среди дезертиров были один-два армянина. Никто прежде не обращал внимания на такие вещи...

И он несколько медленнее продолжал:

– Но что такое происшествия? Лишь то, во что превращают их толкователи.

Габриэл едва не вскочил с места:

– В том-то и дело! В моем уединении я ничего не мог об этом знать. А ведь есть попытки дать подлое истолкование этим событиям. Каковы намерения правительства?

Усталым движением руки мудрец отмахнулся от гневных слов гостя.

– Кое-что я скажу тебе, друг мой и сын моего друга. Над вами тяготеет грозный, predetermined кармой рок, потому что часть вашего народа живет в Российской империи, а другая – у нас. Война вас раскалывает. Вы рассеяны по разным странам... Но все в мире взаимосвязано, поэтому и мы подвластны тяготеющему над вами року.

– А не лучше ли было бы, если бы мы снова попробовали, как в тысяча девятьсот восьмом году, стремиться к компромиссу и умиротворению?

– Умиротворение? Это тоже лишь звук пустой для мудрецов мира сего. Нет на Земле умиротворения. Мы живем здесь среди распада и самовозвеличивания.

И дабы подкрепить это суждение, ага произнес – с модуляциями в голосе,

как предписано законом, – стих из шестнадцатой суры:\* «И знай: все, что создал Он на Земле различающимся по цвету, есть воистину знак для того, кто внемлет предостережению».

---

**\* Сура – (араб.) – глава Корана. Всего в Коране 114 сур.**

---

Габриэлу уже невольно было сидеть на диване, он встал. Но взгляд аги, удивленный и осуждающий такое своеволие, вернул его на место.

– Ты хочешь знать намерения правительства? Я знаю только то, что стамбульские атеисты используют национальную рознь для своих целей. Ибо скрытые двигатели безбожия – страх и предчувствие поражения. Вот они и открывают в каждом городишке читальные залы и вывешивают там листки с последними новостями, распространяющие злобные наветы... Это хорошо, что ты ко мне пришел...

Рука Габриэла судорожно сжала шкатулку с монетами.

– Если бы дело было только во мне! Но, как тебе известно, я не один. Мой брат Аветис умер, не оставив потомства. Таким образом, мой тринадцатилетний сын – последний в нашем роду. Кроме того, я женат на француженке, она принадлежит к французскому народу и не должна безвинно страдать за то, к чему вовсе не причастна.

Ага не без строгости возразил:

– Раз ты на ней женился, отныне она принадлежит к твоему народу и не свободна от его кармы.\*

---

\* Карма (на санскрите – деяние, возмездие) – одно из основных понятий индийской философии, часть учения о перевоплощении. Согласно карме, после смерти человека душа его переселяется в другое тело. Поступки человека при его жизни определяют характер этого переселения, или перевоплощения души – если поступки его были благородны и справедливы, душа человека после его смерти переселяется в более возвышенное и благородное тело, а если они были неблагоприятны – в тела низших существ, а тела животных. От таких понятий, как «судьба» или «рок» карма существенно отличается своей этической окрашенностью. Если рок, или судьба – это действие каких-то неподвластных

человеку сил, божественных или космических, то действие кармы как бы находится в руках самого человека, ибо, согласно карме, настоящее или будущее человека – это возмездие за совершенные им поступки.

---

Не стоило и пытаться объяснять этому закоренелому приверженцу Востока характер и волю к самоутверждению женщины Запада. И Габриэл пропустил мимо ушей его выпад.

– Я должен был отвезти семью за границу или хотя бы в Стамбул. Но сегодня у нас отобрали паспорта, а от каймакама я добра не жду. Турок положил свою легкую руку на колено гостя.

– Я бы тебе решительно не советовал ехать с семьей в Стамбул, даже если бы представилась возможность.

– Но почему? В Стамбуле у меня много друзей во всех кругах общества, в том числе и в правительственных. В Стамбуле – центр нашего торгового дома. Мое имя хорошо известно.

Рука на колене Габриэла стала тяжелой.

– Вот потому-то, что имя твое хорошо известно, я и хотел бы удержать тебя даже от самой краткой поездки в столицу.

– Из-за войны в Дарданеллах?

– Нет, не поэтому.

Лицо старика замкнулось. Он как будто прислушивался к внутреннему голосу, прежде чем снова заговорил:

– Никто не может знать, как далеко правительство зайдет. Но достоверно одно: первыми пострадают именитые и выдающиеся люди вашего народа. И в этом случае доносы и аресты начнутся именно в столице.

– Ты высказываешь предположение или у тебя есть данные для того, чтобы предостерегать меня?

Ага уронил четки в широкий рукав своего одеяния.

– У меня есть данные.

Самообладание покинуло Габриэла. Он вскочил.

– Что же нам делать?

Вслед за гостем учтиво встал и хозяин.

– Если дозволишь дать тебе совет, я бы сказал: возвращайся домой в Йогонолук, живи там в мире и жди. При таких обстоятельствах ты едва ли нашел бы место, более приятное для себя и семьи.

– Жить там в мире? – иронически повторил Габриэл. – Да ведь это уже тюрьма!

Рифаат Берекет отвернул лицо, его покорило от этого слишком громкого голоса в его тихом селамлике.

– Ты не должен терять хладнокровие. Сожалею, что моя откровенная речь тебя взволновала. Для тревоги нет ни малейших оснований. Вероятно, все

постепенно уляжется. Ничего худого в нашем вилайете случиться не может, ведь вали у нас, хвала аллаху, – Джелал-бей. Он не потерпит никаких крайностей. Но чему суждено быть, то изначально заложено в себе, как в семени – почка, цветок и плод. В боге уже свершилось то, что свершится с нами в будущем.

Габриэла рассердила цветистая пошлость этой теологии и, пренебрегая всеми правилами этикета, он дал себе волю:

– Самое ужасное, что это вне досягаемости, с этим невозможно бороться!

Ага подошел к отчаявшемуся гостю и крепко сжал его руки.

– Не забывай, друг мой, что нечестивцы из твоего «Комитета» представляют лишь ничтожное меньшинство. Наш народ очень добрый народ. И если все же где-то проливается кровь, то в этом вы виноваты не меньше. К тому же в теккэ, в монастырях, живет немало божьих людей; неустанно упражняясь в святом зикре\*, они борются за чистоту будущего. Либо они победят, либо все погибнет. Откроюсь тебе: я еду в Анатолию и Стамбул по делу армян. Прошу тебя, положишься на волю божью.

---

**\* Зикр – радения дервишей (турецк).**

---

Маленькие руки старика обладали особой силой, они успокаивали.

– Ты прав, я тебя послушаюсь. Самое лучшее для нас – засесть в Йогонолуке и не трогаться с места до конца войны. Но ага не выпускал его рук.

– Обещай мне ничего не рассказывать обо всем этом дома. Да и что толку? Если все останется по-старому, ты только напрасно напугаешь людей. Если же случится какая-нибудь неприятность, излишние волнения этим людям ни к чему. Надейся и молчи!

При прощании он настойчиво повторил:

– Надейся и молчи... Ты не увидишь меня много месяцев. Но помни, все это время я буду стараться вам помочь. Твои родные сделали для меня много добра. И ныне бог сподобил меня, в мои годы, их отблагодарить.

## Глава третья

## ИМЕНИТЫЕ ЛЮДИ ЙОГОНОЛУКА

Обратный путь был долог. Лошадь плелась шагом, Габриэл лишь изредка пускал ее рысью. К тому же он забыл свернуть вовремя с идущего вдоль Оронта шоссе на более короткую дорогу. Только заведя далеко на горизонте море – по ту сторону рассыпанных кубиками домов Суэдии и Эль Эскеля, – всадник очнулся от задумчивости и круто повернул на север, к долине, где лежат армянские селения. Занимались долгие весенние сумерки, когда он выехал на дорогу, – если позволительно так назвать жалкий проселок, соединявший семь деревень. Йогонолук лежал приблизительно посредине. Чтобы до наступления ночи попасть домой, Габриэлу нужно было пересечь южные селения – Вакеф, Кедер-бег, Аджи-Абибли, впрочем, это едва ли удалось бы. Но он и не торопился.

В этот час в селах Муса-дага царило оживление. Народ толпился у домов. Ласковое тепло воскресного вечера сближало людей. Тела, глаза, слова – все тянулось друг к другу, и чтобы полней ощутить радость жизни, людям хотелось и посудачить о семейных делах и, как заведено, пожаловаться на трудные времена. Собирались кучками, по возрасту и полу. Угрюмо стояли матроны, с достоинством держались в стороне празднично одетые молодые женщины, пересмеивались девушки – бренчали монистами, сверкали безукоризненными зубами. Габриэла поразило множество пригодных для военной службы, но не призванных в армию парней. Парни смеялись, горланили, словно и не было на свете Энвера-паши. В виноградниках и фруктовых садах гнусаво и томно звенел тар

– армянская гитара. Какие-то усердные работники готовили к завтрашнему дню свой рабочий инструмент. В Турции заход солнца означает конец дня; кончается день, кончается и воскресный отдых. Степенным труженикам хотелось еще что-то перед сном поделать. Деревни эти можно было бы называть не турецкими их названиями, а согласно ремеслу, которым их жители занимались. Виноград и фрукты разводили здесь все, хлеб почти вовсе не сеяли. Но славу этим деревням принесли их искусные мастера. Аджи-Абибли, например, можно назвать «Резчиково село»: мастера здесь изготавливали из твердого дерева и кости не только отличные гребни, трубки, мундштуки для сигарет и другие предметы повседневного обихода, но и вырезали распятия, фигурки богородицы и святых, на которые был спрос даже в Алеппо, Дамаске и Иерусалиме. Эти резные работы, непохожие на грубые поделки крестьян-кустарей, отличались своеобычностью, порожденной, конечно же, тем, что мастера, их сделавшие, обитали в сени Муса-дага.

А вот село Вакеф, то была «Кружевница». Потому что изящные скатерти и носовые платки, сработанные тамошними кружевницами, находили покупателей даже в Египте, правда, сами мастерицы об этом понятия не имели, так как сбывали свой товар на антиохийском рынке, да и то не чаще чем два раза в год.

Об Азире довольно сказать, что поселок этот – «Шелкопряд», здесь



разводят шелковичного червя. А в Кедер-беге шелк ткут, потому и деревня могла называться «Шелкоткацкая». В Йогонолуке же и Битиасе – двух самых больших селениях – процветали все эти ремесла вместе. Зато Кебусие, затерянная и самая северная деревня, была «Пасечная». «Мед из Кебусие – лучший в мире, – говорил Багратян, – второго такого не найти». Пчелы добывали его из самого естества Муса-дага, того, что составляет волшебную его благодать, которая возвеличивает его над всеми унылыми вершинами окрестных гор.

Почему именно Муса-даг посылал несчетные ручьи в море, куда они низвергались вуалевыми каскадами? Почему Муса, а не какая-нибудь мусульманская гора, хотя бы Наулу-даг или Джебель-Акра? Право, это похоже на чудо! Иль и впрямь богиня воды, разгневавшись на сына пустыни – мусульманина, покинула в никому не ведомые древние времена его нагие, жаждущие влаги вершины ради христианской горы и щедро одарила ее своей благостыней? Затканые цветами луга на плодородных склонах Муса-дага, тучные пастбища на его складчатом хребте, виноградники, абрикосовые и апельсиновые сады, что лепятся у его подошвы, дубы и платаны в ущельях, наполненных темным говором вод, кусты рододендрона или цветущий мирт и азалия, вспыхивающие нежданной радостью в потаенных уголках, тишина, хранимая ангелами, навевающая сон пастухам и стаду – все здесь отличалось от остальной Малой Азии, стонущей от суши и бесплодия, – этой кары за первородный грех. Из-за маленькой неточности в мироустройстве Творца, допущенной по доброте сердечной одним нерадивым херувимом, патриотом Земли, Мусадагскому округу достались последки рая, его дивный отблеск и неземная сладость. Они именно здесь, на ирийском побережье, а не ниже, в «Стране меж четырех рек», куда склонны поместить сад Эдема географы, комментаторы Библии.\*

---

\* «... Мусадагскому округу достались последки рая... они именно здесь, на сирийском побережье, а не ниже, в «Стране меж четырех рек», куда склонны поместить сад Эдема географы, комментаторы Библии». Одни комментаторы Библии «располагали» библейский рай на севере Индии, другие в Ассирии, но большинство толкователей размещают его в долине Тигра и Евфрата, на Армянском нагорье. (Отсюда бытующие среди армян выражения «Армения – рай земной», «Армения – страна райская»). Мнение о том, что рай находился на территории Армении, было очень распространено в Европе и в Средние века. В средневековой «Легенде о докторе Фаусте» об этом читаем: «Кавказ, что между Индией и Скифией – это самый высокий остров с его горами и вершинами. Доктор Фауст... был убежден, что оттуда сумеет наконец увидеть рай. Находясь на той вершине острова Кавказа, увидел он... издалека в вышине далекий свет... огненный поток, опоясывающий пространство величиной с

маленький остров. И еще увидел он, что у той долины бегут по земле четыре большие реки, одна в Индию, другая в Египет, третья в Армению и четвертая туда же. И захотелось ему тогда узнать причину и основание того, что он увидел, и потому решился он... спросить своего духа, что это такое. Дух же дал ему добрый ответ и сказал: «Это рай, расположенный на восходе солнца.., а та вода, что разделяется на четыре части, течет из райского источника и образует она реки, которые зовутся – Ганг, или Физон, Гигон, или Нил, Тигр и Евфрат». («Легенда о докторе Фаусте», изд. АН СССР, М.-Л., 1958, стр. 97-98). Из новых писателей интересно изложена эта версия у Томаса Манна в романе «Иосиф и его братья»: «Где же находился рай, «сад на востоке» – место покоя и счастья, родина человека?.. Юный Иосиф знал это не хуже, чем историю потопа, и из тех же источников. Он только улыбался, когда жители пустыни из Сирии объявляли раем большой оазис Дамаск... Не пожимал он из вежливости плечами, но внутренне пожимал ими и тогда, когда жители Мицраима заявляли, что сад этот находится, само собой разумеется, в Египте, ибо середина и пуп вселенной – Египет. Курчавобородые синеарцы тоже считали, что... Вавилон... это священная середина вселенной... Дошедшее до нас описание рая в одном отношении точно. Из Эдема... выходила река для орошения рая и потом разделялась на четыре реки: Фисон, Гихон, Евфрат и Хидекель. Фисон, как добавляют толкователи, зовется также Гангом; Тихон – это Нил... Что же касается Хидекеля, то это Тигр, протекающий перед Ассирией. Последнее ни у кого не вызывает возражений. Возражения, и притом веские, вызывает отождествление Фисона и Тихона с Гангом и Нилом. Полагают, что речь идет об Араксе, впадающем в Каспийское, и о Галисе, впадающем в Черное море, и что рай, следовательно, хоть и был в поле зрения вавилонян, находился на самом деле не в Вавилонии, а в горной области Армении, севернее Месопотамской равнины, где соседствуют истоки упомянутых четырех рек.

Это мнение представляется вполне разумным. Ведь если, как то утверждает достопочтенный источник, «Фрат», или Евфрат, выходит из рая, то никак нельзя допустить, что рай находится где-то близ Евфрата. Но, признав это и отдав пальму первенства стране Армении, мы всего-навсего сделаем шаг к следующей правде...» (Томас Манн, «Иосиф и его братья», изд. «Художественная литература», Москва, 1968.)

---

Разумеется, добрая толика благодати, ниспосланной горе, досталась и ее семи деревням. Насколько же не идут в сравнение с ними жалкие селения, которые попадались Габриэлу по пути на равнине! Здесь, на горе, не было глинобитных лачуг, похожих скорее на прибитый к берегу ком ила, в котором вырыли темную нору, где ютятся вместе люди и скот. Дома на Муса-даге чаще всего строились каменные и в каждом имелось несколько комнат. Вокруг наружных стен – маленькие веранды. Двери и окна блистали чистотой. Лишь в

немногих домиках окна, как это в обычае на Востоке, выходили не на улицу, а во двор. В густой тени, которую отбрасывал на землю Дамладжк, царило доброжелательство к людям и процветание. А по ту сторону тени начиналась пустыня. Тут виноград, фрукты, шелковица, террасы над террасами, там – равнина с однообразными полями, засеянными кукурузой или хлопком, между которыми, как кожа нищего сквозь лохмотья, порой проступала голая степь.

Однако дело было не только в благословенной горе. Еще сейчас, спустя полвека, приносила плоды энергия дедушки, Аветиса Багратяна, или, вернее – любовь этого предприимчивого человека, которую он без остатка отдал клочку родной земли, наперекор всем соблазнам мира. И теперь его внук с изумлением смотрел на здешних людей – они казались ему до странности красивыми. При виде Габриэла стоявшие кучками люди умолкали, поворачивались лицом к нему и громко приветствовали:

– Bari irikun – добрый вечер!

Он заметил – а может, ему померещилось – в глазах этих людей затеплившийся огонек, искорку радостной благодарности, и ему подумалось, что это относится не к нему, а к старому благодетелю Аветису Багратяну. Женщины и девушки провожали Габриэла испытующим взглядом, продолжая прясть, – маленькие веретенца так и мелькали в их проворных руках.

Эти люди были ему не менее чужды, чем сегодняшняя толпа на базаре. Что общего у него с ними, у него, кто всего несколько месяцев назад ездил гулять в Bois\*, посещал лекции философа Бергсона,\*\* беседовал со знакомыми о книгах и печатал свои статьи в изысканных журналах по искусству? И все же от этих людей исходило необычайное спокойствие. И у него возникло к ним какое-то отеческое чувство – потому что он знал о надвигающейся опасности, в то время как они ни о чем не подозревали. Он затаил в душе глубокую заботу, – он один должен был защищать этих людей от беды, пока возможно. Старик Рифаат Берекет не беспочвенный мечтатель, хоть и сдобривает речь восточными притчами. Он сказал правильно: «Оставаться в Йонолуке и ждать». Муса-даг лежит в стороне от мира. Если гроза и грянет, она пройдет мимо Йонолука.

---

\* Булонский лес (франц.).

\*\* Бергсон Анри (1859-1941) – один из крупнейших западных мыслителей конца XIX и первой Половины XX века, философ идеалист, представитель так называемого «интуитивизма» в философии, лауреат Нобелевской премии по литературе 1927 г.

---

В нем росло теплое чувство к землякам. «Так радуйтесь жизни подольше,

завтра, послезавтра...» И, не останавливая коня, он в знак приветствия поднял руку, как бы благословляя их.

Прохладной звездной ночью поднимался он по аллее к дому. В густую листву, словно в кокон, замкнули его деревья, отстранили от мира, как случилось ему в бытность «человеком в себе», в том благостном «состоянии абстрактности», из которого его вывел нынешний день, чтобы дать почувствовать всю иллюзорность такой защиты от мира. Усталость вновь пробудила в нем это приятное заблуждение.

Он вошел в просторную прихожую. Старинный, кованого железа, фонарь, свисавший с потолка, порадовал его своим мягким светом. По непостижимой прихоти сознания эта всякая лампа ассоциировалась у него с образом матери. Не той пожилой дамы, которая встречала его поцелуем в безличной парижской квартире, когда он приходил из гимназии, а тихой услады тех дней, более нереальных теперь, чем мир сновидений.

– Nokud matagh, kes kurban.

Говорила ли она в самом деле эти слова на сон грядущий, склоняясь над его детской кроваткой?

«За тебя, душа моя, крест приму».

Осталась еще лампадка перед богоматерью в лестничной нише. Все прочее носило отпечаток эпохи Аветиса-младшего. А это, если судить по прихожей, была эпоха охоты и войн. На стенах висели охотничьи трофеи и оружие – целая коллекция допотопных бедуинских ружей с неимоверно длинными стволами. Однако о том, что их чудаковатый обладатель не был подвержен грубым страстям, свидетельствовали великолепные полотна, светильники, старинные шкафы, ковры, которые он привозил из своих странствий и которыми теперь восхищалась Жюльетта.

Пока Габриэл в состоянии полной отрешенности поднимался на второй этаж, до него почти не доходил гул голосов снизу. Между тем именитые люди Йогонолука уже собрались в гостиной.

Он долго стоял у открытого окна в своей комнате, не сводя глаз с черного силуэта Дамладжжа, который в этот час выглядел особенно внушительно.

Минут через десять Габриэл вызвал звонком слугу Мисака: после смерти Аветиса-младшего Мисак вместе с управляющим Кристофором, поваром Ованесом и другой прислугой перешел на службу к Габриэлу.

Габриэл помылся с ног до головы, переменял платье. Затем вошел в комнату Стефана. Мальчик уже спал крепким младенческим сном, его не разбудил даже колючий луч карманного фонарика. Окна были открыты настежь, в вещи дремоте медленно раскачивались кроны платанов. Черный лик Муса-дага был виден и отсюда. Но за линией гребня разливалось ровное сияние, словно за горным хребтом скрывалось не самое обычное море, а море светящейся материи.

Багратян сел на стул подле кровати. И, как утром сын подслушивал, что снится отцу, так сейчас отец подслушивал сны сына. Но ему это было дозволено.

Лоб Стефана – в точности его, Габриэла, лоб – сиял прозрачной белизной. А подо лбом тени – сомкнутые глаза, словно два листика, занесенные ветром. И какие эти глаза большие, было видно даже сейчас, когда их смежил сон. А вот нос – остренький, тонкий – не отцовский, чужой; мальчик унаследовал его от Жюльетты. Стефан прерывисто дышал. За стеной его снов скрывалась бурная жизнь. Он крепко прижимал к телу сжатые кулаки, будто натягивал поводья, пытаясь сдержать скачущие во весь опор сновидения.

Сын спал беспокойно. Отец не шевелился. Он был всецело поглощен созерцанием своего мальчика. Боялся ли он за Стефана, хотел ли восстановить то единство, что некогда было заложено в боге?

Ничего-то он не знал. Никаких мыслей не приходило в голову. Наконец он встал и, чувствуя себя вконец разбитым, невольно застонал. Неуверенно, ощупью двигаясь по комнате, наткнулся на стол. Ночное эхо усилило этот легкий шум. Габриэл замер, испугался, что разбудил Стефана. Сонный детский голос пролепетал во тьме:

– Кто здесь?.. Ты, папа?..

И тотчас послышалось ровное дыхание. Габриэл, который поспешил погасить фонарик, через минуту зажег его снова. Луч осветил стол и чертежные листы. Вот оно что! Сын принялся уже за работу, сделал для отца топорную пока еще карту Муса-дага. Рисунок пестрел многочисленными красными поправками Авакяна. Габриэл не сразу вспомнил, что сам же подал эту мысль мальчику во время их утренней прогулки. И умилился тому, как страстно сын искал близости с отцом и стремился выразить свои чувства. Исчерканный чертеж стал символом их единства.

Перед большой гостиной была просторная комната, примыкавшая к прихожей. Она пустовала и служила лишь проходной. Дед Аветис, строя свою резиденцию, рассчитывал на многочисленное потомство, но и одинокий чудак, брат Габриэла, и сам Габриэл со своей маленькой семьей пользовались только частью дома.

В пустой комнате горела висячая керосиновая лампа. Габриэл постоял, прислушался к голосам, звучащим совсем близко. Он услышал смех Жюльетты. Стало быть, ей приятно нравится этим мужиковатым армянам. Что ж, это, пожалуй, прогресс.

Дверь распахнулась, из нее вышел старый доктор Петрос Алтун, собираясь незаметно ретироваться. Он зажег свечу в своем фонаре и протянул руку за лежавшей на стуле кожаной сумкой. Алтун разглядел хозяина дома, только когда тот тихо его окликнул:

– Hairik Pertos! Папа Петрос!

Алтун вздрогнул. Это был маленький, сухощавый старичок с всклокоченной бородой; он принадлежал к числу тех армян, которые в отличие от молодого поколения вынесли на своих согбенных плечах все тяготы, выпавшие на долю гонимого народа. В молодости он пользовался поддержкой Аветиса-старшего, на его средства окончил медицинский факультет в Вене и повидал мир. Благодетель Йонолука носился тогда с большими планами и

думал даже построить здесь больницу. Но дальше устройства Алтуни на должность уездного врача он не пошел, хотя в тогдашних условиях даже это было очень много. Дольше всех своих еще живых знакомцев Габриэл знал старого врача: «эким»\* помог ему явиться на свет. Габриэл относился к нему с почтительной нежностью; чувство это, конечно же, шло от детства.

---

### \* Лекарь.

---

Доктор Алтуни с трудом натянул на себя пальто из непромокаемой грубошерстной ткани, которое, кажется, помнило еще годы учения в Венском университете.

– Я больше не мог тебя ждать, мой мальчик... Ну-с, что же ты нам привез из хюкюмета?

Габриэл взглянул на его сморщенное личико. Все в этом старике было иззубрено. Движения, голос, остроумие, которое он подчас проявлял в разговоре. Он был – внешне и внутренне – вконец изношен. Дорога из Йогонолука в Аджи-Абибли, а потом в Кебусие чертовски нудная, особенно если проделывать ее несколько раз в неделю на жесткой спине осла. Габриэл узнал эту вечную кожаную сумку, в которой рядом с липким пластырем, термометром, набором хирургических инструментов и немецким медицинским справочником 1875 года лежали допотопные акушерские щипцы. Вид этой врачебной сумки отбил у Габриэла охоту делиться впечатлениями от поездки в Антиохию.

– Ничего особенного, – небрежно ответил он.

Алтуни надел свой фонарь на пояс и застегнул пряжку.

– Мне раз семь в жизни приходилось подавать прошение о новом тескере. Они отнимают его, чтобы брать с нас налог, который взимается каждый раз при обмене паспорта. Дело известное. Но от меня они больше ничего не получают. В этом мире новый паспорт мне уже не понадобится...

И с присущей ему резкостью добавил:

– Да и раньше, нельзя сказать, чтоб он особенно был мне нужен. Я ведь за сорок лет ни разу отсюда не выезжал. Багратян оглянулся на дверь.

– Ну что мы за народ, терпим все молча?

– Терпим? – Доктор будто смаковал это слово. – Вы, молодежь, понятия не имеете о том, что такое терпение. Вы выросли в другое время.

Но Габриэл повторил:

– Что мы за народ?

– Ты, милый мальчик, всю жизнь провел в Европе. И я бы мог, останься тогда в Вене! Это моя большая беда, что я не остался в Вене. Из меня был бы толк. Да вот видишь ли, дед твой был такой же чудака, как и твой брат, оторвался от людей и о том, что делается в мире, по другую сторону горы, знать не желал... Я дал ему подписку, что вернусь. Это мое большое несчастье. Уж лучше бы он никуда меня не посылал...

– Нельзя же вечно жить чужим среди чужих. Парижанин Габриэл сам удивился своим словам. Алтуни хрипло засмеялся:

– А здесь, здесь жить можно?! Где нас всегда подстерегает неизвестность? Тебе, верно, в мечтах все представлялось иначе.

У Багратяна мелькнула мысль: «Надо бы все-таки людей подготовить».

Алтуни, однако, положил свою сумку обратно на стул.

– Черт! До чего ж мы с тобою договорились? Ты сегодня вытягиваешь из меня все эти старые истории. Я медик и никогда особенно твердо не верил в бога. И потому, наверное, прежде я частенько вступал с ним в спор. Можно быть русским, турком, готтентотом и бог знает кем, но армянином быть невозможно. Быть армянином – вещь невозможная...

Опоминаясь, он отступил от пропасти, на краю которой очутился:

– Хватит! Оставим эту тему! Я – врач! Лекарь. Все остальное меня не касается. Только что меня вызвали к роженице. Армянские дети, видишь ли, непременно должны являться на свет. Сумасшествие!

Он сердито схватил сумку. Этот разговор, как бы мимоходом, шел, в сущности, о жизненно важной позиции и доктора он, видимо, расстроил не на шутку.

– А ты, тебе-то чего надо! У тебя красавица жена, чудесный сын, забот никаких, богат невероятно, чего тебе еще желать? Живи своей жизнью. Не ломай голову над тем, чему нельзя помочь! Когда турки воюют, они оставляют нас в покое, это давно проверено на опыте. А после войны ты уедешь обратно в Париж и забудешь обо всех нас и о Муса-даге.

Габриэл сказал с улыбкой, будто спрашивал не всерьез:

– А если они не оставят нас в покое, тогда что, папа Алтуни?

С минуту Габриэл стоял никем не замеченный в дверях гостиной. Гостей было человек десять-двенадцать. За маленьким столиком молча сидели три пожилые женщины, к которым – вероятно, по поручению Жюльетты – подсел студент Авакян. Впрочем, нельзя сказать, чтобы он старался поддерживать разговор. Одна из матрон, жена доктора, принадлежала к числу оживших воспоминаний детства Габриэла. Mairik Antaram – Матушкой Антарам звал он ее. Она была в черном шелковом платье. Зачесанные наверх волосы с проседью открывали лоб. Широкоскулое лицо выражало смелость. Докторша тоже не принимала участия в разговоре, но сидела спокойно, устремив на окружающих откровенно наблюдающий взгляд. Этого нельзя было сказать о ее соседках по столу – жене пастора Арутюна Нохудяна из Битиаса и жене сельского старосты Йогонолука мухтара Товмаса Кебусяна. Было видно, что они напряжены и

чувствуют себя неуверенно, хоть и надели все лучшее, что нашлось в их гардеробе, чтобы не уронить себя перед француженкой.

Труднее всего приходилось госпоже Кебусян: она ни слова не понимала по-французски, несмотря на то что училась в школе американских миссионеров в Мараше. Щурясь, оглядывала она расточительно сияющие люстры и настенные канделябры. О, мадам Багратян может не экономить! Где же это они покупают такие толстые восковые свечи? Получают, верно, из Алеппо, а может, даже из Стамбула. Мухтар Кебусян был, пожалуй, самый богатый фермер в округе, но в доме его, кроме керосиновых ламп, разрешалось жечь только тонкие стеариновые и сальные свечи. А здесь у рояля горели в высоких шандалах две витые свечи из цветного воска. Как в церкви. Однако уже чересчур, верно? Такой же вопрос задавала себе и пасторша, самолюбие которой было сильно задето. Но к чести пасторши надо сказать, что к ее чувствам не примешивались ни зависть, ни обида. Совесть ее лежала на коленях, тоскуя по спицам и пальцам, с которыми она никогда не расставалась, а нынче вот оставила дома по случаю торжественного приема. Пасторша и жена мухтара наблюдали за своими мужьями и дивились своим старикам. И правда, оба они – и щуплый пастор и дюжий мухтар вели себя на удивление необычно. Они примкнули к группе мужчин, обступивших Жюльетту. (Она давала гостям пояснения по поводу археологических находок Габриэла, которые он выставил в зале.) Оба почтенных мужа показывали супругам спину, вернее, спину своих старомодных, наглухо застегнутых сюртуков, которые угодливо их облегали. Особенно старался пастор Нохудян, всем своим видом являя готовность исполнить, не щадя себя, любое приказание Жюльетты, но так его и не дождался. Пастор, правда, стоял на порядочном расстоянии от хозяйки, так как его оттеснили молодые люди.

Самыми примечательными из них были двое учителей. Первый, Апет Шатахян, провел когда-то несколько недель в Лозанне и вывез оттуда безукоризненное, как он полагал, французское произношение и не преминул теперь воспользоваться приятнейшей возможностью блеснуть своими знаниями. Второй учитель, Грант Восканян, был приземистый крепыш с черной шапкой волос, начинавшихся чуть ли не от бровей. Иноязычному красноречию своего коллеги Шатахяна он противопоставлял глубокомысленное молчание. Оно было до того проникнуто чванством, что казалось Молчун вот-вот лопнет. Целью его было показать, что одно дело развязная поверхностность, другое – истинно ценные человеческие качества. Впрочем, упорное молчание Восканяна, как видно, не особенно смущало Шатахяна. Когда Габриэл вошел в залу, он услышал громозвучную французскую речь Шатахяна, щеголявшего своим произношением:

– О мадам, как мы благодарны вам за то, что вы принесли свет культуры в нашу пустыню!

В этот день Жюльетте пришлось пережить некоторую внутреннюю борьбу. Ей захотелось надеть для своих новых земляков вечернее платье. До сих пор она в таких случаях одевалась нарочито просто, ибо считала, что блистать



перед «неискушенными полудикарями» недостойно и ни к чему. Однако в прошлый раз она заметила, что чары ее, под которые подпадают гости, так сказать, рикошетом возвращаются к ней. Потому-то она и не устояла перед соблазном и надела свое самое изысканное платье. «Ах, оно шито прошлой весной, – думала она, осматривая его, – дома я бы не решилась в нем показаться». После недолгого колебания она надела и драгоценности – такой блистательный вечерний туалет без них немислим. Эффект этого вполне преднамеренного решения, хоть она немного его стыдилась, поразил саму Жюльетту. Быть красивой среди красивых – приятно, но это чувство радуется недолго. Ведь вы только одна из многих на парижских бульварах, в театральных залах и ресторанах того далекого западного мира, там вы лишь хорошенькая статистка. Но быть здесь недосягаемой иконой среди причудливой толпы верующих, пленительным палладиумом, кумиром для этих застенчивых волооких армян, единственной и несравненной золотоволосой владычицей сердец – это ведь не заурядная судьба, это поистине событие в вашей жизни, от этого по-девичьи разгораются щеки, алеют губы и блестят глаза.

Габриэл увидел жену, окруженную смиренными поклонниками; конечно, они не смели даже испытывать к ней влечение. Он видел, что щеки ее раздурманились, а губы рдеют, как у двадцатилетней девушки. Когда Жюльетта двигалась, он узнавал ее «искрящуюся походку» – так он однажды ее назвал. Казалось, Жюльетта здесь, в Йогонолуке, нашла дорогу к своим новым соотечественникам, хоть в Европе так часто противилась общению даже с самыми образованными и благородными армянами. И что всего удивительней: когда в Бейруте их застигла мировая катастрофа и они лишились возможности вернуться домой, Габриэл опасался, что Жюльетта будет тосковать по родине. Франция вела тяжелейшую в своей истории войну. Здесь, в Йогонолуке, Багратяны были полностью отрезаны от всего мира. Европейские газеты и ненароком не попадали в эту глушь. После долгих блужданий пришло одно-единственное письмо, датированное ноябрем. От матери Жюльетты. Счастье, что у Жюльетты нет братьев и не нужно за них тревожиться. С обеими сестрами она в весьма прохладных отношениях. Брак с иностранцем отдалил ее от семьи. Так или иначе, ее нынешнее спокойствие, чтобы не сказать легкомыслие, было для Габриэла полной неожиданностью. Она жила минутой. Мысль о родине тревожила ее редко. На четырнадцатом году их брака свершилось, кажется, нечаемое: здесь, в этом доме, Жюльетте наконец стал ближе мир мужа. Та давняя напряженность, что их и связывала и отдаляла, – неужто она отпустила их сегодня, в этот вечер?

И в самом деле, было что-то новое в том, как жена обняла его и сказала:

– Наконец-то, мой друг. Я так волновалась.

И поспешила приказать, пожалуй с несколько излишней пылкостью, подать Габриэлу ужин и вино.

Но Габриэлу не дали поужинать. Его обступили со всех сторон с расспросами о поездке в Антиохию. Мухтар Кебусян старательно вытягивал

шею, чтобы не упустить ни слова. И оттого что он слегка косил, явственной становилось недоверчиво-опасливое выражение его мужицкого лица.

Конечно, нечего было и думать, что административные меры, принятые сегодня утром турками, не оставили след в умах и душах мусадагцев. Одно уж то, что турецкие власти выбрали для этого воскресный день и вдобавок час литургии, можно было рассматривать как явно злонамеренный поступок и проявление вражды. Правда, кровавые события 1896 и 1909 годов не затронули селений Муса-дага. Но такие люди, как Кебусян и маленький пастор из Битиаса, обладали достаточно чутким слухом, чтобы при каждом подозрительном звуке наострить уши. День этот они провели в тревоге. Правда, вечер у Багратянов и обаяние Жюльетты несколько рассеяли нашедшее на всех уныние. Когда же Багратян, помня свое обещание, данное Рифаату Берекету, повторил сказанное мюдиром, будто происходит лишь обычное в условиях войны мероприятие, уныние уступило место самому светлому оптимизму. Наиболее убежденным оптимистом оказался учитель Шатахян. Он вскинул голову и, обращаясь с пламенной речью к мадам Багратян, объявил, что средневековье кончилось, теперь солнце цивилизации взойдет и над Турцией. Война – это только кровавая заря. Во всяком случае, угнетению, зверствам и погромам навсегда положен конец. Мир, шествующий к прогрессу, такого больше не потерпит. К тому же турецкое правительство находится под контролем своих союзников... Шатахян выжидательно смотрел на Жюльетту. Разве он не на чистейшем французском языке воспевает прогресс? Присутствующие, кажется, одобрили его речь, если только ее поняли. И лишь молчун Восканян презрительно фыркнул. Правда, он делал это всегда, когда его приятель Шатахян давал волю своему красноречию. Но тут вступил новый голос:

– Хватит о турках. Поговорим о более важных вещах. Слова эти произнес аптекарь Грикор, самая примечательная личность в этом обществе.

Что его ни с кем нельзя было спутать, свидетельствовала прежде всего одежда аптекаря. Тогда как все мужчины, в том числе и мухтар, явились в европейских костюмах (в Йогонолуке работал портной, вернувшийся из эмиграции в Лондоне), Грикор был одет в нечто вроде русской косоворотки, но из первоклассной чесучи. Лицо аптекаря – без единой морщинки, несмотря на его шестьдесят лет, с белой козлиной бородкой и несколько раскосыми глазами – было цвета пожелтелой бумаги и скорее напоминало лицо мудрого мандарина. Говорил он высоким, при этом до странности глухим, словно надорванным от избытка познаний голосом. И правда, здешний провизор не только владел библиотекой, равной которой в Сирии не было, но и сам, в своем лице являл целую библиотеку – всеведущий человек в никому не ведомой горной долине Земли. О чем бы ни шла речь – о растительности Муса-дага или геологической структуре пустынь, о редкой разновидности птиц на Кавказе или выплавке меди и метеорологии, об отцах церкви или коране, неподвижных звездах или цифрах экспорта верблюжьего навоза, о секретах производства персидского розового масла или тайнах кулинарии, – на все это неизменно

давал ответ сиплый голос Григора, тихо, как бы сквозь зубы, словно задавать такие пустячные вопросы всеведущему прямо-таки неуважительно. Всезнайство – черта широко распространенная. Но не только в этом проявилось своеобразие натуры Григора. Нет, с Григором обстояло так же, как с его библиотекой. В ней было несколько тысяч томов, но преобладали книги на языках, которых Григор не знал. Так, не мог он пользоваться своим энциклопедическим словарем Брокгауза на немецком языке и вынужден был черпать знания из скудных армянских источников. Чтобы утолить свою страсть, ему приходилось преодолевать тяжелые препятствия, на них провидение не скупилось. Самым слабым местом в его книжном собрании оказались именно доступные для него армянские и французские книги. Однако Григор был не только ученый, но и книголюб. Истинному книголюбу дороже обладать той или иной книгой, нежели знать ее содержание, ему и не обязательно ее читать. (Разве с большой любовью не бывает точно так же?) Аптекарь не был богат. Он не мог позволить себе заказывать дорогие издания в книжных лавках Стамбула, а уж за границей и подавно. Едва ли он мог оплатить даже почтовые расходы за их доставку. Стало быть, приходилось брать то, что само шло в руки. Он рассказывал, что начал собирать книги с детства и в годы странствий. А теперь у него были агенты и покровители в Антиохии, Александретте, Алеппо, Дамаске – от них-то время от времени и приходили большие посылки с книгами. Какой это бывал праздник, когда поступали такие дары! Это могло быть все что угодно: фолианты на арабском или древнееврейском языке, французские романы, всякая макулатура, безразлично; главное, что это были книги, печатный текст. Он собирал даже газеты, преискурранты и проспекты!

В своем сердце этот человек, казалось, вместил все то страстное влечение к духовности, которым одержима армянская нация (тайна всех древних народов, выживших наперекор времени). Библиотека Григора укоренилась в Йогонолуке точно горная гвоздика «травянка», что умудряется пустить корни на голой скале. Этой странной, в самой существенной своей части нечитанной библиотеки вряд ли хватило для того, чтобы заложить фундамент его огромных познаний. Заполнять пробелы помогала Григору его творческая отвага. Он сам восполнял свой мир. На вопросы из любой области – от богословия до статистики – он отвечал по собственному разумению. И отнюдь не считал себя лжеученым. Когда он громоздил перед слушателями великие научные истины, его переполняла чистейшая радость творчества. У такого человека, понятно, были ученики, и конечно же, – из учителей, преподававших в семи деревнях Муса-дага. Они почитали его как чудо-оракула и даже ехидному Восканяну не приходило в голову сомневаться в его непогрешимости. Аптекарь был мусадагским Сократом и, подобно Сократу, совершал с учениками философические прогулки по ночам. И вот тут-то и представлялся случай подогреть пылкое преклонение учеников.

Указующий перст поднят к звездному небу:

– Апет Шатахян, известна ли тебе вон та красноватая звезда?

– Какая? Вон та? Это, должно быть, планета. Разве нет?

– Неверно, учитель. Это звезда Альдебаран. А знаешь, почему она кажется красной?

– Почему? Может быть... наша атмосфера...

– Неверно, учитель. Звезда Альдебаран состоит из расплавленного магнитного железняка, поэтому она красноватая. Того же мнения знаменитый Камилл Фламарион, о чем он мне и пишет в последнем своем письме.

Письмо великого астронома тоже не было пустым плутовством. Оно действительно существовало. Но только... Григор сам адресовал его себе от лица Камилла Фламариона. Правда, такую «почту» он организовывал чрезвычайно редко и в особо торжественных случаях. Обычно ученики не знали об этих посланиях. Однако в свои корреспонденты он производил не только современных или недавно усопших гигантов духа. Даже Вольтер и великий армянский писатель Раффи вынуждены были неоднократно и подробно отвечать на его писания. Так в лице Григора существовал на земле член-корреспондент Олимпа.

Поразительно, но даже старожилы не помнят, чтобы этот разносторонне осведомленный человек хоть раз выезжал из Йогонолука. Все интеллигентные люди Муса-дага по крайней мере раз в год ездили куда-нибудь, хоть в Алеппо или Мараш, где повышали знания в американских, немецких, французских миссионерских школах.

Немало здешних старожил из народа вернулись уже в пожилом возрасте из Америки, чтобы на покое попользоваться достатком, приобретенным трудом. И перед самой войной снова переправилась через океан стая таких легких на подъем земляков Григора. Один лишь аптекарь не проявлял ни малейшей охоты к перемене мест. По его словам, он в юности вдоволь навидался всяких достопримечательностей земного шара. Иногда он намекал на свои странствия, которые простирались далеко на запад и восток, но во время которых он из принципа не пользовался железной дорогой. Было ли это так же достоверно, как письмо Фламариона, выяснить не удалось. В речах и рассказах Григора не было ничего, хотя бы отдаленно напоминающего бахвальство или вымысел. Его повествование изобиловало столь зримыми подробностями, что даже у такого человека, как Габриэл Багратян, не возникало никаких сомнений. И все же аптекарь уверял, что страсть к путешествиям ему чужда. Пускай доктор Алтуни, известный нытик, сетует о своей загубленной в сирийской деревне жизни – Григору в Йогонолуке хорошо. Не все ли равно, где жить, ведь внешний мир – только часть мира внутреннего. Мудрец неподвижен, как паук посреди лучеобразной паутины, которую он соткал вокруг вселенной.

Но когда заходила речь о политике, о войне, о жгучих вопросах современности, аптекарь терял спокойствие. Ему не нравилось узнавать о таких вещах. Мир, эта игрушка внешних обстоятельств, вторгаясь во внутреннюю жизнь, становится унижительной помехой. Ценность для Григора он приобретал только отодвинутый в даль самозабвенного созерцания. Вот предел

высокомерия духа! Что Григору до событий в «глубоком тылу», что ему до того, что делается в Стамбуле, Алеппо и Месопотамии? Войны, еще не ставшие книгами, в счет не идут. Поэтому аптекарь порицал учителя Шатахяна за его политические высказывания. поэтому он и сказал:

– Не понимаю, почему нужно постоянно оглядываться на других? Война, административные мероприятия, вали, каймакам... Да пусть турки делают что хотят! Если вы не будете обращать на них внимания, то и они не станут о вас думать! У нас здесь своя собственная земля. И у нее находятся ценители, притом даже весьма искушенные... Прошу...

И Григор представил хозяину дома незнакомца, который до этого то ли прятался за спинами гостей, то ли не был Багратяном замечен.

Аптекарь с явным удовольствием произнес звонкое имя приезжего:

– Гонзаго Марис.

Судя по облику и осанке, молодой человек был европеец, либо очень европеизированный левантинец\*. Черные усики на бледном и необыкновенно любезном лице были столь же французские, как и имя Марис. Но особенно характерной чертой лица были брови, под тупым углом сходящиеся на переносье.

---

\* Левантинцы – от французского слова *Levant* – Восток. Так называли вообще страны восточной части Средиземного моря – Сирию, Ливан, Египет, Грецию, Кипр, а чаще – Сирию и Ливан. Левантинцы – потомки европейских колонистов, переселившихся в Сирию и Ливан в начале крестовых походов и смешавшихся с местным населением. Говорят в основном по-арабски.

---

Григор продолжал исполнять роль герольда при чужестранце:

– Мосье Гонзаго Марис – грек.

И тут же, чтобы не обидеть гостя, поправился:

– Чистокровный, а не турецкий грек. Европеец. У приезжего были очень длинные ресницы. Он улыбнулся и сощурил глаза, отчего их почти совсем скрыли женственно длинные ресницы.

– Мой отец был греком, мать – француженка, сам я – американец.

Его скромная, пожалуй, даже застенчивая манера держаться произвела на Габриэла приятное впечатление. Он покачал головой.

– Каким ветром, прошу прощения, занесло сюда американца, да еще сына француженки? Именно сюда?

Гонзаго снова улыбнулся, опуская ресницы:

– Очень просто. В связи с работой мне пришлось несколько месяцев

провести в Александретте. Там я заболел. Врач послал меня в горы, в Бейлан. Но в Бейлане мне стало нехорошо...

Аптекарь назидательно поднял палец:

– Атмосферное давление! В Бейлане атмосферное давление всегда ниже нормы.

Гонзаго предупредительно склонил перед аптекарем свою тщательно причесанную на прибор голову:

– В Александретте мне столько рассказывали о Муса-даге, что меня разобрало любопытство. Какой же это был сюрприз для меня, что на безотрадном Востоке можно найти такие красоты, таких просвещенных людей и такое приятное пристанище, как у моего хозяина, господина Григора! Меня манит все неизвестное. Был бы Муса-даг в Европе, он стал бы всеевропейской достопримечательностью. Но я рад, что он принадлежит только вам.

Аптекарь глухо произнес тем безразличным тоном, каким обычно делал самые важные свои сообщения:

– Он писатель и будет заниматься творчеством здесь, в моем доме.

Гонзаго, видимо, сконфузило его заявление.

– Я не писатель. Время от времени я посылаю в одну американскую газету небольшие очерки. Это все. Я даже не журналист по-настоящему.

Неопределенный жест, очевидно, должен был означать, что занимается он всем этим только для заработка. Но Григор не отпускал свою жертву; выставляя ее напоказ, он повышал свой престиж.

– Но ведь вы еще и артист, музыкант, виртуоз. Вы давали концерты, не правда ли?

Молодой человек поднял руку, как бы обороняясь:

– Да не так все это было! Кроме всего прочего, я просто работал и аккомпаниатором, многое пришлось перепробовать...

Он взглянул на Жюльетту в надежде, что она его выручит.

– До чего же мир тесен! – сказала она. – Разве не удивительно, что здесь встретились два соотечественника? Ведь вы наполовину мой соотечественник.

Учитель Шатахян не устоял перед искушением лишней раз блеснуть красноречием:

– А разве не удивительно, что нам дозволено находиться в столь избранном кругу и что мы, бедные армянские крестьяне, благодаря великодушию мадам, наслаждаемся таким изысканным обществом?

Между тем обиженный Восканян молчал как-то особенно величественно и мрачно и даже отсел в сторону. Он давал понять, что нисколько не удивился бы, если бы такую выдающуюся личность, как он приветствовали с должным почтением. Ибо Восканян был известен в Мусадагском округе не только как поэт, который поставлял землякам стихи на все торжественные случаи жизни, веселые и печальные, но и как каллиграф и художник.

Однако аптекарь Григор счел нужным еще раз сделать внушение своему ученику Шатахану:

– У нас, армян, есть один роковой недостаток: робость, которая зачастую

доводит нас до самоуничтожения. Мы забываем, что мы один из древнейших культурных народов на земле. И так как мадам – супруга нашего Габриэла Багратяна, то она знает, разумеется, что мы были первой нацией, которая приняла христианство и сделала его своей государственной религией намного раньше, чем Рим\*. У нас было великолепное царство; был город Ани с тысячей церковей, это общепризнанное чудо света. Монархи, в чьих жилах текла армянская кровь, царствовали в Византии. В те времена, когда Франция еще не пробудилась от глубокого сна варварства, у нас уже существовала классическая литература. Я лично располагаю отрывками из сочинений таких великих авторов, как Лазарь Парбеци\*\* и Мовсес Хоренаци\*\*\*. Но нам и сегодня есть чем гордиться. Даже здесь, в этом захолустье, где нет и мало-мальски порядочных дорог, постепенно создана редкостная библиотека. Так что, с позволения мадам, мы не станем умять себя перед нею.

---

\* «... мы были первой нацией, которая приняла христианство и сделала его своей государственной религией намного раньше, чем Рим». Христианство в Армении начало распространяться с I века, во II и в III вв. в стране уже были христианские церкви, однако государственной религией христианство в Армении было провозглашено в 301 году царем Трдатом III, который и сам принял христианство. Римская империя приняла христианство в 313 году Миланским эдиктом о юридическом признании христианской церкви. В 321 г. римский император Константин Великий (ок. 285-337) предоставил христианской церкви полное право юридического лица, а сам принял христианство под конец жизни, в 337 году, от своего будущего биографа епископа Евсевия.

\*\* Лазарь Парбеци – известный армянский историк V века. Его «История Армении» начинается с 387 года и доходит до 485 года. В центре ее – события освободительной борьбы армянского народа против Персии, возглавляемой Вааном Мамиконяном.

\*\*\* Мовсес Хоренаци – выдающийся армянский историк V века, прозванный «отцом армянской истории», «отцом армянской словесности», «армянским Геродотом». Его главный труд «История Армении» написан в 480-483 гг. Хоренаци первый изложил армянскую историю с доисторических времен до 440 года. Его «История» представляет огромную научную и литературную ценность. Она содержит образцы эпической поэзии древности и языческую армянскую мифологию.

---

Свою гордую речь аптекарь произнес, как обычно, с невозмутимым

спокойствием мандарина. На Жюльетту он и не взглянул. Как мудрец истинно сократовского толка, Грикор с женщинами был чрезвычайно холоден и сдержан. Зато на мусадагский этот светоч слеталась молодежь мужского пола – из тех, кто не был чужд духовных запросов. Доказательством притягательной силы Грикора служило, пожалуй, и то, что юный Гонзаго Марис поселился у него, а не у мухтара, где ему предлагали хорошую комнату.

Между тем Жюльетта, упоенная своим успехом, решила ответить Грикору на своем ломаном армянском языке. Вышло это у нее прелестно.

– Чего ж вы хотите?.. Я и сама ведь армянка, потому что вышла замуж за армянина... По закону... Но, может, я турчанка?.. О, я ужасно плохо в этом разбираюсь...

Эту попытку армянской речи встретили восторженными рукоплесканиями. За всю свою жизнь Габриэлу довелось слышать из уст жены лишь два-три армянских слова. Ему бы сейчас изумиться, обрадоваться. Но Габриэлу было не до того: он, казалось, был всецело поглощен созерцанием головы Митры\* – скульптуры второго века христианской эры, найденной в развалинах Селевкии, близ Суэдии. Впрочем, мысли его были далеко от Митры. Никто из присутствующих не понял гневно сказанных им вдруг слов:

– Когда живое существо теряет уверенность в том, что может защищаться, – оно гибнет! Примеров этому немало и в природе, и в истории!

---

\* Митра – в древних восточных религиях – один из главных индо-иранских богов, воплощающий доброжелательную по отношению к человеку сторону божественной сущности. Митра – бог дневного света, податель жизни, бог договора.

---

И почему-то подвинул подставку с головой Митры чуть влево. Оттого что Жюльетта была в ударе, вечер очень удался. Большинство местных армян вели жизнь чисто восточную, то есть виделись лишь в церкви и на улице. В гости ходили только в особо торжественных случаях. Кофеен, какие имеются даже в крохотных турецких деревушках, здесь не было. Причиной этого замкнутого домашним кругом образа жизни была робость женщин. Но здесь, у Багратянов, они мало-помалу осмелели. Пасторша, ревностно заботившаяся о долголетию мужа, а следовательно, и о своевременном его сне – ибо долгий сон удлиняет жизнь, – на сей раз забыла напомнить ему, что пора домой. А жена мухтара даже решила подойти к Жюльетте и пощупать шелк ее платья. И только Майрик Антарам незаметно скрылась: муж прислал за ней деревенского мальчишку, так как роды, на которые Алтуни вызвали, оказались тяжелыми.



Антарам понадобилась ему как помощница, да и для того, чтобы разогнать старых ведьм, которые всякий раз осаждают дом роженицы, навязывают свои знахарские средства. За прожитые с мужем десятки лет Антарам стала искусной ассистенткой врача, к ней даже перешло немало его пациенток. «У нее это получается лучше, чем у меня», – говаривал доктор Алтуну.

И вот раздался хор похвал матушке Антарам: она особенная; она жертвует собою ради людей; всем женщинам – молодым и старым, – какая беда бы у них ни случилась, она всегда готова дать совет. Ей даже пишут письма из разных мест, и это потому, что «Asganwer Najuhiaz Engerutiun» – «Общеармянский союз женщин» избрал ее своей представительницей во всем округе.

Одна лишь госпожа Кебусян сочла нужным умалить достоинства Антарам: – Она же бездетна.

Меж тем ее супруг, кося глазом и вытянув шею, отчего казалось, что он туговат на ухо, внимал лекции аптекаря, который подробнейшим образом описывал преимущества китайского способа обработки шелка перед отечественным.

Мухтар хлопнул себя по колену:

– Каков наш Грикор, а! Ходишь к нему десятилетиями, покупаешь у него керосин и желудочный порошок и не знаешь, что это за человек!

Хозяин дома не сразу оттаял. Но мало-помалу оживился и он. Недовольно оглядев большой стол, на котором стояли вазы с печеньем, кофейные и чайные чашки и два графина водки, Габриэл вскопчил:

– Друзья мои! Нам с вами надо выпить чего-нибудь получше! – И пошел с Кристофором и Мисаком в погреб за вином.

Аветис-младший обеспечил винный погреб винами лучших сортов и лучшего разлива. Ведал ими управляющий именем Кристофор. Однако вина Муса-дага недолго сохраняли свою крепость; возможно оттого, что хранились не в бочонках, согласно старинному обычаю, а в больших запечатанных глиняных кувшинах. Это был хмельной напиток, цвета червонного золота, похожий на вина, изготавливаемые в Ксаре, в Ливане.

Когда бокалы были наполнены, Багратян встал и произнес тост. Тост прозвучал туманно и мрачно, как все, что он сегодня говорил:

– Да, это прекрасно, что мы сидим здесь все вместе и радуемся жизни. Как знать, встретимся ли мы так же беспечно снова во второй или в третий раз? Но пусть не омрачают печальные мысли этого часа, ибо что в том проку?

Свой тост, вернее, завуалированное предостережение Багратян произнес на армянском языке. Жюльетта протянула к нему бокал:

– Я тебя хорошо поняла, каждое твое слово... Но откуда такая грусть, мой друг?

– Просто я плохой оратор, – стал оправдываться Габриэл. – Несколько лет назад мне написали в Париж, предлагая пост в дашнакцутюне. Я отказался не только потому, что не хочу иметь ничего общего с политикой, но и потому, что не мог бы сказать и двух слов перед большим собранием. Нет, народный вождь из меня бы не вышел.

– Рафаэл Патканян\*, – вставил аптекарь, обратившись к Жюльетте, – был одним из наших величайших национальных деятелей, подлинный вдохновитель народа и при этом невообразимо плохой оратор. Заикался ужасней, чем молодой Демосфен. Но как раз это и придавало его речам особенную силу. Когда-то я сам имел честь быть с ним знакомым и слышать его в Ереване.

---

\* Рафаэль Патканян (псевдоним – Гамар-Катипа, 1830-1902) – известный армянский писатель. В своей поэзии, обращенной к героическим страницам прошлого, Патканян стремился пробудить национальное самосознание армянского народа, призвать к освободительной борьбе. Патканян дал высокие образцы гражданственной поэзии.

---

– Стало быть, по вашему мнению, ничто может превратиться в нечто, – смеясь, сказал Багратян.

Крепкое вино сделало свое дело. Немые разговорились. И только учитель Восканян упорно хранил молчание, на это у него были свои причины.

Слуга божий Нохудян, который не привык пить, отбивался от жены, пытавшейся отнять у него бокал.

– Женщина! Ведь нынче праздник, чего ж ты?

Габриэл распахнул окно, чтобы полюбоваться ночью, и оглянулся: за ним стояла Жюльетта.

– Ну как? Правда, было очень мило? – шепнула она. Он обнял ее.

– И кому, как не тебе, я этим обязан?

Но с нежными словами так плохо вязался его принужденный тон.

После выпитого вина гостям захотелось музыки. Стали упрашивать спеть юношу, который принадлежал к кружку учителей и был одним из «учеников» Григора. Асаян, так звали этого тонкого, словно жердь, юношу, слыл хорошим певцом и знал множество народных песен. Но Асаян, как это водится у певцов, отнекивался: без аккомпанемента петь невозможно, тар он оставил дома, пойти за ним – слишком много времени уйдет... Жюльетта хотела уже послать наверх за своим граммофоном – наверное, только немногим жителям Йогонолука было знакомо это чудо техники.

Спас положение аптекарь. Метнув в своего постояльца многозначительный взгляд, он провозгласил:

– Да ведь здесь среди нас есть музыкант.

Гонзаго не заставил долго просить себя, сел за рояль.

– Один из двенадцати роялей, имеющих в Сирии, – сказал Габриэл, – четверть века назад был выписан из Вены для моей матери. Кристофор

рассказывал, что мой брат Аветис пригласил из Алеппо настройщика, чтобы привести рояль в порядок. Последние недели перед своей кончиной Аветис часто играл. А я и не знал, что он музицирует...

Гонзаго взял несколько аккордов. Но, как видно, пианист был не в настроении, его сковывало то, что надо играть для неискушенных слушателей, что был поздний час и что всем хотелось легкой музыки. Склонившись над клавиатурой, он сидел в небрежной позе, с сигаретой в зубах, а пальцы его все глубже и глубже увязали в минорных созвучиях. «Расстроен, ужасно расстроен», – бормотал он и оттого, может быть, не в силах был вырваться из этой скорбной гармонии. Тень скуки и усталости легла на его лицо, еще недавно такое привлекательное.

Багратян украдкой наблюдал за ним. Лицо Гонзаго сейчас не казалось ему юношески застенчивым, а двусмысленным и пожившим. Он оглянулся на Жюльетту, которая подвинула свой стул к роялю. Она выглядела немолодой, как-то вдруг осунулась. На вопросительный взгляд Габриэла она тихо ответила:

– Голова разболелась... От этого вина...

Гонзаго внезапно оборвал игру и захлопнул крышку рояля.

– Пожалуйста, простите, – сказал он.

Как ни расхваливал учитель Шатахян игру заезжего пианиста и сыпал терминами, дабы щегольнуть познаниями в музыке, веселье угасло. Разъезд гостей очень скоро возглавила супруга пастора Нохудяна – сегодня они ночуют у друзей, в Йогонолуке, но завтра чуть свет они отправятся к себе, в Битиас. Дольше всех задержался молчун Восканян. И когда все гости уже были в парке, он вдруг вернулся и, топая своими короткими ножками, с таким суровым и решительным видом подошел к Жюльетте, что она даже немного испугалась. Но молчун лишь вручил ей большой лист с текстом на армянском языке, каллиграфически выписанным цветными чернилами. Затем исчез.

Это были пламенные стихи, дань благоговейной любви.

Когда ночью Жюльетта внезапно проснулась, она увидела, что Габриэл сидит рядом с ней на кровати словно окаменев. Он зажег свечу на своем ночном столике и, должно быть, давно уже наблюдал спящую. Она поняла, что ее разбудил взгляд Габриэла.

Он тронул ее плечо:

– Я нарочно не будил тебя, мне хотелось, чтобы ты проснулась сама.

Она откинула со лба волосы. Лицо ее было свежим и ласковым.

– Ты мог спокойно меня разбудить. Что мне сделается! Ты ведь знаешь, я никогда не отказываюсь поболтать ночью.

– А я, видишь ли, все думал и думал, – неопределенно начал он.

– Я божественно выспалась. И голова у меня разболелась не от вашего армянского вина, а от игры на рояле моего *comment dire?* – *demi-compatriote*.\* Что за нелепая идея – объявить Йогонолук курортом и жить на пансионе у господина Григора! Но еще нелепее тот низенький чернявый учитель, который преподнес мне свернутый в трубку плакат. Да и другой, который так протяжно завывает в нос! Он, верно, думает, что говорит на самом изысканном

французском языке: какой-то грохот камней попеременно с собачьим визгом... У всех вас, армян, довольно странное произношение. Даже ты, друг мой, не совсем от этого избавился. Но не будем к ним слишком строги. Они, право же, очень славные люди.

– Это бедные, бедные люди, Жюльетта.

---

\* Как бы это выразиться? Моего полуоотечественника (франц.).

---

Габриэл произнес эти слова с мучительной болью в голосе.

– А я на тебя обиделась: умчался в город, ни слова мне не сказав. Я бы дала тебе еды в дорогу...

По-видимому, заботливые слова жены не дошли до него.

– Я не спал ни минуты. Много вспомнилось. Обед у профессора Лефёвра, и мое первое письмо к тебе...

Жюльетта никогда не замечала в муже сентиментальности. Тем более удивил он ее сейчас. Она молча смотрела на него. Свеча стояла у него за спиной и поэтому лицо было неразличимо и только смутно виднелось тело по пояс, похожее на большую черную глыбу. А Габриэл видел перед собою светлое, залитое мерцающими отблесками существо, потому что на Жюльетту падал не только свет свечи, но и свет предутренних сумерек, занимающейся зари.

– В октябре было четырнадцать лет... Самый большой подарок в моей жизни, но и самый тяжкий грех. Я не должен был отрывать тебя от всего твоего, не имел права подвергать тебя превратностям чужой судьбы...

Она взяла спички, хотела зажечь свечу на своем ночном столике. Габриэл перехватил ее руку. И она продолжала слушать его голос, звучащий из этой бесформенной черноты.

– Правильнее всего было бы избавить тебя от этого... Нам надо развестись!

Она долго молчала. Ей и в голову не приходило, что это дикое, совершенно непонятное предложение связано с какими-то важными событиями. Она подвинулась к нему ближе.

– Я тебе сделала больно, оскорбила, дала повод для ревности?

– Никогда еще ты не была так добра ко мне, как сегодня вечером. Я давно так тебя не любил, как сегодня... тем ужасней!

Он приподнялся на подушках, отчего темная глыба его тела стала совсем уже ни на что не похожей.

– Жюльетта, отнесись серьезно к тому, что я скажу. Тер-Айказун сделает

все, чтобы развести нас как можно скорей. Турецкие власти в таких случаях не чинят препятствий. Тогда ты свободна. Ты перестанешь быть армянкой, не будешь делить со мною страшную участь, которая по моей вине тебе угрожает. Мы поедem в Алеппо. Ты попросишь убежище в каком-нибудь консульстве – американском, швейцарском, все равно каком. Тогда ты будешь в безопасности, что бы здесь или где-нибудь в другом месте ни случилось. Стефан поедет с тобой. Вам позволят уехать из Турции. Мое состояние и мои доходы я, конечно, перепису на ваше имя...

Он говорил порывисто и быстро, боясь, что Жюльетта его перебьет. Лицо Жюльетты было сейчас от него совсем близко.

– И эту чепуху ты говоришь всерьез?

– Когда все кончится, и я останусь жив, я буду опять с вами.

– Вчера еще мы так спокойно обсудили, что будет, если тебя призовут...

– Вчера? Вчера все было ошибкой. Мир стал другим.

– Другим? А что изменилось? То, что у нас отобрали паспорта? Мы получим новые. Ты же сам говоришь, что ничего дурного в Антиохии не узнал.

– Хотя я там узнал много дурного, но не об этом речь. Пока фактически изменилось очень немногое. Но это нагрянет внезапно, как вихрь из пустыни. Это чувствуют во мне мои праотцы, эти безымянные мученики. Это чувствует во мне каждая клетка. Нет, тебе, Жюльетта, этого не понять. Тот, кто никогда не испытал на себе расовой ненависти, понять этого не может.

– Я не спал ни минуты. Много вспомнилось. Обед у профессора Лефёвра, и мое первое письмо к тебе...

Жюльетта никогда не замечала в муже сентиментальности. Тем более удивил он ее сейчас. Она молча смотрела на него. Свеча стояла у него за спиной и поэтому лицо было неразличимо и только смутно виднелось тело по пояс, похожее на большую черную глыбу. А Габриэл видел перед собою светлое, залитое мерцающими отблесками существо, потому что на Жюльетту падал не только свет свечи, но и свет предутренних сумерек, занимающейся зари.

– В октябре было четырнадцать лет... Самый большой подарок в моей жизни, но и самый тяжкий грех. Я не должен был отрывать тебя от всего твоего, не имел права подвергать тебя превратностям чужой судьбы...

Она взяла спички, хотела зажечь свечу на своем ночном столике. Габриэл перехватил ее руку. И она продолжала слушать его голос, звучащий из этой бесформенной черноты.

– Правильнее всего было бы избавить тебя от этого... Нам надо развестись!

Она долго молчала. Ей и в голову не приходило, что это дикое, совершенно непонятное предложение связано с какими-то важными событиями. Она подвинулась к нему ближе.

– Я тебе сделала больно, оскорбила, дала повод для ревности?

– Никогда еще ты не была так добра ко мне, как сегодня вечером. Я давно так тебя не любил, как сегодня... тем ужасней!

Он приподнялся на подушках, отчего темная глыба его тела стала совсем уже ни на что не похожей.

– Жюльетта, отнесись серьезно к тому, что я скажу. Тер-Айказун сделает все, чтобы развести нас как можно скорей. Турецкие власти в таких случаях не чинят препятствий. Тогда ты свободна. Ты перестанешь быть армянкой, не будешь делить со мною страшную участь, которая по моей вине тебе угрожает. Мы поедем в Алеппо. Ты попросишь убежище в каком-нибудь консульстве – американском, швейцарском, все равно каком. Тогда ты будешь в безопасности, что бы здесь или где-нибудь в другом месте ни случилось. Стефан поедет с тобой. Вам позволят уехать из Турции. Мое состояние и мои доходы я, конечно, перепису на ваше имя...

Он говорил порывисто и быстро, боясь, что Жюльетта его перебьет. Лицо Жюльетты было сейчас от него совсем близко.

– И эту чепуху ты говоришь всерьез?

– Когда все кончится, и я останусь жив, я буду опять с вами.

– Вчера еще мы так спокойно обсудили, что будет, если тебя призовут...

– Вчера? Вчера все было ошибкой. Мир стал другим.

– Другим? А что изменилось? То, что у нас отобрали паспорта? Мы получим новые. Ты же сам говоришь, что ничего дурного в Антиохии не узнал.

– Хотя я там узнал много дурного, но не об этом речь. Пока фактически изменилось очень немногое. Но это нагрянет внезапно, как вихрь из пустыни. Это чувствуют во мне мои праотцы, эти безымянные мученики. Это чувствует во мне каждая клетка. Нет, тебе, Жюльетта, этого не понять. Тот, кто никогда не испытал на себе расовой ненависти, понять этого не может.

## Глава четвертая

### ПЕРВОЕ «ПРОИСШЕСТВИЕ»

Приступ слабости и отчаяния прошел так же быстро, как возник. И все же после памятной поездки в Антиохию Габриэл стал не тот. Прежде он часами работал у себя в комнате, теперь зачастую приходил домой только ночевать. Приходил очень усталый и спал как убитый. О том, что им грозит и что минувшей воскресной ночью повергло его в такое глубокое смятение, он не упоминал больше ни словом. Избегала говорить об этом и Жюльетта. Она была уверена, что серьезных оснований для беспокойства нет. За время замужества ей раза три-четыре довелось наблюдать у Габриэла душевный кризис: неделями длившаяся тяжелая, беспричинная хандра, дни гнетущей немоты, которую невозможно побороть и развеять хандру ни лаской, ни добрым словом. Это было ей знакомо. В такие дни между ними вырастала стена, возникало отчуждение, безысходность, и тогда Жюльетта приходила в ужас – с какой же

детской смелостью она решилась связать жизнь с таким трудным человеком! Правда, в Париже все было иначе. За нею стоял ее мир, где Габриэл был посторонним, – это давало ей превосходство. Здесь же, в Йогонолуке, они поменялись ролями, и вполне понятно, почему Жюльетта старалась, вопреки своей ироничности, проникнуться добрыми чувствами к «этим полудикарям».

Габриэла нужно оставить в покое. В том мучительном ночном разговоре Жюльетта видела только проявление ипохондрии, приступы которой ей были знакомы. Для француженки, выросшей в условиях полнейшей безопасности, то, что Габриэл называл «вихрем пустыни», было попросту невообразимо. Европа стала театром военных действий. Это значило, что люди в Париже вынуждены проводить ночи в подвалах, спасаясь от налетов неприятельской авиации. А она живет здесь в этом весеннем раю. Отлично может потерпеть еще несколько месяцев. Рано или поздно они все равно вернутся домой, на Авеню-Клебер. А здесь у Жюльетты дел по горло, и они как нельзя лучше заполняют день. Некогда даже задуматься. В ней пробудилось самолюбие хозяйки большого дома, помещицы. И стало быть, по ее понятиям, следовало «приобщить прислугу к цивилизации».

Вот когда Жюльетта научилась ценить стихийную одаренность армянского народа: повар Ованес чуть ли не за несколько недель стал заправским французским кулинаром; слуга Мисак оказался столь многосторонне талантлив, что Жюльетта подумывала, не взять ли его с собой во Францию; обе девушки, которые были у нее в услужении, обещали стать образцовыми камеристками. Сама вилла была в довольно хорошем состоянии. Но острый женский глаз подмечал кое-где признаки запущенности и обветшания. В дом призвали рабочих. Почтенный мастер по фамилии Товмасян руководил всеми плотницкими работами. Но упаси бог обратиться к нему как к простому ремесленнику; сам он именовал себя строительным подрядчиком, носил всю жизнь на массивной золотой цепочке медальон с портретом покойной жены, нарисованным, между прочим, учителем Восканяном, и не упускал случая упомянуть, что его дети, сын и дочь, получили образование в Женеве. Был он утомительно обстоятельным человеком и заставлял Жюльетту подолгу обсуждать различные детали работ. Зато ему удалось в короткий срок не только устранить все изъяны старого дома, но и оборудовать его в соответствии с привычками европейцев. Мастерские работали ловко и на удивление бесшумно. К началу апреля Жюльетта могла уже с полным правом сказать, что на отрезанном от мира Сирийском побережье имеет дом, который по благоустроенности – если не считать примитивное освещение и водоснабжение – не уступает любому курортному уголку в Европе.

Но самым любимым делом был для нее уход за фруктовым садом и розарием. Очевидно, и в ней заговорила кровь предков – разве в силу наследственности каждый француз не садовник и плодовод? Но и армяне – прирожденные садоводы, особенно жители Муса-дага. Мастером по этой части был Кристофор, управляющий имением. Жюльетта и не подозревала, какие возможности таятся в таком плодовом саду. Урожай в нем собирали чуть ли не

круглый год. Тот, кому не доводилось отведать армянских абрикосов, и представить себе не может, до чего они сладкие и сочные. Даже здесь, по другую сторону водораздела Тавра, они сохраняли всю свежесть, присущую им на родине, на севере, у богатого садами озера Ван. В своем саду Жюльетта то и дело узнавала такие виды фруктов, овощей и цветов, о каких прежде и не слыхала. Но большую часть времени она проводила на плантации роз, – сомбреро на голове, огромные садовые ножницы Кристофора в руках. Для такой любительницы роз это было поистине упоением. Гигантская куртина, усаженная розами, но не на западный манер, рядами, а вперемешку, – пестрый сумбур красок и ароматов на темно-зеленых волнах. Близко был Дамаск, недалеко была и Персия. Здесь росли отпрыски тысяч видов роз из той и другой их отчизны. Когда Жюльетта по узкой садовой дорожке пересекала это море цветов, она непрерывно впивала в себя взглядом и дыханием все оттенки царства роз. Аптекарь Григор обещал ей, что, если она предоставит ему нужное количество корзин свежих роз сорта *Moschata damascena*, он выжмет из них крохотный флакончик того масла, изготовление которого освящено вековым обычаем. Григор рассказал ей о старинном поверье: у этого масла удивительно стойкий запах, если капнуть в волосы покойника одну каплю этого благовония, но только настоящего, – он будет так благоухать на Страшном суде, что расположит к себе всех ангелов.

Жюльетта со Стефаном иногда объезжали верхом окрестности Муса-дага. Аветис Багратян оставил им в наследство четырех лошадей. Одну из них, маленькую, смирную лошадку, подарили мальчику. Во время этих верховых прогулок либо к равнине Суэдии, либо на другую сторону, через Азир и Битиас в Кебусие, их сопровождал конюх, для которого по рисунку Жюльетты был сшит живописный костюм. Ее тяга к красоте, к декоративной пышности проявлялась не только по отношению к своей особе, но и ко всему своему окружению. И когда лошадь плавно выносила ее на церковную площадь или главную улицу, а за ней следовали Стефан и разодетый конюх, она чувствовала себя властительницей этого сказочного мира. Порой она вспоминала о матери и сестрах в Париже. И тогда ее собственная жизнь казалась ей и впрямь достойной зависти. Где бы она ни появлялась, ее встречали с почтением, даже в мусульманских селах, которые она проезжала во время дальних прогулок. Итак, ясно: у бедного Габриэла опять сдали нервы. А вот она, Жюльетта, считает, что мир ни чуточки не изменился.

По утрам Габриэл уходил из дому. Но теперь это были не просто прогулки по Муса-дагу; он бродил по окрестным деревням. Потребность воскресить и постичь картины детства сменило более зрелое чувство:

стремление узнать этот мир как можно достоверней, узнать его людей с их жизненным укладом, запросами, увидеть самому их житье-бытье.

Одновременно он написал письма в Стамбул своим армянским друзьям из дашнакцутюна и – этому он придавал особое значение – прежним друзьям из младотурок. Правда, он предвидел, что цензура каймакама Антиохии затруднит доставку этих писем, но какое-нибудь непременно дойдет до адресата. От



ответа зависело будущее. Если в столице все по-старому, если речь идет о мероприятиях чисто военного порядка, он, несмотря на предостережение аги Рифаата Берекета, покинет домашний очаг и рискнет поехать в Стамбул без необходимого удостоверения личности. Если же в ответном письме будет что-то недоброе, или ответа вовсе не будет, значит, опасения старого турка оправдались, западня захлопнулась, и путь к отступлению отрезан. Тогда остается только надеяться, что какой-нибудь доброжелатель армян, например, вали Джелал-бей, не допустит никаких «происшествий» в своем вилайете и что такой сельский район, как округ Муса-дага, останется в стороне от репрессий, которые обычно происходят в больших городах. В этом случае дом в Йогонолуке может и в самом деле оказаться идеальным, как выразился ага, убежищем. Что же касается отсутствия повестки с вызовом в полк, то Багратяну казалось, что он понимает намерения оттоманского генералитета: армянские части возвращают с фронта и разоружают. Почему? Да потому, что турки боятся, чтобы такое сильное национальное меньшинство, как армяне, вооруженное современным оружием, не вздумало, в случае поражения, силой вырвать у господствующей нации свои права. Особенно опасны армяне-офицеры, так как они в удобную минуту могут захватить в свои руки командование.

Как ни убедительно было это объяснение, Габриэл ни на минуту не находил себе покоя. Но теперь его беспокойство не было нервозностью, оно преобразилось в энергию, плодотворную и целеустремленную. Габриэл проявлял педантичность, которую прежде замечал за собой только в научной работе. Теперь при изучении реальных условий человеческого существования эта педантичность была как нельзя кстати. Он не задавался вопросом, с какой целью берет на себя этот труд и кому предполагает помочь. Бог весть сколько месяцев еще им жить в этой долине. Он хотел знать все об этих армянских селениях, об этих людях. Ибо сознавал свою братскую ответственность перед ними.

Он отправился – это была его первая разведка – к старосте Йогонолука. Это самое крупное село ведало общими делами и всех остальных деревень. Мухтар Товмас Кебусян отсутствовал. Сельский писарь встретил Габриэла бесчисленными поклонами; посещение главы легендарного рода Багратянов воспринималось как особая честь.

Есть ли у старосты списки местных жителей?

Писарь величественным жестом указал на пыльную этажерку у стены. Конечно же, такие списки есть. И не только в надлежащих церковных книгах ведется подушная запись. Мы ведь как-никак не курды и кочевники, а христиане. Тому несколько лет тогдашние мухтары провели на свой страх и риск перепись населения. Как раз в 1909 году, после реакции на младотурок и после большого погрома в Адане\* прибыл приказ от армянских депутатов произвести перепись в семи деревнях. По приблизительному подсчету в их округе набралось шесть тысяч христиан. Но, если эфенди желает, он может через несколько дней получить более точную цифру. Габриэл сказал, что

желает. Затем справился, как обстоит дело с военнообязанной молодежью. Это оказалось уже более щекотливым сюжетом. Писарь даже стал косить глазом, как его начальник, мухтар. Согласно приказу о мобилизации, сказал он, военнообязанными признаются все мужчины от двадцати до тридцати лет, хотя по закону предельным призывным возрастом считается двадцать семь лет. Во всем сельском округе под мобилизацию подпало около двухсот мужчин. Из них ровно сто пятьдесят внесли в казну бедел – откуп, в сумме, установленной законом, а именно пятьдесят фунтов с человека. Эфенди, верно, знает, что здешние люди очень бережливы. Обычно отец семейства начинает копить деньги на выкуп сыновей от солдатчины со дня их рождения. Всякий раз, как начинается новый призыв в армию, мухтар Йогонолука в сопровождении местного жандарма собирает военный налог и самолично отвозит в антиохийский хюкюмет.

---

\* Адана – город в равнинной Киликии, административный центр одноименного вилайета в Турции. Когда-то эллинистический культурный город, он в XII-XIV вв. входил в состав (Киликийского армянского царства. В 1909 году, едва младотурки пришли к власти, они организовали в Адане и вилайете большую резню, убив с 1 по 4 апреля и с 12 по 14 апреля в Аданском и Алеппском вилайетах свыше 30 000 армян.

---

– Как же это, однако, получается, – продолжал Габриэл допрос, – что из шести тысяч душ только двести мужчин пригодны к военной службе?

Ответ писаря не был для Габриэла неожиданным: да будет эфенди благоугодно принять во внимание, что недостаток крепких мужчин есть наследие прошлого, следствие неимоверного кровопускания, которому подвергается армянский народ по крайней мере раз в десять лет.

Явная отговорка. Габриэл сам видел больше двухсот здоровых молодых парней в деревнях. В том-то и дело, что был еще один способ уклониться от военной службы, не заплатив бедел полностью. И конечно же, способ этот отлично известен рябому заптию Али Назифу.

Багратян продолжал свои расспросы:

– Значит, пятьдесят парней отправились на освидетельствование в Антакье. Что с ними случилось?

– Сорок взяли в армию.

– И в каких полках, на каких фронтах сражаются эти сорок человек?

Это-то и не ясно. Семьи неделями, даже месяцами не получают никаких известий от своих сыновей. Но ведь турецкая полевая почта известна своей

«аккуратностью». Они, возможно, находятся в казармах в Алеппо, где генерал Джемаль-паша заново формирует свою армию.

– А не говорит ли кто в деревнях, что армян хотят сделать «иншаат табури» – солдатами военно-строительных батальонов?

– О многом говорят в деревнях, – уклончиво заметил писарь.

Габриэл разглядывал маленькую этажерку у стены. «Список домовладений» стоял рядом с выпуском «Кодекса законов Оттоманской империи» и тут же – ржавые почтовые весы. Он вдруг круто повернулся к собеседнику:

– А как насчет дезертиров?

Допрашиваемый сельский писарь с таинственным видом подошел к двери, распахнул ее, потом, так же соблюдая конспирацию, затворил.

Конечно, и здесь, как и всюду, есть дезертиры. С чего бы армянам не дезертировать, ежели сами турки подают пример? Сколько дезертиров? Пятнадцать – двадцать. Вот как! Да, за ними даже охотились. Несколько дней назад. Патруль, составленный из заптиев и регулярной пехоты под командой мюлазима\*. Весь Муса-даг обшарили. Умора!

---

### **\* Мюлазим – лейтенант (турец.)**

---

Острое лицо мигающего человечка осветилось вдруг выражением хитрого и дикого торжества:

– Умора, господин! Потому что наши ребята свою гору еще как знают!

Дом священника, в котором жил Тер-Айказун, был, наряду с домом мухтара и школой, самым приметным зданием на церковной площади Йогонолука. Одноэтажный, с плоской крышей и пятиконным фасадом, он мог бы стоять в каком-нибудь маленьком южно-итальянском городке. Дом священника принадлежал здешней церкви. Оба эти здания одновременно построил в семидесятых годах Аветис-старший.

Тер-Айказун был главой григорианской церкви всего округа. В его ведении находились, кроме того, поселки со смешанным населением и маленькие армянские общины в турецких торговых селах Суэдии и Эль Эскеля. Он был рукоположен в сан вардапета этой епархии и объявлен самим патриархом в Константинополе главой отдельных армянских церквей и их женатых священников. Тер-Айказун учился в семинарии в Эчмиадзине под началом католикоса, которого христианский мир Армении чтит как своего

верховного главу, почему Тер-Айказун и был во всех смыслах признанный глава в своем приходе.

А пастор Арутюн Нохудян? Откуда взялись вдруг протестантские пасторы в этом азиатском захолустье? Так вот: в Анатолии и Сирии было немало протестантов. Евангелическая церковь обязана этими прозелитами немецким и американским миссионерам, которые с такой готовностью взяли на себя заботу об армянских жертвах погромов и сиротах. Добрейший Нохудян сам был одним из тех осиротевших мальчиков, которого милосердные отцы послали учиться богословию в Дерпт. Однако и он подчинялся во всех делах, не относившихся непосредственно к заботе о спасении душ, авторитету Тер-Айказуна. Догматические различия в вероисповедании не играли сколько-нибудь значительной роли, потому что народ постоянно находился в угрожаемом положении и первенствующее место духовного наставника, – а Тер-Айказун был им в подлинном смысле этого слова, – не вызывало ни критики, ни нареканий.

Старик-причетник ввел Габриэла в кабинет вардапета.

Пустая комната, пол устлан большим ковром. И только у окна – маленький письменный столик, рядом, для посетителя, камышовый стул с просиженным сиденьем.

Тер-Айказун встал из-за письменного стола и шагнул навстречу Багратяну. Ему было лет сорок восемь, не больше, но в его бороде двумя широкими белыми клиньями уже проступала седина. Его большие глаза (глаза у армян почти всегда большие, расширенные от ужаса глаза на лицах с печатью тысячелетней скорби) отражали два противоречивых свойства: отрешенность от мира и решительность человека, знающего свет. Вардапет был в черной рясе, в надвинутом на лоб остроконечном клобуке. Он то и дело прятал руки в широкие рукава рясы, словно его знобило от холода в этот теплый весенний день. Багратян осторожно сел на ненадежный камышовый стул.

– Весьма сожалею, ваше преосвященство, что ни разу не имел возможности приветствовать вас в своем доме.

Вардапет потупил глаза и развел руками:

– Сожалею об этом еще больше, господин Багратян. Но воскресный вечер – это единственный свободный вечер, которым мы можем располагать.

Габриэл оглядел комнату. Он думал, что увидит в этой церковной канцелярии папки и фолианты. Ничего похожего. Лишь на письменном столе несколько бумаг.

– На ваши плечи ложится немалое бремя. Представляю себе, каково вам.

Тер-Айказун этого не отрицал:

– Больше всего сил и времени отнимают дальние расстояния. Я в таком же положении, как и доктор Алтуни. Ведь наши соотечественники в Эль Эскеле и в горах, в Арзусе, тоже требуют заботы.

– Да, такая даль, – несколько рассеянно сказал Габриэл, – ну, тогда я вполне могу представить себе, что у вас нет ни времени, ни желания бывать в обществе.

Тер-Айказун взглянул на него с таким видом, будто его неправильно поняли.

– Нет, нет! Я ценю оказанную честь и приду к вам, господин Багратян, как только у меня наступит некоторое облегчение...

Он не договорил – избегал, видимо, уточнять слово «облегчение».

– То, что вы собираете у себя наших людей, достойно всяческой похвалы. Они многого здесь лишены.

Габриэл попытался перехватить взгляд вардапета.

– А вы не думаете, святой отец, что сейчас не слишком подходящее время для светских развлечений?

Быстрый, очень внимательный взгляд.

– Напротив, эфенди! Сейчас самое время бывать людям вместе.

Габриэл не сразу ответил на эти странно многозначительные слова. Прошла добрая минута, пока он не заметил, словно невзначай:

– Иной раз просто изумляешься тому, как безмятежно течет здесь жизнь и как никто, по-видимому, ни о чем не тревожится.

Вардапет снова потупился, готовый, казалось бы, терпеливо выслушать любое осуждение.

– Несколько дней назад, – медленно заговорил Габриэл, начиная свое признание, – я был в Антиохии и кое-что там узнал.

Зябкие руки Тер-Айказуна выглянули из рукавов рясы. Он сложил их, крепко сплел пальцы.

– Люди в наших деревнях редко бывают в Антиохии, и это к лучшему. Они живут не переходя границ собственного мира и мало знают о том, что творится на белом свете.

– Сколько же им еще жить в положенных границах, Тер-Айказун? А если, например, в Стамбуле арестуют всех наших руководителей и знатных людей?

– Их уже арестовали, – тихо, почти неслышно сказал вардапет, – они уже три дня сидят в стамбульских тюрьмах. И их много, очень много.

То был приговор судьбы – путь в Стамбул отрезан.

И все же в эту минуту самая значительность случившегося произвела на Габриэла меньше впечатления, чем спокойствие Тер-Айказуна. Он не сомневался в достоверности сказанного. Духовенство, несмотря на наличие либерального дашнакцутюна, по-прежнему представляло собой самую большую силу и было единственной настоящей организацией армянского народа. Сельские общины находились в далеко отстоящих друг от друга местностях и о ходе мировых событий узнавали чаще всего, лишь когда уже бывали вовлечены в их водоворот. Священник же получал сведения задолго до того, как из столицы прибывали газеты; по самым скорым и тайным каналам ему первому становилось известно о каждом грозящем опасностью событии. И все-таки Габриэлу хотелось убедиться, что он правильно понял сообщение.

– Действительно арестованы? И кто? Это вполне достоверно?

Тер-Айказун положил безжизненную руку с большим перстнем на лежавшие на столе бумаги.

– Как нельзя более достоверно.

– И вы, духовный наставник семи больших общин, говорите об этом так спокойно?

– От того, что я не буду спокоен, мне легче не станет, а моим прихожанам – один вред.

– Есть ли среди арестованных священники?

Тер-Айказун угрюмо кивнул.

– Пока семь человек. Среди них архиепископ Амаяк и трое высокопоставленных священнослужителей.

Как ни сокрушительна была новость, Багратян изнемогал от желания курить. Он достал сигарету и спички.

– Я должен был раньше прийти к вам, Тер-Айказун. Вы даже не представляете, как мучительно мне было молчать.

– Вы сделали добро тем, что молчали. Мы и дальше должны молчать.

– А не целесообразнее ли подготовить людей к будущему?..

Словно отлитое из воска лицо Тер-Айказуна было бесстрастно.

– Будущее мне не известно. Но мне известно, какими опасностями могут грозить моим прихожанам страх и паника.

Христианский священник говорил почти теми же словами, что и правоверный мусульманин Рифаат. Но перед Габриэлом вдруг встало видение, сон наяву. Огромный пес, из тех бездомных тварей, что держат в страхе всю Турцию; на его пути – старик, он замер от страха перед псом, переминается с ноги на ногу, потом вдруг круто поворачивается, пускается в бегство... но лютой зверь уже настиг его, впился зубами в спину...

Габриэл провел рукой по лбу.

– Страх, – сказал он, – самое верное средство разохотить врага к убийству... Но разве не грешно и не опасно скрывать от народа правду о его судьбе? До каких пор можно ее утаивать?

Казалось, Тер-Айказун прислушивается к чему-то далекому.

– Газетам не разрешено писать обо всем этом – не хотят огласки за границей. К тому же весной много работы, времени у людей в обрез, наши сельчане вообще редко куда-нибудь выезжают... Так что с божьей помощью от страха мы на какое-то время избавлены... Но когда-нибудь это случится. Рано или поздно.

– Что случится? Как вы себе это представляете?

– Это непредставимо. Наши солдаты разоружены, руководители наши арестованы!

Все так же невозмутимо Тер-Айказун продолжал перечень злодеяний, как будто ему втайне доставляло удовольствие делать больно себе и гостю:

– В числе арестованных – Вардгес, близкий друг Талаата и Энвера. Часть заключенных выслана. Возможно, их уже нет в живых. Все армянские газеты запрещены, все армянские предприятия и магазины закрыты. И пока мы тут с вами беседуем, на площади перед сераскериатом\* стоят виселицы с повешенными ни в чем не повинными армянами, пятнадцать виселиц...

---

**\*Сераскерият – военное министерство (турецк.).**

---

Габриэл порывисто вскочил, опрокинув камышовый стул.

– Что за сумасшествие! Как это понять?

– Я понимаю это только так, что правительство готовит нашему народу такой удар, какой не посмел бы нанести сам Абдул Гамид.

Габриэл напустился на Тер-Айказуна с такой злостью, словно перед ним был враг, иттихатист:

– И мы действительно совсем бессильны? Действительно должны, не пикнув, совать голову в петлю?

– Бессильны. Должны совать голову в петлю. Кричать, вероятно, пока дозволяется.

«Проклятый Восток с его «кисметом»\* его пассивностью», – промелькнуло в сознании Багратяна. И сразу же в памяти всплыл целый ворох имен, связей, возможностей. Политики, дипломаты, с которыми он был знаком – французы, англичане, немцы, скандинавы! Нужно всколыхнуть мир! Но как? Западня захлопнулась. Туман снова сгустился. Он чуть слышно сказал:

– Европа этого не допустит.

---

\* Кисмет (араб.) – судьба, доля.

---

– Вы смотрите на нас чужими глазами. – Непереносимо было это бесстрашие Тер-Айказуна! – Сейчас есть две Европы. Немцы нуждаются в турецком правительстве больше, чем турецкое правительство в немцах. А прочие нам помочь не могут.

Габриэл уставился на вардапета; ничто не могло исказить тревогой это умное, похожее на камею лицо.

– Вы духовный пастырь многих тысяч душ, – голос Багратяна звучал почти по-командирски, – и все ваше искусство дано вам лишь для того, чтобы

скрывать от людей правду, как скрывают несчастье от детей и стариков, чтобы уберечь их от страдания. И это все, что вы делаете для вашей паствы. Что вы еще делаете?

На этот раз упрек Габриэла глубоко задел вардапета. Руки его, лежавшие на столе, медленно сжались в кулаки. Голова склонилась на грудь.

– Молюсь... – шепотом ответил он, точно ему было стыдно открыть другому, какую духовную борьбу ведет он день и ночь с богом за спасение своей общины. Что, если внук Аветиса Багратяна – вольнодумец и поднимет его на смех?

Но Габриэл, тяжело дыша, ходил по комнате. И вдруг со всей силы хватил ладонью по стене, так что посыпалась штукатурка.

– Молитесь, Тер-Айказун!

И тем же командирским тоном:

– Молитесь!.. Но богу надо иной раз и помочь!

Первое «происшествие», вследствие которого тайное стало для Йогонолука явным, случилось в тот же день. В пятницу. В теплый пасмурный апрельский день.

По просьбе Стефана Габриэл велел сколотить в парке несколько простых гимнастических снарядов. Мальчик был очень ловок во всех физических упражнениях и к тому же весьма честолюбив. Иногда в спортивных играх принимал участие и отец. Но излюбленным их занятием была стрельба в цель. Жюльетта, разумеется, удостаивала своим вниманием только крокет.

Сегодня Габриэл, Авакян и Стефан сразу после обеда, за которым Габриэл не проронил ни слова, отправились в тир, расположенный за оградой виллы, в лесистом предгорье. Там по распоряжению Габриэла Багратяна в небольшой лощине вырубил весь подлесок. Под высоким дубом поставили лежак, с которого можно было брать на прицел мишень, прибитую к стволу дерева на другом конце лощины. Аветис-младший оставил брату в наследство целый арсенал оружия: восемь охотничьих ружей разного калибра, две винтовки системы маузер и большое количество боеприпасов.

Габриэл стрелял неплохо, но на этот раз из пяти выстрелов у него оказалось только одно полноценное попадание. Авакян был близорук и отказался стрелять, дабы не подвергать испытанию свой авторитет воспитателя. Зато его воспитанника пришлось признать чемпионом стрельбы в цель: из десяти выстрелов, сделанных из самого маленького карабина, шесть попали в игральную карту, прикрепленную в центре мишени, и четыре – в фигуру, изображенную на карте. Победа над отцом необыкновенно воодушевила Стефана. Держать в руках оружие, открывать затвор, загонять в ствол патроны, целиться, слышать звук выстрела, чувствовать в плече отдачу, – весь этот воинский труд прельщает и пьянит каждого подростка! Стефан, увлеченный этой мужественной игрой, играл бы в нее до вечера, если бы отец не махнул вдруг рукой:

– Хватит!

В эту минуту на Габриэла нашло что-то непонятное – такого он за собой не



помнил, – какое-то обмирание. Сухой язык словно разбух во рту. Похолодели руки и ноги. Кровь отлила от головы. Но все это были только внешние признаки чего-то, происходившего в средоточии самой жизни. «Мне вовсе не стало дурно, – подумал он после того как с минуту переждал, пытаюсь понять, что с ним такое. – Нет, мне не то чтобы дурно, просто мне хочется уйти от себя, поменять кожу». И он тотчас же почувствовал безумное желание бежать, бежать отсюда – безразлично куда.

– Пойдем, Стефан, погуляем немного, – решил он.

Габриэл боялся остаться один, – его тянуло идти без оглядки все дальше и дальше, идти быстрым, частым шагом до тех пор, пока не окажется за пределами мира.

Авакян понес оружие в дом.

Отец и сын вышли из парка и спустились на дорогу к Йогонолуку. Село было близко, примерно в десяти минутах ходьбы.

Габриэл почувствовал себя вдруг дряхлым стариком, и собственное тело оказалось такой тяжелой ношей, что пришлось ему опереться на Стефана.

Не доходя до церковной площади, они услышали гул голосов. В отличие от арабов и других восточных людей, которые изрядно шумливы, армяне ведут себя в общественных местах тихо и сдержанно. Сам древний рок не велит им вмешиваться в крикливые сборища, равно как и устраивать их. Но сегодня здесь скопилось около трехсот селян, они полукругом обложили церковь. Некоторые из этих мужчин и женщин, крестьян и ремесленников громко выкрикивали ругательства, проклятия и грозили кулаками. Ругань относилась к заптиям – их потертые барашковые шапки там и тут мелькали над толпой. Стражи порядка, очевидно, пытались оттеснить толпу от церкви, освободить проход на паперть и в портал. Габриэл взял Стефана за руку и стал вместе с ним пробираться сквозь гущу плотно стоявших людей.

Первым бросился им в глаза высокий оборванный парень со сплетенным из соломы венком вокруг высокой черной шапки; в руке он держал подсолнечник на коротком стебле, которым он время от времени помахивал. Пришелец с серьезным видом выделывал па какого-то танца, устало переступая ногами, как бы повинуюсь внутреннему ритму. Однако его движения вовсе не походили на пьяное притопывание. Это сразу было видно. И все же толпа смотрела не на танцора с подсолнечником. Взоры ее были прикованы к иному зрелищу.

На паперти сидело четыре человека. Мужчина, две молодые женщины и девочка лет двенадцати. Каждый был таким оцепенелым комом человеческого горя, какого Габриэл никогда еще не видел: труп-сидень при живом теле. В такой позе находят при раскопках сохранившиеся в двухтысячелетней лаве тела людей, застигнутых извержением вулкана:

«точь-в-точь как живые». Все четверо безмолвно глядели перед собой. Равнодушный взгляд широко раскрытых глаз, в которых ничего не запечатлевалось: ни волнующаяся толпа, ни дом аптекаря, стоявший напротив. (Что такое, в сущности, человеческий взгляд? Еле заметное изменение зрачка:

он чуть светлеет или темнеет. И в то же время – окрыленное существо, ангел, с которым человек посылает миру весть. Но здесь ангелы-вестники пролетали мимо, закрыв свой лик крылом.)

Мужчина с худым, заросшим щетиной лицом был в длинном сером люстриновом сюртуке, какие обычно носят здешние протестантские пасторы. Его мягкая соломенная шляпа скатилась на ступеньки паперти. Края вконец обтрепавшихся брюк свисали бахромой. Рваные башмаки, толстый слой пыли на лице и сюртуке говорили о том, что ему пришлось много дней идти пешком. Женщины тоже были в европейских платьях и, можно было догадаться, – прежде даже изящных. Та, что сидела, прижавшись к пастору, – несомненно, его жена, – не в силах, видимо, превозмочь дурноту или сердечный приступ, внезапно откинулась назад и ударилась бы затылком о ступени, если бы муж не подхватил ее. (Так эта группа пришельцев впервые вышла из оцепенения.) Вторая женщина – должно быть, еще совсем юная – не утратила своей прелести даже в этом состоянии. Глаза ее на бескровном, исхудалом личике горели горячечным блеском, полуоткрытый рот жадно ловил воздух. Ее, по-видимому, мучила боль то ли от раны, то ли от перелома, потому что левая рука ее бессильно свисала на повязке. И наконец, девочка тощенькое, похожее на воробья создание в полосатом халате, в каких ходят приютские дети. Она брезгливо подбирала босые ноги, боясь ими к чему-нибудь прикоснуться. «Так подбирает лапы больной зверек», – подумал Габриэл. Бедные детские ноги опухли, были в черно-синих кровоподтеках, в открытых ранах. Цел и невредим и в полном здравии был, по-видимому, один только плясун с подсолнечником.

Через площадь бежал к церкви пожилой человек; его, верно, вызвали с работы, он не успел снять синий рабочий передник. Стефан узнал мастера Товмасына, который руководил ремонтными работами на их вилле. Из любопытства мальчик часто навевывался к работавшим мастерам, и тогда Товмасын с гордостью рассказывал ему о своем сыне Араме, видном человеке в городе Зейтуне, тамошнем пасторе и директоре сиротского приюта. «Тот, что на паперти, наверно, и есть его сын» – догадался Стефан.

Старик Товмасын с безмолвным вопросом простер руки к измученным странникам. Пастор Арам с трудом отвел пустой взор от какой-то невидимой дали, с деланной легкостью вскочил и попытался ободряюще улыбнуться, будто ничего особенного не произошло. Встали с мест и женщины, им тоже это стоило большого труда; младшей мешала сломанная рука, а жена пастора была беременна. И только девочка в полосатом халатике осталась сидеть, подозрительно и пристально разглядывая своих товарищей по несчастью. Из первых вскриков, горестных вопросов и ответов ничего нельзя было понять. Но когда пастор Арам обнял отца, он на мгновение потерял самообладание. Голова его склонилась на плечо старика, послышалось короткое всхлипывание, хриплый выдох муки. Это продолжалось не более секунды; спутницы его безмолвствовали. Но тут по толпе пробежал электрический ток, она отозвалась вздохом, стонами, плачем. Только преследуемые, угнетенные народы – такие хорошие проводники страдания. Боль одного разделяют все. Здесь, у церкви

Йогонолука, триста детей одного народа были охвачены единым, общим горем, причины которого они еще не успели узнать. Даже Габриэл, приезжий парижанин, гражданин мира, давно преодолевший в себе власть рода, даже он едва справился с чем-то, от чего перехватывало горло. Габриэл украдкой посмотрел на сына. С лица чемпиона стрельбы в цель сбежали все краски. Жюльетта испугалась бы, но не только его бледности и выражения недоуменного ужаса на лице мальчика. Она испугалась бы того, что Стефан стал так похож на армянина.

Вскоре на церковной площади показались один за другим доктор Алтуни с женой Антарам, оба учителя, за которыми послали в школу, и под конец Тер-Айказун, вернувшийся из Битиаса, куда ездил верхом на своем ослике. Вардапет крикнул по-турецки заптию Али Назифу, чтобы никого не впускали в церковь. Затем Тер-Айказун ввел семейство Товмасянов и сиротку в портал. Врач с женой, учителя и мухтар пошли за ними следом. Вошли в церковь и Багратяны. Снаружи, под проглянувшим полуденным солнцем осталась толпа и плясун с подсолнечником, уснувший в изнеможении на ступеньках паперти.

Тер-Айказун ввел измученных людей в ризницу – просторную, светлую комнату, где стояло несколько скамей и диван. Причетника послали за вином и горячей водой. Доктор Алтуни и Антарам тотчас принялись за дело. Прежде всего была оказана помощь девушке с больной рукой – Искуи Товмасян, сестре пастора. Затем перевязали раны Сато, девочки из сиротского приюта, которую пастор взял с собой из Зейтуна.

Как человек посторонний, или пока еще посторонний, Габриэл стоял поодаль, держа сына за руку, и прислушивался к сумбурному диалогу: беспорядочные вопросы, перебиваемые беспорядочными ответами. Так, постепенно, как ни хаотичен и непоследователен был рассказ, Габриэл узнал печальную историю города Зейтуна, а также историю пастора Арама и его близких.

Зейтуном зовется старинное горное селение, уходящее далеко ввысь по западному склону Киликийского Тавра. Насельниками его, как в деревнях Муса-дага, издревле были армяне. Это был довольно крупный населенный пункт с тридцатью тысячами жителей, почему турецкое правительство держало там большое количество жандармерии и войск, офицеров и чиновников с семьями, как оно поступало всюду, где ему нужно было установить численный перевес и контроль над нетурецким населением. Это всемирно известная тактика всех государств, где так называемая «господствующая нация» безраздельно властвует над «национальными меньшинствами». В Турции это делалось особенно грубо, потому что османы, кичась своим «благородным происхождением», не имели даже численного превосходства над другими нациями – «миллетами». Только такие люди, как Багратян, жившие в Париже или в других европейских столицах, могли в своем идеализме надеяться – до весны этого года, – что можно примирить противоречия, изжить расовую вражду, добиться справедливости под младотурецким знаменем. Габриэл знал немало адвокатов и журналистов, занявших высокие посты после революции.

Когда подготавливался заговор, он в монмартрских кафе проводил с ними в спорах ночи напролет. Клятвы в вечной верности чередовались с взаимными признаниями в мессианской роли турецкого и армянского народов. Во имя обновленного отечества (с которым он имел очень мало общего) Багратян, тогда уже женатый человек, поступил в военную академию и пошел на войну, что догадались сделать лишь совсем немногие турецкие патриоты в Париже. А теперь? Он мысленно видел перед собой их лица, и воспоминание еще живое, не утратившее тепло, спрашивало: «Как? Мои старые друзья – отныне мои смертельные враги?»

Жестокий ответ на это дали события в Зейтуне.

Представьте себе высокую ущелистую гору, увенчанную природной цитаделью, в нее будто врезаны соты старого города. Непрístupная, надменная пирамида нагроможденных друг на дружку улочек, обрывающихся только в новой части города, на равнине.

Что соль в глазу был Зейтун для турецкого национализма. Ибо если есть в мире священные места и реликвии, привлекающие паломников и погружающие их в благоговейное созерцание, то наряду с этим есть и такие места, которые возбуждают лютую злобу и ненависть фанатиков-шовинистов.

Причины такой ненависти к Зейтуну были совершенно ясны. Во-первых, в этом городе почти до конца девятнадцатого века существовало свободное самоуправление, такой порядок вещей, который господствующей нации напоминал о кое-каком неприятном опыте, полученном в старину. Во-вторых, в зейтунских армянах сохранилось искони присущее им на протяжении всей их истории стремление к независимости, подчас оборачивающееся заносчивостью и спесью. Но непростительней всего было неожиданное поведение армян в 1896 году;

оно осталось неизгладимым воспоминанием, постоянным источником ненависти турок. Именно тогда «добрый» султан Абдул Гамид сформировал, в числе других добровольческих отрядов, и «гамидие» – банды солдатни, на вербованной из временно выпущенных на волю каторжников, разбойников и кочевников, – создание таких банд преследовало лишь одну цель: иметь в своем распоряжении лихих головорезов, готовых без зазрения совести спровоцировать события, с помощью которых султан надеялся заткнуть рот взывающему о реформах армянскому населению.

Добровольцы эти всюду весьма успешно справлялись со своей задачей, а вот в Зейтуне схлопотали по шее и заплатились немалой кровью, вместо того чтобы устроить веселый и прибыльный погром. Но мало того – зейтунцы жестоко всыпали на узких улочках города и регулярным батальонам, поспешившим на выручку гамидие. Батальоны эти тоже понесли большие потери. Никакого успеха не принесла после этого и осада города силами крупных военных частей. Зейтун оказался неприступным. Когда же в конце концов европейская дипломатия вступилась за отважное армянское население и послы при Высокой Порте, которая не знала, как выйти из позорного положения, добились полной амнистии для Зейтуна, вот тогда и возникло у

турок это вызывающее к мести чувство безмерного унижения. Все воинственные нации – не только османская – мирятся с поражением, если оно нанесено сходным с ними противником; но быть побитым представителями расы, чуждой воинскому идеалу, – книжниками, торговцами и ремесленниками, этого душа вояки никогда не забудет. Таким образом, новому правительству от старого досталось в наследство и позорное воспоминание о поражении в Зейтуне, и лютая ненависть. А где, как не на большой войне, представится случай отомстить? В Турции были объявлены законы военного времени и чрезвычайное положение. Большинство молодых мужчин ушло на фронт или находилось в казармах, на окраинах. Оставшееся в тылу армянское население в первые же дни войны после многократных обысков было полностью обезоружено. Туркам недоставало только одного – удобного случая.

Мэра Зейтуна звали Назарет Чауш. Это был типичный армянский горец. Худой, сутулый, бледный, горбоносый, с пышными висячими усами. Человек нездоровый и уже немолодой, он долго отказывался от возлагаемой на него ответственности. Будущее пахло гарью, он это чуял. Морщины над переносьем у Назарета становились глубже всякий раз, как он поднимался по крутой тропе в хюкюмет изучать новые распоряжения каймакама. Болела изуродованная подагрическими узлами рука, которой он опирался на суковатую палку. Здравый смысл подсказывал Назарету Чаушу, что отныне нужно придерживаться только одной политики: быть во всеоружии против любой провокации, остерегаться всякого подвоха, чтобы не попасть в ловушку и бога ради или черта ради изображать из себя оттоманского патриота.

А вообще, Назарет Чауш так же мало замышлял что-либо дурное против Турции, как и другие зейтунцы-армяне. Турция была от века судьбой армянской нации. С землей, на которой живешь, с воздухом, которым дышишь, не поссорисься. Чауш не обольщался детскими мечтами об освобождении, потому что выбор между султанской и царской империями был труден, да в конце-то концов и невозможен. Назарет был согласен с афоризмом, который в свое время имел хождение среди армян: «Лучше физическая гибель в Турции, чем духовная смерть в царской России». Третьего пути, казалось, не дано.

Таким образом, тактика в отношении турецких властей была predetermined. В глазах зейтунцев Назарет Чауш был воплощением подлинного вождя, почему и удалось ему подчинить их железной дисциплине. Некоторое время никаких инцидентов вопреки тайно лелеемым замыслам администрации не последовало. Кровожадная военно-медицинская комиссия признала калек и больных годными к военной службе – ладно! Они и бровью не повели, пошли в армию. Каймакам ввел незаконные поборы и военные повинности – ладно! Им неукоснительно подчинялись. Тот же каймакам приказывал по любому глупейшему поводу торжественно праздновать победу и выходить на патриотическую демонстрацию. Ладно! Люди выходили на улицу истово ликуя и под аккомпанемент турецкого военного оркестра распевали полагающиеся гимны и победные песни.

Таким манером удавалось избежать «происшествий». Но то, чего турки не

добились средствами крупной провокации, они пытались достигнуть всякими мелкими провокациями. Откуда ни возьмись на базаре, в кофейнях и гостиницах-во всех публичных местах вдруг разом появились некие пришлые, но весьма общительные люди. Они вмешивались в разговоры, примазывались к игре в карты и кости, проникали даже в семейные дома и всюду горько сетовали на создавшееся невыносимое положение, на растущий гнет. То, чего добились эти шпионы и доносчики, не окупало даже расходов на их содержание. И вот наступила первая военная зима, а в Зейтуне тишь да гладь и неоткуда выудить «происшествие», каковое срочно требовалось вышестоящим инстанциям. Пришлось самому каймакаму взять на себя роль провокатора.

К счастью или, вернее, к несчастью для Назарета Чауша, в лице каймакама он имел дело с неполноценным противником. Это не был кровожадный тиран, а средний чиновник старого пошиба, который, с одной стороны, хотел жить спокойно, а с другой – вынужден был обезопасить себя в глазах начальства.

К такому начальству в первую очередь принадлежал мутесариф марашского санджака, в ведении которого находился Зейтун. Сам мутесариф был чрезвычайно жестокий человек, неколебимый иттихатист, готовый, даже наперекор либеральным приказам своего начальника, вали Алеппо Джелала-бея, беспощадно проводить решения Энвера и Талаата о «проклятой расе». Мутесариф засыпал каймакама запросами, предостережениями, язвительными упреками. Поэтому градоправитель решил (куда охотней он жил бы с армянами в мире!) состряпать обвинение хотя бы против одного человека с положением. Ведь сама природа бесцветного чиновника такова, что, поскольку собственного характера у него нет, он становится отражением начальства. И вот каймакам стал обхаживать зейтунского мэра, ежедневно приглашал его, осыпал знаками приязни и даже предлагал выгодные сделки с государством. Чауш всегда аккуратно являлся по приглашению каймакама и с невинным видом принимал все деловые его предложения. Разумеется, с каждым свиданием разговор становился все душевней. Каймакам открыл мэру, что питает самые горячие дружеские чувства к армянам. Чауш же настоятельно просил его не переусердствовать в своем благоволении: все народы имеют недостатки, имеют их и армяне. Им еще нужно заслугами перед отечеством оправдать признание.

– А какие же газеты читает мухтар\*, чтобы получать правдивые известия о положении дел?

---

\* Каймакам принимает мэра Назарета Чауша, называя его мухтаром, то есть сельским старостой.

---

– Только «Танин», официальную газету, орган правительства, – отвечал Чауш. – Что же касается правды, то ведь мы живем во время такой сокрушительной мировой войны, что правда сейчас повсюду стала запрещенным оружием.

Не зная уже, как себе помочь, каймакам стал попросту поносить Иттихат, – это-де власть за кулисами власти. Вероятно, это даже было сказано от чистого сердца.

Назарет Чауш перепугался:

– Это большие люди, а большие люди желают только добра.

Каймакам понял, что попал впросак, и пришел в ярость:

– А Энвер-паша? Что ты думаешь об Энвере, мухтар?

– Энвер-паша – величайший полководец нашего времени. Да только что я в этом смысле, эфенди?

Но каймакам не унимался и чуть ли не слезно упрашивал Чауша:

– Будь откровенен со мною, мухтар! Знаешь ли ты, что русские наступают?

– Что вы такое говорите, эфенди? Я этому не верю. Газеты об этом не пишут.

– А я вот тебе говорю. Будь откровенней со мною, мухтар. Разве это не было бы выходом...

В отчаянии Назарет прервал его:

– Я должен тебя предостеречь, эфенди! Такая высокопоставленная особа, как ты... Бога ради, не говори больше ничего. Это было бы государственной изменой. Но не бойся! Я – могила.

Но там, где тонкое коварство бессильно, на смену ему приходит грубая сила.

Разумеется, в Зейтуне и его безлюдных окрестностях имелись «элементы». Чем дольше тянулась война, тем их становилось больше. Из марашских казарм удирали не одни армяне, но и сами мусульмане. Как поговаривали в казармах, ущелистая вершина Ала Каджи служила надежным убежищем для дезертиров всех мастей. К этим дезертирам присоединилось несколько лихих молодцов, с десятков охотников помародерствовать, которые либо в чем-то проштрафились, либо сочли для себя городской воздух вредным. Время от времени члены этого темного сообщества появлялись ночью в глухих закоулках города – заpastись едой или повидаться с родными. Не считая двух-трех краж, по местным нравам безобидных, они никому не делали зла и даже старались не давать повода для недовольства.

Но однажды в горах был кем-то избит погонщик ослов, турок, причем вовсе не было доказано, что повинны в этом дезертиры. Кое-кто из неверных даже утверждал, будто этот стервец за бакшиш от правительства сам себя так старательно разукрасил. Но шутки в сторону, парень и впрямь лежал, изрядно покалеченный, в уличной канаве. И стало быть, желанный повод был налицо. Мюдиры и нижестоящие чины ходили с непроницаемым видом, заптии теперь патрулировали по двое, и Назарет Чауш на этот раз получил не приглашение от

каймакама, а повестку с вызовом.

Каймакам пожаловался, что происки революционеров принимают угрожающие размеры. Его начальники, особенно мутесариф Мараша, требуют решительных мер. Если он, каймакам, будет колебаться и медлить, он погиб. Поэтому он твердо рассчитывает на помощь своего друга Назарета Чауша, который пользуется огромным влиянием в округе.

– Это ведь для мухтара плевое дело: в интересах армянского «миллета» выдать властям нескольких бунтовщиков и преступников, из тех, что прячутся в окрестностях, да чуть ли не в самом городе.

И вот тут-то умный человек и попался на крючок к дураку. Ему бы сказать: «Эфенди! Я отдаю себя в полное распоряжение его превосходительства мутесарифа и твое. Приказывай, что надлежит делать». А он впервые дал маху:

– Мне ничего не известно о преступниках и революционерах, эфенди.

– Так ты не можешь мне назвать то место, где скрывается этот сброд, который средь бела дня нападает на честных людей, на османских граждан?

– Так как я не вожу знакомства со сбродом, то и не знаю его местопребывание.

– Жаль. Но хуже всего, что ты в пятницу вечером принимал у себя в доме двух таких государственных преступников.

Назарет Чауш воздел два искореженных подагрой пальца и поклялся, что это неправда. Но звучало это не очень убедительно. И тут каймакама осенила мысль, подсказанная не коварством, а, скорее, его инертной натурой:

– Знаешь что, мухтар? У меня просьба к тебе. Мне эта возня с вами начинает надоедать. Я мирный человек, а не полицейская ищейка. Сними ты с меня это бремя. Я прошу тебя, поезжай в Мараш, поговори с мутесарифом сам. Ты отец города, он ответственное лицо. Мое донесение о случившемся у него под рукой. Вдвоем вы уж найдете правильное решение.

– Это приказ, эфенди?

– Я же говорю тебе, это моя личная просьба. Ты можешь ее отклонить, но меня бы это огорчило.

Каймакам считал, что этим маневром выиграет вдвойне: избавится от Чауша, не должен будет упрянуть его в тюрьму сам и одновременно передаст в руки мутесарифа самое видное лицо в городе.

Назарет Чауш долго думал. Морщины перекрыли лоб. Чауш встал, тяжело опираясь на палку. Он как-то сразу сдал.

– Если я поеду в Мараш, беды не миновать...

Каймакам не преминул его утешить:

– Почему? На дорогах спокойно. Я дам тебе мою коляску и двух заптиев в провожатые. Кроме того ты получишь рекомендательное письмо к мутесарифу, можешь его прочесть. И если у тебя есть какие-нибудь пожелания, я их выполню.

Изрытое морщинами лицо Чауша стало совсем серым. Он стоял разом осунувшийся, дряхлый, как древний утес, на котором стоит Зейтун. В отчаянии искал он встречные доводы, чтобы обосновать свой отказ. Но губы его под



обвисшими усами не шевелились. Какая-то неведомая сила сковала его волю. Он только кивнул.

На другой день, не вдаваясь в подробности, он простился с домашними. Небольшая деловая поездка, в отлучке он будет не больше недели. Старший сын проводил его до коляски. Взобраться в нее Назарету было трудно из-за больных суставов. Сын подсадил его.

Занеся ногу на подножку, Чауш сказал спокойно и тихо, чтобы не услышал кучер:

– Сын мой, я не вернусь.

Он не ошибся. Марашский мутесариф с Назаретом Чаушем церемониться не стал. Несмотря на теплое сопроводительное письмо, к нему отнеслись как к лицу, подозреваемому в некоем, скрываемом от него самого преступлении; его подвергли строгому перекрестному допросу и бросили в тюрьму Османие как государственного преступника и участника заговора, целью которого было ниспровержение существующего государственного строя. А так как и при дальнейшем расследовании Чауш не дал никаких показаний о тайной антигосударственной армянской организации, да и о дезертирах в Зейтуне, то предписано было применить к нему бастонаду\* высшей степени. После чего его кровоточащие ноги облили едкой кислотой. Справиться с этим его телу было уже не в состоянии. Он умер через час в невыразимых мучениях. Под окнами тюрьмы играл турецкий военный оркестр. Играл, чтобы заглушить барабанным боем и визгом зурны крики пытаемого.

---

\* Бастонада (испанское *bastonada* палочный удар) – применяемое в некоторых восточных странах наказание людей палочными ударами по пяткам и спине.

---

Но даже мученическая смерть Назарета Чауша не повлекла за собой нужных провокаторам последствий. В Зейтуне по-прежнему ничего не происходило. Лишь скорбь и глухое отчаяние народа приняли почти осязаемые формы. В темном горном гнезде человеческими душами завладела беспросветная тьма.

Наступил март. Наконец два инцидента дали правительству возможность осуществить свой замысел.

Первым поводом был выстрел из окна. Постовой жандарм, проходивший мимо дома убитого Назарета Чауша в районе Йени Дюния, был обстрелян именно из этого дома; жандарм отделался легким ранением. Каймакам, вместо того чтобы провести расследование, объявил, что в Зейтуне его жизни угрожает

опасность и, разослав во все концы страны телеграммы, перенес свою резиденцию в расположенную за городом казарму. Поступок этот также вытекал из свойств его природы, в которой глупая хитрость сочеталась с трусливой потребностью оградить свою особу от беспокойства. Заодно каймакам повелел снарядить отряды «гражданской милиции» для защиты мусульманского населения, или, попросту говоря, наспех завербованным хулиганам роздали по образцу и подобию абдулгамидовских банд маузеровские винтовки и зеленые повязки на руку. Возмущение по поводу такой непрошеной защиты первым делом выразили сами турки, жившие в Зейтуне; порядочные люди, они пришли к каймакаму и потребовали немедленно отменить приказ об охране. Не помогло. Власти были непоколебимы в своей отеческой заботе о безопасности турецкого населения.

Наконец «гражданская милиция» дала подходящий повод для второго инцидента, который и привел к развязке.

Маленький сквер в новой части города, называющийся Эски Бостон, был излюбленным местом прогулок армянских женщин и девушек в послеобеденные часы. В тени старых платанов, подле красивого фонтана стояли скамьи. Дети играли у фонтана. Женщины на скамьях разговаривали, занимались рукоделием. Продавец шербета катил свою тележку по скверу.

Вдруг в садик ворвались самые отъявленные подонки из новых частей «гражданской милиции», набросились на женщин, стали их душить, срывать с них платье, ибо не менее сильным, чем жажда убивать мужчин «проклятой расы», было бешеное желание познать их женщин, эти хрупкие создания с чувственными губами и странным взглядом.

Воздух звенел от женских криков и детского плача. Помощь подоспела мгновенно. Оказывается, группа мужчин – армян, почуяв недоброе, следовала по пятам за «блюстителями порядка»; армяне численно превосходили турок и избili их до полусмерти, а потом, на свою беду конечно, отняли у них винтовки и штыки.

Открытый бунт против государственной власти! Теперь, когда армяне «разоружили вспомогательные полицейские отряды», состав преступления был налицо. В тот же вечер каймакам опубликовал список жителей, которых муниципальный совет должен был выдать властям для заключения под стражу. Все поименованные, охваченные яростью и негодованием, дали торжественную клятву не сдаваться и заперлись в старинном текке – заброшенном монастыре дервишей, бывшем некогда местом паломничества. Текке находился в получасе ходьбы к востоку от города. Когда весть об этом разнеслась, часть дезертиров спустилась с Ала Каджи и других вершин горного кряжа и примкнула к беглецам. В общей сложности в маленькой крепости засело около ста мужчин.

Мутесариф Мараша и высшие правительственные инстанции в Стамбуле сочли, что цель близка. Эффектный бунт, наконец, созрел. Теперь союзники и нейтральные консулы больше не смогут закрывать глаза на козни армян.

Два дня спустя в Зейтун ввели военное подкрепление в составе двух пехотных рот. Юзбаши, командовавший этими частями, сразу же приступил к

осаде. Но когда он, то ли действительно из героизма, то ли по глупости, подсказал во главе своего подразделения к текке, наивно рассчитывая взять эту крепость с налету, его и еще шестерых солдат меткими выстрелами уложили на месте.

Это поистине было уже больше, чем требовалось. О героической гибели майора тотчас же раструбили по всей стране. Иттихат прилагал все усилия, чтобы направить в нужное русло волну возмущения. Не прошло и недели, как Зейтун превратился в военный лагерь. Против кучки отчаявшихся людей и дезертиров были выставлены войска в составе четырех батальонов и двух батарей. И это тогда, когда у Джемал-паши в его 4-ой армии на счету были каждый солдат и каждая пушка. Несмотря на всю эту мощную рать, в осажденный монастырь был послан парламентар с требованием, чтобы мятежники, и без того уже обреченные, сдались. Ответ был дан в духе античных героев:

– Раз уж нам суждено умереть, мы предпочитаем умереть в бою.

Но самое удивительное, что им не суждено было умереть тогда.

Артиллерийская батарея стрельнула раза четыре, да как-то бестолково, и вдруг под воздействием неких таинственных сил обстрел монастыря прекратился. Возможно ли, что такой неподобающе человеческий поступок совершен ради нескольких мусульман, находившихся среди осажденных? Но как бы то ни было, а после этого мощная рать, расположившись на занятых позициях против горстки дезертиров и защитников женской чести, пребывала в бездействии, занимались же доблестные воины тем, чем обычно на досуге занимаются солдаты:

Довольствовались из солдатского котла, поили лошадей, курили и играли в карты.

Жители Зейтуна не без основания увидели в этом удручающем бездействии войск признак изощренного коварства. Охваченные смертельным страхом, они послали к каймакаму делегацию, которая просила, чтобы доблестные воины как можно скорей избавили население от проклятых бунтовщиков. Население не имеет с ними ничего общего. Если же кто из злодеев вздумает скрыться в городе, жители без промедления выдадут такового властям. Каймакам выразил глубокое сожаление по поводу того, что горожане так поздно взяли за ум; отныне все решает военное командование. Каймакам больше не начальство.

Делегаты взмолились: не сочтет ли в таком случае каймакам возможным просить о заступничестве его превосходительство Джелала-бея? Если кто-нибудь может во имя всеобщего блага найти выход из сложного положения, то именно этот достойный и доброжелательный человек.

Каймакам поморщился. Он может только посоветовать не упоминать имя Джелала-бея. У мутесарифа связи совсем в других кругах. А в тех кругах его превосходительство вали Алеппо – человек, можно сказать, конченный. Вот что бывает, когда слишком снисходительно относишься к армянскому «миллету». Это каймакам знает и по себе.

Однажды в солнечное мартовское утро в городе разнеслась страшная весть: оставив на месте двух умерших, которых, однако, опознать не удалось, осажденные ночью бежали и сумели скрыться в горах. Те из зейтунцев, кто не верил в чудеса, спрашивали себя: как же это сотне оборванных; чрезвычайно приметных людей удалось пробраться сквозь цепь четырех тысяч обученных солдат и бесследно исчезнуть? Но кто задавался этим вопросом, наверняка знал и ответ на него.

И чего опасались, случилось в полдень того же дня. Военный комендант и каймакам возложили ответственность за побег мятежников на все население города. Изменники-зейтунцы каким-то дьявольским способом сумели пробраться в текке и вывести осажденных сквозь кольцо сладко спавших солдат, мимо часовых.

Из Мараша в собственном экипаже немедленно прибыл извещенный об этом преступлении мутесариф. Глашатаи, мюдиры с барабанным боем обошли весь город. За ними следовали многочисленные курьеры, созывая старейших и именитых граждан Зейтуна на «совещание совместно с мутесарифом и комендантом по поводу создавшегося положения».

Приглашенные, пятьдесят известных в городе людей – врачи, учителя, священники, предприниматели, крупные торговцы, – не замедлили явиться в указанное место, большинство даже в рабочей одежде. Лишь немногие, более дальновидные, захватили с собой деньги.

«Совещание» заключалось в том, что этих пожилых и почтенных людей согнали во двор казармы, где их, как скот, пересчитали грубые унтер-офицеры. Пора положить конец их деятельности, заявили им. Сегодня же, в связи с «переселением», они отправятся в путь через Мараш – Алеппо в Месопотамскую пустыню Дейр-эль-Зор. «Переселенцы» молча переглядывались; никто не схватился за сердце, никто не заплакал. Всего полчаса назад это были представительные, блестящие личности; сейчас они сразу поблекли, каждый был точно ком земли, безжизненный, безвольный. Новый мэр Зейтуна попросил прерывающимся голосом лишь об одной милости: во имя бога милосердного не трогать семьи, не высылать их из Зейтуна. Тогда они безропотно примут свой жребий.

Последовал свирепый, издевательский ответ. Никоим образом! Мы хорошо знаем армян и никому из нас не придет в голову разлучать почтенных отцов семейств с любимыми и любящими их родными. Более того: каждый из вызванных должен письменно известить своих домашних о том, чтобы те завтра, через два часа после восхода солнца, явились сюда с вещами, готовые к походу. Жены, сыновья, дочери, внуки – старые и малые. Приказ из Стамбула гласит, что все армянское население поголовно подлежит высылке. Вплоть до грудных младенцев. Зейтун перестает существовать и отныне будет называться «Султание», дабы не осталось и памяти о городе, который посмел оказать сопротивление героическому османскому народу.

На другой день в назначенный час первый скорбный транспорт двинулся в путь, положив начало одной из самых страшных трагедий, какие в

исторические времена выпадали на долю народов земли.

Высланных сопровождал военный конвой, и вот тут-то всем стало ясно, что могучая рать, призванная для осады укрывшихся в монастыре беглецов, имела еще и другое, как будто второстепенное, но не менее хитро подготовленное задание. Каждое утро теперь повторялся один и тот же душераздирающий спектакль. После пятидесяти знатных семей настал черед ста менее знатных, и чем ниже было общественное положение, чем меньше их достаток, тем многочисленнее был этап.

Разумеется, в больших тыловых областях близ европейских военных фронтов тоже выселяли жителей из всех городов и деревень, но как ни тяжела судьба всех, кто покидает родные края, ничто не идет в сравнение с участью зейтунцев. В Европе эвакуированные находились под защитой своей страны, их вывозили из опасной для жизни зоны. Даже в неприятельской стране им оказывали помощь и заботу. И они не теряли надежды вернуться в родные места. У армян никакого просвета: ни защиты, ни помощи, ни надежды. Они попали не в руки противника, который на основе взаимных интересов должен соблюдать международное право. Они попали в руки более страшного, ничем не обуздываемого врага – в руки собственного государства.

Иным людям грустно расставаться даже со старым жильем, менять его на новое. Как-никак оставляешь там кусок своей жизни. Для каждого переезд из родного города в другой, из страны, где проходила жизнь, в новую – означает крутой перелом. Даже бывалому рецидивисту нелегко дается возвратный путь в тюрьму. Но быть бесправнее преступника! Ведь преступник и тот находится под защитой закона! В один день лишиться привычного места жительства, работы, всего, что создавалось годами упорного труда! Стать жертвой ненависти, быть выброшенным на азиатские проселочные дороги, брести тысячи миль по пыли и камням, по болотам! Знать, что никогда больше не найдешь человеческого ночлега, никогда больше не будешь есть и пить за столом, в человеческих условиях! Но это еще ничего. Ведь они не имели и той несвободы, что имеет каторжник! Принадлежали к отверженным, объявленным вне закона, которых любой прохожий может безнаказанно убить. Они жили, втиснутые в еле ползущее стадо несчастных людей, находились в кочевом концлагере, где без разрешения нельзя даже отправить естественную нужду.

Кто посмеет сказать, что сумел бы измерить ту громаду несчастий, которую вынесли на себе зейтунцы за неделю, прошедшую между отправкой первого и последнего этапа?.. Арам Товмсян, молодой еще человек, был родом не из самого Зейтуна и поэтому мог на что-то надеяться, но и он за эти семь дней стал похож на тень.

Пастор Арам – все звали его по имени – уже свыше года жил в Зейтуне, был там пастором при протестантской общине и директором большого сиротского дома. Американские миссионеры в Мараше считали Арама своим любимым учеником, возлагали на него большие надежды; этим и объясняется, почему ему доверили в тридцать лет руководить таким крупным приютом. В свое время они, дав стипендию, послали его на три года в Женеву, он получил

там высшее образование. Вот почему Арам свободно говорил по-французски и довольно хорошо изъяснялся по-немецки и по-английски.

Создание сиротского дома в Зейтуне было одним из прекраснейших начинаний, которым марашские отцы-миссионеры увенчали полвека своей культурной деятельности. В просторных залах этого дома нашли приют свыше ста детей. При доме была школа, которую посещали и дети, жившие в городе. Кроме того, сиротский дом имел небольшое подсобное хозяйство, снабжавшее его козьим молоком, овощами, фруктами и другими продуктами питания. Таким образом, руководство сиротским домом требовало не только педагогического такта, но и деловитости и трудолюбия.

Пастору Араму, как всякому молодому человеку, льстила возможность действовать независимо и полновластно. Работал он с увлечением. Он провел прекрасный, деятельный год и строил широкие планы на будущее. Прошлой весной, незадолго до вступления в должность, он женился.

Овсанна, давнишняя его любовь, была дочерью пастора, принадлежавшего к первому выпуску марашской семинарии. В отличие от большинства армянок, которые невелики ростом, хрупкого сложения, Овсанна была высокой и даже несколько полноватой девушкой. Из-за свойственной ей медлительности и неразговорчивости иной раз казалось, что она безучастна к окружающему. Правда, Искуи однажды сказала брату, что кротость Овсанны время от времени умеряется своенравием и злопамятством. Но, по-видимому, эта шутливая характеристика оказалась неверной, потому что какая же действительно своенравная женщина терпела бы в своем доме золовку? Впрочем, с девятнадцатилетней Искуи все обстояло по-особому. Арам боготворил свою юную сестру. Ей шел девятый год, когда после смерти их матери Арам увез Искуи из Йогонолука в Мараш и отдал в миссионерскую школу. Позднее он отправил ее в Лозанну, где она провела год в пансионе. Расходы, которых требовало такое благородное братское честолюбие, он покрывал, разумно урезывая свои потребности. Он не представлял себе жизни без Искуи. Овсанна это знала и сама предложила поселиться втроем.

Искуи получила место учительницы французского языка в сиротском доме. В том, что ее любили все, и притом не только братской любовью, не было ничего удивительного: пленяли ее чудесные глаза и особенно рот, вишневые губы, точно отливавшие влажным блеском улыбчивые глаза, отчего порой чудилось, будто губы у нее зрячие.

Образ жизни, который вела эта тройка, был очень приятен, но совсем не похож на местный быт. Квартира пастора находилась при сиротском доме. Под руками Овсанны она скоро утратила свой казенный вид. Овсанна проявляла способности к прикладному искусству, у нее было тонкое художественное чутье. Она обходила город и окрестные деревни, скупая у местных жительниц чудесные старинные ткани, кустарные изделия из дерева и другие предметы быта, которыми украшала свои комнаты; розысками этими она зачастую занималась целыми неделями.

Искуи отдавала предпочтение книгам. Арам, Овсанна и Искуи жили

обособленной жизнью. Сиротский дом и школа представляли собой столь замкнутый мир, что три этих благоденствующих человека едва ли чувствовали нависшее над Зейтуном предгрозы.

Воскресные проповеди пастора Арама носили бодрый, светлый характер вплоть до самого марта, что, вероятно, навеяно было его собственной счастливой и мирной жизнью и вовсе не свидетельствовало о понимании происходящего.

Удар был так сокрушителен, что Арам растерялся. На глазах у него гибло дело его жизни. Он было ухватился за соломинку пустой надежды – правительство не посмеет закрыть сиротский дом. Силу духа вернули ему слова Овсанны в первый день высылки: «Только в такие минуты обретает свой высший смысл сан христианского пастыря». Так сказала дочь пастора Помня этот завет, Арам Товмасян со сверхчеловеческой энергией выполнял свой долг.

День и ночь держал он открытой свою церковь, чтобы в любую минуту прийти на помощь, оказать духовную поддержку высылаемым на их крестном пути; он ходил из дома в дом к своим прихожанам, от семьи к семье, успокаивал плачущих, отдавал свои последние деньги нуждающимся, устанавливал в колонне ссыльных подобие порядка, рассылал письма с призывом о помощи всем миссиям, расположенным по пути этапа, строчил просительные письма ко всем турецким чиновникам, которых считал доброжелательными людьми, составлял заявления и справки, пытался добиться для отдельных лиц отсрочки, торговался с владельцами мулов, турками, чтобы те брали подешевле за перевозку, короче говоря, делал все, что удавалось в этом ужасающем положении, а когда ничем не мог помочь, когда уже не утешало евангельское слово о страстях господних, пастор молча садился рядом с окаменевшими от горя людьми и, закрыв глаза, молитвенно сложив руки, взывал в душе ко Христу.

День ото дня город становился все пустыней, а дорога на Мараш непрерывно заполнялась длинными вереницами людей, которые, казалось, вовсе не продвигались вперед. Если бы с высоты зейтунской цитадели какой-нибудь наблюдатель проследил их путь, он ужаснулся бы безмолвию этого ползущего шествия смертников, безмолвию, которое от хохота и окриков охранников становилось еще глуше и жутче.

Тем временем вымершие улицы Зейтуна постепенно начинали оживать, заполняясь стервятниками, слетевшимися на пепелище, – случайные грабители, профессиональные воры, городские подонки, чернь из окрестных деревень – они вселялись в покинутые дома или уж, во всяком случае, как следует обшаривали их.

Началась оживленная погрузка и перевозка расхищенного имущества армян. Потянулись арбы и тележки, шагали враскачку ослы. На повозки и на вьючных животных неторопливо грузили ковры, одежду, груды белья, кровати, мебель, зеркала. Власти не чинили препятствий. Напротив, они будто негласно премировали турецкую чернь за то, что она не помешала депортации армян. Вдобавок – и это походило на какую-то варварскую сказку, – согласно приказу

властей, из высылаемых армян по шесть представителей каждой профессии обязаны были остаться в «Султание», точно команда на тонущем корабле быта, чтобы он не остался без присмотра. Однако отбирало этих счастливицев не начальство, выбор предоставлялся общине, и это было изощренной, дополнительной пыткой, потому что обрекало людей на новые моральные муки.

Наступил пятый день, а пастор Арам не получал еще вызова. К нему лишь явился мусульманский мулла, не из местных, и потребовал ключи от церкви. Протестантская церковь, вежливо объяснил он Араму, к вечерней молитве должна быть переосвящена в мечеть. Но Арам все еще надеялся, что сиротский дом не тронут. Он запретил выходить из дома и показываться на улице учителям и детям, велел днем держать ставни на окнах закрытыми, не зажигать ночью свет и разговаривать вполголоса. В доме, где прежде шумела жизнь, притаилась мертвая тишина. Все будто вымерло.

Но не искушай бога, дабы не прогневить судьбу. На следующий, шестой, день рассыльный, из тех, кто как ангелы смерти носились по городу, вручил пастору повестку с требованием безотлагательно явиться к коменданту.

Арам пришел в священническом одеянии. Молитва его была услышана. Он не унизил себя и тенью страха или волнения. Он стоял перед турецким офицером спокойный, прямой. К сожалению, эта позиция оказалась неправильной. Бинбаши\* нравилось видеть перед собой плаксивые, униженные создания. Тогда он иной раз был готов даже дать поблажку, быть добрым. Но уверенная осанка Арама оказала обратное действие: доброжелательность турка улетучилась, потому что источником ее было сознание своего величия перед умоляющим, жалким червем.

---

**\* Бинбаши – майор (турецк.).**

---

– Вы протестантский пастор Арам Товмасян, уроженец Йогонолука, что под Александреттой?

Для начала бинбаши прорычал этот перечень примет преступника, затем напустился на свою жертву:

– Отбываете завтра последним эшелонем в направлении Мараш-Алеппо! Понятно?

– Я готов.

– Я не спрашиваю, готовы ли вы... Жена и прочие члены семьи следуют с



вами. Никакой поклажи, кроме ручной, не имеете права брать с собой. По мере возможности вас будут довольствовать хлебом по сто дирхемов\* в день. Остальное разрешается приобретать за деньги. Всякая самовольная отлучка из колонны наказывается комендантом эшелона, в случае повторного нарушения – карается смертью. Пользоваться всякого рода экипажами запрещено.

---

\* Дирхем – мера веса, 3.06 грамма (турецк.).

---

– Моя жена ждет ребенка, – тихо сказал Арам.

Это признание, по-видимому, позабавило бинбаши.

– Раньше думать надо было.

Он снова заглянул в свои бумаги.

– Воспитанники сиротского дома, поскольку это армянские дети, разумеется, также подлежат высылке. Их надлежит точно в указанное время и в полном составе доставить на место. Так же как и весь служащий персонал сиротского дома.

Пастор Арам невольно попятился.

– Разрешите спросить: на чьем попечении будут эти сто невинных детей? Очень многие из них моложе десяти лет и никогда не участвовали в дальних походах. И детям нужно молоко.

– Вы, пастор, здесь не для того, чтобы задавать вопросы, а чтобы слушать мои приказания! – закричал бинбаши. – Вы уже неделю находитесь в районе военных действий.

Если бы пастор Арам оробел от окрика, растерялся, бинбаши, с высоты своего удовлетворенного величия, возможно, оказал бы снисхождение, позволил бы взять коз. Но пастор в своем спокойном упорстве продолжал:

– Так что я велю присоединить к эшелону стадо коз, принадлежащих нашему дому, чтобы дети получали, как привыкли, молоко.

– Вы, пастор, будете держать свой дерзкий язык за зубами и подчиняться.

– Я, эфенди, буду впредь считать вас ответственным за судьбу сиротского дома, ибо он – неприкосновенная собственность американских подданных, а они находятся под защитой американского посла.

Бинбаши не сразу обрел дар речи. Угроза, по-видимому, подействовала. Боги этого сорта быстро сбавляют тон, едва на горизонте покажутся боги рангом повыше. После затянувшейся довольно постыдной для бинбаши паузы он проговорил:

– Знаете ли вы, что я могу раздавить вас как паука? Стоит дунуть – и вас как не бывало!

– А я не стану вам в этом мешать, – ответил пастор Арам, и это было сказано всерьез, потому что в ту минуту им овладела невероятная жажда смерти.

Когда Арама, Искуи и Овсанну спрашивали, какой момент высылки был самым страшным, все трое отвечали:

– Время перед отправкой нашей колонны.

Это были минуты, когда реальное несчастье и вполнину не ощущалось так остро, как смертная истома (такое бывает во сне), как изначальный ужас, оживший в крови, которая теперь, должно быть, вспоминала о глухих правременах до оседлости народа, до его исторического бытия. Тысячная масса спянных меж собой бесправных и беззащитных людей сознавала, что не только безвозвратно утратила всякую собственность и что жить ей отныне опасно, но и кроме того, как национальное единство, как часть народа, чувствовала себя лишенной тех культурных ценностей и духовных высот, которые достигались тысячелетиями огромных усилий. Пастор Арам и обе его спутницы тоже были охвачены этой всеобщей и неизреченной печалью.

Пасмурный день с низко нависшим небом, обложенным тучами, в которые прятали свои – такие знакомые! – макушки зейтунские горы: погода куда более благоприятная для марша, чем солнечная. И все же, казалось, гнет этого печального дня был для изгнанников тяжелее дозволенной клади, которую несли они на согнутых спинах – Первый шаг был исполнен великого значения, был священным и страшным озарением, пронизавшим душу каждого. И, делая этот первый шаг, каждая семья теснее сближала плечи. Ни слова, ни детского плача. Но прошло полчаса, и, едва позади остались последние пригородные дома, стало легче. На некоторое время возобладала присущая людям первоначальная детскость, их трогательно отходчивое легкомыслие. Как с первым лучом зари пробуждается один скромно щебечущий голосок и тотчас вслед за ним вступает весь пернатый хор, так вскоре над движущейся колонной густой сетью переплелись задорные детские голоса. Их стараются утихомирить матери. И даже мужчины то и дело перекликаются. Кое-где уже слышался приглушенный смех. Многие женщины и старики ехали на ослах, навьюченных постельными принадлежностями, одеялами, мешками. Начальник конвоя это позволил. По-видимому, он решил на свой страх и риск смягчить приказ о высылке. Арам тоже добыл осла для жены. Но она боялась, как бы ее не растрясло, и большую часть пути шла пешком. Сиротский дом, хоть разумнее было бы поставить его в голове колонны, составлял ее арьергард. Колонну замыкало стадо коз, которых пастор, невзирая на памятный разговор с бинбаши, велел все же пригнать. Дети вначале воспринимали все происходящее как забавную перемену и необыкновенное приключение. Искуи шла рядом с ними и сколько могла поддерживала в детях веселость. Ничто в ней не выдавало волнения и бессонных ночей. Выражение лица было приветливым, жизнерадостным. Как ни хрупко и слабо было ее тело, спасала Искуи всемогущая приспособляемость молодости. Она даже попробовала запеть с детьми славную песню, которую слышала еще в Йогонолуке. Пели ее обычно

при сборе винограда и плодов. Искуи ввела ее в обиход зейтунской школы:  
 Минуют горчайшие, черные дни,  
 они, словно зимы, приходят-уходят.  
 Страдания нам не навечно даны,  
 вот так покупатели в лавке приходят-уходят\*.  
 Но пастор Арам подбежал к ней и запретил петь.

---

**\* Здесь и дальше стихи даются в переводе Натэллы Горской.**

---

Молодой пастор проделывал путь чуть не втрое более длинный, чем другие. Он появлялся то у передней шеренги, то у замыкающей, с неизменной тыквенной бутылкой через плечо, из которой потчевал желающих виноградной настойкой. Он, как и Искуи, излучал бодрость, шутил, улаживал споры, старался и в этом положении установить такой образ жизни, при котором на долю каждого выпадала определенная задача. Так, например, сапожники взяли на себя обязанность срочно чинить обувь во время привалов, и такую помощь оказывали многие ремесленники.

Товмасын был единственным священником среди ссыльных: все католические и григорианские священники были угнаны в первые два дня депортации. Поэтому пастор считал своим долгом заботиться о душах всех своих собратьев. И чтобы поддержать в них силы, он применял свою собственную тактику. Непереносима была только бесцельность существования, он знал это по себе. Вот почему он весело и уверенно твердил:

– Завтра к вечеру мы будем в Мараше. А там все переменится, я уверен. Вероятно, нас продержат там довольно долго, пока не будет отдан приказ вернуть нас домой. И мы вернемся, это несомненно. Правительство в Стамбуле не может согласиться с тем, что здесь происходит. Да наконец, у нас есть свои депутаты и национальный комитет. Консулы тоже, конечно, поднимут шум. Недели через две-три все образуется. Самое главное, чтобы мы пришли в Мараш здоровыми, будемте же бодрыми и сильными.

От таких речей становилось легче на душе даже тем, кто по натуре был пессимистом, или же был достаточно умен, чтобы не верить в непричастность центрального правительства. Исхудалые лица светлели. Чудесно преображала не только картина благоприятного будущего, но и определенность – «Завтра мы будем в Мараше».

Во время длительного привала обнаружилось, что молодой офицер,

командовавший турецким конвоем, прекрасный человек. Когда солдаты кончили варить еду, он по собственному почину предложил пастору ящик-термос для эшелона. Благодаря этому появилась возможность готовить горячую пищу для усталых и истощенных. А так как предполагалось, что на завтра они придут в Мараш, то и сильные не берегли съестные припасы. Поев, люди несколько часов шли легко и уверенно. И позднее, вечером, когда они разбились под открытым небом лагерь и, бесчувственные от смертельной усталости, растянулись на одеялах, они от души возблагодарили бога за то, что первый день прошел совсем гладко. Неподалеку от бивака находилось большое село, называлось оно Тутлисек. Ночью оттуда пришли местные горцы навесить конвоиров-турок. Хозяева и гости чинно сидели бок о бок, величественно курили и, видимо, вели разговор о чем-то важном. Наутро, когда зейтунцы проснулись и пошли поить своих ослов и коз, стада не оказалось.

Так начался этот тяжелый день. Затем на втором часу марша упал замертво старик. Колонна остановилась. И вот тут-то молодой офицер, такой, казалось бы, доброжелательный, подскакал и яростно скомандовал:

– Вперед!

Несколько человек из колонны пытались поднять упавшего и унести. Скоро, однако, им пришлось опустить старика на землю. Жандарм пнул его ногой:

– Встать немедленно, встать, мошенник!

Старик не шевелился; глаза его закатились, рот был открыт. Жандарм столкнул мертвеца в канаву.

Офицер стал подгонять застывшую колонну:

– Не останавливаться! Запрещено! Вперед, вперед!

Ни уговоры Арама, ни горестные вопли семьи умершего не помогли:

начальник конвоя не разрешил взять тело с собой, не разрешил даже хотя бы наскоро предать его земле. Родственники немного приподняли голову покойника и положили по бокам два больших камня: пришлось этим удовольствоваться, сложить руки на груди они уже не успели: отчаянно ругаясь, запяти палками и с дубинками набросились на заколебавшиеся шеренги. Колонна пришла в замешательство и бросилась бежать; бегство это прекратилось, лишь когда труп остался далеко позади;

над ним кружили хищные птицы с вершин Тавра.

Еще не прошел ужас от этой первой человеческой жертвы, как эшелон нагнала «яйли» – неуклюжая двуконная коляска. Изгнанники вынуждены были сойти с узкого проселка на заболоченное поле. В коляске сидел упитанный господин лет двадцати пяти; пальцы его были унизаны кольцами. Сверкающая камнями рука протянула начальнику конвоя документ на гербовой бумаге. Удостоверение со штампом и печатью гласило, что предьявителю сего дано право выбрать себе для домашнего обслуживания одну или несколько армянок. А так как яйли остановилась в толпе детей-сирот, то ласково-томный взор седока упал на Искуи. Он указал на нее тростью и, улыбаясь, поманил. Этот видный господин не считал себя охотником за женщинами, напротив, мнил

себя освободителем, ведь он готов был избавиться от мерзкой участи одно из этих злосчастных созданий, поселить у себя в образцовой семье, в городском, хорошо охраняемом доме. И как же он удивился, когда ошарашенная этим выбором красавица не бросилась в его спасительные объятия, а с громким криком «Арам!» убежала. Коляска покатила за ней.

Вероятно, никакие доводы, при помощи которых пастор пытался спасти сестру, не помогли бы, вдобавок он допустил ошибку: стал доказывать, что Искуи нельзя превращать в служанку, так как она получила европейское образование; этим он не охладил благодетеля, а лишь разохотил. И только решительное вмешательство начальника конвоя положило конец препирательствам. Не долго думая, он разорвал бумажонку ретивого искателя невест, сказав, что только он, ответственный за этап начальник конвоя, вправе решать судьбу ссыльных. И если эфенди немедленно не даст ходу, он будет арестован вместе со своим яйли. Для большей убедительности офицер стегнул хлыстом одну из его лошадей. Оскорбленный в своих лучших чувствах, толстый благодетель умчался.

От этого злключения Искуи быстро опомнилась. Все случившееся показалось ей фарсом, не имеющим к ней никакого отношения; вспоминая забавные подробности, она заливалась смехом. Вскоре, однако, у нее пропала охота смеяться. Беда пришла во второй половине дня, когда у детей стали болеть стертые до крови ножки. Странное дело: боль дошла до сознания малышей не постепенно, а внезапно, и у всех сразу. Отовсюду, разрывая сердца женщин, раздавались стоны, плач, всхлипывание малышей. Но добросердечный начальник в одном пункте был неумолим. Он не разрешал останавливаться и задерживаться, помимо полагающихся в пути привалов. Он получил приказ к вечеру доставить вверенный ему этап в Мараш. И хотя в прочих вопросах он зачастую поступал по своему усмотрению, именно этот пункт приказа он стремился точно выполнить. Забрал он это себе в голову из честолюбия, так что нечего было и думать о привале, во время которого можно было бы смазать больные детские ножки оливковым маслом или применить другие болеутоляющие средства.

– Ничего не поможет! Придете в Мараш, там и будете лечиться. Вперед!

Приходилось нести некоторых детей на руках. Делала это и слабенькая Искуи, пока ее саму не постигла тяжелая беда.

Брат неоднократно уговаривал ее не оставаться все время в конце колонны с детьми. Это было самое опасное место, потому что колонну замыкали сопровождавшие этап конвоиры и всякий любопытный сброд, сбегавшийся из деревень. Но Искуи считала своим долгом ни на минуту не оставлять детей, тем более что они с каждой минутой слабели и еле переставляли ноги. Другие воспитатели часто отлучались, тогда Искуи оставалась одна и, пуская в ход все свое искусство, старалась заставить плачущих детей идти вперед.

Из-за этих постоянных досадных заминок в колонне то и дело возникал довольно большой разрыв между ее основной частью и арьергардом. Однажды в такую минуту, когда Искуи с детьми отстала от своих, ее вдруг кто-то схватил

сзади за плечи. Она закричала и стала вырываться. Над ней возникло страшное, покрытое щетиной лицо с выпученными глазами, с открытым ртом, из которого вырывалось хриплое, смрадное дыхание. Она еще раз пронзительно крикнула, потом молча стала отбиваться от насильника, от слюнявого рта, от коричневых лап, которые срывали с нее платье, обнажали грудь. Она теряла силы. Лицо над нею росло, принимало размеры горы, гигантской преисподней, непрестанно меняющейся. Ее обволакивало омерзительное дыхание. Коричневые лапы швырнули ее наземь. К счастью, на отчаянный крик детей прискакал начальник конвоя. Субъект бросился бежать, но офицер успел ударить его по затылку саблей плашмя.

Искуи собралась с силами. Плакать она не могла. Сначала она заметила только, что левая рука у нее потеряла чувствительность, оттого, вероятно, что пришлось отчаянно отбиваться. «Словно онемела», – подумала она. Но вдруг руку пронзила, будто обожгла, безумная боль. Объяснить брату, откуда взялась вдруг эта боль, Искуи не сумела. Овсанна и Арам поддерживали ее всю дорогу. Она не произнесла ни звука. Все чувства в ней угасли. Как она тогда добрела до Мараша, осталось загадкой для нее самой.

Когда город стал виден, Арам Товмасян в отчаянии подошел к офицеру и отважился обратиться с вопросом: сколько времени дозволено ссыльным пробыть в Мараше. Офицер ответил напрямик, что это зависит только от мутесарифа, но что несколько дней они наверняка задержатся, так как большинство предыдущих эшелонов еще в городе. Очевидно, предстоит перераспределение высылаемых.

Арам взмолился:

– Вы ведь видите, в каком состоянии моя сестра и жена. Дозволю себе обратиться с просьбой: отпустите нас сегодня вечером в американскую миссию!

Молодой офицер долго колебался. В конце концов жалость к бедной Искуи взяла верх над страхом перед начальством, и он тут же, не сходя с коня, выписал пропуск для Арама и обоих его спутниц.

– Я не вправе отпускать вас. Если вы попадетесь, меня привлекут к ответственности. Приказываю ежедневно являться сюда, в лагерь.

Отцы-миссионеры приняли трех своих питомцев и учеников с нежностью и печалью. Они посвятили всю жизнь христианскому народу Армении. И вдруг грянул гром, который, быть может, только предвестник массового истребления.

К Искуи был немедленно вызван врач. Очень молодой и, к сожалению, неопытный. Он всячески вертел руку девушки, от этого нестерпимо болезненного обследования и всего пережитого Искуи на несколько минут потеряла сознание.

– Перелома нет, – заявил врач. – Однако рука как-то странно вывернута и искривлена. Вся беда в том, что, по-видимому, повреждено плечо.

Врач наложил большую тугую повязку и прописал болеутоляющее. Желательно, сказал он, чтобы плечо хотя бы недели три находилось в состоянии полной неподвижности. В ту ночь Искуи не сомкнула глаз. А

Овсанна в той же комнате, которую отвели им обеим, впала в сон, похожий на обморок. Между тем Арам Товмасян сидел за столом с миссионерами и обсуждал с ними, как быть дальше.

Все выступления свелись к одному, и ректор, преподобный Э. С. Вудли, вынес решение:

– Будь что будет, но ты не можешь идти дальше с этапом. Овсанна и Искуи погибнут раньше, чем вы доберетесь до Алеппо. Кроме того, ты же не постоянный житель Зейтуна, туда направили тебя мы.

Пастор Арам переживал самый трудный в его жизни поединок, поединок с совестью.

– Как же я могу бросить свою общину сейчас, в минуту тяжелейшего для нее испытания?

Ему ответили вопросом: сколько протестантов в эшелоне? Арам признался, что большинство депортируемых, за малым исключением, принадлежит или к староармянской или к униатской церкви. Но это не утешение.

– В этих условиях я не вправе рассуждать формально. Я их единственный духовник.

Э. С. Вудли пытался его успокоить:

– Мы пошлем с ними другого. А ты отправляйся на родину. Там ты будешь ждать, пока мы не назначим тебя в другой приход.

– А что будет с детьми? – со стоном вырвалось у Арама.

– От того, что ты пойдешь с ними на смерть, ты детям не поможешь. Зейтунский сиротский дом учрежден нами. Ты выполнил свой долг, доставив сирот в Мараш. Остальное – наша забота. Тебе незачем больше этим заниматься.

Но голос мучительницы-совести не умолкал.

– Разве у меня нет обязанностей выше моего прямого долга?

Старик Вудли начал терять терпение, хотя в душе порадовался словам Арама.

– Неужели ты думаешь, Арам Товмасян, что мы спокойно отнесемся к судьбе нашего сиротского дома? Последнее слово еще не сказано. А ты, мой мальчик, стоишь у нас на дороге. Как зейтунский пастор ты скомпрометирован, понял? Итак, я официально отрешаю тебя от должности директора сиротского дома.

Арам сознавал, что, будь у него силы стоять на своем еще несколько минут, Вудли не противился бы больше его воле и благословил бы пастора на христианский подвиг. Но Арам промолчал и уступил доводам своего духовного отца. Он считал, что сделал это ради Овсанны и Искуи. И тем не менее всякий раз, как он опоминался от своих беспокойных и пестрых снов, его глубоко мучило сознание, что это поражение, что он изменил своему долгу, и его охватывал стыд за свое слабование.

На другое утро преподобный Вудли в сопровождении консульского агента США отправился к мутесарифу и выхлопотал пропуск до Йогонолука для

Искуи и супругов Товмасыанов. Пропуск был действителен только четырнадцать дней и обязывал за это время доехать до места назначения. Пришлось на третий день выехать, несмотря на тяжелое состояние Искуи. Существовал более короткий путь, через Багче, ближайшую станцию анатолийской железной дороги. Но Товмасыанам решительно не советовали им воспользоваться, так как путь на Тавр был перегружен солдатскими эшелонами, направляющимися в 4-ю армию Джемаля-паши. Осторожности ради следовало, в особенности женщинам, избегать встреч с военными. Пастор Арам, во всем доверившись миссионерам, не возражал и против предложенного ими маршрута.

Вместо того чтобы ехать поездом, им предстояло проделать многодневный утомительный путь сначала через перевал в Айнтаб, затем по извилистой тропе через Тавр вниз, в Аллепо.

Отцы-миссионеры дали Араму двуконный экипаж и запасную лошадь, на которой можно было ехать и верхом. Одновременно они телеграфно просили своих представителей в Айнтабе держать наготове свежих лошадей.

Не успели Товмасыаны выехать за окраину Мараша, как услышали за собой прерывающиеся голоса и умоляющие крики, заглушавшие цокот копыт. Вдогонку за экипажем бежали, жалобно причитая, Сато, девочка из сиротского дома, и дворник Геворк. К счастью, было раннее утро, улицы были пустынные и сцену эту никто не видел. Пастору ничего не оставалось, как принять неожиданных попутчиков, хотя приятного в этом для него было мало. Оба эти человека были не вполне нормальны. Маленькая, тщедушная Сато, крест зейтунского сиротского дома, была трудновоспитуемым ребенком. Каждые три-четыре месяца на Сато находила страсть к бродяжничеству. Она пропадала несколько дней, потом возвращалась одичалая, грязная, вшивая, но присмирившая. Когда на Сато находило такое, справиться с нею было невозможно. Она теряла речь и другие, с трудом привитые ей навыки. Держать ее под замком было бессмысленно: Сато, как привидение, проходила сквозь стены. Если же ей не удавалось улизнуть, она становилась сущим бесенком, наводила ужас на весь дом своими гениальными по изобретательности злыми проказами и извращенной жестокостью. Смягчала эту больную душу одна только Искуи, быть может даже исцеляла, причем вовсе не применяя особых методов воспитания. В педагогике Искун смыслила очень мало. Просто девочка прониклась к ней всепоглощающей любовью. Иногда эта любовь помрачала больной мозг Сато, у нее бывали вспышки тяжелой ревности и, что самое опасное, чувство самоуничтожения. Сейчас она бежала за экипажем в своем широком, развевающимся халатике, непрерывно крича на бегу:

– Кючук-ханум, маленькая барышня! Сато одну не бросай, не бросай, пожалуйста!

Этот жалкий человеческий детеныш, эта малявка смотрела на них расширенными от смертельного ужаса и все же наглыми глазами, излучавшими такую решимость и силу, что устоять перед ней было невозможно.

Искуи и Овсанна никогда не могли побороть в себе какое-то отвращение к Сато, а порою и страх. Даже чисто вымытая и причесанная, она была им



физически противна. И вот, как ни обременительно было это прибавление, девочку поместили на заднем сиденьи экипажа. Дворник Геворк сел на облучок с кучером.

Подростком, во время одного из многочисленных «происшествий», Геворк получил удар прикладом по голове. С тех пор он стал тихим дебилом и заикался. Когда же в нем пробуждалась страсть к танцу, как в Сато – страсть к бродяжничеству, – с ним тоже ничего нельзя было поделаться. Это торжественное безумие, за которое он и получил прозвище «плясун», было тихой, вполне безобидной манией. Проявлялась она редко, преимущественно в минуты волнения. В обычное время Геворк добросовестно исполнял обязанности истопника, водоноса, дровосека, садовника и с безмолвным усердием работал за двоих.

«Сколько полноценных детей и взрослых можно было бы спасти, а бог посылает мне малолетнюю преступницу и слабоумного», – подумал Арам. Он увидел в этом многозначительный ответ, кару за его равнодушие, отступничество перед зейтунцами.

В коляске Сато бурно и неуместно веселилась, толкала своими острыми коленями Искуи, хохотала, без умолку тараторила, точно день изгнания был радостным, праздничным днем. Девочке, очевидно, никогда не случалось ездить на лошадях. Высунув худенькую руку с уродливыми широкими ногтями за край экипажа, она с наслаждением окунала ее в струю воздуха, как окунают руку в прохладные струи воды за кормой. Спутников коробила и раздражала эта бьющая через край жизнерадостность. Искуи отодвинулась от девочки. Пастор, ехавший верхом подле экипажа, пригрозил Сато вышвырнуть ее вон или связать ей руки, если она не уймется.

Утомительная дорога до Айнтаба (пришлось дважды ночевать в скверных деревенских ханах) протекала без чрезвычайных происшествий. В Айнтабе они оставались три дня. Местные армяне, получив телеграмму от преподобного Вудли, приготовили новую упряжку для Товмасянов.

Но после того как накануне в город прибыл первый зейтунский этап и айнтабские армяне увидели воочию несчастных ссыльных, они пришли в отчаяние и стали ждать своего конца. Почти никто не выходил из дому. Носились страшные слухи. Говорили, что правительство собирается учинить над Айнтабом короткую расправу: армянский квартал просто выжгут, жителей перестреляют.

И все же община отнеслась к пастору и его семье с необыкновенным участием. Казалось, в спасении пострадавших они надеялись обрести и свое спасение.

Арам попытался было пристроить Сато в городе, но она с таким ужасом вцепилась в Искуи, что он снова усадил ее на заднее сиденье экипажа.

До Алеппо все шло хорошо, несмотря на то что они четыре дня тайком перебирались через перевалы Тавра, с большим трудом доставали на станциях лошадей и дважды ночевали в пустых амбарах. Но большой город с его огромным рынком, мощеными улицами, множеством дворцов,

административных и военных зданий, прекрасными садами, роскошными иностранными миссиями, гостиницами, постоялыми дворами, – явился отдохновением для павших духом и изнуренных изгнанников. Несмотря на строгий обыск, который произвели заппии на заставе, после нескольких тревожных минут (Сато и Геворка Товмасыанам удалось провести с собой, выдав их за слуг) вид улицы и безучастно плывущего по ней людского потока создавал у этих несвободных людей ощущение мнимой свободы.

Однако прием миссионеров и руководителей армянской общины сильно отличался от встречи, оказанной в Мараше и Айнтабе. Здешние миссионеры были так обременены делами, обязанностями и заботами, все проходило у них так бюрократически, что Арам не захотел прибегнуть к их помощи. Он только выпросил для себя и своей семьи две скромных комнаты.

Армянская община в Алеппо славилась богатством, и потому здешние армяне были черствей и трусливей, чем скромные жители Айнтаба. Здешним армянам было страшнее, чем тамошним, – они больше теряли. И еще одно обстоятельство: едва пастор заговаривал о Зейтуне, он замечал, что уже самое название этого зачумленного места наводит страх на его столичных соплеменников. Очевидно, им не хотелось иметь официальных отношений с людьми, которые были заклеены как злостные бунтовщики. Появление зейтунского пастора среди них могло навлечь на них неприятности. Сейчас, чтобы уцелеть, нужно проявлять сверхфанатичную преданность государству и не заводить сомнительных знакомств. Пастору предложили денежную помощь – ничем больше помочь они ему не могут. Он поблагодарил и отказался.

Времени было в обрез, и Араму пришлось нанять на стоянке одну из множества яйли, ожидавших седоков. Сначала возчик наотрез отказался их везти. До самого побережья, да еще за Антиохией! В негодовании от такой глупости он даже схватился за феску. Потом после долгих клятв и божбы – «иншалла!» и «алла билир!\*

---

\* Иншалла, алла билир – слава богу, богу известно (турецк.).

---

Арам выбрал дорогу на Александретту, хоть это был окольный путь и приходилось для безопасности делать крюк. Он надеялся, что через полтора суток безостановочной езды они доберутся до развилки на Антиохию, а через сутки будут уже дома.

Но в первый же день, перед самым заходом солнца кучер слез с козел,

мрачно обследовал копыта лошадей, колеса, оси и объявил, что с него хватит: лошади загнаны, повозка перегружена, и он не подрядился возить по свету разных армян. Ему нужно тотчас же воротиться обратно, чтобы еще засветло успеть в Туронт, где у него родичи. Никакие просьбы не помогли, не подействовала и довольно значительная надбавка платы за проезд. Турок великодушно признал, что свои деньги он получил, а больше, дескать, ему не надо. Более того: он готов даром довести седоков до Туронта, где они как нельзя лучше выспятся на настоящих кроватях, в роскошной хане его родичей. Пастор замахнулся было палкой и, верно, проучил бы нахала, если бы Овсанна не схватила мужа за руку.

А кучер выбросил из яйли всю поклажу, натянул вожжи – и был таков, оставив пятерых измученных людей в этом пустом и безотрадном краю.

Они еще час шли вперед в надежде, что на горизонте покажется какая-нибудь деревня или кто-то подвезет. Но куда ни глянь, – одна пустота: ни повозок, ни амбара, ни шалаша, ни села. Еще одну ночь довелось им провести под открытым небом, а тянулась она дольше первой, потому что никто ее не предвидел.

В неверном лунном свете изгиб дороги злоеще поблескивал, словно клинок сабли. Они устроились подальше от большака, прямо на голой земле. Но мать всего сущего, земля, не приласкала армян. Снизу, сквозь разостланные одеяла проступала сырость, а над ними колоколом стоял зудящий болотный воздух, в котором пели свою ядовитую песню комары.

Геворк и пастор стерегли спящих, пастор не выпускал из рук карабин, которым снабдили его отцы-миссионеры в Мараше. Последние пятьдесят часов до Йогонолука были самые тяжелые. Поистине чудо, что с Овсанной не случилось несчастья, а Искуи не сломилась. Пастор совершил ошибку: вместо того чтобы продолжать двигаться по большаку, он слишком рано свернул на узкую дорогу, которая вела на юго-запад. Через несколько миль она оборвалась. И вот начались бесконечные поиски и блуждания. На последнем отрезке этого тернистого пути их выручила необычайная физическая выносливость Геворка. Он по очереди и подолгу носил женщин на спине. Поклажу они скоро бросили на дороге. Пастор тяжело шагал впереди, сосредоточив свое внимание только на том, чтобы не потерять ориентир, которым служили облака над прибрежным горным кряжем. То и дело им встречался проселок, по которому можно было пройти кусок дороги и перебраться по гнилым доскам через водосток. Время от времени их подвозила чья-нибудь повозка, запряженная волами. Люди их не обижали. Немногие мусульмане, повстречавшиеся им по пути, относились к ним дружелюбно, давали питьевую воду, сыр. Но если бы на путников напали, они не в силах были бы обороняться. Они уже не чувствовали боли, не замечали, что у них кровоточат ноги, они брели качаясь как в дурмане, как в аду. Даже крепкий Арам шел шатаясь, с затемненным сознанием, погруженный в зыбкий мир образов. Иногда он чему-то громко смеялся. Поразительно выносливой оказалась Сато. Часто ступая своими до синевы оттоптаннами ногами, она

бежала рысцей за Искуи, словно тренировалась в этом во время побегов из приюта.

Когда Габриэл Багратян увидел на церковной паперти беглецов, они находились в состоянии немощной отрешенности. Но они были молоды, спасение пришло неожиданно, перед ними светились добрые старческие лица отца, священника, доктора, им говорили ласковые слова, их обдавало теплом родины, поэтому они быстро пришли в себя, и сверхчеловеческая усталость сразу сменилась бурным оживлением.

Пастор Арам повторял:

– Не сравнивайте это с прежними погромами... Это гораздо хуже, гораздо печальнее, беспощадней, чем все погромы, и, главное, длится гораздо дольше. Это не оставляет ни днем ни ночью...

Он сжал пальцами виски.

– Никак не могу совладать с собой. Дети все время стоят перед глазами... Только бы Вудли удалось их спасти...

Доктор Алтуни молча обследовал руку Искуи, другие расспрашивали Арама. Вопросы, вполне естественно, сыпались со всех сторон:

– Можно ли ждать, что они ограничатся только Зейтуном?

– Может, уже и Айнтабская община шагает по тракту?

– Что слышно в Алеппо?

– Есть ли какие-нибудь вести из других вилайетов?

– А мы?..

Врач – он размотал бинт и обмывал теплой водой багровую руку Искуи – язвительно засмеялся:

– Куда же еще нас ссылать? На Муса-даге мы и так уже ссыльные.

С площади в комнату врывался шум голосов. Тер-Айказун прервал разговор. Он поднял на Багратяна свои кроткие и волевые глаза:

– Будьте так добры, Багратян, скажите людям на площади несколько успокоительных слов, чтобы они разошлись наконец по домам.

Почему Тер-Айказун поручил это Габриэлу, парижанину, у которого не было никаких точек соприкосновения со здешними деревенскими жителями? Говорить с односельчанами должен был бы мухтар Кебусян – это его дело. Или священник преследовал своей просьбой какую-то тайную цель?

Багратян робел и смущался. Но все-таки послушался Тер-Айказуна, только повел с собой за руку Стефана. Армянский был, правда, его родным языком, но в первую минуту, когда нужно было говорить с толпой (тем временем она возросла до полутысячи), он счел свое выступление бестактным, недозволенным вмешательством. Ему едва ли не легче было бы изъясняться по-турецки, на военном языке. Но трудно было только начать, потом слоги сами собой складывались в слова, древний язык ожил в нем, дал ростки и побеги.

Он попросил жителей Йогонолука и других селений, которые почему-либо здесь оказались, спокойно разойтись по домам. В Зейтуне – и больше нигде – произошли нарушения закона, истинную причину которых еще надо будет

расследовать. Каждый армянин знает, что Зейтун испокон веку был на особом счету. Мусадагцам, так как они живут в совсем другом районе и никогда политикой не занимались, ничто не угрожает. И все же именно в такие времена, как сейчас, надо свято соблюдать спокойствие и порядок. Он, Багратян, позаботится о том, чтобы в деревнях регулярно распространялись сообщения обо всех важнейших событиях. Если потребуется, все общины соберутся на сход, чтобы обсудить свое будущее.

К своему удивлению, Габриэл чувствовал, что говорит уверенно, находит нужные слова и что они действуют на слушателей умиротворяюще. Кто-то даже крикнул:

– Да здравствует семья Багратянов!

Но где-то женский голос простонал:

– Господи, что с нами будет!..

Хотя толпа и не ушла с площади, она разбилась на кучки и больше не осаждала церковь. Из трех заптиев остался один только Али Назиф, остальные улизнули, и он слонялся по деревне. Габриэл подошел к нему; последнее время рябой жандарм, по-видимому, не знал, как быть с эфенди: считать ли его знатной особой или неверной свиньей, с которой ввиду изменившейся по распоряжению свыше обстановки и разговаривать незачем. Заметив растерянность жандарма, Багратян и решил держаться с ним надменно.

– Тебе известно, кто я такой. Я для тебя лицо вышестоящее, начальство, я офицер армии.

Али Назиф стал навтыяжку.

Габриэл многозначительно поднес руку к карману.

– Офицер не дает бакшиш. Но ты получишь от меня эти два меджидие в оплату за неслужебное поручение, которое я сейчас тебе изложу.

Али Назиф продолжал стоять навтыяжку, чтобы не оставалось никаких сомнений в его готовности к услугам.

Багратян кивнул, что он может стать «вольно».

– Последнее время я замечаю новых людей среди ваших заптиев. Вы получили пополнение?

– Нас было слишком мало, эфенди, для такой тяжелой службы и далеких расстояний. Поэтому наш пост усилили.

– Действительно по этой причине? Ладно, можешь не отвечать. Ну а как ты получаешь приказы, жалованье и все прочее?

– Один из наших ребят каждую неделю ездит верхом в Антакье и оттуда привозит нам приказы.

– Так вот, слушай неслужебное поручение, Али Назиф! Если получишь какой-нибудь приказ или узнаешь от своего командования хоть что-нибудь важное для здешнего округа, – ты меня понимаешь? – ты немедленно явишься ко мне домой! А там ты получишь сумму втрое большую той, что получил сейчас.

И так же надменно Багратян повернулся к нему спиной и пошел обратно в ризницу.

Доктор Алтуни кончил обследование и, горько усмехнувшись, заметил:

– В Мараше у них большая больница, медицинская библиотека, а этот, с позволения сказать, осел, мой коллега, не сумел вправить руку. Чего же требовать от меня, когда у меня нет никаких медицинских инструментов, кроме ржавых щипцов зубодера. Придется наложить двусторонний лубок на поврежденную руку, вид у нее ужасный. Больной нужна приятная комнатка, постельный режим и уход. Все это нужно и твоей жене. Арам!

Старик Товмасын был в замешательстве.

– У меня так тесно стало с тех пор, как я продал дом. Как мы разместимся?

Габриэл тотчас же предложил мадемуазель Товмасын комнату в своем доме: из нее открывается красивый вид на горы. А уход будет такой, какой предпишет доктор Алтуни. Тот искренне обрадовался:

– Goh em, я доволен, друг мой! Но эту беднягу Сато ты уж тоже возьми, ради меня, чтобы мои многоуважаемые пациенты были в одном месте. Мои старые ноги скажут тебе за это спасибо.

Так и поступили. Арам и Овсанна пошли с отцом, прихватив с собой Геворка-плясуна, которому старик Товмасын собирался найти дело и в доме, и в мастерской.

Стефана же Габриэл послал вперед предупредить Жюльетту. Задыхаясь, мальчик вбежал в дом.

– Мама, мама! Если б ты знала, что случилось! К нам сейчас придут гости. Мадемуазель Искуи, она сестра пастора из Зейтуна, и девочка с разбитыми в кровь ногами.

Жюльетта была крайне взволнована этим известием. Габриэл никогда без спросу не приводил гостей в дом. Когда дело касалось отношений с людьми, он не чувствовал себя уверенным, в особенности если это были его соплеменники. Но когда через десять минут он появился в сопровождении Искуи, супругов Алтуни и Сато, Жюльетта была сама доброта. Как многие красивые женщины, она была чувствительна к женскому обаянию, особенно юному. Облик Искуи растрогал ее, пробудил сестринские чувства, желание прийти на помощь младшей. Отдавая распоряжения по устройству гостей, она мысленно с удовлетворением отмечала: «Она и в самом деле какая-то особенная. Такие тонкие лица среди них встречаются редко. Даже в лохмотьях она выглядит благородно. И кажется, для армянки совсем хорошо говорит по-французски».

Комнату быстро привели в порядок. Жюльетта сама принесла Искуи разные мелочи вплоть до кружевной ночной сорочки из собственного гардероба. И без колебаний пожертвовала духами и туалетной водой, хоть эти сокровища были сейчас незаменимы.

Понося марашских врачей – такой ведь большой город, – Алтуни снова осмотрел руку Искуи.

– Больно тебе, голубка?

– Нет, сейчас совсем не больно, вот только такое чувство... тупое такое чувство, – она запнулась, подыскивая слово, – чувство бесчувственности.

Старый доктор сознавал, что его познаний здесь недостаточно. Тем не

менее наложил большую повязку – иначе поступить он не мог, – которая окутывала плечо до самой шеи. При этом стало видно, как уверенно работают его старческие пальцы в темных морщинках.

Вскоре Искуи лежала на мягкой постели, ухоженная, спокойная. Жюльетта помогла ей поудобнее улечься и собралась уходить.

– Если вам что-нибудь понадобится, дитя мое, встряхните посильней этот большой колокольчик. Еду вам принесут в постель. Но я и сама загляну к вам.

Искуи вскинула на Жюльетту глаза: то были глаза ее народа, из которых все еще смотрела пугающая даль, а не радость возвращения.

– О спасибо, мадам!.. Мне ничего не понадобится... Спасибо, мадам...

И вдруг случилось то, чего не случалось с ней ни в страшную зейтунскую неделю, ни в этапе, ни во время странствия в Йгонолук. Из глаз ее хлынули слезы; это не были судорожные рыдания, это был плач без всхлипываний, неумный и ровный поток, освобождающий от оцепенения, бескрайний и безотрадный, как степь на востоке, откуда она пришла. Плача с неподвижным лицом, Искуи повторяла:

– Извините, мадам... Это я нечаянно...

Жюльетте очень хотелось стать перед ней на колени, поцеловать ее, назвать ангелом. Но что-то делало невозможным всякое проявление обычной ласки. Отрешенность ли, в которую девушка еще была погружена, или пережитое, из пут которого она еще не сумела высвободиться?

Жюльетта не решилась дать волю порыву нежности. Она лишь осторожно поглаживала Искуи по волосам и молча ждала у ее изголовья, пока глаза беззвучно плачущей девушки не смежил сон, пока она не погрузилась в милосердную пустоту.

Матушка Антарам промыла и перевязала раны на ногах Сато. Потом девочку уложили в постель в одной из комнат для прислуги. Но едва она уснула крепким сном, как раздались душераздирающие крики. Все эти дни она ни разу не проявила страха, а сейчас, по-видимому, во сне, в этом отображении жизни, Сато терзали тысячи страхов. Ее будили, но это не помогало. Она засыпала непробудным сном и через некоторое время снова начинала стонать и истошно вопить. Иногда этот протяжно воющий голос будто цеплялся за спасительное имя: «Кючук-ханум!»

Когда из дальней комнаты донеслись эти страшные звуки, Жюльетта вышла на крыльцо дома и встретила там сына. Стефан весь дрожал. Все новое, неведомое, опасное рождало в нем бурный отклик. В ноябре он отпраздновал свой тринадцатый день рождения, вступив в тот возраст, когда каждого мальчика пленяет все исключительное. Даже когда он наблюдал из окна сильную грозу и ливень, в нем вспыхивало бунтарское желание, чтобы случилось что-нибудь необычайное.

И вот он прислушивался, замирая от сладостного ужаса:

– Мама, ты слышишь, как Сато кричит?

«Глаза Искуи, у моего мальчика глаза Искуи!» – озарила Жюльетту мысль, и в этот миг озарения, точно при вспышке молнии, она вдруг осознала всю

безмерную сложность жизни. Ее впервые охватил огромный страх за Стефана. Она увела его в свою комнату, прижала к груди, а далекие крики Сато все еще оглашали тихую прихожую.

Поздним вечером Габриэл пригласил к себе священника Тер-Айказуна, доктора Петроса Алтуни и аптекаря Григора.

Они сидели вчетвером, с чубуками и сигаретами, в слабо освещенном селамлике. Габриэлу хотелось услышать от этих образованных и весьма достойных столпов местного общества, как они оценивают положение, как предполагали бы поступить в случае приказа о депортации и как можно предотвратить смертельную опасность, нависшую над жителями Муса-дага.

Он ничего у них не выпытал. Тер-Айказун упорно молчал. Доктор объявил, что ему уже шестьдесят восемь лет, и без того осталось жить каких-нибудь два-три года. А если почему-либо конец настанет раньше, тем лучше! Смешон тот, кто цепляется за какие-то жалкие месяцы. Вся жизнь того не стоит! Главное – как можно дольше оберегать людей от страхов. В этом он видит свой первейший долг и будет выполнять его при всех условиях, все остальное его не касается.

Аптекарь Григор невозмутимо курил свой кальян, который он со всеми предосторожностями принес с собой из дома. С многозначительным видом он выбирал из раскаленных угольков один, ему приглянувшийся, и медленно прижимал пальцами к комочкам табака в кальяне. Было ли это как бы наглядным иносказанием: я, мол, могу, не обжигаясь, голыми руками хватать огонь? Судя по косоглазому мандаринскому лицу с козлиной бородкой, он был глубоко сосредоточен на торжественной процедуре раскуривания кальяна и не одобрял всего, что может потревожить невозмутимую гармонию духа. Только дух определяет права действительности, а не наоборот. К чему стремиться что-то делать? Всякое действие само собой приходит к концу, одна лишь мысль мыслит вечно. Григор не знает, что будет. Но он твердо намерен – в какие бы условия не поставила его жизнь, – не давать доступа в свой внутренний мир ничему случайному, несущественному, будь это даже жесточайшая жизненная перемена. И в подкрепление этого поистине философского идеала, которому он надеется служить до последнего вздоха, аптекарь привел турецкую поговорку, вполне уместную и в устах старого аги Рифаата Берекета:

!!! – Kismetdin zyadi olmaв – Все, что свершается, – то суждено.

Слова эти позволяли оставить в стороне мучительный насущный вопрос и завести разговор о тех возвышенных идеях, что давным-давно отстранены от чуждого им сострадания и холодны, как страницы книг, на которых запечатлена их божественная жизнь.

Глухим голосом аптекарь перечислял различные учения о преопределении, он вспомнил о взаимосвязи между христианством и исламом, о Григории Просветителе, о Халкидонском соборе, о преимуществе монофиситского учения перед католицизмом.\* Аптекарь упивался самым звуком этих слов. Священник только диву давался, откуда такие глубокие познания в богословии у аптекаря. Вдобавок он услышал имена, даты и



удивительные высказывания отцов церкви, о которых в годы учения в семинарии никогда не слышал, а не слышал потому лишь, что своим существованием они были всецело обязаны творческому дару Григоря.

---

\* «...о Григории Просветителе, о Халкидонском соборе, о преимуществах монофизитского учения перед католицизмом». Григорий Просветитель, или Григорий Партев (ок. 239-325(326) – религиозно-политический деятель, армянский католикос с 302 года. По дошедшим до нас источникам, детство и юность провел в Каппадокии, в г. Кесария, где был крещен и получил образование. В 287 г. с проповеднической целью вернулся в Великую Армению и стал служить при дворе армянского царя Трдата III. Подобно римскому императору Диоклетиану, с помощью которого он взшел на престол, Трдат III продолжал гонения на христиан, не избежал их и Григорий Просветитель. Однако, разочаровавшись в Диоклетиане как союзнике, Трдат III прекратил гонения на христиан, предпочтя использовать эту силу в своих интересах. Христианские общины существовали в стране с I и II вв., но уже в III веке христианство перестало быть в Армении религией угнетенных, а в 301 году оно утвердилось в Армении как государственная религия. Но Григорию Просветителю предстояло еще многое сделать. В 302 году с 16 нахарарами, владетельными князьями, и с царским указом в руках он поехал в Кесарию, где был рукоположен армянским патриархом. После этого, имея в своем распоряжении большое войско, он стал уничтожать в стране капища и основывать церкви. В Аштишате он разрушил один из древнейших центров язычества и основал соборную церковь. В Вагаршапате (ныне Эчмиадзин) он на месте капища основал Кафедральную церковь. С его именем связано строительство церквей Св. Рипсиме, Св. Гаянэ и Св. Шогакат. Многие древние языческие праздники он заменял христианскими, владения капищ передавал церквям, основывал новые школы, где обучение велось на официальном языке христианской религии – на сирийском и греческом.

Монофизитство – религиозно-политическое учение, основанное в V в. и отстаивавшее теорию, что Иисусу Христу была присуща лишь одна – божественная природа, то есть Христос не богочеловек, а бог. На Халкидонском вселенском соборе 451 г. монофизитство было осуждено. Однако армяне на Двинском соборе 563 года отвергли формулу Халкидонского собора о двух естествах Христа, признав у Христа божественное и человеческое начало в единстве, в единой природе. Таким образом они отделились от православной церкви, чтобы противостоять агрессии Византии, и образовали свою самостоятельную, монофизитскую по содержанию церковь.

---

«Проклятие!» Габриэл невежливо топнул ногой. Сейчас европеец в нем ненавидел всех этих лунатиков и краснобаев, которые без борьбы погружались в трясины смерти...

Пренебрежительно махнув рукой, он перебил Григора:

– Господа, мне бы хотелось не медля изложить мысль, которая пришла мне в голову во время разговора с заптием Али Назифом. Ведь я еще и турецкий офицер, сражался на фронте, имею боевые отличия за участие в последней Балканской войне. Как бы вы отнеслись к тому, чтобы я надел свой мундир и отправился в Алеппо? Несколько лет назад я оказал небольшую услугу генералу Джемалю-паше...

Старик Алтуни прервал его почти злорадно:

– Джемаль-паша давно перенес свою штаб-квартиру в Иерусалим.

Но Багратяна не так легко было сбить:

– Неважно! Гораздо влиятельнее, чем Джемаль-паша, вали Алеппо Джелал-бей. Я с ним не знаком, но все мы знаем, что он по мере сил старается нам помочь. Если я приду к нему и напомним, что Муса-даг находится на краю света и хотя бы поэтому не имеет какого бы то ни было касательства к политике, он, может быть...

Габриэл не договорил и прислушался. Царило молчание. Только булькала вода в кальяне Григора. Прошло немало времени, пока Тер-Айказун отложил в сторону свой чубук.

– Вали Джелал-бей, – он внимательно оглядел собеседников, – бесспорно, большой друг нашего народа. Он делал нам подчас добро. При его правлении можно было не опасаться самого худшего. Но, к сожалению, дружба с нами не пошла ему на пользу...

Тер-Айказун вынул из широкого рукава своей рясы сложенный газетный листок.

– Сегодня пятница. Это «Танин» – от вторника. Сообщение напечатано мелким шрифтом на незаметном месте. – Он прочел, держа газету на далеком расстоянии от глаз: – «Как нам сообщают из министерства внутренних дел, его превосходительство вали Алеппо, Джелал-бей, уволен бессрочно в отставку». Это все.

## Глава пятая

### БОЖЕСТВЕННАЯ ИНТЕРМЕДИЯ

Герои Гомера сражаются за Скейские ворота\*, и каждый мнит, что от его оружия зависит исход боя – победа или поражение. Но битва героев лишь отражение той, которую с громкими кликами ведут над их головами боги,

решая судьбы людей. Но и богам неведомо, что их спор – только отражение борьбы, исход которой давно предreshен в сердце всевышнего, ибо от него проистекает и покой и смута.

---

\* Скейские ворота – западные ворота Трои. См. «Илиаду» Гомера.

---

В ту самую минуту, когда доктор Иоганнес Лепсиус, подгоняя извозчика, подъезжает наконец к большому мосту, соединяющему зеленый Пера со Стамбулом, включается автоматическая сигнализация, звонит колокол, опускается шлагбаум, мост, задрожав, со стоном, будто живой, переламывается пополам и оба его металлических крыла медленно разворачиваются, впуская военный корабль во внутреннюю гавань Золотого Рога.

– Какой ужас! – громко говорит по-немецки Лепсиус.

Закрыв глаза, он откидывается на спинку потертого сиденья Пролетки. Но через секунду выскакивает, сует, не считая, извозчику деньги и бежит по лестнице вниз; поскользнувшись на апельсиновой корке и еле удержавшись на ногах, спешит к набережной, где ожидают пассажиров киики\*. Выбора нет; у причала только два невозмутимых лодочника, дремлющие в своих кииках и, видимо, вовсе незаинтересованные в зароботке.

---

**\* Киик – легкое вёсельное судно с навесом (турецк.).**

---

Лепсиус прыгает в киик и с отчаянием указывает перевозчику на Стамбул. Осталось шесть минут до назначенного ему приема в сераскериате – военном министерстве. Если даже лодочник будет грести изо всех сил, пройдет не меньше десяти минут, пока они пересекут пролив.

На том берегу, прикидывает в уме Лепсиус, наверное, найдется какой-нибудь экипаж. Оттуда он минут за пять доберется до министерства. Если обстоятельства сложатся благоприятно (пятнадцать минут минус шесть), он опоздает на девять минут! Крайне неприятно, но, может, обойдется.

Конечно же, обстоятельства складываются неблагоприятно. Лодочник ведет свой киик как венецианский гондольер, и ни понуканием, ни уговорами нарушить его невозмутимое спокойствие нельзя. Лодка подпрыгивает на волнах и – ни с места.

– Что делать, эфенди, море входит в пролив, – объясняет обожженный ветрами турок: перед роком он бессилен.

Вдобавок под самым носом дорогу им пересекает рыболовный катер, они теряют еще две минуты. В каком-то забытии – его еще и укачало – Лепсиус перебирает в памяти все, что было.

Ради этого одного часа свидания в военном министерстве он согласился на тяжелое путешествие, ехал из Потсдама в Константинополь, день за днем осаждал просьбами германского посла, и не только его, но и представителей всех нейтральных государств. Ради этого часа он разыскивал в разных домах немцев или американцев, прибывших из глубины страны, подробно расспрашивал их о ходе событий. Ради-этого часа он целыми днями сидел в бюро американского «Библейского общества», докучал всевозможным духовным сановникам, пробирался закоулками, всячески петляя, чтобы ускользнуть от турецких шпииков, в явочные квартиры армянских друзей. И все это только для того, чтобы подготовиться к сегодняшнему свиданию. И вот судьба сыграла с ним злую шутку: он опаздывает. Бесовщина какая-то! А сколько хлопотал об этом свидании капитан из германской военной миссии, такой обязательный! Трижды обещали и трижды отказывали. Оттоманский бог войны Энвер-паша не очень церемонится со столь заурядным врагом, как доктор Иоганнес Лепсиус.

Уже прошло десять минут. Энвер-паша прикажет ни в коем случае не принимать этого немецкого интригана, и дело проиграно. Ну и пусть! Мой народ тоже борется за свою жизнь. Над ним тоже занес копыта конь вороной с всадником, «имеющем меру в руке своей». В конце концов, что мне за дело до армян!

Иоганнес Лепсиус отвечает на эти лживые утешения коротким, сухим рыданием. Нет, мне есть дело до армян, они мне дороги, и если по всей строгости допросить сердце, оно ответит, что армяне, сколь это ни грешно и ни противоестественно, дороже мне, пожалуй, чем мой собственный народ.

Со времен Абдула Гамида, после резни 1896 года, после поездки по стране, с самого начала своей миссионерской деятельности Иоганнес Лепсиус чувствует, что ниспослан богом этим несчастным. Они – его земное предназначение. И перед ним встают эти лица. Смотрят огромными глазами. Такие у тех, кому суждено испить чашу до дна. Наверное, такие глаза были у Распятого. Оттого, быть может, Лепсиус так любит этот народ. Еще час назад он смотрел в глаза патриарху, архипастырю армян в Турции, вернее, то и дело отводил взгляд от глаз монсеньера Завена, в которых светилась безнадежность. Между прочим, из-за этого визита к патриарху он и опоздал. Так или иначе, он сделал глупость: вздумал потом вернуться в Пера, в отель «Токатлян», чтобы переодеться. Да, к патриарху следовало явиться в черном сюртуке, как

подобает протестантскому священнослужителю. Зато Энверу он не должен напоминать о своем звании: нужно избежать всего, что придало бы этому решающему свиданию хоть тень торжественности. Стиль господ иттихатистов ему знаком. Обычный серый костюм, небрежный тон, самоуверенные манеры, частые намеки на стоящие за ними силы – вот как нужно вести себя с этими авантюристами. В итоге виноват во всем серый костюм Лепсиуса.

Зачем он так долго сидел у патриарха? Надо было откланяться через несколько минут. К сожалению, он никогда не умел педантично и неуклонно стремиться к цели; даже организуя помощь армянам после абдулгамидовской резни, он добился успеха не потому, что придерживался разумной политики, а потому, что неистово стучался во все двери. Сослужила службу и его юношеская слабость, пристрастие к ходячим выражениям: «Пляска смерти», «Вечный жид», «Джон Буль» и т. д. Он импровизатор, действует под влиянием минуты, да, он таков, сам это знает. Вот и сегодня не мог вовремя уйти от этого трогательного пастыря.

– Через час вы встретитесь с Энвером. – По слабому голосу монсеньера Завена можно было догадаться о веренице бессонных ночей, о том, что он терял голос по мере того, как терял силы его народ.

– Вы встретитесь с этим человеком. Благослови вас бог, но и вы ничего не добьетесь.

– Ваше преосвященство, я лично не так безнадежно смотрю на вещи, – попытался было утешить его Лепсиус, но осекся.

Взмах руки, в котором и скорбь и обреченность.

– Сегодня нам стало известно, – сказал патриарх, – что вслед за Зейтуном, Айнтабом и Марашем депортации подвергнутся вилайеты Восточной Анатолии. Таким образом, кроме западной части Малой Азии, не пострадали пока только Алеппо и прибрежная полоса близ Александретты. Кому, как не вам, знать, что депортация – это особенно мучительная, замедленная и смертоносная пытка. Вряд ли кто-нибудь из зейтунцев выживет.

Взгляд патриарха не допускает возражений.

– Не стремитесь к недостижаемому, сосредоточьте усилия на достижимом. Может быть, вам удастся – я, правда, в это не верю – добиться отсрочки для Алеппо и прибрежной полосы. Каждый день отсрочки – это достижение. Подчеркните роль немецкой общественности и прессы, которые вы будете информировать. И главное, не морализируйте. У таких людей это вызовет только насмешку. Не выходите из области реальной политики. Угрожайте последствиями в экономике, – это больше всего действует. А теперь, милый сын мой, благословляю вас на ваше благородное дело! Храни вас Христос!

Лепсиус склонился, и патриарх осенил широким крестом его голову и грудь.

И вот сидит Лепсиус в неуклюжей барке, колыхаясь на волнах Золотого Рога, а бесстрастный перевозчик раздумчиво загребает веслами. Пока они причалили, прошло свыше двадцати минут. Иоганнес Лепсиус сразу замечает, что на стоянке нет ни одного экипажа. Он саркастически смеется: нет, за всей

этой чередой изощренно придуманных помех скрывается не простая случайность! Вражья сила потому все время и путается у него под ногами, что он вмешался в армянские дела, а им предназначено идти своим ходом.

Лепсиус уже не озирается по сторонам в поисках извозчика, он не задумываясь бежит со всех ног вперед, рослый, старый, приметный. Но толку мало: площади и улицы Стамбула запружены огромной ликующей толпой. Мимо домов, увешанных флагами, мимо пестро разукрашенных лавок и кофеен плывут, сталкиваясь и оттесняя друг друга, тысячи фанатичных лиц с разъятыми в крике ртами, тысячи людей в фесках и тарбушах.

Что случилось? Неужто отогнали союзников от Дарданелл?

Лепсиус вспомнил дальнюю канонаду, доносящуюся по ночам. Тяжелая артиллерия английского флота прокладывает дорогу в Константинополь.

И тут Лепсиус вспоминает, что нынче какая-то памятная дата, связанная с младотурецкой революцией. Вероятно, празднуют день, когда младотурецкий комитет, перебив своих политических противников, обеспечил себе захват власти. Но какой бы ни был нынче праздник, чернь бушует, рычит. Перед конторой некой фирмы собралась большая толпа. Какие-то парни взобрались на услужливо подставленные плечи, вскарабкались на карниз – миг! и большая вывеска летит на землю.

Лепсиус, попавший в гущу толпы, спрашивает стоящего рядом человека без фески на голове:

– Да что это все означает?

В ответ он слышит, что больше нельзя терпеть надписи на иностранных языках. Турция принадлежит туркам! Поэтому все дорожные указатели, названия улиц и вывески будут отныне писать только по-турецки! Собеседник Лепсиуса (не то грек, не то левантинец) злорадно смеется:

– На этот раз они разгромили своего союзника. Это – немецкая фирма.

Сквозь толпу вереницей ползут задержавшиеся в пути трамваи.

«Все пропало, – думает Лепсиус, – теперь уже безразлично, когда я туда попаду». И все-таки снова бежит дальше, бесцеремонно расталкивая толпу.

Еще один проулок, и перед ним открывается площадь. Огромный дворец сераскериата. Гордо высится башня Махмуда II.

Пастор дает себе передышку. Замедляет шаг, чтобы не войти в логово льва запыхавшись. Когда, устав от бесконечных лестниц и коридоров, он предъявляет свою визитную карточку в приемной военного министерства, изящный и очень любезный дежурный офицер сообщает ему, что его превосходительство Энвер-паша глубоко сожалеет – он не мог больше ждать и просит господина Лепсиуса оказать честь и посетить его в Серале, в его личных апартаментах в министерстве внутренних дел.

Иоганнесу Лепсиусу предстоит проделать еще более длинный путь. Однако на сей раз наваждение кончилось, бесы занялись кем-то другим, а ему прямо-таки создали все удобства. У ворот ждет освободившийся экипаж, извозчик рад угодить седоку, избегает людных улиц, и отдохнувший, проникнувшийся непостижимым для него самого оптимизмом борец с

волшебной быстротой приближается к мирному Сералю. Грохоча по старой булыжной мостовой, экипаж подкатывает к министерству. Лепсиуса уже ждут. Не успел он предъявить визитную карточку, как чиновник встречает его вопросом:

– Доктор Лепсиус?

Добрый знак! Снова лестница и длинные коридоры, но теперь окрыленный надеждой Лепсиус легкой поступью приближается к цели. В министерстве внутренних дел стоит тишина, крепость Талаата-бея будто дремлет. На сказочные чертоги походят комнаты без дверей, вместо дверей колыхаются занавеси. Это тоже успокаивает Лепсиуса, воспринимается неизвестно почему как хорошая примета.

В конце коридора его вводят в особые апартаменты. Это штаб Энвера-паши в министерстве внутренних дел. Не иначе как здесь, в этих двух комнатах, решалась судьба армян. Комната побольше служит, очевидно, приемной и залом заседаний; рядом – кабинет с большим пустым письменным столом. Внимание Лепсиуса привлекают три портрета, висящие над столом. Справа – Наполеон, слева – Фридрих Великий, посреди – увеличенная фотография турецкого генерала: это несомненно, сам Энвер-паша, новоявленный бог войны.

В ожидании Лепсиус садится у окна. Поверх стекол пенсне он взглядом вбирает в себя покой, которым веет от прекрасной картины разрушения: обвалившиеся купола, обломки мрамора, осененные пиниями. А за ними Босфор с плывущими мимо словно игрушечными пароходиками.

Устремленный вдаль близорукий голубой взор, детский очерк губ, выступающих из мягкой, седой бородки, крепкие щеки, раскрасневшиеся от беготни и волнений, – есть в этом облике что-то страдальческое, но есть и одержимость, которая и к себе бывает беспощадна.

Слуга приносит медный кофейник. Лепсиус с наслаждением выпивает три-четыре чашечки кофе. Теперь он бодр, ощущает нервный подъем, к голове приливает свежая кровь.

Когда Энвер-паша входит, Лепсиус допивает последнюю чашечку.

В Берлине, перед своим отъездом, Лепсиус попросил описать внешность Энвера-паши, и все же он поражен, увидев, что турецкий Марс, один из семи или девяти властителей мира, от которых зависит жизнь и смерть, мал ростом и так невзрачен. Лепсиусу становится ясно, почему здесь висят портреты Наполеона и Фридриха. Это – герои ростом метр шестьдесят. Гениальные честолюбцы, которые достигли высот славы, хоть и не вышли ростом. Лепсиус готов спорить, что Энвер-паша носит сапоги на высоком каблуке. Во всяком случае, каракулевая шапка, которую он не снимает, гораздо выше форменных головных уборов. Шитый золотом мундир (то ли маршалский, то ли собственного фасона), изумительного покроя, сшит по талии, сидит как влитой и в сочетании с двумя рядами сверкающих орденов придает Энверу легкомысленно-моложавый и элегантно-задорный вид.

«Цыганский барон», – думает Лепсиус, и хоть растревоженное сердце

колотится, в памяти возникает бравурный вальс далекой юности:

Я цыганский барон,  
У меня много жен...

Однако текст арии, которую Лепсиус вспомнил, глядя на блестящий мундир, совсем не соответствует характеру молодого полковника. По лицу судя, Энвер-паша не то застенчив, не то робок, он по-девичьи вскидывает глаза. Узкобедрый, с покатыми плечами, он двигается легко, даже изящно. Лепсиус чувствует себя неуклюжим рядом с ним. Первая атака, которую Энвер-паша предпринимает, основана на личном обаянии, на умении пленить посетителя своей балетной пластичностью. Поздоровавшись, он не уводит Лепсиуса в уютный кабинет, а просит остаться на месте, придвигает стул к столику у окна и подсаживается, пренебрегая невыгодным для себя освещением.

Лепсиус, как и наметил в своей программе боевых действий, начинает разговор с того, что передает генералу поклон от немецкой почитательницы. Энвер-паша отвечает улыбаясь, с присущей ему обаятельной скромностью. У него приятный тенор, звук которого вполне гармонирует с обликом генерала. Отвечает на чистом немецком языке:

– Я глубоко уважаю немцев. Это бесспорно поразительный народ, нет ему равных в мире. Достижения немцев в нынешней войне непревзойденны. Я лично всегда рад приветствовать у себя немца.

Пастор Лепсиус отлично знает, что в младотурецком комитете Энвер-паша представлял французскую партию, а возможно, и сейчас тайно ее представляет. Энвер долго противился вступлению Турции в войну на стороне Германии, а не Антанты. Но сейчас это не существенно, поэтому Лепсиус продолжает обмен любезностями, зондирует почву.

– В Германии у вашего превосходительства есть множество верных почитателей. От вас ждут подвигов всемирного значения.

Энвер вскидывает глаза, отмахивается, как бы давая понять, что устал обороняться от притязаний, скрывающихся за подобной лестью.

Пауза. Смысл ее приблизительно таков: «Ну-ка, голубчик, попробуй меня разговорить!»

Лепсиус прислушивается к звукам за окном: оттуда доносятся только тихое посвистывание и звонки транспорта на Босфоре.

– Я заметил, что народ в Стамбуле настроен восторженно. Сегодня в городе царит особенное оживление.

Генерал решает высказаться в стиле основополагающих патриотических деклараций. Благозвучный голос сейчас бесстрастен:

– Война трудная. Но наш народ сознает свой долг.

Первый выпад немца:

– И внутри страны тоже, ваше превосходительство?

Генерал радостно смотрит куда-то вдаль.

– Разумеется, внутри страны происходят большие события.

– Ваше превосходительство, эти большие события мне хорошо известны.

Физиономия военного министра выражает непонимание, он даже слегка



удивлен. Цвет лица у главы гигантской империи на редкость свежий, юношеский.

– Положение на Кавказском фронте с каждым днем улучшается. Правда, еще не время судить о делах южной армии Джемала и вашего соотечественника Кресса.

– Весьма отрадно слышать, ваше превосходительство. Но, упомянув о положении внутри страны, я имел в виду не район военных действий, а мирные вилайеты.

– Когда государство ведет войну, все области страны становятся районами военных действий, больше или меньше.

Генерал слегка подчеркивает эти слова, в дальнейшем они приобретают особое значение. Пока же авангардный бой закончился неблагоприятно для пастора. Он вынужден прибегнуть к лобовой атаке.

– Вероятно, вашему превосходительству известно, что я прибыл сюда не как частное лицо, а как председатель германского общества по изучению Ближнего Востока. Я должен представить туда доклад по поводу некоторых событий.

Удивление в широко раскрытых глазах Энвера. Это еще что такое: – «Общество по изучению Ближнего Востока»?

– Министерство иностранных дел, да и сам господин рейхсканцлер относятся с живым интересом к моей миссии. По возвращении я сделаю в рейхстаге доклад по армянскому вопросу, информирую депутатов и прессу.

Энвер-паша, который, по обыкновению потупясь, терпеливо слушал посетителя, при словах «армянский вопрос» поднимает голову. Лицо избалованного мальчика на миг омрачается: вечно эти серьезные люди пристают к нему с одними и теми же глупостями. Но через секунду все опять в порядке. А Лепсиус уже не владеет собой.

– Я пришел к вам за помощью, ваше превосходительство, будучи убежден, что столь выдающийся полководец и герой не способен совершить ничего такого, что омрачило бы его исторический образ.

– Знаю, господин Лепсиус, – снисходительно и с чрезвычайной благожелательностью отвечает Энвер-паша, – вы прибыли сюда и просили о встрече, желая получить разъяснения по известному вопросу. Хотя меня отягчают тысячи важных дел, я готов уделить вам столько времени, сколько понадобится, и сообщить все нужные вам сведения.

Лепсиус вынужден изобразить мимикой глубочайшую благодарность.

– С тех пор как мы с друзьями возглавили правительство, – говорит генерал, – мы неизменно старались оказывать армянскому мил-лету всяческое содействие и проявлять абсолютную справедливость. Существует давнишняя договоренность. Ваши армянские друзья горячо приветствовали нашу революцию и давали всевозможные клятвы верности. А затем вдруг нарушили эти клятвы. До поры до времени мы старались не замечать происходящего, пока это было возможно, пока турецкий народ, оплот государства, не оказался под угрозой. Мы ведь живем в Турции, не так ли? Когда разразилась война,

стало больше случаев государственной измены, предательства, заговоров, невероятно усилилось дезертирство; когда же дело дошло до открытого мятежа – я имею в виду крупное восстание в Зейтуне, – тогда мы были вынуждены предпринять контрмеры, если хотели сохранить право называться народным правительством и вести войну.

Лепсиус кивает головой, – кажется, он вот-вот согласится с генералом.

– Ваше превосходительство, в чем выразились доказанные на суде факты государственной измены и предательства?

Энвер широко разводит руками, как бы говоря, что доказательств целый ворох, их не счесть.

– Тайный стовор с Россией. Достаточно показательны хвалы, которые расточал армянам Сазонов в Государственной Думе, затем заговор с французами и англичанами. Интриги, шпионаж – все, что только можно вообразить.

– Велось ли по поводу этих дел законное судебное разбирательство?

– Конечно же, военным трибуналом. У вас поступили бы точно так же. Совсем недавно осуждены и публично казнены пятнадцать опаснейших преступников.

«Наивная наглость», – отмечает про себя Лепсиус. Он откидывается на спинку кресла и старается совладать с дрожью в голосе:

– Насколько мне известно, эти пятнадцать армян были арестованы задолго до войны, следовательно, их никак нельзя было судить на основании действующих законов военного времени.

– Мы сами вышли из революции, – отвечает генерал нехотя, весело, как мальчик, вспоминая милые шалости. – Мы хорошо знаем, как это делается.

Лепсиус сдерживает готовое сорваться с языка крепкое словцо насчет этой их революции и, откашлявшись, задает новый вопрос:

– Стало быть, армянские общественные деятели и интеллигенция, которых здесь, в Стамбуле, арестовывали и высылали, тоже избалованы в государственной измене?

– Согласитесь же, что здесь, в непосредственной близости к Дарданелльскому фронту, мы не можем терпеть даже потенциальных государственных изменников.

На это Иоганнес Лепсиус не возражает, но вдруг с азартом ставит свой основной вопрос:

– А Зейтун? Мне крайне важно услышать мнение вашего превосходительства о Зейтуне.

Безукоризненная любезность Энвера-паши несколько тускнеет, приобретает более официальный характер.

– Восстание в Зейтуне – один из самых крупных и подлых мятежей в истории турецкого государства. Бои с повстанцами, к сожалению, стоили нашим войскам тяжелых потерь, я не могу вам по памяти привести точные данные.

– У меня другие сведения о Зейтуне, ваше превосходительство. – Лепсиус

наносит этот удар, отчеканивая каждое слово. – Согласно этим сведениям, ни в каком мятеже тамошнее население не участвовало, а зато на протяжении месяцев его провоцировали и притесняли местные власти и администрация санджака. Из сведений, которыми я располагаю, видно, что не произошло ничего такого, чего нельзя было бы устранить с помощью усиленного наряда полиции. Между тем каждому непредубежденному человеку ясно, что вмешательство военных сил в количестве нескольких тысяч солдат оказалось возможным только потому, что это входило в намерения властей.

– У вас неверные сведения, – с холодной учтивостью отвечает генерал. – Нельзя ли узнать источник вашей информации, господин Лепсиус?

– Я назову некоторые источники, но заранее предупреждаю, что среди них нет армянских. Напротив, я исхожу из содержания дословно известных мне докладов, составленных различными германскими консулами. Я располагаю записями миссионеров, которые были свидетелями самых чудовищных злодеяний. Наконец, я получил полное, безупречное изложение хода событий от американского посла, мистера Моргантау\*.

---

\* Генри Моргантау (1856-1946) – американский дипломат, в 1913-1916 гг. – посол США в Турции. Известен мемуарами, в которых изложены его беседы с Энвером, Талаатом и другими младотурецкими главарями. «Воспоминания посла Моргантау» изданы также в переводе на французский и армянский языки. В 1918 году напечатана на французском языке другая его книга – «Самые страшные происшествия в истории», излагающая вкратце историю геноцида армянского народа в Турции.

---

– Мистер Моргантау, – высокомерно замечает Энвер-паша, – еврей. А еврей всегда фанатически становятся на сторону меньшинства.

Перед этой элегантно недоступностью доводам разума Лепсиус цепенеет. Руки и ноги у него сейчас холодны как лед.

– Дело не в Моргантау, ваше превосходительство, а в фактах. А факты вы не станете и не можете опровергать. Сотни тысяч людей уже на пути в ссылку. Власти говорят о переселении. Я же утверждаю, что это – мягко выражаясь – злоупотребление словом. Можно ли действительно народ, состоящий из крестьян, ремесленников, горожан, культурных людей, одним росчерком пера выселить в месопотамские пустыни и степи, в бескрайний песчаный океан, из которого бегут даже племена бедуинов? Но вряд ли вы задались такой целью. Слово «переселение» – постыдная маскировка. Депортация организована

властями так, что несчастные через неделю погибают в пути от голода, жажды и болезней или сходят с ума; курдам и бандитам, да и самим солдатам разрешено убивать юношей и мужчин, оказывающих сопротивление, а девушки и женщины обречены на бесчестие или угон.

Генерал вежливо и чрезвычайно внимательно слушает, но досадливое выражение его лица говорит: «Эту нудную болтовню мне приходится слушать по десять раз в день». Кажется, он больше занят своими манжетами: то и дело оправляет их белой женственной рукой.

– Весьма прискорбно! Однако командующий большой армией отвечает за безопасность района военных действий.

– Район военных действий! – вскрикивает Лепсиус, но тут же спохватывается и пробует говорить так же спокойно, как Энвер. – Район военных действий – вот единственный новый аргумент. Все остальное

– Зейтун, государственная измена, интриги, – все это уже было. Такие средства Абдул Гамид использовал мастерски, и вы хотите, чтобы армяне всему этому верили? Я старше вас, ваше превосходительство, и я уже пережил все это на месте событий. Но когда я вспоминаю прошлое, я готов многое простить старому грешнику. Он был дилетантом, невинным младенцем, если сравнить его приемы с новыми методами депортации. Но ведь ваша партия захватила власть, чтобы на смену кровавому режиму старого султана пришли справедливость, прогресс и всеобщее единство. Об этом, ваше превосходительство, говорит ведь и название вашего комитета.

Это смелый, но опрометчивый удар. Секунду Иоганнес Лепсиус ждет, что военный министр встанет и прекратит разговор. Но Энвер спокойно сидит на месте, и его сияющая любезность ничуть не омрачена. Он даже доверительно наклоняется к собеседнику:

– Я задам вам встречный вопрос, господин Лепсиус. К счастью, у Германии нет или совсем мало внутренних врагов. Однако предположим, обстоятельства изменились: ей угрожают внутренние враги, скажем французы в Эльзасе, поляки, социал-демократы, евреи, и их значительно больше, чем сейчас. Разве в этом случае вы, господин Лепсиус, не одобрили бы любые меры, которые освободили бы от внутренних врагов вашу страну, ведущую тяжкую борьбу и осажденную бесчисленными внешними врагами? Разве вы и тогда сочли бы чрезмерной жестокостью, если бы опасную для положительного исхода войны часть населения попросту выслали бы в отдаленные, безлюдные районы?

Иоганнесу Лепсиусу приходится держать себя в узде, чтобы не сорваться, не вскочить с места, размахивая руками.

– Если бы правители моего народа, – почти кричит он, – несправедливо, бесчеловечно – он чуть не сказал: «не по-христиански» – поступили бы со своими иноплеменниками или инакомыслящими, я бы тотчас же отрекся от Германии и переселился в Америку!

Энвер-паша широко раскрыл глаза:

– Можно пожалеть о Германии, если там еще кто-то рассуждает, как вы!

Это было бы признаком того, что у вашего народа не хватает сил осуществлять свою национальную волю.

В эту минуту пастора охватывает невероятная усталость. Она вызвана сознанием, что этот маленький решительный человечек по-своему прав. Жестокая мудрость мира всегда берет верх над Христом. Но самое горькое, что на мгновение Лепсиус поддался доводам Энвера, и они ослабили его боевой дух. Камнем на сердце легла мысль о том, что судьба его собственной родины во мраке. Он шепчет:

– Ваше сравнение ничем не обосновано.

– Разумеется, не обосновано. Но говорит в нашу пользу. Ибо нам, туркам, во сто крат труднее, чем немцам, дается самоутверждение.

Лепсиус в приступе мучительной рассеянности вынимает из кармана носовой платок, держит его в руках словно белый флаг парламентаря.

– Сейчас речь идет не о защите от внутреннего врага, а о планомерном истреблении другого народа.

Он говорит вяло, с паузами, хладнокровие Энвера его угнетает, он обводит усталыми глазами кабинет, портреты героев. Уж не стоит ли там где-нибудь монсеньер Завен, патриарх? Лепсиус тотчас же вспоминает, что должен говорить об «экономике». Он собирается с силами для очередного рывка.

– Ваше превосходительство, я не так дерзок, чтобы злоупотреблять вашим временем ради пустых разговоров. Я осмелюсь привлечь ваше внимание к неприятным обстоятельствам, которые вам, вероятно, не вполне ясны, и это понятно, если учесть, какое бремя обязанностей несет главнокомандующий. Возможно, что я лучше вашего знаю жизнь внутри страны, в Анатолии, Сирии, так как я многие годы работал там в самых трудных условиях.

Чувствуя, что время истекает, Лепсиус торопливо излагает свои тезисы. Без армянского народа турецкое государство потерпит крах в области экономики и культуры, а следовательно, и в войне. Почему? Он не станет говорить о торговле, которая на девяносто процентов находится в христианских руках. Его превосходительство знает так же хорошо, как и он, Лепсиус, что всем импортом ведают армянские фирмы и что, следовательно, только эти фирмы могут обеспечить решение важнейшие задач, связанных с ведением войны, например снабжение сырьем и фабрикатами. Достаточно назвать всемирно известную фирму «Аветис багратян и наследники», у которой есть филиалы, конторы, представительства а двенадцати европейских городах, уничтожить такое предприятие гораздо легче, чем найти ему замену. Что же касается положения внутри страны, то он, Лепсиус, много лет назад убедился, что у армян сельское хозяйство находится на неизмеримо более высоком уровне, чем у турок. Уже в те годы киликийские армяне закупили в Европе сотни молотилок и паровых плугов: вот они и дали туркам повод для погрома: турки не только убили в Адане десять тысяч человек, но и разбили на куски молотилки и паровые плуги. В этом, и ни в чем другом, – источник всех бед. Десятки лет армянский народ, эта наиболее культурная и деятельная часть населения Оттоманской империи, прилагает гигантские усилия, чтобы избавить

страну от древнего натурального хозяйства и приобщить ее к новому миру современного земледелия и начинающейся индустриализации. И именно из-за своей благословенной, пионерской деятельности он становится жертвой мести насильников и ленивцев. Предположим, ваше превосходительство, что находящиеся сейчас в руках армян ремесла, промыслы, кустарные предприятия перейдут в руки турок. Но кто заменит многочисленных армянских врачей, получивших образование в Европе и лечащих турок так же добросовестно, как и своих соплеменников? Кто заменит многочисленных инженеров, адвокатов, учителей, чей неустанный труд движет страну вперед? Ваше превосходительство возразит мне, что в случае необходимости можно обойтись и без интеллекта. Но без желудка не проживешь. Между тем у Турции вырезают желудок в надежде, что она выдержит такую операцию!

Чуть склонив голову набок, Энвер-паша учтиво выслушивает эту речь до конца. Внешний облик Энвера безупречен: блистательный, молодеватый, хоть и втайне скованный внутренней неуверенностью, он под стать его мундиру, на котором нет ни единой не предусмотренной портные складки. Зато пастор уже не владеет собой. Он в поту, галстук съехал набок, рукава рубашки смялись. Генерал скрестил свои короткие, но стройные ноги. Блестящие лакированные сапоги сидят на них, как на сапожных колодках.

– Вы говорите о желудке, господин Лепсиус, – ласково улыбается он, – что ж, возможно, у Турции после войны будет пустой желудок.

– У нее совсем не будет желудка, ваше превосходительство!

Не обижаясь, генералиссимус продолжает:

– Турецкий народ – это сорок миллионов человек. Попробуйте, господин Лепсиус, стать на наше место. Разве это не великий и благородный политический замысел – сплотить сорок миллионов человек и основать национальное государство, которое когда-нибудь станет играть в Азии такую же роль, какую играет Германия в Европе? Страна ждет этого. Мы только должны взяться за дело. У армян, бесспорно, многочисленная интеллигенция, и это вызывает тревогу. Вы в самом деле сторонник подобного рода интеллигенции, господин Лепсиус? Я лично – нет! У нас, турок, мало таких интеллигентов. Зато мы древняя героическая раса, призванная основать великое государство и властвовать в нем. А через препятствия мы просто перешагиваем.

Лепсиус судорожно сжимает руки, но не произносит ни слова.

Этот распоясавшийся, избалованный мальчишка – неограниченный властелин огромной державы. В его красиво вылепленной маленькой головке обольстителя роятся цифры, которые изумили бы каждого, знающего истинное положение вещей. Пастора Энвер не может ввести в заблуждение, так как тот достоверно знает, что в Анатолии не наберется и шести миллионов чистокровных турок. Если поискать в северной Персии, на Кавказе, Кашгаре и в Туркестане, то вместе с тюркскими племенами, живущими в шатрах, и конокрадами, кочующими по степи, они едва ли составят двадцать миллионов. Какие иллюзии порождает дурман национализма!

И в то же время Лепсиус чувствует жалость к этому щуплому богу войны,

к этому инфантильному антихристу.

Неожиданно для себя он говорит проникновенным, тихим голосом:

– Ваше превосходительство, вы хотите основать новую империю. Но под фундаментом ее будет лежать труп армянского народа. Принесет ли это вам счастье? Не лучше ли изыскать мирное решение сейчас?

И тут Энвер-паша впервые раскрывает глубокую и истинную суть происходящего. Глаза его смотрят непреклонно и холодно, сдержанная улыбка сошла с лица, и вдруг он скалится, показывая большие, хищные зубы.

– Между человеком и чумной бациллой мир невозможен, – говорит он.

Лепсиус немедленно переходит в наступление:

– Так вы откровенно признаете, что намерены использовать войну для поголовного истребления армянского народа?

Генерал, безусловно, зашел слишком далеко. Он тут же отступает, снова замыкается в неприступной крепости своей обязательной необязательности.

– Мое личное мнение и мои замыслы полностью отражены в коммюнике, опубликованном нашим правительством. Мы действуем ныне исходя из требований войны и необходимой самообороны. До этого мы достаточно долго следили за ходом событий. Подданные государства, ставящие своей целью его разрушение, караются всюду по всей строгости закона. Так что наше правительство действует в согласии с законом.

Опять все сначала! У Лепсиуса вырвался стон. В ушах звучит голос монсеньера Завена: «Не морализировать? Сохранять деловой тон! Аргументы!» О, если бы он был способен, пуская в ход острые как меч аргументы, сохранять деловой тон! Его нервы напряжены до предела уже хотя бы оттого, что он не может вскочить, прикован к креслу. Ему, прирожденному оратору, привыкшему говорить с церковной кафедры и на собраниях, нужно пространство, он должен свободно двигаться!

– Ваше превосходительство, – он поднес руку к своему прекрасному лбу, – я не буду сейчас высказывать общеизвестные истины, говорить, что нельзя заставлять весь народ расплачиваться за происки отдельных людей; нет, я не стану спрашивать, почему обрекают на мучительную смерть женщин и детей, маленьких детей, – таким ребенком были когда-то и вы. Их зверски уничтожают, принося в жертву политике, тогда как о политике они и слыхом не слыхали. Ваше превосходительство! Я хотел бы, чтобы вы подумали о вашем будущем и о будущем вашего народа. Когда-нибудь придет к концу и эта война. И тогда Турции придется вести мирные переговоры. Да будет этот день счастливым для всех нас! Но, если этот день окажется несчастливym, что тогда, ваше превосходительство? Не должен ли ответственный руководитель страны заранее подумать о том, как сложатся обстоятельства при неблагоприятном исходе войны? В каком положении окажется турецкая делегация на мирных переговорах, если ее встретят вопросом: «Где брат твой Авель?». Пренеприятное положение! И вот тогда-то державы-победительницы, памятуя о великой вине Турции, беспощадно разделят добычу, от чего избави нас бог! Каково придется тогда верховному руководителю народа, генералу

Энверу-паше, принявшему на себя всю полноту ответственности, генералу, чья власть была безгранична? Как тогда оправдается он перед своим народом?

Лицо Энвера-паши принимает мечтательное выражение, и он отвечает без всякой иронии:

– Благодарю за превосходно сформулированное предупреждение. Однако тот, кто ввязывается в политику, должен обладать двумя качествами. Во-первых, известным легкомыслием, или, если угодно, презрением к смерти, что, пожалуй, одно и то же; во-вторых, нерушимой верой в правильность своих решений, если уж он их принял.

Пастор Лепсиус встает. Он почти по-восточному скрестил руки на груди. Посланный богом ангел-хранитель армянского народа имеет жалкий вид. Носовой платок высунулся из кармана, одна штанина завернулась до колена, галстук съехал набок. И стекла пенсне, должно быть, запотели.

– Заклинаю вас, ваше превосходительство, – он склоняется перед генералом, который остался сидеть, – сделайте так, чтобы сегодня с этим было покончено! Вы дали внутреннему врагу – врагом, впрочем, не являющемуся – такой урок, какого в истории не найти. Сотня тысяч людей мучаются и умирают на проселочных дорогах Востока. Положите этому сегодня же конец! Прикажите приостановить новые распоряжения о выселении. Я знаю, что еще не все вилайеты и санджаки опустошены. Если вы ради германского посла и ради господина Моргентау откладываете большие депортации в западной части Малой Азии, то пощадите ради меня Северную Сирию, Алеппо, Александретту и побережье! Скажите: довольно! И я, вернувшись в Германию, буду славить ваше имя!

Генералиссимус несколько раз вежливо указывает на стул, но пастор не садится.

– У вас, господин Лепсиус, преувеличенное представление о моих полномочиях, – заявляет наконец он. – Осуществлять подобные правительственные решения – функция министра внутренних дел.

Немец сбрасывает пенсне, так что становятся видны его покрасневшие глаза.

– Об этом я и веду речь. Не министр и не нали или мутесариф осуществляют приказания, а жестокие, бессердечные мелкие чиновники и унтер-офицеры. Разве вы или министр хотите, чтобы женщины рожали на дорогах и их, только что родивших, гнали дубинками дальше? Разве по вашему желанию целые участки дорог заражены разлагающимися трупами, а Евфрат запружен мертвецами? Да, мне известно, что именно так проводятся в жизнь инструкции.

Генерал, кажется, склонен пойти немцу навстречу:

– Я ценю вашу осведомленность о положении в стране. Я отнесусь с вниманием к вашим письменным предложениям о том, как все это улучшить.

Но Лепсиус простирает руки:

– Пошлите меня в глубь страны! Это и есть мое первое предложение! Даже



старый султан не отказывал мне в подобной просьбе. Дайте мне полномочия организовать перевозку ссыльных. Господь пошлет мне сил, а такой опыт, как у меня, едва ли есть у кого другого. Мне не нужно ни пиастра от турецкого правительства. Деньги, сколько понадобится, я раздобуду. Немецкие и американские благотворительные учреждения меня поддерживают. Мне уже удалось однажды организовать помощь в широких масштабах. Я основал много сиротских приютов и больниц, помог оборудовать свыше пятидесяти хозяйственных предприятий. Я и сейчас, несмотря на войну, сделаю не меньше. Через два года вы сами, ваше превосходительство, будете мне благодарны.

На этот раз Энвер-паша слушал не только учтиво, но и с напряженным вниманием. Но и Лепсиус на сей раз увидел такое, с чем никогда в жизни не встречался. Мальчишеское лицо генерала исказилось вдруг не выражением язвительной жестокости и цинизма, нет! Полярным холодом повеяло от человека, «преодолевшего всяческую сентиментальность», от человека, недоступного чувству вины, мукам совести. Лепсиус смотрит на красивое, тонкое лицо человека незнакомой, но ошеломительной породы, видит перед собой олицетворение страшной, почти невинной примитивности, полного безбожия. И какой же силой, значит, оно обладает, если не испытываешь к нему ненависти!

– Ваши благородные намерения, – говорит с признательностью Энвер, – заинтересовали меня, но я, разумеется, должен их отклонить. Высказанные вами пожелания как раз и показали мне, что мы до сих пор друг друга не понимали. Если я разрешу иностранцу оказывать армянам помощь, я создам прецедент, который можно истолковать как признание права на вмешательство иностранцев, а значит, и иностранных держав. Таким образом я свел бы к нулю всю мою политику, которая должна проучить армянский народ, показать ему, к каким последствиям ведет тяга к иностранному вмешательству. Армяне тоже ничего бы не поняли: сначала я их наказываю за изменнические стремления и надежды, а потом вдруг присылаю к ним одного из самых влиятельных их друзей, чтобы вновь пробудить эти стремления и надежды. Нет, господин Лепсиус, это невозможно, я не могу разрешить иностранцу оказывать этим людям благодеяния. Армяне только в нас должны видеть своих благодетелей.

Пастор валится в кресло. Все пропало! Полный крах! Говорить больше не о чем. Был бы этот человек только злым, хотя бы даже самым сатаной. Но он не злой и не сатана, в нем есть даже что-то по-детски симпатичное, в этом беспощадном организаторе массовых убийств.

Лепсиус задумался и не сразу постиг всю наглость сделанного Энвером предложения, которое тот изложил в доверительном тоне:

– Я делаю вам контрпредложение, господни Лепсиус. Соберите деньги у ваших благотворительных обществ в Америке и в Германии, много денег. Эти суммы затем принесите мне. Я их употреблю в полном согласии с вашими планами и по вашему указанию. Но ставлю вас в известность, что не потерплю никакого контроля со стороны немца или другого иностранца.

Не будь Лепсиус так ошеломлен, он бы расхохотался. Смех разбирает при

мысли, как употребили бы в Турции по указанию Энвера-паши собранные пастором деньги.

Лепсиус молчит. Он потерпел поражение. Правда, и до беседы он был настроен безнадежно, однако сейчас ему кажется, что весь мир рухнул. Чтобы не совсем потерять лицо, пастор набирается духу, приводит себя в порядок, несколько раз вытирает носовым платком лоснящийся лоб и встает.

– Я не хочу думать, ваше превосходительство, что этот час, который вы мне подарили, будет вовсе бесплоден. В Северной Сирии, на побережье, живут еще сотни тысяч христиан, вдали от всех районов военных действий. Убежден, что ваше превосходительство сочтет целесообразным воздержаться от бессмысленных мероприятий.

Юный Марс снова скалится, обнажает в улыбке зубы.

– Будьте уверены, господин Лепсиус, что наше правительство избегает излишней жестокости.

Как всегда в подобных политических беседах, последние реплики с обеих сторон – чистая формальность, пустая комедия, цель которой оставить встречу незавершенной. Энвер-паша не сделал ни малейшей уступки. Что следует считать «излишней жестокостью» – осталось на его усмотрении. Но и Лепсиус говорил сознавая, что это пустые слова, нужные только как концовка.

В отличие от Лепсиуса генерал сейчас особенно изящен и подтянут. Он пропускает гостя вперед и даже делает вместе с ним несколько шагов; затем несколько удивленно, но бесстрастно смотрит вслед пастору, который, пошатываясь, словно слепой, ощупью бредет по анфиладе комнат, сквозь двери с колышавшимися занавесями.

Энвер-паша входит в апартаменты Талаата-бея. Чиновники вскакивают. Лица сияют восторгом. Еще не угасла та почти мистическая любовь, которую питают даже канцелярские крысы к пленительному богу войны. Из уст в уста передаются сотни легенд, прославляющих его безумную храбрость. Когда во время войны в Албании взбунтовался артиллерийский полк, Энвер с сигаретой в зубах встал перед стволом гаубицы и крикнул бунтовщикам: «Стреляйте!»

На его холеном лице народ видит отблеск сияния мессии, он посланник бога, который воскресит империю Османа, Баязета и Сулеймана.

Энвер весело здоровается с чиновниками. Бурный восторг. Угодливые руки экзальтированных поклонников спешат одну за другой распахнуть перед ним двери канцелярских помещений, ведущих в кабинет Талаата-бея.

Для громоздкой фигуры министра кабинет слишком мал. Когда этот богатырь встает из-за стола – вот как сейчас, – он заслоняет собой все окно. Крупная голова Талаата на висках седая. Восточного склада лицо, мясистые губы, черные как смоль усики. Уголки стоячего воротника сжимают тяжелый двойной подбородок. Выпирающее брюшко обтянуто пикейным жилетом, белизна которого, должно быть, символизирует чистосердечие. Когда Талаат-бей встречается со своим соратником по дуумвирату, у него неизменно возникает потребность своей могучей медвежьей лапой отечески погладить по плечу этого юного баловня судьбы. И всякий раз этому дружескому жесту

мешает излучаемая Энвером непроницаемая застенчивость.

При всем том Талаат обладает кипучей энергией; он светский человек и оратор, отличающийся шумным апломбом и способный припереть к стенке хоть пять дипломатов зараз; а народный кумир Энвер, супруг принцессы, султанской дочери, иной раз на большом приеме стоит в стороне один, смущенный, задумчивый.

Талаат опускает свою огромную мясистую руку и ограничивается вопросом:

– Был у тебя немец?

Энвер-паша смотрит на Босфор, на его плещущие волны, на снующие пароходики и игрушечные киики, на кипарисы и развалины, которые сейчас кажутся нереальными, плохо нарисованными декорациями. Затем оборачивается и оглядывает пустой кабинет; взгляд его останавливается на старом телеграфном аппарате, который, как драгоценная реликвия, стоит на покрытом ковровой скатертью столике. На этом жалком аппарате мелкий почтовый служащий, телеграфист Талаат выстукивал азбуку Морзе, пока резолюция Иттихата не возвысила его до положения видного государственного деятеля в царстве калифа. Пусть каждый посетитель воздаст должное, дивясь этому убедительному свидетельству головокружительной карьеры. Вот и Энвер благожелательно и долго рассматривает многоговорящий аппарат прежде чем ответить на вопрос Талаата.

– Да, тот самый немец. Попытался припугнуть рейхстагом.

Из этого замечания можно заключить, сколь прав был патриарх Завен, предупреждая Лепсиуса, что всякие уговоры и призыв к человеческим чувствам с самого начала обречены на неудачу.

Секретарь приносит пачку депеш, которые Талаат подписывает стоя. Не отрывая глаз от бумаг, он говорит:

– Эти немцы боятся быть скромпрометированными соучастием. Но им еще придется обращаться к нам с просьбами почище, чем хлопоты об армянах.

Разговор о депортации на этом бы и кончился, если бы Энвер не кинул любопытный взгляд на телеграммы. Талаат перехватил этот взгляд и отодвинул бумаги:

– Подробные инструкции для Алеппо! Думаю, дороги уже освободились. В ближайшие недели можно будет отправить этапы из Алеппо, Александретты, Антиохии и со всего побережья.

– Антиохии и побережья? – переспрашивает Энвер и, кажется, хочет сделать какое-то замечание. Но ни звука не произносит и только пристально следит за толстыми пальцами Талаата, который в каком-то исступлении подписывает бумаги, одну за другой. Те же толстые, грубые пальцы написали незашифрованный приказ, адресованный всем вали и мутесарифам. Приказ гласил:

«Цель депортации – уничтожение».

Быстрый и энергичный росчерк свидетельствует о непреклонности, не знающей сомнений.

Министр расправляет спину, все свое грубо сколоченное тело.

– Так! Осенью я смогу сказать всем этим людям напрямик: *La question armenienne n'existe pas\**.

---

**\* Армянский вопрос больше не существует (франц).**

---

Энвер стоит у окна, он ничего не слышит. Думает ли о доставшихся ему владениях калифа, которые простираются от Македонии до передней Индии? Озабочен ли снабжением армии боеприпасами? Или мечтает о новых приобретениях для своего сказочного дворца на Босфоре? В огромном бальном зале он велел поставить свадебный трон, который принесла в приданое Наджийе, дочь султана. Четыре колонки из позолоченного серебра поддерживают звездное небо над тронном – балдахин из византийской парчи.

Иоганнес Лепсиус все еще бредет по улицам Стамбула. Уже за полдень. Час обеда упущен. Пастор не решается идти к себе, в отель «Токатлян». Это армянская гостиница. Ужасом и унынием охвачены там все, от хозяина и гостей до последнего официанта и мальчика-лифтера. Они знают, куда он пошел, знают, что он задумал. Как только он вернется, он станет предметом всеобщего внимания.

Пускай сыщики и соглядатаи, которые по приказанию Талаата-бея ходят за ним по пятам, стараются сколько угодно. Но вот беда – Лепсиуса уже много часов ждут друзья-армяне в безопасном месте. Среди них Давтян, бывший председатель Армянского национального собрания; он – один из недавно арестованных армянских деятелей, он совершил побег и теперь прячется в Стамбуле. У Лепсиуса не хватает сил и мужества предстать перед этими людьми. Если он не придет, им станет все ясно и, надо надеяться, они разойдутся. Даже самые мрачные пессимисты среди них (впрочем, все они мрачнейшие пессимисты, – это так естественно), даже они считали, что вовсе не исключено, что пастору разрешат поездку в глубь страны. Это хоть что-то дало бы.

Пастор забрел в городской сад. И здесь все по-праздничному. На спинках скамеек колышутся гирлянды цветов. На шестах и фонарных столбах реют флаги с полумесяцем. Человеческая масса, омерзительная людская гуща, теснится между клумбами по дорожкам, посыпанным гравием. Шатаясь, в каком-то забытии, Лепсиус замечает скамейку, на которой есть одно свободное место. Садится. Перед глазами поплыл переливающийся красками полукруг. И

в ту же секунду грянул турецкий военный оркестр, завизжала, заливаясь трелями, музыка янычар\*. Свистки, дудки, флейты, пронзительный голос кларнета, грохот меди – все эти звуки слились, режут слух как острый нож, скользят то вверх, то вниз по ступенькам гаммы, а время от времени врывается фанатичный лай турецких барабанов, позвякивание бунчука, пронизанный ненавистью шип турецких тарелок. Иоганнеса Лепсиуса захлестнула эта музыка, она ему уже по горло, он будто в ванне с битым стеклом. Но не ищет избавления, готов принять муки, прижать к телу это битое стекло. И вот Иоганнесу Лепсиусу дается то, в чем отказал ему Энвер-паша. Он – звено в длинной веренице людей, обреченных на ссылку. Среди доверенного ему богом народа бредет он мысленно то по каменистым, то по болотистым проселкам Анатолии. А не проклиная ли его сейчас родные и близкие, чьи тела разрывают на части снаряды в Аргоннах, на полях Подольщины, Галиции, на морях и в воздухе? Разве нескончаемые поезда с ранеными не менее страшное зрелище, от которого нельзя не завопить? Разве у раненых и умирающих немцев не такие же, как у армян, глаза? У Лепсиуса кружится голова от усталости и от музыки янычар, в которую он погружается все глубже.

---

\* Янычары (тур. *yeniceri* – букв. новое войско) – регулярная турецкая пехота, выполнявшая в стране жандармские функции и являвшаяся оплотом трона. Создана в XIV веке. Первоначально вербовалась из военнопленных, а позже – из мальчиков христианского населения, которых насильственно отбирали у родителей и приучали к военному делу. Упразднена в XIX веке.

«Янычарская музыка» – исполнялась оркестром, состоявшим преимущественно из ударных инструментов. Отличалась очень шумным характером.

---

В визгливую, неистовую музыку врываются новые звуки, громopodobный гул, который все усиливается. Он доносится с неба. Турецкая эскадрилья кружится над Стамбулом, сбрасывает порхающие в воздухе облачки прокламаций. Иоганнесу Лепсиусу ясно – хоть он и не знает почему, – монопланы, что носятся по небу, это воплощение первородного греха, венец гордыни человеческой. Он блуждает в открывшейся ему истине, как в огромном дворце, как в министерстве внутренних дел. Горят трепещущие занавеси, и ему вспоминается одно место в Откровении святого Иоанна, он процитирует его в своей будущей проповеди: «...По виду своему саранча была подобна коням, приготовленным на войну... на ней были брони, как бы брони железные, а шум от крыльев ее – как стук от колесниц... у ней были хвосты,

как у скорпионов, и в хвостах ее были жала; власть же ее была – вредить людям пять месяцев...»\*

---

\* Откровение святого Иоанна, 9. Верфель цитирует текст Апокалипсиса не подряд, многоточия проставлены им.

---

Лепсиус вздрагивает в испуге: нужно изыскать новые средства и пути. Если германское посольство не в состоянии ничего сделать, может, австрийский маркграф Паллавичини, личность выдающаяся, будет удачливей? Он мог бы пригрозить репрессиями, ведь мусульмане Боснии – австро-венгерские подданные. Да испанские предупреждения были чересчур мягкими. Но еще миг – и к Лепсиусу приближается Энвер-паша, а на устах его та же незабываемая улыбка. Застенчивая? Нет, это не то слово, так не назовешь эту не то мальчишескую, не то девичью улыбку великого убийцы. «Господин Лепсиус, мы будем придерживаться политики, отвечающей нашим интересам. Воспрепятствовать нам может только держава, которая выше всех интересов и не замешана ни в каких мерзостях. Если вы найдете такую державу в дипломатическом справочнике, то позволяю вам снова явиться ко мне в министерство».

Лепсиуса знобит, трясет как в лихорадке, так что сидящие рядом с ним женщины в покрывалах поднимаются и, пугливо озираясь, уходят. Он этого не замечает, его осенила горестная догадка: ничего больше сделать нельзя. Помощи ждать неоткуда. Истина, которую еще несколько недель назад постиг священник Тер-Айказун в Йогонолуке, открывается сейчас и пастору Иоганнесу Лепсиусу: «Мне остается только одно – молиться».

Мимо него движется праздничная, шумная толпа, раздается женский смех, детский визг. Толпа валит к военному оркестру, а пастор, закрыв глаза, то мотает головой, то молитвенно складывает руки или воображает, что делает это. Но в душе уже звучит: «Отче наш, иже еси на небеси, да святится имя твое...»

Но что случилось с «Отче наш»?! В каждом слове таится бездна, которую взглядом не охватить. Уже при слове «наш» или «мы» теряешь голову. Кто вправе еще произнести «мы», если Христос – тот, кто вяжет и решает, на третий день вознесся на небо? Без него все прочее – смердящая гора черепков и костей вышиною с полвселенную. Лепсиус вспоминает запись в дневнике матери, которую она сделала пятьдесят шесть лет назад, когда его крестили:

«Да будет имя его Иоганнес всегда мне напоминанием, что моя великая и святая задача – вырастить из него истинного Иоанна, иными словами, такого,

какой по-настоящему любит Господа и идет по его стопам». Стал ли он истинным Иоанном? Исполнен ли он до краев веры, чувства, которое не выразить словами? Ах, вера моя грозит иссякнуть, если ослабеет тело. Опять дает себя знать сахарная болезнь. Надо быть поосторожней в еде. Ничего сладкого, мучного, никакого картофеля. Возможно, Энвер спас его тем, что не разрешил поездку в Анатолию.

...Позвольте, что здесь делает швейцар гостиницы «Токатлян»? С каких пор носит он барашковую офицерскую шапку? Уж не Энвер ли его прислал? Швейцар вежливо подает ему тескере, внутренний паспорт. На паспорте фотография Наполеона с его собственной подписью. И в самом деле, у вращающейся двери гостиницы его ждет эшелон ссыльных. Друзья в сборе. Давтян и все другие. Они весело ему кивают. «Наши прекрасно выглядят», – думает пастор. Даже в самой страшной действительности, когда столкнешься с нею лицом к лицу, находится что-нибудь утешительное. Привал сделали на берегу какой-то реки, под отвесными скалами. Есть даже палатки. Наверное, Энвер тайно разрешает кое-какие поблажки.

Когда все улеглись, к Лепсиусу подходит высокий армянин в одежде, сверху донизу забрызганной илом. Говорит как-то странно торжественно, на ломаном немецком языке:

– Смотри. Этот бушующий поток – Евфрат. А вон там мои дети. Перебрось свое тело с этого берега на тот, тогда у детей моих будет мост.

Лепсиус притворился, что счел это шуткой.

– Тогда вам с детками придется чуточку подождать, пока я немножко подрасту.

И вдруг он начинает расти с чудесной быстротой. Руки и ноги сами собой вытягиваются бесконечно далеко. Теперь-то он может преспокойно исполнить просьбу армянина. Но до этого не доходит, потому что Иоганнес Лепсиус теряет равновесие и чуть не падает со скамейки.

– Какой ужас! – Он говорит это сегодня второй раз.

Сейчас это относится к жажде, которая его мучит. Он вскакивает, вбегает в ближайший кабачок и, пренебрегая предписаниями врачей, осушает целый стакан напитка со льдом. Одновременно с приятным ощущением у него возникают новые, смелые планы.

– Я не сдамся, – смеется он.

Его бездумный смех означает объявление войны Энверу-паше. А в эту самую минуту личный секретарь Талаата-бея вручает дежурному телеграфисту те самые правительственные депеши, в которых идет речь об Алеппо, Александретте, Антиохии и побережье.

## Глава шестая

## ВЕЛИКИЙ СХОД

С того дня, как почтенный вали Алеппо Джелал-бей отказался выполнить в подчиненном ему районе правительственный приказ о депортации, с того весеннего дня ничто больше не тормозило антиармянскую политику Энвера и Талаата; отныне все шло гладко, без чрезвычайных происшествий и нежелательных осложнений. Сначала, согласно установленному, тщательно продуманному порядку действий, каждый губернатор получал извещение из министерства, затем в определенный срок следовали приказы о проведении соответствующих мер. В виде исключения бюрократическая машина работала удивительно аккуратно, на радость чиновничьему сердцу. Получив надлежащую бумагу из министерства, вали отдельных провинций немедленно созывали на срочное совещание мутесарифов – начальников санджаков, которые входили в состав вилайета. К участию в совещании привлекались и высшие военные чины района. Открывал заседание его превосходительство вали, паша такой-то, речью примерно такого содержания:

– Господа, присутствующие на данном совещании имеют в своем распоряжении четырнадцать дней, дабы провести в жизнь указанные мероприятия. По прошествии этого срока последний эшелон депортируемого населения должен быть – живой или мертвый – за пределами вилайета. Возлагаю на вас ответственность за безотлагательное и радикальное выполнение приказа, хотя бы потому, что лично отвечаю за это перед господином министром внутренних дел.

Засим совещание обсуждало выработанный губернским управлением план депортации. Мутесарифы выступали с возражениями и поправками, генерал сообщал, какое количество солдат и заптиев командирует для конвоирования ссыльных. Примерно через час отзаседавшие вольны были отправиться в баню или кофейню, если только вали не давал тут же банкет.

Мутесарифы отбывали в свои резиденции. Там повторялась та же игра. Они в свою очередь созывали на совещание каймакамов – управляющих округами, из которых состоял санджак. К участию в совещании опять же привлекался местный военный комендант, но, разумеется, не в чине генерала. Теперь план разрабатывался применительно к местным условиям. Поэтому совещание в санджаке длилось дольше, чем предыдущее, проходившее на более высоком уровне. Отзаседав, господа эти тоже отправлялись в кофейню или баню, а по поводу «армянской сволочи, которая в разгар войны доставляет столько хлопот», изъяснялись на жаргоне турецкой черни.

Затем наступал черед каймакамов. Каймакамы собирали в окружных городах начальников районов – мюдиров; только эти заседания уже не именовались торжественно «совещаниями». Мюдиры были почти сплошь молодые люди, за исключением иных седовласых, чья карьера остановилась на чине майора гражданской службы. Каймакамы повторяли то же самое, что сказал вали мутесарифам, а Мутесарифы – каймакамам, правда не в столь изысканных выражениях:



– Вам дается столько-то дней сроку. К концу этого срока последнее стадо нечестивых свиней должно покинуть пределы нашего округа. Операция должна сойти без сучка, без задоринки. Отвечаете за это вы. Кто не справится, будет отдан под суд. У меня нет ни малейшего желания за чужие грехи быть уволенным на пенсию.

Нелегко приходилось мюдирам, проводникам этих репрессий. Нахиджие, подведомственные им округа, охватывали большие пространства, железнодорожного сообщения там почти не было, телеграф лишь в немногих местах, а поездка в колесном экипаже по ужасающим дорогам и горным тропам суцая пытка, так что мюдирам ничего другого не оставалось, как день и ночь скакать верхом, чтобы каждую деревню, каждый клочок земли, где жили армяне, своевременно поднять на ноги. Легко было вали, мутесарифу, каймакамам приказывать и возлагать ответственность. В городах это ведь детская игра. Другое дело, ежели под вашим началом девяносто семь усадеб, деревень, поселков, хуторов. Иной мюдир, если только он не был кудесником или законопослушным педантом, попросту решал пренебречь той либо другой отдаленной деревушкой. Многие мюдиры так и поступали, движимые натуральной ленью, ибо лень – один из важнейших стимулов человеческой деятельности. В других начальниках добродушная нерадивость сочеталась с умением обделывать под шумок свои делишки. Готовность «пренебречь мелочами» иногда хорошо оплачивалась, ибо армянский «маленький человек» и даже крестьянин далеко не беден.

Такие исключительные случаи нарушения служебного долга представляли опасность лишь там, где был жандармский пост. Но заптии и сами не прочь были поживиться. И что может быть прибыльнее дозволенного мародерства, раз власти закрывают на это глаза? Правда, имущество депортированных приказано было сдавать в казну. Но казна хорошо знала, что не в состоянии реализовать свои законные притязания и что ей выгоднее поддерживать служебное рвение исполнителей ее приказов.

В то время как в селамликах, кофейнях, банях и прочих общественных заведениях местный свет, иначе говоря те, кто привык читать газеты, обладал кое-каким запасом иностранных слов, не ходил в старинный турецкий театр теней, карагёз, зато посмотрел в Смирне или в Стамбуле несколько французских комедий, да к тому же еще знал имена Бисмарка\* и Сарры Бернар\*\*, – в то время как эти «образованные», сей прогрессивный средний класс безоговорочно принимал антиармянскую политику Энвера, простой турецкий человек, будь он из городских низов или крестьянин, держался совсем по-другому. Часто мюдир, привезший в деревню приказ о депортации, смотрел, не веря своим глазам, как турки и армяне собирались толпой и плакали вместе. Случалось ему с удивлением наблюдать и такое зрелище: у армянского дома плачет семья соседей-турок и не только напутствует благословенном «храни вас Аллах» застывших в скорби изгнанников, которые не оглядываясь, с сухими глазами переступают порог старого своего дома, но и дает им в дорогу еду, одаривает такими ценными подарками, как коза или вьючный мул. И

мюдиру доводилось порой видеть, как такая турецкая семья шла с депортированными много километров по пути изгнания. Бывало, соплеменники мюдира бросались к его ногам и молили:

– Оставь их с нами! Они не нашей веры, но они хорошие. Они нам братья. Оставь их с нами!

---

\* Бисмарк Отто Эдуард Леопольд фон Шенхауз (1815-1898) – немецкий государственный деятель, осуществивший воссоединение Германии «сверху».

\*\* Сара Бернар (1844-1923) – известная французская актриса, работала в театрах «Комеди Франсез», «Жимназ», «Одеон» и др. В 1893 году приобрела театр «Ренессанс», в 1898 г. – театр на площади Шатле в Париже, который получил название «Театра Сары Бернар». Много гастролировала, выступала и в России.

---

Но что толку? Даже самый терпимый мюдир соглашался на это разве что в одной или двух безымянных, глухих деревушках, втайне давая возможность этим крохам отверженной расы влачить жизнь под гнетом смертельного страха.

И вот они уходили, оступаясь, по сельским тропинкам, сворачивали на колесную дорогу, сливались на проселках с другими изгнанниками, чтобы спустя много дней выйти наконец на широкое шоссе, ведущее через Алеппо на юго-восток, в пустыню.

Монотонное шарканье миллионов ног, какого Земля от века не слышала.

Поход этой армии страдальцев был планирован и осуществлен с поистине стратегической предусмотрительностью. Об одном только забыли закулисные стратеги: о довольствии этой армии. В первые дни еще выдавали немного хлеба и булгура\*, но тогда еще не иссякли собственные припасы депортированных. В те первые дни каждый взрослый ссыльный имел право получить у онбаши (так назывался каптенармус, унтер-офицер эшелона) двенадцать пара'\*\*, – причитающиеся ему по закону деньги. Однако большинство не решалось обращаться с таким требованием, боясь навлечь на себя ненависть все сильного унтера; к тому же при тогдашней дороговизне за двенадцать пара можно было в лучшем случае купить несколько апельсинов или куриное яйцо.

---

\* Булгур – крупномолотая пшеница, очищенная от кожуры и заменяющая рис (турецк.).

\*\* Пара' – мелкая турецкая монета.

---

Час от часу все изможденней становились лица, все неверней миллионный шаг. Вскоре из недр этого ползучего существа доносились лишь прерывистые вздохи, кашель, стоны, иногда дикий, захлебывающийся вскрик. Постепенно это существо стало разлагаться. Люди все чаще валялись с ног и погибали в придорожных канавах, куда их сталкивали конвойные. На спины замедливших шаг людей со свистом обрушивались заптиевские дубинки. Заптии неистовствовали. Им тоже приходилось жить собачьей жизнью, покуда они не сдавали этап на границе своего уезда ближайшему жандармскому командованию. На первых порах еще велись списки депортированных. Когда же смертные случаи и болезни участились и все больше мертвецов и полумертвых – главным образом детей – конвой сбрасывал в канавы, регистрировать наличный состав стало занятием крайне обременительным, и онбаши отменил «эту писанину».

Да и кто спросит, чьи тела истлевают здесь в чистом поле? Кто отдал здесь богу душу? Саркис ли, Астхик или Апет, Ануш, Вардуи или Хорен?

Но не все заптии были свирепыми зверьми. Можно даже допустить, что среди них попадались и незлые люди. Но что было делать такому заптию? Ему дан строгий приказ к такому-то часу доставить это людское стадо в такое-то место. Он всем сердцем понимает мать, которая с воем бросается на дорогу и ногтями царапает землю, тщится вытащить свое мертвое дитя из канавы. Неоказанные уговоры не помогают. Проходят минуты за минутами, а до конечного пункта еще двенадцать километров.

Колонна остановилась. Искаженные лица. Тысячеустый безумный вопль.

Почему же эта людская масса, как она ни ослабла, не набросится на этого конвоира и его подручных, не разоружит их, не растерзает? Должно быть, жандармы боялись такого взрыва ярости, тут бы им и пришел конец. И вот один жандарм стреляет. Другие обнажают сабли, колют, режут острыми клинками безоружных. Тридцать, сорок мужчин и женщин корчатся на земле, истекают кровью. И от вида этой крови возбужденные палачи хмелеют, их охватывает древняя истступленная жажда познать женщин ненавистной расы. Силой овладевая беззащитной женщиной, они словно бы совершают насилие не только над человеком, но и над богом врага.

А потом заптии и сами не помнят, как это случилось.

Ковер-самород, сотканный из кровавых человеческих судеб.

Всегда одно и то же. На вторые сутки всех трудоспособных мужчин отделяют от остальных. Вот один из них – сорокашестилетний, хорошо одетый; он инженер; от семьи его отогнали силой, пустив в ход ружейные приклады. Младшей дочке этого человека – всего полтора года. Он зачислен в иншаат-табури – дорожно-строительный отряд. Пошатываясь, бредет он в

длинной колонне мужчин и, как помешанный, беспрерывно бормочет:

– Я же уплатил бедел... уплатил бедел...

Хватает за руку соседа по шеренге. От нестерпимой душевной боли его трясет как в лихорадке.

– Такого красивого ребенка ты, верно, в жизни не видел. Глаза у нее огромные, что твои блюдца. Если б я мог, я бы змеєю, на брюхе пополз за нею.

И снова бредет, оступаясь, одинокий, замкнувшийся в своем горе.

Вечером на склоне холма – ночлег; спят на голой земле. Инженер как будто тоже уснул.

Глубокой ночью он будит того же соседа:

– Ну вот они все и умерли, – говорит он. Теперь он спокоен.

В другом эшелоне шагает юная пара – жених и невеста. У жениха пробивается первый пушок над губой. Им грозит разлука – здесь тоже будут отбирать трудоспособных мужчин. Девушке приходит в голову спасительная мысль: переодеть суженого в женское платье. Хитрость удастся. И эти двое детей смеются, радуясь в простоте душевной удачному фокусу с переодеванием. Спутники предостерегают их: не рано ли радоваться? Вблизи небольшого города им встречаются чете\*, пришлая разбойничья шайка, вооруженные бандиты, занятые веселой охотой на женщин. В число отобранных попадает и юная невеста. Она прижимается к жениху:

– Бога ради, оставьте меня с ней. Моя сестра глухонемая, она не может без меня обходиться!

---

\* Чете или четники – в XV-XIX вв. так назывались участники (преимущественно гайдуки) партизанских отрядов на Балканском полуострове, боровшихся против османского ига. В XX веке название четники присвоили себе члены разных реакционных организаций.

---

– Пустяки, джанум! Красотка тоже пойдет с нами.

Их волокут в какую-то грязную трущобу. А там все становится ясно. Юношу убили сразу. Отрезали ему член, засунули труп в рот. Губы юноши были еще подкрашены хной, чтоб больше походить на девушку. После чудовищного надругательства над девушкой ее, голую, привязали к мертвому жениху: лицом к лицу – так чтобы окровавленный член касался ее лица.

...Ковър-самоход, сотканный из человеческих судеб, который никому не дано разъединить и распутать...

Еще одна мать. Много дней несет она в мешке за плечами свое умершее от голода дитя. Несет до тех пор, пока ее родственники, не в силах терпеть

трупный смрад, не жалуются заптиям.

А вот безумные матери из Кемаха. Песнопения их далеко разносятся над Евфратом; глаза их сияют, они бросают со скалы своих детей в реку, словно совершают угодное богу дело.

Вот священник, вардапет. Он становится на колени и, плача, молит мюдира:

– Сжался, эфенди, над этими невинными!

Но мюдир обязан отвечать как ведено:

– Не вмешивайся в политику! С тобой я имею право вести разговор только о церковных делах. Правительство уважает церковь.

Во многих эшелонах не происходило ничего чрезвычайного, никаких достойных упоминания ужасов – только голод, жажда, стертые в кровь ноги, болезни.

Но вот однажды в Мараше перед входом в госпиталь стояла немецкая сестра милосердия, она пришла на дежурство. Мимо госпиталя тянулась длинная безмолвная вереница ссыльных армян. Сестра милосердия стояла как прикованная, пока последний изгнанник не скрылся из виду. Она испытала нечто такое, чему и сама не находила слов: не жалость, нет! И не ужас, а какое-то неведомое прежде высокое чувство.

Вечером она писала родным:

«Я встретила большую колонну депортированных армян, они недавно высланы из своих деревень и в относительно хорошем состоянии. Мне пришлось долго ждать, пока вся колонна прошла. Я никогда не забуду этих минут. Мужчин немного, больше – женщины и дети. Многие – светловолосые, с большими голубыми глазами, и смотрят на нас так сурово и с такой естественной величавостью! Так, верно, смотрят ангелы на Страшном суде».

А бедные эти ангелы Страшного суда брели из Зейтуна, Мараша, Айнтаба и из вилайета Аданы; они шли с севера – из Сиваса, Трапезунда, Эрзерума; с востока – из Карпута и заселенного курдами Диарбекира, из Урфы и Битлиса. По ту сторону Тавра, не доходя до Алеппо, все эти эшелоны сплетались в единый бесконечный ползучий человеческий ковер.

Однако в самом Алеппо не происходило ничего, как и в многолюдных санджаках и казах вилайета. В мире и неприкосновенности раскинулось побережье, высился Муса-даг. Казалось, он знать не знает о страшном шествии, проходившем не так уж далеко от него.

Как долго тянулись эти недели! Жизнь в Йогонолуке, как принято говорить, шла своим чередом. Впрочем, здесь это выражение едва ли уместно даже в самом поверхностном его значении. Об «этом» люди не говорили, но самое жуткое было то, что они почти не разговаривали.

На полях и в садах, за прялкой и за токарным станком люди трудились по-прежнему, пожалуй, даже истовей и усердней, чем раньше. Местные торговцы ездили на еженедельный базар в Антиохию, и, как издавна повелось, турецкие скупщики приезжали в армянские деревни и неторопливо торговались из-за каждого пара, словно бы ничего особенного не произошло.

Все было как всегда и, однако, совсем по-иному. Казалось, люди погружены в гипнотический сон, когда можно, как наяву, заниматься повседневными делами. Им было все известно. Люди знали: жить им или не жить – вероятно, вопрос недель. Каждый знал это и все же не знал. И думал: может, детей Муса-дага минует опасность, если уж до сих пор ничего не случилось? Округ лежит в стороне, разве это не благоприятствует тому, чтобы власти о нем забыли? Не скрывается ли за этой глубокой тишиной добрый знак?

Вот почему каждый старался поддержать эту тишину, не разбудить Злых духов; вот почему каждый с головой уходил в дремотную суету будней, как будто в мире, где он жил, царила вечная безопасность. Пример этому подавали доктор Алтуни, аптекарь Грикор и даже сам Тер-Айказун. Старый доктор по-прежнему разъезжал верхом на осле, навещая больных, и все так же проклинал свою незадавшуюся жизнь, точно ничего худшего с ним уже не могло случиться.

По ночам Грикор совершал с учителями сократические прогулки и, показывая им звезды, непререкаемым тоном перечислял названия, диффы и удаленность от Земли, никто ему и не прекословил. А если от этих миллиардов километров у вас уже голова кругом, то едва ли до вашего слуха дойдет слабое эхо грянувшей катастрофы. На крыльях воображения Грикор со скоростью света возносился к звездам, крестным отцом которых сам же и был. Взгляда ввысь было ему довольно, чтобы объявить досужим вымыслом вести о депортации. Возможно, он и впрямь им не верил. Ведь черным по белому об этом нигде не написано! Армянские газеты больше уже не поступали, а в турецких раза два появлялись только какие-то туманные намеки официальных инстанций.

Тер-Айказун тоже, невзирая ни на что, отправлял свои обязанности. Преподавал в школе, служил торжественную литургию, объезжал, как всегда, свой приход. По его настоянию и в этом году совершилось освященное древним обычаем паломничество к монастырю святого Фомы, где с незапамятных времен происходит обряд жертвоприношения – матах, заклятие агнца. Правда, Тер-Айказун отменил, без объяснения причин, народное гулянье с музыкой и танцами до утра, которым обычно заключается обряд.

Естественно, что если местные властители умов сохраняли столь невозмутимое спокойствие, то приезжие, европейцы Гонзаго и Жюльетта, проявляли полную беспечность. А ведь Жюльетта и впрямь сказала однажды мужу:

– До осени я с тобой, милый, здесь не останусь. Меня начинает одолевать тревога за Францию. Последние дни я часто думаю о маме.

Муж ответил долгим загадочным взглядом, и Жюльетта поняла, что сказала что-то несообразное.

Габриэл продолжал свои разведочные поездки по окрестным деревням и даже расширил круг своих разысканий: на юге часто выезжал за пределы Суэдии, на севере доскакал на лошади до Бейлана, видел там заброшенные

виллы, принадлежавшие богатым армянам из Александретты. Раз только отважился он побывать в Антиохии. Мост через Оронт охраняли несколько заптиев, чего раньше не бывало. Они не спросили у Габриэля документы и равнодушно дали ему пройти. Ему подумалось: что, если и все другие сторожевые посты пропустят его в экипаже с Жюльветтой и Стефаном? Может, спасение достижимей, чем кажется? Но когда он переступил порог нового информационного бюро хюкюмета, в глаза ему бросилось большое объявление на стене, из которого стало ясно, что все обстоит куда хуже. Как явствовало из объявления, воспрещалось выдавать билеты на поезд и дилижанс всем армянам без исключения. Но особенно угрожающе звучали нижеследующие строки: «Каждый подданный армянской национальности, который будет обнаружен где бы то ни было за пределами своего местожительства без паспорта и разрешения на проезд, должен быть задержан и доставлен в ближайший лагерь депортированных».

Этот безжалостный, состоявшийся из нескольких пунктов приказ подписал преемник мужественного Джелала, угодливый Мустафа Абдул Халил-бей.

Невзирая на опасность, Багратян прошелся по базару. Узкая, прежде битком набитая людьми улочка была почти пустынна, имела запуганный, унылый вид. Армянские купцы, хоть депортация здесь еще не началась, заперли свои лавки и как сквозь землю провалились. Но и мусульманскому населению было несладко. Первое, чем воздалось Османской империи за причиненное армянам зло, было внезапное обесценение турецких бумажных денег. С некоторых пор купцы требовали за товар только золото и серебро, чем и сконфузили эти целомудренные металлы, ответившие немедленным исчезновением со всех рынков. Мудрецы-экономисты в стамбульских министерствах давали сбивчивые объяснения по поводу этого загадочного и столь внезапного обесценения бумажных денег. Да ведь и поныне ни один премудрый экономист не постиг, что денежное обращение может зависеть от того, как котируются обществом моральные ценности.

Турки уныло слонялись по антиохийскому базару, залитому помоями, заваленному мусором, отчего он походил на ночную трупобную окраину.

Габриэл нашел запертыми старинные ворота дома Рифаата. Он долго стучал молотком в окованный медью деревянный створ – никто не отозвался. Итак, ага Рифаат Берекет не возвратился из поездки в Анатолию. Габриэл знал: цель этой поездки – организовать помощь армянскому народу, и все же его опечалило, что он не застал друга своего отца.

Вернувшись домой, Габриэл решил впредь дальше окрестностей Муса-дага не выезжать. Причиной этого решения было то волшебное-умиротворяющее действие, которое оказывала на него (и чем дальше, тем сильнее) отчая гора. Когда по утрам он распахивал окно и здоровался с горой, его неизменно охватывало торжественное удивление, понять которое он был не в силах. Громада Муса-дага ежечасно меняла вид: то представляла плотной, слитной массой, то сквозь пронизанную солнцем дымку казалась огромным пушистым комом. Эта вечная в своих превращениях

сущность горы как будто придавала ему сил и мужества в том смятении чувств и мучительных раздумий, которое с момента появления пастора Арама Товмасыяна лишило его сна. Но лишь только он покидал сень Муса-дага, как тотчас терял мужество обо всем этом думать.

Между тем его усердные рейды по окрестным деревням принесли плоды. Он достиг, чего добивался, – не только получил сравнительно полное представление о делах и днях здешних крестьян – плодоводов, ткачей, шелководов, пасечников и резчиков, но порой имел даже возможность заглянуть в их семейную жизнь, в этот замкнутый мир. Правда, это не всегда было легко сделать. Сначала многие его земляки смотрели на него, как на знатного иностранца, хотя он был из местных землевладельцев и связан с ними общей национальной принадлежностью. Разумеется, Аветис-младший был им куда ближе, невзирая на то что этот скупой на слова чужак не удостоивал вниманием ни одного человека, не исключая Григора, Тер-Айказуна, учителей, да и в деревнях мало бывал. Что с того! Ведь похоронен он на здешнем кладбище, среди их покойников!

Со временем, однако, они прониклись доверием к Габриэлу и втайне даже надеялись, что настанет час и он будет для них опорой. Эфенди был, конечно же, влиятельный человек, которого знали за границей и которого в силу его влияния турки побаивались. Пока он живет в Йогонолуке, беда, может случиться, минует мусадагские селения. Никто не отдавал себе отчета в том, насколько оправданы эти надежды. Но играло

тут роль и другое. Если Габриэл столь же мало, как и все окружающие, говорил о будущем, то его все же отличало от них многое: по его глазам, по тревоге, исходившей от него, по его вопросам, по заметкам, которые он делал, можно было угадать, что он о чем-то сосредоточенно думает и занят чем-то особенным; это-то и отличало его от окружающих. Все взоры были обращены на него, едва он появлялся. Его стали приглашать во многие дома. Комнаты по здешнему обычаю были почти пусты и все же поражали Габриэла своей опрятностью и уютностью. Глинобитный пол устилали чистые циновки; сидели обычно на диванах, покрытых добротными коврами. Только у самых бедных крестьян хлев помещался под одной кровлей с жильем. Голые стены были далеко не повсеместным явлением. Рядом с иконами на них порой висели картинки из иллюстрированных журналов или календарей. Подчас хозяйки украшали горницы свежими цветами в плоских вазах, что на Востоке редкость. И едва гость усаживался, к нему подвигали объемистую тумбу, на которую ставили большой оловянный поднос со всевозможным печеньем, медовыми сотами, сладкими сырками. вкус этих отборных лакомств был знаком Габриэлу с детских лет. Тогда эти сласти были запретными радостями, так как от родителей, конечно, скрывалось, что прислуга берет маленького Габриэла с собой в гости к деревенским. Теперь же его желудок пасовал перед столь обильным угощением, особенно, если к печенью подавали ломоть дыни или засахаренные фрукты. Отказаться от угощения означало бы нанести смертельную обиду. И Габриэл спасался тем, что закармливал сладостями



хозяйских детей, которых ему неизменно показывали, куда бы он ни приходил; сам же он отведывал всего понемножку. Трогательной любовью и заботливым уходом были окружены здешние дети, особенно маленькие. Предметом гордости каждой матери была безукоризненная чистота рубашечки, школьного халата или передника ее ребенка. Правда, с годами матерям приходилось мириться с тем, что их мальчишки возвращаются из воинственных набегов на сады в ущелье Дамладжка совершенными дикарями.

Частый гость в деревне, Багратян приобрел там друзей. Самым верным другом был степенный мужчина по прозвищу Чауш Нурхан, что значило примерно «сержант Нурхан». Сей Чауш Нурхан завел на южной окраине Йогонолука свое дело, крупнейшее после строительной конторы подрядчика Товмасыана. У Нурхана были слесарня и кузница, шорня и каретная мастерская, где делались «кангни», ходкие в тех краях двухколесные арбы. И наконец, у Чауша Нурхана была святая святых, где он мастерил самолично и без свидетелей. Посвященные знали, что здесь он чинит охотничьи ружья и делает к ним патроны; однако во избежание кривотолков это занятие его благоразумно утаивалось, и в первую очередь – от жандармского ока Али Назифа.

Чауш Нурхан был старый солдат-сверхсрочник. Семь лет он провел в армии, побывал на войне и в больших казармах пехотного анатолийского полка в Бруссе. По всей его повадке легко было узнать истого «служивого»: седые усы, закрученные кверху, речь, уснащенная армейскими выражениями и крепкими словечками. Видно это было и по тому, как он почитал Багратяна, которому при встрече неукоснительно отдавал честь, как офицеру и начальнику. Может статься, он уловил в Багратяне какие-то качества, которых тот за собой еще не знал.

В прошлом Чауш Нурхан выполнял заказы Аветиса Багратяна младшего, а теперь взялся обследовать богатый арсенал Багратянов, поглядеть, все ли там в порядке. Он унес ружья в свою тайную оружейную мастерскую, чтобы разобрать, смазать и снова собрать их. Габриэл нередко наблюдал его за этим делом. Иногда он брал с собою к Нурхану Стефана. Мужчины с увлечением, как заправские знатоки, толковали о военном деле. Чауш был кладезем соленых армейских анекдотов, потешных баек, которые Габриэл, ценитель народного острословия, не уставал слушать. Так в пору гонений два армянина, сколь это ни удивительно, предавались воспоминаниям о турецкой солдатчине, как о чем-то родном.

У Нурхана была куча малолетних детей, которых он сам, кажется, мог спутать. Правда, он едва ли принимал близко к сердцу участь своего многочисленного потомства. Некогда наводивший ужас усач, гроза новобранцев, он относился к своей крови и плоти с ласковым равнодушием, со спокойной душой предоставлял их самим себе. Вечером, когда мастера вручали ему ключи от мастерских, Чауш Нурхан не спешил в свое многодетное гнездо, не стучался к соседям. С кувшином вина в одной руке, с рожком пехотного полка, похищенным у казны, – в другой, он отправлялся в свой абрикосовый сад. И в сумерки раздавалось, сотрясая воздух, хорошо знакомое деревенским

жителям прерывистое завывание трубы. Замирая и захлебываясь, пронзительно звучал военный сигнал турецкой армии. Нурхан трубил вечернюю зорю, будто решил, пока не настала ночь, поднять на ноги всю долину.

Между тем в деревнях возникла дискуссия из-за школьных занятий. Дело в том, что, согласно учебному плану Всеобщего армянского школьного союза, авторитетной национальной организации, в чьем ведении находилось образование, учебный год в школах должен был кончаться с наступлением первых жарких дней, то есть в середине мая. И вдруг Тер-Айказун, руководивший школьным образованием в округе, приказал сократить каникулы до одной недели, после чего сразу же возобновить занятия.

В основе этого решения, как и самозабвенного труда местных жителей, лежали одни и те же причины. Близится всемирный потоп. Стало быть, грядущему распаду и уничтожению упорядоченного строя жизни нужно противопоставить удвоенный порядок, а полной беспомощности, которая неизбежно где-то проявится, противопоставить величайшую точность и дисциплину. В эти трудные дни шум и гам детворы, непрерывная беготня озорной ватаги, празднующей в своем неведении наступление каникул, – все это станет просто общественным бедствием. Казалось бы, ясно, что всем надо согласиться с Тер-Айказуном; но тут воспротивились учителя. Они, и в первую очередь Грант Восканян, не хотели терять полагавшийся им по договору отпуск. Учителя прибегали к заступничеству мухтаров, внушали родителям, что дети не выдержат перенапряжения, да еще в такой зной; а молчун Восканян начал кампанию против Тер-Айказуна, в которой дал волю своей ненависти.

Тщетно! Священник взял верх. Он собрал всех семерых мухтаров и, обратившись к ним с краткой речью, убедил в своей правоте. Итак, новый учебный год, невзирая на лето, начался сразу вслед за прошедшим. Учителя прибегли к последнему средству – попытались втянуть в борьбу Багратяна. Восканян и Шатахян явились на виллу с официальным визитом, церемонные и чопорные. Габриэл, однако, сразу же объявил себя сторонником продления учебного года. Он сказал, что не только одобряет эту меру, но и лично в ней заинтересован, так как намерен послать сына в школу к господину Шатахяну, чтобы Стефан наконец получил возможность общаться с мальчиками его возраста и национальности.

Шатахян поклонился и ответил на своем элегантнейшем французском языке краткой речью, в которой противопоставил современные требования гигиены и целебного досуга устарелой строгости учебы.

Выслушав Шатахяна, Багратян огорошил его неожиданным вопросом:

– А почему, собственно, вы говорите со мной по-французски?

Шатахян обиженно оправдывался:

– Я ведь только ради вас, эфенди.

Тут Восканян ткнул его кулаком в спину, что, должно быть, означало: «Видишь, своим тщеславием ты все испортил!»

Учителям оставалось только смириться. Зато Молчун излил свою ненависть к Тер-Айказуну в длинном стихотворном пасквиле. Во время ночной

прогулки под предводительством аптекаря Григора Восканян попросил учителя Асяяна прочитать вслух свой стихотворный памфлет. Голос Асяяна дрожал от негодования. По совместительству этот долговязый исполнитель народных песен был церковным регентом, поэтому больше других претерпел от жестких порядков Тер-Айказуна. Боевую поэму Восканяна завершали следующие грозные строки:

И если ты завесишь рясой солнце даже,  
Как темной тучей, сквозь нее пробьется солнце все же.

Но солнце здесь явно символизировало свет разума, а потому понять, почему Тер-Айказун, удлинив школьные занятия, завесил свет разума своей рясой, было нелегко. Григор покачал головой: он, должно быть, не очень одобрял пиитические опыты своего честолюбивого ученика.

Полуночный кружок Григора расположился на склоне холма, среди виноградников Кедер-бега. Аптекарь взял у Асяяна рукопись, чтобы просмотреть стихи. Оклеветанного героя сатиры он оставил вовсе без внимания – Григор всегда пренебрегал сущностью вещей. С угрюмым бесстрашием он объявил свой приговор:

– Ни складу ни ладу, Грант Восканян. Поэты бывали только прежде...

Не одни поэты – всё было только в прошлом: подвиги, войны, государственные умы, герои. Лишь став историей, мир делался объектом внимания Григора.

Но Григору не хотелось обескураживать своего последователя, и он ободряюще сказал:

– Ты все-таки этого не бросай! Но тебе, учитель, еще надо учиться!

В назначенный день Габриэл привел в йогонолуцкую школу Стефана и свою маленькую постоялицу Сато, у которой уже зажили раны на ногах. Этому предшествовала короткая стычка с Жюльеттой. Ей страшно за своего мальчика, сказала она, который будет сидеть с этими нематыми детьми, да притом в каком-то восточном сарае. В Париже Стефана никогда не посылали в начальную школу, где как-никак меньше риска чем-нибудь заразиться и набраться вшей.

Габриэл настоял на своем: если рассуждать здраво, не так уж все это страшно, когда, того и гляди, нагрянут настоящие опасности, похлеще этих. Он, как отец, считает, что гораздо важней, чтобы Сетефан до самой сути узнал свое, родное, вжился в него.

В другие времена и при других обстоятельствах Жюльетта нашла бы сто возражений. Теперь же она сразу сдалась и замолчала. Это была молчаливая капитуляция, и меньше всего сознавала это сама Жюльетта. После того ночного разговора, когда ей открылось, в каком отчаянии Габриэл, произошло что-то непонятное. Та душевная близость, которая возвращена была их четырнадцатилетним супружеством, с каждым днем таяла. Когда Жюльетта ночью просыпалась, ей порой чудилось, что у нее и этого спящего рядом мужчины нет общего прошлого. Их общее прошлое осталось там, в Париже и других манящих огнями городах Европы, совсем обособленное от них и больше

им не принадлежащее.

Что же случилось? Габриэл ли изменился, она ли?

Она по-прежнему не относилась серьезно к возможности катастрофы. Смешной казалась ей самая мысль, что вал потопа не отступит перед нею, француженкой. Придется потерпеть еще две-три недели. А там – назад, домой! Стало быть, случится ли что или не случится за эти недели – ее дело сторона. Потому она и промолчала, услышав о решении Габриэла отдать Стефана в сельскую, школу.

Когда же она вдруг почувствовала в тайниках души, каким холодом веет от этого «мое дело сторона», ее пронзила острая, никогда не испытанная боль не только за себя, но, пожалуй даже больше, и за Стефана.

Как и следовало ожидать, Стефан нововведение принял с восторгом. Он признался отцу, что на уроках добрейшего Авакяна уже не способен сосредоточить внимание, собраться с мыслями. Этому парижскому гимназисту, приобщенному к латыни и греческому, была куда милей армянская сельская школа. Радостная готовность мальчика объяснялась не только тем, что ему наскучило повторение уроков с Авакяном, – он тоже жил в душевном смятении и напряженном ожидании, особенно с тех пор как в доме поселились Искуи и Сато.

Из-за Сато и был однажды большой переполох в доме. Как-то утром Стефан и девочка пропали, объявились они только спустя несколько часов после обеда. Для Сато это плохо бы кончилось, если бы не Стефан, который по-рыцарски взял на себя вину и сказал, что они пошли гулять на Дамладжк и заблудились. Жюльетта закатила сцену не только Авакяну, но и Габриэлу, а сыну запретила даже разговаривать с Сато. Отныне бродяжка была отлучена от господского общества и не смела, бывая дома, выходить из своей каморки. Тем больше тянулся теперь Стефан к Искуи, которой давно уже разрешили встать с постели, хоть она и не выздоровела. Когда она отдыхала в шезлонге в саду, Стефан сидел у ее ног на земле. О многом хотелось ему ее спросить. Уступая его просьбам, Искуи рассказывала о Зейтуне. Но как только появлялась Жюльетта, они, точно заговорщики, умолкали.

«Как его тянет ко всем этим», – думала Жюльетта.

Йогонолукская школа отличалась внушительными размерами и, как самая большая в Мусадагском округе, была четырехклассной. Руководство школой Тер-Айказун возложил на Шатахяна. Шатахян же по собственному почину открыл дополнительный класс, в котором преподавал французский язык и историю, а Восканян – литературу и чистописание. Но этим дело не ограничилось: при школе открыли вечерние курсы для взрослых. Здесь наконец нашел применение своим талантам и универсальный ученый, аптекарь Грикор. Он читал лекции о звездах, цветах, живой и мертвой природе, о древних племенах, мудрецах и поэтах. Лекции он читал не по отдельным темам, а на свой лад, фантастически все смешивая, потому что был изощренным сказочником от науки. Речь свою он уснащал таинственными словами и числами, так что озадаченные слушатели не сводили с него недоуменных глаз.

Но как ярко свидетельствуют о тяге к просвещению армянского народа эти вечерние курсы для взрослых! Ведь их главным образом посещали пожилые люди, чаще всего ремесленники, повидавшие мир и пожелавшие на склоне лет узнать о нем что-то новое и не постеснявшиеся сесть за тесную школьную парту.

Апет Шатахян записал Стефана в дополнительный класс, который состоял из тридцати учеников в возрасте от двенадцати до пятнадцати лет, затем отвел Габриэла в сторону и сказал:

– Я не совсем вас понимаю, эфенди. Чему может ваш сын у нас здесь научиться? О многом он, наверное, знает больше меня, потому что я хоть и учился некоторое время в Швейцарии, но уже столько лет прозябаю в этой глуши! Поглядите только на этих детей: совершенные дикари! Не знаю, право, окажет ли это хорошее влияние...

– Именно от этого влияния я не хотел бы оградить моего мальчика, Апет Шатахян,- ответил Габриэл, и учитель удивился самодурству отца, который во что бы то ни стало хочет превратить благовоспитанного европейца в азиата.

Классная комната была полна детворы и родителей, пришедших записать своих детей в школу.

Какая-то старуха подвела к Шатахяну мальчугана:

– Получай его, учитель! Смотри, только не шибко бей!

– Ну вот вы и сами слышали, что это такое,- сказал, повернувшись к Габриэлу, Шатахян и вздохнул над тем, какие горы устарелых понятий, предрассудков и невежества ему предстоит преодолеть.

Багратян и учитель договорились, что Стефан будет ходить в школу четыре раза в неделю, главным образом для практики в армянской устной и письменной речи. Сато же зачислили в начальный класс, состоявший преимущественно из девочек намного моложе трудновоспитуемой зейтунской сиротки.

На второй же день Стефан пришел из школы злой. Он не позволит делать из себя посмешище из-за этого дурацкого английского костюма, заявил он. Он хочет быть одет точно так же, как другие ребята. И потребовал весьма решительно, чтобы ему сшили у деревенского портного такой же, как у всех, энтари – халат с цветным поясом и шаровары. Из-за этого неожиданного требования у Стефана разгорелся спор с мамой, после которого много дней так ничего и не было решено.

Вместо занятий со Стефаном Самвел Авакян получил новую, совершенно иного рода работу. Габриэл передал ему все свои многочисленные разрозненные заметки, которые накопились за последние недели. Студент должен был объединить полученные в разных вариантах данные в одну большую статистическую сводку. Каково назначение этой работы – Авакяну осталось неизвестно. Сначала ему нужно было установить, под определенным углом зрения, общее количество жителей Муса-дага от «Кружевниц» – Вакефа на юге, до «Пасечной» – Кебусие – на севере. Сведения, которые Багратян собрал у письмоводителя Йогонолукской общины и старост остальных шести

деревень, надо было систематизировать и проверить.

Уже на другой день Авакян представил Багратяну следующую таблицу:

Общая численность населения семи деревень, соответственно полу и возрасту:

Дети грудного возраста и моложе 4 лет – 583

Девочки от 4 до 12 лет – 579

Мальчики от 4 до 14 лет – 823

Женщины старше 12 лет – 2074

Мужчины старше 14 лет – 1550

---

Всего – 5609 душ

В это число входила также семья Багратяна и обитатели его дома. Кроме таких суммарных таблиц, были составлены, в зависимости от их значения, подробные таблицы, содержавшие данные о численности семей в отдельных деревнях и о составе населения по профессиям и занятиям. Но Габриэла интересовали не только люди. Он хотел знать и количество скота в округе. Это была нелегкая работа, и удалась она не полностью, потому что и мухтары не могли дать точный ответ на эти вопросы. Одно было ясно. Крупного рогатого скота и лошадей не было совсем. Но каждая мало-мальски состоятельная семья имела нескольких коз, осла или мула, на котором возили тяжести или ездили верхом. По обычаю горцев большие стада овец, находившиеся в частном или общинном владении, паслись на подножном корму на дальних пастбищах, где они от одной стрижки до другой были под присмотром пастухов и подпасков. Обнаружилось, что нельзя даже приблизительно определить численность поголовья этих овец.

Трудолюбец Авакян рад был любой работе, он усердно обходил деревни и превратил кабинет Багратяна в хранилище кадастровых сведений. Однако про себя он пожимал плечами, дивясь причудам богача, который думает скоротать тревожное время накануне грозного события этим вымученным и головоломным занятием. Ничем, думал Авакян, этот одержимый крохобор не гнушается, все записывает; готовит, верно, книгу о народной жизни на Муса-даге. И до всего-то ему есть дело: и сколько в деревнях тондыров (это такие вырытые в земле печи), и каков урожай. По-видимому, Багратян был встревожен тем, что горцы покупают на равнине у мусульман кукурузу и красноватое сирийское зерно. Не меньше огорчало его и то, что ни в Йогонолуке, ни в Битиасе и вообще нигде у армян не было мельницы.

Отважился Багратян навеститься и к аптекарю, расспрашивал, как обстоит дело с лекарствами. Грикор, ожидавший, что визитом Багратяна он обязан своему собранию книг, а не лекарств, с разочарованным видом обвел рукой стены. На двух маленьких полках стояли всевозможные банки и склянки с начертанными на них чужеземными письменами. То было все, что хоть

сколько-нибудь напоминало аптеку. Три больших бидона с керосином в углу, мешок соли, одна-две кипы трубочного табаку да связка метел свидетельствовали, что в аптеке идет бойкая торговля предметами обихода, но не медикаментами. Григор величественно постучал костлявым перстом по одному из таинственных сосудов:

– Как говорил Иоанн Златоуст\*, в состав всех лекарств входят семь элементов: известь, сера, селитра, йод, мак, смола вербы и сок лавра. В сотнях форм это всегда одно и то же.

---

\* Иоанн Златоуст (ок. 346-407) – византийский церковный деятель, оратор, за что и получил прозвище «Златоуст». Известен выступлениями против расточительства аристократии и церковной верхушки. Одно время был патриархом Константинополя, затем сослан в Киликию. Автор множества проповедей, панегириков (два из которых посвящены Григорию Просветителю), толкований Библии. В его трудах содержится много ценных сведений об армянах, проживавших в Киликии. Труды его переводились на армянский еще в V веке.

---

Сосуд в ответ на постукивание издал легкий звон, словно подтверждая, что содержит вдоволь целебных средств Иоанна Златоуста.

После преподанного ему урока современной фармакологии Габриэл больше не любопытствовал. К счастью, у него была своя собственная, и хорошая, домашняя аптечка.

Но, конечно, важнее всего было разведать, есть ли у людей оружие. Приятель Нурхан делал по этому поводу туманные намеки. Но как только Габриэл напрямик спрашивал об этом сельских старост, они тотчас сбегали от него.

Однажды все же он настиг йогонолуковского мухтара Кебусяна у него дома, не дал ему сбежать.

– Будь со мной откровенен, Товмас: сколько у вас винтовок и каких?

У мухтара стал отчаянно косить глаз, затряслась плешивая голова.

– Господи Иисусе! Неужто ты хочешь на нас беду накликасть, эфенди?

– Почему именно меня вы не достаиваете доверием?

– Моя жена этого не знает, мои сыновья не знают и учителя ничего не знают. Ни один человек знать не знает!

– А мой брат Аветис знал?

– Твоему брату Аветису – да будет земля ему пухом! – верно, было это известно. Да ведь он-то ни одной душе слова не сказал.

– Похож я на человека, который не умеет молчать?

– Если докопаются, нас всех прикончат.

Однако, как ни косил глазом, как ни тряс головой Кебусян, деваться было некуда, кончилось тем, что он запер дверь на два поворота ключа.

Затем, пришепетывая от страха, поведал правду.

В 1908 году, когда Иттихат возглавил революцию против Абдула Гамида, уполномоченные младотурок раздавали оружие во всех округах и общинах Османской империи, преимущественно армянских, ибо армяне считались оплотом тогдашнего восстания. Разумеется, Энвер-паша знал об этом и, когда разразилась мировая война, перво-наперво отдал приказ как можно быстрее отобрать у армян это оружие.

При проведении в жизнь этого правительственного приказа большую роль, естественно, играли характер и образ мыслей тогдашних его исполнителей. Если в вилайетах хозяйничали ретивые заправила провинциального Иттихата, как, например, в Эрзеруме или Сивасе, то, случалось, безоружные их обитатели скупали у заптиев оружие, чтобы им же и сдать его во исполнение правительственного приказа. В таких местностях неимение оружия рассматривалось как злостное его сокрытие.

В вилайете у Джелала-бея все проходило, как можно предположить, гораздо более мирно. Превосходный администратор, Джелал по свойственной ему человечности противился мероприятиям блистательного стамбульского бога войны, проводил подобные приказы с большой прохладцей, если попросту не отправлял их в корзину для бумаг. Его обходительности подражали большей частью и нижестоящие чиновники, за исключением жестокого марашского мутесарифа. И все же в январе в Йогонолук из Антиохии для изъятия оружия прибыл в сопровождении капитана полиции рыжий мюдир; приняв к сведению свидетельство ухмылявшихся мухтаров, что никто здесь оружия никогда не получал, оба спокойно удалились.

К счастью, мухтар в свое время действительно не дал расписки уполномоченному комитету.

Габриэл похвалил старосту:

– Очень хорошо, а ружья-то на что-нибудь годятся? Сколько их?

– Пятьдесят маузеровских винтовок и двести пятьдесят греческих карабинов. На каждое по тридцать обойм, итого сто пятьдесят выстрелов.

Габриэл призадумался. На это, и правда, не стоило слова тратить. А нет ли у людей еще какого-нибудь огнестрельного оружия?

Кебусян замялся.

– Это их дело. На охоту многие ходят. Но какой прок от нескольких сот допотопных ружей с кремневым запалом?

Габриэл встал и протянул мухтару руку.

– Спасибо за доверие, Товмас Кебусян! А теперь, раз уж ты мне все рассказал, я бы хотел знать: куда вы всё это упрятали?

– Тебе непременно нужно знать, эфенди?

– Нет, но мне любопытно, и я не вижу оснований скрывать от меня конец



истории.

Мухтар несколько минут боролся с собой. О «конце истории», кроме его сотоварищей – старост, Тер-Айказуна и пономаря, действительно не знала ни одна душа. Но было в Габриэле что-то такое, перед чем Кебусян не мог устоять. И, отчаянно заклиная его молчать, он все-таки выдал Габриэлу эту тайну.

Ящики с ружьями и патронами захоронили на Йогонолуковском кладбище, по-настоящему, в могилах, и на надгробьях начертали вымышленные имена.

– Ну вот, теперь моя жизнь в твоих руках, эфенди, – вырвался из груди мухтара стон, когда он отпирал дверь, выпуская гостя.

Тот, не оборачиваясь, ответил:

– А может и так, Товмас Кебусян.

Мысли, которых он сам пугался, неотступно преследовали Багратяна, были для души таким сильным потрясением, что он и на час не мог забыться ни днем ни ночью. При этом, несмотря на его педантичную изыскательскую работу, мысли эти как бы реяли где-то в призрачном мире меж бывшим и будущим, как и вся эта жизнь у подножия зеленеющих гор.

Габриэл видел перед собой только перепутье, где дорога разветвлялась. Еще пять шагов – и сразу туман, тьма. Но, наверное, в жизни каждого человека накануне решения ничто не кажется столь нереальным, как цель.

И все же разве не было ясно, что Габриэл отдает всю свою пробудившуюся энергию этой узкой долине, что он отвергает любой выход, который, быть может, и нашелся бы? Почему не воззвал к нему голос: «Что ты медлишь, Багратян? Почему теряешь день за днем? Ты человек с именем, ты богат. Воспользуйся этим преимуществом! Пусть подстерегает тебя опасность и ожидают величайшие трудности, попытайся, попроберись с Жюльеттой и Стефаном в Алеппо. Алеппо ведь большой город. У тебя там есть связи. Ты можешь хотя бы жене и сыну обеспечить покровительство иностранных консулов. Да, конечно, твоих земляков, занимающих видное положение в обществе, всюду пересажали, перевешали, сослали. Поездка, бесспорно, представляет огромный риск. А разве оставаться здесь – риск меньший? Не тяни же больше, сделай попытку спастись, пока не поздно!» Не всегда молчал этот голос. Но звучал он будто приглушенно. Мирно высился Муса-даг. Ничто не изменилось. Здешний мирок словно подтверждал правоту Рифаата Берекета: ни малейшего отзвука событий не проникало в эту долину. Родина, которую Габриэл еще считал отзвучавшим детским преданием, сейчас накрепко приковала его к себе. Да и в образе Жюльетты что-то замутилось. Так что, захоти он даже вырваться из-под власти Муса-дага, он бы, возможно, не был в состоянии это сделать.

Габриэл сдержал слово, данное мухтару, не говорить никому о спрятанном оружии. Даже Авакяну ни словом не обмолвился. Зато вдруг дал ему новые задания. Авакян был произведен в картографы. Теперь обрел смысл тот план Дамладжка, который Стефан по желанию отца начертил неопытной рукой еще в марте. Авакяну заказана была точная карта горы в большом масштабе и в трех экземплярах.

«Долину с людьми и скотом он исчерпал, – думал студент, – теперь дело дошло до горного хребта».

Как известно, Дамладжк – поистине сердце Муса-дага. Тогда как на севере горный хребет разветвляется на несколько отрогов, которые, снижаясь к долине Бейлана, превращаются по воле природы в призрачные замки и террасы; тогда как к югу он хаотически и как бы не окончательно обрывается в низину устья Оронта, в центре – а это и есть Дамладжк – он как бы сосредоточивает всю свою мощь. Здесь, в центральной части, натягивает он себе на грудь крепкими, скалистыми ручищами долину семи деревень, точно одеяло, собравшееся в складки. Здесь вздымаются, тоже довольно круто, над Йогонолуком и над Аджи-Абибли две самые высокие вершины горной цепи, – единственные, где нет деревьев, лишь трава растет. Тыльная часть Дамладжка образует довольно обширное плато; в самом широком месте, между выходом из Дубового ущелья и отвесными скалами побережья по прямой линии – согласно подсчетам Авакяна, – свыше трех километров.

Но особенно занимали Габриэла поразительно четкие границы, в которые природа замкнула это плоскогорье. На севере там был проход, сжатый крутыми склонами распадков, и узкая седловина, сюда из долины вела старая горная тропа, она, правда, терялась в чаще кустарников, потому что здесь никак нельзя было преодолеть утесы, стеной загородившие путь к морю. На юге же, там, где гора обрывалась над пустынным, почти лишенным растительности полукружием каменного обвала, высилась исполинская скалистая башня вышиною в пятьдесят футов. С этого природного бастиона открывался вид на часть моря и всю равнину Оронта с турецкими деревнями, вплоть до голых вершин Джебель Акра. Отсюда видны были огромные развалины храмов и акведуков Селевкии в зеленых тенетах ползучих растений; глаз различал каждую колею на важном тракте, соединявшем Антиохию с Эль Эскелем и Суэдией. Сверкали белизной кубики домов в этих городках, и ярким светом заливало солнце винокуренный завод на правом берегу Оронта, вблизи моря.

Каждый мало-мальски смыслящий в военном деле человек должен был сразу оценить идеальное расположение Дамладжка с точки зрения обороны. Не считая горного склона, обращенного к долине, перед которым пасовали даже досужие любители-альпинисты из-за его нехоженности и трудного подъема, единственно уязвимым для обороны пунктом было узкое Северное седло. Однако именно здесь характер местности имел множество преимуществ для обороны, и не в последнюю очередь то обстоятельство, что безлесные откосы распадка, поросшие густым кустарником и всевозможными дикими растениями, представляли непреодолимые препятствия.

Картографическая продукция Авакяна далеко не всегда удовлетворяла Габриэла. Он постоянно находил новые ошибки и изъяны в его картах. Студент побаивался, как бы химеры его работодателя мало-помалу не стали бы бредом сумасшедшего. Он все еще ни о чем не догадывался. Теперь они проводили целые дни на Дамладжке. Багратян, участвовавший в качестве артиллерийского офицера в Балканской войне, сохранил свой полевой бинокль, метровку,

буссоль и другие измерительные приборы, нужные для ориентации на местности: сейчас они пришлись как нельзя кстати. Он требовал, чтобы Авакян наносил на чертежи русло каждого ручья, каждое высокое дерево, каждую крупную каменную глыбу. Но дело не ограничивалось нанесением красных, зеленых и синих линий на карту – на ней стали появляться странные слова и цифры. Между вершинами гор и Северным седлом расположилась большая плоская низина. Низина эта поросла чудесной зеленой травой, поэтому здесь всегда можно было встретить стада черных и белых овец; пастухи и зимой и летом целыми днями спали глубоким сном, укутанные в свои тулупы и похожие на древние изваяния.

Габриэл и Авакян обошли кругом это пастбище, тщательно отсчитывая шаги.

Багратьян показал на два ключа, пробившиеся сквозь густые папоротники на краю низины.

– Это большое счастье, – сказал он. – Напишите наискосок: «Котловина города».

Конца не было этим загадочным указаниям. Особенно усердно разыскивал Габриэл одно место, привлекшее его своей кроткой, свежей прелестью. Оно тоже было расположено у русла какого-то ручья, но ближе к морю, там, где между плато и отвесными скалами тянулся темно-зеленый пояс миртов и рододендронов.

– Возьмите это на заметку, Авакян, и напишите красным карандашом: «Площадка трех шатров».

Авакян не удержался и спросил:

– А что это значит?

Но Габриэл ушел вперед и не расслышал.

«Я служу подручным мечтателю, помогаю грезить наяву», – сказал себе Авакян.

Но о том, что такое «Площадка трех шатров», он узнал спустя два дня.

Когда доктор Алтуни разбинтовал руку и плечо Искуи, он очень расстроился:

– Так я и думал. Были бы мы в большом городе, все бы обошлось. Тебе надо было остаться в Алеппо, свет очей моих, и там лечь в больницу. Но может, ты и правильно поступила, что добралась сюда. По нынешним временам кто может быть пророком? Ты только, пожалуйста, не отчаивайся, душа моя! Поживем, увидим!

Искуи старалась успокоить старика:

– Я вовсе не отчаиваюсь, доктор. Это ведь, к счастью, левая рука.

Искуи не верила слабым утешениям Алтуни. Она посмотрела на свою руку. Иссохшая, укороченная, рука бессильно висела от плеча. Шевелить ею Искуи не могла. Но она рада была уже тому, что ее больше не мучает боль. Что ж, вот она и стала навсегда калекой.

Но разве это большая жертва по сравнению с судьбой, постигшей этап, с которым ей пришлось идти два дня? – говорила себе Искуи. (Она, как и весь ее

народ, в глубине души до странности безнадежно смотрела на будущее.)

А по ночам Искуи преследовали ужасающие картины, слышались шорохи, шарканье, шуршание, топот тысяч шагающих ног. Устало хнычут дети, валяются наземь, и ей, несмотря на больную руку, приходится подхватывать их по двое, по трое зараз. Безумные вопли в начале колонны, и вот уже мчатся туда, размахивая дубинками, заптии с налитыми кровью глазами. Всюду – личина насильника. Это не одна, а тридцать личин, они знакомы, омерзительны ей. Но чаще всего образина насильника возникала над Искуи – грязная, обросшая щетиной, на толстых губах пузырится слюна. Как отчетливо видит она наклоненную над собою нечеловечески огромную образину, калейдоскоп лиц, обдающий ее зловонным чесночным дыханием. Она отбивается, вонзает зубы в волосатые обезьяньи руки, стиснувшие ее грудь. «Но разве я в силах? У меня только одна рука», – думает она, будто оправдываясь, что покоряется кошмару, и теряет сознание.

В дни, наступавшие после таких ночей, она чувствовала себя точно малярик после приступа, когда температура резко падает. Все воспринималось как бы сквозь туман, может, потому-то и переносила она так легко постигшее ее несчастье. Парализованная рука, как чужая, плетью висела с левого бока. Но тело, юное, полное жизненных сил, с каждым днем все хитроумнее приспособлялось к своему изъяну. Она приучилась, сама того не замечая, все делать одною правой рукой. Для нее было большим утешением, что она обходилась без чьей-либо помощи.

Искуи уже довольно давно жила в доме Багратянов. Однажды к Багратянам явился пастор Арам и, поблагодарив за великодушный прием, оказанный сестре, объявил, что намерен ее забрать, так как неподалеку от отцовского жилья нашел и отремонтировал для своей семьи пустовавший дом.

Габриэл очень обиделся:

– Пастор Арам, почему вы отнимаете у нас мадемуазель Искуи? Мы все ее очень любим, особенно моя жена.

– Чужие люди в доме со временем становятся в тягость.

– Звучит весьма гордо. Да ведь вы сами знаете, что присутствие мадемуазель Искуи, к сожалению, очень мало ощущается в доме, до того она тиха и замкнута. Да и, в конце концов, разве у всех нас не общая судьба?

Арам посмотрел на Габриэла долгим взглядом:

– Надеюсь, наша судьба не представляется вам в розовом свете.

За этим критическим замечанием скрывалось легкое недоверие к чужаку, из «благородных», который понятия не имеет об ужасах по ту сторону горы. Но как раз недоверием и расположил к себе пастор Габриэла. В голосе Багратяна зазвучали теплые ноты:

– Жаль, что и вы не живете у нас, пастор Арам. Прошу вас, как только придет охота, заходите, пожалуйста. С сегодняшнего дня наш стол всегда будет накрыт еще на два прибора. Не обессудьте на просьбе, доставьте нам удовольствие, если вашей жене это не затруднительно.

Жюльетта совсем рассердилась, узнав о предполагаемом переезде Искуи

на новую квартиру. Между этими женщинами установились своеобразные отношения, и нельзя отрицать, что Жюльетта добивалась расположения юной армянки. Правда, характер таких отношений не поддается точному определению, и смысл слова «добивалась» передает его лишь приблизительно. Для своих девятнадцати лет Искуи была на редкость наивна, особенно принимая во внимание Восток, где женщины рано созревают. В госпоже Багратян девушка видела великосветскую даму, бесконечно превосходившую ее красотой, своей родовитостью, жизненным опытом, всей своей женской сутью. Когда они сидели в комнате Жюльетты на втором этаже, Искуи не в состоянии была преодолеть свою застенчивость даже в этой непринужденной обстановке.

Возможно, она чувствовала себя скованной и от безделья, на которое отныне была обречена. Да и Жюльетта, которая искала общества Искуи, тоже чувствовала себя при ней не очень уверенно. Это было необъяснимо, и тем не менее все обстояло именно так. Есть люди – они ни по своему положению, ни как личности ничем не примечательны, и все же в их присутствии мы почему-то робеем. Мы сами порой замечаем, что без сколько-нибудь основательной причины держимся при них неестественно или развязно. Может быть, та возбужденная говорливость, что находила на Жюльетту в обществе Искуи, объяснялась подобными ощущениями? Жюльетта способна была долго разглядывать Искуи и вдруг разразиться такой тирадой:

– Знаешь, я ведь, правду сказать, ненавижу восточных женщин за томность и ленивые, медлительные движения. Я и наших брюнеток терпеть не могу. Но ты, Искуи, ничуть не восточная женщина. Когда ты сидишь против света, у тебя совсем синие глаза...

– И это говорите вы, мадам, с вашими-то глазами и белокурыми волосами?

– Сколько раз, моя милочка, я должна тебя просить, чтобы ты называла меня не «мадам», а Жюльеттой, и говорила мне «ты»? Уж так тебе хочется ткнуть мне в нос, что я гораздо старше тебя?

– О нет, я, право же, совсем этого не хочу... Извините... Извини...

Жюльетта невольно рассмеялась тому, что Искуи восприняла ее кокетливую шутку так серьезно, даже глаза у нее стали испуганные.

Искуи пришлось почти все свое имущество бросить в Зейтуне. Маленький узелок, который Товмасынам разрешили взять с собой в этап, остался где-то в негостеприимных полях, далеко от большого города. Так что было на ней лишь поношенное платье, рваные туфли и чулки, в которых она бежала в Йогонолук.

Жюльетта одела ее с головы до ног. Ей самой это доставляло удовольствие. Наконец-то пошел в дело сундук, набитый платьями, который преданно следовал за своей хозяйкой в путешествии из Парижа в Стамбул, Бейрут и в эту глушь (никогда нельзя знать, а вдруг понадобится?). Правда, дамские туалеты что листва летом; чуть в моде наступает осень, все шелка увядают, как бы добротны и восхитительны они ни были.

Жюльетта не могла следить здесь за парижской модой, поэтому изобрела свою собственную, руководствуясь «только чутьем»; она принялась

перекраивать и перешивать свой роскошный гардероб для себя и Искуи. Эти послеобеденные часы, заполненные увлекательным трудом, так кстати и сразу следовали за утренней работой по дому и в саду, что Жюльетте и впрямь некогда было даже подумать о чем-нибудь другом.

Под пошивочную мастерскую отвели одну из пустых комнат. Хозяйка «ателье» взяла себе в помощницы двух искусных в шитье девушек из Йогонолука. Слухи об этом пошли по деревням. К Жюльетте поминутно являлись женщины, предлагая купить у них шелк и старинные либо новые кружева ручной работы. У Жюльетты образовались такие запасы, что она могла бы нарядить для бала целый цветник дам.

Так проходили часы. Богатая выдумкой и творческой изобретательностью, Жюльетта обходилась без образцов «Vogue»\* и сама рисовала эскизы костюмов. По многим из них тут же шили платья. Для какой цели – Жюльетте было безразлично.

Бедная Искуи, конечно, могла только смотреть, как работают другие. Зато она служила Жюльетте прелестной манекенщицей. Особенно шли ей пастельные тона. Ей беспрестанно приходилось что-нибудь примерять и то распускать волосы, то подкалывать их, поворачиваться то так, то этак. Делала она это не без удовольствия. Воля к жизни, погребенная было под обвалом зейтунских судеб, постепенно пробуждалась в ней, на щеки ее вернулся легкий румянец.

– А ты, правда же, притворщица, та *petite\*\**, – говорила Жюльетта. – По тебе судя, можно подумать, что ты никогда ничего не носила, кроме этих энтари да еще, чего доброго, турецкой чадры. Но вот же надела мои платья и двигаешься в них так, словно всю жизнь только и думала о нарядах. Не прошла, значит, для тебя даром жизнь в Лозанне, ты все-таки приобщилась к французской культуре.

Как-то вечером Жюльетта потребовала, чтобы Искуи надела одно из ее вечерних платьев, открытое, без рукавов.

---

\* *Vogue* – «Мода» (фр.), популярный французский журнал мод.

\*\* Моя крошка (франц.).

---

Лицо Искуи омрачилось.

– Это невозможно. С моей рукой...

Жюльетта окинула ее встревоженным взглядом.

– Это правда... Но сколько же будет эта история длиться? Два-три месяца. Я возьму тебя с собой, Искуи. Даю тебе слово! В Париже, в Швейцарии есть

больницы, где такие болезни вылечивают.

Почти в тот самый час, когда супруга Габриэла Багратяна высказала столь смелые предположения, первые истерзанные колонны депортированных прибыли на место назначения, в пустыню Дейр-эль-Зор, в Месопотамию.

Искуи не всегда бывала так дика и молчалива. Когда страшные видения на время оставляли ее, когда калейдоскоп мерзких личин отпускал ее на волю, к ней вдруг возвращалась способность смеяться, она охотно и весело рассказывала разные забавные истории о Зейтуне. Но что она певунья, открыл Стефан, который с недавних пор повадился ходить после обеда в пошивочную мастерскую.

Жюльетта снова затронула тему, которая доставила уже немало неприятных минут ее мужу. Странное дело, Искуи, за отсутствием Габриэла, вызывала в ней острое желание отпускать критические замечания по адресу армянского народа и противопоставлять его культуре, точно некоему полутемному закоулку, море света галльской цивилизации:

– Вы древний народ, допустим! – ораторствовала она. – Культурный народ. Допускаю. Но чем, в сущности, вы докажете, что вы культурный народ? Ах да, знаю! Именами, которые мне беспрерывно твердят: Абовян,\* Раффи, Сиаманто.\*\* Но кто этих людей знает? Никто на свете, кроме вас. Европейец никогда не научится понимать ваш язык, говорить на нем. У вас не было Расина и Вольтера. У вас нет Катюля Мендеса\*\*\*, нет Пьера Лоти\*\*\*\*? Читала ты что-нибудь Пьера Лоти, моя милочка?

---

\* Хачатур Абовян (1805-1848) – выдающийся армянский писатель, просветитель-демократ, основоположник новой армянской литературы, горячий поборник присоединения Армении к России.

\*\* Сиаманто (лит. псевдоним Атома Ярджяняна, 1878-1915) – поэт, классик армянской поэзии. Родился в г. Акне в Западной Армении. Учился в Швейцарии, затем в Сорбонне. Его поэзия полна тревоги за судьбу армянского народа. Сиаманто воспевал первую русскую революцию, верил в ее победу. Поэзию его, примыкающую к символизму лишь по поэтике, характеризует трагическая напряженность и большой эмоциональный накал. Стихам его присуща богатая ритмика, метафоричность. Аветик Исаакян назвал Сиаманто «уникумом в мировой поэзии». Зверски убит турками во время геноцида в 1915 году.

\*\*\* Катюль Мендес (1841-1909) – второстепенный французский писатель, писал стихи в традиционной манере парнасцев, новеллы его и романы изображают главным образом патологические явления психики.

\*\*\*\* Пьер Лоти (1850-1923) – французский писатель, автор популярных в свое время так называемых «колониальных романов», овеянных восточной экзотикой.

---

Искуи, пораженная злостью этого монолога, вскинула на Жюльетту настороженный взгляд.

– Нет, мадам, нет, ничего не читала.

– Это книги о дальних странах, – сухо пояснила Жюльетта, словно Искуи заслуживала порицания за то, что не знает Пьера Лоти.

Со стороны Жюльетты было не очень благородно аргументировать аналогиями, которым собеседница ничего не могла противопоставить. Но Жюльетту можно было понять – в ее положении приходилось защищать свой мир от этого неизмеримо более сильного окружения.

По глазам Искуи нетрудно было догадаться, что ей есть что сказать. Но она ограничилась простой фразой:

– У нас есть старинные песни. Они очень хорошие.

– Спойте что-нибудь, мадемуазель, – попросил Стефан из своего угла, откуда он разглядывал Искуи.

Она только теперь его заметила. И только теперь ей стало ясно, что сын француженки – чистокровный армянский мальчик, без малейшей примеси иноплеменных черт. Из-под бледного лба смотрят неповторимые глаза его народа, а ведь эти детские глаза всю жизнь видели только доброе и приятное. Быть может, это открытие и побудило ее преодолеть внутреннее сопротивление и согласиться петь.

Пела она не для того, чтобы показать ничего не приемлющей Жюльетте, как хороши армянские песни. Она пела только для Стефана, словно то был ее долг – вернуть это потерянное дитя народа в его родной мир.

У Искуи был высокий, нежный голос, не чарующее сопрано взрослой женщины, а скорее – голос девочки. Но скорбный и мерный ритм ее мелодий превращал этот детский голос в голос жрицы.

Искуи начала с «Песни о приходе и уходе»\*, которую привезла с собой в Зейтун из Йогонолука. Это была рабочая песня семи деревень, и не столько благодаря своему исполненному мудрости тексту, сколько размеренной, торжественной мелодии:

Минуют горчайшие, черные дни,  
они, словно зимы, приходят-уходят.  
Страдания нам не навечно даны,  
вот так покупатели в лавке приходят-уходят.  
Гоненьям и казням наступит конец -  
вот так караваны приходят, уходят.  
Восходят на ниве земли племена,  
и плевелы и бальзамины приходят, уходят.  
Убогий! Не плачь! Не кичись, властелин!  
Все в мире непрочно – приходит, уходит.



Бесстрашное солнце извечно горит,  
 а тучи в молельню приходят, уходят.  
 Весь мир наш – приют у развилки дорог,  
 народы, как гости, приходят, уходят.  
 Лелеет земля просвещенных сынов,  
 а темные расы уходят, нисходят.

---

\* Текст «Песни о приходе и уходе» принадлежит известному армянскому ашугу Дживани (1846-1909). Называется она «Дни неудач». Песня эта и до сих пор очень популярна в народе. Верфель лишь слегка изменил текст песни и дал ей другое название. Впервые на русском языке стихи Дживани были опубликованы в антологии «Поэзия Армении», М., 1916. Приводим стихи Дживани в переводе В. Я. Брюсова:

Как дни зимы, дни неудач недолго тут: придут – уйдут.  
 Всему есть свой конец, не плачь! – Что бег минут: придут – уйдут.  
 Тоска потерь пусть мучит нас, но верь, что беды лишь на час:  
 Как сонм гостей, за рядом ряд, они снуют: придут – уйдут.  
 Обман, гонение, борьба и притеснение племен,  
 Как караваны, что под звон в степи идут: придут – уйдут.  
 Мир – сад, и люди в нем цветы! но много в нем увидишь ты  
 Фиалок, бальзаминов, роз, что день цветут: придут – уйдут.  
 Итак, ты, сильный, не гордись! Итак, ты, слабый, не грусти!  
 События должны идти, творя свой суд: придут – уйдут!  
 Смотри: для солнца страха нет скрыть в тучах свой палящий свет,  
 И тучи на восток плывут, бегут: придут – уйдут.  
 Земля ласкает, словно мать, ученого, добра, нежна;  
 Но диких бродят племена, они живут: придут – уйдут...  
 Весь мир – гостиница, Дживан! А люди – зыбкий караван!  
 И все идет своей чередой: любовь и труд, – придут – уйдут!

---

Слушая Искуи, Жюльетта явственно уловила то неприступное в ней, что проявлялось в обличье застенчивости или печали, да и в том, что Искуи отстраняла жюльеттины подарки, и было это не чем иным, как упорным сопротивлением, вопреки всем стараниям Жюльетты. И так как Жюльетта не все в песне поняла, то попросила перевести ей текст. Когда дело дошло до последней строфы, она с торжеством заявила:

– Лишний раз убеждаешься в том, как высокомерны вы. «Лелеет земля просвещенных сынов, а темные расы уходят, нисходят». «Просвещенные

сыны», это, конечно, армянский народ, а «темные», невежественные расы – все Прочие...

Стефан перебил ее почти властно:

– Еще что-нибудь, Искуи!

Но Жюльетте хотелось услышать что-нибудь для души. Ничего, над чем нужно думать, ничего такого, где бы говорилось о просвещенных сынах и невежественных расах.

– Настоящую *chanson d'amour\**, Искуи!

---

### \* Песнь любви (франц.).

---

Искуи неподвижно сидела на стуле спиной к окну, чуть наклонившись вперед. Больную руку со скрюченными пальцами она положила на колено. Багровое солнце светило в спину Искуи, так что черты ее были почти неразличимы в тени. Немного подумав – в памяти ее, должно быть, всплыло какое-то воспоминание, – она сказала:

– Я знаю несколько песен о любви, которые здесь поют. Я все их запомнила, хотя была совсем еще маленькая и ничего в них не понимала. Одну в особенности. Она совершенно сумасшедшая. Вообще-то ее должен бы петь мужчина, хотя самое главное тут в девушке.

Голос девочки, слившийся с голосом жрицы, исходил как бы из пустоты. Исступленные слова невероятно диссонировали с этим холодным голоском:

Вышла она из сада,  
прижимая к своей груди  
два крупных алых граната,  
два спелых сочных плода.  
Не взял я этих плодов,  
и тогда она кулаком,  
себя кулаком ударила в грудь -  
три раза, и шесть, и двенадцать раз,  
и слышал я кости хруст.

– Еще раз! – потребовал Стефан.

Но Искуи не захотела больше петь, потому что в комнату, тихо отворив дверь, вошел Габриэл Багратян.

В эти дни в доме Багратянов было особенно людно: за каждой почти трапезой – новые гости.

Жюльетта и Габриэл были этим довольны. Им стало трудно оставаться наедине. Да и время на людях гораздо быстрее проходило. Каждый прожитый день был победой, потому что укреплял надежду, что тень угрозы отодвигается вместе с этим канувшим днем. Близился июль месяц. Как долго может еще грозить опасность? Распространились слухи о предстоящем вскоре мирном соглашении. А мир – это спасение!

Пастор Арам тоже стал постоянным гостем Багратянов. Овсанна еще не вполне оправилась и просила мужа позаботиться об Искуи. Она знала, как привык Арам жить под одной крышей с сестрой, как ему недоставало Искуи, когда он несколько дней ее не видел.

Но, кроме пастора Арама, за столом Габриэла часто сживали и другие. Постоянными посетителями был Григор со своей свитой. Примкнул к ним и постоялец аптекаря – Гонзаго Марис. Молодой грек был охотно принят в доме не только потому, что играл на рояле; у него к тому же был острый взгляд, чутье на все красивое, изящное. Он «замечал». Габриэл Багратян больше не замечал или замечал редко. Модели, изобретаемые Жюльеттой, которые были все же только домашними поделками, бесцельным времяпрепровождением, внимательные глаза Гонзаго отмечали с одобрением. Он всегда находил нужное слово – без пустой лести – не только о внешности Жюльетты, но и о ее находках модельера, подчеркивавших очарование Искуи. И говорил он не как ослепленный профан, но как знаток и художник, с испытующим видом поднимая сходящиеся под тупым углом брови. Таким образом, тонкое понимание Гонзаго придавало художественную ценность мастерской Жюльетты, ее работа переставала быть только развлечением. Эстетический вкус Гонзаго сказывался и на его внешности. Он был, конечно, беден, и за плечами у него лежало, вероятно, далеко не безмятежное прошлое. Но он никогда о нем не говорил. Он уклонялся от расспросов Жюльетты – не потому, что был таким уж скрытником или вынужден был что-то скрывать; казалось, он презрительно отодвинул от себя все бывшее за его маловажностью. Вопреки, а может, как раз благодаря своим ограниченным средствам, он, являясь в дом Багратянов, был всегда хорошо одет. А так как в обозримый срок он не мог бы обновить свой европейский гардероб, то и обращался с ним чрезвычайно бережно. Это умение носить костюм и изящная осанка необыкновенно нравились Жюльетте, хоть она и не отдавала себе в этом отчета.

Гораздо меньше нравилась эта черта Гонзаго обоим учителям – Шатахяну и Восканяну: она вызывала в них зависть, задевала их самолюбие. А карлик Восканян совсем помешался от ревности. Ни его каллиграфическая поэзия на пергаментных листах, ни его величественное молчание не пробудили в мадам Багратян интереса к его молчаливой роли в обществе и к его богатому внутреннему содержанию. А Гонзаго, этот самодовольный метис, пустым фатовством сразу снискал ее расположение. И Грант Восканян вступил в неравный поединок с фатом. Он побежал к портному, который полвека назад года два портняжил в Лондоне. На стене у этого британского мастера висели выкройки и модные картинки, изображавшие безукоризденного джентльмена

той эпохи. Правда, с материалом обстояло гораздо хуже – имелось лишь тонкое серое сукно почтенного возраста, которому сделало бы честь разве что служить бортовкой пиджака. Невзирая на это, Восканян выбрал образцом некоего представительного лорда, чья долговязая фигура была облачена в серый сюртук с двумя длинными фалдами. При примерке обнаружилось, что серый двуххвостый сюртук карлику по шиколотку. Его, однако, это не смутило, несмотря на сомнения, высказанные портным. Получив свой костюм, Восканян вдел в петлицу белый цветок – деталь, которую он тоже заимствовал у своего лорда. К несчастью, он для полноты эффекта добавил уже «отсебятину»: приобрел в аптеке премудрого Григора склянку весьма крепкого благовония, добрую половину которого вылил на свой новый костюм. Этим ему действительно удалось с первой же минуты привлечь живейшее внимание мадам Багратян и присутствовавших. Кончилось тем, что Габриэл отвел его в сторону и учтиво попросил надеть на несколько часов какой-нибудь из его пиджаков. А серый роскошный сюртук тем временем повисит в саду и проветрится.

Кроме упомянутых гостей, на вилле иногда бывали и пожилые супружеские пары – доктор Петрос Алтуни с Майрик Антарам и пастор Арутюн Нохудян со своей боязливой супругой. Тер-Айказун был у Багратянов всего лишь раз.

В один прекрасный июльский день Габриэл Багратян предложил своим гостям провести вечер и ночь на Муса-даге и встретить там восход солнца. То была чисто европейская затея, близкая сердцу горожанина, который вынужден проводить жизнь среди бетонных стен и отягощен деловой корреспонденцией. Но здесь? Собравшееся за столом общество было порядком удивлено таким смелым предложением. Один лишь Апет Шатахян, который ни за что не хотел уронить себя в глазах Багратянов, стал восхвалять прелесть ночевки под открытым небом. Но Багратян его разочаровал:

– Нам вовсе незачем спать под открытым небом. Я обнаружил в нашем чулане три вполне оборудованные палатки. Они принадлежали моему покойному брату, он пользовался ими для дальних охотничьих экспедиций. Две из них совершенно современные походные палатки, приобретены братом в Англии. Каждая рассчитана на двух-трех человек. Третья – большой, роскошный шатер арабского шейха. Аветис, должно быть, привез его когда-то из своих странствий, а может, шатер принадлежал нашему деду...

Жюльетта довольно благосклонно отнеслась к предстоящей прогулке, Стефан запрыгал от радости, и пикник назначили на ближайшую субботу.

Аптекарь Грикор, который все пережил и все свершил, кому ничто под луной не было ново – от изготовления конфитюра до сравнительной теологии, – поделился своим опытом жизни под открытым небом. При этом его раскосые глаза смотрели куда-то в пустоту, а монотонное звучание глухого голоса как бы подчеркивало, сколь ничтожной кажется рассказчику эта крохотная частица его многообразных познаний; на недвижимом желтоватом лице лишь подрагивала козлиная бородка. Бывало, рассказывал аптекарь, он неделями жил на

Муса-даге, не спускаясь вечером в долину. Кто по-настоящему знает Муса-даг (но кто же знает его по-настоящему?), тот найдет там надежное пристанище на ночь, обойдется и без палатки. Он, Григор, конечно, имеет в виду не только общеизвестные пещеры над Кебусие. Народ сложил легенду о святом Саркисе, который, преследуя язычников, взлетел на лихом коне на Дамладжк, и копыта коня-исполина оставили следы, огромные впадины – пещеры. Но Муса-даг ничего общего со святым Саркисом не имеет, зато имеет самое прямое отношение к отшельнику Сукиасу и другим пустынножителям и монахам, которые в далекие, давно прошедшие времена, удалясь от света, селились в пещерах.

Правда, аптекарю во время его многодневного пребывания на Муса-даге и в голову не приходило искать подобно этим пещерножителям благодати – его интересовало только познание природы. Своим тогдашним ботаническим изысканиям он обязан полным гербарием Муса-дага. Любители флоры найдут в этом гербарии несколько экземпляров лисохвостов и свинцового корня, о которых в своих трудах не упоминает даже прославленный Линней.\* У Григора по поводу своих открытий сохранилась переписка со многими президентами академий. К сожалению, молодежь утратила интерес к миру растений и их классификации, она живет без глубоких чувств, не думая о завтрашнем дне (выпад против учителей). Но он смеет утверждать, что в состоянии, как фармацевт, извлечь из лекарственных трав, растущих на Муса-даге, все употребляемые в медицине медикаменты. Ему незачем ездить в Антиохию, чтобы пополнить запасы хинина и других пилюль и порошков из государственных складов. (Это был уже выпад против Багратяна за то, что тот без должного доверия разглядывал аптеку мудреца.)

---

\* Карл Линней (1707-1778) – шведский естествоиспытатель, создатель системы растительного и животного мира.

---

Кроме пасторши, госпожи Нохудян, которая пришла в ужас от проекта Габриэла, столь вредного для здоровья ее немощного, слабосильного мужа, только Искуи не согласилась принять участие в пикнике.

Что удивительного! Она испытала безысходный ужас ночей под открытым небом, в открытом поле. То, что другие называли удовольствием, в ее глазах было кощунством. Она чувствовала себя точно голодный, который видит, как пресыщенные люди выбрасывают за окно еду. Всего в семидесяти милях отсюда на восток по шоссе тянулись умирающие колонны ссыльных. Ее возмущала бессердечная затея Багратяна. Об истинной подоплеке этой затеи она не догадывалась.

– Я бы хотела остаться дома, – взмолилась Искуи.

Габриэл ответил не без суровости:

– Ни в коем случае, Искуи! Я думал, вы поддержите компанию. Нет, вы должны жить с Жюльеттой в большом шатре.

Искуи не сводила глаз со скатерти, с трудом подбирая слова.

– Я... Я боюсь... Ведь я каждую ночь радуюсь, что сплю в доме.

Габриэл попытался заглянуть ей в глаза:

– А я-то на вас рассчитывал.

Искуи, не поднимая головы, крепко сжала губы.

Странное дело – Багратян вдруг вспыхнул из-за такого, казалось бы, пустяка:

– Я настаиваю, Искуи!

По лицу ее пробежала судорога. Жюльетта сделала знак мужу, чтобы он оставил Искуи в покое, дав понять, что берет на себя уговорить девушку.

Но это оказалось трудней, чем она думала. Сначала она попробовала воздействовать на Искуи чисто женскими доводами: дескать, по существу, все мужчины – мальчишки. Для женщины, которая хочет строить жизнь по-своему и держать бразды в своих руках, самое разумное – по возможности не перенить маленьким мужским причудам. И ничто не вызывает такой благодарности у настоящего мужчины, никогда он не бывает таким покорным, как тогда. А женщине, чтобы осуществлять свою волю в важных жизненных вопросах, надо спокойно уступать в мелочах.

Похоже, Жюльеттина проповедь была адресована замужней женщине – себе же самой. Но какое дело было Искуи до «маленьких мужских причуд» Багратяна? Она смущенно смотрела в сторону.

– Для меня это не мелочи.

– Но это может быть очень мило. Все же будет как-то по-другому...

– У меня слишком много всяких воспоминаний о том, как бывает «по-другому».

– Твой брат, пастор, не возражал...

Искуи глубоко вздохнула.

– Я ведь не из упрямства...

Но Жюльетта, видимо, уже сдалась:

– Если ты останешься дома, я, пожалуй, тоже не пойду. У меня нет никакого желания быть единственной женщиной среди такой уймы мужчин. Уж лучше тоже останусь.

Искуи окинула Жюльетту долгим взглядом:

– Нет, так нельзя! Мы не можем так поступить! Раз ты хочешь, я пойду. Для тебя я сделаю это с радостью. То чувство уже прошло.

Жюльетта вдруг почувствовала усталость.

– До конца завтрашнего дня у нас много времени. Еще десять раз передумаем.

Она поднесла руку ко лбу, закрыла глаза – какой-то тягостный морок, словно часть зловещих воспоминаний Искуи проникла в ее душу.

– Может быть, ты права в своем чувстве, Искуи! Мы живем так бездумно...

На другой день в путь отправились сравнительно рано. Ради женщин решено было идти не кратчайшей дорогой – Дубовым ущельем, а более удобной, окольной, через Северное седло. Добираться до него надо было по проселку, через Азир и Битиас, в общей сложности полмили. Сегодня Муса-даг, несмотря на свои пропасти, утесы-бастионы и заросли, вел себя как благонаправная гора; желающая показать себя альпинистам с наилучшей стороны.

Все были в самом бодром настроении, даже Искуи мало-помалу повеселела.

Габриэл имел возможность убедиться, что его сын, с тех пор как посещает школу Шатахяна, с головокружительной быстротой забывает свое европейское воспитание.

– Я его просто не узнаю, – сказала как-то Жюльетта мужу. – Нам нужно очень за ним присматривать. Он уже говорить стал точь-в-точь как его блистательный наставник, на этом деревянном армяно-французском языке.

Стефан уже знал Дамладжк почти так же хорошо, как отец. Он пытался изображать из себя проводника. Однако все время сворачивал с дороги, так как не хотел пропускать ни одной труднодоступной кручи, где мог бы щегольнуть своей ловкостью. Порой он уходил далеко вперед, а иногда так отставал, что голос его, откликнувшийся на зов, был еле слышен.

У Стефана были серьезные причины отставать: Сато, понятно, не позволили участвовать в экскурсии, хоть Стефан и просил за нее. За этим диким и злющим созданием пока не числилось никаких преступлений, и все же она отталкивала от себя всех своими «нечистыми глазами». Но Сато была единственной его ровесницей в доме, поэтому Стефан из классовой, так сказать, солидарности сверстника всегда был на ее стороне. Он и сейчас знал, что она, по своему обыкновению крадучись, идет по их следам. И время от времени он отставал, чтобы пройти с Сато несколько шагов.

Правда, разговаривать с нею было очень трудно. Какое-то время эта зверушка отвечала по-хорошему, вполне разумно и вдруг приходила в исступление, и тогда изо рта ее исторгались бессмысленные, омерзительные звуки.

До чудесной лужайки дошли раньше, чем Габриэл предполагал. Кристофор, слуга Мисак и конюх под руководством Авакяна славно поработали. Палатки были уже разбиты и прочно закреплены. Над шейховым, или дедушкиным, шатром даже реял флаг с вышитым древнеармянским гербом: Арарат, ковчег и посреди – парящий голубь.

Шатер этот и впрямь был роскошным обиталищем, напоминанием о далеких временах величия и блеска. Имел он восемь шагов в длину и шесть в ширину. Остов был сделан из жердей толщиной в руку, особо твердой древесной породы, стенки шатра изнутри были обшиты красивыми коврами. Правда, шатер имел крупный недостаток: внутри его остро пахло камфорой и

старыми вещами. Стенки шатра хранились в больших мешках, свернутые в трубку, и управляющий именем Кристофор время от времени высыпал на них горы камфоры и антимолевых порошков.

Гораздо больше путники восхищались двумя современными походными палатками, которые Аветис-младший привез несколько лет назад из Лондона; сделанные, как обычно, из брезента, они были оборудованы всем, что способен изобрести сметливый ум бывалого охотника и светского человека. Дело в том, что Аветис незадолго до того, как его скосила болезнь, готовился к путешествию с двумя друзьями-англичанами по почти нехоженным горным и степным местностям.

В этих палатках ничто не было забыто: складные походные кровати, на которых спать было совсем не жестко; шелковые спальные мешки; разборные, легкие как перышко столы и стулья; кухонная и чайная посуда, миски и тарелки – все алюминиевое; резиновые умывальные тазы и рукомойник; и – что достойно упоминания – газовые и керосиновые лампы с защитой от ветра.

Стали распределять жилье. Жюльетта отвергла шатер шейха и заняла вместе с Искуи одну из современных благоустроенных палаток. Григор и Гонзаго получили вторую такую же. Учитель Восканян по каким-то неясным причинам объявил, бросив строгий взгляд на Жюльетту, что предпочитает провести ночь наедине с собой, вдали от рода людского. Сделав эту декларацию, он вскинул свою курчавую голову, словно ждал, что раздастся общий хор похвал такому горделиво-мужественному решению и вдобавок благосклонный женский голос попытается отговорить его от этой затеи. Но Жюльетта и не вспомнила ни о диких лесных зверях Муса-дага, ни о дезертирах, которых не убоился Восканян. Никто не стал оспаривать необходимость диалога Восканяна с собственной душой. А он, скорчив презрительную мину, отвернулся и весь вечер провел в мрачном раздумье, так и не получив возможность взять обратно свое не оцененное по достоинству решение.

В роскошном апартаменте с вымпелом на верхушке расположились Габриэл, Стефан, Авакян и Шатахян.

Багратьян называл про себя этот вечер генеральной репетицией. Правда, прошел он без особых происшествий. Ничего романтического не произошло, разве что повар Ованес стряпал на костре, под открытым небом. Мисак, отчаянный малый, несколько дней назад совершил набег на Антиохию, где у знакомого армейского поставщика раздобыл партию английских консервов – целый выюк, ими-то сегодня и ужинали. Во время ужина Стефан несколько раз тайком относил в мякише булки часть своей порции консервов голодной Сато, державшейся подальше от отсветов костра.

У костра сидели, как полагается, на одеялах. Мисак расстелил на ровном месте скатерть, расставил на ней миски с кушаньями.

Вечер был приятно свежий. Луна вступила в свою третью четверть. Мало-помалу меркло пламя костра. За ужином пили вино и крепкую водку из ягод шелковицы, которую гнали местные крестьяне. Но этому вечеру



недоставало уюта, задушевности. Жюльетта очень рано покинула общество. Она чувствовала какую-то непонятную подавленность. Только сейчас она поняла, отчего так сопротивлялась Искуи этой затее. Со всех сторон здесь подстерегала перевозданная, нелюдимая земля, такая ужасающе суровая. А может, и в самом деле есть что-то кощунственное в этом придуманном Габриэлом развлечении?

Она ушла с Искуи в палатку. Пожелали друг другу доброй ночи и остальные. С высоко поднятой головой удалился и Восканян, он занял место неподалеку от расположившихся на ночевку слуг и за ночь прозяб, расплачиваясь за свое комедиантство.

Габриэл распределил между мужчинами ночную вахту возле палаток. Дежурили по двое, сменялись каждые три часа. Багратян роздал винтовки и боевые патроны. Кристофор и Мисак ходили с его покойным братом на охоту и свободно обращались с огнестрельным оружием.

Габриэл лег последним. Но ему не спалось, как не спалось и Искуи. Она лежала неподвижно, боясь пошевелиться, разбудить Жюльетту. А Габриэл несколько часов ворочался с боку на бок. Его душил запах камфоры и какой-то затхлый дух в шатре. В конце концов он оделся и вышел. Было, вероятно, полчаса первого. Он велел караульным – Мисаку и повару – идти спать, а сам, оставшись единственным часовым, стал медленно шагать вокруг Площадки трех шатров. Временами он включал свой карманный фонарик, но фонарик отбрасывал лишь крохотный световой кружок.

Ночь не таила в себе ничего угрожающего. За участниками пикника не увязалась даже ни одна из тех одичалых собак, из-за которых внизу, в долине, опасно ходить ночью, огненные их глаза не сопровождали сегодня людей. Ни одного подозрительного звука. Во мраке ночи, как молнии, проносились летучие мыши. Едва луна, уже готовая кануть в море, на миг выплыла из-за облака, как в мертвой тишине вдруг запел соловей – да так заливисто и звонко, что Багратян был потрясен.

Он попытался понять, как же это случилось, что его сокровеннейшие думы уже обрели реальные очертания. Вот они вырисовываются на ночном небе силуэтами трех палаток. Как же это произошло? Но нет, он не мог сейчас думать, слишком много чувств теснилось в душе.

Габриэл закурил новую сигарету и вдруг увидел неподалеку от себя привидение; оно тоже закурило сигарету. Привидение было в барашковой шапке турецкого солдата и опиралось на пехотную винтовку. Черты его лица Габриэл не мог рассмотреть, но то, что позволил увидеть слабый огонек сигареты, было наверняка очень исхудалым лицом. Габриэл окликнул привидение, но оно не сдвинулось с места даже после второго и третьего оклика. Габриэл вынул армейский пистолет и, громко щелкнув, взвел курок. Это была пустая формальность, так как Габриэл чувствовал, что тень ничего против него не предпримет. Тень еще немного постояла, затем разразилась каким-то клохчущим и равнодушным смехом, огонек сигареты исчез, а с нею и человек.

Габриэл растолкал спящего Кристофора:

– Тут какие-то люди. Я думаю, из дезертиров.

Управляющий нисколько не удивился.

– Ну да, это, верно, дезертиры. Беднягам нелегко приходится.

– Я видел только одного.

– Может, Саркиса Киликяна?

– А кто такой Саркис Киликян?

– Astwadz im! О господи!

Кристофор устало отмахнулся – это, видимо, значило, что выразить словами, кто такой Саркис Киликян, невозможно.

Однако своим людям – все они проснулись – Багратян приказал:

– Ступайте ищите его! Захватите чего-нибудь поесть. Человек явно голоден.

Кристофор и Мисак отправились на розыски, взяв с собой несколько банок консервов и фонарь, однако спустя некоторое время вернулись ни с чем. Вполне вероятно, что в последнюю минуту им все-таки стало страшно.

Если вечер накануне навел тоску, то утро принесло разочарование. Мир предстал в тумане. Сердца людей исполнились тревоги. Солнце взошло невидимо. Решено было все же подняться на одну из голых вершин, откуда открывались, медленно вырастая из тумана, море и суша.

Багратян огляделся кругом:

– Несколько недель здесь вполне можно было бы провести. Он сказал это так, словно защищал красоту Муса-дага от несправедливых нападков.

Григор в своем нерушимом спокойствии удостоил взглядом довольно бурное море.

– Когда-то, в мое время, в ясную погоду отсюда можно было увидеть Кипр.

Никто не посмеялся над этими словами и не спросил: неужто остров Кипр, что расположен вон там, на юго-западе, уплыл еще дальше в Средиземное море, с тех пор как англичане сделали его своей военно-морской базой?

Багратян тоже заинтересовался Кипром:

– От мыса Андрея до устья Оронта не будет и пятидесяти морских миль. И все же за то время, что я здесь, еще ни один английский или французский корабль не показывался у побережья.

– Тем не менее они засели на Кипре.

Произнеся эти бесспорно успокоительные слова, Григор повернулся к Кипру спиной и стал равнодушно разглядывать бескрайние пространства на юге и востоке, о которых десятки лет ничего не слышал. Сквозь просветы в тающем тумане четко прорисовывались арки римского акведука в Селевкийи. Над голыми вершинами восточное Дамладжка висело сытое ржавое солнце. Серыми и коричневыми уступами спускались склоны холмов к Антиохии. Непостижимым казалось, что в пустых складках Земли, на этих нетронутых равнинах суждено жить сотням тысяч людей.

Картина этой мирной пустыни побудила аптекаря отметить то, чего он

раньше намеренно не касался. Его старческий палец указывал куда-то вдаль:

– Вот смотрите! Все как прежде! При Абдул Гамиде здесь зачастую весь горизонт бывал в огне! А мы как-никак дожили до старости.

Гонзаго выпался лучше всех участников пикника, судя по его свежему и подтянутому виду. Он указал на большой спиртоводочный завод под Суэдией, трубы которого уже начинали дымить. Завод, рассказал он, принадлежит иностранной фирме, директор его – грек, Гонзаго познакомился с ним в Александретте. Дня два назад, не больше, Гонзаго говорил с ним и узнал немаловажные новости. Первая: американский президент и римский папа совместно пытаются подготовить мирное соглашение, что встречает благожелательный отклик.

Вторая новость касается переселения армян: депортация распространяется только на анатолийские вилайеты, но не на Сирию. Он, Гонзаго, не может проверить, насколько эти сведения достоверны, но упомянутый директор завода, человек солидный, каждый месяц ведет переговоры о поставках государству с самим вали Алеппо.

В этот момент Габриэла охватило всепоглощающее чувство уверенности в том, что всякая опасность миновала и что грядущее отступило в незримую даль. У него было такое ощущение, словно он сам обратил в бегство судьбу. В порыве благодарности он воскликнул:

– Ну скажите сами, правда, здесь прекрасно?!

Жюльетта торопила с возвращением домой. Она ненавидела появляться в обществе утром, да еще в обществе мужчин. По утрам хорошо выглядят только безобразные женщины, а в шесть утра – ни свет ни заря – дам не бывает. И кроме того, ей хотелось с полчаса еще отдохнуть до заутрени. Католичка, она ради Габриэла перешла перед их венчанием в григорианскую веру. Это была одна из принесенных ею жертв, о которых она имела обыкновение упоминать во время ссор. В такие минуты она осуждала в свойственной ей манере и армянскую церковь. Для Жюльетты она была слишком будничная, лишенная блеска и благолепия. Ссылку на то, что армянская церковь все свои свободные средства жертвует на школьное образование, она отвергала как чересчур рассудочное объяснение. Но – и это главное – Жюльетте претило, что григорианские священники носят бороду, и зачастую очень длинную. Бородатых мужчин Жюльетта терпеть не могла.

Домой возвращались по более короткой горной(тропе, через Дубовое ущелье; этим путем за час можно было добраться до дому. Впереди шли Грикор, Габриэл и Шатахян. Следом – Стефан с Искуи. За ними в одиночестве шествовал Грант Восканян. Высокомерная гримаса на его лице свидетельствовала, что этот угрюмый учитель зол на весь мир. Он то и дело с тайной яростью сталкивал вниз камни на своем пути, словно замыслил покушение на жизнь идущих впереди.

Последней шла Жюльетта, рядом с нею – Гонзаго. Самвел Авакян объявил, что немного задержится: он воспользовался предоставившимся случаем, чтобы внести поправки в свою карту Муса-дага.

Багратян приказал не убирать пока палаток; караулить их на Дамладже должны были посменно конюхи. Быть может, сказал Габриэл, палатки в недалеком будущем снова понадобятся для очередного пикника. Побудило его к этому, помимо всего прочего, суеверное убеждение, что такими приготовлениями можно предотвратить удар судьбы.

Негодная тропка то и дело терялась в чаще кустарника и осыпи. Жюльеттины ноги, изнеженные, обутые в легкие туфли, боязливо останавливались перед каждым препятствием. Тогда Гонзаго крепко подхватывал ее под руку. По дороге между ними произошел разговор – обрывочный и не без околичностей.

– Мысль о том, что мы с вами, мадам, единственные здесь иностранцы, не дает мне покоя.

Жюльетта опасливо потрогала носком туфли тропинку.

– Да вы-то хоть грек... Вроде бы не совсем иностранец...

– Как?.. Я воспитывался в Америке... А вы-то ведь очень давно замужем за армянином.

– Да, у меня все основания жить здесь... А у вас?

– В моей жизни основания для поступков всегда появляются после.

Они подошли к месту, где дорога шла под уклон Жюльетта остановилась и с облегчением вздохнула.

– Я никогда не могла понять, что вас сюда привело... Вы ведь не очень откровенны на этот счет... Что может делать в Александrette американец, если он не торгует мерлушкой, хлопком или чернильным орехом?

– Каким бы я ни был скрытным... здесь, пожалуйста, поосторожней... вам я охотно объясню почему... Я работал аккомпаниатором при гастролирующем мюзик-холле... Мерзкое занятие... Хотя мой квартирный хозяин Грикор весьма высокого о нем мнения.

– Вот как? А затем вы подло бросили ваших артисток... Где же теперь труппа?

– У нее контракты на гастроли в Алеппо, Дамаске и Бейруте...

– И вы, стало быть, сбежали?

– Совершенно верно! Это было настоящее бегство... одна из моих болезней...

– Бегство? Но вы так молоды... Ну нет, у вас, верно, были уважительные причины...

– Я не так молод, как вам кажется...

– Господи, ну что за дорога! У меня туфли полны камешков... Дайте мне, пожалуйста, руку. Вот так.

Она крепко ухватила левой рукой за Гонзаго, а правой вытряхивала свои полуботинки. Гонзаго продолжал:

– Сколько же, по-вашему, мне лет? Угадайте!

– Сейчас мне, право же, не до этого...

Гонзаго, серьезно и даже как будто виновато:

– Тридцать два!

Жюльетта, расхохотавшись:

– Для мужчины это много?

– Я, наверное, больше пережил, чем вы, мадам... И когда тебя вот так носит по свету, тогда видишь, где правда...

– Бог знает, куда они все девались... Ау! Могли бы откликнуться...

– Мы поспеем вовремя...

Когда дорога опять стала круче, Жюльетта остановилась:

– Не привыкла я лазать по горам... У меня ноги болят... Побудем здесь немножко!

– Здесь негде сидеть...

– Говорю вам, Гонзаго, унесите ноги из Йогонолука!.. Что вам могут сделать? Вы американский подданный... И ничуть не похожи на армянина...

– На кого же? На француза?

– Вот уж нет, не воображайте!

Дорогу перерезал ручеек, протекавший по Дубовому ущелью. Ни мостика, ни хотя бы ствола дерева, переброшенного поперек. Гонзаго легко поднял на руки Жюльетту, хотя она была большой и нелегкой. По его узким плечам трудно было догадаться, что он наделен такой силой. Она с неприязнью чувствовала на своих бедрах холодные пальцы этого чужого мужчины.

Тропа стала ровней, и они ускорили шаг. Гонзаго заговорил о самом существенном:

– А как же Габриэл? Почему он остается здесь? Разве у него нет никакого способа выбраться из Турции?

– Во время войны? Куда? Мы турецкие подданные... Габриэл военнообязанный... Паспорта у нас отняли... Кто поймет, что задумали эти дикари?

– Но вы-то, Жюльетта, достаточно похожи на француженку... Нет, в сущности, вы похожи на англичанку...

– На француженку, на англичанку... Это вы к чему?

– Немного решимости, и вы, именно вы пройдете всюду...

– Я жена и мать!

Сейчас Жюльетта шла так быстро, что Гонзаго даже отстал. Она услышала долетевший до нее как дуновение полусшепот:

– Жизнь есть жизнь.

Она резко обернулась:

– Если вы так думаете, зачем остаетесь в Азии?

– Я? Да ведь война касается всех мужчин на свете.

Жюльетта замедлила шаг.

– Вам ведь это так легко, Гонзаго. Будь у нас ваш американский паспорт! Вы же вполне можете присоединиться к вашим спутницам в Дамаске или Бейруте. Почему бы нет? Приросли вы, что ли, к этому забытому богом клочку земли?

– Почему? – Теперь Гонзаго шел бок о бок с Жюльеттой. – Почему? Если бы я даже знал точно, вам, Жюльетта, я, может быть, меньше всего решил бы

это сказать.

На повороте дороги их ждал Восканян. Он сделал над собой усилие и присоединился к отставшей паре; время от времени он окидывал Жюльетту мрачно-повелительным взглядом. До ворот сада Багратянов никто не проронил ни слова.

Поистине словно по наитию устроил Габриэл свою генеральную репетицию почти в последнюю минуту: в подъезде его ждал Али Назиф, рябой жандарм.

– Хозяин, я пришел за моими меджидие, в счет которых ты дал мне задаток.

Габриэл вынул из бумажника ассигнацию – один фунт стерлингов – и спокойно протянул ее. Али Назифу, точно ждать, не выказывая нетерпения, пока Назиф выполнит свое обязательство, было чем-то само собой разумеющимся.

Старый заптий осторожно взял кредитку.

– Я совершаю тяжелый проступок, нарушив приказ. Смотри, не выдавай меня, эфенди!

– Деньги ты взял. Говори!

У Али Назифа забегали глаза.

– Через три дня по деревням будут ходить мюдир и капитан полиции.

Багратян поставил свою палку в угол и снял с плеча полевой бинокль.

– Вот как? И что хорошего скажут нам, в наших деревнях, капитан полиции и мюдир?

Жандарм стал потирать свой небритый, щетинистый подбородок.

– Вы должны уйти отсюда, эфенди, все до единого. Так велят каймакам и вали. Заптий соберут всех вас, из Суэдии и Антиохии, и поведут на восток. Да только в Алеппо – могу и это тебе сказать – вам не позволят сделать остановку. Это воспрещается из-за консулов.

– А ты, Али Назиф, ты тоже будешь среди этих заптиев?

Рябой был крайне возмущен:

– Иншалла! Слава богу, нет! Разве я не прожил с вами двенадцать лет в должности коменданта всего округа? И все были довольны? День и ночь потому что следил, чтобы был порядок. А теперь из-за вас теряю хорошее место. О людская неблагодарность! Наш пост упраздняется, окончательно и бесповоротно.

Багратян сунул ему в руку несколько сигарет, чтобы немного утешить беднягу.

– А теперь, Али Назиф, скажи мне, когда расформируют твой пост?

– Мне дан приказ сегодня же двинуться с отрядом в Антиохию. А потом сюда прибудет мюдир с целой ротой.

В подъезд входили Жюльетта, Искуи и Стефан. Присутствие Али Назифа не вызвало у них никаких подозрений. Габриэл вывел заптия из прихожей на площадку перед домом, усыпанную гравием.

– Исходя из того, что ты мне сообщил, Али Назиф, деревни три дня будут

без присмотра.

Габриэл, очевидно, усомнился в верности этого сообщения.

Испуганный жандарм понизил голос:

– О эфенди, если ты на меня заявишь, меня вздернут да еще повесят доску с надписью «государственный изменник». А я, несмотря на это, все тебе говорю. В течение трех дней в деревнях не будет ни одного заптия, потому что посты будут заново формироваться в Антиохии. Потом вам дадут еще несколько дней на сборы.

Габриэл пристально смотрел на верхние окна своего дома, будто боялся, что Жюльетта за ним наблюдает.

– Али, вы обязаны были представить списки жителей?

Рябой с откровенным злорадством ему подмигнул.

– Тебе, эфенди, надеяться не на что! На богатых и образованных они пуще всего злобятся. Что за радость, говорят, если бедные и работающие армяне подохнут, а господа толстосумы и адвокаты останутся в стране! Ты у них на особо плохом счету. Твое имя, эфенди, стоит в списке первым. Они все время о тебе толковали. И думать нечего, что они твою семью пощадят. Это они совершенно точно обговорили. До Антиохии вы будете вместе. А там вас разлучат.

Багратян почти что с удовольствием разглядывал заптия.

– Да ты, кажется, попал в число высокопоставленных и посвященных? Так, может, мюдир открыл тебе свое сердце, Али Назиф?

Рябой величественно кивнул головой.

– Лишь ради тебя, хозяин, я столько старался. Простаивал часами в канцеляриях хюкюмета и слушал во все уши. О эфенди, я заслужил сверх твоего жалкого бумажного фунта еще и награду на том свете! Какая цена нынче бумажному фунту? Если его на базаре и согласятся разменять, то непременно обманут. Ты только вдумайся: ведь моим преемникам достанется больше, чем сто золотых фунтов и всех меджидие, какие можно добыть в деревнях. Им будет принадлежать твой дом со всем добром, какое там есть. Потому что тебе ничего не разрешат взять с собой. И твои лошади им достанутся. И твой сад со всеми плодами, которые он приносит...

Багратян прервал это цветистое перечисление:

– Пойдет ли только это им впрок!..

Он расправил плечи и вскинул голову.

Но Али Назиф уныло топтался на месте.

– И теперь я продал тебе все это за клочок бумаги.

Чтобы избавиться от него, Габриэл высыпал из кармана все свои пиастры.

Когда Габриэл вошел в дом священника, он, к великому своему удивлению, узнал, что Тер-Айказуну о близкой катастрофе стало известно за несколько часов до сообщения Али Назифа. В тесной комнате уже собрались Товмас Кебусян, шесть остальных мухтаров, двое женатых священников из деревень и пастор Нохудян из Битиаса.

Серые и будто восковые лица. Удар грома не рассеял марево болезненного

полусна, в котором много недель ходили эти люди, оно лишь стало гуще. Они стояли вдоль стен так плотно прижавшись к ним, что казалось – это безжизненные лепные фигуры, выступающие из каменной кладки. Сидел только Тер-Айказун. Его закинутае назад лицо было в густой тени. Только руки, спокойно лежавшие на письменном столе, озарял неподвижный солнечный блик. Когда кто-нибудь из собравшихся говорил, то говорил едва слышно, еле шевеля губами. Тер-Айказун, обращаясь к Багратяну, сказал вполголоса:

– Я велел собравшимся здесь мухтарам немедленно по возвращении в деревни созвать общины на сход. Сегодня же, и как можно скорей, сюда, в Йогонолук, должны явиться все взрослые жители – от Вакефа до Кебусие. Мы собираем их на всеобщий сход, где будет решено, какие следует принять меры...

Из угла донесся дрожащий голос пастора Нохудяна:

– Никаких мер принять нельзя...

От стены отделился мухтар Битиаса.

– Есть ли в этом смысл или нет, народ должен собраться: людям надо послушать других и самим высказаться. Тогда все будет легче.

Тер-Айказун, нахмурившись, выслушал этот перебивший его обмен репликами. Затем продолжал излагать Багратяну свои предложения:

– На этом сходе общины должны выбрать людей, которые пользуются их доверием и возьмут на себя руководство ими. Порядок – единственное оставшееся нам оружие. Если мы и за своей околицей будем поддерживать порядок и дисциплину, мы, быть может, не погибнем...

Произнеся слова «за своей околицей», Тер-Айказун поднял наполовину скрывавшие глаза веки и испытующе посмотрел на Габриэла. Товмас Кебусян покачал лысой головой:

– На церковной площади устраивать собрание нельзя. Там ведь заптии. В церкви тоже нельзя. Бог ведь кто туда может затесаться, подслушать и донести на нас. Да и мала церковь, всех нас не вместит. Но тогда где?..

– Где? Очень просто! – Багратян лишь сейчас подал голос: – Мой сад окружен высокой оградой. В ограде три запирающиеся калитки. Места там достанет для десяти тысяч человек. Мы там будем как в защищенной крепости.

Предложение Багратяна решило дело. Тем, кто отчаявшись, или от душевной усталости безвольно шел на гибель, не противясь уничтожению, и тем, кто всегда и во всем чинил препятствия, теперь нечего было возразить. Да и какие, в конце концов, возражения можно было высказать против того, чтобы жители армянской долины в смертный час своего народа собрались и выбрали вожаков, пусть столь же беззащитных, как и они сами? Место для сходки было надежное. Вероятно, все согласились на сходку еще и потому, что предполагалось, будто у семьи Багратянов есть связи с властью имущими, которые можно использовать для спасения семи деревень.

Обещав немедленно поднять народ, мухтары понуро побрели из дома священника. Йогонолук был расположен посреди округи, поэтому последние



участники схода могли поспеть в сад Багратяна в четвертом часу пополудни. Мухтары взяли на себя охрану садовых калиток, чтобы никто посторонний туда не проник.

Тер-Айказун встал. Его звали колокола. Пора было приготовиться к богослужению.

Армянская литургия самая продолжительная из всех христианских месс. От Introitus\* до последнего крестного знамения священника проходит, пожалуй, добрый час или полтора. Никакие музыкальные инструменты, кроме бубна и тарелок, не сопровождают пение хора; по воскресеньям, когда хору не терпится уйти по домам, он ускоряет темп, чтобы поторопить священника и сократить торжественную мессу. Сегодня это ему не удалось. Погруженный в свои мысли, Тер-Айказун особенно долго останавливался на каждом разделе священного текста, на каждой подробности религиозного обряда.

---

\* Introitus – молитва, которой начинается обедня.

---

Хотел ли он продлить молитву в надежде на чудо нечаянного спасения? Хотел ли оттянуть ту минуту, когда над ничего не подозревающими общинами грянет гром? Минута эта наступила слишком быстро, как раз тогда, когда Тер-Айказун в последний раз благословил паству и произнес:

– Идите с миром и господь да пребудет с вами!

На скамьях уже послышался шорох: люди вставали с мест, но Тер-Айказун вышел вперед, на верхнюю ступень алтаря, простер руки и возгласил:

– То, чего мы боялись, свершилось!

Затем спокойным, ровным голосом продолжал. Никто, сказал он, не должен попусту волноваться и терять самообладание. Таковую же мертвую тишину, как сейчас, нужно соблюдать и в ближайшие дни. Всякое безрассудство, всякое нарушение порядка, плач и стенания – бесполезны и только ухудшат положение. Единство, стойкость, порядок – только этим можно предотвратить самое худшее. Есть еще время продумать каждый шаг. Тер-Айказун призвал все общины прийти на великий сход у дома Багратяна. Ни один взрослый, здравомыслящий человек не должен от этого уклоняться.

На этом сходе предстоит не только принять решения о будущей совместной тактике всех семи деревень, но и выбрать руководителей, которые до последнего будут стоять за народ перед властями. На этот раз не годится голосовать поднимая руку, как обычно голосуют во время общинных выборов. Поэтому каждый должен захватить с собой листок бумаги и карандаш, чтобы голосовать по всем правилам.

– А теперь спокойно расходитесь по домам, но только порознь, – наставлял священник толпу, – не привлекайте к себе внимания! Возможно, сюда наслали шпионов, которые за вами следят. Заптии не должны заметить, что вы подготовлены. Не забудьте захватить листок бумаги и приходите вовремя, в назначенный час. И помните: спокойствие!

Повторять не понадобилось. Точно сонм мертвецов или отмеченных смертью выходили люди, пошатываясь, на белый свет и не узнавали его.

Человек не знает себя, пока не придет час испытания.

Жизненный путь Габриэла Багратяна до этого дня:

Отпрыск родовитой семьи. Вырос в полном благополучии, жил за границей, в Европе и Париже, созерцательной жизнью. Давно порвавший связь с народом, государством, со всякой массовой организацией, защищенный от мира «абстрактный» человек. Внешних препятствий, с которыми он сталкивается, мало. Всем необходимым его обеспечивает глава семьи, старший брат, невидимый и недостижимый благодетель. Затем наступает несколько странный и единственный перерыв, эпизод в этом всецело занятом внутренней жизнью интеллектуальном и эмоциональном бытии: военное училище и война. Идеалистический патриотизм, который внезапно завладевает умом этого созерцателя, понять нелегко. Великое политическое братание турецкой и армянской молодежи объясняет его недостаточно ясно: в Габриэле говорит еще что-то другое, какая-то тайная тревога, попытка сойти со своего слишком торного жизненного пути. Однако во время короткой военной кампании Габриэл Багратян открывает в себе новые качества. Оказывается, он вовсе не человек, живущий исключительно внутренней жизнью. Он, сколь ни удивительно, превосходит своих восточных однополчан мужеством, присутствием духа, энергией, находчивостью. Он быстро продвигается по службе, многократно награжден и упоминается в рапортах командованию сухопутных войск. Правда, со временем все это как бы отходит на задний план, становится воспоминанием, противоречащим всей логике его жизни, потому что снова берет верх его изначальная природа, умиротворенная и гораздо более зрелая. Но нынешний день – сегодня двадцать четвертое июля – превращает все предыдущие годы этой жизни в бледную прелюдию.

Авакян был ошеломлен, увидев, как мнимые химеры скучающего барина, которые он несколько недель подряд фиксировал на бумаге, преобразуются в большой и остроумный военный план. Они сидели вдвоем в запертом на ключ кабинете Багратяна. Можно было сколько угодно звать и стучаться – они не отворили бы дверь. Таинственные штрихи, крестики и волнистые линии на трех картах, над которыми студент Авакян посмеивался, как над пустым фантазерством, оказались основательно продуманной системой обороны. Жирная синяя черта под Северным седлом была условным обозначением длинной траншеи, которая примыкала к нагромождениям камней, – этой природной баррикаде у скалистой гряды (окрашенной в коричневый цвет!). Более тонкой синей линией были обозначены резервные окопы, маленькие прямоугольники сбоку от окопов – фланговые прикрытия и передовые

наблюдательные посты. Цифры от двух до одиннадцати, заполнявшие обращенный к долине край Дамладжка, превратились из ничего не значащих номеров в тщательно согласованные между собой отдельные участки обороны. Обрели смысл и различные надписи на карте: «Котловина города», «Скала-терраса», «Командная высота», «Наблюдатель I, II, III», «Южный бастион». Что касается последнего, то он был особенно удачной находкой для системы обороны: отряда в несколько десятков бойцов было бы здесь достаточно, чтобы держать под постоянной угрозой значительно превосходящие силы противника. Оборонять эту позицию могли бы даже женщины. Лицо Габриэла, вошедшего в азарт, пылало. Никогда еще оно не было так похоже на мальчишеское лицо Стефана, как сейчас.

– У меня есть все основания надеяться, – циркулем Стефана он проверял точность дистанций. – Я знаю турецких солдат. Лучшие из них на фронте. А те, что околачиваются в антиохийских казармах – ополченцы, заптии и солдаты нерегулярных войск, – это сброд, способный только на мелкие преступления.

Высокий, немного покатым лоб Авакяна стал белым как мел, в отличие от пылающего лица Габриэла, когда юноша вдруг представил себя участником этого удивительного плана обороны.

– Мы можем рассчитывать в лучшем случае на тысячу человек. Не знаю, как обстоит с винтовками и боеприпасами. В каждом турецком городишке, не только в Антиохии, а повсюду, стоят воинские части...

– Мы – народ численностью в пять с половиной тысяч человек, – прервал его Багратян. – Пощады ждать нам не приходится. Нас ждет медленная смерть. Но Муса-даг не так-то легко даст себя блокировать.

Авакян, пораженный, пытался возражать:

– Но захотят ли эти пять тысяч действовать с вами заодно, господин Багратян?

– Если не захотят, значит, достойны жалкой смерти в грязи, на месопотамских проселках... А я вовсе не хочу жить, вовсе не хочу спастись! Я хочу драться! Хочу убить столько турок, сколько у нас патронов. И если тому быть, я останусь один на Дамладжке. С дезертирами.

Глаза Багратяна пылали не ненавистью, а гневом, святым и веселым гневом. Казалось, он рад был бы стоять один лицом к лицу с многомиллионной армией Энвера-паши. Как безумный вскочил он с места и заходил по комнате.

– Я не жить хочу, я хочу оправдать свою жизнь!

Авакян все же не сдавался:

– Хорошо! Какое-то время мы будем защищаться. А потом?

Габриэл перестал шагать по комнате и снова спокойно сел за работу.

– А потом... нам придется в течение двадцати четырех часов решать еще несчетное множество проблем. Где поместить мясные припасы, склад боеприпасов, лазарет? Какого рода строить жилища? Источников воды здесь достаточно. Но как лучше всего обеспечить водоснабжение? Вот листки, на которых я набросал устав службы для бойцов. Перепишите его набело, Авакян. Он нам понадобится. Вообще, приведите в порядок эти заметки. По-моему, я не

так уж много упустил. Пока все это только в теории, но я убежден, что большая часть этого осуществима. Мы, армяне, постоянно кичимся своим умственным превосходством. Этим мы их смертельно обидели. Что ж, теперь мы докажем на деле свое превосходство!

Самвел Авакян сидел не двигаясь, подавленный. Но больше, чем мысли об общей судьбе, приводили его в смятение непреодолимые токи, исходившие от Габриэла. Багратяна окутывала не светящаяся, а раскаленная субстанция. Чем меньше Габриэл говорил, чем спокойнее работал, тем больше она сгущалась. На Авакяна она оказывала такое мощное действие, что он не мог сосредоточиться, не находил слов, чтобы выразить свои сомнения, а только не сводил глаз с Габриэла, который опять углубился в работу над военным планом. Авакян даже не расслышал слов Багратяна, так что тот нетерпеливо повторил:

– А теперь ступайте вниз, Авакян. Скажите, что я к обеду не приду. Пусть пришлют мне с Мисаком чего-нибудь поесть. Мне нельзя терять ни минуты. Кроме того, я не хочу никого видеть до собрания, ни одного человека, поняли? Даже мою жену!

Народ начал сходиться вскоре после полудня. Как было условлено, мухтары сами контролировали все три входа в парковой ограде, чтобы удостовериться личность каждого участника собрания. Однако эта предосторожность оказалась излишней, так как Али Назиф вместе со всеми постовыми тайно, не попрощавшись с людьми, с которыми прожил столько лет, отбыл в Антиохию. Да и родичей почтальона-турка и мусульманских соседей не было видно. Последние группы прошли сквозь контроль задолго до назначенного часа. Затем ворота и калитки заперли на засовы. Народ сгрудился на площадке перед виллой – около трех тысяч человек. Перед левым крылом дома был просторный двор, его по просьбе Тер-Айказуна огородили несколькими рядами бельевых веревок, и туда никого не впускали.

На высоком крыльце дома собрались знатные люди Муса-дага. Ступени, ведущие к крыльцу, служили ораторской трибуной. Писарь Йогонолукской общины поставил у нижней ступеньки столик, чтобы записывать важнейшие решения.

Габриэл Багратян хотел как можно дольше оставаться в своей комнате, окна которой выходили на площадь с толпой, чтобы не растрчивать душевную полноту этой минуты на случайные разговоры. Он вышел из дому, только когда Тер-Айказун за ним послал.

Помертвелые, поникшие лица – не трехтысячная толпа, нет, – одно всеобщее, единое лицо. Лицо изгнания, утратившее надежду, – оно такое же здесь, как в сотнях других мест в этот час. Вся эта людская масса стояла, хоть в этом не было надобности, так мучительно вжавшись друг в друга, что казалась малочисленной, чем была на самом деле. И лишь далеко позади, там, где старые деревья загораживали проезд, люди сидели, лежали, стояли прислонившись к стволам, отделившись от толпы, точно речь шла не об их жизни.

Когда Габриэл увидел этот народ, его родной народ, его внезапно охватил

ужас. Сердце тревожно забилося. Действительность вновь явилась перед ним иной, она резко отличалась от того представления, что он составил себе о ней. Это были. не те люди, которых он ежедневно видел в деревнях, на которых опирался в своих смелых расчетах. Из широко раскрытых глаз на него смотрела смертельная суровость и горечь. Кругом бурые, точно ссохшиеся лица. Даже щеки молодых казались ему запавшими, морщинистыми. А ведь он сживал и в крестьянских горницах, и у ремесленников, но тогда он так же мало видел реальность, как путешественник, проезжающий местность в экипаже. И лишь здесь, в этот грозный, знаменательный час, произошло первое соприкосновение этого отчужденного с истоками его жизни. Все, что он в своем кабинете продумал и разработал, вдруг лишилось опоры, – таким незнакомым, таким отпугивающим был облик тех, кого он хотел повести за собой. Женщины еще в воскресных платьях, повязанные шелковыми косынками, в монистах, в позвякивающих подвесках браслетах. Многие были одеты как турчанки – в широкие шаровары и носили на лбу жемчуга, хотя были набожными христианками. Соседство стирало различия и во внешнем облике людей, особенно в таких окраинных деревнях, как Вакеф и Кебусие. Габриэл видел мужчин в темных энтари, бородатых, в фесках или меховых шапках. Стояла жара, некоторые из них были в распахнутых рубашках. Кожа на груди, в отличие от загорелой и жилистой крестьянской шеи, была до странности белой. Седовласые нищие слепцы, похожие на пророков, возникали в толпе то тут, то там – словно души, взывающие, к расплате на Страшном суде. Впереди всех стоял Геворк, плясун с подсолнечником в руке. Лицо слабоумного выражало не всегдашнюю готовность к услугам, а упрек земной юдоли, обращенный к иному миру.

Габриэл коснулся своей куртки холодной как лед рукой. Но, прикоснувшись, ощутил ожог, как от крапивы. И в тот же миг всплыл вопрос: «Почему именно я? Как я буду с ними говорить? Как я посмел взять это на себя?» Ответственность надвинулась на него точно солнечное затмение с мелькающими во мраке тенями летучих мышей. Подлая мысль: «Бежать отсюда! Сегодня же! Все равно куда!»

Но вот Тер-Айказун начал медленно вколачивать в сознание массы свои слова. Слова и фразы приобретали смысл. Солнечное затмение на небе Габриэла кончилось.

Тер-Айказун неподвижно стоял на верхней ступени крыльца. Шевелились только губы да легко вздымался наперсный крест, когда он говорил. Остроконечный клобук бросал тень на восковое лицо, впалые щеки обрамляла черная борода с двумя клиньями проседи. Полузакрытые глаза точно таинственные тени на лице. Казалось, он был в этот час не будущим свидетелем чего-то непредставимого, а уже пережил и изведal все, так что теперь может наконец и отдохнуть. Несмотря на то что армянский язык, как все восточные языки, тяготеет к высокому слогу и пышной образности, он говорил короткими, пожалуй, даже сухими фразами.

Надо ясно представлять себе, каковы намерения правительства. Из

присутствующих здесь пожилых людей вряд ли найдется хоть один который не изведал, если не на собственной шкуре, так из опыта своих замученных родных в Анатолии, что такое погромы. А Христос не по заслугам помиловал Муса-даг, охранил его в своем милосердии. В течение долгих благодатных лет в деревнях жили мирно, тогда как в это же время десятки тысяч соотечественников в Адане и других местах были вырезаны. Однако же надо четко различать погром от депортации. Погром длится четыре, пять, в худшем случае – семь дней. Смелый человек всегда сумеет дорого продать свою жизнь. Укрытия для женщин и детей можно подготовить. Свирепая солдатня быстро утоляет жажду крови, даже самых звероподобных заплывов охватывает потом отвращение к содеянному ими. Хотя правительство всегда само организовывало погромы, оно никогда не признавало себя к ним причастным. Они возникали как следствие беспорядка и кончались в беспорядке. Но беспорядок был еще положительной стороной этой гнусности, и самое страшное, что могло тогда постигнуть человека, была смерть. Не то – депортация! Здесь смерть, даже самая ужасная, – избавление. Депортация не проходит как землетрясение, которое всегда щадит какую-то часть жителей и домов. Депортация будет продолжаться, пока последний сын нашего народа не падет от меча, не умрет с голоду на дороге или от жажды в пустыне, пока его не унесет холера или сыпняк. Здесь действует не безудержный произвол и разжигаемая жажда крови, а нечто гораздо более страшное: методичность. Все делается по плану, разработанному в стамбульских министерствах. Он, Тер-Айказун, знал об этом плане несколько месяцев, задолго до зейтунской катастрофы. Он знает также, что все старания католикоса, патриарха и епископов, просьбы и угрозы послов и консулов ни к чему не привели.

– Единственное, что мог сделать я, бедный маленький священник, – это молчать, вопреки мукам совести молчать, чтобы не омрачить последние ясные дни моих бедных прихожан. Дни эти миновали безвозвратно. Теперь надо, не поддаваясь самообольщению, взглянуть правде в лицо. Не выступайте с безрассудными предложениями обратиться к властям с ходатайством или с чем-либо в этом роде. Напрасная трата времени!

– Человеческого сострадания не ждите! – продолжал Тер-Айказун. – Распятый Христос наш велит продолжать его крестный путь. Нам остается одно: умереть...

Тер-Айказун сделал едва заметную паузу и заключил совсем другим тоном:

– Весь вопрос в том, как умереть.

– Как умереть? – повторил пастор Арам Товмасын, вскочив на ступеньку крыльца рядом с Тер-Айказуном. – Я знаю, как я умру. Не как беззащитный баран, не на шоссе по пути в Дейр-эль-Зор, не в клоаке депортационного лагеря, не от голода и не от смрадной эпидемии, нет. Я умру на пороге своего дома с оружием в руках, в том поможет мне Христос, чье слово я возвещаю людям. И со мною умрет моя жена и с ней нерожденное дитя.

Казалось, еще немного и у него разорвется сердце: Арам прижал руку к

груди, словно желая его утихомирить. Успокоившись, он заговорил о судьбе депортированных: он описал то, что пришлось пережить вместе с зейтунцами, хоть и недолго и не в такой страшной форме.

– Что это такое, никто не знает, не в состоянии вообразить, пока не испытает сам. Узнаешь это только в последнюю минуту, когда офицер приказывает двинуться в путь, когда церковь и дома, на которые ты оглядываешься, становятся все меньше и меньше, пока совсем не исчезают с глаз...

Арам описал бесконечный путь от этапа к этапу, ничего не упустив: и то, как мало-помалу ноги покрываются ранами и отекает тело, и то, как люди начинают падать и остаются лежать на дороге, а эшелон тащится дальше, как наступает всеобщее одичание и люди ежедневно мрут под ударами кнута.

Каждая его фраза тоже, точно кнутом, хлестала толпу. Но странное дело! Из терзаемых душ этой тысячной массы не исторглось ни единого вопля, ни единой вспышки ярости. Толпа по-прежнему разглядывала кучку людей на высоком крыльце, как трагических шутов, которые изображают нечто такое, что не имеет к ним, зрителям, никакого отношения. Эти виноградари, пловододы, резчики, гребенщики, пасечники, шелководы, шелкопрядильщики, которые так долго ждали грозной встречи с грядущим, сейчас, когда оно обернулось сегодняшним днем, не в состоянии были постичь его умом. Осунувшиеся лица говорили о предельном напряжении. Жизненная сила яростно пыталась пробить пелену болезненной отрешенности, в которой, точно в коконе, находились люди в последнее время.

Арам Товмасян крикнул:

– Блаженны мертвые, ибо у них все в прошлом!

И тут впервые из толпы донесся неопиcуемый вопль боли. Это был протяжный, певучий стон, замирающий вздох, словно вздыхал не человек, а сама страждущая земля. Но, перекрывая этот вопль боли, раздался голос Арама:

– И мы хотим, чтобы смерть как можно скорее стала прошлым! Поэтому мы будем защищать наши родные края – мужчины, женщины, дети, – чтобы все мы обрели скорую смерть!

– Почему же непременно смерть?

Это прозвучал голос Габриэла Багратяна. Где-то забрезживший в глубине его души свет спросил, когда Габриэл услышал себя: «Я ли это?»

Его сердце билось спокойно. Ощущение скованности прошло. Навсегда. Возникло чувство глубокой уверенности. Напряженные мускулы расслабились. Всем своим существом он знал: ради этой минуты стоило жить. Бывало, хотя он часто разговаривал со здешними крестьянами, его армянская речь казалась ему неестественной и вымученной. А сейчас говорил не он – и это придавало ему огромное спокойствие, – а некая властная сила, что вела его сюда долгими окольными путями столетий и короткой, но тоже окольной дорогой его жизни. Он с удивлением прислушивался и к этой незримой силе, которая так естественно черпала из него слова:

– Мне не довелось жить среди вас, мои братья и сестры... Да, это так... Я

был совсем чужой родине и вас совсем не помнил... Но, видно, сам бог послал меня ради этого часа сюда из больших городов Запада в старый дом моего деда... Отныне я больше не полуиностранец, не гость среди вас, потому что разделю с вами вашу судьбу... С вами я умру или буду жить с вами... Я знаю – власти будут ко мне беспощадны, таких, как я, они ненавидят и преследуют, мстят им... Я, как все вы, вынужден защищать жизнь моих близких... Поэтому я за несколько недель досконально исследовал все оставшиеся нам возможности спасения... Смотрите же! Я было пал духом, но теперь во мне нет сомнений... Я исполнен надежд... С божьей помощью мы не погибнем... Поверьте, я не легкомысленный болтун, я говорю это как человек, участвовавший в войне, как офицер...

Ясные и связные слова следовали за словами. Неистовая работа последних дней пошла на пользу. Обилие тщательно продуманных подробностей его плана придавало ему внутреннюю убежденность. Привычка к систематическому мышлению, которому он научился в Европе, была его преимуществом, высоко поднимала над простыми и смиренными невольниками рока.

Такое же веселое чувство своей силы овладевало им в юности, во время экзаменов, когда он без запинки отвечал на какой-нибудь вопрос, словно играючи черпая ответ на него из своих познаний.

Габриэл коснулся, не называя оратора, речи Арама, продиктованной отчаянием..Предложение оказывать отпор заптиям на улицах и в домах – сущая бессмыслица, сказал Габриэл; в первые часы это может неожиданно привести к поразительному успеху, тем вернее это кончится не скорой, а мучительно медленной смертью, изнасилованием и угоном молодых женщин. Он, Багратян, тоже за сопротивление до последней капли крови. Но для этого есть места более пригодные, нежели долина и деревни. Габриэл указал рукой на Муса-даг, который высился за домом и макушки которого выглядывали из-за крыши, будто сам Муса-даг принимал участие в великом сходе.

– Вспомните старинное предание о том, как Дамладжк взял под свою защиту и дал пристанище гонимым сынам армянского народа! Для того чтобы заблокировать и взять Дамладжк, требуются крупные военные соединения. Джемалю-паше его войска нужны для другой цели, а не для того чтобы ликвидировать несколько тысяч армян. А с заптиями мы легко справимся. Для обороны горы достаточно нескольких сот решительных мужчин и столько же винтовок. Винтовки и такие люди у нас есть.

Он поднял руку как для присяги:

– Я обязуюсь здесь перед вами так руководить обороной, чтобы наши жены и дети были как можно дольше защищены от смерти. Мы можем продержаться несколько недель, да пожалуй, и несколько месяцев. Кто знает, может, бог даст, война к этому времени кончится. Тогда, конечно, мы будем спасены. Если же мир не наступит, то у нас за спиной все так же будет море, Кипр с его английскими и французскими военными кораблями – близко. Разве у нас нет надежды на то, что один из таких кораблей однажды покажется у



побережья и до него дойдут наши сигналы и призыв о помощи? Если же ни один из этих шансов нам не выпадет, если бог предназначил нам гибель, то нам останется времени, чтобы умереть. И мы, по крайней мере, не будем презирать себя за то, что пошли на смерть как незащитные бараны!

Было неясно, как восприняли эту речь слушатели. Казалось, толпа сейчас только очнулась от оцепенения и полностью осознала свою участь. Габриэл сперва подумал, что либо его не поняли, либо народ яростным ревом отвергает его предложение. Плотное сбитое тело массы распалось. Женщины громко причитали. Хрипло переругивались мужчины. Толпа содрогалась. Куда девались покорные воле божьей скорбные крестьянские лица, пелена мертвой тишины над ними? Разгорелся яростный спор. Мужчины вступали в драку, рвали друг на друге одежду, хватили за бороду. Но это была не столько схватка разномыслящих, сколько буйная разрядка: люди жили с сознанием своей обреченности, и первое слово, проникнутое верой и энергией, вызвало такой взрыв.

Как? Неужели среди стольких людей не нашлось ни одного, кому во время этого долгого ожидания пришла бы в голову такая простая мысль? Мысль, подсказанная преданиями, напрашивающаяся, казалось бы, сама собой? Неужели высказать ее должен был заезжий чужестранец. европейский барин? Нет, эта мысль приходила в голову множеству людей, по они относились к ней как к неосуществимой мечте. Никогда, даже в тайной беседе с глазу на глаз, никто из них не упомянул об этом. Всего несколько часов назад, в этом своем неестественном забытии они воображали, будто рок пронесется мимо Муса-лага, втянув свои хищные когти. Да и кто они такие? Бедный, покинутый всеми деревенский люд, заброшенное племя на осажденном острове, у которого нет за спиной города В Антиохии было не так уж много армян, и большей частью это были менялы, базарные торговцы, спекулянты зерном, стало быть, не настоящие мятежники, не сородники.

В Александретте, в роскошных виллах, как и в Бейруте, жила горстка богачей, банкиров и поставщиков оружия. Эти терзаемые страхом финансовые воротилы меньше всего думали о маленьком горном народе, жившем на Муса-даге. Среди них не нашелся ни один, равный по размаху старому Аветису Багратяну. Они позакрывали ставнями окна своих вилл, заползали подальше, в темные закоулки. Два-три таких магната, спасая свою жизнь и собственность, приняли ислам и согласились на обрезание, не убоившись тупого ножа муллы.

А тем, кто жил вдали, на северо-востоке, жителям Вана и Урфы, им это было легко. Ван и Урфа были большими армянскими городами с изрядным запасом оружия и вековой ненависти. Здесь были люди с головой, депутаты дашнакцутюна. Эти могли руководить народом, могли задумать и организовать без труда сопротивление. Но кто бы дерзнул кощунственно помыслить о сопротивлении в этом убогом Йогонолуке? Сопротивление? Против государства и армии? Каждый, кто здесь родился и жил, питал врожденное, смешанное со страхом почтение к этому государству, своему исконному заклятому врагу. Государством был заптий, который имел право ударить

человека, ни за что ни про что мог посадить его в тюрьму; государством были чиновник налогового управления и откупщик который врывается в дома и хватал все, что ему приглянется; государством была грязная канцелярия с изречениями из корана и портретом султана на стене, с заплеванным каменным полом, заведение, куда вносили бедел; государством была казарма с запущенным двором: здесь отбывали солдатчину, здесь чауш или онбаши раздавали направо и налево тумаки, а для армянского парня была уготована особая порка – бастонада. Тем не менее от чувства страха и какой-то собачьей покорности перед этим государством-благодетелем не был свободен и армянин.

Следовательно, вполне понятно, почему первый обдуманый план самообороны предложил народу не местный житель, – если не считать вспышку отчаяния, какой была речь пастора Товмасына, – а приезжий человек, вольноотпущенник. Ибо только он, вольноотпущенник, обладал прямодушием, которое необходимо для того, чтобы высказать свою мысль вслух. А народ с этим еще далеко не свыкся. Разгорался спор, женщины кричали, продолжалась потасовка между мужчинами; все это вовсе не пристало этим обычно таким скромным женщинам и сдержанным мужчинам. Нетрудно вообразить, что вопли младенцев, которых матери носили на руках, на спине, усиливали общую сумятицу. Дети в эту минуту несомненно тоже чувствовали нависшую опасность и пронзительным плачем отгоняли от себя грядущую смерть.

Габриэл молча смотрел на бушующую толпу. К нему подошел Тер-Айказун. Пальцами обеих рук он легко коснулся плеч Габриэла. Это было предвестием, первой попыткой объятия. Казалось, этим жестом он и благословлял Габриэла, и преодолевал в себе некое чувство. В глубине его суровых и скорбных глаз читалась мысль: «Вот мы с тобой и пришли без слов к одному. Этого я от тебя и ждал».

А у Габриэла всякий раз, как они встречались, было ощущение, что Тер-Айказун от него замыкается, почему-то его избегает. Поэтому попытка священника обнять его застала Габриэла врасплох, ошеломила. Пальцы, тонкие, точно персты страстотерпца, соскользнули с его плеч.

Пастор Нохудян пытался успокоить толпу. Тщедушный, маленький, он вдобавок вынужден был отбиваться от взволнованной жены, которая вцепилась в мужа, чтобы помешать ему совершить какой-нибудь неосторожный поступок. Нохудяну очень нескоро удалось заставить себя слушать.

Он насколько мог напряг свой слабый голос:

– Христос повелел нам повиноваться власти. Христос строго-настрога приказывает не противиться злу. Мой долг – служение евангелию. И в качестве пастыря я не могу дозволить своей пастве неповиновение.

Пастор, в гостях у Багратянов производивший впечатление робкого, болезненного человечка, проявил здесь большую твердость, отстаивая свою точку зрения. Он описал последствия вооруженного сопротивления, какими они ему виделись. Именно этот мятеж, говорил он, даст правительству полное право превратить свои нечестивые действия в акт беспощадного возмездия. Тогда наша смерть, сказал он, не будет уже достойным продолжением

крестного пути Спасителя, а законным наказанием мятежников. И не только души присутствующих здесь будут отвечать перед богом за грех противления, но кара за него неизбежно обратится против всей нации, против всех сынов и дочерей армянского народа. Вооруженное сопротивление даст власть имущим долгожданную возможность заклеить перед всем миром армянскую нацию как прелюбодейку, ибо она нарушила верность государственной общности, покарать ее как государственную изменницу. Верная жена ведь не вправе покинуть свой дом, даже если муж ее истязает.

Такова была точка зрения Арутюна Нохудяна, хоть в его доме обстояло совсем иначе: благоверная тиранила мужа не только во спасение его здоровья.

– Но кто может утверждать, что наша высылка непременно кончится смертью, как предсказывают Тер-Айказун и Арам Товмасян? – Казалось, его предельно напряженный голос вот-вот сорвется. – Разве им дано знать неисповедимые пути господа? Разве бог не властен ниспослать нам помощь отовсюду? Разве нет даже среди турок, курдов и арабов человеческих душ, способных на сострадание? Неужто, если мы по-прежнему будем уповать на бога, не найдем пристанище и пищу на чужбине? И не может разве стать, что, пока мы здесь предаемся отчаянию, спасение уже близко? Если оно не застанет нас здесь, так настигнет, быть может, в Алеппо. Не случится этого в Алеппо, мы будем надеяться, что это произойдет на следующем перегоне. Жестоко будет страдать наша плоть, зато наши души будут свободны. Если нам нужно выбирать между безвинной и греховной смертью, почему мы должны выбрать греховную?

Арутюну Нохудяну не удалось продолжить свою речь: его тоненький голосок перекрыл глубокий и сильный женский голос. Но была ли эта воительница в черном одеянии матушкой Антарам, женой старого доктора? Неужто и впрямь это была Майрик Антарам, помощница всем и опора, мама всех мам, от которой никто из тех, кому она помогала советом и делом, никогда не слышал длинных речей? В минуту волнения черная кружевная косынка соскользнула с ее сидящих, расчесанных на прямой пробор волос. Примечателен был на этом раскрасневшемся лице обличающий породу орлиный нос. Широкобедное, мощное тело, гордо закинутая голова. Несчетные гневные морщинки окружали ясные голубые глаза. И все же Антарам Алтунни была молода в своем великолепном возмущении.

– Я женщина, – с первым же звуком этого полноразличного голоса воцарилась тишина. – Я женщина и говорю от имени всех присутствующих женщин. Я, много выстрадала. Сердце мое не раз умирало. К смерти я отношусь равнодушно. И когда она придет, я и глазом не моргну. Но помереть в унижении я не желаю, не хочу околеть на шоссе и гнить, незарытая, в чистом поле – этого я не хочу! Но и выжить в депортационном лагере, среди бесчестных палачей и бесчестных их жертв – ни за что не хочу! Все мы, собравшиеся здесь женщины, этого не хотим, нет, ни за что не хотим! И если мужчины – трусы, то мы, бабы, возьмемся за оружие и уйдем на Муса-даг... Вместе с Габриэлом Багратяном!

Суматоха от этого неистового призыва только усилилась. Казалось, обезумевшие люди сейчас выхватят ножи и устроят кровавую баню без помощи турок. Учителя во главе с Шатахяном готовы были броситься в толпу, чтобы разнять дерущихся, взять на себя чуть ли не роль полицейских. Едва заметным жестом Тер-Айказун вернул их обратно. Он знал свой народ лучше, чем все учителя и мухтары. Этот взрыв ярости был вызван только крайним возбуждением толпы. До сознания этих тысяч людей еще не дошел реальный смысл приказа о депортации, им нужно было еще долго переваривать оглушительные слова ораторов. Глаза священника сказали: «Оставьте их». Он терпеливо наблюдал перепалку, в которой голоса женщин, воодушевленных словами Антарам Майрик, раздавались все громче. Тер-Айказун отказал также другим ораторам, просившим слова, в том числе Восканяну. Он рассчитал правильно. Шум, поскольку для него не было больше повода, стих скорее, чем можно было ожидать. Через несколько минут он сам собою прекратился, из толпы доносились лишь всхлипывания и ворчание. Самое время было Тер-Айказуну по-военному коротко и быстро прояснить ситуацию и дать нужный ход событиям. Он поднял руку, успокаивая толпу.

– Все очень просто, – сказал он, не повышая голос, но отчеканивая каждый слог, будто ввинчивая слова в косный ум массы. – Есть два предложения, два единственно возможных пути. Других путей, кроме этих двух, для нас не существует. Один из них, путь пастора Нохудяна, ведет нас с заплатами на восток; другой, путь Габриэла Багратьяна, ведет нас с оружием в руках на Дамладжк. Каждому из вас дана полная свобода выбрать тот путь, который подсказывает ему разум и воля. Говорить об этом больше незачем, так как все правильное, что можно было сказать по этому поводу, уже сказано. Я хочу упростить вам принятие решения. Пастор Нохудян, соблаговолите, пожалуйста, пройти на пустой двор и стать там за веревочным ограждением. Тот, кто разделяет точку зрения пастора и согласен идти в ссылку, пусть пройдет за ним. А тот, кто на стороне Габриэла Багратьяна, останется там, где стоит. Никто не должен торопиться. Время у нас есть.

Глубокая тишина, прерываемая только отрывистым, будто лающим плачем пасторши. Старый пастор понурил голову в круглой шапочке. Казалось, тяжелое бремя раздумья горбом легло на его плечи, пригнуло к земле. В этой позе он оставался долго. Потом ноги его заходили, и он мелкими шажками побрел к месту, указанному Тер-Айказуном. Неловко приподнял канат над головой.

Двор простирался почти до самой виллы. Разделяла их маленькая лужайка и живая изгородь из кустов магнолий. Обширный двор был безлюден. На собрании толпились не только слуги, но и конюхи. Короткие ножки Нохудяна испытали до конца путь искуса, им понадобилось немало времени, чтобы дойти до кустов магнолий, подле которых он и занял место, встав спиной к толпе. Жена, трясаясь от рыданий, семенила за ним.

И снова пауза, долгая, совсем уже беззвучная. Затем из гущи толпы отделились несколько человек, медленно, в тяжелом раздумье, вышли вперед,

таким же нерешительным шагом пересекли пространство между садом и Двором и встали за пастором Нохудяном. Сначала за ними потянулись лишь немногие, старейшие прихожане протестантской общины в Битиасе и их жены. Но постепенно их становилось все больше, этих людей, избравших изгнание, так что к концу за пастором стояла почти вся его паства – молодежь и старики. Присоединилось к ним и еще несколько человек из других деревень; но это были только старые и отягощенные жизнью люди, которые уже не в силах были бороться, не хотели на склоне дней прогневить небо. Сложив молитвенно руки, они делали этот первый шаг на своем долгом крестном пути. Это делалось так неторопливо, размеренно, с такой внутренней убежденностью, что скорее напоминало религиозный обряд, чем акт принятия рокового решения, точно этим людям предназначено было шагнуть в могилу раньше, чем они возьмут на смертное ложе.

Один. Еще один. Двое. В итоге у Нохудяна набралось около четырехсот последователей, за вычетом тех прихожан протестантской общины, которые не явились на сход по болезни или по каким-нибудь другим причинам. Этих-то людей, составлявших значительную часть жителей Битиаса, второго по величине долинного села, и повел за собой пастор. Огромная толпа провожала своих земляков, избравших повиновение. Им не мешали ни словом, ни звуком. Но последним, с большим опозданием примкнувшим к группе Нохудяна оказался дряхлый старик с палкой; он шел, шатаясь как пьяный, и разговаривал сам с собой. Этот старинный знакомец жителей Кебусие, предмет их постоянных насмешек, вероятно, даже не понимавший, что происходит, вызвал в толпе отвратительную, презрительную реакцию. Самый вид помешанного призывал ее к привычному глумлению. Но к этому прибавилось чувство горделивого превосходства: здесь стоят сильные, полноценные люди, а там – калеки, здесь – храбрые, там – трусы! Далее ничего, собственно, не произошло, кроме того, что какой-то юнец выкрикнул едкое словцо по адресу битиасовцев, отчего по всей толпе прокатился смех.

Тер-Айказун одним прыжком очутился в плотно сомкнутой массе и раздвинул ее руками, точно хотел добраться до самой сути низости, извлечь и прочесть зубоскала. Клобук соскользнул с коротко остриженных седых, отливающих сталью волос. В глазах пылала ярость:

– Какой пес посмел это сказать? Что за мерзавцы хохочут?!

Он несколько раз ударил себя кулаком в грудь, чтобы хоть себя самого наказать и усмирить свою ярость. Затем в наступившей вновь тишине пошел к Арутюну Нохудяну и его пастве и, остановившись на некотором расстоянии, низко им поклонился и сказал своим звучным голосом проповедника:

– Память о вас будет для нас всегда священна. Да будет же свята и память о нас в ваших душах!

Габриэла Багратяна увлек неукротимый поток мыслей. Великое дело сопротивления принимало в его сознании все более четкие формы. А так как исход собрания был уже предрешен, он лишь вполуха слушал доносившиеся до него звуки. Его возбужденный мозг думал и наблюдал одновременно.

«Каким всепокоряющим исполином способен вдруг стать этот самый Тер-Айказун, который разговаривает с людьми потупив глаза».

Его внезапно осенила мысль: «А ведь это бесценное преимущество, что я буду бороться, имея за спиной человека. Пользующегося таким авторитетом. И пожалуй, это наше счастье, что добрый Нохудян и несколько сот небоеспособных людей отпали, На них падет важная задача: до последней минуты скрывать от заптиев наши планы и действия. Деревни не должны обезлюдеть. Турки не должны ни о чем догадываться, пока мы не будем во всеоружии».

В план Габриэла вплетались все новые детали.

Трезвый ум предков, прозорливость деда Аветиса обнаружили сейчас в их потомке, этом человеке не от мира сего, над которым, как над наивным идеалистом, всегда посмеивались дальние родственники- изворотливые коммерсанты.

Из каждого рассматриваемого в отдельности факта возникала целая сеть неизбежных и переплетающихся следствий, и каждая нить этой сети имела значение.

Его охватило чувство безмерной гордости". Через три дня после нынешнего воскресенья, то есть в среду, согласно сообщению Али Назифа, сюда явится мюдир с подручными. Следовательно до среды все должно быть начерно готово. Настал час на деле испытать то, во что он верил всю жизнь, – убеждение, что дух всегда берет верх над материей, даже над такими особыми формами проявления материи, как насилие и случайность.

Неудивительно, что увлеченный своей творческой фантазией, упиваясь чувством самоутверждения, Багратян забыл о жене и сыне и даже не вникал уже в происходящее.

Однако то, что творилось сейчас вокруг него, было лишь пустой тратой времени. Выступило еще несколько ораторов из народа. Но что было Багратяну до пустых, косноязычных речей, когда главное уже решено? Все речи носили одинаково воинственный характер, никто не поднял голос в пользу противной партии.

Тер-Айказун дал всем ораторам высказаться, чтобы масса прониклась отважным духом борьбы.

Затем, пока слушатели еще не выказали усталости, он вышел вперед, прекратил словопрения и предложил приступить к выборам руководителей сопротивления. Делопроизводитель Йогонолукской общины обошел всех с корзиной, в которую голосовавшие бросали записки, эти избирательные бюллетени. Сразу же после этого учителя при участии Авакяна приступили в доме к подсчету голосов.

Наибольшее число голосов получил, естественно, Тер-Айказун. Вторым после него был доктор Алтуни, потом – семь мухтаров и трое приходских священников, за которых голосовали их общины. Затем шли аптекарь Григор и некоторые учителя, в том числе, конечно, Шатахян и Восканян.

Габриэл Багратян получил приблизительно столько же голосов, сколько

пастор Арам Товмасын. Из недолжных лиц в Совет уполномоченных были избраны старик Товмасын и унтер-офицер сверхсрочной службы Чауш Нурхан. Много голосов получила и женщина – Майрик Антарам, что местным жителям было поистине в новинку. Но она решительно отказалась.

Шатахян огласил результаты выборов. Затем избранные уполномоченные вернулись в дом, чтобы определить состав совета. Габриэл велел Кристофору и Мисаку приготовить в большом селамлике все, что требовалось для заседания, а также закуску, вино и кофе.

Избиратели, за исключением женщин, которым нужно было позаботиться об оставленных дома детях, никуда не ушли и расположились в просторном саду. В Йогонолукскую лавку послали за съестным. Хозяин дома велел обносить народ водой, вином, фруктами и табаком. Вскоре в вечернем воздухе, словно ничего не произошло, разнесся гомон голосов, закружился дым от сигарет и неторопливо раскуриваемых трубок.

Приверженцы пастора Нохудяна отправились в путь со своим духовным отцом, к себе, в Битиас. Это был молчаливый и печальный исход. Несколько юношей из их группы с ворот парка вернулись обратно и примкнули к расположившемуся огромным лагерем народу, в котором впервые, кажется, после долгого оцепенения пробудилась радость жизни. Теперь, в этот краткий миг между повседневным бытием и неопишным дерзанием на душе у всех было несказанно легко. Почему? Потому что им предстояло не одно только страдание, но и в страдании и через страдание – подвиг.

Ночь Муса-дага быстро погасила июльские сумерки. Двурогая луна вынырнула рожками вверх из-за отвесных вершин Амануса на востоке и выплыла в открытое небо. Ворота виллы Багратянов были раскрыты настежь. Любопытные могли беспрепятственно ходить по парку. В большой гостиной собрались народные уполномоченные. Этот совет представителей народа – их было около двадцати – имел поначалу отнюдь не представительный вид. Старосты, священники, учителя из дальних деревень, впервые оказавшиеся в этом доме, сидели или стояли молча. Кое-кто из них, возможно, только сейчас осознал, в какое отчаянное предприятие они оказались втянуты неожиданным результатом великого схода. Габриэл Багратян сразу почуял неладное – душок уныния, что исходил от группы присутствующих. Нельзя было дать «опомниться» этим слабодушным, нельзя позволить высказать вслух все главные «если» и «но». Народ принял решение законным порядком, колебаниям нет больше места, надо укрепить волю к сопротивлению, чуть тлеющий огонь надо раздуть в яркое пламя. На Багратяна, как на хозяина дома, выпала обязанность положить конец этому бесцельному сборищу охладевших избранников народа, открыть совещание и ввести его в русло. Тут ему помогло преимущество, которое давало воспитание и приобретенный на Западе опыт. Габриэл сделал именно то, что нужно было сделать. Он торжественно обратился к Тер-Айказуну:

– Думаю, что выражу не только волю народа, собравшегося за стенами этого дома, который отдал вам, Тер-Айказун, большинство голосов, но и

желание всех нас, здесь присутствующих, если скажу: мы просим вас возглавить нашу борьбу. Вам еще в мирное время было вверено дело руководства людьми, и вы по сегодняшний день самоотверженно исполняли эту обязанность в качестве духовного главы местных общин. Ныне богу было угодно расширить границы ваших обязанностей, дабы противостоять человеческой жестокости. Мы все дадим вам обещание, поклянемся, что при любом решении, которое мы принимаем, при любом мероприятии, которое мы предложим, будем беспрекословно повиноваться вашему решающему слову. Только ваш голос делает правомочными постановления Совета народных уполномоченных и тем самым возводит их в закон, обязательный для всего народа.

Небольшая речь Багратяна выразила общее мнение. Никому так не подходила роль верховного главы народа, как Тер-Айказуну. Против этой неопровержимой истины не посмел бы возразить, или даже украдкой соорудить гримасу сам Грант Восканян. Речь Габриэла произвела приятное впечатление на тех, кто еще относился к нему с недоверием, как к чужаку. Этому приятному впечатлению способствовали два обстоятельства. Во-первых, были такие люди, которые вообразили, будто пришлый «франк» присвоит себе в силу своего западноевропейского превосходства роль верховного руководителя. Во-вторых – и это более важно, – выступление Багратяна, благодаря своей торжественной форме и своему правовому по направленности содержанию, заложило фундамент для всех предстоящих в будущем дел. Из его немногих слов совершенно незаметно вырисовывалась структура, конституция этого нового формирующегося общества.

В знак согласия принять возлагаемую на него обязанность и тяжелую ответственность Тер-Айказун молча осенил себя крестом. Отныне существовали две законных власти: Совет народных представителей и верховный глава народа, который хоть и участвовал в качестве председателя в этом Совете, но решения Совета лишь тогда приобретали силу закона, когда верховный глава народа их санкционировал.

Каждый из присутствовавших по очереди подходил к Тер-Айказуну и, как велит обычай, целовал ему руку, что было знаком уважения и в то же время обрядом, скрепляющим торжественную клятву. Только после этого церемониала все расселись по местам вокруг нескольких составленных больших столов. Габриэл Багратян положил перед собой военные карты и все чертежи. Авакян сел сзади, на тот случай, если он понадобится.

Габриэл взглядом попросил слова и встал.

– Друзья мои! Два часа назад зашло солнце, и взойдет оно через шесть часов. В нашем распоряжении всего лишь шесть часов быстротечного времени, для того чтобы завершить всю внутреннюю работу. Когда эта ночь минет и мы выступим перед народом, не должно быть больше никакой неопределенности. Наша воля должна быть выражена ясно и четко. Но вот что для нас является неотложной необходимостью: завтра на рассвете все, кто молод и силен, отправятся на Дамладжк рыть окопы. Прошу вас поэтому дорожить временем.



К счастью для всех нас, я давно уже продумал все вопросы нашей обороны и могу доложить вам свои предложения. Полагаю, что при их обсуждении правильнее всего придерживаться той процедуры, что и при голосовании в общине. Итак, прошу Тер-Айказуна позволить мне изложить мои планы...

Тер-Айказун опустил, по своему обыкновению, веки, что придавало его лицу усталое и страдальческое выражение.

– Послушаем Габриэла Багратьяна.

Габриэл развернул самую красивую карту Авакяна.

– Нам предстоит решить тысячи задач, но если мы правильно их поймем, то все отдельные вопросы сведутся к двум важнейшим задачам. Первая и самая для нас святая – это борьба. Однако и вторая задача – внутренний распорядок нашей жизни – служит прежде всего целям нашей борьбы. Вот об этом я и хотел бы сейчас поговорить...

Пастор Арам поднял руку, прося разрешения подать реплику.

– Все мы знаем, что Габриэл Багратьян лучше кого бы то ни было разбирается в военном деле, так как он офицер. Ему и руководить обороной...

Все разом подняли руки в знак согласия. Но Арам еще не завершил свою речь.

– Габриэл Багратьян давно уже отдавал все свои силы плану обороны. Подготовка сопротивления, если мы доверим ее Багратьяну, будет в надежных руках. Но для того, чтобы бороться, надо прежде всего жить. Предлагаю поэтому отложить обсуждение военного плана как такового, пока нам не станет ясно, каким образом и как долго может жить на Дамладже народ численностью в, пять тысяч человек, отрезанный от мира.

Габриэл совсем было настроился выступить и теперь разочарованно бросил карту на стол.

– Мой доклад как раз затрагивает и этот вопрос, потому что на карту нанесено все, что должно удовлетворять жизненные потребности. Однако я готов выполнить желание пастора Арама и отложить объяснения, касающиеся организации обороны...

Доктору Петросу Алтуни не сиделось в его парламентском кресле. Ворча что-то себе под нос, он ходил взад и вперед, явно давая понять, что в час великого бедствия считает неуместным все эти обсуждения, подымания рук и словопрения, не мужское это дело – играть в бирюльки. Его суетливость и воркотня резко отличались от величественной безучастности аптекаря Григора, который сидел словно прикованный и всем своим видом, казалось, вопрошал: «Когда же кончится это мучительно-варварское вторжение в мою жизнь и я снова буду без помехи предаваться единственно достойным меня высшим радостям бытия?»

А доктор, сердито шагая по комнате, вдруг проронил замечание, никакого отношения к делу не имевшее:

– Пять тысяч человек – это пять тысяч человек, а палящий зной и проливной дождь – это палящий зной и проливной дождь.

Габриэл, которому стоили немало бессонных ночей Котловина города,

вопросы жилья, охраны здоровья и устройства детей, по-своему отозвался на замечание доктора:

– Было бы целесообразно поселить в одном месте хотя бы детей от двух до семи лет. Так легче будет их защитить.

Тут Тер-Айказун, хранивший до сих пор молчание, оживился и очень решительно отверг идею Габриэла:

– То, что нам сейчас посоветовал Габриэл Багратьян, положило бы начало опаснейшему беспорядку. Мы не вправе разъединять то, что соединили бог и время. Напротив! Крайне необходимо, чтобы отдельные общины, да и отдельные семьи, были, насколько позволит место, на известном расстоянии друг от друга. Каждая группа кровно связанных между собою людей должна иметь свое собственное пристанище; каждая деревня – свое собственное место обитания. Мухтары будут, как всегда, нести перед нами ответственность за своих людей. Условия, к которым мы здесь, в долине, привыкли, должны как можно меньше меняться.

Возгласы одобрения со всех сторон, что в какой-то мере означало для Багратьяна поражение. Тер-Айказун гарантировал представителям народа близкие к привычному быту условия существования. Несчастные выслушали это с полным удовлетворением. Ибо для крестьянина все ужасы бытия, какие только могут свалиться на человека, выражены в одном слове: «Перемена».

Но Габриэл так быстро не сдался. Он пустил по рукам карту с нанесенной на ней «Котловиной города». Каждому были знакомы эти огромные пастбища, куда выгоняли общинный скот. Что эти просторные, покрытые травой, без единого камешка луга больше всего годились для лагеря, было ясно всем. Места на них хватило бы не для тысячи, а для двух тысяч семейств.

Габриэл ловко сманеврировал, пойдя навстречу желаниям Тер-Айказуна. Разместить семьи и общины согласно предложению нашего председателя, сказал он, очень легко. Сам он разделяет мнение Тер-Айказуна. Однако же надо принять во внимание, что не каждая из тысячи семей в состоянии вести самостоятельное хозяйство и ей никак не обойтись без поддержки большого, обобществленного хозяйства. Учесть хотя бы экономию на продуктах питания и топливе, говорил Габриэл, выгоду от освободившихся рабочих рук! Да кроме того, нет другой возможности продержаться сколько-нибудь долгое время, если самым строжайшим образом не упорядочить убой скота, распределение хлеба и муки, выдачу козьего молока детям и больным. Несмотря на присущую семейной жизни всяческую обособленность, нельзя не затронуть деликатный вопрос о собственности. Так же как он, Багратьян, добровольно отдает в распоряжение общества все свое имущество, а именно то, что поддается использованию и транспортировке: весь свой скот, имеющийся в хозяйстве, все пригодные для употребления запасы продовольствия, – точно так же должен будет каждый отдать свое добро во всеобщее пользование. Обстановка настоятельно требует обобществления собственности. Не может ведь каждая семья сама резать своих овец; молоко, например, должно доставаться тем, кто в нем нуждается, а не упитанным, крепким людям, у которых по воле случая

имеется несколько коз. Если же кое-кто, может быть, думает, что на Дамладже купит за деньги какое-либо преимущество, то это напрасные мечты. Как только общины перейдут на лагерное положение, деньги теряют всякую ценность. А меновая торговля будет строго преследоваться, так как отныне всякое имущество становится народным достоянием и служит борьбе ради спасения жизни. Тот, кто сегодня и навсегда осознает, что депортация лишит нас не только достояния, тот, право же, найдет, что требования, диктуемые жизнью на Муса-даге, – сущая мелочь.

Однако тут же обнаружилось, что Габриэл Багратян глубоко заблуждался, выступив с этим справедливым предложением. В те же мужицкие головы, в которых всего лишь несколько часов назад сидела твердая убежденность, что всех их ждет смерть, в эти же самые головы теперь никак не укладывалась мысль, что их имущество перестанет быть их собственностью. Лица мухтаров помрачнели. Но упорствовали они не оттого лишь, что теряли свое добро, – оттого еще, что их раздражал в речи Габриэла ее жестко авторитарный, «европейский» тон. Товмас Кебусян выступил – говоря, он усиленно косился в сторону Тер-Айказуна – с пространной речью:

– Наш пастырь знает, я всегда по мере сил был благотворителем и никогда не отказывался вносить свою долю в пользу бедных, церкви и школы. И эта моя доля постоянно была самой большой во всей нашей округе. А ежели устраивали сбор пожертвований для наших соотечественников на севере и на востоке, то мое имя постоянно ставили в начале списка, так что мне приходилось вносить даже в убыточные годы самое крупное пожертвование. Говорю это не из хвастовства. Нет, нет, я и не думаю хвастаться...

Тут Кебусян потерял нить и потому еще несколько раз заверил слушателей в своей скромности.

– Я, правда, не отрицаю: из овец, что пасутся на выгоне, мои всех лучше, и их больше. А почему они у меня такие? Потому что я понимаю толк в овцеводстве. Потому что много повидал на своем веку... А теперь я, изволите видеть, вдруг не должен иметь собственных овец, или иметь столько же, сколько какой-нибудь резчик, который знает толк лишь в дубе да орехе, или нищий какой-нибудь...

– Или учитель, как я. – ехидно вставил Восканян в монотонную речь мухтара. Молчун и в этот скорбный день нарядился в свой серый сюртук милорда с картинки, в котором надеялся перещеголять безукоризненно элегантного мосье Гонзаго. Тщеславие Восканяна было силой, способной устоять даже перед приказом Талаата-бея о депортации.

Реплика Восканяна подзадорила других сельских старост: они один за другим выступили в защиту собрата и против обобществления частной собственности. Немедленно завязался спор, отнявший немало времени и уж потому бесплодный, что ни один из этих мужиков не был в состоянии найти иной путь, кроме предложенного Багратяном. Словопрения служили только поводом высказать недовольство.

Некоторое время Тер-Айказун выжидал. Его беглый взгляд, брошенный на

Габриэла, казалось, наставлял: «Этим людям с осторожностью нужно преподносить даже самое очевидное». Затем он прервал говорильню:

– Мы уйдем на гору и будем там жить. Многие само собою наладятся, так что толковать об этом пока незачем. Было бы лучше, если бы вы, мухтары, подумали о насущном: удастся ли нам доставить наверх, на гору, необходимое количество запасов? На сколько недель их хватит? Есть ли возможность их пополнить?

Тогда Арам Товмасын внес новое, весьма разумное предложение. Три вопроса Тер-Айказуна, сказал он, это вообще самое существенное. От ответа на эти вопросы зависит все. Но ответ не может быть дан на заседаниях. Это дело мухтаров, они должны собраться и, подсчитав пищевые запасы, составить отчет и план распределения. Предложение это распространяется и на все остальное, не только на проблему питания. Большой совет, который здесь собрался, организация малоподвижная. Сейчас не до речей и дискуссий, надо работать. Поэтому он, Арам Товмасын, предлагает выделить несколько отдельных жизненно важных проблем и для каждой из них создать комитеты. Во главе каждого такого комитета будет стоять один человек, назначаемый Тер-Айказуном. Все эти, так сказать, председатели комитетов образуют затем свой, более узкий совет, в чьих руках и будет непосредственно сосредоточено управление всеми делами. Есть пять основных вопросов. Первый – оборона. Второй – это сфера права и морали, ею ведать достоин только Тер-Айказун. Третий касается внутреннего распорядка, потом следует все, что имеет отношение к здоровью и болезни людей, и, наконец, – дела различных общин, поскольку эти дела имеют отношение к обществу в целом.

Габриэл с восторгом поддержал предложение молодого пастора, и даже доктор впервые проявил признаки одобрения.

Никто не возражал. Тер-Айказун тотчас же провел поправку к конституции, внесенную Арамом, ибо, как и он, не терпел пустословия, неизбежного на многолюдных сборищах.

Габриэлу Багратяну, как военачальнику, были приданы Чауш Нурхан, учитель Шатахян и двое молодых людей, которых Габриэл отобрал сам. Арам Товмасын тоже вошел в комитет обороны. Но и Габриэл Багратян был введен в состав комитета по делам внутреннего распорядка, возглавленного Арамом. Этот комитет нес ответственность за все, что было связано с питанием и распределением пищевых продуктов. Поэтому членами его были избраны Товмас Кебусян и остальные мухтары.

Особое назначение получил Товмасын-старший – строительный подрядчик: в его ведении находилось жилищное строительство. О том, что доктора Алтуни и невозмутимого аптекаря обязали организовать комитет по делам здравоохранения, можно было бы и не упоминать. В общем и целом распределение обязанностей прошло удачно. Отдельные группы должны были по мере возможности в ближайшие часы взяться за дело. К утру предполагалось созвать короткое совещание большого совета, чтобы подытожить и утвердить сделанное. Мухтары спустились в сад, чтобы тут же

на месте поговорить с крестьянами и выяснить, как обстоит дело с запасами продовольствия. Габриэл решил присоединиться к ним позже и с их помощью составить из самых молодых и крепких мужчин первую партию землекопов, с которыми он, чуть рассветет, начнет рыть большой окоп у Северного седла.

А покамест он, вооружившись картами, с большим увлечением излагал Тер-Айказуну, Араму и другим свой план обороны. Даже аптекарь Григор проявил любопытство и подошел поближе к Габриэлу. Лишь один человек остался в стороне, скрестив руки на груди, – это был, конечно же, Грант Восканян. Угрюмый учитель сегодня снова чувствовал себя униженным. Его опять обошли: при распределении обязанностей не дали никакой руководящей роли, хоть сколько-нибудь сносной, второстепенной роли начальника. Шатахяна, его коллегу, ввели в комитет обороны, а Восканяна Тер-Айказун по своей лютости заставляет проводить занятия с детьми в школе якобы для поддержания дисциплины. И все от зависти: священник мстит Гранту Восканяну за то, что общины оказали уважение своему поэту, подали за него несколько сот голосов. Он было уже вознамерился с холодно-надменным видом удалиться. Но Молчуна осенила гордая мысль, что избравшие его люди только на него и уповают; к тому же он больше досадит священнику, если останется.

В первом часу ночи совещание пришлось внезапно прервать. Как часто бывает в подобных случаях, забыли о том, от чего зависело все будущее мусадагцев. Пятьдесят винтовок и двести пятьдесят карабинов еще покоились в могилах на сельском кладбище. Их надо было незамедлительно эксгумировать и вместе с боеприпасами перенести за ночь на Дамладжк. Хотя Габриэл не сомневался в достоверности сообщения Али Назифа, не исключено было все же, что в ближайшие сутки может нагрянуть вновь назначенная команда заптиев и устроить повальный обыск на предмет конфискации оружия. Совет отрядил шесть человек для спасательной операции, и они поспешили на Йогонолукское кладбище; находилось оно за деревней по дороге в Абибли. Впереди шел пономарь с фонарем, за ним – Тер-Айказун с Чаушем Нурханом и приходским священником из Абибли. Шествие замыкали двое могильщиков.

Оружейный мастер позаботился, чтобы ружья захоронили в могилах, выложенных кирпичом. Запеленатые в тряпки, переложенные соломой в герметически закрытых гробах, они нетерпеливо ждали часа своего отважного воскресения.

С месяц тому назад Нурхан навел их ночной порою и при свете факела устроил им смотр, которым остался вполне доволен. Ни один затвор не заржавел, нимало не пострадали и боеприпасы. Нынче ночью эти увесистые ящики, числом пятьдесят, навсегда покинут свои могилы.

То была нелегкая работа. А так как рук не хватало, то и Тер-Айказун скинул рясу и пошел на подмогу. Попозже из деревень пригнали несколько лохматых местных ослов, и к утру через пустынные окрестности Азира и Битиаса, по направлению к горному перевалу на севере, потянулся таинственный караван, ведомый Нурханом.

Только за час до восхода солнца вернулся Тер-Айказун на виллу

Багратянов. Сад стал похож на огромное поле сражения, усеянное мертвыми телами. Ни один из жителей Йогонолука не ушел домой. Тер-Айказун, точно полководец шествующий среди мертвецов, переступал через неподвижные тела спящих.

Члены комитетов, непрестанно подогреваемые энергией Багратяна, завершили свою работу. В грубых чертах установлены были условия борьбы и существования. Уже записаны имена бойцов военных отрядов, приблизительно подсчитано, количество и сорта продуктов питания. Затем предусматривалось построить палаточный город, лазарет и барак побольше – для руководства. По возвращении Тер-Айказуна Большой совет собрался снова. Габрнэл кратко доложил главе сопротивления о принятых решениях. Ему удалось осуществить, при деятельной помощи Арама Товмасына, почти все свои замыслы. Тер-Айказун утвердил все пункты не поднимая век и с отсутствующим видом, словно бы не слишком верил, что новую жизнь можно построить резолюциями.

И свечи и люди догорели почти дотла. И все же глаза людей отражали по-прежнему возбуждение, но не усталость. Но чуть занялся божественный день, воцарилась глубокая тишина. Люди смотрели в окно на розовый бутон зари, который неторопливо, лепесток за лепестком, распускался перед ними. До странности расширенные, блестели зрачки. В предутреннем сумраке комнаты слышалось только шуршание карандашей по бумаге: Авакян и общинный письмоводитель заносили важнейшие решения в протокол. Когда же расплавленное золото солнца залило комнату, хозяин дома нарушил безмолвие:

– Полагаю, этой ночью мы выполнили свой долг и ничего не забыли...

– Нет! Одно вы забыли, и притом самое главное!

Тер-Айказун сказал это не вставая; мощный звук его голоса вернул собравшихся было уходить людей. Он вскинул на них глаза. И сказал, отчеканивая каждый слог:

– Алтарь!

Затем хладнокровно и деловито пояснил, что в центре нового городка нужно соорудить большой деревянный алтарь – священное место богослужений и молитв.

В пять часов утра солнце стояло уже высоко. Габриэл поднялся наверх, в комнату Жюльетты. Он застал там нескольких человек, которые бодрствовали всю ночь вместе с госпожой Багратян. Стефан, несмотря на мольбы и приказания матери, не лег в постель. Он лежал на диване и крепко спал. Жюльетта укрыла его одеялом. Сама она стояла у распахнутого окна, спиной к окружающим. Казалось, каждый в этой светлой комнате сейчас совсем один, наедине с собой. Искуи сидела не шевелясь подле спящего мальчика. Овсанна Товмасын, которая пришла в дом Багратянов под утро гонимая страхом, сидела в кресле, глядя перед собой невидящим взглядом. Майрик Антарам, меньше всех утомленная тревожностями этой ночи, стояла у раскрытой двери, прислушиваясь к гулу голосов, доносившихся с совещания. Но был в комнате и мужчина – мосье Гонзаго Марис составил компанию дамам в эту долгую ночь. Хотя на него сейчас никто не смотрел, он был, кажется, единственным

человеком, не замкнувшись в себе. Его тщательно расчесанные на пробор волосы блестели, словно им были нипочем ни вчерашние события, ни «очное бдение. Внимательные, пожалуй даже слишком внимательные, бархатные глаза Гонзаго поглядывали из-под бровей, сходящихся тупым углом, то на одну, то на другую женщину. Похоже было, что он стремится угадать по этим мертвенно-бледным в предутреннем свете лицам их желания и с рыцарской готовностью исполнить.

Габриэл шагнул было к Жюльетте, но остановился и взглянул на Гонзаго.

– Это точно, что у вас американский паспорт?

На губах молодого грека промелькнула веселая и чуть презрительная усмешка.

– Вам угодно посмотреть мой паспорт? Может, и журналистскую карточку?

Вызывающе небрежным жестом он поднес пальцы к боковому карману пиджака. Но Габриэл этого не заметил. Он взял Жюльетту за руку. Рука была не только холодна, она была словно мертвая. Зато светились жизнью глаза. В них было все: отчужденность и близость, прилив и отлив, как всегда во время их ссор. Ноздри ее раздувались. Как знаком ему этот признак ожесточения! Впервые за последние сутки на него надвинулась мгла усталости. Он пошатнулся. Душа его была опустошена. Они не отрывали глаз друг от друга, эти мужчина и женщина...

Где была сейчас жена Габриэла? Он по-прежнему чувствовал ее руку в своей – бесчувственную, точно фарфоровую, но сама Жюльетта от него ускользнула – и как далеко! И сколько же дней до нее идти?

Но не только она ежесекундно отдалялась от него на какое-то безмерное расстояние – он и сам уходил от нее все дальше. Его тоже стремительно уносило прочь. Он видел перед собою большое, прекрасное тело Жюльетты, такое близкое и такое родное. Тысячи раз обнимал его Габриэл. Все тело ее помнит его поцелуи: эта высокая шея, плечи, груди, бедра, колени, ноги, даже пальцы ног. Это тело носило его сына, Стефана, страдало ради продолжения рода Багратянов. А теперь? Габриэл не узнавал его. Образ ее наготы исчез из его памяти. Это ведь все равно что забыть свое имя! Но мало того, что перед ним стояла какая-то французская дама, с которой он когда-то жил, – дама эта была его врагом, была по ту сторону, она тоже была в совете нечестивых, хоть она и мать армянина.

К горлу его подкатило что-то большое, круглое, он не сразу понял, что это. Он с трудом проглотил этот комок, и вместо рыдания у него вырвался стон:

– Нет... Это невозможно... Жюльетта...

Она со злобным лукавством наклонила голову набок:

– Что невозможно? Что ты хочешь этим сказать?

Он смотрел в окно на буйство заревых красок. И не различал цвета. И потому что ему много часов подряд пришлось говорить по-армянски, французский язык, обидевшись, ретировался из его памяти.

Он заговорил запинаясь, с резким армянским акцентом, от чего

Жюльетта и вовсе заледенела.

– Я хочу сказать... Ты имеешь право... Я думаю... Ты не должна в это втягиваться... Как ты могла? Помнишь тот давний наш разговор?.. Я не могу этого допустить... Ты должна уехать... Ты и Стефан...

Жюльетта, казалось, взвешивала каждое слово:

– Я очень хорошо помню этот разговор... Как это ни чудовищно, я обречена разделить вашу судьбу... Так я тогда и говорила...

Никогда она не произносила таких слов. Но ему было уже все равно. Она бросила мрачный, укоризненный взгляд на Овсанну и Искуи, точно это они виновны в ее несчастье.

Габриэл дважды провел рукой по глазам; он снова стал мужчиной и жоаком, каким был прошлой ночью.

– Есть выход для тебя и Стефана... Не легкий и не безопасный... Но у тебя ведь сильная воля, Жюльетта...

Взгляд ее стал вдруг острым, настороженным. Так смотрит вспугнутый зверь перед тем, как огромным прыжком пронесется, минуя опасность, навстречу свободе. Так, быть может, изготавились к прыжку все ее импульсы к бегству. Но едва Габриэл снова заговорил, лицо ее из напряженно-выжидательного стало опять неуверенным, обиженным, злым.

– Сегодня или завтра Гонзаго Марис нас покинет, – сказал Багратян непререкаемым тоном командира. – У него американский паспорт, что при нынешних обстоятельствах – неоценимое счастье. Вы, Гонзаго, конечно, не откажетесь сопровождать мою жену и Стефана до места, где они будут в безопасности. Возьмете охотничьи дрожки. Теперь лето, так что дороги более или менее проходимы. Кроме того, вы получите запасные колеса и всех четырех лошадей. Кристофор поедет с вами, сядет рядом с кучером. Пусть и эти два человека спасутся, помогая вам. До Арзуса, если ехать через Сандаран и Эль-Магаран, только пять-шесть часов езды; я исхожу из того, что вам придется большую часть пути ехать шагом. А пятнадцать английских миль вдоль побережья от Арзуса до Александретты – пустяки, так как по пляжу вы можете часами ехать рысью. В Арзусе есть, вероятно, небольшая воинская часть. Марису ничего не стоит припугнуть тамошнего онбаши своим американским паспортом...

В комнату вошел Кристофор – справиться, какие распоряжения последуют от хозяйки.

Габриэл спросил его напрямик:

– Скажи, Кристофор, можно ли за десять часов доехать на лошадях через Арзус до Александретты?

Управляющий изумился:

– Эфенди, это зависит от турок.

Голос Багратяна стал резче:

– Я тебя не об этом спрашиваю, Кристофор. Я спрашиваю тебя совсем о другом: берешься ли ты доставить в Александретту ханум, моего сына и этого американского господина?



На лбу Кристофора, который выглядел стариком, хоть ему было всего сорок лет, выступили капли пота. Было неясно, что привело его в такое волнение, – страх ли перед опасным делом или внезапно возникшая надежда на спасение. Он переводил взгляд с Багратяна на Гонзаго. Затем лицо его дрогнуло в полуулыбке, выдавая дикую радость. Но он тотчас согнал ее с лица – то ли из уважения к Багратяну, то ли,

чтобы себя не выдать.

– Берусь, эфенди! Если у этого господина американский паспорт, то запии ничего нам не могут сделать.

Получив такое заверение, Габриэл послал Кристофора на кухню с приказом повару приготовить завтрак для всех, да поосновательнее. Затем продолжал объяснять Гонзаго его задачу. К сожалению, в Александретте нет американского консула, только германский и австро-венгерский вице-консулы. Габриэл давно уже навел справки о них. Фамилия германского консула – Гофман, австрийского – Бельфанте; оба они – благожелательные европейские коммерсанты, на их помощь вполне можно рассчитывать. Но так как Германия и Австро-Венгрия – союзницы турок, то с консулами нужно быть очень осторожными.

– Вам придется придумать какую-нибудь историю... Пусть Жюльетта будет швейцарской подданной, паспорт свой она будто бы потеряла во время дорожной катастрофы... Вице-консулы должны будут раздобыть для вас у коменданта города пропуск для проезда по железной дороге... В ближайшие дни путь на Топрак-Кале откроется... Гофман и Бельфанте наверняка знают, берет ли взятки комендант... А если берет, то все в порядке!

Все эти инструкции для побега Габриэл сотни раз обдумывал, взвешивал в бессонные ночи, отбрасывал, изменял и снова принимал. Он придумал множество вариантов побега: один – через Алеппо, конечной целью других был Бейрут. Однако его отрывистые фразы звучали так, словно все это только сейчас пришло ему в голову. Жюльетта не сводила с него недоуменных глаз; казалось, она ни единого его слова не понимает.

– Вам надо будет придумать убедительную историю, Марис! Не так-то просто правдоподобно изобразить дорожную катастрофу и потерю паспорта... Но не это самое главное, Жюльетта... Главное, что у тебя бесспорно европейская внешность, тебя не примут за нашу. В этом – твое спасение... Тебя сочтут авантюристкой, в худшем случае – даже политическим агентом. Это неизбежно, у тебя из-за этого будут неприятности, на твою долю, возможно, выпадут страдания... Но что они по сравнению с нашими страданиями! Ты должна постоянно помнить о своей цели: «Прочь отсюда! Прочь от проклятых богом людей, вместе с которыми я страдаю безвинно!»

Когда он произнес эти слова – они вырвались как вскрик, – лицо его утратило свое деланно спокойное выражение.

Жюльетта попятилась, как будто и впрямь готова была исполнить наказ мужа. Гонзаго неслышно сделал маленький шагок к ним обоим. Может быть, это означало, что он готов к услугам, не хочет только этого показывать, чтобы

не ускорить развязку.

Свидетели этой сцены замерли на своих местах, стараясь стать по возможности незаметней. Но Габриэл быстро овладел собой.

– По дороге вам все чаще будут встречаться военные патрули... Вам придется давать взятки железнодорожной охране на каждом перегоне... Это большей частью пожилые люди, они привыкли к старому укладу и ничего общего с Игтихатом не имеют... Если вы сядете в поезд, то половина дела сделана... Трудности предстоят ужасные... Но с каждой милей, приближающей вас к Стамбулу, будет легче. И вы непременно попадете в Стамбул, хотя бы это длилось недели... Там, Жюльетта, ты сразу же пойдешь к мистеру Моргентау... Помнишь его? Американский посол...

Габриэл вынул из кармана конверт, торжественно запечатанный печатью. Даже это, составленное им завещание, он несколько недель таил от Жюльетты. Он молча протянул конверт. Жюльетта медленно завела руки за спину. Он кивнул на видневшийся в окне Муса-даг, точно расплавленный под лучами горячего утреннего солнца.

– Мне пора туда... Начинается работа... Я сегодня вряд ли приду домой...

Протянутая рука с конвертом опустилась. «Слезы? Почему? И Жюльетта их не сдерживает, – удивился Габриэл. – О ком она плачет? О себе? Обо мне? Что это, прощание?» Он чувствовал ее муку, но саму ее не узнавал. Он оглянулся на безмолвствующих свидетелей, которые по-прежнему сидели затаив дыхание, боясь помешать развязке.

Габриэл тосковал по Жюльетте, а до нее был один только шаг. Он сказал, ясно и четко выговаривая слова, как человек, который вынужден по телефону, через разделяющие их страны, исповедаться перед любимым существом:

– Я знал, что это будет, Жюльетта... И все же не думал, что это будет так... Между нами...

Ответ прозвучал глухо, как из пропасти, зло и без слез:

– И ты в самом деле считаешь меня на все это способной?!

Никто так и не узнал, когда Стефан проснулся и что он слышал и понял из разговора родителей. Только Искуи в испуге вскочила.

Жюльетта знала, какое глубокое и трепетное чувство связывает Габриэла с сыном, и часто удивлялась этому. Стефан, обычно шумливый и порывистый, в присутствии Габриэла умолкал. Но и Габриэл в обращении с сыном был поразительно сдержан, суров и немногословен. Долгая жизнь в Европе приглушила в сознании обоих Багратянов память об азиатском укладе жизни, однако же не погасила ее. (В семи мусадагских деревнях сыновья, даже пожилые, целовали отцу руку – каждое утро и каждый вечер. В старозаветных семьях отцу за столом прислуживал вместо женщин старший сын. И сам отец по старинному обычаю оказывал старшему сыну уважение, строгое и нежное, потому что каждый из них понимал: оба они – смежные ступени на сумрачной лестнице вечности.) Разумеется, отношения между Габриэлом и Стефаном носили не такую, издревле сложившуюся форму. Чувство это проявлялось скорее в некой скованности, которая их и сближала, и отдаляла. Точно так же

относился к своему отцу и Габриэл. В его присутствии он тоже бывал натянут, его не покидало чувство торжественного напряжения, он никогда не осмеливался ни приласкаться к отцу, ни сказать ему нежное слово. Вот почему так поразил Габриэла крик Стефана, узнавшего, что им грозит разлука. Мальчик сбросил с себя одеяло, кинулся к отцу и крепко обхватил его руками:

– Нет, нет, папа!.. Не отсылай нас! Я хочу остаться с тобой... Остаться с тобой...

Что же прочел отец в миндалевидных глазах сына? Не упрямство ребенка, чью жизнь мы отваживаемся предопределять, а страстную волю сложившегося человека, законченную судьбу, уже не поддающуюся ничьему влиянию. Стефан так вырос и возмужал за эти дни. Но этим наблюдением не исчерпывалось все, что прочел отец в глазах сына. Он слабо возражал:

– Нам предстоит не детская игра, Стефан...

Вопль страха сменился упрямым требованием:

– Я хочу остаться с тобой, папа! Я не уеду!

«Я, я, я!» Жюльетта почувствовала ревность и зависть. Ах эти двое! До чего же они армяне! И как стоят друг за друга! Ее ни во что не ставят!

Но ведь это и ее ребенок, не только Габриэла. Она не желает его потерять. Если она сейчас же не защитит свое право на ребенка, она его потеряет.

Жюльетта решительно шагнула, почти рванулась к мужу и сыну. Схватила Стефана за руку, хотела привлечь его к себе.

Но Габриэл понял ее по-своему: Жюльетта с ним. «И ты в самом деле считаешь меня на это способной?!» За этими злыми словами скрывалась неуверенность. Порывистый шаг Жюльетты был для Габриэла шагом, означавшим, что она решилась. Он притянул ее к себе, обнял обоих – жену и сына.

– Помоги нам Христос! Может, правда, так лучше...

Успокаивая себя этими словами, он вдруг почувствовал тайный ужас, как если бы призываемый Спаситель в ту же секунду захлопнул врата спасения перед Жюльеттой и Стефаном.

И прежде чем его жест стал настоящим объятием, Габриэл разомкнул руки, повернулся и пошел к двери. Но на пороге остановился:

– Само собой разумеется, Марис, в вашем распоряжении одна из моих лошадей – для вашей поездки.

Любезная улыбка на лице Гонзаго стала еще более подчеркнутой.

– Я бы с благодарностью принял ваше великодушное предложение, если бы у меня не явилось другое желание. Прошу вас, позвольте мне разделить с вами жизнь на Муса-даге. Я уже говорил об этом с аптекарем Грикором. Он спросил от моего имени его преосвященство Тер-Айказуна, и тот не отказал мне в моей просьбе...

Багратян с минуту подумал.

– Надеюсь, вы понимаете, что потом вам не поможет ваш безукоризненный американский паспорт?

– Я живу здесь так долго, что мне нелегко будет со всеми вами расстаться.

И кроме того, у меня, как у журналиста, есть и другая цель. Едва ли найдется второй такой материал для человека моей профессии.

Что-то в его облике вызывало в Габриэле неприязненное чувство, пожалуй даже отталкивало. Он попытался найти повод отклонить просьбу молодого человека:

– Вопрос в том, сумеете ли вы использовать ваши очерки.

Гонзаго ответил, обращаясь уже не к одному Багратяну, а ко всем в этой комнате:

– Мне не раз в жизни случалось убеждаться, что у меня дар предвидения. Вот и сейчас я твердо предсказываю, что ваше дело, господин Багратян, кончится для всех вас хорошо. Правда, я основываюсь только на своей интуиции. Но я доверяю этому чувству.

Взгляд его бархатных глаз переходил от Овсанны к Искуи, от Искуи к Жюльетте и наконец остановился на лице француженки. Казалось, бархатные глаза Гонзаго спрашивали, находит ли мадам Багратян его доводы убедительными.

## Глава седьмая

### ПОХОРОНЫ КОЛОКОЛОВ

Два дня и две ночи провел Габриэл Багратян на Дамладжке. В первый же вечер он дал знать Жюльетте, что задержится и просит не ждать его. Множество причин вынуждало его так долго и безотлучно оставаться на нагорье.

Дамладжк перестал вдруг быть идилличным, неприступным горным пастбищем, знакомым Габриэлу по его романтическим, а позднее – разведывательным рейдам. Все на этом свете тогда только обнаруживает свое истинное лицо, когда с него что-то спрашивается. Случилось это и с Дамладжком. С его изрытого складками, грубо высеченного лика исчез отблеск рая, сошла улыбка радостного уединения, нарушаемого лишь лепетом родника. Район обороны, намеченный Багратяном, занимал площадь в несколько квадратных километров. За исключением сравнительно ровной лоцины «Города», эта территория сплошь состояла из подъемов и спусков между холмами и долинами, вершинами и ущельями, от которых Габриэл порядком уставал, особенно, если приходилось по несколько раз в день наведываться в различные пункты обороны. Он берег силы и время и спускался в долину только в крайнем случае. Впрочем, он открыл в себе такой запас выносливости, о каком прежде и не подозревал: тело его теперь, когда с него беспощадно взыскивали, показало, каково оно и на что способно. По сравнению с мусадагскими днями фронтовые недели на Балканах казались сейчас мертвенно

однообразными. Там все были человеческим шлаком, который либо бросали навстречу смертельной опасности, либо шлак этот сам собой оказывался в смертельно опасной зоне. В последние годы он часто болел: то перебои сердца, то неполадки с желудком. А тут все эти недомогания как рукой сняло. Рукой необходимости. Он забыл, что у него есть сердце и желудок, не замечал, что спит всего три часа в сутки, – одно одеяло под бок, другим укрывается, что целый день сыт куском хлеба и банкой консервов. И хоть он и не очень над этим задумывался, сознание своей силы наполняло его радостной гордостью. Той гордостью, что лишь тогда окрыляет материю, когда наш дух наносит ей поражение.

Но были дела и поважнее. Большинство бойцов было уже расквартировано на Дамладжке. Здесь расположился небольшой отряд, сформированный из физически крепких женщин, и целая ватага подростков, которые помогали в работе. Остальных из разумной предосторожности оставили пока в долине. Там должна была идти своим чередом повседневная, с виду мирная жизнь, чтобы не открылось, как обезлюдели деревни. Кроме того, деревенские взяли на себя обязанность каждую ночь тайно доставлять на гору как можно больше припасов. Не все удавалось доставить на вьючных ослах. Длинные доски и бревна из мастерской папаша Товмасына пришлось, например, нести на своих плечах его подмастерьям. Дерево это предназначалось для постройки правительственного барака, алтаря и лазарета. Из выбранных на сходе уполномоченных на Дамладжке с Габриэлом остались самые молодые – пастор Арам и учителя. Большой совет под председательством Тер-Айказуна продолжал свою деятельность в долине.

Их было человек пятьсот – бойцов, что в те дни расположились на горе. И нужно было не только подогревать в этом отборном штурмовом отряде рабочий азарт, но и непрестанно поддерживать в нем страстный боевой дух, который, впрочем, жил в этих людях. Когда вечером, вконец разбитые от усталости люди собирались в Городе у лагерного костра, пастор Арам разъяснял им в длинной, имевшей весьма мало общего с проповедью речи смысл их военного предприятия. Пастор провозглашал божественное право самозащиты, он говорил о непостижимом, крестном от века пути армянского народа, о великом значении их отважной попытки, которая послужит примером и, быть может, увлечет всю нацию и спасет ее. Он описывал депортацию во всех подробностях, рассказывал о событиях, которые видел собственными глазами и о которых знал по рассказам. Он говорил о депортации как о предрешенной гибели для пяти тысяч жителей этой армянской долины, но с такой же убежденностью утверждал, что великий подвиг, всех их сплотивший, приведет к победе и свободе. Правда, о том, как будут достигнуты победа и свобода, он умалчивал. Да никто его и не спрашивал. Юношей воодушевлял не столько смысл его звонких слов, сколько пленяло их звучание.

Иногда вместо Товмасына с людьми беседовал Габриэл. В отличие от Арама он избегал громких слов, он призывал не терять ни секунды времени, каждый кусок из общего котла брать строго по совести и каждое биение сердца

подчинять общей цели. Надо, говорил он, помнить не столько о неотвратимой катастрофе, сколько о чудовищном унижении, которому турецкое правительство подвергло армянский народ.

– Если нам хоть раз удастся сбросить турок с горы, мы не только отомстим за бесчестье, но и унизим их, навсегда покроем позором. Ибо мы слабы, а они сильны. Ибо они насмеваются над нами, называя нас народом торгашей, а себя восхваляют, возвеличивают как народ воинов. Если мы хоть раз их поколотим, мы собьем с них спесь, да так, что они век этого не забудут.

Но что бы ни думали на самом деле Габриэл и Арам о сопротивлении, они неустанно твердили о его победоносном исходе, настойчиво насаждая в восприимчивых душах молодежи фанатическую веру и – что было не менее важно – фанатическую дисциплину.

О своем организаторском таланте Габриэл не подозревал так же, как не знал, что у него железное здоровье. В мире, где протекала его прежняя жизнь, под «практической жилкой» подразумевали пошлый, стяжательский дух. Поэтому он с законной гордостью относил себя к разряду людей непрактичных. И тем не менее ему удалось, благодаря своей подготовительной работе, в первые же часы разумно укомплектовать свое войско, сколотить, так сказать, основное ядро, к которому легко было бы придать поступающих из долины людей. Он сформировал три главные группы: первый эшелон, большой резерв и юношеский отряд из подростков от тринадцати до пятнадцати лет, которых предполагалось использовать в бою только в крайних случаях, при больших потерях и прорывах фронта; в остальное же время они должны были служить связными, вестовыми, лазутчиками. В общем счете передовая линия обороны состояла из восьмисот шестидесяти человек. В состав ее входили – за вычетом слабых, небоеспособных и некоторых нужных в тылу специалистов – все мужчины от шестнадцати до шестидесяти лет.

Резерв составляли не только не вошедшие в первый эшелон трудоспособные старики, но и значительное число женщин и девушек, так что в этом, втором эшелоне было примерно тысяча, тысяча сто человек. Третье звено обороны, разведывательный юношеский отряд – эта «кавалерия» Дамладжка состояла из трехсот с лишним мальчиков.

На вторые сутки, утром, Габриэл послал своего адъютанта Авакяна на виллу за Стефаном. Он не был уверен, что Жюльетта отпустит сына. Но ровно через час студент вернулся с мальчиком, сиявшим от счастья, и отец сразу же зачислил его в юношеский отряд. Однако только триста из восьмисот шестидесяти бойцов основного отряда получили имевшиеся в наличии винтовки; большинству пришлось, к сожалению, довольствоваться охотничьими ружьями и романтическим огнестрельным оружием, имевшимся почти в каждом деревенском доме. Габриэл велел также раздать все годные для употребления нарезные ружья из домашнего арсенала брата. К великому счастью, большинство мужчин – не только служившие в турецкой армии – владело оружием. Но в общем снаряжение основного отряда следовало признать жалким. Четырем взводам регулярной пехоты, даже без пулемета,

ничего не стоило бы с ним справиться. Разумеется, этот важнейший боевой отряд отнюдь не представлял собой бесформенную массу; согласно военному плану Габриэла, он был разбит на крепкие подразделения по десять бойцов, как бы на маленькие дружины, которые могли самостоятельно передвигаться и действовать. При укомплектовании этих дружин Габриэл стремился к тому, чтобы каждая состояла из односельчан, даже, где это было возможно, из родственников, что способствовало бы большей сплоченности и товарищеской взаимовыручке. Труднее было подбирать командиров, ведь командование надо было доверить одному из этих десяти. Впрочем, командиры требовались и для крупных частей. Багратьян назначал их из мужчин различного возраста, служивших в армии. Но зато бесценный Чауш Нурхан совмещал в одном лице генерала армии, оружейника, офицера инженерно-строительных войск и великого мастера муштровки. Закрученные кончики его седых, жестких усов подрагивали, большой загорелый кадык на тощей шее ходил ходуном. Нурхан с таким жаром и усердием учил людей военному делу, по которому сам давно соскучился, что, казалось, чуть ли не благодарен туркам за депортацию. Он часами учил строевой подготовке свободных от работ бойцов, не давая ни им, ни себе передышки.

Он забрал себе в голову, что в силу присущей армянам культуры и сметки его бойцы смогут за несколько дней усвоить все разделы турецкого строевого устава, рассчитанного на несколько лет обучения. Правда, он свел свои уроки к тактическим занятиям: учил рассыпаться в цепь, перебегать от укрытия к укрытию, быстро окапываться, использовать местность, бросаться в атаку, исполнять команду «встать!» и «ложись!» Крайне неохотно подчинился он приказу Багратьяна не стрелять боевыми патронами; Габриэл же, естественно, исходил не только из того, что нужно беречь патроны. Невзирая на свой почтенный возраст, Нурхан носился галопом от одного подразделения к другому, обучая отдельно командиров дружин, орал и изъяснялся на самом нецензурном жаргоне турецкой казармы. Вооруженный до зубов – сабля, армейский пистолет, винтовка, патронташ, – он навесил на себя еще и корнет, заимствованный у турецкой казны, и ежеминутно подбадривал свое войско хриплыми, захлебывающимися сигналами рожка. Разгневанный Багратьян бежал от самого Северного седла до учебного плаца, чтобы унять сумасброда. Оповещать всех заптиев и окрестные мусульманские деревни о маневрах на Дамладжке было явно ни к чему.

В первое же утро к бойцам примкнули укрывавшиеся на Муса-даге дезертиры. За последующие два дня количество их умножилось, это была уже довольно внушительная толпа из шестидесяти человек: по-видимому, этих молодцов с соседних гор – Ахмер-дага и с голых вершин Джебель-Акра привлекли звуки нурхановой трубы.

Новоприбывшие, хоть все они были хорошо вооружены, оказались для Габриэла Багратьяна – как ни желал он его – увы, нежелательным пополнением. Среди этих ненадежных людей наряду с обыкновенными дезертирами, измученными, рвущимися на волю солдатами или просто трусами несомненно

имелись и темные личности, у которых было больше причин бояться уголовного, а не военного суда, словом, мазурики, которые прикидывались дезертирами, тогда как промышляли разбоем и бежали, вероятно, не из казарм Антиохии, Александретты или Алеппо, а с каторги. Определить истинную профессию этих шестидесяти новобранцев было крайне трудно – все они были как на подбор запуганные, озлобленные, опустившиеся, что вполне естественно для отщепенцев, которые вечно в бегах, день и ночь отбиваются от преследования жандармов и только за полночь осмеливаются спуститься в деревню, чтобы выпросить кусок хлеба у своих насмерть перепуганных земляков.

На иссохших костях дезертиров – человеческим телом это едва ли уместно назвать – висела изодранная в клочья желтовато-серая форма пехотинцев. Насколько удавалось рассмотреть сквозь спутанные космы завшивевших волос и бород то, что именуется лицом, – лица у них были бурые от загара и грязи. Из их армянских глаз глядела не только великая всеобщая скорбь, но и совсем особая, злобная скорбь затаившихся во мраке человеческих душ, что медленно гибнут, возвращаясь к животному состоянию. Все говорило о том, что это отторгнутые от человечества подонки общества. Не подходило это выражение – по крайней мере исходя из внешности – только к дезертиру Саркису Киликяну, хоть именно он беспощадней других был отрешен от человеческой общности, гарантирующей безопасность. Габриэл с первого взгляда узнал в нем привидение, явившееся ему в ночь у Трех шатров. Не сразу можно было решить, как распределить по дружинам этих шестьдесят недобрых молодцов, чтобы не подорвать только-только налаженную дисциплину. Покамест их отдали, невзирая на их изумленные физиономии, под начало Чауша Нурхана, под его железную муштру, и им пришлось за одно лишь пропитание опять заниматься все тем же каторжным воинским трудом, от которого они бежали.

Но главной задачей этих дней вдохновенной работы была не учеба у Нурхана, а подготовка и устройство оборонительных позиций. Синие и коричневые линии, нанесенные Габриэлом на карты Авакяна, сейчас должны были стать реальностью. И так как на Дамладжке рабочих рук оказалось больше, чем лопат, заступов, железных скоб, то работали в две смены. Багратян полагал, что постоянную рабочую армию составит резерв, иными словами те тысяча сто мужчин и женщин, которые займут посты непосредственно перед боем, в обычное же время занимаются в лагере поделками, оказывают бытовые услуги. Но основная масса резерва находилась еще в деревнях.

По подсчету Багратяна, на Дамладжке было тринадцать уязвимых пунктов. Самым незащищенным и доступным для нападения местом была та узкая впадина на севере – Северное седло, как назвал ее Габриэл, – которая отделяет Дамладжк от других высот Муса-дага, направленных в сторону Бейлана. Вторым, правда, не таким уже опасным местом было широкое устье Дубового ущелья над Йогонолуком. На западном склоне были и другие угрожаемые места – там, где крутизна сменяется более отлогим спуском и где пастухи и скот вытоптали узкие тропинки. На юге, словно в противовес им, стояла



мощная скалистая башня, отмеченная на карте Габриэла как Южный бастион, господствовавший над широкими каменными откосами, которые крутыми ступенями и террасами сбегали вниз, к равнине Оронта. А там, на равнине – обломки крушения титанического мира, созданного людьми, руины римских сооружений в Селевкии. И этому каменному морю осколков цивилизации как бы вторило полукружие скалистых уступов на южном склоне горы. По чертежам Габриэла и под наблюдением Авакяна не только на самой башне, но справа и слева от нее возвели несколько высоких завалов из крупных камней. Авакяна удивляло, почему для прикрытия понадобились такие основательные сооружения. В первые дни военное воображение студента еще не поспевало за замыслами наставника и он редко их понимал.

Разумеется, самая тяжелая работа предстояла на севере, в наиболее уязвимом месте обороны. Габриэл сам разметил колышками ход большой траншеи; протяженность ее равнялась несколькимстам шагов, считая повороты и ниши в стенах. На западе траншея примыкала к нагромождению скал над морем, образуя таким образом крепость-лабиринт с естественными баррикадами, редутами, коридорами и пещерами. На востоке Багратян обеспечил фланг траншеи выдвинутыми вперед постами и заграждениями. Обстоятельства этому благоприятствовали, грунт здесь был большей частью мягкий. И все же лопаты часто утыкались в плиты известняка и доломита, а это замедляло работу, так что едва ли можно было окончить траншею раньше чем за четыре рабочих дня. Пока физически крепкие мужчины и крестьянки копали землю, мальчишки, чтобы расчистить поле обстрела, серпами и секачами подрезали под корень густой кустарник.

Багратян весь день не отходил от траншеи. Он несчетное число раз бегал к выемке Северного седла, поднимался на противоположное крыло, с самых различных позиций проверяя расположение траншеи. Насыпь рядом с траншеей Габриэл приказал сровнять с землей. Он бдительно следил за тем, чтобы не забывали замести следы людей на поросшем травой косогоре, вдоль которого тянулась траншея. Если принять во внимание, что, кроме запасной линии, Багратян задумал построить в смежном распадке еще двенадцать более мелких укреплений, то каждого сведущего человека не могли не беспокоить его упорство и односторонность в этом вопросе.

Пастор Арам был порядком сердит на командующего обороной за неравномерное распределение рабочей силы. Ответственный за внутренний распорядок лагеря, он полагал, что сразу же начнут строить и жилища. Но запланированные лазарет и правительственный барак, не говоря уже о шалашах для обитателей Дамладжка, оставались в проекте. Только посреди Города, вокруг каркаса алтаря хлопотали пономарь, могильщик и несколько набожных прихожан. В стороне от будущего места богослужения уже стояла рама для высокой, сплетенной из самшитовых прутьев стенки алтаря. Религиозному сознанию Арама был бы ближе алтарь естественный, из увитых плющом каменных плит, какими изобиловала гора. Однако у Тер-Айказуна, очевидно, не лежала душа к романтике. А женатый приходский священник, которому

было поручено строить алтарь, насмешливо пожал плечами, едва Арам заговорил о своем проекте. И Арам промолчал, подумав, что протестантский священник должен соблюдать осторожность со своими братьями, григорианскими пастырями.

Был вечер. Габриэл в изнеможении лежал на земле и не сводил глаз с каркаса алтаря, казавшегося ему непомерно большим. Внезапно сквозь полудрему он почувствовал, что на него кто-то пристально смотрит. «Саркис Киликян, дезертир!»

Киликян, вероятно, был моложе Габриэла, ему едва ли минуло тридцать. Но это резко очерченное лицо с впалыми щеками могло быть и лицом выдавшего виды пятидесятилетнего. Тонкая, белая – вопреки жаркому солнцу – кожа плотно облегла эту костлявую, насмешливую маску смерти. Казалось, не столько страдания, сколько дико прожитая жизнь иссушила его черты. Он устал от жизни, сыт ею по горло, – вот о чем говорило это лицо. Хоть его обмундирование, как и у других дезертиров, превратилось в отрепье, Киликяна отличало от всех их какое-то дикарское изящество. Такое впечатление он производил скорее всего потому, что был единственным свежевыбритым мужчиной среди своих сотоварищей.

Габриэла пробрал холод, он сел и протянул Киликяну сигарету. Тот взял ее не проронив ни слова, вынул из кармана какой-то варварский прибор для зажигания, высек из кремня огонь и после долгих попыток зажег пеньковый фитилек, прикурил и затянулся так невозмутимо-равнодушно, точно дорогие сигареты Багратяна были его повседневным куревом. Оба безмолвствовали, будто в молчанку играли, Габриэл с нарастающим чувством неловкости. Дезертир не сводил безжизненного и все же презрительного взгляда с белых рук Багратяна, пока тот, не вытерпев, крикнул:

– Ну, чего тебе от меня надо?

Киликян затянулся, выдохнул густую струю дыма, но выражение его лица ничуть не изменилось. Самое тягостное было то, что он упорно не сводил глаз с рук Багратяна. Казалось, он погружен в меланхолическое размышление о мире, где возможны такие холеные, нетронутые трудом руки. Наконец он открыл свой безгубый рот, обнажив скверные, почерневшие зубы. Его низкий голос звучал не так враждебно, как слова:

– Не подходящее это дело для таких шикарных господ...

Багратян вскочил. Ему хотелось ответить резкостью. Но, как на грех, он не находил слов. Неторопливо поворачившись к нему спиной, Киликян сказал по-французски – не столько Багратяну, сколько себе, – довольно чисто выговаривая слова:

– On verra ce qu'on pourra durer.\*

**\* Посмотрим, сколько можно это выдержать (франк).**

---

Позднее, у лагерного костра, Габриэл расспросил людей о Саркисе Киликяне. Оказывается, его знали в окрестностях Муса-дага уже месяца четыре. Он был не из местных дезертиров, однако заптии особенно за ним охотились. От Шатахяна Габриэл услышал историю Саркиса Киликяна. Мусадагские учителя отличались живым воображением, поэтому Багратян едва не заподозрил Шатахяна в том, что, не довольствуясь известными ужасами погромов, он присочинил к повествованию об этой подлинно армянской судьбе еще кое-какие ужасающие подробности. Но Чауш Нурхан сидел рядом и время от времени утвердительно кивал головой. Чауш слыл покровителем дезертиров и человеком, посвященным в перипетии их жизни. Что до излишеств фантазии, то в этом Нурхан был вне подозрений.

Киликян родился в Дерт-Йоле, большом селе в долине реки Иссос, к северу от Александретты. Ему было одиннадцать лет, когда в Анатолии и Кнликии, как гром среди ясного неба, разразились характерные для времен султана Абдула Гамида погромы, притом один за другим.

Отец Киликяна был часовщик и ювелир, тихий и маленький человек, мечтавший жить как культурный человек, дать детям хорошее воспитание. А так как достаток у него был немалый, то и решил он старшего сына, Саркиса, послать учиться в духовную семинарию.

В тот черный для Дерт-Йола день часовщик Киликян запер лавку в полдень. Но это не помогло: едва он вошел в квартиру и собрался обедать, как нагрянули страшные клиенты и потребовали впустить их в лавку. Госпожа Киликян, статная светловолосая армянка, родом с Кавказа, уже подала на стол, когда ее муж, белый как мел, встал, чтобы отпереть дверь лавки. Успокаивая жену, часовщик говорил, что лавку на разграбление не жаль отдать, только бы жизнь спасти. И вот наступили минуты, каждая из которых была вечностью, и Саркис Киликян обречен хранить их в памяти, покуда сотворенная искони душа будет оставаться самой собою во всех своих превращениях и странствиях по вселенной.

Он побежал за отцом в мастерскую – она уже была полна людей.

Штурмовой отряд его величества Абдула Гамида. Предводитель – молодой человек с румяным, круглым лицом, сын мелкого чиновника. Самое примечательное в наружности этого упитанного юнца – обилие диковинных значков и медалей, которыми увешан его мундир. В то время как два суровых, деловитых курда принимаются за дело: опустошают ящики столов и бережно опускают их содержимое в свои мешки, этот разукрашенный чиновный сынок полагает, как видно, что на него возложена миссия чисто политического свойства. Туповатое бело-розовое лицо горит энтузиазмом, когда он орет на

часовщика:

– Процентщик, кровосос! Все вы, армянские свиньи, ростовщики и кровопийцы! Это вы, нечестивые гяуры, виноваты в страданиях нашего народа.

Мастер Киликян спокойно указывает на свой рабочий столик с разложенными на нем лупой, пинцетами, колесиками и пружинками.

– Почему ты называешь меня ростовщиком?

– Это все обман. Ширма для ростовщичества.

На этом разговор кончился. В тесной комнате с низким потолком внезапно раздались выстрелы. Маленький Саркис впервые узнал удушливый запах пороха. Сначала он ничего не понимал, пока отец не согнулся над своим рабочим столиком и рухнул вместе с ним наземь. Не проронив ни звука, Саркис стрелой бросился обратно в жилую комнату. У стены, прямая и статная, уже ждала, не дыша, его белокурая мать. Обеими руками она судорожно обхватила своих дочек, двухлетнюю и четырехлетнюю. Взгляд ее был прикован к камышовой колыбели с грудным ребенком. А семилетний Месроп не сводил глаз с аппетитного бараньего жаркого – оно еще мирно дымилось на столе. Но едва в комнату ворвались вооруженные люди, Саркис схватил блюдо с жарким и отчаянным усилием, со всего размаха запустил им в пухлое, румяное лицо вожака громил. Отважный отпрыск чиновного рода с воплем скорчился, точно в него угодили гранатой. Коричневый соус растекся по роскошному мундиру. За первым метательным снарядом последовал второй – большой глиняный кувшин для воды – и нанес большой урон: у командира отряда пошла кровь носом, он взвыл и воззвал к помощи. Саркис, вооружившись кухонным ножом, заслонил собою мать. Этого жалкого оружия в руках одиннадцатилетнего мальчика было достаточно, чтобы непобедимые гамидовы воины уклонились от ближнего боя, несмотря на то что женщина была еще молода и хороша. Один из них, трусливо попятившись, кинулся к камышовой колыбели, выхватил тихо повизгивавший комочек и размозил головку младенца о стену. Саркис крепче прижался к оцепеневшему телу матери. Из ее плотно сомкнутых губ вырвался тонко звенящий стон. И тогда начался обстрел женщины и четырех детей: гром, грохот, огонь, который мог бы обратить в бегство полк солдат. Комната наполнилась дымом, злодеи стреляли плохо, и, верно, по дьявольской прихоти судьбы, ни одна пуля не попала в Саркиса.

Первым погиб семилетний Месроп. Трупы обеих девочек повисли на руках матери – она их не выпускала. Высокая, статная, она стояла недвижимо. Одним из выстрелов ее ранило в правую руку. Саркис спиной почувствовал, как дернулось ее тело. Два следующих выстрела раздробили ей плечо. Она стояла неподвижно, не выронила мертвое дитя. И только когда двумя другими пулями ей снесло пол-лица, она пошатнулась и стала падать на Саркиса; он хотел ее поддержать, но голову, волосы его залила кровь матери, она упала, погребая сына под своим телом. Он лежал смирно, не шевелясь, под теплым, тяжело дышавшим, грузным телом матери. Еще четыре пули ударились о стену. Все было кончено. Бело-розовый юнец счел свою миссию выполненной.

– Турция – туркам! – гаркнул он, но никто не поддержал победного клича.

Обостренный слух Саркиса, лежавшего в надежнейшем укрытии – под материнским телом, – уловил слова, из которых мальчик понял, что вожак убийц осквернил его дом.

– Зачем ты это делаешь? – с упреком сказал чей-то голос. – Ведь здесь лежат мертвые.

Но идейного борца за национальную честь это не остановило, он прошипел:

– Пускай и мертвые знают: хозяева здесь мы, а они – падаль.

Когда Саркис, залитый кровью, решился выползти из-под тела матери, уже давно стояла глубокая тишина. Мать очнулась, вероятно, оттого, что он пошевелился. Лицо ее было сплошной раной. Но голос был прежний и звучал спокойно:

– Принеси мне воды, дитя мое.

Кувшин для воды был разбит. Саркис пробрался со стаканом во двор, к колодцу. Когда он принес воду, мать еще дышала, но не могла ни пить, ни разговаривать.

Мальчика отвезли в Александретту, к богатым родственникам. Через год он как будто оправился от пережитого, но почти ничего не ел и никому, даже его ласковым приемным родителям, не удавалось выжать из него хоть слово, кроме самых необходимых ответов на вопросы.

Историю Киликяна Шатахян знал достоверно, так как эти же самые люди в Александретте в свое время дали ему возможность жить и учиться в Швейцарии. Позднее Саркиса отправили в Россию, в Эчмиадзин, учиться в самой большой армянской духовной семинарии. Перед окончившими это прославленное учебное заведение открывался путь к высшим ступеням иерархии григорианской церкви. Духовная муштра, которой вынуждены были подчиняться студенты, была скорее мягкой, чем строгой. И все же Саркис Киликян сбежал на третьем году обучения, потому что в нем медленно зрела неистовая, пожалуй, даже болезненная жажда свободы. Свой восемнадцатый день рождения он встретил, слоняясь по грязным улочкам Баку, и все, что он имел при себе, – это поношенный подрясник семинариста да многодневный голод. Ему и в голову не- пришло попросить приемных родителей прислать денег. С того дня, как он бежал из Эчмиадзина, эти добрые люди считали его без вести пропавшим.

Саркису Киликяну оставалось лишь одно: искать работу. Единственная работа, какая нашлась для него, – правда, она в Баку имелась в изобилии – был изнурительный труд на обширных нефтяных промыслах, что тянутся вдоль пустынного побережья Каспийского моря.

Прошло немного месяцев, и кожа Саркиса под воздействием нефти и природного газа стала желтой и дряблой, а тело иссохло подобно омертвелой ветви дерева. Не приходится удивляться тому, что при его характере и общем развитии он примкнул к революционному движению, которое тогда уже завоевывало рабочий класс на востоке России – грузин, армян, татар, персов. Как ни старалось царское правительство натравить друг на друга населявшие

Россию народности, оно не в силах было сломить объединявшее их движение против нефтепромышленников. Из года в год забастовки становились все многочисленней и успешней. Однажды при разгоне такой антиправительственной демонстрации казаки учинили кровавую расправу. В ответ на это был убит во время загородной прогулки губернатор, князь Голицын. Среди привлеченных к суду по обвинению в заговоре и покушении на губернатора оказался и Саркис Киликян. По ходу следствия его ни в чем не удалось изобличить. По-видимому, Киликян был своеобразным политическим заговорщиком, речей он не произносил и ничем в подпольной организации не отличился. Никто ничего определенного не мог о нем сказать. Но он был «беглый семинарист», а из таких людей выходили самые ярые бунтовщики. Этого было достаточно. Саркиса Киликяна приговорили к пожизненному заключению в бакинской тюрьме.

В этой мусорной, крысиной яме он и сгнил бы заживо, если бы лукавое провидение не припасло для него еще кое-какие благодеяния. Преемником Голицына стал граф Воронцов. Новый губернатор – он был холост – поселился в отведенном ему в Баку дворце с сестрой, тоже в браке не состоявшей. В своем стародевьем состоянии графиня Воронцова была чрезвычайно строга к себе. Деятельная, исполненная самых благих намерений, она открывала всюду, где служил ее брат, своего рода душеспасительные заведения. А кто строг к себе, чаще всего бывает строг и к другим, так что знатная девица с течением лет стала законченной садисткой на почве любви к ближним. Всюду, куда бы они с братом ни приезжали, объектом своей душеспасительной деятельности она избирала тюрьму.

Великие писатели земли русской учили, что бездна греховная находится в ближайшем соседстве с царством небесным. В тюрьмах сидели преимущественно молодые интеллигенты, политические. Их-то с особым усердием и спасала Ирина Воронцова. Вот в таком избранном обществе Киликяна препровождали каждое утро в пустую казарму, где и на нем проверялся эффект курса очищения, проводимого по программе графини Воронцовой и при ее деятельном участии. Курс состоял из тяжелых физических упражнений и назидательных бесед. Графиня видела в юном армянине пленительное воплощение сына дьявола. За такую душу стоило бороться. А посему дама решила самолично ее захомутать. Когда тощую бесовскую плоть удавалось усмирить путем многочасовых физических упражнений, можно было и душу погонять на корде.

К своей величайшей радости графиня очень скоро заметила, что Киликян делает необыкновенные успехи на стезе добродетели. Часы, проведенные с этим неразговорчивым Люцифером, стали для нее источником благодати. По ночам она подчас мечтала о предстоящем уроке катехизиса, этой игре в вопросы и ответы. Само собой разумеется, способный ученик заслуживал награды. Мало-помалу графиня добилась больших льгот для него. Началось это с того, что ему позволили жить не в тюрьме, а в камерке при пустой казарме. К сожалению, он недолго пользовался этим отменным убежищем. На третье утро

после своего новоселья он исчез, обогатив графиню Воронцову еще одним горьким опытом войны с дьяволом.

Но куда бежать с российской территории Кавказа?

На турецкую территорию Кавказа!

Спустя месяц Саркис понял, что поступил как безумец, что променял рай на ад.

Полуголодный, бродил он по Эрзеруму в поисках работы, пока его не схватили полицейские и не отвели в участок. А поскольку он вовремя не явился на призывной пункт и не откупился от воинской повинности, заплатив положенный бедел, его судили как дезертира, в порядке ускоренного судопроизводства, и он получил три года тюрьмы строгого режима. И так, едва сбежав с русской каторги, он попал в гостеприимную, турецкую. В эрзерумской тюрьме неисповедимый ваятель всего сущего завершил облик Саркиса Киликяна. В нем появилась та загадочная безучастность, которую Габриэл подметил в нем на ночном свидании у Трех шатров, безучастность, которую это слово выражает лишь приблизительно, отнюдь не исчерпывающе.

Саркис вышел из тюрьмы лишь за несколько месяцев до мировой войны. При освидетельствовании врач нашел его негодным к военной службе. Тем, не менее его сразу же наряду с другими новобранцами отправили в эрзерумский пехотный полк. Жизнь, которую он там вел, меньше всего напоминала человеческое существование. Но открылось, что его немощное тело обладает неистощимым запасом сил и выносливости. К тому же солдатская служба, хоть и была неволей, больше всего, по-видимому, отвечала его натуре. Полк его в первую же зиму участвовал в памятном Кавказском походе Энвера-паши, когда этот хрупкий бог войны уложил свой собственный армейский корпус, да и сам со своим штабом чуть не попал в плен к русским. Подразделение, прикрывавшее бегство штаба и сохранившее Энверу жизнь, почти сплошь состояло из армян. Да и вынес генералиссимуса на спине из линии огня – армянин.

(Когда Шатахян назвал Саркиса бойцом этой армянской воинской части, Габриэл, опасаясь, что учитель, любивший придумывать легенды, несколько приукрасил быль, бросил на старика Нурхана вопросительный взгляд. Тот серьезно и задумчиво кивнул.)

Был или не был Киликян соратником этих храбрецов, – но Энвер-паша не замедлил сразу же после своего спасения отблагодарить весь армянский народ.

У солдата Саркиса Киликяна только-только начали заживать раны от отморожения, только-только сменил он служившие ему ложем каменные плиты переполненного госпиталя на каменные плиты переполненной казармы, как был зачитан приказ военного министра, повелевавший всех армян с позором изгнать из армии, оружие отобрать, а самих перевести на унижительное положение иншаат табури, – презренных солдат нестроевого рабочего батальона. Армян согнали в кучу, отобрали у них винтовки и погнали на юго-восток, в горные окрестности Урфы. Там, голодные, под страхом ежечасно грозящей им бастонады, они носили камни для строительства шоссе на Алеппо.

Особый приказ запрещал подкладывать хотя бы ветошку под острые края ноши; в первые же знойные дни солдаты стерли до крови затылок и плечи. В отличие от тех, кто стонал и жаловался, Саркис Киликян без единого звука топал от каменоломни до своего участка дороги и обратно на каменоломню, точно его тело давно позабыло, что такое боль.

Однажды командир отдал приказ всем отрядам иншаат табури построиться. Среди них оказалось, случайно или в качестве штрафных, несколько мусульман. Их вывели из строя. А безоружная толпа армян двинулась в поход под командой двух офицеров и, промаршировав около часа, очутилась в живописной лощине, зажатой меж двух холмов.

– Да это же холмы Чармелика! – воскликнул один простак, который был родом из этих мест и всю дорогу радовался, что нынче не нужно таскать, камни.

Но, странное дело, на мягкой мураве лощины их ждали не только орхидеи, тимьян, розмарин, лимонная мята, фисташник, но и рота солдат в полном боевом снаряжении.

Армяне ни о чем не догадывались. Даже когда им скомандовали встать в шеренгу у подножия холма, они все еще ни о чем не догадывались.

Внезапно, без предупреждения, рота дала залп по правому флангу.

Воздух зазвенел от криков; кричали не так от страха перед смертью, как от безмерного удивления. (Тут одна из женщин прервала Шатахяна: «Неужто господь бог со святыми ангелами забудут те крики?») И заплакала в голос.)

Саркис сохранил присутствие духа, бросился наземь. Над ним свистели пули. Второй раз в жизни он избег смерти от руки турок. Он лежал под трупами и умирающими, брошенными на произвол судьбы, дожидаясь, пока стемнеет.

Но этот цветущий луг, место кровавой расправы волей энверовой национальной политики, навестили задолго до сумерек новые гости: местные мародеры пришли поживиться казенным имуществом – не пропадать же добру, – благо оно на трупах «казненных». Особенно охочи были они до крепких солдатских сапог. Занимались своей тяжелой работой побрякивая и напевая ту песню, что принесла с собой депортация. Начиналась она такими словами:

– Kesse, kesse surur jarlara – Убивайте, убивайте, только так их можно вытравить!

Дошел черед и до Саркисовых сапог. Он до боли напряг мышцы, чтобы походить на окоченелый труп. Стаскивая сапоги, грабители яростно волочили его по земле, еще немного – и отрубили бы ноги ради сапог. Наконец откланялись и эти отважные вояки, ушли с новой песней на устах: – Her gitdi, her bitdi – Всех долой, всех их вон!

С той ночи начались невообразимые скитания Саркиса. Дни он проводил в безлюдных, диких местах, ночами брел по нехоженным тропам, через степи и болота. Питался ничем, то есть всем, что росло на земле. Изредка он отваживался зайти в какую-нибудь деревню и в глубокой тьме стучался в дверь армянского дома. Тогда-то и открылось, что Саркису дано воистину сатанинское тело, обладающее сверхчеловеческой силой. Обтянутый кожей



скелет, каким он был, не пал на дороге и в первые дни апреля добрался до родных мест, до Дерт-Йоля. Пренебрегая опасностью, Киликян пошел к отчому дому, из которого двадцать лет назад его вывели плачущие соседи.

Дом остался верен делу его отца – в нем снова жил часовщик и ювелир. Из лавки доносился знакомый скрежет напильника, постукивание молоточка. Саркис вошел. Перепуганный часовщик хотел было выгнать его, но Саркис назвал свое имя. Новый хозяин дома посоветовался с семьей, и беглеца уложили в большой комнате, где когда-то произошло то, страшное. Спустя двадцать лет еще виднелись щербины от пуль на стене.

Киликян прожил в этом убежище два дня. Часовщик добыл для него винтовку и патроны. В ответ на вопрос, чем еще можно ему помочь, Киликян попросил бритву и с наступлением темноты исчез. На вторую ночь ему повстречались в деревне Гомайдан два дезертира, бывалые, сведущие люди, они рекомендовали ему Муса-даг как надежное пристанище.

Такова история Саркиса Киликяна, какой ее запечатлела память Габриэла Багратяна по рассказу Шатахяна, одобрительному молчанию Чауша Нурхана, репликам и вставкам слушателей. Человек западной культуры, он содрогнулся перед свирепостью этой судьбы и проникся уважением к человеку, нашедшему в себе силы устоять под ее ударами. К уважению, правда, примешивались ужас и нежелание где бы то ни было встречаться с этой жертвой тюрьмы и казармы. Ночью после долгого совещания с Нурханом Багратян решил распределить группу дезертиров, в том числе Киликяна, в гарнизон Южного бастиона. Это был самый безопасный пункт во всей обороне и к тому же самый отдаленный от лагеря.

На третье утро все разошлись по своим деревням. На Дамладжке оставили только нескольких надежных людей – охранять запасы продовольствия и оружие. Это распоряжение отдал сам Тер-Айказун: заптии не должны заставить пустые и полупустые дома, если явятся искать оружие. Если бы они обнаружили отсутствие молодежи, ее не заменили бы ни богобоязненные прихожане пастора Нохудяна в Битиасе, ни пожилые крестьяне в других деревнях.

Габриэл ждал от вардапета именно такого распоряжения. Вероятно, оно преследовало и воспитательную цель. Мусадагская молодежь знала о всех ужасах депортации только понаслышке, пусть же собственными глазами взглянет в лицо действительности, такой, какова она есть, чтобы потом драться отчаянно и стоять до последнего.

Заптии, числом около ста, прибыли в Йогонолук в точно названный Али Назифом час. Власти явно недооценивали свою задачу, прислав такой малочисленный отряд для депортации этого большого района. Привыкли думать, что армяне, как бараны, не оказывают никакого сопротивления, когда их гонят на бойню. Немногие бунты (они даже желательны правительству как повод для расправы) ничего не доказывают, полагала власти. Где ему, этому слабому народу торгашей, равняться с героическим народом воинов?

Потому-то и была прислана в Йогонолук всего лишь сотня жандармов.

Нет, то не были прежние покладистые убийцы времен Абдула Гамида. Ни обезображенных оспой физиономий, ни простосердечного свирепого подмигивания, означавшего: мы, мол, за соответствующую мзду и поладить готовы. Нынешние заптии были воплощением жестокости без околичностей. Эти заптии не носили, как в добрые старые времена, облезлые барашковые шапки и приобретенную по случаю форму – военный мундир в сочетании со «штатскими» невыразимыми. На нынешних заптиях было положенное по уставу новенькое желтовато-коричневое пехотное обмундирование. Голову они по-бедуински повязывали платком, защищавшим от солнца; концы его ниспадали вдоль щек, ими утирали пот. В этих повязках они походили на египетских сфинксов, не ведающих жалости.

Они вступили на территорию Муса-дага сомкнутым строем. Шли они, правда, не печатая шаг, как солдаты на Западе, но и не вразвалку, как привыкли ходить на Востоке. Иттихат оказал влияние и на этих далеких от Стамбула антиохийских жандармов, искусно преобразив старый, мгновенно вспыхивающий и быстро гаснущий религиозный фанатизм в холодное, незатухающее пламя национального фанатизма.

Отрядом, проводившим депортацию, командовал муафин, капитан полиции в Антиохии. Сопровождал его молодой веснушчатый мюдир с красными, без ресниц, глазами.

В полдень наряд полиции, о приближении которого уже сообщили лазутчики, построился на церковной площади. Пронзительно засигналила турецкая труба, раздалась барабанная дробь. Но вопреки этому властному призыву армяне не вышли из домов. Тер-Айказун строго-настрого приказал людям семи деревень, чтобы те как можно меньше выходили на улицу и во избежание провокаций не шли ни на какие сборища. Пришлось мюдиру перед публикой, представленной заптиями и разным сбродом, поглядывая на закрытые окна домов, выходявшие на церковную площадь, огласить длинный приказ о депортации, который одновременно был расклеен на стенах дома общины, школы и церкви.

По совершении этого государственного акта заптии расположились на земле, развели костер, потому что приспело время обедать, и стали разогревать котел с «фулом» – кушаньем из бобов на бараньем жире. Затем, когда каждый выгреб лепешкой свою долю из похлебки, они расселись и стали мирно пережевывать пищу, лениво поглядывая по сторонам.

До чего ж хороши здешние дома! И все до одного каменные, и крыши целы, а веранды – с деревянной резьбой! Ну и богачи же эти армяне, все сплошь богачи! А мы-то дома, в своей деревне, не нарадуемся, если наша почерневшая от старости хибара не рухнула под тяжестью аистиного гнезда. И храм у этих нечистых свиней – спесивый, толстостенный, ни дать ни взять крепость со всеми этими ее гранями, углами да выступами. Ладно, сам аллах велит с них спесь посбивать. У них всюду заручка есть, они в Стамбуле всем заправляли, деньги лопатой гребли. Все это мы терпели, пока и самым терпеливым невтерпеж стало.

Мюдир и муафин тоже не переставали удивляться красоте этой деревенской площади. Быть может, даже капитан полиции на мгновение испытал робость, какую испытывает варвар перед лицом недосыгаемо высокой культуры. Но в памяти его всплыли знаменитые слова Талаата-бея, приведенные вчера каймаком в напутственной речи: «Либо они исчезнут, либо мы». И капитан полиции почувствовал прилив ненависти.

На церковной площади стояла зловещая тишина, несмотря на присутствие множества вооруженных людей. Ее не нарушали и приставшие по дороге к отряду сторонние наблюдатели. Подонки общества, человеческая муть хлынула из Антиохии и окрестных крупных селений в долину семи деревень. Босые, покрытые коростой ноги привели их сюда из Менгулье, Хамбласа и Бостана, из Тумама, Шахсини, Айн-Джераба, даже из Белед-эс-шейка. Неистово жадные глаза обшаривали дома. Арабские крестьяне, пришедшие с юга, с гор Эль Акры, спокойно сидели на корточках, дожидаясь знатной поживы. В стороне стояли кучкой даже ансариджи, самые отверженные парии пророка, полуарабская чернь без роду и племени, что пользовалась теперь редкой возможностью стать ступенью выше других. Были тут и мухаждиры – беженцы, эвакуированные правительством в глубь страны, а теперь любезнейшим образом приглашенные грабить армянское добро, дабы безнаказанно возместить нанесенный им тем же правительством урон. Кружком, рядом с этим «простодушным» человеком стояли, – что, с позволения сказать, весьма удивительно, – дамы под чадрой, робеющие и возбужденные. Они, несомненно, принадлежали к состоятельным кругам общества. Это угадывалось с первого взгляда по добротной ткани чадры, по изяществу покрывал, по узеньким пантуфлям или лакированным полуботинкам, в которых прятались ножки в браслетах. Это собрались азартные покупательницы на предстоящей выгодной распродаже, которую эти женщины с нетерпением ждали. Уже несколько недель на женской половине в Суэдии и Эль Эскеле шептались:

– Ах, неужели не знаете? В домах христиан есть изумительные вещи, такие у нас не водятся или достаются за очень большие деньги.

– Ты когда-нибудь бывала в армянском доме?

– Я – нет! Но жена муллы мне все в точности описала. Там есть шкафы и комоды с резными башенками, балясинками, веночками. У них редко увидишь циновки, которые на день убираются, у них стоят настоящие кровати, а на их спинках вырезаны цветы и детские головки – что аллах строго запретил, – и спят на них муж и жена, и широкие они, точь-в-точь фазтон нашего вали. Там есть часы, на которых сидит позолоченный орел, а из других вдруг выскакивает кукушка и кукует.

– Вот вам и доказательство, что они изменники, как бы иначе могли они получить такие вещи из Европы?

Но именно о таких вещах страстно мечтали эти женщины, которым наскучили даже чудесные ковры, латунные блюда и медные жаровни.

Зловещая тишина внезапно раскололась. Капитан полиции, который давно

уже искал себе жертву, накинулся на какого-то деревенского жителя, имевшего неосторожность выйти за ворота своего дома. Его выволокли на середину площади.

Внешность капитана была приметная: у него были разные глаза. Правый глаз выпученный и неподвижный, левый – маленький и наполовину заплывший. Как ни воинственно топорщились фельдфебельские усы, как ни свирепо выпячивал подбородок этот полицейский начальник, он был обречен пугать людей своей смешной внешностью и потешать их своим грозным видом. Он всегда помнил о своем уродстве и, боясь показаться смешным, из кожи лез, стараясь внушить страх к своей персоне и отправляемой им должности. По этой причине ему приходилось играть зверя вдобавок к тому, что он был зверь по природе.

Его правый глаз сделал тщетную попытку поворачиваться, и капитан рывкнул на вышедшего из ворот армянина:

– Как звать вашего священника? Мухтара как звать?

Крестьянин тихо ответил. Через минуту по площади прокатился стоголосый рев:

– Эй, Айказун! Куда запрятался? Эй, Кебусян, выходи! Эгей, Айказун и Кебусян!

Тер-Айказун ждал в церкви этого сигнала. Отслужив торжественную литургию, ибо день был праздничный, он остался с дьяконом у алтаря, преклонив колени. Вардапет не снял с себя священных риз: он хотел предстать перед заптиями в блеске и величии своего сана. Тут как нельзя лучше сказался характер Тер-Айказуна. Его нарочито торжественный выход имел целью и психологическое воздействие. Церемониальные шествия и пышность жреческих одежд каждому восточному человеку внушают священный трепет. Тер-Айказун рассчитывал на то, что его выход со всеми иератическими атрибутами смягчит свирепость заптиев. Медленно, в золоте и пурпуре, выплыл он из церковного портала. На голове его сверкала высокая греческая митра, в правой руке, согласно армянскому церковному ритуалу, он держал епископский посох. Величавый облик вардапета и впрямь заставил главаря жандармов поубавить тон. Теперь каннибальский рык звучал не так уверенно:

– Ты здешний священник? Ты за все отвечаешь! За все! Ты меня понял?

В ответ Тер-Айказун молча склонил голову на грудь; в ярком свете солнца его бескровное лицо казалось янтарной геммой.

Полицейский вседержитель почувствовал, что ему грозит опасность стать вежливым, сиречь – тряпкой. Вдобавок задержался левый, заплывший глаз. Оба эти обстоятельства только способствовали тому, что в начальнике закипела злость, – самое время напомнить мюдиру, нижним чинам и этому священнику о своем сокрушительном могуществе! Он пошел с поднятыми кулаками на Тер-Айказуна, но, к великому своему стыду, невольно остановился на почтительном расстоянии. Тогда он почел себя обязанным как облеченная властью особа нагнать страху хотя бы голосом.

– Ты сдашь мне все оружие, все ваше оружие. Понял? И хоть ты и

вырядился как шут базарный, ты мне ответишь за каждый нож в ваших деревнях!

– В деревнях у нас оружия нет.

Тер-Айказун сказал чистую правду – спокойно и твердо.

А в темных сенях мухтарова дома разыгралась маленькая трагикомедия, завершившаяся тем, что из ворот – тут же мгновенно захлопнувшихся – пулей вылетел общинный писарь, старик с плутоватой козлиной бородкой. Таким неделикатным манером мухтар Кебусян уполномочил писаря быть его заместителем в этот наитруднейший час своей служебной деятельности.

Бедняга мнимый мухтар, белый как полотно, с маху угодил в объятия заптивев, которые и потащили его к начальнику.

Старик, запинаясь, повторил слова Тер-Айказуна:

– В деревнях у нас оружия нет.

Дрожащий от страха подставной мухтар явился как нельзя кстати для муафина. Ужас старика писаря окончательно утвердил муафина в сознании своего богоподобного всемогущества. Он выхватил у одного из солдат плеть и со свистом взмахнул ею.

– Тем хуже для вас, если нет оружия!

Тут в процесс дознания впервые вмешался красно-пегий мюдир. Для этого молодого человека, родом из Салоник, было крайне важно наглядно показать христианскому священнику, какая бездонная пропасть лежит между теми, кого мюдир здесь представлял, и полицейским олухом из темного провинциального захолустья. Иттихат больше не допускает, массовой резни, как бывало испокон века. Иттихат проводит самую тонкую политику. Иттихат с железным упорством осуществляет неизбежные, в интересах государства, мероприятия, стараясь избежать, где только возможно, бесполезной жестокости. Его сторонники получили современное воспитание. Они – враги чрезмерного рукоприкладства, они даже подчеркивают, что у них самих есть «нервы». А посему, бросив беглый взгляд на свои художественно обработанные длинные ногти, он обратился к Тер-Айказуну в высшей степени почтительно и с той видимой благожелательностью, которую мастерски умеют изобразить чиновные господа, в чьих руках находятся наша жизнь и смерть.

– Тебе ведь известно, какое решение принято относительно вас.

Неколебимый и безмолвный, вардапет вскинул на него глаза. Несколько опешив от этого открытого и прямого взгляда, мюдир указал на плакаты:

– Правительство приняло решение переселить вас. Новое местожительство будет вам указано.

– А где же находится это новое местожительство?

– Это не мое и не ваше дело. Мое дело – собрать вас, как положено, а ваше – маршировать, куда положено.

– Когда же мы должны будем отправиться в поход?

– Только от вашего поведения зависит, сколько времени я предоставлю вам на сборы. Приготовления к походу – в точном соответствии с предписанием.

Писарь, который уже пришел в себя, с деланным смирением спросил:

– А что будет дозволено нам взять с собою, эфенди?

– Только то, что каждый может унести на спине или в руках. Все прочее – ваши поля, сады, усадьбы, дома со всем движимым и недвижимым имуществом – переходит, согласно приказу министерства от пятнадцатого низана\* сего года, в собственность государства, которое, согласно закону о депортации от пятого мая, предоставит вам новые земельные участки взамен вами оставленных. Каждый владелец собственности должен, основываясь на выписке из поземельной книги, ходатайствовать о причитающейся ему по закону замене сданной им земли. Прощение должно быть оплачено гербовым сбором в пять пиастров. Гербовую марку надлежит приобрести в жандармском управлении.

---

**\* Низан – апрель (турец.).**

---

Эта бюрократическая кантата лилась из уст рыжего так сладкозвучно, будто речь шла о приказе повсеместно насаждать плодовые деревья. Мюдир поднял указующий перст, благодушно предостерегая:

– Самое лучшее для вас не устраивать никаких историй, ничего не разрушать и не портить, а передать государству все имущество в том виде, в каком оно было доньше.

Тер-Айказун развел руками.

– Мы ничего не хотим оставлять себе, мюдир, – ответил он дипломатичному поборнику Иттихата. – Да и к чему? Берите все, что найдете. Ворота всюду открыты настежь.

Капитана взбесил елейный тон мюдира, перехватившего у него руководство процедурой. В конце концов, он единственный и единоличный командующий депортацией, а шелкопер – только сопровождающее лицо, приданное каймакамом. Если он даст этому краснобаю-канцеляристу сказать еще хоть слово, ни одна душа больше не поверит, что он, капитан, управляет всей полицией в Антиохии. Поэтому он во всю мочь вытаращил правый глаз, так что тот налился кровью и стал похож на глаз буйвола, затем шагнул к Тер-Айказуну и схватил его за богато расшитую епитрахиль.

– Ты сейчас же соберешь шестьсот винтовок и положишь их вот тут передо мной!

Тер-Айказун долго созерцал землю, на которую приказано было сложить винтовки, потом вдруг с силой рванулся назад, так что капитан чуть не упал.

– Я уже сказал тебе, что в деревнях у нас оружия нет.

Мюдир улыбнулся. Пришла вновь его очередь, не выпучивая глаз и не горланя, добиться своего только с помощью политической хитрости. Голос его звучал благосклонно и раздумчиво, точно мюдир готов был помочь армянам найти средство от беды:

– Прости мне нескромный вопрос, Тер-Айказун. Как давно ты рукоположен в священники в здешней местности?

Тер-Айказуна встревожила необъяснимая учтивость этого обращения. Он тихо ответил:

– Осенью, после вардавара, будет ровно пятнадцать лет.

– Пятнадцать лет? погоди! Следовательно, во время великой революции ты уже восемь лет как жил в Йогонолуке. Постарайся вспомнить. Не получал ли ты в том году несколько ‘ящиков с оружием, которым тогда снабжали вас для борьбы против прежнего правительства?

Мюдир, который вступил в должность только в начале войны, задал этот вопрос по интуиции, предположив, что Игтихат и в Сирии, по аналогии с Македонией и Анатолией, должен был искать союзников среди армян. Он случайно нащупал уязвимое место врага.

Тер-Айказун повернул голову к своему церковному притчу – никто еще не осмелился сойти со ступеней паперти. Этим легким поворотом головы Тер-Айказун призывал их засвидетельствовать его слова:

– Может быть, ваше духовенство, мюдир, имеет дело с оружием. У нас такого обыкновения нет.

Положение было угрожающее, и общинный писарь запричитал:

– Мы всегда жили мирно, ведь тут спокон веку наша родина!

Тер-Айказун устремил на мюдиром рассеянный взгляд, словно и впрямь напрягал свою память:

– Верно, мюдир. Новое правительство тогда раздавало оружие направо и налево во всех населенных пунктах империи, в том числе и армянам. Если ты был тогда в сознательном возрасте, ты непременно вспомнишь, что во всех общинах лицам, распределявшим оружие, получатели его обязаны были давать расписку в получении. Руководил распределением оружия каймакам, который был в ту пору мюдиром, – как ты. Он вне всякого сомнения сохранил эти расписки, потому что такие важные документы не выбрасывают. Так что, думается мне, он не послал бы тебя к нам без этих расписок, будь у нас винтовки.

Довод неопровержимый. Из-за этих расписок на днях перерыли от корки до корки весь архив антиохийского хюкюмета. Большинство таких квитанций, выданных различными нахиджие, нашлись: похоже, что только нахиджие Суэдии и ее окрестностей действительно никакого оружия в 1908 году не получали. Правда, каймакам утверждал, будто получили, однако доказательств тому привести не мог.

Самообладание Тер-Айказуна оказалось самой верной тактикой. Но блистательная дипломатическая выдержка мюдиром была несколько омрачена

этим спокойствием; голос его сейчас звучал резко, иронично:

– Что такое расписка в получении? Клочок бумаги! Какое значение это имеет через столько лет?

Тер-Айказун равнодушно махнул рукой.

– Не хотите нам верить, что ж, смотрите сами, ищите!

Капитан, которому не терпелось положить конец этому излишнему и нудному препирательству, со всей силы опустил свою полицейскую лапу на плечо вардапета:

– Да, мы будем искать, собачий сын! Но вас обоих я арестую, тебя и мухтара! С вами я могу делать что хочу. Ваша жизнь в моей власти. Если мы найдем винтовки, мы пригвоздим вас к церковным дверям. Если же ничего не найдем, я прикажу поджарить вам пятки.

Двое заптиев связали Тер-Айказуна и писаря. Мюдир вынул из кармана пилочку для ногтей и занялся своими ногтями. То, что он занялся сейчас маникюром, можно было бы истолковать как жест сожаления по поводу этой необходимой государству жестокости, но это означало также, что он, как чиновник гражданского ведомства, ничего общего с военной властью не имеет. Тем не менее он не преминул скучающим тоном довести до ее сведения:

– Не забудьте кладбище! Это излюбленное место захоронения ружей и патронов.

И только тогда удалился, предоставив дальнейшее разноглазому муафину. По команде этого пугала в мундире заптии разбились на маленькие группы и разошлись в разные стороны. При арестованных остался небольшой конвой. Тер-Айказуну в своей фелони из тяжелого шелка пришлось сесть прямо на землю.

Заптии с диким ревом врывались в дома. За стенами штурмуемых домов тотчас же раздавались отчаянные вопли, слышался грохот и звон разбиваемой посуды. Окна распахивались настежь, и из них летели ковры, одеяла, подушки, циновки, камышовые стулья, иконы и сотни всевозможных предметов домашнего обихода. Вокруг них сейчас же начиналась свалка, с визгом налетала на вещи пришлая сволочь. Потом из окон летели бьющиеся предметы – зеркала, керосиновые лампы, абажуры, кувшины, вазы, посуда; все это с дребезгом разбивалось оземь под жалобные стенания алчных «покупательниц» в чадрах. Они даже черепки подбирали. Шум и буйство разрушения постепенно распространились по всей церковной площади. Затем стали доноситься откуда-то с проселочной дороги.

Три страшных часа сидели на земле связанные вардапет и писарь, пока заптии не вернулись из своего военного набега. Добыча их была более чем жалкой: два старинных кавалерийских пистолета, пять заржавелых сабель и тридцать семь обоюдоострых, похожих на кинжалы ножей, которые были попросту ножами для резки виноградной лозы или перочинными, несколько большего размера. Правда, могилы на кладбище заптии не разрыли за отсутствием заступов и трудового рвения.

Полицейский начальник бесился. Этот хитрый поп все-таки обошел его,



лишил возможности представить рапорт о конфискации большого количества оружия. Какой позор для антиохийской полиции!

Заптии рывком подняли Тер-Айказуна с земли. На него уставились два глаза – выпученный и заплывший. В лицо пахнуло зловонным дыханием ненависти и плохо переваренным бараньим жиром. Тер-Айказун отвернулся, скривившись от отвращения. И в ту же минуту два удара плетью наотмашь перекрестили его лицо. Он пошатнулся, на несколько секунд потерял сознание, потом пришел в себя и, ошеломленный, ждал, что брызнет кровь. Наконец она хлынула, эта кровь, из носа и рта. И, когда он нагнулся, опасаясь запятнать свою ничтожной кровью пастырское облачение слуги Христова, его охватило удивительное, пожалуй, даже благостное чувство. Словно в мозгу запел дальний ангельский голос: «Эта кровь – правильная кровь».

И кровь эта была правильная уж хотя бы потому, что произвела известное впечатление на молодого салонника-мюдира, когда он вернулся после своей сестры. Он был убежденным поборником полного искоренения армянской нации, не имея, однако, потребности быть свидетелем этого. В лице веснушчатого мюдира Иттихат располагал далеко не самым жестокосердным своим сторонником. Поэтому и вмешался мюдир в происходящее, хоть и старался не проявлять мягкости.

– Времени-то в обрез – заметил он муафину, – предстоит выполнить служебный долг еще в шести населенных пунктах.

А так как муафин, избив священника, удовлетворил свою страсть к самоутверждению, то величественно кивнул в знак согласия. Вардапета и писаря развязали и отпустили домой.

Дешево отделался Йогонолук в тот день, куда как дешевле других армянских городов и деревень. ‘Убито было всего двое мужчин, оказавших сопротивление при обыске, да две молодые женщины изнасилованы заптиями.

Целые сутки ждал Габриэл Багратян, пока дойдет очередь до него и его дома. И опять сидели они всю ночь напролет не смыкая глаз. Казалось, сна в природе больше и нет. Изнеможение пропитывало тело как вязкая масса, которая медленно затвердевает на воздухе. Согнуть колено, поднять руку, повернуть голову стоило почти невозможного напряжения воли. Однако изнеможение это было благом, потому что отдаляло реальность и воздвигало между ними и миром туманную завесу. Лучше всего защищала эта завеса Жюльетту. Она, жизнелюбивая, та, что всего несколько дней назад блаженствовала среди роз и шелков для своих моделей, она, надменная, воспитанная на французской культуре, смотревшая сверху вниз на расу собственного мужа, она, легкомысленная, считавшая невероятным, что ее могут всерьез втянуть в водоворот ненависти этих полудикарей, – сейчас эта Жюльетта была оглушена обрушившимся на нее ударом. На ее отеком лице тусклыми казались прежде ясные глаза. Сухие волосы были неприбраны после бессонной ночи. На ней был помятый дорожный костюм, тот же, что и во время генеральной репетиции у Трех шатров. Одна мысль неотступно преследовала ее, точно нудная телесная боль, которая то отпускает, то вновь возвращается:

«Он – армянин, я – француженка. Вопреки таинству брака мы не едины, мы разные. Должна ли я вправду погибнуть, потому что он армянин? Почему его не может спасти то, что я француженка?»

Жюльетта готова была возмущаться судьбою женщины, которая, вступая в брак, отрекается от своего имени и своего народа. Но в этот час у нее не было душевных сил додумать до конца эту мысль. Мысль всякий раз иссякала, уходила как вода в песок. Перелистывая воспоминания, память произвольно и вяло останавливалась на одной и той же картине: гостиная на Авеню-Клебер с большим камином красноватого мрамора, который ей давно хотелось убрать. Но время от времени в сердце всплывала смутная нежность и чувство вины. Она хотела бы, чтобы это длилось вечно, – эта нежность и чувство вины. И тогда она прижимала к груди Стефана, который сидел, прислонившись к ней.

– Поди ляг, поспи хоть немного, Стефан!

Она смотрела в истомленные усталостью глаза сына, и виноватое нежное чувство в сердце спрашивало: «Кто же ты, мое совсем чужое дитя?»

В большой гостиной собрались все домочадцы; рядом с Искуи – Овсанна Товмасян, которая переселилась к Жюльетте, так как Арам проводил все время в Битиасе, чтобы накануне высылки быть рядом со своим духовным собратом Арутюном Нохудяном и его паствой. Присутствие Гонзаго в доме Багратянов уже никого не удивляло. Последние дни он большей частью проводил на вилле. По рассказам Гонзаго, в его домохозяйине, аптекаре Грикоре, после великого схода произошел какой-то странный сдвиг сознания. Он потерял интерес ко всему, не заготавливает никаких пищевых запасов и утвари для предстоящей жизни в лагере и, несмотря на то, что избран в совет уполномоченных, преступно пренебрегает своими общественными обязанностями. В аптеке все пошло вверх дном. Глухой сторож при аптеке Григора, обслуживая покупателей, все путает, а люди осаждают лавку, чтобы заранее запастись теми скудными лекарствами, что есть в распоряжении Григора, а также керосином, спиртом, веревками, метлами и прочими предметами обихода. Из-за этой-то бестолковой распродажи и произошла крупная ссора между двумя такими старыми друзьями, как доктор Алтуни и аптекарь Грикор. Алтуни поднял большой шум и осмелился посягнуть на святая святых Григора: разве это дело, говорил он, чтобы такая тупая скотина, как сторож, разбазаривала товар, сбывая его подлым шкурникам? Нельзя же это и без того мизерное количество йода продавать кому попало, каким-то Багдасарам, Ованесам, Тигранам, Парсамам и прочим спекулянтам! Разве Грикор не знает, что его жалкие запасы лекарств теперь общественная собственность, точно так же как соль, пряности, керосин да и весь остальной пыльный хлам, который он десятки лет выставляет на продажу?

Аптекарь против обыкновения очень разгневался, кричал, что он вовсе не себялюбец, что он десятилетиями жертвовал собой, ибо аптека со всем этим дерьмом не что иное, как постоянное унижение его духовного мира. И дабы доктор Алтуни понял, кто таков Грикор, он величавым жестом распахнул окно (что не част случалось) и вышвырнул на церковную площадь в добычу

мальчишкам всю дневную выручку – пара', пиастры, кредитки. Доктор, ничуть не потрясенный этим царственным жестом, рекомендовал аптекарю, раз уж окно открыто, отправить таким же манером вслед за монетами и библиотеку. Тем самым он сделает для себя и ближних благое дело.

Гонзаго рассказывал, что ему с трудом удалось помирить расхордившихся стариков. Сегодня Грикор навсегда закрыл аптеку. Погрузился в свои поруганные завистником Алтуни книги и читает, читает. Нет, это не совсем точно сказано: он, в сущности, не читает, а лихорадочно роется в своих сокровищах, бесцельно и без всякой последовательности раскрывает, и захлопывает, и снова перелистывает фолианты, поглаживает переплеты, будто хочет перед разлукой вдосталь насладиться своей библиотекой. А может, его мучит неопределенность? Может, этим и объясняется его поведение? Тогда вполне можно ему посочувствовать. В самом деле, что же будет с единственной в своем роде библиотекой Григора? И если вдуматься, безумие аптекаря не так уж безумно.

Гонзаго сумел так забавно изобразить происшествие с Грикором и его сторожем, что Габриэл на несколько минут забыл обо всем и, смеясь, взглянул на Жюльетту. Странное чувство вызывал в нем этот молодой человек, который в поисках приключений делал ставку на судьбу армянского народа. И так как это не вызывало симпатии в Габриэле (Гонзаго мотивировал свое желание остаться здесь, ссылаясь на свою профессию журналиста), то Габриэл лишь после долгих колебаний разрешил ему остаться с ними. Впрочем, его отношение к Гонзаго было крайне неровное. Всего полчаса назад это красивое лицо с тонкими усиками, чересчур уж во французском вкусе, ему было неприятно. А сейчас оно снова ему нравилось, вопреки всей двойственности этого левантинца и американца, музыканта и журналиста, двойственности, которая так дисгармонировала с прямолинейной натурой Багратяна. Сейчас Гонзаго был для него более чем приятен; своим присутствием он почти осчастливил Габриэла, потому что развлек Жюльетту. В эту ночь Гонзаго показал себя с наилучшей стороны, и ему удалось на время вывести Жюльетту из ее подавленного состояния. В общем-то этого «добровольца» ждала та же судьба, что и всех. И все же он казался беззаботным, едва ли не веселее обычного. Он впервые обнаружил присущую ему неистощимую наблюдательность, не переходя, однако, границ мягкой иронии. Это тонкое чувство меры было особым качеством Гонзаго, оно мирило Габриэла с неприятной двойственностью этого человека. Но важнее всего было то, что он сумел в эту ночь рассеять Жюльетту. Далеко за полночь, когда уже ничто не могло отвратить гнетущий ужас ожидания, Гонзаго вдруг вскочил с места:

– *Courage, mes amis!*\* На свете есть только мгновение, все остальное – ничто!

Он сел за рояль и без усталости играл всевозможные куплеты, уличные песенки и шлягеры, знакомые Жюльетте по Парижу. Матчиш\*\* она пожелала слушать трижды. Однако не только Жюльетта, но и Искуи и даже печальная Овсанна незаметно для себя забылись и невольно раскачивались и кивали в

такт музыке. В дверях селамлика стояли робеющие слуги. Мисак, Кристофор, Ованес и девушки не двигались с места, по глазам их было видно, что, как ни страшно было ожидание гибели, они совсем не прочь пройтись плясом в народном танце дардз-пар или под дробный топот болор-пара.

---

\* Мужайтесь, друзья (франц.).

\*\* Матчиш (порт.) – распространенный в Западной Европе таец в 1914-1918 гг.

---

Габриэл еще с вечера пригласил всю прислугу в комнаты. Он считал, что всеобщая депортация освобождает служащих от их обязанностей. Теперь домашняя прислуга делала свою работу по собственному желанию. Каждый был хозяином своей судьбы. Перед лицом депортации не могло быть ни господ, ни слуг. Все соотечественники без различия сословий ждали в этот час вторжения заптиев. Поэтому и Сато провела ночь вместе со всеми в большой гостиной. От здоровой пищи худоба этой заброшенной девочки перестала так бросаться в глаза. Примечательно, что в эти тягостные часы бездейственного ожидания все старались преодолеть свое отвращение к этой маленькой несносной соотечественнице. Жюльетта велела сшить для Сато хорошенькое платьице свободного покроя, по европейской моде: правда, ведьмовская костлявость маленькой бесовки была в нем заметнее, чем в полосатом приютском халатике... Управляющий именем Кристофор утверждал, будто Сато вовсе не армянка, а цыганка-полукровка, родом не то из Персии, не то из Дагестана. Восприняла Сато обновку несколько своеобразно: платьице обязывало вести себя как цивилизованный человек. И хоть назавтра платьице было в отвратительных пятнах, Сато горделиво выступала в нем и от каждого требовала себе похвал. (Зато Стефан вынудил у матери разрешение ходить в такой же одежде, что и местные крестьянские мальчики.) А Сато полагала, что если на нее надели этот воздушный наряд, то ее повысили до ранга высших существ и, стало быть, возлюбленная Искуи не устоит перед ее нежными чувствами. Она садилась у ног Искуи и прогнать ее было невозможно. Девочка назойливо старалась привлечь к себе внимание – то играла лентами и оборками на платьице, то поднимала и расправляла юбочку, то собирала ее в складки в надежде заслужить благосклонность и восхищение Искуи. Когда же это не удавалось, желтоватую мордочку искажала гримаса, и Сато в исступлении припадала к ногам Искуи:

– Кючук-ханум!

Однако цивилизующего влияния европейского платья было недостаточно,

чтобы приручить эту дикую натуру. Едва под пальцами Гонзаго зазвучала бравурная музыка, с Сато сделалось что-то страшное. Такое бывает со зверьми волчьей породы – на пение и звуки музыки их подвластные ночи души отвечают страдальческим воем. Ибо в каждом стоящем на элементарной ступени развития существе заложен смертельный страх перед мерой и порядком, присущими гармонии. С минуту Сато слушала звуки рояля, широко раскрыв глаза. Пытаясь совладать с терзавшей ее мукой, она раскачивалась из стороны в сторону, крепко вцепившись в Искуи. Затем ее вдруг прорвало, и вопль, вырвавшийся из ее разверстого рта, точно из самого нутра, был и впрямь воем, напоминавшим завывание шакала или гиены, а пробудившаяся в ней неведомая сила сотрясала все ее тело.

Все содрогнулись. Даже крупные детские слезы, струившиеся по ее щекам, не погасили отвращения и ужаса окружающих.

По знаку Габриэла Авакян схватил Сато за ручку и вывел из комнаты. А Гонзаго изо всех сил брэнчал на рояле, чтобы заглушить жалобный визг изгнанной кикиморы под окнами, выходившими в сад.

В ту ночь, как мы знаем, никто в доме не ложился. Забывались минутным сном сидя и тут же просыпались. Это бодрствование не имело никакого смысла, так как ждать в гости заплывов следовало только наутро, пожалуй, даже к полудню наступающего дня. И все же никто и не подумал уйти лечь спать.

Постель, мягкая, с горкой подушек, защищенная сборчатыми москитными сетками свежая постель, эта любящая мать, эта всечеловечная родина культурного человека, – какая даль пролегла теперь между нею и ими, отторгнутыми; они и не притязали более на этот самозабвенный отдых... Когда утром повар Ованес прислал с прислугой горячий кофе в тонком фарфоре, яйца и холодную курицу, то, как ни хотелось им всем есть и пить, они почувствовали какую-то скованность. Они закусили наскоро, словно на дорогу. Вправе ли они еще по-старому, без укоров совести поедать эти дивные яства? Не наносят ли они ущерб общему довольствию? Всеми помыслами они были уже на Дамладжке.

Габриэл был в форме офицера турецкой армии, при сабле и орденах. Он хотел встретить заплывов как офицер, как старший званием.

Гонзаго настойчиво его отговаривал:

– Ваш военный маскарад только обозлит их. Не думаю, что вы что-либо выиграете от этого.

Габриэл стоял на своем:

– Я турецкий офицер. Согласно приказу явился в распоряжение своего полка. Никто пока не лишил меня звания.

– Это может случиться с вами довольно скоро.

Гонзаго сказал это вслух, а мысленно добавил: «Этим армянам ничем нельзя помочь, они родились и помрут напыщенными дураками».

Часов в одиннадцать утра Искуи стало вдруг плохо. Сначала у нее был короткий обморок, потом начался сильный озноб. Еле волоча ноги, она пошла к выходу, но от помощи наотрез отказалась. Жюльетта хотела было пойти за ней,

но Овсанна предостерегающе подняла руку:

– Оставьте ее... Это все Зейтун... Она прячется... Мы переживаем это второй раз...

Она закрыла лицо руками, ее грузное тело вздрагивало от рыданий.

Это происходило тогда, когда к дому Багратянов приближалась группа заптиев во главе с муафином и мюдиром. Расставленные Багратяном дозорные примчались доложить, что беда грянула.

Шестеро заптиев блокировали ворота и калитки, еще шестеро рассыпались по саду, восемь человек заняли хозяйственные пристройки. Мюдир, муафин и четверо солдат вошли в дом.

У турок был усталый вид. Двадцать четыре часа кряду бесчинствовали они в деревнях, грабили и уничтожали все внутри домов, арестовывали и избивали в кровь мужчин, кое-где понасильничали, стало быть выполнили часть обещанной им правительством программы развлечений.

Итак, доблестная рать, к счастью, несколько удовлетворила свою жажду подвигов. Просторный дом Аветиса Багратяна-старшего с его толстыми стенами, прохладными покоем, коврами, по которым ступаешь так бесшумно, и диковинными вещами, несомненно, подействовал на заптиев умирительно.

Красные шторы в селамлике были опущены, и пришельцы оказались в ласкающем глаз сумраке лицом к лицу с европейскими дамами и господами. Эти люди ждали стоя, окруженные почтительными слугами, недвижные, прямые. Жюльетта крепко сжимала руку Стефана. И только Гонзаго закурил.

Габриэл сделал шаг навстречу комиссии, придерживая, согласно уставу, левой рукой саблю. В походной форме, сшитой в Бейруте перед отъездом, он казался выше. И он был не только выше ростом, но и всей своей сутью превосходил окружающих.

Гонзаго, верно, ошибся. Военная выправка Багратяна произвела все-таки впечатление. Муафин озадаченно разглядывал офицера с орденами за боевые отличия. Что бы это значило? Глаз-устрашитель помутился; заплывший глаз заплыл совсем. Да и конопатый мюдир был явно не в своей тарелке. Куда легче было играть роль недоступного божества-наблюдателя в домах резчиков и шелководов! А здесь, в культурном окружении, эти окаянные нервы у юного салоникца сдали. Представитель Иттихата и правительства должен был бы безжалостно конфисковать гнездо проклятой расы, а он отвесил поклон и приложил руку к феске. А тут еще – и это было не слишком приятно – вспомнилось, как он разговаривал с Багратяном в своей канцелярии. Из-за этой минуты слабости он не сразу взял правильный тон. Габриэл смотрел на него с суровым презрением, и думалось, они вот-вот поменяются ролями. Лицом к лицу с рыжей, низкорослой и худородной туретчиной стояла высокая и воинственная Армения. Багратян, казалось, становился все выше, и мюдир страдал от сознания своей невзрачности, которая так не отвечала героическому духу его нации. В конечном счете ему оставалось только вынуть из кармана пространственный официальный документ и, более или менее придерживаясь текста, грозным тоном провозгласить:

– Габриэл Багратян, место рождения Йогонолук! Вы – владелец этого дома и глава семьи. Поскольку вы – оттоманский подданный, вы подчиняетесь приказам и распоряжениям каймакама Антиохии. Наряду с прочими жителями нахиджие Суэдии на Муса-даге, вы в один из ближайших дней, который еще будет вам указан, отправляетесь на восток вместе со всей вашей семьей. Опротестовывать в какой бы то ни было форме общее предписание о высылке, касающееся как лично вас, так и вашей жены и ребенка, а также кого-либо, состоящего в родстве с вами, вы не имеете права...

Мюдир, делавший вид, будто читает текст по бумаге, вскинул глаза на Габриэла:

– Ставлю на вид, что ваше имя особо упоминается в числе политически неблагонадежных лиц. Вы были близки к партии дашнакцутюн. Поэтому вы будете и во время этапа подлежать ежедневному строгому контролю. Всякая попытка к бегству, всякое уклонение от распоряжений правительства и исполнительных органов, всякое нарушение порядка влечет за собой не только кару для вас лично, а именно – немедленную смерть, но и, непосредственно, уничтожение всех ваших родственников.

Габриэл хотел ответить. Но мюдир не дал ему говорить. Замысловатый канцелярский язык, столь отличный от цветистой образности восточной речи, кажется, доставлял ему физическое наслаждение:

– Согласно дополнительному предписанию его превосходительства вали Алеппо, лицам, подлежащим высылке, не дозволяется по собственному усмотрению пользоваться перевозочными средствами, вьючными и верховыми животными. При наличии уважительных причин я могу разрешить пользоваться имеющимися в этой местности повозками или ослом для слабых и больных. Имеете вы что-либо возразить против этой предоставляемой льготы?

Габриэл крепче прижал к боку эфес сабли. Как камни из пращи, слетали слова с его губ:

– Я пойду с моим народом его путем.

Мюдир уже вполне справился с первоначальным чувством неловкости. Сейчас ему уже удавалось придать своим словам оттенок благожелательной озабоченности:

– Дабы не вводить вас в опасное искушение удалиться отсюда до назначенного срока или позднее где-либо укрыться, я сразу же налагаю арест на ваш экипаж, лошадей и прочих животных, пригодных для передвижения верхом.

Все, что делалось потом, было в порядке вещей, хотя начало было менее разнузданное. Полицейский начальник, который еще не решил, как надлежит поступить с мундиром, саблей и орденами этого объекта искоренения, буркнул:

– Оружие есть?

Габриэл велел Кристофору и Мисаку принести бедуинские ружья, висевшие в прихожей в качестве старинного декоративного украшения. (О чем, конечно же, было заранее условлено, так как все пригодные для боя винтовки находились уже на Дамладжке.)

Из глотки муафина с шипением вырвался насмешливый хохот, точно пар из перегретого котла.

Мюдир снисходительно похлопал эти романтические пищали:

– Не станете же вы, эфенди, утверждать, что живете в этой глуши без оружия?

Габриэл ответил, пристально глядя в его глаза без ресниц:

– Почему бы и нет? С тех пор как этот дом стоит, стало быть с тысяча восемьсот семидесятого года, сегодня он впервые подвергся вторжению.

Конопатый пожал плечами, будто сожалея, что, сколь ни прискорбно, он против такого упорства бессилен и ничего не может сделать для Багратяна, а посему вынужден уступить место военной силе для более строгих мер воздействия.

Обыск на предмет оружия:

Муафин, так сказать, засучил рукава, хоть офицерский мундир бесправного армянина продолжал смущать его фельдфебельскую душу, и он со злобой и тревогой вопрошал себя: как быть? Выпученный правый глаз не отрываясь разглядывал медали на груди Багратяна, свидетельствовавшие о его выдающихся военных заслугах. Муафин не мог взять в толк, как следует обращаться с этим подлежащим депортации фруктом. И чтобы скрыть свои мрачные сомнения, он провел домашний обыск как погром. Впереди, топя сапогами, шагал он с заптиями, следом шел мюдир, в роли нейтрального лица, потом Габриэл, Авакян и Кристофор. Турки облазали все углы, простукивали стены, переворачивали мебель и разбивали все, что можно было разбить. Но было заметно, что этот как бы походя и невзначай проявляемый вандализм оскорбляет их гордость. Они привыкли работать по-настоящему и в открытую. В погребе они мимоходом и без должного пыла разбивали прикладами кувшины с вином, баки с маслом и все попадавшиеся под руку бутылки, горшки, миски, глиняные сосуды. Самые необходимые запасы съестного и предметов потребления уже были в надежном месте. Заптии были разочарованы: они ожидали найти в этом дворце погреб, богатый всякой всячиной. За неимением лучшего они взяли несколько пустых керосиновых бидонов – восточный человек питает странное пристрастие к этим жестяным сосудам.

Затем доблестные воины, распространяя крепкий запах пота, взяли штурмом лестницу на второй этаж. Большую часть его занимали спальня Жюльетты и гардеробная, аромат их еще издали приманил турок, так что они забыли о других помещениях. Большой гардероб был открыт настежь. Загорелые, грязные руки выбрасывали на пол прошлогодние парижские модели, нежные соцветия нарядов – сейчас они валялись скомканные, змеились по полу, какой-то жандарм старательно и свирепо топтал их сапогами, точно хотел втоптать, в землю эту обольстительную европейскую нечисть. Такая же судьба постигла и ночные сорочки, батистовые рубашки, кружева и чулки. При виде женского белья шеф полиции не совладал с собой. Запустив руки в эту белую и розоватую пену, он зарылся в нее головой, похожей на голову



Щелкунчика.

Мюдир в знак того, что гражданская власть не имеет ничего общего с военной, в задумчивости стоял у окна, любуясь садом.

Некий особенно усердный заптий бросился на застланную кровать и зубами разорвал шелковую наволочку: а может, в туго набитой подушке все-таки спрятана бомба? Ведь об армянских бомбах только и слышно. Другой заптий хватил дубинкой по туалетному столику. С хрустальным звоном разбились вдребезги и попадали на пол хрустальные флаконы, розетки, склянки и баночки, распространяя крепкий аромат. Дубинка прошла и по зеркалу, и оно мелкими осколками брызнуло во все стороны.

Равнодушно и отстраненно наблюдал Багратян это осквернение Жюльеттино мира. Бедная Жюльетта! Но что этот погром по сравнению с грядущими часами, днями, неделями? Однако сейчас его угнетала другая мысль. Он мысленно видел, как Искуи в своей комнатке беззвучно затаилась в постели. Казалось бы, что ему до Искуи? Но она здесь самая несчастная. Искалечена лютыми зверьми, и вот ей опять предстоит пережить весь этот ужас. Багратян ломал себе голову, как бы отвлечь внимание муафина и заптиев от двери Искуи. И удалось это, поистине, по воле неба.

Искуи, которая, как в склеп, заползла в свою постель, слышала грохот шагов и громовой глас приближающейся мерзостной смерти. Она лежала недвижимо, прижав правой рукой подол платья к ногам; у нее перехватило дыхание, над нею склонилось изъеденное язвами лицо-калейдоскоп. Но на этот раз насильник дышал на нее недолго и скоро исчез. А снаружи грохотали шаги, бушевал гром голосов, затем шум скатился вниз по лестнице и уже глухо донесся откуда-то с первого этажа. Потом все стихло.

Неужто ушли? Искуи вскочила с кровати. Скорее, бегом, в одних чулках, к двери! Приоткрыть дверь на щелку! Спасе милосердный, они и правда ушли! И вдруг отпрянула, почти упала, когда ее настигли эти удары кнута – голоса, мужские голоса. Она узнала голос – крик – Габриэла. Придерживая мешавшую ей парализованную руку, Искуи сбежала по лестнице.

Внизу происходило следующее:

В прихожей, полагая, что позорище окончено, Габриэл остановился.

– Видите, вам ни в чем не препятствовали, – сказал он мюдиру. – Чего ж вам больше?

Веснушчатый либерал из Салоник исполнил свой служебный долг: приняты меры, чтобы армянский эфенди с семьей и домочадцами не мог никуда скрыться.

Особая инструкция каймакама относительно «рода Багратянов» гласила, что их надлежит отправить этапом в условиях наистрожайшего режима в Антиохию, где наместник провинции намерен самолично, как он выразился, «приглядеться к этим людям». Мюдир полагал, что теперь официальную процедуру нужно прекратить, чтобы не довести прежде времени до отчаяния свою столь незаурядную жертву. Необходимо внушить этим людям некоторое доверие к неисповедимым целям правительства. Уготованные им испытания

следует усиливать постепенно. А сегодня нужно проявить мягкость. Мюдир еще колебался, не отрывая глаз от своих любовно ухоженных ногтей, раздумывал, как бы поэффектней удалиться. К несчастью, он не принял в расчет шефа полиции. Сей тугодум не в состоянии был постичь, как этот высокомерный гяур в падишаховом мундире и при падишаховых орденах и сабле смеет задирать нос перед ним. Но муафин еще не придумал, как бы похлеще поддеть его (к тому же муафина не оставляло постыдное чувство неловкости). Итак, не придумав ничего лучшего, он попробовал было поворачивать выпученным глазом. Затем шагнул к Багратьяну и, вытянувшись во весь рост, вызывающим тоном сказал:

– Мы не все осмотрели... Там, наверху. Прошли мимо каких-то дверей...

Сохрани Габриэл самообладание, все бы, может быть, обошлось. Но он встал на ступеньку лестницы, раскинул руки, заслоняя проход, и крикнул:

– Хватит! Довольно!

Муафин получил наконец повод атаковать. Явно почувствовав облегчение, он подошел к Багратьяну и поднес кулак к его лицу.

– Чего довольно, армянская свинья? Скажи-ка это еще раз! Чего довольно, свинья поганая?!

В сознании Габриэла вспышкой промелькнуло мгновение – одно из тех бесконечных и невероятно сложных мгновений, из которых рождаются человеческие судьбы. Это было совершенно четкое, ясно сознаваемое мгновение. Габриэл знал наверняка: его жизнь – и не только его – поставлена сейчас на карту. Уступить, думал он, посторониться, дать им дорогу, прошу, мол, а наверху сунуть этой скотине десять фунтов... Но в то время как его рассудок работал с такой бесстрастной ясностью, сам он закричал еще громче:

– Назад, жандарм! Я фронтовой офицер!

Так муафин достиг желанной цели.

– Офицер, говоришь? Пес смердящий, вот кто ты для меня!

И с маху сорвал серебрянито медаль с кителя Габриэла.

Позднее Багратьян утверждал, будто он и не прикасался к оружию. На самом же деле Габриэл мгновенно оказался на полу. Сабля со звоном ударилась об стену. Один заптий стал коленом ему на грудь, другие срывали с него обмундирование.

Из селамлика прибежали женщины и Гонзаго. Крики Стефана смешались с хриплым дыханием отца, отбивавшегося от заптиев. Еще мгновение – и Габриэл лежал на полу голый, в одних сапогах. Тело его было в кровоподтеках. Сейчас его жизни была грош цена. Тут бы ей и конец, если бы Гонзаго не привлек к себе внимание турок. Его движения были неторопливы, осанка производила неотразимое впечатление. К тому же он обладал редкостным умением, даже волнуясь, говорить с ледяным спокойствием. Гонзаго вынул свои документы и высоко поднял их над головой. Этим жестом он обратил на себя взгляды всех присутствовавших. Мюдир смотрел на него с изумлением. Муафин повернулся к нему, и даже заптий отпустили Габриэла. Гонзаго развернул свои бумаги с горделивым достоинством, под стать заправскому

агенту Иттихата, которому дано секретное задание наблюдать за действиями местных властей.

– Вот паспорт гражданина Соединенных Штатов Америки, визированный генеральным консулом в Стамбуле!

Он произнес эти расхожие слова так многозначительно и веско, как будто намекал на адресованное Турции секретное дипломатическое послание чрезвычайной важности.

– Вот тескере, вид на жительство внутри страны, с собственноручной подписью его превосходительства. Вы, эфенди, меня понимаете...

Багратьяну спасли жизнь не пустые угрозы Гонзаго, пытавшегося манипулировать якобы важными документами, его спас отчаянный трюк, неожиданное переключение внимания. Трюк этот ненадолго смутил мюдира. В инструкциях о депортации неоднократно указывалось, что мероприятия следует тщательно маскировать там, где о них могут провести союзники и представители нейтральных консульств. Первоначально мюдир действительно подумал, что имеет дело с доверенным лицом американского посольства. Но с первого взгляда на паспорт мюдир убедился, что заявленный американцем протест не представляет опасности. Впрочем, мюдир был очень доволен, что вмешательство иностранца предотвратило кровопролитие. Высокомерно усмехаясь, он парировал выпад Гонзаго:

– Какое мне дело до ваших паспортов? Убирайтесь-ка лучше отсюда подобру-поздорову! Иначе я велю вас арестовать.

В отличие от мюдира смятение шефа полиции улеглось не так скоро. Кровь производила на него далеко не столь сильное впечатление, как бумага. У муафина имелся кое-какой неприятный опыт с «письменностью» на его служебном поприще. В этом деле никогда нельзя предвидеть последствий! И он решил «этого Багратьяна» оставить пока в живых. Гораздо проще разделаться с ним на проселке, притом без свидетелей с американским паспортом.

А посему он спрятал в кобуру револьвер, который чуть было не пустил в действие, еще раз обозрел большим и маленьким глазом голого офицера, сплюнул как можно дальше и коротко скомандовал своим заптям:

– А теперь забирайте лошадей и ослов!

Не удалось мюдиру эффектно удалиться. Он хотел оставить о себе неизгладимое впечатление, но вместо этого вынужден был с задумчивым видом, как лицо непричастное, плестись в хвосте вооруженных сил.

Тяжело дыша, Габриэл встал. Мозг гвоздило сознание стыда. Ничего, кроме стыда, он не чувствовал. Жюльетте пришлось видеть этот ужас. И Стефану тоже. Габриэл искал глазами жену; она стояла, окаменевшая, отвернув лицо. Габриэл пошатнулся, но овладел собой. Он почувствовал за своей спиной присутствие еще одного свидетеля... Искуи!

У него стали гореть раны. Правда, это были просто ссадины, совершеннейшие пустяки...

Искуи неслышно, прямо в чулках, спустилась с лестницы. Умоляюще посмотрела на Авакяна. Он принес пальто и накинул его на потное тело

Габриэла.

Обстоятельства приняли благоприятный оборот. Мюдир, муафин и большая часть заптиев в тот же день отбыли из деревень в Суэдию и Эль Эскель вершить расправу над тамошними армянами. То, что о дне и часе отправки этапа депортируемых никогда заранее не извещали, было одним из изощренных приемов турецкой тактики депортации. А так как официально речь шла об осторожности при проведении государственного акта, а неофициально – акта возмездия, то тем более не следовало пренебрегать «фактором внезапности», ибо он придавал возмездию особую остроту.

И все же пастор Нохудян с помощью крупной взятки разведал, что отправление первого этапа назначено на тридцать первое июля. До этого дня сто новоприбывших заптиев будут слиты в один отряд со старыми заптиями. Тридцать первое июля приходилось на субботу. Оставалось всего два дня, включая сегодняшний четверг.

Совет уполномоченных назначил переселение на Дамладжк в ночь с пятницы на субботу. Для этого были уважительные причины. В пятницу у мусульман праздник, и заптии, расквартированные в христианских деревнях, отправятся, как повелось, в турецкие и арабские селения на равнине, где есть мечети, родня, женщины, увеселения. Вместе с заптиями на этот день исчезнет и мародерствующая чернь, потому что незваные гости не без основания опасались, как бы армяне, хоть и безоружные, не выдворили их самым скорым и радикальным способом, путив в ход косы, топоры и молоты.

Итак, благоприятно сложившиеся обстоятельства позволили точно рассчитать время. Совет уполномоченных исходил из следующего: вернувшиеся на Муса-даг заптии застанут в субботу утром из всех жителей долины только пастора Нохудяна в Битиасе с его пятьюстами прихожанами. Пастор же будет долго и пространно объяснять мюдиру (военная хитрость, придуманная Багратьяном), что различные общины, не вняв просьбам и уговорам пастора Нохудяна, снялись накануне ночью с места и добровольно отправились в изгнание. Вызвано это страхом перед заптиями, в особенности перед капитаном полиции. Точно указать, по какой дороге они ушли, пастор затрудняется, ибо люди разбились на маленькие группы и разбрелись по разным направлениям – кто к Арзусу и Александретте, кто на юг, – но все они намерены избегать населенных пунктов. Правда, самая значительная группа задумала пробиться к Алеппо – искать защиты в большом городе.

Пастора Нохудяна многие считали прежде малодушным трусом за кроткий нрав и решение с христианской покорностью принять свою участь. Сейчас, однако, он проявил высокое мужество. Отвлекающий маневр, который он согласился взять на себя, грозил ему неминуемой смертью. Как только турки откроют военную хитрость, пастор погиб. Но пастор Нохудян пожимал плечами:

– Где же смерть не угрожает жизни?

Борцам на Муса-даге нужно было выиграть время. Обманный маневр давал им несколько лишних дней для постройки оборонительных сооружений.

Совет уполномоченных заседал у Тер-Айказуна, в доме при церкви. Лицо вардапета было сильно обезображено: с правого глаза и щеки еще не сошла опухоль, до середины лба тянулся лиловый кровоподтек. Кроме того, у него были выбиты два коренных зуба, и Тер-Айказун, по-видимому, очень страдал от боли.

Зато рваные раны Габриэла были почти незаметны под пластырями доктора Алтуни. Перенесенные побои – первые в его отстраненной и оберегаемой от внешнего мира жизни, – это тяжелейшее испытание еще больше сблизило его с другими, да и он после этого стал им ближе.

Совещание уполномоченных обсуждало тревожное положение с запасами продовольствия, исправить которое, к несчастью, уже нельзя было. В мирное время жители деревень после сбора урожая пополняли запасы зерна – покупали у турецких или арабских крестьян, так как сами хлебопашеством почти не занимались. В нынешнем же году, парализованные ожиданием грядущего бедствия, они упустили возможность закупить продовольствие на зиму. Теперь за упущение приходилось расплачиваться.

Муки, картофеля и кукурузы в деревнях было совсем мало. Для того чтобы растянуть это количество на более или менее долгий срок, требовалось расходовать эти продукты крайне экономно. Но так как армянин привык есть очень много хлеба и очень мало мяса, то перед руководством лагеря возникла серьезная проблема. Вдобавок в первые дни на Дамладжке нельзя было печь хлеб, оттого что еще не успели вырыть в земле тондыры. Поэтому пастор Арам Товмсян отдал распоряжение, чтобы в пятницу вечером ни на час не гасили огонь в тондырах и спекли как можно больше лаваша и лепешек, которые переселенцы возьмут с собой на Дамладжк.

К концу совещания Тер-Айказун объявил, что наутро в пятницу состоится торжественное богослужение. По окончании литургии со звонницы снимут оба колокола, и процессия верующих понесет их на кладбище, чтобы там предать земле. Затем народ совершит прощальное моление на могилах предков. Тер-Айказун добавил, что хотел бы доставить на Дамладжк несколько корзин с освященной могильной землей. Тогда те, кто умрет в бою или в лагере сопротивления, не будут одиноко лежать в бездушной пустыне, а упокоятся с горсткой от века священной земли в изголовье.

В пятницу утром заптии, действительно, все до единого сбежали в мусульманские поселения. Мюдир и муафин отправились верхом к себе в Антиохию.

Церковь в Йогонолуке была задолго до назначенного часа запружена народом – так не бывало со дня ее освящения. Притвор и большой четырехугольник, над которым высился купольный свод, оба клироса и даже ступени амвона были заполнены до отказа. По древнему обычаю церковь была без окон, и острые янтарные мечи солнечного света проникали, как сквозь бойницы, через прорезы в стенах, похожие на Всевидящее око\*. Но скрестившиеся солнечные клинки не освещали храм, напротив, они затмили огни свечей и раскинули над человеческой толпой сеть причудливых,

трепетных теней. Сегодня на молебстве в Йогонолук пришли не только сотни верующих из маленьких селений, но и все священники и певчие, пожелавшие принять участие в этой последней литургии «на твердой земле».

---

\* Всевидящее око (церк.) – символ всевидящего триединого бога, изображаемого в виде глаза в лучах посреди треугольника.

---

Никогда еще хор не пел так полнозвучно-тихо духовный гимн, возвещавший у подножия алтаря облачальный обряд священника в ризнице:

Тайна глубокая, непостижимо ты безначальна!  
 Ты украшаешь горние царства, словно предвестие  
 недоступного света,  
 Ты украшаешь великою славой и блеском  
 Воинство сил светоносных.

Никогда еще Тер-Айказун с таким смирением и трепетом не исповедовался перед народом в грехах. Под его золотой короной горело позорное пятно от удара дубинкой. И никогда еще таинство поцелуя мира, союз общины во Христе, не соединяло души более святыми узами. Прежде, когда дьякон после молитвы, кончавшейся словами «Приветствуйте друг друга святым поцелуем», подносил к губам регента хора, учителя Асяна, кадилалицу, а тот целовал следующего за ним певчего и объятие ширилось, охватывая не только хор, но и прихожан, – тогда это беглое прикосновение чаще всего было только формой. Сегодня же все они, крепко обнявшись, по-настоящему целовали друг друга в щеки и губы. Многие плакали.

Когда же после причастия священники, участвовавшие в богослужении, стали по знаку Тер-Айказуна раздевать алтарь, вся община, охваченная внезапной безмерной скорбью, опустилась на колени. Горький плач, стоны и жалобы возносились ввысь, замирая под куполом, над рябью теней, над скрещенными архангельскими мечами солнца.

Каждый предмет престольной утвари поднимали вверх, показывали молящимся, прежде чем он исчезал в соломенной корзине: потир\*, дискос\*\*, дароносицу и большое напестольное евангелие. Кадилалицы, серебряные светильники и распятия ризничий прятал в особый сундук. Под конец на алтаре остался только белый кружевной покров.

---

\* Потир – чаша с поддоном, в которой во время литургии возносятся святые дары (греческ.).

\*\* Дискос – блюдо с поддоном, употребляемое во время литургии (греческ.).

---

Тер-Айказун в последний раз осенил себя крестом, на какое-то мгновение руки его, цветом своим напоминавшие желтые церковные свечи, замерли в нерешительности над белым покрывалом, потом вдруг рывком сорвали его с алтаря. Нагой открылась взорам каменная плита, которую когда-то выломали из серой известковой скалы на Муса-даге. В ту же самую минуту мастерские папаша Товмаша спустили из звонницы на полиспасте большой и малый колокола. Затем они с трудом подняли эту тяжкую медь – порознь каждую громаду – на погребальные носилки, с приставленными к ним носильщиками, по восемь на вынос каждого колокола.

Процессию открывали причетники, несшие высокий крест. За ними, раскачиваясь, следовали погребальные носилки с колоколами. Потом шли Тер-Айказун и священники. Бесконечно долго тянулась эта похоронная процессия до Йогонолуцкого кладбища. Казалось, она и впрямь провожает в могилу особенно почитаемых покойников. Стояла одуряющая жара. Лишь изредка Средиземное море, умиротворяя сирийское лето, посылало через хребет Муса-дага свое прохладное дыхание.

Кружившийся перед шествием песчаный смерч, точно призрачный танцор, открывающий танец, являл собой лишь жалкое подобие того великого столпа облачного, что указывал путь в пустыне сынам Израилевым.

Кладбище было расположено далеко, по дороге в Абибли, Резчиково село. Как большинство кладбищ на Востоке, оно раскинулось на пологом скате горы и не было огорожено. Эта особенность, да поваленные либо покосившиеся и ушедшие в землю надгробные плиты, на выветрившемся известняке которых были топорно вырезаны крест и буквы, придавали ему сходство с турецкими или еврейскими кладбищами в Малой Азии.

Когда процессия подошла к кладбищу, со склепов и могильных плит взметнулись серые, как летучие мыши, тени. Это были старухи в отрепье, которое не рассыпалось, верно, потому только, что слиплось от пыли и грязи. Старух всюду тянет в такие места. Они и на Западе известны, эти завсегда там обитатели смерти, эти неизменные свидетельницы и охранительницы тлена, для которых нищенство зачастую просто вторая профессия.

Здесь, в Йогонолуке, это была гнездившаяся среди могильных обломков, тесно спаянная профессией каста плакальщиц, женщин, обмывающих покойников, и повивальных бабок, которые, согласно некоему социальному закону, принятому в деревнях, осуждены были жить за гранью общества. К этим отверженным принадлежали и несколько нищих слепцов с лицами

библейских пророков, а также те фантастически изувеченные калеки, которых создает только Восток. Здесьнее население спасалось от собственного же человеческого шлага тем, что, за отсутствием других мер, изгоняло его в это священное и в то же время нечистое место. Вот почему никто не испугался, когда две помешанные с душераздирающими воплями вбежали на кладбищенский холм, прячась от пришельцев.

Итак, если погост с его окрестностями служил Йогонолуку богадельней и домом умалишенных, он имел еще и другое назначение – был местом ссылки здешних знахарей. Факел просвещения в руках Алтуни, Грикора, Шатахяна и их предшественников изгнал знахарство за пределы деревень, но не уничтожил его. Плакальщицы, возглавляемые Нуник, Вартук и Манушак, спасаясь от ненависти доктора Алтуни, отступили сюда, но не дальше. Здесь они ждали вызовов клиентуры; но практика их вовсе не сводилась только к обмыванию покойников и бдению у гроба: чаще всего они занимались лечением хронических больных и детей многодетных матерей, которые меньше верили науке доктора Алтуни, чем травяным настоям, заговорам и заздравным молитвам Нуник, Вартук, Манушак. Нельзя отрицать, что в этой старинной борьбе перевес не всегда бывал на стороне науки: суеверие имело перед нею неизмеримое преимущество, поскольку знахарство располагало огромным разнообразием снадобий и методов лечения. Отчасти способствовала этому неуспеху медицины и угловатость доктора Алтуни, который, исчерпав свои возможности как врача, не старался придумать какой-нибудь утешительный для пациента вздор. Не таков был характер у Нуник; она ни за что не признавалась, что ее познания исчерпаны, и никогда не стушевывалась перед смертью.

Умрет ли кто из ее деревенских пациентов, – стало быть, сам и виноват, потому что в минуту слабости вызвал Алтуни, и все старания Нуник пошли прахом.

Нуник была живой иллюстрацией своего магического искусства. Среди деревенских женщин ходила молва, будто при Старике, при Аветисе Багратяне-старшем, она была такая же семидесятилетняя, как и ныне. Поборники просвещения преследовали знахарок и заклинательниц, изгнав их из круга живых. Но это не мешало им, помимо своей официальной деятельности в качестве причитальщиц, покидать ночью обитель мертвых и отпрапляться на промысел во всех семи деревнях.

Сейчас, однако, они все собрались на кладбище, где, смешавшись со слепыми и увечными, надеялись получить свою долю подаваний.

Когда похоронная процессия с колоколами приблизилась к погосту, из ее рядов выбежала Сато и помчалась вперед. У нее давно уже завелись друзья среди кладбищенской братии. Жившие за гранью общества, они влекли к себе эту душу, близкую к безумию. С ними ей было так легко, в доме Багратянов так тяжело! Сколь ни льстило самолюбию подаренное «большой ханум» платье, по правде сказать, оно душило Сато, как и башмаки, чулки и опрятная комнатка: так строгий ошейник душил дрессируемую собаку. С нищими,



плакальщицами и юродивыми Сато могла изъясняться на некоем раскованном языке, употреблять слова, которых не существовало в природе. Ах, сбросить с себя, точно тесный башмак, язык взрослых, говорить босиком, какое это счастье! Да, Нуник, Вартук и Манушак умели так рассказывать о тайном, что Сато обдавало дрожью родимого ужаса, словно это тайное она принесла с собою в наш мир из своей пражизни. Она способна была часами смирно сидеть и слушать, в то время как нищие слепцы своими чуткими пальцами-щупальцами ощупывали ее худенькое детское тело. Не будь Искуи, Сато, быть может, не ушла бы со всеми на Дамладжк, зажила бы в приволье с обитателями погоста. Этим счастливым закрыли доступ в тесный горный лагерь! Такое решение принял совет уполномоченных большинством голосов против одного: Габриэл считал, что нельзя исключать из общности народа ни единую его частицу, хотя как военачальник ясно сознавал, что каждый лишний едок сейчас ослабляет боевую силу. Но те, на кого распространялось это решение, по-видимому, не чувствовали себя из-за этого несчастными и не очень боялись турок. Они протягивали руку, выставляли напоказ свое увечье перед соотечественниками и так же тягуче, как всегда, вымаливали милостыню.

Небо было таким обжигающе ясным, что одно только представление о слетевшем на него пушистом облачке показалось бы вымыслом досужего сказочника. Эта беспощадная лазурь, должно быть, не знала дождя со времен потопа.

Народ теснился у вырытой могилы, прощаясь с колоколами Йогонолука. В мирные дни едва ли кто обращал внимание на привычный перезвон. Но теперь, казалось, это навсегда умолкла их жизнь. Когда колокол-мать и колокол-дочь исчезли в могильной яме, толпа затаила дыхание. Глухое гудение меди под падающими на нее комьями земли возвестило народу, что на отчизну возврата нет и не быть воскресению погребенных.

После краткой молитвы, произнесенной Тер-Айказуном, толпа молча разбрелась по обширному кладбищу; некоторые семьи навестили могилы родных.

Габриэл и Стефан тоже зашли в склеп Багратянов. Это было маленькое и низкое здание с купольным сводом, напоминавшее склепы, в которых обычно турки хоронят своих святых и сановников. Дедушка Аветис велел выстроить склеп для себя и жены. Родоначальник славного семейства Багратянов лежал, по древнему армянскому обычаю, без гроба, в одном саване, под каменными плитами, поставленными под углом друг к другу, будто молитвенно сложенные руки. Кроме него и бабушки, здесь покоился еще недавно усопший брат Аветис, верный земле Йогонолука.

«А больше никто здесь и не поместится», – подумал Габриэл; он был настроен отнюдь не торжественно, напротив, как ни странно, скорей иронически. А Стефан скучал и переминался с ноги на ногу, как человек, которому ох как далеко до смерти – целая вечность да еще уйма времени.

Тер-Айказун стоял с горсткой людей на верхнем крае ската холма, там, где последними клиньями кончались владения усопших.

Несколько человек вырыли большую четырехугольную яму, наподобие общей могилы. Вырытой землей они наполнили пять высоких корзин. Тер-Айказун обошел все пять корзин и каждую осенил крестным знаменем. Перекрестив последнюю, он нагнулся над нею. Земля была не черная, а сухая, сыпучая. Тер-Айказун набрал из корзины полную пригоршню этой земли и поднес к лицу, точно крестьянин, проверяющий, богата ли она перегноем.

– Только бы ее достало, – сказал он себе.

Затем удивленно-рассеянным взглядом окинул кладбище, уже почти опустевшее. Жители деревень давно отправились домой. Время подошло к полудню. В более крупных селах, как Абибли и Битиас, состоялись такие же торжественные богослужения. Но для всеобщего переселения совет уполномоченных назначил время после захода солнца.

Габриэл с нежностью готовил переезд Жюльетты на Дамладжк. На дне пропасти, куда увлекла ее армянская катастрофа, думал он, Жюльетта, насколько позволят обстоятельства, должна как можно меньше чувствовать себя оторванной от своего мира. Правда, ее европейский мир в настоящее время втянут в бойню, по сравнению с которой все что-либо подобное кажется примитивным, случайным; ведь там все делается в условиях наивысшего комфорта, согласно последним достижениям научного прогресса, – не с бесхитростностью плотоядной бестии, но педантично, с математической точностью интеллектуальной бестии.

«Жили бы мы сейчас в Париже, – мог бы, например, сказать Багратян, – нам не пришлось бы заводить жилье на голой каменистой почве сирийской горы и был бы у нас ватерклозет и ванная, но при всем при том нам приходилось бы и днем и ночью спускаться в темный подвал, спасаясь от авиабомб. Стало быть, я и в Париже не уберег бы Стефана и Жюльетту от смертельной опасности».

Но Габриэл ничего этого не говорил, хотя бы потому, что вот уж несколько месяцев не читал европейских газет и ни о Париже, ни о войне ничего почти не знал. Накануне вечером он послал Авакяна и Кристофора со всеми слугами на Дамладжк с наказом обставить новое жилище Жюльетты, предусмотрев все мыслимые в тех условиях удобства.

На площадке Трех шатров предполагалось соорудить отдельную кухню, прачечную и прочее. Габриэл решил отдать в распоряжение Жюльетты все три шатра. Ей одной дано было право выбрать тот из них, какой она сочтет для себя подходящим. На Дамладжк с великим трудом втащили не только ковры, жаровни, диваны, столы и стулья, но и необыкновенное количество багажа светской дамы: чемоданы-шкафы, лакированные сумки, дорожные сундучки для посуды и столовых приборов, целый набор лекарств и косметических средств, грелки и термосы. Габриэлу хотелось, чтобы эти привычные предметы европейского обихода облегчали Жюльетте ее участь. Пусть она живет как принцесса, в поисках приключений путешествующая по неизведанным странам.

Но именно поэтому, думал Габриэл, он сам обязан перед народом вести

строго воздержанный, суровый образ жизни. Он твердо решил, что не будет ни спать, ни столоваться на площадке Трех шатров.

Вернувшись с кладбища, жители Йогонолука в последний раз вошли в свои дома, которые уже не были их домами. В каждом ждали хозяина огромные, непосильно тяжелые тюки. В мучительной нерешительности слонялись люди по комнатам в ожидании вечера. На глаза попадалось то одно, то другое, – отброшенная ногою циновка, оставленный на месте подсвечник, а здесь – Господи Иисусе! кровать, милая кровать, ради которой копили деньги, усердно трудились годами, чтобы быть обладателями этой крепости брака и семьи. И вот эта кровать должна остаться здесь, на этом самом месте, и станет добычей турецкой и арабской деревенской черни!

Медленно тянулось время. И в эти бесконечно тянувшиеся часы вещи вновь и вновь переключивались и перепакывались, чтобы та или иная никчемная вещь уместилась в одном из узлов. Даже в самых ветхих хибарках происходило это душераздирающее прощание с рухлядью, преображаемой человеческими иллюзиями и любовью.

Под вечер Габриэл, как и все, бродил по комнатам своего дома. Они были нелюдимы и пусты. Прошло уже несколько часов, как Жюльетта с домочадцами и Гонзаго отправилась в путь, на Дамладжк. День был непереносимо знойный, Жюльетту тянуло пораньше очутиться на горе, в прохладе. Да и не хотелось в суতোлке оказаться среди деревенских переселенцев.

Габриэл, который прежде с чуть сентиментальным чувством грусти покидал даже гостиничный номер, куда его заносило мимоездом (ведь всюду, где бы ты ни был, оставляешь часть себя, как милого сердцу покойника!), сейчас был совершенно равнодушен и холоден. Жилище предков, где открывались ему впечатления детских лет, его пристанище последних поворотных месяцев теперь ничего ему не говорило. Он удивлялся своей душевной тупости, и все же это было так. Единственное, о чем он немного жалел, это собрание древностей, радовавшее его сердце коллекционера в первые, счастливые недели Йогонолука. Снова и снова подходил он то к Аполлону, то к Артемиде, то к прекрасному Митре, осторожно поглаживал головы богов. Затем он круто повернулся спиной к двери в селамлик и отрекся навек от родных пенат. Он не стал больше ни на что смотреть, подавил в себе чувства, разбуженные отчим домом, и вышел за ворота.

Между тем на дворе, перед левым крылом виллы происходила удивительная сцена. Здесь собралось то человеческое отребье, которому был закрыт доступ в горный лагерь. Сбившись в кучку, о чем-то взволнованно толковали плакальщицы, нищие, похожие на пророков, и несколько безнадзорных, убежавших от родителей недоумков. Разумеется, примкнула к ним и зейтунская сиротка Сато.

Главенствовала в этой маленькой группе личность, неотразимого влияния которой не остался чужд и Габриэл. То была струха Нуник, предводительница всех знахарок и ворожей. Поражал в темном лице этого Агасфера в образе

женщины не только наполовину изъеденный волчанкой нос, но и выражение той страшной энергии, что поднимала Нуник на высшую ступень ее касты, возводила в сан неограниченной властительницы. Пусть даже молва, будто ей перевалило за сто, была пошлейшим надувательством, поддерживаемым ею самой, так сказать, для пользы дела, тем не менее ее неподвластный времени старческий облик служил как бы бесспорным свидетельством целебности ее лечения, равно как и благотворности жизни, исполненной лишений.

Нуник зажала между своими тощими ногами маленького черного ягненка, который, верно, забрел сюда случайно, и перерезала ему ножом глотку. По-видимому, резала она овечку со знанием дела – рука ее не дрогнула, и только губы, приоткрывшись, обнажили совершенно целый, молодой оскал под отвратительным, изъеденным волчанкой носом. От этого лицо ее стало похоже на блаженно ухмыляющуюся маску, и это так взбесило Габриэла, что он напустился на всю компанию:

– Что вы здесь делаете, подлые воры?

Один из «пророков» вышел вперед и с важностью пояснил:

– Это, эфенди, гадание на крови, и гадают про вас. Багратян готов был броситься с кулаками на этот сброд.

– У кого вы украли ягненка? Разве вы не знаете, что всякий, кто посягнет на народную собственность, будет расстрелян или повешен?

«Пророк» снисходительно и надменно пропустил мимо ушей оскорбительную угрозу.

– Лучше присмотрись, эфенди, куда потечет кровь, – к горе или к дому.

Габриэл увидел, как черная кровь ягненка, хлынувшая из надреза на шее, пульсируя стекала на совершенно ровную поверхность и мало-помалу собралась в густую лужу, которая ширилась, образуя круг, пока не вытекли последние капли. Затем кровавая лужа замерла, словно в нерешительности ожидая некоего таинственного знака. Но вот из окружности ее робко выступили три маленьких зубца, которые, однако, тотчас застыли на месте, будто их кто-то отозвал, пока вдруг одна нетерпеливая струйка не устремилась змейкой к дому.

Вся орава в диком возбуждении завопила:

– Goh enk!\* Кровь течет к дому!

---

\* Мы довольны (арм.).

---

Нуник низко склонилась над кровавой лужей, словно могла по рисунку и скорости течения крови с большой точностью сделать важный вывод. Когда же она подняла голову, Габриэл увидел, что ее обезображенное лицо, должно быть, некогда навек приняло это выражение ухмыляющейся маски, так возмущившее Габриэла. Но, странное дело, голос у ворожеи был низкий и мягкий, совсем не подходивший к ее внешности:

– Народ горы спасется, эфенди!

В ту же минуту Багратян вспомнил о двух монетах, подаренных ему Рифаатом Берекетом: Габриэл забыл их у себя дома.

«Я непременно должен взять их с собой, – подумал Габриэл, – жаль было бы, все-таки...»

Он вернулся на виллу, постоял с минуту, колеблясь, у двери – нельзя, если уже перешагнул порог, снова возвращаться домой перед отъездом, не к добру! – потом взбежал, перепрыгивая ступеньки, в свою спальню и вынул из шкатулки золотую и серебряную монеты. Он поднес серебряную к свету. На поверхности ее рельефно выступала характерно армянская голова Ашота Багратуни. Вкруг золотой монеты вилась греческая надпись, почти неразборчивая, так как слова следовали одно за другим, без промежутка:

«Непостижимому в нас и над нами».

Габриэл сунул обе монеты в карман. Затем вышел из сада через западную калитку и ушел не оглядываясь. Пройдя несколько шагов, он посмотрел на свои часы, которые наперекор всему своевольно показывали европейское время. Солнце уже стояло над Дамладжком. Габриэл Багратян отметил час и минуту начала новой жизни.

Вскоре после заката народ семи деревень снялся с места и целыми кланами и семьями, тяжело нагруженный, побрел разными дорогами, чаще всего близлежащими, на гору. Хоть жители этой долины не были бедны, только немногие из них имели верхового или вьючного осла. Часто две семьи пользовались одним, общим ослом. В базарные дни владельцы ослов забирали с собой в Суэдию или Антиохию и товар своих бедных земляков. Взаимная помощь в подобных делах была в обычае здесь с давних пор. Обитатели Муса-дага, жившие уединенно и обособленно у моря, на краю ислама, не нуждались в более дорогих средствах передвижения, потому что товар у них был легкий: коконы шелковичного червя, резные работы по дереву, мед. Они довольствовались немногими имевшимися в деревнях упряжками волов и вьючными мулами. В эту ночь ослы несли на себе лишь малую долю хозяйского имущества, ведь сто пятьдесят самых крепких вьючных животных с седлами и крючьями для переноски тяжестей были по-братски отданы бедной общине пастора Арутюна Нохудяна.

Габриэл присел отдохнуть на откосе конной тропы, что вела к Северному седлу. Перед ним проходили группами задыхающиеся, тяжело нагруженные переселенцы. Превозмогая налетавшую на него минутную дремоту, он продолжал принимать этот парад изгнанников.

Из-за светло-серой скалистой громады Амануса на северо-востоке возшла

крепко сбита, отливающая неестественным металлическим блеском луна. Она явственно приближалась, она не была плоским диском, вписанным в небосвод. За нею отчетливей открывалась черная даль мирового пространства. Да и Земля была сейчас для Габриэла не прежним привычным и неподвижным местом обитания, а маленьким корабликом в космосе, которым она и правда была. Этот светлый космос простирался не только за выпуклым телом луны, но проник в долину, наполнил прохладой все поры задремавшего Габриэла.

Луна уже перевалила полнеба, а группы тяжело дышащих сородичей все еще тянулись мимо Габриэла. Неизменно одна и та же картина:

во главе клана, угрюмо опираясь на палку, шествует со своей кладью отец семейства. Сердитый окрик – жалобный отзыв! Женщины шатаются под тяжестью ноши, сгибаются под нею почти до земли. Вдобавок им приходится следить за козами, чтобы те не разбежались. И все же то тут, то там из-под узлов и мешков нет-нет да и сверкнет веселый взгляд, зазвенит милый девичий смех.

Габриэл испуганно вскочил, очнувшись от дремы. Снизу, из деревень, донесся пронзительный детский плач. Вопило по меньшей мере сто ребят, словно они в эту самую секунду все сразу обнаружили пропажу родителей. Затем к этому реву присоединились визгливая брань и негодующие возгласы каких-то сварливых старух. Но гам подняли не покинутые родителями дети; а кошки, оставленные в Йогонолуке, Азире и Битиасе. У кошек ведь семь душ и у каждой души свой собственный голос. Поэтому, чтобы убить кошку, нужно семь раз ее убивать. (Сато давно усвоила эту премудрость от Нуник.) По правде же, азирские, битиасские и йогонолукские кошки хладнокровно отнеслись к отъезду хозяев, потому что всеми своими семью душами привязаны не к человеку, а к дому. Быть может, пронзительное мяуканье было вовсе ликующим хором по поводу того, что отныне нет больше препятствий их свободной любви.

Зато собаки горевали по-настоящему. Даже дикая собака сирийских деревень не бросает человека. Она не может вернуться к самой себе, переродиться вновь в лисицу, шакала, волка. Пусть даже с тех пор, как она одичала, сменилось несчетное число поколений, все равно она – отставная служанка цивилизации, и такой остается всегда. Тоскливо караулит она человека у его жилья, но не для того, чтобы выклянчить кость, а чтобы вновь попасть в рабство, быть принятой в услужение, на прежнюю, забытую ею работу. Дикая собака мусадагских деревень знала все. Они уже открыли существование лагеря на Дамладжке. И знали, что, в отличие от деревенской улицы, сюда им доступ строго воспрещен. В смятении и отчаянии носились они вокруг запретной горы, хрустели, продираясь сквозь подлесок, шуршали, как змеи, в кустах мирта и земляничника. Ни одной из них инстинкт не подсказал спасительный выход – переселиться в ближние мусульманские селения и добывать себе кость в Шаликане или Айн-Джеробе.

Они были прочно привязаны к этому неверному народу, покинувшему их общее жилье. Душа у них изнемогала от жестокой муки, и все же они не смели

взвять, издать тот односложный лай, от которого давно ушел вперед язык домашней собаки с его богатым словарем. Весь безысходный ужас страждущей души сосредоточился в их глазах. Всюду видел перед собою в темноте Габриэл эти горящие зеленым огнем иступленные глаза собак, не смеющих переступить заколдованный круг.

Луна скрылась за хребтом Муса-дага. Легкий ветер принес с собой дыхание космоса.

«Теперь уже все наверху», – подумал Габриэл, перед которым больше часа прошла последняя группа переселенцев.

И все же, то ли от усталости, то ли от потребности в уединении, он никак не мог заставить себя покинуть свой ночной наблюдательный пост. Разве он знал, доведется ли ему еще хоть раз в жизни побыть наедине с собой? И разве он не считал всегда величайшим даром небес такое одиночество? Он побудет еще полчаса в этом неземном покое, а потом сразу же поспешит к северной позиции – контролировать и торопить с рытьем окопов. Он прислонился к стволу дуба и закурил. И тогда из мрака выступила фигура еще одного, самого запоздалого переселенца. Габриэл расслышал цокот копыт и шум осыпающихся камней. Затем он увидел фонарь, человека и невероятно навьюченного осла. При каждом шаге у бедняги от непосильной ноши подламывались ноги. Однако и человек тащил на себе увесистый мешок, который он каждые две минуты, мучительно задыхаясь, сбрасывал на землю. Габриэл узнал аптекаря только тогда, когда мешок свалился к его ногам.

Лицо Григора было неузнаваемо, бесстрастная маска мандарина напоминала сейчас личину дикарского божка. По лоснящимся щекам ручьями бежал пот, длинная борода дергалась, когда Григор, задыхаясь, ловил ртом воздух. По-видимому, ему было очень худо, он корчился от боли. Габриэл решил вмешаться.

– Вы ведь могли дать мешок с лекарствами моим людям, вместо того чтобы волочить на себе всю аптеку.

Григор не сразу справился с одышкой. Тем не менее не преминул ответить презрительным тоном:

– Мешок никакого отношения не имеет к аптеке. Ее я уже много часов тому назад отправил наверх.

Габриэл давно заметил, что и осел, и его хозяин навьючены только книгами. Непонятно почему, это его и раздражало и вызывало желание подшутить над Григором.

– Простите мое невежество, господин аптекарь. Так что, тут весь ваш провиант?

Лицо Григора стало спокойнее. Взгляд снова равнодушно покоился на собеседнике.

– Да, Багратян, это мой провиант. К сожалению, не весь...

Он тяжело закашлялся. Когда приступ прошел, он сел рядом с Габриэлом и стал вытирать огромным носовым платком пот с лица. Сумерки сгустились. Осел стоял на тропе, понунив голову и раскорячив многострадальные ноги.

Прошло несколько минут. Габриэлу стало стыдно своей жестокой шутки. Но голос Григора снова звучал высокомерно-назидательно:

– Габриэл Багратян! Вам, как парижскому ученому, были открыты совсем иные пути к познанию, чем мне, йогонолуцкому аптекарю. И все же некоторые вещи остались вне круга ваших познаний, зато обогатили меня. Так, вы должны были бы знать следующее изречение благородного Григория Назианзина\*, а также ответ на его слова язычника Тертуллиана...\*\*

---

\* Григорий Назианзин, или Григорий Богослов (ок. 330 – ок. 390) – греческий поэт и прозаик, церковный деятель и мыслитель, один из «отцов церкви». Автор более 45 речей, 250 посланий и множества поэтических произведений, среди которых известны поэмы «О моей судьбе», «О страданиях моей души» и др. Начиная с V в., почти все его произведения переводились на армянский язык.

\*\* Тертуллиан Квинт Септимий Флоренс (ок. 160 – после 220) – христианский теолог и писатель, один из основателей христианского богословия. Родился в Карфагене, образование получил в Риме. Отрицательно относясь к античной науке, Тертуллиан утверждал, что «светский разум» находится в противоречии с мистическим, религиозным. Мысль эта выражена в приписываемой ему классической формуле: «Это истинно, ибо абсурдно».

---

Неудивительно, что Габриэл не знал изречения Григория Назианзина, так как известно оно было одному лишь аптекарю Григору Йогонолуцкому. Он и поведал свою притчу свойственным ему непререкаемым тоном, невзирая на то что подменил отца церкви Тертуллиана неким язычником Тертуллианом.

– Однажды преподобный Григорий Назианзин пригласил к себе отобедать знатного язычника Тертуллиана. Не пугайтесь, Багратян, это столь же короткая, сколь и глубоко поучительная притча. Они заговорили о том, что урожай нынче хорош, да и пшеничный хлеб, который они преломили, был превосходен. На стол упал солнечный луч. Григорий Назианзин поднял свой ломоть хлеба и сказал Тертуллиану: «Любезный гость, сколь горячо должны мы возблагодарить бога за сотворенное им чудесное таинство, ибо знай: сей вкусный хлеб не что иное, как этот желтый солнечный луч, который в поле преобразился в пшеницу». Тертуллиан же встал и, сняв с полки том сочинений поэта Вергилия, сказал Григорию: «Любезный хозяин, если мы должны благодарить бога за дарованный им хлеб, то насколько же больше обязаны мы возносить ему хвалу за эту книгу. Ибо знай, книга сия есть преобразенный луч иного солнца, которое сияет в вышине куда более недостижимой, нежели то



светило, чьи лучи можно увидеть на столе».

Помолчав, Габриэл спросил с грустным участием:

– А что случилось со всей вашей библиотекой? Ведь здесь только малая ее часть. Вы закопали книги в землю?

Григор встал, суровый и непреклонный, точно раненый герой:

– Я не закопал их. В земле книги умирают. Я оставил их там, где они стояли.

Габриэл поднял фонарь, забытый аптекарем. Светало, и Григор уже не мог скрыть слез, которые катились по его желтому бесстрастному лицу. Багратян взвалил на плечи мешок с книгами старика.

– Уж не думаете ли вы, аптекарь Григор, – сказал он, – что я рожден для маузерных ружей, патронных магазинов и рытья траншей?

И как ни противился Григор, Габриэл донес его увесистый мешок до Северного седла.

## **КНИГА ВТОРАЯ**

### **БИТВЫ СЛАБЫХ**

И истоптаны ягоды в точиле за городом, и потекла кровь из точила даже до узд конских...

## **ОТКРОВЕНИЕ СВЯТОГО**

### **ИОАННА. 14, 20**

#### **Глава первая**

### **ЖИЛИЩЕ НАШЕ – ГОРНАЯ ВЕРШИНА**

Муса-даг! Гора Моисеева!

На самой вершине ее народ в предрассветные сумерки разбил свой лагерь. Живительный горный воздух, свежий ветер, шум прибоя, казалось, заставляли забыть тяготы ночного восхождения. Нигде не было видно усталых, замученных лиц, а лишь взволнованное оживление. В Котловине города и на примыкавших к ней площадях – выкрики, толчея. Никто не сознавал

подлинного положения вещей – царил задорный боевой дух. Мысль об общей участи утонула в заботах о делах житейских. Даже Тер-Айказун, хлопотавший о вечном, даже он, украшая деревянный алтарь посреди лагеря, подгонял помогавших ему мужчин нетерпеливым бранным словом.

Габриэл Багратян поднялся на избранный им самим главный наблюдательный пункт – одну из вершин Дамладжка, с которой хорошо просматривались и море, и равнина Оронта, и горные кряжи, сбегавшие к Антиохии, и сама долина от Кедер-бега до Битиаса. Не просматривались лишь самые дальние поселения. Кроме этого главного пункта, имелось еще десять или даже двенадцать дозорных постов, откуда, как на ладони, виднелись отдельные участки долины. Отсюда же наблюдателю, надежно скрытому за скалами, открывался отличный общий вид. Быть может, поэтому Габриэл – он поднялся сюда один, словно бы возвысившись над лагерной суетой, видел истинное положение особенно отчетливо: там, внизу, на севере, востоке, юге, до самого Антакье, нет – до Алеппо, до Мосула и Дейр-эль-Зора – неотвратимая гибель! Миллионы мусульман скоро будут охвачены одним стремлением: выкурить наглое армянское гнездо на Муса-даге! А по другую сторону – равнодушное море, сонно плещущееся у подножия круто ниспадающей горы.

И как бы близок ни был Кипр, голос Сирийского побережье, простирающееся так далеко от театра военных действий, не представляет никакого интереса для французских или английских крейсеров, курсирующих по Средиземному морю. Минуя мертвую бухту Александретты, союзнические эскадры устремляются к Суэцу, к североафриканскому побережью, над которым нависла реальная угроза...

Всматриваясь в дикие морские просторы, Багратян сознавал, что на великом сходе он поступил как безответственный демагог, обманул и себя и людей, говоря о военных кораблях как о возможных спасителях. Будто с издевкой кричал ему сейчас об этом пустынный морской горизонт. Кругом одна необъятная смерть! Ни единой лазейки! А внутри кольца этот несчастный, маленький народ.

И это еще не все. Если смерть, идущая извне, и проявит немислимую даже для безумца благоволительную лень, если не последует штурма и не грянут выстрелы, все равно лагерь уничтожит другая смерть – та, что придет изнутри. Как бережливо ни распоряжайся скотом и провиантом, запасы их не возместишь ничем и не пополнишь. И то и другое очень скоро придет к концу.

Там, внизу, сама мысль о Дамладжке представлялась спасительной – в горчайшей беде уже одна воля к движению, даже малая надежда на какую-нибудь перемену действовали словно утоляющее боль лекарство. Но теперь лекарство это не действовало на Габриэла. Его будто вырвали из времени и пространства. Неотвратимое он, пожалуй, отодвинул на несколько мгновений, а от скольких возможностей спастись, предоставляемых случаем, он отказался! А что, если прав был Арутюн Нохудян, ступивший со своей паствой на другой путь?

Леденящий ужас охватил Габриэла. Какое преступление перед Жюльеттой и Стефаном! Все пути к бегству он вновь и вновь отметал и ни разу не подумал даже вывести Жюльетту из состояния наивного бездумья, хотя сам знал еще с того далекого мартовского воскресенья: ловушка захлопнулась! Сознание этой непостижимой вины было столь сильно, что у Габриэла кровь от головы отлила, ему стало дурно. Закружились горизонты, морские и горные: весь мир был кружащимся диском с Муса-дагом, этой мертвой, недвижимой точкой в центре. Но средоточием всего было тело Габриэла, которое, как высоко он ни вознесся, было не 'чем иным, как застывшим комком на самом дне неотвратимого вихря, кружившегося вокруг него. Габриэл содрогнулся: мы же только хотим остаться в живых! И в тот же миг с удивлением подумал: а зачем, собственно?

Словно гонимый, он спешил к Котловине Города. Члены Совета уполномоченных уже собрались: великое множество забот первого дня требовало неотложного внимания. Габриэл заявил, что все способные к труду мужчины и женщины обязаны без промедления отправиться на рытье окопов и помогать в строительстве других оборонительных сооружений. Укрепление позиций необходимо закончить не позднее завтрашнего вечера: возможно, уже послезавтра надо ждать первого штурма турок. Он, Багратян, еще и еще раз напоминает, что оборона и все с ней связанное требуют соблюдения строжайшей дисциплины и неукоснительного выполнения каждого его приказа. Сейчас это важнее всего. Ему, как коменданту всего оборонительного района, должен подчиниться не только первый эшелон, но и резерв, то есть все работоспособные, одним словом – весь лагерь.

Однако пастор Арам Товмасын, человек, к сожалению, весьма обидчивый, тут же возразил – не менее важно навести должный порядок внутри лагеря. Сейчас царит полнейшая анархия, одна семья завидует другой из-за выделенного места, и даже целые общины высказывают недовольство отведенными им участками.

– О каком недовольстве может идти речь – мы на военном положении! – вспыхнул Багратян. – Против этих ворчунов незамедлительно принять самые строгие меры.

Однако Товмас Кебусян и другие мухтары приняли сторону пастора. Даже Петрос Алтуни самым решительным образом потребовал, чтобы прежде всего позаботились о телесных нуждах народа и как можно скорее приступили к строительству лазарета, дабы предупредить ухудшение состояния больных и страждущих. Но тут заявили о себе учителя и мухтары, доложив подробнейшим образом о находившихся в их ведении делах и тоже требуя безотлагательного внимания. Багратяну был преподан горький урок: добиться, чтобы в совещательном органе приняли даже само собой разумеющиеся решения, – задача труднейшая! Ему пришлось выслушивать бесконечные высказывания, выступления, одно тщеславнее другого. Однако прошло всего несколько минут и предложенный Багратяном порядок полностью оправдал себя. Тер-Айказун воспользовался данным ему правом – решать спорные случаи единолично. И

сделал он это столь мудро и ненавязчиво, что никто уже не выдвигал никаких предложений и не понадобилось даже голосовать.

Габриэл Багратян, сказал он, прав: оборона – прежде всего, все остальное лишь во вторую очередь. Внутренний распорядок, изложенный в письменном виде, уже несколько дней как находится в распоряжении Совета. Следует ознакомить с ним дружины, и он тут же вступает в силу. Командующему подчиняются все без исключения. Багратян – боевой офицер, проявивший себя на войне, а потому Совет поручает ему все, что касается боевых действий и подготовки к ним. Рассмотрение дисциплинарных Дел в лагере также в его ведении. Приказы и распоряжения, как свои, так и приданного ему Военного комитета, он не обязан выносить на утверждение в Совет. Потому-то пастор Арам Товмасян и вошел в Военный комитет, а Багратян – в Комитет внутренних дел, чтобы избежать ненужных споров. Командующий, разумеется, обладает и дисциплинарной властью. Он имеет право отказывать в пище нерадивым и отлынивающим от службы, провинившихся может по своему усмотрению заковывать в кандалы и подвергать бастонаде первой и второй степени. Но смертный приговор выносит только он, Тер-Айказун, если его единогласно уже санкционировал Большой совет. Впрочем, всему населению лагеря необходимо с первых же часов разъяснить законы военного времени. Главная же задача Комитета внутренних дел состоит в заботе о неукоснительном соблюдении распорядка, члены Комитета должны стремиться представить все трудности и строгости как нечто совершенно естественное, они должны приложить все усилия к тому, чтобы и здесь, на вершине Дамладжка, люди чувствовали себя как дома, чтобы жизнь их протекала буднично.

Тер-Айказун особенно напирал на слова «буднично», «как у себя дома». От этих невзрачных слов упорство и длительность сопротивления зависят куда больше, чем от необыкновенных подвигов. Все должны трудиться не покладая рук. И дети должны быть приобщены к общим делам, ибо их счастливая пора, пора каникул, совпала с кануном смертельной борьбы народа. В отведенном для этого месте следует открыть школу и начать преподавание по всей форме, поддерживая необходимую дисциплину. Учителя в часы, свободные от службы на позициях, обязаны сменять друг друга. Лишь работа без усталости способна помочь преодолеть все невзгоды и трудности, заключил Тер-Айказун.

– Итак, выше голову! За работу! Не будем терять времени на пустые разговоры!

Мухтары призвали свои общины собраться на алтарной площади, уже отмеченной вежами в городе. Габриэл Багратян приказал Чаушу Нурхану построить все восемьдесят шесть дружин первого эшелона. А уж сам «король рекрутов» позаботился о том, чтобы эта армия образовала четкое каре вокруг еще не освященного алтаря.

Тер-Айказун поднялся на алтарь, возвышавшийся на пять ступеней над площадью. Из всех членов Совета одного лишь Багратяна священник пригласил встать рядом. Обращаясь к дружинам, построенным вокруг, он громким, далеко слышимым голосом прочитал устав, составленный Самвелом Авакяном. Затем

добавил уже от себя:

– Над каждым, кто воспротивится командующему или забудет свой долг, да совершится беспощадный суд! И пусть это зарубят у себя на носу чужаки, бежавшие сюда из турецких казарм! Кров в лагере и пища из общих запасов – вовсе не нечто само собой разумеющееся, сие есть братское благодеяние народа, единого в своей судьбе. И чужаки должны показать себя достойными его.

Подняв серебряное распятие, Тер-Айказун вместе с Багратяном спустился в середину каре. Он медленно произнес слова торжественной присяги, а члены дружин вторили ему с поднятой для присяги рукой.

– Клянусь богом-тцом, богом-сыном и святым духом, что буду защищать этот народный лагерь до последней капли крови, что буду слепо выполнять все приказы и распоряжения командующего, что признаю высшую власть избранного Совета уполномоченных и никогда не покину по злему умыслу или трусости эту гору! Да поможет мне господь бог!

После приведения к присяге первый эшелон строевым шагом перешел за алтарь. Тысяча сто человек резерва, разбитых на двадцать две группы, приняли более короткую присягу и поклялись в послушании и трудолюбии. На резерв возлагалась вся тяжесть по устройству лагеря и оборудованию позиций. Если же им пришлось бы воевать, у них не было иного оружия, кроме захваченных из деревень сельскохозяйственных орудий.

Последними перед алтарем предстали три сотни подростков – так называемая легкая кавалерия. Тер-Айказун обратился к ним с краткой назидательной речью, а Габриэл Багратян разъяснил, в чем состоят обязанности разведчиков, связных и лазутчиков. Всю легкую кавалерию он разбил на два больших отряда. Первому отряду приказано было занять дозорные посты и наблюдательные пункты и каждые два часа сообщать на командный пункт результаты своих наблюдений. Для столь ответственного задания отобрали сто старших ребят, вызывавших наибольшее доверие. Из них же был выделен караул для Скалы-террасы – зоркий юный глаз первым узрит дым проплывающего корабля. Тщетная надежда!

Второй сотне Багратян поручил несение связной службы. Юные бойцы этого отряда должны были постоянно находиться поблизости от командного пункта, обеспечивая передачу приказов командования на все участки обороны. Этот отряд подчинялся непосредственно старшему адъютанту – Самвелу Авакяну. Туда же был зачислен и Стефан.

Третья сотня находилась в распоряжении пастора Арама и предназначалась для несения внутренней лагерной службы, но в ее обязанности входило также подносить довольствие стрелкам на позиции.

Такое разделение, произведенное Багратяном, мгновенно доказало свои преимущества. Чувство важности своего солдатского предназначения у рядовых, щекочущая жажда повелевать, тут же пробудившаяся у младших командиров, детская радость и приподнятость, испытываемая всеми от построения и четкого шага, – все это отодвинуло на задний план беспощадную

действительность. А когда вскоре отдельные колонны разошлись в разные стороны – на рытье окопов, то тут, то там, сначала робко, но все более набирая силу, раздались голоса, слившиеся в стройный хор, – то звучала старинная трудовая песнь армянской долины:

Минуют горчайшие, черные дни,  
Они, словно зимы, приходят-уходят.  
Страдания нам не навечно даны,  
вот так покупатели в лавке приходят-уходят...

Через Чауша Нурхана Багратян приказал явиться командирам крупных частей. Тем временем Тер-Айказун покинул алтарную площадь и направился к Трех шатрам – они были раскинута неподалеку от большого родника, с трех сторон защищены увитой плющом скалой, окружены самшитом и миртовым кустарником – выбор места являл собой великолепное доказательство нежной заботы Габриэла о Жюльетте.

Тер-Айказун пожелал говорить с ханум Жюльеттой Багратян. Оказалось, что Кристофор, Мисак, Ованес и другие слуги были заняты устройством кухни, расположенной несколько в стороне, и священнику пришлось обратиться к Марису Гонзаго, торопливо вышагивавшему у Трех шатров, как это обычно делают на узких корабельных палубах соскучившиеся по движению морские путешественники. Грек подошел к палатке Жюльетты и ударил в небольшой гонг, висевший над входом. Ханум, однако, заставила себя ждать. Явившись, в конце концов, она прежде всего попросила Гонзаго вынести стул для Тер-Айказуна. Священник поспешил отказаться – к сожалению, он не располагает временем. Опустив глаза и спрятав руки в широкие рукава своего облачения, он изъяснялся на несколько топорном французском языке, звучащем, впрочем, весьма торжественно.

Доброта мадам Багратян широко известна, сказал он. А посему он просит мадам оказать честь народу и взять на себя следующее поручение: дабы дать знать проходящим поблизости кораблям о нашем бедствии – да проявит Господь милость свою и пошлет их нам! – на Скале-террасе, выступающей в море, надобно вывесить большой белый флаг с красным крестом. Необходимо также снабдить его надписью на английском и французском языках: «Христиане терпят бедствие!»

Тер-Айказун торжественно поклонился Жюльетте и спросил, не возьмется ли она вместе с другими женщинами изготовить такой флаг. Жюльетта обещала это сделать, но как-то вяло и без выражения каких-либо чувств. Француженка, должно быть, и не поняла, какая ей была оказана честь визитом Тер-Айказуна и столь изысканно преподнесенной ей просьбой. У нее вновь наступила глухота ко всему армянскому. Но как только Тер-Айказун, кивнув головой, несколько церемонно попрощался и ушел, ее вдруг охватило беспокойство и она собственноручно отобрала два больших куса полотна для знамени.

Габриэл еще раз внушил Чаушу Нурхану и другим командирам необходимость железной дисциплины. Отныне без особого на то приказа никому не дозволено покидать пост. Нельзя допускать также, чтобы бойцы

первого эшелона проводили ночь со своими семьями в Городе. За редчайшим исключением все должны ночевать на позициях. Багратян указал местоположение своего командного пункта, выбранного с таким расчетом, чтобы к нему был обеспечен подход со всех сторон. Каждый день за два часа до захода солнца там должны собираться для рапорта все коменданты участков и командиры групп. В эти же часы командующий намерен выслушивать жалобы и просьбы, принимать соответствующие решения и отдавать приказы на следующий день. Таким образом, вся военная организация была уже создана. Дабы привести ее в действие, необходимы были готовность и рвение.

Подойдя к карте, Габриэл Багратян еще раз указал на границы тринадцати секторов обороны. Только в трех из них следовало разместить постоянные гарнизоны, для остальных хватало усиленного караула в составе одной дружины или даже меньше. Для занятия окопов и каменных баррикад Северного седла Габриэл сразу же выделил гарнизон в составе сорока дружин, вооруженных двумястами лучших ружей. Командование этим важнейшим участком он взял на себя, назначив своим первым заместителем Чауша Нурхана, которому одновременно подчинил оборону позиций выше Дубового ущелья. Нурхану же было поручено инспектирование всех вооруженных сил лагеря. Вездесущий Чауш Нурхан, оказалось, уже подготовил настоящую мастерскую для изготовления патронов. Весь необходимый материал и инструмент загодя были доставлены сюда из какого-то тайника в Йогонолуке.

Оставалось решить вопрос о командующем Южным бастионом. Гарнизон этого наиболее отдаленного участка состоял из пятнадцати дружин, что для столь хорошо укрепленного места следует определить как более чем полный комплект. По известным уже причинам в этот гарнизон входили и дезертиры – подлинные и мнимые. Покамест комендантом там значился отслуживший срочную службу человек из деревни Кедер-бег. Но у Багратяна имелись на этот счет определенные намерения. Саркис Киликян ведь был отважным солдатом, с памятным опытом Кавказского похода. Образован. Умен. Турки причинили ему неимоверное зло, и если у него оставалось еще что-то от души, то и этот остаток должен гореть нечеловеческой жадной мщеницей. Замысел Габриэла заключался и том, чтобы, внимательно понаблюдав некоторое время за Киликяном и убедившись в правильности своей оценки, передать ему через некоторое время командование Южным бастионом. От подобного шахматного хода Багратян ожидал двойной выгоды: он приобретет еще одного ценного человека, а также подчинит себе через Киликяна остальных дезертиров – людей весьма ненадежных. Потому-то он после ухода дружин задержал Киликяна.

Все это время Киликян смотрел на Габриэла с каким-то непоколебимым безучастием, в котором было слишком много скуки, чтобы его можно было считать за дерзость. Совершенно высохший человек, прошедший каторгу и нефтяное рабство, выдержавший тысячу чудовищных испытаний, с головой юного мертвеца, обтянутой дубленой кожей, в грязном рубище, он вопреки всему производил впечатление энергичного человека и невольно внушал уважение. И когда Киликян смотрел на Багратяна своим презрительно

наблюдающим взглядом, он, возможно, чувствовал: что-то в этом вылощенном, избалованном господине преклоняется перед ним, Саркисом Киликяном. Быть может, он принимал за обыкновенный страх то, что было благоговением перед его непостижимой судьбой, перед той силой, что не дала ему сломиться.

Как бы то ни было, уже один вид этого изысканного барина, который за всю свою жизнь не испытал ни минуты ужаса, лишений и бесчестия, подстегнул злорадный дух в Киликяне. И тут Багратян обратился к нему резким тоном приказа:

– Саркис Киликян! Через два часа явиться ко мне на Северный участок. Я дам тебе работу.

В глазах Киликяна, все еще неотступно следившего за Габриэлом, вспыхнул какой-то агатовый блеск. Раздался дребезжащий смешок.

– Может, явлюсь, а может, и нет. Я сам еще не знаю, чего хочу.

Габриэл почувствовал, что сейчас от его ответа зависит очень многое. Он должен утвердиться в своем звании. Если в эту же минуту он не изберет правильного тона, его авторитета как не бывало. Присутствующие напряженно ждали. Кое в ком вспыхнуло злорадство. На Габриэле были почти новый охотничий костюм брата Аветиса, желтые кожаные краги и тропический шлем. Его-то он и поправил, когда раздумчивым пружинящим шагом направился к Киликяну. Из-за шлема он казался на полголовы выше обычного. Постукивая стэком по крагам, он шагнул прямо на Киликяна, и тот невольно отступил.

– Слушай меня, Саркис Киликян! Ушами и головой слушай!

На секунду Багратян умолк, почувствовав, что голос его звучит недостаточно спокойно. Сердце билось учащенно. Его возбуждение могло быть использовано противником. Габриэл выжидал, не спуская с дезертира глаз, покуда его существо не исполнилось ясной и холодной воли:

– Я даю тебе право делать то, что ты хочешь. Но прежде чем я повернусь к тебе спиной, тебе придется принять решение. Ты свободен. Никто тебя не держит. Ступай ко всем чертям!.. Такие, как ты, нужны нам меньше всего.

Габриэл замолчал, будто ожидая, что Саркис Киликян тотчас же повернется и в своей издевательской медлительной манере поплетется куда глаза глядят, ни разу даже ни на кого не оглянувшись. Но Киликян словно прирос к земле. В мертвенно-каменном блеске его глаз проскользнула искорка любопытства.

Когда Багратян снова заговорил, в голосе его прозвучала нотка сдержанного сожаления:

– У меня было намерение отличить тебя, Киликян. Ты человек служивший, я хотел назначить тебя на командную должность. То, что ты претерпел от турок, никто здесь не претерпел. И ты, и товарищи твои могли бы отомстить им сейчас... Но ведь ты еще не знаешь, чего хочешь. Ты – трусливый дезертир, тебе неведом долг перед своим народом. Ты – клятвопреступник, только что поклявшийся лживой клятвой, - беги и никогда больше сюда не возвращайся! Тунеядец, отнимающий хлеб у женщин и детей, нам не нужен. И если ты хоть раз еще покажешься здесь, – прикажу тебя расстрелять! Ступай к туркам!



Скоро их войска подойдут сюда. Они-то тебя давно ждут.

Для Киликяна существовал теперь только один выход: броситься на этого чистенького господина, на этого «капиталиста» и дать ему по морде. Но Саркис Киликян не шелохнулся. Глаза его, ища поддержки, бегали по рядам. Габриэл Багратян выждал пять секунд – и за эти пять секунд власть его взмыла как на могучей волне.

– Вижу – ты решился. Марш отсюда! Сгинь!

Удивительное это было зрелище: окрик, просвистевший как хлыст, мгновенно превратил Киликяна в недавнего подневольного каторжника. Он втянул голову в плечи и глядел на противника, безнадежно превосходившего его, словно ожидая удара. Однако главная слабость Киликяна крылась в том, что он остро ощущал свое положение. Он переживал унижительные минуты. Однако успех всякого насилия зависит от того, не сломлен ли предвидением последствий дух слепой ненависти. В своем теперешнем состоянии Киликян очень хорошо знал, чем он рисковал. Четыре месяца он уже скрывался на Муса-даге, выпрашивая по ночам кое-какую еду в деревнях. Исход мусадагского народа неожиданно принес ему облегчение. Если его выгонят теперь из лагеря, он потеряет последнюю возможность добывать себе пропитание. И в долине не покажешься. А окрестные горы скоро будут заняты турками. И столь часто щадившая его смерть получит свое сторицей: турки сдерут с него кожу, а потом долго еще будут убивать по частям.

Все это Киликян осознал за какую-то долю секунды, ни его гордость, ни гнев, ни упрямство не подавили этих соображений. Он попытался вновь издевательски рассмеяться, но получилось что-то жалкое, даже постыдное. А Габриэл Багратян не отступал:

– Ну что? Чего ты тут торчишь?

Саркис Киликян отвернулся, так и не подняв своей головы каторжника.

– Я хочу...

– Чего ты хочешь, говори!

Киликян взглянул на Багратяна уже совсем другими глазами: то были не бледно-агатовые, ко всему безразличные глаза, а по-детски неуверенные. Габриэл невольно вспомнил одиннадцатилетнего мальчонку, с кухонным ножом в руках бросившегося защищать мать. Долго пришлось дожидаться, пока Саркис Киликян выдал из себя решающее слово – слово побежденного:

– Остаться хочу.

Габриэл подумал было, не принудить ли его к коленопреклонению, не заставить ли перед строем просить прощения и поклясться в покорности. И не только жалость (образ одиннадцатилетнего мальчишка), но и какой-то инстинкт удержали его от такого шага. Недостойно командующего упиваться победой над слабейшим, да и к тому же так он наживет себе до предела униженного врага. В резком голосе Габриэла прозвучала доброта:

– Первый и последний раз прощаю тебя, Киликян. Готов испытать тебя. Но ты не способен нести ответственность. Берегись, я буду следить за тобой. Можешь идти!

Триумф Габриэла Багратяна был столь разителен, что Киликян, прежде чем незаметно убраться восвояси, по-военному откозырял, притронувшись к папахе. Усмирение строптивного дезертира, которого все боялись, впервые продемонстрировало власть командующего. Чауш Нурхан и командиры невольно встали по стойке «смирно». В глазах людей можно было прочитать: «Сразу видно – рожден командовать».

Свидетелем этой тягостной сцены, кроме Арама Товмасына и Апета Шатахяна, членов Военного комитета, оказался также и учитель Грант Восканян. Он, как и всегда, смотрел на все происходящее с позиции возвышенного неприятия окружающего мира. Габриэл сегодня особенно внимательно вглядывался в черного учителя. Не кроются ли за этой самоуверенной и всеотрицающей миной энергия и решимость? Как бы ни был мал ростом этот Восканян, он, должно быть, внушал страх не только ученикам...

Гарнизон Южного бастиона был наполовину укомплектован дезертирами. Как доказало только что поведение Киликяна, к ним необходимо приставить воспитателя и наставника. Багратян счел, что одержимый самим собой Коротышка и будет тем жалом, которое следует вогнать в это строптивное тело. К тому же таким образом представляется возможность погасить обиду, нанесенную Молчуну тем, что Тер-Айказун не включил его ни в один из подкомитетов. Багратян предложил мрачному педагогу должность комиссара Южного бастиона. Ему надлежало следить за соблюдением строжайшей дисциплины и безупречным несением службы, а главное – без промедления доносить о малейших провинностях и даже ничтожных признаках их. Грант Восканян нахмурил свой низкий лоб так, что брови соединились в одну черную полосу. Казалось, он великодушно размышляет над тем, соразмерна ли эта отчасти воспитательная, отчасти и карательная миссия с его высокими достоинствами. В конце концов, он поставил свои условия:

– Если вы, эфенди, поручаете мне опеку над Южным бастионом, мне необходимо быть отлично вооруженным – сброд должен знать: со мной шутики плохи!

И учитель Восканян получил от оружейного мастера Чауша Нурхана не только карабин с пятью магазинами, но и добился еще выдачи тяжелого кавалерийского пистолета, а также широченного тесака.

Вооруженный таким образом, он не мешкая отправился к Трем шатрам. Важно ступая, он приблизился к Жюльетте с намерением доложить ей о своем новом назначении. Гонзаго он не удостоил и взгляда, пребывая в уверенности, что этот неженка рядом с ним, воином, – ничто!

В этот первый день на Муса-даге работы по рытью окопов спорились как нельзя лучше. Вполне можно было надеяться, что еще до наступления ночи сооружение важнейших оборонительных укреплений будет закончено. Радость труда была столь заразительна, что за смехом и песнями были забыты мысли о прошлом и будущем.

Куда как менее благополучным оказалось состояние умов в Городе.

Тер-Айказун и Арам трудились не покладая рук, чтобы хоть как-нибудь справиться с нахлынувшими на них проблемами. К великому неудовольствию Кебусяна, остальных мухтаров и богачей, Габриэл Багратян на первом же совещании Совета поставил вопрос о собственности. Теперь-то и самые завзятые хозяева убедились, что без обобществления скота жизнь на Дамладжке невозможна. Было предписано ежедневно забивать столько-то овец и столько-то коз, и тут уж невозможно было считаться с отдельными владельцами. Да и всякий разумный человек понимал, что убой скота должен производиться общинными мясниками в определенном, отведенном для этого месте. Представители Совета должны контролировать распределение мяса между семьями и дружинами, чтобы не было несправедливости и не возникали беспорядки. Ну а так как одно вытекало из другого, то и мухтары в конце концов осознали преимущество обобществленной раздачи мяса. Но это еще не все. Долг их был не только в том, чтобы сознавать необходимость, но и примирять с нею народ. Новообращенным было нелегко выступать поборниками порядков, противниками которых они были от рождения.

При распределении жилищ противоречия улаживались легче. Тер-Айказун всегда ведь придерживался мнения, что чересчур уж строгая и тесная общность противоречит живой жизни и рано или поздно отомстит за себя. Как можно меньше трений, как можно скорей вживаться в новые будни – таково было требование, в успех которого он Верил. Потому-то площадь для жилья расширили до пределов возможного. Назавтра, как только рабочие руки и инструменты освободятся от строительства укреплений, папаша Товмасын, согласно плану Города, созданному Арамом, приступит к возведению шалашей. Всего на Дамладжке насчитывалась тысяча семей, соответственно этому предусматривалось сооружение той же тысячи жилищ, величина которых зависела от величины семьи. Деревя и веток было вдоволь. Частям резерва Габриэл Багратян велел приступить к рубке леса для строительства поселка.

Велики были все эти заботы, однако наибольшие трудности встретились при распределении хлеба и муки. Здесь Тер-Айказун был неумолим – этого требовала необходимость жесточайшей экономии. Пшеницу, булгур, кукурузу, картофель и все, что было испечено еще дома, до подъема на гору, следовало сдать – тут он не знал пощады. Из этих общих запасов предполагалось каждой семье одновременно с раздачей мяса выдавать небольшой рацион. Не только мука была изъята из свободного потребления, но и соль, кофе, табак, рис, пряности – все, что запасливые хозяйки наскребли у себя дома и захватили сюда наверх.

Сопrotивление этому мудрому решению длилось многие часы. В конце концов Арам Товмасын и несколько мухтаров, прибегая к ругани и увещаниям, добились того, что несколько добродетельных отцов семейств, после длительных колебаний забрав хлеб, муку, кофе и табак, отправились на отведенное для склада место, где сортировалось, заносилось в списки все собранное таким способом народное добро. За этими самоотверженными героями последовали другие, а потом все остальные, очевидно, гонимые

стыдом, – на открытых площадках, где предполагалось возводить жилье, не утаишь ведь прибереженное! Мешки с мукой и кукурузой стояли рядами. Папаше Товмасяну поручили возвести на этом месте большой амбар, чтобы уберечь продукты от непогоды. Здесь же поставили охрану – караул из пяти человек. Тер-Айказун выбрал их из беднейших крестьянских семей.

Когда эти трудные вопросы были мало-мальски разрешены, вардапет почувствовал необходимость обратиться к жителям лагеря, дабы поддержать души угнетенных и растерявшихся. При этом он не только пообещал скорое создание большого числа тондыров, но и употребил в своей проповеди слово «хариса», каковое и не замедлило оказать свое успокоительное действие.

Хариса – традиционное армянское блюдо. Как и все древнее, ушедшее из памяти поколений, так и это кушанье и его приготовление овеяны духом торжественным и религиозным. Одно упоминание праздника харисы заставило помрачневший народ воспрянуть духом. А кушанье это, как все, что исходит из народной кухни, состоит всего из нескольких простейших частей: кусков баранины, жира, рубленых хрящиков и обдирной пшеницы. Однако эти исходные продукты совсем не главное в харисе – вся прелесть в том, что это ведь праздничное кушанье, каждый год украшающее неделю сбора урожая от Гала – праздника молотьбы, до Вардавара\* – праздника сбора винограда.

---

\* Вардавар – древний армянский языческий праздник роз в честь языческой богини Анаит. Позже приспособлен армянской церковью к празднику Преображения.

---

Тер-Айказун заботился, стало быть, о том, чтобы в бегстве и в изгнании его народ на Дамладжке не был лишен хотя бы одной из немногих радостей, оставшихся ему. Впрочем, радость праздника харисы заключалась вовсе не в поглощении пищи, а гораздо больше – в длительной церемонии ее приготовления: всю ночь в тондыре поддерживался небольшой огонь, на котором и варилась смесь. И только к утру, когда вода испарялась и в котлах застывала густая масса, начиналось подлинное веселье. Задолго до обычного вставали парни и девушки и толкушкой, которую вместе с другой кухонной утварью можно увидеть в каждом доме, принимались бить, толочь, мять харису – сгустившуюся массу нужно было отколотить до нужной кондиции, как это делают в других странах с вяленой треской. Но. и это была лишь малая и, пожалуй, самая невыразительная часть стародавних увеселений праздника харисы...

Благодаря заботам Тер-Айказуна, народ Муса-дага, наперекор всему,

получил возможность начать подготовку к этому празднику. Человек дела и вместе с тем превосходный психолог, вардапет преследовал при этом несколько целей. Первая: он хорошо понимал, что человек погибнет, если лишится всякой радости. Вторая: хариса готовится не из одного мяса, туда входит и пшеница. Таким образом, хариса экономит хлеб и в то же время утоляет потребность в нем. Третья: хариса не скоро портится. Ее можно употреблять и в холодном, и в разогретом виде, к тому же она чрезвычайно сытна, следовательно, это – идеальная пища в военное время. Четвертая: армянский крестьянин или ремесленник чувствуют себя в этом мире неуютно, если в доме нет тондыра. Когда-то тондыр был алтарем огнепоклонников, вот почему по сию пору он овеян божественной благодатью, покоем домашнего очага.

То было сильнейшее желание Тер-Айказуна: среди диких гор, в тенетах смерти пробудить в людях сознание – здесь наш дом. Этому и должны были способствовать, несмотря на все лишения, – и тондыры, и хариса. Таков был замысел мудрого вардапета. Как только он произнес эти слова, мрачные лица озарились уверенностью и довольством.

Тер-Айказун, Габриэл и весь Совет уполномоченных не обманывали себя: они были глубоко убеждены в том, что Муса-дагу со всех сторон грозит гибель. Однако одной возможной беды они не учли. И как раз эта-та беда и грянула в первый же день еще до захода солнца.

Земляные работы продвигались хорошо – солнце укрылось за туманной дымкой, и лучи его, особенно беспощадные в эту пору лета, не жгли несчастные спины и людям не надо было скрываться от зноя.

Хоть солнце и спряталось, но на небе не было облаков, да никто и не посмел бы утверждать, что стало прохладней. Воздух был словно насыщен дурными помыслами, какой-то мутно-грязной субстанцией, выпавшей из мироздания. Вместо жгучей жары – невыносимая духота! Море – гладкое, притихшее. Время от времени с запада налетал обжигающий ветер, однако не взрыхлял его сверкающей глади. И все же, несмотря на эту тягостную неподвижность, начиная с полудня волны с затаенным гневом все чаще хлестали прибрежные камни.

Занятые своими заботами, люди не внимали недружелюбным сигналам погоды. Потому-то внезапный удар с неба и оказался таким сокрушительным. Четыре-пять штормовых порывов прозвучали как объявление войны. И сразу весь Дамладжк – каждая скала, каждое дерево, каждый куст рододендрона и мирты превратились в восторженный ужас; словно лихая атака, прокатился чудовищный удар грома, окутывая все клубами удушливой пыли. Циновки, одеяла, подушки, простыни, платки, кастрюли, горшки, кувшины, лампы – и тяжелые и легкие – все зазвенело, жалобно завывало, опрокинулось, завертелось волчком и унеслось прочь, И вскрикнули люди, и погнались за злобно ускользавшими вещами, налетая друг на друга и растаптывая добро соседа. А над грохотом сражения-крик и плач детей, словно понявших скрытый смысл этой небесной кары в первый же день Муса-дага! Не прошло и нескольких мгновений, как на мятущихся людей обрушился такой град, какого здесь еще не

видывали. После тщетных попыток устоять люди бросились на дымящуюся землю, подставив спины хлещущей сверху бастонаде. Они грызли камни, они прощались с жизнью!

Вдруг раздался крик: «Патроны!»

К счастью, Габриэл Багратян еще до этого приказал перенести все боевые припасы в Большой шатер, а Чауш Нурхан позаботился о том, чтобы порох остался сухим.

И вдруг народ вспомнил: продукты! С криком бросились люди к площадке, на которой были разложены мука и прочее продовольствие. Поздно! Мука превратилась в липкое тесто, испеченный хлеб – в набухшую губку. Мешки с мукой дымились, как негашеная известь. Большая часть соли растворилась и стекала на землю. Кое-кто подумал при этом о страшной древней угрозе: «Рассыпанная по собственной вине соль да будет собрана в день Страшного суда ресницами провинившегося». При виде катастрофы у людей опустились руки; исхлестанные градом, они так и сели на раскисшую землю, не обращая внимания на ливший как из ведра дождь. Не раздавалось ни голоса, каждый молча погрузился в горькое одиночество, затаив неизъяснимую злобу на Тер-Айказуна и Совет, – это на их совести был склад и богом проклятый приказ о сдаче продуктов! Ничто так не тешит сердце человека, как возможность свалить вину на кого-нибудь. Разгневанный народ Дамладжка лишь позднее осознал, что не распоряжение Тер-Айказуна погубило запасы: останься хлеб на руках у людей, все равно ничего нельзя было бы спасти. Так-то оно так, но в глазах людей небо с неумолимой строгостью высказалось за частную собственность.

Недавно обращенные мухтары во главе с косоглазым Товмасом Кебусяном тут же присоединили свои ворчливые голоса к упрекам, обвинениям и проклятиям. Тер-Айказун выдержал все эти нападки, стоя с поникшей головой под затихающим дождем в прилипшем к телу облачении, и струи стекали с его бороды.

Хлеб и мука погибли безвозвратно. Вардапет задавал себе один и тот же мучительный вопрос: зачем господь за какие-то десять минут опрокинул все надежды и расчеты невинно гонимых людей? И это еще до того, как погас первый день Муса-дага!

Лишь один-единственный человек не потерял самообладания и энергично воспротивился атаке свыше. Он сразу же встал на защиту своей пищи, хотя это и была пища духовная. У старого аптекаря Григора первые же порывы ветра похитили несколько томов. Но он не потерял хладнокровия, даже не взглянул, куда их унесло, а всем телом бросился на стену из книг-кирпичей, которую он соорудил до этого, вцепился в драгоценные фолианты руками и ногами. Аптекарю удалось вытащить две палатки и одно одеяло, он и накрыл ими большую часть своих сокровищ, сохранив их от верной гибели. Люди видели, как до самой темноты аптекарь собирал свои книги в кустах и среди камней, покуда не спас все.

Багровое солнце село за рваными тучами, осветив их напоследок вместе с

ни в чем не повинными горными вершинами. Лишь птицы еще долго гомонили, пока не исчез последний луч.

Люди притихли. Полуголые мужчины, женщины и дети бродили не находя себе места. Хозяйки растянули между деревьями веревки и развесили вещи для просушки. Не успела взойти луна, как жадная до влаги почва впитала последнюю каплю. Костры не разгорались – с дров и хворостинок свисали капли дождя. Семьи старались уединиться: родственники сидели, прижавшись друг к другу и повернувшись к соседям спиной. Злобно и сумрачно глядели все перед собой. Позднее все так и заснули на голой земле – матрасы, циновки, одеяла и подушки не просохнут, должно быть, и до следующего вечера. Люди лежали словно связанные – в несчастье тела старались сплотиться, одна печаль стремилась удостовериться в другой. Дружинники первого эшелона спали прямо на позициях, предварительно вычерпав воду из свежерытых окопов.

Габриэл Багратян приказал вынести для себя матрац и одеяло на передовую северную позицию. Как он ни измучился, решение его было непоколебимо: он не будет жить лучше, чем все остальные. Жюльетту он в этот день видел только мельком. Заснул он последним. После этого только постовые – по два на каждом участке обороны – не смыкали глаз.

За час до полуночи на острые вершины Амануса обрушился удивительно яркий звездный дождь. Небесные змеи и ящерицы бесновались, зигзагами устремляясь вниз и оплетая громаду горы золототканой паутиной. Люди, шатавшиеся от усталости на своих постах, видели и не видели это чудо...

К утру оставшаяся влага, первые проблески света и теплый туман породили в листве тучки крохотных красных мушек, которые, едва взлетев, тут же опускались на лица и руки спящих, жадно впиваясь в них. Укусы жгли, оставляя зудящие волдыри.

Пастор Арам Товмасян удобно устроился на наблюдательном пункте – юные разведчики соорудили его в ветвях старого дуба. Отсюда хорошо просматривались и церковная площадь и главная улица большого села Битиас. Пастор попросил у Багратяна на время полевой бинокль, и сейчас пыльная площадь Битиаса и вся дорога лежали перед ним как на ладони.

Вся протестантская община села, готовая к отходу, собралась перед храмом. Должно быть, немало единомышленников тайно примкнули к Нохудяну – колонна выглядела внушительно. Застав неожиданно для себя все другие армянские гнезда пустыми, мюдир и жандармский начальник растерялись и перенесли депортацию с субботы на воскресенье. Размахивая палками, а может быть, и ружьями – отсюда было невозможно определить – заптии суетились вокруг: этикие маленькие фигурки, перемещавшиеся зигзагами, чуть отступая от колонны. Возможно, они стегали свои жертвы плетями. Ни стоны, ни проклятия сюда не доносились – расстояние скрадывало размеры ужасного зрелища. Товмасян должен был приложить немалые усилия, чтобы убедить себя в том, что там, внизу, не просто театр кукол, к которому он не причастен, что там его судьба! Вновь и вновь ловил он себя на мысли: он бежал, покинув толпу изгнанников, что сейчас в клубах пыли отправляется в

смертный поход, бежал лишь затем, чтобы на несколько дней продлить свою земную жизнь. Здесь, наверху, среди густой листвы старого дуба так отрадно, все тело ощущает покойное довольство, А реальность там, в долине, в кружках бинокля виделась движущимися крохотными точками, которые хотя и заставляли напрягаться глаза, сердце тревожили не больше, чем сновидения. Пастор Товмасын содрогнулся от сознания своей черствости. Его место там, а не здесь! Перед внутренним взором возникло звание миссии в Мараше, и Э.С. Вудли, посланный ему богом наставник, вновь задавал ему вопрос-ловушку: «Поможешь ли ты детям, если пойдешь с ними на смерть?» И вот он уже во второй раз упускает возможность пополнить свой перечень страданий перед Спасителем.

Долго, мучительно долго тянулось время, прежде чем колонна его седого и куда как более праведного брата во Христе, Арутюна Нохудяна, тронулась в путь. Веснушчатый мюдир, как видно, разрешил несколько поблажек: в колонне виднелись нагруженные ослы, кое-где за ними тряслись и повозки, поднимая пыль огромными колесами.

И взору пастора Арама Товмасына представилось то, что он так часто наблюдал за последнюю неделю в Зейтуне: смертельно замученная тварь, раздавленная черная гусеница с ножками и дрожащими усиками извивается на дороге, не продвигаясь вперед. Израненная, брошенная на открытой равнине, она ищет, где спрятаться. Судорожными рывками она продвигает передние кольца и, корчась от боли, подтягивает задние. Образуются глубокие перехваты, ползущая тварь рвется на части, а невидимые мучители кое-как вновь соединяют их. То – не ползет, не двигается, а извивается, изворачивается в смертельной схватке человеческое существо, и навозные мухи уже набрасываются на открытые раны... Будто чудом, невыносимо медленно между колонной и последними домами деревни возникло какое-то расстояние.

Пастор подумал: а там ведь и дети, и беременные женщины! И тут же сердце больно сжала мысль об Овсанне. Кое-какие признаки говорили, что час разрешения близок. Но ничего не было, да и не могло быть приготовлено. Его первый ребенок увидит свет в таких же суровых условиях, как любой зверек на Муса-даге. Этого одного уже было предостаточно; но еще более его угнетал какой-то неясный страх, страх за существо в лоне матери, страдающее по его греховной вине...

Он опустил цейсовский бинокль. Внезапный приступ слабости вынудил пастора ухватиться обеими руками за ветки развилки, в которой он сидел. Когда он некоторое время спустя вновь приложил бинокль к глазам, картина изменилась. Колонна извивалась уже в Азире – деревне шелкопрядильщиков. От нее отделился небольшой отряд заптиев и двинулся на северо-восток в сторону Кебусие.

Арам Товмасын немедленно отправил донесение на командный пункт. Однако угроза быстро миновала. Заптии не повернули к Северному седлу, а скрылись в распадке. Сбитые с толку пастором Арутюном Нохудяном, жандармы, значит, направились по ложному следу.



Тишина стояла над долиной. На площадях и улочках опустевших деревень слонялось несколько сот мусульман: запахи добычи привлекли с северо-востока переселенцев и местных тунеядцев с равнины. Этот сброд еще не завладел домами армян. Возможно, какой-нибудь приказ властей не давал разыграться аппетиту. Словно мясные мухи, они в нетерпении бродили меж домов. Отряд жандармерии, не дойдя до Кебусие, свернул на восток – свидетельство их полнейшего неведения. И сразу родилась надежда: быть может, Муса-дагу подарено еще несколько дней? А может, турки вообще оставят его в покое?

Пастор Арам соскочил со своего наблюдательного пункта. Из темнеющих расщелин доносился стук топоров. То было начало строительства Котловины Города. Узнав, что заптии направились по ложному следу, Габриэл Багратян направил всех мужчин резерва на сооружение шалашей. Вот когда настал час и для пастора Товмасына проявить себя человеком дела! Да, он принял окончательное решение, и пусть оно не полностью отвечает его высшему долгу, но ведь и здесь, занимаясь делами житейскими, нелегко выдержать испытание. Прежде всего необходимо покончить с сомнениями, укорами совести и отбросить навсегда чувство Вины. Если он и не сподобился стать пророком всевышнего, то как Христов воин тоже ведь может многое сделать. Не будет он терять ни минуты.

Большими шагами Арам Товмасын быстро преодолел расстояние до лагеря. Там царила неопишуемая трудовая сутолока. Бесконечные вереницы тяжело нагруженных ослов, качая головами, проплывали мимо, навьюченные огромными вязанками дубовой и боковой листвы или хвойными ветками. На тачках подвозились камни для настилки полов. Помощники Товмасына-старшего длинными веревками намечали подъездные пути, места для шалашей. Кое-где уже виднелись зыбкие остовы будущих жилищ. Семьи соревновались друг с другом. Мужчинам и женщинам помогали старики и дети. Возведение общественных помещений подвигалось особенно быстро – лазарет строился под наблюдением Петроса Алтуни, большой амбар – тоже. С особым тщанием следил папаша Товмасын за постройкой правительственного барака. Это было просторное помещение с двумя боковыми камерками, двери которых из соображений безопасности снабдили большими замками.

Тем временем Жюльетта устраивала свою жизнь на площадке Трех шатров. Габриэл настойчиво просил ее не считаться ни с кем, в том числе и с ним. Все остальные связаны своей национальностью, одной судьбой, какова бы она ни была. Но ведь Жюльетта этим не связана, она невинная жертва и потому имеет право выдвигать любые требования. На одном из совещаний Совета Габриэл сказал:

– Моя жена и здесь, на Дамладжке, имеет право жить своей жизнью – обособленно и по своему усмотрению. Брак не кровное родство. Мы все здесь связаны друг с другом кровным родством и потому подчинены тем законам, какие мы сами себе поставили. Она же не подвластна этим законам. Она француженка, чужая, дочь более счастливого народа, осужденная страдать

вместе с нами. И потому она будет жить у нас по законам самого радушного гостеприимства.

Все члены Совета согласились с Багратьяном. Три шатра, отданные в распоряжение Жюльетты, огромный багаж, отдельная кухня, независимое ведение хозяйства, слуги, отдельно хранимые запасы, две голландские коровы (их приобрел еще Аветис-младший), – все это были привилегии, которые еще следовало объяснить народу Муса-дага. Хотя Багратьян и распорядился почти все молоко отдавать детям, равно как и все продукты, без которых можно было обойтись, но все эти дары были ведь подачками с барского стола. Врагам, да и просто людям, не расположенным к нему, достаточно было сопоставить речи Багратьяна о необходимости обобществленного хозяйства с роскошью и изобилием в Трех шатрах, чтобы доказать, какое вопиющее противоречие существует между словом и делом, между приказами и образом жизни. Никто, разумеется, не стал бы отрицать, что командующий ночует не в шатре, а на позициях и ест то же, что и все бойцы, и что собственность его, переданная всему обществу, один из самых больших вкладов. Однако никто не стал бы отрицать и того, что ради Жюльетты он не отдал в общий котел многих необходимых всем продуктов. В подобных противоречиях крылась возможность конфликтов. Однако, казалось, никто из членов Совета ни о чем подобном не помышлял. И все же мухтару Йогонолука Товмасу Кебусяну всего час назад пришлось выслушать гневную отповедь супруги по поводу Трех шатров. А она не дама разве, кричала мухтарша, войдя в раж, напрасно она, значит, окончила миссионерскую школу в Мараше? Неужели он ставит ее настолько ниже француженки, что заставляет ютиться в жалком шалаше, как простолюдинку? И неужели он сам, Товмас Кебусян, такой уж несчастный бедняга, что между ним и каким-нибудь Тиграном или Микаэлом нет никакой уже разницы? А разница между ним самим и зазнавшимся Багратьяном неизмерима, значит? Отравленная стрела, пущенная супругой, возымела действие: Кебусян всякими хитростями добился-таки, что его семью поселили не в шалаше, а в, прочном и просторном бревенчатом доме поблизости от алтаря. Впрочем, чтобы богатая постройка никому не портила кровь, мухтар повесил над входом табличку с надписью «Общинный дом». Памятуя об этой своей уловке, он теперь одобрительно кивал, слушая Багратьяна. А учитель Шатахян, завзятый франкофил, воспользовался случаем, чтобы выступить с благородным заявлением:

– Пребывание мадам, подлинной парижанки, среди народа Муса-дага, – вещал он, – высокая честь и вместе – поощрение. Сыны Армении будут состязаться друг с другом, чтобы гостье из прекрасной Франции жилось как можно лучше, а если понадобится, то они не пожалеют и жизни ради мадам.

Речь учителя Шатахяна заставила Гранта Восканяна стукнуть прикладом карабина по земле – без оружия он теперь ни шагу не ступал. Осталось не совсем ясным – демонстрирует ли он этим свое одобрение коллеге или же, как всегда, недоволен его велеречивостью. А Тер-Айказун, прямо взглянув Багратьяну в глаза, сказал:

– Багратян, все мы хотим, чтобы жена ваша осталась в живых, когда нас всех рано ли – поздно ли уничтожат. Да поведает она Франции о нас лишь одно хорошее.

Жюльетта устроилась в одной из больших экспедиционных палаток. Во второй она поселила Искуи с Овсанной, постоянно пребывавшей в страхе и уныло ожидавшей своего часа. В шейхском шатре, одна половина которого служила кладовой, были расставлены три кровати. На одной спал Стефан, вторую занял Самвел Авакян. Однако он, как правило, дежурил ночью при Багратяне, как требовали его адъютантские и штабные обязанности. Так как сам Багратян решительно и даже сурово отказался от любого комфорта, третью кровать в этом шатре Жюльетта предоставила Гонзаго – она чувствовала себя обязанной молодому человеку, а он в обычной для него сдержанной манере с первого часа и после того, как нагрянула беда, окружил ее своим вниманием и заботой. Это он спас Габриэлу жизнь. Кроме того, он был единственным европейцем рядом с Жюльеттой здесь, на Дамладжке. Выдавались минуты, когда вынужденное родство это обретало такую силу, что они вели себя подобно заговорщикам или узникам в одной темнице. И если порой Жюльетта уступала неодолимому и опасному желанию пренебречь былой элегантностью, то Гонзаго, как и прежде, всегда был одет, будто только что покинул магазин готового платья. Подчас она заставляла его врасплох, когда он тщательно чистил свой костюм, пришивал пуговицу или наводил глянец на туфли. Ногти его всегда были в порядке, руки ухожены, в отличие от Багратяна он брился каждое утро. И все же это постоянное внимание к собственной внешности не было проявлением тщеславия. Скорее уж это была активная неприязнь ко всему нечистоплотному, неточному. Пятно на шюртуке или же на ботинке способны были сделать Гонзаго несчастным человеком. Как будто само его существо не признавало ничего неопределенного, бессознательного, как будто все в нем было волевое, на все он смотрел с точки зрения своеобразной целесообразности – иначе он и жить бы не мог. В таком образе жизни, не склоняющемся перед обстоятельствами, Жюльетта видела нечто достойное, даже образцовое, вызывающее и некоторое восхищение. Тем более непонятным ей представлялось решение Гонзаго разделить смертную участь чужого народа. Одно-два невзначай оброненных замечания, намекавшие на то, что решение это принято ради нее, она сочла простой галантностью. Гонзаго никогда не выказывал ей ничего другого, кроме далекого от всякой любви почтения, какое молодой человек выказывает даме, в которой он из-за разницы в положении не имеет права видеть женщину. Хотя Гонзаго и проводил в непосредственной близости от Жюльетты по несколько часов в день, разговоры их никогда не выходили за пределы повседневного. О его прошлом она все еще ничего не знала. Странная, какая-то напряженная его внимательность казалась направленной только на то, что происходит в данную минуту. Его сдвинутые под тупым углом брови только усиливали это впечатление. Однако как раз полное незнание прошлого Гонзаго и того, к чему он стремится, и пробудило беспокойное любопытство Жюльетты. Однажды, после того как он почти весь

день не попадался ей на глаза, она стала его расспрашивать:

– Вы уже приступили к запискам о нашей жизни?

Удивленно и чуть насмешливо он ответил:

– Я не веду никаких записок. Единственный талант, каким я могу похвастать, – это моя память. Мне никогда не понадобится спасать исписанные клочки бумаги.

Самоуверенность этого человека вызывала раздражение.

– Вот только неизвестно, удастся ли вам спасти свою голову, а вместе с нею и свою такую замечательную память.

Раздался короткий смешок, но и он явился не чем иным, как выражением глубокой убежденности:

– Неужели вы, Жюльетта, думаете, что турецкая солдатня или что бы то ни было другое способно удержать меня на этой горе, если я действительно захочу ее покинуть?

И сам тон, да и смысл его ответа были ей неприятны. Ее отталкивало какое-то выжидательное упорство, столь часто проявляемое Гонзаго. И все же выпадали минуты, когда он представлялся ей ребенком, покинутым и беззащитным. И тогда-то в ней рождалось материнское чувство сострадания, доставлявшее удовольствие ей самой.

Неподалеку от Трех шатров, уже по ту сторону буковой рощицы Кристофор и Мисак установили стол и скамьи. Местечко это было столь прелестно, что, казалось, находишься в отдаленном уголке просторного сада, а не на дикой горной вершине. Здесь Жюльетта любила посидеть, после полудня вместе с Искуи и Овсанной, здесь она принимала гостей. Ее окружало то же общество, что и в долине на вилле Багратянов. Постоянно заявлялись аптекарь Григор и учителя, когда это позволяли их обязанности. Апет Шатахян, как он сам всех в этом уверял, приходил ублажать мадам своими благозвучными беседами на французском языке. Грант Восканян выступал уже не столько как мастер поэтического слова, сколько как встревоженный и сеющий тревогу воин. Визитер неизменно появлялся в сером сюртуке с фалдами, но под ним на портупее висел штык-кинжал и выглядывала рукоятка кавалерийского пистолета. Он никогда не выпускал из рук карабина и не снимал грязной барашковой шапки. И тем не менее он каждый раз являлся с подарком – то это был букет диких красных орхидей, то аккуратнейшим образом выполненный рисунок учителя рисования. Он кидал на стол листок перед Жюльеттой, будто это всего-навсего аванс к позднейшим, более воинственным дарам, таким, например, как голова турка или отрубленные руки врага. Назойливость черного карлика становилась поистине невыносимой. Он как-то пронзительно молчал, пожирая Жюльетту злобно-страстными взглядами. Однако молчаливыми атаками дело не ограничивалось. Собственное бряцание оружием порождало в душе Восканяна необычайную жажду скандала. Как-то, когда гости Жюльетты спокойно обсуждали события дня, с похвалой отзываясь о самых разных людях и их поступках, но ни разу не упомянули Восканяна, он совершенно неожиданно вскочил и крикнул, обратив свое пылающее гневом лицо к

Гонзаго, который как раз листал старинную подшивку «Иллюстрасьон» из владений Григора:

– Мосье позволил себе смеяться надо мной в присутствии мадам!

Гонзаго захлопнул журнал и, не скрывая удивления, приветливо взглянул на разбушевавшегося карлика:

– Я смеялся над карикатурой в журнале, а вовсе не над вами, учитель Восканян, хотя вы этого и заслуживаете.

Схватив карабин, Восканян крикнул:

– Мы еще посмотрим, кому здесь дано смеяться. Я наделен командирским званием, а сей господин не что иное, как тунядец, которого мы терпим среди нас. Я уже имею кое-какое мнение на этот счет.

И убежал, не попрощавшись.

Устало махнув в знак извинения рукой, Григор заявил:

– Этот субъект всегда хочет быть чем-то большим, чем он есть. Завтра он вернется.

Аптекарь, превосходно знавший своего ученика, оказался прав. Сам же он, этот Сократ Йогонолука, должно быть, уже преодолел трагическое потрясение своего созерцательного образа жизни. Начиная со второго дня на Муса-даге, он всячески старался жить как прежде, в долине. Таков уж закон мудрости. Козлиная борода, словно приклеенная к желтому гладкому лицу, подпрыгивала в такт его словам, когда он так и сыпал неопровержимыми цитатами, фантастическими формулами и нелепейшими названиями растений, минералов и элементов, черпая их из бездонного моря своих знаний. И все же прежнее ожесточенное рвение к поучениям угасло, уступив место какому-то пугающему просветлению.

Среди вечерних гостей Жюльетты были не только названные гости, но и жены именитых людей Йогонолука. Как только выпадал свободный час, приходила жена доктора Алтуни Майрик Антарам. Мухтарша Кебусян появлялась редко, но всегда снедаемая ненасытным любопытством. Ей необходимо было все увидеть собственными глазами, она умоляла Жюльетту открыть ей все тайны Трех шатров. Она не уставала расхваливать кухонную плиту, мастерски сложенную Ованесом из камня и поднятых на гору плит, приспособленную для приготовления всех видов пищи: и варки, и жарки, и печения. Без конца восторгалась легкими и мягкими кроватями в палатках, складной мебелью, резиновыми ваннами, столовыми приборами, роскошными чемоданами и саквояжами. Глубоко взволнованная, она совала нос в ящики с провиантом, похваливала коробки с консервами, сардины, пачки сахара, мыла. Избавиться от достойнейшей посетительницы и ее рыскавших по всем углам глазок Жюльетте удавалось, лишь вручив ей дары из запасов: плитку шоколада или банку консервов. Супруга мухтара изливалась в благодарности и клялась в верности столь же рьяно, как прежде расхваливала все и вся. А Майрик Антарам, напротив, сама всякий раз приносила какой-нибудь гостинец – горшочек с медом или красно-коричневый абрикосовый джем, – это любимое лакомство армянской деревни, подаваемое обычно к завтраку. Госпожа Алтуни

передавала эти подарки Жюльетте тайком.

– Когда они все разойдутся, тогда и покушай, душенька, полезно это. Ни в чем ты у нас не должна нуждаться... – говорила она, глядя на Жюльетту своими такими отважными и совсем не жалостливыми глазами. Оставалась бы ты там, откуда пришла, моя красавица! – добавляла она.

Искуи Товмасын проводила с Жюльеттой меньше времени, чем в йогонолукском доме. Девушка обратилась к Тер-Айказуну с просьбой взять ее в школу помощницей учителя. Просьбу эту священник благосклонно удовлетворил. Но Жюльетта осталась недовольна подобным оборотом дела.

– Ты у нас отдохнуть еще не успела и опять на мучение идешь? Зачем это? В нашем положении это не имеет ни малейшего смысла.

Странно все сложилось у Жюльетты с Искуи. Окружив девушку с первых же минут встречи ласковой заботой, ей, казалось, удалось преодолеть и упорную робость, а затем и услужливую готовность, за которыми Искуи таилась. Уже несколько недель как Искуи была внешне всегда ласкова с Жюльеттой, по утрам и вечерам обнимала и целовала старшую подругу. Но Жюльетта хорошо чувствовала – ласки и нежности эти были лишь раздражательными, неким приспособлением, как то бывает, когда человек произносит слова незнакомого языка не понимая их подлинного значения.

Внутренняя твердость Искуи, сокровенный ее кристалл, необоримо чужое так и не растопились. Не утаим, что Жюльетта страдала, сознавая неприступность этой души, ибо каждый удар, наносимый ее власти, сразу же поражал и ее чувство собственного достоинства. Так, переход Искуи на работу в школу обернулся чем-то вроде поражения Жюльетты. Искуи проводила теперь многие дневные часы на так называемой школьной площадке, довольно далеко расположенной от Трех шатров. Там была и большая доска, и счеты, и карта Оттоманской империи, и много азбук и хрестоматий. Разве не символично для этого народа, что в великой беде своей, подаваясь в бегство, он не забыл прихватить учебные пособия для детей! «Лелеет земля просвещенных детей...»

Несколько сот озорников – можно назвать это войском – сидело на поляне, в тени, впрочем, кто сидел, а кто л лежал. Воздух оглашался резкими птичьими голосами. Покамест преподаватель нес свою воинскую службу на позициях или в лагере, Искуи должна была одна-одинешенька воевать с этой бандой, не знавшей никакого удержу. Да, наводить тишину среди этих дикарей от четырех до двенадцати лет было, конечно, делом невозможным. Искуи не имела сил выстоять в этой схватке. А так как по прошествии некоторого времени она переставала слышать даже собственный голос, она просто-напросто впадала в апатию, безучастно сидела и ждала, когда же наконец придет кто-нибудь из умудренных опытом учителей, скажем Восканян. А он, надо сказать, тут же нагонял на этих бесенят дикий страх. Закоренелый милитарист, он, не выпуская карабина из рук, шагал сквозь толпу ребятишек с таким видом, будто сейчас же воспользуется законами военного положения и всех их перестреляет. Ивовый прут, который тоже всегда был при нем, со свистом разрезая воздух хлестал и

правого и виноватого. Одну группу несчастных он ставил на колени прямо на острые камни, другую заставлял держать в руках над головой что-нибудь тяжелое. С выражением величественного презрения на лице он удалялся со школьной площадки, оставив заместительницу наедине с плодами своей воинственной педагогики в какой-то угрюмой, мертвой тишине.

С первых же дней Жюльетта заметила, что подобного напряжения Искуи не выдержать. Девушка побледнела, да и само личико стало совсем маленьким, а глаза – огромными, какими были тогда, когда она пришла из зейтунского ада. Жюльетта стала уговаривать девушку отказаться от школы. Искуи непонимающе взглянула на нее, как бы говоря: разве можно в подобный час отказываться даже от столь смехотворно ничтожных обязанностей? Напротив, она будет искать себе занятия и для второй половины дня. С чувством неприязни к ней Жюльетта отвернулась. Но что-то ей подсказывало: силы девушки подтачивают не занятия в школе, а душевные страдания, которые она тщательно скрывает. Впрочем, Жюльетта тут же отбросила эту мысль. Какое ей дело до страданий других, ей, такой здесь одинокой и несчастной? Она теперь часами не поднималась с постели. Теснота палатки угнетала ее. Через щель в пологе проникали два режущих луча, ужасно мучивших ее. Но не хватало сил встать и затянуть полог.

«Нет, я заболеваю, – надеялась она. – Ах, если бы я уже была больна!»

Сердце бешено колотилось – вот-вот разорвется от неисполнимых желаний. Жюльетта тосковала по Габриэлу, но не по тому Габриэлу, каким он был теперь и здесь, а по прежнему Габриэлу, тому чуткому и деликатному мужчине, у которого всегда доставало нежного такта дать ей забыть все, что нельзя было преодолеть. Она тосковала по Габриэлу времени Авеню-Клебер, по Габриэлу в просторной светлой квартире, такому веселому Габриэлу, каким он выходил к завтраку. Она тосковала по элегантному господину в смокинге, с которым она ходила в театр, в ярко освещенные рестораны. Габриэлу, всегда восхищенному ею, всегда выдвигавшему ее вперед, как будто она нечто более высокое и драгоценное, чем он – армянин. Этот ее далекий мир глухо гремел автомобильными клаксонами, подземными поездами метро, мелодичным говором прохожих, звуками и запахами столь знакомых магазинов и универмагов...

Жюльетта зарылась лицом в подушку – свою единственную собственность, клочок родины, все, что ей осталось. Она искала самое себя в нежнейшем аромате, всеми силами души стремясь удержать родные образы и картины. Но нет, не удавалось! Какие-то вращающиеся солнечные блики проникали меж сжатых век. Разноцветные круги со сверлящими зрачками в центре, огромные глаза, страдающие и полные упрека, со всех сторон смотрели на нее. То были глаза Габриэла и Стефана, армянские глаза, это они неотступно преследовали ее. А. когда она вскинулась, глаза и в самом деле приблизились к ней и лицо – чужое и бородатое. С ужасом она уставилась на Габриэла. От него веяло далью, ночами, проведенными под открытым небом, сырыми запахами земли. Он говорил торопливо, словно меж двух неотложных дел:

– Ты довольна, *cherie*? Тебе что-нибудь надо? Я забежал на минутку проведать тебя.

– Мне ничего не надо. Благодарю.

Она не отнимала своей еще сонной руки. Несколько минут он молча сидел рядом, будто ему не о чем было говорить с Жюльеттой. Потом встал. Но она капризно поднялась на подушке.

– Ты что ж, считаешь меня пустышкой, материалисткой, что говоришь только о благополучии внешнем?

Он не сразу понял ее.

– Я не могу так жить! – сдерживая рыдания, воскликнула она, Он снова подошел к ней и серьезно сказал:

– Понимаю, что ты не можешь так жить, Жюльетта. Невозможно жить в обществе, оставаясь в стороне. Тебе необходимо чем-нибудь заняться. Ступай в лагерь, старайся помочь, будь человечной!

– Это общество не мое...

– И не мое. Не мое настолько, насколько ты думаешь, Жюльетта. Наше место не столько там, откуда мы пришли, сколько там, куда мы стремимся.

– Или не стремимся... – уже не сдерживая слез, сказала она.

Когда он ушел, Жюльетта встала. Может быть, он прав? Так и впрямь продолжаться не может... И Жюльетта обратилась к Майрик Антарам – пусть доктор использует ее для ухода за больными в лазарете. Мысль о тысячах и тысячах француженок, которые в эти дни ухаживали в госпиталях за ранеными, помогла ей принять это решение. Петрос Алтуни очень удивился ее приходу, но затем принял предложенную помощь.

В тот же день Жюльетта, как и подобает, в фартуке и косынке пришла в большой сарай. Благодарение богу, на Дамладжке было не так уж много тяжело больных, в лазарете лежали в основном пожилые люди. Два-три мечущихся в жару старика, прикрытые тряпьем, лежали на задубевших после ливня матрацах и циновках. Дыхание у всех было короткое, частое, как будто они после длительной погони рухнули, добежав сюда. Серые, чуть ли не черные лица. Нет, эти люди уже не здесь, они уже по ту сторону... Не ровня они мне! – чувствовала Жюльетта, испытывая легкое сострадание, но больше – отвращение. Она сожалела, что внутренне неспособна к милосердию, какое здесь было нужно. Ей казалось, что оно подобно самоотрицанию. И она приказала принести из своих палаток все белье, без которого можно было обойтись.

Четвертое августа проходило до полудня как все предыдущие дни. Когда рано утром Габриэл Багратян просматривал в бинокль долину, перед ним лежали совсем опустевшие деревни, и так и хотелось думать, что все закончится счастливо, воюющие державы вскоре заключат общий мир и вернется жизнь. Полный надежд, Багратян спустился с дерева, намереваясь обойти секторы обороны. Неожиданный смотр-ревизия производимых работ и дружин вполне его удовлетворил, так что около полудня он вернулся на свой -командный пункт. Прошло несколько минут, и со всех сторон примчались



юные дозорные: на дороге из Антиохии в Суэдию клубы пыли. Идут солдаты! Много солдат! Четыре отряда! За ними – заптии и большая толпа народа. Как раз сворачивают в долину и уже втянулись в первую деревню – Вакеф. Багратян бросился к ближайшему наблюдательному пункту и вскоре установил:

по дороге, проходящей через деревни, двигалась маршевая колонна силой. в пехотную роту полного состава военного времени. Капитан, ехавший на коне рядом с колонной, был, очевидно, ее командиром. Да чуть враскачку шагали четыре взвода, на некотором расстоянии друг от друга! Значит, это была регулярная войсковая часть. Возможно, даже обстрелянные солдаты из казарм Антакье, где стояла недавно сформированная армия Джемал-паши. Сильно отставая от нее, плелась примерно сотня заптиев, а по обеим сторонам войсковой колонны пылил сброд Антиохии.

Появление вооруженной силы чуть ли не в четыреста штыков (если считать и заптиев) в этой богом забытой глуши на открытой дороге заставило Багратяна даже склониться к мысли, что у колонны совсем иная цель. И только когда после небольшого привала и совещания офицеров рота, миновав Битиас, повернула на северо-запад к Муса-дагу, стало ясно: цель похода – бежавшее население окрестных армянских деревень. Возможно, где-нибудь в округе нашелся доносчик, который понял, что означает звон топоров на Муса-даге. Или же Арутюна Нохудяна пытали так долго, что он выдал местопребывание своих земляков. Как бы то ни было, а каймакам, должно быть, счел, что предстоит простейшая полицейская операция, даже более безопасная, чем охота на дезертиров. Следовало обнаружить, окружить и согнать в долину горных жителей, устроивших себе лагерь под открытым небом. Видя в этом свою задачу, рота, должно быть, представлялась себе чрезвычайно мощной силой, да она и была таковой, если учитывать, что в распоряжении сынов Армении было только триста исправных ружей, очень мало боеприпасов и почти полностью отсутствовали обученные солдаты.

Когда колонна достигла Йогонолука, Багратян уже поднял весь лагерь по тревоге, как он это все дни репетировал. Глашатаи скликали население Котловины Города, а группа ординарцев юношеской когорты рассыпалась по всей горе с приказами для остальных секторов обороны. Несколько юных разведчиков отважились спуститься почти в самую долину с целью выявить состав и направление движения врага. Как и было заранее условлено, Тер-Айказун, семеро мухтаров и более пожилые члены Совета уполномоченных остались с жителями лагеря. А эти, казалось, и дышать боялись, даже грудные дети не плакали. Все мужчины резерва лопатами, тямками, топорами набрасывали вокруг лагеря бруствер, чтобы быть готовыми защищать его до последнего.

Габриэл Багратян стоял в группе младших командиров вместе с Чаушем Нурханом. Все было предусмотрено. Но так как предстоял первый бой и ни одному из секторов не угрожала непосредственная опасность, Багратян, оставив на второстепенных участках одно прикрытие, бросил все

находившиеся в его распоряжении дружины на оборону Северного седла.

Вся система состояла из четырех линий окопов. Первая и главная прикрывала левое крыло Дамладжка. Чуть повыше – на несколько сот метров вдоль естественного бруствера шла вторая линия, на лобовой стороне горы – линия обороны фланга с выдвинутыми вперед гнездами для отдельных стрелков и в стороне, обращенной к морю, не поддаваясь обзору – естественные баррикады из известковых скал. Первую линию заняли приблизительно двести человек, вооруженных лучше остальных и по предположениям – лучшие бойцы. Командование этой линией Багратян взял на себя. Ни Саркиса Киликяна, да и никого из других дезертиров среди них, разумеется, не было. Часть отборных дружин под командованием Чауша Нурхана Багратян отправил на скальные баррикады. Вторая линия окопов на случай неблагоприятного развития событий была занята еще двумя сотнями бойцов. Каждому было роздано по три магазина, то есть по пятнадцать патронов. Багратян внушал им:

– Ни одного выстрела мимо! И если бой будет длиться трое суток, все равно патронов больше никто не получит. Берегите боезапас, иначе мы погибли. И самое главное – без моего приказа огня не открывать! Всем следить за мной. Враг не подозревает, что мы здесь окопались. Мы должны подпустить его на десять шагов. Целиться в голову. Спокойно спускать курок. В ближайшие часы мы здесь, на Дамладжке, отомстим за преступления, совершенные над нашим народом. В ближайшие же часы докажем врагу: как мы ни слабы – мы во сто крат сильнее его! А теперь пусть каждый из вас думает только о том, что враг сделал с нами, и больше ни о чем!

Сердце Габриэла Багратяна при этих словах стучало так громко, что ему пришлось взять себя в руки, чтобы никто ничего не заметил. И это было не только глубокое волнение, охватывающее всякого перед атакой, это было и сознание чудовищности, полнейшего безумия затеянного им с этой смехотворно малой горсткой людей против могущественнейшей армии в мире. Однако вопреки столь зажигательной речи, в его кипящей крови не было ни жажды мести, ни ненависти, которые он только что внушал бойцам. То было ожидание безличного врага, и не турок вовсе, не Энвера, не Талаата, не жандарма и не мюдира, а лишь врага самого по себе, которого уничтожают не ненавидя. И так же, как Багратян, чувствовали все остальные. Напряженное ожидание достигло предела. Казалось, сердце вот-вот остановится, когда дозорные юноши высыпали из-за кустарника и, дико размахивая руками, сообщили о подходе турок. И сразу же возбуждение сменилось ледяным спокойствием. Шаги солдат слышались все ближе, треск ломаемых веток все громче и громче, ибо враг не ведал об опасности.

Уставшие после длительного подъема турецкие солдаты, не соблюдая строя, мало-помалу заполняли ложбину Седла. Командовавший ими капитан был глубоко убежден, что ему предстоит чисто полицейская операция, а никак не боевая, в противном случае он непременно предпринял хотя бы меры простейшей предосторожности, предписанные уставом для действия во

вражеском расположении. Он не выслал вперед авангарда, не поставил ни фланговых, ни арьергардных дозоров. Болтая, смеясь, закуривая, турецкие пехотинцы толпились в ложбине, отдыхая после подъема в гору.

Чауш Нурхан подполз по окопу к Габриэлу Багратьяну и шипящим шепотом, сопровождаемым оживленной жестикуляцией, пытался убедить командующего – надо, мол, окружить турок, отрезать им пути отхода. С искаженным лицом Багратьян зажал Нурхану рот и оттолкнул его.

Командир пехотной роты как раз снял свою папаху с полумесяцем и вытирал пот со лба. Молодые командиры взводов толпились рядом. Разглядывая небольшую карту, они довольно беспорядочно, нарушая все положения пехотного устава, спорили и перекликались, пытаясь определить местонахождение армян. А запыхавшийся капитан не дал себе даже труда подняться повыше и провести рекогносцировку. В конце концов он приказал трубачу протрубить развод караула, должно быть намереваясь таким образом нагнать страх на армян, – суд, мол, идет! Все четыре взвода рассыпались в две линии, одна в затылок другой, затем построились, как на казарменном плацу: младшие офицеры выскочили вперед и отрапортовали старшим, а уж те, с саблями наголо, приблизились к капитану, чтобы отрапортовать ему.

Не без чувства некоторой симпатии смотрел Багратьян на капитана, запоминая невольно его лицо: широкое, смуглое, вроде бы доброжелательное. Очки в золотой оправе съехали с переносицы. Но вот и он выхватил саблю и высоким негромким голосом скомандовал:

– Примкнуть штыки!

Стук, лязг.

Покрутив саблей над головой, капитан указал ею в направлении на армянское крыло Седла:

– Первый, второй взвод врассыпную за мной!

Старший из командиров взводов, указав саблей в противоположном направлении, отозвался эхом:

– Третий, четвертый взвод врассыпную за мной!

Значит, турки даже не знали, где лагерь бежавших – на Дамладжке или на северных вершинах Муса-дага. Сыны Армении стояли по грудь в окопах. Бруствер, на котором лежали ружья, был хорошо замаскирован, как и прорубленные в кустарниках и мелколесье секторы обстрела. Ничего не подозревавшие турки, рассыпавшись широким фронтом, медленно поднимались все выше и выше. Первая линия окопов была так хорошо скрыта, что, только поднявшись выше, можно было ее обнаружить, а такой возможности у турок не было, разве что кто-нибудь из них взобрался бы на дерево на противоположном крыле Седла.

Габриэл Багратьян поднял руку. Все взоры устремились на него. Шаг за шагом, очень медленно турки пробирались через мелкий кустарник. Капитан, закурив вторую сигарету, остановился. Неожиданно он вздрогнул... Что это за свежесброшенная земля вон там, впереди? Прошло несколько секунд, прежде чем он осознал – окоп! Но эта констатация показалась ему столь невероятной,

что прошло еще несколько секунд, прежде чем он крикнул:

– Ложись! Ложись!

Поздно. Первый выстрел грянул, когда Багратян еще не успел опустить руку. Армяне стреляли спокойно, уверенно, один за другим, без спешки и суеты. Да, у них было время выбрать цель. А так как жертвы их находились всего в нескольких шагах и в полнейшем оцепенении, ни одна пуля не пролетела мимо. Толстяк капитан с добродушной физиономией крикнул еще несколько раз:

– Ложись! Ложись! – и вдруг, с каким-то великим удивлением посмотрев на небо, сел на землю. Очки соскользнули с носа, и он повалился на бок. Словно по команде, оцепенение спало с турецких солдат: издавая дикие крики, они бросились вниз, в седловину, оставляя убитых и раненых, в том числе и капитана, одного командира взвода и трех онбашей.

Габриэл не стрелял. Ощущение необычайной легкости, какого-то воспарения охватило его. Все реальное вокруг обрело нереальность, как оно и бывает с реальностью в ее предельном сгущении.

Долго турки не могли прийти в себя. Офицеры и унтеры саблями плашмя, прикладами пытались удержать своих людей от бегства. А тем временем два взвода, не попавшие под огонь, поднимались все выше и выше.

Но вместо того чтобы попытаться обнаружить оборону врага, они, растянувшись в линию, стали искать прикрытия в самых неподходящих местах – в редком сосняке, за каменными завалами, в кустарнике и оттуда открыли бешеную пальбу, не причинившую оборонявшимся ни малейшего вреда. Лишь изредка рикошетная пуля просвистит над головой пригнувшегося в окопе армянина. Багратян отдал приказ:

– Не стрелять! Хорошо укрыться! Ждать, когда подойдут поближе! В это же время он отправил на фланги гонцов с приказом: тот, кто посмеет хотя бы высунуть голову или выстрелить, – предатель! Ни один турок не должен заподозрить наличие фланговых укреплений!

Армянское крыло Седловины, как и прежде, лежало словно вымершее. Должно быть, бешеный огонь турок поразил всех армян до единого! Нет там ни живой души! После целого часа расточительного расхода боеприпасов турецкая рота четырьмя волнами поднялась на новый штурм. Армяне, уже обретя большую уверенность, чем при первом штурме, подпустили атакующих совсем близко и устроили им кровавую баню пуще первой. Турецкие офицеры уже не могли удержать своих обратившихся в отчаянное бегство солдат. Не прошло и нескольких минут, как Седловина была пуста, будто ее вымели. Из подлеска слышались стоны раненых. Оборонявшиеся бросились было из окопов вдогонку, но тут же раздался голос командующего:

– Без приказа ни шагу!

Немного спустя между деревьями показались турецкие офицеры с носилками. Они размахивали флагом с полумесяцем. Багратян выслал им навстречу Чауша Нурхана. Подав туркам знак приблизиться, Нурхан крикнул:

– Убитых и раненых забирайте. Оружие, боеприпасы, ранцы, патронташи,

продовольствие, мундиры и ботинки – оставить!

Под угрозой направленных на них ружей турки были вынуждены раздеть убитых и раненых, оставив их в нижнем белье, а все вещи сложить в кучу. И только после того как последний турок скрылся (это продолжалось довольно долго, они еще несколько раз возвращались), армяне, не исключая и Чауша Нурхана, стали высказывать предположение, что атака полностью отбита и турки больше в наступление не пойдут. В ответ Багратян отдал приказ Авакяну выслать вперед лучших бойцов из групп разведчиков. Нескольким ординарцам он приказал как можно быстрее собрать с поля боя винтовки, ранцы, магазины, мундиры и отнести все это за линию окопов. Из числа разведчиков он выбрал четверых самых ловких и поручил им следовать за врагом – они должны были докладывать о передвижении турок.

Однако еще до того, как был закончен сбор трофеев, вернулся Гайк, юноша немного старше Стефана, и сообщил, что часть турецких солдат взбирается на гору гораздо северней, там, где ничего и никого нет. Должно быть, это была попытка окружения со стороны моря. И понял это не только Багратян, но и Чауш Нурхан и другие. Передав командование самому надежному из командиров групп, Габриэл вместе с Нурханом покинули окоп. Очень скоро они были уже позади скальных баррикад, среди бойцов, жаждущих боя. Сыны Муса-дага знали каждый выступ, каждый грот и каждый куст столетника на этой голой известковой скале, обрывавшейся сразу за ними с двухсотметровой высоты прямо в море. Подобное знание местности давало мусадагцам неоценимое преимущество перед врагом, попавшим сюда впервые, как бы силен тот ни был. Багратян предоставил сынам гор самим выбирать позиции среди расселин и выступов, с одним только условием – поддерживать постоянную связь друг с другом и следить, чтобы никто не попал под огонь соседа. Задача все та же: заманить и уничтожить врага. Соблюдение полнейшей тишины и надежная маскировка – неперемное условие успеха.

Но враг был уже научен. Свои главные силы турки по противоположному склону перебросили к Седлу и, достигнув лесной опушки, поспешили открыть, беспорядочный и боязливый огонь по большому окопу, но и на сей раз не причинили обороняющимся никакого вреда. К этому времени дозорные донесли, что в скальном секторе появились четыре вражеских разведчика. Передвигались они с чрезвычайной осторожностью и довольно неуверенно – сразу же можно было определить, что это не горцы. Они неуклюже пробирались от укрытия к укрытию, каждый раз долго выбирая, куда ступить. Армяне не без злорадства признали в них жандармов – заптиев. Солдаты были чужие, а что представляли собой заптии – это знал каждый; Настал наконец долгожданный час сполна отплатить этим подлейшим псам милитаризма, этим bestиям-трусам, смелым в издевательствах над старухами и поджимавшими хвост при встрече с настоящим воином. Багратян заметил в глазах своих соратников огонь дикого безумия. Онбаши заптиев, вероятнее всего, предполагал, что уже находится в тылу армян. Одного заптия он оставил, велел подать сигнал главным силам: тот стоял и махал сигнальным флажком. Прошло

довольно много времени, прежде чем появились турецкие солдаты, – они двигались, боязливо ступая, будто шагали не по камням, а по кипятку. Это и был отряд, высланный для окружения. Он состоял наполовину из пехотинцев. Подгоняемые двумя офицерами, турки достигли наконец того места, где их поджидали четыре разведчика. И сразу же попали под перекрестный огонь армян – о прикрытии никто из турок в эту минуту и не помышлял. Поднялся великий переполох. Должно быть, турки забыли, что вооружены. А ведь они, особенно анатолийцы, славятся как солдаты. Но этот огонь обрушился на них из пустоты, и даже самые храбрые растерялись и не знали, как и от кого им обороняться. Дикая рев, стоны, крики... Но вот сыны Армении, покинув свои укрытия, прыгая с камня на камень устремились вперед. Возглавляемая Нурханом группа сразу же отрезала запятив от пехотинцев. Спасаясь от пуль, запятив суетились среди каменных глыб, беспомощно прижимаясь к скалам, цепляясь за колючий кустарник, повисая над смертельной кручей; падая, кувыркаясь и подскакивая как мячи, они летели вниз, в море.

Основная же группа турок пыталась кратчайшим путем выбраться из смертельного лабиринта скал – скатываясь с кручи, не разбирая дороги, они стремились к Седловине, преследуемые горцами-армянами. А те гнались за ними, издавая глухие гортанные звуки. Габриэл Багратян тоже утратил власть над собой. Им овладел трепет неведомого упоения, он слышал лишь безумные ритмы прамузыки крови, пробудившейся после тысячелетнего сна. Из горла его тоже рвались гортанные звуки какого-то дикого языка, которые, будь он в трезвом уме, привели бы его в ужас. Во сто крат невесомей стал весь мир для него, ничтожней трепета крылышка стрекозы. То была какая-то скачущая пляска в кроваво-красных отблесках, не причинявшая боли плясуну.

Однако не только Багратян, но и пастор Арам Товмасян, находившийся с бойцами скальной баррикады, был охвачен подобным же безумием. Словно средневековый крестоносец, он размахивал распятием и выл:

– Иисусе Христе! Иисусе Христе!

Впрочем, сей рыцарь Христов уже ничего общего не имел со строгим Спасителем-страдальцем, по слову которого пастор Арам всегда проверял свои поступки. Как это ни странно, но именно это истовое «Иисусе Христе! Иисусе Христе!» пастора вернуло Багратяна к действительности. С этой минуты он следил за ходом сражения уже не как командующий, а как сторонний зритель.

Шум сражения у скальной баррикады послужил для турецких солдат, затаившихся на противоположном склоне у опушки, сигналом для перехода к фронтальной атаке. Стрелки выскакивали из леса, палили в пустоту, падали, стреляли, вскакивали, бежали вперед и снова бросались на землю. В это самое время другая турецкая группа, разгромленная и преследуемая армянами, выскочила из-за скал. Весь огонь преследователей был направлен теперь во фланг атакующих. Багратян сам не стрелял. Поднявшись на выступ скалы, он хорошо видел, как турецкий лейтенант остановил группу бегущих солдат и пытался вновь погнать их в наступление. Солдаты залегли и сразу же открыли огонь. Но тут откуда ни возьмись Чауш Нурхан – подскочил к турецкому

лейтенанту, сбил его с ног прикладом. В ужасе, будто им явился сам сатана, турецкие солдаты побросали оружие. Впрочем, сверхсрочник и впрямь смахивал на черта. Тут-то и выяснилось, какого уникально одаренного ученика потеряла в нем турецкая пехота. Лицо Нурхана налилось кровью. Седые усы топорщились. Из горла его рвался хрип. Ему и в голову не приходило искать прикрытия. Порой он останавливался, прижимал мундштук трубы к губам и извлекал из нее прерывистые, визгливые звуки; и эта чудовищная музыка не преминула оказать свое действие как на врага, так и на своих.

Увидев, что турки пытаются развернуть фронт со стороны скальной баррикады, Багратян, размахивая винтовкой над головой, дал сигнал бойцам большого окопа подняться в атаку. Дружинники с ревом бросились вперед и обрушили град пуль на новый фронт турок, не думая ни об укрытии, ни о боеприпасах. Таким образом, вся турецкая рота оказалась взятой в клещи. Будь Багратян опытней, сохрани он хладнокровие, турки были бы полностью разбиты и взяты в плен. Ну а так – туркам, обратившимся в дикое, беспорядочное бегство, удалось уйти, хотя две дружины перекрыли им путь и затем еще долгое время вели прицельный огонь вслед. Турецкие солдаты, которым удалось спастись, бежали до подножия Дамладжка и остановились лишь на церковной площади Битиаса!

Девять солдат, семь заплывов и один офицер были взяты в плен. Мусадагцы хладнокровно, как будто это само собой разумелось, дали почувствовать им, что такое резня. Двух заплывов Багратяну не удалось спасти, но остальных пленных он, пастор Арам Товмасян и несколько пожилых бойцов прикрыли своим телом, в то время как Чауш Нурхан и преобладающее большинство с недоумением смотрели на столь незаслуженное милосердие к тем, у кого на совести тысячекратное убийство армян. Долго Багратян убеждал разочарованных бойцов в разумности и справедливости своего поступка.

– Мы ничего не выиграем, если их убьем. Ничего не выиграем и оставив их заложниками. Турки с легкостью пожертвуют ими, а нам еще и кормить их придется. А вот если мы их отправим в Антакье, да с посланием, то, может быть, кое-что и выиграем.

И Багратян обратился к пленному лейтенанту, который был мертвенно бледен и еле держался на ногах.

– Вы сами своими глазами видели, как легко мы с вами расправились. Если даже вы пришлете сюда не роту, а несколько полков, их постигнет та же участь. Нам все равно, сколько вас. Сил у нас достаточно. Подними голову! Видишь, солнце еще не зашло, и если бы мы захотели, никто из ваших не ушел бы отсюда живым. Передай это своему командиру в Антакье. Передай также, что не заслуживаете вы оказанной нами милости. От моего имени скажи ему: пусть турки посылают своих солдат, и роты, и полки на войну против врагов империи, а не против мирных граждан. Мы и здесь, наверху, желаем жить в мире. Оставьте нас в покое, а то вам же хуже придется.

Хвастливые нотки, прозвучавшие в словах Багратяна, уверенность, с которой он их произнес, страх, охвативший пленных, – все это в какой-то мере

утолило жажду крови у бойцов. Они заставили пленных сложить оружие, снять с себя не только ботинки и мундиры, но раздеться догола. В таком постыдном виде пленные должны были тащить на себе раненых и убитых в долину.

Трофеи оказались богатыми: девяносто три маузеровские винтовки, большое количество патронов, штыков. Десять из пятидесяти шести плохо вооруженных дружин удалось вооружить полностью. Это и был самый большой, так сказать, внутренний успех. И достигнут он был малыми жертвами – шесть раненых, и среди них ни одного тяжело.

Не будем удивляться, что такую поразительную победу жители горного лагеря и члены дружин значительно переоценили. Мусадагцы – крестьяне, бедняки, приютившиеся без крова, без пищи на Дамладжке, в руках – разве что дубина, в душе – сознание близости смерти, – одержали победу над стрелковой ротой полного состава, над сотнями молодых, прошедших длительную подготовку турецких пехотинцев, вооруженных современным оружием! И не только победили – чуть не уничтожили их! И четырех часов не длился этот свирепый и в то же время легкий бой. Благодаря тщательно продуманному плану и отлично подготовленным оборонительным сооружениям сражение кончилось молниеносно, без существенных потерь. И разве все эти факты – подобное и в мечтах ни у кого не возникало – не являли собой убедительного доказательства блистательного положения семи изгнанных общин и того, что бойцы Муса-дага, прогнавшие ко всем чертям целую роту, не потеряв при этом ни одного человека, выстоят и против четырех рот. Тут уж даже самые закоренелые пессимисты могли спросить себя: в самом деле, где туркам взять лишние батальоны и полки для Муса-дага, когда у обескровленной четвертой армии Джемал-паши каждый штык на счету? Ну а раз уж пессимисты могли задаться таким вопросом, то оптимистам сам бог повелел верить, что турки на новый штурм не пойдут и что в ближайшие дни жизни армян на Муса-даге ничто не угрожает.

Впрочем, только «политические умы» в эти достославные часы задумывались о будущем. Основная масса изгнанников впала в неопикуемый восторг. Едва только вестовые юношеской когорты, задыхаясь, как после марафонского бега, прибежали в Город с известием о победе, Тер-Айказун собрал мухтаров, священников и учителей, свободных от службы, и, возглавив толпу, повел народ на недавнее поле сражения.

Тем временем Габриэл Багратян вместе с Нурханом и командирами подразделений наметили порядок дежурств на ночь. Всем дружинам, участвовавшим в бою, дали на сутки увольнительную в Город, заменив их бойцами со второй линии окопов. Чауш Нурхан, как того и следовало ожидать, представив, что победоносное войско вернется в Город «как стадо штатских свиней», пришел в неопикуемую ярость. Забыв про усталость, он собрал измученных бойцов, построил их в шеренги, разбил на отряды и, сформировав внушительную колонну, под барабанный бой и истошные звуки рожков двинулся под вечер к Городу.

Но когда в середине пути колонна встретила с вышедшим навстречу



населением лагеря, тут уж и старый служака Нурхан ничего не мог поделать – строй распался. В тот же миг Габриэл ощутил какую-то странную расслабленность: нет, не один, а три Габриэла Багратьяна жили в нем: обычный, повседневный и такой знакомый Багратьян, совсем новый Багратьян-авантюрист, занятый чем-то ужасным, что совсем и не подходит ему, и третий Багратьян – истинный. Но этот, лишенный и тела и родины, как бы метался между теми двумя. И совсем он был оглушен, этот истинный, как сквозь сон доносились до него слова Тер-Айказуна:

– И не только мужество наших воинов... а ваш план обороны многие дни и недели... ваш труд... ему мы обязаны... строжайшая дисциплина залог наших... да будет милость...

Габриэл чувствовал себя в центре великих событий. Вокруг бушевало не то чтобы ликование или всеобщий плач, а какая-то смесь и того и другого, нечто солено-сладкое, исторгнутое из потрясенных глубин. Тысяча тел напирала на него, всем хотелось дотронуться до него. Нежные женские лица склонились над ним. Девичьи лики. На женщинах весело брнчали монисты. И руки, всюду руки, протянутые к нему, и губы, касание губ. Габриэла охватила нечеловеческая, неземная усталость. Сонм голосов благодарил его тысячекратным благословением: он вывел их из страны изгнания, он спас их от смерти в пустыне. И ныне одарил необъятной надеждой, уверенностью, что им суждено жить.

То было краткое, однако подлинно мифическое рукоположение. Так оно, должно быть, происходило, когда в далекие правремена племя избирало вождя. Не самого сильного и беспощадного, а самого родовитого, потомка достойных предков, утонченного, к кому нельзя было приблизиться, подойдя к нему, – уже почти чужого, который и в самой сердцевине рода пребывал вне его, непостижимого, в твердости своей – мягкого, а в мягкости – твердого. Но Габриэл не ощущал радости, скорее, смутную неловкость. Никаких особых заслуг он за собой не знал. Всякий, побывавший на войне, создал бы здесь, на Муса-даге, точно такую же систему обороны. И не проницательность ума вовсе, а сам горный рельеф обеспечил победу. Габриэл видел перед собой седые головы мухтаров. И эти строптивые крестьяне, прежде смотревшие на него как на иностранца, как на чужого, теперь хватили его руку и целовали, как целуют руку отца. Это вызывало у него отвращение. Правая рука отчаянно сопротивлялась. Больше всего ему хотелось спрятать руки в карманы. Медленно, шаг за шагом протискивался он через плотно обступившую его толпу. Им овладело одно-единственное желание, невыносимо жгучее, – побриться, вымыться и растереть тело долго-долго, с головы до ног. А потом – надеть пижаму, легкую, шелковую...

Но толпа не выпускала его, вновь и вновь люди целовали ему руку, говорили слова благодарности. Он оглядывался, ища поддержки, ища какое-нибудь знакомое, близкое лицо. Наконец он увидел Искуи. Она с самого начала шла за ним. Но держалась позади. Он потянулся к ней, как будто ее хрупкое тело могло поддержать его. Заметив, как он бледен, она судорожно

просунула свою руку под его локоть, словно чувствовала – он ищет опоры.

– Жюльетта ждет. Она все приготовила, – шепнула Искуи.

Он прислушивался не к ее словам, а к ее прикосновению. Искуи вела его как поводырь. И вдруг он страшно удивился – что же это такое? Столько пролито крови, столько смертей вокруг – а он спокоен?

В палатке, как только сельский цирюльник побрил его и ушел, он долго и истово мылся. Жюльетта согрела воду в котле, налила в резиновую ванну, приготовила махровое полотенце и достала его любимую пижаму, которую, она знала, он предпочитает другим. Пока он мылся, она ждала снаружи. За Долгие годы супружества они не потеряли стыда друг перед другом. Он долго тер себя жесткой щеткой, покуда кожа не покраснела. Но чем нетерпеливее старался он стереть со своей кожи сегодняшний день, тем трудней ему было обрести самого себя. Даже изумительная чистота тела, которую он вскоре ощутил, не возродила того «абстрактного человека», каким он явился в Йогонолук. Из зеркала Жюльетты, освещенного по бокам, на него смотрело его прежнее лицо. И все же в душе его что-то было перекручено, понять что – он не мог.

Ее голос тихо спрашивал:

– Ты готов, Габриэл? Мне можно войти?

И она вошла. Какой он ее не знал – послушной, отбросившей присущую ей жажду самоутверждения, покорной и все же при всей своей покорности – подстерегающей.

– Вынесем воду, – предложила она, но слуг звать не стала.

Они вместе вытащили резиновую ванну и опорожнили ее за палаткой, Габриэл ощутил в Жюльетте какую-то мягкую готовность. Она встретила его глубоко взволнованная, сама позаботилась обо всем, не пожелав принять помощь из чужих рук. Может быть, настал час, когда все чужое в ней растаяло, как в нем там, в Париже, когда все чужое в себе он подчинил ей?

«Долго ли нам еще жить? – спросил он себя, ибо после сегодняшней победы он уже не верил в спасение. Он завязал полог палатки. Мягко увлек Жюльетту на постель. Прильнув друг к другу, они лежали молча. Что-то новое было в Жюльетте, какая-то уважительная ласка. Не сдерживая слез, она дрожа повторяла:

– Я так боялась за тебя...

А он смотрел на нее откуда-то издали, словно не понимая ее тревоги.

И вопреки его воле, власть пережитого увлекла его мысли туда, на позиции... Главное сегодня ночью – посты. Только бы вовремя сменились караульные. Только бы никто не заснул! Кто знает, может, турки готовят ночной штурм?

Габриэл уже не принадлежал Жюльетте, не принадлежал и себе. Он пытался овладеть собой, перехватить свою убегающую суть. Пот выступил из пор. И когда он был уже совсем близок Жюльетте, он не мог доказать ей свою любовь. Впервые за все годы их супружества.

В котловине Города праздник длился до самого утра. И харисы было съедено, и вина выпито больше предусмотренного, но Тер-Айказун смотрел на

это сквозь пальцы. Героем дня был Чауш Нурхан. Ему присвоили имя «Эллеон» – Лев. С достопамятных времен греческое имя это было высоким отличием для отважных сынов народа.

## Глава вторая

### ДЕЛА МАЛЬЧИШЕСКИЕ

Разгром пехотной роты полного состава на Муса-даге вызвал в антиохийском хюкюмете немалое замешательство. Пятном позора легло это событие на турецкий флаг. Могущество всякой воинственной нации зиждется на магической вере в ее непобедимость, которую она сама же о себе распространяет. Поражение может отбросить такую нацию назад на целые десятилетия, в то время как другие, не столь воинственно настроенные народы военные неудачи переносят легче, да и скорей извлекают из них нужный урок. Однако самое тягостное унижение воинствующий правящий класс испытывает, когда кровавый урок преподносится ему «внутренним врагом» – неполноценным, то есть радеющим о ремесле, торговле и образовании «меньшинством». Приверженцы оружия теряют почву под ногами – подорвана честь воинского ремесла. Подумать только: мягкотелые интеллигенты задали хорошенькую взбучку героям-профессионалам. А это и произошло в сражении четвертого августа. Если смотреть на дело трезво, то эта пощечина куда как звонче щелчков, полученных в Ване и Урфе. Там сопротивление оказали густо населенные армянские города и бунт вспыхнул под знаком наступления русских. Внешнеполитически взрыв отчаяния в Ване, – учитывая наступление врага империи, – туркам был даже на руку, ибо представлял великолепнейшую возможность оправдать перед всем миром совершенное ими преступление *a posteriori*: вот вам неопровержимое доказательство, что армяне – государственные изменники и от них необходимо избавиться! Где причина, а где следствие – какое до этого дело государству! А нечистая совесть всего мира, – кстати, самая ленивая, – сиречь пресса власть имущих и препарированные ею мозги читателей, уж всегда повернут дело так, как им это нужно. Так, о событиях в Ване некоторые иностранные газеты с возмущением сообщали и с еще большим возмущением читатели узнавали: «Армяне подняли меч против османского народа, находящегося в состоянии тягостной войны, и перешли к русским. Населенные армянами вилайеты должны быть очищены от них посредством депортации». Нечто подобное можно было прочитать и в турецких публикациях, но нигде нельзя было прочитать обратного, то есть правды: «Армяне Вана и Урфы в своем отчаянии так долго сопротивлялись давно уже начатой турецкими властями депортации, что в конце концов их спас приход русских».

Аллах велик, само собой разумеется, однако что же писать о восстании на Муса-даге? Политической выгоды от этого никакой, а вред от распространения информации – велик. Найдись еще несколько таких Багратянов, и империя оказалась бы в весьма затруднительном положении. Ведь кое-где при обысках еще находили оружие, и значит, подобные осложнения могли возникнуть повсюду, тем более что смерть любого армянина была предрешена и об этом знали все.

Однажды вечером жители Антиохии, от которых еще удавалось скрывать мусадагские события, заметили, что кабинет каймакама ярко освещен. Свет в кабинете не гасили до глубокой ночи, и люди заподозрили недоброе. А там, оказывается, собралось около сорока человек, заседавших под председательством самого начальника провинции. Его вздутый живот при каждом вздохе чуть не отодвигал огромный стол. При умиротворяющем свете керосиновой лампы лицо каймакама с исчерна-коричневыми мешками под глазами выдавало больную печень и казалось желтей обычного. Собравшиеся мужи состязались в пространных речах, сам же каймакам озабоченно молчал. Дряблые, гладко выбритые щеки нависали над широким вырезом воротника, феска съехала на левый висок – явный признак того, что каймакам сердит и хочет спать. По правую руку каймакама сидел военный комендант Антиохии, седобородый полковник, бинбаши старого закала, с маленькими глазками и детскими пунцовыми щечками – сразу было видно: этот не даст себя потревожить, до последней капли крови будет защищать свой покой. Рядом с ним его заместитель, молодой еще юзбаши, майор лет сорока двух – полная противоположность начальника, как оно и бывает часто в таких военных упряжках. Стройный, лицо волевого, глубоко посаженные глаза, их взгляд время от времени дает присутствующим понять: «Какое несчастье, что мне приходится таскать с собой этого старого увальня бинбаши! Все вы знаете меня и не сомневаетесь также, что я способен на все и добиваюсь всего, за что берусь. Недаром я представляю здесь поколение Йттихата».

Один из взводных командиров разгромленной роты, единственный мюлязим, переживший сражение четвертого августа, тот самый, которого Багратян отправил в чем мать родила с посланием в Антакье, предстал перед совещанием с рапортом. Невозможно было упрекнуть его в том, что он, чтобы оправдать случившееся, расписывал силы армян в самых невероятных красках. Десять – нет, двенадцать тысяч армян попрятались в неприступных бастионах на высотах Муса-дага! За долгие годы они ухитрились накопить столько оружия, боеприпасов и продовольствия, что смогут сопротивляться сколько угодно времени. Он, мюлязим, своими глазами видел два тяжелых пулемета – они-то и решили исход битвы, не говоря уж о десятки раз превосходивших силах противника.

Каймакам, сидевший до сих пор молча, подперев голову рукой, углубился в карту Османской империи, лежавшую на столе, хотя масштаб событий вовсе не соответствовал тому, что на ней было обозначено. Впрочем, чиновники хюкюмета частенько развлекались тем, что отмечали прохождение

фронтов маленькими флажками. Однако, хотя они и прикладывали немалые старания и изошрялись, как могли, будущее выглядело отнюдь не блестяще. Флажки продвигались все глубже в тело Турции. Положение на фронтах, которыми командовал Энвер-паша, никак не оправдывало легендарную славу командующего. Перевалы и долины диких гор были усеяны не убранными трупами солдат османской армии, главным образом элитных ее корпусов. А русские уже стояли у ворот Персии, лицом к Мосулу, гоня перед собой Джевдета-пашу, известного генерала-погромщика и зятя Энвера. А англичане со своими индусами и гуркхами\* угрожали Месопотамии.

---

\* Гуркхи – условное название народностей, населяющих центральные и юго-западные районы Непала. В XIX-XX вв. из гуркхов вербовалось много солдат в английскую колониальную армию.

---

Великий Суэцкий поход Джемалья в прямом смысле этого слова завяз в песке. Песок пустыни поистине поглотил солдат со всем их снаряжением. Тем временем союзники на Галлипольском полуострове при поддержке тяжелой судовой артиллерии ломались в ворота Стамбула, Было израсходовано огромное количество средств убийства. В самой Турции не было или почти не было военной промышленности. Турция целиком зависела от Круппа в Эссене и Шкоды в Пильзене. А эти поставщики смерти не успевали обслужить даже своих более близких клиентов – столь огромен был спрос на подобный товар. Из громадного количества ежедневно производимых пушек, гаубиц, мортир, пулеметов, ручных и газовых гранат в Турцию поступала лишь ничтожная часть и тут же в срочном порядке распределялась по фронтам. Потому-то огромный тыл империи был почти полностью оголен – не хватало не только солдат, но и оружия и снаряжения.

Четвертая армия в Сирии тоже находилась в бедственном положении. Джемаль-паша готовил второй поход на Суэц и постепенно стягивал в Палестину все имеющиеся силы. Как бы там ни было, в сирийские города из Дамаска и Иерусалима поступали бесконечные запросы выслать войска, военное снаряжение и продовольствие. О пулеметах можно было только мечтать. И как только каймакам услышал это слово из уст несчастного мюлязима, он рассеянно остановил на нем свой тяжелый взгляд и в глубокой задумчивости пробормотал:

– Пулеметы?

Добродушный старичок бинбаши с розовыми младенческими щечками надел очки, хотя читать, собственно, было нечего, – возможно, этим своим

жестом он намеревался подчеркнуть, что среди присутствующих он самый дальновидный и мудрый.

– Причина всех несчастий кроется в вашей глупости и вашем легкомыслии, – он кивнул мюлязиму, – в уставе сказано: перед атакой необходимо разведать вражеское расположение. Ну а теперь, когда дело приняло столь плачевный оборот, я спрашиваю каймакама: что еще надо? Чтобы еще больше наших людей было убито? А может быть, дать этому отродью спокойно подохнуть на проклятой горе? Чем они нам мешают? Впрочем, депортация дело ваше. Это уж вы, штатские, и решайте. А если у них и правда десять тысяч вооруженных людей?..

Рыжий мюдир поднял руку, прося слова:

– Там нет ни пятисот, ни даже трехсот вооруженных людей. Кому, как не мне, это знать, ведь я управляю нахиджие и не раз бывал в деревнях...

Бинбаши снова снял очки, и было это так же бессмысленно, как когда он их надевал:

– Самое разумное, – сказал он, – на этом поставить точку. Проклятые армяне сами себя депортировали. Чего вам еще надо? На побережье живет всякий народ – и греки есть, и арабы, – прикажете мне на их глазах затевать смехотворную войну? Даже если я подниму на ноги все округа, гарнизоны, мне и тогда не набрать четырех рот. Нет уж, поверьте мне: четники, курды и прочие – все, кого я мог бы еще собрать, они не только армян, они и вас всех пережрут. Нет, уж поверьте мне: самое разумное – молчать.

Озлобленный юзбаши, куривший одну сигарету за другой, битый час не сказавший ни слова, теперь поднялся и, обратившись, как оно и положено, лицом к начальнику, произнес:

– Эфенди бинбаши, позволь высказать мое глубокое удивление. Каким же это образом мы сумеем утаить убийство командира роты, трех офицеров и чуть ли не сотни солдат? Полагаю непростительным упущением, что мы и без того уже задержали донесение на несколько часов. Сразу же после совещания я по твоему приказу составлю рапорт для штаба корпуса.

Бинбаши сразу сник. Щеки его еще больше покраснелись. Во-первых, потому, что юзбаши был прав, и во-вторых, потому, что это был сущий дьявол! Каймакам, казалось, только теперь пробудился:

– Я ликвидирую этот очаг в рамках собственного региона, – заявил он.

Такова была бюрократическая формула довольно непростого решения, в основе которого лежал страх перед вали Алеппо. От него ежедневно поступали требования о решительной и полной депортации, и весть о сопротивлении семи общин могла стоить каймакаму головы, ибо это свидетельствовало как о неудовлетворительно проведенном изъятии оружия, так и о небрежном общем надзоре. Если бы в руки вали поступило неприкрашенное донесение о случившемся, каймакаму не поздоровилось бы. А посему рапорт необходимо было составить в приемлемой форме. Главное, чтобы он не содержал ничего конкретного.

Тут заявил о себе старик бинбаши:

– Как ты намерен его ликвидировать, если твои заптии заняты депортацией, а солдаты – на фронте? – Прищурился бинбаши, посмотрел на юзбаши. – А тебе, юзбаши, я приказываю в рапорте затребовать у командования корпуса четыре батальона пехоты и батарею горных орудий. Без войск и артиллерии мы не в состоянии вести осаду укрепленной горы.

Юзбаши сделал вид, что не замечает гнева старика:

– Эфенди бинбаши, приказ твой понял. Его превосходительство генерал Джемаль-паша выслушивает все доклады лично. Можешь быть уверен, он поддержит тебя: высылка армян – затея его друзей. Он не потерпит, чтобы несколько паршивых христиан издевались над тобой.

Упоминание великого имени вызвало самые различные высказывания. Один из младших мюдиров дошел до того, что стал утверждать, будто бы Джемаль-паша, несмотря на свой вес в правительстве, в вопросе армян не вполне надежен, в Адане он даже пошел на союз с ними.

Тем временем каймакам, казалось бы вновь впавший в полудрему, уже принял решение: вступить в контакт с самым сильным человеком, с юзбаши то есть, а старого бинбаши сбросить со счетов. И так, козел отпущения был найден. Тем не менее осторожность и предусмотрительность – прежде всего.

Глубоко вздохнув, каймакам постучал набалдашником из слоновой кости по столу:

– Считаю заседание закрытым. Прошу юзбаши остаться – необходимо составить донесение в гражданские и в военные инстанции. Эфенди бинбаши, свое сообщение я представляю тебе на утверждение.

На следующее утро командованию было отправлено два многословных и чрезвычайно туманно составленных рапорта. Ответная отповедь поступила лишь пять дней спустя: Муса-даг во что бы то ни стало должен быть очищен от армян имеющимися на местах силами. Единственное поощрение, на которое пошло командование, были две 10-сантиметровые полевые гаубицы, находившиеся на пути из Хаммама в Алеппо, а теперь срочно переадресованные в Антакье. Гаубицы прибыли на седьмой день, а это уже было двенадцатое августа. Прислуга их состояла из молоденького лейтенанта, трех унтер-офицеров, двенадцати старых канониров-запасников да нескольких грязных коноводов. Применять гаубицы этой модели в горных условиях было чрезвычайно трудно.

В определенном смысле Стефану приходилось еще трудней, чем его отцу: Габриэла с Муса-дагом связывали воспоминания детства, а Стефан вырос в Европе, во французской среде и до прибытия в Йогонолук из армян знал только тех, кто в качестве тетюшек, дядьев и прочих родственников и друзей навещали супругов. Багратянов в Париже, Швейцарии и Стамбуле. Это были люди, выглядевшие как все прочие европейцы, разговаривали они со Стефаном на самом обыкновенном, ничем не примечательном французском языке. Тем удивительней была великая перемена, происшедшая с юношей с того самого дня, когда он впервые вошел в класс учителя Апета Шатахяна.

В течение столь краткого промежутка времени со Стефана словно смыли

четырнадцать лет Европы, то есть всю его жизнь! Он как бы вновь погрузился в свой народ, и гораздо глубже и основательней, чем отец. Удивительной представляется мысль о том, что, если бы таинственные силы рока не забросили Стефана в Сирию, этот ребенок так бы ничего и не узнал о своей кровной принадлежности, а тем самым ничего бы не узнал и о себе самом. У Габриэла Багратяна все было по-иному. Его пересадка на родную почву явилась необходимостью и актом собственной воли. Так должно было быть. Им двигала сила фактов и еще одна сила – та, что стояла за ними. И все же, будучи гораздо ближе к своей родине по крови, на деле он был гораздо дальше от нее, чем сын. Брак поставил Габриэла между двумя народами. Вначале ему даже казалось бестактным, будучи чужаком, навязывать свои планы спасения и борьбы людям, здесь жившим. Быть может, это и было причиной того странно торжественного и болезненного чувства, которое охватило его после победы четвертого августа. Совсем не то происходило со Стефаном. Хотя в жилах его и текла смешанная кровь, доля матери не оказывала на него никакого воздействия.

Чисто женское влияние Жюльетты на супруга играло гораздо большую роль в характере Габриэла, чем материнское влияние на Стефана. Порой можно было предположить, что смешение крови привело к раздвоению отца, а не сына. У Стефана все развивалось очень просто. Он как-то сразу стал восточным, армянским мальчиком, то есть таким, каким были окружавшие его ребята. Почему так? А просто иначе он не мог бы отстоять себя. На эту важничавшую и вместе с тем обезьянье-гибкую молодежь ни манеры, ни знания Стефана не производили ни малейшего впечатления. Владение французским также ничего не давало. Не могли помочь Стефану ни отлично выученные наизусть басни Лафонтена, ни стихи Виктора Гюго, даже прочное знание географии не давало ему преимущества в глазах йогонолуцких школьников. Мальчики и девочки Йогонолука во всем придерживались своих собственных взглядов, и вообще они чрезвычайно своеобразно трактовали народную мудрость о «просвещенных сынах». Когда Стефан рассказывал о западноевропейских городах, они смеялись над ним – как плохо он рассказывает сказки! Смешным казалось им и то, что учебники он носит в руках, а не на голове, как это было принято здесь. Ведь и женщины носят кувшин с водой на голове или на плече и уж никак не под мышкой! Ну и безголовые эти европейцы! До слуха Стефана доходили и такие мудрые изречения:

– Вы что же, и верблюда с ложечки поите?

В отличие от интеллектуалов, таких, как Шатахян, буквально изнемогавших от преклонения перед всем западным и даже от благостного дуновения европейской эстетики (Жюльетта), грубая деревенская молодежь Муса-дага была проникнута духом превосходства и даже исключительности собственного образа жизни. О преимуществах форм существования всегда ведь можно спорить. Одному трудно сидеть на корточках, другому – на стуле. Признание одного навыка достоинством, а другого – недостатком диктуется не



их абсолютной значимостью – критерия ведь не существует, – а диктатом среды. После первого же урока в школе мир, окружавший Стефана, объявил английский костюм, широкий отложной воротничок, манжеты, носки, шнурованные ботинки не только шутовской, но прямо-таки вызывающей формой одежды. Будь Стефан изнеженным, мягкотелым мальчиком, он сразу попросил бы отца избавить его от дальнейшего посещения школы. А он принял вызов. Нам уже известно, что после многодневных споров Стефан отвоевал у матери разрешение носить ту же одежду, что и все йогонолуццы. Вскоре он уже расхаживал по церковной площади Йогонолука в шароварах, энтари и с кушаком, на ногах не ботинки со шнурками, а мягкие туфли без задников. Жюльетта пришла в ужас. Однако в лице Искуи мальчик обрел защитницу.

– А почему ему не одеваться по-нашему? – спросила она. – Разве наше платье хуже европейского?

Смерив сына неодобрительным взглядом, Жюльетта заметила:

– Мне так и кажется, что все это он взял напрокат для маскарада.

В новой одежде Стефан, который был ведь хорош собой, стал похож на прекрасного принца с персидской миниатюры. Жюльетта, конечно, это видела, но она видела и то, что у этого принца уже нет ничего общего с ее сыном. Кончилось дело тем, что мать с сыном заключили договор: в школу он может ходить «ряженым», но дома пусть будет одет как полагается.

Однако после бегства на Дамладжк договор потерял силу – «дома»-то ведь уже не существовало, а потому исчезло и понятие «как полагается». В горах Стефан уже не снимал шаровары и энтари. И вообще Жюльетта видела его редко у Трех шатров, разве что за обедом или перед сном. И всегда-то возбужденный, вспотевший, куда-то спешащий, нетерпеливый. Жюльетта окончательно утратила всякое влияние на него. Казалось, он и не знал цивилизованной жизни. Мать и сын почти перестали друг друга понимать.

Да, Стефан преобразился. Но сколько мучений он претерпел, пока не переродился в полудикаря, – этого никто не знал.

Одежда на нем теперь была такая же, как на всех мальчишках. Но как неприлично она выглядела поначалу – чистая, нигде не порванная! Да, чистота была его слабостью – грязные руки и ноги, черные ногти, нечесанные волосы – все это вызывало у него чувство неловкости. Как-то, еще в Йогонолуке, он набрался вшей, и мать, обмирая от отвращения, обмотала ему голову смоченным в керосине полотенцем – до чего же он был тогда несчастен! Что и говорить – в этом он сравняться с деревенскими ребятами не мог. Ноги его, к примеру, сколько он ни бродил по грязи, топям и пыли, оставались белыми и нежными. Единственное, чего он достиг, – это ожоги, ссадины и мозоли, которые, помимо того что причиняли боль, привели к домашнему аресту. Как он завидовал своим товарищам – у тех были сухие, темно-коричневые звериные лапы, которым все нипочем! Немало он натерпелся, прежде чем был признан своим. Все эти Гайки и Акопы, Анаиды и Сона' видели в нем не что иное, как выскочку. Когда дело идет о власти, даже дети природы проникаются злобным кастовым духом привилегированного сословия. Деревенские мальчишки давали

Стефану понять, что он им не ровня и что блестящая вилла его отца, вкупе с господином Авакяном и целым отрядом прислуги, не внушают им столько уважения, чтобы признать его «своим». На что же тогда уповал Стефан, этот своеобразный честолюбец? На свою энергию и честолюбие, которые частенько вступали в конфликт с его физическими силами? Быть может, и еще на одно свойство, полностью отсутствовавшее у деревенской молодежи... Ведь даже признанный вожак, четырнадцатилетний Гайк, не по годам рослый и мускулистый, даже он был лишен умения анализировать, смотреть вперед и делать логические выводы – то есть всех тех достоинств, которые Стефан прихватил с собой из Европы. Эти восточные дети забывали о своих планах, не успев их осуществить. Мимолетные прихоти, темные инстинкты играли ими, как ветер играет жухлой листвой. Посмотрите на них после уроков – это стайка диких зверенышей, руководимая какими-то неведомыми побуждениями, толкающими их то туда, то сюда без всякой определенной цели. Когда они, подобно птицам, нападают на неохраемый фруктовый сад, – это еще можно понять, но ведь гораздо чаще они носятся по горам, словно их сам демон подгоняет, или же возятся в каком-нибудь болоте, а то и просто бегают по полям – валяются, кувыркаются, прыгают. Завершается же все это неким религиозным или языческим обрядом, хотя сами они того не сознают. Почему-то они, ни с того ни с сего встав в круг, обнявшись, сначала тихо жужжат, качая головой, но постепенно голоса повышаются, ритмические движения становятся чаще и, в конце концов, все в необычайном упоении принимаются выть. На некоторых эта церемония оказывает такое сильное действие, что у них закатываются глаза, изо рта выступает пена. Упражняясь таким образом, они, сами того не ведая в своей простоте, делают то же, что дервиши некоторых племен, которые, доводя себя до эпилептического исступления, как бы пытаются вступить в тайную связь с некими прасилами. У взрослых они не могли этого наблюдать, но внутренняя потребность в подобных перевозбуждениях всегда чувствовалась в атмосфере этой страны. Конечно же, Стефан как европеец, когда начинались подобные экстатические упражнения, отбегал в сторонку. Но старший по возрасту, спокойно-рассудительный Гайк не участвовал в них. Вероятно, потому, что сознавал себя до краев наполненным теми силами, какими другие накачивали себя. этим.вытьем. Впрочем, случалось, что и Стефан подбивал всех на какое-нибудь рискованное дело – таким только образом обрел он наконец уважение сверстников. Но полной власти над ними так и не достиг. Для этого недоставало ему одного, однако чрезвычайно важного качества, а именно – той силы, которая определяла жизнь этих юношей: прозорливого сродства с природой, которое никакими словами не обозначить. Как хороший пловец, который и лежит в воде, и сидит, и стоит, и ходит, и плывет, то есть пребывает в «своей стихии» с ощущением неопишуемой телесной радости, так и дети Муса-дага чувствовали себя на своей горе в своей стихии. Они были пронизаны окружающей их природой. И эта природа так вошла в их плоть и кровь, что, казалось, грань между ними и ею стерлась, и они уже не знали, что от нее было

вовне и что внутри их самих. Листок, трепещущий на ветру, плод, упавший с дерева, шорох проскочившей ящерицы, говор далекого ручья – все это тысячеголосье было их сутью, словно каждый из них был маленьким Муса-дагом. Тела их были подобны почтовым голубям, которые, благодаря сверхчеловеческому инстинкту ориентации, никогда не могут заблудиться. Но тела их были и подобны волшебной лозе, вздрагивающей над каждым скрытым под землю кладом. Стефан слишком уж долго бегал по мертвому асфальту, и хотя тело его и было ловким, однако никакого сравнения с детьми Муса-дага не выдерживало.

Когда народ разбил лагерь на Дамладжке и ребята перестали совершать свои разбойничьи набеги, когда от них потребовали дисциплины и конкретных дел, тогда и уважение к Стефану стало расти, однако не без влияния высокопоставленного отца, отбрасывавшего на него свой свет. Юношеская когорта состояла из подростков от десяти до пятнадцати лет. Было здесь и несколько девочек не старше одиннадцати, так как в тех краях двенадцатилетние считались уже созревшими.

Тер-Айказун повелел старшим юношам в свободные от службы часы посещать школу. Но практически дело до этого никогда не доходило. Учителя обычно находились на позициях или же в управлении лагеря – они ссылались на недостаток времени или просто манкировали занятиями, полагая их излишними. Если не считать разведгрупп, которыми командовал учитель Апет Шатахян, и вестовых, подчинявшихся Самвелу Авакяну, то свыше трехсот юношей, из которых состояла легкая кавалерия, большую часть времени были предоставлены самим себе. Это и привело к тому, что самые сильные и отчаянные сколотили нечто вроде шайки и проводили все свое время как им заблагорассудится. Шайка эта состояла из двадцати – двадцати пяти парней, выделявшихся из общей массы своим высокомерием и жаждой деятельности. Они лазали по скалам, забирались на вершины Дамладжка, а порой, набравшись смелости, переносили свои игры в расположение дружин, доводя бойцов, которых муштровал Нурхан Эллеон, до белого каления. Вскоре мальчишкам, разумеется, было запрещено бессмысленное бродяжничество. Тогда-то, обнаглев, они облюбовали для своих сборищ территорию за оборонительными поясами – высоты за Седловиной, склон, обращенный к долине, распадки между скалами и русла ручьев, впадавших в море. Выход за позиции на Дамладжке считался преступлением. Однако шайка так ловко маскировала свои вылазки, что ее так никто и не раскрыл. Разумеется, Стефан и Гайк оказались среди ее членов. Даже Сато ухитрилась проникнуть к ним – от нее никак не удавалось избавиться. Несмотря на то что семья Багратянов предоставила убежище этому чужаку-ублюдку, приютила Сато, мусадагцы неохотно допускали ее в общество своих детей. Потому-то она целиком зависела от прихоти ребят. А они то изобьют Сато, то махнут рукой и какое-то время не трогают. Она всегда держалась в сторонке: когда ватага гоняла по горам и низинам, она бегала со всеми, но не вместе, а чуть отстав, поодаль. Когда же шайка сидела в Дубовом ущелье или в каком-нибудь другом

недозволенном месте вне оборонительного пояса и пышным цветом цвело хвастовство и замышлялись новые проделки или же подростки по привычке неистово раскачивались, составив круг, – тогда Сато алчущими глазами следила за всем этим и присоединяла свой глухой голос к общему хору, раскачивая свое тщедушное тельце в такт с остальными.

В этот круг входил, кроме Сато, еще один обиженный. Звали его Акоп. Стефан покровительствовал ему. Несколько лет назад военный врач ампутировал ему ногу. Теперь мальчик прыгал на одной ноге, опираясь на грубый самодельный костыль – палку с небольшой поперечиной. Но несмотря на столь несовершенную опору, Акоп передвигался с неистойвой ловкостью, какую часто можно наблюдать у искалеченных детей. Он стремился не отставать от здоровых сверстников и, когда уже следовал за ними в их набегах, ни на пядь от них не отставал. У Акопа были задумчивые глаза и золотистые волосы – большая редкость в этой стране. Происходил он из хорошей семьи и был родственником Товмасянам. Он любил читать и очень скоро перечитал все, что нашлось у них дома, – истории на листках календаря и прочее подобное чтиво. Потом он стал брать книги у Стефана. За Акопом утвердилось слава прилежного ученика, а это, несмотря на возвышенный пример аптекаря Григора и воспетую в народной поэзии тягу к знаниям, вряд ли могло хорошо рекомендовать его у вожаков шайки. Нет, он вовсе не намеревался прослыть книжным червем. Бегать, играть, лазить, – вот о чем он мечтал. А с тех пор как началась война, он, как и все мальчики, жаждал выполнять важные поручения в качестве вестового, разведчика, лазутчика и тому подобное. Стефан, которого тянуло к Акопу уже из-за одного цвета его волос, заступался за него, и не только из жалости. А вот Гайку честолюбие Акопа пришлось явно не по душе. Никогда не испытывая ни малейшей сентиментальной снисходительности, он постоянно словно бы говорил ему: тебе среди нас не место, пошел вон, калека!

О Гайке у нас пойдет особый разговор. Будучи всего четырнадцати с половиной лет от роду, он уже олицетворял мрачный тип вполне взрослого горца-армянина. В его жилистой худощавости и медлительной походке с наклоном вперед, в тяжело свисавших крупных руках, – во всем облике этого подростка чувствовалось властолюбивое высокомерие замкнутого в себе древнего парода, что, кстати, заметно отличало его от большинства ребят с их чисто восточной суетливостью. И пусть армянин в городах своей диаспоры подобен изгнаннику Улиссу – не случайно в характере героя «Одиссеи» хитроумие сочетается с психологией лишенного родины изгнанника, – коренной армянин, горец-армянин у себя в горах нетерпим, горд и заносчив. Эти черты вкупе с огромной жаждой деятельности он и противопоставляет созерцательности и медлительному достоинству турок. Столкновение подобных характеров-типов многое способно объяснить.

Семья Гайка пришла с севера, с Докуз-Бунарских гор, что вблизи грузинской границы. Мать его, вдова Шушик, четырнадцать лет назад перебралась сюда с грудным младенцем и приобрела между Йогонолуком и Азиром дом с садом и шелкопрядильней, где и вела хозяйство совсем одна, без

посторонней помощи. Шушик – голубоглазая великанша – оказалась нелюдимкой. Вечно сторонилась людей и хоть жила под сенью Муса-дага уже многие годы, ее и по сию пору считали приезжей и чужачкой. К ассимиляции приезжего люда народ здесь относится весьма сдержанно. Чужаки вызывают подозрение. О них никогда и не утихают слухи, один другого легендарнее. О вдове Шушик ходила молва, будто она своими могучими руками задушила мужчину, попытавшегося приблизиться к ней. Правда это или нет, но, во всяком случае, Гайк унаследовал от матери и ее физическую мощь, и ее дурной характер.

Высокомерные, надменные люди всегда принижают, умаляют достоинство других. Так и Гайк всегда подавлял самосознание Стефана. Это он был виноват в том, что юный Багратян без конца испытывал себя «на разрыв» -и это только ради того, чтобы прослыть среди мальчишек «своим». Желание расположить к себе мрачного скептика Гайка принимало у Стефана порой мучительные формы, как оно и бывает у пылких натур в этом возрасте. Учитель Шатахян, старший командир юношеского отряда, постоянно выделял Стефана и чуть ли не ухаживал за этим маленьким французом, сыном мадам Жюльетты, этим «культуртрегером среди дикарей». Он величал его «мосье Стефаном», а других мальчишек ругал последними словами. Он предоставлял ему выбирать себе задания и никогда не посылал туда, где грозила хотя бы небольшая опасность. Да, и Самвел Авакян, прежний гувернер Стефана, постоянно не спускал с него глаз – только бы уберечь воспитанника от всяких бед и глупых затей. Подобная опека со стороны столь важных лиц вызывала у Стефана краску стыда, она унижала его перед Гайком, представляя как балованного барича, и всякий раз ставила под сомнение с таким трудом добытое признание «своим». Самое неприятное было то,

что подобное предпочтение делало Гайка еще надменной, – сын вдовы Шушик докапывался до правды, от его всепонимающих глаз ничего не укрывалось. Когда Стефан, потеряв сон от постоянного внутреннего напряжения, ворочался на кровати в шейхском шатре, его взбудораженный мозг без конца выстукивал: «Боже, что мне еще сделать, чтобы доказать этому Гайку!»

При этом борьба за Гайка представляла собой лишь один из многих фронтов той войны, которую честолюбивая душа сына Багратяна вела ради славы своей.

Примерно к этому времени – то был девятый день Муса-дага – в лагере постепенно, хотя и не сильно, начал ощущаться недостаток хлеба и овощей. Питание одним мясом стало восприниматься с неудовольствием. Изумительная хариса после праздника победы кончилась на пятый день. Тондыры пустовали. Совет уполномоченных распорядился на неделю прекратить раздачу спасенных остатков муки. Была увеличена выдача мяса, но это не устранило неудовольствия. По строгому указу раздачу молока определили так: его выдавали только больным, ослабевшим и детям до десяти лет, да и то – это же было козье и овечье молоко. Небольшая часть его шла на приготовление масла и сыра. Все

ругали общинное ведение хозяйства, да и впрямь, по непостижимому закону этот способ управления уменьшал и ухудшал общее достояние, вместо того чтобы экономить и сохранять общее добро.

Хотя Жюльетта с тех пор, как стала работать у доктора Алтуни, отдала большую часть продовольственных запасов – консервов, сахара, чая, риса в лазарет, у нее еще оставалось достаточно, чтобы возместить нехватку хлеба. Стефан ни в чем не терпел недостатка. Зато Гайк уже не раз жаловался на жесткую баранину: она и не проварена, и без всякой приправы – давись, а глотай! «Хоть бы абрикосов сейчас или фиников!» – вздыхал он. А Стефану сразу представились бескрайние сады у подножия Муса-дага. Но он так ничего и не сказал.

Члены юношеского отряда в дневные часы несли службу на всех тринадцати позициях. На каждой из них, а еще на наблюдательных пунктах, постоянно дежурил кто-нибудь из группы вестовых. Шатахян проверял свое войско ежедневно и в самое неожиданное время объявлял учебные тревоги. Так что самостоятельные вылазки и набеги можно было устраивать только под покровом ночи в свободное от дежурств время, когда за ребятами уже никто не следил.

На десятый день Стефан изложил неприступному Гайку свой план, кстати, пришедший в голову чужаку. Дело в том, что после переселения на Дамладж несколько отчаянных смельчаков два-три раза отваживались спуститься в долину, чтобы пополнить запасы, но всякий раз возвращались ни с чем – и днем и ночью отряды жандармерии патрулировали деревни и дороги. План Стефана состоял в том, чтобы ночным набегом на фруктовые сады поправить бедственное положение. Гайк посмотрел на своего честолюбивого соперника так, как смотрит художник-мастер на нетерпеливого ученика, понятия не имеющего о трудности предложенного начинания. Однако вслед за тем Гайк взял организацию тайной вылазки в свои руки и сам же подобрал ее участников. Стефан же больше всего боялся, как бы отец не проведал об его участии в опасном предприятии и не лишил его свободы. Он и высказал эту свою тревогу. Но Гайк, должно быть, к этому времени уже позабывший, что план был не им придуман, ответил в том раздраженном тоне, которым так мастерски владел:

– Боишься – так и оставайся. Лучше ж для тебя будет.

Слова эти уязвили Стефана до глубины души, он поклялся себе более не думать о родителях. В ту же ночь набег был совершен.

Около десяти часов вечера, когда костры уже погасли и народ спал, примерно девяносто парней, запасшись мешками и корзинами, небольшими группами стали покидать лагерь. Сторонкой они обошли посты, пересекли границу оборонительного пояса и прыжками устремились вниз. Будто сам ветер нес их, и не прошло и сорока минут, как они очутились у первых садов. При нежном свете месяца они принялись рвать абрикосы, винные ягоды, апельсины и все, что попадалось под руку. Стефану также удалось показать свою физическую силу, хотя он впервые в жизни участвовал в подобной работе.

Гайк ухитрился где-то отвязать трех ослов и теперь их спешно нагрузили. Но и каждый из парней был нагружен до отказа. Незадолго до восхода солнца все вернулись в лагерь.

Встретили беглецов, которые так и не поняли, какая им грозила опасность, упреками, руганью и даже колотушками, однако и с гордостью. Еще до подхода к Котловине Города Стефан сделал крюк и бесшумно пробрался в шейхский шатер, где стояла его раскладная кровать, рядом с Гонзаго. Ни Габриэл, ни Жюльетта так ничего и не узнали об опасной ночной прогулке сына. Ну а трофеи ночного налета, разумеется, не улучшили плачевного положения населения лагеря.

И все же пастора Арама Товмасяна ребячья затея толкнула на мысль о подобной же вылазке, которую он и предпринял на третью ночь после ребячьей с двумястами резервистов под прикрытием двух боевых дружин. Впрочем, успех оказался незначительным. Как раз за два дня до этого крестьяне мусульманских селений напали на брошенные армянские сады и сняли добрый урожай, так что осталась только падалица и еще незрелые плоды.

Куда безумней и бесполезней оказалось еще одно дело, затеянное Стефаном после этого. Между прочим, было бы неверно видеть в нем доказательство особой смелости, проявление отваги. Мальчик и не подозревал, какой он себя подвергал опасности, о чем свидетельствует уже вовсе непонятная глупость, – никого, кроме Акопа, он с собой не взял. Пусть, мол, Гайк знает, что Стефан превосходно может обходиться без него.

Сын Багратяна уже достиг того возраста, когда будущий мужчина должен не только выдержать борьбу с бродящими в нем самом соками, но и пережить крушение иллюзий о мире, который ежеминутно дает ему почувствовать все ничтожество только что пробудившегося «я».

Лихорадочное возбуждение, вызванное становлением самого себя, грозно переплелось с общей лихорадкой, царившей на Муса-даге. Товарищи Стефана, эти деревенские сорванцы, скорей всего были похожи или на твердокожие альпийские растения или на чутыстых горных животных. К четырем годам уже определившиеся, они росли равномерно, почти не зная переходных периодов, ничто не сбивало их с пути, и так до самой смерти они сохраняли свой давно слепленный образ, разве что под конец чуть стертый и размытый. А в Стефане было заложено наследие разных народов, весь процесс развития нервных клеток трех поколений, претерпевших предельное напряжение, его детство, проведенное в Европе, и, как самое тяжелое бремя, – жадная душа, которая нигде никогда не находила покоя. Мать, правда, видела, как он худел, как тени легли на его лицо. Но что было делать, где взять привычную для ребенка еду? Иногда она затаскивала сына в свою палатку и, не обращая внимания на гневные протесты, заставляла выпить несколько стаканов молока. А потом – потом она несколько дней вообще не обращала на него никакого внимания. «Да и сколько нам осталось еще жить?» Этот вопрос она часто задавала себе, но бывала не совсем искренна – Жюльетта ведь даже представить себе не могла, что какой-то заптий. пусть даже самый кровожадный, посмеет оцарапать ей

руку! И все же ей приятно было задаваться таким вопросом – сразу все делалось таким безразличным, так хорошо перекликалось с ее жаждой самоуничтожения. Распад ее личности стремительно прогрессировал.

Поводом для дикой выходки Стефана послужило следующее.

Искун Товмасын часто жаловалась, что второпях при переселении забыла захватить три или четыре любимые книги, среди них библию, подаренную ей ко дню конфирмации, а кроме того, распятие из слоновой кости, и то и другое подарил ей Арам. Сокровища свои она спасла во время зейтунского кошмара и с тех нор никогда с ними не расставалась. А теперь – она не могла себе этого объяснить ничем, даже своей немочью, – и книги, и библия, и распятие остались внизу, на вилле Багратянов. Искуи очень страдала от этой потерн, считая, что нанесла обиду брату.

Не только Сато страстно тянулась к Искуи. Стефан тоже постоянно старался оказаться рядом с нею. Впрочем, если девочка из сиротского дома с ее булькающим «кючук-ханум», с ее зябким, тоскливым мычанием и грязными похотливыми лапками была неотвязна, как осенняя муха, то Стефан вел себя совсем иначе – он садился на землю на почтительном расстоянии и поглощал мадемуазель Товмасын молчаливым взглядом. Как только он покидал свой пост, его охватывало упоительное ощущение постигшего его несчастья. Ее обворожительный образ следовал за ним неотступно: вот несколько локонов, упавших на лоб, удивленно приоткрытые влажные губы... Словно стесняясь, она прикрывала большую левую руку правой, маленькая грудь вторила вдоху и выдоху, и кончики ног тихонько, как бы ища защиты, выглядывали из-под платья. Завороженный, он представлял, как она подходит к его кровати в шейхском шатре и поет. Никогда он не мог досыта ее послушаться, особенно его трогала одна песня, та, с которой она как бы обращалась к нему самому, к Стефану:

Вышла она из сада,

Прижимая к своей груди

Два крупных алых граната,

Два спелых сочных плода.

Не слова, а голос ее, голос пробежал по нему зябким трепетом.

Прежде он так любил маму, но что теперь была мама по сравнению с Искуи? Стоило только подумать о ее голосе! Мама ведь не пела, а если порой и напевала что-нибудь, вспоминая французскую песенку, то звучало это как-то зазывно фальшиво. А в прохладном, прозрачном голосе Искуи можно было утонуть, как в бассейне.

Наутро после тяжелых сновидений ночи – один сон сменял другой – Стефан свистом подозвал Сато, которая, как всегда, караулила неподалеку от места сбора шайки Гайка.

– В доме внизу живет кто-нибудь?

Сато сразу поняла его. Да и было бы ошибочно считать Сато за ее гортанный звериный крик и шакальи повадки идиоткой. Это была двойственная натура, существо сложное, однако она обладала недюжинной



сообразительностью, особенно когда речь шла о выявлении определенных связей. Сато сразу поняла, о чем ее Стефан спрашивает – забрались ли в дом его отца в Йогонолуке наследнички, да и нетрудно было его понять, но она на лету схватила смысл и цель вопроса. Стефан собирался дерзким наскоком захватить книги Искуи, если они вообще еще были целы. И Сато принялась строить гримасы, подмигивать, как она всегда делала в минуты волнения. Для Стефана не было секретом, что Сато вела на Муса-даге двойную жизнь. Она то исчезала на полдня, а то и на целую ночь – правда, никому до этого не было дела. В таких случаях она проводила время в долине, в кругу своих друзей – кладбищенской братии. Передача известий с горы в долину и обратно представляла собой ценнейшую разменную монету, с помощью которой Сато покупала благосклонность своих друзей в долине и на взгорье. По этому каналу в лагерь поступали вполне достоверные сведения обо всем, что происходило в деревнях. Именно таким образом стало известно, что в Йогонолуке расквартирован пост, состоящий из десяти заптиев, как и в Битиасе и Абибли. Наверху узнали также, что чернь приступила было к грабежу домов, забирает все – от гвоздя до оконной рамы, однако этому неожиданно был положен конец: вмешался каймакам. Только трем мусульманским семьям выдали разрешение на вселение. Однако сброд не так-то легко отступил от своих намерений – ждал, когда ветер подует в другую сторону. Узнали также, что за последнюю неделю в деревнях появились муллы. Они осматривали церкви, предполагая превратить их в мечети. Стефан узнал также, что в дом Багратянов въехала многодетная мусульманская семья, – все люди, которые несколько дней тому назад на воловьей упряжке прибыли в Йогонолук. И в самом деле, существовали ведь такие любители бродяжничества, которые, следуя слухам, перебирались из деревни в деревню и, будучи привередливы, не удовлетворялись первым попавшимся жильем. Сато выведала и несколько подробностей. Семейка мухаджира разбила свой лагерь в большом селамлике, однако теплые ночи проводила под открытым небом, на крыше.

Одержимый своим планом, Стефан не долго раздумывал. Доверился он только Акопу: уж очень тот клячил и молил. Решило все тщеславие. Ведь если Акоп пойдет, то у Стефана будет свидетел, и тем самым он кое-что докажет Гайку. И ослепленный Стефан отправился в столь опасное предприятие, вооруженный только карманным фонариком. Вспомогательное войско его состояло из одного калеки и одной плутовки.

Сато убежала задолго до того, как спустился вечер: ей надо было предупредить Нуник, Вартук, Манушак и остальных своих друзей. Станным образом эти жители погоста были неприкасаемы. Никто их не трогал. Ни заптии, ни пришлая чернь. Приказы о депортации, должно быть, их не касались. И стороной их обходили скорей всего потому, что с них взять было нечего, однако и потому, что кормились они смертью и рядом со смертью. Впрочем, Сато созвала эту гвардию не потому, что опасалась за жизнь Стефана, – такие чувства, как привязанность, любовь и забота, не были ей свойственны. Даже ее страсть к Искуи можно, пожалуй, объяснить непреодолимым желанием

быть признанной тем человеком, который вызывал ее восхищение. А добившись этого – завладеть им целиком.

Сато была превосходно осведомлена о главной слабости старухи Нуник – надо утолить ее ненасытное любопытство, тогда можно рассчитывать на щедрость взрослой приятельницы. Чтобы выжить, существо, всеми презираемое, с трудом терпимое даже среди подонков общества, вынуждено быть ловким посредником человеческих страстей. Сато превосходно знала также, что старая Нуник особенно любила слушать все, что так или иначе касалось семьи Багратянов.

Когда незадолго до полуночи Стефан с Акопом вошли через открытые западные ворота на усыпанный песком двор, плакальщицы, освещенные зыбким светом молодого месяца, уже сидели кружком под деревьями, подавая какие-то непонятные знаки, – уж очень громко стучал и скрипел костыль Акопа. Стефан подтолкнул калеку: ковыляй поскорей к сычихам!

Непостижимо, почему такой впечатлительный мальчик, как сын Багратянов, сейчас не испытывал ни малейшего страха. Даже если он и не сознавал всей опасности, то хотя бы ночная тьма и его одиночество среди полупризраков, да и вид дома, где спала семья мухаджира, – все это должно же было нагнать на него страху. Причиной тому было болезненное состояние, смятение чувств, так и не замеченное в мальчике ни Габриэлом, ни Жюльеттой. Внешне отчаянно храбрый, Стефан, будучи жертвой некоего подобия паралича чувств, уже не различал в окружающем его мире, где явь, а где сновидения. Размеренно ступая, словно возвращаясь после прогулки домой, он вошел во внутренний двор. С необоримой силой его охватило ощущение, что все здесь осталось по-прежнему. Он даже остановился в галерее и долго стоял, погруженный в себя. Потом включил карманный фонарик – так однажды луч его озарял спящего Стефана, когда его рассматривал отец, – затем мальчик медленно стал подниматься по лестнице. Здесь, на верхнем этаже, все осталось как было. Только давно никто не убирал, да кое-где виднелись последствия разгрома. Грабители унесли лишь то, что было полегче, – шкаф и кровать стояли на своих местах. Стефан вошел в свою комнату, стал у выбитого окна и так и не мог оторваться от вида: истерзанный ветром сад, черная масса Муса-дага... Смятение чувств, владевшее им, заставило подумать, что Стефан никогда наверху и не был, – там, где гребенчатый силуэт Дамладжка четко вырисовывался на фоне матового неба. Мама и папа спят в своей комнате рядом, и так и кажется, что ему и самому давно пора раздеться и лечь... Лишь с трудом он вернулся к сознанию действительности. И совсем не потому, что следовало избегать опасности, а ради того, чтобы не потревожить спящую рядом Искуи, он прокрался на цыпочках в ее пустую каморку. За пределами резкого круга света, падающего от фонарика, все здесь было заполнено ею. А в кружке стоял сломанный стул, как нечто недостойное и презренное! Под ним несколько грязных и порванных книг. Среди них библия Искуи. Целехонька! Распятия из слоновой кости он не нашел. Сияя от счастья, Стефан прижал библию и книги к груди и, громко топая, бросился вниз по лестнице через

галерею во двор и за ворота. Спутники ждали его, укрывшись в глубокой тени. А он, не разглядев их в своей одурманенности, будто богом забытый, крикнул громким и сильным голосом:

– Акоп. Сато! Где вы? Смотрите, я нашел!

Отзвук этих слов под пустынным ночным небом прозвучал так сильно, что на крыше дома сразу кто-то зашевелился. Показались какие-то фигуры. Рыкнул чей-то бас. Заверещали женские голоса. Ведовской кружок на краю дворика мгновенно разбежался. Слышно было, как костыль Акопа, часто стуча, уходил все дальше и дальше. Стефан стоял на самом светлом месте. Крохотное пятнышко света тихо тлело в его руке. И только когда со свистом захлестали вокруг него пули и внутри дома поднялась суматоха, он, стряхнув с себя оцепенение, большими прыжками пустился наутек. Но куда бежать? И в, то время как даже одноногий Акоп со своим скрипящим костылем исчез во все скрывающей ночи, сумасшедший Стефан, миновав восточные ворота, бешеными прыжками понесся по деревенской дороге прямо в йогонолук. Должно быть, сама мощеная дорога притянула к себе городского мальчишку, хотя он хорошо понимал – направление избрано им неверное. Чуть было он не попал в лапы заптиев, поднятых на ноги стрельбой и теперь с заряженными ружьями поднимавшихся с церковной площади. Стефан отскочил в сторону и упал в канаву. Произошло чудо – заптии пробежали мимо. Им навстречу, громко крича и размахивая руками, бежали слуги новоселов. Должно быть, турок всех поголовно охватил дикий страх. Они решили, что это армянские войска напали на них, и палили как сумасшедшие во все стороны – отчасти для того, чтобы заглушить свой страх, а отчасти чтобы призвать на помощь заптиев из соседних деревень. И только когда пальба удалилась на северо-запад, Стефан вдруг ощутил смертельный страх. Будто птица, от долгого пребывания в клетке разучившаяся летать, он, шатаясь, брел вдоль какой-то полуразрушенной ограды. Попал в одичавший сад. Продрался через него с великим трудом. Потом, задыхаясь, карабкался по поросшему ползучей лозой склону, падал и вставал, покуда не вырвался из этих тенет. Неожиданно очутился на вспаханном поле, откуда попал на каменную россыпь. Вдруг его со всех сторон обступили заросли. Колючие кустарники раздирали одежду, целились в него своими ветками-плетями. Спотыкаясь, он шел все дальше и дальше, ничего не соображая, не зная, куда идти. Впервые он почувствовал, что энтари не дает ему бежать, мешает, словно коварный враг. Руки и ноги были исцарапаны, ссадины жгло, глаза заливало потом. На небольшой поляне Стефан упал и так и остался лежать. Он не понимал, где Дамладжк, где Йогонолук, где он сам.

Минуты две он лежал без сознания. Но силы довольно скоро вернулись к нему. Смертный страх иссяк, чудесное спокойствие заступило его место. Стефан вытянулся, как бы собираясь заснуть. Щедрое августовское небо недвижно простиралось над ним. Из миллиардов звезд ни единая не мерцала. Один был Стефан, один с собой и со всем миром. Он сознавал, что ни отец, ни мать не в силах ему помочь. И впервые его детскую душу захлестнуло чувство

полной потерянности, ощущение беспощадной погони, гибели в пространстве, которое, словно немой свидетель, следило за ним бесчисленными своими ледяными глазами... Дети богатых родителей, выросшие в неге и холе, никогда не знают этого чувства или узнают уже очень поздно, а ведь оно владеет каждым гонимым зверьком, притаившимся в ямке и не смеющим даже дышать. Хорошее это чувство. Благодатное. Стефану и не надо было думать об Искуи. Когда лежишь вот так, прижавшись к земле, весь отданный миру, то и самое страшное не так уж страшно.

Он лежал и смотрел в небо. А там, наверху, поднялось какое-то дыхание, какое-то волнение света, какое-то приближение к нему. Оно мягко подняло Стефана, поцеловало – такой слабый он был, незащищенный, покинутый, как ничто и никто. Все блаженство, какое есть на свете, слилось в одной-единственной точке, и точка эта была в нем самом. Он не понимал, что с ним происходит. Впервые в жизни излилось его семя. И он заснул, слившись с землей. Мертвым сном.

Его разбудили голоса. Должно быть, заптии! Раздалось несколько выстрелов. Затем все стихло. Но Стефан не поверил, что они ушли. Наверное, они обнаружили его и только выжидают, когда он поднимется. Месяц скрылся. Небо было черное-черное. Как долго он, значит, спал. Звезд совсем немного, и какие-то они все тусклые, словно впитанные промокашкой. Все пространство как-то стиснулось, точно в гробу. Стефану казалось, что он лежит не на земле, а на каком-то отвратительно зыбком холме из липких улиток. Ни двинуться, ни подняться нельзя – заптии подстерегают! Но если ждать утра, тогда он пропал. И Стефан все же пополз, сперва на животе, потом и на коленях. Весь мир казался полным бесформенных препятствий. Осторожно он привстал. Под ногами все было усеяно какими-то острыми шипами и гранями. А слева и справа все заковано, только торчат острые пики и иглы. Он протискивался сквозь колючую слепоту. Должно быть, они уже убили златовласого Акопа, и он, он виноват в этом. Но и он сам, Стефан, никогда больше не вернется домой. Рука, сжимавшая Библдю Искуи – другие книги он бросил, – почему-то застыла, хотя ночь и была очень теплой. Он еще полз какое-то время, не зная куда и зачем, через этот такой еще не созданный мир и зажег фонарик, ожидая, что тут же грянут выстрелы. Но ничего не случилось. Он не выключил фонарик, правда так и не поняв, куда ему идти. И все же этот слабый огонек привел к нему спасителей. Вдруг он очутился в чьих-то объятиях. Гайк! Проболталась предательница Сато! От нее Гайк вовремя узнал о безумной затее Стефана. Сначала он ужасно разозлился – ишь ты, какой самостоятельный! Один убежал!

Но как более опытный и сильный, Гайк скоро почувствовал тревогу – зазнавшийся сын командующего явно еще не готов к такому начинанию. Хотя Гайк и решил сначала предоставить Стефана самому себе, его в конце концов все же охватило беспокойство, и он спустился в долину как раз когда заптии начали погоню за предполагаемым отрядом армян. Верный инстинкт Гайка и привел его к Стефану, когда тот включил фонарик.

– Сам видишь, какой ты хвастун! Глупый хвастун! – кричал Гайк, трясая за плечи Стефана.

А Стефан был слишком слаб, не в состоянии был придумать оправдание своему позору. Тяжело повиснув на Гайке, он еле передвигал ноги. Однако с каждым шагом рядом со своим неодолимым противником к нему возвращалось мужество.

– Я вытащил из нашего дома библию Искуи Товмасян, – проговорил он, сунув свой трофей под нос Гайку.

Шагах в пятидесяти во тьме затеплились рдеющие угольки. Возле погасшего костра сидели Сато, Акоп и вся кладбищенская братия.

Водительство Гайка придало Стефану силы и уверенности, и он преодолел приступ слабости. Скорей наверх! – подумал он и тут же вспомнил об отце. Все, что произошло этой ночью, не удастся скрыть. Как-то его встретит отец?

Нетерпение Стефана не укоротило, а скорее сделало подъем на Дамладжж бесконечно долгим. Без конца приходилось останавливаться. Акопу было особенно трудно. На крутых тропинках несчастного калеку волокли Гайк и Стефан или Гайк и Сато. Акоп явно переоценил свои силы. Здесь он уже не мог тягаться со здоровыми сверстниками.

Часам к семи утра они появились на позициях. Точно раненые, вышедшие из боя, они походили на привидения. Стефан весь дрожал и сразу же лег. С матерью вышел полнейший скандал.

– Если ты будешь делать такие гадости, ты такой же, как Сато – грязный бродяга! Я тебя перестану любить.

В искренности этих слов не приходилось сомневаться. Жюльетте было больно произносить их. У нее выступили слезы гнева на глазах.

– Как ты мог? Зачем ты это сделал?

Стефан молчал, не смея признаться в правде. Он отлично сознавал, что его признание испортит отношения между мамой и Искуи. Он все старался поймать недающуюся руку мамы, просить прощения – так он всегда делал маленьким ребенком. Но под одеялом он меж коленками зажал библию Искуи – только б мама ничего не заметила.

Однако позднее, когда он остался с отцом с глазу на глаз и тот, стоя перед ним, с серьезным лицом допытывался причин столь дерзкой попытки испытать судьбу, Стефан все же после длительного отрицания и придумывания всевозможных отговорок выдал свою тайну. Покраснев до самой шеи, он вытащил библию из-под одеяла. Отец взял ее, рассеянно полистал, захлопнул, лицо стало суровым, так что Стефан ждал тягчайшего наказания. Но вместо этого отец вернул ему книгу и больше ни единым словом не упомянул о событиях прошедшей ночи. Однако прежде чем покинуть палатку, он отдал Стефану приказ тоном, куда более естественным между командиром и подчиненным, чем между отцом и сыном, – что отныне каждый день утром после подъема и перед сном Стефан обязан докладываться отцу, где бы тот ни находился. Авакяну в тот же час было поручено не спускать с юноши глаз.

Габриэл Багратян неплохо использовал передышку, предоставленную ему

турками. Теперь можно было смело утверждать, что все оборонительные сооружения доведены до полного профиля. Бойцы дружин и рабочие резерва в эту неделю трудились столь же самоотверженно, как и до четвертого августа. Окопы удлинители и углубили. Предполье было буквально нашпиговано всевозможными препятствиями. Ко второй линии и к выдвинутым вперед стрелковым ячейкам были прикопаны траншеи – отлично замаскированные, они предоставляли возможность самым отважным стрелкам атаковать противника с тыла и с фланга. Багратян непрестанно ломал себе голову, изобретая для всех угрожаемых участков западни и хитрые ловушки, должно быть стараясь сколь возможно уменьшить зависимость успеха обороны от надежности человеческого материала. Его наспех схваченные в стамбульском офицерском училище знания, а также опыт, приобретенный в артиллерийских дуэлях под Булаиром, служили ему при этом гораздо меньшим подспорьем, чем старый учебник тактики французского генштаба, купленный им когда-то у букиниста. Странное философическое чувство вкралось в душу Габриула, когда он рассматривал теперь эту книжицу, столь неожиданно возвысившуюся в чести. «Когда я, – рассуждал он, – ничего не подозревая, купил эту «тактику», я сделал это только потому, что мне приглянулась обложка, а быть может, и потому, что незнакомый материал заинтересовал меня, хотя никакого интереса к военным наукам я в ту пору не испытывал. И все же в тот час, когда я совершил эту покупку, моя судьба, независимо от моей воли и в предвидении грядущего, заставила меня это сделать. Что и говорить, поистине мой кисмет давным-давно готов от первой до последней минуты. Еще ведь в 1910 году он задержал меня перед лавкой букиниста на Кэ-Вольтер только потому, что эта книжечка когда-то понадобится, правда гораздо позднее. Следовательно, я лишь исполнял роль, предписанную мне моим кисметом. Коклен, играя маркиза в известной комедии, забывает перчатки на столе, а затем, вернувшись за ними, застаёт мадам с возлюбленным. Только, вероятно, Коклен\* хорошо сознает, какая разница между ним и маркизом. А у меня мое «я» уж очень крепко срослось с предназначенной мне ролью».

---

\* Коклен – семья французских актеров: Бенуа Констан (Коклен-старший, 1841-1909); Эрнест Александр Оноре (Коклен-младший, 1848-1909); Жан (сын Коклена-старшего, 1865-1944); Жан-Поль (сын Жана, род. в 1924 г.). Наиболее известным из Кокленов был Бенуа Констан, то есть Коклен-старший, долгие годы игравший в «Комеди Франсез» и создавший блестящие образы в пьесах Мольера.

---

Однако то был единственный раз за все эти недели, когда Габриэл позволил себе такое философское отступление. Да он тут же и стряхнул все это с себя, как нечто докучливое. Еще в Йогонолуке во время подготовки к боям он как-то подумал, что его реалистический образ мыслей быстро тускнеет, как только он отдается своей склонности к созерцанию. Это и привело его к сознанию того, что человек действия (каким он не был) по необходимости должен быть лишен духовности. Ну а что касалось учебника тактики, то он нашел в нем много всевозможных предостережений, советов, чертежей, расчетов, которые он, разумеется в уменьшенном масштабе, вполне мог применить здесь, на Дамладжке.

Чауш Нурхан Эллеон и младшие командиры ежедневно проводили учение с бойцами дружин. Габриэл Багратья ставил им самые разные задачи. Каждый отдельный боец обязан был тщательно изучить поле боя перед собой: камень, куст, бугорок – все он должен был учитывать и выработать для всех вариантов атаки соответствующие приемы обороны. Да и вся система объявления тревоги была теперь разработана до мельчайших подробностей. За один час – и это несмотря на большие расстояния между секторами, – бойцы успевали занять все посты или перейти с одного участка на другой. Командование, со своей стороны, могло производить и более крупные передислокации.

Впрочем, не менее поражало и сделанное в Котловине Города.

Темперамент пастора Арама победил и уйму мелких раздоров, и вспыхивавшую то тут, то там вражду соседей, и недовольство общественным распределением продуктов, а также скрытое сопротивление и ленивую медлительность мухтаров. И на сей раз борьбу Габриэла против так распространенного на Востоке принципа «пусть все идет как идет» успешно поддержал человек западной культуры. Бесспорно, Тер-Айказун был более сильной личностью, чем превосходнейший Арам, и все же духовный предводитель армянской долины дошел на севере только до Эчмиадзина, на западе – до Стамбула, на юге – только до Иерусалима, а посему и не мог вовсе избавиться от того равнодушия по отношению к совсем не обязательным непорядкам, которые так основательно портят жизнь европейцу на Востоке. Несмотря на уже не раз испытанную власть над душами людей, Тер-Айказун никогда не добился бы того, чего добился Арам Товмасын, за десять дней превративший жалкий бивак под открытым небом – Котловину Города – в поселок, который как-никак уже походил на доброе базарное село времен Авраама и праотцев. У каждой семьи, бедной ли, богатой ли, был теперь хорошо крытый шалаш – несколько квадратных метров защищенной от непогоды площади, а благодаря коврам, циновкам, постельным принадлежностям, все это имело уже вполне жилой вид. Однако даже и такого слабого напоминания о родном угле оказалось достаточно, чтобы убаюкать людей мечтой, что и здесь, наверху, в диких горах, их земное существование будет длительным и прочным. Лагерь не только разделили на общины – ряды шалашей образовали целые улицы и даже системы улиц, которые все впадали в Алтарную площадь. Почва Котловины Города была сама по себе неровной и

кочковатой, однако возведение поселка, строительство дорог несколько выправили эти неровности. Сама же Алтарная площадь, центр этого примитивного, но густонаселенного поселка производила внушительное впечатление.

Как только стало известно, что мухтар Товмас Кебусян построил для себя деревянный дом, его шестеро коллег тоже принялись за дело и не успокоились до тех пор, пока, будучи сами не менее достойными старостами своих общин, не получили право построить такие же рубленые дома, и, разумеется, на Алтарной площади. Но наикрасивейшим творением папаши Товмасына так и остался правительственный барак, имевший не только окна и двери, но и крытый дранкой, которую предоставил мухтару сам строительных дел мастер. Прочность этого здания, пожалуй, следовало считать воплощением смелых надежд оборонявшихся. В нем имелось три помещения: посередине большое – зал заседаний и по бокам – два поменьше. Правая, боковая комната была отделена от зала прочной бревенчатой стеной, – этот закуток предполагалось отвести под государственную тюрьму на тот случай, если бы понадобилось изолировать какого-нибудь отчаянного злодея. Однако Тер-Айказун придерживался мнения, что камера подсудимых вообще окажется лишней. Левую комнату выделили аптекарю Грикору. А он возвел между собой и политикой высокую стену с узким проходом, сложенную из книг. За этой стеной стояла кровать. Свои изящные тигелечки, вазочки, реторты он разместил на стеллажах, а бидон с керосином, табак и всевозможные щеточные изделия отсутствовали, так как были переданы в общее пользование. Таким образом, барак объединял в себе не только парламент, министерства и суд, но и библиотеку и университет. Здесь ведь аптекарь Грикор принимал своих учеников – учителей, дабы поучать их. Но с каждым днем маэстро все реже покидал свою раковину. Ограждая себя таким образом, он, возможно, стремился избавиться от ощущения всеобщего плена, которое царило на Дамладжке. А возможно, что таким способом он убеждал себя: раз я их не вижу, то никаких перемен и не произошло. Часами он неподвижно сидел на кровати, изредка доставал с полки ту или иную книгу, но тут же аккуратно ставил ее на место. Тело его зримо крючилось. Да и учителя, занимавшие теперь разные посты в лагере, навещали его редко, ибо он уже не множил их знания небылицами из всемирных наук, а презентовал такие мрачные истории с глубокомысленной моралью, от которых слушатели старались поскорей убраться восвояси. По этой причине Грант Восканян испытывал к высокочтимому сильнейшую неприязнь, что говорило скорей в пользу нынешних его военных амбиций, чем прежних поэтических. «Старик не в своем уме», – пренебрежительно говорил он о Грикоре коллеге Шатахяну. Однако тот с ожесточением защищал оскорбляемого маэстро. Когда созывались большие и малые совещания, аптекарь не покидал своей каморки, но сидел, обратив свое желтое лицо к собравшимся в зале, и глядел на них, так, будто вообще не понимал их языка. Ночами он частенько поднимался с кровати и садился перед баракком. Моргая, он смотрел на вечный огонь под алтарем, а то и



на два. керосиновых фонаря, освещавших площадь. Прислушивался он и к звукам и шорохам, доносившимся из шатровых проулков, да и из самих шатров. Каждые полчаса появлялся ночной патруль и непременно приветствовал аптекаря. Но он не отвечал, а только не переставая покачивал головой. Это можно было принять за жест беспредельного удивления, которое он не в силах был побороть, в действительности же это были первые признаки распада его телесной оболочки.

Вот мы и увидели, и увидели не без умиления, что это крохотное человечество в пять тысяч душ совершило скачок, повторив весь долгий путь, проделанный цивилизацией. Прибыло оно сюда наверх чуть ли не с голыми руками. Немного керосина, несколько свечей, самый необходимый инструмент, – вот и все культурное достояние, прихваченное с собой. Первый же ливень уничтожил одеяла, постели, простыни, циновки, – все, что было от удобств. И все же ни со всех сторон наступавшая на них неотвратимая смерть, ни лишения не погасили душевных потребностей – тоску по вере, порядку и разумному, по духовному возвышению. В воскресенья и праздничные дни Тер-Айказун, как обычно, читал проповеди. На школьной площадке шли занятия. Семидесятилетний Алтуни и Майрик Антарам привели лазарет в образцовый порядок и без конца сражались со всеми инстанциями, только бы добыть для больных лучшее питание. Если сравнить жизнь с той, что была в долине, то общая мораль была здесь даже выше. На осунувшихся, бледных лицах появилась печать определенной удовлетворенности.

Даже длинного августовского дня и того не хватало – так многое надо было сделать. Уже в четыре часа утра начинались работы. Доярки отправлялись на пастбище, куда пастухи к этому времени уже сгоняли коз и овец. Затем молоко в больших кувшинах подносили к западной границе Города, где уже ждала Майрик Антарам, – она-то и ведала раздачей молока для кормящих матерей, лазарета и сыроварни. В этот же час женщины и девушки нескончаемой вереницей тянулись к близким родникам и наполняли там глиняные амфоры свежей водой; в этой глиняной посуде она и при сильнейшем солнце пеке оставалась ледяной. Многочисленные родники с чудеснейшей водой и были той великой благостью, которой Муса-даг одаривал своих детей. А когда водоноски возвращались, все семь мухтаров выходили на овечий выгон, дабы отобрать скот для убоя на следующий день. Что касается расходования мяса, то очень скоро обнаружили весьма тревожные признаки. В этих краях одна курдючная овца, несмотря на свой двойной живой вес, давала менее двадцати ока', или двадцать пять килограммов съедобного мяса. А так как более пяти тысяч человек питались почти исключительно мясом и среди них было немало тяжело работавших, то ежедневно приходилось забивать до шестидесяти пяти овец. Как долго можно прожить здесь, на горе, если стадо тает столь быстро? Это и ребенок мог подсчитать. Тер-Айказун и пастор Арам Товмасян на третье воскресенье издали приказ, согласно которому от забитого скота ничего не должно было выбрасываться, в том числе и внутренности. Одновременно ежедневный забой сократили до тридцати пяти овец и

двенадцати коз. И все же этим не устранили всей опасности, нависшей над лагерным стадом. Но были и другие неприятности: постройка Города и оборонительных сооружений привела к потере больших пастбищ, что в свою очередь повлекло за собой потерю веса животных. При этом никто не отважился пасти скот за линией обороны у Северного седла.

Скотобойня находилась неподалеку от небольшого лесочка, на довольно большом расстоянии от Города. И все же по утрам в лагере слышался рев забиваемых животных. В первые дни мясники развешивали выпотрошенных баранов и овец прямо на деревьях, где туши висели день или два. Но из-за стоявшей жары мясо быстро портилось, и после первого такого опыта его стали закапывать – в земле оно хранилось лучше. Еще рано утром одна часть мясников, закончив труд, возвращалась в свои дружины, а другая – принималась за дело. Туши разделявали на длинных столах, сколоченных из бревен. Женщины, дежурившие на кухне, относили мясо к десяти выложенным камнями очагам, в которых к тому времени уже полыхал огонь. На высоких треногах покачивались котлы с водой. Жарилось мясо на вертелах над открытым огнем. Раз в день мухтары в присутствии пастора Арама Товмасына производили раздачу пищи всей общине. На грубых столах лежали порции нарезанного мяса – для каждой деревни и каждой семьи. Например, из Битиаса здесь, на Дамладжке, насчитывалось сто двенадцать семей. И сто двенадцать женщин проходили друг за дружкой к огромному столу, принимая из рук своего мухтара строго отвшенную порцию мяса. Кто-нибудь из должностных лиц, чаще всего это был деревенский священник или учитель, проверял по списку число людей и черточкой отмечал выдачу.

Легко представить себе, что вся эта процедура занимала немало времени и что порой случались и яростные перебранки. Создавая овцу или козленка, природа ведь не заботилась о справедливости: одним доставались филейные части, другим попадалось много костей. Женщины с мрачным характером видели в этом неравном отношении судьбы обман и коварство недругов: им бы только насолить соседу. Великому примирителю Араму Товмасыну приходилось прикладывать все свое искусство, чтобы убедить горячившихся кумушек в коварстве судьбы и доказать госпоже Ерануи или госпоже Гоар, что случай, столь обездоливший ее сегодня, вчера-то бесспорно оказал ей предпочтение. Впрочем, как правило, столь логическое объяснение ни на Ерануи, ни на Гоар не действовало, и, сверкая глазами, те удалялись, в душе удваивая счет обидам.

До того, как начать раздачу мяса гражданской части населения, лучшие куски забирались для военной его части; члены юношеского отряда доставляли их прямо на позиции. Люди обязаны были довольствоваться одной выдачей в день. А вечером в огромных медных котлах бурлила чистая вода, в нее бросали всевозможные коренья и травы и называли подобное варево «чаем».

Пастор Арам установил в лагере регулярное дежурство. Двенадцать вооруженных мужчин, именовавшихся полицией, обеспечивали спокойствие и порядок в Городе. Днем и ночью они ежечасно патрулировали, грозно шагая

между шалашами, давая жителям понять: у нас военное положение, каждый обязан быть вдвойне дисциплинированным. Полиция несла ответственность за чистоту – Габриэл Багратян, пастор Арам, Петрос Алтуни, Апет Шатахян относились к этому очень серьезно. Многие из того, что в селах было давно прижившимся правилом, здесь подвергалось запрету. Нельзя было выбрасывать мусор перед шалашом, выливать помой на дорогу, и все «дела» следовало отправлять только в тех местах, которые для этого назначил Совет. Багратян сразу же настоял на устройстве больших выгребных ям. Стоило кому-нибудь нарушить одну из этих заповедей чистоты, Совет наказывал провинившегося, лишая дневного рациона. Те будни, установить которые в новых условиях так стремился вардапет, наступили вопреки всем ожиданиям довольно скоро. Однако они сильно отличались от размеренного образа жизни в долине – в них было много столкновений и тягот. В некоторые часы, особенно после рабочего дня, когда труд уже не владел всеми помыслами, в семьях воцарялось недовольство, раздраженность. Это и побудило Арама Товмасына предложить Совету устраивать в вечерние часы какие-нибудь развлечения, чтобы дать мусадагцам отдых от дневных тягот. И пусть каждый второй или третий день народ собирается на Алтарной площади и кто-нибудь из руководителей обратится к нему со словами, но не о нынешнем положении, а об общих вопросах нации и жизни, чтобы души людские возвысились над повседневными заботами. Габриэл Багратян тут же согласился с пастором. Однако Тер-Айказун вскинул глаза, чуть улыбнулся и сказал, что прекрасное предложение это страдает чересчур уж поучительной сухостью. Возвышенная речь, может, и даст что-то мужам серьезным и рассудительным, коих, впрочем, не так уж много, а вот женщины, девушки и вся молодежь уйдет ни с чем. Но как раз от них – от этой неуравновешенной и отличающейся своей эмоциональностью части населения лагеря и зависит сила сопротивления, и куда больше, чем от людей уравновешенных и разумных. Потому-то и следует после столь тяжелых дней позаботиться о вечере с увеселениями. Шутников и балагуров в лагере предостаточно, да и музыкантов сколько угодно. Каждый второй играет на таре или на гитаре. Есть и скрипачи, и флейтисты, а с долом всякий справится. Лучше всех во всем этом разбирается Асяян – учитель и регент церковного хора, ему и надлежит поручить устройство таких вечеров.

Худой как жердь певец немало удивился, услышав, что его заклятый враг и мучитель Тер-Айказун удостоил его подобной чести. И уж совсем он удивился, когда Тер-Айказун, всегда возражавший против простых увеселений, велел соорудить танцевальную площадку, такую как в Йогонолуке. И папаша Товмасын со своими подмастерьями принялся из грубых досок сколачивать дьявольский помост не где-нибудь, а на большой площади, прямо напротив священного алтаря. На следующий же вечер были назначены танцы. Совет во главе с Тер-Айказуном явился в полном составе. Пришла вся знать, в том числе Жюльетта и Гонзаго Марис, которых пригласил Габриэл.

В кратком слове своем пастор Арам просил у господ прощения за то, что перед лицом страшнейших мучений люди радеют о земных потребностях и

увеселениях. Затем учитель Асаян резким трубным голосом (хотя от столь тщедушного тела можно было ожидать разве что жиденского фальцета) спел несколько патриотических песен, и среди них эту «зажигательную»:

Высоки горы Армении!..

Что им огонь, что им меч!

Следующим «исполнителем» оказался граммофон семейства Багратянов. Сначала он прохрипел в вечернем воздухе коронационный марш из «Пророка», а затем тихо спел печальную оркестровую пьесу «Смерть Озе» Эдварда Грига. Когда исполнялся этот номер, люди, тесным полукругом обступившие помост, печально смотрели друг на друга, и казалось, что музыка норвежца лилась из их собственных сердец. Меньше, чем Эдварду Григу, повезло Гранту Восканяну. Этот прогремел два патетических стихотворения с такой ненавистью в голосе, словно был судьей, объявляющим приговор преступнику. Слоги так и насакивали друг на друга, и понимала учителя только малая часть слушателей. Первое стихотворение еще кое-как можно было разобрать. Называлось оно «Армянская колыбель», многие знали его наизусть:

Качает люльку в дальней спальне  
старуха мать, не зная сна.

и клонит голову печально,  
текучей мглой окружена.

Очаг мерцает еле-еле.

Она одна на страже здесь.

Молчит младенец в колыбели,  
младенец, что зовется Мечь.

Ему не нужен шепот нежный,  
не нужно песни колдовство.

Огонь бушующий, мятежный  
в глазах расширенных его.

Глаза – два жгучие светила...

Беззвучно плачет он пока,  
но знает – станут грозной силой  
два слабых детских кулачка.

Сурово сомкнутые губы  
случайный крик не разожмет.

В тиши, в кедровых яслях грубых  
Спаситель новый часа ждет.

Впрочем, наш Молчун, к сожалению, не удовольствовался декламацией этого знаменитого стихотворения Даниэла Варужана;\* учитель Восканян недаром именовал себя «ашугом» – народным бардом: он не упустил случая осчастливить слушателей предлинным стихотворением собственного сочинения, единственным достоинством которого было то, что, несмотря на обилие строф, оно обрушилось на толпу, как дождь из ведра, который тут же и миновал. Не дождавшись от ошеломленной публики аплодисментов, бард высоко поднял свой карабин – приветствуя или угрожая, так и осталось

неизвестным, и гордо удалился, уступив место музыкантам.

---

\* Даниэл Варужан (псевдоним Даниэла Чыпукьяна, 1884-1915) – поэт, классик армянской поэзии. Родился в селе Бргник близ г. Себастии в Западной Армении. Учился в Венецианском Мурат-Рафаэляновском училище (См. Мхитаристы), затем в университете г. Ганта в Бельгии. По поэтике примыкал к символизму. Варужан – живописец в поэзии, создает выпуклые и пластичные образы. Воспевая древность, язычество (знаменитая поэма «Наложница»), Варужан осуждает слабость и бездействие угнетенных в мире насилия. Замучен и убит турками во время геноцида в 1915 году.

---

За этим последовала лучшая часть праздничной программы. Сначала постеснявшись немного, молодые люди в конце концов встали в пары и отплясали всем хорошо знакомые танцы горцев – дардз-пар и болор-пар. Габриэл увлек на площадку и Жюльетту, однако не прошло и минуты, как она запросила пощады, – этих танцев она не танцует. Гонзаго и Гранту Восканяну она тоже отказала. Молчуну, должно быть, было немного легче получить отказ оттого, что «неженке» было тоже отказано. Зато Искуи протанцевала с Габриэлом весь болор-пар до конца. В прыгающих Отблесках костра девушка казалась радостной, щеки порозовели, хотя никогда еще она так не страдала от своего увечья, как в этот вечер.

Габриэл довольно скоро возвратился на позиции Северного сектора. Мало-помалу разошлись по домам женщины. Зато молодежь еще долго веселилась, не забывая подбрасывать хворост в костры. Среди танцоров, как ни странно, отличился своей лихостью Саркис Киликян. Между прочим, несмотря на его мало привлекательную внешность, девушки охотно танцевали с ним. Танцевал он ловко, изобретательно, важно и презрительно склонив над партнершей безжизненное лицо, похожее на маску юного мертвеца. А слабоумный Геворк в упоении кружился между парами. На этот раз в руке он держал не подсолнечник, а ветвь мирты.

Такова набросанная в грубых чертах жизнь, какой она была первые две недели на Муса-даге. По сути, здесь было все, что составляет и жизнь всего человечества. Народ пребывал в пустыне среди пустоты. Смерть окружала его, не оставив ни единой лазейки, и лишь мечтатель способен был надеяться на спасение от неминуемой гибели.

Краткая история мусадагского народа развивалась по закону наименьшего сопротивления. Этот закон навязал ему и обобществленную экономику, с которой большинство так или иначе мирилось. Больше остальных страдали от

реквизиции собственности богачи-скотоводы. Совершенно очевидное соображение о том, что при депортации они лишились бы не только собственности, но и жизни, мало утешало их. Даже теперь, когда жить оставалось несколько недель, если не дней, эти люди делали все, лишь бы отличиться своим образом жизни от серой массы. Несмотря на ежедневно преодолеваемые трудности, тоска людей по радости и увеселениям, даже по духовным ценностям оказалась неистребимой. Был, например, и такой человек, как аптекарь Григор, – таких, между прочим, не везде встретишь! Сей великий стоик и под занесенным над ним кровавым мечом черпал познания не столько из любимых книг, сколько из плодотворного ничто.

Вокруг пустыня. Смерть караулит на границах. Но, защищенный валами, народ чувствует себя удивительно надежно: он и ссорится по пустякам, и поет, и танцует вечерами. Жизнь берет свое! Возврат в долину, в те райские доисторические времена, из которых это крохотное человечество, не знавшее за собой никакой вины, изгнано чудовищным приказом высшей правительственной инстанции, – немыслим.

Возврат был немыслим. Но среди этого народа нашлись замечательные люди, дарованные ему провидением в час горчайшей беды. Этим выдающимся личностям, этим бесстрашным вожакам удалось в какой-то мере устроить жизнь на горе Моисеевой так, что доверчивые души окрылились надеждою: нет, судьбе не покорить наших вождей, скорей вожди наши покорят судьбу!

В центре поселка возвышался алтарь. И когда над ним в последний час ночного патруля незадолго до рассвета совершали свой Круг поблекшие звезды Млечного пути, будто алтарь этот был центром и вершиной вселенной, тогда на высшей ступени алтаря можно было видеть коленопреклоненного Тер-Айказуна, припавшего лицом к страницам раскрытого требника. А был Тер-Айказун человеком, знающим жизнь, и скептиком. Но потому именно он так истово и вбирал в себя все могущество молитвы – ведь если никто не верит в спасение, то вардапету одному и последнему перед лицом творящегося вокруг надлежит воплотить в себе всю веру в чудо, в непостижимое, веру в избавление от смерти. И к этой горы двигающей вере и рвалась душа Тер-Айказуна в столь одинокой и стыдливой молитве.

Постепенно Жюльетте удалось переломить себя; отныне она вела совсем иную жизнь. Вставала рано, до восхода солнца, быстро одевалась и спешила на помощь Майрик Антарам, раздававшей молоко. Затем почти бегом – в лазарет, к больным. И не милосердие двигало ею, а куда как более трудная попытка подчинить себя чуждой среде, стать «как все». Другого выхода у нее не было. Габриэл оказался прав. Никому не дано жить в человеческом обществе, обреченном на гибель, и не поддерживать с ним связь, быть вне его.

Поверхностный наблюдатель мог бы легко ожесточиться против Жюльетты: что ей, собственно, надо, этой надменной женщине? И что это она столь безмерно возомнила о себе, что «и после пятнадцати лет супружества все еще не принимает родину мужа своего? Ведь сколько европейских женщин жило сейчас в этих краях, героически посвятив свою жизнь армянскому народу,

подвергавшемуся унижению и уничтожению. Разве Карен Иеппе\* не прятала в своем доме в Урфе беглецов? Это ведь она встала перед дверью, раскинув руки, и стояла так до тех пор, покуда заптии не убрались, – зарезать датчанку они не посмели. И разве, невзирая на чудовищные трудности, не объезжали страну немецкие и американские диакониссы, добираясь до самой пустыни Дейр-эль-Зор, чтобы оказывать помощь умирающим от голода женщинам и детям, вдовам и сиротам убитых армян? А ведь эти подвижницы не состояли в браке с армянином, не рожали сына-армянина!

---

\* Карен Иеппе – общественная деятельница, всю жизнь посвятившая детям, оставшимся сиротами после геноцида, работала в приюте.

---

Вероятно, подобные упреки и обоснованы, но все же несправедливы. Уж очень несчастна была Жюльетта, и едва ли можно ее упрекнуть в хладнокровии и высокомерии – это был тот человек на Муса-даге, который, помимо того, что разделял общие страдания, страдал еще и от самого себя! Как француженке, ей был свойствен определенный консерватизм. Романцы, при всей их внешней гибкости и подвижности, внутренне неповоротливы и замкнуты. Они, так сказать, законченны в своей форме. Они завершили свое формирование. И если северяне, подобно сгустку туч, все еще полны напряжения и склонности к преобразованиям, то французы в массе своей не любят выходить за порог родины, так же как не любят они и выходить из себя Жюльетта разделяла этот консерватизм своего народа в очень большой мере. У нее отсутствовал дар проникновения в чужое, что подчас объяснялось неуверенностью в себе. Если бы Габриэл с самого начала проявил упорную волю и чуткость, вводя ее в мир своих соплеменников, быть может, все повернулось бы по-иному. Но ведь Габриэл и сам стал парижанином, одним из тех денационализированных людей, для которых Армения была классически завершенной и благородной, но и несколько нереальной страной. Нечастое общение с парижскими армянами, бурные политические споры в год турецкой революции, появление в доме Самвела Авакяна, всего этого недоставало, чтобы привить такой женщине, как Жюльетта, правильные представления о народе, не говоря уже о том, чтобы расположить ее. За все прошедшие пятнадцать лет она усвоила только, что она замужем за гражданином Оттоманской империи. А что значит быть армянином, какую судьбу, какие обязанности это влечет за собой, она с ужасом осознала только в последние недели. Вина в нынешнем состоянии Жюльетты в большой мере лежала на самом Габриэле. Это мстила за себя его безумная любовь к ней, постоянное признание превосходства француженки, всегда с таким тактом

оберегаемой от острых углов, возникающих из-за различия крови. Но зачем было ему в Париже вести себя иначе? Ведь армянин в нем самом проснулся лишь под давлением йогонолукских обстоятельств. Не раз вспоминались ему теперь слова Рифаата Берекета: «Раз ты на ней женился, то она отныне принадлежит твоему народу и не свободна от его кармы». И Жюльетта действительно была обречена разделить эту судьбу, потому что, если предположить, что она спаслась бы без Габриэла и Стефана, разве не была бы она столь же, а то и более, несчастна?

И в то же время Габриэл и Стефан, единственные близкие люди во всем мире, были сейчас бесконечно далеки ей, будто между нею и ими простирался целый океан. Да, оба они почти совсем не интересовались ею, с каким-то плохо скрываемым осуждением смотрели на нее. Ни тот ни другой не выказывали любви к ней.

Нет, не любили они ее! А прочие? Народ ненавидел ее. Жюльетта замечала это по каменным лицам, по внезапно наступавшему молчанию, стоило ей появиться среди людей. Недоброжелательные взгляды кумушек обжигали ей спину, когда она проходила рядом. Мухтарша Кебусян, эта шпионка, могла заискивать перед ней сколько угодно: Жюльетта чувствовала – ей ставили в укор ее обособленность и даже уход за больными, но главное – Три Шатра. Об их сказочных богатствах, об изобилии лакомств и яств, будто бы хранящихся у Багратянов, ходили самые невероятные слухи. Ненависть к иностранке, смехотворная зависть преследовали ее всюду – в этом Жюльетта ни минуты не сомневалась. И что мог изменить снобизм и преклонение двух таких чудачков, как Шатахян и Восканян, кичившихся то подобострастной болтовней, то надменным молчанием, как только они оказывались вблизи нее. Добра к ней была только Майрик Антарам. Но этой доброты Жюльетте было недостаточно. Да и доброта ли это была – скорее сострадание большой женской души, смилостивившейся над горем притесненной сестры. А Искуи? Здесь наметилась своеобразная дружба старшей и младшей. И все же Искуи была самой чужой из всех чужих. Она более, чем женщины из народа, оказалась средоточием всего непреодолимо чужого.

В эти дни Жюльетта была невыносимо одинока, ее охватило чувство полной покинутости. Ее – царственно блистательную владычицу, всегда вызывавшую всеобщее восхищение, – теперь ее только терпели, и того хуже – не уважали. Ей даже казалось, что из-за этой общей недоброжелательности она день ото дня дурнеет. Она уже не следила за своей внешностью – она стыдилась обычной своей опрятности и аккуратности. Ужасная усталость давила ее. Что это было – мания преследования? Казалось, эти армянские глаза смотрят на нее с упреком, как на виноватую. Это породило новые мучения – Франция! Известия о положении на фронтах были все почерпнуты из турецких газет, к тому же недельной, а то и месячной давности. Потому-то Жюльетта знала только о поражениях Франции – она знала, что армия врага продвинулась к самому сердцу ее родины. И ею, всегда думавшей только о своих близких, ею, у которой политика, судьбы человечества вызывали только скуку и никогда не



трогали, ею вдруг овладела снедающая тревога за отечество. И мать, хотя они никогда не понимали друг друга, и сестры, с которыми она жила в раздоре, все чаще являлись ей во сне, они целиком завладели ее ночами. Мать она почему-то всегда видела лежащей на смертном одре. Будто Жюльетта поехала к ней на каком-то ужасном поезде, а он застрял на Гар де л'Эст, и она, босая, полураздетая, почему-то в турецком халате, бежит по бесконечным переулкам к маминому дому. Умиравшей все время удавалось как-то очень ловко отворачивать застывшее лицо от дочери, как та ни старалась поймать мамин взгляд. И не только мама и сестры, но даже зятя – один из них чиновник в морском министерстве, другой – инженер – делали вид, что обижены, и вроде бы имели на это полное право, потому что были оба тяжело ранены. Во сне являлись и подружки из пансиона, они нагло не замечали ее, хотя она вставала перед ними на колени. Время от времени снился покойный отец, элегантный, как всегда: в черном сюртуке, в черных лайковых перчатках и с красной ленточкой Почетного Легиона в петлице. С удивлением он смотрел на нее, без конца повторяя свое излюбленное: «Нет, так не поступают!»

Чем страшней делались ночи, тем аккуратней ходила Жюльетта на работу. И совсем не потому, что старалась быть «человечной», как ей советовал Габриэл, нет, просто ей хотелось избавиться от своего одиночества, преодолев ощущение покинутости. Работе она отдавалась целиком. Побеждая отвращение, она склонялась к больным, уже бесчувственным старикам, лежащим на жестких подстилках, раскутывала горевшие в жару тела, очищала их от грязи, омывала их лица туалетной водой и протираливами, что у нее еще оставались. Да, в эти дни она жертвовала многим. Она отдала почти все свое белье, из простыней нарезала пеленки для грудных детей и бинты для раненых. Себе она оставила только самое необходимое. Но как ни старалась Жюльетта, рыбы глаза мечущихся в жару больных и непроницаемые взоры здоровых не вспыхивали благодарностью, в них не было никакой признательности к ней – чужачке. Даже Габриэл ни единым словом никогда не похвалил ее. Всего десять дней назад он был ее рыцарем, а теперь – она лишь балласт для него. Всеми оставленная и покинутая, она обречена умирать здесь наверху, на Муса-даге, куда более одинокая и несчастная, чем все самые несчастные.

В такие часы, безмерно жалея себя, она старательно утаивала от самой же себя, что не всеми она покинута. Как-то заметив выражение потерянности в глазах Жюльетты, Гонзаго уже не отходил от нее. Он удвоил внимание и всегда был поблизости, когда она нуждалась в помощи или поддержке. Она видела в нем сына француженки, ровно себе, что-то вроде дальнего родственника. Но вот уже несколько дней установившемуся между ними доверию стало что-то угрожать. Гонзаго, как и прежде, не переступал границ. И все же, несколько не утратив благоговения перед нею, он впервые дал ей почувствовать свою страсть. И именно это постоянное пребывание на грани, эта близость без прикосновений смущала Жюльетту. Она стала много думать о Гонзаго, тем более что, несмотря на полуфранцузское происхождение, он чем-то внушал ей ужас. Люди, которые всегда держат себя в руках, которые умеют бесконечно

ждать, действительно вызывают ужас. К тому же Гонзаго принадлежал к тому разряду людей, которые от возбуждения не краснеют, а бледнеют.

Все началось с того, что Гонзаго постепенно стал утрачивать свою молчаливую сдержанность, причину которой Жюльетта так никогда и не поняла. Теперь он уже не упускал случая рассказать ей о своей жизни.

Каждое утро Жюльетта по три-четыре часа проводила в лазарете, до тех пор, пока все больные не пообедают. К этому времени являлся Гонзаго, чтобы проводить ее к Трем шатрам. Если Жюльетта задерживалась, он терпеливо ждал. Его внимательный взгляд всюду следовал за ней. Это было как некий частокол, из которого ее не выпускали. Стоило ей подчас намеренно задержаться, как он, нежно приблизившись, шептал:

– Довольно, оставьте все как есть, Жюльетта. Вы слишком хороши для такой работы. Она вредит вам.

Настойчиво, но мягко он заставлял ее уйти из лазарета. Она охотно следовала за ним. Так как Гонзаго не нес никаких обязанностей в лагере, да и не просил о таковых у Совета, он использовал свой досуг, чтобы на морской стороне Дамладжка находить живописные тропинки, обзорные площадки и просто места, где можно хорошо отдохнуть. Не раз он утверждал, что они там так же хороши, как и пресловутые красоты Ривьеры. И теперь ежедневно Жюльетта и Гонзаго сидели здесь, в защищенных от ветра, тенистых или солнечных уголках этой самой «Ривьеры», – скрытая от плоскогорья широким поясом миртового, рододендронного или арбутусового кустарника, она тянется вдоль скал, срывающихся в морскую пучину. Оба они при этом чувствовали себя бесконечно одинокими. Да и кто о них, чужестранцах, хотя бы вспомнил здесь?

В этот день, четырнадцатый день августа и пятнадцатый Муса-дага, Гонзаго казался каким-то другим, необычным. Никогда еще Жюльетта не видела его таким печальным, таким по-мальчишески меланхоличным, таким бесцельно отрешенным. Глаза его, в которых не

было дали, даже когда он смотрел вдаль, устремились, как полагала Жюльетта, в бесконечное. На самом же деле Гонзаго смотрел в совершенно определенную точку, правда скрытую выступом горы. В мыслях он рыскал по устью Оронта, там, где сверкали на солнце огромные здания винокуренного завода. Потому-то вопрос Жюльетты, отвечавший скорее ее, а не его состоянию, и оказался так некстати.

– Вы тоскуете по родине? – сказала она.

Раздался короткий смешок, и она, к стыду своему, поняла всю бессмысленность своих слов. Она вспомнила его биографию – он рассказывал эпизоды своей жизни с легкой иронией, так, будто был их участником только наполовину.

Отец – афинский банкир, мать – француженка-гувернантка. Когда мальчику не исполнилось и четырех лет, произошла катастрофа. Папа улизнул в Америку, а жену с ребенком на руках и без денег – бросил. Однако мама, все еще любившая беглеца, переправилась через океан с маленьким Гонзаго,

претерпев при этом немалые трудности. Правда, ей так и не удалось отыскать отца своего ребенка, но во время погони за ним она нашла себе мужа. Это был уже пожилой фабрикант зонтов из Детройта, который, женившись на маме, усыновил и ребенка.

– Потому-то я и могу, – признался Гонзаго, – с полным правом называть себя двумя именами. Впрочем, нахожу, что имя Гонзаго Мак-Веверлей при моей внешности звучит неправдоподобно. Оттого я и предпочитаю – Гонзаго Марис.

Объяснил он свой выбор фамилии ни разу не улыбнувшись. Бедной матери Гонзаго брак с фабрикантом зонтов так и не принес счастья. Они развелись и ей пришлось покинуть детройтский дом, а Гонзаго переправляли из одного интерната в другой, пока ему не исполнилось пятнадцать лет. Примерно в то же время – так, должно быть, распорядилась судьба – он узнал своего настоящего отца, который вновь несколько поправил свои дела. Оказывается, его мучила совесть – ведь мать Гонзаго умерла в одной из нью-йоркских больниц для бедных. Сына он, снабдив деньгами, отправил в Афины к родственникам. О последующих годах Гонзаго рассказывал чрезвычайно скупое. Они были не хороши и не дурны и уж вовсе не интересны. И лишь гораздо позднее, после жалкого детства и отвратительной юности, уже в Париже он, наконец, нашел себя. То есть он в себе обнаружил весьма скромные и, пожалуй, даже заурядные способности, благодаря которым ему все же удалось пробиться в этом мире. Вот уже долгие годы он живет в Турции, – это после того, как ему с помощью родственников отца удалось устроиться в Стамбуле и Смирне. В Стамбуле он снабжает материалом корреспондентов американских газет, поставляя им сведения о положении в стране и очерки о жизни населения. Когда же дела идут не очень хорошо, он подвизается в качестве регента хора в небольших итальянских оперных труппах или, случается, венских опереточных. Недавно он в Пера подписал контракт с антрепренером кабаре, обязавшись сопровождать в гастрольных поездках по самым глухим уголкам Турции группу третьеразрядных танцовщиц и певиц.

Все это звучало вполне правдоподобно. Да и зачем было лгать, когда речь шла о столь банальных вещах, чем тут хвастать? Гонзаго так небрежно рассказывал об этих эпизодах своей жизни, как будто все это было недостойно внимания и ниже егто подлинной жизни, о которой так красноречиво говорили его глаза, когда он не сводил их с Жюльетты. Она верила рассказанному, и все же это ей казалось одновременно возможным и невозможным. На минуту она даже заподозрила, что у Гонзаго для каждой женщины приготовлен особый рассказ о своем прошлом, и верно, одинаково бесцветный.

– Сколько женщин было в той труппе, которую вы сопровождали до Александретты?

Вспоминать об этом Гонзаго было, по-видимому, неприятно, потому что он ответил несколько раздраженно:

– Восемнадцать или двадцать.

– Вероятно, среди них были и молодые и хорошенькие? Вы были близки с

кем-нибудь из них, Гонзаго?

Он с удивлением отмел подобное подозрение:

– Артисты ведут жизнь трудную и трезвую. Для кокоток же любовь – это работа, и они не растрачивают ее даром.

Однако любопытство Жюльетты не так легко было удовлетворить.

– В Александретте вы пробыли несколько месяцев. А ведь это очень маленький и грязный портовый городок.

– Александретта не так уж жалка, как вы ее себе представляете, Жюльетта. Там живет несколько культурных армянских семей, дома их красивы, утопают в садах.

– Я поняла вас – причина столь длительного вашего пребывания в Александретте таится в одном из этих домов...

Гонзаго не стал отрицать, что там ему действительно нравилась одна молодая дама, из-за нее он порвал контракт с кабаре. Странное дело: при упоминании о молодой даме Жюльетта вдруг представила себе Искуи, но почему-то раздетую, накрашенную и увешанную драгоценностями, что вовсе не вязалось с ее подлинным обликом. Гонзаго же не распространялся более о молодой даме, заявив, что все это было ошибкой и давно забыто и заброшено. Да и был в этом всего лишь один смысл – через Бейлан ему открылся путь в Йогонолук, путь к вилле Багратянов.

Когда Жюльетта думала о Гонзаго, ее собственное положение казалось ей не таким уже чудовищным. Ведь нельзя было даже представить себе более бездомное существо. Он сидел рядом, печальный, как застывшая пустота, как остекленевшая глыба. Это он решился разделить несчастную судьбу Жюльетты, решился не требуя благодарности, будто это была простая галантность, о которой и речи не стоит заводить. В самом деле, что ему было здесь делать? И зачем эти слова «тоска по родине» выскользнули у нее только что, зачем? О какой родине ему было тосковать? Ведь он смотрит в никуда. Теперь-то Жюльетте стало ясно, почему у этого молодого человека, так уповавшего на свою память, не было никаких воспоминаний. Этот молодой человек с его напряженной сдержанностью, оказавший ей столько любвеобильного внимания, – его никогда не любили. Совсем юноша, он сидит рядом на гладкой скале, сидит близко-близко к ее плечу, к коленям, но не касается ее, оставив какой-то намек на расстояние между нею и собой. Расстояние это, рожденное добродетелью и самообладанием, жгло, как острие ножа. В сердце Жюльетты вспыхнула опаснейшая и сладчайшая жалость.

– Гонзаго, – сказала она и ужаснулась трепету в своем голосе.

Он медленно повернулся к ней. Это было подобно сиянию. Она тихо взяла его руку. Только погладить. Не сделать этого она уже не могла. Лицо и губы потянулись к нему. И глаза Гонзаго потухли. Еще раз вспыхнул выжидательным вниманием его взор и угас. Он дал ей приблизиться вплотную и вдруг рывком привлек к себе. Она застонала от его поцелуя. Прошла целая юность верной жены, а она так и не узнала, сколько неведомого сладострастия можно было в ней пробудить. И тут же ужаснейшая боль, способная расколоть

голову, сразила ее. И это была та же чудовищная боль, которая пронзила ее, когда Гонзаго в гостинной так мрачно играл на рояле. Она оттолкнула его, чтобы собрать силы для отпора. Возникла мысль: «Не он же взял мою руку, я – я взяла его руку в свою. Теперь я в его власти». И следом другая мысль: «Это он намеренно довел меня до того, что я буду во всем виновата». Но в тот же миг все силы для отпора иссякли. Прижав Жюльетту к груди, Гонзаго целовал ее. Головная боль растаяла от ощущения невыносимого блаженства. Пурпурный мрак окутал ее, но далеко-далеко виднелась тончайшая полоска света: я погибла. Ибо только теперь в своих поцелуях этот сдержанный молодой человек, этот нежно-внимательный слуга стал подлинным Гонзаго: нет, не дитя пустоты, а неподозреваемая сила, способная дарить и счастье, и несчастье. Его губы высосали из нее тайну, неведомую ей самой, тайну благодатную и мстительную.

Он отпустил ее, только когда раздался чудовищный крик. Вспугнутые, они отпрянули друг от друга. Приступ сердечной слабости, казалось, вот-вот лишит Жюльетту чувств. «Волосы у меня не в порядке», – подумала она, пытаюсь поднять ставшие будто чугунными руки. Но что это за крик? Гонзаго поддержал ее. Они пошли в направлении, откуда неслись крики. Всего несколько шагов они сделали, и он понял:

– Это ослы! Они взбесились!

И впрямь, когда Жюльетта и Гонзаго подошли к коновязи, где обычно стояли верховые лошади и вьючные ослы, их взору представилось нечто кошмарное. Работяги-ослы превратились в каких-то диких сказочных чудовищ: они рвали поводья, вставали на дыбы, плясали на задних ногах и бросались во все стороны. Из пасти била пена, в глазах – остекленелый ужас. Должно быть, какое-то безумное видение привело твари в такое состояние. Однако это было не бешенство. Инстинкт заставил животных возвестить о близкой беде таким своеобразным образом. Где-то далеко-далеко, по ту сторону Северного седла прогремел глухой удар, несколько мгновений спустя что-то зашуршало в небе, тут же раздался резкий хлопок, и южнее Котловины Города на небольшой высоте распустилось белоснежное облачко. Ослы разом умолкли. Что-то нежно посвистывало, тихо повизгивало вокруг. Люди выбежали из шалашей. И только очень немногие поняли: это легкое облачко над горой было разрывом шрапнели.

Орудийный выстрел застал врасплох и Габриэла.

Он очень устал – последняя ночь прошла без сна. То и дело поступали тревожные сообщения. Вне всякого сомнения, две прошлые ночи вблизи лагеря побывали турецкие разведчики. Они старались просочиться через цепь постов. Это и заставило Багратяна назначить на следующую ночь общую готовность и усилить патрульную службу. Когда он в полдень присел на скамью возле своего командного пункта, решив хотя бы на минуту передохнуть, ему привиделся мучительный сон наяву: Жюльетта лежит мертвая на широкой кровати в парижской спальне. Почему-то она лежит поперек, и она не только мертва, но и заморожена. Какой-то комок бледно-розового льда. Чтобы

растопить труп жены, ему надо лечь рядом...

С трудом он стряхнул с себя это видение. Совершенно ясно, что он вел себя дурно по отношению к Жюльетте. Трусость заставляла его избегать жены, и один бог знает, как давно все это началось! И если долг, весь образ жизни не оставляет ему ни одной свободной минуты, то это все же не освобождает его от укоров совести. Потому-то Габриэл и решил на вечер передать командование Нурхану Эллеону и провести вторую половину дня с Жюльеттой.

Но в палатке Габриэл ее не застал. Из своего шатра как раз вышла Искуи: брат Арам пришел к Овсанне, и Искуи не хотела мешать супругам. Габриэл попросил Искуи побыть с ним до прихода Жюльетты. Они сели на подстриженную траву площадки Трех шатров. Габриэл напряженно думал о том, что же такое изменилось в Искуи? Да, да, на ней не было подаренного Жюльеттой платья. Искуи была в просторном одеянии из светлой, легкой материи в красных цветах, высокая талия производила несколько старомодное впечатление, и все же это было совсем непохоже на местные платья. Хрупкая фигурка Искуи всегда казалась Габриэлу жалкой, придавленной печалью. А пышное платье придало ей нежно парящую полноту и скрыло парализованную руку. «Никогда еще ее серьезное лицо не светилось так открыто, – подумал Габриэл. – И как идет ей эта шелковая шаль, которую она, прикрываясь от солнца, накинула на голову». С удивлением Габриэл отметил довольно крупные, чувственные губы Искуи. «Красная вуаль подошла бы ей», – подумалось ему. А так как день сегодня у него был такой усталый и мечтательный, в его сознании проснулись картины той далекой пражизни, и...

...Йогонолук. Дом деда. На мягкой траве в парке уже разостлана белая камчатная скатерть. Время завтрака. Все почтительно ждут Аветиса Багратяна. Это первая торжественная трапеза дня. Из серебряного чайника на треноге идет пар. В корзинах – горы абрикосов, винограда, на плоских блюдах – дыни, в деревянных мисках свежие яйца, мед и абрикосовый джем. Под сверкающей белизной салфеткой – хлеб лаваш, который хозяин дома преломит после молитвы. Габриэлу восемь лет. На нем энтари, похожее на то, которое теперь носит Стефан. Только бы скорее этот завтрак кончился! Он сразу побежит на Муса-даг. И чего только там не увидит! Он не отводит глаз от скатерти- а вдруг под нею змея? И огромная! Золотистое шуршание предвещает приход старца. Но ни его золотого пенсне, ни его белой бородки, черно-желтого жилета, красных сафьяновых туфель – ничего этого не видно, образ его скрыт, хотя, казалось, он все заполняет собой. Вместо этого Габриэл видит, как присутствующие женщины закрывают лица покрывалом и почтительно отворачиваются. Так оно и положено.

Что это? Подлинное воспоминание или же неверно сотканная из обрывков воспоминаний фантазия? Габриэл не в силах ответить на этот вопрос. Но почему-то Искуи воткана в ковер его воспоминаний. Она сидит напротив на земле. Углубившись в созерцание ее лица, он только долгое время спустя понимает, что надо что-то говорить.

– Искуи, что вы сказали этому чудовищу, Стефану?

Она разводит пальцы здоровой руки – жест неудовольствия и неодобрения.

– Я пришла в ужас, господин Багратян, и совсем отчаялась – ведь он это сделал ради меня.

Габриэл помедлил.

– Разумеется, я тоже ужаснулся. Страшно подумать, чем могла кончиться эта глупая мальчишеская выходка. Но, слава богу, все обошлось. Это предостережение для меня. Надо больше уделять внимания мальчику. Но как? Это ужасный возраст!

– Да, да, надо больше заботиться о нем. Одному небу известно, что с ним происходит, – сказала Искуи тоном опытной учительницы.

– Не только небу, Искуи. Я тоже могу себе хорошо представить, что с ним происходит... Не будь он моим сыном, мне бы его выходка даже понравилась.

Дав отзвучать этому признанию, он после небольшой паузы сказал:

– А ваша библия, Искуи? Она действительно стоит такого безумства?

Искуи вскочила.

– Я ее очень люблю. Мне подарил ее Арам. Показать вам? Подождите минутку.

Не дожидаясь ответа, она исчезла в палатке. Вернувшись с книгой в руках, она подсела поближе к Габриэлу. Под мягкой тканью платья обозначились остренькие коленки. Она хотела уже раскрыть книгу, однако задержалась:

– Художественной ценности она не имеет. Но все же мне нравятся иллюстрации.

Габриэл совсем не смотрел на библию, он не отрывал глаз от ее губ.

– Вы, должно быть, любите своего брата больше всех на свете?

Вопрос прозвучал как упрек. Искуи наугад раскрыла свою любимую книгу и ответила сухо, словно стесняясь своих чувств:

– Мы с Арамом очень привязаны друг к другу. Я не могла бы себе представить жизнь без него.

Она пододвинулась к Габриэлу и показала первую картинку, чтобы и он мог полюбоваться ею. Чуть близорукий, Габриэл наклонился над томиком, изданным, должно быть, еще во второй половине прошлого столетия. Выдержанные в светлых тонах, детские картинки поистине обладали некоторой притягательностью. Изящные фигурки, косенькие страдальческие лица – все это напоминало средневековые издания евангелия. Однако иллюстрации не отличались благочестием. Армянский художник в соответствии с душевным состоянием своего измученного народа отдавал предпочтение патетическим, мрачным и безысходным сюжетам, особенно это относилось к Ветхому завету. Изгнание из рая! Огненный меч был скорее похож на турецкий ятаган, а головное украшение архангела – на тюрбан с алмазами. Или – Каин убивает Авеля. Гаснущий огонь оскверненного алтаря создает некое сатанинское освещение.

Когда Габриэл Багратян дошел до принесения в жертву Исаака, разорвалась первая турецкая шрапнель – всего в нескольких ста метрах южнее Котловины Города. Огромными прыжками Габриэл бросился вниз. По пути ему

встретился доктор Алтуни верхом на осле. Старик тут же слез. Багратян так нещадно обрабатывал осла палкой и каблуками, что тот сверх всяких ожиданий довольно быстро домчал его до Северной позиции.

На этот раз турки подготовились к атаке хитрее и профессиональнее. Поход возглавил сам бинбаши, военный комендант Антиохии – тот самый добродушный пожилой господин с сонными глазками и пунцовыми, младенческими щечками. Странно, но его заместитель, столь решительный юзбаши, как раз на эти дни взял отпуск и уехал в Алеппо – подальше от какой бы то ни было ответственности. А так как на совещании призывам к сдержанности и рассудительной умеренности ни каймакам, ни юзбаши не вняли, бинбаши ничего другого не оставалось, как ускоренными темпами готовить поход на Муса-даг. Раздражение и ожесточенность, вызванные его противниками, придали действиям обычно весьма беспечного человека неожиданный размах. Весь день он не выходил из здания телеграфа в Антакье. Аппарат Морзе отстукивал сигналы в трех направлениях – Александретты, Алеппо и Эскере. Необходимо было поставить на ноги все небольшие гарнизоны этих городов, в том числе и жандармерию. За одни сутки старик-бинбаши мобилизовал внушительную силу, примерно в тысячу штыков и два орудия. Это были две регулярные роты, дислоцированные в Антиохии, еще два взвода того же полка, стянутые из небольших населенных пунктов, полубатарей, прибывшая на этих днях в гарнизон, полная рота заптиев и, наконец, большой отряд четников – горцев из-под Хаммама. В эти же дни разведка обследовала, хотя и не очень добросовестно, позиции на Дамладжке. От слухов о двадцати тысячах армян с пулеметами не осталось и следа. Силы, находившиеся в распоряжении бинбаши, настолько превосходили противника, что казалось, ликвидация армянского лагеря – дело нескольких часов. Главным условием намеченной тактики старого бинбаши были скрытый подход и внезапный штурм лагеря. И то и другое, то есть незамеченный подход и неожиданная атака, превосходно удались. Все наблюдатели на Муса-даге были обмануты.

Бинбаши разделил свои силы примерно на две равные части, которым предстояло действовать вполне независимо друг от друга. Одна часть в ночь на четырнадцатое августа при соблюдении строжайших мер предосторожности двинулась маршем в направлении местечка Суэдия и расположилась лагерем, рассредоточив своих людей на развалинах Селевкии, под Южным бастионом Дамладжка. Другая же часть, которой непосредственно командовал сам бинбаши и при которой находились обе гаубицы, некоторое время двигалась по дороге Антиохия-Бейлан в северо-западном направлении, а затем повернула и стала подниматься в горы, используя тропинки скотогонов. И тут-то в плане бинбаши обнаружилась первая брешь. Тяжелые полевые гаубицы продвигались вперед с большим трудом, артиллеристы, держась за спицы, помогали как могли. Другие солдаты все пятнадцать миль горного подъема несли на руках тяжелый сошник, снятый с передка орудия, и порядком устали. Вьючные ослы, как тягловая сила для артиллерии, оказались никуда не годными. В результате –



опоздание на десять часов. Эта группа, вышедшая в поход на полдня раньше первой, вместо того чтобы прибыть на место назначения в ночь тринадцатого августа, прибыла к Северному седлу к полудню четырнадцатого. Таким образом, концентрированное наступление двух групп, намечавшееся на рассвете с двух сторон одновременно, не состоялось. Капитан, командовавший южной группой, и залегшие среди руин солдаты, которым не разрешалось поднимать головы, были совершенно измотаны как тщетным ожиданием сигнала к атаке (первый выстрел гаубицы), так и изнуряющими лучами беспощадного солнца. Но северная группа оказалась в еще более трудном положении: она проделала пятнадцатичасовой марш-бросок без сна и отдыха. Бинбаши следовало бы сказать себе: дам-ка я сегодня людям отдохнуть и сообщу капитану в Суэдию, что атака переносится на следующее утро. Учитывая характер старого бинбаши, можно было поставить сто против одного, что именно такое решение он и примет. Но случилось как раз противоположное. Медлительные люди часто бывают нетерпеливы. Если уж они попали в нежелательную обстановку, им не терпится избавиться от нее. Бинбаши приказал мюлазиму артиллерии немедленно приготовить гаубицы для ведения огня, после чего спешно выдал довольствие людям и уже час спустя повел свою роту в наступление на армянские позиции у Седла. На достаточно безопасном расстоянии солдаты стали скапливаться в лощинках, за деревьями и скалами, стараясь не производить ни малейшего шума. Старик бинбаши, дослужившийся до этого звания в мирное время, не обратился к своим людям с пламенной речью – он ругался про себя на чем свет стоит. При этом его проклятия сыпались на голову каймакама, и юзбаши, и на генерала, командующего тылом, который выделил ему вместо горных орудий тяжелые, неповоротливые полевые гаубицы, но пуще всех он проклинал его превосходительство командующего армией Джамал-пашу, называл его черным горбатым лгуном. Все эти политические чиновники Иттихата, по его мнению, были паршивыми изменниками и предателями. Это они были зачинщиками заговора против старого султана, а нового посадили во дворце под замок. Какие-то смехотворные нижние чины сами себя производили в генералы, назывались превосходительствами и пашами. Раньше бы они и до юзбаши не дотянули! Да и за весь позор с этими армянами тоже следует благодарить иттихатских свиней! В золотые времена Абдул Гамида, бывало, устраивалась резня этих христианских собак, но учинял ее, разумеется, не такой высокопоставленный штабной офицер, как он – бинбаши.

Усталый, раздосадованный бинбаши ждет сигнального выстрела. Лейтенанту-артиллеристу он приказал дать сначала несколько залпов по шалашам армян. Но оказалось, что даже так называемые генштабовские карты этой иттихатовской сволочи никуда не годны, а ведь по ним надо рассчитывать траекторию, устанавливая разрыв шрапнели над Дамладжком. Бинбаши предполагал, что обстрел лагеря вызовет панику среди женщин и детей, а это подорвет боевой дух мужчин.

Расчет, надо сказать, был не так уж неверен. Артиллеристам скорее

повезло, не то что они так уж правильно рассчитали: из двенадцати снарядов три шрапнели разорвались над Котловиной Города. Разрывы эти не только произвели разрушения, но и ранили трех женщин, одного старика и двух детей, к счастью легко. Прямое попадание в амбар вызвало пожар и уничтожило последние остатки муки, табака, кофе, риса и сахара. Амбар полыхал ярким пламенем и следует считать милостью господней, что огонь не перекинулся на стоявшие поблизости шалаши. Замешательство среди жителей лагеря было столь же велико, сколь невосполним был урон, нанесенный лагерю. Однако на бойцов из дружин артиллерийский налет подействовал как удесятенный сигнал тревоги. Все, кто был свободен от службы, бросились к своим постам. Нурхан Эллеон за какие-то считанные минуты привел оборонительные позиции в состояние полной боевой готовности. Группа юных разведчиков и связных ожидала приказа позади окопов.

Когда Габриэл Багратян, совершенно запыхавшись, прискакал на место, все участки были уже готовы к отпору врага. Несколько минут спустя поступило первое донесение из Южного бастиона. Нападение турок не вполне удалось. Атака их хотя и была неожиданной, однако никого не застала врасплох.

Для Киликяна и всего Южного бастиона сегодняшний день был знаменательным. Противник не имел ясного представления об этом участке. На широком голом полукружье горного склона с его каменными россыпями, разрушенными террасами не побывал ни один разведчик: сюда они не рискнули проникнуть. Командовавший турками капитан даже не знал, есть ли за острыми пиками скал этой горной башни-вершины армяне или нет. Жители густонаселенных долин Оронта, потревоженные горной войной крестьяне Суэдии, Эль-Эскеля и Эдидье говорили, что уже много дней, как за этим венцом острых пиков не наблюдается никакого движения и по ночам не видно костров. Но командир роты был все же достаточно осторожен и приказал разведать армянские позиции на южном склоне Дамладжка, хотя все и говорило, что их там нет. Капитан разбил своих людей на две группы – первой предстояла фронтальная атака, второй – обходный маневр. Первая группа состояла из солдат, вторая – из четников и заптиев. Первая группа сразу же начала подъем, второй предназначалось штурмовать предполагаемые армянские позиции с тыла, там, где гора была обращена к морю, выше горного гнезда Хабасты. Капитан вместо того, чтобы приказать роте рассыпаться по фронту, велел солдатам подниматься вереницей, чтобы при неожиданном огне площадь обстрела была как можно меньше. Развалины Селевкии, где солдаты имели возможность, скапливаясь, надежно скрываться, были расположены на широкой горной ступени метров в триста над уровнем моря. Штурмовавшим предстояло преодолеть голый участок почти такой же высоты, чтобы достигнуть края каменной россыпи, над которой и возвышался Южный бастион. Сам склон, усыпанный камнями, не был столь уж крут, чтобы нельзя было по нему подняться, к тому же на нем можно было укрыться во время подъема. По мнению бинбаши, он был намного благоприятней для проведения

атаки, чем какой-нибудь из лесистых подъемов на Дамладжке, где за каждым деревом или кустом мог скрываться армянин. И еще: продвигаясь по дороге, проходящей через деревни, невозможно было произвести скрытый маневр.

Вопрос о том, кто же, собственно, командует гарнизоном Южного бастиона, так и не был решен. Это, конечно, следует рассматривать как серьезную ошибку в общем плане обороны Багратяна. По его представлениям, этот участок как раз из-за открытого и довольно крутого подъема был менее угрожаем, нежели Северное седло и Дубовое ущелье. Потому он в этот и так довольно многочисленный гарнизон Южного бастиона направил дезертиров и ненадежных, что вполне отвечало его стремлению изолировать их от народа. Командовал сектором старый солдат из Кедер-бега, уставший от службы медлительный человек, которому не под силу было справиться со строптивыми и вспыльчивыми дезертирами. Учитель Восканян, поставленный Военным комитетом верховный надзиратель и комиссар, стремился и здесь ввести школьные порядки, важничал и с первого же дня стал предметом насмешек. Раздражительный, Коротышка не сумел внушить этим прожженным бродягам уважения. А потому, совершенно естественно, бразды правления перешли в руки самой сильной здесь личности, а именно – Саркиса Киликяна.

После столкновения с Багратяном Киликян, очевидно, как-то внутренне изменился. Он уже не разыгрывал из себя независимого гостя, по своей прихоти терпевшего эту жизнь на горе. Нет, он беспрекословно подчинялся всем правилам военного положения. Более того, на своем участке он показал себя весьма изобретательным военным инженером. Все эти дни он без устали возводил из крупных камней оборонительные стены, укреплял их и наращивал и создал таким образом примитивную, однако весьма целесообразную систему, резко повысившую эффективность всей обороны. Позади стен он приказал поставить четырехугольные виселицы из крепких дубовых балок. На каждой из этих виселиц подвесили горизонтально на пеньковых канатах мощное бревно – таран, на одном конце которого укрепили заделанный железом щит. Укорачивая или удлиняя канаты, можно было управлять направлением удара – по стене. Обитый железом щит, когда его оттягивали назад, с громадной силой обрушивался на каменную стену.

С той минуты, когда начался обстрел и наблюдатели сообщили, что турецкая пехота поднимается по склону и уже прошла развалины римского храма, назначенный Габриэлом Багратяном командир из Кедер-бега совсем потерял голову. Припав к бреши в каменной башне, он, вытаращив глаза, смотрел на каменную россыпь впереди и не мог отдать никакого приказа. А Грант Восканян, этот могучий коротышка, побелел, словно бумага. Руки у него тряслись так сильно, что он не в состоянии был вогнать патрон в ствол своего карабина. Всего полчаса назад еще грозный Марс, теперь он не имел даже сил убраться восвояси. Он только плелся за Саркисом Киликяном как послушная собачонка. Стуча зубами, надзиратель искал защиты у надзираемого. А в глазах Киликяна, как всегда, было агатовое спокойствие. Вокруг него, как если бы он был командиром, собрались дезертиры и бойцы дружин. Никто уже не обращал

внимания на старого солдата из Кедер-бега. Киликян говорил мало. В сопровождении своеобразной свиты он обошел оборонительные сооружения, распределяя при этом людей, – кому занять скальную башню, кому оборонительные стены и фланговые укрепления. Позади таранов, на высоких кучах камней было устроено что-то вроде стремянок. Теперь на них поднялось по два человека, чтобы по приказу Киликяна обрушить таран на стену.

Киликян прибег к той же тактике, что и Багратян четвертого августа. Он ждал. Его холодное терпение казалось безграничным. Когда за каменным склоном показались первые турки, он своим допотопным огнивом зажег сигарету. Восканян пыхтел, стоя рядом: «Вот сейчас! Сейчас, Киликян! Давай!» Киликян, одной рукой размахивая пучком пакли, другой удерживал учителя, чтобы тот преждевременно не дал сигнал.

Одолев без особого труда склон и обнаружив лишь покоившуюся в полной тишине гору, турки забыли про всякую осторожность и, сбившись в группы, переговаривались. Вдруг, когда они уже поднялись до половины склона, неожиданно раздался резкий свист. То был сигнал Киликяна. Тараны одновременно ударили по стенам. Поднимая облака пыли, стали обваливаться верхние ряды стен, сложенных из мелких камней, за ними полетели, высоко и грозно подсакивая, крупные известковые обломки, – все это разом обрушилось на турок. Уже первое впечатление было ужасающим. Казалось, сама армянская гора поднялась на жестокий бой, о котором на Сирийском побережье будут помнить и грядущие поколения. Оборонительные стены были возведены в промежутках между природными бойницами огромной скальной башни. Могучие удары таранов потрясли также и естественную известковую корону в самой ее основе. Большие острые обломки скал скатывались по усыпанному камнями склону в долину. Чудовищный обвал, сопровождаемый громовыми раскатами, был подобен невиданному штормовому шквалу, увлекшему вниз всех турок. Казалось, сам Дамладжк сорвался с якоря. Каменный град обрушился на развалины Селевкии, сокрушил колонны, разметал мирные, увитые плющом стены. Целых десять минут чудилось, что гора движется на Суэдию и дальше, к устью Оронта.

Турок, находившихся западнее деревни Хабаста, каменная лавина задела лишь краем. Половина людей спаслась, остальные были убиты, изранены. Сама деревня была частично побита обвалом.

Прошло минут пятнадцать, и наступила мертвая тишина. Сверкая на солнце, каменная россыпь лежала теперь мнимо мирным ковром. Со стороны Северного седла время от времени доносились разрывы снарядов. Когда наконец камнепад кончился, Киликян свистнул во второй раз. Встрепенулись ошеломленные дезертиры и бойцы дружин. Весь гарнизон Южного бастиона под водительством Киликяна прогулочным шагом двинулся вниз по склону, хладнокровно добывая раненых турок и обирая До нитки мертвецов. Процедура проделывалась с чрезвычайной основательностью. Никто из гарнизона Киликяна даже и не подумал о судьбе братьев у Северного седла, а те в это время бились не на жизнь, а на смерть, Саркис Киликян сменил свои лохмотья

на новенький мундир турецкого пехотинца. Не обращая внимания на кровь, оставшуюся на мундире, Саркис, довольный, повертывался так и эдак. Грант Восканян взобрался на высокую точку скальной башни и как сумасшедший палил в воздух, вероятно стараясь доказать таким манером свою причастность к только что одержанной победе. И эта так понравившаяся ему пальба заставила его удивиться: какой же, оказывается, пустяк – храбрость для такого храброго человека, как он!

Ни Габриэл Багратян, ни турецкий бинбаши на другой стороне Дамладжка и не подозревали о чудовищной участи, постигшей южную группу турок. В грохоте сражения оба восприняли гром каменной лавины как посторонний, не имеющий отношения к бою шум.

Здесь, на Северном седле, сражение выдалось тяжелым и неудачным для сынов Армении. То ли судьба благоволила турецким артиллеристам, то ли они и впрямь действовали слаженно, но, во всяком случае примерно за тот час, что они вели редкий заградительный огонь, четыре прямых попадания снесли часть первой линии окопов и на земле лежали три искромсанных трупа и несколько тяжелораненых. Габриэл с трудом спасся от воющих вокруг осколков. Он взмок с головы до ног. Он хорошо понимал, что у него сегодня неудачный день: мысли и решения не возникали легко и свободно. К тому же укор совести обжигал его: можно было вполне избежать таких потерь! Слишком поздно он отдал Чаушу Нурхану приказ об отступлении. И все же у него достало ума провести этот маневр на горной стороне. Дело в том, что туркам удалось посадить на высокое дерево корректировщика, который держал под наблюдением весь участок. Однако скалы справа оказались вне поля его зрения. Турки хорошо запомнили четвертое августа и потому боялись беспощадных, круто обрывающихся к морю скал Муса-дага, – сегодня они не предпринимали никаких обходных маневров.

Обороняющиеся по одному оставляли первую линию окопов и, прячась и прижимаясь к земле, перебежали на запасные позиции. Вторая линия окопов пустовала, так как Габриэл не решился снять людей с флангов. Он был твердо уверен, что турки сегодня предпримут атаку еще в каком-нибудь, третьем месте. Но стоило только подумать о том, что противник может занять вторую линию окопов, как кровь застывала в жилах, – ничто ведь уже не в состоянии будет предотвратить мученическую смерть пяти тысяч человек.

Вероятнее всего, турецкий корректировщик не заметил отхода армян из первой линии окопов. Снаряды рвались теперь над первыми окопами каждую минуту, а так как там никто уже не подавал признаков жизни, бинбаши счел ситуацию созревшей для штурма. Наступила долгая пауза, и вдруг в лесу, на противоположном крыле Седла раздались дикие звуки труб и барабанов. Турецкие офицеры и унтеры криками поднимали солдат в атаку. Крики эти сливались с не очень убедительным ревом самих атакующих. Солдаты были почти все новобранцы из Анатолии, оторванные от деревянных плугов крестьянские парни. Пройдя на скорую руку подготовку, они сейчас впервые попали под огонь. Однако, когда эти парни увидели, что атака не встречает

сопротивления, их охватил дикий угар. Бегом пересекли они усыпанное камнями и колючим кустарником поле и, бессмысленно паля в небо, заняли первую линию окопов.

Бинбаши, увидев, что дело идет на лад, решил, что не следует дать остыть воинственному пылу молодых солдат, приказал занять окопы заптиям, а новобранцев погнал сплошными рядами вперед. Но перенести орудийный огонь тоже вперед он не решился, боясь накрыть своих.

Не только Габриэл Багратян, – все, кто были на второй линии окопов, знали, что поставлено на карту. Жизнь, душа, тело каждого из них были что беспросветная ночь, в которой невыносимо ярким огнем горела только одна точка – мушка, слившаяся с целью. Не существовало уже ни командиров, ни подчиненных, осталось только одно окаменевшее сознание: позади – незащищенный лагерь! Жена! Дети! Мой народ! Да так оно и было. И они ждали. Ждали до тех пор, пока не появилась уверенность: теперь ни одна пуля не минует цели! Первыми стреляли Габриэл и Арам Товмасян. Все дальнейшее произошло уже помимо их воли, вернее сказать, их воля слилась с общей волей. Расстреляв все пять патронов своих магазинов, никто уже не перезаряжал ружья. Словно по единому приказу сыны Армении поднялись из окопов. На этот раз все произошло совсем не так, как четвертого августа. Ни единого звука не вырвалось из плотно сжатых губ. Молча, но всей тяжестью четыреста мужчин всех возрастов навалились на молодых турецких солдат, сразу же стряхнувших с себя хмель боя. Рукопашная схватка один на один. Тут уже никому не помогли длинные штыки маузеровских винтовок, – скоро все штыки валялись на земле. Костлявые пальцы армян нащупывали глотки смертельных врагов, страшные зубы чуть ли не впивались в шеи турок, жаждали испить кровь мести. Охваченные ужасом, солдаты отступали. А заптии, которых старый бинбаши – его розовые щечки стали фиолетовыми, как у пережившего удар, – хотел было бросить в бой, бросили его самого на произвол судьбы. Их старший офицер объявил, что жандармерия не боевое формирование, ее долг следить за порядком, а потому его люди не обязаны бросаться в атаку на вооруженного врага. К тому же заптии подчинены не военным, а гражданским властям. В безумном гневе бинбаши, обычно такой мягкий, пригрозил перестрелять всех заптиев вместе с их старшим офицером. Спросить бы: кто виноват, что они по уши в дерьме? Вонючая свора чиновников и трусов заптиев, героев, когда они расправляются с женщинами и детьми, гордых только грабить, насильничать, красть и убивать беззащитных! Однако ярость не помогла старику. Оскорбленные заптии покинули окопы и поднялись на противоположное крыло Седла. И все же никто не мог бы сказать, чем бы кончилась смертельная схватка, не подоспей в этот час помощь.

Едва весть о чуде – каменной лавине, уничтожившей южную группу турок, достигла Котловины Города, как весь народ охватила неистовая жажда боя. Ни Тер-Айказун, ни Совет уполномоченных уже не могли удержать людей. Греховная заносчивость, озорство овладели людьми, уверенными в божьей помощи. И в это время вестовые сообщили:

«Наши на севере отступают». Резервисты подхватили тямки, топоры. И мужчины и женщины кричали Тер-Айказуну: «К Северному седлу, скорей! Покажем этим псам!» Вардапету ничего не оставалось, как возглавить разъяренную толпу. Все свободные дружинники тоже бросились к Северному седлу. И именно эта беспорядочная сверхсила, со всех сторон обрушившаяся на турок, в течение нескольких минут решила исход сражения.

Багратьян кричал Тер-Айказуну, чтобы он немедленно уводил народ в лагерь. Если гаубицы сейчас откроют огонь, случится непоправимое – снаряды будут рваться прямо среди скопления людей. С превеликим трудом вардапету удалось повернуть возбужденную толпу назад.

Тем временем бойцы, покрытые грязью и кровью, принялись срочно восстанавливать разрушенные участки главного окопа. С минуты на минуту Багратьян ждал разрыва первого снаряда. Нервы его были напряжены до предела. Более часа оставалось до захода солнца.

Но снаряд, воющий звук которого висел в ушах Багратьяна, так и не прилетел. Случилось что-то вовсе неожиданное. На противоположном крыле Седла раздался долгий и длинный сигнал трубы, там возникло какое-то движение, и скоро разведчики донесли: турецкие солдаты ускоренным шагом отходят в долину, притом кратчайшим путем. При последних лучах угасающего дня еще можно было рассмотреть, как турки собирались на церковной площади Битиаса и как бинбаши с несколькими офицерами, на рысях проскочив в Йогонолук и южные селения, погнал лошадей в сторону Суэдии.

День был еще более удачный, чем четвертое августа, да и милосердней. И все же вечером никто ничему не радовался и ничего не праздновал – ни на позициях, ни в Городе.

Принесли убитых. Они лежали в один ряд, покрытые циновками, на ровном лугу. Здесь еще в первый день Тер-Айказун предполагал устроить кладбище – большой слой мягкой земли позволял это. Со дня исхода умерли три старика; свежие могилы были обозначены известковыми глыбами с намалеванными на них черными крестами. А теперь предстояло вырыть сразу шестнадцать могил! К жертвам артиллерийского налета прибавилось восемь убитых в рукопашной, еще пятеро умерли от ран. Рядом с телами павших сидели родные. Но не слышно было громкого плача. Только тихий стон.

Раненых снесли в лазарет: осунувшиеся лица, запавшие глаза. Помещение могло вместить лишь небольшую часть. Старый доктор, которому предстояла пропасть работы, чувствовал, что у него не хватит ни знания, ни сил. Кроме Майрик Антарам, ему помогали Искуи, Гонзаго и Жюльетта. Жюльетта трудилась в этот день с каким-то неистовым рвением, словно хотела возместить недостаток любви к этому народу.

Она принесла из шатра превосходную домашнюю аптеку, составленную еще до отъезда на Восток парижским врачом Багратьянов. Временами Жюльетта пошатывалась, ей казалось, что она теряет сознание, губы ее были без единой кровинки. И тогда она искала глазами Гонзаго. При этом она смотрела на него

не как на возлюбленного, а как на беспощадного судью, заставлявшего ее напрягать последние силы. Здесь же находился аптекарь Грикор, он принес с собой, как и следовало ожидать, все лекарства, какие у него оставались, и, главное, вату и йод – три большие бутылки. Последнее было особенно ценно – йод предотвращал нагноение, им хотя бы можно было обрабатывать раны, заживление или незаживление которых Петрос Алтуни, тихо ворча, вынужден был предоставить природе. Это всеисцеляющее средство аптекарь выдавал скрепя сердце, а когда в бутылки оставалось уже мало йода, он разбавлял его водой.

Стефан, Гайк и вся шайка уже успели побывать на обоих полях сражения, на кладбище и теперь остановились у лазарета. Стефан впервые видел убитых и изуродованных, кричащих и стонущих в агонии людей. Чудовищное зрелище это сразу сделало его на несколько лет старше, но не спокойней. Отпечаток преждевременной страстности на его лице приобрел что-то мрачное и враждебное. И если он теперь порой сидел и глядел в одну точку, то делался похожим на свой образец – на Гайка, но только со склонностью к безмерному и предельному напряжению.

Когда стемнело, Стефан, как было ему велено, доложил отцу, который был в это время на северной позиции. Члены Совета сидели вокруг командующего, а он держал в руках взрыватель артснаряда и шрапнели, объясняя установку и того и другого. У снаряда риска стояла на букве «В», что означало «взрыв». А риска на взрывателе шрапнели – на цифре «3», что означало – три тысячи метров, то есть то расстояние, которое отделяло срез ствола от цели. Взрыватель нашли примерно в одном километре за первой линией окопов. Это и позволило без большой ошибки определить положение батареи примерно в двух тысячах метрах за Седлом. Габриэл Багратян пустил карту Муса-дага по кругу, на ней уже была отмечена предполагаемая позиция турецкой артиллерийской батареи. Если рассуждать логически, то позиция эта могла находиться только в голом ущелье, которое тянулось вдоль крутого склона Муса-дага, на севере. Только это узкое, однако лишенное растительности место давало возможность вести артиллерийский огонь, во всех других местах высокий лес потребовал бы слишком большого возвышения стволов.

Стефан, Гайк и остальные подростки слушали Багратяна затаив дыхание. Нурхан Эллеон предложил совершить дерзкий налет и захватить гаубицы. Багратян решительно возразил.

– Турки, – говорил он, – либо свернут всю операцию и перетащат гаубицы в долину, либо у них есть новый план, в таком случае они ночью сменят позицию. В обоих случаях нападение чревато для нас большими потерями. На примере самих турок все видели, что значит идти в открытую атаку. А он, Багратян, не намерен рисковать ни одной армянской жизнью.

Упрямый Нурхан защищал свое предложение. Возник довольно горячий спор, однако командующий резко положил ему конец:

– Чауш Нурхан, ты устал и ни на что не годен. Всё. Ступай спать. Через



несколько часов решим, как быть.

А вот мальчишки совсем не устали. Напротив, они были полны сил. Сколько в них было гордости, сколько энергии! Стефан тут же испросил разрешение провести ночь на позициях. Отец, уже расположившийся на ночлег, отдал ему одно из своих одеял – потребность иметь чистую постель и крышу над головой Габриэл давно уже утратил. А сейчас даже под открытым небом дышать было нечем – такая душная стояла ночь. Усталые бойцы спали как оглушенные. Один из них, прежде чем лечь, старательно затоптал все тлеющие угли в костре. Двойные посты отправились на свои наблюдательные пункты и уже ни на минуту не спускали глаз от всех подходов к Седлу. Как бесшумная стая птиц, мальчишки вспорхнули и исчезли за скалами-баррикадами. При резком свете августовского месяца, набравшего уже почти полную свою половину, они дошли до обломков меловых скал, остановились и стали о чем-то перешептываться. Сначала все, что они говорили, было чистым вздором, бесцельной болтовней. Но в этих жаждущих приключении душах бродила та же щекочущая воля, которая не давала покоя Стефану. Началось-то все с чисто мальчишеского любопытства: посмотреть бы на эти пушки!

В шайке Гайка числилось и несколько уже стяжавших славу подростков-разведчиков из юношеского отряда. Нельзя ли, не ожидая приказа Шатахяна и Самвела Авакяна, предпринять вылазку? Задал этот соблазнительный вопрос Стефан. Случай с библией Искуи сильно повысил его авторитет чуть ли не до уровня Гайка. Сам Гайк снисходительно наблюдал за возвышением сына Багратяна. Порой сквозь насмешливо-ироническое покровительство проглядывала и дружеская симпатия. Махнув рукой, Гайк дал знак, чтобы его ждали, соблюдая полную тишину и спокойствие. Сперва, мол, он сам посмотрит, что там Наверху делается. При этом он скупым жестом отверг какое бы то ни было сопровождение. Исчез он совершенно беззвучно и так же беззвучно появился вновь через полчаса – природная ловкость его и прозорливость были ни с чем несравнимы.

– Все пушки – как на ладони, – рассказывал он с горящими глазами. – Здоровые такие, толстые, золотом сверкают, стоят рядком, шагах в шести друг от друга. – Он насчитал четырнадцать канониров – все они спят, не видно ни одного офицера, и из унтеров никого нет. Один-единственный солдат только стоит на часах.

Гайк подсчитал все правильно. Судьба этих гаубиц и оказалась причиной того, что бедняга бинбаши с младенческими щечками, вместо того чтобы стать генералом, окончил свою карьеру счетоводом на Анатолийской железной дороге, да еще должен был считать себя счастливым. Перед военным трибуналом он, правда, клялся, божился, призывая милость аллаха, что он не забывал о предписанном уставом прикрытии для артиллерии, да вот эти преступники заптии и четники, взяли и удрали без всякого разрешения. И хотя это была чистейшая правда, старому бинбаши она не помогла. Ведь он был обязан оставить для прикрытия батареи не менее взвода солдат! Но на этом невезение старого бинбаши еще не окончилось. Лейтенант-артиллерист, после

отхода главных сил не получая никаких приказов и не имея ни одного унтера, на которого можно было бы положиться, решил сам спуститься в долину, чтобы там получить так сказать *Ordre de bataille* на следующий день. И тут ездовые и нанятые на этот случай погонщики ослов пришли к разумному решению: ночью-то в них никто не нуждается – и расползлись по деревьям. Если принять во внимание подобный боевой дух войска, не говоря уж о страшном разгроме под Южным бастионом, то приговор бинбаши следует считать чрезвычайно Мягким. Станным образом и к счастью, Джемаль-паша, этот «черный горбатый лгун», обычно интересовавшийся всеми мелочами, на сей раз лично не вмешался. Быть может, заботы о Суэце были причиной тому, а может быть, и что-нибудь другое, связанное с.Отношениями полководца-уродца с обожествляемым всеми Энвером.

Гайк и два лучших разведчика ползли по-кошачьи вдоль гребня скалы по противоположному крылу Седла. Стефан, несколько менее ловкий и спорый, – за ними. Колченогому Акопу пришлось остаться. На сей раз его друг Стефан набросился на него со словами: «Оставишь ты нас наконец в покое или нет?» Сато в эту ночь не оказалось поблизости – у нее было какое-то важное дело. Стефан и Гайк были при оружии и патронах – они запаслись и тем и другим у дружинников, без их ведома разумеется.

Сегодня должен был решиться затянувшийся спор между Стефаном и Гайком. Стоило Стефану сказать, что он на расстоянии пятидесяти шагов попадает в голову короля на игральной карте, как Гайк с холодной издевкой отвечал: «Горазд хвастать!» Вот и настал час показать наконец этому задавало: меткость Стефана вовсе не хвастовство. И Стефан доказал это чудовищным образом.

Гайк провел городского мальчишку через все завалы и заросли рододендрона до самой батареи. Впереди, в десяти шагах от них, храпели канониры. Невидящими глазами часовой смотрел на небо с его редкими звездами. Ярko светила луна. Превеликого терпения были исполнены и время и пространство, ничего-то они не знали и не ведали...

Стефан долго прилаживал карабин, долго целился, ничуть не волнуясь, будто перед ним была вырезанная из картона кукла в тире на ярмарке, а не человек из плоти и крови. Его, это детище европейской культуры, сейчас не волновало ничто, кроме честолюбивой мысли поймать на мушку освещенный лунным светом лоб солдата. С холодным сердцем он нажал курок, в полном сознании воспринял выстрел и отдачу и, довольный собой, отметил, как солдат упал. Когда сонные канониры повскакали с мест, не поняв, что происходит, он стрелял уже быстрее, но ничуть не менее метко, спускал курок еще и еще и всякий раз с силой оттягивал затвор и упрямо загонял патрон в патронник.

Все пятнадцать турок были редирами\*, пожилыми людьми – не имевшими никакого представления о цели этого похода. Пятеро из них, истекая кровью, лежали сейчас на земле, остальные бестолково суетились, не видя врага. Это были насильно загнанные в солдаты крестьяне. Они и не пытались даже укрыться, а бросились бежать – чем дальше, тем лучше! И уже больше в это

проклятое место никогда не возвращались. Гайк послал им вслед все пять патронов своего магазина, но ни один из них не попал в цель, как со злорадством отметил мастер-стрелок Стефан. А гаубицы, передки, снарядные ящики, затворы, карабины, тягловая сила – все осталось брошенным.

---

**\* Редиф (турецк.) – запасные войска, а также резервист.**

---

Пятью выстрелами четырнадцатилетний мальчик отомстил за истребление своего народа, исчислявшееся миллионами. Жертвами этих пяти выстрелов стали пять ни в чем не повинных, силой загнанных под ружье крестьян, как оно и бывает, когда мстят и когда идет война.

Когда дежурившие посты армян услышали посреди ночного безмолвия, при тихом сиянии луны, выстрелы на севере, они тут же подняли тревогу. Мальчишек же, возле меловых скал поджидавших товарищей, охватил дикий страх. Но они тут же опомнились.

Громко крича и размахивая руками, они выскочили из своего тайника. Колченогий Акоп, лихорадочно орудуя костылем, первым доскакал до Багратяна и стал ему что-то кричать. Он в отчаянии показывал на противоположное крыло Седла и без конца повторял:

– Это Гайк и Стефан! Они там! Гайк и Стефан!

Габриэл со сна никак не мог понять, что произошло, он понял только, что Стефану грозит опасность и побежал в указанном направлении. Дружинники похватали оружие и бросились за своим командующим, среди них, конечно же, Чауш Нурхан Эллеон.

Добежав до турецкой батареи и увидев убитых солдат, а Стефана живым-невредимым, Габриэл схватил мальчика и с силой прижал к себе – словно хотел с опозданием защитить сына. Все остальные никак не могли прийти в себя от удивления, и никто не обращал внимания на юных героев, захвативших целую батарею. А они, увлекшись гигантской бронзово-стальной игрушкой, забыли о реальности, о кровавой смерти вокруг.

Велика была радость армян при виде таких трофеев, и никто не удосужился спросить, какой ценой они были добыты. Только бы скорей увезти орудия, успеть откатить их прежде, чем вернутся турки! Надежда на успех всей обороны разрослась неимоверно. Две сотни крепких рук ухватились за сталь. Упряжки, передки, зарядные ящики были подняты и гаубицы поставлены на передки. Не только все сообща, но и каждый в отдельности тянул, тащил,

толкал, хватался за спицы. Словно могучий вал покотился по каменистому хребту, а ночь делала податливыми и камень и коряги – все препятствия! Великая воодушевленная сила сотен рук, казалось, подняла лафеты и понесла их высоко над землей.

Не прошло и полутора часов, как гаубицы уже были установлены, вопреки всем трудностям этого ночного подъема. Габриэлу доложили о том, как именно была захвачена батарея. Однако страх за сына – у Габриэла все еще бешено колотилось сердце – замкнул его уста. Он не имел права хвалить Стефана. Смелый налет, предпринятый по собственной инициативе, мог оказаться опасным примером не только для подростков, но и для боевых дружин. Если каждый, кому вздумается, станет разыгрывать из себя героя, полетит к чертям и единое командование и всякая дисциплина. И ведь только это и способно гарантировать хотя бы на некоторое время жизнь спасшемуся здесь, на горе, народу.

Но еще большую тревогу внушал Габриэлу сам Стефан. Дважды милосердная судьба щадила его, и он возвращался целым и невредимым из рискованных рейдов, об опасности которых и не подозревал. Но ведь в Трех шатрах его тоже не запрешь! Габриэл отогнал от себя эти мысли, ему надо было заняться захваченными пушками. Модель этого полевого орудия была ему хорошо известна со времен Балканской войны. Он тогда служил в батарее, укомплектованной этой самой полевой гаубицей выпуска 1899 года, поставляемой Турцией заводами «Шкоды». В снаряжном ящике второго орудия было обнаружено еще тридцать снарядов; к тому же Габриэл нашел среди трофеев все, что необходимо для ведения огня. В лафетном ящике были приспособления для наводки по закрытым целям, инструкции и таблицы стрельбы. Вспомнив свои былые навыки, Габриэл подсчитал расстояние до Битиаса, приблизительно определил позицию ночного лагеря турок, установил горизонтальную наводку с учетом своей собственной высоты, закрепил угол подъема стволов, подкрутив их маленьким колесом, пока ватерпас не успокоился, и только после этого открыл затвор, установил дистанционную трубку, вогнал стакан в ствол и закрыл затвор. Для всех этих манипуляций – Чауш Нурхан оказывал ему весьма скромную помощь – его нетренированным рукам понадобилось довольно много времени. С первым лучом солнца Багратян еще раз проверил все расчеты. Затем он и Нурхан, каждый встал на колени рядом со своей гаубицей с запальным шнуром в руках.

Короткий резкий удар разорвал утренний воздух. Один! Второй! Стволы откатились, и сошники ушли глубоко в землю. Шрапнель разорвалась где-то в долине, довольно далеко от намеченной Багратяном цели. Но и этого оказалось достаточно, чтобы оповестить всю мусульманскую страну о новой победе христиан, – о захвате турецкой батареи, о неприступности Дамладжжа, да и о том важном факте, что сыны Армении заключили союз с джиннами – злыми духами Муса-дага!

Четники и большая часть заптиев исчезли в неизвестном направлении еще той же ночью. Оставшиеся от обескровленной роты солдаты были убеждены,

что атаковать эту чертову гору даже целой дивизией безнадежно. Бинбаши нечего и думать было о новом наступлении: такой приказ сейчас же вызвал бы мятеж молодых солдат. Да бинбаши и не помышлял ни о чем подобном, его занимал куда более скромный вопрос:

дошли ли повозки с убитыми и ранеными незамеченными до Антакье? После двух бессонных ночей и волнений он едва держался на ногах. Это был конченный человек. Слабенький, ленивый умишко бинбаши, которому и в лучшие времена можно было пожелать живости, тщетно прикидывал, как бы захватить в своем падении и проклятого каймакама и всех чиновных крыс, виновных во всем этом позорном армянском деле!

Оба грозных выстрела прозвучали для жителей Города как громовые сигналы божественного спасения. Даже самые суровые и замкнутые люди бросались друг другу в объятия и рыдали: «Быть может, Христос все же хочет нашего спасения?»

И утренний привет никогда еще не был таким озаренным изнутри, как в то утро.

Багратяны же получили двойное подтверждение своих высоких, поистине царских достоинств. К Габриэлу спешили люди и просили разрешения присвоить Стефану героическое имя «Эллеон», однако Габриэл сразу же резко отклонил просьбу: сын его еще ребенок, он не имел никакого представления об опасности. А он, отец, не желает потакать тщеславию мальчика, толкая его тем самым на новые безумные выходки, которые могут кончиться весьма плачевно. Подобный строгий отказ отца лишил Стефана общественного признания. Ему пришлось довольствоваться мелкой монетой обычной похвалы, которая сыпалась на него в последующие дни со всех сторон. А впоследствии армянские летописцы, рассказывая о знаменитом сражении на Муса-даге, упоминали лишь о «безымянном юном стрелке». Впрочем, какая польза сыну Багратяна от самой громкой славы, если она приходит слишком поздно...

Габриэл Багратян давно уже был другим человеком, да и Стефан был уже не тот, что прежде. Мягкосердечные люди не могут посвящать себя кровавому ремеслу безнаказанно, будь они даже тысячу раз правы.

На чистом челе юноши неистовый дух Муса-дага уже поставил свою мрачную печать.

В ту великую ночь четырнадцатого августа произошло еще кое-что, правда, менее примечательное. Сато еще тем же вечером по сумеречным тропинкам пробралась к своим друзьям в долину. Она спешила поведать о сражении, о том, что шестнадцать мертвецов лежат на земле, прикрытые циновками, и что крики раненых делаются только громче, когда этот глупый эким Алтуни поливает раны коричневой водичкой. Живая газета жителей гор и кладбищенской братии получила сегодня возможность похвастаться важными новостями и тем самым оправдать свое существование на несколько дней вперед. Возбужденно произнося какие-то неразборчивые слова, Сато сообщала своим слушательницам сенсационные новости. При этом зрачки ее превращались то в суживающиеся, то в расширяющиеся светлые щелочки –

Сато хорошо знала: за такие новости ее все и ценят.

Кладбищенская братия слушала ее охотно: и старуха Манушак, и старуха Вартук, и Нуник – самая старая из них, если верить ее словам. Они слушали Сато и кивали. Великое сознание собственной важности охватило их. Нет, не лишние они, не отверженные, у них свое назначение, и никто не посмеет посягнуть на него, и сколько помнят люди, ведуньи и плакальщицы всегда исправно отправляли свою службу. Шестнадцать мертвецов лежат там, на горе. Нуждаются в них. И откуда ведуньи и плакальщицы исполняют свой долг, их исконные враги Петрос Алтуни и остальные просветители не имеют власти над ними и не посмеют прогнать ни одну из них.

И Нуник, и Вартук, и Манушак, и еще несколько нищенок в сознании своей высокой миссии, степенно шагая, направились к своему жилью – к пещерам, расположенным вокруг погоста. И тут же принялись доставать грязные мешки, на которых обычно покоились их завшивевшие головы. Нет слов описать то, что уже многие годы гнило в этих мешках! То было изысканное отрепье в полном смысле этого слова, собранное бог знает где в течение полувека. Плоды коллекционерской страсти старых и нищих бабок всего мира, траченный молью хлам, заплесневевшие отбросы – жадно оберегаемый клад тряпья и гнильи превратился уже в какую-то вонючую массу. Но все же в этих мешках, кроме лоскутков, заплат, пустых коробочек, окаменевших корок хлеба и сыра, оказывается, хранился и кое-какой инструмент Нуник, Вартук и Манушак. И они уверенной рукой выхватывали из своих бездонных мешков то длинное серое покрывало, то какой-то горшочек с жирной мазью. Когда было извлечено все необходимое, они, усевшись в круг, принялись, как актеры, гримировать свои физиономии. Заполнив глубокие морщины темно-лиловой краской, они превратили свои старческие лица в надменные маски, лишенные возраста. Особенно Нуник со своим волчаночным носом и огромными, выступающими из безгубой маски зубами походила на вечного странника Агасфера\* в образе женщины. Долго они так гримировались. Но вдруг поспешно прервали свои сборы, погасили огарок свечи и фитиль в вонючем масле: цокот копыт и голоса проплыли мимо. То проследовал в Суэдию старый бинбаши со своим штабом. Когда шум удалился в направлении деревни резчиков, старухи встали, закутали свои лохматые седые головы в покрывала, схватили свои клюшки и пустились в путь, стуча рваными башмаками. Удивительно широко шагали их высохшие старческие ноги. Сато, напуганная этим преображением, следовала за ними в отдалении. Этим плакальщиц, молча шагавших при тусклом свете месяца с длинными клюками в руках, легко можно было принять за участниц античного хора.

---

\* Агасфер, или Вечный Жид – герой многочисленных средневековых сказаний, еврей-скиталец, осужденный богом на вечные скитания за то, что не

дал Иисусу Христу, несшему тяжелый крест, отдохнуть на пути к месту распятия, на Голгофу.

---

До чего ж неистребима жизненная сила этих армянских ведуний! Как выносливы их сердца! Ведь ни одна из них не запыхалась, когда после тяжелого восхождения по Дубовому ущелью они прибыли на кладбище лагеря. Эти лиловые чудища были полны сил и поспешили приступить к делу. Нуник, Вартук, Манушак и остальные старухи опустились рядом с телами убитых, откинули покров с их уже застывших лиц, и полилась их песня, пожалуй, более древняя, чем самые древние песни человечества. Одно за другим, нараспев, без перерыва, повторялись имена убитых, покуда последняя звезда не растаяла на бледно-зеленом небосводе. И насколько беден был текст, настолько богата была мелодия. То она лилась подобно нескончаемому стону, то звенела трелями. Иногда казалось, что это какое-то сонно-болезненное колебание двух одинаковых звуков, внезапно прерываемое визгливым вскриком. Одно переливалось в другое, но не произвольно, а согласно строгой закономерности, диктуемой давними традициями.

Не каждая из плакальщиц владела этим старинным искусством, как Нуник. Попадались среди этой братии и посредственные и корыстолюбивые актрисы, чьи мысли во время всего обряда были заняты исключительно содержимым кошелька наследников. А какой прок даже самому богатому человеку здесь, наверху, от его фунтов и пиастров! Если он щедрой рукой одарит нищенский люд, то совершит и благое и полезное дело.

Плакальщицы, слепцы и прочие отверженные всегда могут обменять звонкие пиастры на еду в мусульманских деревнях, не подвергаясь при этом никакой опасности. Так что армянские деньги не пропадут даром, ну а жертвователю-благодетелю довольно дешево обретет милость господню.

Между отдельными песнопениями коллеги уговаривали Нуник пустить в ход все красноречие и во что бы то ни стало повысить цену за причитание.

На рассвете пришли родные и принесли с собой длинные тонкотканые саваны – семейная драгоценность, которую нельзя оставлять, куда бы семья ни переезжала. Саван этот, в коем человек в свое время воскреснет, был некоей праздничной одеждой: члены семьи дарили его друг другу в самые торжественные дни своей жизни. Заказ выткать такой саван почитался особой честью, которой удостаивалась достойнейшая женщина в роду.

Постепенно завывание плакальщиц становилось все тише и тише, пока не превратилось в прочувствованный шепот. Он же сопровождал и церемонию обмывания, как некое безутешное утешение. В конце концов длинные саваны были завязаны ниже ног двойным узлом – так кости не рассыплются и последняя буря, та, что сочленяет кости осужденного человечества, не сможет перепутать их, собирая.

К полудню могилы были вырыты и к погребению все готово. Тела погибших на шестнадцати носилках, сооруженных из толстых веток, три раза обнесли вокруг алтаря. Тер-Айказун в это время пел заупокойную. Затем обратился к собравшимся со следующими словами:

– Кровавая смерть вырвала из наших рядов дорогих нашему сердцу братьев. И все же мы должны быть искренно и страстно благодарны Богу-Отцу, Богу-Сыну и Святому духу за эту незаслуженную милость, – ибо он дал нашим братьям умереть в бою в состоянии наивысшей свободы, они будут покоиться в этой родной земле, среди своих. Да, нам дарована благодать свободной смерти. И посему, дабы правильно воспринять благодать эту, мы должны вновь и вновь думать о тех сотнях тысяч, коим не дарована такая благодать, – они умирают в позорнейшем рабстве, гниют без погребения в пустыне, в канавах, их пожирают стервятники и гиены. Стоит нам подняться на гору, что справа от меня, и обратить свой взор на восток, как перед нами откроется бесконечное поле, усеянное телами сынов нашего народа, и нет там ни священной земли, ни могил, ни священников, нет благословения, а есть одна надежда на день Страшного суда. Да будет этот час, когда мы предаем земле наших счастливых, часом осознания великого несчастья нашего народа, ибо оно не здесь – оно там!

Это краткое обращение вызвало вздох-стон, вырвавшийся из груди собравшихся. И лишь тогда Тер-Айказун подошел к корзинам с родной землёй. Шестнадцать раз опускал он туда руку и посыпал горстью земли голову каждого павшего. И было заметно по его раздумчивой руке, как он с каждым разом все скупей посыпал погребаемых этой драгоценной землей.

## Глава третья

### ШЕСТВИЕ ОГНЯ

И Нуник, и Вартук, и Манушак – всем плакальщицам еще раз улыбнулось счастье. Не успели они стереть с лица латуком краску печали, как их призвал другой долг, противоположного порядка. И если роды будут трудными, на что они твердо надеялись, им удастся пообедать на горе дважды. Справедливо полагая, что среди пяти тысяч человек может случиться все, что угодно, они всегда держали в складках платья черное укропное семя, ласточкин помет, конский волос (из хвоста гнедой лошади) и прочие снадобья.

Схватки у Овсанны начались еще до того, как земля Дамладжка укрыла тела убитых. В палатке с Овсанной была только Искуи – все ушли на похороны. Искалеченная рука мешала девушке помочь невестке. Да и не нашлось в палатке ничего, во что бы роженица могла упереться. Подложенные подушки – слишком мягки, а кровать – одна железная рама. Искуи села спиной к спине



Овсанны, чтобы измученная женщина оперлась на нее, но была чересчур хрупка – схватившись за кровать, Искуи пыталась удержаться, но не выдержала мощных толчков родильницы и соскользнула на пол. Овсанна Товмасын громко вскрикнула. Это и послужило сигналам для Нуник.

Безошибочный инстинкт привел плакальщиц к палатке роженицы: на похоронах они свое дело сделали, получив даже более крупное вознаграждение, чем ожидали. Должно быть, слова Нуник подействовали на родственников убитых. Да не заржавеют благотворные монетки здесь, на Дамладжке, да пойдут они на пользу бедным и страждущим! Правда, кое-кто из дарителей, слушая стенания Нуник, лукаво подмигивал ей. Ходила молва, будто и Нуник с изъеденным волчанкой носом, и маленькая толстуха Манушак – миллионщицы. Будто бы обе притворщицы закопали на погосте целый клад из пиастров, пара', да еще горшки, набитые доверху талерами, и даже толстые пачки банкнот фунтового достоинства. Время от времени из-за этих таинственных капиталов на Йогонолукомском кладбище вспыхивали подлинные сражения нищих, которые Тер-Айказун обычно усмирлял угрозой, что не пощадит никого из разбушевавшихся, прогонит всех с оскверненного места последнего успокоения. А миллионщицы, как и подобает таковым, при всяком удобном случае плакались, что вынуждены неустанно нести тяжкую службу, дабы обеспечить свою старость. А старость эта, равно как и сопряженный с нею заслуженный отдых, были у них, как видно, бесконечны... В отличие от толстухи Манушак и сварливой Вартук, Нуник поражала тем, что, помимо корысти, поклонялась и другим духам... Вот она втянула своим изуродованным носом воздух – в шалашах нет ничего! Час разрешения от бремени еще не настал. То из одного, то из другого шалаша слышится только детский плач. Перед лазаретом, вытянувшись, часто и прерывисто дыша, лежат раненые. Однако теплый, прозрачный воздух подчас пронизывает дрожь, так хорошо знакомая Нуник – она всегда улавливала ее там, где должна была явиться на свет душа человека. Предводительница повела своих спутниц в этом направлении и очень скоро все трое очутились на площадке Трех шатров.

Раздались крики Овсанны Товмасын, подруги понимающе переглянулись и кивнули. И так же, как подлинный знаток музыки никогда не ошибется, сумеет по мелодии определить композитора, так, и они безошибочно распознавали эти крики. Ведь вопли у роженицы имеют свои законы: они и нарастают по-особому, и паузы, и затухание у них свое. Крик человека, который обжегся, и крик насмерть перепуганного беглеца – совсем разные. Ухо не обманет старух-плакальщиц. Не обманет и нос. Скорее способен обмануться глаз.

Искуи собиралась уже бежать за Майрик Антарам, как три парк\*, не испросив разрешения, протиснулись в палатку. Из темноты вынырнули застывшие лиловые маски. Искуи и Овсанна потеряли дар речи. Но не сами старые утешительницы – кто их не знал в Йогонолуке! – а их похоронный убор так напугал молодых женщин. Нуник сразу поняла, откуда этот суеверный страх, и поспешила успокоить девушку и роженицу.

---

**\* Парки – богини судьбы в римской мифологии.**

---

– Доченька, то добрый знак, что мы такими к тебе пришли. Стало быть, смерть осталась позади.

Достав зис – железный прут, которым шуруют огонь в тундре, Нуник принялась рисовать им большие кресты на внутренней стене палатки. В этом, должно быть, заключалось первое ее врачевательное действие. Ошеломленная Искуи спросила:

– Зачем ты рисуешь кресты?

Не прерывая своих занятий, Нуник объяснила назначение крестов.

Вокруг лежащей в родовых муках женщины собираются все духи мира, и злых всегда больше, чем добрых. Как только ребенок является на свет, и даже как только он покажет головку из материнского лона, злые духи набрасываются на него, дабы завладеть им. И каждый человек обречен что-то от них воспринять. Потому-то в душе каждого человека таится бесовщина. Так что дьявол имеет свою долю в душах всех людей. И лишь один Иисус Христос, Спаситель наш, свободен от всякой дьявольщины.

По мнению Нуник, высшее искусство помощницы при родах в том и состоит, чтобы уменьшить долю дьявола. Кресты – ограда от него, некий мистический карантин. Искуи сразу вспомнила сны, из ночи в ночь преследовавшие ее во время бегства из Зейтуна. Вот сатана – весь в сере, его сменяющиеся как в калейдоскопе личины все ближе, ближе... Тогда она тоже все отрекивалась от него здоровой рукой, и с особым усердием, когда тело ее готово, было поддаться его власти... Христос, Спаситель, сколько ж страхов ты должен отвести!

На этом мудрые речи Нуник не оборвались. Завороженным Овсанне и Искуи она поведала, что некоторые внутренние органы, особенно сердце, легкие и печень, подвластны демонам, и демоны, зная это, стремятся целиком овладеть этими органами. Роды же по сути своей не что иное, как борьба сверхъестественных сил за будущую принадлежность ребенка к той или иной партии демонов. Чем ожесточеннее эта борьба, тем тяжелей и длительней роды. Потому-то умная мать должна прибегнуть ко всем испытанным средствам и уловкам, какие ей передаст Нуник. Тогда и новорожденный хорошо перенесет первые дни жизни. И, став взрослым, встретит великие повороты своей судьбы во всеоружии, а в них всегда повторяется все то же, что происходит во время родов.

Свои наставления Нуник произносила напевно, перемежая речь древнеармянскими словами. Искуи не понимала ее, хотя в миссионерской школе в Мараше учила классический армянский язык.

Первый страх миновал, и присутствие трех размалеванных повитух стало действовать на удивление благотворно, даже убаюкивающе. Овсанна и вправду уснула и, казалось, не заметила, что Вартук повязала кисти ее рук длинной шелковой ниткой, а другой перевязала щиколотки. Нуник же, подойдя к кровати роженицы, наставляла ее:

– Чем дольше ты закрыта, тем дольше и силы твои закрыты. Чем позднее ты откроешься, тем больше благодати войдет в тебя и выйдет из тебя.

Маленькая, неуклюжая толстуха Манушак набрала тем временем хворост и развела перед палаткой небольшой костер. Потом нагрела на нем два плоских камня, похожих на хлебный каравай.

Это-то представлялось весьма понятным волшебным действием – горячие камни, предварительно завернутые в полотенце, должны были согреть обессиленную роженицу. С этой самой деловой частью магического знахарства, включая укропное семя, которое Манушак успела заварить и подогреть на костре, наверное, согласился бы и сам доктор Петрос. И все же редкие волосы Алтуни встали дыбом, когда он, войдя, застал своих закоренелых врагов у одра роженицы. С юношеской ловкостью размахивая палкой, он выпроводил кликуш, провожая их хриплыми выкриками и комплиментами, среди которых «стервы» был самым безобидным.

Это еще раз убеждает нас в том, что доктор Петрос Алтуни был весьма страстным приверженцем западной науки. Недаром Аветис Багратян, меценат, послал его учиться и дал возможность на протяжении пяти лет слушать лекции в Венском университете, дабы высоко поднять светоч знаний и разума среди темного народа. И Петрос Алтуни выполнил с честью завет благодетеля: он до преклонного возраста врачевал жителей Йогонолука, ни разу не покинув семи несчастных деревень близ Суэдии. Быть может, кто-нибудь подумает, что выполнение этого завета и непоколебимая верность ему были делом легким и не требующим жертв? Не десять – тридцать раз переманивали его! Городское правление Антакье неоднократно подступало к нему с самыми заманчивыми предложениями. Приглашали из Александретты. Даже большой город Алеппо не прочь был иметь такого врача. Эти письма хранились у доктора – письма, в которых вали и каймакамы предлагали Петросу Алтуни возглавить врачебную управу области.

Во всей Османской империи никого так не жаловали, как врача с европейским дипломом. Такие люди ценились на вес золота. Эким Петрос давно мог бы стать богачом, домовладельцем в Алеппо или Мараше, обласканным почестями от Стамбула до Дейр-эль-Зора. Он мог бы быть главным врачом Оттоманской армии. Тогда не имело бы значения, что он армянин, никто и не подумал бы его высылать. А каково ему пришлось? Какова благодарность судьбы за верность благодетелю, за то, что он сдержал слово? Не будем пытаться ответить на этот вопрос. Взвешенному на себя крест служения

идеалу нечего ожидать иного. Возможно, старика утешало сознание «высоко поднятого светоча»? Но как раз по поводу этой столь же мало почетной, сколь и обременительной деятельности доктор горько смеялся.

– Взгляните на них! Сорок лет я лечу этих людей здесь, в Йогонолуке. А чему они научились? Нет, к «экиму-франку» они всегда будут относиться с недоверием, хотя и будут прикидываться бог весть какими просвещенными. Впрочем, труды мои даром не пропали. Смертность у нас, возможно, ниже, чем в соседних общинах, не говоря уже о мусульманском населении. Однако подпольных этих акушеров и доморощенных знахарок с их предводительницей Нуник я так и не одолел! Днем их прогонишь – ночью родственники опять позовут. И как прикажете в этом болоте суеверия высоко держать светоч науки, или, что еще трудней, приучать людей к гигиене?

Такие речи частенько можно было слышать от дипломированного экима Алтуни. Но то, что досаждало ему более всего, он хранил про себя. За все эти годы, что он объезжал на своем смирном ослике окрестности (и не только армянские деревни – во всей мусульманской казе нуждались в его советах), – эким Алтуни сделал удивительное открытие. Сколько ни восставало против всего этого его существо, твердо верующее в силу знаний, ему приходилось признавать успехи, которых добивались самые грязные знахарки при помощи отвратительных снадобий, да таких, что попирали все правила асептики. В восьмидесяти из ста случаев их диагноз гласил: «Сглазили». Противоядие состояло из слюны, овечьей мочи, жженого конского волоса, птичьего помета и еще более аппетитных лекарств. И тем не менее, не раз случалось, что больной, на котором он, доктор, уже поставил крест, проглотив бумажку с речением из Ветхого завета или Корана, неправдоподобно скоро выздоравливал. Алтуни был не из тех, кто, поверив в чудодейственную силу проглоченной бумажки, впал бы в сомнения. Но что из этого? Больной-то выздоравливал! Время от времени в армянских деревнях распространялась весть о подобной всемогущей терапии, и тогда пациенты Алтуни толпами устремлялись к арабским экимам, или шли за советом к Нуник и ее подружкам. Нередко среди этих вероотступников попадались и завзятые поборники просвещения, полагавшие, будто они высоко держат этот самый светоч – тот или иной учитель, к примеру. От этого, разумеется, у доктора не становилось светлее на душе.

И если это было одной из причин горестных размышлений Петроса Алтуни, то другую он оберегал еще ревнивее. Наука! Просвещение! Прогресс! Все это великолепно. Но чтобы сеять просвещение и прогресс, надо и самому быть просвещенным, и самому надо двигаться вперед. Ну а как двигаться вперед под сенью Муса-дага, не имея никакого представления о новейших достижениях науки, без медицинских книг и журналов? В обращенной к прошлому библиотеке Грикора можно было найти ответы на самые нелепые вопросы, но перед медицинской наукой она пасовала, хотя владелец ее и был аптекарем. У самого Петроса Алтуни, кроме «Справочника лечащего врача», изданного в Германии в 1875 году, ничего не имелось. Кстати, эта весьма объемистая книга содержала множество полезных сведений. И все же это было

жалкое подспорье, ибо беспощадное время оставило далеко позади не только сам справочник, но и приобретенное когда-то Алтуни знание немецкого. языка, на котором он был написан. К тому же доктор Петрос не был похож на нашего аптекаря. Когда сей избранник листал книгу из своей библиотеки, не зная языка, на котором она была написана, то все же со страниц ее к нему слетал дух этой книги, и Григор, подобно сибилле\*, умел предсказывать и по непрочитанным книгам, и даже предельно недоверчивый и завистливый Восканян не в состоянии был отличить его вдохновенное пророчество от науки. В Петросе Алтуни творчество не било ключом, он был скромным рационалистом. А посему Алтуни уже не раскрывал онемевший справочник, и тот не служил ему даже амулетом или фетишем. От всего теоретического, что он десятилетия назад почерпнул в Венском университете, остались теперь ничтожные крохи. Потому-то для доктора и существовало всего десятка два болезней. И хотя перед ним бесконечной вереницей проходили картины человеческих недугов, он распихивал их по узеньким полочкам своих скромных познаний. В глубине души он считал себя таким же неучем, как и все эти эскимы, знахари и повитухи, чья чудовищная терапия, благодаря великому терпению природы столь часто увенчивалась успехом. Но как раз недостаток самоуверенности и делал его отличным врачом, хотя сам он этого и не сознавал, ибо всякое мастерство в этом мире предполагает смирение перед непостижимым и неудовлетворенность достигнутым. Та же причина доводила его, разочарованного западника, при виде Нуник, Вартук и Манушак до иступления.

---

\* Сибиллы (сивиллы) – в греческой мифологии прорицательницы, в экстазе предрекавшие будущее, чаще всего бедствие.

---

Но на сей раз доктор оказался бессилён: изгнанные знахарки выдержали натиск и теперь, стоя на площадке Трёх шатров, с издевкой поглядывали на своего давнего врага».

Пасторша Овсанна Товмасын была первой женщиной, родившей на Дамладжке. Даже внизу, в долине, рождение ребенка было событием общественным, при родах присутствовали все родственники и просто знакомые, не исключая мужчин. Насколько же более торжественным и значимым представлялось это событие здесь, наверху, где в тяжчайшей беде, выпавшей на долю народа, должен был увидеть свет первенец Муса-дага! Тут и сверкающие на солнце золотистые гаубицы потеряли всякую притягательность. Вся толпа, что до этого повалила смотреть богатые трофеи, теперь собралась на

площадке Трех шатров – в самом центре этого лагеря отверженных.

Полог палатки был откинут, и несчастная Овсанна лежала прямо на солнцепеке. Страдания, которые она претерпевала, принадлежали ей одной, но сама она себе уже не принадлежала. Любопытные входили и выходили без конца. Петрос Алтуни вскоре понял, что делать ему здесь нечего, и ворча уступил место жене, которая и принимала обычно роды. Направляясь к раненым в лазарет, он не удостоил внимания бабок, которые проводили его низким поклоном. Около роженицы осталась Майрик Антарам. Кого крепким словцом, а кого и просто кулаком – она выпроводила всех из палатки. Не первое десятилетие приходилось ей помогать появляться на свет новому поколению, но как ни стара она была, всякий раз, когда она принимала роды, ей вспоминались ее собственные неудачные роды в годы юности.

Тем временем Искуи студила лоб невестки своей прохладной ладонью. При этом она не сводила глаз с Майрик Антарам, чтобы не упустить ее указаний. Несмотря на свою энергию и решительность, докторша все же не могла удержать всех жаждущих приободрить роженицу, дать советы или задать вопрос – они прорывались в палатку узнать о состоянии роженицы. Пришел и Габонэл Багратян. Искуи заметила, как он осунулся со вчерашнего дня, какой стал бледный. Девушка удивилась тому, что Жюльетта пробыла у Овсанны не более получаса, а ведь они уже давно жили одной семьей! Арам, муж, появлялся каждые десять минут, но тут же убегал, уверяя, будто сейчас он незаменим на позициях и в лагере. На самом же деле, он не находил себе места от тревоги и страха за жену. Добряк папаша Товмасын следовал за сыном по пятам – надо же, чтобы у пастора в его раздраженном состоянии всегда был громоотвод под рукой. В радостном ожидании наследника рода старый подрядчик облачился в воскресный черный сюртук, золотая цепочка висела поперек живота, который, казалось, ничуть не пострадал от скудного мясного рациона.

Все приносили с собой какой-нибудь подарок или снадобье; аптекарь Грикор, например, явился с пузырьком можжевелевой настойки собственного производства – для укрепления, сердца и нервов. Однако это оказалось весьма скромным даром по сравнению с «петушиным яйцом». Роды явно затягивались, одна тщетная схватка следовала за другой, и тут вдруг к палатке подошла старушка с очень большим яйцом в руках – его, мол, в новолунье петух снес. Стоит роженице съесть это яйцо, но сырое и со скорлупой – ребенок враз явится на свет божий. Майрик Антарам, умевшая обращаться с людьми несравненно лучше своего супруга, поблагодарив, пообещала старушке, что непременно последует совету, после чего выпроводила ее из палатки.

Женщины, толпившиеся снаружи, сетовали, что Овсанна во время схваток молчит, и звука снаружи не слышно. Они-то давно подозревали роженицу в высокомерии, да пожалуй, это и было своеобразным высокомерием – высокомерием стыда.

И Нуник, и Вартук, и Манушак давно уже снова пробрались поближе. Нуник сидела на корточках возле кровати и со снисходительным видом мастера

своего дела наблюдала за хлопотами Майрик Антарам, – примерно так, как всемирно известный хирург следит за работой деревенского цирюльника.

После восьми часов мук и страданий Овсанна, наконец, произвела на свет мальчика. Ребенок, во чреве матери переживший, начиная с Зейтуна, столько ужасов и бед, был без сознания, не дышал. Антарам трясла крохотное тельце, еще не отмытое от крови, а Искуи дышала ему в ротик. Но тут Нуник и ее коллеги, должно быть, лучше разбиравшиеся в подобных делах, молниеносно подхватили послед, воткнули в него семь иголок, принадлежавших разным семьям, и всё вместе бросили в огонь. И жизнь, прятая в этой безжизненной частице, стремящаяся уйти от земной судьбы, высвободилась благодаря огню. Прошло всего несколько секунд, и ребенок, икнув раз-другой, задышал и запищал. Майрик Антарам осторожно протерла его овечьим салом. Из притихшей было толпы раздались поощрительные выкрики.

Солнце село. Пастор Арам неловко и с немного смешной гордостью молодого отца подхватил сморщенное существо, которое когда-нибудь должно было стать человеком, и показал толпе. Все были рады, хвалили Товмасына – мальчик ведь! Послышались грубоватые шутки. Никто в эту минуту не думал о том, что ждет их впереди. Неизвестно кто именно первым обратил внимание на круглую родинку, пламеневшую над маленьким сердечком подлинного сына Муса-дага. Женщины принялись судить да рядить – что бы эта родинка могла означать? Но Нуник, Вартук и Манушак, коим сам бог велел разгадывать подобные знаки, на сей раз отмалчивались. Закутав головы, они взяли клюки и, получив щедрое вознаграждение, отправились в обратный путь. Широко шагали черные старушечьи ноги. Свет восходящей луны вновь превратил трех старух в маски античного хора, спускавшиеся к могилам прошлого.

Не прошло трех дней и трех ночей, как разведчики донесли: в деревнях происходит какое-то непонятное движение.

Габриэл Багратян немедленно поднялся на свой наблюдательный пункт. В окулярах цейсовского бинокля возникло какое-то мельтешение. В долине Оронта, по дорогам между селениями, по тропинкам и проселкам тянулись обозы воловьих упряжек. В самих деревнях толпились люди, и были они кто в феске, кто в тюрбане. Багратян ощупал биноклем каждую деревушку, но так и не обнаружил ни одного солдата, только несколько заптиев. Однако он заметил, что на этот раз в покинутых деревнях толпилась не только чернь из Антакье и окрестностей. Поток людей казался значительней, и было в нем что-то планомерное. На церковной площади в Йогонолуке тоже что-то происходило. Люди в тюрбанах карабкались по пожарной лестнице церкви, ходили по опустевшей колокольне. Оттуда доносились протяжные звуки какого-то очень высокого голоса, скорей, они даже угадывались, а не слышались. То из храма Христова от имени пророка Магомета раздавалась призывная мелодия, та, что бросает в дрожь каждого мусульманина: нынче она звала правоверных из всех местечек, хуторов и хижин пустынной страны, дабы шли они и селились в деревнях и селах Муса-дага. Тем самым участь церкви Йогонолука, построенной Аветисом-старшим, была решена. В груди его внука вспыхнуло

необоримое желание двумя гаубичными выстрелами вмешаться в происходящее. Но он тут же взял себя в руки. Не ему было нарушать свой давний принцип – только обороняться, никогда не нападать.

Ведь особенно грозной гора казалась врагу, когда высилась мертвой и таинственной перед ним. Всякий вызов только ослабит оборону – он даст туркам, как нации государственной, моральное право наказать смутьянов.

При виде непонятого оживления в долине Багратьян спросил себя: сколько турецких атак еще можно выдержать? Несмотря на богатые трофеи, непрерывную работу патронной мануфактуры Нурхана, запасы боеприпасов были чрезвычайно скудны. Сердце сжималось при мысли, что малейшая неудача, самый малый провал непременно приведут к полной гибели лагеря. Для народа на Дамладжке никаких промежуточных решений не существовало: победа или смерть. Потеря лишь одной линии окопов может означать конец всему. В который раз Габриэл задумывался над тем, что как бы оно ни вышло, все его военное искусство служит тому лишь, чтобы только отодвинуть этот конец как можно дальше. А потому не следует растрачивать добытый двумя победами капитал – панический страх турок, потерпевших два поражения подряд!

Толпа в долине росла и увеличивалась с каждой минутой. После длительных наблюдений Габриэл пришел к выводу, что никаких военных операций в ближайшее время не следует ожидать. Однако значение этого нового заселения он до конца так и не понял. Возможно, что это было действительно демонстративное заселение исламским народом христианских деревень. Перед церковным порталом Багратьян различил группу мужчин в европейской одежде, должно быть, это мюдир со своими подчиненными, – решил он и обрадовался, что среди них не обнаружил офицеров. Тем не менее, он тут же отдал приказ объявить боевую готовность. Наблюдательные посты он распорядился удвоить и выслал разведгруппы до самых виноградников и фруктовых садов – враг не должен ночью застать лагерь врасплох.

Габриэл Багратьян оценил обстановку правильно. На церковной площади Йогонолука действительно находился веснушчатый мюдир. Но там был и некто чином повыше. Каймакам. Самолично. Тот самый, с большой печенью. И был он здесь не без причины. Дело в том, что после второго, еще более позорного поражения регулярных частей, в Антиохии произошло кое-что, приведшее к значительным последствиям. Между каймаком и беднягой бинбаши с пунцовыми щечками сразу же разгорелась борьба не на жизнь, а на смерть. Скромный герой на казарменном плацу давно ушедших времен, старый бинбаши так и не усвоил нового стиля тонкостей политики Иттихата. Только теперь ему открылось, почему его смертельный враг и заместитель, этот прыткий не в меру юзбаши именно сейчас взял отпуск. Отпустив его, он попался на удочку. Юзбаши скоро и впрямь заменит бинбаши на его посту.

Началось все с того, что каймакам очень ловко сумел настроить население против старого бинбаши. В Антиохии имелась только одна гражданская больница. При легком заболевании солдаты не покидали казармы. А когда



возникла необходимость во врачебной помощи, командование вынуждено было просить гражданское ведомство принять тяжело больного в больницу. Этой бюрократической системой коварно воспользовался каймакам. Хотя бинбаши и был человек конченный, но все же дело его будет тянуться многие недели, последуют бесконечные расследования, доклады, отчеты и т.п., прежде чем его окончательно снимут. А каймакаму и его казе нужны надежные иттихатовцы, а не ленивые старые бородачи времен Абдул-Гамида. Вместе с юзбаши они довольно точно предвидели будущие события – они-то свои ходы согласовали.

За несколько часов до того, как бинбаши привез в Антакье весть о собственном поражении, еще глубокой ночью в город потянулись бесконечные обозы с ранеными и убитыми – жертвами самого сражения и горного обвала, устроенного Киликяном. В хюкюмете свет не зажигали, хотя там было все известно. Когда раненые потребовали пустить их в больницу, управляющий наотрез отказал им. Без письменного разрешения каймакама он, мол, никого сюда не впустит. Ни просьбы, ни брань не помогли. Вышел дежурный врач и прямо на улице, при свете луны и керосиновой лампы, принялся накладывать повязки. У него и впрямь не было ни места, ни желания положить в жалком и тесном бараке более двухсот нуждающихся в помощи. В полном отчаянии врач отправил своего помощника к каймакаму. Прошло довольно много времени, и помощник вернулся ни с чем. Начальник провинции так крепко спал, что разбудить его не было никакой возможности. Тогда раненых решили отправить в казарму, чтобы у них была хотя бы крыша над головой. Скоро взошло солнце, день разгорался. Трудно описать, какое впечатление произвели окровавленные повозки на жителей Антиохии. И когда, уже ближе к полудню, на мосту через Оронт показался столь сильно обципаный старый бинбаши со своим штабом, – его встретили камнями. Пришлось тому бесславно добираться до своей канцелярии темными закоулками. И только теперь – в городе уже царила суэта и толкотня базарного дня – каймакам, чей сон, очевидно, был на зависть крепок, отправил письменное распоряжение разместить раненых. Длинные колонны несчастных снова потянулись к больнице со строжайшим приказом держать путь непременно через базарную площадь.

Вид желтых страдальческих лиц и кровавых повязок вызвал у людей бурное возмущение. Толпа кинулась к казарме и прежде всего выбила стекла в окнах бедняги бинбаши, а стекло в этой стране почитается драгоценностью. Мало того! Остатки вооруженных сил были настолько подавлены, что поспешили покрепче запереть казарменные ворота, то есть поступили как перепуганные обыватели. В каждой толпе скрыта легко вспыхивающая ненависть к носителям государственной власти. Люди восприняли мертвую тишину за стенами казармы как знак своего торжества и вновь взялись за камни. Офицеры умоляли бинбаши разрешить им очистить плац, выслав солдат с примкнутыми штыками. Но старик лежал на диване, советов не слушал и только стонал:

– Я не виноват! Я не виноват!

Доведенный до отчаяния всем пережитым, он то рыдал, то спал, то спал, то рыдал. А комендантская рота совсем опозорилась – от разбушевавшейся толпы ее освободила гражданская власть – полиция и заптии.

В то время как происходили столь отрадные для каймакама события, вместе с мюдиром из Салоник – тем самым, у которого были такие ухоженные ногти, – отправился на городской телеграф. Эти два господина составили, вдвоем телеграмму его превосходительству вали Алеппо, свидетельствующую об их блестящем политическом чутье. Телеграмма эта была противоестественной длины – на десяти мелко исписанных бланках она содержала одну тысячу сто пятьдесят слов! Своим крючкотворством она напоминала речь безвестного, однако одержимого честолюбием адвоката, а стилем – передовицу радикальной газеты. Для начала в самых ярких красках была расписана неудачная попытка ликвидации лагеря непокорных армян, затем приводились цифры тяжелых и бессмысленных потерь, и в довершение всего захват бунтовщиками необеспеченных прикрытием орудий был охарактеризован как чудовищный промах командования, каким он и был на самом деле. Оставив эту печальную тему, каймакам с грустью отмечал, что все его предложения постоянно отвергаются военными инстанциями. Он-де считает себя обязанным самым решительным образом указать, что душа народа раскалена до предела и в настоящую минуту народ все более в гневе требует снять бинбаши с поста командующего и подкрепляет свои требования бунтарскими выступлениями на улицах. Наличных сил полиции и жандармерии недостаточно, чтобы справиться с подобными беспорядками. Посему следует пойти на уступки и ходатайствовать перед военными инстанциями о немедленном снятии и отдаче под военный суд этого бинбаши. В заключение каймакам утверждал, что во всем виновата «двойная власть» – сирийские вилайеты подчинены одновременно и политическим наместникам и командованию Четвертой армии. И до тех пор, пока существует это двойное подчинение, каймакам не может гарантировать ни спокойствия, ни порядка в своей казе, ни столь желаемой быстрейшей депортации армян. Рассуждая с государственно-юридической точки зрения, он яснее ясного доказал, что выселение армянского меньшинства – задача управления внутренних дел. В решение ее не вмешивается даже верховное командование. Роль военных ясно определяется словом «содействие». В то же время «содействие» войсковых подразделений, согласно закону, зависит единственно от решений гражданской власти. А посему нынешняя практика незаконна, так как территориальное командование действует по собственному произволу и в «содействии», как правило, отказывает, всячески стремясь навредить провинциальному управлению, не имея на то права, распоряжается даже жандармерией, то есть органом гражданской власти. Такое опасное положение дает армянам повод к сопротивлению, а это, если оно наберет силу, будет иметь необозримые последствия для всей империи. Закончил каймакам сию необыкновенную государственную депешу чуть не угрозой. Он берется ликвидировать вооруженный армянский лагерь на Муса-даге только при условии, если вся

власть будет сосредоточена в его руках. Для этого необходимо «содействие» военных в таком размере и вооружении, которые обеспечили бы окончательную и решительную очистку горы. Немыслимо также, чтобы эта операция производилась офицером, не знакомым с местными условиями, а потому каймакам настоятельно просит поручить это дело заместителю коменданта Антакье, – юзбаши, однако при проведении операции юзбаши должен быть подчинен ему, каймакаму. Если же эти столь бесспорные предложения будут сочтены неприемлемыми, то он, каймакам, осмеливается предложить следующее: вышеописанный позорный провал оставить без последствий, а восставших на Муса-даге армян предоставить самим себе.

С политической и психологической точек зрения рапорт каймакама надо признать шедевром. Исполнились хоть часть его пожеланий – он стал бы самым независимым правителем провинции в Сирии. Хорошо натасканный чиновник старого покроя был бы, пожалуй, задет самоуверенным тоном гигантской депеши. На самом же деле как раз этот лихой и пронзительный стиль был рассчитан на младотурецких правителей. Они молились на Запад и потому испытывали суеверный трепет перед такими словами как «инициатива», «энергия» и т.п., даже если в них содержался протест.

В это же время вконец уничтоженный бинбаши, щечки которого навсегда утратили румянец, написал длинную телеграмму своему начальнику, генералу, командующему тылом. Он долго и нудно жаловался на каймакама, который будто бы вынудил его пойти на это неудачное предприятие, не дав ему достаточно времени на подготовку. Тон телеграммы был жалостным, напыщенным и одновременно нерешительным, тем самым уже обреченным на неудачу. Беднягу в двадцать четыре часа сняли с должности и вызвали в суд. Со своего за долгие годы насиженного местечка он исчез в ночной час – невиннейшая жертва армянского военного счастья! А его превосходительство вали Алеппо нашел формулировку каймакама Антиохии столь важной и значительной, что немедленно направил его телеграмму господину министру внутренних дел с некоторыми усиливающими дополнениями. Подчиненный искусно нащупал больное место своего начальника! Ведь с тех пор, как великий Джемаль-паша, наделенный неограниченной властью римского проконсула, командовал в Сирии, все вали и мутесарифы превратились в королей без королевств. Джемаль-паша обращался с этими великими мужами как с интендантами своего армейского тыла. На них так и сыпались строжайшие приказы – выслать туда-то столько-то тысяч ока' пшеницы, или к такому-то сроку привести в надлежащий вид такую-то дорогу. Казалось, полководец видит в гражданском населении только сборище назойливых бездельников, а гражданские власти считает совершенно нетерпимым злом. Потому-то его превосходительство в Алеппо так охотно воспользовался случаем проучить железного пашу – поторопившись сообщить в Стамбул о позорной неудаче надменных военных.

Талаат-бей прочитал шедевр антиохийского каймакама со смешанными чувствами. Ему-то как раз надлежало печься об интересах управления

внутренних дел, отстаивать их перед зарвавшимися военными. К тому же депортация армян была для него гораздо важнее, чем неудовлетворенное честолюбие надоевших бахвалов. Огромной лапищей он привычно погладил свой белоснежный жилет. Проворные пальцы бывшего телеграфиста скрепили бланки телеграммы скрепкой и присовокупили к ним записку следующего содержания: «Прошу дело решить срочно и положительно».

Бумаги были немедленно переправлены и в тот же день легли на стол военного министра.

Энвер-паша никогда ни в чем не отказывал Талаату. Когда эти господа тем же вечером встретились на заседании энджюмена\*, Энвер подошел к своему другу. Хлопая длинными девичьими ресницами, юный бог войны улыбался:

– Я телеграфировал Джемалю о Муса-Даге в весьма решительных выражениях.

---

**\* Энджюмен (турецк.) – комиссия, комитет, совет.**

---

Не дожидаясь благодарности Талаата, он изящно сыронизировал:

– Вы все должны меня благодарить за то, что я отправил этого сумасшедшего в Сирию, а заодно и обезвредил.

Перед Яффскими воротами Иерусалима есть арабская гостиница. Окнами она выходит на цитадель Давида с ее высоким минаретом. В этой гостинице командующий армией Джемаль-паша и расположил свою временную ставку. Сюда же ему доставили телеграммы Энвера, вали Алеппо и других чиновников – все они просили о быстрейшей ликвидации затянувшегося армянского дела. В те дни властители Оттоманской империи передавали друг другу по телеграфу тома сочинений. И прибегали они к этому вовсе не срочности ради, они испытывали неподдельную языческую радость от того, что могут передать слова на расстоянии, это и толкало их на такую велеречивость.

Джемаль-паша находился в своих апартаментах один. И Али Фуад-бей, и немец фон Франкенштейн – его начальник штаба – отсутствовали. Это и позволило Джемалю-паше дать волю своим чувствам. У дверей стоял Осман – начальник личной охраны, огромного роста горец, обвешанное оружием чучело, экспонат оружейной палаты. Заведя себе такого телохранителя, Джемаль-паша преследовал две цели. Во-первых, такое романтическое одеяние льстило его азиатскому пристрастию ко всему пышному и роскошному, которое не могло быть удовлетворено будничной деловитостью современной

армии. И во-вторых, тем самым он успокаивал себя, отгоняя вечную тревогу, испокон веков терзающую диктаторов, а именно – страх перед покушением. Осману не разрешалось отходить от паши ни на шаг, особенно когда являлся кто-нибудь из Стамбула. Джемаль не исключал возможности, что его милые братцы Энвер и Талаат способны подослать к нему ловкого посланца смерти, снабдив его наилучшими рекомендациями. Он внимательно ознакомился с телеграммами, особенно с той, что была от Энвера. Хотя случай, о котором шла речь, не имел особого значения, желтое лицо Джемалья позеленело, а толстые губы под черными усами даже побелели от гнева. Такой же низкорослый, как Энвер, он не был хрупким, а скорее кряжистым. Левое плечо он имел привычку приподнимать, и люди, не знавшие его, думали, что он кривобокий. Из рукавов расшитого золотом генеральского мундира торчали тяжелые красные руки. Они-то и дали повод для молвы, будто он внук стамбульского палача. Если об Энвере-паше можно было сказать, что он скроен из самой легкой материи, то Джемаль-паша был изготовлен из самой плотной. И если Энвер был мечтательно капризен, то Джемаль – страстно неистов. Джемаль-паша ненавидел обаятельного любимца богов неистребимой ненавистью неудачника. Ему все доставалось только великим трудом, а на брата все незаслуженно сыпалось с неба – и военная слава, и счастье в игре, и успех у женщин...

Еще раз взяв со стола депешу, Джемаль попытался уловить меж официальных строк кокетливую интонацию Энвера.

В эту минуту, как никогда, судьба армянских общин Муса-дага висела на волоске. Достаточно было служебной записки Джемалья и на Дамладжк были бы брошены два батальона пехоты, батарея горных орудий и несколько пулеметов. И тут уж не помогло бы ни искусство Габриэла Багратяна, ни отчаянная отвага мусадагцев, один час – и дело было бы кончено. Но, прочитав во второй раз телеграмму, Джемаль рассвирепел не на шутку. Он накричал на ошарашенного Османа, велел ему немедленно убраться и под страхом смертной казни никого не впускать. Затем подбежал к окну и тут же отпрянул: вдруг кто-нибудь подсмотрит наготу его души! Проклятого Энвера надо в порошок стереть! Этакая салонная дамочка на войне! Чванный любимчик высшего света! Этаким пустозвон – не совершил ни одного мужественного поступка, присвоил себе славу победителя при Андрианополе, а сам прискакал с конницей, когда все давно уже было сделано! И это тщеславное ничтожество, этот «мальчик для удовольствия» Оттоманского государства поставлен выше его, Джемалья! Этот пронырливый хлыщ хочет расправиться с Джемалем, выставив его сюда, в Сирию!

Генерал совсем разъярился на стамбульского Марса, ярость всколыхнула его душу до самой глубины. А буря возникла по самому пустяковому поводу. Телеграмма Энвера начиналась словами: «Прошу Вас принять срочные меры...» Отсутствовало обращение «Ваше превосходительство». Даже простого «паша» не было! А Джемаль слыл фанатиком формалистики, особенно в отношениях с Энвером. Даже при дружеских встречах он важно соблюдал все формальности, и с особой тщательностью следил за тем, чтобы и

Энвер отдавал ему должное, чтобы тот ни на йоту не умалил его достоинства. Телеграмма, в которой столь пренебрежительно было опущено обращение, оказалась каплей, переполнившей чашу ненависти Джемалья-паши.

Все последние месяцы Энвер-паша донимал Джемалья самыми невероятными требованиями, которые сирийский военачальник всегда молча выполнял. Сначала его вынудили отправить в Стамбул восьмую и десятую дивизии, потом еще и двадцать пятую и, в конце концов, передислоцировали в Багдад и Битлис весь тринадцатый армейский корпус. В настоящее время военный диктатор Сирии располагал всего шестнадцатью-восемнадцатью жалкими батальонами, к тому же разбросанными по огромной территории от вершин Тавра до Суэцкого канала. И все это было делом рук Энвера, а вовсе не диктовалось военной обстановкой! Уж в этом-то скрежетавший зубами Джемаль был твердо убежден. Генералиссимус своим трюкачеством совсем его обезоружил, обезвредил и лишил всякой возможности добиться успеха.

В сознании Джемалья, просветленном ненавистью, возникали тысячи разоблачительных подробностей, в которых как нельзя ярче отражалось пренебрежительное отношение Энвера. Это Энвер, вкупе со своей кликой, никогда не допускал его близко, не сообщал о важных решениях, не привлекал к совещаниям в узком кругу. С самого начала их отношения были сплошной цепью нарочно подстроенных унижений, и величайшее из них заключалось в том, что он не мог противостоять Энверу, что самим своим существованием, своими действиями Энвер обрек его на вторые роли – а ведь Джемаль был убежден в своем превосходстве и как правитель и как солдат.

Вздергивая левым плечом, Джемаль все ещё бегал вокруг стола. Нет, он совершенно бессилён что-либо сделать! Мальчишеские планы мести вспыхивали в его разгоряченном мозгу: вот он во главе новой армии захватывает Стамбул. Берет в плен этого наглого пустобреха. Открывает Босфор союзническим флотам. Заключает с ними, нынешними своими врагами, союз...

В третий раз берет Джемаль телеграмму в руки, но тут же швыряет ее на стол. Как же лучше всего досадить этому Энверу и всем, кто с ним заодно? Джемаль хорошо знает, что истребление армян – для них святое патриотическое дело, да он и сам не раз высказывался в том же духе. Но он никогда не потерпел бы такого поистине энверовского дилетантизма, превратившего Сирию в какую-то клоаку смерти. На совещания о планах депортации военный министр предусмотрительно не приглашал Джемалья, иначе от затеи сладенького Энвера не осталось бы и камня на камне. И это тоже одна из причин, из-за которой красавчик Энвер загнал его на юго-восток. Охваченный дикой жадной мести, Джемаль уже подумывал закрыть границы Сирии, все депортационные колонны повернуть обратно в Анатолию, полностью провалить великое дело...

В эту минуту в дверь постучал начальник штаба полковник фон Франкенштейн. Джемаль отбросил пустые мечты, плод разгоряченного воображения, и сразу же превратился в уравновешенного, дотошно

аккуратного, почтенного генерала, каким его знали подчиненные. Его чувственные азиатские губы скрылись под черными усами. При немецком полковнике он старался выглядеть человеком суровым, однако обладающим неотразимой логикой. И действительно, перед Франкенштейном предстал предельно собранный, хладнокровный полководец.

Они сели за стол, немец открыл портфель, достал записки, чтобы доложить о дислокации новых контингентов в Сирии, и тут заметил перед собой стопку телеграмм и лежавший сверху приказ Энвера-паши.

– Ваше превосходительство, получили важные известия?

– Не обращайтесь внимания, полковник, – отрезал Джемаль, – все, что здесь действительно важно, зависит не от военного министра, а только от меня.

Взяв красными лапищами телеграмму Энвера, он разорвал ее на мелкие клочки и выбросил в окно – то самое, что было обращено к цитадели Давида. Так щепетильная чувствительность оттоманского властителя обернулась союзницей Габриэла Багратяна. Ибо Джемаль-паша предпочел вовсе не отвечать на телеграмму и не выслал в Антакье для разгрома армян на Муса-даге ни единого солдата, ни одного орудия.

Бездеятельность Джемалья-паши спасла горцев-армян от быстрой гибели, но не избавила их от медленно стягивавшихся тенет смерти. Пусть диктатор Сирии и Палестины сам ничего не предпринимал, но имелось еще немало нижестоящих штабов, которые вполне могли принимать самостоятельные решения. Так например, напористый юзбаша, преемник неудачливого бинбаша, добился от тылового генерала в Алеппо присылки нескольких рот из местного гарнизона. Кроме того, вали письменно обещал каймакаму выделить крупный отряд заптиев. Из этого видно, что каймакам кое-чего добился от своего начальства в Алеппо. А успех подстегнул его честолюбие.

Часто, когда Габриэл Багратян сидел на своем наблюдательном пункте, его охватывало ощущение, будто Дамладжк – какая-то мертвая точка в бесконечно вращающейся системе, точка абсолютного покоя внутри невидимого, но бешеного вихря смертельной вражды. Но сегодня движение вокруг мертвой точки было вполне зримо: со всех сторон к деревням тянулись воловьих упряжки, навьюченные ослы, толпы людей. Почему же вдруг хлынул этот потоп? А вот почему: каймакам понял, что настал его час решительными шагами достичь первых рядов своей партии. Проведя эту образцовую политическую операцию, он тем самым вплел в тенета смерти армян новую и очень крепкую нить. Речь идет об арабском национальном движении, с некоторых пор оно причиняло сирийским властям немало хлопот. Довольно широко распространенные тайные союзы, такие как «Эль Ад» («Клятва»), «Арабские братья», вели весьма успешную поджигательскую пропаганду против Стамбула, стремясь в будущем объединить арабские племена в самостоятельное и независимое государство. Здесь, как и всюду в мире, расцветал национализм, разлагая на жалкие биологические составные части религиозные, объединенные одной идеей государственные образования. В калифате заключена идея божественная, а существование турок, армян, курдов,

арабов – это, так сказать, вполне земной факт. Паши прежних времен превосходно понимали, что мысль о высшем духовном единстве, идея калифата благородней, возвышенней, чем мания прогресса, свойственная некоторым карьеристам. В не раз ошельмованной, ленивой инертности, царившей в старой империи, в этом «пусть все идет, как идет», в сонной этой продажности крылась мудрая государственная политика, которую близорукий западник – ему-то результаты поскорей подавай! – и постигнуть был не в силах. А старые паши тонко чувствовали, что благородный, но запущенный дворец не выдержит излишних реставраций. Однако младотуркам удалось все-таки разрушить созданное столетиями. Младотурки сделали то, чего они, как правители многонационального государства, ни в коем случае не должны были делать! Их непомерный национализм пробудил этот же национализм у поработанных народов. Впрочем, судьбы народов вершатся не на земле. Ибо мутен взор, не видящий за движением героев на сцене автора драмы! Люди хотят того, что им должно хотеть. Неестественно большие имперские образования распались. Означает же это только, что всевышний опрокинул шахматную доску, на которой играл сам с собой, и намерен заново расставить фигуры.

Как бы то ни было, арабский национализм наступал. Двигаясь с юга, он проник в турецкую империю до линии Мосул-Мерсин-Адана. В сирийских вилайетах уже приходилось с ним считаться, ибо в тылу и на флангах Четвертой армии распространилась какая-то подспудная строптивость – весьма опасная для вооруженных сил, ведущих боевые действия. Выступления против бинбаши в Антакье были, безусловно, связаны, если и не открыто, с подобными настроениями. Каймакаму, таким образом, пришла на ум счастливая мысль – привлечь на свою сторону местных арабов, все более выходявших из подчинения, – разумеется, за счет армян. Он думал добиться своего, разжигая еще и исламский фанатизм. По закону о депортации, вся собственность армян переходила в руки государства. Так, по крайней мере, значилось на бумаге. На самом же деле местным властям предоставлялось поступать в этом случае как им заблагорассудится.

Уже на следующий день после поражения каймакам Антакье разослал чиновников и не столь далекие от Муса-дага районы с преобладающим арабским населением. Там посланцы каймакама объявили, что самая плодородная часть Сирии между Суэдией и Рас-эль-Ханзиром, с ее виноградниками и фруктовыми садами, шелководством и пчеловодством, богатыми водными источниками и лесами, со всеми усадьбами и домами, будет безвозмездно распределена среди тех, кто не позднее, чем через два дня, явится в армянскую долину. Мюдирь не без коварства намекнули, что при разделе земель старательным арабским крестьянам отдадут предпочтение перед турками.

Оттого-то и возникло это неожиданное переселение народов. Каймакам не преминул явиться лично и остался в Йогонолуке присмотреть за разделом, да и снискать симпатию арабских нотаблей. Он поселился на вилле Багратяна, разумеется, после того как оттуда выгнали мухаджир с его семейством.



Через каких-нибудь двое суток деревни были заселены столь же густо, как до Исхода. Неожиданно разбогатевшие арабы и турки спешили брататься. В жизни они не видели таких просторных усадеб! Жить в них и то было жаль! Все церкви тотчас превратили в мечети, и в первый же вечер муллы совершили моление. Они благодарили бога за новые прекрасные дома и земли. Одно омрачало их радость – наглые и грязные свиньи христиане там, на горе! Долг каждого правоверного уничтожить их! Ибо только тогда можно будет благочестиво пользоваться всеми богатствами.

Мужчины выходили из мечети, сверкая глазами. Они горели желанием скорее избавиться от ограбленных хозяев домов, дабы утихло не то чтобы очень сильное, но все же неприятное чувство в их вполне добрых крестьянских душах.

Угрюмо, но и равнодушно наблюдали защитники Муса-дага гибель своей родины.

Что случилось со временем? Сколько безмерной вечности нужно дню, чтобы доползти до ночи? И до чего же быстроног день рядом с ночью-улиткой! И где Жюльетта? Давно она живет в этой палатке? А в доме она разве когда-нибудь жила? И была ль она когда-нибудь в Европе? Да и кто такая эта Жюльетта? Нет, это не она, что пленницей живет здесь среди горного народа! Не она, проснувшись поутру, дивится: куда это я попала?

С кровати соскользнула белая усталая женщина, ступила на ковер, накинула на себя халат и села на маленький складной стульчик перед зеркалом. Ради чего? Ради того, чтобы посмотреть на землистое и все же обожженное солнцем лицо. Зачем? Разве это лицо с такими тусклыми глазами, загорелой кожей, сухими волосами может привлечь молодого мужчину?

С некоторых пор Жюльетта отпускает своих девушек спозаранку. Боязливими руками, будто совершая преступление, она остатками эссенций и притираний пытается привести себя в порядок. Потом одевается, надевает большой фартук, повязывает голову белой косынкой – какое-то подобие чепца. С тех пор, как она работает в лазарете, она иначе не одевается. Чепец и фартук – ее моральная поддержка. Это ее униформа, внешне более всего соответствующая ее положению на Дамладжке.

Перед уходом она бросается на колени подле кровати, обхватывает подушку, будто хочет спастись, спрятаться от пробудившегося дня. Когда-то раньше, много дней (или лет?) тому назад, она чувствовала себя покинутой, несчастной, а теперь мечтает вернуться в это несчастье, не отягощенное ее виной. Сколько свет стоит – так подло, как она, ни одна женщина не поступала! И какая женщина! Достойная, гордая, за все годы своего замужества ни разу не помыслившая о каком-либо «приключении». Но разве сотни парижских «приключений», любовных авантур не суший пустяк рядом с ее подлейшим предательством в разгар отчаянной борьбы перед лицом неминуемой смерти? Словно девочка, Жюльетта шептала: «Я не виновата!». Но разве это помогает? Властью, ей неведомой, она была отдана на этой беспощадной чужбине тому, что ей казалось родным. Быть может, ради того, чтобы пробудить в себе

противоборствующую силу, она вскрикнула: «Габриэл!». Но Габриэла не было, как не было и Жюльетты. Ей все реже удавалось воскрешать в поблекшем альбоме памяти его истинный образ. А чужой, бородатый армянин, что время от времени подсаживается к ней, – разве это Габриэл? Жюльетта испугалась своих слез. Она долго вытирала глаза. Ждала, пока не пропала краснота.

Всех не слишком тяжело раненных Петрос Алтуни велел перенести «домой», в шалаши. Хотя он ничем своих распоряжений не обосновал, повод для этого был. Вести о победе армян четырнадцатого августа облетели горы и доли северной Сирии. Особенно по душе она пришлась дезертирам, прятавшимся в окрестных горах. И впрямь, уже на другой день у выдвинутых вперед постов появились двадцать два дезертира и попросили, чтобы их приняли в ряды бойцов. Боясь измены и шпионов, Багратян сам лично проверял каждого. А так как все они выдавали себя за армян и у каждого была маузеровская винтовка и патроны, он, в конце концов, принял всех новичков.

Среди них был молодой мужчина, какой-то странный, словно оцепенелый. Он говорил, будто четыре дня назад бежал из пехотных казарм в Алеппо и долгий переход отнял у него все силы. Вечером человек этот бледный, как смерть, явился в лазарет к доктору Петросу и, пробормотав что-то непонятное, потерял сознание. Врач велел его раздеть. Несчастливого парня бил озноб. Грудь была усеяна красными точками, за ночь их стало больше. Петрос Алтуни после очень длительного перерыва все же обратился к своему заброшенному справочнику. Но буквы не поддавались расшифровке. Тогда он попросил француженку:

– Взгляните-ка, милая, как по-вашему – что это такое?

Жюльетта за все это время так и не привыкла к виду крови, к повседневным ужасам лазарета. Всякий раз, когда она переступала его порог, к горлу подступала тошнота. Она очень старалась, помогала всюду, где только могла, но отвращение и страх не проходили, а только усиливались. Однако в эту минуту ее охватил какой-то странный восторг. Показалось: вот сейчас и именно здесь должна она искупить свое предательство. Покрытый сыпью несчастный в судорогах бьется у ее ног, от него дурно пахнет, он пышет жаром, на губах пена, и почему-то ей почудились в нем сразу и Габриэл и Стефан в одном лице. Жюльетта встала на колени и, сама уже теряя сознание, закрыв глаза, уронила голову на впалую грудь больного.

Голос Гонзаго заставил ее вскинуться.

– Что вы делаете? Это безумие!

Тут и в старом враче, видно, заговорила совесть, и он сказал женщине:

– Пожалуй, вам лучше пореже у нас бывать.

Гонзаго украдкой подмигнул ей. Она послушно пошла за ним. Для нее сейчас и Гонзаго выпал из времени. Когда ж это случилось? В какие прошедшие времена? С каких это пор она безвольно идет за ним, едва он кликнет? Как тягостно и как огромно ее предательство и это молчание! А Гонзаго ничуть не изменился. Все то же неотвязное внимание, от его глаз, от его мыслей некуда деваться. Жизнь в лагере ничуть не отразилась на его

внешности. Его пробор всегда безупречен, сюртук тщательно вычищен, сам он чист, кожа бела, дыхание приятное. Любит ли она его? Нет, это другое, гораздо страшней. Даже несчастная любовь всегда найдет выход, хотя бы в мечтах. А тут выхода нет...

Часто бывало и так: нет Габриэла, но нет и Гонзаго! Вначале во всем этом было что-то приятное, по-домашнему родное, словно бы что-то, нечаянно попавшее в этот мир, рождало отклик в душе, а теперь оно превратилось в чудовищную неотвратимость и нет от нее спасения! Когда Гонзаго прикасался к ней, Жюльетта чувствовала нечто, никогда ранее не испытанное. Но вместе с этим росла и ненависть к себе – предательнице. Многие скрытые за кустами и деревьями уголки на приморских склонах горы стали местом их встреч. Порой в ней вспыхивали остатки гордости, и она спрашивала себя: «Неужели это я? Здесь, прямо на земле?..». Но Гонзаго превосходно умел устранять, исключать все безобразное. Быть может, только в этом одном он был одарен: таковы игроки, коллекционеры, охотники, развившие в себе только одну какую-то способность, зато уж сверх всякой меры. С такими людьми его роднили целеустремленность и неистощимое терпение. Это оно привело Гонзаго на Дамладжк, оно помогало ему сдержанно, но уверенно ждать своего часа. Но эта всегдашняя его собранность вызывала у Жюльетты нечто противоположное – рассеянность и полный паралич воли. Часто на нее нападала какая-то суетливая растрепанность, что-то творилось внутри, какие-то отвратительные мохнатые листья закрывали доступ свету...

Они сидели в укромном уголке Дамладжк, который между собой называли «Ривьерой». Гонзаго разломил сигарету пополам и одну половину бережно закурил.

– У меня осталось только пятьдесят штук, – сказал он и прибавил, словно пытаюсь успокоить тревогу из-за того, что табак на исходе:

– Но ведь нам уже недолго-здесь сидеть...

Она посмотрела на него невидящими глазами. Голос его был все так же рассудительно спокоен.

– Думаю, что мы уйдем отсюда, ты и я. Пора уже!

Она, как видно, все еще не понимала, о чем это он.

И тогда Гонзаго хладнокровно, в подробностях, рассказал ей о своем плане. Трудно будет только первые два часа. Небольшая прогулка в горах, ничего страшного. Необходимо пробраться по гребню в южном направлении и выйти правее небольшой деревушки Хабаста в долину Оронта, а затем на дорогу в Суэдию. Прошлой ночью он проделал этот путь и, не встретив ни души, добрался до винокуренного завода. Зашел к директору, который, как Жюльетта хорошо знает, грек и человек весьма влиятельный.

– До чего же все просто! – удивлялся он. – Директор отдает себя полностью в наше распоряжение. А двадцать шестого августа маленький каботажный пароход с грузом продукции завода отплывает в Бейрут. Две промежуточные остановки в Латакии и Триполи, и двадцать девятого он прибывает в Бейрут. Пароход плавает под американским флагом, да и завод

принадлежит ведь американской компании. Директор говорит – полная безопасность обеспечена, так как кипрский флот на этих днях тоже выходит в море. У тебя будет отдельная каюта, Жюльетта, а в Бейруте ты – свободный человек. Все дальнейшее – вопрос денег. А деньги у тебя есть...

Глаза ее стали совсем черными.

– А Габриэл и Стефан?

Гонзаго аккуратно сдул пепел с рукава.

– Габрэнэл и Стефан? Так ведь сразу видно, что они армяне. Я говорил с директором и о них. Он наотрез отказался. Он, видишь ли, ладит с турецкими властями и не хочет вмешиваться. Все это он очень откровенно объяснил. Да, Габриэлу и Стефану, к сожалению, помочь нельзя...

Жюльетта отодвинулась.

– А мне – можно?.. И ты готов...

Гонзаго покачал головой – щепетильность Жюльетты он явно счел чрезмерной.

– Габриэл же сам хотел тебя отправить. Помнишь? Кстати, со мной.

Она стиснула виски ладонями.

– Да, он хотел отправить меня и Стефана... А я так с ним поступила... Я его обманываю...

– Ничего подобного! Тебе вовсе не надо его обманывать. Мне ли требовать этого от тебя? Напротив, скажи ему все. Сегодня же.

Жюльетта вскочила. Кровь бросилась ей в лицо.

– Что? Ты предлагаешь мне убить его? В его руках судьба пяти тысяч человек! И мне его убивать?

– К чему эти громкие слова! – не вставая, бесстрастно сказал Гонзаго. – Так мы только все перепутаем. Убивают обычно совсем чужих и незнакомых людей. И это случается каждый день. Но бывает так, что надо решать: или наша собственная жизнь – или наши близкие... Да разве Габриэл тебе все еще близок? Убьешь ли ты его, если сама спасешься, Жюльетта?

Его спокойствие, его уверенный взгляд вновь привлекли Жюльетту к нему. Взяв ее за руку, Гонзаго отчетливо, вразумительно принялся излагать свою философию. У каждого человека есть одна неповторимая жизнь. И если есть у него обязательства, то только перед этой единственной жизнью и больше ни перед чем. Из чего же она состоит, эта самая жизнь, по природе, по самой своей сути? Из длинной вереницы желаний и страстей. И пусть они порой существуют лишь в воображении, важно одно – они должны быть сильными. Эти желания и эти страсти нужно утолять, не считаясь ни с чем. В этом весь смысл жизни. Потому-то идешь навстречу опасности, даже навстречу смерти, ибо вне стремления утолить наши желания жизни нет.

Пример столь логичной и искренней позиции? Сам Гонзаго. Ни минуты он не колебался ради своей любви пойти навстречу любой опасности, даже обрек себя на весьма неудобное существование. Под конец он сказал презрительно:

– Все, что ты считаешь любовью, заботой, самопожертвованием, – просто-напросто душевная лень и страх.

Голова Жюльетты упала ему на плечо. Опять этот неслышимый гул. Опять ее куда-то уносит...

– У тебя все уж до того взвешено и измерено, Гонзаго! Не будь таким ужасающе рассудительным. Я этого не вынесу. Почему ты так переменялся?..

Его легкая рука, чье прикосновение было чудом нежного искусства будить страсть, скользнула по ее плечу, груди, бедру. Жюльетта зарыдала. Гонзаго утешал.

– У тебя есть еще время решать, Жюльетта. Семь долгих дней. Кто знает, что может случиться за эти дни...

После довольно долгого перерыва Тер-Айказун созвал Большой Совет. Члены его сидели на длинных скамьях в правительственном бараке. Сидя в своей камере, как это уже вошло у него в привычку, безучастно слушал их Грикор. Так и казалось, что мудрец, чтобы обрести духовное совершенство, полностью отказался от общения с людьми. Почти ни с кем он уже не разговаривал, разве что с самим собой. Правда, тут уж он бывал многословен – случалось это в самые одинокие ночные часы. Нечаянный прохожий, услышавший его, ничего бы не понял. Грикор задумчиво расставлял в ряд короткие фразы, ничем друг с другом не связанные, например: «Расплавленное ядро планеты... небес-ная ось... россыпь плеяд... опыление цветка...». Слова эти возвышали душу Грикора, приближали к первопричине всякой сути. Взметнет горсть таких слов, и они как бы парят в воздухе! Вот так собирал он из них огромный купол, весь сотканный из сверкающей научной мозаики, и восседал под ним посередине, отрешенно улыбаясь, точно буддистский священник. Существует ведь ступень совершенства, аскетического богатства, которое уже ни высказать, ни сообщить людям нельзя, ибо все подлинно возвышенное – асоциально. На эту ступень, возможно, и поднялся аптекарь Грикор. Людей он давно уже перестал поучать. Прежние его ученики не навещали его, да он о них и не спрашивал. Прошли времена былого величия, когда он во время ночных прогулок показывал Восканяну, Шатахяну, Асаяну и прочим звездные миры, давая им самые невероятные названия, приводя неслыханные цифры, почерпнутые из его алчущего бесконечности воображения. Теперь огромные звезды и слова кружили внутри него и не возникало уже жгучей потребности радостно поведать о них другим. Аптекарь Грикор спал не более часа в сутки. С каждым днем чудовищная боль все злее сводила его сухожилия и суставы. А когда Петрос Алтуни, заметив состояние друга, задал ему обычный вопрос, Грикор торжественно ответил по латыни: «Rheumatismus articulorum et musculorum». Ни разу ни единого слова жалобы не слетело с его уст. Болезнь была ниспослана ему, дабы утвердилось всемогущество духа. Однако она повлекла за собою кое-что другое: все вокруг словно померкло. Вихрем уносился от него весь мир. Вот и сегодня, когда заседали члены Совета, он следил за ними напряженным взглядом и шевелил губами, повторяя их слова и не понимая, будто глухонемой. Казалось, он уже не воспринимает обыкновенную человеческую речь.

Совещание на сей раз затянулось. В стороне сидели Авакян и общинный

писарь Йогонолука, они вели протокол и оформляли резолюции. По особому распоряжению Тер-Айказуна перед баракон выстроилась охрана лагеря.

Вардапет не был склонен к пышности, поэтому, надо думать, потребовав этой меры безопасности, он преследовал некую цель. И если сейчас охрана должна была всего лишь обеспечить спокойную работу Совета, не допускать посторонних, то ведь в будущем, при более напряженной обстановке, возможно, и впрямь возникнет подлинная необходимость охранять порядок и руководящий орган.

Как обычно, Тер-Айказун председательствовал прикрыв глаза и, как всегда, казалось, что его познабливает. Доклад о положении с продовольствием, который председатель поставил первым, сделал пастор Арам Товмасян, как лицо, ведающее порядком в лагере. Он обрисовал истинное положение дел. После стихийного бедствия – ливня с градом, сгорел еще и амбар, подожженный прямым попаданием снаряда. Он уничтожил как остатки муки, так и особенно ценные продукты: масло, вино, сахар, мед. Без кофе и табака обойтись можно, но без соли не обойдешься, а ее осталось только на три дня. Люди питаются одним мясом. Почти всем это претит, да и запасы мяса тают с ужасающей быстротой. Мухтары пересчитали скот и установили, что со времени исхода стадо уменьшилось на треть. Дальше так хозяйство вести невозможно. Иначе очень скоро не останется ничего, а это – конец.

Затем пастор уступил место Товмасу Кебусяну – как человек сведущий, тот должен был определить состояние стада. Кебусян поднялся, покачал головой и закосил своими неодинаковыми глазами на всех сразу и ни на кого в отдельности. Начал он с жалоб по поводу потери своих превосходных овец. Он выращивал их столько лет, не щадя сил. Теперь его милых овечек не узнать. В добрые старые времена упитанный баран весил от сорока до пятидесяти ока'. А ныне – вдвое меньше. По мнению мухтара, тут две причины. Первая, пожалуй, – общинное ведение хозяйства – будь оно неладно... Он-то, конечно, понимает – иначе сейчас нельзя. Но это дурно отражается на скотине. Кому как не ему знать своих баранов. Они тощат потому, что нет у них хозяина, некому о них заботиться. Вторая причина не имела такой политической окраски, но звучала более убедительно. Лучшие пастбищные делянки внутри оборонительного пояса потравлены не только овцами и козами, но и ослами. А от плохого корма мясо жесткое, жира скотина совсем не нагуливает. Да и с молоком обстоит не лучше, содержание в нем жира быстро уменьшается. О масле и сыре вообще нечего говорить!

И Кебусян жалобно закончил:

– Единственный выход – новые пастбища, тогда и мясо будет другое.

Габриэл Багратьян решительно возразил: нам не дано жить в довольстве и мире, мы точно в Ноевом ковчеге среди кровавого потопа. О свободном передвижении людей и скота нечего и помышлять. Турецкие разведчики обложили оборонительное кольцо со всех сторон. Выгонять скот за пределы лагеря, да еще на северные склоны Муса-дага – означает идти на такой риск, за который никто не может взять на себя ответственность.

– Какого дьявола! – воскликнул он. – Неужели нельзя найти новые пастбища внутри кольца? Выгоняйте скот на вершины!

– Но наверху трава низкая, сожжена солнцем, – перебил его мухтар Абибли, – такую и верблюды не жрут.

Но Габриэла невозможно было сбить.

– Лучше тощее мясо, чем никакого, – сказал он.

Тер-Айказун согласился с Багратяном и предложил пастору продолжать. Арам Товмасян заговорил о том, как пагубно, не имея хлеба, питаться одним только мясом. Он мог бы привести сотни причин и не последняя – слишком быстро уменьшающееся стадо, почему необходимо скорее заменить мясо другими продуктами. Совершать рейды в долину теперь, когда она заселена мусульманами – невозможно. С другой стороны – и Петрос Алтуни может это подтвердить, – однообразное мясное питание уже подорвало здоровье людей. Все больше бледных лиц, согбленных фигур. Каждый знает это по себе – пищу необходимо разнообразить.

Только после всего этого Арам Товмасян заговорил о своем плане. До сих пор никто не думал, как использовать море. А ведь есть такие места, где из лагеря можно спуститься на берег за полчаса, не более. Сам он недавно наткнулся на заросшую тропу, ее надо поправить и расширить. Есть же дорожные мастера среди жителей и дезертиров. За два дня они проложат хорошую дорогу от лагеря к морскому берегу. А потом надо выделить группу молодых людей, женщин и подростков, тех, кто постарше. Начнем выпаривать соль, создадим небольшой рыбозавод. Плот, связанный из нескольких бревен, два-три самодельных весла – и можно выходить на мелководье. Сегодня же надо поручить женщинам-мастерицам сплести неводы. Пеньковых веревок в Городе сколько угодно. И еще. Он, Арам Товмасян, хорошо помнит, что в молодости был страстным птицеловом. Мальчишки из Йогонолука, должно быть, не забыли этого искусства. Пускай выходят с сетями и рогатками на ловлю птиц! Куда как лучше, чем болтаться без всякого дела, мешать старшим. Ну а об охоте на что другое, к сожалению, думать не приходится.

Предложение пастора разводить рыбу и заставить ребят ловить птиц и самим выпаривать соль члены Совета встретили с восторгом и обсудили в подробностях. Совет поручил Товмасяну немедленно взяться за исполнение этого плана.

Потом выступил доктор Алтуни; он говорил о состоянии здоровья жителей лагеря. Раненых всего сорок один человек. Из них четверо с высокой температурой, остальные, благодарение богу, вне опасности. Двадцать восемь он уже отправил по домам и все они скоро вновь вернутся в строй. Гораздо более тревожит странная болезнь, занесенная в лагерь молодым дезертиром из Алеппо. Сам он со вчерашнего дня агонизирует и, быть может, уже скончался. Однако, у некоторых больных в лазарете обнаружены опасные признаки этого заболевания: удушье, высокая температура, рвота. Возможно, это эпидемия, о которой, как он хорошо помнит, несколько месяцев назад писали газеты в Алеппо. Заразная болезнь в тесном лагере не менее опасна, чем турки. Вот

почему доктор сегодня утром велел отделить всех, кто, по-видимому, заразился. Между двумя вершинами, неподалеку от лагеря есть буковый лесок с родником. Это скорее даже рошица, куда обычно не заходят ни жители, ни дружинники. Там-то и следует устроить карантин. Он просит Совет назначить некоторое число людей, не способных носить оружие, сторожами в этом карантине. Сторожа эти не должны соприкасаться с жителями лагеря. Эким Петрос назвал первым кандидатом Геворка, плясуна с подсолнечником. Затем обратился к Габриэлу Багратяну:

– Друг мой, убедительно прошу тебя уговорить ханум Жюльетту больше не бывать в лазарете. Я потеряю хорошую помощницу, но ее здоровье дороже её помощи, сынок. Меня и без того тревожит состояние твоей жены. Заразиться ей слишком опасно. Мы все здесь народ крепкий, до родных наших мест рукой подать. А твоя жена, с тех пор как мы пришли сюда, на Дамладжк, очень переменилась. Как-то странно иной раз говорит, отвечает невпопад. Страдает не только ее тело. Очевидно, жизнь здесь ей не под силу. Да и как может быть иначе? Будь к ней более внимателен. Лучше всего ей лежать целый день в постели да читать романы, отвлечься от всего этого. К счастью, у нас есть Григор – этот может снабдить французскими книгами целый город...

Габриэл вздрогнул: уже два дня, как он с Жюльеттой не перемолвился ни единым словом!

После доктора взял слово учитель Апет Шатахян и стал жаловаться, что молодежь одичала. Школьные занятия не удается проводить систематически. С тех пор как Стефан Багратян и Гайк захватили гаубицы, мальчишки совсем от рук отбились, вообразили, будто они такие же бойцы, как взрослые дружинники, старших не слушают, держатся дерзко и независимо.

Мухтары подтвердили жалобы учителя.

– Где оно, то время, – сетовал мухтар Битиаса, – когда молодым не разрешалось ни заговаривать со стариками, ни возражать, дозволено было лишь проявлять покорность.

Тер-Айказун, видно, считал, что вопрос о поведении молодежи сейчас не самый важный, и обратился к Габриэлу со следующими словами:

– Каково истинное положение нашей обороны? Как долго мы можем продержаться, Багратян?

– На этот вопрос я не могу вам ответить, Тер-Айказун. Оборона всегда зависит от наступления.

Устремив на Габриэла свой такой кроткий и в то же время решительный взгляд, Тер-Айказун сказал:

– Говорите прямо и откровенно, Багратян.

– Не вижу оснований щадить членов Совета, Тер-Айказун. Я убежден, что положение наше отчаянное...

Минуту подумав, он в нескольких словах обосновал эту свою уверенность. До сих пор армянам удалось успешно отбить два штурма. Но именно в этом успехе и заложена гибель. Несомненно, турецкие власти взбешены. Весть о сокрушительном разгроме разнесется по всей империи, и это будет тяжелым



ударом для авторитета военной машины. Оттоманская военщина не может отмахнуться от подобного урока, как это было прежде. Как знать, возможно, и сам командующий армией Джемаль-паша уже взялся руководить операцией против Дамладжжа. Он, Багратян, склонен опасаться этого. Во всяком случае, третий штурм ничуть не будет походить на первые два. Вероятнее всего, турки уже стянули мощные пехотные части, подвезли горную артиллерию, а быть может, выслали и пулеметные роты, чтобы взять Дамладжж штурмом. Правда, у армянской обороны есть кое-какие преимущества: получен боевой опыт, в последние дни усилены и улучшены оборонительные позиции и сооружения. Наличие гаубиц – не только моральная поддержка. Но главное – дружины теперь обстреляны, это уже подлинное преимущество.

– Потому-то я вовсе не исключаю, что с божьей помощью мы можем отбить еще один штурм, – закончил Багратян.

Затем он сделал одно чрезвычайно важное предложение:

– Как ни безумна мысль о спасении. Совет не имеет права покоряться неумолимой судьбе и ждать, сложа руки. Все, все надо испробовать! Море, правда, так ужасно пустынно, будто мореходство еще не изобретено. И все же, хоть это маловероятно, хоть надежды почти нет, бог вест, быть может, в Александретте на рейде стоит миноносец союзников. Наш долг обдумать и такую возможность. Наш долг не упустить ее. Ну а американский генеральный консул в Алеппо, мистер Джексон? Известно ли ему о смертной борьбе христиан? Знает ли он о бедственном положении на Муса-даге? Наш долг сообщить ему об этом, потребовать защиты у американского правительства.

И Габриэл изложил свой план. Надо послать две группы гонцов, одну – в Александретту, другую – в Алеппо. В Александретту – лучших пловцов, в Алеппо – лучших ходоков. Задачу пловца можно считать более легкой: ведь до Александреттской бухты всего тридцать пять английских миль на север и добраться туда можно пустынными горами, минуя населенные пункты. Однако главная задача этого плана – вплавь достичь борта корабля – потребует большой физической силы и решительности. От тех, кто пойдет в Алеппо, не потребуется такого напряжения, но зато им предстоит преодолеть расстояние в восемьдесят пять миль, причем только ночными переходами, избегая больших дорог и селений, и все-таки постоянно подвергаясь смертельной опасности. Но если курьеры сумеют добраться до дома мистера Джексона, они сами, что и говорить, будут спасены.

План Багратяна подвергся бурному обсуждению: ведь он позволял сохранить хоть малую искру самой безумной надежды; а стало быть, и позволял не поддаваться сознанию обреченности. Пловцов назначили двоих. В качестве гонца в Алеппо достаточно будет послать одного юношу. Нет никакого смысла подвергать опасности двоих. Судите сами: двое пройдут незаметней троих, а один проскользнет мимо таможенников и заптиев скорей, чем двое.

Тер-Айказун предложил выбрать пловцов и гонца из добровольцев. Гонцы – один или два, еще не решили окончательно – захватят с собой письмо

американскому консулу, а пловцы – капитану корабля. Чтобы в случае ареста письма не попали в руки турок, их можно зашить в пояс.

Тер-Айказун назначил день и час для сбора добровольцев. Он, не откладывая, продиктовал общинному писарю обращение к жителям Города. Мюдиры и глашатаи должны были в тот же вечер огласить его. Сам Габриэл Багратян вызвался написать письмо консулу Джексону.

Арам Товмасын взялся составить послание капитану военного корабля. Он сел в сторонке, и пока члены Совета шумно обсуждали следующий пункт повестки дня, составил послание, которое должны были передать пловцы. Работа эта глубоко взволновала его – порой он вскакивал и, размахивая руками, с жаром прочитывал какой-нибудь отрывок. При этом он оставался собой: точь-в-точь протестантский пастор, который готовит воскресную проповедь. Послание свое он очень быстро закончил. Оно сохранилось – это свидетельство сорока дней Муса-дага.

«Любому – английскому, американскому, французскому, русскому, итальянскому – адмиралу, капитану или старшему командиру, коего достигнет сие прошение.

Сэр! Во имя господи бога и человеческого братства мы взываем к Вам. Мы, жители семи армянских деревень, около пяти тысяч душ, бежали на плоскогорье Муса-дага, называемое Дамладжом, расположенное в трех часах ходьбы северо-западнее Суэдии, на морской стороне горы.

Мы бежали сюда, спасаясь от варварства и жестокости турок. Мы защищаемся, дабы отвратить бесчестие и позор, которые грозят нашим женам.

Сэр! Вы, несомненно, знаете о проводимой младотурками политике уничтожения нашего народа. Под видом переселения и лживым предлогом необходимости предотвратить мнимый бунт, они выгоняют наших людей из домов, грабят поля, сады, виноградники, всякое движимое и недвижимое имущество. По нашим сведениям так было, помимо других поселков, в городе Зейтуне и тридцати двух окрестных деревнях...».

Затем Арам Товмасын рассказал о том, что он пережил, когда их гнали по этапу из Зейтуна в Мараш. Потом описал Исход семи деревень и в ярких красках обрисовал бедственное положение народа на Дамладжке. Обращение заканчивалось призывом о помощи.

«Сэр! Мы умоляем Вас во имя Иисуса Христа! Перевезите нас на Кипр или в другую свободную страну. Мы народ не ленивый. Не щадя себя, будем зарабатывать свой хлеб, если нам дадут работу.

Но если Вы сочтете просьбу нашу, нескромной и невыполнимой, то возьмите хотя бы наших женщин, наших детей, наших стариков. А нас, мужчин, снабдите в достатке оружием, патронами и провиантом, дабы могли мы защищаться от войск врага до последнего вздоха.

Мы умоляем Вас, Сэр, поспешайте, пока не поздно!

От имени всех христиан здесь наверху

Ваш покорный слуга пастор А. Т.».

Обращение это было составлено на двух языках: на одной стороне листа –

на французском, на другой – по-английски. Оба текста тщательно отредактировали под наблюдением стилиста и лингвиста Апета Шатахяна. Однако переписать текст мелкими буквами на узеньком листе бумаги неожиданно поручили не учителю Восканяну, прославленному каллиграфу, а Самвелу Авакяну, который был далеко не такой мастер этого дела. Грант Восканян вскочил и так уставился на Тер-Айказуна, будто намеревался вызвать на дуэль не только вардапета, но и весь Совет. Губы его беззвучно шевелились.

Его заклятый враг Тер-Айказун в ответ только снисходительно улыбнулся:

– Садись, учитель Восканян. Успокойся! Твой почерк чересчур красив. Кто увидит его, не поверит в нашу беду, раз мы способны выводить такие завитушки.

Черный гном, подняв голову, шагнул к Тер-Айказуну:

– Вардапет! Ты ошибаешься во мне! Видит бог, к этой глупой мазне я не ревную.

И воинственно потрясая кулаками перед лицом Тер-Айказуна, выкрикнул дрожащим от гнева голосом:

– Эти руки, вардапет, давно уже не держат ни пера, ни кисти, но они уже доказали, что способны держать и кое-что другое!

Если не считать этой смешной стычки, важное совещание прошло мирно, решения принимались единодушно. Остался доволен даже скептик Тер-Айказун: он надеялся, что как бы ни сложились обстоятельства в будущем, этого согласия избранников не расторгнуть, не сломить.

И на этот раз Габриэл не застал жены ни в шатре, ни на площадке среди миртовых кустов, где она обычно принимала гостей. Но там оказались учителя Восканян и Шатахян – в последнее время они несколько раз заходили сюда отдать дань восхищения мадам Багратян, однако тщетно. Особенно зол был Грант Восканян: ни одна из его многочисленных попыток явиться пред Жюльеттой в роли льва-победителя Южного бастиона не увенчалась успехом. Вне себя от бешенства, он вынужден был признать, что элегантный манекен, каким он считал мосье Гонзаго, как видно, затмевает здесь обоженного пороховым воина. Но как ни был подозрителен Молчун, ни единая нечистая мысль не закралась ему в голову. Мадам Багратян была так недосыгаема в своей звездной высоте, что никакие недостойные образы не смели его смутить. В этом отношении несносный карлик был целомудрен, как ашуг.

Увидев учителей, Багратян круто повернул и ушел. В некоторой нерешительности он шагнул по тропинке от площадки Трех шатров в сторону «Ривьеры». Куда бы в этот час могла уйти Жюльетта, думал он. Он направился было к Городу, но тут увидел сына. Как всегда, Стефан был с ватагой Гайка. Сам Гайк мрачно шагнул впереди, как бы демонстрируя, что он вожак, а может, просто желая подчеркнуть свою независимость. Несчастный Акоп с отчаянной готовностью скакал подле Стефана, остальные ребята шли как попало. Сато крадучись следовала за мальчишками.

Мальчишки притворились, будто не заметили командующего, не приветствовали его, не отдали честь и явно собирались прошмыгнуть мимо. Но

Габриэл резко окликнул Стефана. Герой захвата гаубиц отделился от застигнутой врасплох ватаги и подбежал к отцу. В его повадке появилась какая-то нелепая важность и что-то дикое, перенятое у приятелей. Взлохмаченные волосы свисали на лоб. Лицо красное, потное. Глаза заволочла пелена хмельной одержимости. Одежда рваная, грязная. Раздосадованный Багратьян строго спросил:

– Скажи, пожалуйста, чем ты, собственно, занят?

Стефан поперхнулся, неопределенно помахал рукой и сказал запинаясь:

– Бегаем, играем... Мы сейчас свободны от службы.

– Играете? Такие большие парни? Во что же вы играете?

– Ни во что..., просто так... папа...

Он говорил отрывисто и как-то странно снизу вверх смотрел на отца, словно спрашивал: «Папа, зачем ты разрушаешь все, чего я с таким трудом достиг у ребят? Если ты сейчас будешь говорить со мной как с маленьким, они поднимут меня на смех».

Но Габриэл не разобрал, что говорили глаза сына.

– Да ты на человека не похож, Стефан! Неужели ты в таком виде покажешься маме?

Стефан молчал, мучительно уставившись в землю. Хорошо еще, что отец говорил по-французски. Но, к сожалению, приказ был отдан по-армянски, и вся ватага слышала его:

– Немедленно ступай в палатку! Умойся. Переоденься. Вечером явишься ко мне с докладом и... в человеческом виде.

Пройдя немного в южном направлении, Габриэл Багратьян вдруг остановился. А исполнил ли мальчишка его приказ? Наверное – нет. И действительно, когда позднее он вошел в шейхский шатер, Стефана он там не застал. Какое же назначить мальчишке наказание? – думал он. Тут ведь не только сыновнее непослушание – Стефан не подчинился командующему. Однако наказывать кого-либо на Дамладжке было делом непростым.

Габриэл подошел к своему чемодану, стоявшему в этой палатке, и достал из него какую-то книгу. Очевидно, совет доктора Жюльетте читать романы, которые уводили бы подальше от этой чудовищной действительности, соблазнил и его. Быть может, и ему удастся часа на два уйти от этого беспощадного мира, от своего беспокойного «я». Сегодня уже нечего опасаться: в долине ничего нового не замечено. Вернулись разведчики. Они совершили вылазку почти до самого Йогонолука и нигде не видели ни одного заптия.

Габриэл взглянул на желтую обложку. Шарль Луи Филипп\*. Эту книгу он любил, хотя сейчас плохо помнил содержание. Но там, конечно же, есть маленькое кафе со столиками, выставленными на тротуар. Залитый солнцем пыльный бульвар. Крохотный дворик. Акации. Позеленевшая решетка посередине двора... И этот жалкий дворик столько расскажет о весне, сколько никогда не поведают даже в марте все эти рододендроны, мирты, анемоны и нарциссы на Муса-даге. Старая мрачноватая лестница с деревянными

ступеньками, вытоптанными до впадин, но-хожих на ракушки... Постукивая каблуками, спускаются невидимые женские туфельки...

---

\* Шарль Луи Филипп (1874-1909) – французский писатель-реалист, одна из предтеч новой демократической литературы Франции XX века, «социалист теоретически и преданный друг трудящегося люда» (Луначарский).

---

Как только Габриэл раскрыл книгу, из нее выпал листок – письмо. Написал его маленький Стефан. Еще тогда, тоже в августе, между прочим. Габриэл был на большой конференции младотурок и дашнакцутюна в Париже. А Жюльетта с ребенком отдыхали в Монтрё. То был знаменитый конгресс братания, где было принято решение о единстве действий свободомыслящей молодежи обоих народов во имя обновления родины. Именно эта клятва, как известно, заставила Габриэла и нескольких других идеалистов записаться в училище офицеров запаса, когда над Турцией сгустились тучи войны. Письмецо Стефана так и пролежало нетронутым с тех августовских дней в парижском романе Шарля Луи Филиппа. Оно ничего не знало о грозном будущем. Стефан написал его угловатым детским почерком, как пишут, уютно пыхтя от старательности, французские пригостишки:

«Дорогой папа! Как ты поживаешь? Ты еще долго будешь в Париже? Когда ты приедешь к нам? Мы с мамой очень скучаем по тебе. Здесь очень красиво. Целую тебя.

Твой благодарный сын Стефан».

Габриэл сидел на кровати, на которой обычно спал Гонзаго Марис, и, не отрываясь, смотрел на неровные буквы, выведенные детской рукой. Непостижимо! Неужели нарядный мальчуган, когда-то нацарапавший в светлом гостиничном номере на дорогой бумаге, все еще пахнущей духами Жюльетты, эти благовоспитанные строки, – и есть одичалый подросток, только что встретившийся отцу?.. Припоминая сейчас тревожный звериный взгляд Стефана, гортанные выкрики стаи мальчишек, Габриэл Багратян не подозревал, что сам он почти так же неузнаваемо преобразился. Многие подробности того далекого августовского дня всплыли в его памяти, пробужденные детским письмом. Никакие кровавые ужасы, ни даже зрелище мученической смерти не терзали его сердце так, как этот пожелтый листок, что уцелел от ушедшей навсегда жизни...

Насилу одолев первые пять строк романа, Габриэл захлопнул томик. Ему подумалось, что никогда больше он не сумеет сосредоточиться на какой-нибудь книге. Так огрубевшие руки токаря уже неспособны к тонкой резьбе по дереву.

Вздыхнув, он поднялся с кровати Гонзаго, поправил одеяло и тут только заметил, что в ногах аккуратно сложено белье, рядом – иголки, нитки, ножницы, моток шерсти для штопки – грек ведь сам чинил свои рубашки, штопал носки. Габриэл не понял, почему вид этого белья заставил его подумать об отъезде. Он подошел к своему чемодану, бросил туда книгу. Но письмо маленького Стефана сунул в карман. Выходя из шейхского шатра, он почему-то вспомнил вокзал в Монтрё... Жюльетта и Стефан на перроне... У Жюльетты был тогда красный зонт...

Перед палаткой Товмасынов Габриэл остановился. Спросил снаружи, разрешит ли роженица навестить ее. Отозвалась Майрик Антарам. Пригласила войти. С того дня, как она стала ухаживать за молодой матерью и ребенком, Майрик, опасаясь занести к ним заразу, перестала ходить в лазарет. Страстно-волевое лицо этой немолодой уже женщины дышало материнским участием. Она без устали хлопотала вокруг матери и младенца, будто никак не могла насладиться этим ей одной дарованным счастьем. Однако, наперекор всем ее стараниям, ребенок не развивался. Крохотное личико было все еще коричневато-бурым, сморщенным, как у новорожденного. Широко раскрытые глаза смотрели невидящим взглядом. Но, что всего тревожнее – малыш не кричал. Овсанна совсем зачахла. На лице ее остался не только отпечаток тяжелых родов, оно застыло в болезненной, ожесточенной замкнутости. Исчезли все приметы молодости, проступила незаметная прежде резкость.

Едва Габриэл подошел к кровати, пасторша обнажила грудь младенца и с укором показала на лиловую родинку у сердца, разросшуюся уже до величины монеты.

– Все больше становится...- сказала она странно торжественным тоном, словно пророчица, предвещающая кару небесную.

– Тебе бы радоваться, пасторша, бога благодарить, что у ребенка знак на груди, а не на лице, – не вытерпев, с досадой упрекнула ее Майрик Антарам, – Чего тебе еще надо?

Овсанна сердито закрыла глаза, будто устала слушать пустые утешения, – она-то лучше знала.

– А почему он так плохо сосет? Почему не плачет?

Антарам грела пеленки на раскаленном камне. Не оборачиваясь, она отозвалась:

– погоди до крещения! Два дня еще. Бывает ведь, что дети только после крещения начинают кричать.

Лицо Овсанны скривилось в упрямой гримасе.

– Если только он доживет до крещения...

Докторша совсем рассердилась:

– Всех ты замучила – и себя и других. Да кто тут знает, что через два дня будет: крещение или смерть? Сам господин Багратян и тот не знает, будем ли мы живы через два дня.

– Но пока мы живы, – улыбнулся Габриэл, – и раз так – в честь крестника и его матери мы здесь, прямо перед палаткой, устроим небольшой праздник. Я

уже говорил с пастором. Госпожа Товмасян, назовите, кого вы хотите пригласить.

– Я нездешняя. У меня и знакомых тут нет...- ответила Овсанна и отвернулась.

Искуи сидела в стороне на своей кровати и не сводила глаз с гостя. Да и Габриэл то и дело на нее оглядывался. Ему показалось, что Искуи гораздо больше изнурена и больше нуждается в помощи, чем Овсанна,

– у той еще хватает сил на непонятную враждебность, да и вообще она явно пользуется своим состоянием. А юная ее золовка сидит в палатке, точно пленница...

– Не хотите ли вы меня немного проводить, Искуи? – спросил Габриэл, окинув ее ласковым взглядом.- Жена у меня пропала, иду ее искать.

Искуи посмотрела на Овсанну, будто спрашивая позволения. И та – плаксиво, давая понять, что обижена, разрешила.

– Конечно же, Искуи, иди! Ты мне не нужна. Пеленать ты все равно не можешь. Тебе полезно погулять.

Искуи колебалась. Она почувствовала в ответе Овсанны коварство. Но тут вступилась Майрик Антарам.

– Ступай, ступай, голубка. И до вечера не возвращайся. Нечего тебе здесь делать.

Выйдя из палатки, Габриэл спросил:

– Что случилось с вашей невесткой, Искуи?

Девушка остановилась и, не глядя ему в глаза, ответила:

– Ребенок очень плох. Овсанна боится, что он умрет.

Когда они отошли подальше, Искуи, наконец, посмотрела на него и прибавила:

– А может быть, тут и другое... Может быть, только теперь, после родов, проявляется ее подлинная натура.

– А раньше вы за ней ничего такого не замечали?

Ей вспомнилась жизнь в Зейтуне, в приюте. Ссоры из-за мелочей. Искуи всегда ощущала в Овсанне упрямство и строптивость. Но зачем сейчас говорить об Овсанне? И она только уклончиво заметила:

– Случалось иногда...

Габриэл и Искуи шли по направлению к Городу, хотя едва ли можно было встретить там Жюльетту.

Люди сидели перед шалашами. Здесь, на горе, воздух был приятней и прохладней, чем внизу, в долине. С моря веял ласковый ветерок. Все были чем-то заняты. Женщины чинили белье и одежду. Мужчины – кто латал обувь, кто строгал доски, а кто обрабатывал козьи и овечьи шкуры. Полным ходом работали кузница Нурхана Эллеона, его шорные и патронные мастерские. Все это было вынесено за пределы Города, чтобы обезопасить его от возможного пожара. Сейчас там трудились Нурхан с двадцатью своими подмастерьями. Стук молотов и шипенье пара не смолкали ни на миг. Ведь гвозди и штифты нужны всем. У Нурхана чинили поломавшийся инвентарь, но главным образом

неисправное оружие. Как часто в такие спокойные дни от мирного трудового шума рождалась иллюзия, что на Дамладжке живут и трудятся колонисты, и не висит над ними угроза смерти! Человек не осознает мимолетности времени – в этом его детская сила, она помогает преодолевать и вчерашний день, и завтрашний. Правда, лица у всех осунулись от усталости, недоедания и недосыпания, но все же люди улыбались, приветливо кланялись Багратьяну и Искуи.

И вот эти двое вышли из Города. Говорили односложно. Вопросы ни о чем – ответы ни о чем. Казалось, каждый кладет на чашу весов другого крохотную гирьку, гранатовое зернышко души – только бы не нарушилось дивное равновесие. Они шли на запад, над ними высились вершины гор. Кругом все было голо. (Мягкий ландшафт высокогорного плато остался позади. Перед ними раскрылась пустота без птичьего гомона. Лишь порой прошелестит ветерок – все для того, чтобы этим двоим лучше слышать друг друга...

Габриэл не смотрел на Искуи. Так хорошо было, даже не видя, почувствовать, что она рядом. Лишь изредка на каменных россыпях он с восхищением следил, как ее ножки с очаровательной робостью выбирали, где ступить. Разговор оборвался. Да и что сказать друг другу? И отчего-то Габриэлу представилось, будто хрупкая фигурка рядом с ним становится все тяжелей, весомей. Нет, не девичье тело становится весомей – но что же тогда? Ему казалось, будто рядом идет не только сегодняшняя Искуи – зримая и незримая, но и Искуи, вечно появляющаяся и вечно исчезающая. Не юное и прелестное создание, а изумительно воплотившаяся душа во всем своем вневременном совершенстве, низошедшая от бога и уходящая к нему. Но как облечь в слова самый редкий и самый хрупкий миг, когда человеку дано, пройдя через мгновенный соблазн пола, соприкоснуться с другим существом в его богоданной неповторимости – и он в едином вдохе вбирает в себя всю историю этой сестринской души от сотворения мира до конца его?

Габриэл взял правую руку Искуи – из-за парализованной левой она шла слева. И пока они шли, она безмолвно предалась ему всей душой, без остатка, ничего не навязывая. Они не говорили о чувстве, что расцвело так внезапно, так естественно. Они не поцеловали друг друга. Просто шли рядом и принадлежали друг другу.

Искуи проводила Габриэла до Северного Седла. А когда простилась, он долго смотрел ей вслед. И не возникло в нем ни желания, ни темного волнения, ничего корыстного, никакой оглядки на будущее. Будущее? Смешно! Все в нем было невесомой радостью. И так тихо Искуи ушла, что ему не мешали даже мысли о ней, когда он принялся обдумывать новый план обороны... А когда позже явился Стефан, Габриэл забыл наказать сына за непослушание.

Новая жизнь на Муса-даге переменяла и религиозный уклад его обитателей. За последние десятилетия в армянском народе стало чуть ли не модой сменять вероисповедание. С середины прошлого века, благодаря деятельности американских и немецких миссионеров, особенно распространилось протестантство. Достаточно упомянуть превосходных



священнослужителей Мараша, чьи заслуги перед армянами Киликии, Сирии и семи мусадагских деревень огромны, ибо столько труда они положили на образование, строительство. Надо признать счастливым то обстоятельство, что различие вероисповеданий не раскололо душу нации. Христианство вело здесь постоянную борьбу и поэтому его служители не допускали зависти и высокомерия по отношению друг к другу. Пастор Арутюн Нохудян из Битиаса без помех выполнял свои пасторские обязанности во всех семи общинах, но когда решались важные для всех вопросы, подчинялся авторитету вардапета Тер-Айказуна. Здесь же, на Дамладжке, Арам Товмасын, подчиняясь во всем вардапету, как преемник старого пастора Нохудяна, опекал души протестантов. Каждое воскресенье после обедни Тер-Айказун предоставлял алтарь в распоряжение пастора Арама, и проповедям пастора внимали не только протестанты, но обычно и все население лагеря. Отличия в обрядах потеряли всякое значение. Тер-Айказун был высшим по чину священнослужителем Горы и руководил не только делами женатых сельских священников, но как верховный пастырь опекал бессмертную душу всего народа. И само собой разумелось, что Арам-Товмасын попросил его крестить своего первенца.

Обряд был назначен на следующее воскресенье – четвертый день августа и двадцать третий день Муса-дага. Однако из-за утренних и дневных богослужений, а также других обязанностей Тер-Айказуна крещение могло состояться только в послеполуденные часы. А так как Овсанна еще недостаточно окрепла и вряд ли смогла бы дойти до Алтарной площади, Арам Товмасын попросил вардапета самого прийти на площадку Трех шатров и там совершить обряд крещения, – тогда и мать сможет присутствовать. Заранее уговорились, что Багратян распределит около тридцати пяти приглашений среди знатных людей и командиров важнейших секторов. Принимая первенца Муса-дага в общину во Христе, очень удобно было собрать руководителей на праздник и тем самым укрепить общие связи. У Багратяна еще оставалось десять десятилитровых кувшинов крепкого вина. Он поручил Кристофору выделить два кувшина для торжества, да впридачу выставить четверть тутовой водки. Правда, закуски гостям он предложить не мог. Продовольствия у Трех шатров почти не оставалось.

В четвертом часу пополудни гости собрались на площадке. Для молодой матери и пожилых гостей принесли стулья. Старинная, дивной работы мраморная купель вместе с другими сокровищами осталась в церкви Йогонолука. Тер-Айказун надел свое облачение в шейхском шатре. Церковный служака установил на низеньком столике жестяную ванночку. По желанию Арама крестным отцом был Габриэл Багратян.

Церковный хор, возглавляемый тощим Асяяном, выстроился позади стола, на котором было укреплено распятие и стояла ванночка. Теплую воду освятили еще у алтаря. Под хоровое пение один из младших священников накапал в нее три капли священного мира.

Немного конфузясь, крестный Багратян принял младенца из рук Майрик Антарам.

Ради торжественности обряда женщины завернули желтое сморщенное существо, так и не набравшее сил, в парадную пеленку, которую, если учесть обстоятельства, вполне можно было назвать великолепной. Широко раскрытые глаза ребенка по-прежнему недвижимо смотрели мимо этой ужасной жизни, в водоворот событий которой он был брошен без всякой вины. Он и голоса не подал, будто решил, что не стоит приветствовать хотя бы пискom божий свет, столь милостиво освещающий эти чудовищные законы рода людского.

Габриэл, как положено, передал священнику злосчастный сверток, который в своей странной отчужденности, казалось, противился религиозному обряду и всему тому, что он влечет за собой. Отнюдь не смиренный, на удивление холодный взгляд Тер-Айказуна словно не узнавал Багратяна. Во всяком случае, он видел в нем не человека, а лишь исполнителя роли, отведенной ему в таинстве крещения. И так бывало всякий раз, когда вардапет стоял у алтаря или облачался в рясу. Тогда из глаз его исчезало всякое сочувствие и всякие воспоминания, уступая место строгому бесстрастию, подобающему его сану. Низким звучным голосом он задал крестному отцу вопрос:

– Чего просит младенец?

И Габриэл, казавшийся себе очень неловким, ответил как полагалось:

– Веру, надежду, любовь!

Так повторялось трижды. И только после этого прозвучал вопрос:

– Какое имя дадите младенцу?

Имя ему решили дать по деду, мастеру Микаэлу Товмасыну. И тут старик, как это ни смешно, счел своим долгом подняться и отвесить небольшой поклон, словно и он, вместе с потомком, вступал в будущее. Но что до будущего, все здесь думали о нем одинаково. Даже если забыть, что все они на Муса-даге обречены, и поверить в чудо спасения, невероятно, чтобы такое жалкое, вялое тельце дожило до него.

Теперь к Габриэлу подошли Майрик Антарам, Искуи и Арам Товмасын. Младенца освободили от пеленок. Руки Искуи и Габриэла не раз касались одна другой. Люди смотрели скорбно, затаив отчаяние. Овсанна с кислой миной пуританки устала на гостей. В душе ее росли смертельная печаль и смертельная вражда. Объяснялось это, быть может, тем, что Овсанна чувствовала между Арамом и Искуи, между братом и сестрой, глубокую душевную общность, от которой и в эти минуты она была отстранена.

Тер-Айказун уверенным движением принял от крестного голенького ребенка, и руки его, окрестившие уже тысячи младенцев, трудились с той неземной легкостью и изяществом, которые отличают всех пастырей милостью божией в этой обыденной части действия. На несколько секунд он поднял младенца повыше и показал его собравшимся. И тут все увидели большую родинку на его груди. Потом вардапет быстро три раза окунул младенца в воду, описывая всякий раз тельцем его знак креста.

– Крещается раб божий во имя отца и сына и святого духа... Вдруг Овсанна Товмасын порывисто вскочила и с искаженным лицом вся подалась

вперед. Настал решающий миг: закатится ли дитя долгим обиженным плачем в купели, как обещала Майрик Антарам?

Тер-Айказун протянул младенца крестному отцу. Но не Габриэл, а Майрик Антарам приняла его, нежно вытерла тельце мягкой тканью. Малыш так и не закричал. Закричала пасторша. Дважды она истерически что-то крикнула. Стул позади нее упал. Она закрыла лицо руками и шатаясь ушла в палатку. Жюльетта, сидевшая рядом, все же разобрала слово, которое она выкрикнула:

– Грех! Грех!..

Немного погодя бледный, с вымученной улыбкой, из палатки вышел Арам Товмасян.

– Прости ее, Тер-Айказун. Это еще с Зейтуна, хотя до сих пор и не проявлялось. Душа ее совсем расстроена.

И дал знак Искуи пойти к Овсанне. Девушка огорченно и растерянно посмотрела на Габриэла Багратьяна. Тот попросил пастора:

– Может быть, вы позволите сестре остаться с нами? Майрик Антарам уже с Овсанной.

Товмасян заглянул в палатку.

– Моя жена требует, чтобы Искуи пришла. Вот когда Овсанна уснет, тогда пожалуй...

А Искуи уже исчезла. Габриэл догадался: пасторша не хочет отпускать золовку, пусть будет прикована к ней, раз сама она так несказанно мучается.

После обряда начался праздник. Но люди так и не избавились от тягостного впечатления, какое оставили крестины.

Рядом со столом, за которым Жюльетта обычно принимала гостей, Габриэл велел поставить еще один длинный стол и скамьи. Но от этого возникла некая разница – гость гостю рознь, многих чувствительных людей она обидела. Им казалось, что за столом Жюльетты восседают «благородные», а «плебеи» вынуждены довольствоваться местом за наспех сколоченным столом. Это был, разумеется, сущий вздор. Не было такого разделения. За столом «благородных» сидели не только Тер-Айказун, супруги Багратьян, пастор Товмасян, аптекарь Грикор, Гонзаго Марис, – туда нахально вперся, как всем казалось, и Саркис Киликян. Но Саркиса пригласил Габриэл Багратьян: он решил отличить дезертира и даже посадил его рядом с собой. Зато госпоже Кебусян, сколько она ни старалась, так и не нашлось места среди знати, и она вынуждена была сесть вместе с остальными мухтаршами, а ведь она, благодаря несравненно большему, хотя и навеки утраченному богатству своего супруга, считала себя намного выше их. И учителю Восканяну не выпало чести захватить местечко за почетным столом в отличие от его коллеги Шатахяна. Но он, схватив свой карабин, решительно опустился на землю у ног Жюльетты, сидевшей на самом углу. Сурово и строго смотрел он снизу вверх на обожаемую француженку. Его алчный взгляд как бы требовал: да спросите же о моих подвигах, чтобы я мог с напускной скромностью презрительно отшутиться. Но Жюльетта и не думала спрашивать его о чем бы то ни было. Напротив, Восканяну то и дело приходилось вскакивать и пропускать ее. С

необыкновенным усердием играла она роль хозяйки – каждые пять минут обходила большой стол, смотрела, наполнены ли стаканы, заговаривала с гостями на своем ломаном армянском языке, угощала мухтарш сладкими сухариками и шоколадом. Никто никогда еще не видел эту чужестранку такой доброй, чуть ли не кроткой. Этим неустанно приветливым радушием Жюльетта, казалось, молила о понимании и участии.

Тер-Айказун с удивлением следил за нею из-под полуопущенных век. Но Габриэл Багратян, которого такая перемена в жене должна была бы осчастливить, словно и не замечал ее. Он был занят лишь своим соседом по столу – Саркисом Киликяном. Поминутно подзывал он Кристофора или Мисака и приказывал подливать вина в стакан Киликяна. Но Киликян пил только из своей фляги. Стакан, стоявший перед ним, он отодвинул. Из упрямства? Или это было глубокое недоверие, таившееся в душе вечно гонимого? Этого Габриэл не знал. Он страстно, но безуспешно старался разгадать душу Киликяна. Скучающее лицо живого трупа с агатовыми глазами оставалось безучастным, и отвечал он односложно. А Габриэлу непременно хотелось заставить Киликяна забыть тот день, когда Габриэл одержал над ним победу и подчинил себе. Он был убежден, что в этом человеке скрыто что-то необычное. Возможно, заблуждаясь, как бывает с иными людьми, живущими в достатке, он полагал, будто человек страдающий – всегда существо достойное. Однако все поведение дезертира, начиная со дня его унижения, и талант командира, который с таким блеском проявился четырнадцатого августа, казалось бы, давали повод Габриэлу так думать. Крайне сложное чувство вызывал у него этот человек. Габриэл понимал, что Саркис Киликян, получивший некоторое образование, – все-таки три года семинарии в Эчмиадзине, – отнюдь не пролетарий и не просто азиат. Притом он знал, какая у этого человека чудовищная судьба. Это она еще в юности искажила его черты и погасила взгляд. Судьба так упорно его преследовала, что перед его муками бледнели даже всеобщие страдания. Но этот человек одолел судьбу или, по крайней мере, выстоял, и уже одно это было для Багратяна доказательством, что это личность необыкновенная и достойная уважения. Но кроме этих, можно сказать, положительных чувств, Киликян внушал ему и немалые опасения и, пожалуй, неприязнь. Несомненно, Киликян порой и видом и характером походил на завязанного преступника, должно быть, не всегда его преследовали напрасно, что-то в его характере заслуживало это. Трудно было сказать – каторга ли сделала его преступником или же что-то преступное в самой его натуре окольным путем, через политику, привело его на каторгу. Впрочем, ничего от революционера социалистического или анархического толка в нем не было. По-видимому, никаких идеалов он не знал, никаких общих целей не признавал. Он был не злой, хотя некоторые женщины в лагере прозвали его дьяволом. Но то, что он не был злым, вовсе не означало, что он не способен в любую минуту, не моргнув глазом, совершить убийство. Вся тайна его заключалась в том, что он не был чем-то определенным, ни с кем и ни с чем он не был связан и жил, сохраняя непостижимую, предельно безразличную позицию. Среди жителей

Дамладжка Киликян наряду с аптекарем Грикором был, конечно, самым асоциальным. Этот Саркис Киликян угнетал Габриэла как раз тем, что странно привлекал его. Все эти смешанные чувства слились во что-то, похожее на любовь.

Багратян-моралист но всяком случае думал, что может дезертира сделать человеком, так иной мужчина возомнит, будто должен «спасать» уличную девку. И грубую ошибку совершил командующий на Дамладжке, стараясь расположить к себе Киликяна, вместо того, чтобы постоянно сохранять должную дистанцию и строго следить за ним.

Разговаривая с Киликяном, Габриэл, к своей досаде, подмечал в себе какую-то скованность. Никак не удавалось ему найти нужный тон. Неодолимая апатия собеседника лишала его уверенности. Как всякий говорящий, он проигрывал тому, кто молчит. Так движение уступает покою, жизнь – смерти, вернее сказать, они всегда помогают друг друга.

– Я рад, что не ошибся в тебе, Киликян. Наш успех четырнадцатого в немалой степени зависел от тебя. Твоя крепостная машина – великолепная идея. Не зря ты учился в семинарии. Осадная тактика римлян, а?

– Ничего этого я знать не знаю, – усмехнулся Саркис.

– Если турки теперь не посмеют штурмовать южный участок, – это ведь тоже благодаря тебе, Киликян.

Похвала, должно быть, произвела на Киликяна некоторое впечатление, даже чем-то приятное. Его тусклый взгляд скользнул по лицу Габриэла.

– Можно было сделать лучше...

Габриэл чувствовал в Киликяне внутренний отпор и злился на себя за слабость. Почему он не может ответить Киликяну тем же?

– Ты, наверно, на нефтяных вышках в Баку инженерному делу научился...

Скосив насмешливый взгляд на свою флягу, дезертир сказал:

– Я там даже десятником не был. Подсобный рабочий – и все...

Габриэл придвинул ему сигареты.

– Я позвал тебя сюда, Киликян, чтобы сказать о своих намерениях, они, между прочим, касаются и тебя. Видимо, несколько дней нас еще оставят в покое. Но рано или поздно турки пойдут на такой штурм, по сравнению с которым оба предыдущих были детскими игрушками. И в этом будущем сражении я хочу доверить тебе важный пост, друг мой.

Осушив флягу до последней капли, Саркис решительно поставил ее на стол.

– Это уж твое дело, твоя забота. Ты тут командуешь.

Тем временем за длинным «плебейским?» столом стало шумно. Люди отвыкли от вина, и теперь оно оказывало свое действие. Да еще Жюльетта велела подать третий кувшин. Образовались две спорящие партии – оптимисты и пессимисты. Чауш Нурхан Эллеон вскочил на скамью. Его седые, щетинистые усы вздрагивали. Ворочая белками, он кричал сорванным фельдфебельским голосом:

– Кто надеется, что враг больше не пойдет на штурм – трус и предатель! Я,

Нурхан, жду не дождусь нового штурма. И лучше сегодня, чем завтра. Да и что за жизнь здесь, на Дамладжке? Голод да хворь! Не по нутру мне это. И вообще, где радости в жизни? Мне уже пятьдесят, и я сыт по горло. А кто считает по-другому – тот дурак!

Но такие дураки нашлись и напустились на Нурхана за его сумасбродство. Старик Товмасын, изрядно захмелевший, побагровел от гнева. Богохульник этот Нурхан! – кричал он. Здесь празднуют крестины его внука, и он не потерпит таких речей. Он, как дедушка, молит Спасителя, чтобы его внучек, хоть сейчас это еще жалкий червь, однажды узнал бы беззаботные золотые дни в долине, в Йогонолуке или еще где-нибудь в этом мире. На сей счет Спаситель распорядится, как сам пожелает, а не по произволу какого-то кровожадного онбаши. Сам-то он твердо уверен, что турки скоро придут в себя.

Эти его речи дали повод выступить мухтару Кебусяну. Пошатываясь, он взгромоздился на скамью, покачал плешивой головой, весело посмотрел по сторонам и с таинственно хитрой ужимкой засипел:

– Надо уметь со всеми ладить. Двенадцать лет я был мухтаром в Йогонолуке. С кем хочешь умел договориться – и с турками, и с каймакамом, и с мюдиром... Каймакам всегда меня уважал, потому как я общинный сбор сдавал в срок. И в канцелярию к нему меня всегда пускали, все меня знали – и каймакам, и мутесариф, и вали, и визир, и сам султан. Да, все знают Товмаса Кебусяна! И ничего мне не будет, если я приду к ним переговоры вести, потому как я больше всех платил налога... А вы тут все малый налог платили, вам со мной не тягаться...

Оскорбленные в лучших чувствах старосты мелких деревень, платившие малые налоги, тут же стащили Кебусяна с его трибуны. Чауш Нурхан кричал, что не потерпит больше таких, которые даром провиант жрут, всех под ружье поставит! Будь им хоть семьдесят лет, хоть больше.

Общий хохот. Пьяный спор грозил принять скверный оборот. По счастью, Багратян, прежде чем уйти, велел не подавать больше вина. Он поспешно ушел с Авакяном, который тихо сообщил ему что-то.

Стол «благородных» пустел. Тер-Айказун покинул его, не просидев и часу. Вскоре после него Арам Товмасын скрылся в палатке жены. Когда за длинным столом разгорелся спор, туда перешел Саркис Киликян со своей флягой и, не показывая виду, что старые боевые петухи его веселят, долго смотрел на них агатовыми глазами. Гонзаго и Жюльетта тихо сидели рядом, а учитель Восканян по-прежнему восседал у ног мадам. Он пренебрег возможностью занять освободившееся место. И вдруг, будто ужаленный, Молчун вскочил. Опершись на карабин, несколько секунд он с ужасов смотрел на Жюльетту, потом круто повернулся и деревянной походкой зашагал прочь. Пил Восканян мало и однако, отойдя немного, решил, будто все, что он увидел, примерещилось ему под влиянием винных паров. Нет, невозможно! Немыслимо! Неужели его белокурая, белокожая богиня прижималась коленкой к колену этого искателя приключений, о котором никто не знает, откуда он родом!

И хотя Восканян решительно приписал безумное видение действию вина, сердце его бешено колотилось, даже когда он дошел до Алтарной площади.

Неожиданно что-то встревожило Жюльетту, она поднялась и простилась – ей давно пора к Овсанне.

Под конец за столом остались сидеть друг против друга аптекарь Грикор и Гонзаго Марис. Гонзаго рассматривал своего гостеприимного хозяина с нескрываемым страхом. Просто не верится, что человек всего за несколько недель мог так измениться! Был крепкий мужчина, среднего роста, а теперь – высохший карлик. Опухшая от водянки голова вяло мотается из стороны в сторону на тонком шейном черенке. Плечи вздернуты, перекосились, суставы пальцев распухли. Только маска мандарина почти не изменилась, разве что кожа еще больше потемнела, стала серо-коричневой. К надменному хладнокровию в лице прибавилось что-то новое, какой-то световой штрих, какая-то лукавая потусторонняя улыбка. Грикор усердно пил вино из чашки, больная рука его тряслась, и он расплескивал драгоценную влагу.

– Вам не следовало бы так много пить, господин Грикор, – предостерег его Гонзаго.

Покачав отяжелевшей головой, которая за последние недели стала совсем огромной, Грикор возразил:

– Я ничего больше не ем... А винопитие есть служба духовная, учит нас великий персидский философ Ферхад эль Катиб.

– Вам надо беречь себя. Соблюдать постельный режим.

– Я только-только почувствовал себя здоровым человеком, – заявил больной аптекарь, и это прозвучало как парадокс.

Хотя вина больше не подавали, спор за длинным столом все разгорался, слышался громкий смех, оскорбительные выкрики. Назревал скандал. К званым гостям подсело несколько незваных, в большинстве своем молодые люди. Это, несомненно, подлило масла в огонь.

Солнце уже скрылось за горизонтом. Спускался вечер. Дико пляшущие тени на земле повторяли перепалку за столом, будто некое призрачное сражение. Казалось, драки не миновать. Вдруг со стороны Города раздалась резкая барабанная дробь. Мгновенно все умолкли.

– Глашатаи, – сказал кто-то.

Другой крикнул:

– Тревога!

И стар и млад стряхнули с себя драчливость, разом вспомнили о действительности и кинулись к своим секторам обороны. Видно было, как пастор Товмасян бежит в сторону Города.

В считанные минуты на площадке никого не осталось.

– Тревога, – задумчиво повторил Гонзаго, и в его спокойных карих глазах сверкнули золотистые искорки.

Атака турок опередила его планы. На этот раз бой едва ли кончится благополучно. Что ж, может быть, уже этой ночью? А Жюльетта?

Аптекарь Грикор не в силах был подняться из-за стола. Гонзаго помог ему.

Оказалось, и ноги уже не слушаются старика, пожалуй, он не добрался бы до дома, если бы Гонзаго не проводил его. Сам Грикор смотрел на свою немощь как бы со стороны, словно это был какой-то не касающийся его пустяк. Но путешествие до дома тянулось бесконечно.

– Тревога? – как-то легкомысленно переспросил он. Обстоятельство это, казалось, не очень его занимало.

– Тревога! – повторил Гонзаго внушительно. – Да такая, что нам не поздоровится.

Аптекарь через каждые пять шагов останавливался, чтобы отдышаться.

– Какое мне дело до тревог, – переводя дух, проговорил он. – Разве я с вами? Нет, я не с вами. Я – это я. Я сам по себе.

Трясущейся рукой он повел вокруг себя, словно обозначил размер и границы мира своего «я».

– Если я сказал – нет зла, то зла нет. Если я сказал – нет смерти, то нет и смерти. Пусть меня убьют – я этого не замечу. Кто разумом постиг эту истину, тот вновь построит целый мир из духа своего.

И он попытался поднять руки над головой. Однако это ему не удалось. Гонзаго, всегда считавший, что распознать беду лучше прежде, чем она нагрянет, нежели потом ее не замечать, – ничего не понял из его слов. Но чтобы доставить старику удовольствие, он вежливо спросил:

– Кого из древних философов вы только что цитировали?

Маска мандарина оставалась безучастной. Козлиная борода вздрагивала. Высокий и какой-то пустой голос прозвучал в сгущающихся сумерках:

– Это сказал философ, коего никто, кроме меня, никогда не цитировал и цитировать не будет. Грикор Йогонолуцкий.

Габриэл Багратян приказал объявить боевую тревогу, хотя еще не вполне был уверен, что опасность близка. Странно, почему-то лишь после захода солнца стало ясно, что на равнине Оронта и в армянской долине турки сосредоточили необозримое количество войск. И регулярных, и добровольных частей собралось так много, что не хватало квартир в деревнях, и солдаты расположились на ночлег под открытым небом. Огромный полукруг костров брал начало у развалин Селевкии и тянулся на север, к самой далекой армянской деревне – Кебусие.

Одна за другой возвращались группы разведчиков и докладывали совершенно невероятные вещи. Турецкие солдаты явились вдруг, словно из-под земли. И не только солдаты, заптии и четники – все мусульмане неожиданно оказались вооруженными маузеровскими винтовками и штыками. Офицеры разбивают их на подразделения. Невозможно даже подсчитать, сколько там вооруженных людей. Назывались фантастические цифры. Но когда Багратян окинул взглядом полукружье лагерных костров, растянувшееся на несколько миль, цифры эти не показались ему такими фантастическими.

Два вывода можно было сделать из всех этих наблюдений. Во-первых, в распоряжении турецкого командования находилось достаточно сил для осады Дамладжка от южного бастиона до Северной Седловины и взятия его штурмом.



И во-вторых, турки так уверены в своем превосходстве, что отбросили тактику скрытого сосредоточения и внезапной атаки. Подобная открытая подготовка рассчитана была на то, чтобы ошеломить армян, и действительно ошеломила их. Но она же подсказала Багратяну и вариант обороны, предусмотренный и проанализированный им под кодовым названием «генеральное наступление». В былые мирные дни его неоднократно разыгрывали на учениях.

На этот раз Габриэл Багратян был много спокойнее, чем перед предыдущими сражениями, хотя армянам, укрывшимся на горе, теперь надеяться было не на что.

Отдав приказ о боевой тревоге, Багратян разослал своих связных по отдельным секторам с приказом всем командирам участков и свободным дружинникам собраться на командном пункте. Тем временем его обступили члены Совета уполномоченных. Испуг согнал с их лиц всякие следы прерванных крестин. На период боевых действий Багратян брал на себя, как это и было предусмотрено, также и верховное командование лагерем. Он тут же распорядился, чтобы в течение ночи приготовили завтрак для войска, используя все свежее мясо. За два часа до восхода солнца еду надо доставить на позиции. Все вино и водку, какие еще остались, раздать дружинникам. Сам он отдал бойцам все, кроме одного кувшина с вином. Этот дар и породил позднее легенду о неисчерпаемых запасах Багратянов. Скоро командиры групп и секторов, а также прибывшие на командный пункт дружинники построились, к ним примкнули резервисты и юношеский отряд. Габриэл Багратян обратился ко всем с краткой речью:

– Насколько способен предвидеть ум человеческий, нам осталось лишь выбирать между двумя смертями: легкой и честной в бою – или подлой и страшной в резне. Если каждый из нас представит это себе, и если мы с непоколебимой решимостью выберем первую, честную смерть, то может случиться чудо, и мы выживем! Да, только так, братья мои!

Затем, согласно варианту «генеральное наступление», Багратян перераспределил командование. Чаушу Нурхану он поручил командовать сектором Северного седла и внес еще одно изменение – поручил Киликяну важный участок, расположенный выше Дубового ущелья. Были также сформированы две новые боевые группы: Летучая гвардия и отряд вольных стрелков. Для последнего Нурхан и Багратян, учитывая опыт партизанской войны на Балканах, отобрали из дружин около сотни лучших стрелков и самых ловких лазутчиков. Они должны были взять под свой контроль весь склон Дамладжка, обращенный к долине, и, затаившись в складках местности, в ямках и кронах деревьев, в кустах, подстерегать врага. Приказ гласил: пропустить наступающий турецкие колонны, а затем с тыла и с флангов внезапно обрушить на них сильный огонь. Патронов не жалеть! Каждый получил по двенадцать магазинов, то есть шестьдесят патронов – в условиях Муса-дага огромное количество! Багратян проявил непривычную щедрость. Предстоящее сражение безусловно станет решающим, теперь уж не до бережливости. Вот почему он приказал из трофейных и прочих запасов

оставить лишь малую часть. Вольным стрелкам он, как всегда, четко и ясно поставил задачу: сбить наступательный прорыв врага, не давать ему ни минуты покоя, все время тревожить его тылы, особенно когда он готовится перейти в атаку. И пусть все запомнят: каждый выстрел – убитый враг!

Вслед за отрядом вольных стрелков составили отряд Летучей гвардии. Габриэл уменьшил до предела гарнизон Южного бастиона, ставший благодаря мощным укреплениям почти неприступным. А образовавшиеся бреши заполнили резервистами. Так для его Летучей гвардии высвободилось около ста пятидесяти штыков. Командование гвардией он взял на себя, намереваясь использовать ее там, где дела будут оборачиваться худо. Большую часть этого отряда удалось посадить на верховых ослов. Верховые ослы в этом краю не те знакомые всем упрямые и медленные твари – они обучены всем аллюрам. Оба отряда Юношеской когорты – связные и разведчики – получили приказ: держаться непосредственно в арьергарде Летучей гвардии, чтобы ни на миг не обрывалась связь главного командования со всеми участками обороны.

Таков в основных чертах был *Ordre de bataille*, который Габриэл Багратьян разработал на случай «генерального наступления» и подготовку к которому он хладнокровно провел в первые часы спустившейся ночи. Под конец он сделал смотр резервистам. Им было приказано выйти из Города до восхода солнца. Половина их предназначалась для пополнения в ходе боя гарнизонов отдельных позиций, другая должна была занять длинную полосу склона между восточным краем горы и лагерем. Полоса эта местами, например, на участке Дубового ущелья шириной всего в тысячу шагов, оказалась под серьезной угрозой. Только редкие земляные укрепления, а вернее, беспорядочные кучи камней можно было здесь использовать, отражая вражескую атаку на Город.

Габриэл Багратьян напомнил резервистам об их великом долге. Они – последняя линия обороны, сказал он, а у врага одна цель – обесчестить наших жен и сестер и перерезать всех детей!

После этого Нурхан Эллеон протрубил на рожке сигнал турецкой вечерней зори. Прозвучал он как-то ожесточенно, с заиканием и означал отбой.

Габриэл отправился к гаубицам, где собирался провести остаток ночи. С помощью Нурхана он кое-как обучил нескольких молодых дружинников артиллерийской службе. Незадолго до полуночи вернулся последний разведывательный дозор. Ничего неожиданного в их сообщении не оказалось. Единственная новость: на крыше виллы Багратьянов развевается знамя с полумесяцем, во дворе много лошадей, офицеры входят и выходят из дома. Очевидно, там обосновался главный штаб турок.

Дождавшись восхода луны, Габриэл спокойно измерил на карте циркулем расстояние и произвел все необходимые расчеты. Полная, будто раздувшаяся луна дарила много света, и ему удалось засечь дополнительный прицел, а уже затем получить и все данные для траектории. Снарядные ящики он приказал подтащить поближе. В них лежало пять шрапнелей и двадцать три гранаты. Половину всего запаса Габриэл велел разложить сразу же за сошником. Потом прошел все ряды и установил взрыватели, светя себе карманным фонариком.

За этим его и застала Искуи. Сначала он даже не заметил ее. Она тихо позвала. Он взял ее за руку, отошел с ней подальше от орудий – там они остались одни. В мертвенном свете луны красные ягоды, на кусте, под которым они сидели, потускнели, словно капли сургуча. Голос Искуи казался сдавленным. Она была смущена.

– Я хотела только спросить: я не помешаю, если завтра утром буду рядом с тобой?

– Для меня самая большая радость – знать, что ты рядом. – Он замолчал, подумал и прижал ее руку к своей щеке. – И все же... нет, это будет не только мешать, меня все время будет мучить мысль, что ты в опасности.

– Опасность всюду, где бы мы ни были, Габриэл. Часом раньше или позже – не все ли равно...

– А разве ты не должна завтра дежурить при Овсанне и младенце? Это твой долг, и кто скажет, что случится здесь до завтрашнего вечера...

Хрупкая Искуи вся выпрямилась и с какой-то особенной решимостью произнесла:

– Да, кто скажет, что случится здесь до завтрашнего вечера!.. Потому я не признаю теперь никакого долга, кроме... Ни Овсанна, ни ее младенец тут ни при чем. Мне они безразличны.

Габриэл нагнулся совсем близко к Искуи, посмотрел в ее огромные глаза, устремленные на него. Они словно таяли. Странная мысль мелькнула у Габриэла. Вдруг то, что сейчас так влечет его к ней, не есть обычная любовь, не то чувство, которое еще связывает его с Жюльеттой, а что-то гораздо большее и в то же время меньшее, чем любовь? Все силы ума и души будто прояснились и наполнили его блаженством, никакое вожделение не отвлекало... Быть может, то была неведомая любовь кровного родства, дарившая ему во взгляде Искуи упоение таинственного родника? Нет, не желание слиться воедино в будущем, но уверенность, что они были едины в прошлом, владела им. Он улыбнулся ей.

– Я не думаю о смерти, Искуи. Это безумие, но я никак не представляю себе, что завтра меня не будет в живых. Я считаю, это неплохое предзнаменование. А ты как думаешь?

– Смерть придет, Габриэл. Другого исхода для нас нет...

Двойного звучания ее слов он не расслышал. В нем родилась странная радостная уверенность.

– Не надо нам задумываться о будущем, Искуи. Я дальше завтрашнего дня не загадываю. Даже о завтрашнем вечере не думаю. И знаешь, я даже рад завтрашнему дню.

Искуи поднялась, собираясь домой.

– Обещай мне, Габриэл, сделать что-то очень для тебя нетрудное: если уж не останется никакой надежды, прошу тебя, очень прошу, застрели меня и себя. Так будет лучше всего. Я не могу без тебя жить, ни минуты не могу. И не хочу, чтобы ты жил без меня хотя бы одно мгновение. Позволь мне завтра быть рядом с тобой!

Нет! Он заставил ее дать слово, что весь день она не покинет палатки. И

сам дал слово, что позовет ее или придет за ней в палатку, если увидит, что все погибло – и они вместе умрут.

Давая ей это обещание, он улыбался. В душе он не был уверен, что это конец. И потому не было в нем страха ни за Жюльетту, ни за Стефана. Но когда он снова подошел к орудийному дворику и занялся подготовкой к стрельбе, его самого изумила эта уверенность в жизни, ибо чудовищная действительность опровергала ее, со всех сторон охватывая грозным полукругом костров.

Каймакам, юзбаши из Антакье, рыжий мюдир, командир батальона – четырех рот, присланных из Алеппо, – и два других офицера, сразу после захода солнца собрались в селамлике виллы Багратянов на военный совет. Все свечи были зажжены, и приемная зала сияла, как в дни званых вечеров Жюльетты. Денщики собирали со стола – господа только что откушали. Через открытые окна слышались звуки трубы и шум, какой неизбежно производит разбивающее бивак войско. Так как от этих осатаневших армян всего можно было ждать, каймакам затребовал для ставки солидную охрану. Она-то теперь и крушила сад, огород и парк, ставя палаточный лагерь.

Совет затянулся. Никак не удавалось прийти к единому мнению. Речь шла о том, штурмовать на рассвете Дамладжк или нет. Каймакам с черно-коричневыми мешками под глазами и постоянным выражением досады на лице был нерешителен и поминутно вспыхивал. Обосновывал он свою нерешительность тем, что, хотя по настоянию вали генерал-интендант в Алеппо и прислал целый батальон пехоты, однако обещанные пулеметы и горные орудия до сих пор и не прибыли. Колагазы (штабс-капитан) из Алеппо объяснил упущение тем, что эти виды вооружения все до последнего исчезли вместе с отозванными из Сирии дивизиями. Во всем Алеппо не найти ни одного пулемета! Каймакам призвал господ членов Совета подумать, не разумнее ли будет отложить операцию на несколько дней и по телеграфу запросить его превосходительство Джемалю-пашу срочно выслать необходимое вооружение. Однако офицеры не согласились – это значило бы нарушить субординацию, а тем самым вызвать гнев Джемалю и даже спровоцировать его на противодействие. Юзбаши из Антакье отодвинул стул, взял со стола записку. Руки его дрожали, но объяснить это следовало не тем, что он волновался, а тем, что курил сигарету за сигаретой.

– Эфенди, – негромко заговорил он сиплым голосом, – если мы решили дожидаться артиллерии и пулеметов, нам придется здесь зимовать. В действующей армии с этими видами вооружения дело обстоит так плохо, что нас просто подымут на смех. Я позволю себе напомнить каймакаму состав имеющихся в нашем распоряжении сил.

Не повышая голоса, он прочитал подряд цифры, значившиеся на небольшом листке.

– Четыре роты из Алеппо – круглым счетом тысяча штыков. Две роты из Александретты – пятьсот штыков. Пополненный гарнизон Антакье – четыреста пятьдесят человек. Вместе – почти две тысячи штыков регулярной пехоты. Полк на фронте и то не имеет такого состава. Второй эшелон: четыре сотни

заптив из Алеппо, триста – из нашей казы, и четыреста четников – с севера, – это еще тысяча сто человек! И еще, так сказать, третий эшелон: две тысячи мусульман из окрестных деревень, которым мы раздали оружие. В целом, мы атакуем силами в пять тысяч штыков!

Юзбаши умолк, залпом выпил чашечку кофе и закурил новую сигарету. Кто-то воспользовался паузой для реплики:

– Как-никак, а у армян две гаубицы.

Впалые щеки юзбаши дрогнули, желтый лоб покрылся испариной.

– Эти гаубицы можно не принимать в расчет. Во-первых, к ним нет снарядов, во-вторых, – нет прислуги, а в третьих, – они очень скоро снова будут в наших руках.

Усталый, а может быть и скучающий каймакам откинулся в кресле, поднял глаза:

– Не следует недооценивать этого Багратьяна, юзбаши. Я видел его только один раз, и не где-нибудь, а в бане. И надо сказать, он вел себя наглейшим образом...

Молодой мюдир – веснушки, холеные ногти! – с упреком сказал:

– Военные власти допустили большую ошибку: надо было призвать этого армянского офицера из запаса. Насколько мне известно, Багратьян несколько раз просил об этом. Не будь его, на всем побережье царило бы полнейшее спокойствие.

Юзбаши резко оборвал мюдира:

– Багратьян или кто другой! Все эти штатские гроша ломаного не стоят. Вчера я сам побывал наверху и кое-что увидел. Один сброд! Окопы примитивные. У них и штыков-то от четырехсот до пятисот, не больше. Нам впору плюнуть себе в лицо, если мы до обеда с ними не расправимся.

– Все это верно, юзбаши, – подхватил каймакам, быстро взглянув на юзбаши, – однако и самая малая тварь, защищая жизнь, становится чудовищем.

Алеппский колагизи решительно поддержал юзбаши. Он-де имеет самое твердое намерение не позднее, чем через двое суток, покинуть эти не очень благоустроенные места и вернуться в прекрасный город Алеппо.

Столь единодушная уверенность офицеров в скорой победе заставила каймакама, зевнув, заявить:

– Итак, вы гарантируете успех, юзбаши?

Юзбаши, словно дракон, выпустил две струи дыма из ноздрей.

– В военном деле ничего гарантировать нельзя. А потому я отклоняю это понятие. Одно могу сказать – если до завтрашнего вечера армянский лагерь не будет ликвидирован, я покончу с собой!

– Тогда пойдемте спать, – предложил усталый каймакам, мучительно потягиваясь.

Впрочем, выспаться как следует сему владыке не удалось. В помещении все еще витал запах от разбитых флаконов духов Жюльетты, и сон больного каймакама сопровождался какими-то угнетающими и терзающими видениями, он то и дело просыпался и с трудом после этого засыпал.

Пробуждение было не лучше сна. Едва забрезжил рассвет, как каймакама разбудил страшнейший взрыв. Полураздетый, он выскочил на веранду. Всюду видны были разрушения. Граната разорвалась перед самым подъездом. Всю землю усыпали осколки стекла. Воздушной волной выбило дверь, она валялась на лестнице. Во многих местах осыпалась штукатурка. Вывороченные камни и искореженные железные балки. Но более всего ужасал вид штабс-капитана из Алеппо. Должно быть, судьба заставила несчастного выйти из дома в тот самый момент, когда разорвалась граната. Теперь он сидел, прислонившись к стене. Синие глаза были младенчески пусты. Казалось, он замечтался о далеком прошлом. Осколок разворотил ему правое плечо, другой – пробил бедро.

Возле него хлопотал юзбаши из Антакье и, казалось, выговаривал ему – не стоит, мол, отчаиваться. Но колагазы, видно, не вняв его советам, стал медленно валиться на бок. Гневно обернувшись, юзбаши закричал на остолбеневших солдат: что они тут торчат! Пускай бегут за фельдшером и санитарями! Но это было не так просто, фельдшер находился в расположении третьей роты в Битиасе. Юзбаши приказал отнести раненого в дом. Его положили на кровать в комнате Стефана. Придя в сознание, колагазы стал умолять юзбаши не уходить, куда ему не наложат повязки. А каймакам, по природе своей истинный штатский, – один вид крови приводил его в ужас, хотя в теории он воспринимал это невозмутимо – стал молча спускаться по темной лестнице в подвал.

Канонада Багратьяна продолжалась. Со стороны Йогонолука донесся разрыв очередной гранаты.

Должно быть, насмешливый случай направил гранату на дом Багратьяна и вывел из строя командира батальона вражеских войск. А быть может, то был вовсе не случай, а доказательство, что господь отнюдь не всегда на стороне мощных батальонов. Покамест командование оправилось, прошел час, отчего и наступление началось часом позднее намеченного. Турецкие подразделения, развернутые у подножья Дамладжка в садах и виноградниках, тоже на час задержались.

– Эти армянские свиньи каждой гранатой накрывают цель! Должно быть, у них хорошо обученные наводчики.

И пусть следующие восемь случаев оказались не столь блистательными, все же турецкие войска были разбросаны достаточно широко, и каждая граната, упавшая в их расположение, наводила ужас. В Битиасе, Азире и Йогонолуке горели три дома. В одном из отрядов заптиев, расположившихся лагерем и занятых кофепитием из походных фляг, разрыв гранаты произвел немалое опустошение. Оставив троих убитых и много раненых, эти блюстители порядка, так и не сделав ни одного выстрела, покинули театр военных действий... навсегда.

Гаубичным огнем Багратьян достиг примерно того, на что рассчитывал, хотя сам так и не узнал об успехе. План вражеской операции был нарушен, а мусульмане-новоселы так напуганы, что женщины толпами обратились в бегство, направляясь к долине Оронта. Турецкое командование оказалось на время парализовано. Уже значительно позже, когда прекратился

артиллерийский обстрел, стрелковые цепи турок поднялись и вошли в леса предгорий Муса-дага.

На мгновение Габриэл упрекнул себя за то, что у него не достало смелости выслать четыреста человек первого эшелона, – половину всех дружин – наперерез туркам. Таким образом, можно было подорвать наступление, не дать туркам развернуться. Однако и тут сказался его характер: он никогда не доверял всему импульсивному, не продуманному до конца. Все же сотня вольных стрелков, хитроумно укрывшись на подступах к подножию, отчаянно смелым нападением нанесла врагу большой урон и вызвала такую неразбериху и переполох, каких нипочем бы не удалось добиться лобовой атакой. Невесть откуда взявшийся трижды перекрестный огонь разогнал с трудом карабкавшихся вверх задыхающихся солдат. Оторванные от командования отдельные группы турок, которым со всех сторон грозила смерть, откатились по склону вниз. И это нельзя было даже назвать трусостью, ведь отбиваться было не от кого.

После нескольких напрасных попыток юзбаши только и оставалось собрать роты у подножья горы и приказать развести огонь под котлами.

Тем временем вольные стрелки собирали винтовки и патроны убитых и переправляли все наверх.

Каймакам, находившиеся при командовании и предельно раздосадованный, обратился к юзбаши с вопросом:

– Вы и впредь намерены придерживаться вашей тактики? Полагаю, что таким образом мы никогда не поднимемся на гору.

Юзбаши, став чернее кофейной гущи, наскочил на начальника провинции:

– Если угодно, я немедленно передаю вам командование и отстраняюсь. Все это скорее ваше дело, а не мое.

Каймакам понял, что с честолюбивым офицером надо обращаться осторожнее. Он уклонился от конфликта и с сонным видом пожал плечами:

– Вы правы. Ответственность на мне. Однако прошу вас не забывать, юзбаши, что и вы ответственны передо мной. И если операция сорвется, отвечать придется нам обоим в равной степени.

Безусловно, это была правда. И столь убедительная, что юзбаши сразу умолк. Высшие инстанции, вали, да и самого военного министра лично уже один раз потревожили Муса-дагом. Новая неудача означала бы для юзбаши одно – военно-полевой суд. А суд будет гораздо менее милостив к нему, чем к его предшественнику, старому бинбаши с пунцовыми щечками. Да, они с каймаком связаны не на жизнь, а на смерть, и потому должны держаться заодно. И юзбаши, сделав какое-то миролюбивое замечание, перешел к делу. Он отдал приказ роте на северном фланге немедленно начать наступление на армянские позиции у Седловины. От мысли атаковать южные позиции армян пришлось отказаться, юзбаши не хотел, чтобы его солдаты попали под каменную лавину.

Собрав офицеров, юзбаши приказал объявить во взводах, что каждого солдата, который повернет назад и побежит с поля боя, ждет неминуемый

расстрел. Специально для этой цели он широкой линией расставил у подножья горы заптиев и четников. Они получили приказ немедленно открыть огонь по отступающей пехоте. От подобной палаческой задачи ни заптии, ни добровольцы не отказались. Одновременно для расправы с отступающими юзбаши приказал выстроить посадам и виноградникам еще одну линию – из вооруженных турецких крестьян – к некоторым из них затем присоединились их жены.

Страх перед приказом юзбаши не замедлил оказать свое действие. Гонимые им солдаты бегом поднимались по крутой горе и даже дух перевести не останавливались. Закрыв глаза, они преодолевали участки, простреливаемые вольными стрелками. Полдень давно уже миновал, когда трем взводам под ураганным огнем оборонявшихся все же удалось закрепиться в четырех пунктах перед армянскими позициями. Кое-как окопавшись заступом, а где и просто укрывшись за деревом, валуном или бугром, солдаты залегли. Это поистине героическое достижение, рожденное страхом, оказалось первым значительным успехом юзбаши, и он, охваченный воинственным пылом, высоко подняв над головой саблю, повел солдат на новый штурм. Им удалось зацепиться чуть пониже армянских окопов, расширив тем самым фронт атаки. Успех воодушевил турок. Со всех достигнутых точек они открыли бешеный огонь. Юзбаши сейчас было безразлично, попадают ли выстрелы в цель. За два часа армяне будут настолько оглушены и измотаны, что от наглости их не останется и следа. К тому же они увидят, что у государственной машины вдоволь боезапасов и она способна поддерживать такой плотный огонь хоть трое суток.

Защитники горы не смели и головы поднять – над ними нависла смертоносная сеть. Но что самое ужасное – от боевых порядков турок, расположенных ближе всех к Городу, сотни пуль долетали до шалашей и рикошетом поражали жителей, нанося им тяжелые рваные раны. Тер-Айказун приказал немедленно очистить Город и всем, кто не способен носить оружие, перейти на морскую сторону горы.

Покуда пехота вела непрерывный огонь по армянским окопам, юзбаши успел подтянуть резервы – и солдат, и заптиев, а под конец и вооруженных крестьян-новоселов: волна за волной поднимающиеся в атаку части лучше всего продемонстрируют превосходство турецких сил, Второй, третий и четвертый эшелоны заняли позиции сразу же за передовыми частями на сравнительно небольшом расстоянии друг от друга. Когда эти исхлестанные коварным огнем вольных стрелков разозленные люди с диким ревом добрались, наконец, до верха, юзбаши поднял первый эшелон в атаку.

Армяне уже имели опыт отражения подобных атак, к тому же они стреляли по атакующим сверху ч потому отбили эту первую волну. И как ни быстро поднимались турки в атаку, все они, не достигнув цели, были прижаты к земле, довольно далеко от армянских окопов. Несмотря на огромное численное превосходство и мощь огня, турецкие солдаты до самого вечера почти не продвинулись вперед ни на одном из участков. И при этом сыны



Армении, благодаря правильному устройству своих оборонительных сооружений, не понесли значительных потерь. В плане окопы были расположены зигзагообразно, и турецкие солдаты попадали под фланговый обстрел. То тут, то там вольные стрелки обрушивали свой смертоносный огонь на резервы второго и третьего эшелонов турок.

Во время этих многочисленных безуспешных атак юзбаши потерял столько же людей, сколько бедняга бинбаши, которого из-за этого и прогнали с позором. Но юзбаши был скроен из более прочного материала, он и не думал отступать. Несколько раз он становился во главе атакующих и только чудом уцелел, проявив подлинную отвагу, достойную командующего. Больше всего внимания он уделял участку Дубового ущелья, так как ему очень скоро стало ясно, что это самое слабое место обороны. Но пока что, умело вводя в бой свою Летучую гвардию, Габриэл прочно держал инициативу в своих руках.

«Еще три часа продержаться – и наступит ночь», – думал он. Там, где сгущались тучи, его Летучая гвардия несколько раз спасала положение: то поддерживала дрогнувший окоп, то укрепляла стыки между позициями, а то и сменяла на время потрепанные дружины. Совершенно вымотанный и смертельно бледный лежал сейчас Габриэл на земле и лишь с великим трудом время от времени открывал глаза. Рядом сидел Авакян, около дюжины связных Юношеской когорты стояли наготове, ожидая приказов. Среди них находился и Гайк, но Стефана не было видно. Каждую минуту поступали новые рапорты. В основном от Северного Седла, где пока что не чувствовалось особого давления врага. Но вскоре положение изменилось. Должно быть, турки готовились нанести главный удар на севере. Донесения Чауша Нурхана делались все тревожнее. Не только сам юзбаши, но и целый штаб высоких чинов собрались за укрытиями на противоположном крыле Седла, в бинокль их хорошо было видно. Багратян решил не поддаваться нервозности младших командиров и выслать им в подкрепление свою Летучую гвардию, то есть свой последний резерв, только в крайнем случае. Северный участок считался наиболее укрепленным, и не было никаких оснований бросать туда подкрепление еще до того, как там разгорится бой. Гораздо важнее Габриэлу представлялся участок у Дубового ущелья, и он не уходил оттуда, чтобы предотвратить там возможную беду. Лежа на спине с закрытыми глазами, он, казалось, не слышал участвовавших донесений с Северного Седла. «Еще два с половиной часа», – сказал он сам себе.

Наступило недолгое затишье. Габриэл уже не противился усталости. Но возможно, что именно этот приступ духовной и физической немощи оказался причиной того, что он все же попался в ловушку, расставленную ему юзбаши.

Эхо боя с грохотом вторгалось в заповедную тишину «Ривьеры». Какой-то акустический эффект настолько приблизил треск выстрелов, что Жюльетте и Гонзаго казалось: свистящая сеть пуль раскинута прямо над ними, хотя на самом деле сражение разыгрывалось довольно далеко. Жюльетта крепко держалась за руку Гонзаго. А он, весь обратившись в слух, сидел совершенно неподвижно.

– Со всех сторон надвигается... все ближе. Такое, во всяком случае, создается впечатление...

Жюльетта промолчала. Этот стучащий и свистящий шум был таким невероятно чужим, что она не понимала и не страшилась его. Гонзаго чуть подался вперед, чтобы лучше рассмотреть прибой, в далекой глубине разбивавшийся о скалы. Море было беспокойное – его гневный голос то и дело сливался с гулом ружейной пальбы. Гонзаго указал на юг, на побережье.

– Нам давно уже следовало решиться, Жюльетта, и ты жила бы сейчас в прекрасном доме директора винокуренного завода в тишине и мире.

Она содрогнулась. Приоткрыла губы, но голос ее не слушался, и она долго искала его, как нечто утерянное.

– Пароход уходит двадцать шестого... Сегодня двадцать третье... У меня еще три дня...

– Ну конечно, – он попытался ласково успокоить ее, – у тебя еще три дня... И я ни одного из них у тебя не отниму... Только бы вон те не отняли...

– Ах, Гонзаго, я не могу понять, что со мной, как-то странно все...

Она замолчала, не договорив. Ей показалось бессмысленным говорить о своем состоянии, ей и самой совершенно непонятном. Будто что-то изъято из нее – что-то мягкое и ранимое, что-то зябкое вынули из спасительной оболочки... Руки, ноги, все части тела жили какой-то отдельной, самостоятельной жизнью, ужасно холодной и не связанной с сознанием. Ей казалось, она с болезненным сожалением может отложить в сторону свои руки и ноги – взять да и запереть их в ящик. В прошлые времена, в ее разумном и светлом прошлом мире Жюльетта не осталась бы бездеятельной. «Что-то со мной не так», – сказала бы она себе и скорее всего достала бы градусник. А сейчас она мучительно старалась понять, почему ее такое страшное состояние чем-то ей приятно и нет у нее никаких желаний. И она еще и еще повторяла:

– Непонятно...

Гонзаго улыбнулся и привлек ее к себе.

– Бедняжка Жюльетта, я так хорошо тебя понимаю... Сначала ты сама себя потеряла, и это длилось пятнадцать лет, а теперь это случилось вновь и длится вот уже двадцать четыре дня. И ты никак не найдешь в себе ни мнимую, ни подлинную Жюльетту. Видишь ли, я не принадлежу ни к какому лагерю, я не армянин, не француз, не грек, не американец, я действительно никто, и потому – свободен. Со мной тебе будет легко. Но порвать тебе придется самой, от этого не уйти.

Она смотрела на него и ничего не понимала. Ружейная пальба, казалось, достигла апогея. Больше нельзя сидеть тут, ничего не предпринимая. Гонзаго помог Жюльетте подняться. Она покачивалась, будто оглушенная. Он начал терять спокойствие.

– Нам надо обдумать, как поступить, Жюльетта. Стрельба эта не внушает особого доверия. Что ты намерена делать?

Она вяло подняла руки, словно собираясь заткнуть уши.

– Я устала... мне хочется лечь...

– Это невозможно, Жюльетта. Ты же слышишь. В любую минуту может случиться непоправимое. Я предлагаю уйти отсюда и там, внизу, переждать.

Она упорно покачала головой.

– Нет, я хочу в свою палатку.

Он обнял ее и попытался увлечь за собой.

– Не сердись, Жюльетта, но нам надо все хорошо обдумать прямо сейчас. Через полчаса турецкие солдаты будут в Городе. Габриэл Багрatian?.. Ты уверена, что он еще жив?

Грохот, треск, вой словно подкрепляли слова Гонзаго. Но Жюльетта внезапно стряхнула с себя оцепенение, обрела прежнюю энергию и волю. Она гневно воскликнула:

– Я хочу видеть Стефана! Хочу быть со Стефаном!

Имя сына сразу разорвало окутавшую ее пелену чудовищной нереальности. Чувство материнства вновь обрело конкретность, стало домом с крепкими стенами, в котором так хорошо укрыться от всего мира.

Жюльетта схватила Гонзаго обеими руками и резко оттолкнула от себя.

– Приведите мне Стефана! Немедленно! Слышите? Прошу вас, не теряйте времени! Найдите мне его. Я жду... Я жду...

Минуту Гонзаго раздумывал. Затем рыцарски подавил в себе протест, склонил голову:

– Хорошо, Жюльетта. Если ты так хочешь! Я сделаю все, чтобы как можно скорей найти его. Я не заставлю тебя ждать.

Гонзаго и в самом деле через полчаса вернулся с грязным, одичавшим и вспотевшим Стефаном. Мальчик нехотя плелся за ним.

Жюльетта бросилась к сыну, прижала его к себе. Судорожные рыдания без слез сотрясали ее. А Стефан так устал, что как только они все сели, сразу же уснул.

Габриэл Багрatian несомненно доказал, что он, эстет, обладает недюжинным даром военного руководителя. Смертная угроза извлекла этот дар из затаенных глубин. Ошибку, которую он сейчас допустил, оказывая в ходе боя предпочтение хорошо изученным участкам, совершали многие видные военачальники. Так и Габриэл Багрatian позволил увлечь себя любовью к главному предмету своего оборонительного плана – Северному сектору, и в конце концов все же откликнулся на бесчисленные донесения Чауша Нурхана, более похожие на крики о помощи. Так как турки не возобновили атак ни у Дубового ущелья, ни в других направлениях (там утихла ружейная стрельба), а в Северном секторе она разгорелась с необычайной силой, то наиболее вероятным представлялось, что враг попытается прорваться у Седловины. Это и заставило Габриэла Багрatian собрать рассыпавшуюся по краю склона Летучую гвардию и отправить ее на Север. Там, в ожидании турецких атак, она заняла вторую линию окопов и скалы-баррикады. С минуты на минуту Габриэл Багрatian ожидал атаки неприятеля, ибо огонь непрерывно усиливался, да и вечер быстро надвигался. Из-за того, что никто, кроме Багрatian, не знал артиллерийского дела, гаубицы оставались неиспользованными.

Весь день Саркис Киликян, как командующий обороной сектора над Дубовым ущельем, держался великолепно и отбил пять атак. Некоторое время так и казалось, что турецкие цепи, невзирая ни на какие потери, намерены осуществить прорыв именно здесь, наверху, на этой ключевой позиции обороны: дальше перед Городом для турок уже не было никаких препятствий.

В первые часы боя Габриэл Багратян, не вполне доверяя выдержке Киликяна, держался вблизи участка над Дубовым ущельем. Несколько раз он вводил в бой свою Летучую гвардию, тревожа фланги врага. Задача, стоявшая перед Киликяном, была не из простых. Главный окоп прикрывал лишь небольшое пространство. Фланговые окопы были устроены не бог весть как, к тому же расстояние до следующих укрепленных позиций составляло несколько сот шагов, и эти бреши не были прикрыты ни крутыми спадами, как на остальных участках, ни скалами, ни зарослями. Под командованием Саркиса Киликяна находились довольно скромные силы – восемь дружин. Из-за рельефа местности они оказались сильно растянутыми. И тем не менее дружины Киликяна продержались почти весь день, не понеся значительных потерь – двое убитых и шестеро раненых. Казалось, мертвенным спокойствием командира, его равнодушием заразились и его бойцы. Сколько враг ни предпринимал атак, дружинники стреляли с такой – иначе это не назовешь – скучающей точностью, будто и жизнь и смерть – их родные дома и им совершенно безразлично, в каком из них они поселятся. Киликян держал винтовку на бруствере и курил не переставая – Багратян подарил ему целую пачку сигарет. Сейчас, когда прошло уже столько напряженных часов кровавого боя, он прислонился к стенке окопа и не отрывал глаз от кишевших врагами подступов к горловине Дубового ущелья. Впереди все было усеяно поваленными деревьями, кустами и редкими сосенками. Еще в первые дни Багратян приказал вырубить этот участок.

Голова мертвеца была недвижима. В агатовых глазах Киликяна можно было прочесть, что он в совершенстве владеет искусством выключать жизнедеятельность до предела. В трофейном мундире Киликян с его покатыми плечами и девичьей талией, еще более подчеркнутой туго затянутым ремнем, был похож на элегантного офицера. С бойцами, стоявшими рядом, он не обмолвился ни единым словом, да и они все время молчали, поглядывая на увеличивающиеся тени деревьев и кустов, которые, будто какие-то таинственные живые существа, с каждой минутой делались и длиннее и золотистей.

В этот час на Дамладжке все сыны Армении, да и дочери, за исключением разве что Григора и Киликяна, думали о том же, о чем думал Багратян: еще шестьдесят минут – и солнце скроется! Со стороны северного сектора обороны доносились ружейные залпы. А здесь, внизу, и лес, и горы, казалось, погрузились в глубокий мир. Люди закрывали глаза, силясь хоть немного поспать стоя. При этом их не покидало ощущение, что этот украденный сон таинственным образом гонит время вперед, в объятия спасительной ночи. Дружинников, спавших стоя, делалось все больше. Под конец спала уже вся команда, расположившаяся в трех окопах. И только отшлифованные каменные

глаза Саркиса Киликяна, глаза командира, были прикованы к черной опушке Дубового ущелья.

События, развернувшееся в следующие минуты, если придерживаться правды, ничем нельзя объяснить. На худой конец, конечно, можно все взвалить на летаргию, свойственную Киликяну и зародившуюся, как немая самозащита от безмерных мук, еще у одиннадцатилетнего мальчика, когда он лежал под истекающей кровью матерью. Во всяком случае, он не двинулся с места и глаза его не изменили выражения, когда снизу, из леса, выползло сначала несколько пехотинцев, а за ними высыпали на склон сразу несколько взводов, сотни солдат. Ни единый выстрел не возвестил начала этой атаки. Казалось, турки, ожидая выстрелов со стороны оборонявшихся, не желали отрываться от черных лесных выступов Дубового ущелья. А так как выстрелов не последовало, то более трехсот солдат бросились вперед и быстро залегли, используя любое прикрытие, любую выемку, выжидая, когда же армяне откроют огонь. А защитники все еще дремали, кто-то, вострепнувшись, хватал ружье, люди, щурясь, следили за мельканием каких-то фигурок впереди. На мгновение золото закатного солнца залило весь склон и вдруг раскололось на тысячи слепящих осколков. Вспыхнули полумесяцы на офицерских головных уборах. Удивительно, но ни на ком в этом боевом походе не было походных шапок.

Ослепленные сверкающей слюдой, заходящего солнца, армяне ожидали приказа и не сводили глаз с Киликяна. И тогда случилось необъяснимое. Вместо того чтобы, как уже не раз было в этот день, указать цель, выкрикнуть дистанцию и затянуться сигаретой, Киликян с какой-то задумчивой медлительностью поднялся из окопа. Дружинники восприняли это движение как приказ. Кто от усталого непонимания, кто из слепого доверия к намерениям командира, дружинники один за другим выскочили из укрытий и встали на бруствер...

Солдаты противника, подобравшиеся уже на пятьдесят шагов к переднему краю армян, в удивлении остановились и бросились наземь. Контратака! Но Саркис Киликян, засунув руки в карманы, спокойно стоял примерно в середине линии окопов. Он и не двигался с места, не кричал, не отдавал приказа, не подавал никакого сигнала. Прежде чем несчастные защитники пришли в себя, внизу прозвучала громкая команда, и три сотни маузерских винтовок разом открыли бешеный огонь по застывшим человеческим мишеням, четко вырисовывавшимся на пылавшем закатном небосводе. Несколько мгновений – и более трети дружинников уже корчилось на окровавленной земле Муса-дага.

Саркис Киликян, словно чему-то удивляясь, стоял, по-прежнему засунув руки в карманы. Турецкие пули щадили его, как будто финал этой неповторимо страшной судьбы в открытом поле был бы чересчур уж прост и лишен должного стиля.

Когда, наконец, Киликян поднял руку и что-то крикнул своим бойцам, было уже поздно. Начавшееся бегство увлекло и его. Остановились они только у каменных баррикад. Это были сложенные трапецией кучи камней в непосредственной близости от Города. Прежде чем укрыться за последней

преградой, армяне потеряли двадцать три человека убитыми и много ранеными. С диким ревом турецкая пехота занимала покинутые окопы. За ней уже подходили резервы и заптии, а за ними – добровольцы и вооруженные новоселы. Прибежали сюда за своими мужьями и турчанки. Прятавшиеся за деревьями в Дубовом ущелье эти обезумевшие менады, увидев успех мужей, выскочили из укрытий и, схватившись за руки, образовали длинную цепь. При этом они кричали «Зилгит! Зилгит!» – то был древний боевой клич исламских женщин. Сам дьявол проснулся в их мужьях от этого крика, и они, как и велит отважная их вера, не думая ни о жизни, ни о смерти, рванулись вперед на каменные баррикады. Никто не стрелял, они шли на штурм с винтовками наперевес.

Однако здесь армянам, попавшим в такую тяжкую беду, кое-что и помогло. Видя, как враги закалывают штыками раненых, как давят их солдатскими сапогами, сыны Армении поняли: такова их судьба во всей ее ледяной наготе! Они снова обрели мужество и хладнокровие. Укрывшись за каменными баррикадами, они спокойно, выстрел за выстрелом, посылали врагу смерть. И очень скоро оказались в выигрыше – прежде всего во времени. К тому же в глаза врагу било щедрое солнце, а армянам оно освещало неприятеля. И еще: среди напавших возникла суматоха оттого, что на соседних участках солдаты, охваченные победным угаром, ринулись в образовавшуюся брешь. А это заставило и армян покинуть свои позиции и устремиться в самое пекло. Бой перешел в рукопашную: ни враг, ни друг уже не различали один другого, тем более, что на многих армянах была трофейная турецкая форма. Долго длилась кровавая схватка и много людей погибло, прежде чем превосходящим силам неприятеля удалось снова потеснить армян в направлении к Городу. Буквально в последнюю минуту Багратян успел прислать на помощь измотанную Летучую гвардию, и ему удалось отвести от лагеря смертельную угрозу. Турок отбросили, но только до верхней линии окопов, которые так и остались у них в руках.

Однако самым благоприятным обстоятельством оказалась быстро опустившаяся ночь. Юзбаши так и не удалось нанести еще один решающий удар. В темноте все преимущества были на стороне армян – они-то знали Дамладжк как свои пять пальцев, и несмотря на большое число убитых, справились бы с целой дивизией.

Каймакам, удрученный колоссальными потерями, не мог понять, как ему оценивать эту неиспользованную победу. Юзбаши клялся, что на следующее утро он за каких-нибудь три часа положит всему конец. Затем он изложил свой новый план. Для прикрытия, скорей даже для маскировки, на захваченных армянских позициях будут оставлены незначительные силы; а все остальные солдаты будут отведены назад. Ночь войско проведет возле устья Дубового ущелья, и на рассвете, опираясь на захваченную линию окопов, словно могучим тараном, сокрушит последнее незначительное препятствие.

Впрочем, вооруженных крестьян-новоселов в расположении удержать не удалось: они предпочли вместо ночевки под открытым небом возвратиться в

свои новые дома.

Около шести часов вечера пастор Арам Товмасян, обливаясь потом, ввалился в женскую палатку, единым духом выпил три стакана воды и прокричал:

– Искуи! Овсанна! Скорее собирайтесь! Плохо дело! Сейчас вернусь за вами. Надо спрятаться внизу, в скалах... Я пошел искать отца.

Так и не отдышавшись, пастор Арам выбежал из палатки. Искуи, выполняя обещание, весь день провела здесь. Она помогла подняться стонущей Овсанне, подала младенцу бутылочку с разведенным водой молоком и вытащила здоровой правой рукой несколько вещей из-под кровати. Но вдруг она остановилась и, не говоря ни слова, не взглянув на Овсанну, выбежала из палатки...

Прошел час после захода солнца. Большая Алтарная площадь. Трава вытоптана. Неподалеку от правительственного барака собрались члены Совета уполномоченных. Они сидели прямо на земле перед священным помостом. Вокруг в гнетущей тишине – народ. Проулки между шалашами вымерли. Порой со стороны лазарета доносился крик тяжело раненного. Часть убитых после последней атаки удалось подтащить сюда. Прикрытые чем попало, они рядами лежали на деревянном настиле танцевальной площадки. Нигде ни огня, ни костра. Совет запретил громкие разговоры. Молчание толпы было таким густым, что даже шепот казался громким. Единственный, кто не потерял присутствия духа, был Тер-Айказун. Голос его звучал спокойно и рассудительно.

– У нас только одна ночь. Я хочу сказать – восемь часов темноты.

Его не поняли. Даже Арам Товмасян, чье сердце разрывалось при мысли об Овсанне, Искуи и ребенке, строил самые невероятные планы. Самым серьезнейшим образом он говорил о том, что, пожалуй, следует оставить лагерь и искать защиты среди скал в гротах и пещерах, с морской стороны горы. Но это предложение, можно сказать, не нашло поддержки. Оказалось, люди полюбили свое новое жилище, и хоть это и было чистейшим безумием, намерены были защищать его до последнего. Разгорелся спор. В бессмысленных разговорах терялись драгоценные минуты. Время от времени в толпе, окружавшей плотным кольцом членов Совета, раздавалось судорожное рыдание. В этот день смерть вошла в более чем сто семей, если не считать раненых, попавших в руки врага. Никто не знал, сколько еще тяжело раненных лежит на поле боя. Опустившаяся на Муса-даг ночь давила, как низкий потолок. Шепот становился все неразборчивей. Но вот в темноте четко и ясно прозвучал голос Тер-Айказуна:

– Нам осталась эта одна-единственная ночь, господин Багратян. Не следует ли использовать эти короткие восемь часов?

Подложив руки под голову, Габриэл Багратян лежал на земле и смотрел в черную бездну. Он сражался со сном. Все куда-то уплывало. Какие-то обрывки слов доносились до его слуха. У него не достало сил что-либо ответить вардапету. Он пробормотал что-то невнятное. Внезапно он почувствовал, как

маленькая, холодная как лед рука пробегает по его лицу. Кругом стояла такая темнота, что он не видел Искуи. Она долго искала его и наконец нашла. А теперь, как будто это само собой разумелось, села рядом с ним, прямо здесь, среди членов Совета. В эту последнюю ночь она не чувствовала никакого стыда даже перед братом. А на Габриэла Багратяна прикосновение руки Искуи подействовало словно родниковая вода. Оцепенение медленно покидало его. Он приподнялся. Сел. Взял ее руки в свои, не думая о том, заметит ли кто-нибудь эту ласку. Казалось, рука Искуи освободила его от пут усталости и смятения и вернула самому себе. Он глубоко вздохнул. Возникло ощущение бодрости, словно он, алчущий, припал к воде. Члены Совета умолкли. Послышались незнакомые голоса. Все испуганно вскочили. Турки? Из темноты вынырнули качающиеся пятна света. Это вернулся дозор вольных стрелков. За приказом на завтра. Доложили – у них убит один человек, двое попали в плен, а вольные стрелки по-прежнему на своих местах. Кроме того, они сообщили, что вражеские подразделения, за исключением небольшого прикрытия, оставляют захваченные позиции и стекаются в Дубовое ущелье. Связь между занятыми врагом окопами и главными его силами поддерживается цепочкой постов и патрулями. Намерения неприятеля очевидны.

– Да, Тер-Айказун. Эту ночь мы используем! – воскликнул Багратян так громко, что его услышали все вокруг.

В ту же минуту словно очнулись и остальные члены Совета. Всех будоражила одна и та же мысль, хотя Багратян еще ничего не сказал. Массированная ночная атака! Только она способна отвлечь неминуемую гибель. Но для этого одних измотанных и выдохшихся за день бойцов недостаточно. Весь народ – и женщины, и дети должны принять участие в этой атаке, дабы придать мощь общему наступлению. Перебивая друг друга, все заговорили в полный голос. Каждый мухтар, каждый учитель торопился изложить свой план. В конце концов вмешался Багратян и прекратил разногласия. Не надо кричать так громко. Не исключено, что турецкие шпионы пробрались в лагерь.

Чауша Нурхана Багратян отправил назад к своим понесшим сравнительно малые потери дружинам, приказав ему взять полтораста бойцов и без шума подвести сюда, на Алтарную площадь. Оставшихся сил хватит, чтобы в случае контратаки удержать окопы и скальные баррикады. Южный бастион и южный сектор должны выделить в общей сложности двадцать дружин. Вместе с вольными стрелками и Летучей гвардией Багратян собрал таким образом более пятисот бойцов.

Однако все эти необходимые передвижения заняли довольно много времени, так как нельзя было производить ни малейшего шума, нельзя было даже громко отдавать приказы. Кроме того, формирование и распределение подразделений в кромешной тьме сильно затянулось. И лишь знакомство чуть ли не с каждым из младших командиров позволило Багратяну организовать из валившихся от усталости людей две боевые группы. Первая и более мощная была подчинена командиру вольных стрелков. Сразу после того, как ее бойцы



запаслись провиантом и пополнили боезапас – в темноте это тоже заняло немало времени, – группа, отступив несколько южнее, вышла на старую скрытую тропу. Соблюдая предельную осторожность, стрелки пробирались через лес и заросли, через поляны и каменные осыпи к ночному лагерю врага, и помогало им не только звериное знание местности, но и костры неприятельского бивака, по приказу юзбаши зажженные на подступах к Дубовому ущелью. Костры были разведены преимущественно на открытых местах или на скальных площадках, так как в противном случае, хотя в самом ущелье было сыро и душно, из-за стоявшей сухоты там легко мог вспыхнуть пожар. И однако же костры эти не помешали вольным стрелкам окружить все эллипсовидное ущелье. Мусадагцы затаились в высоких деревьях, в густом кустарнике, а то и без всякого прикрытия залегли, прижавшись к земле, разве что их скрывали корни старого дерева. Они неотрывно следили за постепенно утихавшим лагерем врага. Винтовки лежали наготове, хотя залп наверху, возвещавший о начале общей атаки, должен был прозвучать не раньше, чем через час.

Нурхану Эллеону Багратян приказал во главе другой группы, состоявшей из ста пятидесяти бойцов, атаковать и отбить у врага потерянные вечером окопы. Нурхан вывел своих бойцов за каменные баррикады и подтянул их к главному окопу, не забывая и о флангах. Не только темнота, но и ласковый ветерок скрыли этот маневр от врага. Кто ползком, кто короткими перебежками – армяне продвигались вперед и вскоре им удалось зайти во фланги участка, который предстояло отбить, и тем самым взять его в клещи. Кое-что помогало им при этом. Турецкие солдаты – это была одна из сильно потрепанных рот – зажгли несколько карбидных ламп, своим резким светом превосходно осветивших пехотинцев, а все остальное погрузивших в глубочайшую темноту. Армяне и здесь преспокойно могли выбрать себе цель. Наступила такая тишина, что, казалось, никто из них даже не дышал, будто жизнь в этом глубоком ночном руднике, где нет ни шахт, ни штолен, была засыпана.

Там, где тропа между руинами покидает отрог и поднимается по широкому подножию ущелья, у нижней границы ночного лагеря стояли каймакам и юзбаши. Несколько солдат, держась в стороне, светили им факелами и фонарями. Взглянув на модные, со светящимися цифрами ручные часы, юзбаши промолвил:

– Пора... Я намерен за час до восхода солнца поднять людей.

– Не следует ли вам переночевать на нашей квартире, юзбаши? Позади нелегкий день. Сон на мягкой кровати вам поможет.

Очевидно, каймакам был весьма озабочен состоянием юзбаши.

– Нет, нет! Спать я не могу.

В сопровождении факелоносцев каймакам стал спускаться вниз. Но неожиданно возвратился.

– Не поймите меня превратно, юзбаши. Могу я быть уверен, что в ближайшие часы нам не грозят никакие неожиданности?

Юзбаши не сделал навстречу каймакаму ни одного шага и так и застыл в

полуобороте, подавив в себе желание ответить резко. Как невыносимы эти бесконечные вмешательства штатских! С укоризной он объяснил:

– Разумеется, я принял все необходимые меры. Хотя люди измотаны, я выставил дозорных по всей высоте. Вам не следовало утруждать себя и возвращаться. К тому же, я только что приказал выслать наверх патрули и тщательно обследовать весь параметр лагеря.

Так оно и было на самом деле. Но патрули, смертельно усталые унтер-офицеры и солдаты, так и прошли мимо притаившихся армян – одни глаза их сверкали среди дубовых листьев – и возвратившись, доложили дежурному офицеру: все в порядке, местность проверена.

Габриэл Багратян бросил зажженную спичку, которой он только что зажег сигарету. На земле вспыхнул огонь и выжег кружок травы. Искуи, не отходившая от Габриэла ни на шаг, затоптала огонь.

– Как сухо все! – сказала она.

Огонь этот как бы зажег в мозгу Багратяна дерзкую мысль. Несколько минут он, словно потерянный, молчал. Мысль была двоякая: осуществление ее могло собственному народу нанести столько же вреда, сколько и врагу. Подняв над головой носовой платок, Багратян определил направление довольно сильно дувшего порой ветра. Западный. Морской. И ветки клонятся к долине. Нет, такое решение Габриэл один принять не мог, не мог его принять и Совет.

Пусть Тер-Айказун, верховный глава народа, скажет – да или нет. После минуты тягостного молчания вардапет сказал:

– Да!

Тем временем все войско покинуло Алтарную площадь и Город. Затаив дыхание, обе боевые группы ждали сигнала. Между занятыми врагом окопами и каменными баррикадами залегло еще несколько дружин, а за каменными баррикадами залег весь народ. Но это было еще не все.

Несмотря на близящуюся катастрофу, Стефан находился в чрезвычайно приподнятом настроении. Он вновь удрал от матери. В темноте кто-то что-то шептал... Близость напряженных от страха тел... внезапно вспыхивающие и тут же гаснущие фонари... ожидание самых невероятных приключений – все это рождало представление, будто вокруг царит мир необычайных снов и видений. К этому прибавилось, что Юношеская когорта получила какой-то странный приказ и всех ее членов охватила гордость. Они же участники какого-то таинственного плана. Последний заслон! Легко понять, каким образом усталость Стефана и его товарищей обратилась в ожидание, полное самых тревожных предположений.

А особый приказ касался нефти. Все бочки нефти, имевшиеся на Дамладжке, в том числе и две багратяновские, выкатили на Алтарную площадь. Туда же поднесли все оставшиеся от погасших костров ветки, палки, поленья. Сначала мальчики и пожилые люди, затем женщины и дети старше восьми лет подходили и выбирали себе палки. Учителям и Самвелу Авакяну, присматривавшим за распределением, лишь с трудом удавалось подавить возникавшие споры и шумы. Приходилось пускать в ход и кулаки.

– Тише, дьяволята!

То же самое происходило и у бочек с нефтью. Надо было окунуть палку до середины в жидкость и хорошенько покрутить ее. А людей было около трех тысяч, и времени это заняло тоже много. Давно уже прозвучал сигнальный свист, и выстрелы сверкали молниями в направлении занятых турками окопов, а люди все еще толпились вокруг бочек с нефтью. Из ущелья застучало тысячекратное эхо, с ним смешался крик ужаса, такой хриплый и жуткий, что его уже нельзя было назвать человеческим.

Габриэл Багратян стоял на небольшом каменном выступе между окопами и каменными баррикадами. Неожиданно загрохотавший бой, совсем не похожий на предыдущие, застал командующего в каком-то странном, «мечтательно отрешенном состоянии. Он так ничего и не сказал бойцам, ожидавшим позади него. Прошло несколько минут. Пальба стала удаляться. Габриэл и представить себе не мог, что первая фаза наступления могла столь быстро завершиться. Несколько резких взмахов зажженным фонарем – это Нурхан подал условленный знак: окоп вновь в руках защитников! Дружинники, преследуя врага, перескочили через него и скоро уже оставили далеко позади. Часть турецких пехотинцев в темноте заблудилась и попала в руки напавших дружинников. Другая часть солдат, спотыкаясь, бросилась вниз, к ревущему ущелью, а преследователи штыками и прикладами сбивали их с ног.

Габриэл отослал Авакяна к резерву с приказом: «Приготовиться и – вперед!». Затем он выждал, пока шаркающая и шепчущаяся толпа приблизится, и возглавил ее. Медленно вся масса людей двинулась вниз, через кустарник, мимо убитых – туда, в бушующее ущелье!

А там – как на облавной охоте! Правда, храбрейшие из офицеров, онбашей и солдат пытались пробиться к кострам, разведенным на границе бивака, и погасить, уничтожить их, но при этом они уничтожали самих себя. Плотный концентрический огонь вольных стрелков сгонял всех в подножие ущелья. Офицеры выкрикивали противоречащие друг другу приказы. Никто их не слушал. С диким ревом пехотинцы и запятой бросались из стороны в сторону – они искали свое оружие, но даже если бы нашли его, ничего уже нельзя было предпринять: каждый выстрел убил бы товарища или брата. Многие побросали винтовки – они только мешали бежать в этом колюче-коварном хаосе. Казалось, сама армянская гора участвует в чудовищном разгроме: хитрая чаща делалась все выше и гуще, деревья разрастались. Хлещущие ветки и ползучие растения обвивали сынов пророка, и они падали. А кто падал, тот уже не поднимался. Равнодушные к смерти, свойственное этому народу, все больше охватывало его, и он только глубже зарывался в колючие листья.

В приступе бесстрашия, юзбаши, размахивая саблей, согнал кучку сбитых с толку пехотинцев. А офицеры, унтеры и старослужащие солдаты, узнавая в свете догорающих костров своих старших командиров, примыкали к ним. Постепенно образовалось ядро сопротивления, вернее сказать, ядро нового наступления. Размахивая саблей над головой, юзбаши кричал:

– Вперед! За мной!

Странное возбуждение охватило его, когда он взглянул на фосфоресцирующие часы: ему вспомнились слова, сказанные им так недавно каймакаму: «Если до завтрашнего вечера армянский лагерь не будет ликвидирован, я покончу с собой!» И действительно, в это мгновение он не хотел больше жить.

– За мной! За мной! – уже хрипел он, чувствуя, что у него одного достанет воли и сил превратить катастрофу в прорыв.

Его пример подействовал. Да и желание вырваться из этого леса гнало солдат вперед. Сбросив с себя апатию, они с криком последовали за командующим. Так и не понеся потерь, они добрались до верхнего выхода из ущелья. Совершенно обессиленные, потеряв всякое чувство реального, они брели навстречу бликам фонарей и ружейному огню армянских дружин, и тут же падали, сраженные меткой пулей. Юзбаши даже не заметил, что ранен. Он только удивился, обнаружив, что остался совсем один. Внезапно правая рука отяжелела. Заметив кровь и почувствовав боль, он даже обрадовался. Теперь и позор и понесенный урон представились ему не такими уж страшными. С закрытыми глазами, еле передвигая ноги, он поплелся вниз. Упасть бы где-нибудь и ничего больше не знать! – думал он.

Когда шум боя стал перемещаться вниз, в Городе вспыхнула первая зажигалка. Треща загорелся и первый факел, и за несколько минут воспламенились тысячи. Большинство жителей лагеря по примеру Гайка и Стефана держали в каждой руке по факелу. Широоченным фронтом пламенная шеренга медленно двигалась вниз. Подобного шествия огня земля еще не видывала! И каждый, несший впереди себя потрескивающий факел, содрогался от неизъяснимого ощущения святости. Не единичные пятна света, только углубляющие бездонную ночь, а светоч целого народа пробил сияющую брешь в крошечной тьме. Торжественно и очень медленно длинные тени двигались вперед, будто шли они не на поле боя, а к месту моления.

Далеко внизу, в Йогонолуке, Битиасе, Абибли, Азире, в Вакефе и Кедер-беге, даже далеко на севере – в Кебусие, деревне пасечников, никто из мусульман-новоселов, поживившихся чужой землей, не спал.

Когда грохот боя достиг деревень, все, кто был в состоянии, схватились за оружие, заняли подступы к Муса-дагу. Правда, к устью ущелья никто не смел приблизиться. А в садах, на крышах домов толпились женщины и, объятые страхом, жадно внимали гневному лаю выстрелов. И вдруг, примерно через час после полуночи, за Дамладжком вошло солнце! Черным силуэтом обозначился гребень горы, а за ним разгорелось нежно-розовое зарево.

Это небесное знамение, а вместе с тем и чудо предвещало приход Страшного суда – и все женщины бросились наземь. А когда чуть позже сам гребень горы вспыхнул и запылал, то дать этому какое-то естественное объяснение было уже поздно. То Иисус Христос, пророк неверных, зажег солнце своего могущества на горе, и армянские джинны Муса-дага в союзе с Павлом, Петром, Фомой и другими святыми встали на защиту своего народа. Древняя легенда о сверхсилах, всегда помогавших армянам, получила в эту

минуту мощное подтверждение. И так думали не только невежественные крестьянки, но и муллы, наблюдавшие это чудо с йогонолукской колокольни и церковной галереи – в поспешном бегстве они покинули превращенную в мечеть христианскую святыню.

Однако менее чудотворно, но гораздо ужаснее подействовала неудержимая стена огня на турецких солдат, еще оставшихся на склоне горы. Непостижимая сила и превосходство исходили от этой полыхающей стихии. Как будто в этот час объединилась вся армянская нация, депортационные транспорты со всей империи, дабы обрушиться на кучку сынов пророка и огнем и свинцом отомстить страшной мезтью!

Небольшие турецкие команды, залегшие перед отдельными участками армянской обороны, ринулись вниз. Офицеры уже не могли никого остановить. Все, кто еще был жив в этом смертоносном котле ущелья, ничего не видя и не слыша, пробивались через заросли и завалы и в конце концов достигали подошвы горы. У Багратяна не достало сил плотно-закрывать выход из ущелья.

Несколько достойнейших офицеров и солдат, недосчитавшихся своего юзбаши, вновь с боем поднялись в ущелье и унесли лежавшего без сознания раненого командира, спасая его от плена. Так юзбаши снова очутился на вилле Багратянов – турецком командном пункте. По дороге он очнулся от боли и тут же с ужасом подумал: все потеряно, христиане наголову разбили все турецкое войско! О новом наступлении уже не может быть и речи. Поняв это, он проклинал ту пулю, которая разворотила ему правую руку, но так и не довела дела до конца. Лишь одно желание владело им: скорее бы вновь потерять сознание! Но этому не дано было осуществиться – напротив, он как-то особенно четко и ясно, даже хладнокровно представил себе всю картину случившегося.

Шествие уже не застало перед собой врага. Шаг за шагом пламенные шеренги приближались к Дубовому ущелью, его склонам, поросшим лесом. Примерно на половине пути Тер-Айказун приказал остановиться, последовала команда (перебегавшая от одного конца шеренги к другому) – бросать горящие палки в кусты и быстро отбегать назад. Факелы погружались в разгоравшийся хворост. Не прошло и нескольких минут, как затрещало и загудело все вокруг. Казалось, весь Дамладжк вот-вот взорвется. Кое-где пламя уже взмыло ввысь. Горе, если ветер в ближайшие часы или дни изменит направление! Тогда и Город, раскинувшийся ближе всего к ущелью, падет жертвой огня. Какое счастье, что Багратян приказал вырубить подчистую все предполье. Огонь распространялся с такой быстротой и вспыхивал одновременно в стольких местах на высушенной летней жарой груди Дамладжка, будто это неземные силы разожгли и питали его. У вольных стрелков и дружинников, находившихся внизу, едва хватило времени собрать трофеи – более двухсот маузеровских винтовок, боеприпасы в избытке, две походные кухни, пять выючных ослов с провиантом, палатки, одеяла, фонари и прочее снаряжение.

Когда вошло настоящее солнце, весь Дамладжк лежал погруженный в каменный сон. Бойцы спали там, где их сразила усталость, только немногим

удалось добрести до ночлега. Мальчишки спали кучей, прямо на земле. В шалашах женщины как вошли, так и упали на циновки и спали растрепанные, не умывшись, и даже не подошли к малышам, а те плакали теперь уже от голода. Спал Багратян, спали все стрелки. Даже у Тер-Айказуна не хватило сил закончить благодарственный молебен. В конце священнодействия он рухнул, да так и остался лежать. Спали мухтары, не отобрав овец для забоя. Спали мясники, и спали доярки. Никто, ни один человек не приступал к ежедневным обязанностям. Очагов никто не разжигал, воду из родников никто не носил, никто не заботился ни о раненых, ни о тех, кто кое-как дотащился до лазарета. Лица без носа, челюсть – кровавое месиво, разорванные пулями «дум-дум» тела, стонущие и иссохшие от жажды раненные в живот – всем этим несчастным доктор Петрос уже не мог помочь, им могла помочь только смерть. Они лежали в каком-то оцепенении, которое, может быть, помогало им преодолеть последние, столь медленно текущие часы, а доктор Петрос только подходил к каждому и ласково наклонялся к нему.

Внизу, в долине, спали пехотинцы, заптии, четники – все, кому чудом удалось унести ноги. Офицеры спали на вилле Багратянов. Первую жертву вчерашнего дня – колагази из Алеппо еще несколько часов назад отправили на санитарном фургоне в Антакье. Теперь на кровати Стефана спал другой раненый – юзбаши.

И каймакама тоже в жюльеттиной комнате свалил сон. Он долго сидел над рапортом для вали Алеппо, потом уронил голову на стол и заснул. Но в его сонной голове, не прячась и не увертываясь, как наяву, мысль и совесть продолжали беспощадную работу. Каймакам только что пережил самую большую неудачу в своей жизни. Но в каждой неудаче сокрыта и доля благоволения, ибо она обнажает тщету и смехотворность человеческих посягательств на раздачу оценок. И чего только не пришлось пережить сейчас этому каймакаму, чиновнику высокого ранга, видному члену Иттихата, высокомерному коренному осману, глубоко убежденному в превосходстве своей воинственной расы, расы господ! Увы, слабые оказались сильными, а сильные поистине не стоили ничего. Да, они не стоили ничего даже в тех героических делах, где считали себя сильнейшими и из-за чего так презирали слабых! Однако озарения, посетившие каймакама во сне, проникли еще дальше. До сих пор он никогда не сомневался в правоте Энвера и Талаата, более того, он считал, что они действовали по отношению к армянскому меньшинству как гениальные государственные мужи. А теперь в этом сне вспыхнуло гневное недоверие к Энверу-паше и Талаату-бею, ибо неудача всегда самая справедливая мать истины. Да и имеют ли право люди замышлять «мудрые» планы, цель которых уничтожение другого народа? Существуют ли достаточно веские причины для таких планов? А ведь это сотни раз утверждал сам каймакам. Кто решает, что один народ лучше другого народа? Нет, людям не дано решать это! А сегодня на Дамладжке Аллах вынес строго однозначное решение. И каймакам видел себя самого в самых различных; весьма определенных ситуациях, и всякий раз жалел себя, бывал растроган: вот он

сидит и пишет его превосходительству вали Алеппо прошение об отставке и добровольно рушит всю свою жизнь! Вот предлагает армянам в лице Габриэла Багратяна, который почему-то кутается в купальный халат, мир и дружбу. А то он выступает в Центральной комиссии Иттихата и ратует за немедленное возвращение всех депортационных колонн и добивается принятия закона о налоге, благодаря которому можно будет возместить весь нанесенный армянам ущерб. Впрочем, на подобную этическую высоту его душа поднималась только в глубочайшем из самых глубоких снов. Чем более чутким делался его сон, чем больше он приближался к осознанию реальности, тем хитроумнее его мысли ускользали от столь смелых решений. А уж под конец, когда он пребывал лишь в легкой дреме, юн измыслил себе весьма подходящий выход: не к чему отправлять в высшие инстанции самобичующий рапорт.

Каймакам проспал до самого обеда.

И спали мертвые – и христиане, и мусульмане в чащобах Дубового ущелья, и в лесах на горных склонах... Облизываясь, предвкушая поживу, подбирались к ним огненные языки. А настигнув мертвецов, огонь смело пробуждал их: они вздымались, как бы цепenea от ужаса, тела их лопались и погружались во всеочищающий костер.

С каждым часом пожар разгорался, сползая с Дамладжка, распространяясь на север и на юг. Он придержал свой бег лишь перед каменными россыпями под Южным бастионом и каменистой впадиной, защитившей от него Северную Седловину. Зеленые богатства щедрых на родники альпийских угодий, это чудо Сирийского побережья, торжествуя, запылали в последний раз пламенными знаменами и так полыхали много дней, покамест от всей красы осталось лишь огромное поле, усыпанное тлеющими углями, да кое-где догорали пни. То Муса-даг огнем и догоравшими завалами, словно неприступным панцирем, оградил своих смертельно уставших детей, в глубине своего сна и не подозревавших, что теперь они надолго освобождены от своих преследователей. Никто из них не знал, что дружелюбный ветер отвратил от Города угрозу и погнал языки пламени и искры в долину.

Бойцы и весь лагерь спали далеко за полдень. Только уже значительно поздней Совет уполномоченных распорядился вырубить угрожаемые участки горного склона и очистить их от хвороста и листвы. Тем самым было положено начало новой необъятной работе.

Все спали в этот день, не спала только одна, одна-единственная. Неподвижно сидела она на кровати в своей палатке. И как ей ни хотелось стать маленькой-маленькой в этой грохочущей раковине своей крайней отчужденности и неизбежной вины – ничто не могло ей помочь.

## Глава четвертая

## ПУТИ САТО

Хотя благоприятное направление ветра не менялось, лесной, вернее, горный пожар угнетающе действовал на людей. Сутками было светло как днем. Красноватым хищным оком ночь подмигивала и косилась, обезумевшие тени кружились в дикой пляске. Небо заволокло зыбкой пеленой. Стояла невообразимая жара: и в полдень, и в полночь ни одного свежего дуновения! От едкого дыма захватывало дух, воспалялась слизистая оболочка носа и горла. Весь лагерь чихал, страшный этот насморк порождал коварную раздраженность.

Ни радости по поводу победы, ни ликования, напротив, в людях обнаружили признаки духовного упадка, опасного внутреннего процесса, грозившего подорвать порядок и дисциплину и выразившегося в своеволии и буйстве. Прежде всего, здесь следует назвать отвратительную историю с Саркисом Киликяном, которая произошла, к сожалению, в первый же вечер после победы и послужила одной из причин новых тревог и забот Тер-Айказуна и Габриэла Багратяна, хотя, казалось, можно было с божьей помощью надеяться на длительный перерыв в боях. Правда, сама смелая идея лесного пожара и огромные боевые трофеи в значительной мере улучшили всю оборону. Уже не представлялась безумной мысль о том, что враг и вовсе откажется от штурма. Однако следовало учитывать, что огнем была охвачена лишь самая грудь Дамладжжа, а его бока – каменные осыпи выше Суэдии и Северное Седло, как и прежде, представляли опасность. Ни в коем случае нельзя было допускать ослабления дисциплины на позициях. Столь же строго следовало поддерживать авторитет руководства. Не менее важно было установить полное согласие среди населения лагеря. То, что Тер-Айказун называл «буднями», надо было, наперекор всем проискам дьявола, восстановить и ввести в колею. Это и побудило Большой Совет, собравшийся вечером двадцать четвертого августа, отказаться от торжественного погребения погибших, дабы лишний раз не будоражить народ.

В тот вечер специальные команды уже обнаружили шестьдесят семь трупов из ста тринадцати считавшихся пропавшими без вести. Сверх этого, в ту ночь скончались тяжело раненные, которым не удалось своевременно оказать помощь. Об этих печальных событиях доложил Совету доктор Петрос Алтуни. Своим скрипучим голосом, отнюдь не созданным для надгробных речей, он поведал собравшимся родным и близким, что из-за чудовищной жары крайне необходимо срочно похоронить павших. Всякое промедление грозит эпидемией. Он, Петрос Алтуни, не хотел бы говорить об этом в присутствии скорбящих родственников, но в конце-то концов каждому из них это подскажет собственное обоняние. Итак, не теряя времени, за дело! Пусть каждая из пострадавших семей немедленно приступит к погребению павших на отведенном для этого месте. Сей труд любви и заботы зачтется небом куда выше, нежели долгие молитвы и причитания. Правда, Алтуни добавил, что Совет поступил бы мудрее, если бы предал тела героев сожжению. Сам он не



решается на такой шаг, шадя чувства родных. Да послужит утешением вдовам и сиротам то, что родные и близкие их будут погребены в саванах и изголовьем им будет служить родная земля.

– А теперь за дело! – проскрипел доктор Петрос, в эту минуту он походил не на семидесятилетнего, а на девяностолетнего старца. – За несколько часов все должно быть закончено. На помощь вам придут люди из резерва.

Приказ этот в народе не вызвал, как опасались, ни ропота, ни противодействия. Угроза здоровью была таким веским аргументом, что перед ним отступили все возражения. Да и усиливающийся трупный запах давал о себе знать.

В три часа утра все работы были закончены. И тяжкий труд этот заглушал скорбь. Лишь очень немногие родственники стояли со свечами у разверстых могил. Но отблески полыхавшей горы поглощали скудные эти блики. Нуник и ее подруги на этот раз отсутствовали. С тех пор как заптии поймали в кукурузе и забили насмерть двух старух из нищей братии, они больше не осмеливались выползть из своих нор.

На другое утро, то есть двадцать пятого августа и на двадцать шестой день лагеря должны были состояться два чрезвычайно важных события общественной жизни. Первое – торжественный выбор пловцов и ходоков, которым предстояло незамедлительно отправиться в Александретту и Алеппо. Второе – судебное разбирательство преступления, совершенного Саркисом Киликяном. До этого Тер-Айказун, в соответствии с обязанностями, наложенными на него законом о мировом и третейском суде, улаживал лишь простейшие конфликты. В этих не столь важных делах он без всяких формальностей быстро выносил безапелляционное решение. Обычно это не терпящее промедления судебное действие происходило в пятницу. А сегодня, в среду, Тер-Айказун впервые выступал на Дамладжке как судья по уголовному делу. Коротко суть дела заключалась в следующем: главная ответственность за большие потери, понесенные защитниками во время штурма, вне всяких сомнений, ложилась на Саркиса Киликяна и его необъяснимое поведение. Но Габриэл Багратян и не собирался привлекать его к ответственности, во-первых, потому, что Киликян проявил отвагу и немалую сметку во всех предшествовавших боях, и во-вторых, Габриэлу хорошо было известно, что человек способен на необдуманные поступки; к тому же, он по опыту знал, что по прошествии некоторого времени совершенно невозможно точно воспроизвести какой-нибудь эпизод боя. Однако не все думали, как командующий, например, некоторые командиры дружин, рядовые бойцы и жители лагеря.

Когда вражеский штурм был отражен, на Алтарную площадь сбежался народ. Бойцы гарнизона Саркиса Киликяна теснили своего командира, требуя, чтобы он объяснил свое поведение во время атаки врага и защищался. А он ничего не объяснял и защищаться также, по-видимому, не собирался. И сколько на него ни сыпалось яростных обвинений и всевозможных вопросов, он молчал, а его безучастный взгляд и высохший череп ничего не выражали. Возможно,

молчание это вовсе не свидетельствовало о его наглости, злости или самоуверенности но впечатление это производило именно такое. Ведь может быть – да скорее всего, так оно и было – Киликян действительно не мог бы объяснить почему на него нашел вдруг столбняк, а такие отговорки как «внезапный приступ усталости» или «не понятые никем намерения командира», он с презрением отмел. Позднее он и Тер-Айказуну не сумел дать вразумительного объяснения. Однако совершенно естественно, что молчание Киликяна только разозлило обвинителей. Его начали толкать, перед носом его мелькали кулаки. Суд присяжных, возможно, согласился бы, что он действовал в пределах необходимой самообороны, не ударь он первым и не будь этот удар столь свиреп. Пребывая в своем обычном состоянии апатии, Киликян некоторое время позволял себя толкать, казалось даже, что он для защиты от напиравших обвинителей вообще не намерен ничего предпринимать, более того – он даже не замечает, что происходит вокруг него. Но вдруг он вырвал свой костлявый кулак из кармана и нанес одному из молодых своих притеснителей такой удар в лицо, что тот, обливаясь кровью, с выбитым глазом и сломанной переносицей свалился наземь. И произошло все это с молниеносной быстротой: на какую-то долю секунды вялое тело Киликяна напряглось, глаза сверкнули, но тут же погасли, и снова взгляд его стал тупым, как прежде. В эту минуту никто не взялся бы утверждать, что это именно он только что чуть не убил человека. К его счастью, сначала в толпе никто не понял, как все это произошло, просто люди, отпрянув, подались назад. Но затем, когда толпа с криками возмущения вновь набросилась на него, ему бы не поздоровилось, если бы не появилась полиция Города и не взяла его под стражу.

Наутро, во время разбирательства в правительственном бараке, он невозмутимо признал, что удар нанес первым и отлично предвидел его последствия. И в дальнейшем он не ссылаясь на необходимость самозащиты. То ли он был чересчур ленив, то ли слишком устал, чтобы давать убедительные ответы. Но возможно, что этот человек относился к самому себе, к своей жизни или смерти с таким равнодушным безучастием, какое постигнуть никому другому не дано!

Багратян сидел и молча слушал. Он не произнес ни слова ни в обвинение, ни в защиту подсудимого. Но разгневанный народ требовал кары.

Выслушав показания свидетелей, Тер-Айказун вздохнул и сказал:

– Что мне с тобой делать, Киликян? По тебе же сразу видно: ни один монастырский устав для тебя не писан. Надо бы тебя изгнать из лагеря...

Однако никакого изгнания Тер-Айказун, разумеется, не объявил, а вынес следующее решение: пять дней тюрьмы в кандалах и трехдневный пост. Наказание было гораздо тяжелее, чем могло показаться на первый взгляд. Из-за простой потасовки, где он не был даже зачинщиком, Киликяна лишили высокого звания боевого командира и вновь низвели в преступный мир. А это было тяжелым оскорблением, запятнавшим его честь. Однако, глядя на него, нельзя было даже предположить, способен ли он что-нибудь воспринимать как

оскорбление.

По окончании судебного разбирательства ему связали руки и ноги и заперли в камере, то есть в третьей комнатке правительственного барака. И вновь Киликян стал похож на того Киликяна, каким он уже не раз бывал в своей непостижимой жизни – кара обрушивалась на него, когда за ним или вовсе не было никакой вины, или же она лишь предполагалась. Он и на сей раз принял эту кару, не моргнув глазом, как неизбежность столь хорошо знакомой и неотвратимой судьбы. Нынешняя же тюрьма его весьма отличалась от подобных заведений, которых Киликян немало повидал на своем веку. Ведь за стеной жил человек таких возвышенных мыслей, каким был аптекарь Григор. Справа и слева две невзрачные каморки, похожие одна на другую как пара сапог, но одна была камерой позора, другая же вмещала вселенную!

Габриэла преследовало предчувствие, что вот-вот произойдет какое-то событие, назвать которое он не умел, но которое может перечеркнуть решительную победу позавчерашнего дня. Потому он и настоял на отправке гонцов сегодня же, в среду. Необходимо было как можно скорее что-то предпринять! И пусть это ничего не даст – такой шаг породит напряженное ожидание.

Добровольцы собрались, как и решил Совет, на Алтарной площади. Сюда сбежалось все население лагеря, ибо избрание гонцов было делом народным.

Габриэл как раз вернулся после проверки дружин. Он хорошо сознавал опасность ослабления дисциплины и раздраженную драчливость людей, поэтому назначил учения уже на вторую половину дня. Благодаря захваченным в боях двумстам маузеровским винтовкам, весь первый эшелон был теперь хорошо вооружен. Поредевшие ряды дружин пополнились лучшими бойцами резерва. Над лагерем уже разносились заикающиеся звуки трубы Чауша Нурхана, который приступал к муштре новичков.

Искуи встретила Габриэла на полпути. После столь внезапно открывшегося родства душ она с детской прямоотой искала с ним встреч. Почти ничего не говоря, они вместе прошли до самой площади. Когда она была с ним рядом, им овладевала какая-то особенная уверенность. Его не покидало ощущение, что юная Искуи – самое близкое существо, какое он знал в жизни. Своей благостной теплотой она заполнила все, зайдя далеко за пределы сокровенных воспоминаний.

На Алтарной площади она не отходила от него, хотя и была единственной женщиной, без всяких на то оснований оказавшейся среди высшего руководства. Неужели она совсем не боялась, что поведение ее будет замечено и у брата возникнут подозрения? Или то была прямота души человека необыкновенного, действующего в своем первом чувстве без оглядки и без всяких сомнений?

Добровольцы – десятка два юношей – ожидали решения Совета. Среди них было и пять подростков – старшим из Юношеской когорты также разрешали выступать добровольцами. Со страхом и гневом в душе Габриэл обнаружил рядом с Гайком Стефана. Тер-Айказун, коротко посоветовавшись с членами

Совета, выбрал гонцов. Ведь именно ему, Тер-Айказуну, надлежало творить суд над людьми, определять их силу и возможности. Что касалось пловцов, то здесь решение было одно, и никто его не оспаривал. В Вакефе – южной деревне армянского поселения, расположенной на самой границе долины Оронта, то есть уже на морском побережье, жили два знаменитых пловца, одному было девятнадцать лет, другому – двадцать. Им-то Тер-Айказун и передал ремень с вшитым письмом, содержащим призыв о помощи к капитану любого – американского, английского, французского, русского или итальянского военного корабля. Попрощавшись с родными, юношам предстояло пуститься в путь от Северного Седла сразу после захода солнца.

Выбор ходака в Алеппо потребовал обсуждения. Довольно скоро все согласились послать не двух, а только одного гонца, так хоть огромному риску будет подвергнута жизнь только одного человека. Пастор Арам Товмасян сказал, и вполне резонно, что, пожалуй, у взрослого армянина меньше шансов живым добраться до столицы вилайета, чем у мальчишки, который даже одеждой мало чем отличается от мусульманских ребят и которому вообще легче где угодно проскользнуть. Разумные эти доводы были всеми признаны, кто-то тут же предложил:

– Гайк!

Этот угрюмый, решительный паренек с твердыми, как камень, мускулами, сказочно ловкий – самый подходящий, никого другого и не надо! Никто из местных крестьян во всем лагере не был так тесно связан с родной землей! У кого еще такой зоркий ястребиный глаз? Нюх, как у барсука, слух, как у крысы, и изворотливость змеи! Если кому и удастся преодолеть все смертельно опасные преграды на пути в Алеппо, то только Гайку.

Но когда Тер-Айказун, стоя на низшей ступени алтаря, объявил о решении Совета послать Гайка, вперед вышел Стефан – поступок поистине недостойный! Лицо Габриэла Багратьяна передернулось от гнева, когда он увидел, как сын выскочил из шеренги и дерзко встал впереди всех. Никогда еще его так неприятно не поражали заносчивость и внутренняя и внешняя одичалость сына. Чумазый, смуглый, как негр, Стефан сверкнул зубами:

– Почему Гайк? Я тоже хочу в Алеппо...

Ни слова не говоря, Габриэл Багратьян взмахнул рукой – жест, приказывающий молчать. Но непокорный сын будто взорвался, его срывающийся голос разнесся по всей площади:

– Почему Гайк, а не я, папа? В Алеппо пойду я!

Подобный сыновний бунт был чем-то неслыханным среди армян, ничем не оправданным – ни исключительными обстоятельствами, ни героическим честолюбием. Лицо Тер-Айказуна выразило нетерпение, он резко поднял голову:

– Укажите своему сыну, Багратьян!

А пастор Арам, имевший некоторый опыт в обращении с трудными подростками, попытался успокоить Стефана:

– Совет уполномоченных решил, что только один гонец пойдет в Алеппо.

Ты же взрослый, толковый парень, и сам понимаешь, что значит для нас приказ Совета. Беспрекословное повиновение! Правильно я говорю?

Однако героя захвата турецких гаубиц нельзя было пронять ссылками на закон, приказы и уставы. К тому же, он совсем не представлял себе ни самой задачи, ни полной своей непригодности для выполнения ее. Стоя рядом со своим соперником, он испытывал только унижение и обиду. Присутствие большого количества взрослых и почтенных людей ничуть не сдерживало его. Он дерзко заявил отцу:

– Гайк только на три месяца старше меня. Он и по-французски не умеет говорить. Мистер Джексон не поймет его. А что Гайк может, то и я могу.

У Габриэла лопнуло терпение. Он сделал решительный шаг к сыну.

– Что ты можешь? Ничего ты не можешь! Ты изнеженный европеец. Избалованный городской ребенок – вот ты кто! Тебя тут же поймают как слепого котенка. Уходи! Ступай к матери! Чтоб я тебя здесь больше не видел!..

Эта жестокая выволочка отнюдь не отличалась мудростью. Отец задел самое больное место Стефана. При всем честном народе его сбросили со столь дорого доставшейся ему высоты. Значит, все сделанное им до сих пор было напрасно? И что он выкрал Библию Искуи, и что геройски захватил гаубицы, за что чуть не удостоился звания «Эллеон»?.. Уж очень скоро жизнь показала Стефану, что подвиг и слава не длятся вечно! Что в славе всегда таится мстительная изменчивость и что все-все надо начинать сначала! Внезапно он утих. Его смуглое лицо залилось краской, которая делалась все гуще. Огромными своими глазами он смотрел на Искуи, будто впервые видел ее. И ему показалось, что она строго и неприветливо отвечает на его взгляд. Искуи в роли враждебно настроенного свидетеля его поражения?.. Это было уже чересчур! Невольно и совсем неожиданно для себя он расплакался, и в эту минуту он не был ни отличным снайпером, ни отважным завоевателем вражеских гаубиц – нет, он плакал совсем как маленький мальчик, которого несправедливо обидели. Однако этот детский плач не вызвал сочувствия у присутствующих. Напротив, – что-то похожее на злорадство. И это труднообъяснимое злорадство было всеобщим: испытывали его не только приятели Стефана, но и взрослые, и распространилось оно по каким-то скрытым причинам и на самого Габриэла Багратяна. Глубинные отношения между людьми почти никогда не меняются. А отношения между Багратяном и местным населением, несмотря на все одержанные победы, все восхищение, почитание и благодарность, можно выразить в одной фразе: «Он не наш!». И нужен был только повод, чтобы чувство это вырвалось наружу, как это и произошло сейчас. Стефан довольно скоро подавил свой недостойный рев. Но и мимолетная слабость вызвала среди товарищей из ватаги Гайка и других ребят глумление, настроила их издевательски. Послышались насмешливые выкрики. Даже колченогий Акоп смеялся как-то особенно громко и вызывающе. Только Гайк стоял серьезный и углубленный в себя, будто все происходящее никакого отношения к нему не имело и даже не вызвало у него улыбки. Стефану же не оставалось ничего другого, как уйти, и хотя он и пытался своей походкой

выразить пренебрежение и равнодушие, плечи его предательски подергивались.

Габриэл молча смотрел ему вслед. От досады и злости не осталось и следа. Его смущала мысль о старом письме мальчика из Монтре. Он так и видел: Стефан сидит в хорошеньком костюмчике, по-детски склонив головку над письмом, выводит огромные буквы... И Габриэла снова потрясли душераздирающие воспоминания о давным-давно отживших мелочах. Он вспомнил, что Стефан уже большой, в ноябре ему исполнится четырнадцать лет... И тут же его озадачило: «исполнится четырнадцать», «в ноябре» – какая чудовищная утопия! Ледяное предчувствие нахлынуло и исчезло: исправить уже ничего нельзя!

Он поспешил на площадку Трех шатров, намереваясь еще раз поговорить с сыном. Но ни Стефана, ни Жюльетты дома не застал. В шейхском шатре Габриэл сменил белье. При этом он заметил, что одной из двух монет, подаренных ему агой Рифаатом Берекетом, нет на месте.

Это была золотая монета с четко выгравированным профилем Ашота Багратуни, великого царя армянского. Габриэл несколько раз вывернул все карманы. Золотая монета исчезла.

Заселение турками и арабами армянских земель, к несчастью, положило конец бродяжничеству и двойной жизни Сато. Когда она в последний раз отважилась спуститься в долину, ее чуть не поймали: оказывается, и там уже образовались шайки мусульманских подростков, которые, завидев подобную дичь, тут же бросались в погоню. А теперь еще и пожар перекрыл все ее тропки-дорожки. И Сато ничего другого не оставалось, как довольствоваться Дамладжком, ущельями и гротами на его морском склоне. Но вся эта вытопанная людьми и скотом местность, эти исхоженные подъемы и спуски между Южным бастионом и Городом до самого Северного Седла, разве этого достаточно для Сато – этого олицетворения непоседливости! С деревенскими ребятами она была теперь в полном разладе. Несколько дней назад Тер-Айказун, вопреки сопротивлению учителей, приказал вновь открыть классы. Однако даже такому тирану, как Грант Восканян, не под силу было водворить тишину, когда Сато сидела в классе. «Вонючка! Вонючка!» – заводил жестокий хор, как только бедняжка показывалась на школьной площадке. Поистине неистребима в человеке его вечная жажда самоутверждения, причем за счет социально ниже стоящих, более бедных или искалеченных, или просто чужих. И эта потребность унижить, а также мстительный отпор, порождаемый ею, являют собой весьма мощные рычаги всемирной истории, лишь скудно прикрываемые затасканным плащом политических идеалов. И даже здесь, на горе, в последнем прибежище изгнанников прибившаяся сирота Сато послужила детворе желанным поводом утвердить себя чем-то вышестоящим и благородней рожденным. На одном уроке, который проводила Искуи, издевательские выкрики стали так оглушительны, что, не скрывая своего отвращения, учительница выгнала отверженную.

– Уйди, Сато, и, пожалуйста, больше не приходи!

С цепким упорством, не ведая ни чести, ни стыда, Сато обычно отстаивала себя против всей ватаги. Но сейчас, когда обожаемая ею «барышня», ее «Ключук-ханум» сама перебежала к врагам сама изгнала ее, Сато вынуждена была подчиниться. И она поплелась прочь в своем европейском платье с рукавчиками бабочкой, рваном и грязном, придававшем ей такой эксцентрический вид. Но добрела она только до ближайших кустов, откуда, как шакал, подкарауливающий караван путников, пожирала алчным взором своих недругов.

Сато вовсе не была такой жалкой, как это может показаться. Нет, и у нее был свой собственный мир. Она, например, превосходно знала и понимала всех зверюшек, попадавших ей на тропках-дорожках. Наверное, Искуи, да и многие другие поклялись бы, что Сато мучает животных. И вроде бы все говорило за это. На самом же деле как раз напротив – это недоразвитое существо вовсе не калечило и не мучало животных. Она обращалась с ними ласково, нашептывала им что-то, как будто на их языке. Словно не ощущая уколов, она голой рукой брала свернувшегося ежа и так долго ему что-то наговаривала, покуда он не разворачивался и, высунув мордочку, не принимался оценивать ее своими острыми глазками, словно мелкий базарный торговец. Сато, сама говорившая так, как будто жевала собственный язык, знала все призывные крики и мелодии птиц. Однако все это она тщательно скрывала, хотя такие познания могли бы завоевать ей уважение. Но она боялась, что близкие и вовсе примут ее за нелюдь. Как с животными, она умела говорить и с выжившими из ума старухами, ютившимися вокруг Йогонолукского кладбища. Она и не замечала, что эти без умолку болтающие старушки говорят совсем иначе, чем разумные люди. Ей бывало приятно участвовать в их словопрениях, требовавших лишь самую малость умственного напряжения и приличия. Мелкие зверьки, обиженные богом люди, нищие слепцы и были тем миром, из которого Сато черпала то чувство превосходства, без которого не может существовать ни один человек. Правда, что касается Нуник, Вартук и Манушак, то она была их почитательницей и прислужницей. Однако развитие событий рассеяло это сообщество. Ей было скучно рыскать внутри кольца обороны. Молодежь решительно не принимала ее. И бездеятельное ее беспокойство мало-помалу перешло в шпионство за взрослыми. Тончайшим чутьем, нисколько не облегчающим ей постижение школьных премудростей, она улавливала, что именно в этих взрослых оборачивалось распущенностью, животностью, корыстью, похотью, а то и просто безумием. Она словно слышала, как произрастают те опасные чувства, о существовании которых она вообще не имела никакого понятия. Как сладострастным шпионским магнитом, хотя она этого и не сознавала, ее притягивало все, что было не вполне в норме.

Потому и неудивительно, что Сато очень скоро поняла по Жюльетте и Гонзаго, что с ними происходит. Щекочущее предчувствие большой катастрофы охватило ее. Всем отверженным знакома эта радость по поводу грядущей беды, эта сладостная надежда на гибель всего и вся – немаловажная

пружина маленьких скандалов и великих переворотов.

Сато неотступно выслеживала парочку. Жюльетта и мосье Гонзаго вместе с самим Габриэлом были самыми знатными людьми, каких она когда-либо встречала. Ненависти, какую подчас дурные слуги испытывают к своим господам, они ей не внушали, – нет, это было жадное любопытство примитивного существа к тому, что представляется ему уже почти неземным. А перед Гонзаго, который когда-то так напугал ее, исполняя бравурные эстрадные песни на фортепиано, она ощущала болезненный страх побитой собаки.

Сато очень скоро высмотрела все укромные местечки, все тайные рододендроновые и миртовые уголки «Ривьеры». Купаясь в блаженстве, она просовывала свою мордочку сквозь листья и ветки. Ее ослепленные глаза упивались представлением, которым ее потчевали сами боги. Эта благородная женщина, ханум из страны франков, так чудесно благоухающая, эта великанша, и вдруг – волосы распущены, приникает всем своим угасшим лицом со вспухшими алчными губами к такому спокойному и сдержанному мужчине, который из-под опущенных век, предельно настороженный, предвкушает даримое прежде, чем завладеть им. Вся дрожа, Сато следила, как длинные, тонкие пальцы Гонзаго, словно умелые пальцы слепцов, перебирающих струны тара, скользят по белым плечам и груди ханум.

Сато видела, что можно было увидеть. Но она видела и то, чего нельзя было видеть. Учителя давно уже поставили на Сато крест. В голову этого бессвязно лепечущего существа, воспринимающего мир только в образах, никакими силами не удавалось вдолбить ни алфавит, ни таблицу умножения. Сато отстала от ровесников потому, что ее сверхчеловеческое чутье развивалось за счет интеллекта. Следя из-за миртов и рододендронов, она впитывала в себя не только жгучую сладость самого зрелища, но и смятение ханум, и самонадеянную целеустремленность Гонзаго. Разум Сато ничего не знал, чутье – знало все!

У Сато не было никаких оснований отказываться от этого сладострастного подсматривания, но тут вмешалось нечто, ударившее ее по единственному нежному чувству, которое у нее было. От ее чутыстого носика не могла укрыться и другая пара. Эта, правда, не разыгрывала спектаклей, да и не нуждалась в укромных местечках, чтобы прятать свои страсти. Никогда она не исчезала в лабиринтах кустарника, опоясывавшего взморье, напротив, предпочитала открытые возвышенности и просторы горного плато! Эту пару трудно было преследовать, не выдав себя. Но к счастью, или, вернее, к несчастью, Сато обладала способностью быть незаметной. В этом она превзошла даже такого искусника маскировки, как Гайк. И эта вторая пара все больше отвлекала ее от первой, дарившей столь богатые впечатления. Здесь она не видела почти ни одного поцелуя, но даже самое отсутствие их жалило Сато глубже» чем полнота объятий Гонзаго и Жюльетты. Стоило Габриэлу и Искуи коснуться друг друга, встретиться глазами и сразу же отвести их, будто обоих ударило током, как Сато казалось, что это нежное слияние будоражит ее больше, чем полная плотская близость той пары. Но главное, ее особенно



бесила и печалила гармония между Габриэлом и Искуи. Впрочем, память Сато все переиначила по-своему. Разве воспитательница Зейтунского приюта не была всегда ласкова и щедра к Сато? Называла же Искуи ее «моя Сато»? И разве маленькая ханум не разрешала Сато сидеть у ее ног, гладить и ласкать их? И кто, как не эфенди, виноват, что Искуи, как раз когда Сато открыла ей свое сердце, крикнула: «Уйди и больше не приходи!»

В унынии слонялась бродяжка, ища место, где бы подумать. Но ведь думать и строить планы Сато не умела. Она была способна лишь создавать зыбкие образы и тут же забывать про них под натиском новых ощущений. Впрочем, эти образы и чувства Сато вовсе не нуждались в содействии и упорядочении разумным началом. Они жили сами по себе. Они трудились целеустремленно: они поднимали петли, спускали их и вновь подхватывали, и так сплетали сеть мести, о которой ее созидательница по сути ничего не знала.

Жюльетта шла к Габриэлу.

Габриэл шел к Жюльетте.

Они встретились между площадкой Трех шатров и Северным Седлом.

– Я иду к тебе, Габриэл, – сказала она.

– А я к тебе, – сказал он.

Смушение и потерянности, давно уже державшие в плену Жюльетту, завершили дело. Куда девалась «искрящаяся походка» Жюльетты? Сейчас она шла будто не по своей охоте, по принуждению. Да так оно и было. Гонзаго послал ее, чтобы она, наконец, сказала правду, объявила, что настал день расставания. «Что это со мной? Неужели я стала так близорука? – подумала Жюльетта. – Почему я так плохо вижу?»

И изумилась: летний день и вдруг сумрачно, как в ноябре! Но, может быть, это дымная пелена стелется от пожара? Или пелена, что туманила сознание изо дня в день, так сгустилась?

Удивительно, право, когда она стоит перед Габриэлом, Гонзаго кажется ей нереальным. И зачем это Гонзаго вздумалось осложнять себе жизнь? Все вдруг представилось ей невероятно далеким и удивительно странным. У нее отстегнулась подвязка, чулок спустился ниже колена. «До чего же противно!» Однако Жюльетта не подтянула чулок. «Сил нет нагнуться! – вдруг подумала она. – А ведь сегодня вечером надо карабкаться по горам. Идти в Суэдию».

Между супругами произошел несколько странный разговор, разговор в пустоте, так ни к чему и не приведший.

Жюльетта заговорила первая.

– Я все корю себя, что не была с тобой эти дни... Ты пережил так много страшного, ты совершил великое... Ты был все время в опасности... О, друг мой, я веду себя постыдно...

Подобное признание всего несколько дней назад произвело бы на него впечатление. Сейчас его ответ прозвучал почти формально.

– И я не раз упрекал себя, Жюльетта. Мне следовало больше заботиться о тебе. Но поверь, даже сейчас, в эту минуту, я не могу о тебе думать.

И это была чистая правда. Она должна была бы придать Жюльетте

мужества тоже сказать правду. Но она только поспешила согласиться.

– Ну, разумеется. Я вполне понимаю, что тебе приходилось думать совсем о других вещах, Габриэл.

Он сделал еще шаг по этому опасному пути.

– К счастью, я радовался, что ты не одна и не чувствуешь себя брошенной...

В этом холодном, словно нарочно неодушевленном, мертвом обмене слов была достигнута ступень, открывавшая самые различные возможности для Жюльетты сказать всю правду: «Я здесь чужая, Габриэл. Армянская судьба оказалась сильнее нашего брака. И вот мне дан шанс – последний выход – избежать этой судьбы. Ты сам желал этого, много раз предлагал мне спастись. Я надеялась, что выдержу, но не достало сил. Да и не могло бы достать, ведь твоя борьба – не моя борьба, мой друг. Я уже и так много сделала. Поверь, я терпела эту страшную жизнь до этой самой минуты. Но теперь довольно. Отпусти меня! Я уже не твоя, я принадлежу другому...»

Но ни одно из таких простых и естественных слов не было сказано. Жюльетта все еще тщеславно полагала, что в браке с Габриэлом это она обогащает, стоит выше, и потому воображала, будто такое признание убьет Габриэла. Ведь он мог бы ей ласково ответить: «Я хорошо понимаю тебя, *cherie*. И даже если это погубит меня... я не смею тебя удерживать. Я сделаю для тебя все, что в моей власти. Ради тебя я расстанусь со Стефаном, и ты спасешь его. Это даже лучше, что я, взяв на себя руководство и ответственность перед народом, разрываю последние связи с моей частной жизнью. И вот что еще, Жюльетта: я люблю тебя, не перестану любить до последнего вздоха, хотя не принадлежу тебе более, я принадлежу другой...».

Так легко и просто, с помощью откровенного слова мог развязаться весь узел, не будь все так безнадежно запутано: Жюльетта знала о Габриэле столь же мало, сколь знал о ней он. Но она и не знала, любит ли она по-настоящему Гонзаго. Да и Габриэл не ведал, любовь ли соединяет его с Искуи. Все религиозное и буржуазное прошлое Жюльетты восставало против греховного счастья. По многим причинам она не доверяла этому столь непроницаемому Гонзаго, и не в последнюю очередь потому, что он был моложе ее на три года. В Париже все это, конечно же, приняло бы традиционные формы. Но здесь, в этой фантастической обстановке на Дамладжке, сознание греховности угнетало ее. Но и это была лишь малая часть путаницы. Бывали минуты, когда она уже совсем решалась вместе с Гонзаго тут же покинуть Муса-даг и дожидаться парохода на винокуренном заводе. Но через мгновение мысль эта казалась до смешного невыполнимой. Она не обладала отвагой и решимостью для того, чтобы бездумно довериться авантюристу, даже если такой ценой можно было бы спастись от смерти. А не разумнее ли сидеть и ждать своей участи на Дамладжке, чем быть покинутой в Бейруте? И мысль о ночном походе по горам, об опасном пересечении мусульманской долины Оронта, о плавании по морю в трюме между бочками со спиртом, страх перед торпедами, мысль обо всех этих препятствиях смешалась с ощущением своей неуместности в столь

неподобающей обстановке: «Нет, это не для меня!» Но что это по сравнению с той мукой, какую она терпела из-за Стефана. Она же избегала родного сына! Не заботилась о том, сыт ли он, чисто ли одет. И даже вечером – о святое материнство! – не подходила к его койке в шейхском шатре взглянуть – хорошо ли он спит. Все это вместе взятое сложилось у нее в единое чувство вины перед Стефаном. С таким бременем на сердце она пришла к Габриэлу, намереваясь быть с ним откровенной, сказать ему «прощай навсегда».

Они смотрели друг на друга, муж и жена. Муж смотрел и видел перед собой лицо постаревшей, как ему казалось, бледной от недосыпания женщины. Он даже подметил проседь у нее на висках. Но не мог понять, откуда этот лихорадочный взгляд, отчего рот у нее стал таким большим и так распухли, потрескались губы? «Она погибнет здесь! – подумал он. – Да иначе и не может быть!». И если минуту назад в нем еще теплилось желание сказать Жюльетте об Искуи, то теперь он подавил его. Зачем? Сколько им еще осталось дней?

А жена видела перед собой изборожденное морщинами лицо, словно стиснутое круглой щетинистой бородой, которую она так не любила. Всякий раз, когда она смотрела на это лицо, она невольно спрашивала себя: неужели этот одичавший вожак горной банды – Габриэл Багратян? И вдруг она слышит голос, прежний голос Габриэла! И из-за одного этого голоса она не может сказать ему правду. В ушах гудит:

«Останусь! – Уйду!». В мозгу стучит: «Только поскорей бы все это кончилось!».

Разговор соскользнул с опасной стези. Габриэл рассказывал, что в ближайшие дни им ничто не грозит. По всей видимости, они могут насладиться длительной передышкой, отдохнуть. Он напомнил ей совет доктора Алтун: лежать в постели и – читать, читать и читать!

Перед глазами медленно плыло облако дыма. Их окутал пряный запах смолы. Габриэл остановился:

– Как сильно пахнет смолой!.. В каком-то смысле этот пожар нам на руку. Из-за дыма тоже: дым дезинфицирует. К несчастью, в карантинной роце лежат уже двадцать больных – проклятый дезертир из Алеппо их заразил...

Он уже ни о чем, кроме общественных дел, не способен был говорить. Равнодушный, он так и не уловил то, о чем она умолчала. А у нее в ушах звенело: «Уйду... Уйду...».

Но едва они дошли до середины дымного облака, Жюльетта побледнела, зашаталась, – он успел ее подхватить. Эти тысячекратно испытанные объятия усилили ее муку. Она порывисто высвободилась.

– Габриэл, прости... мне кажется, я заболеваю... Или уже больна...

Гонзаго Марис ждал в условленном месте «Ривьеры», бережно докуривая половину сигареты. У него оставалось еще двадцать две. Окурки он не выбрасывал – берег табак для трубки. Как и большинство людей, вышедших из приютов и познавших нужду, он, несмотря на желание выглядеть изысканно, никогда не имел больше двух костюмов и фанатически берег все, что имело хоть какую-нибудь цену, используя всякую вещь до последнего.

Когда Жюльетта какой-то странной, неуверенной походкой подошла к нему, он вскочил. Он не стал менее галантен с возлюбленной и после того, как овладел ею. Да и присущий ему подчеркнuto предупредительный взгляд из-под бровей, сросшихся под тупым углом, был все тот же, хотя в глазах мелькал огонек критического отношения к ней. Он сразу понял, что она потерпела поражение.

– Ты опять не сказала ему?

Не ответив, она опустилась рядом.

И что же такое у нее с глазами? В самой близости все качается, будто в безмолвный шторм. Или это все вокруг окутано дымкой дождя? А как только туман разрывается, из моря вырастают пальмы... С обиженно поднятыми головами по волнам шагают верблюды... Никогда еще грохот прибоя снизу не доносился так громко, не казался таким близким. Сама себя не слышишь! А голос Гонзаго доносится откуда-то издалека...

– Нет, так нельзя, Жюльетта! У тебя было столько времени... Пароход ждать не будет, да и директор второй раз нам не поможет. Этой же ночью мы должны тронуться в путь. Пора тебе образумиться.

Она прижала кулаки к груди и наклонилась вперед, словно преодолевая приступ боли.

– Почему ты так говоришь со мной, Гонзаго? И почему не смотришь мне в глаза? Взгляни на меня!

Он поступил совсем иначе. Он упрямо смотрел вдаль... хотел дать почувствовать свое недовольство.

– Я всегда думал, что ты волевая, смелая женщина, ничуть не сентиментальна...

– Я? Я уже не та, что прежде. Я уже умерла. Оставь меня здесь. Уходи один!

Она думала, что он станет возражать. А он молчал. И это молчание, которым с ней так легко расставались, Жюльетта не смогла вынести. Смирившись, она шепнула:

– Я пойду с тобой... Ночью... Сегодня.

Только теперь он ласково положил руку ей на колено.

– Соберись с духом, Жюльетта. Преодолей чувство вины и все другие сомнения. Отруби все разом. Это лучше всего. Мы с тобой хотим ясности, не будем себя обманывать. Иначе нельзя. Каким-то образом надо сообщить Габриэлу Багратяну. Тебе вовсе не надо исповедоваться. Я этого и не говорю. Нам открылся путь к спасению. Такая возможность не повторится. Но просто так исчезнуть нельзя. Уже не говоря о том, что это было бы немислимо подло, ты подумала, как будешь жить дальше?

Уверенным, спокойным голосом, да и всем своим видом он пытался убедить ее, что Багратян должен устроить все наилучшим образом, обеспечить ее на ближайшее время. В словах его не было и намека на грубость или себялюбивую корысть, хотя в своих рассуждениях он и принимал в расчет гибель Габриэла, а возможно, и Стефана. Что до Стефана, то Гонзаго, между

прочим, был готов ради Жюльетты взять и это бремя на себя. Правда, это чрезвычайно усложнит побег. Под конец он стал проявлять признаки нетерпения – ведь сколько раз уже говорилось об этом, а возможность спасения тем временем ускользает! Если бы Жюльетта сейчас была способна логически мыслить, она согласилась бы с его разумными и такими убедительными доводами. Но вот уже несколько дней, как с ней происходит что-то странное: застрянет какое-нибудь услышанное слово в мозгу, и она уже не может от него отвязаться. Сейчас у нее не выходило из головы: «Но как ты будешь дальше жить?». Односложное «жить» с жестяным дребезжанием кружило у нее в голове, точно заигранная пластинка, на которой застряла игла – с ума сойти можно! Какая-то дрожь поднималась от земли и передавалась ей, как будто она сидела у болота. И вдруг она сама стала механически повторять:

– Как я буду жить?.. Как я буду жить?.. В Бейруте? А зачем?

Гонзаго стало жаль Жюльетту – он решил, что ее мучает совесть. Он старался ей помочь:

– Не мучай себя, Жюльетта! Думай только о спасении. Если ты захочешь, я буду с тобой, но если ты этого не пожелаешь...

В это мгновение она увидела перед собой больного дезертира. Это к его груди, покрытой струпьями и красными точками, она припала в припадке отчаянной экзальтации... А потом она решила навестить маму... Мама ведь живет в гостинице... Длинный-предлинный коридор и сотни дверей... И она не знает, какую ей отворить. А голос Гонзаго такой ласковый... милый. Доставил ей радость, сказал:

– Я буду с тобой...

– Ты будешь со мной?.. А сейчас ты со мной?

Он мягко перевел разговор на нужную тему:

– Слушай внимательно, Жюльетта! Сегодня ночью я буду ждать тебя здесь. К десяти ты должна быть готова. Если я тебе понадобится раньше, если Багратян решит со мной переговорить, а я этого не исключаю, пришли кого-нибудь за мной. Я тебе помогу. Возьми большой саквояж. Нести буду я. Будь внимательна, когда станешь собираться. Кстати, в Бейруте ты можешь достать все, что тебе понадобится...

Она очень старалась следить за ходом его мыслей. словно ребенок повторяла за ним:

– Сегодня ночью... в десять... готова... захватить саквояж... В Бейруте все необходимое... А ты? Как долго ты будешь со мной?

Ее бессвязная речь в этот решающий час вывела его из себя.

– Жюльетта, я ненавижу такие слова как «навсегда», «навек».

Она восторженно смотрела на него. Лицо ее пылало, полуоткрытые губы тянулись к нему. Ей казалось, что теперь она нашла нужную дверь. Гонзаго сидел у рояля и играл ей «Матчиш»... В ночь накануне прихода заптив. Он тогда сам сказал: «На свете есть только мгновение...». Великая радость захлестнула ее.

– И не надо! Не говори «навсегда», не говори «навек». Думай о

мгновении!..

Сейчас она поняла предельно ясно: на свете есть только мгновение... И ночь, и пароход, и дорожная сумка, Бейрут и само решение уже не имеют никакого значения для нее. Ей суждено непреступное одиночество, куда нет пути ни Гонзаго, ни Габриэлу. Одиночество, наполненное сознанием возвращения домой, – туда, где все уже решено. Ощущение счастья пронизало ее всю.

Гонзаго удивился: перед ним была не растерянная женщина, загнанная в тупик, а снова йогонолукская госпожа, еще прекрасней, чем тогда. Желанный плод, созревания которого он так терпеливо дожидался, презирав смерть, приобрел прелесть новизны, стал дороже, чем прежде. Он обнял ее будто впервые. Голова Жюльетты как-то странно поникала то на одно, то на другое плечо, но Гонзаго не задумывался над этим. Да и бессмысленные слова, которые она лепетала, будто упоенная страстью, скользили мимо его слуха.

Пока группа мужчин не поравнялась с ней, Сато не представляла себе, что произойдет. Спрятавшись поодаль, она караулила прелюбодействующих, но была чересчур печально, даже мрачно настроена, чтобы наблюдать за ними из-за кустов. Если бы она могла что-нибудь выколачивать из этого волнующего открытия! Вот старуха Нуник – та была бы довольна. Как бы она хвалила Сато, да и одарила бы щедро! Но Сато была теперь пленницей и не могла больше передавать выгодные новости с горы в долину или же из долины на гору. Тем жгучей терзало ее одно постоянное чувство: ревность! Надо разлучить Искуи с эфенди! Сделать больно этому эфенди...

Сато обхватила колени и уставилась на затянутое дымом небо.

Случилось так, что к этому месту как раз в эту минуту подходили несколько человек. Сато по голосам узнала Тер-Айказуна, Габриэла Багратяна, пастора Арама. За ними шли учитель Восканян с мухтаром Товмасом Кебусяном. Уполномоченные, должно быть, только что окончили важное обсуждение и казались озабоченными. Да и были у них причины для этого. Продовольствие – имелось в виду стадо – уменьшалось непредусмотренным образом и по неизвестным законам какой-то дикой прогрессии. Совет изо дня в день урезывал рацион, но сдержать спад, вызванный дурным кормом, не мог. К тому же, как ни старался Арам Товмасян, лов рыбы тоже никак не клеился. Положение с продовольствием было удручающим. Да и эпидемия принимала угрожающие размеры. За один вчерашний день в карантинной роще умерло четверо больных. Доктор Петрос уже еле передвигал свои ослабевшие и скрюченные от старости ноги. Внутри лазарета и вокруг него лежало более пятидесяти раненых и столько же – в шалашах. Все – плохо перевязанные, без лекарств, предоставленные господу богу и самим себе.

Но особенно пугала опасная раздражительность, проявляемая мусадагцами, казалось бы, такая неожиданная для победителей. Способствовала этому чудовищная жара, усугублявшаяся лесным пожаром, насморк, вызванный дымом, тяжелое переутомление, скудная, однообразная еда – и все же в основе всего были, разумеется, невыносимые условия жизни

здесь, в горах. Не считая случая с Саркисом Киликяном, за последние два дня было несколько драк, кое-где даже дошло до поножовщины. Все эти обстоятельства и заставили уполномоченных уделить сегодня особое внимание морскому склону Дамладжка. Как известно, на Скале-террасе, словно оберегаемой от событий, развевалось полотнище с надписью «Христиане терпят бедствие!» Два разведчика из Юношеской когорты постоянно следили оттуда, не появится ли на горизонте корабль. Впрочем, вполне вероятно, что кто-нибудь из ненадежных ребят проглядел одно, а может быть, и несколько судов, ибо поныне никто не сообщал даже о появлении хотя бы рыболовецкой шхуны. И это в августе, когда обычно весь Суэдийский залив кишит подобными суденышками! Неужели господь опустошил море, лишь бы отнять у армян на Муса-даге последнюю надежду на спасение?! Совет решил усилить сторожевую службу на морском склоне. Наблюдательный пост отныне был доверен взрослым бойцам. Кроме того, на мысу, несколько южнее первого, решили создать второй наблюдательный пункт. Чтобы выбрать для него подходящее место, сюда и направилась группа уполномоченных.

Мягкая, покрытая невысокой травой земля скрадывала шаги молчаливых мужей, и даже Сато не сразу их услышала. Когда же она повернулась на бок, они уже подошли почти вплотную. Сато вскочила и, сама не зная почему, стала делать какие-то замысловатые знаки. Поначалу никто не обратил на нее внимания. Да это обычно так и бывало: стоило Сато появиться, как все отворачивались с чувством стыда и отвращения. В сущности, не было людей, которые не видели бы в Сато неприкасаемую, парию, хотя христианину и заповедано: «Всякую тварь по рождению почитать перед богом равной». Вот и теперь отягощенные заботами члены Совета, словно не замечая сигналов кикиморы, спокойно проходили мимо. Однако замыкающий группу мухтар Товмас Кебусян неожиданно остановился и посмотрел на Сато. Невольно это и других заставило задержать шаг. Довольно сердито они поглядывали на нее – что это она вытворяет? Этого-то Сато и надо было. Теперь вся группа стала уже пристальней разглядывать безобразное существо, которое вертелось и изворачивалось перед ними, будто сам бес вселился в него. Она подмигивала, тощие ножки под когда-то аккуратной юбочкой дергались, искаженный рот, как это бывает у глухонемых, исторгал какие-то мычащие звуки, руки, загребая, все время указывали на усыпанные цветами кусты и в сторону моря. Сила внушения, исходившая от беснующейся Сато, постепенно ослабила неприязнь уполномоченных. Они подошли ближе, и Тер-Айказун недовольно спросил, что это тут происходит и что она, в конце концов, хочет сказать? Желтое цыганское лицо Сато передернулось, она отчаянно моргала глазами, делая вид, будто ответить на этот вопрос невозможно. Но тем энергичнее она указывала в сторону моря. Члены Совета переглянулись: у всех мелькнула одна и та же мысль – военный корабль! Как ни противна была эта приبلудная кретинка, все на Дамладжке хорошо знали, что нет лучшей лазутчицы, чем Сато. А вдруг ее отвратительные рысьи глазки высмотрели дымок на далеком горизонте, а его-то никто другой до сих пор и не заметил?

Тер-Айказун тронул ее палкой и приказал:  
– Встань! Иди вперед! Покажи, что видела!

Сато подпрыгнула и горделиво побежала вперед, время от времени она останавливалась, поджидала спутников, махала им рукой. Иногда прикладывала палец к губам, словно умоляя не шуметь, ступать как можно тише. Никто и впрямь не осмеливался открыть рот, как видно, все были до странности взволнованы. Казалось, поведение маленькой проводницы пробудило любопытство – ее спутники следовали за ней чуть ли не на цыпочках, соблюдая предельную осторожность. Миновав самшит и арбутус, группа подошла к широкой полосе кустарника с кожистыми листочками, отгораживающей крутой спуск к морю. Через эти темные прохладные заросли вели многочисленные тропинки. Журчал ручеек, чуть дальше срывавшийся веером брызг вниз по каскаду. Попадались и пинии, а то и выступавшая из зарослей скала, поросшая вечнозеленым мхом. Все это было похоже на искусственно сооруженный лабиринт в парке, где-нибудь на юге. Во время своих многократных рекогносцировочных рейдов задолго до Исхода Багратян, должно быть, так и не побывал в этом поистине райском уголке Дамладжка. Но как прохладно и прекрасно здесь ни было, он, шагая последним, не мог избавиться от какой-то противившейся тяжести в ногах.

Сато так хитро провела их через заросли, что вся группа внезапно очутилась перед излюбленным приютом любовников – открытой к морю полянкой. Внезапное их появление словно громом поразило Жюльетту и Гонзаго, полагавших, что здесь они в надежном укрытии. Наступило одно из тех страшных, нескончаемых мгновений, которое пережившие его будут вспоминать со жгучим желанием – лучше бы мне никогда не родиться на свет!

Габриэл подошел последним и успел увидеть, как Гонзаго Марис вскочил и молниеносно привел себя в порядок. А Жюльетта так и осталась сидеть на земле с распущенными волосами и обнаженными плечами, вцепившись в траву. Она вперила в Габриэла взор, точно слепая, которая видит не глазами, а всеми другими чувствами. Сцена эта произошла в полнейшей тишине. Люди застыли. Гонзаго, отскочив на несколько шагов, следил за происходящим с точно рассчитанной улыбкой опытного фехтовальщика. Посторонние – первым Тер-Айказун – с каменными лицами повернулись спиной к женщине, словно не в силах были вынести собственный стыд.

Армяне, живущие в горах Кавказа и Ливана, – народ беспощадно целомудренный. Горячая кровь склонна к строгости, лишь теплая прощает легко. Ничто, ни одно таинство эти христиане не чтут столь свято, как таинство брака, потому-то они с таким презрением смотрят на неразборчивое многоженство ислама. Наверное, мужчины, отвернувшиеся сейчас от позорного зрелища, не стали бы удерживать Габриэла Багратяна, если бы он двумя револьверными выстрелами положил конец всему: ни Тер-Айказун, ни пастор Арам, хотя этот последний и прожил три года в Швейцарии. Грант Восканян стоял, наклонившись над своим карабином, без которого он теперь ни шагу не ступал. Казалось, черный учитель вот-вот направит ствол себе в рот и только



думает, как бы ему спустить курок. И у него были основания для подобного демонстративного жеста – боготворимая им мадонна замарала себя навсегда!

Окаменевшие спины ждали. Однако ничего не происходило. Выстрел из багратяновского револьвера не грянул. А когда они, в конце концов, все же повернулись, то увидели, как Габриэл Багратян взял жену за руки и помог подняться. Жюльетта сделала несколько шагов и упала бы, не подхвати ее Габриэл. Он так и повел ее через миртовый кустарник, поддерживая сзади под локти, как водят ребенка.

Глазами, в которых горело осуждение, члены Совета следили за этой невероятной картиной. Тер-Айказун что-то буркнул, и медленно, порознь, вся группа покинула это место. А Сато припрыгивала за вардапетом, словно ожидала от вождя народа награды за свое полезное дело.

Ни единого взгляда не удостоился чужестранец, оставшийся один на поляне.

Никакой народ не в состоянии жить, не восхищаясь, но и без ненависти тоже. Давно уже жители Города созрели для этого чувства, необходимо было только направить его. На турок? На государство? Это было что-то чересчур большое, а следовательно, существовало только подобно тому, как существует в помещении воздух – основа жизни, которой уже никто не замечает. Ненависть к ближайшим соседям? Кого удовлетворят эти мелкие повседневные свары? Даже завязтых крикунов они уже не устраивали. Да они и заканчивались обычно мелкими тяжбами, которые Тер-Айказун по пятницам, уже в роли судьи, быстро и решительно улаживал, потребовав от ответчика покаяния, а то и просто разводя тяжущихся. Нет, иное русло должен был пробить себе поток отрицания, который, невзирая на кровавые битвы и тяжкие лишения, накопился в этом сообществе. Одна из тайн общественной жизни заключается в том, что сам случай дает повод такой вспышке недовольства масс.

Перед тем как уйти, Тер-Айказун сказал несколько слов своим спутникам. То была просьба хранить случившееся в строгой тайне. Вардапет отлично представлял себе, каковы будут последствия, если скандал дойдет до жителей лагеря.

Однако Тер-Айказун сделал это предостережение, рассчитывая на мужчин, но он забыл, что среди них есть женатые. Мухтар Кебусян, несмотря на то, что имел вид чрезвычайно важный и исполненный достоинства, состоял у своей жены под башмаком. И о подобном событии он не мог умолчать: он должен был поделиться со своей энергичной и жадной до сплетен половиной.

Его потребность утолить эту жажду оказалась столь неудержимой, что он тут же бросился домой, чтобы поскорей передать ей драгоценный клад – разумеется, заручившись тысячей клятв хранить молчание. Не дослушав его рассказа, жена с покрасневшимся лицом накинула на себя шелковую шаль и выбежала из бревенчатого дома, спеша навестить других мухтарш, так сказать, дам высшего общества, находившихся под ее покровительством.

Обо всем остальном позаботилась Сато. Она-то сегодня праздновала тройную победу. Во-первых, она причинила эфенди боль, от которой он не

так-то скоро оправится. Во-вторых, она, всегдашняя первопричина всяческих бед и несчастий, вдруг превратилась в полезного члена общества. И в-третьих, она, как очевидица, знала так много пикантных подробностей, что это, безусловно, позволит ей обрести прочные позиции среди ребят. И она не ошибалась.

Для начала она приманила двух-трех рано созревших девочек своим хитреньким «А я что-то знаю!» К ним присоединились и другие. Сато, как заправский репортер, растягивала свой рассказ, она испытывала при этом совсем неведомое ей счастье – быть в центре внимания. В конце концов и Стефан услышал о позоре своей матери, причем в самых подлых выражениях. Сперва он даже не понял смысла всей этой болтовни. В его представлении мама стояла слишком высоко, чтобы Сато и вся эта шпана могла иметь в виду ее. Мама, как с некоторых пор и Искуи, была богиней в золотых одеждах, даже во тьме непроглядной ночи нельзя было думать о ее груди, плечах, не содрогаясь от лихорадочного сознания, что оскверняешь святыню. Стефан стоял, окруженный членами шайки, а те с блаженной жестокостью хихикали, в то время как Сато своим трескучим голосом подкидывала все новые детали. Странно, но она рассказывала бегло, даже умело, дефекта речи как не бывало! Должно быть, так же, как несчастье и неудача способствуют исцелению религиозному, так и счастье и удача – исцелению телесно-душевному. В этом случае именно возросшее самосознание устранило недуг Сато. В Америке, рожденная на несколько ступеней выше в культурном отношении, она несомненно стала бы знаменитым репортером. А Стефан молчал, и его большие глаза делались еще больше. Но вдруг в какую-то долю секунды он повернулся к шпионке и так сильно ударил ее по лицу, что у той из носа брызнула кровь и потекла по губам и подбородку. Серьезного ранения он ей не нанес, только расквасил нос, однако Сато подняла такой отвратительный крик, точно ее зарезали. Подобно всем примитивным существам, она переносила боль гораздо тяжелей, чем любой культурный человек, да и крови боялась больше. Вся картина вдруг резко переменялась – любой циник пришел бы в восторг: Сато, эту мразь, этого шакала, изгнанную «вонючку» вдруг стали жалеть и чуть ли не прониклись к ней уважением! Лицемеры кричали: «Он девочку ударил!». Вырвалась так долго скрываемая неприязнь к чужаку, гордецу, «не нашему». Забыты были королевские почести, оказываемые Багратяну после каждого отбитого штурма. Осталась закоренелая ненависть к высокомерному чужестранцу.

Мальчишки набросились на Стефана, затеялась драка, перешедшая в погоню до самого Города и Алтарной площади. Но теперь Акоп вел себя не так, как во время избрания гонца, когда он малодушно предал друга и смеялся над ним. Сейчас он храбро встал на сторону Стефана. Прыгая на своей деревяшке, он всячески старался заслонить друга от преследователей. Гайка не было, так что он не мог проявить свое подлинное отношение к Стефану. Посланец осажденных проводил последние часы на Дамладжке с матерью, вдовой Шушик. Сын Багратяна, хотя сейчас и отступал от теснившей его шайки, на

самом деле был крупней и сильнее большинства ребят. И если удавалось нескольким мальчишкам вцепиться в него, – он их стряхивал, как медведь собак. Но если сам кого схватит, то так основательно грохнет оземь, что у того искры из глаз сыплются. Хоть принято считать городских детей менее защищенными, законченный горожанин Стефан оказался намного сильнее детей гор. Более того, в драке, да и в погоне «дичь» вернула себе уважение «охотников».

Вой и крик заставили жителей Города высыпать на Алтарную площадь. И тут Сато вновь не преминула блеснуть своей новостью.

Ребята отстали от Стефана, ему удалось уйти. Его потянуло к родителям. Но по дороге к площадке Трех шатров он вдруг свернул в сторону и рухнул в траву. Ужаснейшая боль сдавила горло: как теперь идти домой?

Драка подростков только завершила дело, начатое мухтаршами под водительством жены Кебусяна. Еще не смерклось, а в общинах уже было все известно. Конечно, с добавлением возмутительных подробностей. Наступил как раз час, когда по каким-то неведомым причинам дым от пожара повис над Городом особенно густыми, едкими чернеющими слоями, раздражая не только слизистую оболочку, но и души. Насморком страдали повально все. От этого люди сделались особенно раздражительны и злы.

Но позвольте, как же так? Народ Муса-дага, всего два дня назад спасшийся от гибели, зная, что не избежит ее, находясь в таком поистине отчаянном положении, – как мог он столько внимания и страсти посвящать подобной истории, к тому же случившейся с чужими? На это есть только один ответ. Как раз потому, что это были чужие, затаенная недоброжелательность заявила о себе, как только к этому представился случай. В мирное время в долине, когда Жюльетта была ещё хозяйкой йогонолукского дома или появлялась блистательной наездницей на ухабистых проселках, ей, как чужой, даже поклонялись, и всем чужим в ней восхищались, как чем-то недостижимо высоким. Но новая жизнь на Дамладжке, все связанные с нею события и то, что Багратян стал командующим, резко изменило дело. Ханум Жюльетта была теперь уже не попавшая в среду армян француженка, она была не на жизнь, а на смерть связана с народом, а потому и ответственна перед ним. И сколько бы Габриэл Багратян ни подчеркивал особое положение и особые права жены, народ с каждым днем все меньше соглашался с ним. При монархии королева, супруга короля, всегда чужая, но как раз поэтому с нее особенно строго взыскивают. Жюльетта согрешила не только перед супругом, но и перед народом. И не с армянином, а с единственным, кроме нее, иностранцем, оказавшимся здесь. Как ни странно это звучит, выбор любовника не только не оправдывал ее, а напротив, доказывал оскорбительную обособленность и высокомерие француженки.

Спустя два дня после самого кровавого из трех сражений, повергшего в траур более ста семей, на Алтарной площади толпились оскорбленные защитники нравственности, как будто для племени их не существовало более важной заботы, чем бесчестие семьи Багратянов. И то собрались не самые

старые женщины, и не самые молодые – тон задавали, так сказать, матроны между тридцати пятью и пятидесяти пятью годами, которые на Востоке всегда кажутся старше своих лет, тешат себя чужими радостями и любят смаковать поклепы. Девушки и молодые женщины помалкивали, задумчиво слушая брань достойнейших. До чего бледны были эти молодые женщины! Им на Дамладжке приходилось тяжелее всех. В своих платках и шапочках они выглядели осунувшимися, малокровными. В молодости армянки даже простого происхождения отличаются хрупким телосложением. Здесь же страх, горе, лишения и страдания сделали их хилыми и немощными. Слушая злословие матрон, они подчас серьезно кивали, а то и вставляли словечко в эти дурно пахнущие пересуды. На самом-то деле они вряд ли искренно возмущались нарушением супружеской верности, слишком хорошо они знали, что как всех армянских женщин, их ждет впереди не просто смерть, а смерть и поругание. Разве что одной из них улыбнется великое счастье и какой-нибудь богатый турок купит ее у запятия для своего гарема, а там старые жены замучают и отправят на тот свет.

Направляла гнев народа мухтарша Кебусян. Пробил ее великий час: теперь она оплатит владелице йогонолуцкого замка – хотя Жюльетта всегда и относилась к ней доброжелательно – за все унижения во время приемов в доме Багратянов. И более того, теперь мухтарша вновь станет первой дамой... У нее хватало сметки не только возмущаться нарушением супружеской верности, но и играть на других струнах, подыгрывать зависти. Вот она какова, правда об этой хамум! Этой француженке, знатной госпоже! На глазах у голодающих ведет роскошную жизнь! Ей ли, мухтарше, не знать, какая уйма добра в шейхских шатрах, ее ведь каждый день туда приглашали. Чего только в шкафах, чемоданах и ящиках этой развратницы она не видела своими глазами. Диву даешься! Таких богатств никто себе и представить не может. И тебе рис, и кофе, и изюм, и консервы мясные, рыба копченая и в масле, а сластей сколько! Конфеты, шоколад, цукаты, сдоба и сладкие хлебцы, сухарики и всякое печенье! Молоко от двух коров целиком идет на масло и сметану для мадам, а мы, нищий люд, мы бурду эту синюю пьем. Видели бы вы, какую ей управляющий Кристофор и повар Ованес кухню соорудили! Плита – что у султана! Не достает только кастрюль да сковородок из чистого золота и серебра.

– Муж мой, – говорила мухтарша, – не кто-нибудь, и сама я в детстве не овец пасла, а в школу ходила. И кухню свою мне не стыдно любой хозяйке показать. И хотя мы, Кебусяны, люди богатые, ни в чем не нуждаемся, однако не строим себе отдельную кухню. Берем, что бог пошлет на раздаче мяса, и это когда больше половины стада – собственность моего мужа. А благородные-то господа в Трех шатрах – всего-то у них вдоволь, а вместе со своими слугами и прихлебателями крадут народное добро: каждый день по их приказу отбирают для них лучшие куски мяса.

Не скроем, эта кухонная тема нашла отклик и у мужчин, – на голодное-то брюхо! Впрочем, возмущение вызывала не столько Жюльетта, сколько Гонзаго

Марис, никому не известный чужестранец, вкравшийся в доверие. Еще немного – и кто-нибудь из молодых парней прикончил бы Гонзаго. Более разумные отговорили чересчур ретивых. Но попадись им под руку Гонзаго, ему бы недобровать.

Когда на Алтарной площади показался Тер-Айказун, ему навстречу вышла Кебусянша.

– Вардапет! Ты этого так не оставляй! Наказать надо...

Он, резко отстранив ее, сказал:

– Занимайся своими делами!

Однако она еще наглее заступила ему дорогу.

– Я-то о своих делах думаю, вардапет. У меня две дочери незамужние, две невесты. Ты ведь сам знаешь – глаза у мужиков жадные, как у диких собак, а сердца баб еще злее. В шалашах спят все вповалку. А как тут матери честь детей соблюсти, когда такой пример подают?

Тер-Айказун легонько оттолкнул ее.

– Некогда мне твой вздор слушать. Прочь с дороги!

Мухтарша – женщина маленькая, невзрачная, с юркими мышинными глазками – выпрямилась, словно расцвела на Жюльеттином грехопадении:

– А грех, святой отец? Христос-Спаситель уберег нас от смерти. Он с нами сражался, на нашей стороне. И святая богородица была с нами. А теперь мы им обиду нанесли, грех совершили смертный. Не покаемся мы – как бы они нас туркам на расправу не отдали!

Уверенная, что пошла с крупного козыря, мухтарша победоносно оглянулась. Муж ее, Товмас Кебусян, стал за спиной Тер-Айказуна и, кося глазами, смотрел на всех и ни на кого. По-видимому, он не имел ни малейшего желания быть втянутым в свару. А Тер-Айказун, обращаясь не к мухтарше, а к толпе, теснившейся вокруг, сказал:

– Это верно. Спаситель наш, Иисус Христос, до этого часа хранил и оберегал нас. И знаете чем? Тем, что чудо совершил – послал нам Габриэла Багратяна, опытного офицера, который побывал на войне и понимает ее. Не пришли его Спаситель ко благовремению, нас давно уже не было бы на свете. Уму Багратяна, его отваге обязаны мы жизнью. Вот об этом и помните, об этом и ни о чем больше.

Речь Тер-Айказуна убедила здравомыслящих слушателей, которых и так уже немало злила похотливая ненависть перерзевших баб. Кебусянша, видя, как тают ряды ее сторонников, озиралась по сторонам, ища поддержки, и очень скоро обнаружила, что за спиной священника стоит ее супруг, лишь полчаса назад разделявший ее возмущение и даже поддерживавший ее.

– Вот мухтар, – высокопарно заявила она, – послушайте, что он скажет! Двенадцать лет он за вас мучается. Слушайте, что он говорит!

Но мухтар на столь демагогическое обращение не отозвался, тут же ретировался и не пришел на выручку, своей посрамленной супруге. Видно было, как его покачивающаяся лысина скрылась вслед за Тер-Айказуном в шалаше. Со всех сторон раздались мужские голоса:

– Вы, бабы, лучше бы собой занялись! Делать вам нечего! Работать надо!

В шалаше Тер-Айказуна собралось несколько членов Совета – узкий круг. Речь шла об особом, крайне щекотливом для обсуждения предмете. Поэтому невысказанное чувство такта заставило их собраться здесь, а не в правительственном бараке. Рассматривать дело надо было в рамках морали, а в этой области Тер-Айказун был полновластным диктатором, ему и поручили формулировать все решения. Он назначил двух посредников для переговоров: аптекаря Григора и доктора Петроса Алтуни. Первого направили к Гонзаго Марису – Григор же сам приютил его в своем доме и, так сказать, ввел в йогонолукское общество. А врача, как самого давнего друга дома Багратянов, послали к Габриэлу.

Что касалось больного аптекаря, то участие в застолье оказало столь живительное воздействие, что превзошло все имевшиеся у аптекаря лекарства. Два дня как он встал с постели и уже передвигался с помощью палки, хотя и медленно и очень маленькими шажками. Тер-Айказун велел привести его из закутка и в нескольких словах объяснил задачу: навестить своего бывшего постояльца. Два адъютанта из Юношеской когорты будут его сопровождать, помогут найти Мариса. Григор должен сказать греку, что его жизни грозит опасность и что ему без промедления следует ретироваться из лагеря и окрестностей.

Григор долго и упорно отказывался от поручения: он по профессии аптекарь, а не вышибала, которому поручают выставлять нежелательного гостя. Но на все его возражения Тер-Айказун давал один и тот же ответ:

– Ты его привел к нам, ты и выпроваживай!

И аптекарю после длительного сопротивления все же пришлось, несмотря на больные суставы, отправиться в столь неприятный поход.

И покуда он, опираясь на палку, медленно и неуверенно брел по тропинке, он разговаривал сам с собой, репетируя, как бы поделикатней и побыстрее решить предстоящую задачу.

Доктору Петросу досталось более легкое задание: он должен осторожно сообщить Багратяну о всеобщем возмущении и изложить просьбу ханум Жюльетте, чтобы она не выходила из своей палатки.

Пока присутствующие молча внимали переговорам Тер-Айказуна с Григором и доктором, пресловутый Молчун заявил о себе, произнеся громовую речь. До сих пор Грант Восканян считался попросту забавным, и злобно-тщеславное юродство карлика терпели, зная его как добросовестного преподавателя. Но сейчас он сбросил с себя шутовской колпак и предстал как бешеный фанатик. Все изумленно уставились на него: от слов его веяло дикой силой. Восканян призывал к сатанинской мести, к расправе над Гонзаго Марисом. Прежде всего, у этого проходимца нужно отнять американский паспорт! Затем раздеть донага, связать руки и ноги и велеть самым отчаянным бойцам отнести его ночью в долину, дабы турки сочли его армянином и резали живого на части.

На лицах присутствующих выразилось немалое удивление и

неудовольствие. Но от Восканяна не так легко было отделаться. Он вполне серьезно доказывал необходимость предложенного им наказания. Тер-Айказун слушал эту бесконечную речь не только полузакрыв, как обычно, но и вовсе закрыв глаза. Его руки зябко прятались поглубже в рукава – неизменный признак досады.

– Ты кончил, учитель?

– Я кончу лишь тогда, когда вы убедитесь в моей правоте, как убежден в ней я сам!

Тер-Айказун тряхнул головой, будто отмахиваясь от назойливого гудения шершня:

– Полагаю, что об этом нам говорить больше нечего.

Восканян вскипел:

– Итак, Совет намерен отпустить мерзавца с благословением? Ведь он завтра же предаст нас туркам.

С мученическим видом Тер-Айказун смотрел на крышу шалаша листья которой шуршали, колеблемые ветром.

– Даже если вздумает сейчас предать нас, что он им откроет?

– Как что? Все! Расположение Города. Пастбища. Позиции! Как у нас обстоит с продовольствием! Что здесь эпидемия...

Усталым движением руки Тер-Айказун оборвал этот перечень.

– За такие новости турки никого благодарить не станут. Неужели ты думаешь, они такие дураки и ничего не знают? Да их разведчики обшарили тут все закоулки... К тому же этот молодой человек не предатель.

Слова вардапета нашли общую поддержку.

Но Восканян, размахивая руками, будто пытаясь ухватить ускользающую жертву, каркал по-вороньи:

– Я выдвинул предложение и требую, чтобы его, как положено, поставили на голосование.

– Предложение может выдумать любой горлопан и дурак. Но я один решаю, ставить его на голосование или нет. Неуместные предложения я и не подумаю ставить на голосование. Запомни это, учитель! Кстати, здесь нет никого, кто бы не считал твое предложение бесчестным и безумным. Кто не согласен с этим, пусть поднимет руку!

Никто и не пошевелился. Кивнув, вардапет заключил:

– С этим раз и навсегда покончено. Ты понял меня?

Несмотря на свой позорный провал, Черный учитель выпрямился во весь свой невеликий рост и, указав на площадь, воскликнул:

– Народ не разделяет ваше мнение!

Если и до этого все поведение Восканяна вызывало отвращение и неприязнь Тер-Айказуна, то этот демагогический выпад вывел его из себя: глаза вспыхнули, однако он быстро справился с собой.

– Долг Совета направлять чувства народа, а не подчиняться им.

С миной отрекающейся Кассандры\* Грант Восканян рывкнул:

– Вы еще вспомните мои слова...

---

\* Кассандра – в греческой мифологии дочь Приама и Гекубы. Домогавшийся ее любви Аполлон наделил Кассандру даром провидения, но Кассандра отказалась ответить ему взаимностью, и Аполлон в отместку ей сделал так, что ее слова перестали приниматься всерьез и предсказаниям ее никто не стал верить. Трагический образ Кассандры, вещающей в пророческом экстазе страшные видения будущего, нередко использовался в произведениях греческих трагиков и в более поздней литературе.

---

Тер-Айказун уже вновь сидел, опустив веки. Голос его был удивительно спокоен.

– Мой совет тебе, учитель Восканян – предостерегай не нас, а самого себя!

Членам Совета пришлось бесконечно долго ждать возвращения посредников. Первым явился больной аптекарь. Он до того устал, что со стоном повалился на диван Тер-Айказуна. И только когда вардапет дал ему глотнуть водки, приступил к докладу.

Оказывается, Гонзаго Марис и без официального приказа сам решил в ту же ночь покинуть армянскую гору. Он ждет только условленного с возлюбленной часа, чтобы дать ей возможность спастись. Аптекарь не удержался от похвал своему постояльцу, так как Гонзаго подарил ему все имевшиеся у него печатные издания. Сверх того, поклялся, что всюду, где бы он ни был, сделает все, чтобы помочь изгнанникам на Муса-даге. Клятву грешника Тер-Айказун тут же отмел небрежным жестом.

Уже вечерело, когда в шалаш священника вошел Петрос Алтуни. Он тоже без сил повалился на диван и со стоном начал растирать свои кривые и уже совсем отказывающиеся служить ноги. Старик не произносил ни слова, глядя перед собою невидящим взглядом. Тер-Айказуну лишь с трудом удалось его разговорить. Правда, сначала понять что-либо было нелегко. Доктор сквозь зубы сипло повторял:

– Бедная женщина...

Слова эти немало удивили мухтара Кебусяна. Плешивый муж, памятуя выступление своей ретивой половины, прямо-таки опешил:

– Как так? С чего это она, такая богачка, и вдруг «бедная женщина»?

Доктор Петрос смерил мухтара каннибальским взглядом:

– Почему? Потому, что у нее уже не менее трех дней сильнейший жар! Потому что она, вероятно, умрет! Потому что она лежит без сознания. Потому что никто ей помочь не может. Потому что она заразилась в лазарете, потому что мне жаль ее!.. Потому что не она, а эта болезнь, черт бы меня побрал, всему



виной... Да потому...

Он задохнулся и умолк. В состоянии ли он, неученый лекарь, всего лишь пять лет прикасавшийся к науке, объяснить симптомы болезни этим мужикам, ежели он сам ничего не понимает! Он тяжело вздохнул. Ведь вокруг одни лишь Нуники, Манушаки и Вартуки! Да и сам он со своей загубленной жизнью и устарелым медицинским справочником ничуть не лучше их.

Последнюю часть пути Габриэл почти нес жену. В палатке она упала без сознания на кровать, глаза закатились. Он пытался привести ее в чувство. Собрал все, что нашел на туалетном столике, все сбереженные остатки спиртных притираний, и плеснул ей на лоб и губы. Он тер ей лицо, он тряс ее – все напрасно! Счастливица душа укрылась в самых дальних глубинах самозабвения. Уже многие дни жар бушевал в ее крови. А сейчас лихорадка разрослась, точно тропическое растение. Кожа у Жюльетты была красной и шершавой. словно выжженная земля, она жадно впитывала каждую каплю жидкости. Дыхание делалось все учащенней, прерывистой. Казалось, жизнь ее стремительно и бесповоротно близилась к концу.

Так и не приведя ее в сознание, Габриэл нагнулся над женой и стал снимать с нее одежду, надеясь, что так ей станет легче. Раздевал он ее по-мужски неловко, порвал платье, белье. Потом сел у изножья и положил ноги жены себе на колени. Они были такие тяжелые и распухшие, что он с трудом стянул с них туфли и чулки. При этом он ни на секунду не удивился, что не чувствует ничего такого, что в этом положении мог бы ощущать. Не приходило ему на ум и то, что это больное тело всего час назад отдавалось другому мужчине; не было и леденящего сознания, что навсегда разорваны узы, соединявшие их на всю жизнь. В глубине его затуманенного «я» жила только скорбь, скорбь о Жюльетте. И это не удивило Габриэла. Ему даже казалось, что он сам способствовал такому концу. Как это и неправдоподобно, но только измена Жюльетты, постигшая ее катастрофа, снова сблизили его с этой давно уже ставшей чужой женщиной. Только теперь, когда это бедное тело предало его, отдавшись враждебной чувственности, он с грустью вспомнил прошлое. Боязливо и жалостливо его неловкие пальцы расстегивали и снимали одежду, столь упорно сопротивлявшуюся. Оцепенев, смотрел он на большое белое тело и сотни чувств и мыслей вспыхивали в нем и, едва родившись, угасали. Что же такое произошло?

В углу палатки он заметил ведро с водой, оно там всегда стояло. Он смочил полотенца, чтобы обложить ими больную. Это было не так-то просто. Тело Жюльетты словно закаменело, он еле приподнял его. Он хотел было позвать кого-нибудь из горничных Жюльетты, однако смятенное состояние их хозяйки в последнее время и отмена жалованья заставили их приходить все реже и реже. Габриэл убоился стыда и отогнал эту мысль. Только быть одному.

Вошел старый доктор. Габриэл с отсутствующим взглядом, растерянный, стоял, наклонившись над Жюльеттой; она так и не пришла в себя. Доктор Петрос на секунду даже подумал – не мнимый ли это обморок, бегство грешницы в болезнь! Но более внимательный взгляд открыл истину: то была

типичная картина эпидемического заболевания – резко подскочившая температура, затем обморочное состояние, наступавшее после длительного недомогания, зачастую не замечаемого. Доктор приподнял Жюльетту, ей стало трудно дышать и ее затошнило. Да, все ясно. Когда доктор осмотрел кожу под грудью и на талии, он не обнаружил ничего, кроме трех-четырёх маленьких точек. Он хотел было просить Габриэла немедленно покинуть палатку и больше сюда не приходить. Но когда увидел запавшие, невидящие глаза Габриэла, промолчал. Не изложил и поручения Совета, умолчал и о негодновании жителей Города. Он попросил только достать домашнюю аптечку, которую Жюльетта составила перед поездкой на Восток. Однако в довольно большой коробке он обнаружил только следы бывшего изобилия. Жюльетта расточала свои запасы на нужды лазарета. Но сердечные капли нашлись, и Алтуни сунул пузырек в руку совсем сникшего Габриэла, сказав, что давать их надо, если резко ослабнет пульс. А завтра жена его распределит дежурство по уходу за больной. Пусть Габриэл не придает особого значения тому, что Жюльетта без сознания, что оно замутнено. Это следствие резко подскочившей температуры, и при данных обстоятельствах это можно счесть за благо. Сейчас шансы жизни и смерти равны. Петрос Алтуни знал, что это состояние продлится несколько дней. Наибольшая опасность наступает после преодоления инфекции, когда температура резко падает и порой вместе с ней резко слабеет и сердечная деятельность.

Доктор Петрос наполнил стакан воды, нашел ложку и опытной рукой влил в рот несколько капель метавшейся в жару Жюльетте. Этот почти незаметный, ловкий жест медика свидетельствовал, что Алтуни несправедлив к себе в своем самоуничижении – он совсем не был похож на робеющего лекаря недоучку.

– Давайте ей все время пить, – сказал он Габриэлу, – даже если она не придет в себя.

Супруг Жюльетты только молча кивнул. Врач оглянулся, будто искал что-то.

– Надо, чтобы при ней кто-нибудь неотлучно находился, – сказал он.

Смеркалось. Алтуни зажег керосиновую лампу. Взял руку Габриэла в свою.

– А что если турки нападут на нас сегодня ночью?

Габриэл попытался улыбнуться:

– Мы гору подожгли. Сегодня ночью турки не нападут.

– Вот как! – молвил доктор Петрос, и в его надтреснутом голосе прозвучало разочарование. – А жаль!

И он ушел, согбенный годами и непосильным трудом, так и не сказав ни слова сочувствия человеку, которому помог явиться на свет. И добрые, и злые, – все слова стали для него давно уже пустым звуком, тщетой.

Габриэл решил немного проводить старика и кстати подышать свежим воздухом. Но у выхода из палатки отпрянул. Напади сейчас турки на Дамладжк, Габриэл едва ли посмел бы выйти из темноты.

Он прилег на диван напротив кровати Жюльетты. И сразу же ему

показалось, что до этой минуты он никогда в жизни не знал усталости. Воспоминания о трех коварных сражениях, бессонных ночах, бесконечных переходах от одной позиции к другой, от одного наблюдательного пункта к другому, обо всех чудовищных днях Муса-дага и каждом из них в отдельности, ежесекундно становясь все тяжелее, пристали к нему, точно призрачный гном, неотвязная нежить с плоским земляным лицом. Есть такая усталость, которая сама так безмерно устала, что ей и невмочь познать всю горечь своей судьбы. Какой-то гнетущий, недобрый сон приоткрыл перед ним свое логово. Габриэл заметил присутствие Искуи, когда еще был погружен в самую глубь этого логова. Он выбрался оттуда с великим трудом.

– Тебе нельзя здесь быть, Искуи! – сказал он, вскочив с дивана. – Ни минуты! Мы теперь не должны видеться...

Глаза ее расширились, гневно сверкнули.

– Ты будешь болеть, а мне не позволяешь?

– Подумай об Овсанне и ее ребенке!

Она подошла к кровати и прижала ладони к обнаженным плечам Жюльетты. Не отнимая рук, обернулась к Габриэлу.

– Вот. Теперь мне нельзя заходить к ним в палатку. Нельзя прикасаться к Овсанне и ребенку.

Он попытался отстранить ее от Жюльетты.

– Что скажет пастор Арам? Нет, этого я не могу взять на себя. Уходи, Искуи! Ради брата своего, уходи!

Она склонилась совсем близко к лицу Жюльетты, которая становилась все беспокойнее.

– Зачем ты меня гонишь? Если этому суждено случиться, то теперь уже случилось. Брат? Все это теперь для меня совсем неважно...

Он тихо и нерешительно встал за ее спиной.

– Не надо было тебе этого делать, Искуи.

По лицу ее промелькнула почти яростная усмешка.

– Я? Что такое я? Ты – наш командующий. Если ты заболеешь – все пропало.

Своим платком она вытерла губы больной.

– Когда мы пришли из Зейтуна, Жюльетта была так добра, так ласкова со мной. Я обязана исполнить свой долг. Неужели ты не понимаешь?

Он припал губами к ее волосам. А она, обернувшись, изо всех сил обняла его.

– Скоро всему конец. Я хочу быть твоей. Хочу, чтобы ты был мой!

То был первый открытый порыв любви Искуи. Они держали друг друга в объятиях, как будто рядом лежало бесчувственное, мертвое тело. Но Жюльетта не была мертва. Дыхание ее сделалось хриплым. Иногда из ее опухшей гортани вырывался жалобный стон. Точно кто-то, кого она искала, все время ускользал от нее.

Искуи разжала объятия, руки ее, казалось, плакали, отпуская Габриэла. Потом Искуи и Габриэл говорили только отрывочными односложными

словами, остерегаясь лежавшей в беспмятстве Жюльетты.

Ночью Жюльетта ненадолго очнулась. Говорила что-то несвязное, попыталась приподняться. Как долго она шла! А дошла только до своего жилья на Авеню-Клебер, а не до Дамладжка.

– Сюзанна... что случилось? Я больна?.. Я не могу встать... Помогите же мне...

Она требовала. Габриэл и Искуи подошли к ней. А она все еще находилась в своей парижской спальне. Ее тряс озноб, она лепетала:

– Вот так... может быть, я засну... это моя ангина, Сюзанна... Будем надеяться, ничего страшного... Когда муж вернется, разбудите...

Упоминание о муже, жившем в ее представлении вполне спокойной, безопасной жизнью, подействовало на реального, сегодняшнего Багратяна как чудовищная встряска. Он снова смочил холодной водой полотенце, положил компресс на лоб Жюльетты, заботливо укрыл ее и прошептал:

– Спи, Жюльетта!

Она что-то пробормотала в ответ, звучало это как благодарность усталого ребенка, послушно обещающего уснуть.

Габриэл и Искуи молча сидели на диване, прижавшись друг к другу и держась за руки. Но он не спускал глаз с больной. Как причудливо все переплетается в жизни! Обманутый муж заботится об обманщице жене, обманывая ее с другой!..

Теперь, кажется, Жюльетта крепко спала.

Условный час настал. Гонзаго Марис решил больше не ждать. Хватит! И все же не так-то легко было расстаться с этими, такими примечательными днями своей жизни. Да, его совершенно явно удерживала страсть – с изумлением обнаружил он. Что ж, неужели любовь к Жюльетте оказалась сильнее, чем он предполагал? А вдруг это другое чувство – чувство вины? Именно оно и омрачает ему свободу! В последние дни Жюльетта вела себя как-то дико и непонятно и своими муками вновь и вновь пробуждала в нем жалость и желание оберегать. И потом – этот конец! Вспоминая это безобразное мгновение, он скрежетал зубами. Его обычно невозмутимое лицо исказилось. Неужели ему, как какому-то ветреному негодяю, смириться с таким отвратительным концом? Сколько раз он покидал свое убежище и доходил до Трех шатров, чтобы поговорить с Багратяном, решительно бороться за Жюльетту. И всякий раз возвращался, и не то что трусил, а его удерживало какое-то неодолимое чувство скованности. «Я здесь теперь чужой, мне здесь не место». Да, именно с того мгновения между Гонзаго и всем Дамладжком встала невидимая, но мощная стена препятствий. Гонзаго уже не мог дышать одним воздухом с этими людьми. А Жюльетта жила за этой стеной. Судьба армян была сильнее ее. Да еще это столь изящно сформулированное предупреждение аптекаря Григора. Ни единым словом тот не коснулся тягостной темы, а говорил только об американском паспорте Гонзаго, и высказал мнение, что все когда-нибудь да кончится, и что одно из прекрасных преимуществ молодости – это легкость расставания. А жизнь делается лишь тогда мрачной, когда

предстоит уже только одно, последнее расставание. Марис воспринял практическую философию старика с должным уважением и вниманием и все же почувствовал, что ему в изящной упаковке преподнесли предупреждение: каждый час на Муса-даге грозит немалыми опасностями. И это сознание подстерегающей опасности с каждой минутой делалось сильнее.

Ущербная луна стояла высоко над прямым, как стрела, пробором Гонзаго Мариса. Он ждал уже больше часа сверх установленного срока. Жюльетту он потерял. Сделав несколько шагов в сторону лагеря, Гонзаго решительно повернул обратно: «Может, оно и к лучшему». Медленно, нарочито старательно он натянул перчатки. Внимательный наблюдатель, возможно, воспринял бы сей элегантный жест здесь, среди диких гор, в этой азиатской глуши, как нечто гротескное. Но Гонзаго надел перчатки, только чтобы не оцарапать руки при спуске. Затем он привязал плоский чемодан к спине. И, как это давно уже вошло в привычку при выходе из дома, достал карманный гребешок и причесался. Сознание того, что ничего не забыто, ни одного кусочка своего «я» он здесь не оставил, короче, яркое, светлое, благотворное чувство, которое лучше всего выражается в словах *all right*, наполнило его, несмотря ни на что.

Медленной, небрежной походкой он шагал между кустами рододендрона, миртов и диких магнолий навстречу месяцу, словно перед ним простирались не дикие заросли, а отлично расчищенный променад. Ему вспомнились собственные слова, сказанные Жюльетте: «У меня великолепная память, потому что я не коплю воспоминаний». И впрямь, с каждым шагом на юг воспоминания его меркли, а на сердце делалось вольней.

Он шагал уже быстрее, с любопытством глядя в будущее, которое было обеспечено как его паспортом, так и происхождением. Будто снежные заструги, перечерченные непонятными черными тенями, сверкали меловые скалы морского склона горы. Внизу глухо рычал прибой. Вдруг тропа круто пошла вниз. Прежде, чем ступить, Гонзаго, покачивая носком ботинка, пробовал впереди себя почву. Игра мускулов доставила ему немалое удовольствие. До чего непонятливы люди! И убийства, и боль – все оттого, что они не дают возобладать в себе бесстрастному свету, а властвует в них глупая и неупорядоченная тьма! Как легко одолеть, например, этот черно-белый мир! Ты – ничто в великом Ничто!

Размышления эти породили недолгое чувство симпатии к Грикору Йогонолуksкому, которого никто, нигде, никогда не цитировал и не будет цитировать.

Гонзаго надо было перейти гладкий, голый выступ, перепрыгнуть через две расселины... Вон и клювоподобный камень, а за ним сразу спуск...

На минуту Гонзаго остановился передохнуть. Неизмерима была глубина, разверзшаяся перед ним!

– Дойду ли я до Суэдии – все равно, сорвусь ли – все равно!.. – Снова мелькнуло в голове: – Сначала падать жестко, под конец – мягко...

Как далеко позади осталась Жюльетта!

Только Гонзаго скрылся в зарослях кустов, как один за другим хлестнули четкие выстрелы. Пули просвистели довольно близко. Он бросился наземь. Снял револьвер с предохранителя. Сердце громко стучало. Таково, значит, предупреждение! И не все равно, оказывается, дойдет он до Суэдии или не дойдет. Неподалеку мимо прошумели неровные шаги мстителей. Гонзаго вскочил, подобрал камень и с силой швырнул вниз. Камень где-то далеко ударился о другой и поскакал, увлекая за собой целую осыпь. Преследователи приняли это за убегающую жертву. Вслед каменному обвалу прогремели выстрелы. А Гонзаго бежал без оглядки и несколько минут спустя уже достиг того места, где гора спускалась к деревне Хабаста. Громко дыша, он остановился. Да, так-то лучше! Армянские пули уничтожили в нем последние остатки чувства вины. Гонзаго стоял и улыбался. Глаза его под сросшимися под тупым углом бровями пристально и жадно смотрели вперед.

В эти минуты Жюльетта то приходила в себя, то вновь впадала в беспамятство. Кто-то ведь только что сказал: «Спи, спи, Жюльетта!» Чей же это был голос? Вот опять! Звучал ли прежде этот голос или она только сейчас услышала его?

– Спи, спи, Жюльетта!

Она открыла глаза... Это же не ее спальня?

Миновало еще несколько десятков секунд, и она узнала и палатку, и Габриэла, и Искуи... Она еле ворочала языком. Небо, гортань омертвели. Зачем здесь эти люди? Зачем они нарушают ее уединение? Зачем не дают ей покоя?

Она отвернулась, голова – тяжелая глыба.

– Зачем эта лампа?... Погасите... Керосином пахнет... неприятно...

Глаза Жюльетты застыли. Они искали что-то, чего нельзя было найти. И вдруг она осознала нечто ужасное. И сразу словно вновь обрела силы, стала вполне здоровой. Она порывисто скинула одеяло, высвободила ноги и крикнула:

– Стефан!.. Где Стефан?.. Пусть придет Стефан...

Габриэл и Искуи заставили отчаянно сопротивляющуюся Жюльетту вновь лечь. Успокаивая, Габриэл гладил ее и тихо приговаривал:

– Ты больна, Жюльетта... Стефану нельзя к тебе. Это опасно... будь благоразумна...

Вся жизнь, все чувства, весь ум ее слились в одном крике:

– Стефан!.. Стефан... Где Стефан?..

Необъяснимый страх, вырвавшийся вместе с пронзительным криком больной, вдруг передался и Габриэлу. Он рванул полог и бросился в светлую ночь, к шейхскому шатру. Там кровать Стефана!

Никого. Багратян зажег свечу. Мертвой стояла кровать Гонзаго. Грек оставил ее аккуратно застланной. И такая она была гладкая, так тщательно заправлена, как будто ею уже многие недели не пользовались. Иначе выглядела постель Стефана: здесь царила дикая, заброшенная жизнь. Свешивалась простыня. На матрасе стоял открытый чемодан, из него вываливались рубашки, чулки – все спутано. Ящик с продуктами, стоявший обычно в углу, оказался

взломан и опустошен, – на земле поблескивали жестянки с сардинами. Габриэл отметил исчезновение рюкзака, который он купил Стефану давно, в Швейцарии. Не было и термоса, который он поставил вчера на столик. Габриэл самым тщательным образом осматривал все, стараясь обнаружить какие-нибудь следы. Затем, медленно шагая, вернулся в ночь. Остановился, чуть наклонив голову, и задумался. Ему все хотелось найти объяснение. Должно быть, опять эти проклятые мальчишки что-нибудь затеяли! Однако все, что было в этом объяснении обнадеживающего, – все улетучилось тут же: он знал, что это не так. И как всегда в решающий час к нему вернулись хладнокровие и самообладание.

В шалаше из слуг застал он только Кристофора. Крикнул:

– Кристофор! Вставай! Надо разбудить Авакяна. Может быть, он знает. Стефан исчез.

Слова эти он произнес без видимого волнения. Управляющий, встревоженный известием, изумился спокойствию Багратяна. И это после всего, что произошло!

Они шагали по дороге к Северному Седлу, надеясь найти там Авакяна. На мгновение Габриэл нерешительно оглянулся на палатку Жюльетты. Там все было тихо. Он зашагал быстрее. Кристофор едва поспевал за ним.

## КНИГА ТРЕТЬЯ

Гибель. Спасение. Гибель.

Побеждающему дам вкушать сокровенную манну,  
и дам ему белый камень и на камне написанное  
новое имя, которого никто не знает, кроме того, кто  
получает

## ОТКРОВЕНИЕ СВЯТОГО

### ИОАННА БОГОСЛОВА\* 2, 17

---

\* Иоанн Богослов – согласно христианским легендам – один из апостолов, ученик Иисуса Христа. По одним версиям, убит в 60-х годах I века, по другим – дожил до рубежа I-II вв. Церковь приписывает ему ряд сочинений Нового Завета – 4-е евангелие, три послания и Апокалипсис.

---

## Глава первая

### БОЖЕСТВЕННАЯ ИНТЕРМЕДИЯ

– Здесь, уважаемый господин доктор Лепсиус, вы видите только малую часть имеющихся у нас документов по армянскому вопросу...

Обходительнейший тайный советник кладет беломраморную, с голубыми прожилками руку на пыльный бумажный вал, который занял весь письменный стол и так велик, что породистое лошадиное лицо его превосходительства то и дело исчезает за ним. Высокое окно этого маленького, необычно пустого кабинета распахнуто настежь. Из сада министерства иностранных дел струится летнее марево.

Иоганнес Лепсиус сидит на отведенном посетителю месте в несколько напряженной позе, со шляпой на коленях. Не прошло и месяца после памятной беседы с Энвером-пашой, а в наружности пастора произошли пугающие перемены: волосы поредели, в бороде – проседь, нос заострился. Глаза не сияют, как прежде. Мечтательная их отрешенность исчезла. Они смотрят настороженно, с затаенным насмешливым недоверием. Неужто за эти немногие дни так угрожающе прогрессирует его болезнь крови? Или и он подвержен тяготеющему над армянами проклятию, ибо есть таинственная связь между ними и им, немцем? Или его изнурил безмерный труд, заверченный им в столь краткий срок? Новая организация помощи в борьбе против смерти и сатаны уже твердо стоит на ногах. Есть даже деньги, и к делу привлечены лучшие люди. Теперь предстоит разрешить сфинксову загадку государственной власти. Взгляд пастора за поблескивающими стеклами пенсне презрительно скользит по горе канцелярских папок.

Обходительный тайный советник поднимает брови, но не от того, что удивлен, а чтобы выбросить из глаза оправленный в золото монокль.

– Поверьте мне, дня не проходит без того, чтобы мы не послали из министерства напоминания об этом нашему посольству в Константинополе. И не проходит и часу, когда бы посол не ходатайствовал перед Талаатом и Энвером по поводу этого чудовищного дела. Сам господин канцлер, несмотря на свою чрезвычайную занятость, поддерживает нас с величайшей энергией. Вы ведь знаете его: муж, равный Марку Аврелию... Впрочем, я вынужден принести вам извинения, доктор Лепсиус, от имени господина Бетмана-Гольвега: он сегодня, к сожалению, не может вас принять...

Лепсиус откидывается на спинку кресла. Сильный прежде голое звучит сейчас устало и резко:



– И каких же успехов достигли наши дипломаты, господин тайный советник?

Рука чистейшего мрамора ворошит кипы бумаг на столе, извлекая какие-то документы.

– Видите! Вот у нас имеется господин фон Шойбнер-Рихтер в Эрзеруме! А вот у нас Гофман в Александретте и генеральный консул Рёслер в Алеппо. Эти люди шлюют и шлюют донесения без конца. Из кожи вон лезут ради армян. Богу известно, сколько сотен несчастных спас один только Рёслер! А как его отблагодарили за проявленную человечность? Английская печать изображает его кровопийцей, он якобы подстрекал в Мараше турок к резне. Что прикажете делать?

Лепсиус пытается заглянуть в глаза Обходительнейшего, который то выныривает из-за своего бумажного укрытия, то снова за ним исчезает, как своенравная луна меж туч.

– Я бы знал, что делать, господин тайный(советник... Рёслер и другие упомянутые вами господа – воистину люди чести, я знаю их. Рёслер вообще на редкость славный малый. Но что может поделать такой достойный сожаления маленький консул, если он не получает необходимой поддержки?

– Ну знаете, господин пастор!.. Как это никакой поддержки? Однако же это более чем несправедливо.

Лепсиус нервно отмахивается: жест этот означает, что речь идет о слишком серьезных вещах, а времени в обрез и его нельзя растрчивать на учтивое суесловие.

– Я очень хорошо знаю, господин тайный советник, что делается все возможное в этом направлении. Мне прекрасно известны ежедневные ходатайства и демарши посольства. Но ведь мы обращаемся не к государственным деятелям, привыкшим уважать правила дипломатической игры, а к таким людям, как Энвер и Талаат. Для этих людей мало всего возможного и недостаточно всего невысказанного. Уничтожение армян – вот на чем зиждется их национальная политика. Я имел возможность убедиться в этом во время длинной беседы с Энвером-пашой. Целый поток немецких демаршей в лучшем случае воспринимается этими людьми как обременительная необходимость проявить свою обычную лицемерную учтивость.

Тайный советник скрестил руки на груди. Его длинное лицо принимает выжидательное выражение.

– А знаете ли вы, господин доктор Лепсиус, другой способ вмешательства во внутренние дела дружественной и союзной державы?

Иоганнес Лепсиус впери́л взор в дно своей шляпы, словно заглядывая в припрятанный там памятный листок с заметками. Но, видит бог, такая предусмотрительность была бы излишней. Тысячи вариантов подобных заметок день и ночь носятся в его бедной голове, он почти совсем не спит. Сейчас он просто собирается с мыслями, чтобы высказаться коротко и убедительно.

– Прежде всего мы должны уяснить себе, что происходит и уже произошло

в Турции, а именно: преследование христиан в таких масштабах, какие и отдаленно не напоминают знаменитые гонения на христиан при Нероне и Диоклетиане. Кроме того, это величайшее доселе известное в мировой истории преступление, что уже само по себе немало значит, и в чем, полагаю, вы со мной согласитесь...

В светлых глазах чиновника промелькнуло легкое любопытство. Он молчит, пока Лепсиус шаг за шагом, с помощью тщательно взвешенных слов прокладывает себе дорогу. После нанесенного ему Энвером-пашой поражения он, бесспорно, научился многому такому, что небесполезно знать для общения с политиками.

– Мы не должны рассматривать армян как полудикий восточный народ. Это культурные, образованные люди с такой тонкой нервной организацией, какую – скажу прямо – у нас в Европе редко встретишь...

Ни один мускул не дрогнул на узком лице тайного советника, он ничем не выдал, что, быть может, считает эту оценку «народа торгашей» слишком высокой.

– Тут речь идет вовсе не о каком-то внутривосточном деле Турции, – продолжает Лепсиус. – Будь это даже истреблением маленького племени африканских пигмеев, это не может считаться внутренним делом истребителя и истребляемого. Тем менее вправе мы, немцы, искать выход в нейтралитете, ведь такая позиция есть либо форма сожаления, либо акт отчаяния. Наши противники за границей ответственность возлагают на нас.

Тайный советник вдруг резко отталкивает от себя кипы папок, словно ему не хватает воздуха:

– В том-то и заключается глубокий трагизм нашей стратегии в нынешней войне, что мы, как бы чиста ни была наша совесть, несем на себе бремя чужой вины за пролитую кровь...

– Все в этом мире прежде всего этический и уж много позже – политический вопрос.

Тайный советник одобрительно кивает:

– Превосходно, господин пастор, я тоже всегда придерживаюсь той точки зрения, что, вынося какое-нибудь политическое решение, следует раньше рассчитать его моральный эффект.

Лепсиус предвкушает успех. Пора переходить в наступление.

– Я пришел к вам не как маловлиятельное частное лицо, господин тайный советник. С моей стороны не будет дерзостью, если я скажу, что явился сюда от имени всех верующих христиан Германии – протестантов, да и католиков. Я действую и говорю в полном единении с такими выдающимися людьми, как Харнак, Дайсман, Дибелиус...

Тайный советник понимающим взглядом подтверждает, что это действительно имена людей с весом.

Но тут Лепсиус впадает в пафос; который уже не раз подводил его:

– Немецкий христианин не намерен больше оставаться безучастным свидетелем этого преступления против христианства. Его совесть не может

мириться с таким равнодушием, из-за которого он становится со-виновником содеянного зла. Надежды германского государства на победу оправданы и осуществимы, только если их разделяют немецкие христиане. Я лично испытываю чувство стыда и прямо-таки омерзения от того, что пресса наших противников печатает целые полосы с сообщениями о депортации, тогда как немецкие газеты кормят немецкий народ лживыми коммюнике Энвера, а кроме них он не знает ничего. Неужели мы не заслуживаем того, чтобы услышать правду о судьбе наших единоверцев? Пора положить конец этому недостойному положению.

Тайный советник, несколько удивленный прокурорски-обличительным тоном пастора, переплетя свои длинные пальцы, невинно замечает:

– А цензура? Цензура никогда бы этого не разрешила. Вы и представить себе не можете, господин Лепсиус, как все это сложно.

– Первейшее право немецкого народа – не позволять себя обманывать.

Тайный советник снисходительно улыбается.

– И какие последствия повлекла бы за собой такая газетная кампания? Тяжелое испытание для немецких нервов и для союза с Турцией.

– Союз этот не должен превращать нас в укрывателей преступления перед судом истории. Поэтому мы хотим, чтобы наше правительство немедленно что-нибудь предприняло. Требуйте же от Стамбула – и как можно энергичней – послать в Анатолию и Сирию нейтральную комиссию из американцев, швейцарцев, голландцев, скандинавов для расследования происшедших событий!

– Вы слишком хорошо знаете младотурецких властителей, господин пастор Лепсиус, чтобы не знать, какой ответ получили бы мы на это требование.

– Тогда Германия должна прибегнуть к более сильным мерам воздействия.

– Каким, по вашему мнению?

– К угрозе лишить турок всякой помощи и отозвать немецкие военные миссии, немецких офицеров и войска с фронтов.

Любезность этого холодно-благожелательного собеседника сменяется выражением участливой доброты.

– А мне правильно вас описывали, господин пастор Лепсиус, вы такой и есть, такой... наивный...

Он встает, прямой, стройный. Серый летний костюм сидит на нем не так нарочито безукоризненно, как на людях его круга. Но эта легкая и своеобразная небрежность располагает, внушает доверие. Он поворачивается к висящей на стене большой карте Европы и Малой Азии и прикрывает почти весь Восток рукой в голубых прожилках.

– Сегодня, господин Лепсиус, Дарданеллы, Кавказ, Палестина и Месопотамия гораздо больше немецкие чем турецкие фронты. Если они развалятся, то рухнет весь наш план ведения войны. Не можем же мы угрожать туркам собственным самоубийством, это ведь смеху подобно. Думается, мне незачем говорить вам об огромном значении, какое придает его величество

кайзер нашему влиянию на Востоке. Разве вам неизвестно, что турки вовсе не чувствуют себя нашими- должниками, а скорее уж, нашими кредиторами? Симпатизирующие Антанте течения и поныне чрезвычайно сильны в оттоманском правительстве. Могу вам сказать по секрету, что некая весьма мощная группировка в Комитете\*, очень не прочь переметнуться в лагерь противника, вступить с ним в мирные переговоры – и чем скорее, тем лучше. А тогда, может быть, вы стали бы свидетелем того, как эти же самые Франция и Англия, которые вопят на весь мир, сокрушаясь и негодуя по поводу армянской резни, завтра закроют на нее глаза. Вы добиваетесь истины, господин Лепсиус? Вот она: козыри в этой игре в руках турок, мы должны соблюдать величайшую осторожность и не преступать границ возможного.

---

\* Комитет единства и прогресса, – политический орган младотурецкой партии Иттихат.

---

Иоганнес Лепсиус спокойно слушает тайного советника. Он досконально знает эти истины, которые с несокрушимой логикой проповедуют дети суетного мира. Истины эти сковывают накрепко и плотно пригнаны одна к другой. Кто признает хоть одно звено этой цепи истин, тот пропал. Но пастор давно уже им не подвластен, не признает подобных истин. За последние недели душа его будто оmozолела, сделала его невосприимчивым к этим доводам. И Лепсиус не поддается. Стоит на своем.

– Я не политик. Не мне изыскивать средства и пути для того, чтобы спасти в последнюю минуту хоть часть армянского народа. Но мой долг, как представителя множества немецких христиан-единомышленников, – передать их настоятельную просьбу изыскать эти средства я пути для спасения армян, и главное – пока не поздно.

– Как бы мы ни старались, как бы ни мудрствовали, господин пастор, участь армян можно кое-где смягчить, изменить же ее, к сожалению, невозможно.

– С такой нехристианской точкой зрения мы – ни мои друзья, ни я примириться не можем.

– Да поймите же вы, что к этой участи причастны высшие исторические силы, на которые влиять мы не властны!

– Я понимаю только то, что Энвер и Талаат с сатанинской гениальностью воспользовались благоприятным случаем, чтобы сыграть роль «высших исторических сил».

Тайный советник учтиво улыбается, готовя реплику, из которой

обнаружится, что и у него есть религиозные воззрения:

– Разве Ницше не говорит: «падающего толкни»?

Нет уж, и Ницше не дано смутить божьего человека, пастора Лепсиуса. Несколько раздосадованный тем, что разговор мельчает, сводится к общим местам, он рубит с плеча:

– Кто же знает, быть ли ему падающим или толкающим?

Тайный советник – он сидит сейчас за письменным столом – снова окидывает взглядом настенную географическую карту.

– Гибель армян предопределена их местом на карте. Участь слабейшего, участь ненавидимого меньшинства!

– Каждый человек и каждая нация может оказаться в положении слабейшего. Поэтому нельзя допускать, как прецедент, ни уничтожения нации, ни даже нанесения ей какого-либо ущерба.

– Господин пастор, вы никогда не задавались вопросом – не влечет ли за собой существование национальных меньшинств излишнее беспокойство, и не лучше ли было бы им исчезнуть?

Лепсиус снял свои окуляры и тщательно их протирает. Тупо и устало моргают глаза. И от этого угасающего взгляда все его тело как-то обмякло, кажется мешковатым.

– Господин тайный советник, разве мы, немцы, не меньшинство?

– Не понимаю вас. Что вы хотите этим сказать?

– Внутри сплотившейся против Германии Европы мы оказываемся в положении чертовски угрожаемого меньшинства. Добра из этого не выйдет. Мы тоже не слишком удачно выбрали себе место на карте.

Сейчас лицо тайного советника утратило любезное выражение, оно стало настороженным и очень побледнело. Пыльная волна полуденного зноя хлынула в распахнутое окно.

– Совершенно верно, господин пастор! А потому долг каждого немца – проявлять участие к судьбе своего народа и помнить о потоках крови, которые Немецкое меньшинство, как вы изволите выразаться, проливает за отечество. Только под этим углом зрения можем мы рассматривать армянский вопрос.

– Мы, христиане, подвластны милости божьей и покорствуем слову Евангелия. Напрямик говорю вам, господин тайный советник, никакой иной точки зрения я не приемлю. Последние недели мне что ни день становится очевидней, что трезвых детей мира, политиков, следует лишить власти, дабы общность во Христе, *Cognus Christi*, стала явью на нашей маленькой Земле...

– Отдавайте кесарево кесарю.

– Что есть кесарево, кроме захватанной расхожей монеты? Этого-то Господь в своем божественном лукавстве не говорит. Нет, нет! Народы подвластны своей природе. А льстецы, жаждущие на их счет поживиться, угодливо поощряют их тщеславие. Точно это особая заслуга – родиться собакой или кошкой, брюквой или картофелем. Но Иисус Христос дает нам вечный пример того, как богочеловек лишь затем воплощается в человека с присущей человеку природой, чтобы природу эту преодолеть. А потому и должны были

бы править на Земле только истинные слуги Христовы, как раз потому, что они преодолели свою природу, что они выше условий земного существования. Таково мое политическое кредо, господин тайный советник.

Прусский аристократ ничем не дает почувствовать скрытую в его словах иронию:

– Вы говорите как истовый католик.

– Истовей, чем самый завзятый католик! Ибо церковь, символа веры которой я придерживаюсь, не делит власть со светскими властителями.

Тайный советник вставляет в глаз монокль, как бы давая понять, что время, отведенное для объяснений, пришло к концу.

– Но пока мы вновь не обзавелись святой инквизицией, ответственность несем мы, ничтожные дети мира.

Иоганнес Лепсиус, который, пожалуй, слишком далеко зашел, отступает на заготовленные позиции. Его слова звучат как спокойная, почти непримиримая отповедь:

– Я хотел бы продолжить откровенный разговор с вами, господин тайный советник... Всего несколько дней назад я был полон надежд и верил, что господин рейхсканцлер поддержит меня в моей борьбе, применив более действенные меры, чем прежде. Теперь же вы окончательно убедили меня, что у нашего правительства связаны руки, оно бессильно перед Портой и в отношениях с ней вынуждено обходиться обычными демаршами и ходатайствами. Что ж! Зато меня не связывают никакие государственные соображения. И отныне только на мои плечи ложится бремя ответственности за дело спасения армян немцами. Я не намерен идти на уступки и отступать. Вместе с моими друзьями я буду просвещать народ, ибо только тогда, когда люди узнают всю правду, я буду в состоянии поставить христианскую организацию помощи армянам на более широкую основу... А потому прошу, по крайней мере, не мешать мне в этой деятельности.

Тайный советник, который тем временем изучал циферблат своих наручных часов, обрадованный, вскидывает глаза.

– Откровенность за откровенность, господин пастор... Стало быть, не обессудьте, если я сообщу, что к вам давно присматриваются. В связи с вашим пребыванием в Константинополе поступило немало жалоб на вас. Повторяю: вы и не подозреваете, как осложнились обстоятельства. Сожалею об этом. Я питаю величайшее уважение к вашей человеколюбивой деятельности. И все же, деятельность эта – ну, как бы вам сказать – с политической точки зрения нежелательна. Я бы посоветовал, почтеннейший, ограничить ее и, по возможности, не афишировать.

Ответ пастора звучит скорее сварливо, чем торжественно:

– Мне голос был. И никакие силы мира не могут помешать мне ему следовать.

– Не говорите так, господин доктор Лепсиус, – пугается тайный советник, ошеломленный, но еще любезный, – кое-какие силы мира уже готовятся вам основательно помешать.

Пастор ощупывает левый бок сюртука. Встает.

– Я чрезвычайно признателен вам, господин тайный советник, за вашу искренность и напутствие.

Собеседник пастора, высокий и стройный, стоит перед ним, довольный собой и смущенный, что очень его красит.

– Я рад, что мы с вами так быстро друг друга поняли, господин пастор. Вы бледны. Вам очень пошло бы на пользу, если бы вы некоторое время пожили спокойно, не думая о завтрашнем дне. Вы, кажется, живете в Потсдаме?

Иоганнес Лепсиус выражает сожаление, что отнял столько времени у господина тайного советника. Но тот с очаровательной улыбкой провожает его до двери.

– Да нет же, господин пастор, я давно уже не проводил время так интересно, как этот час с вами.

Внизу на душной полуденной Вильгельмштрассе Иоганнес Лепсиус спрашивает себя, был ли он по завету божьему кроток аки голубь и мудр аки змий в беседе с тайным советником. И довольно скоро признается себе, что обнаружил полную несостоятельность и в качестве голубя и в качестве змия. К счастью, у него хватило ума заблаговременно запастись всеми нужными паспортами, визами и разрешениями на выезд и вывоз денег. Вот почему он так тщательно ощупывал свой левый бок, проверял, на месте ли эти сокровища.

Он резко оборачивается: не идет ли за ним по пятам полицейский агент? И решает: прямой курьерский в Базель отходит в три сорок. В распоряжении Лепсиуса больше трех часов, он успеет телефонировать домой и велит доставить его багаж на вокзал, да и вообще собраться в дорогу. Завтра, может статься, границы для него уже будут закрыты. Но он непременно должен добраться до Стамбула! Его место там, хоть еще неясно почему. Во всяком случае, в Германии дело его будет продолжаться и без него. Организация и бюро ее созданы, меценаты, друзья, сотрудники – налицо. А его место не здесь, в безопасной, равнодушной дали, а вблизи, у самого моря крови.

На Потсдамерплац стоит оглушительный шум от уличного движения. Лепсиус близорук, он долго ждет, пока можно будет здоровым и невредимым перейти площадь.

Ухо его воспринимает грохот, громыхание, треск и скрежет трамваев, автобусов и автомобилей как единый, слитный гул. Как гул колоколов в неимоверном варварском соборе. И тут ему вспоминается стишок, сочиненный им много лет назад на борту приплясывавшего на волнах суденышка, которое несло его мимо скалистого островка Патмоса – Патино', священного острова апостола Иоанна Богослова. И вот в ушах его звенит рефрен стишка:

А и О, А и О

Звонят колокола на Патино'.

И чудится, будто это звенящее двустипшие – связующее звено между столь различными местами земного шара, как Патмос и Потсдамерплац.

Жизнь пугливого ночного зверя в Стамбуле.

Иоганнес Лепсиус знает, что за ним установлена слежка и наблюдение.

Поэтому он выходит из отеля Токатлян большей частью ночью. В первый же день по приезде он нанес обязательный визит в германское посольство. Принимает его вместо посланника, секретаря посольства или пресс-атташе второстепенный чиновник, который сухо, без околичностей спрашивает, какие дела привели пастора Лепсиуса в Константинополь? Лепсиус отвечает, что без особых целей приехал в этот город, который очень любит, и где хотел бы немного отдохнуть. Правдиво здесь только утверждение, что поездка Лепсиуса не имеет определенной цели. Пастор в самом деле не знает, что предпринять. Он знает только, что и у турок, и у немцев он лицо преследуемое.

Так, например, тот превосходный капитан из посольства, что с таким трудом выхлопотал ему тогдашний прием у Энвера-паши, теперь, встречаясь с ним на улицах Перы, демонстративно отворачивается. Бог знает, какую низкую ложь распространяют о Лепсиусе! У пастора частенько мороз по коже продирает, как вспомнится, что он совсем незащищен в турецкой столице, что в представительстве его родной страны он не только не найдет поддержки, но едва ли не встретит врагов. Если бы Иттихату пришла на ум здравая мысль укокошить его, то труп пастора Лепсиуса не вызвал бы большого дипломатического шума. В минуты малодушия он подумывает о возвращении домой. Здесь он только теряет время. Пошла уже третья неделя августа. На Босфоре стоит неопишная жара.

«Чего я здесь добьюсь?» – спрашивает он себя. И находит, что похож на неопытного взломщика, который пытается голыми руками, без отмычки и подобранного ключа, зато на глазах у полиции вскрыть железную дверь, запертую на семь замков.

Но это же ясно! В запертой на семь замков железной двери, что ведет внутрь Турции, надо пробить брешь, если есть хотя бы намек на реальную помощь. Все деньги, посылаемые внутрь страны официальным путем, распыляются и этой реальной помощи не оказывают.

Иоганнес Лепсиус отваживается нанести визит его святейшеству католикосу всех армян Завену. С тех пор как они виделись, из угасающего тела католикоса исчезла, кажется, последняя искра жизни. Святой человек смотрит отсутствующим взглядом на гостя, когда же узнает его, не в силах сдержать слез.

– Если станет известно, что вы были у меня, это может принести вам большой вред, сын мой, – шепчет он.

И вот пастор Лепсиус получает возможность услышать всю правду во всей ее ужасающей полноте – такой, какой она стала за те несколько недель, что он отсутствовал.

Католикос излагает ее сухо и коротка, без лишних слов:

– Любая попытка спасения не только безнадежна, но и излишня, так как депортация проведена до конца. Большая часть духовенства убита, политические деятели истреблены поголовно. Народ сегодня – это преимущественно женщины и дети, умирающие с голоду. Всякая поддержка, оказанная им со стороны ли немцев или нейтральных государств, только



разъярит Энвера и Талаата, подстрекнет их к новым злодеяниям. Самое лучшее – ничего не предпринимать, смиряться и умирать. Разве Лепсиус не заметил, – говорит католикос, – что этот дом, патриаршество, осажден шпиками и соглядатаями? Каждое слово, сказанное сегодня в этой комнате, завтра же непременно станет известно Талаату-бею.

Его святейшество Завен заговорщицки подмигивает – в глазах его затаенный ужас – и просит гостя приложить ухо к его устам.

Таким способом Лепсиус узнает о восстании армянских крестьян на Муса-даге, о поражении турецких частей, и о том, что осажденную гору до сих пор взять не удалось. Прерывистый шепот католикоса еле слышен:

– Разве это не ужасно? У турок, наверное, сотни убитых.

Иоганнес Лепсиус вовсе не находит, что это ужасно. Голубые его глаза за толстыми стеклами пенсне сияют мальчишеским восторгом.

– Ужасно? Нет, прекрасно! Были бы еще три таких Муса-дага, и события обернулись бы иначе. Ах, ваше святейшество, как бы мне хотелось быть на этом Муса-даге!

Пастор по неосторожности повысил голос. Католикос в страхе зажимает ему рот.

При прощании Лепсиус вручает ему часть денег, собранных христианской организацией помощи армянам. Завен поспешно запирает ассигнации, точно они огненные, в несгораемый шкаф своей канцелярии. Маловероятно, что эта благостыня дойдет до места своего назначения, до Дейр-эль-Зора.

Его святейшество снова быстро шепчет что-то немцу на ухо, смысл его слов не сразу доходит до сознания Иоганнеса Лепсиуса:

– Не мы в патриаршестве, не вы и никакие немцы или нейтралы, а турки! Нужно найти таких турок, которые стали бы спасителями и посредниками, понимаете, турок!

– Как так турок? – тихо бормочет Лепсиус, и перед ним возникает лицо Энвера-паши. Безумная идея!

Безумная идея. И все-таки она, помимо воли Лепсиуса, уже на пути к осуществлению.

В ресторане при гостинице пастор познакомился с турецким врачом. Профессор Незими-бей – ему лет сорок – очень элегантен, у него европейская внешность. Живет тоже в отеле Токатлян, но его приемный кабинет находится на одной из аристократических улиц Перы.

Сначала Лепсиус считает профессора одним из самых симпатичных представителей младотурецкого общества. Правда, внешность обманлива. Европейская образованность и бесподобно сшитый сюртук – еще далеко не все. Между ними нередко завязывается беседа. Раза три-четыре они обедают за одним столом. Лепсиус чрезвычайно осторожен и сдержан, – так нужно.

Но тот вовсе не осторожен и не сдержан. И когда он откровенно выражает ненависть к правящему режиму, к диктаторам Энверу и Талаату, немец пугается и умолкает. Уж не посадили ли к нему провокатора? Но стоит ему взглянуть на Незими, такого утонченного, с благородной осанкой, вспомнить

его изысканную речь, его редкостное знание языков, и всякое подозрение кажется смешным. Энверу ли вербовать провокаторов такого ранга! Но, человек искушенный, Лепсиус остерегается провокаций. Он не отрицает, что, будучи христианским священником, стремится облегчить участь своих единоверцев-армян, но воздерживается от критических высказываний и чаще ограничивается выжидательной позицией слушателя. Незими не явно выраженный армянофил, однако горячо возмущается репрессивной-политикой младотурецкого Комитета:

– На полях, усеянных трупами армян, Турция и сама сложит голову.

Лепсиус и бровью не повел.

– Но за Энвера и Талаата стоит огромное большинство нации,- говорит он.

– Как? Огромное большинство? – вспыхивает Незими. – Вы, иностранцы, не знаете даже, как фактически ничтожна эта партия, особенно как ничтожно ее моральное влияние! Состоит она из жалких выскочек, из самой низменной черни. Если эти люди кичатся своей принадлежностью к «османской расе», то это величайшее бесстыдство. Эти «чистокровные османы» большей частью происходят из того македонского котла, в котором плавает расовое крошево со всех Балкан.

– Старая история, профессор. На чистоту расы чаще всего ссылаются только те, кому как раз ее и не хватает.

Незими грустно смотрит на Лепсиуса.

– Как огорчительно, что вы, человек, глубоко изучивший обстановку в нашей стране, понятия не имеете об истинной сущности турок! Да знаете ли вы, что истинные турки куда резче осуждают выселение армян, чем вы?

Иоганнес Лепсиус настораживается.

– Да позволено будет мне спросить, профессор, кто ж они, эти истинные турки?

– Все, кто еще не отступился от своей религии, – отвечает Незими, но в дальнейшие объяснения не вдается.

Вечером он стучится в дверь к пастору. Вид у него до странности взволнованный.

– Если вы согласны, я поведу вас завтра в текке шейха Ахмеда. Это вам поистине подарок судьбы. И более того: вы можете там откровенно говорить об армянах и, вероятно, кое-что для них сделать.

И Незими повторяет:

– Вот уж, поистине, подарок судьбы!

Назавтра, сразу же после обеда, Незими, как условлено, заходит за пастором. Большую часть длинного пути они идут пешком. Сегодня летнюю жару умеряет прохладный бриз с Мраморного моря. По стамбульскому, звенящему звуками полуденному небу тянутся стаи аистов и серых цапель, – гнезда они выют на той стороне, на азиатском берегу.

Профессор ведет пастора мимо сераскериата Энвера-паши и мечети султана Баязет-Моше по длинным проспектам Ак-Серай. Конца не видать этой ведущей на запад дороге. Но вот они попадают в лабиринт руин, какими

кажутся эти недра города. Мощные улочки кончаются. Навстречу бредут стада овец и коз. Над бурным хаосом бесчисленных деревянных домов грозно высится древняя, времен Византии, городская стена с зубцами, башнями, бойницами.

Иоганнес Лепсиус вовсе не настроен любоваться, как то свойственно его глазу художника, этим романтическим, хоть и дурно пахнущим городским пейзажем. Не интересуется его и центр исламского благочестия, который он сегодня посетит и который обогатит его опыт. Как каждый, чья душа охвачена единым мучительным и властным стремлением, он все оценивает только в зависимости от одного: какое отношение имеет та или иная вещь к армянской катастрофе. Итак, он вовсе не расположен воспринимать новые впечатления, в голове его роятся планы, замыслы. Только эти замыслы и побуждают его расспрашивать своего спутника:

– Мы, очевидно, идем к мевлеви-дервишам?

Лепсиус, несмотря на свое долгое пребывание в Палестине и Малой Азии, почти ничего не знает об исламе. Он видит в нем только фанатичного врага христианства. Но так как одна из самых прискорбных человеческих слабостей – неумение познать того, кого нужно бы знать досконально, а именно, – врага, стало быть, и пастор Лепсиус имеет весьма слабое представление о духовном мире мусульман.

Назвал же он мевлеви-дервишей лишь потому, что ему знакомо это очень известное название дервишского ордена.

Доктор Незими отмахивается почти презрительно.

– Нет, нет! Наш магистр, шейх Ахмед, глава ордена, который в народе называют «похитителями сердец».

– Странное название для ордена. Почему же «похитители сердец»?

– Потом узнаете...

По дороге вожатый пастора все-таки снисходит до объяснений. Он рассказывает немцу, что мусульманская религия разделилась на две мощных ветви: шариат и тарикаат. Если шариат довольно близко соответствует католическому белому духовенству, то сравнивать тарикаат с монашеством – неправильно. От дервиша вовсе не требуют отречься от мира и на всю жизнь уйти в текке. Стать и быть дервишем может всякий, кто выполняет известные условия. Поэтому никто не обязан отказываться от своей профессии и семейной жизни – великий визир, равно как и портной, медник, банковский служащий, офицер. Так что по всей стране распространены различнейшие братства, и братья всюду узнают друг друга «чутьем».

Иоганнес Лепсиус – не без тайного умысла – задумчиво спрашивает:

– Стало быть, эти дервишские ордены вследствие своей многочисленности представляют собой большую силу?

– Поверьте мне, господин пастор, не только вследствие своей многочисленности!

– А в чем состоит их служение богу?

– У вас, говорили мне, называют это «экзерцициями», упражнениями. И это тоже неточно. Мы время от времени собираемся и совершаем упражнения,

но упражняемся в молении богу! Называется это зикр. Каждый должен хоть раз, или несколько раз в жизни отбывать служение в текке и жить там продолжительное время. Но главная наша обязанность – всем сердцем повиноваться нашему учителю и магистру.

– Так шейх Ахмед и есть ваш учитель и магистр?

Хоть Лепсиус не напрямую спрашивает, кто, собственно, такой шейх Ахмед, Незими отвечает:

– Он – вели. Вы бы сказали «святой», и такой перевод этого слова тоже совершенно неправилен. Своим образом жизни, которая представляет собой более высокую духовную ценность, чем жизнь рядовых людей, он развил в себе силы. Знакомо ли вам французское выражение *initiation*?\* И самое чудесное в нашем учителе – вы это увидите сами – что он совсем простой человек.

---

**\* Initiation (фр.) – посвящение, инициация.**

---

Они останавливаются у высокой стены. Над нею виднеются верхушки кипарисов и фикусов, свешиваются ветви глициний и желтофиолей, – стало быть, за стеною – сад.

Незими стучит, тростью в источенные червем ворота. Ждать приходится долго. Отворяет им грузный старик С кротким, ласковым взглядом. Перед ними открывается потаенное чудо этого сада. Надо всем господствует многовековой кедр. С двух его могучих ветвей свисают ржавые обрывки тяжелой цепи.

Незими рассказывает пастору, что давным-давно, в незапамятные времена, молодой еще кедр заковали в цепи. Но напор жизненных соков в растущем кедре был таким мощным, что железная цепь лопнула. Это символ жизни дервиша.

В тишине, чудесно недоступной для городского шума, журчит фонтан. И это тоже еще один трогательный символ культа воды, распространенного среди турок.

Справа стоит темный, мрачный дом, слева – светлый, приветливый. Незими и пастор входят, сняв обувь, в приветливый деревянный дом. По темной маленькой лесенке Незими вводит гостя в каморку, напоминающую ложу, которая выходит в зал текке; стройные деревянные пилястры и стены, украшенные ажурной филигранной резьбой, придают ему сходство с обширным павильоном. Деревянный пол устлан прекрасными коврами. В восточную стену зала, обращенную к Мекке, встроена ниша для трона с

высоким подножием. По обеим его сторонам на ступенях подножия сидят несколько человек. Доктор Незими называет их «калифами», представителями и доверенными лицами шейха, особенно близкими его сердцу. Все они носят белые тюрбаны – даже пехотный капитан, странным образом среди них оказавшийся.

Затем Лепсиус замечает сухонького старичка с козлиной бородкой; он, должно быть, страдает какой-то нервной болезнью – лицо у него временами подергивается.

– А это сын шейха, – Незими указывает на красавца с мягкой каштановой бородкой, в белом, похожем на рубаху одеянии. Рядом с этим, еще юным с виду человеком, словно пронизанным серебристым светом, сидит, поджав под себя ноги, мальчик лет пяти – «сын сына», тоже в белом, как отец.

Но внимание Лепсиуса привлекает другой человек, чей облик и осанка выделяют его среди окружающих, как необычайно сильную индивидуальность. Таким представляет себе пастор великих калифов – Бая-зида, Махмуда Второго, пожалуй, даже самого пророка. Лицо, испепеленное фанатизмом, до самых глазниц заросло иссиня-черной бородой. Застылый взор ни на чем не остановится, равно беспощаден и к другу, и к врагу.

– Это тюрбедар из Бруссы\*, – слышит Лепсиус. Затем следует объяснение: звание это дается лицу, занимающему высокий символический пост, – смотрителя усыпальниц султанов и святых. Кроме того, тюрбедар – большой ученый, знаток не только Корана, но и некоторых современных наук. И вон тот маленький старичок, что так тихо сидит против тюрбедара, да-да, крайний справа, у него такие белые руки, он как раз перебирает янтарные четки – он ведь тоже занимает высокий символический пост: он – «Хранитель родословной пророка».

---

**\* Брусса – некогда резиденция турецких султанов.**

---

– Эти люди живут постоянно в текке?

– Нет, это редкая и счастливая случайность, что они все собрались сегодня у шейха. И тот старик, хранитель родословной, приехал сюда очень издалека, из Сирии, из Антиохии, кажется. Он, знаете ли, старейший друг нашего шейха. Зовут его ага Рифаат Берекет.

– Ага Рифаат Берекет, – задумчиво, точно это имя ему не совсем не знакомо, повторяет Лепсиус. Но смотрит он не на агу Рифаата и ни на кого из

тридцати или тридцати пяти, шепотом в ожидании переговаривающихся людей в зале, он не сводит глаз с гордого тюрбедача. Поэтому и не заметил, как вошел шейх Ахмед, – увидел его, когда тот уже занял свое место.

Незими-бей был прав. По внешнему виду главы ордена, повелевающего, вероятно, сотнями тысяч преданных душ, мало что можно сказать о его значении и духовной силе. Это тучный седобородый старец, черты лица выражают снисходительную любезность и вовсе не чужды практической сметки, требующейся в делах мирских.

Все вскакивают и наперебой бросаются целовать ему руки. И последним, лишь когда все утолили свою жажду доказать учителю почтение и любовь, над мягкой, пухлой рукой Ахмеда склоняется тюрбедач.

Экстаз дервишского радения – зикра, свидетелем которого сейчас становится Лепсиус, не только оставляет его холодным, но вызывает даже смутное, безотчетное чувство неловкости. Обряд начинается с того, что красавец шейхский сын с десятью юношами, одетыми, как и он, в белые, похожие на рубахи облачения, становятся в ряд у западной стены зала. Правое крыло замыкает мальчик, личико его озарено недетским выражением серьезности. Откуда-то доносится монотонная гнусавая музыка дудок. Перед золоченым пюпитром для корана стоит человек с закрытыми глазами и вполголоса, скрипучим фальцетом выпекает какую-то суру корана.

Старый шейх чуть заметно взмахивает рукой. Звуки дудок и литания смолкают. Сын шейха, прислушиваясь, закидывает голову, словно подставляет лицо под морозящий дождь. Из горла его вырываются звуки, трепетные, замирающие, будто он изнемогает от безмерного блаженства, от того, что ему дано произнести по слогам Непостижимый стих, в котором сосредоточена вся сила вещей книги: «Ла ила ила'лла» – «Нет бога, кроме бога».

Теперь все мужчины закидывают головы и в странно стенающем жужжании голосов дважды слитно звучат четыре слога первоосновы вероучения. Точно так в музыкальное произведение вступает тема, которая затем развивается. Сначала начинает слегка раскачиваться тело молодого шейха. В то время как «Ла ила ила'лла» переходит в каденцию, он сгибает верхнюю часть туловища попеременно на все четыре стороны света – вперед, назад, направо, налево. Это четырехтактное качание передается другим, постепенно все ускоряясь. При этом вовсе не соблюдается соразмерность движений, как в гимнастических упражнениях или в балете. Напротив! Каждый следует собственному закону. Каждое Я этой общности, страстно взывая к богу, видимо, остается наедине с собой. Поэтому создается соразмерность гораздо более многообразная и высокая, чем та, что достигается механическим совпадением такта; это соразмерность раскачиваемого бурей леса, вскипающего прибоя. Только полная свобода и отъединенность Я перед лицом бога делают возможной органическую общность.

Старый шейх, его калифы и другие делают только легкие, как бы вторящие эйкру движения.

Внук шейха с отчаянным видом добросовестно изгибает свое маленькое

тело во все четыре стороны. Временами среди встающего шквала «Ла ила» слышится трогательно щебечущий детский голосок. Минут через двенадцать обряд достигает апогея, – качаясь, дервиши как бы описывают прямоугольник, выкрики сливаются в нечленораздельный хриплый рев.

Снова короткий взмах руки старого шейха. Действо резко обрывается. Должно быть, сердца его, участников и зрителей прониклись неизбывной радостью, глубочайшим ощущением полноты счастья. Лица озаряет усталая улыбка. Люди обнимаются.

Иоганнесу Лепсиусу невольно приходят на память агапы\* первых христиан. Но как же так? Здесь торжество любви происходит не от духа, а от исступленно выворачиваемого тела. Этого пастор не понимает.

---

\* Агапы – «вечери любви» – в первые времена христианства общие ужины в память о последней вечери Христа.

---

Меж тем появляются новые лица: через маленькую дверь в зал входят слуги, вносят кувшины с водой, блюда с кушаньями и даже какие-то одеяния – все это они кладут перед шейхом Ахмедом; шейх несколько раз дует на эти вещи. Теперь они приобрели целебную силу.

После паузы зикр возобновляется, притом на более высокой ступени. Над всем по-прежнему царит священное число четыре. А отсюда проистекает и четырехкратное состояние экстаза, каждый раз прерываемое паузой. Сила и темп последнего, четвертого экстаза почти непереносимы в его неистовом исступлении, – Иоганнес Лепсиус закрывает порой глаза, ему становится дурно, как от морской болезни. Когда этот последний зикр достигает апогея, со ступеней шейхова трона вдруг спрыгивает сухой старичок с козлиной бородкой и начинает кружиться, точно взбесившийся волчок, пока не падает на пол в эпилептическом припадке. Пастор оглядывается на доктора Незими – тот сидит за ним. Неужто Незими не сбежит вниз, в зал, не окажет помощь эпилептику? Но элегантный господин, окончивший Сорбонну, видно, тоже не в себе. Тело его раскачивается, глаза закатились. И с губ под английскими усиками срывается так долго подавляемое «Ла ила ила'лла». Чувство неловкости доходит до предела, пастору просто неважно. Но испытывает он не только отвращение к тому, что кажется ему столь странно варварским, а еще и смутный стыд от того, что он с его душой европейца, не способен причаститься этому опьянению богом.

Чувство глубокой скованности не оставляет его и когда он вступает в центр этого безмерно чуждого мира, – в приемную шейха. На приеме у Энвера

он чувствовал себя менее скованным, чем сейчас. Шейх Ахмед, однако, принимает его чрезвычайно дружелюбно. Он делает несколько шагов навстречу ему и Незими-бею. В просторной комнате находятся и некоторые калифы шейха: тюрбедар из Бруссы, ага Рифаат Берекет, молодой шейх и пехотный капитан. Ни стульев, ни кресел – одни низкие диваны вдоль стен. Шейх Ахмед указывает пастору место рядом с собой.

Иоганнесу Лепсиусу приходится сесть как все, поджав под себя ноги. Глаза старого Ахмеда, в которых светится не только ясная житейская мудрость, но и неизъяснимое спокойствие, обращены к гостю.

– Мы знаем, кто ты и что привело тебя к нам. Я не сомневаюсь, что ты ПОЙМЕШЬ нас, как мы – будем надеяться – пойдем тебя. Быть может, брат Незими поведал тебе, что мы здесь меньше полагаемся на слова, нежели на сердечный контакт. Так дозвожь же нам узнать, как соотносятся эти два сердца – твое и мое.

Сюртук немца наглухо застегнут. Шейх Ахмед своею белою рукою расстегивает сюртучные пуговицы.

Улыбается извиняющейся улыбкой:

– Нам надо стать ближе друг к другу.

Иоганнес Лепсиус понимает и хорошо говорит по-турецки и свободно по-арабски. Но шейх Ахмед изъясняется на смеси этих двух языков, почему и в особо трудных случаях пастор прибегает к помощи Незими в качестве переводчика.

Доктор Незими переводит:

– Есть два вида сердца. Телесное сердце и сокровенное, неземное сердце, которое его облегает, как аромат окутывает розу. Это второе сердце связует нас с Богом и людьми. Открой его, пожалуйста!

Грузное тело старца – ему, верно, уж восемьдесят – склоняется к пастору. Он – весь внимание, знаком просит закрыть глаза, как делает он сам. Иоганнеса Лепсиуса охватывает чувство покоя. Гложущая жажда, что лишь недавно мучила его, исчезает. Он пользуется паузой, чтобы за смеженными веками собраться с мыслями и обосновать доводы, на которые будет опираться в защиту армян. Чудесным образом Господь привел его сюда, где он нежданно-негаданно найдет, может быть, союзников. На, какую-то микродолю становится осуществимее желание его преосвященства Завена, абсурдное это желание привлечь в качестве посредников в переговорах с иттихатистами не немцев и не представителей нейтральных государств, а самих турок. Когда Лепсиус открывает глаза, лицо старого шейха предстает перед ним, осиянное теплым солнечным светом. Но шейх, умолчав о том, что дало «испытание сердца», просит пастора сказать, чем ему могут быть здесь полезны. И начинается знаменательный разговор.

Иоганнес Лепсиус (сперва с трудом и большим напряжением подбирает турецкие слова. Нередко, озирается на Незими-бея, безмолвно взывая о помощи, и тот приходит на выручку, подсказывает нужное выражение). Великой милости шейха Ахмеда эфенди обязан я, христианин и чужестранец,



тем, что допущен в эту почтенную обитель, в текке... Мне было также дозволено присутствовать при вашем религиозном обряде. Усердие и искренность вашего стремления к богу исполнило мое сердце радостью. Хотя я, как непосвященный чужестранец, и не могу проникнуть в глубинный смысл ваших старинных обычаев, я -чувствую все же ваше высокое благочестие... Тем ужаснее кажется мне наряду с этим благочестием и набожностью все, что творится и что дозволено творить на вашей родине...

Молодой шейх (взглядом испросив у отца разрешение говорить). Мы знаем, что ты уже много лет – деятельный друг эрмени миллет...

Иоганнес Лепсиус. Я больше, чем друг. Я посвятил всю свою жизнь, отдал все силы эрмени миллет.

Молодой шейх. И собираешься обвинить нас в происшедшем?

Иоганнес Лепсиус. Я чужестранец. А чужестранец нигде и никогда не вправе выступать с обвинениями. Я здесь только для того, чтобы жаловаться на содеянное и просить совета и помощи.

Молодой шейх (с подчеркнутой настойчивостью, ее не может смягчить торжественность его речи). И все же ты возлагаешь на всех нас, османов, вину за то, что творится.

Иоганнес Лепсиус. Народ состоит из многих частей. Из правительства, из органов правления, из классов, которые поддерживают правительство, и из оппозиции.

Молодой шейх. На какую же часть народа возлагаешь ты ответственность?

Иоганнес Лепсиус. За двадцать лет я изучил условия вашей жизни. И обстановку внутри страны. Я вел переговоры с лидерами вашего правительства. И должен сказать – бог в том мне порукой – что они одни виновны в гибели ни в чем не повинного народа.

Тюрбедар (поднимает свое изможденное лицо фанатика с незнающими пощады глазами. Его голос и он сам тотчас покоряют окружающих). Но на ком же лежит вина за правительство?

Иоганнес Лепсиус. Я не понимаю вопроса.

Тюрбедар. Тогда я задам тебе другой вопрос. Всегда ли жили турки и армяне во вражде? Или какое-то время оба народа жили бок о бок мирно? Ты знаком с условиями нашего существования, стало быть, знаешь и наше прошлое.

Иоганнес Лепсиус. Насколько мне известно, массовые погромы начались в прошлом веке, после Берлинского конгресса...

Тюрбедар. Вот ты и ответил на мой первый вопрос. На том конгрессе вы, европейцы, вмешались во внутренние дела Оттоманской империи, потребовали реформ и хотели за сходную цену купить у нас Аллаха и религию. А вашими маклерами в этой сделке были армяне.

Иоганнес Лепсиус. Разве время и сама жизнь не требовали этих реформ настоятельней, чем Европа? И само собой разумеется, что армяне, как более слабый, но более деятельный народ, мечтали о реформах.

Тюрбедар (вспылил, всю комнату заполняет своим праведным гневом). Ну,

а мы не желаем ваших реформ, вашего прогресса, вашего участия в наших делах! Мы хотим жить в согласии с богом и развивать в себе те силы, что от бога. Иль ты не знаешь, что все, что вы называете свершением и деятельностью, – от дьявола? Должен ли я тебе это доказывать? У вас есть некоторые поверхностные знания о свойствах химических элементов. Но какие последствия влечет за собой применение ваших скудных познаний на практике, в том, что вы называете свершением и деятельностью? Производство отравляющих газов, с помощью которых вы ведете ваши гнусные, трусливые войны! И разве не для того же служат ваши самолеты? Они нужны вам, чтобы взрывать целые города. А в промежутках между войнами авиация обслуживает спекулянтов и дельцов, ускоряя ограбление бедноты. Все ваше бесовское беспокойство показывает нам, что нет такой активности, которая не сводилась бы к разрушению и уничтожению. Поэтому мы охотно бы отказались от реформ, прогресса, достижений и благ вашей культуры и жили бы в прежней бедности и благочестии.

Старый шейх Ахмед (хочет внести ноту примирения в разговор). Бог разлил свой напиток во множество сосудов, и у каждого сосуда своя, только ему присущая форма.

Тюрбедар (не может успокоиться, ибо полагает, что нашел подходящего противника, на котором выместит свою бездонную злобу). Виновато в этом кровавом беззаконии правительство, – говоришь ты. А по правде сказать, не наше, а ваше правительство. Оно у вас прошло выучку. Никто иной, как вы, поддерживали его в преступной борьбе против наших святых. Оно внедряет ваше учение и ваши взгляды. Стало быть, ты должен признать, что не мы, османы, а Европа и ее прихвостни повинны в судьбе народа, за который ты борешься. И армянам воздалось по справедливости, ибо они призвали этих вероломных преступников в страну, содействовали им и заверяли в своей преданности, а все для того, чтобы те их сожрали. Разве ты не видишь в этом перст божий? Куда бы вы и ваши ученики ни являлись, вы всюду приносите с собой разложение. Вы лицемерно утверждаете, будто исповедуете учение пророка Иисуса Христа, но в глубине души верите только в бездушные силы материи и вечную смерть. Вы так немощны сердцем, что и не подозреваете о существовании сил, которыми одарил вас аллах и которые без пользы в вас иссякают. Да, ваша религия, которую вы исповедуете – это смерть, и вся Европа – наложница смерти.

Старый шейх (бросает строгий взгляд на тюрбедара, приказывая ему сохранять самообладание. Гладит Лепсиуса по руке, стараясь его утешить и успокоить). Все в воле божией.

Молодой шейх. Это правда, эфенди. Ты не можешь отрицать, что распространенный сейчас у нас национализм – это чужеземная отравка, занесенная из Европы. Всего несколько десятилетий назад Наши народы дружно жили под знаменем пророка, – турки, арабы, курды и многие другие. Дух корана снимал земные различия по крови. А теперь уже и арабы, которым поистине не на что жаловаться, стали националистами и нашими врагами.

Старый шейх. Национализм заполняет ту жгучую пустоту, которую оставляет Аллах в человеческом сердце, когда его оттуда изгоняют. И все же помимо воли Аллаха изгнать его невозможно.

Иоганнес Лепсиус (сидит, поджав под себя ноги, в роли обвиняемой Европы. Он ни на минуту не теряет из виду свою цель, а посему благодушно приемлет проклятия величавого тюрбедара из Бруссы, не так уж это болезненно, но до него же болят его вывернутые и скрещенные ноги!). Все, что я здесь от вас слышу, для меня не ново. Я и сам часто говорил моим соотечественникам нечто подобное. Я христианин, и даже христианский священник, однако охотно признаюсь вам, что большинство известных мне христиан – равнодушные и безбожные суесловы...

Тюрбедар (несмотря на строгое внушение без слов, сделанное ему шейхом Ахмедом, гнет свою линию). Стало быть, ты признаешь, что истинные виновники не мы, турки, а вы?

Иоганнес Лепсиус. Моя религия повелевает мне рассматривать всякую вину как неотвратимое наследие Адама. Люди и народы сваливают друг на друга наследственную вину, как мячом перебрасываются. Уточнить ее, основываясь на какой-нибудь дате или на некоем событии, невозможно. С чего мы тогда начнем и на чем остановимся? Я здесь не для того, чтобы бросить турецкому народу хоть слово упрека. Это было бы великой ошибкой. Я пришел сюда просить благожелательного понимания.

Тюрбедар. Сначала сотворили зло, а потом приходите просить понимания!

Иоганнес Лепсиус. Я не шовинист. Каждый человек, хочет он того или не хочет, принадлежит к какой-нибудь национальной общности и остается с нею связанным. Это само собой разумеющаяся данность природы. Как христианин, я верю, что Отец наш небесный создал различия между людьми ради любви. Ибо без различий и напряженности в отношениях любви не бывает. Я и сам по природе очень отличаюсь от армян. Однако же научился ведь я их понимать и любить.

Тюрбедар. А ты когда-нибудь задумывался над тем, любят ли и понимают ли нас армяне? Это они как электрический провод внесли в нашу жизнь вашу сатанинскую смуту. И ты считаешь их просто-напросто невинными агнцами? Так вот, говорю тебе: они каждого турка, попадись он им в руки, хладнокровно прирежут. Или тебе не известно, что даже ваши христианские священники с удовольствием принимают участие в таких смертоубийствах?

Иоганнес Лепсиус (впервые сейчас вынужден сдержать готовый сорваться с губ резкий ответ). Раз ты это говоришь, эфенди, значит, где-то такие акты мести были. Но не забывай, какую роль играли ваши ходжи, муллы и улемы\*, разжигая травлю против армян. И при этом армяне ведь слабы, а вы сильны!

---

\* Улемы (араб.) – мусульманские ученые богословы и правоведы.

---

Тюрбедар (он не только ученый, но и превосходный полемист: он мастерски умеет уклоняться от опасных подробностей, отступая под укрытие надежно бронированных общих мест). Вы по всему миру распространили клевету на нашу религию. И самая злостная клевета на нас – обвинение в нетерпимости. Неужели ты думаешь, что в нашей империи, которой много веков правят калифы, остался бы жив хоть один христианин, если бы мы были нетерпимы? Что сделал в первый год своего правления великий султан, завоевавший Стамбул? Выгнал ли он христиан из своей империи? Молчишь? Так вот: он учредил греческий и армянский патриархаты, даровал им власть, свободу, роскошь. А что делали ваши в Испании? Они тысячами бросали в море мусульман, чьей родиной была Испания, жгли их на кострах. А кто присылает миссионеров, мы или вы? И крест вы несете сюда только для того, чтобы Багдадская железная дорога и нефтяные концерны давали вам побольше дивидендов.

Старый шейх. Солнце алчет власти, луна – светило кроткое, миролюбивое. Тюрбедар говорит обидные слова, но к тебе, нашему гостю, они не относятся. Ты должен понять, что и наших людей обижают несправедливое отношение к нашей вере. Знаешь, какое слово после имени бога чаще всего употребляется в коране? Слово «мир»! И знаешь, что говорит десятая сура? «Некогда люди были единой общиной. Потом они разобшились. Но не будь на то господня воля, они бы решили, из-за чего они не едины». И мы, как и христиане, стремимся к царству единения и любви. И мы тоже не питаем ненависти к нашим врагам. Да и может ли ненавидеть сердце, которое восприняло бога? Насаждать мир – такова одна из важнейших обязанностей нашего братства, и знай: тюрбедар, который резок на словах, один из самых ревностных наших поборников мира. Давно, задолго до того, как мы о тебе узнали, он помогал изгнанникам. И он не одинок. Поборники мира есть у нас и среди настоящих воинов... (Знаком подзывает к себе пехотного капитана, который сидит на самой дальней циновке, очевидно потому, что он здесь самый младший и неискушенный член ордена).

Капитан (робко садится рядом со старым шейхом. У него большие ласковые глаза и тонкие черты лица, которому солдатскую молодцеватость придают разве что пышные, ухоженные усы).

Старый шейх. По нашему поручению ты побывал в армянских лагерях ссыльных.

Капитан (обращается к Иоганнесу Лепсиусу). Я – офицер штабного полка, приданного штабу корпуса вашего великого соотечественника маршала Гольца-паши. Сердце паши тоже исполнено печали и заботы о его единоверцах-христианах. Но сделать он может очень мало, к тому же только преступив волю военного министра. Я доложил маршалу и получил отпуск

для выполнения своей задачи...

Старый шейх. И какие места ты обследовал во время своей поездки?

Капитан. Большинство лагерей депортированных расположено на берегах Евфрата между Дейр-эль-Зором и Мескеной. В трех самых больших лагерях я провел несколько дней.

Старый шейх. И можешь рассказать нам, что ты там обнаружил?

Капитан (косится на Лепсиуса, в глазах его страдание). Мне было бы куда легче молчать перед этим чужестранцем...

Старый шейх. Чужестранец должен научиться понимать, что речь идет о позоре, которым покрыли себя наши враги! Говори!

Капитан (стоит потупившись, не находит слов. Он не в силах описать неопишемое. Бледные, отрывочные фразы не воссоздают запахи и картины, от отвращения к которым у него сжимается горло). Ужас наводят поля сражения... Но величайшее поле сражения – ничто перед Дейр-эль-Зором... Изобразить это никто не в состоянии.

Старый шейх. Что же там самое страшное?

Капитан. Это больше не люди... Призраки... Но не людей... Призраки обезьян... Они умирают, но только медленно, потому что едят траву и время от времени получают кусок хлеба... Но самое страшное, что у них нет сил хоронить десятки тысяч трупов... Дейр-эль-Зор – огромный нужник смерти...

Старый шейх (после долгой паузы). И какую помощь можно им оказать?

Капитан. Помощь? Самым большим для них благодеянием было бы всех их сразу в один день убить... Я обратился с письменным воззванием к нашим братьям... Нам удалось устроить свыше тысячи сирот в турецких и арабских семьях... Но это такая малость.

Тюрбедар. И какие последствия повлечет за собой то, что мы будем заботливо и любовно воспитывать этих детей в наших семьях? Европейцы станут изощряться в клевете на нас, уверять будто мы детей похитили, развращаем их и бьем.

Старый шейх. Это правда, но не имеет значения. (Капитану): Эти несчастные видели в тебе, в турке, только врага, или тебе удалось заслужить их доверие?

Капитан. В своей обесчеловечивающей отверженности они перестали понимать, кто враг, кто друг... Когда я приходил в такой лагерь, на меня набрасывались целые толпы... Это большей частью женщины и старики, все – почти голые... Они выли от голода... Женщины искали в навозе моего коня непереваренные зерна овса... От избытка доверия ко мне они чуть не разорвали меня на части... Они нагроулили меня поручениями и просьбами, которые я не могу выполнить... Вот, например, это письмо... (Вынимает из кармана грязную записку и показывает Лепсиусу). Его написал христианский священник, того же вероисповедания, что и ты. Он сидел подле непогребенного трупа жены, который лежал там третий день. Это было непереносимо... Крохотный такой человек, в чем только душа держится... Зовут его Арутюн Нохудян, родом откуда-то с сирийского побережья. Земляки его бежали на какую-то гору. Я

обещал ему передать это письмо его землякам. Но как передать?

Иоганнес Лепсиус (оцепенев от рассказов пехотного капитана, давно перестал ощущать боль в сведенных судорогой ногах. Читает на протянутой ему записке надпись крупными армянскими буквами: «Священнику Иогонолука Тер-Айказуну»). И эта просьба не будет выполнена, как и все другие.

Ага Рифаат Берекет (спрятал свои янтарные четки. Легкая фигурка антиохийского старца поворачивается к шейху), Эту просьбу можно выполнить... Я берусь доставить письмо Нохудяна его землякам. Через несколько дней я буду на сирийском побережье.

Старый шейх (с легкой улыбкой обращается к Лепсиусу). Какой пример Промысла божьего! Двум братьям, которые друг другу не знакомы, дано встретиться в большом городе, дабы исполнилось желание несчастного человека... Зато и ты теперь будешь нас лучше знать. Взгляни на моего друга, агу Рифаата Берекета из Антиохии! Он уже не во цвете лет, как ты, ему минуло семьдесят. Однако он ездит и хлопочет об эрме-ни миллет много месяцев подряд, он, правоверный турок! Ради армян он обращался даже с просьбой к самому султану и шейху-уль-исламу\*.

---

\* Шейх-уль-ислам (араб., букв. – старейшина ислама). В странах ислама почетный титул видных богословов (улемов). В Турции с середины XVI века по 1924 год – глава мусульманского духовенства, назначавшийся султаном.

---

Ага Рифаат Берекет. Вожатому моего сердца намерения мои известны. Но, к несчастью, те очень сильны, а мы очень слабы.

Старый шейх. Мы слабы потому, что приспешники Европы отнимают у нашего народа веру. Так оно и есть, как описал нам жестокими словами тюрбедар. Теперь ты знаешь правду. Зато слабые – не трусы. Не мне судить, грозит ли тебе опасностью деятельность в защиту армян. Для аги Рифаата Берекета и капитана она может оказаться чрезвычайно опасной. Если какой-нибудь предатель или правительственный агент донесет на них, они навсегда исчезнут в тюрьме.

Иоганнес Лепсиус (склоняется над рукой шейха Ахмеда, но до поцелуя дело не доходит, потому что пастор не в состоянии преодолеть стыд и внутреннюю скованность). Благословляю этот час, благословляю брата Незими, который меня сюда привел. Я было утратил всякую надежду. Но теперь я снова надеюсь, что вопреки всем депортационным лагерям часть армянского народа с вашей помощью уцелеет.

Старый шейх. Это как богу будет угодно... Уговорись с агой, где бы вам встретиться!

Иоганнес Лепсиус. Есть ли возможность спасти мусадагцев?

Тюрбедар (опять разгневался, так как сочувствие бунтовщикам очень уж претит его османскому сердцу). Пророк говорит: кто свидетельствует перед судьей в пользу предателя, тот сам предатель. Ибо сознательно или бессознательно он вносит смуту.

Старый шейх (впервые его покидает присущая ему трезвая рассудительность. Он смотрит куда-то вдаль и речь его звучит загадочно-двусмысленно). Может, погибающие уже вне опасности, а те, что в безопасности, – уже погибли...

Слуга шейха и толстый привратник с кроткими глазами разносит кофе и турецкие сласти, рахат-лукум. Шейх Ахмед протягивает гостю чашечку кофе.

Перед уходом Лепсиус снова пытается завести разговор об армянах. Но безуспешно. Старый шейх холодно отклоняет эту тему всякий раз, как пастор ее затрагивает. Зато ага Рифаат Берекет обещает нынче же вечером навестить пастора в отеле, так как уезжает через полтора суток.

Доктор Незими расстается с пастором у сераскериата. Прошли они эту длинную дорогу почти в полном молчании. Турок думает, что пастор потрясен впечатлениями от текке, потому и не находит слов. Так-то оно так, но по другой причине. Голова этого одержимого полным-полна новыми замыслами. Он думает не о таинственном новом мире, где провел несколько часов, а только «о бреши, пробитой внутрь страны», внезапно представшей перед ним по удивительной случайности. Он снова и снова молча трясет руку Незими, выражая свою благодарность. Но спутника он слушает вполуха. Турок внушает: пусть Лепсиус в ближайшие дни относится со вниманием к различным мелким происшествиям в своей жизни; каждый, кого шейх Ахмед удостоил «испытания сердца», сталкивается с явлениями, которые приобретают особый смысл, если знать, как их толковать.

Оставшись один, Лепсиус вскидывает глаза на окна резиденции Энвера. Они сверкают в полуденном солнце. Он вскакивает в какую-то пролетку.

– В армянское патриаршество!

Теперь все шпики мира ему нипочем. Он обрушивает свою неумемную энергию на изнемогшего архиепископа. Сколь это ни невероятно, сообщает он, идея его святейшества Завена, оказывается, осуществима. Консервативные турецкие круги тайно помогают армянам, никто по сию пору об этом не знает. Высшие слои общества пылают неугасимой ненавистью к атеистическим лидерам правительства.

– Пусть же послужит этот огонь на пользу нашему делу...

Католикос умоляющим жестом прикладывает руку к губам:

– Христа ради, не так громко!

Стремительное воображение пастора создает обширный организационный план. Патриаршеству нужно тайно установить связь с большим дервишским орденом и таким образом заложить основу для широко разветвленной

организации помощи, которая должна вырасти во влиятельную организацию спасения. Это послужит импульсом для правоверных мусульман, укрепит их борьбу и вызовет в народе мощное сопротивление против Энвера и Талаата.

Его святейшество Завен настроен гораздо менее оптимистически, чем Иоганнес Лепсиус. Все это ему не внове.

Он шепчет еле слышно, что не все дервишские ордены похожи на описанный Лепсиусом. Самые крупные и самые влиятельные, – мевлеви и руфай – слепо ненавидят армян. Правда, они клянут Энвера, Талаата и других лидеров Комитета, а что до геноцида, это они считают в порядке вещей.

Иоганнес Лепсиус неколебим в своем оптимизме: нужно принять протянутые руки. Он предлагает первосвященнику устроить тайное свидание с шейхом Ахмедом через посредничество Незими-бея. Но его святейшество Завен так напуган всеми этими дерзостными проектами, что, кажется, рад, когда пылкий пастор покидает его покои.

Лепсиус расплачивается с извозчиком, ждавшим его на другом конце моста. Он решает пройти пешком короткое расстояние до отеля Токатляна.

После месяцев невообразимой депрессии он чувствует такой удивительный подъем, точно за плечами большая, одержанная им победа. Правда, он ничего по-настоящему не добился, увидел только сквозь щель в стене слабый луч света. В раздумье шагает он все дальше по Гранд-рю-Пера, проходит мимо своей гостиницы.

Сейчас изумительно прохладный вечер. Сквозь верхушки деревьев, окаймляющих улицу, похожую на парковую аллею, просвечивает бледно-зеленое небо.

Это особый аристократический район города. «Посольский квартал», отмечает Лепсиус и медленно поворачивает назад. Здесь есть даже дуговые фонари, которые словно бы колеблясь, зажигаются один за другим.

Навстречу ему плавно катит автомобиль. Машина освещена изнутри. Рядом со штатским сидит офицер, они о чем-то оживленно разговаривают. Холодок ужаса внезапно пробегает по спине пастора. Он узнает Энвера-пашу. Великолепная, юношески стройная фигура, свежее лицо с длинными девичьими ресницами. А его сосед в феске и белом жилете, конечно же, Талаат-бей – таким он изображен на множестве снимков. Ну вот, Лепсиус и встретился снова со своим великим врагом. Странное дело, втайне он всегда этого хотел. Он стоит как вкопанный и смотрит вслед машине. Но едва она отъезжает метров на двести, как раздаются два выстрела подряд. Визжат автомобильные тормоза. Из темноты выступают неясные силуэты. Пререкаются резкие голоса. Зовут на помощь? У Иоганнеса Лепсиуса стынет кровь. Неужто покушение? Настиг ли рок Энвера и Талаата? И ему, Лепсиусу, довелось стать очевидцем?

Его неудержимо тянет к месту катастрофы. Он не хочет ничего видеть, но не может не подойти. Нерешительно приближается к кричащим людям. Кто-то зажег слепящий ацетиленовый фонарь, вокруг которого теснятся зеваки, наперебой дают советы потерпевшим.



Шофер, кряхтя и ругаясь, возится под машиной. А Энвер-паша и Талаат-бей стоят рядом и спокойно покуривают.

Под передние колеса автомобиля попал какой-то острый предмет, обе передние шины лопнули, машина повреждена. Но самое смешное, что Энвер не Энвер, и Талаат не Талаат: один превратился в самого заурядного офицера, другой – в заурядейшего купца или чиновника. Не примерещился только белый жилет.

Лепсиус зол на свою смутьянку-фантазию, которая откальвает такие штуки.

– Совсем спятил, – бормочет он.

Но когда часом позже у него в номере сидит Рифаат Берекет, он уже не помнит о происшествии с автомобилем. Ага в тюрбане и длинном синем бурнусе плохо гармонирует с обстановкой европейского отеля. Ему не подходит сидеть на твердом деревянном стуле, под холодным светом электрических ламп.

Лепсиус узнает, что этот старик, калиф шейха, представитель ордена «Похитителей сердец» в Сириин, намерен совершить необычайно самоотверженный поступок. Лепсиус просит его принять пятьсот фунтов ют германской организации помощи армянам и, по возможности, использовать их для мусадагцев.

Пастор действует отнюдь не легкомысленно, как может кое-кому показаться. Он убежден, – в этих маленьких светящихся руках деньги благотворителей найдут более целесообразное применение, чем в беспомощных консульствах и миссиях. Может быть, впервые теперь собранные деньги будут употреблены по назначению.

Рифаат Берекет заполняет обстоятельнейшим образом и образцово каллиграфическим почерком большой лист бумаги, составляя расписку в получении денег. Торжественно вручает ее немцу.

– Я пришлю тебе письмо с подробным отчетом о том, что я купил на эти деньги.

– А если тебе не удастся доставить купленное на Муса-даг?

– Я запасаюсь надежными документами... Не бойся! А что останется, распределю между другими лагерями. В этом случае ты тоже получишь отчет.

К концу свидания Иоганнес Лепсиус просит Рифаата Берекета писать ему в адрес Незими-бея. Так безопасней. И пусть во имя Аллаха, сохранит эту связь.

«Может, не напрасно я приехал в Стамбул», – думает Лепсиус, простившись с Рифаатом Берекетом на улице и вернувшись в свой номер. Что-то в этой маленькой комнате осталось от его тихого гостя, будто покойнее стало. Пастор ложится в постель с сознанием, что достиг большого успеха. Но теперь его осаждают образы из обители дервишей; неотступно преследуют их лица, глаза, мимика. До этой минуты он так ясно не сознавал, каких необычайных людей довелось ему сегодня встретить: шейха Ахмеда, его сына,

тюрбедара. Он вступает в длинный спор с ними, который, наконец, его усыпляет. Но сон длится недолго. Далеко за полночь его будят глухие раскаты грома. Стекла в рамах странно позванивают. Впрочем, Лепсиусу знакомо это позванивание: судовая артиллерия англо-французского флота грохочет, ломаясь в ворота Босфора.

Лепсиус садится в постели. Рука шарит по стене, ища выключатель. Не находит. И вдруг – страшный укол в сердце. Наказывал же ему. Незими, чтобы он внимательно наблюдал за своими даже мелкими впечатлениями! Они, говорил он, могут иметь особое значение. Покушение на Энвера и Талаата! То было не пустым обманом зрения, а вспышкой ясновидения, ниспосланной ему внутренней силой шейха Ахмеда. Иоганнесу Лепсиусу хочется закрыть глаза, не смотреть в эту зияющую, богопротивную бездну, что разверзлась перед ним. Глубокий ужас объемлет душу. Было ли дано ему заглянуть в будущее, или он поддался темному помыслу, жажде кровомщения?

Грохочет артиллерия, позванивают оконные стекла.

«Вздор, вздор», – внушает он себе. Но его смятенная душа догадывается, что Отец небесный восстановил справедливость прежде, чем она была нарушена.

## Глава вторая

### УХОД И ВОЗВРАЩЕНИЕ СТЕФАНА

Провожать Гайка и пловцов пришел к Северному Седлу, едва смерклось, весь народ. Людей привело сюда не только желание проститься с тремя отважными сынами Армении, которые во имя общего спасения шли почти на верную смерть; и не стремление поддержать и утешить добрым словом семьи, потерявшие своих сынов в цвету – больше всего сблизало осажденных какое-то томительное чувство тоски. Улетали три голубя – три посланца надежды, унося с собой от каждого сердца частицу неволи. С этого часа мусадагцам даровано было чего-то ждать, и пусть суждено им только ожидание. В этот час не так ощущалось бремя несвободы, угнетавшее народ Муса-дага. Свирепые матроны и те забыли думать о семействе Багратянов, о постигшем его позоре, о том тягостном происшествии, что совсем недавно вызвало бунт добродетельных. Правда, из семьи Багратянов сегодня не было никого, не явился и славный Авакян, положительный, скрупулезно честный человек; именно он обычно заменял шефа в его отсутствие. Сегодня впервые при таком важном событии среди руководителей не видно было Габриэла Багратяна. Никто, кажется, не пожалел, что нет здесь полководца и победителя в трех больших сражениях с турками, кому единственно и всецело обязан был народ семи деревень тем, что, быть может, еще раз вдохнет воздух Муса-дага. Правда, Тер-Айказун и Совет

уполномоченных без слов одобрили поступок Багратяна, которому было прилюдно нанесено такое оскорбление и который избавил Совет от необходимости закрывать глаза на случившееся. Завтра-послезавтра все опять переменится, негодование уступит место равнодушию. Прегрешение француженки в несколько часов превратило наперекор логике заодно и Габриэла со всем, что было с ним связано, в подозрительного чужака, назойливо втершегося в доверие.

Но тяжелее всего пришлось Стефану. С какой высоты он упал и надо же – все в один день! Началось с отказа зачислить его в добровольцы. Он, захвативший вражеские гаубицы, был признан недостойным сопровождать Гайка! Мало того: отец унизил его, высмеял как неженку, при Искуи, при только-только завоеванных товарищах.

Вполне понятно, что честолюбивый и глубоко уязвленный в своей гордости мальчик не почуял тайного страха за сына в жестоких словах отца, истолковал их лишь как выражение ненависти и презрения. Так отец сам подал другим сигнал сбросить сына с той высоты, право на которую Стефан так пылко отстаивал. И орава мальчишек не преминула воспользоваться сигналом. Даже одноногий Акоп не сдержал злорадного смеха, когда неудачник ретировался, потерпев поражение.

Но все, может быть, обошлось бы, если бы, к вечеру того же дня мама не довершила страшное дело отца. Несмотря на известные Стефану низкие слова, смысл которых он смутно понимал, у него никак не складывалось истинное представление об этом событии: или, точнее сказать, его представления о происшедшем свивались в клубок нестерпимой боли, едва он начинал постигать истину. Тогда он, как бегун, крепко прижимал к груди кулаки, удивляясь, что грудь человека способна вместить столько жгучей муки. Тщеславие и честолюбие умолкли. Осталась лишь эта мука. С отцом он поссорился. Мать потерял, как-то нехорошо потерял, мучительней, чем если бы ее отняла смерть. Час от часу мальчику становилось яснее, что ему нельзя вернуться ни к отцу, ни к матери, хотя все, что еще было в нем детского, страстно молило вернуться. Как ни странно, он считал, что родители уже разошлись, стали чуть ли не врагами. Поэтому, думал он, и нельзя ему к ним вернуться.

Великий замысел Стефана еще не созрел, а мальчик уже решил избегать Трех шатров. Да и мыслимо ли теперь встречаться с мосье Гонзаго и ночевать с ним в одном шатре! В сплетении жгучих мук мосье Гонзаго был едва ли не самой основной и мучительной нитью. Он заслужил дружбу Стефана, признав его ровней. А теперь в глазах мальчика он разоблаченный, подлый преступник.

Под вечер Стефан, чтобы разделаться со всеми проблемами, прокрадывается в шейхский шатер и наскоро засовывает все необходимое в свой швейцарский рюкзак. Что бы там ни было, он не намерен больше есть за маминым столом и спать на своей койке. Он хочет жить для себя и по-своему, в стороне от людей, ну, а как жить, он, разумеется, не знает.

Он стоит несколько минут перед Жюльеттиной палаткой, вход в которую

плотно затянут изнутри шнуром. Ни слова, ни звука оттуда. Лишь мерцающая светится огонек керосиновой лампы. Рука его уже тянется к палочке от маленького гонга, что висит над входом. Но он преодолевает слабость и бежит прочь со своим рюкзаком, не подавляя больше рыданий.

На Северном Седле он попал на торжественный обряд прощания с Гайком и пловцами. Никто с ним, развенчанным героем, не разговаривает. Люди как-то странно посматривают на него и отворачиваются. Подчас он слышит за спиной смех, от которого его бросает в жар и холод. Когда же он видит ватагу Гайка, он делает большой крюк. Он – отверженный.

А Сато важничает, пыжится от гордости после своего триумфа и, как видно, потчует ребят гадостными рассказами из собственного опыта. В конце концов Стефан прячется за одним из оборонительных сооружений, где его никто не тронет и откуда он может спокойно наблюдать.

Сперва напутствовали благословениями и пожеланиями удачи обоим пловцам. Они были протестантами, поэтому краткое слово прощания сказал Арам Товмасян, а Тер-Айказун лишь перекрестил каждого. Затем вардапет и пастор проводили пловцов через первую траншею и перевал Седла до того места, где густо поросший кустарником горный склон поднимается ввысь, к северу. Рассеянные облака дыма от дальнего лесного пожара стлались здесь тонким слоем и в нем, точно в растворе, распался на зыбкие пряди тумана сияющий металлическим блеском столб лунного света. И впрямь казалось, будто пловцы и провожающие вступают в напоенный светом нездешний мир.

Толпа хлынула было вслед за ними. Но вооруженные дружинники образовали цепь, сквозь которую пропустили только близких и родных пловцов. Открыли обряд прощания самые дальние родичи и крестные матери и отцы. Каждый преподнес маленький подарок на дорогу: остаток табаку, драгоценный кусочек сахара, образок либо амулет. Священники следили, чтобы расставание не слишком затянулось, и как только родственники вручили подарки, они тотчас ушли вместе с Тер-Айказуном и Товмасяном.

Остались ненадолго с пловцами только самые близкие. Короткое сдержанное объятие! Сын припадает к отцовской руке! В последний раз всхлипнув, озирается мать. В ответ ей почти ледяной кивок. И родители уходят.

Все это, как и то, что произошло сейчас, наполнило сердце осиротелого Стефана сладостно-горькой печалью.

Однако пловцы не сразу остались одни: рядом с ними вдруг встали две девушки. Они походили на них, как сестры. Но скорее всего это были невесты, а может быть, и подруги. Угроза смерти, нависшая над юношами, сама собой сняла узаконенный обычай строгий запрет жениху и невесте оставаться наедине. Обе пары разошлись в разные стороны и стали молча подниматься вверх по склону. Так девушки открыто признали перед людьми свою любовь, которая по всем людским понятиям никогда не завершится счастливым союзом. Даже толпа молчала, несмотря на все свое горе, тронутая видом этих двух пар, которые, взявшись за руки, постепенно исчезали в зыбкой, пронизанной светом дымной мгле. Но длилось это недолго, и девушки показались снова, медленно,

порознь спускаясь с горы.

С напутственным словом к следовавшему в Алеппо гонцу обратился Тер-Айказун, благословил его и перекрестил. Прощание с ним было гораздо короче и холоднее. Вдова Шушик, как переселенка, не имела здесь родни, а друзьями и вовсе не обзавелась. Люди, как известно, обходили стороной домик кавказской великанши, стоявший на дороге между Йогонолуком и Азиром. Ничего худого о ней никто сказать не мог, однако у нее сложилась малоприятная репутация особы грубой и «не нашей».

К переселенцу коренные жители во всех уголках мира относятся одинаково: переселенец всегда – личность подозрительная. Правда, вдова Шушик до сих пор и сама не пыталась сблизиться с человечеством, представленным в армянской долине, но истово работала одна, не щадя своих больших, натруженных рук. Вот почему только Тер-Айказун и пастор Арам сопровождали ее, когда она приносила в жертву единственное свое достояние – своего Гайка. Вместо отца обнял и благословил мальчика Тер-Айказун и принял от него сыновнее целование руки. Вардапет и Арам Товмасын снабдили лазутчика деньгами, чтобы он мог, если ему будет грозить смерть, откупиться. Затем они оставили мать с сыном наедине. Но вдова Шушик лишь мимоходом застенчиво погладила своими тяжелыми руками Гайка по голове и поспешила вслед за священниками. Стефан, однако, заметил, что она не присоединилась к толпе, которая широкими потоками растекалась по домам, а отстала и нерешительно направилась к скальным баррикадам.

Сегодня впервые Габриэл Багратян не дежурил всю ночь с защитниками северной позиции. Совет на эту ночь доверил пост командующего Чаушу Нурхану Эллеону. К счастью, всякая возможность атаки турок почти исключалась, хотя турецкие части еще стояли на прежних квартирах.

И так как раненый юзбаши, пребывавший на вилле Багратянов, никаких приказов не отдавал, то остатки потрепанных турецких рот воспользовались этими днями для передышки. Наблюдатели не обнаружили никаких признаков передвижения, отметив, что на проселках между Вакефом и Кебусие продолжается мирная солдатская жизнь. Дружины и обитатели лагеря были в большей безопасности, чем прежде. Их защищала охваченная пожаром грудь Дамладжка. Порой огромное пламя разгоралось, полыхая зарницами, и вокруг становилось светло, как днем. Тогда чудилось, будто пожар подступает к Северному Седлу. На самом же деле он давно наткнулся на неодолимую преграду – выступающий над Битиасом скалистый мыс с отходящими от него двумя полосами осыпи. Чувствовал себя надежно защищенным не только гарнизон, но и Нурхан, – он играл в карты с пожилыми бойцами. Люди, да и дело были предоставлены самим Себе. Все это смахивало на дезертирское становище на Южном бастионе. Ежеминутно кто-нибудь из часовых покидал пост, чтобы тоже поразвлечься с товарищами. Командующий, с которым вообще-то шутки были плохи, смотрел нынче сквозь пальцы даже на то, что бойцы, нарушив один из строжайших запретов, разожгли из хвороста костер. Так ощутимо недоставало Габриэла Багратяна, сочетавшего авторитет с

неприступностью и пронизательную доброту с умением всюду вносить четкость и порядок.

Шум голосов и полыхающее пламя костров позволили Стефану быстро взобраться на противоположный склон горы, его не увидели и не окликнули. Он торопился, Гайк наверняка ушел уже далеко вперед. Сын Багратяна бежал изо всех сил. Рюкзак был не очень тяжел: пять коробок сардин, несколько плиток шоколада, две-три пачки печенья, немного белья. Забытый отцом в палатке термос он попросил Кристофора наполнить вином. Это, да еще одеяло – вот и все его снаряжение, если не считать «Кодак», Стефан не мог заставить себя расстаться с ним, прошлогодним рождественским подарком, полученным в Париже, хоть пленки у него кончились. Это еще говорило в нем детство. Зато он раздумал стащить одну из винтовок, составленных в козлы, потому что Гайк тоже не взял с собой оружия.

За несколько минут Стефан достиг противоположной вершины Северного Седла. Перед мальчиком раскинулась длинная и просторная поляна, по которой – о, как давно миновала та ночь! – с диким грохотом и суетой втаскивали тогда на Дамладжк турецкие гаубицы. Он хотел было пуститься бегом, догнать Гайка на длинной ложине прежде, чем он скроется в непроходимой чаще. Его вдруг охватил страх: что если ему вовсе не догнать скорохода? Но не успел он рвануться вперед, как его приковала к месту и заставила спрятаться за куст представлявшая в нескольких шагах от него немая сцена.

Под ущербной луной, не расчленяемой более туманною дымкой, очень прямо и недвижно сидела вдова Шушик. Ее длинные ноги под раскинувшимся подолом, ее увеличенная лунным светом тень занимали немалый кусок мусадагской земли. А сын ее, Гайк, который и сам был долговязь-м и рослым, припал к матери, как грудной младенец. Он полулежал на коленях Шушик, прижавшись лицом к ее груди. В белесых крапинах лунного света чудилось, будто женщина обнажила грудь, что- • бы напоследок еще раз напоить собой это большое дитя. А Гайк, холодный, насмешливый. армянский мальчишка, сейчас, кажется, хотел бы раствориться в материнском теле. Дышал он прерывисто, часто всхлипывал. Но и у великанши порой вырывался сдавленный стон, когда она проводила рукой по телу этого отданного на заклятие ребенка.

Стефан стоял в своей засаде окаменелый от мучительного сострадания. Он стыдился роли невольного соглядатая и все же не мог наглядеться. Когда же Гайк вдруг вскочил и. помог матери встать, его самого точно ножом полоснуло.

Сын вдовы Шушик произнес еще какие-то слова увещания, затем сказал: «А теперь иди!».

И дикарка Шушик мгновенно послушалась, избавив себя и мальчика от муки прощального объятия. Она неуклюже, торопливо пошла прочь.

Гайк, не двигаясь, смотрел ей вслед. А когда она оглянулась, лицо его исказила боль, но он не помахал ей рукою. И все же, едва большая тень матери исчезла, он вздохнул с облегчением и медленно двинулся в путь. Стефан выжидал в своем тайнике, хотел дать Гайку уйти немного вперед. Пусть

будущий его спутник успеет позабыть о расставании, прежде чем Стефан его нагонит. Но юный Багратян не принял б расчет Акопа. Белокурый хромоножка, «книгоед», славный парнишка, целый день маялся, терзаемый угрызениями совести из-за Стефана. Ведь и он насмеялся над другом. (Изгой, люди отверженные, а к ним принадлежат и калеки, редко способны отказать себе в удовольствии позлорадствовать над «благородным», – пусть даже он друг – если его принизили до их уровня). Правда, Акоп пытался искупить свое предательство во время травли Стефана, но теперь ему этого было мало. Сейчас больше, чем раскаяние, мучила его тревога. Он предвидел все. Со свойственной ему звериной увертливостью он облазил и исходил на своей деревяшке Котловину Города и все излюбленные места ватаги. Несколько часов подряд он разыскивал Стефана. Дерзнул даже подсматривать в щелку приоткрывшейся завесы в шатер Жюльетты-ханум. И теперь вот не выходила из головы та до странности волнующая картина: большая белая женщина, простертая на кровати, как мертвая, а подле стоит командующий, не сводит с нее застылых глаз, будто уснул. Когда же Акоп во время торжественных проводов гонцов приметил за кустом Багратянова сына с рюкзаком, предчувствие его превратилось в уверенность. Задыхаясь от напряжения, он вцепился в Стефана:

– Тебе нельзя! Ты должен оставаться здесь!

Стефан грубо отшвырнул его на землю.

– Ты – сволочь. Я не желаю иметь с тобой дело!

Сын Габриэла был не из отходчивых. Но Акоп обхватил руками его ноги:

– Ты не уйдешь! Я не допущу! Ты останешься здесь!

– Пусти меня, не то я пну тебя ногой в лицо!

Калека дотянулся до Стефана и в отчаянии зашептал:

– Ты обязан остаться! Твоя мать больна. Ты ведь еще не знаешь...

Однако и это не помогло. Стефан сперва опешил, потом скривил губы:

– Я ничем не могу ей помочь.

Акоп отпрянул.

– Знаешь ли ты, что никогда сюда не вернешься, никогда больше не увидишь ее...

С минуту Стефан стоял потупясь, потом повернулся и бросился вдогонку за Гайком. За его спиной Акоп, задыхаясь, твердил:

– Я закричу... Разбужу всех... Пускай запрут тебя... Ох, Господи, я закричу...

И он действительно закричал. Но голос у Акопа был слабый, хватило его только, чтобы настичь и остановить Гайка, который и ста метров не успел пробежать. Бегун обернулся и замер на месте. Стефан кинулся к нему, по пятам за Стефаном бежал Акоп. Опережая Акопа, его голос, Стефан кричал на ходу:

– Гайк, я иду с тобой!

Посланец народа дал обоим подойти поближе. Затем сощурился, смерил суровым взглядом Стефана.

– Зачем вы меня задерживаете? Каждая минута дорога.

Стефан решительно сжал кулаки.

– Я пойду с тобою в Алеппо!

Гайк вырезал себе палку. Сейчас он держал ее, вытянув перед собой, как оружие, чтобы помешать непрошеному попутчику подойти чересчур близко.

– Совет уполномоченных поручил это мне, и Тер-Айказун меня благословил на это дело, тебе ничего не поручали и никто тебя не благословлял.

Акоп – в присутствии Гайка он всегда робел и даже лебезил перед ним – угодливо подхватил:

– Тебе ничего не поручали и никто тебя не благословлял. Тебе это запрещено!

Стефан ухватился за конец палки и стиснул ее, – это было как рукопожатие.

– Хватит места и для тебя и для меня.

– Не о тебе и не обо мне речь, а о письме, я должен передать его консулу Джексону.

Стефан торжествующе похлопал себя по карману:

– Я списал письмо Джексону. Два лучше, чем одно.

Гайк ткнул палкой в землю, как бы давая понять, что разговор окончен:

– Опять хочешь быть умнее всех?

Акоп слово в слово продекламировал и это. Но Стефан не отступал.

– Делай что хочешь! Места хватит. Ты не можешь помешать мне пойти в Алеппо.

– Но ты можешь помешать письму дойти до Алеппо.

– Я ходок не хуже тебя!

В голосе Гайка зазвучала та высокомерная нота, что так часто выводила Стефана из себя:

– Опять пыль в глаза пускаешь?

После всех нанесенных ему сегодня ран это было Стефану уже не под силу. Он сел на землю и закрыл лицо руками. Но Гайк дал волю своему презрению:

– Хочет в Алеппо идти, а уже нюни распустил.

Стефан, рыдая, проговорил:

– Я не могу туда вернуться... Иисусе Христе... Я... не могу... туда...

То ли Гайк понял, что происходит сейчас со Стефаном, то ли вспомнил о своей матери, а может, ему захотелось не быть совсем одному в пути. Кто знает? Так или иначе, он смягчился, даже повторил слова Стефана:

– Ты прав, места хватит. Никто не может тебе помешать...

Но Акоп, собравшись с духом; сделал отчаянную попытку:

– Я! Я помешаю! Да я, ей-богу, сам донесу на него!

Это глупое слово «донесу» все решило. Оно привело Гайка в ярость. При всей своей серьезности и ранней зрелости он еще хранил в памяти законы школьной мальчишеской чести, которые на всем свете одинаковы. «Ябеда», всякое доносительство, какой бы цели оно ни служило, согласно этим законам – непростительное преступление. С поистине поразительным бездушием Гайк



обрушился на калеку:

– Донесешь? Попробуй только! Но прежде я так тебе разделаю другую ногу, что ты и домой не доползешь.

Акоп в ужасе отпрянул. Он знал, каков Гайк, имевший обыкновение подкреплять свои угрозы кулаками. Сопротивление «белобрысого» – Гайк терпеть не мог Акопа – дало повод проявиться его тиранической натуре и дело обернулось в пользу Стефана. И Гайк задал Стефану трезвый вопрос:

– Хватит у тебя еды на пять дней? Столько времени нужно на дорогу, если все обойдется.

Стефан гордо похлопал по своему рюкзаку, словно с избытком запаса для дальнего похода. Гайк не стал его проверять и коротко скомандовал:

– А теперь марш! Я и так из-за вас столько времени потерял.

Он широко шагнул вперед, не оглянувшись на Стефана, который следовал за ним по пятам. Гайк, выходит, не взял с собою Багратянова сына, только терпел его присутствие, потому что в этих непроходимых ночью горах и правда «места хватало».

Акоп растерянно смотрел, как за ближней кручей, залитой лунным светом, исчезали «посланец» и «нарушитель». Потом он почти час ковылял до своего дома в Котловине Города. Камнем лежал на сердце безумный побег Стефана. Акопу вспоминалась куда более невинная шалость, вылазка за библией Искуи, а ведь как ужасно могла бы окончиться тогда эта выходка!

Что делать? В шалаше, отведенном его семье, почти все уже спали. Хриплым спросонья голосом отец обругал его за поздний приход.

Акоп, не раздеваясь, бросился на свою циновку и устался в прутьяной потолок шалаша, пропускавший, как сквозь тонкое сито, лунный свет. Он еще не спал, когда глубокой ночью семью разбудил Самвел Авакян. Бедняга Акоп тотчас все рассказал и повел Габриэла Багратяна, Кристофера, Авакяна и других мужчин, вызвавшихся помочь Габриэлу, к тому месту, где он оставил Гайка со Стефаном. За беглецом немедля отрядили погоню. Но Багратян с Геворком-«плясуном» вернулись на рассвете ни с чем, так же, как и другие. Мальчики, как видно, ушли уже очень далеко. Вдобавок, Гайк предпочел идти не предложенной ему дорогой, а довериться своему безошибочному чутью.

Пока пловцы, срезав мыс Р.ас-эль-Ханзир, спокойно и уверенно шли короткой дерюгой к приморскому местечку Арзусу, два мальчика всю ночь напролет одолевали бесконечно утомительные подъемы и спуски горной цепи.

Гайку было приказано: держаться безопасного горного хребта, пока он не достигнет южного конца Бейланской долины. Если же он затем у Кирк-хана выберется на равнину, то пускай все время идет вдоль большого шоссе, которое ведет через Хаммам в Алеппо. На кукурузных полях, где урожай уже собран, и на выжженной степи он может лунными августовскими ночами спокойно продвигаться вперед и в случае опасности легко найдет укрытие. Но вблизи большого города он должен будет выйти на военную дорогу и вскочить в какую-нибудь крестьянскую повозку, нагруженную кукурузными початками или лакричным корнем. Таким способом, он, бог даст, проскользнет в город

мимо часовых у городской заставы. Но что бы там ни было, письмо к мистеру Джексону никоим образом не должно быть обнаружено при нем.

Гайк в точности изложил своему спутнику задачу и, не щадя краток, описал опасности и трудности, что ждут их на равнине. Здесь же, в безлюдных горах все покамест только детская игра. После часа ходьбы пастушья тропа, от которой Гайк не отклонялся, хоть и не видел ее, пошла немного под уклон, к долине. Посланец народа остановился и сделал Стефану последнее предупреждение:

– Ну вот, у тебя есть еще время вернуться. Ты не заблудишься. Обмозгуй, как тебе быть! Потом нельзя будет.

Стефан сердито отмахнулся. Но в сердце его вкралось сомнение. Причины ухода вдруг показались ему не очень убедительными.

Гайк кивнул на Дамладжк; далекое красноватое зарево говорило, что лесной пожар продолжается.

– Ты туда не вернешься и никого из них больше не увидишь...

Сын Багратяна никак не мог признаться в своем истинном и тайном желании. Стефан скорее бы умер, чем выказал бы слабость перед Гайком. Охваченный смущением и стыдом, он вынул из кармана карту местности, которая прежде висела в кабинете дяди Аветиса, и сделал вид, будто всерьез изучает при ярком лунном свете их местонахождение. Гайк разозлился, что он «фасон ломает», вышиб карту у него из рук и больше не расточал благих советов. В пику гордецу Стефан решил Доказать, что сильнее его как ходок. Он перешел на бешено скорый аллюр, напряг все мышцы, чтобы вымотать спутника. А тот и не думал поддаваться, не взял навязанный Стефаном бессмысленный темп. Внезапно Стефан с ужасом заметил, что остался один. Он не только не доказал свое превосходство, но заблудился и сам ни за что бы не выбрался из обступившей его чащобы. Сердце его колотилось, но он не смел позвать Гайка. Когда же через какие-то бесконечные минуты из-за стены кустарника вынырнула высвеченная луной фигура Гайка, нимало не озабоченного участью скорохода-самозванца, Стефан постарался скрыть свой постыдный опыт и молча присоединился к сильнейшему. Так навсегда кончилась борьба за первенство. Вскоре они очутились в узкой долине. По правую руку от них простиралось большое селение Сандеран. Огни там, слава богу, были погашены. И лишь одинокий голос гнусаво тянул избитую мелодию. Жутко было пробираться через это обжитое и таившее в себе смерть селение. Они едва унесли ноги от диких собак Сандерана, псы преследовали армянских мальчиков до самой околицы. С поразительной уверенностью Гайк снова нашел пастушью тропу, которая вела на северо-восток, в горы. Они опять пошли редким лиственным лесом, залитым лунным сиянием. Стефаном вдруг завладело манящее в даль свежее обаяние ночи. Он забыл обо всем. Его так и подмывало петь, кричать от радости. Усталость? Разве она бывает?

После восхода солнца они, хотя много раз делали привал, прошли около десяти миль и достигли места, где горы спускаются к северу широкими лесистыми террасами. Стефану с его картой это ничего не сказало. А Гайк

сразу определил нужное направление.

– Нам туда, Бейлан там!

Он всецело полагался на свое чутье, хотя только раз ездил с матерью в Бейлан и Александретту, к тому же верхом на осле и совсем другой дорогой – вдоль побережья. И теперь он, довольный, сказал, что надо найти место, где бы можно поспать, поесть и до полудня чуть чуть передохнуть. Тут не разоспишься, что поделаешь, иначе нельзя! Гайку не понадобилось долго разведывать местность, он сразу нашел тенистую лужайку с мягкой травой и ручьем. Впрочем, для этого не требовалось быть колдуном – окрестности Муса-дага с их водоносной почвой изобиловали родниками и ручьями. Гайку, который безошибочно, можно сказать, всей кожей отзывался на скрытые свойства любого клочка земли, на малейшие перепады температуры, изменения растительности и приближение зверя, Гайку смехотворной малостью казалось уметь найти воду.

Мальчики расположились у русла ручья, который так кстати образовал маленькую водомоину. Сначала они утолили жажду. Затем дитя цивилизации извлекло из своего рюкзака кусок мыла и стало – к удивлению Гайка – наводить на себя чистоту. Гайк с язвительной серьезностью наблюдал за этим явно излишним занятием. Когда же Стефан помылся, Гайк блаженно погрузил ноги в холодную водомоину, – как-никак, ноги-то самое главное!

Потом они с мальчишеским азартом стали меняться съестными припасами. Вдова Шушик дала сыну на дорогу три круга колбасы из мелко нарубленной баранины и жира с луком, а кроме того, твердый, как камень, бог весть где раздобытый хлеб. Утайка хлеба, мучных изделий и круп считалась на Дамладжке большим преступлением и каралась многодневным лишением рациона. Однако в шалашах таинственным образом появлялись подобные сокровища и происхождение их оставалось загадкой. Старая история: никакое установленное рационирование, даже строжайшее, не в состоянии остановить творческой жизненной энергии, которая из ничего создает невозможное.

Было нечто символическое в том, что Стефан менял на баранью колбасу с лепешкой французские сардины в оливковом масле, швейцарский шоколад, диковинные деликатесы самое название которых вряд ли было известно Гайку. Мальчики не умеряли свой аппетит, но задумывались о завтрашнем дне. Вдруг Гайк убрал свою еду и посоветовал Стефану:

– Ты лучше попей воды, а еду побереги.

Так и поступили: выпили, черпая алюминиевым колпачком термоса, уйму родниковой воды, к которой Стефан подливал свое вино. Он чувствовал себя так привольно, будто участвовал в веселой каникулярной прогулке, а не шел вместе с другим сыном Армении в огромный безжалостный город выполнять смертельно опасное задание, на которое не имел ни права, ни полномочий. Казалось, вся боль безвозвратно осталась на Дамладжке.

Какая же это была сокровенно трепетная радость – после ночи похода жить, как человек, в этом бесхитростно добром утреннем мире! Стефан подложил под голову свернутое одеяло. А рассветная рань мало-помалу

разливалась теплом.

Он еще раз приподнялся и по-детски наивно спросил:

– А дикие звери сюда не придут?

Гайк важно положил рядом с собою свой широкий обоюдоострый нож.

– Со мной тебе нечего бояться. Я, даже когда сплю, все вижу. И Стефан не боялся! Вот ведь какой надежный сторож Гайк – даже когда спит.

Ни к кому еще не чувствовал Стефан такого самозабвенного доверия, как к этому грубому пареньку, чьего одобрения он всегда так страстно добивался. Теперь он безоговорочно покорился ему как вожаку. Засыпая, он пошарил рукой, проверил, на месте ли друг, – Теперь нам надо сделать тарбуши, – объявил наутро Гайк, – чтобы на нас не слишком обращали внимание, если нам встретятся люди.

Он снял с себя агил, – свернутый жгутом платок, которым подпоясываются, развернул и повязал его по всем правилам искусства вокруг своей войлочной шапки. У Стефана дело не клеилось, и Гайк помог ему соорудить из его шарфа головной убор пророка. И попутно наставлял неопытного сотоварища:

– Если что случится, ты во всем подражай мне. А самое лучшее – держи язык за зубами.

Перевалило за полдень. Между верхушками буков и дубов проглядывало пронизанное золотом лучей небо, в котором парили хищные птицы. Больше шести часов мальчики были в дороге. Впрочем, слово «дорога» преувеличение, потому что пастушья тропа нигде больше не показывалась и ребята шли попросту напролом по водоотводным канавам, ведь кому как не им вывести в долину. Слово «напролом» здесь самое подходящее – каждый шаг в этом месте затруднял вьющиеся растения, густой крепкий подлесок, чаща кустарников, твердых и упругих, как резина, и вдобавок оснащенных острыми шипами, точно колючая проволока. Просто не вообразить, сколько террас и- каменных круч предстояло одолеть ребятам. Горы будто нарочно придумывали новые увертки, – лишь бы не признаваться, что и они где-нибудь кончаются.

На Стефане живого места не осталось. Руки, колени, ноги были сплошь в ранах и ссадинах. Он не проронил ни слова за много часов, ни разу не пожаловался.

Сейчас они сидели на безлесном холме, а перед ними тянулась белая, словно из известки, горная дорога на Бейлан, с виду она была совсем новая, нехоженная. Кучи свежего щебня говорили, что здесь ведутся работы.

И действительно, постройка этой дороги, соединяющей порт Александретту с равниной Алеппо, а тем самым – Средиземное море со всею Азией, дала возможность диктатору Сирии, Джемалю-паше, проявить свою безграничную власть и энергию. Безжалостный генерал повелел за один месяц превратить эту болотистую, непроезжую дорогу в безукоризненно ровное, первоклассное бетонированное шоссе; и такое шоссе было проложено, так что сами турки изумлялись тому, какой в них, оказывается, непочатый край энергии.

В этом месте дорога сворачивала на восток. Просматривался только малый ее отрезок, но в поле зрения не было ни души, ни одной повозки, лишь порой перемахнет через белую ленту заяц или белка. С тоской смотрел Стефан вниз, на запретный проторенный путь. Но и Гайк оказался слаб, не устоял перед соблазном. Не предупредив Стефана о своем отчаянно рискованном шаге, он вскочил и помчался под откос. И едва почувствовав под ногами гладкую поверхность, они испытали физическое наслаждение: такое бывает, когда утоляешь жажду.

Стефан ощутил новый прилив гордости, прилив сил. Он не отставал от Гайка. Постепенно справа и слева вставали более отвесные вершины. Дорога превращалась в ущелье, теснину. Странное дело: это давало ощущение безопасности, а с ним и беззаботности. Позднее горы немного раздвинулись, дорога пошла круто вниз. Еще один поворот и перед ними откроется равнина. Непроизвольно покоряясь уклону дороги, они стремились навстречу гибели, потому что как только мальчики миновали ее изгиб, перед ними открылась не равнина, а турецкая караульная будка, над которой развевался флаг с полумесяцем. Перед караульной слонялись без дела четверо отвратительных заптиев. А на обочинах работало, вооруженное лопатами и ломami, подразделение иншаат табури.

Усталость притупила все чувства, и мальчики не слышали ни шума работ, ни заунывного пения солдат военно-строительного батальона.

Испуг и изумление их были так велики, что сам Гайк оцепенел, с полминуты стоял неподвижно. Опомнившись, он схватил Стефана за руку и бросился вместе с ним бежать. Они ринулись в рощу за поворотом шоссе.

К несчастью, здесь не оказалось ни скал, ни кустарников, только тонкие молодые деревца, буковая поросль, где мудрено было укрыться. Гора полого поднималась вверх. Куда? Внутренним зрением Гайк увидел как один из заптиев вытянул шею, приложил руку щитком ко лбу, пристально всматриваясь в даль, потом что-то гортанно крикнул и вместе со всей командой пустился за ними в погоню. И это не было только кошмарным сном наяву: слышны были голоса! Под ногами турок шуршала опавшая листва. Стефан зажмурился и крепко прижался к Гайку. А он обнял его левой рукой, в правой держал свой раскрытый обоюдоострый нож – готовность умереть.

Но то не листья шуршали, то был шепот, кто-то шептал им, притом не по-турецки, а по-армянски:

– Ребята, ребята! Где вы? Не бойтесь!

Словно с того света звучала армянская речь. Когда Стефан открыл глаза, он увидел, что между стволами буков пробирается оборванный солдат строительного батальона. Живой труп со всклокоченными волосами и огромными глазами. Точь-в-точь Саркис Киликян! Гайк успокоился, спрятал нож. Голос мостильщика дрожал от волнения:

– Ты, часом, не сын большой Шушик, – у нее еще дом на дороге в Йогонолук? Не узнаешь меня?

Гайк, недоверчиво косясь на жалкий скелет в лохмотьях, подошел к нему

поближе.

– Ваган Меликенц из Азира, – неуверенно, словно наугад называя имя, сказал он.

Солдат стройбата закивал, и по щетинистым щекам в клочковатую бороду побежали слезы. Его потрясла встреча с юными земляками.

Гайк правильно назвал его имя. Но что общего было у этого оборванца с настоящим Меликенцем, тутоводом, самонадеянным, видным мужчиной, с которым Гайк встречался каждый день?

А Меликенц в отчаянии воздел руки:

– Вы что, с ума сошли? Чего вы здесь не видали? Слава Христу Спасителю, что онбаши вас не заметил! Вчера они вон там, за поворотом, расстреляли пять армян, целую семью, которая пробиралась в Александретту.

Гайк уже вполне овладел собой и с сознанием своего достоинства рассказал о поручении, возложенном на него Советом.

Меликенц пришел в ужас:

– Дорога до самого Хаммама заполнена иншаат табури. И в Хаммам вчера прибыли две роты, их пошлют на Дамладжк. Обойти их вы можете только ночью, болотами Ак-Дениза. Но там вы увязнете.

– Не увязнем, Меликенц, – кратко и убежденно ответил Гайк и потребовал от земляка показать кратчайшую дорогу на равнину.

Ваган Меликенц застонал.

– Если они меня хватятся, если я опоздаю на перекличку, я получу бастонаду третьей степени. А может, они меня и расстреляют... Ну и пускай, плевать я хотел! Вы, ребята, понятия не имеете, до чего мне все опостылело. Ах, если бы я пошел с вашими на Муса-даг, а не с нашим пастором, с Нохудяном! Ваши толково рассудили. Помогай им Христос! Нам он не помог.

Ваган Меликенц не на шутку рисковал жизнью, взявшись показать ребятам обходный путь. Правда, им пришлось одолеть короткую и сравнительно легкую дорогу лесом. Бедный тутовод говорил без умолку, – не то хотел собрать воедино всю сокровищницу утраченных слов, не то спешил расточить их, пока не настал конец. И, кажется, он не так стремился узнать о событиях на Муса-даге, как поведать о собственной судьбе. Так Гайк и Стефан узнали, что случилось с группой Нохудяна. В Антиохии всех трудоспособных мужчин отделили от эшелона и послали в Даммам на дорожное строительство. Женщин, детей, стариков и больных заставили идти пешком по направлению к Евфрату. Что до армянского иншаат табури, то это особая статья. Каждое подразделение прикрепляется к определенному участку дороги и обязано обработать его в указанный срок. Как только онбаши докладывает, что задание выполнено, подразделение созывают барабанным боем, ведут в ближайший лес и там специальный, набивший в этом деле руку отряд беглым огнем укладывает поголовно всех армян.

– Наш участок доходит до Топ-Богсахи, – деловито высчитывал Меликенц. – Это еще сорок тысяч шагов. В общем и целом получится шесть или семь дней, если делать с умом. А там наш черед. Стало быть, ежели они меня нынче

расстреляют, я теряю только шесть, от силы семь дней.

Несмотря на этот простой расчет, Ваган Меликенц, проводив ребят до нужного места, бежал обратно, не чуя под собой ног. Шесть дней этой страшной жизни были как-никак днями жизни. Прощаясь, он сунул в руку Гайка ком густого турецкого меда, подаренного ему одной сердобольной мусульманкой.

Надвинулись ржаво-красные вечерние сумерки, когда мальчики стояли на последней, нижней террасе горного склона.

Перед ними вплоть до самого горизонта простиралась равнина. У своих ног они увидели большое озеро. На матово-молочной безмолвной глади его лежало тусклое отражение вечера. Это было Антиохийское озеро, его удавалось иногда увидеть с некоторых наблюдательных пунктов Дамладжка. Но здесь передними совсем близко – рукой подать – было «белое море», Ак-Дениз. Северный берег озера широкой каймой оторочили заросли камыша, в котрых бурлила, хлюпала, стонала жизнь. Из камышей, неуклюже взметнув крылом, взмывали серебристые и пурпурные цапли; они кружили над озерной гладью, грациозно вытянув лапки, точно плывя в кильватерной колонне стаи. Затем снова медленно опускались вниз, к насиженным местам. По белесой воде, громко крикая, с быстротой торпеды промчался косяк диких уток и высадился на островке в камышах. До слуха ребят доносилось множество звуков: сварливо переругиваются болотные овсянки и разглагольствуют совсем по-людски – едва ли не о политике – тысячи огромных, надутых лягушек. Кольцо камышовых зарослей вокруг Ак-Дениза лишь постепенно терялось вдаль, на равнине. Куда ни глянь, все те же густые купы кустарника, да иногда омуты – слепые глаза, подернутые бельмами. По сравнению с пустынной степью эта теснившаяся вокруг озера жизнь казалась, пожалуй, чрезмерной. Озеро походило на труп сказочного зверя, которым кормятся разнообразнейшие стервятники.

В поле зрения Стефана вмещалось только озеро, но зоркий глаз Гайка тотчас приметил шатры кочевников, рассеянные на востоке, и лошадей, которые паслись, понунив головы, в туманной дымной пустоте.

Гайк, никогда не забывавший о цели похода, показал рукой вдаль:

– Нам туда. Между шоссе и болотами. Двинемся, когда взойдет луна. Давай свою флягу. Я принесу воды. Здесь она еще хорошая. Нам надо выпить много воды. А пока можешь поспать.

Но Стефан не лег спать, он подождал, пока его вожатый вернется с наполненными водой флягами. Он послушно пил сколько мог. О еде они оба и не думали. Гайк разостлал свое одеяло так, чтобы можно было в него завернуться. Стефан подполз к нему. Сейчас ему было мало того прохладного соседства с Гайком, каким он довольствовался раньше, на рассвете, когда они спали рядом. Он не мог побороть нагнетаемую страхом жажду любви и дружбы. И что же? Гайк его понял, Гайк был не тот, что прежде, холодный и замкнутый. Гайк его не оттолкнул. А может, душевная близость с сыном Багратяна не так уж была ему неприятна. Он притянул Стефана к себе и, словно старший брат, укутал одеялом. Они уснули обнявшись.

Стефан и Гайк вышли на равнину. И тут сверх всякого ожидания открылось, что ущелистый, своенравный Муса-даг гораздо удобнее для пешехода, чем эта обширная плоскость, называвшаяся Эль-Амк, – Впадина. Коварно зыбучая, покрытая зеленовато-коричневой Коркой, почва уже сама по себе была враждебной, совсем не христианской землей.

Нужно было обладать остротой мысли и почти звериным знанием природы, присущими Гайку, чтобы отважиться на переход по такой дороге, да еще ночью. Ведь Эль-Амк была не что иное, как топкая ямина, болото длиной около десяти километров, и обходить его надо было не отклоняясь, по самой его кромке. Лишь у немногих пастухов, крестьян и кочевников хватило бы духу укоротить таким способом путь, чтобы избежать длинного перехода по шоссе, до моста Кара-Су. Но у мальчиков не было выбора, – сказал же Ваган Меликенц, что по всему шоссе расставлены солдаты, заптии и иншаат-табури. Гайк снял башмаки, потому что «босиком лучше землю распробуешь». Стефан последовал его примеру. Как нам уже известно, у него давно пропала охота щеголять своими достижениями. Они шли словно по очень тонкой, очень теплой корке хлеба, под которой еще бродил недопеченный мякиш.

Корка эта вся растрескалась и из трещин поднимались густые сернистые испарения. У Стефана хватило ума идти след в след за Гайком, который, сосредоточив все свое внимание, переставлял ноги точно танцор, делающий положенные па. И во время этого танца в голове у Стефана начался сумбур, заколобродили какие-то чудные, неотвязные мысли:

– Все люди ходят по шоссе. А нам почему нельзя? И вообще, почему мы армяне?

Гайк сердито оборвал:

– Не задавай дурацких вопросов! Смотри лучше под ноги. Где земля зеленая, туда не ступай. Понял?

Тогда Стефан решил снова погрузиться в ту душевную тупость, которая лучше всего помогает переносить физические страдания. Он покорно вытанцовывал все па Гайка, который выписывал на опасной хлебной корке самые замысловатые фигуры. И так час, два часа, а луна в это время то любезно выглядывала, то коварно пряталась. Однако, несмотря на оставшийся позади огромный пройденный путь, усталость Стефана с наступлением ночи, казалось, пошла на убыль. Полумысли и получувства, словно подпочвенные воды, вновь с болью просачивались в мозг. Это было непреодолимо, требовало себе выхода. Он должен был говорить, как ни боялся Гайка.

– Так это правда, что мы никогда больше не увидим наших? – Более интимного определения родных Стефан избегал.

Гайк не прерывал своего фигурного танца над топью. Прошло некоторое время, пока он, выбравшись на более надежную почву, ответил. Однако ответ его, хоть и проникнутый истинно христианской верой, больше смахивал на удар кулаком, нежели на сложенные молитвенно руки:

– Я-то наверняка увижу свою мать!

Это было первое личное признание, услышанное из уст Гайка за все время



их знакомства. Но так как ученику парижской гимназии не дана была эта крепкая вера, какой обладал грубый мальчишка-горец, то он оробел и смутился,

– Но ведь на Дамладжк мы не можем вернуться...

По тому, как, еле сдерживая себя, ворчливо отвечал Гайк, заметно было, что ему донельзя противен этот разговор:

– Дамладжк уже позади. И коли Христос пожелает, мы дойдем живые до Алеппо. А там Джексон спрячет нас в консульстве... Так написано в письме...

И с оскорбительной интонацией прибавил:

– О тебе, конечно, в письме ничего не написано.

Но Стефан был сейчас занят вовсе не своей особой, а папой и мамой, которых он так безрассудно бросил; почему бросил – он уже и сам не знал. Вся жизнь как-то странно сместилась: Дамладжк стал страшной фанатасмагорией, а все прошлое – подлинной, добротной и благоустроенной действительностью. Джексон должен сделать все, чтобы исправить это недоразумение. Нельзя же допустить, чтобы Стефан Багратян не свиделся с родителями. Он приводил всевозможные соображения в пользу этого, как бы размышляя за консула Джексона.

– Джексон телеграфирует по кабелю. В Америку-то можно ведь телеграфировать по кабелю? Как ты думаешь, американцы пришлют суда за нашими?

– Я-то почему знаю, балда!

Гайк ускорил шаг, – видно было, что злится. Запуганному Стефану пришлось подавить свое желание Открыть душу, и он поторопился, чтобы не отстать от вожака.

Было безветренно, но Стефану казалось, будто об его грудь разбиваются бушующие воздушные валы и не пускают вперед. Как он ни старался, он не мог разобраться во всей этой истории и сладить с собой. Голова у него пошла кругом. Внезапно мощное дыхание лунного света заполнило мир. На Стефана упал изумрудный луч. На какой-то миг он перестал сознавать, как близка опасность.

Душераздирающий вопль приковал Гайка к месту. Он сразу понял, что произошло. Призрачный силуэт Стефана барахтался в трясине, он увяз уже по колени. Гайк прошипел:

– Тише! Да не кричи ты!

Но безотчетный страх снова и снова исторгал этот неудержимый крик. Стефану чудилось, будто он попал в пасть китообразного чудовища, и оно, чавкая, медленно перемалывает его челюстями и заглатывает. Пузыристая, вязкая масса поднялась уже выше колен. Но в те секунды, когда Стефан переставал сопротивляться, он – всему вопреки – испытывал странную приятность.

Гайк скомандовал:

– Сперва одну ногу! Правую! Правую ногу!

Боязливо постанывая, Стефан делал какие-то несуразные движения. Бессильные ноги не повиновались. Он услышал новый резкий приказ:

– Лечь на живот!

Он покорно нагнулся, так что мог кончиками пальцев коснуться сулой земли. Когда же Гайк увидел, что у Стефана не хватает энергии выкарабкаться, он подполз на животе к кромке трясины. Но и протянутая палка, за которую ухватился увязший Стефан, не прибавила ему сил. Тогда Гайк размотал свой платок-подпояску, служивший теперь тюрбаном, и бросил Стефану, чтобы тот завязал его узлом вокруг груди. Другой конец платка он с железной силой сжимал в руке. Платок служил сейчас спасательным канатом. Наконец, после бесчисленных попыток Стефану удалось вытащить правую ногу – она не так глубоко увязла. Прошло добрых полчаса, пока Стефан передохнул и снова, еще нетвердо держась на ногах, ступил на коварную почву; Гайк вел его за руку. Стефан был по самую грудь покрыт тиной; на воздухе она быстро сохла и, превращаясь в крепкую корку, стягивала кожу на руках и ногах. По счастью, Стефан сунул башмаки в рюкзак и, сражаясь с трясинной, успел забросить его далеко на сушу. Гайк твердой рукой вел полубесчувственного Стефана. Он не бранил его за неосторожность, только повторял как заклинание:

– Мы должны быть у моста до рассвета. Может, там стоят заптии... В сыне Багратяна пробудились гордость и самолюбие:

– Теперь я сам... я и сам могу теперь идти...

Когда они свернули на север, почва стала тверже. Она уже не пружинила под ногами, как новый матрац. Стефан высвободил руку из ладони Гайка и деланно молодецкато шагнул, отбивая такт. Чутье подсказало Гайку, что река Кара-Су близко. Вскоре они перелезли через дамбу на шоссе, которое озаряло ночной мир, словно широкая полоса света. Караулка у моста была пуста. Ребята промчались, точно гонимые бесами, и миновали эту величайшую опасность, которая, к счастью, была воображаемой.

Однако на этот раз гладкое военное шоссе подействовало на Стефана совсем иначе, чем днем. Торная дорога цивилизации отняла у него последние силы. За мостом он брел, все чаще останавливаясь. Потом пошел зигзагами и вдруг лег посреди шоссе.

Гайк, оцепенев, уставился на Стефана. Впервые им овладело отчаяние:

– Я теряю время...

По другую сторону моста, примерно в часе ходьбы от него шоссе упирается в длинную и высокую каменную дамбу над последним большим болотом Эль-Амка. Называется дамба Джизир Мурад-паша, и за ней открывается огромная степь, которая тянется много сотен миль мимо Алеппо и Евфрата до Месопотамии. Но неподалеку от дамбы, к северу от шоссе, виднеется пленительное холмогорье, – последний зеленый блик милосердия перед смертью и оцепенением.

У подножия этого холмогорья лежит большое туркменское село Айн-эль-бэд – «Чистый источник». Однако задолго до того, как разбросанные поселки сливаются в одно село, у шоссе встречаются отдельные деревянные и каменные дома, сверкающие белизной крестьянские усадьбы. Здесь полвека назад правительство Абдула Гамида-заставило осесть одно из кочевых

туркменских племен. Лучшего и более рачительного земледельца, чем такой обращенный кочевник, не сыскать, что доказывали прочные стены и надежно крытые кровли жилищ на этой благодатной земле.

Первый хутор лежал у самого края шоссе. Через час после восхода солнца из двери дома вышел хозяин, определил направление ветра, страны света и расстелил коврик, дабы, повернувшись лицом к Мекке, сотворить раннюю из пяти ежедневных молитв. Благочестивый человек заметил двух юнцов лишь тогда, когда они, усевшись на свои одеяла перед самым домом, совершили все положенные поклоны и повороты -

так же обстоятельно, как и он. Туркмену понравилось усердное – ни свет ни заря! – служение богу юных паломников, но как невозмутимый мусульманин он и не подумал суетным вопросом прерывать моление. Гайку удалось со многими передышками перетащить Стефана через дамбу Джизир Мурад-паши к этому холмогорью. У крестьянского

дома он опять строго-настрого наказал Стефану во всем в точности подражать ему, и рот раскрывать как можно реже, раз он по-турецки всего каких-нибудь два-три слова знает, и так их выговаривает, что сразу себя выдаст. А что надо будет молиться по-мусульмански, так это никакой не грех, если после той молитвы вдумчиво скажешь шепотом «Отче наш». Но у Стефана это не получилось. Безжизненный, негнувшийся, словно деревянная кукла, он сумел только, предельно напрягая силы, повторить движения Гайка, – и то была лишь бледная копия Гайка – его обрядовые движения. После чего сразу же лег на свое одеяло и уставился стеклянным взглядом в ясное утреннее небо.

Туркменский крестьянин, пожилой человек, подошел вразвалку к подозрительной паре юнцов.

– Это что за озорники? В такую рань уже на дворе? С чего бы?

Что вам тут надо?

К счастью, он сам говорил на каком-то турецком наречии, так что армянский акцент Гайка не очень привлек его внимание.

В Сирии, этом гигантском смесителе народов, перемешались и языки. Вот почему иное звучание слова не вызывало в туркмене недоверия.

– Sabahlar hajr olsun! Доброе утро, отец! Мы идем из Антакье. По дороге отстали от родителей. Они ехали в повозке в Хаммам. А мы хотели немножко пройтись и заблудились. А вот он, его звать Гусейн, чуть не утонул. В болоте. Ты только погляди на него! Он захворал. Не найдется ли у тебя местечко для нас, где бы нам поспать?

Туркмен с глубокомысленным видом погладил седую бороду. Потом, войдя в положение мальчиков, высказал, однако, такое довольно справедливое соображение:

– Что это за родители, которые бросают детей посреди болота и едут дальше? А это кто? Твой брат, что ли?

– Нет, просто родственник, и тоже из Антакье. Меня звать Эсад...

– Ну, знаешь ли, этот твой Гусейн, и правда, видно, болен. Может, он

болотной воды напился?

Гайк поспешил ответить неким благочестивым изречением, потом склонил голову:

– Дай нам поесть и поспать, отец!

Все это притворство оказалось ненужным, ибо сердце у туркмена было предоброе. Много месяцев подряд проходили мимо его дома, этап за этапом, отверженные. Сколько раз он тайно, по мере своих возможностей, делал добро больным армянам, беременным армянским женщинам, которые без сил падали на дороге, утолял их голод и жажду, одевал и обувал, не так уж часто рассчитывая на вознаграждение в мире ином.

Но из-за заплывов совершать эти добрые дела приходилось с величайшей осторожностью. По новому закону преступное сострадание к армянам каралось батоной, тюрьмой, а иногда и смертью. Испытали это на себе по всей стране сотни великодушных турок, у которых сердце разрывалось при виде нечеловеческих страданий ссыльных. Крестьянин внимательнейшим образом разглядывал двух бродяг. В памяти его ожили тысячи армянских глаз, глядевших на него с мольбой там, на шоссе. Итог этого мысленного сопоставления был ясен, особенно это относилось к больному мальчику. Но как раз этот так называемый Гусейн вызывал в туркмене большую жалость, чем так называемый Эсад, который был, во-первых, здоров, а во-вторых, обещал, кажется, стать большим пройдохой.

Туркмен отрывисто кликнул кого-то, дверь отворилась и из дома вышли две женщины, – старая и молодая; увидев посторонних, они поспешили опустить свои покрывала. Повелительным тоном глава семейства отдал им какие-то распоряжения, женщины суетливо бросились их выполнять.

Туркмен повел Гайку и Стефана в дом. Рядом с главной, жилой комнатой, до того дымной, что не продохнуть, находилась пустая каморка; смахивала она на тюремную камеру, куда свет проникал через прорез в стене. Споткнувшись о ступеньку, ребята спустились в эту темную яму.

Между тем женщины принесли циновки и одеяла и постелили ребятам на глинобитном полу. Но едва они увидели руки и ноги Стефана, покрытые, точно кожей, затвердевшей тиной, они принесли чан с горячей водой, прихватив также зловещего вида щетку, и с материнской истовостью стали отмывать армянского мальчика. Разгорячившись от этой нелегкой работы, старуха даже приподняла чадру, – ведь здесь все-таки подростки, не взрослые.

Но случилось так, что под крепкими руками туркменских крестьянок, усердно растиравших тело Стефана, сошла корка и с его души. Обжигающей волной захлестнула его так долго подавляемая тоска по дому. Он стиснул губы, но глаза предательски моргали. Тронутые его детским горем, туркменки не скупились на утешения, что-то нараспев приговаривали.

Потом старуха принесла лепешки, миску ячневой каши с козьим молоком и две деревянные ложки.

Пока ребята ели, явилась вся многочисленная семья туркмена, и кто стоя в дверном проеме, кто в самой каморке, подавали подбадривающие реплики и

радовались плодам своего гостеприимства.

Но как ни радушны были хозяева, как ни давно Стефан не ел горячей еды, он и пяти ложек не съел, так распухло и сузилось его горло. Зато Гайк уплел почти целую миску каши; он ел задумчиво и обстоятельно, как ест тяжело поработавший труженик.

Когда любопытное семейство удалилось, Стефан сразу уснул, а рассудительный Гайк быстро составил план дальнейшего перехода. Он надеялся, что к вечеру Стефан соберется с силами и они отправятся в путь, как только взойдет луна. Ночью переход до Хаммама нисколько не труден. Если дорога будет свободна, тем лучше, если нет, – придется, взяв немного влево, идти вдоль подножия холмогорья. Холмы эти, конечно, могут служить убежищем, когда, миновав Хаммам, ребята дойдут до того места, где надо будет срезать большую дугу, которую описывает дорога. Несмотря на все происшествия, Гайк был доволен достигнутым. Самые большие опасности впереди, зато самые большие трудности преодолены.

К сожалению, Гайк переоценил силы Стефана. Глубокий сон, которым спал он, усталый, позволив себе забыться в этой надежной каморке, прервали стоны и тонкий, жалобный плач. Стефан сидел на циновке, корчась от боли. Его терзала жестокая резь в животе, – последствие приключения в болотах Эль-Амка. Вдобавок только сейчас обнаружилось, что кожа у него сплошь в укусах moskitov. Об отдыхе нечего было и думать. Но хозяева по-прежнему были ласковыми и участливыми. Женщины нагтели на огне круглые камни, положили Стефану на живот и приготовили настой, возможно, целебный, но такой противный, что желудок Стефана отказался его принять. Только к вечеру прошла эта хворь, заставлявшая беднягу беспрестанно выходить, шатаясь, на черный двор. Стефан стал похож на тень, да и Гайк, лишенный столь заслуженного сна, побледнел и осунулся.

Крестьянин разрешил «Эсаду» и «Гусейну» ночевать на крыше своего дома. Привыкшим за последние недели постоянно быть на свежем воздухе ребятам не вмоготу было в затхлой дыре, полной Дыма, насекомых и запаха прогорклого масла.

И вот они сидели на циновках между пирамидами кукурузных початков, связками камыша и грудями лакричника. Стефан, дрожа от озноба, кутался в одеяло и неотрывно смотрел на запад. В этот сумеречный час прибрежные горы на той стороне казались выше, чем были, дальние сливались с ближними, громоздились одна над другой и сверкали бесконечно богатыми оттенками красок, от глубокой сапфировой синевы до серебристо-серой. И так неправдоподобно близки были эти горы! Неужто Гайк и Стефан в самом деле брели целых две ночи и полдня, чтобы преодолеть это расстояние, хотя отсюда до Дамладжка рукой подать? Вон та, последняя гора на юге, что так круто обрывается, должно быть, Дамладжк. Точно зверь, настигнутый охотниками, он застыл на бегу. Его длинный хребет снижается к северу. Голову он спрятал меж двух вершин. А лапы его яростно откинута назад, туда, где широкое устье Оронта обещает близость моря. Стефан видел только Дамладжк. Ему казалось,

что он различает Южный бастион, куполы холмов, зазубрины Дубового ущелья, Северное Седло, где он бесконечно давно расстался со всеми, не простившись.

Почему же? Этого он уже не помнил. Дамладжк дышал все сильнее, он парил в воздухе все ближе, – над дорогой в Алеппо, над крестьянским домом туркменского холмогорья, над Стефаном Багратяном.

Гайк все понял. В нем проснулась доброта подлинно сильного, – перед лицом поверженного сильный охотно становится слабым:

– Не бойся. Мы останемся здесь до тех пор, пока ты опять сумеешь ходить.

Стефан, весь в жару, не отрывал просветленного взгляда от побережья.

– Совсем близко... Они совсем близко... Горы, хочу я сказать...

Потом вдруг вскочил, словно ему давно пора в путь. В ушах звенели сказанные прежде угрожающие слова Гайка. Дрожащими губами, он повторил эти слова:

– Не о тебе и не обо мне речь, речь о письме к Джексону... Гайк кивнул, потом сказал без упрека:

– Уж лучше бы Акоп донес на тебя...

Осунувшееся лицо Стефана не выразило негодования, он даже попытался миролюбиво улыбнуться.

– Это ничего... Тебе больше не придется терять из-за меня время... Я уйду обратно... Завтра...

Гайк вдруг пригнулся и отчаянно замахал Стефану, чтобы он сделал то же самое: на примыкавшем к дому шоссе раздавалось странное шарканье вперемешку с невнятными горестными причитаниями, – несколько заптиев гнали в Хаммам небольшой этап армян. Правда, этап слишком громкое слово, его не заслуживали эти старики и малые дети, – последки, которых турки наскребли в глухих, богом забытых деревнях, Заптии хотели поспеть в Хаммам до полуночи, и так ругали и подгоняли прикладами эти жалкие тени людей, что они с непостижимой быстротой скрылись за первым поворотом шоссе.

Это зловещее зрелище, видимо, убедило Гайка окончательно:

– Да, лучше всего будет, если ты пойдешь обратно. Но как? Один через болото ты не пройдешь.

В голове Стефана, которому чудилось, будто горы совсем близко, смешались все масштабы.

– Почему же? Путь через него не такой уж длинный.

Гайк решительно замотал головой:

– Нет, нет! Одному тебе через болото не пройти. Лучше тебе идти мимо Антакье. Вон там, видишь? Это гораздо легче... Но они там схватят тебя где-нибудь на дороге. Ты не говоришь по-турецки, не умеешь молиться по-ихнему и вообще вид у тебя такой, что они, как глянут на тебя, так сразу и озвереют.

Стефан задумчиво опустил на одеяло.

– Я ведь буду идти только ночью... Может, тогда они меня не схватят...

– Эх ты, – с презрительной жалостью проворчал Гайк и стал высчитывать,

докуда ему проводить Стефана, потратив не больше одного дня из отпущенного для его великого задания времени.

А сын Багратяна, которому сейчас в его блаженно лихорадочном состоянии все представлялось простым и легким, пробормотал:

– А, может, Христос придет мне на помощь...

Гайк, разумеется, полагал, что при данных обстоятельствах только на эту помощь и можно рассчитывать. Кроме надежды на силы небесные, у него было очень мало надежд на благополучное возвращение Стефана к своим. И вот некоей высшей силе будто и впрямь было угодно взять Стефана под покровительство. Хозяин-туркмен, взобравшись, по приставной лестнице на крышу, начал сбрасывать наземь связки камыша и лакричник. Гайк тотчас вскочил и стал усердно ему помогать. Когда они кончили, крестьянина вдруг осенила внезапная мысль, и он подмигнул Стефану:

– Не съездить ли вам со мною, ребята? Завтра поутру я еду на рынок в Антакье. Раз вы оттуда, возьму я вас с собою и отвезу домой. К вечеру будем там...

И гордо, с чувством собственного достоинства показал на большую конюшню за домом:

– И знайте, еду я не на волах, а на своей лошадке и в настоящей четырехколесной повозке.

Гайк сдвинул свой самодельный тюрбан на бок и почесал голову, которую вдова Шушик перед его уходом остригла наголо.

– Возьми в Антакье моего родича, отец. Его старики там живут. Мои-то в Хаммаме. Вот досада, что ты на своей повозке не в Хаммам едешь! Мне-то, поди, придется пешком топтать...

Туркмен воззрился на плута.

– Из Хаммама, говоришь, твои родители? Бог милостив, мальчик! В Хаммаме я всех наперечет знаю. Твои, что ли, лавку какую держат?

Гайк отразил испытующий взор крестьянина взглядом, исполненным снисходительной укоризны:

– Да ведь я же тебе говорил, отец, что они там только со вчерашнего дня. Они живут на постоялом дворе в Хан-Омар-Аге...

– Ianasydsche! Да сопутствует им счастье! Но в Хан-Омар-Аге солдаты стоят. Их пошлют против изменнической эрмени миллет на Муса-даге...

– Да что ты? Солдаты стоят? Мои об этом ничего не знали. Но, может, солдаты уже ушли? А впрочем, Хаммам велик, найдется какой-нибудь другой постоялый двор.

Против этого поистине нечего было возразить. Туркмен, которому не удалось вывести Эсада на чистую воду, долго, и напряженно думал, беззвучно пошевелил губами, и в конце концов отступил.

Гайк стал собираться в дорогу задолго до полуночи. Но прежде, как сумел, позаботился о Стефане. Он положил в его рюкзак одну из своих Колбас. Бог знает, еще заблудится, недотепа, а еда у него вся вышла. За себя Гайк не боялся: он всегда найдет на равнине близ Алеппо и еду и питье.

Он наполнил термос Стефана водой из ручья, протекавшего у дома, отчистил от присохшей грязи его одежду. И пока Гайк с ожесточением радел о товарище, он в то же время не переставал поучать Стефана, как ему себя вести.

– Он везет всю эту дребедень к базарному дню. Ты в ней отлично можешь спрятаться. И лучше всего не говори совсем. Ты ведь больной, правда? Как завидишь город, прыгай с повозки, только тихонько, понял? И заляг в поле в канаву, в яму какую-нибудь. Жди там, пока совсем не стемнеет... Усвоил?

Стефан, скорчившись, сидел на циновке. Он боялся коллик, они уже снова давали о себе знать. Но еще больше боялся он одиночества. Ночь была не облачная, как вчера, а безупречно ясная.

Над крышей стояла плотная, белая, гигантская арка ворот Млечного пути. Только мгновение держал Стефан руку Гайка в своих. Это было все. Он еще раз услышал голос друга, высокомерный и грубый, как когда-то:

– Держись, слышишь? И порви письмо Джексону!

Гайк уже было ступил на лестницу, приставленную к крыше, как внезапно вернулся обратно. Не сказав ни слова, торопливо и смущенно он осенил Стефана крестом.

Во времена смертельной опасности армянин армянину – отец и пастырь.

Так говорил Тер-Айказун в Йогонолуке на уроках закона божьего, когда никто еще не знал, что времена смертельной опасности уже настали.

Проселок сворачивал на равнину как раз у деревни Айн-эль-бэд. В эту безлюдную рань туркмен пустил лошадку рысью по совершенно пустынной утренней дороге. Тяжело нагруженная повозка отчаянно тряслась, подскакивая по глубоким затвердевшим колеям. Стефан едва ли слышал мучительный стук колес. Лихорадка была поистине божьей милостью. Она отключила от него время и пространство. В кольце обступивших его неясных, но приятных видений он не думал ни о том, куда его уносит, ни о том, что его ждет.

Удружила лихорадка Стефану и тем, что выжелтила его и прежде очень смуглое лицо, и облегчила притворство. Всякий раз, как туркмен давал лошади передохнуть, слезал с козел и заглядывал к седоку, тот громко стонал и закрывал глаза. Так и не удалось многократные попытки доброго туркмена завязать разговор. В ответ раздавались только прерывистые стоны, да время от времени жалобный голос просил остановить повозку. На этот случай Стефан по настоянию Гайка заучил подходящую фразу: «Ben bir az hasta im», – «Я немножко болен». И Стефан с презрением к смерти повторял эти справедливые слова при каждом случае. Так отвертелся он и от всех молитв, – ислам освобождает больных и хилых от религиозных обрядов, если они требуют физического усилия. Миновав деревянный мост через речку Африн, туркмен собрался обедать. Он распряг лошадь и повесил ей на шею торбу. Стефану тоже пришлось сойти с повозки и сесть со стариком в стороне на выгоревшей степной траве. На проселке почти не было никакого движения. Им попались только две встречные подводы, запряженные волами. Местные крестьяне пользовались большим шоссе, которое вело от Хам-мама до Антиохии.

Туркмен достал лепешки, козий сыр и поделился со Стефаном.



– Ешь, мальчик! Еда – всякой хвори лекарь.

Стефану не хотелось обижать гостеприимного хозяина, он вяло откусил кусочек сыра. И добросовестно жевал и жевал, но кусок никак не шел в горло. Добрый человек озабоченно посмотрел на него.

– Пожалуй, силенок у тебя, сынок, маловато, надо бы побольше...

Стефан не понял его гортанного говора, но не смел это показать.

Он поклонился, приложил руку к сердцу и произнес, как произносил всегда, кстати и некстати, заученную фразу:

– Ven bir az hasta im.

Туркмен долго молчал. Его мощные челюсти спокойно перемалывали пищу, как вдруг он взмахнул ножом, который держал в руке, точно собирался что-то разрезать. Стефан похолодел от ужаса. Ибо теперь он услышал армянскую речь:

– Тебя зовут вовсе не Гусейн. Будет тебе басни рассказывать! Тебе вправду нужно в Антакье? Что-то не верится.

Ошеломленный Стефан едва не лишился чувств. Несмотря на жар, холодный пот выступил у него на лбу.

Маленькие, глубоко посаженные глаза туркмена стали очень грустными:

– Как бы тебя ни звали, Гусейн или иначе, не бойся и верь в бога. Пока ты со мной, с тобой ничего не случится.

Стефан собрал все свои познания в турецком языке и пролепетал несколько слов. Старик отмахнулся; в руке у него все еще был нож.

К чему слова? Он вспомнил толпы отверженных, день и ночь гонимые мимо его дома.

– Из каких ты мест, мальчик? Не с севера ли? Удрал от них? Смылся из эшелона, а?

Стефану поневоле пришлось ему довериться. Отпираться он больше не мог – не помогло бы. И он сказал по-армянски – торопливо, обрывисто, шепотом, чтобы расслышал только старик, и больше ни одна душа в этом враждебно прислушивающемся мире:

– Я здешний. С Муса-дага, из Йогонолука. Хочу домой. К родителям.

– Домой? – умудренная годами, узловатая крестьянская рука погладила седую бороду. – Стало быть, ты из тех, которые ушли на гору и ведут войну против наших солдат. Вишь ты какой...

Голос старика звучал сурово. Стефан решил, что все кончено. Он отодвинулся и, покорный судьбе, зарылся лицом в бурые, жесткие космы этой земли. Туркмен держит в руке большой нож. Ему ничего не стоит поразить ножом в спину. Когда же? Но слух Стефана поразил голос, в котором он чуял усмешку:

– А как зовут того, другого? Твоего родича Эсада? Продувной парень. Его так легко, как тебя, не возьмешь, мальчик...

Стефан не отвечал. Застыв в этой последней готовности, он ждал.

Его подняли твердые, как камень, но нежные руки:

– Разве ты отвечаешь за отцов и за их вину? Пусть бог приведет тебя к

ним. Но ни тебе, ни им ничего не поможет. А теперь идем. Увидим, что можно сделать.

Стефан снова лег на дно повозки между связками камыша. Но туркмену, видимо, не терпелось, он подгонял лошадь, хоть она прошла столько миль, и ее лохматая шерсть лоснилась от пота. Она то и дело, пускалась резвой рысью или галопом, меж тем как возница произносил странные монологи или укоризненно на нее покрикивал.

Как ни трясло и подбрасывало Стефана, он все глубже проникался сознанием, что на своем гроыхающем ложе он находится под благостным покровительством бога.

Стефан пытался думать о маме. Вправду ли она больна? Ах, нет, ничего, решительно ничего не случилось! Все, что от этой гадины Сато исходит, – мерзость и ложь. Когда он, Стефан, вернется, когда встанет у большого окопа на Северном Седле, Авакян, как безумный, кинется звать папу, потом оба они – родители то есть, бросятся ему навстречу, потом заплачут от радости, что он спасся, потом обнимут его и сами обнимутся, как встарь. Несмотря на всю эту напряженную игру воображения, Стефану лишь редко удавалось, восстановить цельный «образ мамы. Чаще всего он сливался – как-то неприятно сливался – с образом Искуи. Стефан ничего не мог с этим поделать, хотя этот сдвоенный портрет был странно мучителен. А потом голос Гайка опять настойчиво внушал, что нельзя легкомысленно, попусту тратить время. Теперь уже день, теперь надо спать, набираться сил для ночного похода. Повинуясь другу, Стефан смыкал веки. Но его детское тело так тяжело провинилось перед сном, так часто от него отказывалось, что сон больше знаясь с ним не желал и насылал на него подмену, – помесь горячки с бесчувствием и бессонницей, которая не придает телу бодрости, только расслабляет.

Стефан уснул, не проснулся он и тогда, когда золотистый дневной свет разливался все шире, а загнанная лошадь плелась шагом – проселок, должно быть, поднимался вверх по склону. Крестьянин остановил лошадь и велел седоку сойти. С большим трудом Стефан поборол себя и сполз с повозки.

Он увидел неподалеку голый холм, опоясанный крепостной стеной; вдоль подножия его рассыпались белые кубики домов.

– Абиб-эн-Неджар, крепость Антакье... Теперь, мальчик, ты должен получше спрятаться.

И, правда, через несколько сот шагов ухабистая дорога перешла в окружное шоссе из Хаммама, которое Джемаль-паша тоже велел заново засыпать щебнем. На этой свежеремонтванной дороге царило против ожидания большое оживление.

Туркмен разгреб связки камыша, между ними образовалась большая яма.

– Залезай туда! Я вывезу тебя из города через железный мост. Дальше не получится. А пока лежи смирно!

Стефан растянулся на дне повозки, а крестьянин ловко накрыл его камышом, чтобы мальчика не придавило и чтобы между связками проникал воздух. В этом гробу исчезли все мысли и образы. Стефан лежал как бездушная

кладь, не ведая ни страха, ни мужества. Повозка катилась по широкому гладкому шоссе. Со всех сторон доносился шум и смех. Стефан равнодушно внимал им из своей ямы. Потом повозка опять затряслась по мостовой. Внезапно она, будто испугавшись, стала. Ее окружили какие-то люди. «Верно, заптии, солдаты или полицейские». До слуха Стефана говор доносился приглушенно, но отчетливо, будто через рупор:

– Куда, старик?

– В город, к базарному дню. Куда ж еще?

– Документы в порядке? Покажи-ка! А что везешь?

– Товар для продажи. Смотрите сами – камыш для плотников, да два-три ока лакричника...

– Ничего запрещенного нет? Новый закон знаешь? Зерно, кукуруза, картофель, рис, оливковое масло сдается властям.

– Кукурузу я уже сдал в Хаммаме.

Несколько рук бегло обшарили верхние кипы камыша. Потом измученная лошаденка снова тронулась в путь. Они ехали, как нельзя медленней, сквозь туннель кричавших человеческих голосов. Свет все скуднее просачивался сквозь камыш. Уже стемнело, когда их окликнули во второй раз. Но туркмен даже не остановился, чей-то тонкий голос ругался вдогонку:

– Повадились по ночам ездить! В другой раз езжай днем. Понял? Когда же эти болваны поймут, что мы воюем!

Копыта застучали по огромным каменным плитам моста, который по причине, ныне позабытой, называется «Железным».

После моста туркмен высвободил маявшегoся в жару мальчика из-под наваленной на него тяжести. Стефан снова мог, завернувшись в одеяло, лежать между камышами.

Крестьянин был чрезвычайно доволен:

– Радуйся, мальчик! Самое тяжелое позади. Аллах к тебе милостив. Поэтому я подвезу тебя еще малость, до Менгулие, поставлю лошадь, там и заночую.

Лампада жизни чуть теплилась, и все же разрядка после напряжения была так сильна, что Стефан мгновенно уснул тяжким сном. Туркмен снова погнал бедного конягу, чтобы как можно скорей попасть со своим подопечным в село Менгулие, откуда, правда, Стефану предстояло идти еще добрых десять миль до развилки в долине семи деревень.

Но простая душа, туркменский крестьянин, далеко недооценил изобретательность армянской судьбы.

Стефан проснулся от слепящего света карбидных ламп и карманных фонариков, шаривших по его лицу. Над ним склонились головы в форменных фуражках, усы, барашковые шапки. Повозка въехала прямо в лагерь одной из рот, которые вали послал из города Килиса на подмогу антиохийскому каймакаму. По обеим сторонам шоссе были разбиты солдатские палатки. В Менгулие разместили по квартирам только офицеров.

Туркмен спокойно стоял подле повозки. Он стал оглаживать лошадку,

вероятно, старался скрыть растерянность.

Один из онбаши взял его в оборот:

– Куда едешь? Кто этот парнишка? Твой?

Туркмен задумчиво покачал головой.

– Нет, нет, не мой.

Он пытался выиграть время, придумать выход.

Онбаши заорал:

– Ты что, язык проглотил?

К счастью, старик, ездивший сюда по различным базарным дням хорошо знал здешние селения:

Он вздохнул, горестно качая головой:

– Мы едем в Серис, в Серис едем мы, вон тот, что стоит под горой...

Он распевал эти слова, точно невинную песенку.

Онбаши направил на Стефана яркий свет фонарика. Голос туркмена зазвучал плаксиво:

– Да ты погляди на него, на дитя-то! Я должен отвезти его домой, к родным, в Серис...

У повозки толпой сбились солдаты, унтеры. Старик в волнении закричал:

– Не подходите, не подходите так близко, берегитесь!

Онбаши не на шутку струхнул и уставился на него. Старик показал пальцем на лицо Стефана:

– Не видишь, что ли, ребенок в жару, без памяти. Вы там, отойдите, не то и вы болячку схватите. Эким отослал мальчишку из Антиохии...

И тут достойный туркмен поразил онбаши в самое сердце одним только словом:

– Сыпняк!

В ту пору ни слово «чума», ни слово «холера» не внушали большой ужас в Сирии, чем «сыпняк».

Солдаты отпрянули и даже разгневанный онбаши отступил шага на три. А добрый человек из Айн-эль-бэда вынул из кармана документы и настойчиво совал их под нос унтер-офицеру, упрашивая проверить. Но тот, помянув проклятую службу, отказался. Через десять секунд шоссе перед повозкой опустело. А туркмен, довольный и гордый своей проделкой, предоставив лошаденку самой себе, шагал подле Стефана и посмеивался.

– Видишь, мальчик, сколь милостив к тебе Аллах. Не будь он столь милостив, разве послал бы он тебя ко мне? Радуйся же, что меня нашел! Радуйся! Потому что теперь мне придется с тобою еще полчаса ехать, чтобы найти ночлег в другом месте...

Но страх парализовал Стефана, и он едва ли слышал эти слова. Позднее, разбуженный своим спасителем, он не в силах был пошевелиться. Старый туркмен взял его на руки, как ребенка, и поставил на шоссе, ведущее вдоль русла Оронта к Суэдии.

– Здесь, мальчик, больше не встретится ни одна душа. Если ты наддашь ходу, на рассвете будешь в горах. Аллах благоволит к тебе больше, чем к

другим.

Он Дал Стефану кусок сыра, лепешку и бутылку с водой, которую наполнил в Антакье. Потом сказал, должно быть, какое-то благочестивое напутствие. Кончалось оно пожеланием мира:

– Селям алек.

Но Стефан вдобавок еще и ничего не слышал, потому что в ушах у него страшно шумело. Он только глядел, как мерно покачиваются светлая чалма и белая борода, и обе они, чалма и борода, – все ярче светясь, прорезают тьму. Как жалел Багратянов сын, что эти световые волны исчезли, когда смолк неровный цокот копыт! На исчезнувшей во тьме повозке не было фонаря, а луна еще не выплыла из ущелий Ама-нуса.

Впервые за время своего пастырского служения на Муса-даге Тер-Айказун обратился с посланием к кладбищенской братии. В этом послании он просил Нуник и присных заняться поисками исчезнувшего сына Багратяна. Удастся им доставить важные сведения или самого беглеца, – их ждет высокое вознаграждение: им отведут в отдалении от Котловины Города место для становища.

Тер-Айказун поступил чрезвычайно умно, назначив такую цену за розыск Стефана.

Не было на Дамладжке человека, который играл бы более важную роль, чем Габриэл Багратян. От ясности мысли и душевного равновесия главнокомандующего зависело будущее всех. Нужно было, сделать все, чтобы участь, постигшая Стефана, не подорвала окончательно внутренние силы Габриэла, первый и тяжелый удар которым нанесла Жюльетта.

Плату этим подонкам общества посулили невероятную. И все же Нуник вряд ли надеялась ее получить. После недавней большой победы сынов Армении положение кладбищенской братии резко изменилось к худшему. В деревни почти ежедневно прибывали новые воинские части, новые заптии, новые отряды «добровольцев». Готовилась упорная осада Дамладжка, были приняты все меры.

Заместитель каймакама, конопатый мюдир, сделал своей резиденцией виллу Багратянов. Раненый юзбаши уже дня два как стал поправляться.

Мюдир велел расклеить во всех деревнях приказ, который предписывал каждому мусульманину арестовывать на месте всякого попавшегося ему на глаза армянина, будь то нищий, слепой, убогий, умалишенный, увечный, старик или ребенок. Этот глубокий по мысли приказ преследовал одну цель: исключить всякую возможность шпионажа в пользу армян. Не прошло и двух дней, как приказ этот был расклеен на стенах церкви, а численность кладбищенской братии семи деревень, которая прежде доходила примерно до семидесяти душ, сейчас не составляла и сорока. Остатки ее, естественно, вынуждены были подыскать себе неприступное и совершенно недостижимое убежище, если хотели продлить на какой-то срок свою жизнь.

Такое убежище, слава Христу, нашлось. Только самые смелые и сильные, как Нуник – этот Агасфер в обличий женщины – покидали его между

полуночью и рассветом, чтобы посмотреть, все ли в порядке на старом пепелище, а заодно позаботиться о пропитании, иными словами, с величайшей опасностью для жизни украсть одного-двух барашков, козленка, да кур впридачу.

Мимо этого тайника кладбищенской братии и проходил обратный путь Стефана.

Примерно за милю до деревни Айн-Джераб развалины древней Антиохии образуют целый город. Надо всем высятся пилястры и разбитые гигантские арки римского акведука. Здесь удобное раньше шоссе переходит в неверную горную тропу для вьючных животных, которая идет вдоль глубоко врезанного в скалы ложа реки, через, каменную чашу древних творений человека. Местами дорогу загромаждают, – так что она становится почти непроходимой, каменные плиты, обломки колонн, отбитые капители.

Стефана лихорадило, в бреду он ежеминутно спотыкался об острые обломки, запутывался в ползучих растениях, падал, до крови расшибал колени, вставал и вновь, шатаясь, брел дальше. Справа, глубоко затаившись в гряде развалин, мелькал порой слабый отсвет огня. Будь со Стефаном Гайк, он и без этого мигающего света на расстоянии нескольких миль почувял бы близость отверженных, но родственных созданий. Повинуясь его сверхчувственному опыту, ноги Гайка сами собой избрали бы верный путь. Но где был в этот час Гайк? В тридцати шагах от дороги Стефана ожидало спасение, оно Давало о себе знать, манило этим мигающим огоньком. Нуник, Вартук, Манушак надежно спрятали бы Стефана, выходили бы его за сутки, а потом по исхоженным путям отвели бы на Дамладжк и получили бы знатное вознаграждение. Но городской мальчик испугался огня. Как затравленный, взбирался он, задыхаясь, в гору.

На вершине он остановился и залпом выпил из бутылки теплую, безвкусную воду.

Перед ним лежал Муса-даг. При луне отчетливо видно было густое, черное облако дыма, который все еще струился, из сердца горы. Однако очаг огня стал как будто меньше, – было безветренно. Изредка в нем вспыхивал таинственный огненный блик и тут же исчезал.

Сыну Багратяна был дан новый шанс на спасение. Нуник что-то почувяла. Отступив от огня, она заметила тень, которая не могла быть тенью взрослого. Среди отверженных было несколько «ничьих детей». Одного из них, восьмилетнего мальчика, послали разведать, что это за тень. Но едва Стефан услышал за собой шорох и хруст, он не обернувшись, стремглав пустился бежать.

Он вложил всего себя в этот безумный бег, в этот акт отчаяния. В ушах шумело. Окликал ли то его отец? Или свистящим шепотом подгонял Гайк: «Вперед!»? Он мчался, словно за ним гналась целая рота солдат, от которой он спасся намеренно, а между тем, крался за ним маленький мальчик.

Развалины акведука кончились, дорога стала шире. Над нею нависли черные кручи предгорья. Стефан бежал, бежал, спасая свою жизнь! Но

страшный морок завел его в первую же поперечную долину, – он принял ее за родную долину семи деревень. Невесомый дух бега поднял Стефана ввысь и мальчику чудилось – он крылатый и парит над усеянным камнями откосом. Стефан свернул в долину, не сознавая, что изо всех сил кричит. Но Стефан недалеко ушел. Споткнувшись о первое большое препятствие, – поваленное дерево, он свалился.

Когда он очнулся, уже брезжил свет в предутренней легкой дымке. Стефану казалось, что нынче – это позавчера, и сейчас происходит то же, что происходило, когда они с Гайком, выбравшись из болот Эль-Амка, перешли на другую сторону шоссе и оказались перед ласковым холмогорьем, у дома туркмена. Все, что случилось потом, было им забыто или сохранилось в памяти как след сна. Это смещение времени в памяти, отчего сегодняшнее представлялось позавчерашним, усиливалось еще и тем, что он видел перед собою дом, правда, не из белого известняка, а глиняную, будто сморщенную, мазанку, к тому же без окон, отталкивающего вида. И из этого дома тоже вышел человек в тюрбане и с седой бородой, – не мужицкий ангел-хранитель в образе туркмена, но тоже старый человек. И надо же такому случиться, что и этот человек, определив направление ветра, погоду и страны света, бросил на землю коврик, сел и стал совершать все положенные при утренней молитве движения и поклоны.

В мозгу Стефана, как вспышка молнии, возник приказ Гайка: «Подражать во всем!» И на том самом месте, где Стефан свалился ночью, он попытался повторять все, что делал старик. Но у него ничего не вышло: он шатался и стонал при каждом движении. А этот человек, как и позавчерашний, тоже обратил на него внимание. Однако же был, должно быть, далеко не так благочестив, как тот туркменский крестьянин, почему и прервал молитву, встал и подошел к Стефану:

– Кто ты такой? Откуда идешь? Что тебе надо?

Стефан заставил себя стать на колени, отвесил поклон и прижал руку к сердцу:

– Ven bir az hasta im, эфенди.

Произнеся эти твердо заученные слова, он знаком показал, что хочет пить. Седобородый заколебался. Потом пошел к колодцу, набрал кувшин воды и подал мальчику. Стефан пил не отрываясь, хоть от воды у него сразу начались боли. Меж тем, из дому вышел еще кто-то – но не милосердные женщины, как ожидал Стефан, а другой мужчина, – угрюмый, чернобородый. Он повторил слово в слово вопросы седого:

– Кто ты такой? Откуда идешь? Что тебе надо?

Обреченный махнул раза два куда-то вдаль. Не то в сторону Антихии, не то в сторону Суэдии.

Чернявый рассердился:

– Ты что, говорить не умеешь? Немой?

Беспомощный, как малое дитя, Стефан в ответ только улыбался огромными глазами. Он по-прежнему стоял на коленях перед этими людьми.

Седобородый дважды обошел вокруг мальчика, осматривал его взглядом знатока, оценивающего законченную работу. Потом взял Стефана за подбородок и повернул его лицо к свету. В обследовании участвовал и чернявый, человек дотошный. Затем, отойдя на несколько шагов, они о чем-то заспорили, однако глаз со Стефана не спускали. Когда же пришли к соглашению, по лицам их было видно, что они берут на себя дело высокой государственной важности. Допрос начал чернобородый.

– Ты, парень, обрезанный или нет?

Стефан не понял. Доверчивую улыбку глаз сменил испуганно вопросительный взгляд. Его молчание бесило обоих мусульман. Стефана оглушали резкие, понукающие звуки их слов. Несмотря на окрики и знаки, он все меньше понимал, чего от него хотят.

Чернобородый потерял терпение. Он схватил Стефана под мышки и поднял с колен. Седобородый оголил и тщательно обследовал то, что подлежало обследованию.

Подозрения подтвердились: хитрый армянский мальчишка, прикинувшийся глухонемым, был дерзкий шпион, засланный бунтовщиками-горцами. Нельзя терять время! Подталкивая еле державшегося на ногах Стефана, они спустились по узкой долине из Айн-Джераба к большому шоссе. Они крепко держали его, пока не показалась первая пустая повозка, запряженная волами, которая направлялась из окрестностей Антиохии в Суэдию. Вознице приказано было именем закона повернуть вспять. Палачи посадили своего пленника в повозку. Чернобородый сел подле него, а седой шагал рядом с владельцем волов, которому с жаром поведал о том, какую великую опасность он предотвратил.

И теперь, лишь только судьба Стефана была решена бесповоротно, некая милосердная небесная сила отстранила настоящее от Стефана. Он уронил голову на колени чернобородого, смертельного своего врага.

И не странно ли? Ненавистник его не оттолкнул свою жертву. Он сидел неподвижно, не шевелясь, словно боялся сделать Стефану больно. Но пылающее лицо мальчика, уронившего голову на его колени, открытые глаза, которые смотрели на него невидящим взглядом, лихорадочное дыхание, которое вырывалось из распухших бягровых губ, вся эта по-детски самозабвенная близость пробуждала в ничтожной душонке чернявого дикую злобу. Таков мир, иным ему был не дано. И нельзя в этом мире не наносить удары!

А Стефан больше не помнил о Муса-даге. Он не помнил о гаубицах, которые захватил, о пяти сонных людях, которых сразил пятью меткими выстрелами. Имя Гайк стало звуком пустым, а Искуи – унесенной ветром пушинкой. Сам он теперь был опять в привычной школьной одежде, в ботинках на шнурках, которые так славно облегали чисто вымытые и неизраненные ноги. Он гулял по чудесным столичным улицам, по великолепным набережным приморья. Он жил с мамой в Монт-рё, в Палас-отеле.

Он сидел за столами, накрытыми белоснежными скатертями, играл на



посыпанных гравием дорожках, сидел в чисто выбеленных классах с другими, такими же выхоленными, как он, мальчиками. Он был то маленьким, то постарше, но жил покойно, защищенно. И у мамы был красный зонтик, под которым лицо у нее так розовело, что, бывало, ее и не узнать.

Все это было не богато событиями, но дышало таким покоем, что Стефан не заметил, как у Вакефа появились двое заптиев. Один из них, для подкрепления, сел рядом с чернобородым и все время, держал Стефана за ноги. А в самом Вакефе к ним присоединился отряд заптиев. И чем дальше продвигались они по долине семи деревень, тем многочисленнее становился конвой. А за ним тянулась большая толпа Новожилов, захвативших армянские дома и земли, – мужчины, женщины, дети.

Задолго до полудня шествие, возглавляемое дрогами в воловьей упряжке, прибыло на церковную площадь Иогонолука. Собралась тысячная толпа, ее пополнили старцы и новые солдаты, которые сейчас стояли гарнизоном в деревнях. На виллу Багратянов тотчас же послали за рыжим мюдиром.

Заптии вытолкали Стефана из повозки. По приказу мюдира Стефан стал раздеваться – ведь он мог припрятать где-нибудь на голом теле нужный документ. Сын Багратяна повиновался молча, с полным бесстрашием, что крайне возмутило толпу, – она сочла это признаком закоренелого упрямства.

Стефан не успел еще раздеться донага, как кто-то ударил его по затылку. Но этот удар был благодеянием. Он возвращал Стефана в тот прекрасный мир, где он жил сейчас жизнью цивилизованного общества.

Меж тем заптии нашли в его рюкзаке «кодак» и послание Джексону. Мюдир высоко поднял фотоаппарат, потрясая этим невинным рождественским подарком перед толпой, для большинства которой это была непонятная, диковинная штука.

– По этой вещи всегда можно узнать шпиона!

Потом громко и злорадно он прочел и перевел во всеуслышание, дабы весь народ знал, письмо государственных изменников американскому послу. Толпа разразилась яростными криками. Мюдир подошел вплотную к Стефану и взял его за подбородок ухоженной рукой с отлакированными ногтями; казалось он хочет его подбодрить.

– Ну, а теперь, мальчик, скажи нам, как тебя зовут!

Стефан улыбался и молчал. Океан реальности шумел где-то в бескрайней дали.

Но в памяти мюдира вдруг всплыла фотография, висевшая в селамлике виллы. Он торжественно обратился к толпе:

– Раз он не хочет сказать, скажу я. Это – сын Багратяна...

Тогда Стефану был нанесен первый удар ножом в спину. Он его не почувствовал... Потому что они встречали папу на вокзале, папа приехал в Швейцарию из Парижа. У мамы опять был в руках красный зонтик.

Отец вышел из каких-то очень высоких ворот, он был один.

В белоснежном костюме и без шляпы. Мама помахала ему рукой.

И едва Габриэл Багратян увидел своего маленького сына, он принял его в

объятия с такой безмерной любовью... И потому, что Стефан взаправду был еще маленький, отец поднял его до самого своего сердца, до своего лучезарного лица, поднял над головой и все выше и выше...

Нуник первая с наступлением ночи обнаружила изуродованный труп. Заптии выбросили его как он был, нагим, на Йогонолуцкое кладбище сразу после самосуда. Нуник пришла вовремя, успела спасти его от диких собак. И тотчас послала одного из «ничейных» детей на становище – велеть всей кладбищенской братии собираться в поход. Ибо случилось Необычайное, и сегодня нет места страху: угас навсегда род основателя Йогонолука Аветиса Багратяна. Но настал час исполнить волю Тер-Айказуна, доставить на гору Багратянова сына. В вознаграждении не откажут, отныне их ждет обеспеченная жизнь.

Пугливое общество собиралось на кладбище группами. Плакальщицы немедленно принялись за работу. Они обмыли от пыли и крови тело прекрасного отрока. А Нуник сделала нечто большее для семейства Багратянов: великодушно пожертвовала из запасов своего неопишуемого мешка длинную белую рубаху, в которую и облекла Стефана. И пока его снаряжали в последний путь, нищий слепец с лицом пророка приговаривал нараспев:

– Ведь кровь агнца потекла к дому...

Окончив свой труд, Нуник и другие плакальщицы взвалили на плечи тяжелые мешки. И пошли, согбенные ношей. Во втором часу утра безмолвное и почти невидимое при слабом свете месяца шествие двинулось к Дамладжку, а оттуда тайными тропами, пощаженными лесным пожаром, – к Городу. Во главе процессии шла, как предводительница, Нуник, опираясь на посох. И когда они пришли в лес, где было уже безопасно, они зажгли два факела и несли их по бокам носилок, дабы усопшему сопутствовал свет и оказаны были подобающие почести.

## Глава третья

### БОЛЬ

Габриэл Багратян опять проводил все ночи на Северной позиции, спал на привычном месте. По настоянию Тер-Айказуна, обеспокоенного заметным падением дисциплины, он в первый же вечер после исчезновения Стефана вновь взял на себя командование. И это было более убедительное доказательство самодисциплины и душевной стойкости, чем героизм, проявленный во всех трех сражениях. В эти дни у него дрожали руки, кусок в горло не шел, глаза ни на миг не сомкнул сон. Страшила не только неизвестность о Стефане, но и полная безнадежность всяких попыток его найти, его спасти. Охваченный отчаянием, он сперва носился с мыслью

совершить налет на вражеский лагерь. Что если заново сформировать Летучую Гвардию и предпринять вылазку, рейд до шоссе на Алеппо? Что если, наведя ужас на всю окрестность, этот ночной налет, несущий с собой кровь и пожары, позволит догнать Стефана и Гайка? Но Габриэл, конечно, тотчас же отказался от этого романтического проекта. Какое право имеет он ради спасения своего ребенка, пускаться в безумную авантюру, рисковать жизнью сотни защитников Муса-дага? Стефан, в сущности, самовольно сделал то, что Гайк совершил по воле народа. Нет никаких уважительных оснований ради него пускаться в ход все средства.

Габриэл жадно набросился на работу, она была для него что глоток свежего воздуха. В дружинах царили слабость и апатия, - следствие недоедания. А бойцы на передовой и в резерве, полагавшие, что можно ждать смерти, хоть и с пустым желудком, но в *dolce far niente*\*, получили суровый урок.

---

**\* *Dolce far niente* – (итал.) «сладостное ничегонеделание».**

---

Воинская дисциплина чрезвычайно ужесточилась.

Чауш Нурхан получил приказ ежедневно проводить тактические учения с дружинами. Все было как в первые дни. Никто не смел даже в свободные от службы часы покидать пост. Увольнительные в Город давались только в исключительных случаях. На долю резервистов выпала нелегкая работа: в предвидении будущего мощного наступления турок не только улучшить позиции, но, чтобы ввести в заблуждение противника, частично их перебазировать, по мере возможности обеспечить их неприступность, соорудив каменные шанцы. Габриэл, Авакян и учитель Шатахян часами чертили новые планы, которые немедленно начинали проводить в жизнь. В эти дни все было в непрерывном движении. Никто не мог противостоять иступленной энергии Багратяна. Но его неумная требовательность, сколь ни странно, не навлекала на него ни злобы, ни ненависти; она оживляла пошедшие на убыль душевные силы, воскрешая надежду и боевой дух. После короткого спада жизнь защитников Муса-дага вновь обрела цель и содержание.

Габриэл страдал не от неприязни окружающих, а от обострившегося чувства одиночества. Правда, ему и в прошлом не довелось завязать душевные отношения ни с руководителями народа, ни с простыми людьми, а дружбу и подавно. Ему повиновались как военачальнику, выказывали уважение, благодарность даже, но он и люди Муса-дага были в корне разные люди.

Теперь они его откровенно избегали, даже Арам Товмасян, прежде искавший предлога с ним поговорить. Габриэл заметил, что соседи по ночлегу на Северной позиции все дальше отодвигают свою постель. Объяснение, казалось бы, лежало на поверхности: Габриэл ежедневно проводил час, а то и больше, у одра больной жены, – его боялись как носителя заразы. Однако за этим внешним поводом скрывались гораздо более сложные чувства. Габриэла постигла лихая беда, а за ней подступает другая, похлеще. Присущий всем людям страх перед собратом, пораженным роком, суживал круг одиночества, замкнувший Габриэла. Что до эпидемии, разразившейся в лагере, то она – главным образом от благоприятной погоды, а отчасти благодаря экиму Петросу – не выходила из границ ползучей, но ослабленной формы. Из ста трех заболевших умерло до сих пор двадцать четыре. Совет уполномоченных придал в помощь врачу санитарную комиссию – в нее вошел и пастор Товмасян. Эта комиссия ежедневно обследовала всю Котловину Города, шалаш за шалашом. Если у какого-либо жителя обнаруживались пусть самые легкие признаки заболевания, он обязан был тотчас, захватив свои подушки и постель, отправиться в карантинную рощу. Впрочем, жить в этой тенистой рощце больным было приятно, и обходились с ними мягко. Конечно, хлынул бы дождь, и все стало бы куда страшней. Но после первой грозы, благодарение богу, больше не дождало, что применительно к сирийскому августу месяцу можно счесть благом, однако вовсе не чудом.

Петрос Алтуни дважды в день ездил верхом на своем ишачке навещать Жюльетту Багратян. Его удивляло, что болезнь Жюльетты протекает не в обычных формах. До кризиса, по-видимому, было еще очень далеко. Температура после первого приступа несколько понизилась, но сознание к Жюльетте не вернулось. При этом она не лежала, как другие больные, в глубоком беспомыслии или бурно бредила, она спала непробудным, свинцовым сном. Но могла, не просыпаясь, повернуть голову, открыть рот и глотать молоко, которым поила ее Искуи. А порой, случалось, и пролепечет несколько слов, точно из иного мира.

В первые дни ее болезни Искуи почти не отлучалась из Жюльеттиной палатки, – Майрик Антарам была перегружена работой и уходу за больной могла уделить лишь час-другой.

Искуи велела перенести туда свою койку и ночевала у Жюльетты. Овсанну и ребенка она больше не видела, да и нельзя было с ними встречаться. Несмотря на парализованную руку, Искуи ловко справлялась с обязанностями сиделки. К тому же, на второй день заболевания у Жюльетты обнаружилась и ангина, так что она подчас не могла проглотить молоко, которым поила ее Искуи, иногда оно вызывало рвоту. И сиделке приходилось, помимо всего, стирать постельное белье. Служанки Жюльетты с легким сердцем предоставили это Искуи. Они боялись заразы и крайне неохотно прикасались к больной и ее вещам – разве только заглянут в палатку, один раз утром, другой – вечером и нет их. В конце концов, рассуждали они, что им за дело до этой чужачки, о которой ходила такая дурная молва? И вся тягота легла на плечи Искуи. День и

ночь она преданно ухаживала за этой лежавшей в беспмятстве женщиной, но ни на самую малость не стала ей ближе французенка.

Приходя ей на смену, Майрик Антарам чуть ли не насильно заставляла ее выйти отдохнуть хоть часа на два. Но Искуи садилась у входа и не двигалась с места. Раздастся ли шум шагов, мелькнет ли чье-то лицо, она в испуге пряталась; ее тяготила мысль, что она может встретиться с братом или отцом.

Больше всего любила она это время на границе ночи и утра, когда, как сейчас, сидела перед палаткой в ожидании Габриэла. Он имел обыкновение приходить в этот самый одинокий час одиночества, потому что почти никогда не в состоянии был провести целую ночь на своем ложе у Северной позиции.

Вместе с Искуи Габриэл подошел к кровати Жюльетты. Свет керосиновой лампы на туалетном столике падал ей прямо в лицо. Алтуни просил не спускать с нее глаз, быть настороже на тот случай, если она очнется или наступит сердечная слабость.

Габриэл склонился над женой, поднял ей веки, точно надеялся, что свет пробудит в ней сознание. Жюльетта беспокойно задергалась, громко задышала, но не проснулась.

Голос Искуи рассказывал обо всем, что случилось примечательного за день. В палатке они говорили только о делах. Но и вне палатки им было не по себе. Недавно, в этот же час, они шли под руку мимо Трех Шатров, как вдруг Искуи почувствовала, что из-за приподнятого полотнища палатки на нее тайком смотрят, сверля ей спину, глаза Овсанны. Вот почему сегодня они на цыпочках вышли и направились в «садовую гостиную», к той огороженной миртом скамейке, где в минувшие дни принимала Жюльетта своих обожателей. Здесь они были в надежном укрытии. Но несмотря на полную уединенность места, они не прикасались друг к другу и говорили еле слышным шепотом.

– Знаешь, Искуи, мне было показалось, что я теряю разум. Но лишь только почувствовал твою близость, как это страшное наваждение прошло. Теперь я снова свободен. Молчи! Сейчас прекрасно. Долго ведь это не продлится.

Он откинулся, распрямляясь, – точь-в-точь терзаемый недугом человек, который, наконец, нашел и старается сохранить такое положение тела, когда ему не больно.

– Я любил Жюльетту и, может быть, еще люблю ее. По крайней мере, воспоминание о ней. Но то, что у нас с тобой, Искуи, – что это?.. Мне суждено было найти тебя к концу жизни, как суждено было сюда приехать. Ведь это не случайность, а... Но кто может это выразить? Всю жизнь меня влекло только к чужому. Оно меня соблазнило, но осчастливить не сумело. Я и сам соблазнил чужое и тоже не сумел осчастливить. Живет человек с женой, Искуи. И потом вдруг встречает единственную, подлинную сестру, другой такой нет. Но поздно...

Искуи смотрела мимо него, на лениво покачивающийся кустарник.

– Если бы нам с тобой-привелось встретиться где нибудь там, на белом свете, признал бы ты во мне сестру?..

– Одному богу это известно. Может, и не признал бы...

Ни тени горечи не было в ее голосе:

– А я сразу увидела, кто ты мне, еще тогда, в церкви, когда мы пришли из Зейтуна...

– Тогда? Я никогда не думал, Искуи, что можно стать другим. Человек может чему-то научиться, может развиваться, думалось мне... А в действительности происходит обратное. Человек плавится. То, что происходит с тобою, со мною и со всем нашим народом – это процесс плавки. Глупое слово, вроде бы не к месту. Но я чувствую, как я плавлюсь. Все лишнее, все наносное сходит. Скоро я стану только слитком металла. Такое у меня чувство. И вот видишь ли, потому-то и погиб Стефан...

Искуи схватила его за руку:

– Зачем ты так говоришь? Почему Стефан непременно погибнет? Он же сильный! Гайк ведь наверняка дойдет до Алеппо. Почему бы и Стефану не дойти?

– Он не дойдет до Алеппо... Вспомни, что случилось. И все это он носит в себе...

– Ты не должен такое говорить! Ты ему этим вредишь. Я твердо надеюсь на Стефана...

Искуи вдруг повернула голову к палатке. А у Габриэла мелькнула мысль, с чего вдруг – он и сам не знал: «Она желает Жюльетте смерти, она должна этого желать».

Искуи вскочила.

– Ты ничего не слышал? Мне кажется, Жюльетта зовет!

Габриэл ничего не слышал, но пошел вслед за Искуи, которая кинулась в палатку.

Жюльетта металась на кровати, будто хотела сорвать с себя путы. Она не была в полном беспамятстве, но и сознание к ней все еще не вернулось. Искусанные губы были покрыты беловатыми струпьями. По ее пылающим щекам было видно, что жар опять дошел до предела. Она как будто узнала Габриэла. Ее блуждающие руки цеплялись за его одежду. Только с трудом он понял, о чем она спрашивает, – хрипло, заплетающимся языком:

– Это правда?... Все это правда?..

Между ее вопросом и его ответом возникла маленькая брешь во времени, точно ледяной минутный штиль. Затем, нагнувшись над женой, он отчеканил по слогам каждое слово, как магнетизер, внушающий гипнотическое задание:

– Нет, Жюльетта, все это неправда... Все это неправда...

Прерывистый вздох:

– Слава богу... Это неправда...

Припадок прошел. Она поджала колени, съежилась, словно ее тянуло забраться в материнскую утробу горячки.

Габриэл пощупал ее пульс.

Казалось, это с бешеной быстротой, но еле слышно, стучит под пальцем птичий клюв.

Габриэл усомнился: «Доживет ли до утра?»

– Сердечные капли, скорее!

Искуи, разжав стиснутые зубы Жюльетты, влила ей в рот настойку строфанта. Жюльетта пришла в себя, попробовала сесть и, задыхаясь, сказала:

– Стефану тоже... молоко... Не забыть...

Для Арама Товмасыяна настал день огорчений.

Пристегнув фонарь к поясу, он чуть свет собрался к морю, на прибрежные утесы, узнать, каковы результаты налаженного им рыбного промысла. Плот был готов, юноши обзавелись неводом и маленькими фонариками и решили в эту безветренную погоду выйти в море.

Товмасыян был одержим своей идеей. Он видел в ней не только возможность разнообразить и пополнить пищу, но и считал единственным способом предотвратить надвигающийся голод. Неужто, если усердно взяться за дело, не удастся добывать из недр морских двести-триста ока' рыбы ежедневно? Как ни ограничивали сейчас забой скота, месяца через полтора, при самом оптимистическом расчете, забьют последнюю овцу. Если же он, Арам Товмасыян, добьется процветания рыбного промысла, то море будет источником мужества и сил для сопротивления. Сама мысль о неиссякаемом источнике жизни будет творить чудеса.

Пока молодой пастор, широко шагая, спускался в зеленоватом предрассветном сумраке по тропе, недавно проложенной по приказу Совета, он не Думал ни об овцах, ни о молоке, ни даже о рыбе. В душе его теснились тяжелые думы иного свойства, думы о делах семейных.

Но к чему пустые страхи и волнения, Арам Товмасыян? Ведь ты ведешь себя так, словно твое дитя, этот маленький червячок, станет когда-нибудь взрослым, и ты обязан обеспечить его будущее. Ты ведешь себя так, будто живешь в упорядоченном обществе, где замужество девушки – предмет самой бдительной заботы.

Но что проку? Бог даровал человеку счастливое свойство: верить во что угодно, но, даже погибая, не верить в неотвратимость своей гибели.

Сын Товмасыяна жил уже шестнадцать дней. У него были большие, от века печальные армянские глаза. Но он ни на чем не останавливал взгляда, до сих пор ни разу не крикнул. Если порой издавал какие-то звуки, то лишь сдавленный писк. С каждым днем все беспощадней становилось ясно: надеяться не на что. Уж не был ли он от рождения слеп и нем?

А огненная родинка все разрасталась: не Муса-даг ли незримой печатью поставил таинственную мету на груди своего первенца? К кому только не обращались за советом Товмасыяны! Не говоря уже о профессионалах – Петросе Алтунни и Майрик Антарам – ко всем повитухам, знахаркам и юродивым, какие только имелись в лагере. Но Товмасыяны неизменно слышали одно и то же естественное и простое объяснение, которое не обещало исцеления: тяжелые переживания Овсанны в Зейтуне, депортация, изнурительная дорога в Йогонолук, а потом снова волнения и бегство, – все эти ужасы не могли не повредить ребенку во чреве матери. Но что толку в утешениях? И так как

никакие доступные разуму средства не помогали, то Овсанна рада была бы довериться ведовству Нуник. Но повитухи, эти восприемницы в смерти и в родах, после того как в долину прибыли турецкие пополнения, на Дамладжке не покальвались.

Но Овсанна никак не могла согласиться с теми неопровержимыми доводами, с помощью которых так логично объяснялась страшная судьба ее ребенка. Она считала, что ее карает бог. Ведь Овсанна выросла в пасторском доме. Ребенок должен быть даром небес. А этот ребенок – кара божья. Карает же бог за грех. Но Овсанна не чувствовала за собой никакого греха. Да и в самых глубоких тайниках своей испытуемой совести она не находила ничего, в чем могла бы себя упрекнуть. А раз вина бесспорно есть, стало быть, она лежит на другом и, разумеется, на ком-то из ее близкого окружения. Арам был вне подозрений. Овсанна была фанатически преданная жена, она считала брак их безупречным. На ком же грех, тень которого пала на невинного ребенка? Первопричиной проклятия была Жюльетта Багратян. В ней, прелюбодейке, безбожнице, чужачке, щеголихе видела Овсанна воплощение греха, а последствия его распространялись как рак. А они, Товмасыны, без зазрения совести жили в ее кругу, поселились в ее палатке, спали на ее кровати, ели с ее стола на ее тарелках, потому что прельстились обманчивой суетой, потому что им не хотелось отказаться от удобств, потому что не обладали чистотой, какая нужна для богом предопределенной бедности, – такой, какая была во всех других семьях на Муса-даге. Однако на этом ход мыслей Овсанны не остановился. В душу медленно проникала догадка, и Овсанна жадно за нее ухватилась: Искуи! Конечно же! Овсанна-то знает, что такое ее юная золовка: тоже нарушительница основ брака, лишена всяких устоев, без веры, без оглядки предалась греху! Разве она и раньше не была упрямой, самовлюбленной, падкой до развлечений, когда в Зейтуне Арам поставил перед женой твердое условие – жить с этой особой общим хозяйством? Но ведь Арам никогда не хотел видеть правду, с ним нельзя было даже поговорить откровенно об Искуи, любимой его сестрице. Когда Овсанна во время крестин бедного ребенка расплакалась и убежала, она точно смутно предчувствовала все, хоть решительно ничего не знала. Теперь она знает все, знает, что ребенок ее проклят богом. И Овсанна больше не плакала.

Пять шагов вперед, пять назад – столько было в палатке, – сжав кулаки, она металась, точно помешанный в больничной палате. Но в ту ночь Овсанна решила больше не молчать и потребовала от Арама перевести ее в Шалаш свекра. Живя у Багратянов, в этом очаге разврата, ребенок не избавится от божьей кары.

Пастора глубоко угнетало душевное расстройство жены, он смотрел на нее недоуменным взглядом.

– Если грешница – Жюльетта Багратян, то почему божья кара пала на наше дитя?

Овсанна отняла от груди, ребенка: закипающий гнев отравлял ее молоко, она это чувствовала.



– Значит, и ты, пастор, слеп?

Пастор пытался объяснить жене, сколь мало смысла в том, что она вбила себе в голову. Но едва ли он мог в эту минуту выбрать худшее средство борьбы, чем логика. Овсанна выложила все, что думает о «безнравственности» Искуи. Арам вспылал и со всей резкостью напомнил, что Искуи самоотверженно, подвергая свою жизнь величайшей опасности, ухаживает за чужой ей женщиной, которая, правда, в свое время оказывала ей некоторые услуги. На ней почти что одной лежит все бремя по уходу за больной и днем и ночью, а ведь Искуи больная и хрупкая девушка. И вот на нее так низко клеветают за ее доброту и христианскую заботу о ближнем! И кто же клеветает? Жена брата! Арам понимает, в каком состоянии. Овсанна, только потому он и будет считать, что ничего не слышал, и простит ее.

Овсанна насмешливо расхохоталась:

– Можешь сам поглядеть, пастор, как твоя добренькая Искуи ухаживает за больной. Стоит только заглянуть в палатку! Ты найдешь ее там вместе с ним. А иногда они уж совсем нагло прогуливаются вдвоем...

Смех и слова жены не переставали звучать в ушах Арама, пока он спускался к морю. Ни о чем другом не думалось, хотя рыболовство при нынешнем тягчайшем положении было более насущным делом, чем остальное. Все жесточе леденила сердце правда. Непонятная ненависть Овсанны все запутала. Это его карает бог во втором поколении, в сыне, за великий грех, совершенный им в Мараше, за то, что он бросил своих сирот. Он виновен, а не Искуи.

Внизу, у прибрежных утесов, Арам вдобавок узнал, что его великая идея принесла жалкие плоды. Вопреки штилю плот развалился во время краткого плавания, трое рыбаков и плотовод чуть не утонули. По сравнению с таким риском улов был более чем скудный: две небольшие корзины, наполненные мелкой рыбешкой и морскими гадами. Всего-навсего хватило бы на котел ухи.

Посмеявшись над горе-моряками, Товмасын отдал новые распоряжения, – нельзя же так, с первого раза терять мужество.

И все-таки солеварня дала более утешительные результаты, чем рыболовство. Для Города вполне можно будет добывать нужное количество соли.

Гонимый душевной тревогой, Арам пробыл на берегу не больше четверти часа и поспешил обратно. Ему было еще совсем неясно, что предпринять для спасения Искуи. Он ли не относился к сестре, даже к маленькой, всегда с величайшей бережностью и уважением? Да с Искуи и нельзя было иначе обращаться. При всей ее тихости и ласковой готовности слушаться, кристально-твердая натура Искуи не допускала вторжения в ее внутренний мир. Между братом и сестрой издавна установилась такая тонкая, целомудренная форма общения, которая не позволяла переходить некую запретную грань. А теперь он, для кого душа Искуи всегда была священна, будет побивать ее камнями, – грубо, напрямик все выложит? Он, сострадательный человек, чуткий брат, должен взять на себя роль такого

крикуна-обличителя? И к тому же наветы Овсанны, конечно же, плод ее нервного расстройства.

Арам Товмасян представил немало доказательств своего мужества и в Зейтуне и на Муса-даге. Но теперь, дойдя до поросшего кустарником края гряды, он был в нерешимости, мужество ему изменяло. Не честнее ли призвать к ответу Габриэла Багратьяна? Но как? Вправе ли Арам высказывать такие отвратительные подозрения уважаемому человеку, стоящему на такой недостижимой высоте? Притом человеку, который перенес жестокий удар судьбы, а сейчас трепещет за жизнь сына, отчаивается? Товмасян не находил выхода. Он было решил ничего не предпринимать. Но прежде, чем свернуть к Городу и поговорить с отцом, он вздумал еще раз навеститься к Овсанне.

Все сложилось иначе. Перед палаткой Жюльетты сидела Искуи, глядя невидящим взглядом вдаль, куда скрылся Габриэл. Брата она заметила только в последнюю минуту, когда он сел на землю, против нее; Арам в великом смущении не знал, с чего начать.

– Давно мы с тобой, Искуи, не разговаривали...

Она махнула рукой: в силах ли человеческая память измерить пропасть между былым и настоящим?

Арам пытался найти нужные слова:

– Овсанне очень недостает тебя. Она ведь так привыкла к тебе и к твоей помощи... А теперь еще наш бедный малыш, и так много работы...

Искуи нетерпеливо перебила:

– Ты же знаешь, Арам, из-за ребенка я и не бываю у нее...

– Ладно, ты взяла на себя уход за больной. Это очень хорошо с твоей стороны... Но сейчас, может быть, ты нужнее своей семье...

Казалось, Искуи очень удивлена:

– У Жюльетты здесь никого нет... А Овсанна уже здорова и помощниц у нее сколько угодно...

Пастор несколько раз глотнул, словно у него болело горло.

– Ты меня знаешь, Искуи. Я слов попусту не трачу... Может, поговоришь со мной откровенно? В нашем нынешнем положении держаться иначе было бы смешно...

Она взглянула на брата, и в глазах ее промелькнула искорка неприязни:

– Я с тобой всегда откровенна.

Ему отчаянно хотелось дать ей повод обнаружить свою невиновность. Если это просто сочувствие, взаимная симпатия, дружба, а не что-нибудь непоправимо серьезное, пусть Искуи тогда – он так страстно этого хотел! – пусть она строго укажет ему, что он неправ, а наговор невестки заклеяет и назовет в негодовании ложью.

– Искуи, Овсанна очень боится за тебя. Говорит, ей кое-что стало известно. Мы полночи об этом спорили. Потому я тебя и спрашиваю, ты уж прости! Между тобой и Габриэлом Багратьяном что-нибудь произошло?

Искуи не покраснела, не высказала ни малейшего смущения.

– Между мной и Габриэлом ничего не произошло... Но я люблю его и

останусь с ним до конца!

Арам в ужасе вскочил на ноги. Ревнивый брат, он тяжело перенес бы признание Искуи, что она кого-то любит. Тем большее был этот с дерзким спокойствием нанесенный удар.

– И ты с такой легкостью говоришь это мне в лицо, мне?!

– Ты этого требовал, Арам...

– Ты ли это, Искуп? Уму непостижимо! А твоя честь, честь семьи? Подумала ли ты о том, что он, спаси господи, женат?

Она порывисто вскинула голову. Лицо ее выражало несокрушимую уверенность в своей правоте..

– Мне девятнадцать лет, а двадцати не будет!

Пасторский глас Товмасына загремел:

– В боге ты будешь становиться старше, ибо в боге душа твоя бессмертна и за все отвечает!

Чем пуще гремел Арам, тем тише отвечала Искуи:

– Я бога не боюсь.

Пастор схватился за голову. «Я бога не боюсь...». Выражение высочайшей искренности он принял за закоренелую дерзость.

– Понимаешь ли ты, что творишь? Не видишь разве, в какой трясине погрязла? Вон там лежит при смерти, в беспомысленности женщина, бесстыдная обманщица. А вы обманываете ее во сто крат бесстыдней! Вы ведете жизнь подлую, более чудовищную, чем самые отсталые мусульмане! Да что я! Я грешу против мусульман...

Искуи крепко ухватила правую руку за веревку палатки, глаза ее широко раскрылись. Арам приписал это своему красноречию, – слава богу, он не утратил влияния на сестру. Поэтому решил поубавить тон:

– Будем благоразумны, Искуи! Подумай, какие последствия это может иметь не только для тебя и нас, но и для Багратяна и всего лагеря! Пора кончать с этим ужасным заблуждением! И сразу! Отец придет за тобой и возьмет к себе...

Из груди Искуи вырвался тихий стон. Она отшатнулась. Тут только пастор Арам обнаружил, что ее горестный вскрик вызван не отповедью брата, а чем-то, что происходило за его спиной и что ужаснуло Искуи. Пастор обернулся и увидел Самвела Авакяна; задыхаясь, он озирался, ища своего командира, он едва держался на ногах. Искривленное лицо походило на маску скорби, он плакал в голос.

Искуи ослабевшей рукой показала на Северное Седло, где можно было найти Багратяна. Потом ушла в себя, не обращая внимания на Арама, Она все поняла.

Сато никогда или очень редко спала на одном и том же месте – такая водилась за ней странность.

Свойственная человеку потребность в постоянном ложе, в защищенном месте для ночной половины своей земной жизни, эта потребность прижиться хотя бы на время сна у Сато начисто отсутствовала. Она старалась не ночевать

дважды на одном и том же месте, случалось ей менять ложе и за одну ночь. Правда, это ее не обременяло, она устраивалась без особых приготовлений, где попало, то под кустами «Ривьеры», то в роще, а подчас и посреди Алтарной площади. Она спала, свернувшись клубочком, без одеяла и подушек; хотя дважды выпрашивала их у прислуги Багратянов. Но к чести Сато надо сказать, что эти чудесные постельные принадлежности перекочевали в качестве гостевого подарка к кладбищенской братии, к которой Сато питала истинно родственные чувства. Ее непутевый ночной сон не нуждался в комфорте. Было некое сходство между сном Сато и сном Гайка: она, как и Гайк, была начеку даже в оцепенении сна. Но в то время как обостренное сознание Гайка было настороже и как добрый часовой закрывало доступ действительности, охраняя своего спящего господина, сознание Сато беспокойно блуждало и выкапывало из потайных глубин все сокровенное. Ее сновидения, хоть и походили на снятые подряд фотографии, не всегда были просто мнимостью. Подчас они бывали причудливыми предвестиями, и Сато узнавала, что в это время творилось поблизости и даже в отдалении от нее. Случилось это и сейчас. Она спала среди зарослей мирта и арбутуса, там, где она подглядела любовников. И вдруг ей что-то сказало, что Нуник близко и что идет она во главе длинного шествия.

Она опрометью бросилась бежать в том направлении, какое подсказывало ей чутье. Была еще ночь, когда она миновала складчатое плато Дамладжка и перевалила через гребень горы к югу от горящих лесов. В этом месте гора, исключая кустарники с красными ягодами и отдельные разбросанные там и сям купы деревьев, становится все пустыней и каменистей. Досюда простирался гигантский размах крыльев пожара. Обугленные деревья и островки тлеющей растительности свидетельствовали о большом пожаре. Но сам пожар все больше стягивал свое воинство назад, к своему становищу, к Дубовому Ущелью, откуда он начался. Пламя вокруг ущелья еще не совсем ослабло, и тихими ночами издали слышно было продолжительное шипение, потрескивание и хруст. Огненной броней оградил себя Дамладжк от всех атак на большом протяжении – от Битиаса до Аджи-Абибли. Все предгорье, все овраги, ущелья, лощины были подобны бастионам крепости, созданными пожаром, который слабел лишь на склонах виноградников и плодовых садов. Теперь, правда, жизнь в нем заметно угасала, однако он оставил после себя непреодолимую ничейную землю с раскаленными докрасна гирляндами ветвей, переливающиеся темным пламенем груды углей, чадающие пласты золы и складчатые завесы дыма, будто из сизого с коричневым отливом бархата.

Родники и ручьи, текущие в долину, ничуть не сдались, они вырыли себе новые русла и, дымясь, вырывались на поверхность земли в полосе пожара, точно горячие целебные источники.

Сато встретила процессию с телом Стефана в маленьком неприметном ущелье, которое вело вверх к предпоследней полосе обороны на юге. Нуник с ее присными так медленно продвигалась вперед не только оттого, что пришлось сделать крюк из-за лесного пожара: свиту ее составляли старики и

немошные, это и было главным препятствием. Ибо на сей раз к крепким, жилистым плакальщицам присоединились все убогие, что таились на дне долины. За процессией на почтительном расстоянии следовали даже умалишенные женщины, ибо для кладбищенской братии они были изгои и как бы вне закона. Из этого явствует, что даже невообразимо низкий разряд человечества всегда найдет объект, с которым сочтет ниже своего достоинства «поддерживать знакомство». Бедные дурочки нарочно тараторили, будто полагали, что, сохраняя невозмутимость, они показывают свое превосходство перед теми, кто их презрел.

Ход процессии замедлялся тем, что несли погребальные носилки слепцы с развевающимися на ветру кудрями пророков. Нуник назначила их носильщиками, потому что они были немногими из кладбищенской братии, у кого ноги-руки еще не вовсе ослабли. Сама она шла впереди, а Вартук и Манушак длинными пастушьими посохами направляли слепцов, ограждая от стволов деревьев, кустов и обломков скал; так подгоняют лениво мотающих головой буйволов, расчищая им дорогу.

Тело Стефана в белом саване покоилось на старинных, богато изукрашенных погребальных носилках; десяток таких еще можно было найти в церкви и на погосте Йогонолука. В благодатные мирные годы, когда неделями не случалось никому помереть, и доходы псаломщика начинали скудеть, он прокрадывался ночью в церковь и стучал колотушкой по прогнившим погребальным носилкам. И поколачивая, твердил шепотом заклятие, которому научил его предшественник, рекомендовав сие, как надежное средство подзадорить обленившуюся смерть:

«Древо божье, не дремли, хлеб насущный мне верни!»

Сато носилась вокруг процессии, как щенок, которому ничего не стоит три-четыре раза пробежаться взад и вперед по дороге. Она все ближе подбиралась к носилкам; колыхаясь в такт тяжелым мерным шагам слепцов, они плыли вперед. Ее безжалостные и жадные глаза ощупывали детское тело, накрытое простыней.

Откинуть бы покров с его лица, поглядеть бы, каков Стефан мертвый! До чего же ей этого хотелось!

Потом, когда шествие почти перевалило гору, она во всю прыть помчалась к лагерю. Ей хотелось первой разбудить Авакяна и Кристофора и предстать перед народом вестницей смерти Багратьянова сына. Едва рассвело, мертвец и его колченогая, бредущая ощупью свита достигли главной площади Города. Носилки поставили у подножия алтаря.

Плакальщицы со всей братией уселись вокруг. Нуник открыла лицо мальчика. Она исполнила поручение Тер-Айказуна, как могла. Труд подлежит оплате. В бесспорном порядке.

Но вот чуть слышно раздалось прерывистое жужжание надгробного плача.

А Стефан стал похож на восточного принца; таким, когда он впервые надел национальный костюм, в ужасе увидела его мать.

И хотя Нуник насчитала сорок ран, колотых и рубленых, и множество

ушибов на всем теле, хотя позвоночник у него был перебит, а горло перерезано зверской рукой, лицо убитого не исказила мука.

Казалось, из-под навеки сомкнутых ресниц Стефан все еще видит так страстно ожидаемого отца, который, наконец, показался из высокого вокзального портала. С лица этого сорокакратно убитого мальчика ничто не согнало улыбку радости: ведь он снова в объятиях отца.

Смерть пришла к нему в его отсутствие. По воле бога страшная мученическая смерть коснулась его лишь как дальняя весть о чьей-то гибели. И лишь теперь он стал самим собою, этот мятущийся принц.

Первым, кто вышел на Алтарную площадь и в изумлении отшатнулся, увидев погребальные носилки и окруженный похоронной процессией алтарь, был Грикор, аптекарь.

Накануне вечером Тер-Айказун самолично освободил Саркиса Киликяна и направил в прежнюю его часть на Южном бастионе.

Гриктору жаль было расставаться с Киликяном, который, находясь под арестом, несколько суток провел с ним в бараке. Аптекаря за время его болезни совсем забросили. Последователи его, учителя, перестали бывать у него не столько из-за военной службы, сколько потому, что, почитая себя с недавних пор людьми дела, чувствовали легкое презрение к своему прошлому беспочвенных мечтателей. Гонзаго, с которым Грикор охотно беседовал, бежал. Старый друг аптекаря, эким Петрос притащится порой к одру больного Грикора, а сам – в чем только душа держится! – осмотрит, глубокомысленно и беспомощно качая головой, изуродованные суставы больного, да и все. Одиночество Грикора стало, если подсчитать, вдвое длиннее, потому что из двадцати четырех часов он спал час-два, да и то всегда только в полдень. Ночью же, как свойственно многим мудрецам и гениям, он жил просветленной, исполненной высоких чувств жизнью.

В первые две ночи присутствие арестованного Киликяна в запертой лачуге было для Грикора непереносимо. На третью ночь это ощущение помехи от присутствия постороннего превратилось в странную потребность видеть арестанта, говорить с ним. Не уступил он этой потребности только потому, что не хотел уронить авторитет Совета уполномоченных, в состав которого сам входил.

На четвертую ночь чувство одиночества овладело им с такой силой, что Грикор ничего с собой поделаться не мог. Превозмогая отчаянную боль, он встал с кровати, дотащился до двери в «карцер», достал из тайника опухшей, узловатой рукой ключ и с трудом отпер ее.

Саркис Киликян лежал с открытыми глазами на циновке.

Аптекарь его не разбудил, и Киликян не удивился его приходу. Руки и ноги Киликяна были связаны, но так милосердно, что он мог свободно двигаться. Грикор поставил керосиновую лампу на пол и сам сел подле нее. Ему было до глубины души стыдно этих связанных рук и ног. И чтобы сравняться с Киликяном, показал свои бедные руки:

– Мы оба скованы путами, Саркис Киликян. Но мои путы причиняют

большую боль, чем твои. К тому же я и завтра буду их носить. Так что не жалуйся.

Киликян вскинул на него равнодушные глаза:

– Я не жалуясь.

– Может, было бы лучше, если бы жаловался...

Аптекарь протянул арестанту бутылку водки.

Тот задумчиво отхлебнул. Старик с сосредоточенным видом тоже отпил. Потом оглядел арестанта:

– Я знаю, ты учился... Студентом был... Может, хочешь, пока ты здесь, книжку почитать?

– Слишком поздно ты пришел с этим, аптекарь.

– На каких языках ты читаешь, Киликян?

Киликян угрюмо, точно нехотя, проворчал:

– Могу и на французском, и на русском, если понадобится...

Гладкое лицо мандарина с трясущейся козлиной бородкой печально поникло:

– Видишь, что ты за человек, Киликян...

Дезертир разразился тем клохчущим, беспричинным и медленным смехом, что так ужаснул Габриэла Багратяна в ночь «генеральной репетиции». Но Григор не поддался на фортель:

– Знаю, жизнь у тебя была несчастливая... Но почему? Разве тебя не послали в Эчмиадзин? Разве ты не жил в семинарии, дверь в дверь с самой прекрасной библиотекой в мире? Я был там только один день, но счастлив был бы остаться среди этих книг до конца своих дней... А ты сбежал.

Саркис Киликян привстал.

– Послушай, аптекарь, ты ведь раньше курил... Я пять дней табаку не нюхал.

Григор со стоном собрал свои старые кости и принес арестанту чубук и последнюю оставшуюся у него жестянку табаку.

– Возьми, Киликян. Я лишен и этого удовольствия, руки трубку не держат...

Саркис Киликян жадно закурил, окутав себя клубами дыма. Но аптекарь поднял с полу лампу и направил свет на Киликяна.

– И все же, Киликян, ты сам виноват в своем несчастье... Я вижу по твоему лицу, что ты монах. Не то (чтобы в тебе было что-то поповское, – монах в моем понимании – это человек, который в своей келье обладает всем миром... Почему ты сбежал? Потому-то у тебя все так неудачно сложилось... Чего тебе надо было в миру?

Саркис Киликян курил так самозабвенно, что неясно было, слышит ли он и понимает ли речи Григора.

– Я вот что тебе скажу, друг мой Саркис... Есть две разновидности людей. Одна – человек-зверь, таких миллиарды! Другая – человек-ангел – их тысячи, в лучшем случае, тысяч десять. К разновидности человека-зверя принадлежат и вершители судеб мира – короли, политики, министры, генералы, паши, – равно

как и крестьяне, ремесленники и рабочие. Взгляни, например, на мухтара Кебусяна! Каков он, таковы все. Все они – только в разных формах – заняты одним: делают дерьмо. Ибо политика, промышленность, сельское хозяйство, военное дело, – что это все, как не дерьмо, пусть даже чем-то полезное? Отними у человека-зверя дерьмо, в душе у него останется самое страшное – скука. Совладать с нею сам он не в силах. И от скуки проистекает все зло, – политическая ненависть и массовые убийства.

А в человеке-ангеле живет восторг! Неужели ты, Киликян, не приходишь в восторг, глядя на звезды? Восторг в человеке-ангеле – это все равно что хвалебный гимн истинных ангелов, о котором великий Агафангел\* говорит, что это высшая и самая плодотворная деятельность во вселенной... Но к чему я веду? Я хотел сказать, что есть такие человеки-ангелы, которые сами себя предают, сами от себя отступаются. Для таких нет пощады, нет жалости. Каждый час есть час отмщения им...

---

\* Агафангел, или Агатаигехос – выдающийся армянский истерик V века, автор «Истории Армении», в которой излагаются подробности обращения армян в христианство. Существуют старинные переводы и версии его «Истории» на греческом, арабском, эфиопском языках, в XVIII веке «История» Агатаигехоса была переведена на латинский язык, в XIX – на итальянский, шведский и французский, в XX веке – на португальский и русский языки.

---

Тут маг слова, Григор Йогонолуцкий, потерял нить и умолк. Саркис Киликян, казалось, ничего не понял из всего сказанного. Вдруг, однако, отложил чубук в сторону.

– Разные есть души, – сказал он. – Иных уничтожают в детстве, и никто потом не спросит, какие это были души...

Он вытащил связанными руками из кармана складную бритву и раскрыл ее.

– Смотри, аптекарь! Как ты думаешь, мог бы я перерезать эти ремни? Как ты думаешь, мог бы я пнуть ногою разок-другой и разнести в щепы эту конуру? А я этого не делаю.

Голос Григора звучал глухо и равнодушно, как в былые времена:

– Такой нож есть у каждого из нас, Киликян. Но к чему он тебе? Если даже ты сам себя освободишь, переступить границу лагеря нельзя, идти некуда. Поэтому мы можем разбить оковы только внутренней несвободы.

Дезертир ничего не ответил и лежал спокойно, а Григор достал из своей стены книг томик, надел на нос очки в никелевой оправе, и голосом,



наводящим сон, начал читать вслух. Киликян слушал, не сводя с него неподвижных агатовых глаз, длинные фразы, в которых туманно рассказывалось о свойствах и влиянии звезд.

В последний раз аптекарю Йогонолука было дано приобщить к своему богатству молодого человека. По непонятным причинам ему показалось, что стоит лишь приложить усилия, и он воспитает себе ученика из этого беглого семинариста. Напрасный труд! На другую ночь ловец человеков был опять одинок, и больше, чем прежде.

Опираясь на две палки, Грикор приблизился к носилкам. Безмолвно склонил желтое лицо над мертвым сыном Багратяна. Долго качал лысой, удлиненной головой.

Нет, сейчас голова у него тряслась не от болезни. Сейчас это было знаком невыразимого изумления миром, где создания, предназначенные для духовной жизни, вместо того, чтобы наслаждаться дефинициями, формулами и стихами, ослепленные фанатизмом, режут друг другу глотки.

Немного на свете человеков-ангелов, и даже эти немногие предают свое ангельское естество, становятся отступниками. Он попытался было подобрать из своей своеобразной сокровищницы цитат подходящее к случаю слово, которое бы его подбодрило. Но сердце было переполнено скорбью, и он не нашел нужного слова.

Согбенный, скрюченный, заковылял он обратно в барак. Среди разных настоек аптекарь хранил крохотный пузырек из тонкого стекла, запечатанный сургучом. Десятки лет назад он попытался изготовить по рецепту средневекового мистика, перса, настоящее королевское розовое масло, секрет которого мир давно утратил. Скляночка заключала в себе одну каплю этой добытой многодневным трудом эссенции. Грикор еще раз дотронулся до погребальных носилок и разломил скляночку над челом усопшего. И в воздухе тотчас же разлилось крепкое благоухание, которое, как на мощных крыльях, воспарило над головой мученика. И аромат этот поистине походил на того гения, чье невидимое тело, по словам персидского учителя Грикора, образовалось из самой сути тридцати трех тысяч роз.

Между тем, явились Тер-Айказун и доктор Петрос. Священник встал у изголовья Стефанова ложа с полуопущенными веками, спрятав зябкие руки в рукава рясы. Костлявые, вдумчивые пальцы старого доктора обнажили на миг раны на закоченелом теле мальчика. Потом бережно укрыли его и ласково разгладили покров.

Наступал день. Из проулков между шалашами и с ближних позиций быстро стекался народ и теснился у алтаря. После трех дней боев народ этот видел очень много мертвых и громко их оплакивал. Но этого нельзя было сравнивать с теми павшими. Многие знали, что здесь – жертва, что этот мертвый мальчик означает нечто большее.

Неслыханная тишина. Даже подростки, чьего признания Стефан в своей жажде стать «Настоящим» так сумасбродно домогался, даже эти неугомонные неслухи робко и почтительно посматривали на тонкое, цвета слоновой кости

лицо. Вот когда он покорил их! И только одноногий Акоп остался дома и зарылся, укутавшись с головой, в одеяло. Тишину нарушали протяжные, душераздирающие вопли вдовы Шушик. Мать Гайка, увидев труп Багратьянова сына, заголосила; так трубит раненый олень. В ее сознании судьба Стефана была неразрывно связана с судьбой Гайка; так она думала, даже когда убедилась, что сын ее не лежит на погребальных носилках: ведь если турки убили одного, значит, и другой не ушел от расправы. А Нуник, Вартук и Манушак бросили ее сына на съедение псам, потому что он простой крестьянский мальчишка, никому до него дела нет.

Вопли Шушик напоминали не стон страдальницы-матери, а вой раненого зверя, – этим воем зверь как будто прощается с жизнью.

Шушик окружили женщины, – ее, которая и здесь, на Дамладжке, жила на отшибе, не сближаясь с соседями. А сейчас ей со всех сторон шептали, уговаривали не падать духом; ведь по всему ясно – шептали утешительницы, – что Гайк спасся и не сегодня-завтра будет под крылышком Джексона. Если бы его прикончили, он наверняка лежал бы тут же. У молодого Багратьяна не было той силы, а главное, той смекалки, которая есть у Гайка, и она с божьей помощью благополучно доведет его до цели. Шушик не слушала утешений. Она стояла согнувшись, прижав руки к груди, и монотонно причитала, будто взывала к земле.

В качестве свидетельницы предстала Нуник. Старуха откинула покрывало с изъеденного волчанкой лица. Несмотря на то, что жить в долине означало жить под постоянной угрозой смерти, Нуник по-прежнему располагала среди населения тайными источниками сведений, они не иссякли. Она поклялась, что сын Багратьяна появился один, без спутников, в окрестностях деревни Айн-Джераб, что там его схватили двое новоселов-турок и доставили к мюдиру. Но и сама правда не помогла. Шушик не поверила. Тогда женщины по знаку Тер-Айказуна стали осторожно оттеснять ее к главной улице. Прикасаться к ней они не смели, могучее ее телосложение внушало им почти суеверный страх. И вдруг вдова Шушик смирилась. Женщины удвоили старания, утешительный шепот усилился. Мать Гайка и впрямь будто становилась спокойней, будто вновь обретала надежду по мере того, как ее уводили все дальше от мертвеца.

О тоске по человеческому теплу говорили движения Шушик; и то, как бессильно поникла ее маленькая голова, и то, как ее нелепое большое тело клонилось к обступившим ее грациозным, хрупким фигуркам утешительниц. Она обняла за плечи двух, что стояли поближе, и покорно дала себя увести.

Но когда на Алтарной площади показался Габриэл Багратьян, сопровождаемый плачущим Авакяном, ни одна душа не решилась к нему подойти. Напротив. Толпа отступила довольно далеко, так что между алтарем и Габриэлом образовалось свободное пространство. Даже плакальщицы и нищие встали и скрылись в толпе. Только Тер-Айказун и эким Петрос остались на своих местах.

Габриэл, однако, не кинулся к алтарю, даже замедлил шаг. Вот и

свершилось то, что пять дней и пять ночей рисовал он себе ежеминутно, исступленно и беспощадно. Уже не было сил испить до дна чашу действительности. Он нерешительно отсчитывал шаг за шагом расстояние между собою и сыном, точно стремясь отдалить хоть на несколько секунд последнее: окончательную уверенность. А тут еще ему стало казаться, что все его тело иссыхает. Началось с глаз. Глаза жгло от этой сухости, он моргал, но веки не увлажняли глаз. Потом пересохло во рту. Как кусок, толстой сморщенной кожи пристал язык к шершавому нёбу. Габриэл пытался глотнуть и не мог, – не было слюны. В раскаленной гортани закипали противные пузырьки воздуха и тут же лопались. Но самое страшное было то, что он не мог собраться с мыслями. Вся суть его словно пятилась от боли, которая зияла в нем как дыра. А он не понимал, что эта дыра – есть Ничто, что эта пустота и есть настоящая боль. Он злобно спрашивал себя: что случилось? Почему я больше не страдаю? Почему не кричу? Почему у меня нет слез? Даже горькое чувство обиды на Стефана не прошло. А ведь здесь лежало его дитя, которое он любил. Но Габриэлу никак не удавалось запечатлеть в душе лицо мертвого. Его пересохшие глаза видели только большое белое и маленькое желтоватое пятно. Ему хотелось направить мысли на совершенно определенные вещи, подумать о тяготевшей на нем вине. Он ведь забросил мальчика и потом унизил, подтолкнул его к бегству. Он осознал это в последние дни. Однако мысли Габриэла не ушли далеко; из зияющей дыры потянулись обыкновеннейшие картины и подробности и стали мыслям поперек дороги, хоть большей частью никакого отношения к Стефану не имели. Но тут из той же дыры вынырнула греховная потребность (тоже, верно, бесовское наваждение!), которую он, казалось, много недель назад победил: курить! Найдись в тот миг сигарета, – кто знает? – он, может, и взял бы ее в рот к ужасу всего народа. Не отдавая себе отчета, он шарил в карманах. В эту секунду он страдал за своего мальчика, которого он и сейчас покинул.

Почему он был так далеко от Стефана, что даже не видел его лица? Однажды на вилле в Йогонолуке он сидел у кровати сына и подслушивал его сны; на столе тогда лежали неумелые его чертежи, карты Дамладжка. И теперь они вновь едины, он и его мальчик, который все, чем был он сам, навсегда уносит с собой. И Габриэл Багратян стал на колени перед мертвым, чтобы его слепнущие глаза в последний раз запечатлели это нетерпеливо ожидающее личико.

Тер-Айказун, Алтуни и все другие видели вождя сопротивления таким, как обычно, – в охотничьем костюме и тропическом шлеме. Они увидели, как он медленно, чуть пошатываясь, подошел к погребальным носилкам. Потом увидели, как он беспомощно стоит, ловя ртом воздух, и все время нерешительно то будто тянется, то отталкивается руками. Они увидели, что он не в силах смотреть на мертвого сына и потому отворачивает голову. Когда же он, наконец, молча пал на колени перед трупом, в сердцах тысячи молчащих людей пронеслось мгновение, равное вечности.

И вот лицо Габриэла легло на лицо Стефана. Казалось, он уснул, или так и

умер – на коленях, припав лицом к лицу сына. Тропический шлем свалился наземь. Из-под сомкнутых век не выкатилось ни одной слезы. Но все женщины и многие мужчины плакали. Смерть Стефана казалось, снова сблизила этих людей с чужим. Как только в сердцах толпы миновало пронесшееся бесконечное мгновение, Тер-Айказун и доктор Петрос под руки подняли стоящего на коленях отца. Не вымолив ни слова, они увели его, и он послушно пошел с ними. И когда они уже далеко отошли от Города и завидели Три шатра, Тер-Айказун, который шел по правую руку Багратяна, сказал коротко:

– Габриэл, сын мой, помни, что он опередил тебя всего на несколько обыденных дней.

Но доктор Петрос, шедший слева, горько и устало возразил:

– Габриэл, дитя мое, помни, что наступающие дни будут не обыденными днями, а сущим адом, и благослови ночь.

Багратян ничего не сказал, но остановился и раскинул руки, преграждая им путь. Они поняли и повернули обратно, оставив его в одиночестве.

Температура у Жюльетты больше не падала. Казалось, ее бесчувственное состояние дошло до предела. Она перестала дергаться, метаться, бормотать, хрипеть, задыхаться, лежала вытянувшись, неподвижно, и только дыхание короткими толчками вырывалось из обметанных губ. Наступил ли согласно законам этой болезни кризис, который в несколько часов решал: жизнь или смерть?

Искуи больше не тревожилась о Жюльетте, помрет или выживет – ее воля. Не вспоминала Искуи и о мрачных угрозах брата, – он поклялся навсегда отречься от нее, если она в полдень не уйдет от Багратянов.

В палатке стоял Габриэл, выпрямившись во весь рост, – почти касался головой потолка. Вид у него был, пожалуй, даже более отстраненный от мира, чем у лежавшей в горячке жены; он не узнавал Искуи.

Она скользнула на пол, припала головой к его коленям. Сейчас она не так терзалась гибелью Стефана, как муками Габриэла. Она одна знала, какой ранимой и алчущей света была его душа. И все же он решился взвалить на свои израненные плечи этот пылающий мир, весь Дамладжк. А близкие подрезали ему крылья, – сначала Жюльетта, потом убитый сын.

Габриэл продолжал стоять.

Что перед ним она, Арам и все другие? Ничтожные мошки! Грубые, грязные крестьяне, бездумные головы, бесчувственные сердца не догадывались даже, кто к ним низошел! Она чувствовала себя приниженной от того, что так бессильна, так незначительна. Что может она свершить и чем пожертвовать, чтобы стать достойной Габриэла? Ничего! Она протянула ладонь. Жест нищенки. Она молила его подать, как милостыню, хоть частицу своей боли, своей тяготы. Лицо ее светилось благоговением, мучительной жаждой самоотдачи, ведь она стояла на коленях перед человеком, который все еще ничем не дал понять, что чувствует ее присутствие. Она начала шептать ему какие-то жаркие, несуразные слова, немислимый вздор, который ее ужаснул и

сконфузил. Как же она бедна, как чудовищно бедна оттого, что не властна помочь! Наконец, вызванное отчаянием, заговорило материнское чувство, едва ли не безотчетное: нехорошо стоять, когда больно. Когда больно, надо лечь. Он должен поспать. Только сон может помочь. Но не я.

Она расстегнула крючки на его гетрах, расшнуровала ботинки, заставила сесть на свою кровать. Пустила в ход свою парализованную руку, это стоило сверхчеловеческих усилий. То было нелегкое дело, но так как Габриэл сам начал машинально раздеваться, то Искуи справилась. Зато так устала, что потом, укрывая его, никак отдышаться не могла.

Искуи почувствовала скользнувший по ней, ничего не выражающий взгляд. «Я лежу на мягком». Ничего другого Габриэл не сознавал. Много недель он спал на голой земле Северного Седла. У него стучали зубы, это был озноб, мучительный и сладостный.

Искуи забилась в угол, чтобы он ее не замечал, пока она ему не понадобится. Она молилась, чтобы крепкий сон, наконец, утишил его страдания. Но из груди Габриэла исходило не ровное дыхание спящего, а тихий, звенящий звук: будто жужжание и мерное постанывание, напоминавшее надгробный плач.

Габриэл искал и не находил Стефана в бездонной пустоте боли. Но от этого тихого звенящего жужжания ему, верно, становилось легче на душе, потому что с небольшими перерывами оно продолжалось, пока августовское солнце в обычный час не послало свой длинный луч заглянуть в просвет между полотнищами шатра. Луч проник внутрь и озарил лицо Жюльетты.

Искуи увидела, что состояние больной внезапно изменилось. На лбу Жюльетты выступил пот, глаза были широко раскрыты, она приподняла голову, прислушиваясь. Жюльетта испытывала глубокий восторг. Но онемелый и больной язык не слушался, понять ее было трудно:

– Колокола... Габриэл... Слышишь... Колокола... Сто колоколов... Правда ведь?

Стоны на другом ложе сразу смолкли. Жюльетта в возбуждении силилась привстать. Во всю мочь напрягла свой слабый голос, и он зазвенел ликующим криком:

– Весь мир теперь стал французским!..

Однако ж в этих словах заключалась правда, о которой не догадывалась Жюльетта, утопая в море колокольного звона, порожденном ее победным патриотическим сном. Отныне, после того, как пролилась кровь Стефана, после смерти ее единственного сына, которого она подарила армянскому народу, весь мир для нее стал, поистине, снова французским.

## Глава четвертая

## РАСПАД И ИСКУШЕНИЕ

На тридцать первый день Муса-дага состоялись похороны Стефана. А на тридцать второй день грянула великая беда.

До этого дня членам семи армянских общин вроде бы не на что было жаловаться. Ведь в то время как меж Алеппо и Дейр-эль-Зором, в горных ущельях и долине Евфрата, в степях и Месопотамских пустынях истлевали останки сотен тысяча армян – едва ли не половина всех депортированных, – здесь, в Городе, на оборонительных позициях, в лазарете и карантинной роще умерло и было убито не более двухсот восьмидесяти человек. Если учесть все кровавые бои, постоянное недоедание, эпидемии, бессонные ночи, физическую нагрузку и всевозможные тяготы, то этот сравнительно невысокий процент смертности свидетельствует не только о необычайной силе сопротивляемости сынов гор, но и о милости господней. Поистине удивительно, что где бы ни восставали армяне против Энвера и Талаата, там всюду с неумолимой последовательностью вступали в действие высшие силы и дело решалось в пользу храбрецов. Правда, мусадагцы не могли, как восточно-анатолийские повстанцы Вана и Битлиса, рассчитывать на приход русских, которые гнали, перед собой смертельного врага армян генерала Джевдета-пашу. Для осажденных на Дамладжке бескрайние просторы страны ислама с ее неоглядными степями и горами рождали еще большую безнадежность, чем даже море. А море у них за спиной было непостижимо мертво. Никто уже, даже малые дети не верили, что когда-нибудь у сирийского побережья появится военный корабль. И даже если, рассудку вопреки, невероятным, чудесным образом такой корабль и покажется на горизонте, то все равно было бы нелепо предположить, что кто-то из команды заметит жалкий лоскут, висящий на Скале-террасе. Прошло уже больше недели, а пловцы все не возвращались из Александретты. Их уже считали погибшими. Лишь несколько неисправимых романтиков пытались рассматривать столь долгое отсутствие как благоприятный признак.

Но как на все это ни смотреть, а люди жили. Семь, а то и восемь секторов обороны сделались, благодаря опустошительному пожару, неприступными, а остальные Габриэл Багратян усилил или основательно переоборудовал. Да и у врага, очевидно, не было никакого желания пускаться в новые авантюры. Вся долина Оронта и ближайшие деревни кишели солдатами новых формирований и новыми заптиями, слонявшимися без всякого дела. Командование врага не удосужилось даже, хотя бы для вида, организовать осаду горы. Возможно, оно не желало идти на риск, памятуя о вольных стрелках, но возможно, и просто ждало подвоза артиллерийских средств.

Жители лагеря кое-как обходились ничтожным рационом питания. Труднее всего было переносить отсутствие хлеба. Но женщины и здесь оказались изобретательными. Теперь уже никто не ел одно мясо, как вначале. Тощий, жилистый кусок, выданный утром, был недостаточен, чтобы заполнить желудок. Мясо резали на мелкие кусочки, варили с луком, приправляя

различной зеленью, так что получалась похлебка и хоть немного увеличивалась порция еды. При таком изобретательном образе жизни можно было бы и протянуть еще некоторое время, если бы внезапный удар не положил всему неожиданный конец.

А кто был виноват? До первопричины так и не докопались. Ответственные за стадо мухтары сваливали вину друг на друга. Установлено было лишь, что одно из первых и важнейших решений Совета самым преступным образом систематически не выполнялось. А мухтары не только не препятствовали своеволию овчаров, но даже благожелательно взирали на это, что бы они потом ни говорили, ссылаясь на потравленные луга внутри оборонительного кольца и на необходимость свежего корма для стада. Да, конечно, новые пастбища расположены внизу Северного и едла и при этом удачно скрыты от чужих глаз и вполне недоступны. Однако можно ли доверять овчарам? Как и всюду на земле, они и здесь были набраны из босоногих мальчишек и полусонных стариков. Небольшое сообщество это со временем вполне приспособилось к характеру своих подопечных, пребывая в полной уверенности, что вокруг царит глубочайший мир. Одним словом, мухтары давно уже крайне небрежно относились к своим прямым обязанностям и бывали вполне удовлетворены, если пастухи пригоняли к бойне предписанное количество скота, вес которого после перегона на новые пастбища заметно увеличился. Видно, мухтары забыли, что они члены Совета. Тем непростительнее второе упущение. Соответствующее решение Совета было распространено даже в письменном виде и скреплено подписью Тер-Айказуна – столь важным оно представлялось Совету. Ни при каких обстоятельствах не дозволялось выгонять скот – эту драгоценную собственность народа – без вооруженной охраны даже на внутрилагерные пастбища на двух возвышенностях Дамладжка и на лугах морского склона горы. Впрочем, если провести в жизнь это решение, пришлось бы заговорить о так называемых «новых пастбищах», а это привело бы к немедленному пресечению подобного своеволия. Проще было отказаться от всякой охраны. Все мухтары уповали на бога, на то, что новые пастбища хорошо скрыты от вражеских глаз, и на лень турок. Друг с другом и с прочими руководителями они не заговаривали об этой противоречащей всем решениям Совета тайне. Так был подготовлен и обеспечен легкий успех врагу. Турецкие разведчики на сей раз действовали безупречно.

Два взвода турецкой пехоты и отряд заптиев получили приказ выйти ночью на выполнение задания и по перевалу близ Битиаса подняться на Муса-даг. Наставлять солдат и офицеров в необходимости соблюдения тишины и осторожности поистине не было нужды. Несмотря на новолуние, вся боевая группа, как и предписывал устав, двигалась, выслав вперед авангард и головной дозор, затем фланговое охранение и арьергард. Солдаты ступали с большой опасливостью, взвешивая каждый шаг. И эта крайняя осторожность врага была ведь не чем иным, как бесценным капиталом, завоеванным Габриэлом Багратяном и его дружинниками у турок.

С затемненными фонарями полурота подкралась к спящим овчарам.

Командир до последней минуты не верил, что его рейд закончится без боя. Каково же было удивление солдат, когда они застали двух-трех старцев в белых тулупах, которых тут же всех до одного бесшумно прикончили! А стадо овец запятой еще до восхода солнца в спешном порядке перегнали в долину, словно этому военному трофею угрожала опасность.

Так у мусадагцев была перерезана нить жизни.

Среди похищенного скота оказались все общинные овцы и ягнята, большое число коз, а также все ослы, кроме тех, что использовались в качестве вьючных и верховых. Если подсчитать весь оставшийся в лагере скот, то еды хватило бы еще на три-четыре дня, а уже после этого оставалась голодная смерть.

Утром, едва Тер-Айказуна известили о чудовищном ночном событии, он немедленно созвал Большой Совет. Какое действие оно окажет на народ, он превосходно понимал. После вспышки ярости против Жюльетты Багратян в Городе тлело беспричинное и бесцельное ожесточение, словно бы искавшее повода вырваться наружу. Вардапет охотно утаил бы весть о катастрофе, а то и облек бы свое сообщение в такую форму, которая исключила бы вину и ответственность руководства. Но это, к сожалению, было невозможно.

Уполномоченные, в зависимости от характера, кто спешил, а кто еле плелся к правительственному бараку. Но все они стремились укрыться в нем прежде, чем на Алтарной площади соберется народ. Впечатление они производили самое разное – не то отчаявшихся, подавленных, не то неуверенно-надменных. Осторожности ради Тер-Айказун вызвал городскую полицию – всего двенадцать человек – для охраны здания. А Чаушу Нурхану поручил строго следить за порядком в пределах всего лагеря.

До этого Большой Совет редко собирался в полном составе. Дела по сути решал триумвират – Багратян ведал военными делами, Арам Товмасын – внутренними, а Тер-Айказун, как глава всего народа, имел решающее слово при обсуждении всех вопросов. Сегодня же, в этот грозный час, явились все, за исключением Багратяна, который после похорон Стефана не покидал площадки Трех шатров. Пастор Арам рад был тому, что избежал встречи с Багратяном: несказанное горе обрушилось на командующего, и у пастора не достало бы духу всего несколько часов спустя призвать его к ответу. Да и все теперь было так запутано! Подчиняясь строгому требованию Овсанны, Арам передал шатер со всем инвентарем управляющему Кристофору и, покинув этот комфортабельный «Вавилон», перебрался с женой и ребенком в тесный шалаш отца. В душе он жалел Овсанну, лишившуюся удобств. В пасторше, прежде так привязанной к домашнему уюту, теперь вдруг проснулось острое, пожалуй, даже болезненное влечение к бедности, к скромному, чуть ли не аскетическому образу жизни. Но более всего совесть Арама была отягощена мыслями об Искуии – ныне носительнице такой опасной и заразной болезни и потому лишенной возможности перебраться в другое жилище. Согласно предписанию санитарной комиссии ее бы и часу не потерпели в пределах Города. Однако своим бегством из палатки Товмасын обрек сестру на греховное соседство с



Габриэлом Багратяном и смертельно больной Жюльеттой. И то, что до сих пор никого не удивляло, теперь из-за поспешного переезда пастора станет предметом осуждения. Теперь он сам оказался виновным в унижении своей, несмотря ни на что, горячо любимой сестры.

Кроме Багратяна, еще один член Совета не принял участия в этом поистине критическом заседании. Уже накануне, утром, аптекарь Грикор не вставал с постели, опухшие руки и ноги были похожи на колоды и недвижимы. Доктор Петрос лихорадочно листал свой «Справочник лечащего врача», но так ничего и не почерпнул из длинного перечня латинских названий бесчисленных болезней. Не помогли ему и обычные в таких случаях слова утешения: «Даже если бы я и понял хотя бы одно из названий, разве от этого я знал бы больше?». И он, как ни в чем не бывало, поставил книгу на место. Однако лицо его выражало суровость и не выдало пациенту, до чего растерян доктор, тем самым еще раз доказав, что он хороший врач. Затем, прописав покой и тепло, он предоставил аптекарю самому выбрать себе любое из оставшихся у него снадобий собственного изготовления. Но Грикору уже не могли помочь ни лекарства, ни тепло. Единственное, чего он жаждал, был покой, благодатный покой, когда он не испытывал бы боли. Но как раз покоя и тишины он был лишен, ибо проживал в самом парламенте Муса-дага. Между своим одром и мирскими делами он воздвиг благородную преграду. За этой-то, сложенной из книг перегородкой он надеялся обрести уединение и покой. Впрочем, и на сей раз подтвердилось, что ограда, возводимая из мудрых мыслей, поэзии и науки, недостаточно непроницаема. Она пропускает пошлую шумиху политики. А сегодня шумиха с первых же минут отдавала тревогой. Особенно выделялись голоса мухтаров, пытавшихся громким голосом и темпераментом заглушить свою вину. В конце концов на середину вышел Тер-Айказун и приказал всем сесть на места. Однако сам он сдерживался с великим трудом:

– Когда в войсках, ведущих бой, – сказал он, – совершается подобное преступление, то ответственных за это людей беспощадно расстреливают. А мы с вами не просто батальон пехоты, мы – народ! Народ в беде! И бой мы ведем не против равного врага, мы вынуждены отстаивать себя под угрозой полного истребления против стократно, тысячекратно превосходящих сил. Осознав это, попробуйте теперь понять всю преступность вашего легкомыслия и вашей лживости: Мне следовало бы не только расстрелять вас, подлейшие мухтары, но и по отдельности предать казни каждую часть вашего тела. И я, клянусь вам, с радостью так бы и поступил, не дрогнув перед божьим судом, если бы это хоть немного помогло нам. Но я вынужден сохранять хотя бы видимость нашего согласия, дабы спасти авторитет руководства. И я вынужден вас, предельно безответственных мухтаров, не смещать, ибо всякое изменение может потрясти основы нашего порядка. Я вынужден взять вину и на себя, дабы лживыми и подлыми отговорками спасти Совет от справедливого гнева народа. И то, что не удалось ни вали, ни каймакаму, ни бинбаши, ни юзбаши, – этого блистательно добились вы, мухтары и члены Совета: мы погибли!

Мухтары сразу сбавили тон. Но с одним не так-то легко было справиться –

с богатеем Товмасом Кебусяном. Жалкий подкаблучник, он дома и рта раскрыть не смел перед женой, а тут ораторствовал среди себе подобных, стараясь вознаградить себя. От волнения у него стали отчаянно косить глаза, и затряслась голова:

– Да уж есть такие счастливицы, – ехидно сказал он, – которые ничего не смыслят ни в скотоводстве, ни в хозяйстве вообще, а нос задирать умеют. Я-то никогда не совершал ничего безответственного. Все тут знают, что я денно и ночью жертвую собой ради общего блага, и так год за годом, с тех пор, как несу свой крест – управляю деревней. Одно дело решение Совета, другое – его выполнить. Если бы я не перегнал скот на новые пастбища, моя скотина подохла бы еще две недели тому назад, и некому было бы здесь помирать с голоду – ни души не осталось бы в живых! А что новые выгоны никто не охранял, так это не мое мух-тарское дело, я никакого отношения к этому не имею и ответственности за оборону не несу, а что до всего прочего, так мне не за что отвечать – я всего этого знать не знал и ведать не ведал.

Кончил Товмас Кебусян свою речь такими весьма гордыми, но не слишком логичными словами:

– Чего вам от меня надо? Половина стада – моя собственность, плоды трудов моих. Так ведь? Вы-то мало что потеряли, я потерял – все!

Наглое хвастовство богатого йогонолукского мухтара прибавило смелости и другим. Не отставать же им от собрата.

Азирский мухтар крикнул Тер-Айказуну, очевидно, желая уличить его в неблагодарности:

– Я ведь в прошлом году по случаю рождения двенадцатого внука пожертвовал йогонолукскому храму сто пиастров! Неужели моя благочестивая жертва забыта?

Мухтары приободрились, бахвальство их уже не знало границ. Все ссылались на свои жертвования, благотворительность, благодеяния, совершенные ими в незапамятные времена. Число подачек, каждый кусок хлеба, каждая подаренная овца или коза, налоги, уплаченные за неплатежеспособных соплеменников для освобождения от воинской службы – перечисление всех этих христианских добродетелей сопровождалось слезливыми заверениями. И так смешна была эта глупая уловка, старание уйти от горькой действительности, что знаток человеческих душ, доктор Петрос, не удержавшись, расхохотался.

Тер-Айказун взглядом предложил Араму Товмасыну взять слово, но тот не в состоянии был сейчас произносить речи. Хотя пастор непосредственно и не отвечал за сохранность стада, он все же нес ответственность за внутренний порядок в лагере, а значит, и за все, что было связано с питанием мусадагцев. Худое лицо пастора было бледно, как никогда. Длинные пальцы дергали черные усы, точно, пастор был не прочь от них избавиться. В эту минуту между григорианским вардапетом и пастором-протестантом возникло тихое соперничество, никогда прежде не замечаемое. Пастор Арам встал:

– Я того мнения, что незачем нам толковать, чья вина в том, что случилось.

К чему? Что было, то было. Тер-Айказун сам говорит, что нам надо жить в согласии. Незачем оглядываться назад, вперед смотреть надо и хорошенько подумать – как и где нам найти замену.

Речь его была хотя и понятва, но звучала, все же, весьма неуверенно. Тер-Айказун прервал пастора, ударив кулаком по столу:

– Нет никакой замены!

Неожиданно к мухтарам примкнул новый союзник. Грант Восканян, который раньше, желая понравиться Жюльетте, ежедневно брился, что при недостатке мыла вполне можно было назвать изрядным подвигом, – теперь совсем опустил. Борода разрослась почти до самых глаз, жесткие, словно иглы, волосы торчали над низким лбом. Выдававшаяся вперед куриная грудь и непомерно длинные руки делали чернявого коротышку похожим на обезумевшую обезьяну. Может быть, великий мол-чун и впрямь был заядлый фанатик, а может быть, он только пользовался случаем, чтобы отомстить Жюльетте, Габриэлу, Тер-Айказуну и всем остальным? Как бы то ни было, но из его рта, булькая и лопааясь, вырывались уже всем известные слова:

– А правду вы до сих пор и не видите! Вот уже неделя, как я втолковываю ее вам, грудь чуть не надорвал, чтобы убедить вас. Вот вам, наконец, и доказательство! Вы тут спорите, кто виноват? Тер-Айказун готов расстрелять своих земляков. А я его спрошу, почему он не говорит Совету правду? Боится, значит, признать, что нас предали? Да если бы не предательство, узнали бы разве турки, где наши новые пастбища? Никогда бы им не догадаться. Выгоны наши скрыты, спрятаны за скалами, никто из посторонних никогда не нашел бы к ним дорогу. А Гонзаго Марис вечно все вынюхивал. И это только начало! Скоро турки и в самом Городе появятся. Грек сам проведет их по крутой тропе, там, где скалы – недаром он ее исходил и облазил всю. А у нас там никакой обороны.

Этого мухтарам не нужно было дважды повторять. Такое толкование возвращало им всю их самоуверенность, хотя они ни на минуту не поверили Восканяну. Только Кебусян вертелся вокруг да около: он-де как следует не знал молодого человека. – Начало его выступления носило явно дипломатический характер. – Одно то, что грека принимали в доме Багратянов, служило гарантией его порядочности. Впрочем, после всего, что произошло, он вынужден согласиться с учителем Восканяном в том, что Гонзаго скорее всего предатель, а быть может, даже платный шпион. Да, иначе беду не объяснить.

Хор мухтаров глухо поддержал его. Семерум мужчинам и в более просторном, чем правительственный барак, помещении нетрудно создать шумовой фон. А Грант Восканян своим трескучим и вместе сиплым голосом все вновь и вновь подогревал голосовое месиво. Человек, одержимый навязчивой идеей, способен заразить ею других и может даже подчинить себе многолюдное сборище. На этом и основана сила воздействия ораторов-политиканов, у которых за душой нет ничего, кроме скудного запаса слов и демонически проникновенного голоса. Мухтары, да еще кое-кто охотно поддались Восканяну – это же было им на пользу! Шум стоял невероятный.

Учитель Шатахян, восплаивший гневом против своего давнего соперника, которого он вот уже восемь лет как вынужден был терпеть рядом с собой, с трудом заставил себя слушать.

– Восканян! – вопил он, – я тебя знаю! Ты у нас и шут и враль в одном лице! И таким был всю жизнь. Ты всегда готов оплевать и вывалить в грязи ни в чем не повинных людей. И Гонзаго Мариса ты здесь оплевал только потому, что он человек образованный, культурный и наполовину француз. Он не то, что ты – как родился в грязной деревне, так всю жизнь и торчишь в ней. Сам я, благодаря брату Габриэла Багратяна, хоть пожил в Швейцарии, учился там, а ты – и поделом тебе! – дальше Мараша нигде не побывал. Нет, я не допущу, чтобы поганые языки трепали тут благородное имя Багратяна – слишком многим мы обязаны ему. И еще я скажу о тебе, Восканян: ты же оплевал не только грека, ты и мадам Жюльетту облил грязью. А за что? За то, что ты для нее смешной, безмозглый карлик, и больше ничего, со всеми твоими виршами, каллиграфией и многозначительным молчанием.

Это уже было несправедливо. Никогда Восканян даже в мыслях не посягал на Жюльетту. Поклонение ее сияющей красоте и, как следствие, томительная покорность были самыми святыми чувствами, до которых способен был возвыситься он в своем тщеславии, даже наперекор своей природе. И в этом служении прекрасной даме, в этом преклонении перед мадонной он был смертельно уязвлен – злонамеренное коварство судьбы! В ответ он с мрачным достоинством произнес:

– Я не нуждаюс в уважении твоей француженки. Скорей она нуждается в моем. Мы же своими глазами видели, что это за люди, прости господи...

Тут черный гном достиг вершин демагогии, обратившись к мухта-рам:

– Да благословит господь матерей, жен и девушек наших, перед которыми эта надменная француженка должна бы на коленях ползать...

Столь точно направленный удар достиг цели и вызвал одобрение. Грант Восканян пошел на противника с открытым забралом:

– А тебе, дураку, я скажу: люди смеются над тобой, Шатахян! Над твоим прононсом, твоими *couserie\** и *conversation\*\**, над всем твоим кривляньем.

---

\* *Couserie* – непринужденная беседа (франц.).

\*\**Conversation* – разговор (франц.).

---

И он принялся мастерски имитировать доморощенный французский язык Шатахяна, произнося в нос гласные и грассируя.

Так совещание, созванное, в связи с угрозой неминуемой смерти,

превратилось в пошлейший фарс! Неистребимо детство в человеке! – ведь некоторые из присутствовавших давились от смеха, слушая столь искусное обезьянничанье Восканяна. А Тер-Айказун молчал, не вмешивался. В этом было что-то невероятное. Казалось, своей замкнутостью он преследует некую цель, собирается с мыслями и силами. Но, возможно, это выражало усталость, отвращение и равнодушие, ибо пути к спасению он не видел.

Опираясь на палку, крихтя, поднялся доктор Петрос.

– Я полагал, что Тер-Айказун созвал нас, чтобы мы тут посоветовались, как справиться с великой бедой, обрушившейся на нас. А смотреть на твое кривляние, Восканян, мне недосуг. Я больше занят, чем вы, учителя. По моим наблюдениям вы давно уже забросили школу и ваших учеников. А они пользуются этим. Как врач, я тебе, Восканян, скажу – ты, бедняга, не в себе. Я сожалею об этом. Между прочим, молодой человек, о котором шла речь, прибыл к нам, сколько я помню, в марте. При себе у него было рекомендательное письмо, адресованное аптекарю. А в то время ни одна душа ничего не знала о депортации, даже вали Алеппо. И вы думаете, что грек уже тогда прибыл к нам с намерением выдать туркам расположение наших новых пастбищ? По этому одному видно, каких великих логиков воспитывают в учительской семинарии в Мараше.

Грант Восканян, показавший себя сегодня ловким демагогом, хорошо понимал, что его делу никакая логическая ошибка не может помешать. Логическое мышление требует умственных усилий, а прилагать усилия никому не хочется. Достаточно навлечь на противника презрение и развеселить собрание, а это, в сущности, самое главное.

– Может быть, ты, доктор, и впрямь лет пятьдесят-шестьдесят назад изучал медицину, – отразил он выпад Алтуни, – но скажи, как нам сегодня в этом удостовериться? Бывает, что ты что-нибудь да выудишь из своего старого справочника. В этом вы с аптекарем два сапога пара. Этот тоже десятилетиями морочит нам голову своей библиотекой. Хотите на спор: половина его книг – чистая бумага в красивом переплете! О реальной жизни вы, старики, не имеете никакого представления. Иначе вы давно бы знали, что в первые же дни войны правительство заслало шпионов во все армянские районы. И как правило, – христиан, чтобы никто ничего не заподозрил.

Обращаясь к мухтарам, он разыграл свой последний козырь.

– И все оттого, что эти старики связаны с семьей Багратянов. А те за свои награбленные деньги посылают таких, как Шатахян, в Европу. Эти богачи и виноваты во всей беде! Они же не наши, они левантинцы! Из-за их грязных дел мы, армяне, должны погибать.

Восканян затронул важную струну в душах крестьян. Товмас Кебусян, кося глазом больше обычного, припомнил кое-что и подтвердил сказанное:

– Таким был еще старик Аветис. То в Алеппо, то в Стамбул, то в Европу ездил. Все дела, дела! У нас здесь больше двух месяцев никогда не жил. А я вот – никуда не ездил. А мог бы, ей-богу, мог бы! Моя-то совсем меня извела...

Забыты и опорочены оказались вдруг все деяния благодетеля, иерарха и

основателя многих школ. А ведь это есо любовь к родине обеспечила йогонолуцкой долине благоденствие и достаток еще долгое время после того, как его не стало.

Что-то шевельнулось за книжной стенкой. В узком проходе показалась согбенная фигура в длинной белой рубахе. Одинокий Григор Йогонолуцкий еще накануне сам облачился в саван. Не пожелал он, чтобы какая-то Нуник или платный могильщик облачал его в предназначенное ко дню Воскрешения одеяние. Как ни трудно ему это было, но он сам оказал себе эту последнюю услугу, ибо знал: до вторжения турок на Дамладжк ему не дожить. Его желтые щеки так западали, что на каждой вполне поместилась бы пятипиастровая монета. Плечи вздернуты до ушей, руки и ноги – настоящие колоды. Держась за штабеля книг, он заговорил, пытаясь придать своим словам спокойствие речи мудреца. Но это ему плохо удавалось. Слова дрожали, обрывались недосказанные.

– Сей учитель... немало я труда вложил в него... многие годы... вливал ему кровь ученых и поэтов... Думал, одарен, думал, сделаю из него человека-ангела... Однако я ошибся... Кто им не был, никогда им и не станет. Думал, этот человек помышляет не только о дерьме... Но он оказался куда бедней тех, кто всегда думает о дерьме... Хватит о нем, он человек пропащий. А гость и друг мой... я умалчивал до сих пор об этом... Гонзаго Марис поклялся мне, что в Бейруте сделает для нас все... у консулов...

От слабости Григор не мог больше говорить. Восканян тут же воспользовался этим:

– А откуда у него паспорт?.. Пустым словам вы верите, а фактам не верите!

И правда: откуда у него паспорт? – подумали мухтары. Пастор Арам Товмасян вскочил с места:

– Хватит, Восканян! Твое шутовство невыносимо. Прошел целый час, а никто тут ни одного разумного слова не сказал. Еще три дня, и нам всем здесь нечего будет есть!..

Но черного карлика, как говорится, понесло. Он, видно, должен был изрыгнуть все, что накопилось за всю его жизнь – ненависть, обиды, гнев. И полилась грязь, да такая, что даже самые прожженные сплетницы осмеливались потом повторять все это только шепотом.

– И вы туда же, господин пастор! Да вы и не можете иначе с тех пор, как через сестру породнились с Багратяном...

Арам ринулся на Восканяна, но чьи-то сильные руки удержали его. Старик Товмасян, покраснев до ушей, взревел и замахнулся палкой. Но Тер-Айказун оказался быстрее обоих Товмасянов. Он схватил Коротышку за рубаху.

– Восканян! Я дал тебе время доказать то, что ты и должен был доказать. Теперь все мы поняли, откуда вонь и кто наполняет души ядом. Народ избрал тебя в уполномоченные потому, что ты учитель. Я же возвращаю тебя в прежнее твое состояние – я сам открываю народу, кто ты таков. Слушай! Изгоняю тебя из Совета. Навсегда!

Грант Восканян закричал, что не признает этого исключения. Он сам за

этим и пришел сюда, чтобы покинуть это сообщество стариков и болтунов, которое народ не сегодня-завтра разгонит, как оно того заслуживает.

Невзирая на скоропалительность своей речи, бывший молчун так ее и не закончил, ибо Тер-Айказун великолепным пинком выдворил его вон и запер за ним дверь.

Воцарилась напряженная тишина. Мухтары переглянулись. Диктаторский поступок главы Совета таил в себе угрозу для каждого. К тому же избранный член Совета мог быть отозван только общим собранием, а не кем-нибудь из руководителей, будь то и сам глава. В то время как призрак голодной смерти с каждой секундой приближался к Городу, Товмас Кебусян, откашлявшись и покачав лысой головой, заявил, так сказать, протест по поводу антиконституционного обращения с выбранным членом высшего руководящего органа. Хотя Тер-Айказун и имеет право последнего слова, но лишь в том случае, если надо принять или отвергнуть предложение.

Впервые, таким образом, оппозиция заявила о себе. Кроме мухтаров, к ней примкнуло несколько молодых учителей и один из деревенских священников, враждебно настроенный против Тер-Айказуна. Оба Товмасына, которых от гнева и смущения бросило в пот, чувствовали себя весьма неуверенно. Но все остальные, и прежде всего Тер-Айказун, не сознавая этого, против своей воли, образовали партию отсутствующего Багратяна. Вместо надвигавшейся катастрофы в центре внимания, как это ни нелепо, оказался именно он. Тер-Айказун круто оборвал прения, чтобы в конце концов приступить к обсуждению жизненно важного вопроса. Но было уже слишком поздно. Подозрительно нараставший шум, доносившийся с Алтарной площади, требовал незамедлительного вмешательства Совета.

Грант Восканян был слабым человеком. В каком-нибудь западном обществе он слыл бы «интеллигентом», то есть человеком со средним образованием, который зарабатывает себе на жизнь не физическим трудом, к тому же вечно колеблется, со всех сторон получает пинки, не находя себе места в борьбе грубых сил, терзается, томимый жаждой власти и самоутверждения. При других обстоятельствах дело и выеденного яйца не стоило бы. Но здесь, на Дамладжке, оно заставляло серьезно задуматься. Хотя Грант Восканян и выступил одиночкой, он все же был связан с неким миром, темным и нецедомым, который только сегодня дал о себе знать. Ведь именно его, Восканяна, назначали чем-то вроде правительственного комиссара при этом мире. А в этой роли он, будучи «интеллигентом», должен был провалиться. И крах он потерпел не только в столкновении с Киликяном. Саркис, хотя и представлял собой некоронованного короля дезертиров, на самом деле был замкнутым чужаком, от них не зависимым. И пусть он то и дело становился центральной фигурой того или иного события, сам он оставался бездеятельным, точно истукан, и равнодушным, будто пришелец из иного мира. К нему применимы печальные и прекрасные слова: «Один как перст».

За эти тридцать два дня на Южном бастионе собралось, не считая Киликяна, более восьмидесяти дезертиров, причем под словом «дезертир», как

известно, во многих случаях скрывалась гораздо менее достойная биография. Постоянный приток в лагерь таких личностей в свое время даже вызвал разногласия между Тер-Айказуном и Багратяном. Габриэл считал невозможным отказать хотя бы одному молодому и прошедшему военную подготовку мужчине, тогда как вардапет ставил под сомнение не только самую годность многих из этих субъектов, но и принадлежность их к армянской нации. «Пусть среди них и скрываются два-три разбойника, – успокаивал Багратян вардапета, – под огнем лучше их никого нет». При этом он, очевидно, думал о некоторых дезертирах из своей Летучей гвардии, которые действительно отличились в бою. На самом-то деле Багратяну непременно надо было бы пожить на Южном бастионе и самому взять власть над этой разношерстной компанией. Но он от своих любимых дружин никуда надолго не отлучался. Правда, после гибели Стефана Габриэла не видели и на Северных позициях.

Несколько дней назад никудышнего командира из Кедер-бега, у которого оказалась высокая температура, перенесли в карантинную рощу, и с тех пор Грант Восканян оставался единственным блюстителем порядка на Южном бастионе?. Подражая во всем Габриэлу Багратяну, он спал бок о бок с дезертирами, старался жить с ними одной жизнью. А это давалось ему нелегко. Ему, слабосильному коротышке, приходилось тянуться, чтобы хоть чуть-чуть походить на прошедших огонь и воду бродяг. Изо дня в день он разыгрывал из себя рубаху-парня, постоянно перенапрягая свои физические силы и подвергая свое скромное мужество серьезным испытаниям. Наряду с глубокой раной, нанесенной ему Жюльеттой, жизнь в непривычной среде была основной причиной несколько странной эволюции этого заурядного учителя, а его «революционное» выступление на заседании Совета явилось проявлением этой эволюции. Впрочем, Восканян даже очень гордился скандалом и себя именовал «революционером».

Несколько заброшенный Южный участок обороны находился на самом большом расстоянии от Алтарной площади, а тем самым и от руководства. Народ явно обходил это место стороной. В то время как между Северным сектором и Городом постоянно поддерживалась связь, среди скал Южного бастиона редко когда показывался один-другой любопытный мусадагец. И этого нельзя было объяснить ни дальностью расстояния, ни отсутствием у дезертиров семейных привязанностей. Время от времени Багратян посылал туда инспекторов, которые, к удовлетворению командующего, не обнаруживали там ничего необычного. Да это и естественно: дезертиры должны были быть благодарны, что общество их приняло и что вместо того, чтобы вести собачью жизнь, они ежедневно получали питание. Но насколько искренне были они преданы, насколько готовы на жертвы – никто не знал, да и не задумывался над этим. Южный бастион был обособленным миром. Гарнизон его жил жизнью, до которой никому не было дела. В ответ на бесперебойное снабжение продовольствием он держал оборону участка – вот и все. С другой стороны, соблюдая этот неписанный договор, дезертиры и сами не интересовались ни Городом, ни Алтарной площадью, ни Советом и в



общественных местах появлялись крайне редко.

А сегодня, в день великой катастрофы, они небольшими группками, быть может, впервые появились в лагере. Но пришли они сюда, не имея никаких определенных намерений. Их пригнало сюда чутье: «что-то случилось», вечное стремление людей с такой судьбой к беспорядку, распаду, к тому, что зовется «ничто» и несет в себе нечто новое.

На Алтарной площади очень часто собирался народ, взволнованно обсуждая события дня. Обычно это бывало в пятницу, когда Тер-Айказун вершил суд, а тяжущиеся, окруженные своими сторонниками, продолжали спор за стенами судейского шалаша. На сей раз картина была иной. Правда, и теперь преобладали женщины, но собралось и много бойцов. Несмотря на ранний час, дружинники первого эшелона, узнав об ужасном несчастье, поспешили в Город. Новым в этом сборище было и присутствие сподвижниц Нуник, которые без ведома Тер-Айказуна самовольно поселились вблизи нового погоста. В самом Городе по этому поводу ворчали и бранились: дескать, увеличилось число ртов. Но это ничего, разумеется, не меняло. Избавиться от них можно было только перебив всех старух. А сейчас кладбищенская братия добавляла свои серые тона к общей картине лагеря. Да и школьники после недавнего сражения вовсе отбились от рук. Отощавшие, похожие на стайку воробьев, они вносили немалую лепту в гвалт и крик, висевший над Алтарной площадью.

В этом хаосе, в охватившем всех отчаянии тон задавал вовсе не низший слой, не крестьяне-бедняки, батраки, ремесленники и подмастерья, а скорее некое среднее сословие, которое следовало бы определить как мелких собственников. Они словно с цепи сорвались: швыряли шапки оземь, рвали на себе волосы, жестикулировали, и все это, пожалуй, смахивало на танец отчаяния. Однако отчаяние вызвала вовсе не угроза голодной смерти, а мнимая утрата этой самой собственности. Они кричали, что их лишили последней овцы. Тот, кто поверил бы этим сетованиям, счел бы, что турки угнали по меньшей мере несколько сот тысяч овец. Каждый из этих мелких собственников определял свое состояние совершенно безумными цифрами. А что угнанные отары давно уже были обобществлены и потому лично никто ничего не потерял и что от тучных стад семи армянских деревень сохранились жалкие остатки и что жаловаться совсем ни к чему, да и нелепо, – все это почему-то никому в голову не приходило, а может, люди просто не хотели об этом думать. Смесь страха, важничанья и заблуждений определяла поведение толпы. Это был такой же признак распада, как мания предательства у Восканяна. Все коварнее безумная строптивость овладевала душами людей.

Более бедный люд, словно оглушенный этим ударом, поначалу молчал. Боязливymi вопросами люди пытались выяснить мнение уполномоченных. Но вскоре возбуждение мелких собственников передалось толпе. Отразить ее натиск предстояло мухтарам. Как исполнительная власть Совета они служили связующим звеном между ним и народом.

Это Тер-Айказун выслал их вперед – пусть расхлёбывают. Однако из этого маневра ничего не вышло. Люди обступили мухтаров со всех сторон, толкали.

Все их попытки оправдаться тонули в яростном реве:

– Вы во всем виноваты! Вы одни!

Небольшая ложь во спасение, вероятно, разрядила бы обстановку. Например, намек на то, что, несмотря на катастрофу, есть тайные склады продовольствия, которого на всех хватит. Это вернуло бы людям прежнюю веру хотя бы на несколько дней. А несколько дней на Муса-даге – целая эпоха! Но никому из мухтаров не пришла на ум спасительная мысль посулить толпе такую нечаянную радость. Должно быть, и Товмас Кебусян, обычно человек рассудительный, тоже потерял голову, и, скорее всего, под влиянием Восканяна прибегнул к самому вредоносному и опасному средству – направил гнев на другой объект. Это он подбросил толпе слово «предательство». В добрые старые времена народ обладал здоровым скепсисом и хорошо умел отличать кому и чему верить. И учителя Восканяна люди никогда всерьез не принимали. А теперь мухтары помогали ему. Та же самая толпа, в обычные времена столь скептически воспринимающая громкие слова, в момент катастрофы становится их жертвой. Неопределенные, расплывчатые понятия воспринимаются ею всего быстрее. А «предательство» и было именно таким понятием. Подавляющее большинство вовсе не связывало с ним действительное событие. И все же слово это пробудило недобрые инстинкты и дало им определенное направление, правда, не такое, какое желали бы мухтары: «Все эти начальники сговорились принести народ в жертву, – да они шкуру свою спасают! Это они заманили людей сюда, на Муса-даг, на верную гибель! Пастор Арутюн Нохудян – вот кто друг народа! Он-то с паствой своей, хоть и в бедности, но живет теперь там, на востоке, в мире и покое».

Все громче звучали выкрики, поносившие Совет. Тут и там шныряли бойцы с Южного бастиона – их, кажется, лишь веселило волнение мусадагцев. Казалось, все это ничуть их не касалось. Однако повсюду, где они стояли, поднималось брожение, точно пузырьки углекислого газа в прохладительном напитке.

Попытка пастора Арама утихомирить толпу тоже не имела успеха. Всем надоевшие обещания наловить уйму рыбы – навязчивая идея пастора! – так и оставались обещаниями. И каковы бы ни были виды на успех этой затеи, сейчас его длинная речь, пестревшая техническими подробностями о рыболовческом чуде, свидетельствовала о полном непонимании сложившейся обстановки. Кто же не знал, каков был доньше улов? Выступление пастора сперва вызвало смех, который вскоре перешел в издевательства, а так как Арам не унимался, ему просто не дали договорить. Должно быть, откуда-то поступал импульс – группы и группки кипящей толпы слились и стали напирать на правительственный барак. В людской массе замелькали не только кулаки, но и поднятые вверх заступы и таяпки. Побледневшие полицейские довольно неуверенно выставляли вперед свои ружья, к которым они примкнули турецкие штыки.

Внутри барака, помимо больного аптекаря, оставались доктор Петрос, Чауш Нурхан и вардапет. Тер-Айказун хорошо понимал, что после поражения

мухтаров и пастора Товмасына всякий авторитет рухнет, если он его немедленно не восстановит. В том, что это ему удастся, он ниминутой не сомневался. Глаза его, в которых так своеобразно сочетались затаенная кротость и холодная решимость, потемнели. Переступив порог, вардапет раздвинул шеренгу охранников и, как будто не замечая толпу, будто она – воздух, вошел в нее, причем в осанке его не было ничего напряженного, ничего нарочитого. Он шагал так, как это было в его манере, сосредоточенный, чуть наклонив голову вперед, зябко пряча руки в рукава рясы.

Первые ряды толпы пестрели самыми разнообразными фигурами. В большинстве она состояла из женщин, затем из сварливых мелких собственников, было еще несколько дезертирских физиономий и довольно много подростков, этих вечных подстрекателей беспорядка. Все они при виде спокойно шагающего Тер-Айказуна отступили. Особенно женщины были не в силах устоять перед чувством глубокого уважения, овладевавшего ими при одном появлении вардапета.

Нурхан Эллеон со своими охранниками сразу втиснулся в образовавшуюся брешь, чтобы не дать толпе сомкнуться за священником. Однако подобная мера оказалась излишней – с каждым шагом молчаливого Тер-Айказуна толпа расступалась, давая ему дорогу. А он словно заставлял каждое обращенное к нему лицо удивленно спрашивать: «Чего ты хочешь? Что намерен делать?». Так он, пробуждая любопытство, усмирал все другие страсти.

Мерно шагая, он дошел до алтаря и на первой ступени обернулся, не порывисто, нет, почти небрежно. Но тем самым как бы заставил набожных сынов и дочерей Армении обратить взоры на священный помост, где сверкало большое серебряное распятие, дарохранительница, потир, просвирница и многочисленные светильники. А позади, на зелени самшита играли солнечные лучи. Сам Тер-Айказун, с двух сторон словно охраняемый светом, стоял в тени. Он олицетворял сейчас не только авторитет избранника народа, но и куда более высокий авторитет божественной святости. Ему не пришлось даже возвысить голос, ибо вокруг сразу воцарилась глубокая тишина.

– Великая беда обрушилась на нас! – он произнес эти слова без всякой скорбной торжественности, почти равнодушно. – А вы восстаете против этой беды, ищите виновных, как будто от этого есть польза! Перед Исходом вы избрали тех людей, которые вот уже тридцать один день жертвуют собой ради вас. За все это время они не доспали ни одной ночи. И вы знаете сами, что нет среди вас лучших, нежели они. Я хорошо понимаю, что вы недовольны тем, как мы живем. Я тоже. Но вы свободно, никем не понуждаемые, решили уйти на Дамладжк, а не с пастором Нохудяном в депортацию. И если теперь вы усомнились в этом решении – слушайте внимательно: вы так же вольны отменить его. И есть средство...

Оратор сделал паузу. Затем продолжал речь все в той же суховатой манере.

– Да, у нас есть средство. Вас собралось тут большинство. Но я позову сюда и бойцов из окопов... И мы сдадимся туркам. И я, если вы уполномочиваете меня на это, готов сегодня же спуститься в Йогонолук. Кто

этого хочет, пусть поднимет руку!

С презрительным спокойствием Тер-Айказун выждал две минуты. Царила тишина, как и раньше. Не поднялась ни одна рука. И тогда вардапет взошел на верхнюю ступень, и голос его загремел над площадью:

– Вижу – никто не хочет сдаваться... Но теперь вам должно быть ясно, что ни дисциплину, ни порядок нарушать нельзя. Соблюдать спокойствие. Спокойствие! Слышите? Даже если нам совсем нечего будет жрать, кроме собственных ногтей! Для нас существует лишь один вид предательства, имя ему – беспорядок, отсутствие дисциплины! И кто будет повинен в таком предательстве, понесет наказание, достойное предателя. В чем и клянусь! А теперь пора вам взяться за работу. Мы позаботимся о вас. Покамест все остается по-прежнему.

Это было очень похоже на некое нравоучение детям. Но в подобный час оно оказалось единственно правильным. Ни одного выкрика, ни одного упрека из толпы, хотя речь Тер-Айказуна ничего не изменила. Молчали даже самые неистовые крикуны и подстрекатели. Предложение сдать туркам подействовало как ушат холодной воды.

Но несмотря на приказ вардапета, люди не покидали Алтарную площадь. Тогда по его знаку Чауш Нурхан образовал цепь из охранников и стал оттеснять толпу в проходы между шалашами. К полиции присоединились добровольные помощники.

Речь Тер-Айказуна раздорила великое волнение, и Алтарная площадь была расчищена без инцидентов. Толпа кучками, продолжая шуметь, разбрелась. Люди приступили к работе. Казалось, будни, несмотря на постигшее Муса-даг страшное несчастье, потекли своим чередом. Охранники перекрыли проходы между шалашами, чтобы новые демонстрации не помешали Совету продолжать совещание. А оно-то, невзирая на все споры и свары, должно было в конце концов обратиться к не знающей пощады действительности.

Тер-Айказун все еще стоял у алтаря и смотрел на опустевшую площадь.

Может быть, следует создать сильные внутренние вооруженные силы и при малейшем беспорядке карать бунтовщиков, не боясь кровопролития? – Усталым жестом вардапет отмел эту мысль. Какая польза от устрашения? С каждым голодным днем неудержимо будет совершаться самораспад. Врагу и не надо готовить никакого наступления, чтобы положить здесь конец всему. Тогда отпадает мучительный вопрос: сколько времени еще продержимся? Для ответа хватит пальцев на одной руке. Помочь может лишь богом же посланное чудо, подобное тому, которое совершилось при сорокалетнем исходе сынов израилевых. Но ведь небо не было щедро на манну и перепелов даже к народу-избраннику.

Однако еще в тот же день на Муса-даге случилось нечто неожиданное, придавшее людям в их бесконечных колебаниях между надеждой и отчаянием немного мужества. Событие это можно было бы назвать чудом, правда, с натяжкой, потому что оно не состоялось.

Сразу же после смерти Стефана доктор Петрос освободил свою жену от всех обязанностей и направил в палатку к Жюльетте, чтобы она целиком посвятила себя уходу за больной. Жертва с его стороны немалая: ведь железная Антарам ведала всем лазаретом и карантинной рощей! Добряк доктор сделал это ради Искуи. Длительный уход за больной Жюльеттой, да и не только это, превратил девушку в тень самой себя. Казалось невероятным, что такое почти бестелесное создание способно быстро двигаться, много и тяжело работать. Какова же сопротивляемость девушки, если, находясь днем и ночью рядом с больной, она не заразилась! Другая причина нового назначения Майрик Антарам была скорее этического характера: предосудительное трио в Жюльеттиной палатке сменится безобидным квартетом. Новая сестра милосердия устроилась в палатке больной, а Искуи перебралась в опустевшую палатку Овсанны.

Жюльетту можно было причислить, к тем больным, сердца которых пересилили эпидемию. Когда Габриэл убедился в том, что жена медленно возвращается к жизни, его охватила глубокая жалость к ней. Если бы Жюльетта, которой грезилась в бреду победные колокола Франции, уснула бы тогда навеки, она так и не узнала бы ужаса пробуждения и Габриэл счел бы ее счастливой. Впрочем, пробуждение Жюльетты было особого рода: после кризиса она вновь впала в забытие, скорей похожее на летаргию. Покамест Жюльетта металась в жару, она принимала пищу, а теперь она отказывалась есть, ее одеревеневшее, безжизненное тело всячески противилось, когда ее пытались кормить. Но энергичная и сильная Антарам не отступала и терпеливо заставляла бедняжку глотать нехитрую еду – все, что удавалось приготовить из молока и остатков продовольственных запасов. Каким-то особым массажем, холодными компрессами Антарам хотела «пробудить» больную. Но давалось это с великим трудом.

Наконец, настал этот день, и Жюльетта открыла глаза, словно впервые увидевшие свет. Губы ее не раскрывались. Она молчала, ничего не спрашивая, ничего не требуя. Скорее всего, она мечтала вернуться в этот фиолетовый подводный мир глубокого обморока, который она так неохотно покинула. Майрик всячески пыталась расшевелить больную, стремясь вернуть ее к действительности. Но то ли Жюльетта и впрямь повредила в уме, то ли противопоставляла усилиям Майрик боязливость мимозы, отстранявшую всякое прикосновение. Ничто не дрогнуло в ее лице, даже когда к ней приблизился Габриэл, хотя при этом она впервые была в здравом уме и твердой памяти. Что случилось с этим прекрасным лицом после того, как жар, так оживлявший его, миновал? Сухие волосы свисали бесцветными пепельными нитями, и нельзя было понять, выцвели они или поседели. Виски резко выступавшего лба образовали две глубокие впадины. Скулы торчали, распухший нос был обтянут воспаленной кожей. Габриэл держал в своей руке ее крохотную руку, кисть которой, казалось, состояла из тонких рыбьих косточек. Разве это рука Жюльетты? Большая, теплая, крепкая?

Габриэл чувствовал себя неловко с этой чужой, возродившейся к жизни

женщиной.

– Ну вот, мы выстояли, сһйгіе. Еще несколько дней, и все будет позади.

От собственных слов ему стало страшно. Жюльетта взглянула на него и не ответила. А он не узнавал своей Жюльетты в этой исхудалой, безобразной больной. Все прошлое было старательно выкорчевано из жизни напрочь. Он попытался ободряюще улыбнуться.

– Это очень трудно, но я надеюсь, мы тебя будем кормить досыта.

Из глаз ее по-прежнему глядело ясное и настороженное Ничто. Но за этим Ничто прятался страх, как бы слова Габриэла не разрушили благодатную корочку, защищавшую ее от вторжения этого мира. Казалось, Жюльетта не слышала ни единого слова.

Габриэл ушел.

Большую часть времени он проводил теперь в шейхском шатре. Не вынося вида людей, он пренебрегал даже обязанностями командующего. Три раза в сутки Авакян докладывал ему обстановку. Но Габриэл не выказывал ни малейшего интереса, только молча слушал. Из шатра он почти не выходил. Он мог еще жить лишь в закрытом помещении, в полнейшей темноте или хотя бы в полутьме. Полдня он ходил взад-вперед или лежал на постели Стефана, не в силах сомкнуть глаз. Покуда тело сына еще не было предано земле, Габриэл мучительно тщился вызвать в памяти его лицо. А теперь, когда уже целый день и одну ночь тело это покоилось под тонким слоем дамладжской земли, образ мальчика то и дело незванно являлся ему. Лежа на спине, не двигаясь, принимал его отец.

В этой фазе небытия Стефан приходил не просветленным – всякий раз он приносил с собой и свое окровавленное тело. Он и не думал утешать папу или сообщить ему, что умер в его объятиях не очень мучаясь. Нет, он показывал ему все свои сорок ран: и широкие от ударов штыков и ножей на спине, и от удара прикладом, проломившего ему череп, и самую ужасную – разверстную рану на шее. Нет, мертвец не унимался, он будто решил свести счеты, прежде чем предать забвению свое тело, над которым так гнусно надругались! А ведь это благородное тело вовсе не было предназначено для того, чтобы истечь кровью на церковной площади Йогонолука. Эту кровь, унаследованную от отца и дедов, ему надлежало передавать из рода в род, и навсегда. И Габриэлу пришлось каждую из сорока ран ощутить на всю глубину, до самого дна. Стоило ему позабыть об одной, как он начинал презирать себя. С величайшей точностью воссоздавал он ощущение вонзающейся в тело стали, как она, обжигая, резала кожу, рвала нервы, мышцы, скрежеща натыкалась на кость. На собственном затылке чувствовал он, как маузерский карабин размозжил хрупкий детский затылок. Вновь и вновь он мучил себя этими видениями, но были они своей конкретностью благом по сравнению с тем, когда напоздало тяжкое чувство собственной вины. Теперь эта боль была что слепому свой дом, – он безошибочно находит ощупью каждый уголок и каждый выступ.

В часы, когда в гости к нему являлся Стефан, он не терпел даже присутствия Искуи. Но когда покойник отсутствовал, Габриэл просил Искуи

сесть рядом, положить руку на его обнаженную грудь, на самое сердце. Тогда ему удавалось на несколько минут заснуть. Он лежал с закрытыми глазами, Искуи чувствовала, как глухой стук под ее ладонью постепенно робел.

– Искуи, чем ты заслужила это? – Голос Габриэла звучал словно издали.  
– Сколько людей спаслись, живут в Париже, еще где-нибудь...

Она приблизила лицо к руке, лежавшей на его груди.

– Я? Мне хорошо, а тебе досталось все зло. Я счастлива и презираю себя за то, что счастлива сейчас...

Он взглянул на нее, на ее светлое лицо с огромными тенями глаз, которое было только призрачным подобием прежнего. Но губы пылали.

Он снова закрыл глаза. То отступало, то вновь возникало лицо Стефана. Искуи тихо сняла руку с его груди.

– Что же будет? Ты скажешь ей... Когда?..

Сначала он, видимо, не хотел отвечать на этот трудный вопрос. Но вдруг он приподнялся:

– Это зависит от того, хватит ли у меня сил.

Очень скоро Габриэлу Багратяну представилась возможность эту силу проявить. Майрик Антарам позвала Искуи, потом и его. Жюльетта впервые попыталась подняться и сесть. Она потребовала расческу. Как только Жюльетта узнала Габриэла, в ее глазах показался страх. Подняв руки, она словно звала и искала его, но в то же время и отталкивала. Голос не подчинялся ей, так как опухоль в горле еще не сошла:

– Мы ведь прожили с тобой... ты и я... очень долго...

Как бы соглашаясь, он гладил ее по голове. А она тихо, словно боясь разбудить правду, спрашивала:

– А Стефан?.. Где Стефан?

– Успокойся, Жюльетта!..

– Разве мне не позволят повидать его?..

– Надеюсь, тебе скоро позволят его повидать.

– А почему мне сейчас... не покажут его?.. Через занавеску?

– Нет, сейчас еще нельзя, Жюльетта... еще рано.

– Рано?.. А когда мы опять будем вместе... все... и далеко отсюда?..

– Может быть, через несколько дней... потерпи еще немного, Жюльетта...

Она откинулась на подушку и повернулась на бок – вот-вот заплачет. По всему телу дважды пробежала дрожь. Затем в ее глазах вновь появилось пустое и удовлетворенное выражение – то самое, с каким она сегодня пробудилась к жизни.

Снаружи, перед палаткой, казалось, что Габриэл шагает так неуверенно из-за ослепившего его солнца. Здоровой рукой Искуи поддерживала его, но он все же споткнулся и, падая, увлек ее за собой. Но почему-то подняться не старался, как будто в этом мире больше не стоило этого делать.

Но Искуи быстро вскочила, услышав приближающиеся шаги. До смерти испугавшись, она прежде всего подумала: брат? Отец? Габриэл ведь не знал ничего о ее борьбе, она никогда ему об этом не говорила. Каждый час она

ожидала нападения родных, хотя и посылала доктора Петроса к отцу сказать, что она нужна Майрик Антарам и останется у нее. Испуг Искуи был напрасен. То приближались не Товмасыны, а два запыхавшихся вестовых с Северного Седла. Пот градом катился по щекам дружинников – весь неблизкий путь по горам они бежали. Перебивая друг друга, задыхаясь, они выпалили:

– Габриэл Багратян!.. Турки!.. Турки пришли... Шесть, может, и семь... с белым и зеленым флагом... Парламентеры... солдат нет... Старик у них предводителем... Кричат, что хотят говорить с эфенди Багратяном и ни с кем другим...

После сокрушительного поражения турок прошло уже более недели. Раненого юзбаша с подвязанной рукой уже несколько раз видели среди солдат. В окрестностях Муса-дага было расквартировано так много воинских подразделений и заптиев, как никогда до того. И тем не менее ничего не предпринималось. Да и ничто не говорило о предстоящем нападении. С Дамладжка армяне наблюдали за беспечной суетой в долине и никак не могли взять в толк, почему неприятель собрал здесь такую уйму солдат, а гору пока не трогает? Да и где им было догадаться: «верховный руководитель ликвидации», каймакам Антиохии был, оказывается, в отъезде.

Джемаль-паша созвал в свою ставку в Иерусалиме всех вали, му-тесарифов и каймакамов сирийского вилайета. На страну обрушилось нежданное стихийное бедствие, это требовало принятия срочных мер, в противном случае ведение военных операций и вся жизнь Сирии – важнейшего тылового района – будут полностью парализованы. Все средиземноморские провинции Оттоманской империи находились в крайне тяжелом положении. Провидение ведь не любит простых и незапутанных решений и редко вмешивается в человеческие дела. В отличие от людской практики его кара вовсе не всегда следует сразу же за доказательством вины. Божественная справедливость растворена в космосе, как соль в море. Однако в это время года и на этой широте Провидение, должно быть, решило все же вмешаться с удивительной поспешностью, отступив при виде развернувшихся событий от своей обычной беспристрастности. Короче, жернова господни на сей раз мололи быстрее.

Две египетских казни, сопровождаемые множеством побочных бедствий, обрушились на страну с севера и востока. С востока пришел сыпной тиф, вспыхнув в Алеппо, он распространился на Антиохию, Александретту и все побережье, являя собой чудовищное доказательство той самой справедливости в космическом. Сама болезнь несколько отличалась от более легкой формы, поразившей Дамладжк, где она, благодаря свежему воздуху, чистой воде, строгому карантину и другим неизвестным причинам, протекала в терпимых пределах. Между тем, в Месопотамии процент смертности от тифа порой достигал восьмидесяти. Очагом заразы были продукты гниения и испарений, тучей нависшие над степями Евфрата этой оскверненной, этой богопротивной, погмойной яме смерти с мая и июня разлагались сотни тысяч трупов армян. Даже звери бежали от ужасного смрада. Только несчастные солдаты должны были шагать по этой неопишуемой, зловонной жиже. Бесконечные колонны



вьючных верблюдов, македонских, анатолийских и арабских пехотинцев, утопая, тянулись по направлению к Багдаду. Время от времени пешие колонны прерывались – шла бедуинская конница. Но и этих сынов пустыни выворачивало – они мчались во весь опор, загоняли лошадей. А мертвые армяне посылали из «депортации в никуда» благодарственный аромат на запад, тем немногим, поистине виновным, и столь многим, ни в чем не повинным. Талаат-бей в своем серале-дворце мог бы призадуматься над тем, к чему приводит посылка целого народа в «никуда». Но ни он, ни Энвер голову свою этим не утруждали, ибо с тех пор, как существует мир, власть насилия и душевная тупость – близнецы.

Второе бедствие, пришедшее с севера, было хотя и менее последовательно, но по своим результатам, пожалуй, еще опаснее. Да оно и впрямь казалось повторением библейской кары. То было нашествие саранчи со склонов Тавра в равнину Алеппо, а следовательно, и на всю Сирию. Откосы, овраги, теснины, ущелья гигантских гор, должно быть, и явились местом рождения этого неистребимого кочевого племени, которое неудержимо расползлось по всей стране. Жесткие, высохшие, как старые листья, насекомые, казавшиеся сросшимися воедино конем и всадником, в преодолении всех и всяческих препятствий были подобны несметным ордам гуннов. Они наступали с разных сторон огромными полчищами и покрывали собой сотни квадратных километров вилайета. Там, где они появлялись, не было видно уже ни клочка земли. Походный порядок, концентрический характер наступления заставляли предполагать, что здесь действовал не только слепой инстинкт, а планомерность, – приказ и расчет, коллективная идея саранчизма, так сказать. Когда такая стая опускалась на старые деревья сада, на клены, платаны, тисы и даже на жестколистые яворы – не проходило и нескольких секунд, как дерево уже было завернуто в какой-то чехол или плащ из темной клеенки. Прямо на глазах исчезала вся зелень, словно ее пожирало невидимое пламя. Стволы деревьев будто надели высокие переливающиеся гамаша. И ничто не позволяло заключить, что это единство состоит из отдельных особей. Выхватишь из общей массы одну такую саранчу и только диву даешься, какой у нее аппарат движений и пожирания пищи, а из них-то и состоит вся жизнь этих обитателей земли. В остальном же пойманная саранча ведет себя в человеческих руках как всякое насекомое, столь же жалко и трусливо, то есть старается улизнуть. Но в стае она благоденствует и свою жадную деятельность, возможно, воспринимает как службу некоему великому делу.

К августу на всем сирийском побережье, вплоть до долины Евфрата, уже не осталось ни одного зеленого дерева. Однако судьба деревьев мало заботила Джемалю-пашу. Сбор урожая в северной Сирии никогда не начинается раньше середины июля, ибо жатва пшеницы, ржи, ячменя не совпадает с уборкой кукурузы. Турецкий крестьянин и арабский феллах не походят на армянина, который, окончив уборку зерновых, сразу же отправляет зерно в закрома, – сознание опасности, а оно у него в крови, требует: все собранное на зиму укрой как можно скорей. Мусульмане оставляют стебли на многие дни и даже недели

в поле, – дурной погоды они не боятся. И вот, когда в июле нагрянула саранча, она застала злаки частью еще не сжатыми, а частью – в валках. За несколько дней саранча по-своему убрала весь сирийский урожай и так основательно, что к середине' месяца в поле не осталось ни одного колоска. А на этот урожай Джемаль-паша рассчитывал, с нетерпением ждал его, – старые запасы были уже израсходованы, а ему надлежало кормить не только всю Четвертую армию этим самым сирийским урожаем, но еще и население Палестины и Ливана, да еще и подкармливать арабские племена в восточной Иордании, а то как бы не взбунтовались! Нашествие саранчи перечеркнуло весь план снабжения текущего военного года. Сразу же подскочили цены на хлеб. И тут же Джемаль издал приказ о пресечении спекуляции, который, однако, не возымел никакого действия, разве что крестьяне и торговцы вовсе перестали принимать бумажные деньги. Невзирая на самые крутые меры, упала и стоимость турецкого фунта, и без того уже дешевого. В первые дни августа, отмеченные блистательной победой мусадагцев, в Ливане было уже несколько случаев голодной смерти.

Таково было положение вещей, когда в ставку Джемалья-паши съехались сирийские наместники. Впрочем, и на этом всемогущем форуме собравшиеся вели себя ничуть не сдержанней, чем члены Совета на Дамладжке. Вали и мутесарифы так же неспособны были сотворить эшелоны с зерном, как мухтары на Дамладжке – отары овец.

Речь деспота была краткой и непререкаемой: к такому-то сроку вилайету Алеппо надлежит собрать столько-то ржи и сдать интендантству. Все! – Чиновники побелели от гнева и не столько по причине неслыханного требования, сколько из-за тона паши. Лишь один человек явил собой смирение и угодливость. Правда, позор, павший на него после Муса-дага, давал ему для этого достаточно оснований. Каймакам Антакье, на пожелтевшем и опухшем лице которого застыло выражение восторженной угодливости, не сводил глаз с губ Джемалья-паши. И в то время как другие сетовали и торговались – он посулил невероятное, уверив, что его каза, самая большая в вилайете, меньше пострадала от саранчи. И если не рожь и пшеницу, то уж кукурузу он доставит в любом количестве. Готовясь к невзгодам войны, он уже многие годы предусмотрительно заполнял интендантские склады провиантом. А теперь он только нижайше просит предоставить ему транспорт. На одном из совещаний дело дошло до того, что Джемаль-паша назвал каймакама Антиохии блистательным примером и образцом для других. А тот не замедлил воспользоваться благоприятным моментом и испросил аудиенцию по окончании заседания. Тем самым каймакам нарушил субординацию – его непосредственным начальником был ведь вали Алеппо. Но именно этим он и хотел расположить к себе жаждущего самовластия генерала.

Кроме каймакама, в кабинете Джемалья находился еще только Осман – разукрашенный, как язычник, начальник личной охраны. Опозоренный владыка Антакье с преувеличенным подобострастием взял предложенную сигарету.

– Обращаюсь непосредственно к вам, ваше превосходительство, ибо мне

хорошо известно ваше великодушие... Должно быть, ваше превосходительство уже догадались о моей просьбе...

Кособокий Джемаль остановился перед каймакамом, чья грузно-рыхлая фигура немного возвышалась над ним.

Окаймленные черной бородой толстые азиатские губы Джемалья шевелились и шипели:

– Позор! Отвратительный позор!

Каймакам сокрушенно склонил голову:

– Осмеливаюсь целиком и полностью согласиться с вашим превосходительством. Истинный позор! Но то – моя беда, ваше превосходительство, а никак не вина, что позор сей пал на вверенный мне район!

– Не ваша вина? На вас, штатских, падет вся вина, если мы из-за этих гнусных армянских дел проиграем войну, а то и вовсе погибнем.

Видимо, каймакама потрясло такое пророчество.

– Какое это несчастье, что ваше превосходительство не руководит политикой в Стамбуле!

– Да уж, несчастье! В этом вы можете быть, уверены.

– Я же всего-навсего человек подчиненный, обязан нижайше принимать приказы правительства.

– Принимать? Исполнять, любезнейший! Исполнять! И сколько времени уже продолжается это безобразие! Не можете справиться с кучкой голодных оборванцев! Хороши, нечего сказать, успехи господина военного министра, да и министра внутренних дел!

Приземистый Джемаль подошел к великану Осману и так хлопнул лапищей по его груди, что эта ходячая выставка оружия загремела и зазвенела.

– Моим хватило бы и получаса. А?

Осман осклабился. Каймакам тоже поспешил изобразить кисло-сладкую улыбку.

– Поход вашего превосходительства на Суэц – величайший подвиг в нашей истории. Прошу извинения, что как человек штатский позволяю себе рассуждать... И самое поразительное в этом походе – столь незначительные потери!

Джемаль-паша горько усмехнулся:

– Вы правы, каймакам! Я далеко не так расточителен, как Энвер.

Тут каймакам сделал свой самый хитрый ход.

– Мятежники семи деревень отлично вооружены, ваше превосходительство. Они окопались на неприступном Дамладжке. Я не офицер, ваше превосходительство, и ничего в военном деле не смыслю. Но заптии и поддерживавшие их регулярные части сделали все, что могли. И я, как один из руководителей и очевидец всей операции, должен решительно отвести все попытки унижить так славно сражавшихся офицеров и солдат. Однако при сложившихся обстоятельствах я не намерен жертвовать ни одной человеческой жизнью. Ваше превосходительство, вы – величайший полководец, и вы знаете

куда лучше меня, что горную крепость без горной артиллерии и пулеметов взять невозможно. И пусть это отродье торжествует на своей горе – я сделал все, что мог!

Джемаль-паша, который и так вынужден был беспрестанно обуздывать свой нрав, сейчас не совладал с собой:

– Обращайтесь к военному министру! – взревел он. – У меня нет горной артиллерии! Нет никаких пулеметов! Вся моя власть – пустые разговоры. Я несчастнейший полководец во всей империи. Эти стамбульские господа выпотрошили меня до последнего патрона. И вообще – все это меня не касается!

Каймакам скрестил руки на груди, как для приветствия.

– Ваше превосходительство, прошу прощения, однако осмеливаюсь возразить: это отчасти касается и вас... Не только политические ведомства выставляют себя на посмешище пред всем миром, но и солдаты Четвертой армии, которая носит ваше славное имя!

– За кого вы меня принимаете! – в голосе Джемалья звучала насмешка. – На такую дешевую приманку меня не возьмешь.

Каймакам поспешил к выходу мимо великана Османа – с виду весьма смущенный, но в душе вовсе не лотерявший надежды. И он не обманулся.

Поздно ночью Осман разбудил его: срочно к Джемалю-паше! Такими неожиданными приглашениями в неурочный час диктатор Сирии любил доказывать себе свою власть, а другим – оригинальность. Принял он позднего посетителя не в военном мундире, а в фантастическом бурнусе, придававшем ему, несмотря на его отнюдь не безупречную фигуру, сходство с величественным бедуинским шейхом.

– Каймакам, я обдумал это дело и пришел к выводу... – Он хлопнул своей плебейской лапицей по столу:

– Империю захватили слабоумные и бездарные карьеристы!..

Как бы в подтверждение, каймакам впал в состояние меланхолии.

У дверей стоял разукрашенный Осман. «Когда этот верзила спит?» – подумал правитель Антиохии.

Джемаль ходил взад и вперед.

– Вы правы, каймакам. Позор падет и на меня. Его надо вытравить, и чтобы никогда никто о нем не вспоминал! Вы поняли меня?

Словно не в силах произнести ни слова, каймакам молчал. Генерал-недомерок вскинул голову с искаженным ненавистью бородатым лицом.

– Даю вам десять дней сроку – и чтоб все было кончено и забыто... Пришлю вам толкоёго офицера и все необходимое. Но передо мной отвечаете вы. И чтоб я об этом больше не слышал...

У каймакама достало ума не проронить ни слова. Джемаль отошел шага на два. Теперь он взаправду казался горбатым.

– Слышать больше не хочу об этом деле!.. Но если услышу, если какая-нибудь заминка... всех прикажу расстрелять... И вас, каймакам,

отправлю ко всем чертям...

Сладостный кейф веснушчатого мюдир на вилле Багратяна в тот день дважды прерывался. Первый раз – когда принесли телеграмму от каймакама, извещавшего о своем предстоящем приезде. Но когда вскоре фельдфебель заптиев, в связи с каким-то не совсем ясным делом, снова вызвал мюдир на солнцепек, тот с дикой бранью набросился на надоедавшего вестового и еле удержался, чтобы не избить его.

Однако, выйдя на церковную площадь, он ускорил шаг, – представившаяся картина оказалась поистине необычной. Перед храмом стояло яйли, запряженное не лошадьми, а ослиами. Собственно говоря, то было вовсе не яйли, а старинная карета на огромных колесах. В карете сидел старец, как наружностью, так и одеждой удивительно этой карете соответствовавший. Темно-синий шелковый халат доходил ему до пят, ноги были обуты в мягкие козловые туфли. Феска обвита тарбушем, что свидетельствовало о благочестивости ее носителя. Нежные, под стать старушечьим, пальцы без усталости перебирали янтарные четки.

Мюдир признал в прибывшем старозаветного турка-патриция, то есть приверженца лагеря противника, который, несмотря на революцию, все еще не утратил своего влияния. Тут мюдир вспомнил, что раза два: встречал его в Антиохии, где жители оказывали старцу особое уважение. Позади кареты стояли тяжело навьюченные ослы, бившие копыта миземлю. Кроме погонщиков, мюдир приметил еще двух немолодых турок, смиренного, чуть ли не отрешенного, вида, и худого мужчину, стоявшего прислонившись к дверце кареты. Лицо его было закрыто покрывалом.

Молодой мюдир из Салоник отдал дань уважения старцу, приложив руку ко лбу. Ага Рифаат Берекет жестом подозвал его. Сторонник Игтихата, противник древних традиций, медленно подошел к карете, чтобы внимательно выслушать старца.

– Мы держим путь в армянский лагерь. Дай нам проводников, мюдир.

Мюдир оцепенел:

– В армянский лагерь? В своем ли вы уме?

Но Рифаат Берекет оставил без ответа этот учтивый вопрос. Рядом с ним на сиденьи лежал новенький портфель из желтой воловьей кожи – некое кричащее противоречие всему остальному реквизиту. Нажав на замок, тонкие белые пальцы открыли портфель.

– У меня миссия к армянам.

И ага вручил рыжему мюдиру свой тескере, который тот принялся тщательно изучать. Увидев, что мюдир так и не нашел самого главного, Берекет – само спокойствие – сказал:

– Прочти надпись над печатью.

Мюдир с такой готовностью исполнил приказание, что прочитал даже вслух:

– «Предъявитель сего имеет доступ во все депортационные лагеря армян. Ни политические, ни военные инстанции не должны чинить ему препятствий в

этом».

Своими холеными руками молодой мюдир вернул документ в карету.

– У нас здесь не депортационный лагерь, а лагерь мятежников, государственных преступников, окопавшихся в горах. Они пролили турецкую кровь!

– Миссия моя распространяется на всех армян, – с достоинством ответил ага, аккуратно пряча свой тескере в маленький портфель, который вполне мог бы принадлежать элегантному коммерсанту, и извлек из него другой документ. По одному виду его можно было предположить, что он, содержит еще более убедительное заклинание. Это был большой, хитроумно сложенный лист бумаги, снабженный чрезвычайно внушительной печатью. Глаза мюдира должны были сначала привыкнуть к витиеватому письму арабскими литерами прежде, чем ему удалось расшифровать подпись шейх-уль-ислама. Духовный владыка страны обращался ко всем верующим мусульманам, предлагая оказывать правомочному представителю сей бумаги всяческое содействие, какого бы он ни потребовал.

«До чего живуча эта моль!» – подумал мюдир. Невзирая на Энвера и Талаата, исламат уль-шейха был одним из могущественнейших ведомств империи. А эта средневековая писанина имела силу приказа, неисполнение которого могло дорого обойтись мюдиру. Взгляд его скользнул по осламу, тяжело навьюченным мешками с мукой.

– А каково назначение этой кладки?

Рифаат Берекет, как было ему свойственно, придал своему ответу форму гордого иносказания:

– То же, что и мое.

Мюдир заговорил с агой, хотя его злило, что старый турок оставался сидеть в карете, тогда как он, лицо, облеченное властью, стоял перед ним, точно подчиненный при старом режиме.

– Не знаю, эфенди, отдаешь ли ты себе отчет в истинном положении вещей. Армяне здешних деревень восстали против правительства и окопались на Муса-даге. Более того, они оказывают сопротивление военным властям и вооружились, чтобы предать смерти турецких солдат. Мы вынуждены вести регулярную осаду уже несколько дней. Теперь мы их морим голодом. Еще два-три дня, и они сдадутся. А ты, ага, являешься со своей миссией, со своими мешками, набитыми провиантом, и хочешь помочь изменникам, государственным преступникам, врагам твоего падишаха! Ты хочешь, чтобы они еще дольше оказывали сопротивление властям?

Устало опустив голову, Рифаат Берекет выслушал эту длинную речь. Когда мюдир кончил, он бросил на него холодный взгляд своих выпуклых глаз, вокруг которых расходились морщинки, и сказал:

– А разве вы не были врагами падишаха? И куда более решительными. Разве не вы выступали против его солдат? И первыми напали на них? Революционер не должен ссылаться на законность!

И покамест он говорил, его рука в третий раз опустилась в волшебный

портфель. Словно в сказке, она извлекла из него самое сильнодействующее средство: свернутый в трубку пергамент, на котором печатью служило изображение украшенного драгоценными камнями султанского тюрбана. Султан и калиф Магомет Пятый приказывал в этом фирмане всем своим подчиненным, а особо военным и гражданским властям содействовать аге Рифаату Берекету и не чинить препятствий в его начинаниях.

Вид у рыжего мюдир был весьма озадаченный. Ничего не скажешь, весь старый мир в полном комплекте явился вдруг перед ним! Быстро, хотя и с чувством неприязни, он приложил подпись падишаха к сердцу, губам и лбу. Жест этот никак не гармонировал со сшитым в обтяжку летним костюмом, ярко-красным галстуком и канареечного цвета полуботинками. Что поделаешь? В каждом бюрократическом государстве чиновнику необходимо считаться с двумя мощными потоками, в которых так легко утонуть! Один из них – «служебная карьера» с ее коварными водоворотами, а второй, более опасный – чрезвычайно чувствительные связи и отношения между ведомствами, департаментами и начальниками. А потому разумнее всего уклониться от какого бы то ни было решения: лучше уж пусть обожжется начальство! Однако в данном случае оно отсутствовало. Молодому мюдиру приходилось принимать решения единолично. Нельзя же снабжать мятежников провиантом! Но нельзя и отказать в проезде особе, к которой благоволит его величество султан!

Хитрец из Салоник в конце концов измыслил компромисс, к которому решился прибегнуть лишь после длительной внутренней борьбы. Ага получил разрешение пересечь турецкие линии, однако обоз было приказано оставить в долине. Тут Рифаату Зерекету не удалось ничего добиться. Неужели он не знает новых законов? В Сирии – голод! Судьбу этой муки будет решать каймакам Антакье. Впрочем, относительно специй мюдир позволил с собою поторговаться. Дело в том, что на ослах были навьючены и несколько небольших мешков с сахаром, кофе, а также кипы табака. Мюдир согласился пропустить все это, должно быть, поняв, что положения на Дамладжке оно не изменит, но все же подчеркнул, что совершает преступление. Затем мюдир осведомился, кто сопровождающие ага?

– Слуги и мои помощники. Вот паспорта. Смотри. Все в порядке.

– А этот? Что это он завесил лицо, как баба?

– Болен. Кожная болезнь. Приказать поднять покрывало?

Мюдир скривил губы и отмахнулся.

Прошло более часа, прежде чем карета снова тронулась в путь в направлении Битиаса. По обе стороны кареты маршировали солдаты под командованием мюлазима, а за ними тащились два вьючных осла с кофе, сахаром и табаком, далее три верховых осла для аги и его помощников.

Когда заблудиться было уже невозможно, Рифаат Берекет велел остановиться. Мюлазима попросили не сопровождать его дальше: армяне могут принять солдат за боевое подразделение, вспыхнет перестрелка. Офицер охотно согласился и тут же приказал разбить бивак в лесу, не упустив при этом ни одной из мер предосторожности. Трое старших верхами двинулись дальше,

сидя боком на ослах, а два выючных осла плелись позади. Человек в покрывале шел рядом. В правой руке он нес зеленый флаг пророка, в левой – белый флаг мира.

Они сидели друг против друга в шейхском шатре. Ага потребовал встречи с Багратяном без свидетелей. Гурок провели от Северного Седла на площадку Трех шатров с завязанными глазами, как положено парламентарам. Слуги сидели на корточках рядом с выючными ослами, с которых погонщики снимали мешки и кипы. Вокруг путников быстро разрасталась толпа. И все же совсем вплотную к туркам армяне, будто охваченные робостью, не подходили. Сердца их тревожно бились. Что за посланцы? Вдруг это спасенье? Жизнь?

Ага Рифаат Берекет держался с тем же непоколебимым достоинством, как будто он сидел в своем погруженном в полумрак селамлике. И ни на секунду не останавливаясь, как само время, перекатывались янтарные шарики четок в его руках.

– Я приехал сюда не только как друг твоего деда, как друг твоего отца и друг твоего брата, Габриэл Багратян, но и как друг эрмени мил-лет. Тебе известно, что я посвятил себя делу мира между нашими народами, а он ныне нарушен, навсегда...

Внезапно он прервал всю звучавшую как причитание речь и долго не сводил озабоченного взгляда с сидевшего перед ним дикого горца – его уже нельзя было узнать, так он зарос бородою, этот прежде моложавый и холеный европеец.

Ага помолчал, уйдя в себя, затем молвил:

– Вина на тех и на других... Говорю это лишь для того, чтобы вопреки всему, что произошло, суждения твои были справедливы и сердце не ожесточилось.

Лицо Габриэла будто еще больше осунулось, постарело.

– Тот, кто пришел к тому, к чему пришел я, уже не ведает вины, не ведает ни права, ни мести...

Пальцы Рифаата замерли:

– Ты потерял сына...

Габриэл невольно опустил руку в карман и нащупал греческую монету, которую всегда носил с собой, как талисман. «Непостижимому в нас и над нами» – он поднял руку с монетой.

– Подарок твой не принес мне счастья, ага. Монету с царским профилем я потерял в тот день, когда потерял сына. А другую...

– Ты не знаешь, когда настанет твой последний день...

– Он очень близок. И все же мне хотелось бы его поторопить. Порой так и рвусь спуститься в долину, к вашим... чтобы всему пришел скорый конец...

Ага смотрел на свои светящиеся руки.

– Жизнь свою ты должен не унижить, а возвысить. У вас, Багратянов, больше сил, чем у других людей... Но все в руках божьих...

У скрещенных, ног Рифаата лежал желтый портфель, и на нем приготовлено раскрытое письмо пастора Арутюна Нохудяна Тер-Айказуну.



– Тебе известно, Габриэл, что я не первый месяц в пути, дабы трудиться ради вас. Со спокойной старостью я расстался и, даст бог, дойду и до Дейр-эль-Зора. Но в Сирии я прежде всего пришел к тебе. У вас есть друзья за границей, но есть и здесь, в самой стране. Один немецкий пастор собрал много денег для вас. Я установил с ним связь. Я собрал пятьдесят мешков пшеницы. Это было нелегко. Но те, здесь, не пропустили. Я так и предполагал. Впрочем, каймакаму не удастся конфисковать это зерно. Оно пригодится вашим братьям в лагерях. Но не эти мешки заставили меня подняться на Муса-Даг...

И он вручил Габриэлу письмо Нохудяна.

– Из этого письма вы узнаете то, что иначе вам никогда не дано было узнать: судьбу ваших земляков. Но вместе с этим вы должны знать, что наш народ состоит не только из Иттихата, Энвера, Талаата и их приспешников. Многие, как и я, покинули свои жилища и двинулись на восток, дабы оказать помощь умирающим от голода...

Разумеется, Рифаат Берекет был удивительный человек и заслужил, чтобы Габриэл Багратян от имени народа стал перед ним на колени. И все же столь подробно перечисленные благодеяния и тяготы пути не могли растопить горечи в душе Багратяна. Как ни велики были принесенные жертвы, ссылка на них раздосадовала его:

– Сосланным, вероятно, вы поможете, нам – уже нет.

Старец продолжал с неизменным спокойствием.

– Тебе я могу помочь. Ради этого я и пришел в твой шатер.

И полились из уст Рифаата Берекета в однообразном ритме слова о плане спасения, заставившие замереть сердце Багратяна. Ага спросил, видел ли Габриэл там, на дворе, пятерых мужчин, сопровождавших его. Два старика – это два члена святого братства, поклявшиеся служить тому же делу, что и он, ага. А два погонщика – это слуги из его дома в Антакье. Но вот пятый человек – тут дело посложней. У него на совести жизнь многих армян, однако в Стамбуле шейх «Похитителей сердец» Ахмед наставил и обратил его. И он дал обет искупить злодеяния, совершенные низкими силами его души, и загладить вину перед армянами. Этот человек готов поменяться платьем с Габриэлом Багратяном и тут же исчезнуть. На церковной площади мюдир внимательно просматривал паспорта, и имена всех спутников занес в список, так что при возвращении он спрашивать тескере не будет. И даже если вопреки всем ожиданиям мюдир станет чинить препятствия, то замаскированный Багратян предъявит паспорт своего двойника. К тому же, мюлагим и его солдаты сопровождали сюда шестерых, шестерых они и сдадут мюдиру. Им уже никак не заподозрить, что один из них подменен. Он, ага, человек чести, подобные, не дозволенные полицией дела не любит, но в данном случае речь идет о последнем отпрыске Багратянов, коего должно целым и невредимым доставить в надежно защищенный дом Рифаата Берекета в Антакье. И решается он, ага, на это во имя покоя души блаженной памяти Аветиса-старшего. От него он воспринял бесчисленные доказательства дружбы, когда сам еще был совсем молодым турком, а тот – почтенным армянином в летах.

Габриэл бросился к выходу: дохнуть свежим воздухом. Ветер жизни вот-вот разорвет ему грудь!

Перед шатром сидели на корточках спутники аги. Они молчали. Здесь же был и человек, давший обет. Покрывало он давно уже снял. Тупое обыденное лицо ни о чем не говорило – ни о том, что у его владельца на совести смерть многих армян, ни о том, что он дал обет искупить свою вину. Увидел Габриэл и жителей лагеря, собравшихся здесь в напряженном ожидании. Увидел и Искуи, стоящую у входа в палатку Жюльетты. И она тоже показалась ему далекой, нереальной, как и все остальные. Реальна была только мысль о жизни... Затемненная комнатка в доме аги, окна выходят во Двор. Небольшой фонтан. Деревянные ставни закрыты... И там, все позабыв, не ведая ни о чем... ждать встречи с новым рождением...

Успокоившись, через несколько минут Габриэл вернулся в шатер и поцеловал руку старика.

– Почему ты не пришел тогда, отец, когда все было так просто и легко... когда мы жили внизу, на вилле?..

– Я очень долго надеялся, что от вас удастся отвести беду... Но для тебя и теперь еще не поздно.

– Нет, и для меня уже поздно.

– Уж не боишься ли ты?.. Тогда подождем до ночи. Ничто тебе не будет грозить.

– Что ночь, ага, что день? Не в этом суть! – он сделал небольшую паузу, как бы стыдясь последующих слов. – Моя жена только сегодня вернулась к жизни...

– Жена? Ты найдешь себе других жен.

– Мой сын лежит здесь, на горе...

– Твой долг дать своему роду другого сына и продолжателя рода.

Ответ Габриэла прозвучал так тихо, что старец его, должно быть, и не расслышал:

– Кто пришел туда, куда пришел я, тот не может начать все с начала.

Будто намереваясь собрать в ладони дождь времени, ага сложил свои неугомонные руки.

– Зачем тебе думать о будущем? Думай о ближайших часах!

Прощальный послезакатный свет заливал шатер. Габриэл неучтиво поднялся.

– Это я подал жителям семи общин идею о Муса-дате. Я организовал здесь оборону. Я командовал боями против ваших солдат. В этих боях мы отстояли жизнь. И я за все в ответе. Я буду виноват, если через несколько дней ваши солдаты ворвутся в лагерь и уничтожат всех, если они замучают больных и грудных детей. И ты, ага, думаешь, что я могу так просто уйти?

Ага Рифаат Берекет ничего не сказал.

Габриэл приказал немедленно перенести все подарки на Алтарную площадь. Совет сразу же приступил к раздаче. В основном это был сахар, кофе и немного табаку. Однако погонщикам удалось переправить сюда, на гору, и

два мешка с рисом. Но на какие ничтожные доли все это надо было разделить, чтобы каждой из тысячи семей досталось хоть что-нибудь! И все же! Еще хоть раз насладиться горячим кофейком! Прихлебывать его маленькими глотками! В тебе вновь заиграет жизнь! Еще раз всеми легкими вдохнуть «аромат ароматов»! Медленно выдыхать пахучий дым через нос и рот. Бездумно, не заботясь о завтрашнем дне, следить, как он тает в воздухе!..

Реальная стоимость этих подарков была намного меньше, чем вызванное ими оживление и прилив бодрости. И это в день великой катастрофы! Кроме этого, турки оставили и ослов – двух вьючных и двух верховых. А с собой в долину взяли только одного – для Рифаата.

Путь до Северного Седла благодетель и пятеро его спутников проделали на сей раз без повязки на глазах. Впереди шагал человек обета, держа в одной руке зеленый, в другой – белый флаг. Ни досады, ни радости нельзя было прочесть на его лице по поводу того, что доброе дело его не свершилось. В качестве почетного эскорта провожали турок, кроме Габриэла Багратяна, – Тер-Айказун, доктор Петрос и два мухтара. А за ними катилась беснующаяся толпа. Переговоры в шейхском шатре, об истинном содержании которых никто ничего не знал, породили самые фантастические надежды. Ага двигался будто в облаке благословений, криков о помощи, слезных просьб. Он с трудом прокладывал себе путь. Никогда еще, даже в депортационных лагерях, Рифаат Бере-кет не видел таких лиц, как здесь, на Дамладжке. Почти у всех детей были большие головы рахитиков, нетвердо державшиеся на тоненьких шейках, и огромные глаза, словно знавшие что-то, чего человеческим детенышам знать не должно. Рифаат подумал, что и самый ужасный этап, вероятно, не действует так обезчеловечивающе, как эта отрезанность и отверженность. Сейчас ему открылось, насколько разрушительные силы, калечащие душу, превосходят силы, умертвляющие плоть. Самое страшное – это не истребление целого народа, а истребление лика божьего в целом народе. Меч Энвера, разя армян, поразил самого аллаха. Ибо и в армянах, как и во всех людях, живет аллах, хотя они и неверующие. Но тот, кто уничтожает достоинство в живом создании, уничтожает в нем Создателя. А это преступление против бога, грех, который не прощается до конца времён. Перед духовным взором благочестивого дервиша Рифаата Берекета, в своих медитациях и упражнениях столь часто приближавшегося к миру иному, к судьбам ушедших душ, предстали сейчас чудовищные картины. Даже там, пред вратами благодати, пред дверьми гармонии толпились депортационные колонны, не получая доступа. Набитые битком пересыльные лагеря душ – душ, которым не дано возвыситься, ибо бесконечные муки и долгое изгнание отняли у них способность летать. И там, как и здесь, на Муса-даге, обжигающие взгляды голодающих, коим и на том свете суждено вселенское нищенство. Старцу казалось, что он шагает сквозь густое облако пепла, облако смерти армянского народа, клубящееся между этим и тем миром. (Не замечая этого, он действительно вдыхал пепел от догорающего лесною пожара, который горный ветер гнал на запад). Неужели этому пути через армянскую судьбу никогда не придет конец? Рифаат Берекет

ступал, опираясь на палку, и с каждым шагом еще больше старел и горбился. Теперь он видел перед собой только землю, все это породившую и все это терпевшую.

Семеня маленькими, не привыкшими к ходьбе ногами в мягких туфлях, он прижимал белую бородку к груди и спешил, словно беглец, боящийся, что ему не достанет сил добежать. Слух его уже не воспринимал ни просьб, ни заклинаний, сыпавшихся на него со всех сторон. Только бы скорей отсюда!

И все же сил ему хватило только до первого окопа Северного сектора обороны. При виде дружинников, которые с любопытством разглядывали его, ага стало дурно, и он вынужден был сесть. Перепуганные погонщики бросились к нему. Берекет был тяжело больным человеком. Врач-европеец предостерегал его от излишних напряжений. Коренастый слуга достал из зеленой бархатной сумки нюхательный спирт и пузырек с лакрицей для поддержания работы сердца. Как только ага почувствовал себя лучше, он поднял глаза и улыбнулся Тер-Айказуну и Габриэлу Багратьяну, склонившимся над ним.

– Ничего... стар я... быстро шел... да и немалое бремя вы возложили на меня...

И в то время, как слуги помогали ему подняться, он ясно осознал: нет, не выполнить ему своей задачи, не дойти до Дейр-эль-Зора!

Лишь около полуночи ага Рифаат Берекет добрался до своего дома в Антакье. От усталости и долгого сидения в карете он был почти парализован. И все же он нашел в себе силы и красивым, затейливым почерком написал письмо Незими-бею для вручения христианскому священнику Лепсиусу. Письмо содержало отчет о первой его акции.

В то самое время, когда ага Рифаат Берекет составлял письмо Лепсиусу, душа Григора Йогонолукского покинула измученное тело.

До того, как отойти ко сну, учитель Апет Шатахян вдруг почувствовал острейшие угрызения совести: сразу после бурного заседания Совета он, ничего не видя, выбежал вон и весь последующий день ни разу не заглянул к своему старому учителю! Во втором часу полуночи Шатахян на цыпочках вошел в правительственный барак и приблизился к слабо освещенной койке Григора. Заглянув через книжную стенку, он – только бы не разбудить больного! – прошептал:

– Эй, аптекарь! Как ты?

Григор лежал на спине, тяжело дыша. Но в глазах его отражался глубокий покой, и они упрекали Апета Шатахяна за «глупый» вопрос! Ученик протиснулся между книгами к ложу больного и тут же пощупал ему пульс.

– У тебя сильные боли?

Ответ прозвучал так, как будто больной хотел придать своим словам двойной смысл:

– Когда ты меня трогаешь, боли у меня усиливаются.

Шатахян примостился рядом с больным.

– Эту ночь я останусь с тобой. Так будет лучше... Может, тебе что-нибудь понадобится...

Однако Грикор, казалось, вовсе не желал никакого общества.

– Ничего мне не понадобится. До сих пор так все обходилось... и сегодня обойдусь... Ложись спать, учитель.

– Я хотел бы остаться, если тебя это не стеснит.

Грикор не ответил. Ему трудно было дышать. А Шатахян совсем опечалился.

– Прекрасные времена наши вспоминаю, аптекарь... Прогулки с тобой... твои беседы...

Темно-желтое лицо Грикора, лицо мандарина, застыло. Голос лишился звука. Козлиная борода не шевельнулась, когда он скорее выдохнул, чем сказал:

– Все это не имело никакого смысла...

Подобный отпор только разогрел сентиментальный порыв Шатахяна.

– Очень даже имело... Ты ведь знаешь, аптекарь, что я жил в Европе... Смею тебя заверить: великая культура Франции вошла мне в плоть и кровь... Чему там только не научишься: и доклады, и концерты... театр... картинные галереи, кинематограф... И видишь ли, здесь, в Йогонолуке, ты был всем этим для нас... Более того – весь мир ты принес нам и растолковал... О, аптекарь, кем бы ты мог стать в Европе!

Восклицание это, должно быть, вывело Грикора из себя. Он высокомерно выдохнул:

– Я доволен... тем, что есть...

Учитель Шатахян сбавил тон. Не зная, что говорить, он несколько минут молчал. Но вдруг вспомнил, что обычно говорят умирающему, когда хотят скрыть от него, что его ждет.

– Какую нарядную ночную рубашку ты надел, аптекарь! Через несколько дней тебе придется ее сменить – запачкается, да и помнется. Пусть тебе тогда подарят новую такую же. Эту ведь не стирают.

– Моя рубашка не сомнется и не запачкается, – проговорил аптекарь, и Шатахян вспомнил, какой бестелесной была всегда телесная оболочка Грикора. Ему хотелось, чтобы аптекарь поскорее уснул, бодрость его духа угнетала Шатахяна. И несмотря на то, что глаза его были широко раскрыты, казалось, Грикор готов в этом пойти навстречу гостю. Прошло более получаса, прежде чем Грикор вновь заговорил своим таким странным фальцетом:

– Учитель! Вместо того чтобы говорить глупости, сделай-ка лучше дело... Подойди к полке с лекарствами... Видишь темную круглую бутылочку? Рядом – стакан... налей полный!

Довольный, что ему дали ясное поручение, Шатахян послушно принес до краев наполненный стакан с довольно сильно пахнущей тутовой водкой.

– Хорошее лекарство ты себе прописал, аптекарь, – заметил Шатахян, просунул руку под голову Грикора, приподнял ее и приложил стакан к губам. Йогонолукский мудрец осушил его большими глотками – так пьют воду – и со стоном откинулся.

Вскоре лицо его покраснело, в глазах вспыхнул лукавый огонек.

– Это болеутоляющее... Теперь оставь меня одного... иди спать, Шатахян. Выражение лица и оживленная речь больного успокоили Шатахяна.

– Завтра я приду к тебе, аптекарь, пораньше...

– Да, да, приходи завтра... когда хочешь... хорошо бы ты лампу потушил... последний керосин... вон там маленькая свечка... Поставь подсвечник на книги... вон туда... Теперь все... иди спать, Шатахян.

Выйдя за книжную перегородку, учитель остановился и, обернувшись, взглянул на своего наставника.

– На твоём месте я не стал бы обижаться на Восканяна, учитель, мы его давно насквозь видим...

Этот последний совет Шатахяна был совершенно лишним. Аптекарь уже пребывал в мире полного покоя, где такие смешные персонажи, как Восканян, никакой роли не играют. Неподвижный взор его был устремлен в пространство, а сам он блаженствовал, отдыхая от боли. Сердце его билось радостно. Он подсчитывал свое духовное достояние. Какая легкая поклажа! Как счастлив он! Не потерял никого, и его никто не потерял. Все эти человеческие дела теперь далеко позади, да они никогда и не существовали, наверное. Грикор всегда был Грикором, человеком без свойств, присущих другим людям. Народ жалеет одиноких в такие минуты людей. Аптекарю это было непонятно. Разве есть что-нибудь прекрасней такого одиночества? С головы до пят тебя пронизывает ощущение какой-то чистоты. Никаких обязанностей, идеальный порядок! Никакие чуждые примеси не замутняют поток чистого «я». И кровь в этом потоке циркулирует все быстрее. Изумительное тепло поднимается в тебе. Грикор замечает, что тело его вновь обрело подвижность, суставы не сводит судорогой... Рывком, который не причинил ему никакой боли, юн повернулся к свету. Вокруг пламени свечи плясали белые мотыльки и черные ночные бабочки. Грикор подумал: если так будет продолжаться, я выздоровею. Но это казалось ему несущественным. Дух ею пытался постигнуть пляску бабочек. Рождались пышные надменные слова, и не было у Григора никакой власти над ними: «Главное светило Полиодора!». Существует оно или нет? Да разве это имеет значение? Вокруг главного светила Полиодора плясали закутанные в фату плеяды, паутинками вились наяды, кружили скопления звезд, напоминающие бабочек, тонкая материя их образовалась из пепла сгоревших миров, как это давно доказал арабский астроном Ибн Сзади... «Кем бы только мог я стать в Европе!». Осел этот Шатахян! Грикор Йогонолукский горд, как бог, ибо он видит серые миры, которые пляшут вокруг главную светила.

И столь горд был Грикор, что сам уже не признавал себя. Он заснул. Пробуждение было ужасно. Каморка непостижимо сузилась. Грикор почти ничего не видел. Количество ночных бабочек увеличилось тысяче: кратно, и слабый свет свечки еле пробивался сквозь них. Больному не хватало воздуха. Он издавал какие-то отчаянные булькающие крики и, пытаясь подняться, выгнулся, преодолевая боль. Внешне это был припадок удушья, но внутренне нечто гораздо более страшное. Сознание того, что ты – не выстоишь! И не обычное преходящее чувство, а некая увековеченная невозможность

выдержать. И если есть ад, то это и было самым адским мучением. Навечная невозможность выдержать имела свое определенное содержание. Знающее незнание или незнающее знание являлось лишь приблизительным определением этого моря половинчатости, начинающих познаний, быстро гаснущих мыслей, непонятых учений, закосневших ошибок... Ни с какой мелочью уже не справишься! Жуткая немощь Духа, который спотыкается на каждой травинке. Казалось, Грикор утонет в этом мире отвратительных руин. Он хотел спастись, бежать. Хрипя, он прополз вперед, вцепившись в стенку из книг, поднялся, но потерял равновесие, упал навзничь на койку, увлек за собой верхние ряды книжной перегородки и догоревшую свечу впридачу. С грохотом рушились книги на тело Грикора, будто желая обнять, удержать своего хозяина.

Больной очень долго так лежал, довольный, что вновь мог дышать и что припадок удушья отпустил его. Боль возвращалась волнами. Каждый палец горел, будто Грикор только что выдернул его из огня. И тогда книги еще раз оказали большую помощь аптекарю – прочитанные, непрочитанные, перелистанные, любимые – всякие. Он засунул горевшие руки между страниц. Они охладили, как родниковая вода. Более того, новый, какой-то ледяной покой переливался из кроветворного духа книг в его кровь. Своими оглохшими и ослепшими руками он ощупью узнавал каждую из них. И последний всплеск: как жаль, что такая радость уходит! Жжение затихло. И последняя боль как бы еще раз оглянулась. Мягкая, ласковая нечувствительность поднималась все выше и выше. Через щель между бревнами подмигивало свинцово-серое утро. Но Грикор уже не замечал этого, – в нем свершалось великое. Началось оно с того, что на него нахлынуло вкрадчивое сознание: «Я первый человек». «Я первый человек», отстукивал каждый удар затихающего пульса. И уже после этого то, что носило имя Грикора Йогонолукского, стало расти. Нет, это неверно! Слова, созданные во времени и пространстве, неспособны были выразить происходящее. Может быть, вовсе не росло то, что звали Грикором Йогонолукским, а сжималось и сокращалось то, что было окружающим его миром. Да, этот мир с невероятной быстротой сжимался – барак, Город, Муса-даг, родина там, внизу, в долине, и все, все вокруг... Да, иначе и не могло быть! Не было у этого мира никакой плотности – он же состоял из пепла сгоревших звезд! А под конец остался уже один Грикор йогонолукский. Он был вселенной. Нет, он был больше вселенной, ибо ночные бабочки миров плясали вокруг его головы, а он не замечал этого.

## Глава пятая

### ПЛАМЯ АЛТАРЯ

После длительных переговоров с пастором Арамом и доктором Алтуни

Тер-Айказун распорядился раздать все остатки продовольствия. Да и стоило ли длить жизнь, а с нею и муки? Ведь до того, как начался настоящий голод, столько женщин, стариков и детей обессилели так, что, упав, уже подняться не могли. Это медленное умирание оказалось самой мучительной формой гибели. Потому-то вардапет и решил сократить этот процесс. Лучше несколько дней есть досыта, а там – будь что будет, чем ценой мучительных терзаний отодвигать неизвестное на смехотворно малый срок.

Итак, в первых числах сентября были зарезаны обе тощие коровы Багратянов, все козы, козлы и ягнята: никто и не вспомнил при этом о молоке, которое уже не принималось в расчет. Затем настала очередь выючных и верховых ослов, жилистое мясо их ни на вертеле, ни в котле не поддавалось размягчению и все же, когда обработали все – и кости, и кровь, и хвосты, и кожу, и копыта, и требуху, набралась гора пищи, которой и наполнили желудки мусадагцев, что породило новые мучения. Каждой семье еще досталось по четверти фунта сахара и кофе Рифаата Берекета. Кофейную гущу заваривали много-много раз и кофеварки уподобились никогда не пустовавшим евангельским кувшинам с маслом. От напитка люди если и не веселели, то хоть на несколько минут забывались. Почти так же важен оказался и табак. Мудрый вардапет, вопреки сопротивлению мухтаров, настоял, чтобы львиную долю его – четыре больших тюка – распределили между бойцами Южного бастиона, – то есть тунеядцами и вообще ненадежными членами общества. Вот они и дымили всласть, как в лучшие времена. Блаженное состояние это должно было предотвратить появление дурных мыслей. Саркис Киликян, лежа на спине, тоже наслаждался табачком и, как видно, в эти минуты не имел никаких претензий к миропорядку. Один учитель Грант Восканян не курил, но он ведь был некурящим.

Наряду с такими, пожалуй, легкомысленными, но жизнеутверждающими мерами, были приняты и другие – весьма глубокомысленные и к тому же весьма мрачного характера. Тер-Айказун добился принятия их после длительного и трудного разговора с доктором, причем с глазу на глаз.

Лицо Алтуни, сморщенное как высохший лист, с каждым днем делалось все суше и темней. Надсадный кашель сотрясал его тощую грудь, скрывавшую более тяжелый недуг. Но как бы эким Петрос ни относился к собственной жизни, он из последних сил выбивался, стараясь сохранить жизнь людей здесь, на горе. Однако сейчас он вынужден был признать, что Тер-Айказун прав. Это обстоятельство заставило их поменяться ролями и выяснилось, что священник поступил как безбожник.

На тридцать четвертый день, спустя двадцать четыре часа после смерти аптекаря Григора, в карантинной роще было около двухсот больных, в лазарете и вокруг него помимо тяжело раненных, еще сто,- это были те обессилевшие, которые упали на работе или по пути к ней. Если всего на Муса-даге насчитывалось около пяти тысяч душ, то количество больных, к которым следовало добавить и раненых, не должно было вызывать тревогу. Но в эти дни неожиданно и стремительно, без всяких на то видимых оснований резко



подскочила кривая смертности. До вечера умерло сорок три человека, и все говорило о том, что в ближайшие часы за ними последует еще несколько. На кладбище уже не хватало мест для такого количества новых гостей. Вся территория с глубоким слоем земли занята, достаточно было лопате углубиться на четыре фута, как она натыкалась на известковую кость Дамладжка. Это и вызвало необходимость осмотреться, нет ли в округе более благоприятного места для последнего успокоения. Впрочем, на это вряд ли можно было рассчитывать, да и не следовало в этих условиях разбрасывать и так уже измотанную рабочую силу. В поднятых сюда, на гору, корзинах не оставалось ни песчинки родной земли, и Тер-Айказуну нечего было давать усопшим на прощанье, а потому им предстояло полностью уповать на всеведение божье, ибо один он знал, куда их направить в день Страшного суда. Итак, стало безразлично, где и как мертвецы будут спать, когда придет конец. А сон их после всего пережитого должен быть крепким и глубоким.

Потому-то Тер-Айказун ввел новый порядок погребения, не подвергнув его народному обсуждению.

Глубокой ночью трупы снесли в одно место, а затем оттуда на Скалу-террасу, словно гигантский корабельный нос нависавшую над морем. Помогали при этом и санитары, и кладбищенская братия, и все, кто обычно был занят черными делами лагеря. Три-четыре раза был проделан нелегкий путь, прежде чем трупы ровными рядами улеглись на голой земле.

С наступлением новолуния погода испортилась. Дождь, правда, не шел, но над вершинами Муса-дага гулял недобрый и надоедливый ветер – то он как будто прилетал из степей и дул так, что дух захватывало, а то приносил со стороны моря соленые брызги, но все время кружил, точно издеваясь над более постоянными стихиями, такими, как земля и вода... Не выбери Габриэл Багратян так удачно место для Города – ни один шалаш не выстоял бы. А здесь, на Скале-террасе, шторм, казалось, свил себе гнездо – никто не мог на ногах устоять. В первую же минуту он задул свечи и факелы. Только серебряная кадильница, которую дьякон подавал вардапету, слабо мерцала в ночи.

Тер-Айказун маленькими шажками переходил от одного тела к другому и осеял крестным знаменем. Нуник, Вартук, Манушак были возмущены подобными похоронами, но так как их самих только терпели на Дамладжке и они не смели громко роптать, то попытались исправить оплошность священника тем, что еще истовей затянули древний свой плач. Свирепые порывы ветра приняли вызов, и разразился такой вой, что можно было усомниться, способен ли плач облегчить отлетевшей душе борьбу против обрушившихся на нее адских сил.

Двое дружинников подняли первого мертвеца и поднесли к самому краю Скалы. А тут, широко расставив ноги, будто буря ему нипочем, подняв руки, словно два больших листа латука, стоял в готовности огромный детина, Геворк-плясун. Стоило большого труда растолковать ему, что именно от него требуется. В конце концов он понял и с блаженной улыбкой воскликнул:

– Как на корабле, да?

И тогда-то окружавшие его узнали, что Геворк в юности плавал на угольном баркасе в Черном море. У юродивого было доброе сердце, и ничто не доставляло ему большей радости, чем сознание, что ему доверили полезный труд. Каков этот труд – для него не имело значения. А для других мужчин имело. Членам воинственной касты – дружинникам первого эшелона – всякая работа, не связанная непосредственно с обороной, представлялась унизительной. Впрочем, и все числящиеся в резерве мужчины считали, что работа мясников, санитаров, тех, кто поддерживал огонь в очаге – ниже их достоинства. А уж эти последние с презрением поглядывали на могильщиков. Неисповедимы законы человеческого общежития, и здесь, на Дамладжке, они породили иерархию, причины возникновения которой, как и везде, остались неясными. А Геворк, вместе с Сато, нищими, калеками, существовал вне этой иерархии. И если ему поручали какую-нибудь работу, его словно бы возвышали над ему подобными, облагораживали и приобщали к работающему люду. Он чувствовал себя счастливым оттого, что необходим. Так было и теперь. Геворк ревностно исполнял порученное ему дело, не уступал его никому. Он принял на руки мертвое тело и локтями оттолкнул обоих резервистов, которые хотели ему помочь.

Море, должно быть, еще сохранило звездный след последних светлых ночей. Белые гребешки далеко внизу отбрасывали свое нежное свечение сюда, вверх, вычерчивая силуэт Геворка-плясуна. Несколько фонарей освещали коварный край Скалы, и все же Геворку дали чрезвычайно опасное поручение! Скала-терраса выступала из так называемой Высокой стены, поднимавшейся из моря на четырехсотметровую высоту. У подножия ее прибой глубоко вгрызался в гору, и сверху его даже нельзя было разглядеть. Поистине этот выступ был похож на вытянутую вперед руку. Один неверный шаг на этом гигантском корабельном носу – и верная быстрая смерть обеспечена. Однако Геворк-плясун не испытывал ни страха, ни головокружения, хотя трудился в кромешной тьме, в то время как остальные поспешно отступили. Высоко держа мертвеца, будто мамка свое дитя, Геворк совершал свой танец на самом краю выступа. Он легко раскачивал трижды перевязанное, утяжеленное камнем бездушное тело и уже потом могучим толчком отправлял его в пучину. Бесшумно труп исчезал в ночи. Геворк, хотя много дней уже получал смехотворно малую порцию еды, не утратил былой силы. Примерно час спустя, легко отправив сорок третьего мертвеца в бездну, он словно бы опечаленный стоял и разглядывал свои пустые руки, точно ему хотелось укачать так и успокоить не сорок, а четырехста, тысячу человек – весь народ! Непредубежденный свидетель этих похорон немало удивился бы сколь они благородны, лишены всякой мрачности, как поистине прекрасны!

Но не об этом шла речь, когда встретились Тер-Айказун и доктор Петрос, ибо последний хлопотал не о мертвых, а о тех, кто был еще жив. Вардапет со своей стороны сделал весьма смелое для его сана предложение – было бы, мол, лучше тем безнадежным больным, кои и так уже стоят на пороге смерти, дать спокойно перешагнуть через нею, и в первую очередь тем, кто лежит без

сознания или дремлет в беспамятстве. Врач согласился, сказал, что больные в этом их состоянии не только не требуют пищи, но и решительно отказываются от нее, когда санитар приносит им жиденькое молоко или такой же суп, и они не пострадали бы, если им, так их и не разбудив, дали отойти в мир иной. Однако Тер-Айказун меньше всего думал сейчас об экономии еды для здоровых детей или о том, чтобы обеспечить существование жизнеспособных мусадагцев. Он хотел, чтобы все, кому бог даровал благо достойной смерти, не лишились бы его только затем, чтобы жизнь их была подарена туркам.

Сейчас врач и священник проходили в лазарете по рядам между больными. Алтуни вершил суд – жить или умирать больному. Только в совершенно безнадежных случаях он принимал решение сразу – там, где можно было сократить страдания на один-два дня. Но стоило ему заметить на чьем-нибудь лице или в биении пульса хоть малейшую надежду, он уже готов был бороться за жизнь этого больного, особенно, если он молод.

Казалось сострадание было менее присуще священнику, чем врачу. Но вардапет верил; человек обладает и земной жизнью, и жизнью вечной. И пока человек жив, земная жизнь в его глазах не менее важна, чем вечная. Ну, а кто терял земную жизнь естественным образом, терял не много, он даже должен благодарить бога, что его вечная душа не пострадает от адского страха, когда его будут убивать. Так в глубине души рассуждал священник.

Врач же верил только в эту земную жизнь. И потому, по мнению Алтуни, тот, кто расставался с жизнью, ничего не терял. Но это Ничто и было всем. Никто из людей ничего не терял, кроме этого «Все-Ничто». Значение имело только то, как человек сам к этому относился.

Доктор Петрос не знал, например, как относится к собственной жизни эта молодая женщина, лежащая сейчас у его ног и смотрящая на него своими блестящими, словно полными слез глазами. Быть может, она еще способна, если и не выздороветь совсем, то хотя бы вкусить пятиминутное земное счастье. Потому-то он, Алтуни, презиравший жизнь, так колебался. А для Тер-Айказуна пятиминутное земное счастье этой женщины не значило ничего по сравнению с ничем не обремененным уходом в вечность.

Едва лишь врач четко произносил свое «да» или «нет», священник спокойно переходил к следующему больному. А идущий за обоими один из дьяконов втыкал в землю у изголовья больного палочку. То был знак для сторожа – если умирающий не выразит никаких желаний, то и не тревожить его. Порой Алтуни украдкой возвращался и выдергивал палочку. Странно! Священник был твердо убежден в неизбежности гибели и все же верил в чудо спасения. Врач твердо верил в гибель и все же допускал возможность некоего невероятного случая, который отвратил бы смерть. И как ни казались сходными их побуждения, они сильно различались. И Тер-Айказун, и доктор Петрос об этом не проронили ни слова.

У Геворка-плясуна работы прибавилось.

Совершенно неожиданно из Александретты возвратились пловцы. Ранним утром юношей окликнули дружинники Северного сектора. Им удалось

миновать цепь патрулей солдат и заптиев, которая вот уже двое суток опоясывала весь Муса-даг от Кебусие до прибрежной деревни Арзус на крайнем севере. Физическое состояние пловцов находилось в поразительном противоречии с длительностью и невзгодами их десятидневного похода. Правда, они походили на скелеты, – но скелеты, опаленные солнцем, обветренные дыханием моря. Удивительнее всего была их одежда. На одном был потертый, когда-то элегантный коричневый шерстяной шлафрок, на другом – белые фланелевые брюки и допотопный смокинг, знававший лучшие времена. Пловцы волокли тяжелый мешок солдатских сухарей – явное свидетельство самоотверженного служения народу – стоило только вспомнить, что от Александретты до Дамладжка тридцать пять английских миль и все по горам.

И если возвращение пловцов вызвало у сбежавшегося народа ликование, то их отчет, казалось, погасит и последние надежды. Шесть дней они пробыли в Александретте, и ни разу не показалось ни одного военного корабля! На рейде стояло много старых турецких угольных баркасов, рыбацких шаланд и застигнутый здесь войной русский торговый пароход. Огромный залив, заполнивший угол между Малой Азией и собственно Азией, был пуст, как пусто было все побережье за спиной Муса-дага. Уже многие месяцы никто в Александретте не видел ни одного военного корабля.

Вполне понятно, что оба юнца гораздо больше говорили о своих приключениях и преодоленных опасностях, чем о полном крушении своей миссии. Они без конца перебивали друг друга, один ревниво не давал говорить другому. Подробнейшим образом они описывали все свое путешествие день за днем. И если один забывал упомянуть какое-либо незначительное происшествие, то другой спешил его дополнить. Толпа же, позабыв о собственной участи, не могла их послушаться. Все говорило о том, что пловцы за время своего долгого отсутствия пережили и несколько благополучных дней, а уж это здесь, на Дамладжке, трудно было представить!

В первый день после ночного перехода они, держась горных троп, обошли Рас-эль-Ханзир и без всяких приключений достигли прибрежного тракта, который тянется от Арзуса до портового города. Затем они целый день провели на холме над Александреттой, откуда, надежно спрятавшись за миртовыми кустами, непрерывно следили за морем. В четвертом часу пополудни показалось что-то узкое, низкое и серое, оно оставляло за собой белый кипящий след, быстро приближаясь к берегу. Забыв о всякой осторожности, они бросились в воду и поплыли мимо деревянного причала в открытое море. Как и было им поручено, они приблизились к предполагаемому английскому или французскому миноносцу, который быстро увеличивался у них на глазах, и вдруг, к величайшему своему ужасу, разглядели флаг с полумесяцем на корме. Но к этому времени и на борту их уже заметили. Послышался окрик. Пловцы притаились. Тогда команда турецкого комендантского катера – это его они приняли за союзнический миноносец – открыла по ним огонь. Они нырнули и как могли дольше не показывались на поверхности. Затем спрятались за

скалами, на которых покоился причал. К счастью, уже вечерело, и порт будто вымер, и все же над ними то и дело раздавались тяжелые шаги постовых. Вот так они и сидели – мокрые, голые. И одежда, и все, что у них с собой было – все пропало! К немалому ужасу, каждые полминуты их ощупывал луч прожектора. Они заползли как можно дальше. И только глубокой ночью осмелились выбраться из воды. По главной, очень длинной улице порта они побоялись идти. Им надо было решать – либо отсиживаться, либо рискнуть и совершить смелый набег на город. Но для начала они нашли нечто среднее. В разбитом на одном из склонов парке они увидели богатые виллы, вероятно, владельцы их спасались здесь от малярии. Судя по всему, что они слышали об Александретте, одна из этих вилл должна была принадлежать армянину. На первых же садовых воротах они при свете луны прочитали имя хозяина – оно подтвердило их догадку. Но дом был заперт. Света нигде не видно, ставни заколочены, все мертво. Однако юноши готовы были взломать дверь – только бы найти убежище. У ограды они обнаружили лопату и тяпку. Ими они и принялись дубасить по воротам, ни на минуту не задумываясь над тем, что производимый ими грохот способен разбудить и смертельного врага. Но не прошло и нескольких секунд, как внутри дома послышался шум, загремел замок. Дверь открыл трепещущий человек, в руках которого трясся фонарик.

– Кто тут?

– Армяне. Во имя Христа дайте поесть, спрячьте нас!

– Не могу я никого прятать. Заптии проверяют каждый день. Все обшаривают. Разрешение на жительство дают только на неделю. А оно стоит сто фунтов. Найдут вас здесь и меня в депортацию отправят.

– Мы только что вылезли из воды. Голые совсем.

Светлое пятнышко карманного фонарика обежало продрогших ребят.

– Боже милостивый! Не могу я вас впустить. Погубите вы нас всех. Подождите, постоит тут...

Минуты ожидания тянулись бесконечно. Наконец ворота приоткрылись, и пловцам через щелку протянули две рубахи и два одеяла. Потом вынесли хлеб и холодное мясо, да еще деньгами каждому по два фунта. При этом у их соплеменника от страха зуб на зуб не попадал.

– Во имя Спасителя! – шепотом умолял он. – Уходите скорей! Может, и так нас уже заметили. Ступайте к немецкому вице-консулу. Только он один и может вам помочь. Господин Гофман зовут его. Старуху турчанку пошлю с вами. А вы ступайте за ней, только держитесь поодаль. Не разговаривайте.

К счастью, дом вице-консула был расположен в этом же парке. Сам он оказался добрым человеком, готовым сделать больше, чем ему позволялось. Как один из сотрудников Рёслера – генерального консула в Алеппо, – он с самого начала с поразительным бесстрашием вступался за депортированных, вел отчаянную борьбу во имя человечности против Иттихата, государственной машины, Да и против попыток оклеветать его самого.

Гофман радушно принял пловцов, окружил заботой, предоставил им комнату с прекрасными кроватями, распорядился, чтобы их трижды в день

кормили до отвала. Вице-консул сказал, что в этом убежище они могут находиться до тех пор, пока обстановка не нормализуется. Но уже на третий день этой сказочной жизни сыны Армении сообщили господину Гофману, что настало время им срочно возвращаться к своим, на Муса-даг. В тот самый час, когда они поведали столь по-отечески принявшему их гостеприимному хозяину о своем намерении – словно бы по повелению Всевышнего! – в Александретту прибыл и сам генеральный консул Рёслер. И прибыл он с первым поездом новой ветки багдадской железной дороги, соединившей Топрак-Кале с городом-портом. Рёслер настойчиво уговаривал юношей благодарить бога за спасение и ни в коем случае не покидать надежный сей приют. Те, кто думают, что их спасет военная эскадра, должно быть, от горя потеряли разум. Во-первых, в северо-восточной части Средиземноморья нет ни одного французского крейсера. Правда, в портах Кипра стоит английский флот, но его задача – охранять Суэцкий канал и египетское побережье, и он никогда не заходит севернее. Да и зачем? Высадить на Сирийском побережье десант не представляется возможным. К тому же, спасение беженцев-армян в консульстве – это хотя и похвальный, однако, разумеется, лишь чрезвычайно редкий случай. Подлинную помощь ни он, Рёслер, ни его американский коллега в Алеппо, уважаемый мистер Джексон, оказать не в силах. При этом генеральный консул с удовлетворением отметил, что всего несколько дней назад Джексону удалось спрятать армянского юношу, который, по его словам, тоже бежал из армянского лагеря на Муса-даге. Весть о том, что Гайку посчастливилось, несказанно обрадовала пловцов. Они поблагодарили Рёслера и Гофмана за добрый совет, однако заявили, что как можно скорей хотят отправиться в свой опасный путь, туда, где их ждут горе и бедствия. На повторные увещевания, даже заклинания они отвечали сконфузившись:

– Там, в горах, наши отцы и матери... наши девушки... Нет, мы не можем... Наши в беде, а мы здесь... живые, здоровые... в красивом доме...

С наступлением новолуния вице-консул Гофман отпустил юных пловцов, разумеется, лишь после того как всё уговоры остались безрезультатными. А так как он отлично знал о голоде на Дамладжке, то раздобыл не совсем законно в оттоманской имперской военной комендатуре два мешка с солдатскими сухарями, которыми и снабдил пловцов. Затем он велел запрячь консульское яйли, а пловцов посадил справа и слева от себя. Рядом с кучером в высокой меховой шапке на козлах восседал в парадном мундире кавас\* и медленно, но без усталости размахивал флажком Германской империи. Гордо проехали они мимо поста заптиев, строго охранявших в порту все подъезды. Жандармы становились «смирно» и отдавали честь представителю Германской империи и его сомнительным подопечным. Гофман провез их мимо второго поста под Арзусом. Здесь пловцы выбрались из яйли и, не стесняясь слез, простились со своим великодушным покровителем.

\* Кавас – мусульманские стражи, облеченные полицейской властью, которые в Турции для безопасности приставляются к дипломатическим работникам и высшим турецким сановникам.

---

Отчет пловцов длился более часа, – без конца их прерывали вопросами, да и сами рассказчики перебивали друг друга, увлекаясь подробностями. Рассказ пловцов оказался чрезвычайно для всех благодворен, хотя содержание его и смысл должны были подействовать угнетающе. Сама миссия ведь потерпела неудачу, надежда на спасение с моря оказалась не чем иным, как фантазией, плодом больного воображения. И все же рассказ юношей был подобен лучу света для людей, плотным кольцом окружавших героев.

Сами они сидели на земле, а их родные примостились совсем близко. Отцы слушали с видом знатоков и как бы говорили: «Молодцы! Отлично! Примерно так, а может быть, и чуть умнее и мы вели бы себя». Матери с гордостью оглядывали соседок. А обе возлюбленные или невесты, нарушая все обычаи, открыто присоединились к семьям. Они трогали диковинную одежду своих суженых и, конфузливо перешептываясь, старались превзойти одна другую, время от времени выдавая себя каким-нибудь восклицанием. Но все это меркнет по сравнению с тем, как повела себя Шушик. Кто-то привел ее сюда, и она услышала, что Гайк спасен. Сначала это, очевидно, не доходило до ее сознания. Она сидела понурясь, тупо уставившись в землю. Со дня смерти Стефана она, верно, и не подымала головы. Она исхудала, могучие руки безвольно свисали вниз. Даже на раздачу пищи ходила не каждый день. Когда кто-нибудь обращался к ней, Шушик отворачивалась. Отвечала еще грубей, чем прежде. А сейчас кто-то шептал за ее массивной спиной:

– Шушик, слушай: жив твой Гайк... Гайк жив...

Прошло довольно много времени, прежде чем до нее дошел смысл этих слов, прежде чем все ее существо прониклось ими. Глядя то на одного, то на другого – сначала как бы исподтишка, а затем и с мольбой, она как бы говорила: не казните! Но тут один из пловцов завершил начатое, подкинув, как это делают опытные рассказчики приключений, под конец нечто такое, чего на самом-то деле и не было:

– Рёслер и Джексон – они каждый день вместе. Немец мне сам сказал, видел он Гайка, своими глазами видел, жив-здоров наш Гайк...

Эти слова окончательно убеждают Шушик. То ли стон, то ли вздох вырывается из ее груди. Спотыкаясь, она делает несколько шагов вперед, и эти шаги как бы выводят ее из пятнадцатилетнего одиночества и приводят в тот круг, который образовался возле двух пловцов и их родственников. Еще шаг – и Шушик падает. Но сразу же поднимается. Могучая, она стоит на коленях. На ее лице – бесцветном и лишенном возраста, одно удивление – это взойшло солнце

внезапно все захлестнувшей любви к человеку!

Вечно всех отталкивавшая, всю жизнь прятаясь от людей эта женщина с мольбой и лаской подняла свои мощные руки навстречу им. И руки эти молили: «Возьмите и меня! И я хочу с вами!...».

Нет, тени еще не отпустили ее! И вход еще далеко – круглое пятнышко света вдали, точно конец какого-то туннеля. И великое ее бессилие дарит ей ощущение дома, того доброго лабиринта, где не горит все вокруг, нет этого чада, где прохлада окружает ее. Какие-то движущиеся плоскости. При некотором усилии она даже разбирается в них. Но ведь она слишком умна, чтобы прилагать какие бы то ни было усилия. Все слова, все отзвуки отскакивают от нее, как в комнате с обитыми стенами... Вот она стоит в телефонной будке в нижнем конце Champs Elises, звонит Габриэлу в Армянский клуб: в Трокадэро дают новую комедию, ей хочется посмотреть... Но когда эта, такая прохладная и неопределенная жизнь сгущается до реальности, Жюльетту начинает бить дрожь, и она бежит от нее. Единственное чувство, которому она отдается с упоением – это обоняние. И оно не только в полном порядке, оно как-то особенно развито. Обонянием она воспринимает целые миры. Миры, которые ее ни к чему не обязывают... Фиолетовые клеверные поля... Ранняя весна на севере, крохотные палисаднички, где разноцветные стеклянные шары отражают всю улицу... Но только не розы, ради бога, никаких роз!.. Запахи согретой солнцем пыли, бензина... полуденный шум... Она отворяет калитку в дощатом заборе, ведущую в церковь. Исповедаться в который раз или причаститься?.. Следует поспешить, если вообще чем-нибудь еще можно помочь... Но то известное имя не приходит ей на ум... Разве так уж необходимо исповедываться в том, чего на самом деле и не было?.. Да и вообще, все это ведь только болезнь... Опять этот ужасный запах миртового кустарника... Только не это, пречистая дева Мария!.. Я же знаю сильное средство против мирта – надо просто вымыть голову... И она уже сидит у Фошардьера, rue Madame, 12, в тесной влажной кабине, вся в белом, откинувшись в парикмахерском кресле... Никаких благовоний, лишь терпкий деревенский запах ромашки... крестьянки пришли на воскресную мессу... Голова Жюльетты – в облаке ромашковой пены. Но вот волосы уже поредели, торчат, как у костлявой школьницы. Горячий воздух фена обдувает жидкие светлые волосы подростка и делает их женственно пышными. Чуткие пальцы принимаются за дело. Белая прохлада ложится на лоб, щеки, подбородок. Скоро, тебе исполнится тридцать четыре года, и подчас хорошо видно, как поблекла кожа вокруг глаз, рта... Был бы всегда вечер, а вместо солнца – электрическая лампа... Ах, если б дано было еще раз полюбить себя! Не жить ради других. Жить только заботой о своем ухоженном теле! При всем неверии восторгаться его прелестями, как будто мужчины и не существуют на свете...

Несмотря на затемненное сознание, Жюльетте порой случалось внимательно следить за происходящим вокруг... Даже в беспомощности она никогда не теряла стыда, опрятности, и сейчас она превосходно понимала, что



Майрик Антарам старается ее вылечить. Она прекрасно слышала, как жена доктора говорила с Искуи о том, чем, например, кормить больную. При всей приглушенности ее мыслей, она все же удивлялась, что в провиантном ящике есть еще шоколад, и банки Quaker Oats. Все эти вещи должны были давно кончиться. Она даже попыталась подсчитать, кто ими пользовался. Стефан, например. Ради Стефана надо быть предельно бережливой. Потом... Габриэл, Авакян, Искуи, Товмасыны, Кристофор, Мисак, ребенок Овсанны и... нет, этого имени она не могла припомнить! Сразу же все смешалось, зажужжало в голове. И считать она совсем не могла, и очень плохо обстояло дело с определением времени... Что было раньше и что было после, что было только недавно, а что давным-давно... все-все перепуталось...

И если в эти дни возвращения пловцов Жюльетта все явное воспринимала как в тумане, и если она столь многое позабыла, то зато все тайное она воспринимала особенно остро.

Она лежала одна. Майрик Антарам, сказав, что часа на два отлучится, ушла в лазарет. Входит Искуи, садится против кровати, на свое обычное место, спрятав, как всегда, свою больную руку под накинутым на плечи платком. И сквозь свои, ставшие такими прозрачными веки Жюльетта замечает, что Искуи, уверенная в крепком сне больной, дает волю мыслям и выражению лица. Но Жюльетта знает и больше: Габриэл только что расстался с девушкой, потому-то она и вошла в палатку... Да, и это знала Жюльетта: Искуи останется здесь до тех пор, пока Габриэл не вернется! И еще Жюльетта поняла, что лицо Искуи, хотя оно и видится только как зыбкое светлое пятнышко, – горько упрекает ее. Упрекает за то, что не воспользовалась Жюльетта такой благоприятной возможностью и не умерла... И эта ненавистная, эта хорошенькая тварь права! Ибо как долго еще будет разрешено Жюльетте пребывать в этом междуцарствии, где она ни за что не отвечает? Как долго еще разрешат ей молчать и спать, когда Габриэл сидит рядом... И Жюльетта чувствует этот укор, это порицание, эту вражду, словно колючие лучи, исходящие от Искуи. И сидит здесь не просто враг, впившийся в нее глазами и безмолвно проклинаящий ее. Здесь сидит тот самый враг – великая отчужденность во плоти, то непреодолимо армянское, чьей жертвой она, Жюльетта, пала! Ведь она думала, что тверда, а азиатская природа податлива, а теперь вся ее твердость растворилась в этой азиатской податливости...

И покуда она, казалось, спала, на нее нахлынуло откровение: как же это? Не она, Жюльетта, значит, имеет первое право на Габриэла? Нет, у Искуи более древнее право, и никто ее не упрекнет, если она заберет свое... И Жюльетта содрогнулась от жалости к себе. Разве она не делала для этой азиатки все, чтобы завоевать ее любовь? Она, которая в тысячу раз ее выше! Не она разве одела эту бестолковую, неумелую девицу с ног до головы, украсила своими платьями, учила уходу за руками и лицом? И хоть у нее прелестная маленькая грудь, но кожа какая-то сероватая, темная, и рука искалечена, – тут уж сам бог не поможет! Разве может такая понравиться столь взыскательному ценителю, как Габриэл?

Но как же тогда, – страшно удивившись, подумала Жюльетта, – ведь сколько она себя помнит, с тех пор, как вновь пробудилась к жизни, эта ненавистная соперница кормила ее с ложечки, и это невзирая на больную руку... А ведь могла она в эту ложечку подсыпать яд?.. Она должна была это сделать, это же ее долг!..

Чуть приоткрыв глаза, Жюльетта взглянула на своего врага. И правда! Искуи поднялась, и как она всегда это делала, зажав термос подмышкой, правой рукой отвинчивала крышку-стакан. Потом поставила крышку на туалетный столик, осторожно наполнила ее и подошла к больной... Значит, все-таки не напрасно Жюльетта подозревала! Вот она, убийца! Все ближе и ближе! И яд в руках! Жюльетта зажмурилась. Ей даже казалось, что убийца, готовясь к преступлению, тихо напевает своим стеклянным голоском или что-то мурлычет себе под нос. Будто комар жужжит.

Она напряженно вслушивается. Вот Искуи наклонилась.

– Уже пять часов прошло с тех пор как ты пила, Жюльетта. Чай еще горячий.

Больная открыла глаза. Взгляд подкарауливающий. Но Искуи ничего не замечает. Поставив стаканчик, она подкладывает Жюльетте подушку, чтобы голова была повыше. И только после этого подносит стакан к губам. Жюльетта выжидает, как бы враг не заподозрил чего! Делает вид, будто действительно хочет пить. И вдруг хорошо рассчитанным ударом выбивает стакан из рук врага. Чай залил одеяло.

– Уходи! Уходи, я говорю! – хрипит Жюльетта, приподнявшись.

Под вечер к кровати подошел Габриэл. Во сто крат увеличилось ее страдания! Скорей бежать, скорей укрыться в родном лабиринте! Но все ходы его, все уголки засыпаны. Все междуцарствие вдруг сосредоточилось на удивительно малой площадке.

Бережно, как всегда, Габриэл берет руку жены. Четкая, точно удар сердца, мысль пронизывает мозг Жюльетты:

«Сейчас он заговорит! И я должна его слушать. Должна узнать все? И нельзя будет спрятаться...».

Она пытается дышать глубже и равномерней. Но в то же время сознает, что сейчас ее грезы на грани сна и яви не так уже чисты и оправданны, есть в них что-то нарочитое. Габриэл не говорит ни слова. Проходит некоторое время. Он зажигает свечи на маленьком столике – керосин уже кончился. Габриэл выходит. Жюльетта вздыхает свободно. Но минуты две спустя Габриэл возвращается вновь и кладет ей на одеяло большую фотографию Стефана – тот самый прошлогодний портрет, который обычно стоял на письменном столе, – и в Париже, и в Йогонолуке...

«Это не Стефан вовсе, – отмечает про себя Жюльетта, – это что-то другое. Может, это письмо, и мне его надо прочитать, когда я опять буду здорова? Но теперь я уже не могу жить этой жизнью. Плохо мне от нее. Я имею полное право уйти...».

Жюльетта ежится, натягивает одеяло до самых губ. Фотография падает.

Портрет смотрит прямо на нее, свесившуюся с кровати. Отражаясь от зеркальца, пламя свечи, сверкнув, останавливается на самой середине лица. Вот и конец. Отступать некуда. Это уже Стефан сам, не на картинке. Это вся суть его. Вот он стоит за спинкой у изголовья. Еще задыхаясь, он забежал сюда, бросив ребят, Гайка. Или заглянул по дороге на позиции, а то и после какой-нибудь игры – только на минутку, чтобы с отвращением выпить свой стакан молока.

– Ты меня искала, мама?

– Не сейчас, не сегодня, Стефан, – молит Жюльетта, – не приходи сегодня. Я очень слаба. Приди завтра. Дай мне сегодня еще немного поболеть. Пойди лучше к папе!..

– С папой я и так всегда...

– Да, я знаю, Стефан, ты не любишь меня...

– А ты меня?

– Когда ты хороший, люблю. Надень, пожалуйста, синий костюмчик. А то ты совсем как армянин...

Эти слова не нравятся Стефану. Ему вовсе не хочется одеваться как прежде. Его молчание говорит об этом. Но Жюльетта молит все горячее:

– Только не сегодня, Стефан! Приходи завтра утром... пораньше. А эту ночь оставь мне...

– Завтра утром, пораньше?

Но звучит это не как согласие и обещание, а как пустой повтор, нетерпеливый вопрос, брошенный на ходу – Стефан уже не здесь, он весь там, среди товарищей.

Почувствовав, что мольба ее утолена, Жюльетта вдруг встрепенулась. Хрипло окликает:

– Стефан... останься... не убегай... остановись... Стефан!..

Майрик Антарам как раз возвращалась из лазарета к Трем шатрам: надо было уложить больную на ночь. За ней – вдова Шушик. С тех пор, как она узнала, что Гайк жив, вдовой овладела неудержимая тяга к людям, она стремилась им помочь. И кто же как не Майрик Антарам могла ей быть в этом лучшим наставником?

Обе женщины увидели ханум шагах в двухстах от палатки: в ночной рубашке, подтянув острые колени к подбородку, она сидела у куста. На лбу – капли пота от пережитого смертельного страха. Широко открытые глаза смотрели вдаль тупым невидящим взглядом.

Звон топоров доносился сюда, к Седловине, с северных высот Муса-дага. Турки валили скальный дуб. Что бы это значило? Строят артиллерийские позиции? Или укрепленный лагерь? Чтобы после очередной атаки не спуститься в долину и не подвергать себя опасности ночного налета?

Разведать горный хребет на севере за Седлом отправили четырех отличившихся юношей из разведгруппы. Они не вернулись. Огромное плато, простиравшееся от Сандерана до Рас-эль-Ханзира – всего несколько дней назад оно открывало свободный выход! – теперь было намертво перекрыто. Все

потрясены. Послали на разведку Сато – непревзойдённую шпионку. Чего ее жалеть? Она вернулась. Однако толку от нее добиться не было никакой возможности: «много-много тысяч солдат». Понятия Сато о количестве были чрезвычайно расплывчаты. Больше или меньше – вот и все. О деятельности этих тысяч она сообщала неопределенно: «катают бревна», или «варят». Само задание, должно быть, не имело для нее никакого интереса, зато для себя она захватила трофеи: большую лепешку с хрустящей корочкой. Она крепко прижимала ее к своему птичьему тельцу, все еще облаченному в какие-то дикие, неопикуемые лохмотья того хорошенького пышного платья, которое теперь почти совсем не прикрывало ее отталкивающую наготу. Лепешка была обгрызена зубками Сато и не в двух-трех местах, как иногда делают люди, а в десяти или более, словно это поработала крыса. Не прошло и нескольких минут, как Сато, оставив Нурхана Эллеона и остальных дружинников, расспрашивавших ее, убежала невесть куда.

Ни крошки она не отдаст от своего сокровища, никому из всей шайки, и меньше всех – Искуи. К «маленькой ханум» Сато теперь относилась почти так, как учитель Восканян к Жюльетте. Свою прежнюю Кючук-ханум она теперь охотней всего тоже обгрызла бы со всех сторон. Ядовитыми зубами! Что касается лепешки, то самой Сато удалось полакомиться только четвертой ее частью – Нуник ведь не обманешь, да и не спрячешься от нее. Старуха все знала и – того хуже – требовала своей доли, даже если не видела тебя! И хотела того Сато или нет, ей пришлось навестить убежище своих друзей, которое находилось несколько в стороне от большого лагеря. А всеведущая старуха уже поджидала ее, стоя на ветру. Ветер трепал ее лохмотья, и она протягивала руки к Сато:

– Давай! Чего принесла?

Произошло это на тридцать шестой день Муса-дага и на четвертый день сентября. Рано утром каждой семье была выдана предписанная порция ослиного мяса. И никто не был уверен – не последняя ли это выдача. И тут же все наблюдательные посты сообщили о необычайном оживлении в деревнях, да и во всей долине. Причем было замечено не

только передвижение солдат и заптиев, но и большого количества любопытных мусульманских крестьян. Причина такого большого стечения народа в долину обнаружилась очень скоро. Когда Самвел Авакян, вооружившись биноклем Багратяна, поднялся на вершину, чтобы самому выяснить, в чем же дело, ему навстречу выбежали наблюдатели – в большинстве своем деревенские жители, они ничего подобного никогда не видели! Какая-то штукавина остановилась на большой дороге между Антакье и Суэдией перед въездом в деревушку Эдидье. Там эту штукавину поджидал небольшой наряд кавалерии. В бинокль Авакян рассмотрел маленький военный автомобиль, должно быть, с риском для жизни преодолевший трясину и ущелья под Айн-эль-Эраб. Из машины вышли три офицера и сели на приготовленных для них верховых лошадей. Группа сразу же тронулась в путь, свернув на дорогу, проходившую через все деревни. Впереди скакали офицеры,

за ними рядовые кавалеристы – не пройдет и нескольких минут, и они достигнут Вакефа. Офицер, скакавший между двумя другими, держался на полкрупа впереди. Оба сопровождавших офицера были в обычных меховых шапках, а генерал – в феске защитного цвета. Авакян хорошо разглядел красные генеральские лампы. Не задерживаясь, группа миновала одну деревню за другой. До йогонолука она добралась меньше, чем за час. На церковной площади генерала и сопровождавших его лиц ожидало несколько господ. Вне всяких сомнений, среди них был и антиохийский каймакам, который затем вместе с мюдиром и остальными чиновниками повел генерала-пашу с его свитой на виллу Багратьянов.

Об этом чрезвычайном происшествии немедленно доложили командующему. На свою ответственность Авакян объявил общую тревогу. Габриэл одобрил эту меру. Более того, он усилил ее, приказав не отменять тревогу для всего лагеря, независимо от того, случится что или нет. Однако Авакян высказал убеждение, что турки еще далеко не готовы и ни сегодня, ни завтра, да скорее всего и в ближайшие дни ничего не предпримут. Казалось, факты говорили в пользу этого предположения.

Проведя два часа на вилле Багратьяна, приезжие офицеры сели на лошадей и пустились в обратный путь более скорым аллюром, чем когда ехали из Эдидье. В общей сложности они и полдня не провели в районе военных действий и на своем маленьком тархтящем автомобиле убрались в Антакье. Каймакам провожал их до своей резиденции.

В тот же день Габриэл Багратьян преодолел боль от гибели сына, обрел былое мужество. Воинственная черта характера, обнаруженная им вместе с вестью о депортации, вновь возобладала. Правда, последнюю ночь он опять провел на позициях в Северном секторе. Но так как женщин – из-за враждебного отношения к площадке Трех шатров – нельзя было оставлять без охраны, он освободил Кристофора и Мисака от ночного дежурства, поручив им охранять палатки. К тому же Майрик Антарам привлекла вдову Шушик к уходу за больной и, таким образом, в ее распоряжении оказались еще две руки недюжинной силы.

Час за часом Габриэлу удавалось все успешней выключать свою внутреннюю жизнь. Боль не оставляла его, но была приглушена, как боль от раны, которая притихла от инъекции. Он снова самозабвенно отдался работе. Теперь он был еще более подтянут, более непреклонен, чем прежде, как будто вдруг воспрял... Только сейчас он понял, какую неоценимую помощь ему оказывал его адъютант, вернее начальник его штаба. И впрямь, неутомимый Авакян, это удивительно безличное «я», ни на минуту не претендовавший на роль руководителя, хотя по знаниям своим и интеллигентности намного превосходил остальных командиров, – оказался поистине железным. Гораздо больше благодаря ему чем Нурхану Эллеону, до сих пор соблюдались как полевой устав, так и дисциплинарный. Кое-кто, правда, брюзжал по адресу «неуклюжего книжника» и «очкарика», ибо всюду, где люди носят оружие, берет верх пренебрежение к интеллекту; тем не менее, как только Авакян

показывался на позициях, у дружинников возникало какое-то доброжелательное рвение – неоценимое свидетельство доверия командиру. И происходило это оттого, что адъютант, даже в отсутствие командующего, словно светясь отраженным светом, был намного выше своего окружения. Смерть Стефана лишила сна и его воспитателя. Авакян искренне страдал: мучило его и чувство вины. Четыре года он провел в доме Багратянов и полюбил Стефана, как младшего брата. Он стискивал зубы, кровь ударяла ему в голову, – неужели нельзя было избежать этого? Неужели в тот ужасный день он не почувствовал, что происходит с мальчиком? Никогда он себе этого не простит. Никогда?! Но ведь это «никогда» означает не более двух-трех дней, а потому и легче все перенести.

Внешне Самвел Авакян ничем не выдавал себя и, встречаясь с Багратяном, не упоминал о Стефане. Но и отец не произносил имени сына. И все же, а быть может, именно поэтому, Авакян всю свою энергию, все напряженные до предела силы отдавал служению Габриэлу. В последнее время он составил полный список личного состава дружин. Из этого списка и узнал Багратян, что число активных бойцов сократилось до семисот. Однако брешь, пробитая в их рядах, не означала большой потери боеспособности. Освободившиеся ружья были переданы резерву. Но что дальше? Правда, из-за лесного пожара линия обороны значительно сократилась. Дубовое ущелье представляло собой огромные колосники, усыпанные раскаленными углями. Жар их чувствовался даже в Городе. Как бы то ни было, а самый угрожаемый участок оказался теперь надежно и навсегда защищенным. Но не только наиболее слабое место в обороне Дамладжка было тем самым ликвидировано, – откосы, небольшие возвышения, впадины были усыпаны тлеющими бревнами, ветками, пнями, словно чья-то милосердная рука охраняла армянский лагерь и с этой стороны.

Багратян расформировал ставшие лишними команды и гарнизоны и создал очень плотную цепь постов, которым и надлежало прикрывать весь откос горы от неожиданных нападений и набегов турецких разведчиков. Согласно всем предположениям и данным разведки, намерения врага можно было охарактеризовать следующим образом: сосредоточив десятикратное превосходство сил, он нанесет главный удар по Северному участку. Эта атака, возможно, проводимая при поддержке артиллерии, и должна будет уничтожить сильно потрепанные дружины армян.

Непрерывный звон топоров доносился с турецкой стороны против Северного участка. Впрочем, несмотря на эти явные приготовления в Северном секторе, у Багратяна хватило предусмотрительности выслать группу разведчиков на Южный участок. Эти смелые парни дошли, правда, уже ночью, до самой Суэдии. Они вернулись и донесли, что солдат там очень мало, заптиев в долине Оронта почти не видно. Все войска сосредоточены в семи армянских деревнях. Должно быть, Южный бастион и каменная лавина оставили в памяти турок, в том числе и их генерала, неизгладимый след. Несмотря на все это, Багратян решил на следующий день проинспектировать Южный бастион.

Вечером он сидит на месте своего ночлега и не сводит глаз с Седловины, с

рощ и перелесков, за которыми так недавно исчез Стефан, а он не сумел это предотвратить. Дружинники все еще сторонятся Багратяна. Стоит ему подойти, как они перестают разговаривать между собой, встают, приветствуют. И все. Никто из них также не упоминает о Стефане. Но может быть, они просто не осмеливаются? Люди как-то странно смотрят на Багратяна – и печально, и настороженно. Один Чауш Нурхан не отстает ни на шаг, будто хочет что-то сказать и только выжидает удобного случая. Сейчас он спит крепким заслуженным сном – никто из молодых не может сравниться с этим старым рубакой.

Вот уже двадцать четыре часа Габриэл не видел ни Искуи, ни Жюльетты. Но так ему легче. Все связи рвутся. Нет, не поддастся он более приступам слабости! Хладнокровным и свободным должен быть он для последнего боя. Да, несмотря на безмерную скорбь, он чувствует себя и свободным, и хладнокровным для этого последнего боя!

Здесь, на этой высоте, сентябрьские вечера были уже довольно прохладны. Да и переменчивый ветер не утих, хотя по временам совсем не ощущался. Где же те изумительные лунные ночи, когда чудовищное; сорокакратное убийство Стефана еще не терзало его сознания? Габриэл не сводит глаз с черной стены напротив. Порой в ветвях повизгивает ветерок.

До чего же труслив противник! В такую ночь он мог бы вырыть у Седловины целую систему окопов – и никто бы не сумел ему помешать. Но зачем, если есть пушки? Это же сразу все решит. А может быть, не надо ждать, может быть, надо опередить его? Что-нибудь придумать? Габриэлу Багратяну не раз приходили на ум спасительные идеи. Потому-то враг и не сломил мусадагцев до сих пор! Сначала общий план обороны, вся система ее, потом «Вольные стрелки», «Летучая гвардия», спасший лагерь лесной пожар... Да! Опередить! Но как? Каким образом? Голова пуста, ни одной мысли...

На следующий день Габриэл Багратян, как и задумал накануне, проводил инспекцию Южного бастиона. Но сначала он задержался у своих гаубиц. Стволы были направлены в противоположные стороны – один на Северные высоты, другой – на Суэдию. Еще за несколько дней до смерти Стефана Габриэл рассчитал траектории, наметил на карте цели. Возможность задержать врага, помешать его наступлению была, безусловно, реальной. В зарядных ящиках лежали четыре шрапнели и пятнадцать гранат. Гаубицы охраняла специальная команда, имелась и прислуга в составе восьми человек – их наскоро подготовил Нурхан Эллеон, правда, успев обучить только простейшему: Снять с передка! Расставить сошник! Поднести снаряды! Огонь!

Сопровождали Габриэла Чауш Нурхан, Авакян и несколько командиров участков. Первые впечатления от Южного бастиона ни у кого из всей группы не вызвали тревоги. Саркис Киликян, как только его освободили из-под ареста, многое сделал для усовершенствования штурмового тарана. Мощные щиты были удлинены стреловидными веслами.

Сам удар щита захватывал теперь большую площадь стены. Да и щиты были усилены железными листами и скреплены дополнительно. Судя по виду,

эти катапульты должны были метать каменные глыбы весом в несколько центнеров до самых развалин Селевкии. Казалось, Киликян ничем другим не интересуется, кроме этой зловещей игрушки. Что-то детское было в упрямом рвении, с каким он вновь и вновь трудился над улучшением своей осадной машины. И рвение это находилось в кричащем противоречии со всем обликом дезертира. Багратяну же еще с первой встречи казалось, что в душе этой жертвы чудовищной жизни таится погребенный обвалом родник.

Его отношение к Киликяну было неясное и напряженное. Что-то от жителя столичного города, элегантного буржуа, противилось в нем радикальному «ничто», олицетворенному в Киликяне. Правда, столкновение у них было только раз, когда дезертир потерпел позорное поражение. Но и у победителя тогда вовсе не было хорошо на душе, да он и поныне не мог преодолеть странной неуверенности, всякий раз охватывавшей его, когда он встречался с этим человеком. То было какой-то слабостью Багратяна, которую не так-то легко было объяснить. Не мог он, например, избавиться от своеобразного уважения к Киликяну, ничем не заслуженного – ни его достоинствами, ни особенностями, ни выдающимся успехом. Всякий раз, когда Киликян попадался Габриэлу на глаза, командующий приветливым словом или участливыми расспросами пытался расположить его к себе, но всякий раз эти усилия были до конфуза напрасны. Единственным человеком на Муса-даге, с которым Багратян не мог найти правильного тона, был Саркис Киликян. То он говорил с ним излишне снисходительно, то слишком на равных. А Киликян всегда находил способ отклонить настояния Габриэла. Вот и сейчас он продолжал спокойно лежать на спине, пока командующий расхваливал его катапульты. Такое поведение бойца было не просто наглостью, а грубым нарушением субординации, которое следовало бы немедленно наказать. Габриэл же просто отвернулся, ища глазами учителя Восканяна. Но этот трус скрылся при одном приближении Багратяна. Не мог же он знать – ни Тер-Айказун, ни доктор Петрос, ни Шатахян ничего не сообщили ему – о том отвратительном совещании, когда Восканян наговорил столько ядовитых слов в адрес Багратяна. Впрочем, после исключения его из Совета, в голове тщеславного Коротышки царил полнейший хаос. По всей видимости, он намеревался сколотить «партию Восканяна». Вот уже несколько дней как он изливал фонтаны красноречия на ничего не подозревавших людей, которые посещали его здесь, на Южном бастионе. «Идея» же, как он называл это, обретала в его разгоряченном мозгу все более ясные очертания. Сия блистательная идея была почерпнута из одного блистательного же рассуждения маэстро Григора, который много лет тому назад во время одной из философических прогулок рассуждал о самоубийстве, взвешивая «за» и «против» двух положений: «долг жить» и «право умирать». При этом он цитировал никому не известных авторов. Правда, с весьма звучными именами.

В Южном бастионе инспекция не обнаружила никаких грубых нарушений. Вся служба велась по примеру дружин, посты были на своих местах, выдвинутое вперед боевое охранение расположилось на самом краю большой



осыпи, оружие тоже содержалось в полном порядке. И все же а поведении этой команды, хотя на первый взгляд оно и не вызывало нареканий, было что-то неопределенное, распущенное, опасно подозрительное, что насторожило Чауша Нурхана. Всего здесь числилось одиннадцать дружин, примерно восемьдесят дезертиров. И вовсе не все они были сомнительными субъектами. Напротив, большинство из них были люди безобидные, удравшие от угрозы истязаний, бастонад или принудительных дорожных работ. Но какова бы ни была причина – нищета ли, распущенность, дурной пример – все они в той или иной степени подражали строптивой апатии Киликяна, словно некоему шикарному образу жизни, который так нравится мужчинам подобного типа. То было какое-то расхристанное шатание без всякой цели, издевательское подтрунивание друг над другом, нахальное полеживание, ленивое потягивание, вызывающее гиканье, шиканье, свист – все это не предвещало ничего хорошего. Нет, это была не боевая часть и не банда настоящих преступников, а какая-то шайка опустившихся упрямых бродяг. Но Габриэл Багратьян, очевидно, не придавал этому никакого значения. Ведь большинство этих ребят отлично показало себя в бою. И все же обращаться с ними следовало осторожней, чем с дружинниками.

Но разводить костры – было уже чересчур! На запад от Южного бастиона, где Дамладжк поворачивает к морю, были набросаны три высоких бруствера для прикрытия флангов. Эти укрепления господствовали над крутой стороной горы, спадавшей покрытыми лесистыми зарослями террасами к Хабасте, они же делали невозможными никакие обходные движения врага. И здесь-то, в пятидесяти шагах ниже этой также защищенной каменной стеной позиции на открытом предполье пылал веселый костер – не иначе как радушное приглашение туркам!

Разводить открытый огонь без специального на то разрешения было строго-настрого запрещено. Мало того, что вокруг костра сидели прощельги-дезертиры, тут были еще и две бабенки, очевидно, перекочевавшие сюда из Города. И эти женщины преспокойно жарили на длинных вертелах отличную козлятину. Нурхан и сопровождавшие его дружинники в бешенстве бросились на эту компанию. Багратьян медленно подходил сзади. Одного из дезертиров Чауш схватил за грязную рубаху и рванул вверх. Это был какой-то длинноволосый, загорелый молодчик с маленькими бегающими глазками, ничего общего не имевшими с армянскими. Длиннющие фельдфебельские усы Нурхана Эллеона дрожали от гнева.

– Ах вы, вшивая банда! Откуда у вас козлятина?

Делая вид, что не знает Чауша, Длинноволосый попытался высвободиться.

– Тебе какое дело? Кто ты такой?

– Вот тебе! Чтоб ты знал, кто я такой!

Ударом кулака он свалил дезертира наземь, да так, что тот чуть не скатился в огонь.

С трудом поднявшись, он заговорил, но в голосе его уже слышались подбострастные нотки:

– Чего дерешься? Чего я такого сделал? Козу мы ночью в Хабасте взяли.

– Хабасте? Ах ты, паршивец! Из лагеря вы ее увели, трусливая тварь! Люди с голоду погибают, а вы у них последнее отнимаете?.. Теперь-то нам понятно что к чему...

Длинноволосый, найдя взглядом Багратьяна, который до сих пор держался в стороне, предоставив младшему командиру разобраться в этом неприятном деле, жалобно заскулил.

– Эфенди, мы что ж, не люди, что ли? Меньше других голодаем? Работать-то вы нас заставляете, сутками на посту стоим. Хуже, чем в казарме живем...

Багратьян не ответил ему, только знаком приказал своим людям погасить костер и реквизировать мясо. А Чауш Нурхан, пригрозив дезертирам поджаренной козьей ногой, крикнул:

– Вы у меня еще не так поголодаете! Друг друга пожирать будете!

Длинноволосый, сложив крестом руки на груди, подошел к Багратьяну:

– Эфенди! Дайте патронов! У нас у каждого по одному магазину. Все у нас отняли. Мы бы на охоту пошли – зайца или лису добыли. Какие ж это порядки? Людям не дают патронов! Ночью, того гляди, турки придут.

Ничего не ответив, Габриэл отвернулся и зашагал прочь.

По дороге в Город Нурхан Эллеон – гнев его еще не остыл – требовал:

– Надо выгнать отсюда человек двадцать, самых закоренелых. Очистить гарнизон Южного бастиона!

Но мысли Багратьяна были уже далеко, занятые более важными делами.

– Нельзя, – рассеянно ответил он. – Не можем мы своих соплеменников-армян погнать на верную смерть!

– Какие же это соплеменники? Какие они армяне? – Чауш Нурхан брезгливо сплюнул.

Габриэл вспомнил физиономию Длинноволосого.

– Среди пяти тысяч человек наткнешься и на подлеца. И это всюду так.

Чауш Нурхан с удивлением посмотрел на него:

– Не годится нам спускать такое...

Багратьян остановился, выхватил у Эллеона его карабин и с силой ударил прикладом по земле:

– Мы знаем только одно наказание, Чауш Нурхан. Вот это! Все остальное курам на смех. Это же смешно, что Киликяна заперли в каморку рядом с беднягой Грикором! Если уж карать бандитов – так всех их перестрелять надо.

– И надо бы... Теперь, эфенди, мы все по-новому распределим...

Багратьян остановился.

– Да, Чауш Нурхан. И это сделаю я. И будет это нечто совсем новое...

Он не договорил, ему самому это «новое» еще не было ясно.

Когда на следующее утро – это было уже шестое сентября – женщины пришли к раздаточным столам за мясом для семьи, то получили его – если кости и жилы можно назвать мясом – только несколько кусков. Отчаявшиеся хозяйки набросились на мухтаров, а те, отпрянув, с позеленевшими, как сама

нечистая совесть, лицами, бормотали что-то о распоряжении Совета, что лучшие куски розданы бойцам на позициях, дружинники должны, мол, набраться сил для предстоящего боя. А последних коз Совет не разрешил забивать, так как самым маленьким детям нужно молоко, ну а четыре последние вьючных осла понадобятся во время сражения. В ближайшее время придется хозяйкам самим еду добывать. Есть же ягоды арбутуса, желуди, винные и лесные ягоды, корни и все такое прочее... Из них можно сварить похлебку, будет чем червячка заморить... Давая столь неутешительные советы, мухтары старались спрятаться, зайти за стол, боясь, что бабы или задушат их, или разорвут на куски. Случилось, однако, иное. Понурившись, женщины застыли. Лихорадочный огонь в глазах погас, сейчас они выражали такое же оцепенение, как тогда, когда, словно удар грома среди ясного дня, на деревни обрушился приказ о депортации.

Старосты облегченно вздохнули – бояться, значит, нечего. Толпа быстро редела. А собралось здесь несколько сотен женщин – старых я молодых, красивых и безобразных, и все в самом жалком состоянии – исхудалые и опустившиеся. И ту, что была всех статней – ветерок опрокинет. Все они уже повернулись к раздаточным столам спиной и поплелись, еле волоча ноги, будто к ногам их, вернее, к сбитой обуви, прилипла вся несчастная земля Дамладжка.

Постепенно толпа женщин растекалась по Всему горному плато, между скал крутого морского берега, кое-кто отваживался даже пробраться и на склон, спускавшийся в долину – обобрать те места, которые пощадил огонь. Маленькие дети вприпрыжку бегали вокруг родителей, то и дело попадая под ноги и мешая работать. Вот если бы, как раньше, можно было заходить за Северную Седловину – там-то еще было что собрать! А внутри кольца обороны – все голо, обглодано и обсосано, как кость, брошенная бродячей собаке. Некоторые женщины в сотый раз обыскивали ягодники и места, где рос арбутус, стараясь выдрать из зарослей все, что осталось от прошлых набегов; другие взбирались на скалы, где росла индийская смоква, ее крупные мясистые плоды были самой драгоценной добычей. Но разве этим можно было помочь, когда все кричало о муке, о кусочке бараньего сала или сыра. Что бы люди ни глотали сейчас – это хоть на минуту заглушало голод, но только не мысли о хлебе и масле. Кофе и сахар аги Рифаата, от которых всем понемножку досталось, кусочки жилистого сухого ослиного мяса, полученные в последние дни, сухари, принесенные пловцами – не в счет, их было слишком мало – все это при угрозе полного голода было только лишним поводом для вспышек отчаяния.

Не везло и пастору Араму с рыбной ловлей. Не было подсобного материала. И никак не удавалось соорудить надежный плот, да и сети оказались никуда не годными. Птицеловы тоже не могли похвастать успехами, хотя их орудия лова – манки и накидные сетки были в полном порядке. Птицы не было! Она еще не покинула своих гнездовий на Севере. А перепела, вальдшнепы, дикие голуби на такие детские уловки не попадались. Ну, а Нуник, Вартук, Манушак и вся эта кладбищенская братия? Эти-то уж испокон веков жили тем,

что удавалось подобрать на земле. Там, внизу, в долине, и здесь, наверху, на Дамладжке, вот уже тридцать семь дней как для них и отбросов не находилось. Нуник сжалась над несчастными. Вся ее гильдия ютилась где-то вне, за пределами людского жилья и к своему исключению из общины относилась как к чему-то само собой разумеющемуся. Плакальщицы, нищенки, слепые, калеки, юродивые не должны обитать среди живых людей, в этом никто из них не сомневался, да они и не гневались на соплеменников, которые за свою светлую жизнь расплачивались тяжелым трудом. А плакальщицы, оплакивавшие усопших и защищавшие рожениц от злых духов, все равно чувствовали себя людьми нужными, людьми бесспорно ценными. Они же помогали целым поколениям увидеть свет, помогали им и покинуть его. Своими магическими обрядами они в некотором роде владели душеспасительными средствами, к которым ни Тер-Айказуну, ни церкви прибегать не дозволялось. Но хлеба и жира даже Нуник не могла наколдовать. И все же она помогла голодающим женщинам тем, что показывала им свои тайники, где сама не раз добывала пищу. Бесподобное это было зрелище, когда древняя старуха, в столетнем возрасте которой не сомневалась ни одна душа, ловко лазила по скалам. Ее тощие коричневые ноги уверенно искали опоры, словно опытный альпинист она перекидывала свое тело от выступа к выступу и в конце концов исчезала в какой-нибудь расселине. Лишь три девушки осмелились ползть за Нуник. Остальные только диву давались. Однако и молоденькие, сделав несколько шагов, затряслись от страха так, что мониста звенели. Правда, игра стоила свеч. В расселине Нуник нашла, а может, и раньше знала о них – гнезда чаек и других морских птиц. Все вместе они набрали несколько корзин маленьких птичьих яиц и отнесли их в шалаши. Но когда эту добычу разделили на тысячу семей, то и такая добавка оказалась почти неощутимой добавкой к нулю.

Пока отчаявшиеся женщины рыскали по всей горе, Совет уполномоченных созвал заседание. Члены его и не подозревали, что в последний раз пришли в правительственный барак. От одра покойного Григора Иогонолукского их по-прежнему отделяла никем не тронутая стена книг, которую аптекарь воздвиг между собой и остальным миром. Казалось, книги тоже ушли в мир иной вслед за своим хозяином, такими окаменелыми они представились теперь людям. Но не только книг коснулась смерть – восковое лицо Тер-Айказуна тоже походило на маску, снятую посмертно. Он обвел собравшихся своим отреченным, непроницаемым взглядом пастыря, пересчитал их. Налицо все, кроме умерших и Гранта Восканяна, который, очевидно, не осмелился нарушить запрет верховного главы народа. Но сидел тут тощий, как жердь, Асяян, друг Восканяна, давнишний враг и ненавистник вардапета. Великий молчун вплоть до начала заседания обрабатывал Асяяна со всей свойственной ему проникновенностью: Асяян-де должен отомстить за него, перессорить всех уполномоченных, не жалея сил натравливать их друг на друга. Регент хора выказал готовность насолить как можно крепче своему старому мучителю в храме и в школе.

Последним на заседание явился доктор Петрос. На своих старых кривых

ногах он, переваливаясь, подошел к книгам и долго смотрел на пустую койку. И уже только после этого обратился к собранию.

– Помянем аптекаря! Сумасшедший был человек, ей-богу, сумасшедший! Но такого, как Грикор, больше не будет...

Уж очень грубо звучало это надгробное слово, но самого оратора оно проняло: внезапно глубоко вздохнув, он умолк.

Тер-Айказун сложил руки для молитвы:

– Прав доктор. Помянем нашего Грикора. Не дождался он нашего конца. Да будет господь милостив к его душе.

Остальные тоже молитвенно сложили руки и углубились в себя. Для большинства это был формальный жест. Но Габриэл Багратян низко склонил голову, будто прятал лицо, правда, искаженное мыслью не о Грикоре.

После этой краткой минуты поминовения Тер-Айказун сразу же предоставил слово пастору Араму. Заседание это и его неудачный конец были, пожалуй, предопределены напряженными отношениями между пастором Арамом и Багратяном. Пастор так и не собрался вызвать командующего на откровенный разговор. Наедине со своей совестью он находил множество оправданий подобной нерешительности. Вот уж который день проводил он на морском берегу в тщетном ожидании счастливого улова. Наверх поднимался лишь изредка, в основном, когда его вызывал Тер-Айказун, но это было лишь отговоркой для самого себя. К тому же, доктор Петрос поручил своей жене, Майрик Антарам, весь уход за больной Жюльеттой, и это оградило Искуи от страшного позора. Да и Багратян теперь снова ночевал на Северных позициях, и молва гласила, что на площадку Трех шатров он вообще не приходит. Такого рода наблюдениями, число которых можно было бы умножить, пастор лишь слегка успокоил свою душу. На самом-то деле он превосходно отдавал себе отчет в своих чувствах. И все же какая-то непреодолимая робость не позволяла ему говорить с Багратяном. То были мучительные колебания между целомудрием, уважением и отвращением. Да, наконец. Арам ведь любил Искуи! И теперь, когда он избегал ее, когда Овсанна беспрестанно проклинала его сестру, он любил ее вдвое сильнее. Все вновь и вновь ему слышались ее слова: «Мне девятнадцать лет, и двадцать мне никогда не будет».

Товмасыню не хотелось сейчас обострять конфликт. Он отлично знал, что Искуи готова на все, и на полный разрыв с семьей в том числе. Отцу она так прямо и сказала, когда он заклинал ее покинуть площадку Трех шатров. «Зачем же еще и эти муки? – спрашивал себя Товмасын. – День проходит за днем, и один из них будет последним». И еще: «Искуи никогда не лгала, и теперь она не лгала, когда говорила: «Между мной и Габриэлом Багратяном ничего не было». А значит, самый большой грех не совершен. И может быть, господь укажет совсем иной, неожиданный путь, и все изменится. О ниспослании ему этого пути или выхода пастор Арам Товмасын ежедневно молился. Ему казалось, что еще немного, и путь этот откроется ему.

Первая встреча с Багратяном смутила и ожесточила Арама. Ни единого слова сочувствия он не выжал из себя, хотя и не видел Габриэла со дня смерти

Стефана. Пусть люди обратят внимание на то, что он даже во время непосредственного разговора с командующим старается не смотреть ему в глаза.

Заседание началось с сообщения Товмасына.

– Все, что мы наметили, – исполнено. Мы раздали последнее мясо. Только для дружин тайно припрятали немного. Не более чем на два дня. У женщин и детей – первый день полного поста, если не считать постом предшествующие дни.

Мухтар Товмас Кебусян поднял руку, правда, предварительно удостоверившись, что из споривших на прошлом заседании сейчас присутствуют все.

– Я не понимаю, почему дружинникам раздают мясо, а женщин и детей заставляют поститься? Молодым, здоровым парням легче переносить голод.

Багратян тотчас же подал голос:

– Это проще простого, мухтар Кебусян: бойцам нужно сейчас больше сил, чем когда-либо.

Чтобы как-то поддержать командующего, Тер-Айказун решил отвлечь собравшихся:

– Может быть, Габриэл Багратян скажет нам, какова действительная боеспособность дружин?

Указав на Чауша Нурхана, Габриэл сказал:

– Дружины сейчас не в худшем состоянии, чем перед нашим последним боем. Как это ни удивительно, но это так. Чауш Нурхан может подтвердить. К тому же, позиции сейчас лучше укреплены и усилены. Возможности для атак врага значительно сократились. Реальна угроза только с Севера. Да и все подготовительные меры врага доказывают это. Южный бастион они не посмеют тронуть, сколько бы генералов к ним ни приставили. Это несомненно. Правда, гарнизон там оставляет желать лучшего. Но я хочу послать туда Чауша Нурхана, надо же там когда-то навести порядок. Наступление врага на Северный сектор будет мощнее, чем во всех предыдущих сражениях. Решает вопрос – есть ли у них пушки и сколько их. До сих пор мы этого не разведали. Все это так, если мы не прибегнем к новому средству... но об этом я буду говорить позднее...

Тер-Айказун, который по своему обыкновению слушал, низко опустив голову и зябко поеживаясь, неожиданно для себя спросил о самом главном:

– Ну, хорошо, а дальше что?

Терзаемый жгучей жаждой скорейшего конца и освобождения, Багратян возвысил голос куда сильнее, чем это требовалось в маленьком помещении:

– Во всем мире сейчас миллионы мужчин, как и мы – в окопах! Как и мы, они ждут боя или уже бьются насмерть, обливаясь кровью. И это единственная мысль, которая успокаивает и утешает меня. Когда я думаю об этом – я равен каждому из этих миллионов, и все здесь тоже. Ибо мы сохраняем честь, человеческое достоинство. Сражаясь, мы не стали навозом, гниющим на берегах Евфрата. А потому у нас не должно быть иных желаний: драться, и

только драться!

Подобный героико-патетический взгляд на реальное положение вещей разделяли с Багратяном единицы. Вопрос вардапета «что же дальше?» быстро подхватили все присутствовавшие. Габриэл с удивлением оглядел уполномоченных:

– Что дальше? Я думал, мы единокорны в этом! Что дальше? Будем надеяться, что ничего!

В эту минуту Асяяну представилась возможность услужить своему другу. Черный учитель ведь заклинал его использовать любой повод, чтобы вызвать недоверие к Габриэлу, а для этого указывать на Гонзаго Мариса, как на «предателя» и на таинственный визит старого аги. Регент скромно откашлялся.

– Эфенди, героическая смерть не совсем бескорыстна. Например, себе я тоже ничего другого не желаю. Не смею судить вашу драгоценную супругу. Возможно, относительно нее вы договорились с турецким пашой, тем самым, который недавно навещал вас. Но что будет с нашими женами, сестрами, дочерьми, позвольте вас спросить?

У Багратяна полностью отсутствовало умение быстро и находчиво отвечать на пущенные в него отравленные стрелы, главным образом потому, что обычно проходило некоторое время, прежде чем смысл их доходил до него. Так и сейчас – ничего не понимая, он уставился на Асяяна. Но Тер-Айказун, хорошо знавший Багратяна, энергично поспешил ему на помощь.

– Певчий, придержи свой язык! Предостерегаю тебя! Но если ты хочешь знать, зачем ага Рифаат Берекет навещал эфенди, я скажу тебе. Габриэл Багратян мог бы давным-давно жить в тиши и мире в доме аги, есть хлеб и плов, ибо турок открыл ему путь к спасению. Но наш друг Габриэл Багратян предпочел хранить нам верность и выполнить свой великий долг до конца.

После этого заявления, которым Тер-Айказун по необходимости нарушил обещание, данное Габриэлу, наступила долгая и, как казалось, тягостная тишина. Ведь, кроме вардапета, об этом знал только еще доктор Петрос. Они договорились представить народу посещение аги как чисто дружеский визит.

Тишину никто и не нарушил. Однако было бы неверно предположить, что в этом сказались уважение собравшихся к благородному поступку Габриэла. Мухтары, например, так не думали. Каждый из этих прожженных избранников народа спрашивал себя, как бы он сам отнесся к подобному искушению? И кое-кто, наверное, подумал: «Ох, и дурак же этот приехавший из Европы внук старого, хитрого Аветиса!».

Первым нарушил тягостную тишину Арам Товмасын.

– Габриэл Багратян, – начал он, так и не глядя на противника, – воспринимает все как человек военный, как офицер. Да и меня самого, в конце концов, никто не упрекнет в том, что когда шло сражение, я стоял в стороне. Но я воспринимаю все не только как военный. Я иначе смотрю на вещи, мы все тут смотрим на вещи не как Багратян, это уж бесспорно. Но какой тогда смысл истекать кровью в неравном бою только ради того, чтобы в лучшем случае через три дня умереть с голоду? И это еще если нам очень и очень поездет. Чего

же мы этим добьемся?

До этой минуты то, что Арам Товмасян теперь назвал бы «выходом», было только смутной, мимолетной догадкой и не имело реальных черт. Но неодолимое стремление противоречить Багратяну придало неясному замыслу определенные формы добросовестного, тщательно обдуманного решения.

– Тер-Айказун и все мужчины здесь должны согласиться со мной, что на Дамладжке нам нечего делать и лучше уж убить всех наших женщин, а потом и себя, чем сидеть и ждать турок или голодной смерти. Потому я и предлагаю покинуть гору – завтра, послезавтра... чем скорей, тем лучше! Каким образом нам это сделать, об этом стоит посоветоваться. Я себе это так представляю: мы пойдем на север не по горам, конечно, да они и так все заняты турками, а вдоль морского берега. Первая наша цель – Рас-эль-Ханзир. Небольшая бухта там хорошо защищена со всех сторон, и рыбы в тех краях больше, чем у нашего берега, и плот нам там не понадобится – обойдемся одними сетями, можете мне поверить...

Это звучало совсем не так фантастично, как было на самом деле. Речь Арама содержала хотя и неопределенное, но заманчивое предложение, осуществление которого, быть может, позволило бы прорвать смертельное кольцо вокруг Дамладжка. Люди оживились. Застывшие было в одном положении фигуры наклонялись то в одну, то в другую сторону. Один Габриэл хранил спокойствие. Он поднял руку, прося слова:

– Неплохо придумано, пастор Арам. Признаться, и меня посещали подобные мысли. Но все это похоже на прекрасную мечту, а нам надо, тщательно проверить, выполнима ли она. Как командующий, я не имею на это право, однако все же рассмотрю сейчас наиболее благоприятный вариант. Предположим, что нам удастся ночью пройти мимо турок незамеченными и достигнуть Рас-эль-Ханзира. Я настолько легкомыслен, что пойду еще Дальше: ни запии, ни военные не заметят длинную, рваную колонну в четыре, а то и пять тысяч человек, движущуюся по освещенному луной берегу – у нас вторая половина месяца. Отлично! Без потерь мы добрались таким образом до мыса. Его нам предстоит обойти – бухта находится за ним... Не прерывайте меня, пастор, – рельеф берега у меня весь в голове... Скалисты ли берега бухты. или там найдется место, где разбить лагерь – не знаю, однако я и в этом пойду навстречу Товмасяну и предположу самый счастливый оборот дела: мы находим там достаточно места, и турки так слепы, что им потребуется шесть или даже восемь дней, прежде чем они нас обнаружат. Но теперь я задам вам главный вопрос: что мы выиграем? Ответ: мы обменяем известное на неизвестное. Мы погоним изможденных, голодных женщин и детей в длительный поход по камням и скалам – вряд ли им это вообще под силу! Мы покинем обжитый лагерь. Нам надо строить новый, а где нам взять силы и материал? Это же всем ясно. А так как нет у нас и выючных ослов, мы будем вынуждены оставить в Дамладжке и постели, и одеяла, всю кухонную утварь, и весь инструмент. А без всего этого как нам начинать новую жизнь? Даже если мы попадем в рай, где булки растут прямо на деревьях?! Тут уж и сам пастор не



может со мной не согласиться. Таким образом, получается, что мы бросаем прочную и надежную крепость, выдержавшую не один штурм и внушившую туркам немалый респект. В итоге мы меняем господствующую высоту на незащищенное место в низине. Врагу потребуется не более получаса, чтобы нас уничтожить, Товмасын! Одно преимущество, правда, у нас будет – там до моря ближе, не надо прыгать со Скалы-террасы, как здесь. Под конец должен высказать опасение, что в бухте рыбе от нас достанется больше корма, чем нам от нее.

Арам Товмасын без конца прерывал Багратяна резкими репликами. Голос разума, призывавший его не руководствоваться в этот решающий час чувствами, слабел с каждой минутой. Нападая на Багратяна с еле сдерживаемым раздражением, он по-прежнему не смотрел на него.

– Габриэл Багратяет имеет привычку весьма самоуверенно защищать свою точку зрения. Может быть, он думает, что у нас нет головы на плечах? Мы, так сказать, жалкие крестьяне и ремесленники и ему не ровня? А он, мол, намного выше нас? Что ж, не будем спорить! Но раз он задал нам так много вопросов, то и я позволю себе задать ему несколько. Он, как офицер, превратил Дамладжк в надежную крепость – это верно. Но какой прок нам от этой крепости, да и от всего Дамладжка ныне? Никакого! Напротив, он мешает нам пойти по последнему пути – пути к спасению. Если у турок хватит ума, они и не пойдут на штурм – через несколько дней они без потерь добьются своего. Дойдет дело до сражения или нет, не в этом дело. Но где же тут новая идея, где путь спасения от верной гибели? Конечно, удобней принять смерть здесь, наверху, в такой привычной обстановке. Никаких усилий не понадобится. А я считаю позором подобное примирение, такую жалкую гибель! Но теперь я задам главный вопрос: какие предложения имеются у Габриэла Багратяна относительно того, как нам справиться с голодом? Ведь он только и знает, что издевается над моими усилиями наладить лов рыбы. Вот и все, что до сих пор сделано. А надо было помочь мне, поддержать меня, вместо того чтобы без конца гонять мужиков на учение... Мы бы тогда куда большего добились.

Сохранявший до сих пор внешнее спокойствие пастор вдруг вскочил и со свойственной ему страстностью выкрикнул:

– Тер-Айказун! Я делаю теперь очень важное предложение: надо нам забить весь скот, мясо зажарить и раздать. Завтра ночью, в крайнем случае послезавтра, мы снимаемся и уходим. Лагерь разбиваем в одной из скалистых бухт. Там нам обеспечен богатый улов рыбы...

Столь быстро и решительнo выдвинутое предложение сбilo тяжелодумов с толку. Мухтары заерзали на скамьях, как мусульмане на молитве. Старик Товмасын, отец Арама, испуганно моргал. А Кебусян утер пот с лысины и горестно молвил:

– Эх, лучше было нам в депортацию... живым или мертвым, все одно лучше было бы...

И тогда Тер-Айказун достал из рукава рясы смятый листок. Сейчас представлялся случай дать ответ не только на стенания Кебусяна, но и

защитить Дамладжк от пастора Арама. Тихо, почти без выражения, вардапет посчитал:

«От Арутюна Нохудяна, священника Битиаса, вардапету побережья под Суэдией Тер-Айказуну Йогонолуцкому. Мира и долгой жизни тебе, любезный брат мой во Христе, Тер-Айказун... и всем любезным моему сердцу землякам на Муса-даге или где бы вы ни были! Надеюсь, что все вы еще там, наверху. Да будет господь милостив, и письмо это дойдет до тебя. Я вручил его добросердечному турецкому офицеру. Наша вера во всевышнего подверглась жесточайшему испытанию, и я уверен, господь простил бы нас, если бы мы утратили ее. Покуда я пишу эти строки, бранные останки моей спутницы, доброго ангела моего, лежат рядом со мной, и я не могу предать их земле. Она, как ты, наверное, помнишь, всегда дрожала за мою жизнь и ввиду слабого моего здоровья никогда не позволяла мне утомлять себя, или выходить без шапки на улицу, или злоупотреблять напитками, в чем я грешен. А теперь все обернулось иначе. Молитва ее была услышана, она раньше меня покинула этот свет, умерла с голоду, рассталась со мной, нехорошая! Последнее дело ее – в предрассветный час в степи на ветру сняла свой платок, заставила меня повязать им шею. Да накажет меня бог, как Иова. Несчастный я, слабый, больной, задыхаюсь от кашля, но еще жив и тысячекратно, проклиная себя. Заступница моя почилла, а я переживу всех. Из паствы моей в Антакье отобрали всех молодых мужчин, и мы ничего не знаем об их судьбе. Остальные все умерли, осталось двадцать семь душ, и я боюсь, что умру последним, это я-то – недостойный! В день нам выдают теперь немного хлеба и булгура – это потому, что приезжала комиссия, но это только продлит наши мучения. Может быть, сегодня приедут из иншаат табури, закопают трупы. Тогда и спутницу мою отнимут у меня и еще благодарить заставят. Исписана страница, прощай, Тер-Айказун! Когда еще мы свидимся с тобой?».

Вардапет произнес последние слова сухо, как текст официального сообщения. И все же каждый слог этого письма, подобно часовой гире, тянул головы вниз. Слово взял доктор Петрос. Голос его скрипел и скрежетал, как ржавый нож:

– Думаю, что Товмас Кебусян теперь уже не станет мечтать о благостной депортации. Мы прожили здесь тридцать восемь дней, и это была наша жизнь, тяжелая и трудная, но достойная – так я считаю. Жаль, разумеется, что ни у кого из нас не будет возможности с гордостью рассказать о ней впоследствии. Поэтому предлагаю: пусть Тер-Айказун прочитает народу письмо Нохудяна на Алтарной площади.

Предложение одобрили, ибо в Городе уже давненько стон Кебусяна «уж лучше бы в депортацию» ходил по кругу. Габриэл Багратян все это время безучастно сидел, погруженный в свои мысли. Он же знал содержание письма маленького пастора Нохудяна. А думал он о той враждебности, которую только что так резко выказал пастор Арам. Габриэл прекрасно сознавал, что причина ее – Искуи. Однако он вовсе не намеревался отвечать Араму в таком же оскорбительном тоне. То, что он хотел предложить сейчас собранию, было так

важно, так огромно, что говорить следовало по возможности примирительно и с максимальной мягкостью.

– Я ни в какой мере не думал издеваться над планами и делами пастора Арама. С самого начала я одобрял его план по организации лова рыбы. И если дело это не имело успеха, то виновата в этом не мысль сама по себе, а дурное снаряжение. Что же касается плана создания нового лагеря, то я видел свой долг в том, чтобы доказать не только его невыполнимость, но и то, что он ускорит нашу гибель, сделает ее более мучительной. С другой стороны, Арам Товмасян с полным правом задал мне вопрос – что я намерен предпринять против голода. А теперь послушаем внимательно... Теперь я отвечу на все вопросы!

Как и пастор, Габриэл Багратян тоже в некоторой степени импровизировал. К своей мысли, той, которую он теперь так четко излагал, – он пришел ночью, вертел ее и так и эдак, не очень-то принимая всерьез. Но такова уж логика вещей: как только идея или намерение облакаются в слова, они становятся реальностью, обретают вес. Габриэл говорил, обращаясь только к тем, от кого ожидал поддержки – Нурхану Эллеону, Шатахяну и другим.

– Существует старое испытанное средство, к которому прибегают все осажденные с давних пор... Турки перенесли свой бивак на Муса-даг. Если даже в их распоряжении имеется все шесть или восемь рот и сколько-то заплывов, то большая часть этих сил необходима им для оцепления горы. А теперь подсчитайте, каково расстояние хотя бы от Кебусие до Арзуса. Отсюда вытекает, что они хотят взять нас измором, а потому подождут с наступлением несколько дней. Отъезд генерала, который должен руководить этим наступлением, тоже доказывает это... Вот какие мы важные стали... Я выскажу здесь и то предположение, что генерал со своими штабными офицерами, а также каймакам – все, кто квартирует в моем доме, вскоре вернутся... Понимаешь, Тер-Айказун, я хочу сделать вылазку следующим образом: отберем лучшие дружины и создадим ударную группу. От четырехсот до пятисот штыков – это я точно еще не знаю. До вечера я все обдумаю и рассчитаю. Между очагами пожарища вполне можно пробраться в долину. Но, конечно, все это надо тщательно разведать. По моим сведениям, командование врага в Йогонолуке поддерживает только патрульную службу. Долина и предгорья ночью только патрулируются. Здесь следует выждать промежутки между очередным проходом патруля – это нетрудно. Часа в два-три пополуночи мы штурмуем... Как? Что?.. Нет, не Йогонолук, так далеко нам не надо спускаться. Всеми нашими силами мы штурмуем мой дом! Надо прежде разведать и высмотреть, какова там охрана. Помимо денщиков, больше взвода заплывов или пехоты там не должно быть. С караулом у ворот мы справимся быстро. Затем без промедления занимаем сад и хозяйственные помещения. Излагать здесь все подробности нет никакой нужды. Это уж моя и Чауша Нурхана забота. С божьей помощью мы берем в плен генерала, каймакама, мюдира, юзбаши и остальных офицеров. Если будет обеспечена внезапность нападения, то через два часа все эти высокие чины, а также большое число

вьючных животных, а может быть, и мука и, другой провиант, будут уже здесь, у нас в Городе.

– Теперь и Габриэл Багратьян размечтался! – возвестил пособник Восканяна, регент.

А мягкосердечный Шатахян тут же в восторге вскочил с места.

– Опять у Багратьяна прекрасная идея! И великолепней всех предыдущих. Если налет нам действительно удастся, если удастся взять в плен генерала, каймакама, юзбаши, да тут, даже непонятно, что дальше-то будет...

– Очень даже понятно, учитель, – надменно оборвал его Арам Товмасян. – Если мы возьмем в плен генерала и чиновников такого высокого ранга, то туркам будет уже не до шуток. Тогда они сюда целые полки и бригады солдат пригонят. И если Багратьян рассчитывает, что турки будут с ним торговаться за жизнь заложников и пойдут на уступки, то он сильно ошибается. Смерть генерала и каймакама по вине армянских мятежников будет им на руку. Это послужит только оправданием всей их депортации для заграницы. Да и внутри страны... Да что вы, йогонолуццы, видели? Я видел Зейтун!..

– Не Багратьян, а ты сильно ошибаешься, пастор, – вскипел Шатахян. – Несмотря на твой Зейтун! А я знаю Иттихат, знаю младотурок, хотя никогда не выезжал из Йогонолука! Они друг за друга держатся. И своим человеком так просто не пожертвуют. Ни при каких обстоятельствах. Point d'honneur\*. В глазах народа позорная смерть генерала или каймакама означала бы чудовищное поражение! Не могут они такое себе позволить. Все сделают, чтобы выкупить заложников – муку дадут, масло, мясо, а того гляди... и свободу...

---

**\* Point d'honneur – вопрос чести (франц.)**

---

Безудержный оптимизм учителя Шатахяна вызвал насмешливый хохот, и снова, как во время последнего заседания, начался ожесточенный спор, в котором уже никто не мог разобраться. Но на этот раз, правда, возмущенный народ за дверьми отсутствовал.

По Алтарной площади бродили группки людей, и они были чересчур усталы и измучены, чтобы выдвигать и отстаивать какие бы то ни было требования. Городские полицейские стоя клевали носом, а кто и спал прямо тут же, перед правительственным баракком: В баракке же в это время Асян из кожи вон лез, только бы не дать спору заглохнуть. Он настолько обнаглел, что даже

намекнул на запасы продовольствия, якобы имеющиеся у семьи Багратянов. Однако все здесь знали, что за несколько дней до этого Габриэл велел отправить все оставшиеся консервы на Северные позиции и раздать дружинникам. А Чауш Нурхан Эллеон, гроза новобранцев, громко топая, подошел к долговязому регенту и схватил его за тощую шею своими жесткими пальцами.

– Еще раз твякнешь – удавлю!

Тер-Айказун, по своему 'обыкновенению, довольно долго не вмешивался в переполох, потом лишь сухо заметил, что спорить о судьбе генерала и каймакама следовало бы после того, как они будут взяты в плен. Меж тем, вражья сила и вовсе попутала пастора Арама, и он довольно опрометчиво и безосновательно напал на вардапета.

– Тер-Айказун! Ты глава народа и ты в ответе за все! Обвиняю тебя в нерешительности. Ты попустительствуешь – пусть, мол, все идет как идет! Ни с кем не хочешь ссориться. Чудом надо считать, что вопреки, – как бы это выразиться, – твоей невозмутимости, мы вообще еще живы.

Этот выпад против высшего авторитета – первый и единственный в своем роде, так возмутил вольнодумца Алтуни, что он встал на защиту григорианского вардапета против протестантского пастора.

– Да как ты смеешь его обвинять, мальчишка! – крикнул он. – Этого нам еще не хватало! Ты и не знаешь ничего о нас, о нашей жизни – тебя еще младенцем отец в Мараш отправил. Помалкивай, пока тебя не спросят!

Поставленный на место как глупый недоросль, да и переживая собственную бестактность, Арам верещал, уже не зная никакого удержу:

– Может быть, и верно, что я здесь чужой и не понимаю вас, хотя настоящих чужаков вы очень даже хорошо понимаете! Но я все равно настаиваю на своем предложении. Более того, что касается моей семьи и меня самого, то я оставляю за собой право действовать, как найду нужным. Кстати, где это сказано, что все мы до самого конца должны оставаться вместе? Гораздо умнее, по-моему, распустить лагерь. Пусть каждая семья спасается как знает. Такое скопление людей в одном месте только облегчает дело врагу. Если рассеяться по всему побережью, хоть кто-нибудь да останется жив. Лично я соберу свою семью, всю свою семью, и мы уж найдем выход. Я сказал всю семью, Габриэл Багратян...

Во время многих заседаний Совета уполномоченных, порой весьма бурных, Тер-Айказун ни разу не вышел из себя. Даже когда он ровно шесть дней назад пинком выставил Гранта Восканяна из барака, он и это сделал величественно, не теряя самообладания. Так и сейчас он не выказал никакого волнения, когда встал, правда, очень бледный, и несколько торжественно обратился к присутствующим:

– Довольно! Наши совещания потеряли всякий смысл! Народ избрал нас своими уполномоченными, и сегодня, на тридцать восьмой день я объявляю полномочия эти утратившими силу, ибо Совет не обладает более ни силой, ни единством для принятия решений. Если такой человек, как пастор Арам

Товмасян, ответственный за порядок и дисциплину, сам намерен распустить наше сообщество, то уж ни от кого другого мы не имеем права требовать послушания и подчинения. С этой минуты вступает в силу то положение, которое существовало в деревнях до избрания Совета уполномоченных. Как и прежде, мухтары возьмут на себя заботу о своих общинах, а я, как вардапет, руководство всеми общинами. В качестве такового, я требую от Габриэла Багратьяна, чтобы он и впредь руководил обороной. В делах командования он независим. Решит ли он произвести вылазку, или примет другие меры обороны – это его дело, и никто не вправе вмешиваться. Исполняя свои обязанности как духовный глава, я назначаю торжественный молебен о часе коего оповещу дополнительно. Я не вправе отвергать никаких путей, которые могут привести к спасению. А пастору Араму Товмасяну после молебствия будет предоставлена возможность повторить и обосновать свое предложение перед всем народом. Народ сам решит, покидать ли ему гору или по-прежнему довериться храбрости и стойкости наших бойцов и планам нашего командующего. Однако, приняв такое решение, народ примет и другое – всякий, кто словом или делом воспротивится этому приказу, будет на месте расстрелян. Вот так! Есть еще желающие выступить?

– Согласны, и еще раз согласны! Наконец-то эта никчемная болтовня кончится! – проворчал доктор Петрос, который давно уже стоял перед выморочным имуществом покойного Григора, валом книг, и с любопытством рассматривал цветные вкладки в томах старого Брокгауза.

Большинству уполномоченных было по душе решение Тер-Айказуна. А кое-кому его диктаторское выступление пришлось весьма кстати: в спокойные и благополучные времена приятно тешить себя ролью руководителя, но когда ты на краю гибели, то предпочитаешь нырнуть в толпу. Таким-то образом мухтары были вновь низведены до роли простых деревенских старост.

Без всяких протестов тихо и мирно распался Совет уполномоченных, утвержденный великим собором в парке виллы Багратьянов. Тер-Айказун сделал мудрый ход, но и принес огромную жертву. Руководство народом было очищено от всех ненадежных элементов и возмутителей спокойствия. Но теперь ему, в этот последний час, предстоит повести свой народ через смерть ко всевышнему, ему одному.

Члены Совета молча расходились.

Пастор же Арам Товмасян так и клокотал от ненависти к Тер-Айказуну и к Габриэлу Багратьяну, и более чем к обоим – к самому себе. Не отвечая на тревожные расспросы отца, он коротко простился с ним. Страшные дни Исхода из Зейтуна всколыхнули сейчас его разгневанную душу. Ведь и тогда он позорно преступил завет, данный ему как пастырю, – уже на третий день бросил паству, вверенных ему сирот. И разве не забвением долга было, когда он брата своего по служению Христу, Арутюна Нохудяна, истинного подвижника, который не дрогнул перед смертью, отпустил одного, старого и больного? С горечью признал Арам Товмасян, что всегда один и тот же соблазн заманивает человека в ловушку. А как гадко, как позорно и нелепо,

самонадеянно вел он себя на сегодняшнем испытании! И провалился!

Некоторое время Арам Товмасян бесцельно бродил по Дамладжку, но затем спустился по крутой тропе к берегу, чтобы вновь посвятить себя неразрешенным проблемам ловли рыбы. Сокрушаться он не сокрушался, однако с испугом установил, что час от часу в нем растет упрямство. Лучше уж не дожидаться общего схода, не ставить на голосование никаких предложений, а просто-напросто с Овсанной и ребенком скорей уйти. Геворка-плясуна можно взять с собой как слугу. Отца, правда, придется оставить, он не согласится на побег. Пловцы ведь преспокойно прошли мимо Арзуса до самой Александретты. Почему же его маленькой семье за три ночных перехода вдоль берега не добраться до Александретты? Не прогонит же консул Гофман, протестант – протестантского пастора? Приютил же он пловцов! С саном, правда, после таких позорных провалов придется расстаться. Товмасян нащупал в кармане бумажник – пятьдесят фунтов! Большие деньги!

Он сидел, уставившись на прибор у своих ног, лицо его отражало душевную борьбу. А Искуи?

Впрочем, планам ни Габриэла, ни Арама не суждено было осуществиться. До голосования дело тоже не дошло. Плотина ведь рушится задолго до того, как поток достигнет ее гребня, и обычно в самом неожиданном месте.

Неподалеку от Южного бастиона, на морском склоне Дамладжка, раскинулась широкая, поросшая высохшей травой поляна. На ней-то и расположились Саркис Киликян и многоумный комиссар этого сектора обороны Грант Восканян. В нескольких шагах от них Длинноволосый с двумя другими дезертирами с сомнительным прошлым затеяли игру в ракушки, сопровождая каждый ход партии весьма благозвучными восклицаниями на всех диалектах Сирии. Учитель своим красноречием старался расположить к себе Киликяна и говорил нарочито громко, чтобы и разгулявшиеся игроки услышали кое-что из его сверхсмелых реляций. Однако на все заигрывания Коротышки Киликян отвечал упорным молчанием, развалившись на голой земле и посасывая холодный чубук Григора.

– Ты же образованный человек, в университетах науки изучал, Киликян, – распинался курчавый вития, – один только ты и можешь меня понять. Понимаешь, почему я всегда молчал? Да потому, что я дорожил своими идеями. С аптекарем даже ими не делился, а он воспринял многие мои взгляды и суждения. Ты хорошо знаешь, жизнь, Киликян, она с тобой круто обошлась, как мало с кем. Да и мне досталось, хотя, может быть, ты и думаешь: Грант Восканян весь свой век проторчал в грязной деревеньке, учительшка он, да и только! Но ты не знаешь Гранта Восканяна! У него ведь есть идея! И хочешь знать, какая? Пора кончать, понимаешь, кончать надо! Нет другого пути!

Саркис Киликян, опершись на локоть, приподнялся и размял пальцами остатки подаренного табака. Остальные дезертиры мешали чистый желтый табак с сухими листьями, а Киликян курил его, не смешивая, хотя и знал, что из-за этого запас его кончится в два раза быстрее. Сейчас Киликян молчал, и в этом, пожалуй, намного превзошел бывалого молчуна Гранта Восканяна. Но у

учителя молчание Киличяна вызвало хвастливое словоизвержение, в котором то и дело попадались искаженные и опошленные обрывки Грикоровских мыслей.

– Ты же понимаешь меня, Киликян, так же, как понимаю тебя я. Потому ты и молчишь. И ты, и я, мы оба с тобой знаем, что бога нет. Да и зачем он? Ерунда какая-то! Весь мир – один ком грязи! Крутится себе – и все. Сплошная химия и астрономия, и больше ничего там нет. Хочешь, покажу тебе звездную карту Грикора? Там все показано. Природа – и больше нет ничего. И если уж кто-нибудь способен был ее сотворить, то только сам дьявол. Свинство одно вся эта природа, грязное свинство! Но последнего она нас, Киликян, лишить не может. Ты-то уж понимаешь меня. Можешь ей в рожу плюнуть, осквернить, силу ей показать, а можешь и уйти от нее. Вот в этом и кроется моя идея. И я – Грант Восканян – маленький, неказистый, я и природу, и самого черта, и господ бога – всех поставлю на место! Накажу и разозлю. Пусть ядом изойдут господа эти из-за учителя Восканяна. Ничего они не могут против меня, и ты понимаешь это. Я уж и людей подобрал – соображают, чего я хочу. Ночью я по шалашам пройду, и ничего тут Тер-Айказун не поделает... Видал, как этот дурак Геворк мертвецов со скалы в море кидал? Будто птицы белые летели. Вот и я это замыслил. И мы тоже так улетим, и ты, и я, и все другие, и будет это лучше, чем если перебьют нас всех. Один шаг – и нет тебя... еще задолго до того, как ты до воды долетишь. Понял? А там в море мы растворимся. Это мы сами для себя выберем – и пусть природа, сам дьявол, турки и все остальное жулье лопнут от злости, потому как мы проучим их, в дураках оставим... Только ты, Киликян, можешь понять меня.

Саркис Киликян давно уже опять лег на спину. Живой мертвец, он будто в летаргическом сне не сводил застывшего взгляда с бегущих по небу облаков. Слышал ли он только что гимн самоубийству или нет – нельзя было сказать. Длинноволосый же, напротив, прервал игру и внимательно посмотрел на хитроумного победителя природы, как будто вполне понял «идею» и даже находил, что она недурна. Затем придвинулся чуть ближе:

– А ящичков у них там много? В Трех шатрах?

Учитель удивился. Неужели он попусту говорил? Да и упоминание Трех шатров всегда задевало его за живое. Но, с другой стороны, сейчас представилась прекрасная возможность показать всем этим зазнайкам, кто он таков. Он нотабль, образованный представитель знати, избранный народом вождь! Вся последующая речь Восканяна была чем-то средним между похвальбой и жаждой высказать презрение.

– Разве там только ящички? Это что! У них там шкафы и чемоданы тоже как шкафы! В них столько платьев, сколько не сшить и богатею паше. И все разные. Она не только каждый день, а трижды в день новое платье надевает. Утром – просторное розово-голубое. Похоже на шикарный чаршаф, только без чадры. В обед она надевает какое покороче, ноги видны. А уж туфли – меняет не три, а шесть раз в день. Но это все ничто по сравнению с тем, что она вечером носит...



Длинноволосый протяжным зевком перебил перечисление, в которое завлек Восканяна его поэтический дар.

– Какое мне дело до платьев? Мне надо знать, какой у них там провиант припрятан.

Восканян вскинулся. Лицо его так густо заросло колючей щетиной, что свободными остались только небольшие желтые пятна под глазами.

– Это я вам точно скажу. Никто лучше меня не знает! Когда паковались вещи, меня ханум на помощь позвала. Серебряные банки – рыба в них в масле плавает. Чего-чего только нет. И сладкие хлебцы, и печенье, и шоколад... А сколько кувшинов вина! Целые ведра с крупой, американская ветчина, овсяные хлопья...

На овсяных хлопьях Восканян перевел дух. Ему стало вдруг очень гадко. До его сознания дошла вся низость, вся подлость, до которой он опустился, оттого что его любовь отвергли. Узкий лоб его покрылся испариной. Он уныло хлопнул себя по колену:

– Пора кончать... Кончать пора...

Саркис Киликян проворчал:

– Так и сделаем... Завтра вечером...

От этих лениво оброненных слов у коротышки учителя похолодели руки и ничуть не стали теплее, когда Киликян коротко и хладнокровно изложил свой замысел. Восканян не сводил глаз с лица Киликяна, ушам своим не поверил, узнав то, что гарнизон Южного бастиона давно уже считал делом решенным.

Саркису Киликяну, дезертирам и их сообщникам, подпавшим под их влияние, Дамладжк давно опостылел. Решено было завтра к ночи удрать. Это было позорным предательством по отношению к соотечественникам. Но понимал это один лишь Киликян. Остальные за всю свою многомесячную волчью жизнь давно уже растеряли всякие идеалы, а они-то и питают то, что называется совестью. В первобытной своей наивности они воспринимали Муса-даг не как военный лагерь со строгой дисциплиной, где они обязаны служить верой и правдой, а как нечто вроде постоянного двора, плату за постой в котором они своей службой в течение почти сорока дней внесли сполна. А теперь голод вроде бы освобождает от обязательств: Южный бастион уже несколько дней не получал никакого довольствия. Отвратительная груда голых костей не в счет. Что ж, умирать им тут медленной голодной смертью? И только ради того, чтобы потом попасть в лапы к туркам? Да что им за дело до жителей семи деревень? Лишь ничтожное меньшинство дезертиров было уроженцами армянской долины. Они и прежде, до того как Тер-Айказун и Багратян захватили власть на Муса-даге, жили в здешних горах и кое-как да кормились. Никто из них и не думал делить судьбу пяти тысяч армян. Да и к чему? Спаситься им легче легкого. Жизнь их опять потечет по-прежнему – так, как сорок дней назад. А по ту сторону Оронта, на юг отсюда, мощный Джебель-Акра простирался до Латакье. На этой горе не так много родников и лесов как на Муса-даге, большей частью она голая, но зато там много ущелий, труднодоступных расселин, а это может служить отличным убежищем для

дезертиров.

Сам план был очень прост: ночью примерно сто человек прорвутся в долину Оронта – мимо Хабасты и развалин. И так как все турецкие солдаты стянуты к северным высотам, то внизу дезертиры натолкнутся на немногие посты заптив, которые ночью охраняют предгорье и мост через Оронт у Эль-Зскеля. Вряд ли им там окажут серьезное сопротивление. Дойдет ли дело до схватки или нет, сотня дезертиров быстро пересечет узкую равнину и к восходу солнца достигнет Джебель-Акре. Во время тайного обсуждения этого плана несколько честных парней спросили: не следует ли предупредить командование лагеря об их уходе? За это их чуть не избили. Да и какой толк от такого предупреждения? Скорее всего Багратян и Чауш Нурхан отпустят их, послав к дьяволу, но прикажут дружинникам северного сектора отнять у них оружие. Таким образом, порядочность, как и чаще всего на Земле, оказалась за пределами человеческих возможностей. К тому же совестливых людей было здесь устрашающе мало, в то время как радикальное крыло составляло мощную силу. И это преступное крыло вовсе не желало довольствоваться смиренным бегством. Сторонники этого плана приводили довольно убедительные доводы. Прежде всего – патроны, от них ведь зависели и жизнь и будущее разбойничьей шайки. Потому-то Длинноволосый, когда Багратян отчитал их за недозволенный костер, так нагло и вместе раболепно потребовал магазины с патронами. А патроны Чауш Нурхан берег как зеницу ока. Только перед самым боем ящики с патронами выносили на позиции, но и тогда боезапас очень скупно раздавало какое-нибудь доверенное лицо Совета. В настоящее время у дезертиров было по пяти патронов на человека. Возмутительно! А ведь в правительственном бараке стоят штабеля ящиков с патронами! Да еще полные корзины патронов из оружейной мастерской Нурхана – там без перерыва не только набивали стреляные гильзы, но и отливали новые пули. Очень уж хотелось дезертирам наполнить свои патронташи за счет общих запасов. Ради этого и стоило посетить правительственный барак, но вот когда и как – еще не было решено. При этом надо осмотреться и в Городе, может, и там можно что-нибудь прихватить. Жизнь на суровом Джебель-Акра невозможна без некоторых предметов первой необходимости, а людям на Дамладжке они все равно ни к чему – их дни сочтены! Ну, а раз дезертирам предстоит пошарить в Городе, то следует присмотреться и к некоторым нелюбимым личностям, к Тер-Айказуну, например. Вардапет никогда не скрывал своей ненависти к дезертирам и, творя по пятницам суд, да и при других обстоятельствах, применял по отношению к ним самые строгие меры. Так, однажды, весь гарнизон Южного бастиона был осужден на пять дней поста. Мало того, Тер-Айказун не стеснялся то одного, то другого дезертира подвергать бастонаде. Так что свести с ним счеты не помешает. В итоге наряду с планом бегства возник и план путча – слово, которое весьма приблизительно характеризует всю затею. Был ли Саркис Киликян замешан в этом преступном деле – уже никогда не установить, так же как нельзя установить, участвовал ли он в покушении на князя Голицына.

Саркис все еще лежал на спине и, казалось, не интересовался ни прозрачными намеками Длинноволосого, ни учителем Восканяном. Когда бы смертному дано было заглянуть в душу Киликяна, он бы не обнаружил там ничего, кроме нетерпения, нетерпения бегущих по небу облаков над его головой. Под личиной живого мертвеца угадывалась бешеная тоска – как бы вырваться! Вырваться из одного плена и попасть в другой!

Учитель давно уже поднялся и стоял на своих жалких ножках. Выпятив цыплячью грудь, он всячески старался показать, что он, воспевающий самоубийство, не отступит и перед более дерзким святотатством. Однако подлинную отвагу он мог бы сейчас проявить, удрав от дезертиров, и чем скорее, тем лучше. Но Восканян и не думал бежать. Выпятив губы, он покачивал головой. Киликян и компания вполне могли принять это за знаки восхищения. Мысль о том, чтобы предупредить лагерь, билась в мозгу учителя, словно птица, запертая в клетке. И все время ей противостоял тщеславный страх: Киликян и компания сочтут его тряпкой, а не, как хотелось ему, рубахой-парнем. И тут, помимо его воли, у него вырвалось неопределенное, но в высшей степени предательское замечание:

– На завтра после полудня Тер-Айказун назначил молебн. Дружинники останутся в окопах... – и он лакейски подмигнул дезертирам.

Да, это был не просто отвратительный, надменный шут, это был растерявшийся трус! Один из приспешников Киликяна достойно ответил на самоунижение Восканяна:

– Чтоб ты не проболтался, учитель, ты сегодня и завтра отсюда ни на шаг!  
– И дезертиры грубо подтолкнули правительственного комиссара, хотя в этом не было никакой необходимости, и тот послушно засеменил рядом как добровольный пленник, не помышляя о бегстве.

Однако с него и впрямь не спускали глаз. Он сидел на одном из наблюдательных пунктов и мрачно глядел на узкую полосу дороги, далеко внизу тянущуюся из Антакие в Суэдию. Пламя ненависти к Габриэлу, Жюльетте и Тер-Айказуну теперь лишь мерцало слабым огоньком в его душе, объятая страхом. Он страстно мечтал о нападении ту рок. А они, должно быть, и не намеревались лезть на рожон, в данном случае, на открытый склон горы. На дороге в долине Оронта наблюдалось обычное будничное оживление. Не видно было ни солдат, ни запти-ев. Повозки, запряженные волами, вьючные ослы и даже несколько верблюдов мирно плелись на базар в Суэдию, как будто на Муса-даге не осталось в живых уже ни одного армянина. Внезапно неподалеку от Эдидье у подножия горы поднялось облако пыли. Когда оно развеялось, можно было разглядеть маленький военный автомобиль.

Вот он и настал, сороковой день Муса-дага, восьмой день сентября и третий неумолимого голода.

Сегодня женщины не отправились на поиски никчемной зелени, из которой они готовили какое-то горькое варево. От прозрачной родниковой воды и то больше пользы. А если вдобавок грызть сочный стебель или очищенный корешок, то и жевать не разучишься.

Все, кто еще мог ходить, разместились у родников и ручейков: старики, кормящие матери, девушки, дети. Странное это было зрелище: изможденные люди, не терзаемые жаждой, вновь и вновь склоняются над водой и пьют из горсти, словно выполняют какую-то обязанность. К тому же – удивительная вещь – после стольких дней без дождя, при таком тысячеротом потреблении эти источники не иссякли! Люди приползали к ним и черпали жизнь пригоршнями, ловили губами – никто не носил воду домой кувшинами и ведрами.

Не будем отрицать, что голодающие в этот третий день полного поста чувствовали себя лучше, чем в предыдущие дни. Судороги в кишечнике, давление на диафрагму сменились какой-то бесчувственной легкостью. Растянувшись на земле и глубоко дыша, мусадагцы были подобны пористому гипсу, застывающему на воздухе. Другие погружались в блаженную дремоту и чудилось им, будто кожа их превращается в летучее одеяние и вот-вот они, окрыленные, совершат свой первый дивный полет. Кое-кто, внезапно охваченный каким-то лукавым весельем, принимался рассказывать длинные истории из своей прежней жизни, скучные анекдоты о доме и ремесле, о пчелах и коконах, о лозе и дровах. Рассказчик при этом смеялся громче всех. На лагерь как бы легла пелена ласковой медлительности: малыши крепко спали, дети постарше не очень шумели, и даже подростки из юношеской когорты, которые не несли службы, были пугающе неподвижны.

В тот день до полудня умерло три старика и два грудных младенца. Матери истово прижимали их к своим пустым грудям, а они медленно холодели, пока не окоченели совсем.

Переменный штормовой ветер последних дней, в конце концов, выбрал себе одно направление: короткими порывами он налетал с юго-востока и несся над нагорьем. Впереди себя он гнал тучу мелкого песка, но лежавший в котловине Город был хорошо защищен. Порой казалось, что ветер стремится раздуть огромные поля пожарищ, покрывшие грудь Дамладжка. Все живое мучилось удушьем от убийственной жары. Листва дубов и буков давно засохла. Но и ярко зеленые, словно кожаные листочки кустарника и ползучих растений свертывались горсткой и напоминали сморщенный человеческий кулачок. Люди в их безболезненном угасании уже не страдали от непогоды, они даже не чувствовали, что небо, гортань и язык у них воспалены от укулов мельчайших кристалликов прибрежного песка.

В отличие от жителей лагеря дружинники в окопах обладали еще достаточным запасом воли и сил, хотя их и нельзя было назвать сытыми. Розданного мяса и консервов из дома Багратянов оказалось недостаточно, чтобы утолить голод. Но самым странным образом Лишения породили у защитников Горы одно-единственное, но необычайно страстное желание: скорей бы наступило последнее и решающее сражение!

Габриэл Багратян, целиком отдавшись своему новому плану, мог теперь без помех готовить вылазку. Решение Тер-Айказуна распустить Совет позволило ему не думать о том, решится народ покинуть Дамладжк или нет. А

на своих дружинников он вполне мог положиться. Да, сегодня ночью он нанесет врагу тяжелый удар! Все было тщательным образом подготовлено. Разведка работала отлично. Багрatian ничего не упустил из виду: каждый боец знал свое место, каждая минута была учтена и рассчитана. Склонный к теории, Багрatian не полагался на случай. Он придумывал все новые и новые препятствия, разыгрывал бесконечное число вариантов. Отход главной ударной группы был обеспечен хитроумно расположенными секретами вольных стрелков, которым за три часа до начала налета надлежало занять свои места. Но этого было мало! Габриэл решил в течение всего дня тревожить турок отвлекающими ударами и внезапными огневыми налетами с тем, чтобы противник подтянул из долины как можно больше сил. Неожиданно турки пошли навстречу его тактическим планам. Их поведение заставляло безошибочно предположить, что все решится в ближайшие двадцать четыре часа. На высотах по ту сторону Седловины наблюдалась типичная картина готовящегося наступления в позиционной войне. В просветах между деревьями и кустарником армяне видели боязливо перебегающих пехотинцев. Они таскали толстые бревна и укладывали их наподобие бруствера. Багрatian понял: это не что иное как мобильное прикрытие, за которым пехота будет накапливаться перед броском.

Багрatian и Нурхан обходили передовой окоп – от бойца к бойцу, проверяя правильность установки прицела. Как только на стороне противника показывался зазевавшийся солдат, они давали приказ открыть прицельный огонь. До полудня таким образом было выведено из строя несколько вражеских солдат. В ответ на это с той стороны открывали беспорядочную пальбу, но пули ложились либо за линией армянских окопов, либо попадали в бруствер. Защитники Муса-дага с гордостью сами убедились, насколько надежно оборудованы позиции – только артиллерия могла их разрушить. А есть ли она у врага или нет, так до сих пор установить и не удалось. Странное опьянение от голода было причиной и каких-то диких выходок. Бойцам хотелось во что бы то ни стало выманить турок. Они выскакивали из окопов, плясали на бруствере, выбегали навстречу врагу по наспигованному искусственными препятствиями предполью. Чауш Нурхан и младшие командиры с великим трудом удерживали дружинников от бессмысленного риска. К тому же, турки так и не дали себя выманить. Но, должно быть, столь бесстрашное поведение тех, кого им рисовали как ходячих мертвецов, изумили турецких солдат. А когда одна из дружин на свой страх и риск покинула скальное прикрытие, перебила турецкий патруль и беспрепятственно возвратилась на исходные позиции, согнанные сюда вояки из правительственных войск решили, что не иначе как сам нечистый подсобил проклятой расе.

В полдень к бойцам пришел Тер-Айказун. Габриэл Багрatian попросил его прямо здесь, на позициях, отслужить молебен – дружины ведь не будут присутствовать на большом богослужении. Вардапет так и поступил. Габриэл передал ему также, что участие дружинников во всенародном голосовании излишне – они дали знать через Чауша Нурмана, что всюду и всегда пойдут за

своим командующим.

Тер-Айказун с удивлением смотрел на пылавшего жаждой деятельности Габриэла. Всего несколько дней назад Тер-Айказун думал, что душе этой неостанет твердости, чтобы вынести ужас мученической смерти сына. Но когда вардапет сейчас возвращался в Город, он уже знал, что душа Багратяна преодолела только самое себя. Да и это возможно лишь на те несколько часов, которые будет длиться последнее сражение.

Генерал-майор Али Риза-бей слыл одним из самых молодых генералов Оттоманской армии. Ему не исполнилось еще сорока, а он уже отличился как боевой офицер и в Ливии, и на Балканах и принадлежал к узкому кругу сотрудииков Джемалю, однако и внешне и внутренне был полной противоположностью шефа – живописного диктатора Сирии. Представитель самого, так сказать, современного, самого западного офицерства, какой вообще мог существовать, сейчас расхаживал в се-ламликe виллы Багратянов, а притихшие офицеры следили за его пружинящими шагами. Особенно эта разница бросалась в глаза, если взглянуть на раненого юзбаши, который все еще не снял повязку и в уставной стойке ожидал, когда же молодой генерал обратится к нему. По сравнению с генералом, в юзбаши с его желтыми от табака пальцами, испитым лицом было даже что-то мутное, чтобы не сказать грязное.

С досадой Али Риза распахнул окно – накурили офицеры! Сам он не курил, не пил, не любил ни женщин, ни мальчиков, и о нем ходила молва, что из-за слабого желудка он питается только парным козьим молоком – поистине, это был воин-аскет! Тут вошел дежурный онбаши и передал генералу служебную бумагу. Генерал бросил взгляд на сообщение и, поджав бледные тонкие губы, проговорил:

– Вылазка армян на Северном участке стоила нам потерь... Я призову к ответу командира роты и основательно... Господам офицерам следует зарубить себе... Я обещал его превосходительству, что мы за всю операцию не потеряем ни одного человека! Надо немедленно ликвидировать логово преступников! Любой другой оборот принесет нам необозримый позор. Достаточно позорно уже то, что есть.

Взгляд его остановился на адъютанте:

– Еще нет сведений о батареях?

– Никак нет, – ответил адъютант.

Вот уже два дня, как здесь с нетерпением ожидали прибытия горных орудий, выгруженных в Алеппо. Но так как их переправляли не через Антакье, а через Бейлан и горные перевалы – прибытие их сильно затягивалось. Генерал вынужден был отложить наступление на следующий день. Сейчас он остановился перед одним из младших офицеров.

– Сколько километров телефонного кабеля в ротах?

Побледнев, офицер что-то промямлил. Али Риза не стал его слушать.

– Мне это все равно. Ровно за час до захода солнца в этом доме должен быть установлен телефонный аппарат и налажена связь с горой, как с южным,

так и с северным участком. Как вы все это устроите – ваше дело. Вы – в ответе. О завтрашнем деле я потребую от юзбаши рапорта по телефону. Можете идти.

Несчастный, не имевший никакого представления о том, сколько катушек телефонного провода имеется в ротах и решивший, что приказ этот он все равно не выполнит, в отчаянии бросился вон. Генерал сухо обратился к юзбаши:

– Юзбаши... прошу...

Раненый юзбаши щелкнул каблуками. Оба офицера вышли в пустую приемную. Али Риза посмотрел на перевязанную руку офицера.

– Юзбаши... я даю вам сегодня возможность загладить ваше тяжелое поражение... Но только если вы не понесете потерь. Вы отчитаетесь мне за каждого раненого. Прошу действовать согласно этим указаниям... Что там с дезертирами? Выяснили?

Юзбаши приподнял раненую руку, как бы давая понять, что он свой долг выполнил сполна.

– Господин генерал! Я сам вчера инспектировал фланговые позиции под Хабастой. Там ни одного человека. Сброд удрал. Это было за час до захода солнца.

– Хорошо. А ваши четыре роты?

– Считаю, что ночное сосредоточение удалось вполне. Не горел ни один фонарь. Из Хабасты за весь день не вышел ни один солдат. Сейчас они залегли под горой. Хорошо скрыты от врага. Там три моих пулемета...

– После операции вечером вы сами подойдете к телефону, юзбаши. Возьмете высоту и остановитесь. Ни шагу дальше.

На этом беседа закончилась, и Али Риза повернулся, чтобы уйти. Голос юзбаши остановил его:

– Нижайше прошу, господин генерал, разрешите два слова... Тут еще одно дело... Дезертиры, как я выяснил, не армяне... Кстати, вчера вечером ко мне привели армянина, перешедшего в истинную веру. Адвокат, некто доктор Хекимян... Предлагает себя в качестве парламентаря... чтобы армяне очистили гору добровольно... Может быть, придется пойти на некоторые уступки, зато избежим лишнего кровопролития.

Генерал слушал его довольно спокойно. Но теперь резко оборвал:

– Исключено, юзбаши. Будут говорить, что мы справились с этими армянскими чертями исключительно благодаря предательству армянина. Вы только подумайте, какой вой поднимет вражеская пресса! И это не будет безразлично его высокопревосходительству. Да и пострадает доброе имя Четвертой армии.

В высланном каменными плитами коридоре раздались тяжелые шаги. Вошел грузный каймакам, за ним – веснушчатый мюдир. Каймакам небрежно приложил палец к феске:

– Наконец-то, господа! Ваши батареи, генерал, через три часа будут в Сандеране. Однако порядочки у вас, почище наших...

Вид аскетического лица Али Ризы, должно быть, возмутил тучного,

измученного недугами каймакама. Ему захотелось подковырнуть вояк. И уже выходя, держась за ручку двери, он обернулся:

– Надеюсь, – сказал он высокомерно, – в четвертый раз наша армия не разочарует меня...

В четвертом часу пополудни женщины в Большом шатре остались совсем одни – Кристофор и Мисак охраняли площадку только ночью. Мать Гайка, вдова Шушик, ухаживала за Жюльеттой столь же трогательно, сколь неуклюже. Майрик Антарам вновь ведала лазаретом, сюда забегала лишь изредка, и помощь Шушик была весьма кстати. Об Искуи речь пойдет особо.

Жюльетта была на пути к выздоровлению, хотя и была пока невероятно худа и так слаба, что не могла сделать более одного шага. Цвет лица стал голубовато-белым, а подчас оно было совсем бесцветным, будто после перенесенной страшной болезни ей особенно не хотелось походить на окружающих ее смуглых людей. Она ежедневно уже на час, а то и на два вставала с постели. Уронив голову на руки, она неподвижно сидела за своим туалетным столиком. Иногда стояла на коленях возле кровати, как это случалось с ней в минуты отчаяния, прижимаясь лицом к маленькой обшитой кружевами подушечке, как к последнему пристанищу. Но самым тревожным признаком душевного расстройства было, пожалуй, полное отсутствие прежнего желания быть опрятной и красивой. В палатке стоял раскрытый чемодан с бельем. Но она не подходила к нему, да и не требовала, чтобы ей меняли белье, хотя рубашка, которую на нее надела Майрик Антарам в день кризиса, совсем смялась. Жюльетта не заметила, как оборвалась бретелька этой тонкой батистовой рубашки, так что виднелась иссохшая грудь. В полном противоречии с ее видениями, она не прикасалась к пузырьку Eau de printemps, где остатки притирания все еще дожидались, чтобы ими оживили иссохшую кожу. Жюльетта не надевала даже домашних туфель, стоявших под кроватью, и босиком, пошатываясь, делала шаг-другой, сколько хватало сил. Глаза ее не выражали ни муки, ни страха, а лишь затаенную готовность дать отпор всякому, кто посмеет вернуть ее к жизни.

Вдова Шушик видела в Жюльетте только мать, которая лишилась рассудка из-за чудовищной смерти сына. Такая судьба грозила и ей, и лишь божественное чудо незаслуженно и непостижимо отвратило несчастье от Шушик. Гайк жив! Более того, жизни его теперь ничто не угрожало – ее сына оберегали мистер Джексон и Америка. Два этих слова обозначали в сердце Шушик некие неземные силы. Джексон не человек уже, а сам архангел с мечом огненным. Это господь одарил ее своей милостью, как ни одну мать на Муса-даге! А жизнь-то ее была полна греха и злобы – недаром святой отец всегда предостерегал ее. И теперь ее долг денно и ночью служить, и трудиться, и благодарить. Кому же служить, кому возносить благодарность, как не другой матери, той, что проклята? Той, что была богачкой, из благородных, чужачкой. Между нею и Шушик – пропасть! И все-же – и это хорошо чувствовала Шушик-великанша – путь от матери спасенной к матери, утратившей сына, не так уж велик. Смягчая свой голос, за долгие годы молчания словно



заржавевший, и стараясь придать ему ласковые нотки, она напевала слова утешения. Все ведь так просто! Таков уж этот мир, а в мире ином спаситель наш Иисус Христос столь мудро все устроил, что все опять будут вместе. И прежде всего матери встретятся со своими детьми.

То, что говорила сейчас Шушик, она узнала не от Нуник и не от других плакальщиц, а от собственной матери, а та услышала от одного мудрого вардапета, жившего в монастыре на острове Ахтамар, что на Озере Ван. Там, на небесах, матери видят своих детей не взрослыми, с какими они расстались на земле, а маленькими, такими, какими они были от двух до пяти лет. На небесах добрым матерям дозволено носить своих малышей на руках...

Счастливая от одного такого ожидания, неотесанная баба подняла руки и принялась баюкать своего маленького невидимого Гайка. А глаза Жюльетты, покамест она слушала это, выражали все больший отпор и постепенно леденели. Думая, что чужачка не понимает ее, Шушик опустилась на пол рядом с кроватью и, стараясь услужить ханум, трогала ее холодные ноги, жалостливо прижимала их к груди, гладила своими грубыми крестьянскими руками, старалась согреть. Закрыв глаза, Жюльетта откинулась на подушки. Шушик ни минуты не сомневалась, что несчастная ханум помешалась. И ей было понятно ее безумие, она сама была близка к этоу, пока, наконец, спасительная весть не вернула ей рассудок. В своей простоте она не могла заподозрить, что безумие это не было подлинным безумием, а неким защитным валом, сложенным из ужаса, слабости, последствий жара, бегства в мир видений и страха перед правдой, валом, за которым ханум пряталась от знания правды. Впрочем, и доктор Петрос разделял мнение Шушик, считая состояние Жюльетты душевным заболеванием в результате перенесенного тифа. Неожиданное происшествие утром сорокового дня во время его визита укрепило Алтуни в этом мнении.

Старик сидел на краю кровати и на своем лучшем французском языке пытался внести в эту застывшую душу свет и надежду. Все теперь, – говорил он, – идет к лучшему. Еще несколько недель, и война кончится, настанет мир на земле. Мадам, наверное, слышала о посещении аги из Антакье. Этот весьма влиятельный турок довольно прозрачно намекнул, что Габриэлу Багратяну и мадам будет разрешено возвратиться во Францию, и это в самое ближайшее время. Еще несколько дней, и для двух таких молодых и замечательных людей начнется новая прекрасная жизнь...

Доброта превратила старого брюзгу в чрезвычайно изобретательного рассказчика. Даже его скрипучий голос с присущей ему презрительной интонацией звучал сейчас трогательно и заботливо. И вот в то время, как из его уст лилась эта нежная сказка, в просвете палатки показалась фигурка Искуи. Жюльетта, слушавшая доктора с приветливо-отсутствующим выражением, при появлении Искуи вздрогнула и, испуганно подтянув колени, закричала:

– Нет... нет... не хочу... пусть уйдет!.. Ничего не возьму у нее... Она хочет меня убить!

Удивительнее всего было, что Искуи во время этого приступа безумия не

двигалась с места. Личико ее стало похоже на маску безумия, еще немного – и она вот-вот закричит. Доктор Петрос в ужасе переводил взгляд с одной женщины на другую. Ему пришли на ум самые страшные предположения. А Жюльетта, когда Искуи и след простыл, долго не могла успокоиться. Ее ослабевшее сердце бешено колотилось.

Что же случилось с Искуи?

Пять дней она не видела Габриэла. Два дня не притрагивалась к еде.. Голодала она без всякой необходимости. Ведь Христофор, отнеся все консервы дружинникам, оставил для женщин несколько плиток шоколада и сухари... Но Искуи хотела голодать, и не только потому, что голодали все. Целых пять дней Искуи не видела Габриэла, а тем временем дважды перед палаткой появлялся брат Арам. Забившись в дальний угол, она не открывала ему. И каждый из этих пяти дней тянулся бесконечно долго, часы походили на годы. Почему же Габриэл не шел? Искуи ждала его и днем и ночью, ждала каждую секунду. Но теперь, даже если бы у нее хватило сил, она не побежала бы за любимым на позиции. С каждым часом она убеждалась в этом все больше. Тяжело дыша, она лежала на кровати в бывшей палатке Товмасыанов, какой-то гул в ушах, нараставший словно морской прибой, разламывал голову. И все же этот мощный гул неспособен был заглушить голос правды. Как умирающий подсчитывает последние мгновения жизни, так Искуи считала минуты, проведенные с Габриэлом. И разве она не была права? Сколько минут жизни осталось им на Дамладжке? Разве можно их терять так безрассудно? Габриэл терял не только безвозвратные минуты, а целые дни их краткой любви...

Искуи беспощадно пересматривала все пережитое. Да, Габриэл был ласков с ней, то есть иногда позволял положить руку на свою обнаженную грудь и плакать вместе с ним. Но он-то плакал по Стефану! А когда он открывал ей свою душу, она видела там лишь горе и жалость к неверной жене. Жюльетта ведь его предала, а он все равно так крепко привязан к чужачке. И что с того, что он звал Искуи «сестричкой» и «родинкой». Слова эти уже не были лаской для нее, они жгли, как рана от ожога. Непрестанно всплывал тоскливый вопрос-ловушка, который она задала Габриэлу еще до смерти Стефана: «Если бы мы встретились с тобой там, в большом мире, ты бы назвал меня своей «сестричкой»? Хорошо еще, что Габриэл был с нею тогда откровенен. Всем своим видом он дал ей понять: ты бедная, простая девочка, и не будь этого чудовищного стечения обстоятельств, то никогда не удостоилась бы даже взгляда моего. Благодарю тебя, маленькая моя сестричка, благодарю своими холодными руками, братскими своими поцелуями за то, что ты стараешься разделить мою боль. Но разве тебе, бедная армянская девочка из Йогонолука, по силам это? Как бы там ни было и вопреки всему я принадлежу чужой, француженке. И умру я не с Искуи, а с Жюльеттой. Хоть она и предала меня – перед Жюльеттой я преклоняюсь. К Искуи же мне надо поклоняться...

Но этих откровений было мало Искуи. Она еще настойчивей допытывалась правды. Габриэл дарил ее только нежным приятием ее служения, не больше. Искуи допытывалась далее. Но будь все иначе, не справься Жюльетта с

болезнью – чего в глубине души сотни раз страстно желала Искуи – что тогда? И поняла: нет! Габриэл тогда любил бы Искуи еще меньше, чем теперь... Ах, до чего же тонко чувствует все это больная, даже самое сокровенное! Нет, Искуи больше не пойдет в палатку Жюльетты, никогда, никогда больше не увидит ее! И все же вина не на Жюльетте, а только на ней, Искуи. Но почему, почему же она недостойна любви? Потому что не европейка, всего лишь дочь простого армянского плотника, деревенская девочка из Йогонолука. Но разве это может быть главной причиной? Габриэл сам разве европеец? Разве он не из той же армянской деревни? Вся разница в том, что она провела только два года в Лозанне, а он – двадцать три года в Париже. Нет, не могло это быть главной причиной. Он же называл ее красивой. Но постой-ка! В этом все и кроется! Почему он иногда так странно, как будто издалека, смотрит на нее? Что-то в ней мешает ему, делает его холодным...

Преодолев слабость, Искуи подошла к маленькому зеркальцу, стоявшему на столике. Но ей незачем было смотреться в зеркало, она и так все поняла. Калека! Родилась здоровой, а превратили в калеку! За полгода после высылки из Зейтуна левая рука совсем высохла. Снимешь повязку – рука висит, словно плеть. И как Искуи ни скрывала свой изъян, Габриэл не мог не замечать его. Это она хорошо знала. Как-то он чуть коснулся губами ее больной руки, но Искуи казалось, что и сейчас чувствует, сколько было жалости в этом поцелуе, сколько самоотвержения!

Искуи снова упала на кровать. Гул в ушах нарастал и теперь поглотил все. Искуи пыталась оправдать отсутствие Габриэла: должно быть, голод на позициях перевернул все вверх дном. Габриэлу надо вновь организовать всю оборону. Даже здесь слышно, как там стреляют.

Но все эти разумные доводы никак не влияли на нее. Из глубины гула в ушах поднялся такой чужой ее собственный голос. Она вспомнила *Chanson d'amour*, который она однажды пела по просьбе Жюльетты там, внизу, на вилле Багратянов. Стефан был тогда в Жюльеттиной комнате, потом зашел и Габриэл. Первые строки той старинной народной песни никак не выходят из головы – с ума можно сойти...

Вышла она из сада,  
Прижимая к своей груди  
Два крупных алых граната,  
Два спелых сочных плода.  
Не взял я этих плодов...

На том песня оборвалась. И сразу же повторился тот ужас, которого давно уже не было! Этот образ, преследовавший ее по дороге в Мараш: бегущие калейдоскопом рожи заросшего щетиной убийцы! И вдруг страшная личина замерла, будто двигавший ее аппарат испортился. Потом кошмарный образ непонятно как стал лицом Габриэла, гораздо более враждебным и злодейским, чем черты злодея.

От ужаса и горя у Искуи перехватило дыхание.  
– Арам! – молча молила она.

В ту минуту пастор Арам был как раз недалеко от палатки своей сестры. Он подошел вместе с Овсанной, которая несла на руках несчастное дитя. Но когда Арам грубо потребовал впустить его, никто в палатке не отозвался. Не мешкая, он выхватил нож и перерезал завязки, закрывавшие вход изнутри. Опустил войлочный мешок на землю. Жена с младенцем – почти безжизненным комочком на руках – стояла поодаль. Вид у этих сбитых с толку людей был такой, точно они действительно сей же час намерены покинуть Дамладжк, не дожидаясь, разумеется, ни молебна, ни общего схода. Очевидно, пастор Арам разыскивал Геворка-плясуна, чтобы потом сразу же со своими отправиться в путь... в безопасное никуда.

Если бы пастор Арам был сейчас самим собой – мягким, добрым, любящим христианином, сильным и бодрым братом, каким Искуи помнила его по Зейтуну – возможно, что она, долго не колеблясь, пошла бы с ним. Да и зачем, собственно, ей оставаться в этой всеми покинутой палатке? Но она понимала, что далеко уйти не может, слишком слаба. Вот она тихо и угаснет здесь, и всему придет конец – и гулу в ушах, и Габриэлу, и ей самой... Но вместо любимого зейтунского брата в палатку ворвался какой-то озверевший человек, к тому же размахивавший палкой:

– Вставай! Собирайся! С нами пойдешь!

Каменными глыбами обрушивались эти слова на Искуи. Оцепенев, она не отрывала глаз от этого чужого Арама. Нет, теперь уже ей не встать, даже если бы она хотела послушаться его приказа.

Товмасын перехватил палку покрепче:

– Не слышишь? Приказываю тебе: вставай и собирайся! Я, твой старший брат, твой духовный отец, приказываю! Поняла? Я вырву тебя из греха!

Пока Арам не произнес слово «грех», Искуи все еще была в оцепенении. Но слово «грех» пробудило в ней сотни источников гневного протеста. Слабость как рукой сняло. Искуи вскочила, спряталась за спинкой кровати и, защищаясь, подняла маленький правый кулачок. Но тут в палатку заглянул другой враг – Овсанна.

– Оставь ее, брось! Она пропащая! Не подходи к ней близко, заразишься! Брось ее! Пойдет она с нами, Господь нас еще больше накажет! Да и какой прок? Идем, пастор! Я-то давно поняла, какая она. Это ты все баловал ее. А она еще в зейтунской школе к молодым учителям приставала. Бешеная она до мужиков. Брось ее, Христом-богом прошу! Идем!

От ужаса глаза Искуи сделались еще больше. Она не видела Овсанны с того времени, как заболела Жюльетта, и не могла знать, что перед ней одержимая. Молодая пасторша изменилась до неузнаваемости. Дабы заслужить милость господню, она принесла жертву – коротко остригла свои прекрасные волосы. Голова ее теперь казалась маленькой, лицо злое, точно у ведьмы. Телом она исхудала, будто ссохлась, только живот выпирал – болезненное последствие родов. Неопишным жестом обвинительницы Овсанна протянула запеленутого младенца золовке и завизжала:

– Гляди! Это ты виновата во всем!

И только теперь из уст Искуи вырвался стон:

– Дева Мария!

Голова ее упала на грудь. Искуи вспомнила, как мучилась Овсанна и как она тогда спиной подпирала роженицу... Чего эти сумасшедшие люди хотят от нее? Почему не оставят ее в покое? В последние часы жизни...

Тем временем пастор Арам выдернул из кармана свои огромные серебряные часы-луковицу и, раскачивая их на цепочке, сказал:

– Даю тебе десять минут. Собирайся! – и, повернувшись к Овсанне, добавил: – Придержи язык! Она пойдет с нами. Не оставлю я ее. Перед Всевышним я за нее в ответе!

Боясь пошевелиться, Искуи все еще стояла за кроватью. Арам не выждал названного срока и уже через три минуты вышел из палатки. Часы «луковица» раскачивались у него в руке. Снаружи, с площадки Трех шатров доносился странный шум.

Между шейхским шатром и палаткой, в которой лежала Жюльетта, показались дезертиры. Бесшумно, как кошки, пробрались сюда эти двадцать три оборванца. Судя по виду, Длинноволосый играл среди них роль вожака, и если эта сомнительная личность у нежданных пришельцев выступала в качестве командира, то Сато – двадцать четвертая в их группе, несомненно, была наводчицей. Невинно утирая нос драным рукавом, она прикидывалась, будто ее скромная особа и не подозревает о цели необъявленного предприятия, ничегошеньки не понимает. Что приказано свыше, то они и делают. Впрочем, ни Киликяна, ни его мудрого комиссара не было.

Воцарилась какая-то напряженно коварная атмосфера, которая часто возникает перед тем, как совершиться преступлению. В самом поведении дезертиров поначалу не было ничего необыкновенного, разве что некоторые из них прикрепили к ружьям трофейные турецкие штыки. Неподалеку то и дело проходили строем дружинники, направляясь сменить бойцов в окопах или возвращаясь, с позиций. Сегодня, когда с севера все время доносилась стрельба, не было ничего удивительного в появлении вооруженных дезертиров. Но когда пастор Арам вышел из палатки Искуи, они, должно быть, уже приступили к делу. А пастор довольно долго безучастно смотрел на них. В его смятенном мозгу мелькнула мысль: люди эти выполняют какой-то приказ Багратяна. А что ему за дело до всего этого, ему, уже оторвавшемуся от народа?

Вдова Шушик оказалась более догадливой. Встав у входа, она своим огромным телом загородила вход в палатку. Ей-то сразу стало ясно, что значат ужимки Сато и почему она все время указывает на палатку ханум.

Широко расставив ноги и разводя руки, Шушик собственным телом преграждала путь злу. Вперед выступил Длинноволосый:

– Нас прислали за провиантом. Вы его тут прячете.

– Никакого провианта не знаю...

– Знаешь! Серебряные коробочки с рыбкой. В масле плавают. И кувшины с вином. И овсяные хлопья...

– Ничего я не знаю ни про вино, ни про хлопья. Кто тебя сюда прислал?

– Тебе какое дело? Может, командующий.

– Пусть сам явится твой командующий!

– А ну, давай отсюда! Последний раз тебе говорю, глупая ты баба! Хватит, нажрались, теперь нам дайте!

Не говоря ни слова, Шушик острым глазом борца следила за каждым движением Длинноволосого, который, отбросив свое ружье, высматривал, как бы к ней подступиться. Когда же он снова бросился на нее, Шушик ловким движением перехватила щупленького дезертира за пояс, подняла и кинула навстречу остальным, да так, что он, падая, сбил с ног еще двоих. А она стояла спокойно, дышала ровно, эта великанша, готовая дать отпор следующему. Но смерть настигла матушку Шушик моментально, прежде, чем она осознала, что умирает. Коварно нанесенный удар прикладом проломил ей череп. Умерла она мгновенно, на вершине счастья, ибо даже в эти минуты борьбы ею владело одно радостное чувство: Гайк жив!

Падая, она загородила своим трупом путь к менее счастливой матери – матери Стефана, которой не дано было испытать ее счастья. И только сейчас пастор Арам понял, что творится. Громко вскрикнув, он с поднятой палкой бросился на дезертиров. Они же при виде столь открыто совершенного убийства, отпрянули. Тут бы Товмасыню и пустить в ход свой авторитет. Он же священник, один из руководителей. Сказать бы ему два слова, коротко скомандовать, схватить с земли ружье Длинноволосого... А дезертиры ждали, подействует ли на остальных авторитет пастора? Но Арам давно уже потерял власть над собой, а потому сделал все наоборот. Размахивая своей смехотворной палкой, он бросился прямо в гущу бандитов. В ответ он получил удар штыком под правую лопатку.

«Что это? – подумал он. – И какое мне дело до этого сброда? Я слуга господень, словом его врачую, ничего более. Пусть эти чужие нам люди сами во всем разбираются...».

Палку он уже выронил, но все еще с сознанием своего духовного величия выпрямился во весь рост, повернулся и прямыми шагами пошел назад. Ага! Вон они, женщины! Решилась Искуи наконец? Почему она вся в белом? Мы опять заживем дружной семьей, как в Зейтуне... Овсанна утихомирится... Почему эта дорога до третьей палатки такая длинная?..

Пастор улыбнулся жене, широко открытыми от ужаса глазами она смотрела куда-то вверх его головы.

Арам упал, не дойдя до нее трех шагов. Кровь его окрасила сухую, пожелтевшую траву.

Рана была не тяжелой, но Арам потерял сознание. Растерянная, беспомощная Овсанна опустилась подле него на колени, не выпуская из рук ребенка.

Увидев кровь, Искуи вскрикнула и бросилась в палатку. Принесла оттуда чистые тряпки, ножницы и тоже опустилась на колени подле брата. Вдвоем с Овсанной они разрезали сюртук Арама. Искуи изо всех сил прижала тряпку к ране. Правая ее рука была вся в крови брата, теперь непоправимо чужого.

Длинноволосый и Сато с кучкой дезертиров, перешагнув через тело Шушик, протиснулись в палатку ханум.

Жюльетта пробудилась от свинцово-тяжелого сна, услышала чужие слова, возню за палаткой и подумала: «Это у меня от жара. Слава богу, у меня снова жар!». Даже когда ворвались какие-то люди и вонь распространилась в палатке, ее апатия не сменилась страхом. «Если это жар, то я рада. Если это турки, то лучше сейчас – не во сне и не наяву».

Но никто и не покушался на ханум. Дезертиры не обратили на нее никакого внимания. Их интересовала только гастрономия, – не даром же столько легенд рассказывали о запасах провианта! Первым делом они выволокли из палатки два ковра и весь багаж. Там уже валялись другие вещи – все, что было в шатре: чемодан, корзины, ящики. Но Длинноволосый и Сато задержались у Жюльетты, он – в надежде найти что-нибудь ценное, она – из любопытства и по злобе. Но так как Сато не пришло в голову ничего более умного, то она вдруг сорвала с Жюльетты одеяло, – пусть-ка мужчины увидят ее голой! Длинноволосый занялся большим черепаховым гребнем и решил взять его себе на память. Подумал, верно, что расческа понадобится для его липких волос. Любуясь этим неожиданным трофеем, он вышел из палатки, не тронув ханум. А там бандиты уже выпотрошили все чемоданы. Платья и белье Жюльетты снова валялись всюду разбросанные, – так оно было, когда заптии ворвались в йогонолукский дом. И лаковые, и атласные, и бронзовые туфельки. Разбросаны были не только платья и посуда, но и все, что с таким трудом было доставлено сюда, на Мусадаг. Однако трофей бандитов был ничтожен: две банки сардин, одна – с консервированным молоком, три плитки шоколада да жестяная коробка с крошками от печенья и бисквитных сухариков. Быть не может, чтобы это было все! Скорей к третьей палатке! Сато опять делает какие-то знаки.

И тут с Алтарной площади донесся звон маленького колокола – он звал на молебен. Но было это и условным сигналом: приступать ко второму этапу дела, затеянного совместно с главной группой дезертиров. Надо было поторапливаться. Бандиты похватили первое попавшееся под руку, – кто ложку, кто нож, тарелку, а кто графин, кто-то подцепил две дамские туфельки.

Искуи и Овсанне удалось остановить кровь – пастор Арам медленно приходил в себя. Бесконечное удивление изобразилось на его лице. Постичь, какого заблудшего человека в нем только что убили, он, разумеется, был не в силах. Но теперь он останется со всеми! Теперь никакое упрямство не заставит его вновь совершить величайший грех – отдалиться от народа. Пролита кровь! Она и есть та милость, которая избавила его от непосильного испытания.

Он смотрел на Овсанну. Пучками травы она вытирала руки, чтобы не запачкать кровью пеленки младенца. Очень удивило Арама и то, что у него под головой было так много подушек и даже одеяло. Он сидел почти прямо. А Искуи все еще прижимала компресс к его ране. Несказанное напряжение исказило ее осунувшееся лицо. Арам отвернулся.

– Искуи, – сказал он, – Искуи, Искуи, – раз пять, шесть раз со вздохом: –

Искуи!

Это имя сейчас звучало как нежное «прости».

Пономарь, как безумный, бил в маленький колокол, раскачивавшийся на шесте рядом с алтарем. Надобности в этом настойчивом трезвоне не было никакой – все старики, женщины, дети давно уже собрались на Алтарной площади. Звон колокола разносился далеко вокруг, как будто о наступлении смертного часа христианского народа должны были поскорей узнать не только турецкие солдаты, но и все страны и моря. В левой руке пономарь держал кадило и яростно им размахивал. На Дамладжке, где еды для людей совсем не осталось, ладана было так много, что его хватило бы на месяцы.

Давно уже миновал час назначенного молебна, а юго-восточный ветер все не унимался. Порывы его, словно еретики и грешники, решившие сорвать обряд, носились по площади, скрадывали звон колокола, ворча цеплялись за листовенные крыши шалашей, расшатывали престол, покров которого по случаю молебна был прикреплен особенно прочно. Сплетенная из веток высокая четырехметровая стена, установленная за священным престолом, сотрясалась, вихрем крутилась сухая листва, порой ветер налетал на нее с такой свирепостью, что казалось, она вот-вот рухнет. Перед престолом на верхней ступени были прикреплены слева и справа две палки, соединенные шнуром, на котором на кольцах висела завеса, за ней по армянскому обычаю во время жертвоприношения скрывался священник. Тяжелая ткань завесы то и дело хлопала по священному престолу. Пришлось ее подвязать, чтобы она не смела всю церковную утварь. Несколько набожных прихожан внимательно следили за этим, особенно за высокими серебряными светильниками, в которых горели защищенные стеклом свечи. Между порывами ветра наступала вдруг давящая тишина. И тогда с Седловины доносились хлопки отдельных выстрелов.

В своем шалаше недалеко от правительственного барака Тер-Айказун давно уже возложил на себя облачение. Снаружи его ждали певчие и ризничий, которые должны были ему прислуживать. Но какое-то глубокое оцепенение не позволяло ему выйти к алтарю.

Что же это такое? Сердце, никогда прежде не доставлявшее ему беспокойства, сейчас громко колотилось под ризой. Страшился ли он того неведомого, что нависло над ними? Сомневался ли в правильности своего решения – призвать народ в час величайшей беды самому решать свою судьбу? А что если в припадке коварной слабости он, пастырь, уклонился от решения и теперь предлагает несмысленным задачу, с которой им не справиться? Ну что ж, дружинники все были за Габриэла Баг-ратяна, и Тер-Айказун не думал, что пастор Арам Товмасян соберет хотя бы небольшое меньшинство. И все же: разве исключена опасность, что сразу же после торжественного молебна о ниспослании милости божьей, когда станут обсуждать предложение Товмасяна, в голодной толпе начнутся смятение, раздор и распад?

Быть может, Тер-Айказун ощутил всю сокрушительную тяжесть миссии, которой он был удостоен и которая была его проклятием? Несмотря на знойный ветер, его бил озноб. Голова, казалось, делалась все больше, стенки ее



все тоньше, как у воздушного шара, когда его надувают. Два дня уже он ничего, не ел. Сидел он сейчас на циновке, на которой обычно спал. На коленях лежала раскрытая церковная книга. Все время после полудня он что-то записывал в нее, подводя итог этих сорока дней. Теперь книга жизни и смерти, поскольку это было в его власти, приведена в порядок, все подсчеты произведены. Он выполнил свой долг и может передать эту книгу... Но кому? Тер-Айказун покачал головой. И все же он испытывал глубокое удовлетворение от того, что души усопших и души живых поименно были занесены в книгу и что божественный и человеческий порядок до этого часа был им соблюден. Благодаря тому, что каждая ушедшая в вечность душа была здесь аккуратно записана – дата рождения, смерти, имя и происхождение родителей, – Господу будет легче творить милость, и души эти не будут бродить неприкаянными, как безмянные псы перед воротами ада. Тер-Айказун твердо верил в святость наречения именем. Ибо в записи имен находила свое продолжение святость таинства крещения. Его пожелтевшие пальцы еще раз перелистали последние страницы книги. Семнадцать детей крестил он на Муса-даге. Им противостояли четыреста тридцать две души, которые он благословил, напутствуя в мир иной. Число огромное! И все же, разве это не чудо, что, невзирая на роты турецких солдат, невзирая на голод, в живых осталось свыше четырех с половиной тысяч человек?! И среди них более семисот хорошо обученных отважных воинов, готовых вновь отбить атаку превосходящих сил врага. То божественное провидение послало Габриэла Багратяна в Йогонолук!

Свинцово тяжелые веки закрыли глаза Тер-Айказуна... Вот уже и нет в живых никого из четырех с половиной тысяч! Он видел себя одиноко стоящим в своих тяжелых ризах среди мертвецов. Он ни разу не усомнился в том, что останется последним, как ни чудовищно это было. Сердце, видимо, успокоилось. Но сразу нахлынуло неопишуемое ощущение близости смерти. Никогда он не испытывал ничего подобного, даже в самом пылу сражения. Не сознавая зачем, он начертил в церковной книге после имени последнего умершего толстым красным карандашом большой крест.

Один из двух помощников Тер-Айказуна то и дело заглядывал в шалаш: назначенное время давно миновало, возникла опасность, что народное собрание, которое должно было начаться сразу после молебна, затянется до глубокой ночи. Однако Тер-Айказун никак не мог собраться с духом. Ему казалось, что какая-то внутренняя сила не отпускает его и всячески стремится предотвратить богослужение. У него кружилась голова, приступы слабости были так сильны, что он боялся упасть. Он был совсем болен, истощен от голода. Может быть, отменить службу? Послать заместителя?

Но вардапет понял: это не слабость, это боязнь не справиться с предстоящей задачей. И что-то еще неясное... Наконец он встал и подал знак. Служка взвалил на плечо большой деревянный крест, с которым он возглавит процессию. Тер-Айказун медленно следовал за певчими и дьяконами, сложив на груди руки и опустив глаза. Но этот потупленный взор углубленного в себя духовного пастыря, казалось бы безучастно скользивший по расступавшейся

толпе как по придорожному кустарнику, с обостренной “зоркостью следил за всем происходящим. Пройти до алтаря надо было не более пятидесяти шагов. Но с каждым шагом душевное состояние толпы пронизывало вардапета, точно болезнетворное излучение.

Летаргия, в которой пребывал весь лагерь с самого утра, сменилась лихорадочной суетливостью. В этот час человеческая природа, должно быть, мобилизовала какие-то скрытые в ней резервы, а может, только видимость их. Особенно распустились малыши. Не зная никакого удержу, они ревели во все горло, топали ножками, бросались наземь. Вероятно, их раздутые животы терзали голодные колики. А матери сердито трясли и колотили их – ничего другого не оставалось...

Детский визг и брань взрослых все нарастали, и вполне можно было ожидать, что они будут всё время мешать богослужению и не дадут молящимся сосредоточиться для молитвы. Но не только дети, и взрослые вели себя крайне беспокойно. Были среди них и старики из тех самых «мелких собственников», – они громко переговаривались и не замолкали, даже когда мимо них шествовал вардапет. «Духовный распад шагает в ногу с голодом, – подумал Тер-Айказун. – Хорошо, что дружинников нет, куда они держатся, не все потеряно...». Мысль эта несколько успокоила его. Он поднял голову и застыл. Что это? Откуда взялись эти вооруженные люди? Они же нарушили его и Габриэла Багратяна особое распоряжение! Правда, их немного – одиночки и небольшие группки. Кто же снял этих людей с позиций и прислал сюда?

Толпа была очень пестрой – женщины нарядились в свои праздничные одежды, всюду виднелись разноцветные платки, поблескивали мониста. Должно быть, многим хотелось как-то принарядиться к торжественному богослужению. И в этой толпе вооруженные люди терялись. Однако в следующее же мгновение Тер-Айказун убедился, что на сей раз это были вовсе не отличившиеся в бою дружинники с близлежащих секторов обороны, а дезертиры с далекого Южного бастиона – те безродные и отправленные в самый дальний край люди, которые не значились в церковной книге и, к счастью, редко бывали в лагере, а уж на молебне – никогда. Не стали же они все вдруг набожными?

Тер-Айказун чуть повернул голову вправо, и в поле его зрения попал правительственный барак. Где же охрана? Ах, да! Багратян всех – и даже часть резерва – отправил в окопы... «Вернись, – мелькнуло у него, – под каким-нибудь предлогом уйди отсюда! Перенеси молебен. Пошли за Багратяном. Позови мухтаров! Сделай все, чтобы обеспечить безопасность!».

Но несмотря на все эти разумные мысли он шел дальше, правда, неуверенно, маленькими шажками. Вблизи алтаря тесными рядами стояли старые, почтенные семейства: мухтары с женами и дочерьми, убеленные сединой старцы – все в том же порядке, что и в церквах армянской долины. Членов Совета почти не было видно. Доктор Петрос не мог отлучиться из лазарета, потому и не пришел, впрочем, свое вольнодумство он никогда на людях не выказывал. Тщетно Тер-Айказун искал глазами пастора Арама.

Учитель Шатахян, как командир вестовых, тоже остался на позициях Северного сектора. А Габриэл Багратян, хоть и обещал прийти вовремя, но, видимо, непредвиденные обстоятельства его задержали. Когда деревенские старейшины расступились, чтобы открылся проход для процессии, Тер-Айказун получил еще одно предостережение: между Саркисом Киликяном и незнакомым дезертиром стоял, зажатый с обеих сторон, будто арестованный, Грант Восканян. Коротышка с черным, заросшим до самых глаз лицом, строил немыслимые гримасы, отчаянно подмигивал священнику и хватал ртом воздух, будто рыба, выброшенная на сушу. И снова Тер-Айказун подумал: «Надо остановиться и напрямик спросить изгнанного: «Что случилось? Что ты хочешь мне сказать, учитель Восканян?»»

Но Тер-Айказун прошел мимо, не поднимая глаз, влекомый какой-то силой. А может, бессилием, впервые на Дамладжке поразившем его волю.

Уже ступив на первую ступень алтаря, он заметил, что забыл письмо Нохудяна у себя в шалаше. И это расстроило его превыше всякой меры, ибо он хотел после благословения прочитать письмо битиасских земляков и тем самым противодействовать помыслам о бегстве. Забытый листок и дурные приметы так потрясли его, что ему показалось, будто прошло необыкновенно много времени, пока он поднялся на вторую ступень. Должно быть, народ за его спиной чутко подметил, и рассеянность и бессилие вардапета – детский крик, суета и назойливые разговоры становились все разнузданней. И в этих-то опустошенных душах нужно было пробудить внутреннее горение, дабы благодать господня снизошла на них!

Измученный Тер-Айказун обернулся. И в эту минуту, задыхаясь, прибежал Габриэл Багратян и встал в первый ряд. На несколько секунд Тер-Айказуну стало легче. Хор певчих за его спиной запел гимн. Ему дана была передышка. Он закрыл глаза, чтобы собраться с мыслями. Глухо звучали на площади голоса:

Ты, кто длани Творца простираешь до звезд,  
 Придай силы нашим рукам,  
 Дабы, протянутые, они достигли тебя!  
 Венцом главы своей увенчай наш дух,  
 Облеки чувства наши в орарь,  
 В Аароново цветистое одеяние златотканое  
 Подобно всем ангелам, воинству великолепному,  
 Ты покрыл нас покровом божественной любви,  
 Приобщил к служению таинству священному...

Хор умолк. Тер-Айказун видел перед собой маленькую серебряную умывальную чашу, которую держал ризничий. Он опустил пальцы в воду и так долго не вынимал их, что ризничий, удивленно посмотрев на него, отнял чашу. И только тогда Тер-Айказун повернулся вполоборота к пастве и трижды осенил ее крестом. Затем, вновь повернувшись к престолу, он возвел руки горе, и в этот миг душа Тер-Айказуна как бы разделилась на две половины. Одна была священником, служившим эту необыкновенную литургию и не пропускавшим

ни одного антифона певчих. Другая половина состояла как бы из нескольких слоев – это был смертельно усталый воин, которому нужно было обладать сверхъестественной силой, дабы священник мог выполнить свой долг. Сначала эта вторая часть души Тер-Айказуна вела борьбу с собственным телом. Но после каждого слова богослужения тело Тер-Айказуна кричало ему: «Хватит! Умолкни! Неужели ты не чувствуешь, что у меня уже нет ни капли крови в мозгу? Еще одна-две минуты, и я тебя опозорю – рухну на алтарь». С собственным телом воин легко бы справился. Но за алтарем скрывались куда более коварные враги. Один из них – фокусник, этот прямо на глазах у священника преображал всю церковную утварь: большие светильники стали торчащими вверх штыками, из красиво напечатанных строк служебника выскакивали имена усопших, значившиеся в церковной книге, и повсюду грозно выросал огромный красный крест...

Когда время от времени свистя налетал порыв ветра, со стенки за алтарем осыпалась листва, подсакивая и подпрыгивая носились листочки и без всякого стеснения укладывались в дарохранительницу и на евангелие с золотым крестом на переплете. Повсюду валялись эти пожухлые коричневые листья – по одному и кучками. Тер-Айказун, совершая литургию, голосом, совсем будто отделившимся от него, запел псалом:

«Суди меня, господи, по правде моей и по непорочности моей во мне!».

Дьякон отвечал вполголоса речитативом:

«Спаси меня от плоти неправедной, от греховного коварного мужа!».

«Зачем ты забыл меня? Зачем печальный хожу я, когда враг мой мучает меня?»

Ибо хочу я подойти к престолу Господнему, к Господу, радующему юность мою».

И в то время, как Тер-Айказун, ни разу не сбившись, довел до конца антифонное пение, глазам другого Тер-Айказуна представилось нечто непереносимое: опавшие листья, всюду валявшиеся, были вовсе не листья, а гниль, навоз, какое-то неопишное дерьмо, брошенное врагами Господа, преступниками, на святой престол. Другого объяснения не было – с неба же не упадет грязь!

Тер-Айказун вперил взор в служебник – только бы не видеть чудовищного осквернения святыни! Но разве народ не видел? И Тер-Айказун впервые запнулся. Дьякон пел:

«Яви нам, Господи, милость твою и спасение твое даруй нам».

Теперь должен был вступить священник. Тер-Айказун молчал. Дьякон изумленно повернулся к певчим. Но так как голоса Тер-Айказуна все еще не было слышно, дьякон, шагнув к нему, решительно зашептал:

«В доме святости...»

Священник, казалось, не слышал. Дьякон в отчаянии повторил:

«В доме святости и в месте...».

Тер-Айказун точно пробудился:

«В доме святости и в месте хвалебного пения, в жилище ангелов, в этом

месте прощения человека мы падаем ниц перед Господом в приятстве и светозарном знамении почитания и молим о...».

Он тяжело дышал, пот градом катился из-под митры по лбу и шее, но он не смел его вытирать. За спиной раздался гнусавый голос регента Асаяна:

«Пред этим священным жертвенником храма собрались мы на службу».

Голос самонадеянного и тщеславного Асаяна сейчас раздражал священника как никогда прежде. «Неужели я не могу избавиться от этого человека?» – думал он. И тут же почувствовал, что давление в висках немного ослабело. «Может, выдержу я все-таки. Спаситель, поддержи меня!».

Расширенными от страха глазами смотрел Тер-Айказун на распятие, венчавшее алтарь. Голос одного из Тер-Айказунов предостерегал его: «Не поднимай головы!» Но как раз это предостережение заставило его вскинуть глаза на высокую стену, сплетенную из буковых веток, что высилась за священным престолом... Там же стоит кто-то! Стоит, прислонившись к раме, скрестил руки, в зубах сигарета... Неслыханная наглость! Но Тер-Айказун подавил восклицание. Еще раз посмотрел туда же. Но этот Кто-то уже не был Саркисом Киликяном, который вызывал такое отвращение. Ведь Айказун велел его связать!

Потом этот Кто-то становился никем. И тогда стена высилась пустая. Но снова возникал Саркис и превращался во всевозможных людей, однажды даже обратился Грикором, а под конец там, у стены, стоял незнакомый священник в облачении.

Поначалу Тер-Айказуну даже показалось смешным, что этот священнослужитель был он сам. Да и не был он им, не было на нем этой барашковой шапки, на нем же митра, шитая золотом.

«Хвала и слава Богу-отцу, Богу-сыну и Святому духу...»

Дальше он не договорил. Между человеком и стеной звучал его собственный голос, он впивался в него вопросом:

– Чего ты паясничаешь среди ясного дня? К чему затеял молебствие?..

Тер-Айказун стал глазами искать говорившего в воспарящем облачке ладана. Но ни Кто-то, ни голос не отпускали его:

– Какой же сатана этот бог, что уготовил благочестивому своему армянскому народу сей страшный год!..

Согласно обряду, Тер-Айказун запел вечернее песнопение:

«Святой боже, святость твоя вечна, да смилуешься ты над нами. Спаси нас от искушения и всех его стрел».

И ответ пришел теперь не от Саркиса Киликяна, а от него самого, от Тер-Айказуна:

– Ты не веришь, не веришь ты в чудо! Ты же знаешь, что завтра на землю Дамладжка лягут четыре с половиной тысячи трупов!

Дьякон передал кадило Тер-Айказуну, чтобы тот в согласии с чином овеял народ благовонием. Нестерпимая жажда мучала Тер-Айказуна. У стены уже не было никого. Но голос звучал совсем близко:

– Ты хочешь убить меня. Убей, если достанет мужества.

Кадилавица выскользнула из рук пастыря и со звоном покатила по земле. В эту секунду возник совсем новый Тер-Айказун. С диким криком он схватил тяжелый светильник и стал размахивать им над головой. Но бросился он не на поиски своего врага, не на призрак у стены из веток и листьев, а к людям, к пастве своей...

Не будь этой голодной галлюцинации, не случись этого с Тер-Айказуном, дело скорее всего не дошло бы до бунта. Ведь и дезертиры с Южного бастиона в большинстве своем были верующими армянами, исполненными трепета и почтения к священному месту. Однако Длинноволосый собрал свое войско, готовое в любую минуту напасть, поблизости от правительственного барака. И когда началась суматоха у алтаря, он счел ее сигналом. Десять его бандитов стали палить в воздух, чтобы усилить смятение. Другие выломали дверь в правительственном бараке и через несколько минут, завладев ящиками с патронами, выволокли их наружу. Впрочем, то, что произошло перед ступенями алтаря, происходило с такой фантастической быстротой, что ни мухтары, ни Габриэл Багратьян не успели осознать случившееся. Поразительнее всего была фантастичность происходившего, а не быстрота. Все длилось не более двух минут. Правда, эти две минуты промчались где-то по неведомому отгонному пути истинного времени.

При виде размахивавшего светильником вардапета толпа разбежалась. Габриэл заметил, как священник устремился к группе дезертиров. Но он так и не понял, кто позвал этих бродяг на литургию и большой сход. Казалось, Тер-Айказун ищет кого-то определенного. Но уже в следующее мгновение его зажали со всех сторон вооруженные бандиты. Они вырвали у него светильник и, громко крича, принялись его толкать, покамест не сбили с ног. Позади толпы затрещали выстрелы. Люди, обезумев от страха, бросились врассыпную. Мухтары и их жены звали на помощь.

Багратьян с револьвером в руках протискивался к Тер-Айказуну. За ним – дезертир. Замахнувшись, он со всего маху ударил командующего прикладом по голове. Габриэл рухнул наземь. Если бы не упругий пробковый шлем – Багратьяну пришел бы конец. А так – шлем съехал вниз, защитив голову от смертельного удара. Багратьяна даже не ранило, но, падая, он потерял сознание.

Другие дезертиры привязали Тер-Айказуна к угловой стойке алтаря крепкими пеньковыми веревками. Священник сопротивлялся молча, но с удивительной силой. Был бы у него с собой нож, который он обычно носил в будничной рясе, то по меньшей мере один из преступников поплатился бы жизнью. В отдалении сгрудились дрожащие мухтары, истощенные от голода старики, которые Тер-Айказуну, разумеется, ничем уже помочь не могли. У них не было сил даже отстоять самих себя. Жены и дочери, визжа и ругаясь, пытались оттащить их в сторону. Толпа все еще не понимала, что происходит. Доведенная до безумия, она шарахнулась к алтарю. Но в это время передние ряды хлынули назад, и все смешалось в какой-то невероятный клубок человеческих тел. Истошные крики, визг, стрельба... И вот уже несколько совсем пропащих парней, многие месяцы не видевшие женщин, подобно

стервятникам бросились в свалку, хватали женщин, девушек. И прямо тут же срывали с них одежды, украшения. Другая группа, выказавшая большую трезвость, рванулась к шалашам и стала грабить беднейших из бедных. Все это было столь чудовищно, что душа человеческая неспособна была бы подобное вынести, если не принять эту безмерную подлость за припадок бешенства, за конвульсии тела народа, которому расовый враг перерезал каждый нерв в отдельности. Новое слабое утешение можно было усмотреть лишь в том, что не вся дезертирская братия активно участвовала в этой гнусности – значительная часть ее была просто зрителями, зеваками, статистами.

Тем временем появились и первые признаки сопротивления. Кое-кто из лагеря, у кого еще не все силы иссякли, стал обрабатывать зажатого в сторонке дезертира. Другие быстро их обезоруживали, швыряли наземь, давили ногами. Несколько решительных мусадагцев пробились вперед, исполненные желания освободить Тер-Айказуна. Еще две-три минуты, и могло бы произойти кровавое побоище, которое преступники учинили бы среди напавшего на них народа – они готовы были вот-вот открыть огонь. Но обезумевшая судьба еще раз превзошла самое себя. Как это часто случалось в последние дни, ветер резко переменял направление и вихрем понесся по площади. Алтарь уже никто не охранял, и ветер опрокинул два деревянных светильника и горшок с цветами – все это покатило по святому престолу. Тер-Айказун молча рвался из свеих пут, время от времени затихая и собираясь с силами. При каждом его рывке столб, к которому он был привязан, содрогался. Глаза его, налитые кровью, искали ризничего, певчих, Асаяна... но все они исчезли или просто не осмеливались приблизиться к связанному – ведь его стерегли несколько дезертиров, должно быть, ради того, чтобы похитители патронов могли беспрепятственно убраться восвояси.

В этой группе у алтаря был и Саркис Киликян. Он с интересом следил за попытками Тер-Айказуна вырваться, как будто сам ни к кому и ни к чему не был причастен, а смотрит так, из чистого любопытства... Несколько позднее он покинул площадь. Весь его скучающий вид, небрежная походка говорили: «С меня хватит. Да и пора». Но как только он удалился, произошло невероятное. И только потому, что его исчезновение так непосредственно совпало с тем, что случилось, Тер-Айказун впоследствии заподозрил в поджоге Киликяна. На самом деле Киликян прошел мимо алтаря и даже не задел листовенную стену, стоявшую в трех шагах позади.

Поначалу в переплетении веток что-то потрескивало весьма безобидно и не тревожно. Но пламя, вдруг взмывшее вверх, поднялось в два-три раза выше самой стены. Ветер с моря согнул его тут же и повернул вправо. Легкокрылые языки его и маленькие вымпелы оторвались и запрыгали по крыше ближайшего барака. Это оказалось великолепное обиталище Товмаса Кебусяна, на котором все еще красовалась вывеска «Общинный дом». Однако здесь огонь словно бы еще стеснялся, словно бы его еще мучили угрызения совести. Но минуту спустя, едва лишь крытая хворостом крыша вслед за резким хлопком ярко вспыхнула, огонь уже не знал удержу. Будто на бульваре большого города,

сверкнув, зажигается сразу длинная вереница фонарей, так и здесь пожар помчался вокруг площади, почти одновременно вспыхивая на всех шалашах. Возможно, что бандиты подожгли шалаша сразу в нескольких местах, чтобы удержать народ от преследования. Но вот яркий сполох поднялся над правительственным баракком. Очевидно было теперь только одно: в самом начале пожара злонамеренный набег дезертиров заглох, его участники, судя по всему, убрались из города.

Как только стена за алтарем внезапно вспыхнула, толпа рассыпалась, будто взорвавшаяся граната. Никого уже не интересовали ни сами преступники, ни связанный вардапет, ни, вероятно, убитый Багратян. С каким-то совсем необычным странным криком, похожим на жалобное ржание, люди бросились к шалашам. Все пропало! Гасить пожар нечем. Да и некому заклинаниями уgomонить огонь. Спасайте кто что может спасти! Самое необходимое. Может быть, инструмент, какую-нибудь памятную вещь – все, все, что с таким трудом притащили сюда из долины, дабы оно сопутствовало тебе до самого гроба. И так вьелся в людей, даже в этот страшный час, инстинкт жизни и собственности, что не нашлось ни одного человека, который не был бы подвластен ему. И никто ни разу не подумал: зачем стараться? Кому от этого легче, есть у меня какое-нибудь барахло или нет? Лучше сидеть тихо и смотреть на огонь.

Что до мухтаров, и деревенских богатеев, тех стариков, которых страх словно пригвоздил к месту, когда надо было помочь Тер-Айказуну, – теперь в них вдруг проснулась прыть. Как же? Как же? Мои деньги горят! Такие глянцевые, фунтовые бумажки, спрятанные в углах шалашей, под матрацами – они ведь ждут не дождутся своего спасителя! Деньги есть деньги, эти добытые тяжким трудом священные деньги. Хоть и трудно предположить, что они когда-нибудь понадобятся здесь, на горе...

Подпрыгивая, чуть ли не бегом старики с женами и детьми спешили к шалашам. Кебусян со всем своим семейством давно уже отважно сторожил горевший «Общинный дом». А как же Тер-Айказун? Да уж кто-нибудь, наверное, освободил его...

Еще одна бешеная попытка, и Тер-Айказун сдался. Грубые веревки через шелк ризы натерли руки, грудь. Холодный пот струился по спине.

Извиваясь и крутясь, горящие ветки одна за другой падали на священный престол. Кое-где он уже начал гореть. Языки пламени доставали привязанного. Волосы на голове и бороде в некоторых местах подпалились. Вдруг вспыхнула завеса, но тут же оборвался шнур, и она мощным костром продолжала гореть на ступенях. Что ж, пусть горит!

Площадь опустела. Где-то вдали слышны крики. Люди суетятся возле шалашей. Нет, не позовет он на помощь! Священнику, принявшему мученическую смерть, привязанному к алтарю, прощение всех грехов, безусловно, обеспечено. Снова мимо Тер-Айказуна выстрелом скользнул огненный язык. Лучше бы турки убили его! А так – сыны Армении, собственный народ. Псы! Бешеные псы! И с этими словами из уст



Тер-Айказуна вырвался такой нечеловеческий вопль, что ему показалось, голова его вот-вот расколется. С диким ревом он как можно шире расставил ноги и, как тягловая лошадь на подъеме натягивает построжки, изо всех сил натянул веревки.

Возле шалашей продолжали кричать отчаявшиеся люди. Но когда до них донесся вопль Тер-Айказуна «Псы! Псы!», то одурманенные собственностью мусадагцы опомнились и побежали к алтарю освободить вардапета. Но еще до того, как первый крестьянин подошел к нему, расшатанный столб поддался, помост рухнул, и яркое пламя взмыло вверх. Священник упал рядом. Подбежавшие люди подхватили его, перерезали веревки. Тер-Айказун встал, сделал два-три шага и опустился наземь.

А возле лежавшего в глубоком обмороке Габриэла Багратьяна хлопотали какие-то старики и старухи. Подоспел доктор Петрос. Даже не проверив еще пульс, он понял, что Габриэл жив. Со стоном доктор сел позади командующего и положил его голову себе на колени. Осторожно снял пробковый шлем, который ударом приклада был глубоко надвинут. Габриэл очнулся. «Как от глубокого сна», – подумал он. Ведь все это разыгралось в невероятно короткий промежуток времени, так сказать, во времени и вне времени. Лишь постепенно Габриэл начал ощущать тяжесть в голове. Доктор провел рукой по лбу, волосам – крови нет. Только большая шишка. Но может быть, удар вызвал внутреннее повреждение, может, лопнул мозговой сосуд? Доктор Петрос ласково позвал Габриэла. Тот удивленно оглядел все вокруг и улыбнулся. Нет, он ничего не понимал. Горели шалаша, полыхало огромное пламя над правительственным баракком. Что ж, там было чему горсть – библиотека Григора! Люди вокруг плачут, куда-то бегут, волоча за собой одеяла, простыни. Деревенские певчие и священники, все в облачении, бросились к рухнувшему алтарю, надеясь спасти церковную утварь, евангелие, книги. А Габриэл все лежал па коленях старого доктора, где ему не раз приходилось сидеть ребенком! И какое-то очень грустное чувство завладело им. Но что это? В нескольких шагах лежит Тер-Айказун, и общинный писарь подает ему кружку с водой. Грудь вардапста обнажена, пожилая женщина обкладывает ее мокрыми тряпками. Габриэл с великим удивлением посмотрел на доктора:

– Что случилось?

Доктор Петрос усмехнулся:

– Кабы я это знал, сын мой...

И старик ласково приложил свои коричневые сморщенные ладони к щекам Габриэла.

– С тобой, в этом я глубоко уверен, ничего не случилось.

Габриэль Багратьян вскочил. Очень медленно, как бы нехотя, возвращалось воспоминание о происшедшем. Словно все еще в тяжелом дурмане, он спросил:

– Что с вылазкой?.. Мы предприняли ее?.. Иисус Христос... Южный бастион... Теперь все погибло...

Тер-Айказун тоже приподнялся. И голос его звучал как будто из глубины сознания:

– Теперь уже нет...

Габриэл не услышал его. Гул и треск огня заглушали все. Шаг за шагом, от шалаша к шалашу продвигался вперед пожар. Занялись и деревья, близко стоявшие к Городу. На Алтарной площади собиралось все больше семей со спасенным скарбом. Они словно бы ожидали приказа: куда? как? Несколько женщин приволокли сюда швейные машины – подальше от огня! И все они глазами искали командующего. А его не было. И Тер-Айказун, и Габриэл Багратян все еще не пришли в себя. Петрос в счет не шел. Не видно было ни одного учителя, ни одного мухтара – они тоже были заняты спасенном своего имущества. Но в этот критический час помощь пришла с Северного Седла. Только когда поймешь, что все произошло в промежуток между тем, как упал Тер-Айказун и моментом, когда прибыл Авакян с шестью дружинами, то есть, когда все уже было кончено, – только тогда станет ясно, с какой невероятной быстротой сменялись события. Услыхав пальбу дезертиров, Чауш Нурхан немедленно прислал дружинников. Адьютант бросился к своему командующему.

– Вы ранены, господин Багратян?.. Иисус Христос, на кого вы похожи!.. Скажите хоть слово.

Но Багратян молчал. Быстрыми шагами он покинул площадь, миновал пылавший алтарь, пересек весь город и уже бегом поднялся на пригорок. За ним бокал Авакян. Напряженно, весь устремившись вперед, Габриэл вслушивался, стараясь что-нибудь разобрать в этом гуле пожара.

Какой-то перерывистый треск на юге... Похоже на пулеметную очередь... Вот снова... Может, это обман слуха?..

Громко стучала кровь в голове.

## Глава шестая

### ПИСЬМЕНА В ТУМАНЕ

Молодой офицер все же не ударил лицом в грязь, – он проложил телефонный провод, конечно, не до самого дома Багратянов (столько провода, вероятно, и во всей Четвертой Армии не нашлось бы), а вверх от Хабасты до позиций примерно в четырехстах футах ниже Южного бастиона. При тех трудностях, которые представляли скалистый горный рельеф и далеко не удовлетворительная выучка солдат, это было немалым достижением.

Генерал Али Риза-бей сразу после полудня переоделся в штатское платье – необходимо было скрыть свое присутствие от наблюдателей Мусадагцев – и самолично отправился в Хабасту. Солнце уже скрылось за горными вершинами, когда неуклюжий аппарат, стоявший перед ним на столике, вдруг зажужжал. Однако прежде чем он услышал слабый голос юзбаши на другом

конце провода, прошло довольно много времени – следовало ведь решить несколько технических проблем. Но зато уже после того как все было исправлено, голос юзбаши зазвучал громко и четко и, несмотря на все технические погрешности, можно было расслышать в нем нотки гордого самодовольства:

– Господин генерал! Честь имею доложить – гора в наших руках.

Али Риза-бей с чистым лицом человека непьющего и некурящего, прижимая трубку к уху, откинулся на спинку складного стула.

– Какая гора, юзбаши? Вы имеете в виду ее южные высоты?

– Так точно, эфенди, южные высоты.

– Благодарю. Каковы потери?

– Потерь нет. Ни одного человека!

– Сколько пленных, юзбаши?

Снова какая-то техническая помеха. Генерал строго посмотрел на офицера связиста. Но вот в трубке, правда, с перебоями, вновь послышался голос юзбаши.

– Пленных нет. Окопы неприятеля были пусты. Но мы на это и рассчитывали. Почти пусты. Человек десять, четверо из них мальчишки.

– И что с этими людьми?

– Мои ребята прикончили их на месте...

– Оказывали сопротивление?

– ...сопротивления не оказывали...

– Это значительно умаляет ваш успех, юзбаши. Пленные облегчили бы нашу задачу.

Даже в аляповатой трубке полевого телефона можно было расслышать раздражение в голосе юзбаши:

– Я солдатам такого приказа не отдавал.

Бесстрастный холодок в голосе генерала не изменился:

– А где дезертиры?

– Обнаружено только их тряпье, никаких других следов.

Есть еще сообщения, юзбаши?

– Армяне подожгли лагерь. Далеко видно.

– А эта как вы расцениваете, юзбаши? Какие могут быть причины?

Голос в трубке звучал злобно-мстительно:

– Не мне судить. Господин генерал лучше определяют причины. Может быть, весь сброд уходит с горы... возможно, уже этой ночью...

Прежде чем сформулировать свое мнение, Али Риза-бей устремил вдаль взгляд своих бледно-голубых глаз:

– Может быть... но не исключено, что это какая-нибудь ловушка. Их вожаки не раз водили наших офицеров за нос... Может быть, они задумали вылазку...

После этих слов он обратился к присутствующим:

– Этой ночью усилить посты в долине...

Голос юзбаши звучал теперь требовательно и нетерпеливо:

- Нижайше прошу, господин генерал, отдать дальнейшие распоряжения.
  - Как далеко продвинулись ваши роты?
  - Третья рота и два пулеметных расчета окопались на ближайшей высоте, примерно в пятистах шагах от моего командного пункта.
  - Здесь, внизу, слышны были пулеметные очереди. Что это значит?
  - Небольшая демонстрация...
  - Демонстрация в высшей степени излишняя и вредная... Войска остаются на позициях. Занять оборону на захваченных рубежах.
- Голос на другом конце провода звучал уже коварно:
- Войскам оставаться на позициях. Прошу письменно подтвердить приказ, эфенди... А завтра?

– За полчаса до восхода солнца на северном участке артиллерия начнет пристрелочный огонь. Сверьте ваши часы с моими, юзбаша... вот так... Сразу после восхода солнца поднимусь к вам и возьму командование на себя. Наступаем с юга. Все.

Там, наверху, юзбаша, скрежеща зубами, шмякнул трубку.

– К шапочному разбору прибыл этот генерал от козьего молока. А потом объявит себя победителем Муса-дага!

Габриэл Багратян молча вернулся на Алтарную площадь. Весь недолгий путь он судорожно сжимал руку Авакяна. Огонь уже полыхал над самыми дальними шалашами. Солнце зашло совсем недавно. Но несмотря на огонь, бушевавший вокруг, – сплетенная из веток стена все еще горела – внутри у Габриэла царил мрак. Какие-то мрачные и в то же время жалкие фигуры кружились в бессмысленной пляске, какие-то жалкие и в то же время мрачные голоса разносились по площади. Веса его жизни дрогнули. Разве не вправе он еще раз и уже навсегда ринуться в страну неведения? Стефана нет в живых. Зачем же тогда начинать все с начала? И все же с каждой секундой его голова – этот болезненный сосуд! – наполнялась новыми ясными и такими энергичными соображениями.

Тер-Айказун немного отдышался и встал. Прежде всего он аккуратно сложил разорванный стихарь, епитрахиль и все остальные предметы священнической службы. Наготу свою он прикрыл одеялом, которое кто-то ему дал. В бороде – выжжен кусок, красный рубец от ожога пересекал щеку. Лицо его изменилось до неузнаваемости. Желтоватые впавшие щеки, некогда имевшие цвет камеи, горят лихорадочной краской гнева. Увидев Габриэла, он долго не мог вымолвить ни слова.

Тем временем, спохватившись, прибежали и мухтары. Удалось ли им спасти свои туго набитые кошельки, осталось, правда, неизвестным. Во всяком случае, все они во главе с Товмасом Кебусяном решительно отрицали это: Даже в этот час, последний час перед неминуемой гибелью, мухтары голосили по утраченному добру. Постепенно к ним присоединилось все больше стариков, и общий плач усилился.

Народ уже отказался от борьбы с огнем. Сил доставало только для бестолковой суеты, мало-помалу замиравшей. Дружинники, присланные

Чаушем Нурханом, ничего уже не могли спасти. Опустив руки, они смотрели на огонь, а огонь не облизывал шалаши снаружи, а вырывался изнутри, словно только и ждал возможности вырваться. Потрескивавшие крыши пучились от внутреннего жара, ветер разносил какие-то ошметки горелого тряпья.

Прошло немного времени, и на большой площади уже сидели и лежали вповалку женщины и дети, старики и старухи. Измученные голодом люди уже не могли двигаться. На землистых лицах прыгали отсветы пламени, а запавшие глаза словно бы уже и не воспринимали его. Всем своим видом они говорили: да не посмеет никто из вождей потребовать от нас даже самого малого движения, даже шага одного, мы никуда отсюда не дйинемся до самого конца! Должно быть, уже было достигнуто то состояние, которое можно назвать блаженством гибели.

Однако иссохшие тела и души еще раз были вырваны из этого благословенного согласия со смертью.

Дух Багратьяна вновь обрел мощь. И произошло это почти против его воли. Сначала он даже пытался уйти от болезненного напряжения, которое вызывала такая предельная концентрация. А потом ему стало казаться, что в громыхающей каменоломне его черепа говорит не он, Габриэл Багратьян, а независимо от него – его долг, тот долг, который он взял на себя еще там, внизу, в долине – держать оборону до последней возможности! И в то время, как сознание своего собственного «Я» почти полностью угасло, какая-то бескорыстная сила в нем говорила: «Разве последняя возможность уже исчерпана? Нет! Вероятно, турки заняли Южный бастион. У них пулеметы. Наш лагерь в огне. Чему же быть? Быть новой обороне! Любой ценой преградить путь врагу. А пока отправить весь народ на берег моря. Ему самому – скорее к гаубицам!»

Подошел Авакян. Багратьян накинулся на него:

– Что вы здесь делаете? Немедленно к Нурхану! Чтобы – ни с места! Все дружины, которые я определил для участия в вылазке, сейчас же ко мне! Половина всех вестовых и разведчиков тоже. Надо без промедления создать новую линию обороны. И пусть окапываются, хотя бы на глубину штыка!

Авакян замешкался, хотел что-то спросить, но Габриэл оттолкнул его и повернулся к площади.

– Братья и сестры, не отчаивайтесь! Для этого нет оснований! У нас семьсот отважных бойцов! У нас ружья! У нас две пушки! Вы можете быть спокойны! Но для обороны лучше, чтобы еще этой же ночью все спустились вниз, на берег. А резерв весь Останется здесь, наверху!

Теперь и мухтары оживились. Тер-Айказун отдал им приказ собрать каждому свою общину и по крутой тропе организованно спускаться к берегу моря. Сам он пойдет впереди и выберет место для лагеря. Варда-пета била лихорадка, должно быть, ему стоило огромных усилий вновь вернуться к исполнению долга. Лицо его с обожженной бородой совсем почернело и как-то уменьшилось. Он обернулся к Габриэлу:

– Самое важное сейчас – наказать! Ты должен убить виновных, Багратьян!

Габриэл молча смотрел на него и думал: «Киликяна мне сейчас не найти».

Смертельно измученные люди понемногу стали подниматься. Началась толкотня. Мухтары, деревенские священники, учителя собирали свои общины. А люди безропотно позволяли сгонять себя. Доктор Петрос тайком удалился, решив спасти хотя бы тех больных, которые еще могли двигаться. Великая беда придала этому человеку-развалине невиданные силы.

Ликвидацию лагеря Багратян предоставил Тер-Айказуну. Нельзя было терять ни минуты – никто не знал, как далеко в ночной тьме могли продвинуться турки. Они могли захватить и гаубицы, да и дезертирский сброд неизвестно что еще мог выкинуть...

Вперед! Не время анализировать и взвешивать! Действовать слепо и решительно!

Габриэл собрал всех мужчин и вооруженных и полувооруженных, и молодых, и старых. Даже подростки должны были идти с ним.

Ветер утих. Острый дым прижимал людей к земле. В воздухе стояла вонь от горящих тряпок. Дышать было трудно, глаза слезились. Габриэл отдал приказ:

– Вперед!

Он и объявившийся тем временем Шатахян шагали впереди нового широкого фронта стрелков. За ними плелись усталые люди, всего сто пятьдесят числом, из них треть – шестидесятилетние старцы. И эта жалкая, едва державшаяся на ногах кучка людей должна была разгромить и отбросить четыре роты полного состава с пулеметами, коими командовали один майор, четыре капитана, восемь старших лейтенантов и шестнадцать лейтенантов? Хорошо еще, что Багратяну не были известны силы противника. Но были бы они известны, все равно он не мог бы поступить иначе. Голова его, казалось, делалась все больше, все чувствительней к боли. А ноги, напротив, утратили всякую чувствительность. Порой ему представлялось, что он шагает рядом с самим собой.

По пути к высотке, на которой стояли гаубицы, они должны были проходить мимо погоста. Кладбищенский люд по старой привычке хранил свое добро у мертвецов. Сейчас Нуник, Вартук и Манушак и вся братия, собрав имущество, взваливали туго набитые старьем мешки на спину. Сато помогала им. Нельзя сказать, чтобы переселение сильно встревожило этот народ. Две последние могилы были аптекаря Григора и сына Багратяна. Могила Григора, согласно его последней воле, не была обозначена. На могильном холмике Стефана торчал грубо сколоченный деревянный крест. Отец прошел рядом с могилой, даже не взглянув в ту сторону.

Была уже глубокая ночь, но отсвет от пожара, словно красный свод, нависал над Дамладжком. Можно было подумать, что горит большой город, а не несколько десятков шалашей да несколько деревьев.

На полпути, там, где уже начинался подъем на поросшую травой высотку, на которой стояли гаубицы, случилось нечто вовсе неожиданное. Габриэл и Шатахян остановились. Плетущиеся за ними люди бросились наземь. С

высоты, размахивая ружьями, бегом спускалась цепочка каких-то фигур. Различить можно было только силуэты. Казалось, они подавали подходившим какие-то знаки. Турки? Большинство в этой темени бросилось искать хоть какое-нибудь прикрытие. Но резко выделившиеся на фоне зарева тени нерешительно приближались. Человек тридцать с фонарями. Габриэл различил: впереди себя они толкали связанного. Он сделал несколько шагов навстречу. Шагах в пяти от себя он узнал в связанном Саркиса Киликяна.

Очевидно, это была какая-то отколовшаяся кучка дезертиров. Они бросились перед Багратяном на колени, они бились лбом о землю. Древняя поза покаяния и самоуничтожения. Что еще говорить? Как оправдываться? Все пути им были отрезаны. А ведь веревки, которыми связан Киликян, – неплохое доказательство, что они раскаиваются в чудовищности содеянного, вот, мол, они привели с собой козла отпущения и готовы принять любое наказание. Кое-кто из этих дезертиров с какой-то почти детской поспешностью сваливал награбленное к ногам Багратяна. Среди украденных вещей можно было увидеть и магазины с патронами, и все, что было извлечено из Трех шатров. Но Габриэл видел только Киликяна.

Сами дезертиры заставили встать Киликяна на колени. Он откинул голову. В зыбком свете пожараща можно было хорошо различить его черты. Спокойные глаза так же мало выражали желание жить, как и желание умереть. Они следили за своим судьей безо всякого волнения. Багратян наклонился к этому чудовищно молчаливому лицу. И даже сейчас он не мог подавить в себе какую-то симпатию, смешанную с долей уважения, которую всегда испытывал, видя Киликяна.

А что, этот Киликян, этот призрак-зритель действительно был во всем виноват? Все равно! Не вынимая револьвера из кармана, Габриэл снял его с предохранителя. И вдруг резким движением поднес его ко лбу дезертира. Осечка! А Киликян даже не закрывал глаза. Только дрогнули губы и ноздри. Это было похоже на подавленную улыбку. Багратяну показалось – этот выстрел-осечку он направил в самого себя. Когда он второй раз нажал курок, то почувствовал такую слабость, что вынужден был отвернуться.

Так умер Саркис Киликян. Он прожил непостижимую жизнь меж тюремных стен. Еще малым ребенком он спасся от турецкой резни и от турецкого залпа, а, став мужчиной, погиб от руки соплеменника.

Габриэл махнул дезертирам – идите, мол, за мной.

Двое из раскаявшихся дезертиров навязались разведать расположение турецких войск. В своем донесении они усугубили и без того горькую правду. Быть может, жалкое состояние этого отребья, к тому же ожидавшего кары, заставляло преувеличивать факты, возможно, они, преувеличивая вражеские силы, пытались уменьшить собственную вину. Да и как же нескольким десяткам дезертиров устоять перед хитрым обходным маневром турецких регулярных войск?

Габриэл Багратян смотрел куда-то мимо разведчиков, и так и не сказал ни слова. Он-то понимал, что большая доля вины лежит на нем самом. Это он

пренебрег предостережениями и не произвел перегруппировку преступного гарнизона...

Самвел Авакян со своей ударной группой дружинников давно уже присоединился к Багратяну. Прошел примерно час, и через высотку и все иссеченное расселинами плато до самого леса и вплоть до скал растянулись две неплотные линии дружинников – одна в затылок другой. Если даже молодые бойцы с Северного сектора выдохлись, чего же тут говорить о стариках резерва. Они валились, как гнилые бревна, там, где им приказано было залечь, – не засыпая и не бодрствуя. Приказ набросать из земли и камней нечто вроде бруствера, чтобы хотя бы прикрыть голову, почти никто не выполнил. А Габриэл, после того как обошел всю линию от бойца к бойцу и установил перед этим безнадежно длинным фронтом редкую цепь передовых постов, отправился к гаубицам. Весь рельеф Дамладжка, да и все расстояния и все ориентиры он держал в голове. Потому-то он и мог в своем блокноте сразу же отметить все прицельные данные для Южного бастиона.

После знойного, как в пустыне, дня наступила первая осенняя ночь, а с нею и неожиданный холод. Габриэл сидел один у орудий, прислугу которых он отправил спать. Авакян раздобыл ему одеяло, но он не закутался в него – все тело горело, казалось, вот-вот отлетит голова, уж очень она была легкой. Габриэл вытянулся и лежал, не бодрствуя и не засыпая. Глаза его были устремлены в красное небо. Отсвет пожара делался все шире, все глубже. В голове стучал назойливый вопрос: как давно горит алтарь? Какое-то время он, должно быть, не осознавал себя, ибо вдруг что-то поблизости разбудило его. Впрочем, в самом мгновении пробуждения – сказочно бесконечном мгновении! – было так много узнавания, так много материнской благодати; что он и не желал полного пробуждения. А единение пробуждающегося с тем, кто находился рядом, было так велико, что появление реальной Искуи даже разочаровало его, ибо оно принесло с собой осознание неизбежного. При виде Искуи он прежде всего подумал, о Жюльетте. Целую вечность он не видел жены, да и не думал о ней. Первый его тревожный вопрос был:

– А Жюльетта? Что с Жюльеттой?

Собрав последние силы, Искуи еле добрела сюда. Все происшедшее растворилось, как в тумане. И только одно жгло ее непрестанно: почему он не приходит? Почему бросил меня? Почему не зовет в последний час? Однако все ее вопросы задохнулись, потонули в этом его вопросе о Жюльетте. В ответ она только молчала. Прошло довольно много времени, прежде чем она взяла себя в руки и в отрывочных словах поведала обо всем, что произошло на площадке Трех шатров: о налете дезертиров, о смерти Шушик, о ранении Арама, рассказала и о том, как доктор Петрос тщетно уговаривал Жюльетту, чтобы она позволила Геворку снести ее на берег. Жюльетта подняла крик и все говорила, что не уйдет из своей палатки... А раненый Арам все еще лежит там...

Габриэл не сводил глаз с неблекнущего огромного пятна на небе.

– Так даже лучше... До утра ничего не произойдет... Времени еще достаточно... Ночь под открытым небом могла бы убить Жюльетту...



Что-то в этих словах сделало больно Габриэлу. Он шелкнул карманным фонариком. Однако израсходованная батарея дала не больше света, чем дал бы светлячок. И ночь казалась еще темней, чем все предыдущие, несмотря на трагически красный небосвод и то и дело взлетающие над Котловиной Города языки пламени. Габриэл едва различал Искуи рядом с собой. Он тихо дотронулся до нее и испугался – какие же ледяные, какие истощенные были ее щеки и руки! Прилив нежности захлестнул его! Подняв одеяло, он укутал девушку.

– Как давно уже ты ничего не ела, Искуи?

– Майрик Антарам приносила нам поесть, – солгала она, – мне ничего не надо.

Габриэл прижал Искуи к себе, надеясь вернуть блаженный миг пробуждения, вызванный ее близостью.

– Так странно было и так хорошо, когда я только что проснулся и ты стояла рядом. Как давно ты не была со мной, Искуи, сестричка моя!.. Я так счастлив, что ты пришла, Искуи... Я счастлив, Искуи...

Лицо ее медленно склонилось к нему, как будто она была слишком слаба, чтобы прямо держать голову.

– Ты же не пришел... Вот я и пришла сама... Уже настал последний час, правда?

Голос его звучал глухо, как во сне:

– Думаю, что настал...

В ответных словах Искуи звучало усталое и все же упрямое требование своего права:

– Ты же знаешь, о чем мы с тобой говорили... и что ты мне обещал, Габриэл?

– Может быть, у нас еще целый день впереди, – сказал он, и его слова возвратили ее из далекого одиночества. С глубоким вздохом она повторила их, как слова-подарок:

– ... целый день впереди...

Все теплей делалась рука, обнимавшая его.

– У меня большая просьба к тебе, Искуи... Мы же много говорили об этом... Жюльетта намного несчастнее, чем мы оба...

Она отвернулась. А Габриэл взял ее больную руку в свою и все гладил и целовал ее.

– Если ты меня любишь, Искуи... Жюльетта так бесконечно одинока... так бесчеловечно одинока...

– Она ненавидит меня... не выносит... Не хочу ее видеть...

Рука его почувствовала, как судорога сотрясала ее.

– Если ты любишь меня, Искуи... Прошу тебя, останься с Жюльеттой... Как только взойдет солнце, вам следует покинуть палатку. Я тогда буду спокойнее... Она безумна, а ты здорова... Мы снова увидимся, Искуи...

Голова ее упала на грудь. Искуи беззвучно рыдала. Вдруг он шепнул ей:

– Я люблю тебя, Искуи... Мы будем вместе...

Немного погодя она попыталась встать:

– Я пойду...

Он удержал ее:

– Подожди еще, Искуи. Побудь со мной... Ты так нужна мне...

Наступило долгое молчание. Он ощутил тяжелую неподвижность своего языка. Нарастала стучащая боль в голове. Череп его, до этого легкий, как воздушный шар, превратился в громадную свинцовую пулю. Габриэл сник, как будто его снова ударили прикладом... Глаза Саркиса Киликяна, серьезные и апатичные, его тупой взгляд, устремленный на него. А где Киликян теперь? Разве он, Габриэл, не приказал унести труп? Все, что произошло за последние часы, представлялось Габриэлу чуждым, как какой-то нелепый слух...

Габриэл погрузился в тягостное раздумье, все это время он ощущал себя центром чудовищной головной боли, волнами набегавшей на него... А когда он наконец испуганно очнулся, Искуи уже поднялась. Он в ужасе нащупал часы.

– Который час?.. Иисус Христос!.. Нет, время, время! Зачем мне одеяло? Ты же дрожишь от холода. Нет, ты права, лучше тебе уйти сейчас, Искуи... Ты походи к Жюльетте... У вас еще пять, даже шесть часов... Я пришлю вам Авакяна... Доброй ночи, Искуи... Возьми одеяло, прошу тебя, ради меня возьми!.. Мне оно не нужно...

Он еще раз обнял её. Ему чудилось, что она ускользает, подобно невесомой тени. Он еще раз обещал:

– Это не прощание, Искуи. Мы будем вместе...

Когда Искуи уже ушла и он собрался снова лечь, у него вдруг сжалось сердце: она так слаба, что неспособна идти! Руки и ноги у нее замерзли. Ее тело хрупко и немощно. Она же сама больна! А он отослал ее к Жюльетте!

Габриэл корил себя, что не прошел с Искуи хотя бы небольшую часть этого – такого мрачного и коварного – пути. Он вскочил и побежал с высоты, крича:

– Искуи! Где ты? Подожди меня!

Никакого ответа. Она ушла уже далеко и не слышала его голоса.

Со стороны горящего лагеря все еще доносились гул и треск. Бог знает откуда при подобной бедности огонь брал так много пищи: уже глубокая ночь, а он все такой же шумный и говорливый. Теперь уже горели все деревья и кустарники, росшие неподалеку от лагеря. Быть может, турок завтра встретит второй пожар горы?

Габриэл прошел несколько шагов в сторону площадки Трех шатров. Так и не нагнав Искуи, он повернул обратно и медленно побрел к орудиям. Его часы – он заводил их регулярно, единственная привычка из того большого мира, – не показывали еще и часа. Но заснуть ему уже не удалось.

Около трех часов после полуночи пожар в Городе стал затихать. Кое-где еще рдели тлеющие ветки, и время от времени вспыхивали языки пламени, эти свидетели миновавшего. Деревья, правда, еще горели, но и здесь уже был виден предел. В небе же пламенело зарево: пожар пережил свою первопричину. Громадное красное пятно не исчезало. Должно быть, туман впитал в себя

отсвет огня и удерживал его, будто нечто материальное...

Габриэл разбудил Авакяна. Студент спал прямо на земле, тут же, возле гаубиц. И так крепко, что Багратяну пришлось долго трясти его. Доброту человека определяют по тому, как он ведет себя, когда его будят. Авакян кого-то оттолкнул и, ничего не понимая, приподнял голову. Но как только он понял, что перед ним сам шеф, вскочил и смущенно улыбнулся в темноту, словно извиняясь за столь крепкий сон. Его готовность исполнить приказ была гораздо большей, чем позволяло его полусонное состояние. Габриэл протянул ему бутылку, в которой еще оставалось немного коньяку:

– Выпейте, Авакян... Смелей! Вы мне сейчас очень нужны. У нас не будет больше времени поговорить друг с другом...

Они сели спиной к Городу и так, чтобы наблюдать за постами вдоль новой оборонительной линии. Кое у кого из дружинников были затемненные фонари. Эти загадочные огоньки как-то вяло передвигались то в одну, то в другую сторону. Ветра по-прежнему не чувствовалось.

– А я не спал ни минуты, – признался Габриэл, – много думал, несмотря на эту шишку, а она дает о себе знать, черт бы ее побрал.

– Жаль. Вам надо было поспать, господин Багратян.

– Зачем? День, который мы так успешно отодвигали, настал. Да, я хотел вам сказать, Авакян, – и вам должны быть благодарны люди. Мы с вами неплохо поработали вместе. Вы самый надежный человек, которого я когда-либо встречал. Простите за эти глупые слова, все это, конечно, гораздо больше...

Авакян сделал смущенный жест. Но Габриэл положил ему руку на колено:

– Когда-нибудь ведь надо откровенно поговорить друг с другом... И когда же, как не сейчас.

– Эти псы, дезертиры, все уничтожили, – видимо, желая скрыть свое смущение, сказал студент, но Багратян как бы отодвинул все прошлое:

– Об этом нам незачем больше думать. Когда-нибудь это должно было случиться... А все ожидаемое на этом свете, как правило, наступает обычно самым неожиданным образом... Но не об этом я хотел говорить... Послушайте, Авакян, у меня такое чувство и, признаюсь, весьма определенное, что для вас все кончится благополучно. Почему – я и сам не знаю. Возможно, это и нелепо, но я вас опять видел в Париже, Авакян. Один дьявол знает, каким образом вы туда попали, вернее, каким образом вы туда попадете...

В темноте тихо светился бледный лоб домашнего учителя.

– Но это нелепо, извините, господин Багратян. Чем все это кончится для вас, тем оно кончится и для меня. Ничто другое и невозможно.

– Почему же?.. Конечно, трезво рассуждая, вы правы. Но предположим, что эта нелепица сбудется и вам удастся каким-то образом уйти отсюда...

Габриэл прервал себя, напряженно всматриваясь в пустоту, как будто он там хорошо видел счастливое будущее Авакяна. Затем он достал бумажник и положил его рядом:

– Я совсем не собирался оставлять вас здесь, а хотел послать вновь в

Северный сектор. Когда вы с Нурханом – я спокоен. Но все это теперь безразлично. Вы должны мне оказать гораздо большую услугу, Авакян. Я прошу вас остаться с женщинами. Я имею в виду мою жену и мадемуазель Товмасян. И это связано с тем предчувствием, которое я испытываю относительно вас. Возможно, что вы счастливец и принесете счастье. Сделайте все, что можете! И особенно позаботьтесь о том, чтобы сразу после восхода солнца очистили палатки. Позаботьтесь и о том, чтобы мадам снесли с горы как можно бережнее. И пожалуйста, возьмите для этого кого-нибудь другого, не Геворка. Я не могу думать о его руках! Возьмите Кристофора и Мисака...

Самвел Авакян стал возражать. Предстоит последний бой, и он будет необходим, как никогда. Столько важных вопросов еще надо решить... Совесть адъютант принялся перечислять сотни дел, которые он еще должен сделать. Но командующий нетерпеливо прервал его:

– Нет и нет! Ничего не надо больше делать. Оставьте это мне. Здесь вы мне больше не нужны. Ваша служба тем самым окончена, Авакян. Такова моя просьба и мое настоятельное желание.

И он вручил Авакяну запечатанный конверт:

– Я передаю вам свое завещание, друг мой. Оно останется у вас до тех пор, покуда мадам не выздоровеет. Вы меня понимаете? Я рассчитываю на свое предчувствие относительно вас. Вот чек в Лионский банк. Я ведь даже не знаю, за сколько месяцев я должен вам жалованье! Разумеется, вы вполне правы считать меня безумцем. В нашем положении подобные расчеты абсурдны. Но я педант. Возможно, правда, что все это одно суеверие, а я немного колдун, понимаете? Да так оно и есть – немного-то я колдую!..

Рассмеявшись, Габриэл вскочил. Теперь он производил впечатление свежее и уверенное.

– Если я вас переживу – ни завещание, ни чек не действительны.

Итак, соберитесь с силами.

Смех его звучал нарочито. Авакян, держа бумаги подальше от себя, вновь запротестовал. Но Габриэл гневно оборвал его:

– Ступайте, прошу вас, мне как будет легче.

Последние часы перед рассветом тянулись бесконечно долго. Стиснув зубы, Багратян всматривался в редяющую темноту. При первой же возможности он установил прицел на Южный бастион. Густой утренний туман долго не рассеивался.

Совершенно неожиданно из него вдруг вырвалось раскаленное гневное солнце.

Габриэл встал по-уставному справа от гаубицы на одно колено и со злостью дернул запальный шнур.

Удар! Рывок лафета назад! Огонь, дым, вой удаляющегося снаряда, сжатые до твердости кристалла секунды ожидания – все вместе принесло освобождение. С выстрелом гаубицы разрядилось и тяжкое, непереносимое напряжение в душе командующего.

По какой же причине столь осмотрительный военачальник Муса-дага принялся транжирить невосполнимые снаряды еще до того, как турки перешли в наступление? Хотел ли он разбудить или напугать противника? Хотел ли поднять дух своих дружин? Надеялся ли одним выстрелом так опустошить ряды турок, что они не посмели бы подняться в атаку? Ничего подобного! Не было у Габриэла Багратяна тактических соображений, когда он дергал запальный шнур, – было только одно: он не мог больше ждать! То был крик боли, его упрямой стойкости, крик о помощи, полуликующий, полутрагический крик, ибо ночь миновала! Но не только он, все эти обессиленные, замерзшие люди, лежавшие каждый в своей ячейке, чувствовали себя точно так же. С искаженными лицами они прислушивались, ожидая ответа. Выдвинутые вперед посты поднялись на ближайшие высоты, но, сколько хватало глаз, все плато, весь Дамладжк лежал перед ними мертвым. Турки, по-видимому, еще не покинули своих исходных позиций, в том числе и на севере. Но ответ все же последовал. Правда, до этого прошло некоторое время, и Габриэл Багратян успел сделать еще два выстрела! И тогда раздался невероятный громовой удар. Никто ничего не мог понять – что это, откуда? Что-то прошуршало высоко в небе, заполнив все нагорье от Амануса до Эль-Акра, а где-то вдали, должно быть, в долине Оронта, послышался глухой разрыв. И этот великий гром родился на море.

Еще ночью армянские общины без всякого определенного порядка разместились на берегу под крутой морской стеной Дамладжка. Тер-Айказун приказал мухтарам доставить ему учителя Гранта Восканяна живым или мертвым. Душа вардапета была полна одним жгучим желанием – отомстить за поруганный закон, отомстить за чудовищное предательство. Для Тер-Айказуна учитель и «комиссар» был предателем в гораздо большей степени, чем Саркис Киликян. Тер-Айказун готов был собственными руками задушить черного Коротышку. Никогда еще никто не видел вардапета в таком состоянии. Он сидел среди йогонолукцев, которые расположились вдоль тропы, спускавшейся к морю, – там, где на небольшом клочке росла трава или редкий кустарник. Уронив голову на колени, Тер-Айказун никому не отвечал, порой только рывком выпрямлялся, размахивал кулаками и выкрикивал чудовищные проклятия, при этом слезы гнева катились по его лихорадочно красным щекам.

Товмас Кебусян устроился на спасенном от пожара одеяле и бессмысленно качал своей лысой головой. Рядом с ним сидела его половина и верещала фальцетом. Это, мол, он сам виноват во всем. Если бы он вовремя съездил в Антакье в хюкюмет, конечно же, каймакам сделал бы исключение для такой богатой и уважаемой семьи, как Кебусяны. И теперь сидели бы они в мире и покое в уютном доме на обвитой плющом деревянной веранде... Кебусян не обращал внимания ни на упреки жены, ни на приказ вардапета. Да и кого посылать, чтобы взять под стражу учителя? Все, кто еще мог кое-как двигаться, остались с Багратяном.

А Грант Восканян тем временем прятался неподалеку от Скалы-террасы. И не один – к нему присоединились приверженцы его религии самоубийства. В

эти дни и месяцы среди армянской нации можно было найти не одного проповедника самоубийства. Все тело народное извивалось в мертвой хватке. Самоубийством кончали даже те, кто был в полной безопасности. Не только обреченные на поругание женщины топились в водах Евфрата, в европейских городах армяне в каком-то непостижимо едином порыве накладывали на себя руки. Но на самом Муса-даге до сих пор не было ни одного случая самоубийства. Достаточно удивительно, если учесть полностью развалившуюся жизнь в лагере, ежедневную смертельную опасность, сознание неизбежности чудовищного конца, медленную голодную смерть пяти тысяч человек! И даже в эту ночь за Восканяном последовало только четыре жалких его приверженца: один мужчина и три женщины. Мужчине, ткачу из Кедер-бега, было лет пятьдесят, но вид у него самого был что ни на есть немощного старца. Среди ремесленников армянской долины ткачи составляли как бы отдельное сословие, – из-за слабого телосложения они не подходили ни для пополнения дружин, ни для тяжелых работ, которые выполнялись резервом. Как и все обделенные, они являлись благодатным объектом для всякой нелепой агитации – как религиозной, так и политической.

Проповедь добровольной смерти нашла горячий отклик в душе Маркоса Арцруни – так звали ткача. Из женщин старшая была уже матроной, потерявшей всю свою семью, но две другие были еще молоды. У одной из них накануне от голода умер на руках ребенок. Вторая – меланхоличная особа, немного не в своем уме, замужем не была и происходила из богатой йогонолукской семьи.

Гонимый страхом, Восканян еще во время мятежа бежал в это укромное место. Маркос Арцруни, «апостол пророка», выследил его и привел, к учителю трех женщин, жаждавших выполнить завет. На миру, как говорится, и смерть красна! Ткач оказался апостолом неумолимым, из тех, которые не терпят, чтобы пророк отступал от учения хотя бы на йоту. Вот уже несколько дней он регулярно навещал учителя в его тайнике, дабы укрепить свою новую веру.

Все пятеро сидели под большим камнем, закрывавшим подступы к Скале-террасе. Они мерзли и потому сидели, прижавшись друг к другу. Грант Восканян еще раз кратко изложил свои взгляды как на жизнь, так и на смерть. Но сегодня его слова звучали заученно и фальшиво. Казалось, и пронзительный голос великого молчальника звучал уже не так резко. Но иногда он сам разогревался от собственных слов, должно быть, ради того, чтобы не разочаровать своего «апостола». Восканян сидел рядом с меланхоличной девушкой, между прочим, довольно миловидной, немало удивляясь тому, что за несколько минут до принятия самого возвышенного решения, на которое способен человек, податливая близость женского тела может действовать столь живительно. Но как бы то ни было, он довольно уверенно отвечал матроне, которая доверчиво спросила учителя, человека безусловно ученого, – каковы последствия самоубийства для пребывания на том свете?

– Это ведь большой грех, учитель. Большой. И иду я на это только чтобы встретиться со своими, и поскорей встретиться. А что если мне вдруг не

позволят их повидать, и я навечно останусь в преисподней? Это ж правда, очень большой грех?..

Восканян поднял свой острый, слабо светившийся в темноте носик:

– Ты только вернешь природе то, что природа дала тебе.

Эти многозначительные слова, очевидно, доставили ткачу Арцруни немало удовольствия. Выпятив свою тощую цыплячью грудь, он прокаркал:

– Это он тебе хорошо выдал, старая... Хочешь со своими встретиться, можешь и до завтра подождать. Турки тебя не пропустят. А для гарема ты уже никому не нужна. Я, к примеру, ждать не желаю. Сыт по горло...

Женщина, скрестив руки на груди, нагнулась вперед.

– Иисус Христос простит меня... Одному богу все известно...

Тем самым и учителю была подброшена великолепная реплика.

– Одному богу все известно? – повторил он. – Если уж прощать его за то, что он сотворил этот мир, то только по одной причине – ничего, ну ничегошеньки-то он не знал... Вши мы для него, поняли? И без нас у него дел хватает.

А «апостол» Арцруни повторил с издевкой:

– ... Без нас у него дел хватает... Ясно теперь?.. Вши мы для него...

Наш же пророк, утомленный собственным остроумием, обратился к матроне, столь боящейся греха:

– Как ему заботиться о тебе, когда он – это глупость в твоей башке.

Ткач несколько мгновений хлопал глазами, потом, вдруг громко вскрикнув от восторга, ударил себя по ляжкам и принялся раскачиваться, как молящийся мусульманин:

– Только в твоей башке вся эта глупость, старая... Поняла или как?.. Только в твоей башке... вот ты и выплюнь ее, выплюнь!

Богохульство и смех Арцруни вызвали у молодой матери страшное возбуждение. Она вспомнила, как из ее рук вырвали окоченелый трупик. И тот, кто это сделал, один из санитаров, сразу убежал, должно быть, чтобы выкинуть ее трехлетнего сыночка. Многие часы потом она искала трупик, но его, вероятно, сбросили в море. Хорошо бы! Вот мать и хотела теперь поскорее встретиться с сыном в том же море. Она вскочила, выкрикивая:

– Чего вы тут без конца говорите! Часами только и делаете, что говорите! Идемте, наконец!

Учитель прикрикнул на нее:

– Очередь должна быть.

Миновала полночь, когда они принялись устанавливать очередь.

Арцруни предложил бросать жребий. Но Восканян сказал, что первыми должны пойти женщины, так уж положено, сначала старшая, затем та, что помоложе, и под конец самая младшая. Решение свое он ничем не мотивировал, но так как никто из женщин не возражал, на том и порешили. Жребий же под конец он решил бросить только для себя и своего «апостола». Судьба решила против него, а впрочем, если угодно, то и за него, ибо определила ему место впереди ткача.

Все еще не чувствовалось ветра. Где-то далеко внизу ворчало беспокойное море. Темень была такая, что казалось – ее можно потрогать. С предельной осторожностью, передвигаясь ощупью, учитель добрался до края Скалы-террасы. Дрожащей рукой установил фонарь. Сколько спокойствия было в этом маленьком пятнышке света, обозначавшем границу между этим и тем миром! Восканян поспешил ретироваться. А затем, как опытный церемониймейстер преисподней, приглашающим жестом указал в направлении фонаря.

Матрона постояла несколько минут на коленях, без конца осеняя себя крестом. Потом, встав, мелкими шажками двинулась вперед и исчезла, даже не вскрикнув. Молодая мать сразу же последовала за ней. Она даже взяла разбег и канула в темноту, не успев вскрикнуть... Меланхолическая девушка долго колебалась. Под конец даже попросила учителя подтолкнуть ее. Но Восканян решительно воспротивился оказать ей эту услугу. Тогда девушка на четвереньках поползла к краю. Там она снова задумалась. Потом вдруг схватила фонарь и опрокинула его. Фонарь покатился в никуда... Вместо того, чтобы оставаться на месте или отползти, девушка протянула руки за фонарем, наклонилась вперед, потеряла равновесие... Долго еще был слышен ее жуткий крик: несчастная зацепилась за какой-то выступ, прежде чем исчезнуть в глубине...

Восканян и Арцруни молча стояли в темноте. Так прошло довольно много времени. Предсмертный крик меланхолической девушки еще терзал мозг учителя. Апостол напомнил:

– Учитель, твоя очередь!

Но Грант Восканян все думал. Затем не очень уверенно сказал:

– Фонаря нет. А в темноте я не собираюсь этого делать. Подождем рассвета. Теперь уже немного осталось.

Ткач вполне справедливо заметил:

– Учитель, в темноте же легче!

– Может быть, тебе легче, но не мне, – гневно отрезал «пророк». – Мне нужен свет!

Должно быть, Маркос Арцруни удовлетворился этим несколько выпреним ответом. Он стоял совсем близко к Восканяну, и как только учитель делал хотя бы малое движение, хватал его за фалды. То были грязные и рваные остатки некогда роскошного сюртука, который Восканян заказал себе, надеясь переплюнуть Гонзаго и возвыситься в глазах Жюльетты. Хватка, которой Арцруни вцепился в своего «пророка», свидетельствовала одновременно и о страхе, и о преданности, и о недоверии. Так-то Грант Восканян стал пленником своего собственного учения! Раз он даже сделал попытку вскочить и убежать, не тут-то было, ткач мигом водворил его на место. Нет, не было у него никакой возможности избавиться от своего ученика.

Когда, казалось бы, по прошествии целой вечности в предрассветных сумерках обозначился край скалы, Арцруни встал и скинул куртку:

– Так вот что, учитель, темень сгинула.



Восканян потягивался и зевал так, как будто он долго и крепко спал, потом, не торопясь, поднялся. Очень обстоятельно сморкался, прежде чем, сопровождаемый «апостолом», сделал несколько шагов вперед. Но, не дойдя до края, обернулся:

– Лучше будет, если ты первым пойдешь, ткач.

Жалкий Арцруни в грязной рубахе настороженно приблизился к Восканяну:

– Почему я, учитель? Мы бросили жребий – первому тебе досталось идти. Все три бабы ушли впереди нас.

Заросшая физиономия Восканяна побелела:

– Почему, спрашиваешь? Потому что я хочу быть последним. Не желаю, чтобы ты потом удрал и посмеивался в кулачок!

Казалось ткач обдумывает слова «пророка», но он вдруг набросился на учителя. Однако «пророк» разгадал намерения ученика и к тому же очень скоро понял, что, несмотря на свой малый рост, он сильнее иссохшего Арцруни. И все же фанатик, обманутый в своей вере, мог стать опасным. Тогда Восканян позволил подтянуть себя немного к краю скалы. Несомненно, сумасшедший хочет увлечь его за собой! Вдруг учитель упал, одной рукой вцепился в низкорослый кустарник, а другой схватил правую ногу ткача. Тот тоже упал. С бешеной силой учитель принялся толкать ногами своего ученика – в лицо, в живот – куда попало. Как это случилось, он сам не понял, но через некоторое время он почувствовал, что ноги его месят пустоту. Тело Арцруни, шелкоткача, перекатилось через край и рухнуло в туманную глубину.

Восканян замер. Потом тихо, сантиметр за сантиметром, все еще сидя, отодвинулся от края. И вдруг почувствовал – спасен! Но это длилось только несколько мгновений. Он тут же понял – и эта победа ему не поможет! Никогда ему не вернуться в общество порядочных и честных людей. Не может он и бежать...

Коротышка учитель вскочил и, не сгибая колен, стал расхаживать взад-вперед. Как всегда в трудный час, когда ему приходилось утверждать свою особу, он выпятил цыплячью грудь. Но порой Восканян словно бы переламывался пополам и прыгал в тумане, будто птица со сломанным крылом. Внезапно сложившейся стихотворной строкой он пытался утешить себя и одновременно встряхнуться. Двадцать раз он повторял:

Пусть ярко светит солнце,

Я в сумрак – не могу!

Так, бегая, он споткнулся о палку. Это оказался флагшток и полотнище с призывом о помощи «Христиане терпят бедствие». Ветер опрокинул и закатил его сюда. Скалу-террасу давно уже покинули и наблюдатели, и похоронная команда. Грант Восканян, не сознавая, что делает, поднял довольно тяжелый флагшток, взвалил его себе на плечо – и странный знаменосец стал топтать взад и вперед. Как бы ему хотелось теперь запрятать солнце за Аманусовыми горами! Но оно взошло, взошло красное и гневное. Трепещущая и беспомощная мысль овладела им: бежать скорей с этой проклятой скалы! Спрятаться! Лучше

умереть голодной смертью...

Но Восканян уже не мог отступить. Он же сказал себе: пусть ярко светит солнце! И ведь ждали его там те три женщины и ткач... Еле переступая, неся впереди себя знамя, он подходил все ближе и ближе к краю бездны. Внизу шевелились клочья тумана. Они то собирались в клубы, то расплзались, а то, переплетаясь, кружили друг возле друга, время от времени открывая кусок моря. А оно лежало гладкое и блеклое, как темно-серое полотно. В одном месте посреди этого полотна что-то поблескивало. Грант Восканян зажмурил глаза. Должно быть, и впрямь он с ума сошел, а ведь так всегда этого боялся. Он то открывал, то закрывал глаза, – и так без конца. Туман тем временем растворился, но поблескивающее пятнышко не исчезло, а будто прилепилось к серому полотну. Да и не блестело оно совсем, а оказалось сизо-серым кораблем с четырьмя трубами, отсюда, сверху, он представлялся маленьким и даже игрушечным. Порой на него наплзали клочья тумана, и он исчезал из виду. У Восканяна были острые глаза, и он без особых затруднений прочитал на носу корабля освещенные острыми утренними лучами большие черные буквы: «ГИШЕН».

У Восканяна вырвался жалкий стон. Чудо свершилось. Но не для него. Всех спасут. Только не его. Он изо всех сил стал размахивать полотнищем с надписью «Христиане терпят бедствие!». Он махал все быстрее и быстрее, махал неустанно, махал долгие минуты.

Над капитанским мостиком в ответ подняли французский сигнальный вымпел. Но Восканян не видел его. Он сам себя не сознавал в эти минуты, а только размахивал белым полотнищем из стороны в сторону, водил его над головой кругами. Даже постанывал от напряжения. Да, покуда у него хватало сил, ему можно было жить.

Где-то наверху прогремели гаубицы Багратяна. Все короче, все неравномернее были взмахи армянского флага... А вдруг ему удастся тайком пробраться на корабль? – подумал Восканян. И в это же мгновение, увлекаемый скорей тяжестью флага, чем собственной волей, он дико вскрикнул от ужаса и сделал шаг в пустоту...

В этот же миг двадцатичетырехсантиметровое орудие «Гишена» произвело свой первый выстрел. То был приказ туркам: «Ни шагу дальше!»

Для генерала, каймакама и юзбаши этот выстрел явился ударом грома среди ясного неба. Несколько минут тому назад эти господа собрались у юзбаши, а ведь для больного печенью толстого каймакама раннее вставание и подъем на гору были тяжким испытанием. Четыре командира рот стояли вокруг юзбаши, чтобы получить приказ о наступлении. Разведка накануне ночью хорошо поработала: все новые местоположения мусадагцев на морской стороне были засечены, стало известно также, что с юга Дамладжк защищен только двумя редкими цепями стрелков, к тому же плохо окопавшимися. Согласно приказу генерала Али Ризы только две роты с пулеметами должны были наступать на эти слабые цепи, как только на севере горная артиллерия начнет обрабатывать армянские окопы. И каймакам и юзбаши были уверены в том, что

не более, чем через час всякое сопротивление будет сломлено. Вслед за тем северная и южная группы соединятся, чтобы совместно ликвидировать лагерь на морском берегу. Никто не должен ускользнуть!

Первая граната из гаубицы Багратяна разорвалась на осыпи пониже скальной башни, вторая пролетела еще дальше, но третья ударила довольно близко от группы офицеров. С воем разлетелись осколки. Два пехотинца лежали на земле, корчась от боли. Юзбаши с ленцой закуривал сигарету.

– Первые потери, господин генерал.

Молодое, почти прозрачное лицо Али Ризы стало темно-красным. Губы сжаты еще плотнее, чем обычно.

– Приказываю, юзбаши, взять этого Багратяна только живым и привести ко мне лично!

Не успел он договорить, как грянул гром: «Ни шагу дальше!» Господа бросились к западным окопам, откуда хорошо просматривалось море.

Словно примерзший, «Гишен» со своими четырьмя трубами стоял в свинцовой воде. Над трубами висело облако черного дыма. Дымок у среза стволов уже рассеялся. Должно быть, капитан решил ограничиться одним предупредительным выстрелом по долине Оронта.

Дрожа от негодования, каймакам заговорил первым:

– Чтобы вы знали, генерал! Вам подведомственны военные дела. Но окончательное решение остается за мной.

Не отвечая и не опуская бинокля, Али Риза рассматривал «Гишен». Каймакам, в решительные минуты обычно занимавший сонно-выжидательную позицию, на сей раз потерял всякий контроль над собой.

– Требую от вас, генерал, чтобы вы отдали приказ о немедленном начале операции. Корабль на рейде не должен нас удерживать.

Али Риза опустил бинокль и обратился к адъютанту:

– Свяжитесь с Хабастой. Мой приказ передать с наивозможно большей скоростью по цепи на северные позиции; «Огня не открывать!».

– Огня не открывать! – повторил адъютант и бросился прочь.

Каймакам выпрямил свою рыхлую, но внушительную фигуру:

– Что означает этот приказ? Я требую разъяснений, эфенди!

Генерал, не обратив на него никакого внимания, остановил взгляд своих серо-голубых глаз на юзбаши:

– Прикажете оттянуть назад все выдвинутые вперед части. Все подразделения оставляют гору и передислоцируются в долину. Начало отступления немедленно!

– Требую объяснений! – кричал каймакам вне себя. Мешки под глазами почернели. – Это трусость! Я отвечаю перед его превосходительством! Нет никаких оснований сворачивать операцию!

– Никаких оснований? – повторил генерал, смерив его долгим и холодным взглядом. – Вы хотите открыть побережье союзническому флоту? Морские дальнобойные орудия бьют до Антакье. Может быть, вы думаете, что этот крейсер один-одинешенек заблудился здесь? Может быть, вы хотите, чтобы

англичане и французы высадились здесь и открыли новый фронт внутри никем не защищенной Сирии? Ну, что выскажете, каймакам?

А каймакам, пожелтев, с пеной у рта кричал:

– Это все меня не касается! Я, как ответственное лицо, приказываю вам...

Дальше он не договорил. Приказ генерала об отмене артогня, разумеется, не мог за несколько минут дойти до турецких артиллерийских позиций. Первые турецкие гранаты разорвались в Северном Седле. И тут же длинные элегантные стволы судовых орудий вместе с бронированными башнями «Гишена» начали разворачиваться. Не прошло и нескольких секунд, как первые тяжелые гранаты разорвались в Суэдии, Эль-Эскеле, Эдидье. И сразу же по большой трубе винокуренного завода пополз вверх американский флаг. Минута-другая, и в поселках загорелись деревянные дома. Али Риза рявкнул на юзбаши:

– Свяжитесь по телефону! Прекратить огонь, дьявол вас поберет! Заптиям – эвакуировать население из деревень. Всем – в долину!

Молчавший до сих пор мюдир из Салоник вдруг впал в истерику.

Сложив руки трубой, он кричал, стараясь перекричать грохот орудий «Гишена»:

– Это нарушение международного права... Здесь открытый берег... Вмешательство во внутренние дела страны...

Генерал-майор Али Риза, подняв свой стек, собрался уходить. Офицеры последовали его примеру. Еще раз обернувшись, он сказал:

– Что это вы раскричались, мюдир? Можете благодарить ваш Иттихат!

– Мне дурно! – стонал явно переоценивший свои силы каймакам. Его тяжелое тело съехало на землю. Казалось, он вот-вот потеряет сознание. Из чернеющих губ вырывались одни и те же слова:

– Это конец... это конец...

Мюдир приказал четверем заптиям унести своего больного начальника в долину.

Следовало бы предположить, что и Габриэл Багратян, полностью осознав неслуханное чудо, должен был рухнуть наземь, – столь колоссально оно было. Однако этого не случилось. Чувства Габриэла были уже глухи и не способны на отклик. И как бы мы бережно ни подбирали слова – правдиво передать то, что происходило в его душе, невозможно. Нет, то не было разочарованием. Разочарование – слишком грубое понятие. Скорее это можно было бы назвать нежеланием сделать усилие, каковое требовалось от смертельно усталого организма для того, чтобы начать новую жизнь. Так человеческий глаз, попав из темноты на яркий свет, защищается от внезапной перемены, несмотря на то, что душа жаждала ее. Первая реакция Багратяна была – приказ! Он передал его по всей линии стрелков:

– Никуда не уходить! Все остаются на своих местах!

Это был чрезвычайно важный приказ. Во-первых, Габриэлу были неизвестны намерения турок, к тому же, он ведь не видел собственными глазами французский военный корабль. И вряд ли этот корабль способен взять на борт четыре с половиной тысячи человек.

Не менее удивительным было действие чуда на остальных защитников – на тех, что длинной цепью, будто парализованные, лежали в своих ямках после этой последней и такой бесконечной ночи – ночи ожидания смерти. Весть принес мальчишка: заикаясь и задыхаясь, он выпалил что-то и убежал. Никто даже не вскрикнул. Возникла долгая томительная пауза. И вдруг распался весь порядок. Те, кто слышали весть о чуде, устремились наверх, туда, где стояли гаубицы, где был командующий. Однако не это было удивительным, нет, другое – внезапное изменение человеческих голосов: все вдруг заговорили фальцетом. Со всех сторон на Габриэла обрушились высокие и сдавленные голоса. Звучало это как искаженный бабий визг, как вопль страха у сумасшедших. Чувство, рожденное спасением, прежде чем завладеть душами, вызвало судорогу голосовых связок.

Стрелки сразу же подчинились приказу Багратьяна: они бросились наземь и выставили впереди себя ружья, как будто ничего потрясающего не произошло. И только учитель Апет Шатахян потребовал от командующего, чтобы тот послал его в качестве комиссара вниз, к морю. Благодаря отменному владению французским и безупречному прононсу, он, Шатахян, несомненно является лучшим кандидатом для ведения переговоров. Учитель так и сиял. Габриэл Багратьян, который больше всего хотел личным примером удержать дружинников на позициях до тех пор, пока не минует всякая опасность турецкого наступления, отпустил Шатахяна, поручив ему следующее: при любых обстоятельствах должна поддерживаться постоянная связь лагеря на берегу моря с защитниками горы здесь, наверху. Тер-Айказун и доктор Алтуни должны вместе с Шатахяном отправиться на французский корабль. Капитану крейсера следует незамедлительно сообщить, что среди мусадагцев находится французенка, в очень тяжелом состоянии.

Начавшийся артобстрел Северного Седла подтвердил опасения Багратьяна. Турки и не собирались выпускать из когтей такую верную добычу. Багратьян в тот же час отправил к Чаушу Нурхану вестового:

– Северное едло держать до последнего человека! Без соответствующего приказа командующего стрелки ни под каким видом не должны покидать окопы и скальные баррикады, где им и надлежит искать укрытия от артогня.

Но очень скоро артиллерийский обстрел утих, а громадные корабельные орудия с равномерностью музыкальных тактов продолжали обрушивать свои бомбы на мусульманские селения. В долине Оронта, казалось, настал Страшный суд.

Когда Габриэл Багратьян поднялся на наблюдательный пункт, Суэдия, Эль Эскель и Эдидье и даже далекий Айн-Джераб были охвачены огнем. На лошадях, на ослах, воловьих упряжках и просто пешком население спешило в армянскую долину...

Чуть позже Габриэл вернулся к гаубицам. Позади сошника, аккуратно сложенные, высились готовые к стрельбе снаряды. Габриэл собирался развернуть орудия на север и, когда начнется турецкая атака, накрыть ее огнем. Однако теперь он отказался от этого своего намерения, хотя и не считал

опасность миновавшей. Он сел рядом с гаубицей и долго смотрел вперед. Но в то же время и внутри себя: «Может быть, через несколько недель я снова буду в Париже?.. Мы въедем в квартиру на Авеню-Клебер, и опять начнется прежняя жизнь». Однако эта мысль – за час до этого она могла прийти в голову разве что сумасшедшему, – ничего не изменила в удивительной пустоте в его груди. Он не ощущал никакого преклонения, никакого восторга, горячей, молитвенной благодарности богу, что было бы так естественно при таком сверхъестественном чуде. Нет, Габриэл не мечтал о Париже, о квартире, не тосковал по общению с культурными людьми, по комфорту, даже не думал о том, чтобы наесться досыта, о чистой постели. Если он что-нибудь и ощущал, то только сверлящую потребность в одиночестве, которая усиливалась с каждой минутой. Но то должно было бы быть одиночеством, которого не существовало: мир без людей, планета без физических потребностей, без движения. Некая космическая пустынь, и он – единственное существо в ней, спокойно созерцающее, не зная ни прошлого, ни настоящего, ни будущего!

Люди на берегу разместились на довольно большом расстоянии друг от друга. Общины Йогонолука и Абибли пристроились сравнительно высоко, в то время как битиасцы, азиры и те, что из Кебусие избрали себе место у самой воды – там, где скалы отступили вглубь, освободив несколько неровных, заросших колючим кустарником кусочков земли.

В то время как учитель Восканян размахивал полотнищем с призывом о помощи, здесь, внизу, все еще спали. Но то был не сон людей, а сон какой-то неживой материи. Они спали, как спит скала или земляной холм.

Громовой удар корабельных орудий разорвал этот сон. Четыре тысячи женщин, детей, стариков в страхе раскрыли глаза, чтобы увидеть, как забрезжит свет четвертого голодного дня. Для тех, кто лежал прямо на берегу, сон, должно быть, все еще продолжался, и это сновидение неподвижно покоилось на водной глади. Кое-кто попытался приподняться – надо же спугнуть это наваждение! Другие так и оставались лежать на своем каменистом ложе, на котором они стерли себе и без того истончавшую кожу. Даже на другой бок не повернулись. Но вдруг среди взрослых послышалось какое-то полурыдание, полукашель, похожий на лепет тяжелых детей, и звук этот быстро распространился вокруг. Теперь даже самые неподвижные тени встрепнулись. Мальчишки, что могли еще держаться на ногах, залезли на скалы повыше. Люди теснились у самого прибоя.

Крейсер «Гишен» бросил якорь примерно в полумиле от берега. Перед офицерами и матросами открылась потрясшая всех картина: сотни голых, костлявых рук тянулись к ним, как бы моля о подаянии. А человеческие фигуры, к которым, должно быть, относились эти руки, не говоря уже о лицах людей, расплывались и исчезали даже в окулярах, словно призраки. Сопровождалось это каким-то стрекотом, напоминавшим звуки, издаваемые насекомыми, но возникали они где-то гораздо дальше. При этом меж крутых, обрывающихся в море скал, на берег пробиралось все большее и большее число человеческих цикад, приумножая протянутые за подаянием руки.

Прежде чем капитан «Гишена» принял решение относительно этих изгнанников, с прибрежных рифов спрыгнули две маленькие человеческие фигурки, должно быть, мальчишки, и вплавь пустились к кораблю. Они действительно подплыли метров на сто к борту крейсера, однако здесь их, должно быть, покинули силы. Но к ним уже подходила спущенная на воду шлюпка, которая и подобрала обоих смельчаков. Еще одна шлюпка гребла к берегу. Она должна была взять на борт представителей этих странных «Христиан, терпящих бедствие». Но очень скоро выяснилось, что когда бог ниспосылает чудо, коварная действительность умеет тысячекратным образом приглушить его. Коварным оказался в нашем случае сам берег – прибор был так силен, что даже шлюпка со слаженной командой никак не могла пристать, что явилось весьма существенным оправданием неудачи рыболовного предприятия пастора Арама.

Целый час ушел на тщетные попытки высадиться, но в конце концов на борт шлюпки все же удалось взять Тер-Айказуна, доктора Алтуни и Апета Шатахяна. За этот час «Гишен», раздраженный турецким артиллерийским огнем на Муса-даге, выпустил по мусульманской равнине сто двадцать тяжелых снарядов.

Капитан второго ранга Бриссон принял делегацию в офицерской кают-компании уже после того, как судовая артиллерия прекратила обстрел побережья. Бриссон невольно вздрогнул, когда к нему ввели трех мужчин в грязном тряпье, заросших бородами. Видны были только высокие лбы и огромные глаза. В самом ужасном виде предстал Тер-Айказун: пол-бороды спалено, на правой щеке большое красное пятно от ожога, а так как ряса сгорела вместе с шалашом, то он все еще был обмотан одеялом. Капитан всем троим пожал руку.

– Священник?.. Учитель?..- спросил он.

Шатахян не дал ему договорить; собрав все свои силы, он отвесил поклон и начал речь, которую разучивал, спускаясь по крутой извилистой тропе с Дамладжка и сидя в шлюпке. Обращение его было самым неподобающим, а именно: «Мой генерал». Видимо, так у него получилось от конфуза. Да разве мыслимо было требовать от армянского деревенского учителя, чтобы он безошибочно разбирался в знаках различия французского военно-морского флота, особенно если учесть, что покойный аптекарь Грикор, так подражавший Сократу, не придавал никакого значения военным наукам. Поведав капитану в своей по-восточному пространной речи обо всем необходимом и о многом совсем ненужном, упоенный собственным красноречием оратор ожидал услышать хотя бы словечко похвалы из сиятельнейших уст – какой прононс! Но капитан, медленно переводя взгляд с одного на другого, неожиданно спросил, какова девичья фамилия мадам Багратян. Апет Шатахян был весьма обрадован возможностью продемонстрировать свои познания и в этой области.

Но тут слово взял Тер-Айказун. Пораженный учитель не мог прийти в себя от удивления – ибо вардапет бегло говорил по-французски, а ведь до сих пор никто ничего не знал об этом! Отец Айказун сказал, что народ обессилел от

голода и мучений и просил о немедленной помощи, в противном случае ближайшие часы не переживут еще несколько женщин и детей. Не успел Тер-Айказун договорить, как доктор Петрос уронил голову на грудь и чуть не свалился со стула. Бриссон приказал принести коньяк и кофе, а также подать делегатам обильное кушанье. Но тут выяснилось, что не только престарелый доктор, но и оба других делегата не в состоянии принимать пищи. Тем временем капитан Бриссон вызвал провиантмейстера и распорядился, чтобы без промедления на берег отправили шлюпки с грузом продовольствия. Приказ о высадке на берег был отдан также судовому врачу, санитарам и отряду вооруженных матросов.

Затем Бриссон объяснил армянам, что его тяжелый крейсер не самостоятельная боевая единица, а входит в авангард англо-французской эскадры, перед котррой поставлена задача патрулировать вдоль анатолийского побережья в северо-западном направлении. Накануне «Ги-шен», за три часа до основных сил, вышел из бухты Фамагуста на Кипре. Командующий флотилией контр-адмирал находится на флагманском линкоре «Жанна д'Арк». А посему следует дожидаться его приказа. Еще час назад ему по радио отправлен запрос. Впрочем, делегатам не следует тревожиться: нет никаких сомнений в том, что французский адмирал не оставит в беде столь храбрую армянскую общину, к тому же христиан, подвергнутых издевательствам.

Тер-Айказун склонил голову с опаленной бородой:

– Господин капитан, разрешите задать вопрос. Вы сказали, что не можете принимать самостоятельных решений, что подчиняетесь, более высокой инстанции. Почему же вы все-таки не пошли на северо-запад, а бросили якорь у нашего берега?..

– Уверен, что вы давно уже лишены возможности курить. – Бриссон передал учителю большой пакет с сигаретами и повернул свою седую голову морского волка с задумчивыми глазами к Тер-Айказуну:

– Ваш вопрос представляет для меня определенный интерес, святой отец, ибо я действительно нарушил приказ и резко изменил курс. Почему – спрашиваете? Около десяти часов мы миновали северную оконечность Кипра и примерно в час после полуночи мне донесли: «Пожар на Сирийском побережье. Похоже, что горит город средней величины». Зарево освещало половину небосвода. Мы шли открытым морем не менее тридцати миль от берега. А вы, как я только что узнал, подожгли всего лишь несколько шалашей. Впрочем туман действует порой как увеличительное стекло. Это бывает. Поистине полнеба было залито красным заревом. Из чистого любопытства – да, это следует определить как любопытство, – я изменил курс...

Тер-Айказун поднялся со стула. Казалось, он намерен сделать важное заявление. Губы его шевелились. Но вдруг он неуверенными шагами приблизился к стене и прижался лицом к иллюминатору. Капитан Бриссон подумал, что со священником случится сейчас то же, что только что произошло со старым доктором. Но Тер-Айказун повернулся. Утреннее солнце заливало низкую кают-компанию. В его лучах черты лица вардапета казались



вырезанными из амбрового дерева. Глаза его подернулись влагой, когда он по-армянски прошептал:

– ...И зло свершилось, дабы благодать господня восторжествовала!..

Он чуть поднял руки, как будто для него все выстраданное уже осмыслено и преодолено. Француз не мог его понять. Доктор Петрос спал, уронив голову на стол. А Апету Шатахяну было не до пожара в Городе, который начался богохульным сожжением алтаря и завершился всеобщим спасением.

По прошествии двух часов на горизонте показался мощный линкор «Жанна д'Арк», за ним английский крейсер и еще два французских военных корабля. К полудню к ним подошел большой транспортный пароход. Развернувшись красивым строем, оставляя за собой пенящийся след, приближались сине-серые корабли со своими массивными орудийными башнями. Командующий эскадрой передал ответную телеграмму капитану второго ранга Бриссону: он-де, намерен не только взять на борт армянских беженцев и ради этого прервать начатый поход, но желает и лично осмотреть места героической борьбы, – где осколки преследуемой христианской нации сорок дней оказывали сопротивление превосходящим силам варваров. Контр-адмирал был известный своими религиозными взглядами ревностный католик, и борьба армян во имя веры искренне взволновала его.

После того, как эскадра, соблюдая строгую симметрию, бросила якорь на светлом, как зеркало, море, началась преддесантная суэта. Звуки горнов подхлестывали друг друга, стонали цепи и краны. Медленно спускались на воду большие лодки. Тем временем матросы «Гишена» в самом доступном месте, между рифами, соорудили нечто вроде причала, при этом им очень пришлось кстати плот пастора Арама, с которого тот все собирался ловить рыбу. А спасенные – кто лежал, кто сидел на узких скальных площадках и смотрел отсутствующим взглядом на этот спектакль, как будто все это их вовсе не касалось. Главный врач «Гишена» вместе со своими помощниками и санитарями хлопотал возле больных и ослабевших от голода. Он с похвалой отозвался о докторе Алтуни за то, что доктор сумел изолировать больных и подозреваемых. Глубоко вздохнув, доктор Петрос сознался, что наверху, на Дамладжке осталось немало таких же несчастных – они предоставлены самим себе и медленно умирают, хотя большинство из них при хорошем уходе могло бы выжить. Главный врач построил кислую мину. Тяжкая ответственность ляжет на того, кто решится взять на борт больных! Но что же делать? Немыслимо же отдавать христиан туркам на растерзание!

Главный врач был человеком гуманным и посоветовал своему армянскому коллеге:

– Не будем об этом говорить.

Дело в том, что подошедший транспорт был совсем пустым и оборудован большим числом хорошо оснащенных больничных палат. Главный врач подмигнул доктору Алтуни – пусть, мол, не тревожится.

Среди здоровых мусадагцев, – если в данном случае вообще можно было говорить о здоровых людях – уже успели распределить хлеб и консервы.

Корабельные коки наварили в огромных котлах картофельный суп, а добродушные французские матросы предоставили армянам свои вилки и ложки. Впрочем, армяне принимали все это как нечто нереальное, как некий хлеб во сне, как суп приснившийся, который не может насытить. Но как только люди, не разжевывая и не чувствуя вкуса, проглотили каждый свою порцию, ими овладело совсем иное душевное состояние. Как слабы они ни были, как ни были лишены жизненных сил, а сорок дней Муеа-дага для них уже мгновали и превратились в почти забытую легенду! Желудки еще противились непривычной забытой пище (о, хлеб! Тысячу раз желанный хлеб!), – но для души все снова стало чем-то само собой разумеющимся, как будто никогда иначе и не было, а милость божья – не что иное как естественный ход вещей.

Сопровождаемый большой свитой, контр-адмирал на баркасе пристал к зыбким мосткам. Вслед за его моторным баркасом причалили быстроходные катера. Для командующего эскадрой все корабли выделили отряды морской пехоты, вооруженные пулеметами, которые тоже высадились на берег. Пехотинцы быстро рассыпались по побережью, заняв все доступные места, отчего возникла немалая толчея. Взору адмирала повсюду представилась одна лишь французская морская форма, но то, ради чего он сюда прибыл, почти не открывалось ему. Потребовав полного и подробного отчета о ходе всех боев, медленно шагал он между группками мусадагцев. И тут учителю Шатахяну во второй раз представилась возможность отличиться и на более высоком уровне удивить слух сиятельного француза. Контр-адмирал был маленький пожилой господин со строгим лицом, подтянутый и изящный одновременно. Лицо покрыто типично морским загаром. На верхней губе прилепилась белоснежная щетка усиков. Голубые глаза выдавали даже некоторую жестокость, правда, смягченную устремленностью вдаль. Грациозная фигурка старичка была облачена не в мундир, а в удобный полотняный костюм, которому узкая орденская планка придавала несколько военный вид. Адмирал интересовался турками, их вооружением, количеством солдат, а затем, указав тонкой бамбуковой палочкой вверх, объявил свите о своем желании осмотреть места боев на горе. Один из сопровождавших его офицеров осмелился заметить, что адмиралу подъем на несколько сот метров будет затруднителен, к тому же они не успеют вернуться на борт к обеду. Смельчаку не было дано вообще никакого ответа. Адмирал приказал начать подъем. Адъютант поспешил передать морской пехоте приказ подняться по тропе на Дамладжк и занять там круговую оборону до того, как прибудет его превосходительство – командующий. Подобная прогулка во вражеском расположении была несколько рискованным предприятием. Гора, возможно, окружена турецкими пушками и нацелирована на их солдатами. Можно было ожидать самых непредвиденных неприятностей. Но характер командующего не терпел никаких возражений. Поэтому было решено держать турок на почтительном расстоянии, дав несколько залпов судовой артиллерии по прибрежным селениям. Адъютанту пришлось позаботиться и о завтраке – восхождение на такую гору означало для старого моряка немалое напряжение. Честолюбивому же адмиралу не терпелось доказать молодым

офицерам превосходство и своего сердца, и легких, и ног... Легким пружинящим шагом он поднимался впереди всех по крутой тропе.

Сато исполняла роль проводника. Силы ее вовсе не иссякли от голодания. Она забегала вперед, возвращалась и, как маленькая собачка, проделывала один и тот же путь трижды. Таких высокопоставленных господ зейтунская сирота никогда в жизни не видела! Ее жадные сорочьи глазки пожирали мундиры, аксельбанты, ордена и медали, а пальцы тем временем выскребали остатки застывшего жира со дна консервной банки. По жилам ее растекалась водка, которой ее угостили матросы. Она назойливо вертела своим тощим задом, прикрытым обрывками бывшего платья-бабочки. Время от времени она протягивала офицерам свою черную грязную лапу, и обычное в этих краях восклицание вырывалось из ее гортани:

– Бакшиш!

Свита и весь штаб часто останавливались, любуясь красотой столь богатого лесами и родниками Муса-дага. Кое-кому из них приходило в голову то же сравнение, что и Гонзаго Марису: Ривьера! Но другие отдавали предпочтение дикой девственности горы и назвали её «Моисеевой». В конце свиты шли два молодых морских офицера. До сих пор они не проронили ни слова. Один из них, англичанин, остановился, но не обернулся к морю, а долго смотрел на землю под своими ногами.

– Послушайте, приятель! Эти армяне!.. Я не могу отделаться от впечатления, что видел не людей – одни глаза!

Габриэл Багратян все еще не разрешал своим дружинникам покидать позиции. Хотя он уже получил донерение об отходе турок и на севере, и на юге, он не верил в наступление мира. Быть может, это была чисто военная психология, не терпящая, чтобы бойцы покидали поле брани до того, как окончательно будет решена судьба народа. Слишком далеко прошел новый Габриэл по неизведанному пути, чтобы мог так быстро вернуться к старому Габриэлу.

Это сорок дней на Муса-даге, так преобразившие его, приковали его теперь к месту. Примерно то же происходило и с некоторыми другими, гораздо более грубыми людьми, чем Габриэл Багратян. Во всей цепи стрелков никто не ворчал и не восставал против такой выдержки Багратяна и менее всех – отягченные виной дезертиры, которые состязались в подобострастной услужливости.

Габриэл обратился к дружинникам с небольшой речью. Никто не имеет права думать о спасении, прежде чем всех женщин и детей не перевезут на корабль. И эта их выдержка должна доказать французам достоинство и честь армянской нации. Они покинут старую родину как непобежденные воины с оружием в руках, соблюдая порядок и дисциплину. Не бросит он и эти гаубицы, захватом которых народ обязан его сыну. Этот важный военный трофей он намерен передать французам.

Однако гораздо существенней, чем все слова, оказалось то, что Тер-Айказун прислал сюда, на гору – и в достаточном количестве – хлеб,

повидло, вино и консервы, не забыв и про табак. Бойцы лежали в своих ямках, погружившись в легкую дрему, находя, что этот бездумный покой много приятней любого движения.

Покой этот прервался, когда на плато появилась морская пехота и развернутым строем направилась прямо на гаубичные позиции. Завидев их, дружинники повскочили с мест и с криком бросились навстречу французам, которые в своих чистеньких мундирах являли собой разительный контраст измотанным в боях, одетым в немыслимое рвань голодным мусадагцам. Только теперь бойцы смогли осознать величие и триумф своей стойкости.

А когда большая группа старших офицеров приблизилась к высоте, Габриэл медленно шагнул навстречу им. Сделал он это даже несколько небрежно, словно стыдясь всех этих воинских формальностей. Ружье он оставил на земле и был похож сейчас на охотника или археолога. Чуть приподняв помятый тропический шлем, Габриэл представился коитр-ад-миралу. Несколько секунд старый моряк смотрел на него проницательным взглядом, затем протянул руку.

– Вы были здесь командиром?

Габриэл почему-то сразу показал на гаубицы, будто это было так важно – дать знать спасителям, что воевал он не с пустыми руками.

– Господин адмирал, я передаю вам, а тем самым и французской нации, эти два орудия. Мы отбили их у турок.

Контр-адмирал, знавший толк в торжественных церемониях, встал «смирно». Офицеры последовали его примеру.

– Благодарю вас от имени французской нации. Она принимает на хранение этот победоносный трофей сынов Армении. – Он еще раз пожал руку Багратяну.

– Захват этих гаубиц ваша личная заслуга?

– Это заслуга моего сына. Он убит.

Наступило молчание. Отбросив бамбуковой палочкой камешек в сторону, контр-адмирал обратился к свите:

– Можно ли спустить эти орудия на берег, а затем погрузить на борт?

Офицер, призванный ответить на этот вопрос, усомнился. Если поднять сюда необходимое снаряжение, то с большими трудностями это возможно осуществить. Но для этого понадобится не менее суток.

После небольшого раздумья его превосходительство решило:

– Позаботьтесь о том, чтобы гаубицы были приведены в негодность. Самое надежное – взорвать их. Однако будьте при этом осмотрительны.

«Тем лучше, – подумал Багратян, – двумя пушками меньше на земле!».

И все же это решение он принял с болью. Стефан! Но адмирал поспешил утешить его:

– Вы оказали благому делу большую услугу, даже если теперь гаубицы будут уничтожены.

Этими словами был дан сигнал к переходу от торжественной части к деловой. Контр-адмирал попросил описать ему весь ход оборонительных боев,

а также саму систему обороны. Габриэл в нескольких словах выполнил просьбу. Но при этом его охватило великое нетерпение. Эти чисто умытые, благоухающие господа в своих безупречных мундирах смотрят на разрывающую сердце реальность сорока дней со снисходительным интересом – для них это военная игра, разыгранная дилетантами! Три сражения! Разве это было самым важным? Да и что знают эти вылощенные господа об армянской судьбе? Что знают они о каждой отдельной судьбе, разбитой здесь, на Муса-даге?

Нетерпение его перешло в брезгливость. Не лучше ли ему повернуться и уйти? Он же теперь частное лицо, ему надо позаботиться о Жюльетте и об Искуи. Надо их как следует устроить. Да нет, ради бога, нет! Французы – чудом посланные спасители и вполне справедливо могут претендовать на безоговорочную благодарность...

Следуя своей обычной основательности, контр-адмирал высказал пожелание осмотреть и главное поле сражения – Северное Седло. Понизив голос, он приказал свите записывать все услышанное. Несомненно, он намеревался представить подробный отчет в военно-морское министерство. Спасение семи армянских общин, в конце концов, было делом не только важным, но и громким. Габриэлу Багратьяну не оставалось ничего другого, как исполнить желание его превосходительства. Он тут же послал вестового к Чаушу Нурхану. Одновременно под командованием нескольких младших офицеров в путь тронулась часть морской пехоты с одним пулеметом – следовало обеспечить безопасность командующего эскадрой.

Когда полчаса спустя Габриэл со всем штабом прибыл в район Седловины, Чауш Нурхан уже кое-как построил своих дружинников, дабы должным образом, по-солдатски, встретить французов. Габриэл, оставив адмирала, подошел к старому воину и обнял его:

– Вот и все кончилось, Чауш Нурхан! Благодарю тебя! Благодарю и каждого из вас!

И рухнул весь строй, и заросшие сыны Армении обступили Багратьяна. Многие стремились поймать его руку, чтобы прижать к губам. И было в этой преданности своему командиру что-то от недоверия к блистательной свите адмирала. Ну а пораженные офицеры смотрели на эту совсем не уставную, но такую мужественную сцену с искренним волнением.

После краткого осмотра окопов и скал-баррикад адмирал счел своим долгом отличить Габриэла Багратьяна и все его войско соответственной речью. И сделал он это с присущим французам красноречием, не забывая, однако, и о сдержанности, которая соответствовала как его должности, так и его вере.

– Героические поступки в наши дни совершаются во многих странах, и на многих морях – во всем мире. Но тогда обычно противостоят друг другу обученные и обстрелянные солдаты. Здесь же, на Муса-даге, в вашем распоряжении находились простые мирные крестьяне и ремесленники. И тем не менее под вашим водительством, командир, эта группа плохо вооруженных селян не только отважно сражалась с превосходящими силами противника, но и

героически выстояла в отчаянной схватке не на жизнь, а на смерть! Подобная отвага и мужество достойны того, чтобы их помнили века. И стало это возможно только с божьей помощью. А Бог помогал вам потому, что сражались вы не только за себя, но и за его священный крест. Тем самым вы проявили высший героизм – подлинно христианский героизм, а он защищает нечто более возвышенное, нежели дом и очаг. Моими устами французская нация высказывает вам свою благодарность и горда своей помощью вам. А я лично рад, что могу всех вас без исключения взять на борт, и сообщаю, что моя эскадра переправит вас в один из египетских портов – Порт-Саид или Александрию...

В ответ на эту прочувствованную речь Габриэл Багратян глубоко поклонился. Держа маленькую теплую руку его превосходительства в своей, он думал:

«Порт-Саид, Александрия – и я? Что мне там надо? Сидеть в лагере? И почему я?».

В ясном и твердом взгляде старого адмирала мелькнул огонек симпатии, и он чуть не отеческим тоном сказал:

– Мосье Багратян, приглашаю вас быть моим гостем на «Жанне д'Арк»...

Он не стал ждать благодарности, а вытащил из маленького кожаного мешочка толстые, вполне штатские часы и посмотрел на них несколько озабоченно.

– А теперь я просил бы оказать мне честь и познакомиться с мадам Багратян. В свое время я был коротко знаком с ее отцом...

Ночью Жюльетта всеми ремешками и шнурками, какие ей только удалось найти, завязала вход в палатку. Для ее ослабевших рук это была трудная работа и, завершив ее, она едва дотащилась до кровати. Не из страха перед новым нападением бандитов она так тщательно закрывала свою палатку. Станным образом в ее душе гораздо более глубокий след, чем появление Длинноволосого, чем то, что Сато сорвала с нее одеяло, оставили, казалось бы, безразличные видения наяву. Она запиралась, чтобы никогда более не видеть света, чтобы никогда больше не наступал день, чтобы быть одной на своем ложе, подложить под голову свою любимую кружевную подушечку и никогда больше не подниматься. Она видела себя замурованной! И когда вокруг ее словно в коконе спрятанного «я» стало совсем темно и уютно, и она почувствовала себя зябко-хорошо, то не было уже Муса-дага, и сына она не потеряла, и турки не напирали, чтобы убить ее. Как по волшебству, вся внутренность палатки превратилась во внутренний мир ее самое, за пределами которого только понаслышке знали о каком-то опасном внешнем мире. И в то время как о рассудке ее никак нельзя было сказать, что он в себе, о ней самой, о существе ее, о самой сути можно было утверждать, что она в высшей степени «в себе».

Ближе к утру задрезжал маленький гонг, висевший у входа в палатку. Жюльетта не шевельнулась. Даже когда она узнала требовательно просящий голос Авакяна, она не ответила. Прогрели выстрелы гаубиц и

предупредительный выстрел «Гишена», а у Жюльетты все еще была ночь, и она спряталась поглубже под одеяло – только бы ничто не нарушало ее могильный покой! Страх за сохранность своего темного, замурованного склепа был сильнее всех инстинктов. Ее больная память тут же забыла грозный грохот пушек. Жюльетта все глубже уходила в себя, только бы не слышать голосов! Но они были настойчивы. А вот зашатались и стены палатки, кто-то тряс ее изо всех сил. Турки? К голосу Авакяна присоединился голос Кристофора.

– Мадам, откройте! Немедленно откройте, мадам!

Стенки, потолок палатки ходили ходуном. Но Жюльетта даже не подняла головы. Теперь она узнала голос Майрик Антарам.

– Душа моя, дай ответ! Ради Христа, дай ответ! Счастье пришло! Великое счастье пришло!..

Жюльетта повернулась набок... Что эти армяне называют счастьем? Пусть даже Габриэл сам придет сюда, меня никто отсюда не выманит! Кстати, а кто он, этот Габриэл Багратян? Неужели я тоже Багратян?

В конце концов, кто-то снаружи разрезал все шнурки и завязки и стремительно раскрыл шаткий склеп. Но Жюльетта повернулась спиной к вошедшим – надо им показать: стоит ей захотеть, и она будет одна в своем собственном мире! Какими-то чужими, чуть не визгливыми голосами Авакян и Майрик Антарам говорили что-то о французском военном корабле «Гишене»... А Жюльетта, продолжая разыгрывать обморок, очень внимательно вслушивалась. Охваченная подозрительностью умалишенной, она сразу решила: ловушка! Еще вчера вечером доктор Алтуни хотел заставить ее покинуть любимую палатку, одной ей принадлежащее, такое дорогое жилье, и переселиться ко всем остальным, к этим животным, от одного вида которых ее бросало в дрожь; да и они ненавидели ее! Эту грубую уловку придумали Габриэл и Искуи. А рассказ о французах должен усыпить ее бдительность, чтобы потом она оказалась совсем без всякой защиты. Нет, Жюльетту не обманешь, врагам не вытащить ее из такого доброго, такого блаженного футляра, в котором ей не надо знать правды! Нет, не вырвать им ее из этого сладчайшего футляра! И пусть Авакян, Майрик Антарам и Кристофор просят, пусть умоляют – она просто будет лежать тут без сознания...

Увидев, что все попытки напрасны, Майрик Антарам махнула рукой: оставьте ее, время у нас еще есть.

Авакян и Кристофор выволокли весь багаж, над которым так глумились дезертиры, на площадку и быстро принялись упаковывать и складывать все, что осталось неразбитого и неразорванного. Впрочем, едва они связали один-два узла, их вызвал к себе Габриэл.

Еще в первой половине дня кто-то снова откинул полог палатки – с Майрик Антарам вошли двое незнакомых. Это были совсем молодые матросы в синей форме с ярко начищенными пуговицами и повязками Красного Креста на левой руке.

Неподвижно лежа на спине, Жюльетта вдруг увидела два молочно-розовых лица с ясными, веселыми глазами. словно испуг перед чем-то несказанно

родным пронизал ее. Меньший из двух отдал ей честь, и его братский голос донесся до Жюльетты как из далекого утраченного мира!

– Просим извинить, мадам! Мы – помощники санитары на «Гишене». Главный врач приказал и вас, мадам, снести на берег. Мы вернемся немного погодя. Мадам будут так добры приготовиться.

Матррс вытянулся в струнку, коснулся рукой шапочки, в то время как второй, неловко ступая тяжелыми матросскими башмаками, сделал несколько шагов в глубь палатки и поставил на туалетный столик термос, банку с маслом и две белые булочки.

– По приказанию главного врача – чай, хлеб и масло для мадам.

Сказал он это тоном военного донесения, щелкнув каблуками и повернув при этом свой курносый детский профиль в сторону кровати, не глядя на женщину. Конфузливо-трогательная поза неотесанного мужлана!

Жюльетта тихо застонала, а оба санитары, испугавшись, что помешали больной, неуклюже, на цыпочках покинули палатку.

Вслед за Майрик Антарам они прошли в лазарет, оставшийся нетронутым пожаром. Там уже собралась вся санитарная команда крейсера, готовя раненых и больных для отправки на берег. А Жюльетта тоскливо протягивала руки вслед ушедшим землякам, потом вдруг откинула одеяло и села. Темного «кокона» как не бывало! Прижимая ладони к лицу, она ощупывала свои растрепанные волосы, в ужасе шепча:

– Французы! Французы! В каком я виде! Французы!

И вдруг в ее высохшем теле вспыхнуло пламя энергии. Она присела к туалетному столику. Ее окостеневшие, неуверенные пальцы перепутали, смешали все, что стояло там косметического. Она нашлепала красный грим на щеки, но не растерла его, отчего ее лицо стало еще болезненнее и старее. Схватила щетку, гребень и принялась за волосы, без конца нашептывая:

– Какой же у меня вид!

Впрочем, сил для того, чтобы привести в порядок строптивные волосы, у нее не хватило. Уронив голову на руки, она зарыдала. Но как всегда, жалость к себе самой была так ласково приятна, что она тут же забыла о волосах, и так и оставила их свисать по обеим сторонам лица. И опять она вздрогнула и прошептала:

– Французы! Французы! Что мне надеть?

Она стала искать чемоданы, свой багаж. Нет ничего! Пусто! В страхе она бегала по палатке, почему-то вообразив, «что ей придется босой, в одной ночной сорочке явиться в обществе...

После долгих мучительных поисков Жюльетта пугливо выглядывает наружу. Золотой сентябрьский день заставляет ее отпрянуть. Но уже в следующее мгновение она падает на колени перёд большим чемоданом. Но кто же эту подлость сделал? Все перерыто, разорвано, смято! Это Искуи! Ни одного целого платья! Ей нечего, абсолютно нечего надеть! А надо быть красивой. Пришли французы!

Майрик Антарам застала Жюльетту сидящей на земле, в куче рубашек,



чулок, платьев, туфель. Изнемогавшая, она уже не могла тронуться с места и только без конца повторяла:

– Французы пришли! Французы! Что мне надеть?..

Майрик Антарам не могла поверить своим ушам. Как, эта женщина, едва избежав смерти, не произнесла еще ни слова, всеми силами противясь знанию правды, могла думать о платьях? Но постепенно Майрик Антарам начала понимать, что происходит с Жюльеттой. То не было тщеславием. Ведь пришли ее братья. Французы! Она стыдится, она хочет быть достойной своих братьев.

Антарам опустилась рядом с Жюльеттой и вместе с ней стала копаться в куче вещей. Но что бы она ни предлагала мадам Багратян – все вызывало только гнев. После длительного времени, в течение которого Майрик Антарам еще раз доказала свое ангельское терпение, одно из платьев удостоилось снисхождения. То было прямое бальное платье, вырез которого был отделан кружевами, И покуда старая женщина, отнюдь не проявлявшая ловкости в этом деле, помогала надеть платье почти одеревеневшей Жюльетте, та все жаловалась:

– Нет, не подходит...

Но какое платье подошло бы, чтобы принять братьев-спасителей, которым все равно никогда не спасти ее разбитую жизнь?..

Габриэл расстался с контр-адмиралом и поспешил предупредить жену о предстоящем визите француза. Когда он вошел в палатку, Жюльетта сидела на краю кровати. Майрик Антарам, держа чашку в руке, уговаривала ее как непослушного ребенка:

– Хочешь быть красивой, душа моя, когда придут твои французы – подкрепись немного, а то ведь никакие платья не помогут...

Жюльетта церемонно поднялась, как будто вошедший был незнакомый человек, за которым ей следовало куда-то идти. Майрик Антарам, посмотрев на супругов, покинула палатку. Одну из булочек она прихватила с собой, она и сама была близка к голодному обмороку.

С какой-то особой отчетливостью Габриэл вдруг увидел свою прежнюю жизнь, увидел и непроходимую пропасть между собой и этой старой своей жизнью. А эта старая жизнь была одета в вечернее платье из тафты, при каждом движении заставлявшее шуршать все пережитое. Но щеки, вся фигура этой прежней жизни потеряли и полноту и краски, Жюльетта еле держалась на ногах и вызывала жалость. Габриэлу сдавило горло. Как близка была ему Жюльетта еще в дни своей болезни! Но теперь, когда он увидел ее в бальном шелку, ему открылось, как далеко развели их эти сорок дней! И он вынужден был сделать над собою усилие и сказать:

– Теперь ты такая же как прежде, *cherie*. И слава богу...

Он спросил, достанет ли у нее сил сделать несколько шагов навстречу адмиралу? Ведь не захочет же она принять его здесь, в этой темной палатке?

А Жюльетта все оглядывалась вокруг себя – только несколько часов назад эта палатка была ее могилой! Протянув с тоской руки, она устремилась к маленькой подушечке... Габриэл взял ее за руку:

– Вечером все вещи будут с тобою, Жюльетта. Ничего не забудем...

Несмотря на эти утешительные слова, Жюльетта, покидая палатку, еще раз обернулась в темноту, как Эвридика в аид.\*

---

\* «... как Эвридика в аид...» – согласно греческой мифологии жену певца Орфея Эвридику во время прогулки ужалила змея и она умерла. Чтобы вернуть любимую жену, Орфей спустился за ней в аид – царство мертвых. Там он растрогал своей игрой на лире и пением владыку царства мертвых Аида и он разрешил вывести Эвридику наверх, па землю, однако при условии, что Орфей не взглянет на жену прежде, чем придет в дом. Орфей нарушил это условие и Эвридика вновь сошла в аид.

---

Показался контр-адмирал в сопровождении адъютанта и одного из младших офицеров. Его предупредили, что приближаться к выздоравливающей не следует. Эпидемия на Муса-даге весьма опасного свойства. Но командующий эскадрой был отважным человеком, у которого предостережения обычно вызывали противоположную реакцию. Четким шагом, как бы подчеркивающим его молодцеватость, он приблизился к Жюльетте и поцеловал ей руку.

– И ваша доля, мадам, как француженки, как иностранки, в страданиях и деяниях на этой горе велика. Позвольте мне поздравить вас с благополучным окончанием всех бед.

Исхудавшее лицо Жюльетты стало томным.

– А Франция, мосье?

– Франция переживает тягчайшие времена, однако надеется на милость господню.

Состояние Жюльетты, должно быть, тронуло старого моряка. Он взял ее исхудавшую руку в обе свои:

– Знаете, дитя мое, вполне возможно, что я не впервые вижу вас... Но тогда вы были еще совсем крохотным существом, а я гостил у ваших родителей, тогда еще молодоженов... Хотя я и не состоял с вашим батюшкой в тесной дружбе, но мы с ним в наши юные годы входили, так сказать, в один и тот же круг...

Жюльетта чуть не зарыдала, но вместо плача получилось какое-то беспомощное бормотание.

– ...Разумеется... дом после папиной смерти продали... мама... мама живет теперь там... Ах, как же эта улица называется?.. Вам ничего о ней не известно?.. Но моего свояка вы ведь должны знать... он служит в министерстве

морского флота... в высокой должности... Как же его зовут?.. Голова моя... Колумб, ну конечно же – Жак Колумб! Вы, конечно, знаете его... С сестрами я вижу редко... Но как только я опять буду в Париже, я, конечно, увидаю всех друзей и подруг, как вы считаете?.. Вы меня отвезете в Париж?..

Жюльетта покачнулась. Адмирал поддержал ее. Габриэл бросился в палатку и вынес складной стул. Больную усадили. Однако, несмотря на приступ слабости, болтливость ее не утихала. Возможно, она чувствовала себя обязанной поддерживать разговор. Но болтовня делалась все более вымученной, в ней появилось что-то попугаеобразное. Она называла все новые имена, как ей казалось, каких-то общих знакомых. Речь ее перескакивала с одного на другое без всякой связи. Контр-адмиралу стало явно не по себе. В конце концов, он подозвал младшего офицера:

– Вы позаботитесь обо всем, мой друг... и будете сопровождать мадам... «Жанна д'Арк» корабль военный, а на военном корабле вы не найдете должного комфорта. Но мы предпримем все необходимые меры, чтобы путешествие было вам приятно, дитя мое...

И даже после того, как удалился контр-адмирал, которого Габриэл немного проводил, болезненная болтливость Жюльетты не прекратилась. Молодой офицер, которого высокое начальство оставило в качестве кавалера, защитника и почетного телохранителя, с недоумением взирал на побелевшие губы несчастной женщины, из которых непрерывным потоком вырывались вопросы, на которые он не знал ответа. При этом в душе больной, должно быть, происходило что-то ужасное; дышала она быстро, пульс на шее трепетал. Да и тени под глазами делались все глубже и темней. Офицер обрадовался возвращению Габриэла Багратяна, а несколько позднее явились и матросы-санитары с носилками. Поначалу Жюльетта противилась отправке:

– Нет, я не лягу на это... Нет, это позор... Нет, я лучше пойду пешком...

– Тебе это не под силу, – сказал Габриэл, глядя ее руки. – Будь умницей, ляг и вытянись. Можешь мне поверить, я бы охотно согласился, чтобы меня снесли вниз...

Обе молочно-розовые физиономии расплылись в улыбке. Матросы подбадривали больную:

– Не беспокойтесь, мадам, мы снесем вас как хрустальную вазу, вы ничего и не почувствуете.

Жюльетта сдалась и даже притихла, как только легла на носилки.

Габриэл принес плед, подложил ей под голову любимую подушечку и вручил ее сумочку сопровождающему офицеру. Еще раз погладив жену по волосам, он сказал:

– Успокойся... мы ничего важного здесь не забудем... – и сам же оборвал себя. Офицер вопросительно взглянул на него. Носильщики подняли носилки и сделали несколько шагов. В стороне, очень волнуясь, их поджидала Сато, – уж очень ей хотелось возглавить процессию.

– Я сейчас догоню вас, – крикнул Багратян жене. Но Жюльетта так резко повернулась, что носильщики опустили свою ношу на землю. Ее истерзанное,

отмеченное безумием лицо обратилось к Габриэлу, раздался голос, которого он никогда раньше не слышал.

– Ты слышишь? Стефан... Непременно позаботься о Стефане!

Но, и в спасении мера страданий еще не была исчерпана.

Из палатки Товмасыанов кто-то крикнул:

– Багратьян, подойдите сюда!

Габриэл думал, что Искуи находится у своего раненого брата. Но она не показывалась. Габриэл вошел в палатку Арама. Все прошлое стало бессмысленным и безразличным. Пастора он застал в крайне лихорадочном, возбужденном состоянии.

– Где Искуи, Габриэл Багратьян? Скажите во имя спасителя, где вы оставили Искуи?

– Искуи? После полуночи она несколько минут была у меня на высоте, где стоят гаубицы. Затем я просил ее пойти к моей жене.

– В том-то и дело! – выкрикнул пастор. – Еще утром я был твердо убежден, что она находится у вас на позициях... Но она не вернулась... она пропала... Я послал людей искать ее. Они ищут ее уже несколько часов... Матросы-французы давно уже хотели снести меня вниз. Но я без Искуи отсюда не уйду... Нет, нет, я не покину гору!..

Он вцепился в руку Габриэла и, несмотря на ранение, приподнялся.

– Это я во всем, виноват, Багратьян... я все сейчас объясню... я виноват... И если бог после того, как всех одарил своей милостью, покарает меня через сына моего и сестру, то это будет только справедливо... И жена моя ниспослана мне во испытание...

– А где же ваша жена? – спросил Габриэл очень спокойно.

– Она побежала вниз. И младенца с собой взяла. Кто-то сказал, что там выдают молоко. Тут уж удержать ее не было никакой возможности.

От волнения раненый не мог больше говорить. Он попытался встать, но тут же снова лег.

– Проклятье! Ничего не могу! Пошевелиться не могу... Сделайте что-нибудь, Багратьян! Вы тоже виноваты перед Искуи... Вы тоже...

– Подождите здесь, пастор. Я вернусь...

Произнес это Габриэл еле слышно. Он двинулся через площадку Трех шатров, медленно пересек ее, но далеко не ушел, а просто сел и стал смотреть вперед. Одна только мысль тревожила его усталый слабеющий дух: «И это спасенье?». Он старался вспомнить свой ночной разговор с Искуи. Но в душе не сохранилось ни одной подробности, а лишь осадок разочарования. Она приходила, чтобы напомнить ему об обещании быть с ним в последний час. А он отверг ее, отослал к Жюльетте. И это было так естественно! Потому что даже после вчерашней катастрофы он не терял надежды на спасение. Искуи должна была быть в безопасности. Разве не об этом он думал ночью? А Искуи все время стремилась к чему-то, чего он ей дать не мог – к гибели, к упоительной вере в гибель. И он должен был разочаровать ее в этой мужественной вере. Однако где же она сейчас? Габриэл не мог объяснить

почему, но был уверен, что Искуи уже нет в живых... Искуи еще ночью искала смерти, Искуи нет на Дамладжке, и сколько бы ее ни искали – все напрасно...

Но Габриэл стряхнул с себя эту сковывающую безнадежность и отдал необходимые распоряжения.

И все же Габриэл ошибался. Искуи была жива. Когда он приложил к губам свисток, чтобы вызвать людей и отправить их на поиски, Геворк-плясун уже нашел ее. Правда, еще немного, и он опоздал бы. Ночью Искуи сбилась с проторенной тропы и упала в небольшую заросшую расселину. Расселина эта находилась в стороне от общих дорог, неподалеку от Скалы-террасы. Что Искуи понадобилось здесь между полуночью и рассветом – этого никто не мог сказать. Отделалась она несколькими ссадинами на руках и ногах. Никаких ран, перелома костей, сотрясения мозга, даже никакого растяжения у нее не было. И все же смертельная усталость, против которой Искуи боролась уже несколько дней и в которую она, как в нечто желанное, погружалась все больше, целиком завладела ею.

Когда Геворг принес ее на своих могучих руках, привыкших и к иным тяжестим, она была еще в полном сознании. Огромные, чуть ли не веселые глаза были широко раскрыты, но говорить она не могла. К счастью, среди матросов, которые переносили последних больных, нашелся один молодой медик с «Гишена». Он дал Искуи сильнодействующее сердечное лекарство, однако настоял на немедленной отправке Искуи на борт корабля, а то как бы не случилось беды. Тут же матросы положили Товмасына и Искуи на носилки. Габриэл поручил Кристофору – как только будет вынесен багаж, сжечь все три шатра со всем содержимым.

Спускался Габриэл, держась как можно ближе к Искуи – впрочем, тропа редко позволяла это делать, а носильщикам стоило большого труда сохранять равновесие и не сорваться – справа низвергался голый отвесный обрыв. Впереди шли матросы с Товмасыном, затем следовали носилки с Искуи, неподалеку от которой держался и молодой врач-практикант. Но это был еще не конец – позади несли еще трех раненных в ноги в сражении двадцать третьего августа и одну роженицу. Замыкали вереницу задержавшиеся на пожарище дружинники – они надеялись найти среди углей что-нибудь из своего домашнего скарба. Три-четыре раза в тех местах, где тропа была пошире, носильщики останавливались отдохнуть. И тогда Габриэл склонялся к Искуи. Но и здесь он почти не мог говорить, в двух шагах от них стояли носилки с пастором Арамом. Да и врач подходил каждые две минуты, чтобы дать Искуи молоко или проверить пульс. Тихим голосом Габриэл произносил какие-то обрывки фраз.

– Куда ты хотела бежать, Искуи?.. Что у тебя было на уме?.. Там?..

Отвечали только ее глаза.

«Зачем ты спрашиваешь о том, чего я сама не знаю... Я как будто бы парила... У нас так мало остается времени... еще меньше, чем ночью...».

Он опустил на колени рядом с носилками, подложил свою руку ей под голову, как бы стараясь помочь ей заговорить. При этом его собственные слова

были едва слышны:

– Тебе больно?

Глаза ее поняли и тут же ответили:

«Нет. Я не чувствую себя совсем. Но я так страдаю оттого, что все так получилось. Разве без этих кораблей не было бы все гораздо лучше? Вот и настал конец, Габриэл. Но он не наш...».

Глаза Габриэла не умели ни так хорошо говорить, ни так хорошо читать по губам, как глаза Искуи. И он сказал что-то совсем невпопад:

– Это только небольшой коллапс, Искуи... это от голода.

Обратившись к молодому врачу, он продолжал по-французски:

– Доктор тоже так считает. Через три дня, когда мы прибудем в Порт-Саид, ты уже сможешь ходить... Ты же так молода, Искуи. Так молода...

Глаза ее помрачнели и строго ответили:

«Какие пошлые слова, Габриэл! В эту минуту незачем было их говорить. Умру ли я или буду жить – мне все равно. Но ты ошибаешься, думая, что я хочу смерти. Может быть, я и буду жить. Но разве ты не знаешь, что все будет по-другому, когда нас перенесут на корабль... И ты и я – мы будем совсем другими... Мы принадлежим друг другу только здесь, пока у нас под ногами земля Муса-дага. Ты – моя любовь, а я – твоя сестра».

Не все, но многое, казалось, понял Габриэл. И будто отражение ее слов, сказанных глазами, у него тихо вырвалось:

– Да, где мы будем... я и ты... сестра?

Впервые разомкнулись ее губы и исторгли два страстных слога, которые противоречили всему предыдущему:

– С тобой...

Носильщики подняли носилки – дальше дорога была нетрудной. Сюда уже доносились голоса снизу. А там, на самом берегу, на узких скалистых площадках сделалась опасная для жизни толкотня, ее еще больше усугубили матросы, под разными предлогами отпросившиеся на берег. Полным ходом шла погрузка. Крик, неразбериха! На Габриэла Багратяна со всех сторон сыпались вопросы, просьбы, пожелания, требования. Каким-то таинственным образом соплеменники связывали чудо спасения с ним самим без каких бы то ни было разумных объяснений. Это же он, родственник великой Франции и был тем самым богом посланным человеком, призванным помогать своим землякам на Муса-даге, да и в предстоящей эмиграции. Все его противники в Большом Совете – старосты, Товмас Кебусян и его супруга с быстрыми мышинными глазками-изощрались в подобострастии. Целый поток просьб составить протекцию обрушился на него. А когда он, в конце концов, пробился к причальным мосткам, – шлюпка с Искуи и Арамом уже отчалила. По приказу офицера, руководившего погрузкой, больных и немощных отправляли в первую очередь. Жюльетту уже давно перевезли в моторном баркасе контрадмирала на «Жанну д'Арк».

Солнце заливало все море слепящими осколками, шлюпки скользили по ним к кораблям и обратно на берег. Искуи лежала в своей шлюпке невидимая.

Габриэл узнал только застывшую фигуру Овсанны, недвижимо державшую на руках перворожденного мусадагца.

Погрузка шла чрезвычайно медленно: столько надо было преодолевать при этом трудностей! Большую часть населения деревень можно было легко разместить на транспорте, но этому весьма удобному плану воспротивились врачи. При таком скоплении людей рядом с заразными больными следовало опасаться самого худшего. На транспорт необходимо было погрузить только больных и изможденных, отделив их таким образом от команд боевых кораблей и от здоровой части деревенских жителей. Так пароход превратился в скопище несчастия, страданий, беды. Комиссия, состоявшая из офицеров и врачей, проверяла каждого армянина – здоров ли, свободен ли от насекомых, прежде чем определить, на какой корабль его отправить. При этом соблюдались очень строгие правила. При малейшем подозрении человека отправляли на транспорт. Из руководителей мусадагцев в комиссию входил один только Тер-Айказун. Силы доктора Петроса совсем иссякли, и главный врач переправил его на «Гишен». Учитель Апет Шатахян тоже болтался на крейсере, блаженствуя в непривычном комфорте западной цивилизации. Мухтары на берегу, очевидно, позабыли о своих обязанностях старост и в основном действовали как озабоченные отцы семейств. То же самое происходило и с женатыми сельскими священниками и учителями. Во всяком случае, Тер-Айказун в одиночестве пекся о нуждах народа, то есть уговаривал офицеров и врачей, чтобы они без необходимости не разъединяли семей и чтобы на транспорт отправляли только тех, кому там и место.

Габриэл Багратян подошел к отборочной комиссии, работавшей неподалеку от причального мостика, и положил обе руки на плечи Тер-Айказуна. Вардапет обернулся – лицо спокойное, восковое, о последних событиях на Дамладжке говорили только рубец от раны и сожженная борода. Свой кроткий и все же строгий взгляд он устремил Габриэлу прямо в глаза, что в последнее время случалось редко.

– Хорошо, что я вижу вас, Габриэл Багратян... У меня вопрос. – Тер-Айказун говорил тихо, хотя французы и не могли его понимать – он говорил по-армянски, – Главные подстрекатели – Восканян и Киликян исчезли, и с ними еще кое-кто...

– Киликян мертв, – сказал Багратян, ничего при этом не испытывая.

В глазах Тер-Айказуна мелькнуло что-то, как будто он понял. Затем, указав на узкую полоску скалистого берега, где толпились, ожидая погрузки, дезертиры, сказал:

– Я хотел спросить вас – заслужили ли эти бродяги право быть спасенными?.. Не лучше ли их прогнать?..

Ни секунды не колеблясь, Габриэл ответил:

– А мы сами заслужили право быть спасенными? И разве мы – спасители? Во всяком случае, мы, как спасенные, не имеем права исключать кого бы то ни было...

Тер-Айказун чуть-чуть улыбнулся:

– Хорошо, я только хотел получить у вас подтверждение...

У вардапета уже не было такого жалкого вида, как утром. Кто-то из военных священников дал ему сюртук. Его старая привычка прятать руки в рукава рясы заставила его теперь засовывать их каким-то неловким движением в карманы сюртука.

– Я рад, Габриэл Багратьян, что мы и теперь с вами одного мнения. Собственно говоря, у нас с вами это бывало всегда...

И впервые в его улыбке появилось что-то похожее на стыдливую нежность.

Габриэл некоторое время следил, как проверяют людей. Но поскольку он совершенно не мог сосредоточиться, он видел только какую-то бессмысленную беготню. Прошло немного времени, и Тер-Айказун удивленно спросил:

– Вы все еще здесь, Багратьян? Вон подходит моторный баркас с «Жанны д'Арк». Видите? Здесь мне ваша помощь не нужна. Вы выполнили свой долг. Да будет он благословен. Я свой – еще нет. Ступайте с богом, отдохните. Я буду на «Гишене».

Какое-то внутреннее сопротивление не позволило Габриэлу окончательно проститься.

– Может быть, я еще застаю вас здесь, Тер-Айказун...

Протиснувшись через толпу ожидающих погрузки, он сделал несколько шагов в сторону горной тропы. Навстречу вышел Авакян, за ним Кристофор, Мисак и Геворк тащили весь еще сохранившийся багаж Багратьянов. Верный Авакян спас все, что только можно было спустить по тропе. Лишь кровати и домашняя утварь были сожжены. Габриэл улыбнулся:

– Алло, Авакян... Зачем это вы стараетесь? У вас такой вид, как будто мы намереваемся совершить увлекательное путешествие в Египет...

Через очки в никелированной оправе студент посмотрел на своего шефа осуждающе. При этом у него был вид бедного человека, который лучше способен оценить вещи, чем ничего не понимающий богач. Габриэл взял его под руку и отвел в сторону:

– Мне еще раз понадобится ваша помощь, Авакян, друг мой... Я все время думаю, как бы мне это устроить... Я очень нуждаюсь в покое... Однако в ближайшие дни я буду лишен его. Контр-адмирал пригласил меня к своему столу. И мне придется часами вести беседу с безразличными мне людьми, либо хвастать, либо разыгрывать скромность – и то и другое в одинаковой степени неприятно. Новый плен, во всяком случае! Мне этого не хочется. Вы понимаете меня, Авакян? Мне не хочется! Эти три дня я хочу быть один, совсем один! Поэтому я не поднимусь на борт «Жанны д'Арк». Я перейду на транспорт. Там офицеров мало. Койку мне выделяют – вот я и обрету желанный покой...

На лице Самвела Авакяна изобразился ужас.

– Но на транспорте надо будет проходить карантин, эфенди!

– Карантин меня не пугает.

– Это может оказаться пленом, который продлится больше сорока дней.

– Если я захочу, меня уж как-нибудь выпустят.



– Вы оскорбляете контр-адмирала. Он же наш ангел-спаситель!

– В том-то и дело... И тут я нуждаюсь в вашей помощи, Авакян. Прошу вас немедленно отметитья под моим именем и сказать, что по такой-то причине я не могу явиться лично. Скажите, что на транспорт попали наши самые ненадежные люди. За такой короткий срок нам не удалось наладить соответствующий контроль. Кто-то должен там навести порядок. И я взял это на себя...

Должно быть, Авакяна это не убедило. Но Габриэл настаивал на своем.

– Такая мотивировка вполне убедительна. Можете быть спокойны. Старый солдат и морской волк поймет подобную предусмотрительность. Да никто на это и не обратит внимания. Итак, Авакян, желаю вам успеха...

Студент все еще колебался.

– Тогда мы несколько дней не увидимся...

Слова эти прозвучали тревожно. Габриэл указал на причал:

– Вам пора, Авакян. Моторный баркас с «Жанны д'Арк», вероятно, больше не придет. Пусть бумаги пока останутся при вас.

С баркаса доносились нетерпеливые сигналы, призывавшие к отплытию. Авакян едва успел пожать Габриэлу руку. А Габриэл, задумавшись, долго смотрел ему вслед. Затем расспросил одного из офицеров, когда отчаливают шлюпки, идущие на транспорт. «Большинство больных уже перевезены, – ответили ему, – и самыми последними отправят отобранных».

«Это может продолжаться еще многие часы», – подумал Габриэл, глядя на толпу, осаждавшую комиссию у причала. Но это его вовсе не огорчило – он был рад, что ему удалось улизнуть от адмирала, да и вообще от пребывания на «Жанне д'Арк».

Медленными шагами он направился к тропе, поднимавшейся в гору: у него ведь было так много времени! И как приятно уйти от бабьего крика внизу, да и укрыться от жгучего сентябрьского солнца в тенистой прохладе...

Габриэлу пришлось миновать сборный пункт, где ждали все отобранные – их отделили, чтобы они не смешались с теми, кого направляли на боевые корабли. Многие, и прежде всего кладбищенская братия, спасались здесь от проверки на насекомых. Вот Багратян и увидел своих будущих спутников. Ухмыляясь, бежало рядом Сато, протягивала к нему руки, словно нищенка. В Йогонолуке она никогда этого не делала. Несколько мрачных фигур поднялись с земли – дезертиры! От этих трудно будет отвязаться! Нуник и остальные плакальщицы, сидели на мешках, в которых надеялись переправить свои прокисшие сокровища в другую часть света. В левой руке каждая из них держала посох, правую же они прикладывали к груди, губам и лбу, приветствуя так господина Габриэла Багратяна, последнего сына Месропа, внука Аветиса Багратяна, великого благодетеля. А Нуник, жившая уже вне времени, приветствовала в его лице того младенца, при рождении которого она, спрятавшись от экима Петроса, своим зисом рисовала кресты на дверях и стенах, дабы изгнать демонов. Слепые старцы с головами пророков, тихо напевая, сидели прямо на земле. Жирных мух, прилипших к глазницам, никто

не спугивал. Не тревожимые прошлым, не заботящиеся о будущем, тихо пели старцы. Они не спрашивали о том, что было – они не теряли родины, они слушали только внутренний гул и позволяли Нуник, Вартук, Манушак и поводырям вести себя, куда тем заблагорассудится... И довольно и жалобно звучало их тонкое жужжание, изредка переходя в дискантовые трели.

Но как раз от этого жужжания и защемило сердце у Габриэла. Оно вызвало Стефана... Габриэл ускорил шаг. Он поднимался все выше по горной тропе – только бы не слышать слепцов! Но очень скоро вместо них в ушах затараторила, как попугай, Жюльетта, и тут же он услышал ее крик: «Непременно позаботься о Стефане!».

Он шагал все быстрее, погруженный в мысли, которых сам не понимал, и вдруг, удивленный, остановился: как высоко он уже поднялся! Но как здесь хорошо! Скала, прикрытая как навесом, арбутусом и миртами, со спинкой, поросшей мхом, приглашала присесть. В этом укромном месте Габриэл и опустился на землю. Отсюда хорошо была видна вся суета там, внизу, у причального мостика и пять сизо-серых кораблей, застывших в расплавленном серебре. Дальше всех – транспорт. Ближе – «Гишен» с Искуи. От рыбацкого плота пастора Арама, крепко притянутого морскими канатами к рифам, перекинуты узкие мостки. Спасенные один за другим балансировали по доскам к шлюпкам. Порой все это сооружение раскачивалось, взлетали брызги, раздавался женский визг... И эта картина спугнула у Габриэла все остальное. Суета на берегу так и не прекращалась.

«У меня еще много времени!» – думал Габриэл. Но ему не следовало так думать. Более того, в этом прекрасном уголке ему не следовало оставаться, как не следует сидеть на снегу замерзающему человеку. Вся картина погрузки однообразно покачивалась перед ним. И тогда бог ниспослал Габриэлу Багратьяну глубокий сон. Сон этот был соткан из всего пережитого, из всех бессонных ночей Сорока дней. Против этого сна были бессильны и воля и дух.

По вечерам мать говорит своему ребенку, когда у того слипаются глазки: «Сон тебя сморил!». И Габриэла Багратьяна сморил сон – нет, не сон, его сморила смерть.

## Глава седьмая

### НЕПОСТИЖИМОМУ В НАС И НАД НАМИ

Пять сирен взывают разом. Нестройно, отрывисто, угрожающе, сипло.

Габриэл спокойно открывает глаза. Ищет взглядом зыбкую картину, которую, мнится ему, лишь только что видел. Набежавший прибой заливает опустелые скалы. Плот размыт, и бревна полощутся порознь. «Гишен» лег в дрейф. Нос его, обращенный к юго-западу, глубоко врезался в морскую синь.

Другие суда эскадры идут впереди. Словно танцоры, пытаются они с тяжеловатым изяществом образовать законченную фигуру. «Жанна д'Арк» медленно маневрирует в центре этой фигуры.

Габриэл внимательно наблюдает за происходящим. Потом спохватывается: «А как же Айказун? Ничего не заметил? Да нет же! Он ведь думает, что я на «Жанне д'Арк».

Габриэл вскакивает, зовет, машет руками. Но звук голоса рассеивается в пространстве, а жесты не похожи на призыв отчаявшегося. В предопределенный час солнце достигает выступа Рас-эль-Ханзира, и скалистые откосы Муса-дага погружаются в густую тень.

Будь у Багратяна хоть малость рассудка, он сбежал бы вниз, на эти скалы, взобрался бы на самую высокую и постарался любым способом привлечь внимание. Палуба «Гишена» запружена армянами, они сгрудились у поручней, прощаются с горой жизни: таким стал для них Муса-даг, хоть он грозно супится, глядя им вслед, точно разочарованный убийца, упустивший намеченную жертву. Как ни шумно дышит море и грохочет судовой винт, на палубе или на наблюдательном посту уж верно бы заметили Габриэла Багратяна. Но он, злосчастный, не только не покидает свой тенистый уголок, но перестает кричать и махать руками, словно бы наскучив бессмысленной формальностью. Габриэл и сам изумлен охватившим его глубоким спокойствием. Человек в этом положении должен бы взывать, как безумный, о помощи, должен бы кинуться в воду, поплыть за кораблями, спастись либо погибнуть – что-нибудь одно!

Корабли движутся так медленно. Есть еще время. Габриэл недоумевает: откуда в нем это спокойствие? Может, кровь его еще скована сном? Подле него, там, где ему так удобно сидится, лежит фляга, которую французы наполнили черным кофе и коньяком. Он хочет пробудить свое усыпленное отчаяние, поэтому пьет большими глотками. Но живительный напиток оказывает обратное действие. Кровь, правда, течет быстрее, мускулы наливаются силой, но спокойствие нимало не сменяется страхом смерти, воплем о помощи. Оно только принимает более действенную форму. Преображается в радостную примиренность. Земной, плотский человек сперва стыдится этого.

«Взберусь на открытое, высокое место и сделаю из куртки сигнальный флаг». Такая попытка практически ничего не даст. Самообман, театр для себя. Это просто поднимает дух, мешает впасть в уныние.

Затем он, разумеется, спрашивает себя:

– А средства к существованию?

Он шарит в карманах плаща. Три булочки и две плитки шоколада. Это все. В карманах куртки ничего путного, только карта Дамладжка, два-три старых письма, какие-то заметки, пустая коробка от сигарет, да еще монета аги Рифаата с греческой надписью.

Габриэл держит на ладони круглый золотой кружок. Вспоминает вдруг, что во время великого Исхода ходил за этой забытой монетой на виллу. Не

ходил бы лучше! Сейчас ему кажется, что надо бы, все-таки, выбросить этот недобрый амулет. Однако не делает этого, прячет монету обратно, памятуя о надписи.

Даже в первые дни Сопротивления не чувствовал себя Багратян таким здоровым; таким сильным, как сейчас. Ни следа усталости, ноги не болят, колени легко сгибаются, сердце бьется ровно, и не успевает он опомниться, как ноги выносят его на открытое место, расположенное высоко над морем. Он становится на выступ скалы, кругообразно размахивает над головой плащом. Но, едва начав, опускает руки. И в тот же миг впервые осознает с ослепительной ясностью, что вовсе не хочет, чтобы на эскадре его увидели, что оказался он в этом положении вовсе не по несчастной случайности, а согласно сокровенному волеизъявлению не только Бога, но и его самого.

Как же это так? Он не замечает в себе ни малейшего признака смятения духа или смятения чувств. Ум его столь же ясен, сколь покойна душа. Ему даже кажется, что лишь сейчас он высвобождается из пелены долгого, душного морока. Всей сутью своей, всей еще неизведанной силой разума жаждет он обрести прозрение.

Он покидает высоту, с которой открывался обзор моря. Размашистым шагом преодолевает крутую тропу – сейчас ему легко нести свое тело – а тропа эта не что иное как вытоптанная, отмеченная вехами, камнями и кольями зигзаг между скалистыми откосами, водоотводными канавами и расщелинами. Но ясность, обретенная Габриэлом, одарила и его телесную оболочку, так что ему незачем помнить о вехах и опасностях на своем пути. Он знает, что при этом жизнеощущении не может ни забрести на неприступную кручу, ни сорваться в пропасть. Равномерно, под стать пульсу, работает его мысль. И тут, на этом отрезке пути, в Габриэле заговорила гордость. Так вот почему, когда с моря громом грянуло чудо, он был почти разочарован. Вот почему сообщение его превосходительства, что народ Муса-дага, а с ним и Габриэла, высадят в Александрии или Порт-Саиде, вызвало у него необъяснимое чувство недовольства! В этом недовольстве зрело уже великое волеизъявление этой минуты. Тотчас же, едва пришло всеобщее спасение, Габриэла будто озарило: нет для него возврата к этой жизни уж хотя бы потому, что истинный Габриэл Багратян, каким он стал за эти сорок дней, должен быть воистину спасен.

Очутиться в Александрии или Порт-Саиде? В каком-нибудь бараке лагеря армянских беженцев? Променять Муса-даг на другой загон – пониже и потесней? С высоты решающей схватки унизиться до рабства, в ожидании новой милости? Зачем? В ушах звучит старая поговорка экима Алтуни: «Быть армянином невозможно». Совершенно верно! Но со всякими невозможностями счеты покончены. Габриэл полон несказанной уверенности в одном, единственно возможном. Он разделит судьбу людей одной с ним крови. Возглавил борьбу народа своего отечества. Но разве в новом Габриэле говорит только кровь? Разве новый Габриэл только армянин? Прежде он мнил себя – и не по праву! – «абстрактным человеком», «человеком в себе». Но чтобы, воистину стать им, Габриэлу пришлось сперва пройти здесь через этот загон

всеобщности. Вот он и стал «человеком в себе», отсюда и это ощущение безграничной свободы. Космическая пустынь. По которой томилась душа нынче утром. Теперь он обрел ее, такую, какая и не снилась смертному. С каждым вздохом впивает он пьянящую радость независимости.

Корабли уплывают, а Багратян остается ча этом скалистом склоне Муса-дага, что от края до края пуст первозданно. Кругом ни души, только двое: Бог и Габриэл Багратян. И Габриэл Багратян взыскан милостью божьей, он действительней всех людей и народов!

Но в этом упоении силой и гордостью Габриэлу становится вдруг не по себе. Женщины! Там, где есть женщины, непременно есть и мужская вина.

Сейчас Габриэл у того уступа, где сделали привал санитары, и глаза Искуи сказали «прощай». Но перед ним возникает не образ Искуи, он видит Жюльетту в тафтовом платье. Что же будет с Жюльеттой?

Габриэл останавливается и окидывает взглядом море. Корабли идут так медленно. Они не достигли еще середины высоко вздымающейся морской синевы. Если он будет махать над головой плащом, его, может статься, заметят вахтенные. Но его осеняет мысль: Жюльетта станет свободной, и ей легко будет восстановиться во французском подданстве. Если окажется, что он пропал без вести, то адмирал, да и весь мир, примет в ней живейшее участие. Это очевидное соображение подкрепляет его право на свободу.

Теперь он идет осторожней, опустив голову, вдоль скалистого обрыва, пока тропа не теряется в лесу и зарослях. Габриэл миновал еще два поворота дороги, как вдруг в ужасе замер. Возможно ли? Неужели Искуи взаправду где-то в последнюю минуту спряталась, чтобы остаться с ним? Несколько секунд он думает: «Бред, фантазия разыгралась».

Но внутренне он верит. Он ведь слышит шаги Искуи за собой. Различает четкую дробь ее каблучков.

Где-то мы будем, сестра, ты да я?

А она возьми да и сдержи свое слово: «С тобой».

Он не оглядывается, проходит еще немалый кусок дороги, потом останавливается. Ровные, легкие шаги Искуи непрерывно слышатся сзади. Все отчетливей раздаются эти женские шаги, все вверх, в гору. Шуршит под ними тропинка, скрипит песок, осыпаются камни. Габриэл ждет. Искуи должна была бы уже его догнать. Но шажки все постукивают – так да этак, так да этак – то вблизи, то вдалеке. Наконец Габриэл соображает, что раздаются они не извне, а изнутри.

Рука скользит вдоль бедра, ловит на месте преступления карманные часы. Когда он их вынимает, тиканье становится оглушительным, напоминает уже не женские шаги, а удары молотка по камню. Пустынная местность усиливает звук. Или это отпущенное Габриэлу время ускоряет свой бег заодно с током его крови?

Он все еще держит в руке часы, когда последняя тень сомнения исчезает. Давешний сон его был не простой. Сон этот был предуготован, чтобы помочь преодолеть слабость и осуществить свое предназначение. Габриэл без него не

устоял бы. Но Бог предназначил его для чего-то другого.

Когда же это было? Примерешилось ему это иль и правда он сказал эти слова: «С некоторых пор во мне живет несокрушимая уверенность, что Бог меня для чего-то предназначил»... Теперь Габриэл постиг свое предназначение во всей полноте. И его переполняет другое чувство, не упоение свободой и радостной уверенностью. Нет, душу обуревают иное, новое чувство: восторг надмирной связи, духовное озарение: «Жизнь моя управляема свыше, следовательно, спасена...».

Раскинув руки, бредет он дальше, не чуя под ногами дороги. Перед ним открывается новая расселина в скале. Все выше становится горизонт моря. Эскадра, построившись треугольником, словно косяк аистов, уходит в дальнюю даль.

Но Габриэл перестает следить за кораблями. Он глядит в закатное небо, лазурь которого мало-помалу заливает темное золото. Теперь он знает – так бывало с ним только в детстве – что Отец всемогущ. Чаша окоема делается все глубже и глубже, выгибается куполом, перестает быть холодным, астрономическим, мировым пространством, становится местом благодного приобщения.

Дорога обрывается на последнем подъеме. Габриэл этого не чувствует. Он по-прежнему идет, раскинув руки, и глядит в застланное тенью небо. Каждый шаг Габриэла – самоотдача. Но и высь не безответна. И там навстречу ему близится жертвенная чаша.

Он пересекает полосу миртов и рододендронов. Не пора ли ему подумать о надежном убежище, о том, куда укрыться через несколько часов, к ночи? Ибо ни один смертный человек, живи он, как живет сейчас Габриэл, не выжил бы после сумерек. Но ему все нипочем. Ноги ведут то по привычной дороге. Площадь Трех шатров. Палатки сделаны не только из водонепроницаемой, но и огнестойкой ткани, поэтому устояли перед пожаром. Огонь ничего не повредил внутри: кровати стоят как были, в полной сохранности.

Габриэл проходит мимо Жюльеттиной палатки. У Котловины Города в нерешительности останавливается. Его тянет на север, к главной позиции, к делу своих рук. Потом, однако, идет в другом направлении, к Вершине гаубиц. Должно быть, ему любопытно узнать, удалось ли морским пехотинцам взорвать орудия.

Между Котловиной города и Вершиной гаубиц лежит большое кладбище. Под тонким слоем этой земли нашлось все же место для четырехсот могил. На более ранних установлены неотшлифованные известняковые глыбы и могильные плиты с черными надписями. Более поздние могилы отмечены просто деревянными крестами.

Габриэл идет к Стефану. Земля на могилке еще довольно свежая. Когда же они его сюда принесли? На тридцатый день, а нынче сорок первый. А когда это было, давно ли? Он застал меня спящим, здесь же, на горе. Теперь опять мой черед подслушивать его сон. И мы опять одни на Муса-даге.

Габриэл замер, но думает не только о Стефане, а о несчетных событиях

дней Сопротивления. Ничто не нарушает наступившего в нем великого покоя. Едва ли он замечает, что солнце садится.

Когда же вдруг сразу стемнело и похолодало, Габриэл опомнился. Что это? Пять сирен завывают на разные лады, угрожающе, протяжно, но так бесконечно далеко. Габриэл хватается с земли плащ. «Теперь они обнаружили мое отсутствие. Теперь зовут меня. Скорей на Скалу-террасу! Разжечь костер! Еще можно, можно!» В нем бушует воспрянувшая жизнь. Но при первом же шаге он отшатывается. Что-то ползет полукругом по земле. Дикие собаки? Но не сверкают в сумраке звериные глаза.

В десяти шагах от него ползучее полукружие застывает. Габриэл делает вид, будто ничего не заметил, смотрит вверх, отступает на шаг, укрывается за Стефановым могильным холмиком.

Но сбоку сверкнул огонь – один, второй, третий.

Габриэлу Багратяну посчастливилось. Вторая турецкая пуля пробила ему висок. Падая, он ухватился за деревянный крест и увлек его за собой. И крест сына лег ему на грудь.

## ПОСЛЕСЛОВИЕ АВТОРА

Этот труд задуман автором в марте 1929 года во время пребывания в Дамаске. Горестное зрелище, которое представляли собой работавшие на ковровой фабрике дети беженцев, изувеченные, изголодавшиеся, послужило окончательным толчком к решению вывести на свет из царства мертвых, где покоится все, что однажды свершилось, непостижимую судьбу армянского народа.

Роман написан между июлем 1932 и мартом 1933.

В ноябре 1932 года автор, выступая с циклом лекций в различных немецких городах, включил в него пятую главу первой книги романа и прочел ее в том же варианте, в каком она публикуется здесь – в варианте, основанном на традиционной исторической версии беседы Энвера-паши с пастором Иоганнесом Лепсиусом.

**Франц Верфель**